
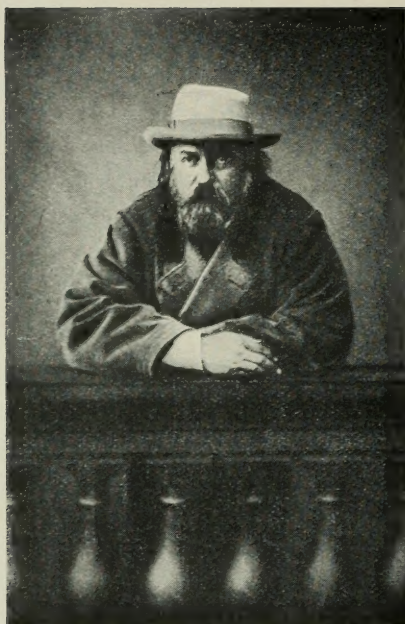




3 1761 07747571 3



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto



А. И. Герценъ.
(Съ фотографин, 1865 г.).

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА.

Томъ III.

СОЧИНЕНІЯ А. И. ГЕРЦЕНА

и

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.

Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

Т о м ъ III.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Ф. Павленкова.
1905.

Printed in Russia.

AC
65
H43
S.2



1116749

Оглавление III-го тома.

Былое и Думы.

(Продолженіе).

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Парижъ—Италія—Парижъ.

	СТР.
Отдѣленіе первое. Передъ революціею и послѣ нея.	
Глава XXXIV. <i>Путь.</i> —Потерянный паспортъ.—Кёнигсбергъ.—Собственноручный носъ.—Пріѣхали!—И уѣзжаемъ.	4
Глава XXXV. <i>Медовый мѣсяцъ республики.</i> —Англичанинъ въ мѣховой курткѣ.—Герцогъ де Ноаль.—Свобода и ся бюстъ въ Марсели.—Аббатъ Сибуръ и Всемирная республика въ Авиньонѣ. . .	9
Западные арабески. Тетрадь первая:	
I. Сонъ.	15
II. Въ грозу.	18
IV. Примѣты.	23
V. Тифоидная горячка.	28
Глава XXXVI. <i>La Tribune des Peuples.</i> —Мицкевичъ и Рамонъ-де-ла-Сагра.—Хористы революціи 13 іюня 1849.—Холера въ Парижѣ.—Отъѣздъ.	30
Глава XXXVII. Вавилонское столпотвореніе.—Нѣмецкіе umwaelzungsmaennegы.—Французскіе красные горы.—Итальянскіе Fuorusciti въ Женевѣ.—Маццини, Гарибальди, Орсини...—Романская и германская традиція.—Прогулка на „князѣ Радецкомъ“.	47
Глава XXXVIII. Швейцарія.—Джемсъ Фази и рефюжъе.—Monte-Rosa.	76
Западные арабески. Тетрадь вторая:	
I. II Pianto.	95
II. Post-scriptum.	101
Глава XXXIX. Деньги и Полиція.—Полиція и Деньги.	108

Глава XL. Европейскій комитетъ.—Русскій генеральный консулъ въ Нищѣ.—Письмо къ А. Ѳ. Орлову.—Преслѣдованіе ребенка.—Фогты.—Перечисленіе изъ надворныхъ совѣтниковъ въ тягловые крестьяне.—Пріемъ въ Шателѣ.	121
Глава XLI. П. Ж. Прудонъ.—Изданіе <i>La Voix du Peuple</i> .—Переписка.—Значеніе Прудона.—Прибавленіе.	145
Раздумье по поводу затронутыхъ вопросовъ.	160
Глава XLII. <i>Coup d'état</i> .—Прокуроръ покойной республики.—Гласъ коровій въ пустынь.—Высылка прокурора.—Порядокъ и цивилизація торжествуютъ.	168
Осеано Нох	175
Отдѣленіе второе. Русскія тѣни:	
I. Н. И. Сазоновъ.	192
II. Энтельсоны.	205
Англія.	
Глава I. Лондонскіе туманы.	234
Глава II. Горныя вершины.—Центральный Европейскій Комитетъ.—Машины.—Ледрю-Ролленъ.—Кошутъ.	237
Глава III. Эмиграціи въ Лондонъ.—Нѣмцы, французы.—Партіи.—В. Гюго.—Феликсъ Піа.—Луи Вланъ и Арманъ Барбесъ.	253
Глава IV. <i>Польскіе выходцы</i> .—Алонзій Бернацкій.—Станиславъ Ворцель.—Агитація 1854—56 года.—Смерть Ворцеля.	276
Нѣмцы въ эмиграціи.—Руге, Кинкель, Schwefelbaende.—Американскій обѣдъ.—The Leader.—Народный сходъ въ St. Martin's Hall. . . .	286
Лондонская вольница пятидесятихъ годовъ.	
Глава VI. Простыя несчастья и несчастья политическія.—Учители и коммисіонеры.—Ходебщики и хожалые.—Ораторы и эпистолаторы.—Ничего не дѣлающіе фактотумы и вѣчно занятые трутни.—Русскіе.—Воры.—Шпіоны.	308
On Liberty.	330
С. Ворцель	339
Pater V. Petscherine	349
Робертъ Оуэнъ.	359
Дуэль.	396
Бартеlemi	411
Camicia Rossa:	
I. Въ Брукъ-гаузѣ.	420
II. Въ Стаффордъ-гаузѣ.	430
III. У насъ.	435
IV. 26. Princess Gate.	440
Апогей и перигей.	449
В. И. Кельсіевъ.	463
Общій фондъ	473
М. Б. и Польское дѣло.	483
Пароходъ Ward Jackson R. Weterli et. C^o	501
Lapinski Colonel.—Polles-Aide de Camp.	506

Безъ связи.

СТР.

I. Швейцарскіе виды.	512
II. Болтовня съ дороги и родина въ буфетѣ.	519
III. За Альпами.	521
IV. Zu deutsch.	523
V. Съ того и этого свѣта:	
I. Съ того.	525
II. Съ этого:	
I. Живые цвѣты.—Послѣдняя мсгиканка.	529
II. Махровые цвѣты	536
III. Цвѣты Минервы.	539
Venezia la bella	542
La belle France:	
I. Ante portas.	555
II. Intra muros.	560
III. Alpendrucken.	565
IV. Даніилы.	570
V. Свѣтлыя точки	574
VI. Послѣ набѣга.	575
Примѣчанія.	579

БЫЛОЕ И ДУМЫ.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ).

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ПАРИЖЪ — ИТАЛІЯ — ПАРИЖЪ.

1847—1852.

Начиная печатать еще часть «Былого и Думъ», я опять остановился передъ отрывочностью рассказовъ, картинъ и, такъ сказать, подстрочныхъ къ нимъ разсужденій. Внѣшняго единства въ нихъ меньше, чѣмъ въ первыхъ частяхъ. Спать ихъ въ одно я никакъ не могъ. Выполняя промежутки, очень легко дать всему другой фонъ и другое освѣщеніе — тогдашняя истина пропадетъ. «Былое и Думы» не историческая монографія, а отраженіе исторіи въ человѣкѣ, случайно попавшемся на ея дорогѣ. Вотъ почему я рѣшился оставить отрывочныя главы, какъ онѣ были, нанизавши ихъ, какъ нанизываютъ картинки изъ мозаики въ итальянскихъ браслетахъ — всѣ изображенія относятся къ одному предмету, но держатся вмѣстѣ только оправой и колечками.

Для пополненія этой части необходимы, особенно относительно 1848 года, мои «Письма изъ Франціи и Италіи»; я хотѣлъ взять изъ нихъ нѣсколько отрывковъ, но пришлось бы столько перепечатывать, что я не рѣшился.

Многое, не взошедшее въ «Полярную Звѣзду», вошло въ это изданіе, но всего я не могу еще передать читателямъ, по разнымъ общимъ и личнымъ причинамъ. Не за горами и то время, когда напечатываются не только выпущенныя страницы и главы, но и цѣлый томъ, самый дорогой для меня...

Женева, 29 іюля, 1866 г.

ОТДѢЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Передъ революціей и послѣ нея.

ГЛАВА XXXIV.

Путь.

Потерянный пассъ.—Кёнигсбергъ.—Собственноручный носъ.—Приѣхали! —
И ѣзжаемъ.

.... Въ Тауцагенѣ прусскіе жандармы просили меня взойти въ кордегардію. Старый сержантъ взялъ пассы, надѣлъ очки и съ чрезвычайной отчетливостью сталъ вслухъ читать все, что нужно: Auf Befehl s. k. M. Nicolai des Ersten... allen und jeden, deren daran gelegen etc. etc... Unterzeichner Peroffski, Minister des Innern, Kammerherr, Senator und Ritter des Ordens St. Wladimir... Inhaber eines goldenen Degens mit der Inschrift für Tapferkeit...

Этотъ сержантъ, любившій чтеніе, напоминаетъ мнѣ другого. Между Террачино и Неаполемъ неаполитанскій карабинеръ четыре раза подходилъ къ дилижансу, всякій разъ требуя наши визы. Я показалъ ему неаполитанскую визу; ему этого и полкарлина было мало, онъ понесъ пассы въ канцелярію и воротился минутъ черезъ двадцать съ требованіемъ, чтобъ я и мой товарищъ шли къ бригадиру. Бригадиръ, старый и пьяный унтеръ-офицеръ, довольно грубо спросилъ:

— «Какъ ваша фамилія, откуда?»

— Да это все тутъ написано.

— «Нельзя прочесть».

Мы догадались, что грамота не была сильною стороною бригадира.

По какому закону, сказалъ мой товарищъ, обязаны мы вамъ читать наши пассы; мы обязаны ихъ имѣть и показывать, а не диктовать: мало-ли что я самъ продиктую.

— «Accidenti! пробормоталъ старикъ,—va ben, va ben!» и отдалъ нашъ виды, не записывая.

Ученый жандармъ въ Тауцагенѣ былъ не того разбора; прочитавъ три раза въ трехъ пассахъ всѣ ордена Перовскаго, до пряжки за безпорочную службу, онъ спросилъ меня:

«Вы то Euer Hochwohlgeboren—кто такое?»

Я вытаращилъ глаза, не понимая, что онъ хочетъ отъ меня.

«Fräulein Maria E., Fräulein Maria K., Frau H., все женщины, тутъ нѣтъ ни одного мужского вида.»

Посмотрѣлъ я: дѣйствительно, тутъ были только пассы моей матери и двухъ нашихъ знакомыхъ, ѣхавшихъ съ нами; у меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ.

— Меня безъ вида не пропустили бы въ Таурогенѣ.

«Bereits so, только дальше-то ѣхать нельзя.»

— Что-же мнѣ дѣлать?

«Вѣроятно, вы забыли въ кордегардіи, я вамъ велю заложить санки, сѣздите сами, а ваши пока погрѣются у насъ.—Neh! Kerl, lass er mol den Braunen anspann.»

Я не могу безъ смѣха вспомнить этотъ глупый случай, именно потому, что я совершенно смутился отъ него. Потеря этого паспорта, о которомъ я нѣсколько лѣтъ мечталъ, о которомъ два года хлопоталъ, въ минуту переѣзда за границу, поразила меня. Я былъ увѣренъ, что я его положилъ въ карманъ, стало, я его выронилъ,—гдѣ-же искать? Его занесло снѣгомъ... Надобно просить новый, писать въ Ригу, можетъ, ѣхать самому; а тутъ сдѣлають докладъ, догадаются, что я къ минеральнымъ водамъ ѣду въ январѣ. Словомъ, я уже чувствовалъ себя въ Петербургѣ, образъ Кокоскина, Сартынского, Дуббелята бродили въ головѣ. Вотъ тебѣ и путешествіе, вотъ и Парижъ, свобода книгопечатанія, камеры и театры... Опять увижу я министерскихъ чиновниковъ, квартальныхъ и всякихъ другихъ надзирателей, городскихъ съ двумя блестящими пуговицами на спинѣ, которыми они смотрять назадъ... и прежде всего увижу опять небольшого сморщившагося солдата въ тяжеломъ киверѣ, на которомъ написано таинственное 4, обмерзлую казацкую лошадь... Хоть бы кормилицу-то мнѣ застать еще въ «Таврогѣ», какъ она говорила.

Между тѣмъ заложили большую, печальную и угловатую лошадь въ крошечныя санки. Я сѣлъ съ почталіономъ въ военной шинели и ботфортахъ, почталіонъ классически хлопнулъ классическимъ бичемъ,—какъ вдругъ ученый сержантъ выбѣжалъ въ сѣни въ однихъ панталонахъ и закричалъ:

«Halt! Halt! Da ist der vermaledeite Pass», и онъ его держалъ развернутымъ въ рукахъ.

Спазматическій смѣхъ овладѣлъ мною.

— Что-же вы это со мной дѣлаете? Гдѣ вы нашли?

«Посмотрите, сказалъ онъ, вашъ русскій сержантъ положилъ листъ въ листъ, кто же его тамъ зналъ, я не догадался повернуть листа...»

А, вѣдь, прочиталъ три раза: Es ergethet deshalb an alle hohe

Mächte, und an alle und jede, welchen Standes und welchen Würde sie auch sein mögen...

... «Въ Кёнигсбергъ я пріѣхалъ усталый отъ дороги, отъ заботъ, отъ многого. Выспавшись въ пуховой пропасти, я на другой день пошелъ посмотреть городъ; на дворъ былъ теплый зимній день» ¹⁾; хозяинъ гостиницы предложилъ проѣхаться въ санихъ, лошади были съ бубенчиками и колокольчиками, съ страховыми перьями на головѣ... И мы были веселы, тяжелая плита была снята съ груди, неприятное чувство страха, щемящее чувство подозрѣнія—отлетѣли. Вечеромъ я былъ въ небольшомъ, грязномъ и плохомъ театрѣ, но я и оттуда возвратился взволнованнымъ не актерами, а публикой, состоявшей большей частью изъ работниковъ и молодыхъ людей; въ антрактахъ всѣ говорили громко и свободно, всѣ надѣвали шляпы (чрезвычайно важная вещь, столько-же, сколько право бороду не брить и пр.). Эта развязность, этотъ элементъ болѣе ясный и живой, поражаетъ русскаго при переѣздѣ за границу.

...Когда мы поѣхали въ Берлинъ, я сѣлъ въ кабриолетъ; возлѣ меня усѣлся какой-то закутанный господинъ; дѣло было вечеромъ, я не могъ его путемъ разглядѣть. Узнавъ, что я русскій, онъ началъ меня спрашивать о строгости полиціи, о паспортахъ; я, разумѣется, рассказалъ ему все, что зналъ. Потомъ зашла рѣчь о Пруссіи, онъ восхвалялъ безкорыстіе прусскихъ чиновниковъ, превосходство администраціи, хвалилъ короля и, въ заключеніе, сильно напалъ на познанскихъ поляковъ за то, что они не хорошіе нѣмцы. Меня это удивило, я ему возражалъ, сказалъ прямо, что я совѣмъ не дѣлю его мнѣнія, и потомъ замолчалъ.

Между тѣмъ разсвѣло; тутъ только я замѣтилъ, что мой сосѣдъ консерваторъ говорилъ въ носъ вовсе не отъ простуды, а оттого, что у него его не было, по крайней мѣрѣ неоставало самой видной части. Онъ, вѣроятно, замѣтилъ, что открытіе это не принесло мнѣ особеннаго удовольствія, и потому счелъ нужнымъ рассказать мнѣ, въ родѣ извиненія, исторію о потерѣ носа и его возстановленіи. Первая часть была сбивчива, но вторая очень подробна: ему самъ Диффенбахъ вырѣзалъ изъ руки новый носъ, рука была привязана шесть недѣль къ лицу, «Majestat» пріѣзжалъ въ больницу посмотреть, высочайше удивился и одобрилъ.

Le roi de Prusse, en le voyant,
A dit: c'est vraiment étonnant.

Повидимому, Диффенбахъ былъ тогда занятъ чѣмъ-то другимъ и носъ ему вырѣзалъ прескверный. Но вскорѣ я открылъ, что

¹⁾ Письма изъ Франціи и Италіи. Письмо I.

собственноручный носъ былъ наименьшимъ изъ его недостатковъ.

Переѣздъ нашъ отъ Кёнигсберга въ Берлинъ былъ труднѣе всего путешествія. У насъ взялось откуда-то повѣрье, что прусскія почты хорошо устроены,—все это вздоръ. Почтовая ѣзда хороша только во Франціи, въ Швейцаріи, да въ Англіи. Въ Англіи почтовые кареты до того хорошо устроены, лошади такъ изящны и кучера такъ ловки, что можно ѣздить изъ удовольствія. Самыя длинныя станціи карета несется во весь опоръ; горы, сѣзды — все равно. Теперь, благодаря желѣзнымъ дорогамъ, вопросъ этотъ становится историческимъ, но тогда мы испытали нѣмецкія почты съ ихъ клячами, хуже которыхъ нѣтъ ничего на свѣтѣ, развѣ одни нѣмецкіе почталіоны.

Дорога отъ Кёнигсберга до Берлина очень длинна; мы взяли семь мѣстъ въ дилижансѣ и отправились. На первой станціи кондукторъ объявилъ, чтобы мы брали наши пожитки и садились въ другой дилижансъ, благоразумно предупреждая, что за цѣлость вещей онъ не отвѣчаетъ. Я ему замѣтилъ, что въ Кёнигсбергѣ я спрашивалъ, и мнѣ сказали, что мѣста останутся; кондукторъ ссылаясь на снѣгъ и на необходимость взять дилижансъ на полозьяхъ; противъ этого нечего было сказать. Мы начали перегружаться съ дѣтьми и пожитками ночью, въ мокромъ снѣгу. На слѣдующей станціи та же исторія, и кондукторъ уже не давалъ себѣ труда объяснять перемѣну экипажа. Такъ мы проѣхали съ полдороги; тутъ онъ объявилъ намъ очень просто, «что намъ дадутъ *только пять мѣстъ*». — Какъ пять? вотъ мой билетъ. — «Мѣстъ больше нѣтъ». — Я сталъ спорить, въ почтовомъ домѣ отворилось съ трескомъ окно и сѣдая голова съ усами грубо спросила, о чемъ споръ. Кондукторъ сказалъ, что я требую семь мѣстъ, а у него ихъ только пять; я прибавилъ, что у меня билетъ и расписка въ полученіи денегъ за семь мѣстъ. Голова, не обращаясь ко мнѣ, дерзкимъ, раздавленнымъ русско-нѣмецко-военнымъ голосомъ сказала кондуктору: «Ну, не хочеть этотъ господинъ пяти мѣстъ, такъ бросай пожитки долой, пусть ждетъ, когда будутъ семь пустыхъ мѣстъ». Послѣ этого почтенный почтмейстеръ, котораго кондукторъ называлъ «Негг Мајоръ», и котораго фамилія была Шверинъ, захлопнулъ окно. Обсудивъ дѣло, мы, какъ русскіе, рѣшились ѣхать. Бенвенуто Челлини, какъ итальянецъ, въ подобномъ случаѣ выстрѣлилъ бы изъ пистолета и убилъ почтмейстера.

Мой сосѣдъ, исправленный Диффенбахомъ, въ это время былъ въ трактирѣ; когда онъ вскарабкался на свое мѣсто и мы поѣхали, я разсказалъ ему исторію. Онъ былъ вышивши и, слѣдственно, въ благодушномъ расположеніи; онъ принялъ глубочайшее участіе

и просилъ меня дать ему въ Берлинѣ записку. «Вы почтовый чиновникъ?» спросилъ я.—«Нѣтъ», отвѣчалъ онъ еще больше въ носъ, «но это все равно... я... видите... какъ это здѣсь называется—служу въ центральной полиціи».

Это открытіе было для меня еще непріятнѣ собственноручнаго носа.

Первый человѣкъ, съ которымъ я либеральничалъ въ Европѣ, былъ шпіонъ, за то онъ не былъ послѣдній.

Берлинъ, Кёльнъ, Бельгія, все это быстро прорѣяло передъ глазами: мы смотрѣли на все полуразсѣяннo, мимоходомъ; мы торопились доѣхать, и *доѣхали* наконецъ.

...Я отворилъ старинное, тяжелое окно въ Hôtel du Rhin, передо мной стояла колонна—

...съ куклою чугунной,
Подъ шляпой, съ пасмурнымъ челомъ,
Съ руками, сжатыми крестомъ.

Итакъ, я дѣйствительно въ Парижѣ, не во снѣ, а наяву: вѣдь, это Вандомская колонна и rue de la Paix.

Въ *Парижѣ*—едва-ли въ этомъ словѣ звучало для меня меньше, чѣмъ въ словѣ «Москва». Объ этой минутѣ я мечталъ съ дѣтства. Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Foy въ Пале-Роялѣ, гдѣ Камиль Демуленъ сорвалъ зеленый листъ и прикрѣпилъ его къ шляпѣ, вмѣсто кокарды, съ крикомъ: à la Bastille!

Дома я не могъ остаться; я одѣлся и пошелъ бродить зря... искать Бакунина, Сазонова — вотъ rue St.-Honoré, Елисейскія поля—все эти имена, сроднившіяся съ давнихъ лѣтъ... да вотъ и самъ Бакунинъ...

Его я встрѣтилъ на углу какой-то улицы; онъ шелъ съ тремя знакомыми, и точно въ Москвѣ проповѣдывалъ имъ что-то, безпрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этотъ разъ проповѣдь осталась безъ заключенія, я ее перервалъ и пошелъ вмѣстѣ съ нимъ удивлять Сазонова моимъ пріѣздомъ.

Я былъ внѣ себя отъ радости!

На ней я здѣсь и останавлиюсь.

Парижъ еще разъ описывать не стану. Начальное знакомство съ европейской жизнію, торжественная прогулка по Италіи, вспрынувшей отъ сна, революція у подножія Везувія, революція передъ церковью св. Петра, и, наконецъ, громовая вѣсть о 24 февралѣ,—все это рассказано въ моихъ письмахъ *изъ Франціи и Италіи*. Мнѣ не передать теперь съ прежней живостью впечатлѣнія, полустертыя и задвинутыя другими. Они составляютъ необходимую часть моихъ *Записокъ*,—что-же вообще письма, какъ не *записки* о короткомъ времени.

ГЛАВА XXXV.

Медовый мѣсяцъ республики.

Англичанинъ въ мѣховой курткѣ.—Герцогъ де Ноаль.—Свобода и ся бюсть въ Марсели.—Аббатъ Спбуръ и Всемирная республика въ Авиньонѣ.

...«Завтра мы ѣдемъ въ Парижъ, я оставляю Римъ оживленнымъ, взволнованнымъ. Что-то будетъ изъ всего этого? Прочно-ли все это? Небо не безъ тучъ, временами вѣетъ холодный вѣтеръ изъ могильныхъ склеповъ, нанося запахъ трупа, запахъ прошедшаго; историческая трамонтана сильна, но, что бы ни было, благодарность Риму за пять мѣсяцевъ, которые я въ немъ провелъ. Что прочувствовано, то останется въ душѣ, и совершенно всего не сдуетъ же реакція».

Вотъ что я писалъ въ концѣ апрѣля 1848 г., сидя у окна на *Via del Corso* и глядя на «Народную» площадь, на которой я такъ много видѣлъ и такъ много чувствовалъ.

Я ѣхалъ изъ Италіи влюбленный въ нее, мнѣ жалъ было ея: тамъ встрѣтилъ я не только великія событія, но и первыхъ симпатичныхъ мнѣ людей; а все-таки ѣхалъ. Мнѣ казалось измѣной всѣмъ моимъ убѣжденіямъ не быть въ Парижѣ, когда въ немъ республика. Сомнѣнія видны въ приведенныхъ строкахъ, но вѣра брала верхъ и я съ внутреннимъ удовольствіемъ смотрѣлъ въ Чивитѣ на печать консульской визы, на которой были вырѣзаны грозныя слова: «*République Française*» — я и не подумалъ, что именно потому Франція и не республика, что надо визу!

Мы ѣхали на почтовомъ пароходѣ. Общество было довольно большое и, какъ всегда, разнообразно составленное: тутъ были путешественники изъ Александріи, Смирны, Мальты. Съ Ливорно начиная, поднялся страшный весенній вѣтеръ: онъ гналъ пароходъ съ неимоверной быстротою и съ невыносимой качкой: черезъ два-три часа палуба покрылась больными дамами, мало-помалу слегли и мужчины, исключая одного сѣдого старичка француза, англичанина въ мѣховой курткѣ и мѣховой шапкѣ изъ Канады и меня. Каюты были тоже наполнены больными, и одной духоты и жара въ нихъ было достаточно, чтобъ заболѣть; мы трое ночью сидѣли по срединѣ палубы на чемоданахъ, покрывшись шинелями и рельверагами, подъ завыванье вѣтра и плескъ волнъ, заливавшихъ иногда переднюю часть палубы. Англичанина

я зналъ: въ прошедшемъ году мы ѣхали съ нимъ на одномъ пароходѣ изъ Генуи въ Чивита-Веккію. Случилось, что мы обѣдали только двое; онъ весь обѣдъ ничего не говорилъ, но за десертомъ, смягченный марсалою и видя, что и я съ своей стороны не намѣренъ вступать въ разговоръ, онъ подаль мнѣ сигару и сказалъ, «что сигары свои онъ самъ привезъ изъ Гаванны». Потомъ мы разговорились съ нимъ: онъ былъ въ южной Америкѣ, въ Калифорніи, и говорилъ, что много разъ собирался съѣздить въ Петербургъ и въ Москву, но не поѣдетъ, пока не будетъ *правильнаго* сообщенія и прямого, между Лондономъ и Петербургомъ¹⁾.

— Вы въ Римъ? спросилъ я его, подъѣзжая къ Чивитѣ.

— «Не знаю», отвѣчалъ онъ.

Я замолчалъ, полагая, что онъ принялъ мой вопросъ за нескромный, но онъ тотчасъ добавилъ:

— «Это зависитъ отъ того, какъ климатъ мнѣ понравится въ Чивитѣ. А вы остаетесь здѣсь?»

— Да. Пароходъ пойдетъ завтра.

Я тогда еще очень мало зналъ англичанъ и потому едва могъ скрыть смѣхъ—и совсѣмъ не могъ, когда на другой день, гуляя передъ отелемъ, встрѣтилъ его въ той-же мѣховой курткѣ, съ портфелемъ, зрительной трубкой, маленькимъ несесерчикомъ, шествующаго передъ слугой, навьюченнымъ чемоданомъ и всякимъ добромъ.

— «Я въ Неаполь», сказалъ онъ, поровнявшись.

— Что-же, климатъ не понравился?

— «Скверный».

Я забылъ сказать, что въ первый проѣздъ онъ лежалъ въ каютѣ на койкѣ, которая была непосредственно надъ моею; въ продолженіе ночи онъ раза три чуть не убилъ меня: то страхомъ, то ногами; въ каютѣ была смертная жара, онъ нѣсколько разъ ходилъ пить коньякъ съ водой, и всякій разъ, сходя или входя, наступалъ на меня и громко кричалъ, испугавшись: «Oh—beg pardon—j'ai avais soif».—«Pas de mal».

Съ нимъ, стало, въ этотъ путь мы встрѣтились какъ старые знакомые; онъ съ величайшей похвалою отозвался о томъ, что я не подверженъ морской болѣзни, и подаль мнѣ свои гаванскія сигары. Совершенно естественно, что черезъ минуту разговоръ зашелъ о февральской революціи. Англичанинъ, разумѣется, смотрѣлъ на революцію въ Европѣ, какъ на интересное зрѣлище, какъ на источникъ новыхъ и любопытныхъ наблюдений и ощущеній, и рассказывалъ о революціи въ Новоколумбійской республикѣ.

Французъ принималъ иное участіе въ этихъ дѣлахъ... Съ нимъ,

¹⁾ Теперь оно есть.

черезъ пять минутъ, у меня завязался споръ; онъ отвѣчалъ уклончиво, умно, не уступая, впрочемъ, ничего и съ чрезвычайной учтивостью. Я защищалъ республику и революцію. Старикъ, не нападая прямо на нее, стоялъ за историческія формы, какъ единственно прочныя, народныя и способныя удовлетворить и справедливому прогрессу и необходимой осѣдлости.

— Вы не можете себя представить, сказалъ я ему шутя, какое оригинальное наслажденіе вы доставляете мнѣ вашими недомолвками. Я лѣтъ пятнадцать говорилъ такъ о монархіи, какъ вы говорите о республикѣ. Роли перемѣнились: я, защищая республику—консерваторъ, а вы, защищая легитимистскую монархію,—*perturbateur de l'ordre politique*.

Старикъ и англичанинъ расхохотались. Къ намъ подошелъ еще одинъ тощій, высокій господинъ, котораго носъ обезсмертилъ Шаривари и Филипонъ—графъ д'Аргу (Шаривари говорилъ, что его дочь потому не выходитъ замужъ, чтобъ не подписываться: такая-то, *née d'Argout*). Онъ вступилъ въ разговоръ, съ уваженіемъ обращался со старикомъ, но на меня смотрѣлъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ, близкимъ къ отвращенію; я замѣтилъ это и сталъ говорить на четыре градуса *краснѣе*.

— Это презамѣчательная вещь, сказалъ мнѣ сѣдой старикъ, вы не первый русскій, котораго я встрѣчаю съ такимъ образомъ мыслей. Вы, русскіе, или совершеннѣйшіе рабы, или—*passer moi le mot*—анархисты. А изъ этого слѣдствіе то, что вы еще долго не будете свободными. Въ этомъ родѣ продолжался нашъ политическій разговоръ ¹⁾.

Когда мы подъѣзжали къ Марсели и всѣ стали суетиться о пожиткахъ, я подошелъ къ старику и, подавая ему свою карточку, сказалъ, что мнѣ пріятно думать, что споръ нашъ подѣ морскую качку не оставилъ непріятныхъ слѣдовъ. Старикъ очень мило простился со мной, поострилъ еще что-то насчетъ республиканцевъ, которыхъ я, наконецъ, увижу поближе, и подалъ мнѣ свою карточку. Это былъ герцогъ де Ноаль, родственникъ Бурбоновъ и одинъ изъ главныхъ совѣтниковъ Генриха V.

(Случай этотъ, весьма неважный, я рассказалъ для пользы и поученія нашихъ *герцоговъ* первыхъ трехъ классовъ. Будь на мѣстѣ Ноаля какой-нибудь сенаторъ или тайный совѣтникъ, онъ просто принялъ бы мои слова за дерзость по службѣ и послалъ бы за капитаномъ корабля.

Одинъ русскій министръ въ 1850 г. ²⁾ съ своей семьей сидѣлъ на пароходѣ въ каретѣ, чтобъ не быть въ соприкосновеніи

¹⁾ Сужденіе это я слышалъ потомъ разъ десять.

²⁾ Знаменитый Викторъ Панинъ.

съ пассажирами изъ обыкновенныхъ смертныхъ. Можете ли вы себѣ представить что-нибудь смѣшнѣе, какъ сидѣть въ отложенной каретѣ... да еще на морѣ, да еще имѣя двойной ростъ?

Надменность нашихъ сановниковъ происходитъ вовсе не изъ аристократизма, барство выводится; это чувство ливрейныхъ, пудренныхъ слугъ въ большихъ домахъ, чрезвычайно подлыхъ въ одну сторону, чрезвычайно дерзкихъ въ другую. Аристократъ—лицо, а наши—вовсе не имѣютъ личности; они похожи на павловскія медали съ надписью: «не намъ, не намъ, а имени твоему». Къ этому ведетъ цѣлое воспитаніе: солдатъ думаетъ, что его *только* потому нельзя бить палками, что у него аннинскій крестъ, станціонный смотритель ставитъ между ладонью путешественника и своей щекой офицерское званіе, обиженный чиновникъ указываетъ на Станислава или Владиміра—«не собой, не собой... а чиномъ своимъ!»

Выходя изъ парохода въ Марсели, я встрѣтилъ большую процессію національной гвардіи, которая несла въ Hôtel de Ville бюстъ свободы, т. е. женщину съ огромными кудрями въ фригійской шапкѣ. Съ крикомъ: *vive la République!* шли тысячи вооруженныхъ гражданъ, и въ томъ числѣ работники въ блузахъ, взшедшіе въ составъ національной гвардіи послѣ 24 февраля. Разумѣется, что и я пошелъ за ними. Когда процессія подошла къ Hôtel de Ville, генералъ, меръ и комиссаръ временнаго правительства, Демостенъ Оливье, вышли въ сѣни. Демостенъ, какъ слѣдовало ожидать по его имени, приготовился произнести рѣчь. Около него сдѣлали большой кругъ: толпа, разумѣется, двигалась впередъ, національная гвардія ее осаживала назадъ, толпа не слушалась; это оскорбило вооруженныхъ блузниковъ, они опустили ружья и, повернувшись, стали давить прикладами носки людей, стоящихъ впереди; граждане «единой и нераздѣльной республики» понялись...

Дѣло это тѣмъ больше удивило меня, что я еще весь былъ подъ вліяніемъ итальянскихъ и въ особенности римскихъ Аравовъ, гдѣ гордое чувство личнаго достоинства и *тѣлесной* неприкосновенности развито въ каждомъ человѣкѣ, не только въ факино, въ почталъонѣ, но и въ нищемъ, который протягиваетъ руку. Въ Романьи на эту дерзость отвѣчали бы двадцатью «колтелатами». Французы понялись,—можетъ, у нихъ были мозоли?

Случай этотъ непріятно подѣйствовалъ на меня: къ тому-же, пришедши въ hôtel, я прочелъ въ газетахъ руанскую исторію. Что-же это значить, неужели герцога Ноаль правъ?

Но когда человѣкъ хочетъ вѣрить, его вѣру трудно искоренить, и, не доѣзжая до Авиньона, я забылъ марсельскіе приклады и руанскіе штыки.

Въ дилижансѣ съ нами сѣлъ дородный, осанистый аббатъ, среднихъ лѣтъ и пріятной наружности. Сначала онъ ради пріличія принялся за молитвенникъ, но вскорѣ, чтобъ не дремать, онъ положилъ его въ карманъ и началъ мило и умно разговаривать, съ классической правильностью языка Пор-ройяля и Сорбонны, съ цитатами и цѣломудренными островами.

Дѣйствительно, одни французы умѣютъ разговаривать. Нѣмцы признаются въ любви, повѣряютъ тайны, поучаютъ или ругаются. Въ Англіи оттого и любятъ рауты, что тутъ не до разговора... толпа, нѣтъ мѣста, всѣ толкуются и толкаются, никто никого не знаетъ; если же соберется маленькое общество, сейчасъ скверная музыка, фальшивое пѣніе, скучныя маленькія игры, или гости и хозяева съ необычайной тягостью волочутъ разговоръ, останавливаясь, задыхаясь и напоминая несчастныхъ лошадей, которыя, выбившись изъ силъ, тянутъ противъ теченія по бечевнику нагруженную барку.

Мнѣ хотѣлось подразнить аббата республикой, и не удалось. Онъ былъ доволенъ свободой *безъ извѣстствъ*, главное, безъ крови и войны, и считалъ Ламартина великимъ человѣкомъ, чѣмъ-то въ родѣ Перикла.

— И Сафо, добавилъ я, не вступая, впрочемъ, въ споръ, и благодарный за то, что онъ не говорилъ ни слова о религіи. Такъ, болтая, доѣхали мы до Авиньона, часовъ въ 11 вечера.

— Позвольте мнѣ, сказалъ я аббату, наливая ему за ужиномъ вино, предложить довольно рѣдкій тостъ:—За республику *et pour les hommes de l'église qui sont républicains*.

Аббатъ всталъ и заключилъ нѣсколько цицероновскихъ фразъ словами: *A la République future*.

«*A la République universelle!*»—закричалъ кондукторъ дилижанса и человѣка три, сидѣвшихъ за столомъ. Мы чокнулись.

Католическій попъ, два-три сидѣльца, кондукторъ и русскіе—какъ же не всеобщая республика?

А, вѣдь, весело было!

— Куда вы? спросилъ я аббата, усаживаясь снова въ дилижансъ и попросивъ его пастырскаго благословенія на куреніе сигары.

— Въ Парижъ, отвѣчалъ онъ, я избранъ въ національное собраніе, я буду очень радъ видѣть васъ у себя; вотъ мой адресъ. Это былъ аббатъ Сибуръ, доуенъ чего-то, братъ парижскаго архіерея.

... Черезъ двѣ недѣли наступало 15 мая, этотъ грозный ригурнель, за которымъ шли страшные іюньскіе дни. Тутъ все

принадлежитъ не моей біографіи, а біографіи рода человѣческаго...

Объ этихъ дняхъ я много писалъ.

Я могъ бы тутъ кончить, какъ старый капитанъ въ старой пѣснѣ:

Te souviens tu?... mais ici je m'arrête,
Ici finit tout nable souvenir,

Но съ этихъ-то *проклятыхъ* дней и начинается послѣдняя часть моей жизни.

Западныя арабески.

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ.

I.

Сонъ.

Помните ли, друзья, какъ хорошъ былъ тотъ зимній день, солнечный, ясный, когда шесть-семь троекъ провожали насъ до Черной Грязи, когда мы тамъ въ послѣдній разъ сдвинули стаканы и, рыдая, разстались?

... Былъ уже вечеръ, возокъ закрипѣлъ по снѣгу, вы смотрѣли печально вслѣдъ и не догадывались, что это были похороны и вѣчная разлука. Всѣ были налицо, одного только не доставало, *ближайшаго изъ близкихъ*, онъ одинъ былъ далекъ и какъ будто своимъ отсутствіемъ омылъ руки въ моемъ отъѣздѣ.

Это было 21 января 1847 года.

Съ тѣхъ поръ прошли семь лѣтъ ¹⁾ и *какіе семь лѣтъ!* Въ ихъ числѣ 1848 и 1852.

Чего и чего не было въ это время, и все рухнуло—общее и частное, европейская революція и домашній кровъ, свобода міра и личное счастье.

Камня на камнѣ не осталось отъ прежней жизни. *Тогда* я былъ во всей силѣ развитія, моя предшествовавшая жизнь дала мнѣ залоги. Я смѣло шелъ отъ васъ съ опрометчивой самонадѣянностью, съ надменнымъ довѣріемъ къ жизни. Я торопился оторваться отъ маленькой кучки людей, тѣсно сжившихся, близко подошедшихъ другъ къ другу, связанныхъ глубокой любовью и общимъ горемъ. Меня манила даль, ширь, открытая борьба и вольная рѣчь, я искалъ независимой арены, мнѣ хотѣлось попробовать свои силы на волѣ...

¹⁾ Писано въ концѣ 1853 года.

Теперь, я уже и не жду ничего, ничто, послѣ видѣннаго и испытаннаго мною, не удивить меня особенно и не обрадуетъ глубоко; удивленіе и радость обузданы воспоминаніями былого, страхомъ будущаго. Почти все стало мнѣ безразлично, и я равно не желаю ни завтра умереть, ни очень долго жить; пускай себѣ конецъ придетъ такъ же случайно и бессмысленно, какъ начало.

А, вѣдь, я нашелъ все, чего искалъ, даже признаніе со стороны стараго, себядовольнаго міра, да рядомъ съ этимъ утрату всѣхъ вѣрованій, всѣхъ благъ, предательство, коварные удары изъ-за угла и вообще такое нравственное растлѣніе, о которомъ вы не имѣете и понятія.

Трудно, очень трудно мнѣ начать эту часть разсказа; отступая отъ нея, я написалъ три предшествующія части, но, наконецъ, мы съ нею лицомъ къ лицу. Въ сторону слабость, кто могъ пережить, тотъ долженъ имѣть силу помнить.

Съ половины 1848 года мнѣ нечего разсказывать, кромѣ мучительныхъ испытаній, неотомщенныхъ оскорбленій, незаслуженныхъ ударовъ. Въ памяти одни печальные образы, собственные и чужія ошибки: ошибки лицъ, ошибки цѣлыхъ народовъ. Тамъ, гдѣ была возможность спасенія, тамъ смерть переѣхала дорогу...

... Послѣдними днями нашей жизни въ Римѣ заключается свѣтлая часть воспоминаній, начавшихся съ дѣтскаго пробужденія мысли, съ отроческаго обрученія на Воробьевыхъ горахъ.

Испуганный Парижемъ 1847 г., я, было, раньше раскрылъ глаза, но снова увлекся событіями, кипѣвшими возлѣ меня. Вся Италія «просыпалась» на моихъ глазахъ! Я видѣлъ неаполитанскаго короля, сдѣланнаго ручнымъ, и папу, смиренно просящаго милостыню народной любви,—вихрь, поднявшій все, унесъ и меня; вся Европа взяла одръ свой и пошла—въ припадкѣ лунатизма, принятаго нами за пробужденіе. Когда я пришелъ въ себя, все исчезло,—la Sonnambula, испуганная полиціей, упала съ крыши, друзья разсѣялись, или съ ожесточеніемъ добивали другъ друга... И я очутился одинъ-одинехонекъ, между гробовъ и колыбелей—сторожемъ, защитникомъ, мстителемъ, и ничего не сумѣлъ сдѣлать, потому что хотѣлъ сдѣлать больше обыкновеннаго.

И теперь я сижу въ Лондонѣ, куда меня случайно забросило,—и остаюсь здѣсь, потому что не знаю, что изъ себя сдѣлать. Чужая порода людей кишитъ, мечется около меня, объята тяжелымъ дыханьемъ океана; міръ, распускающійся въ хаосъ, теряющійся въ туманѣ, въ которомъ очертанія смутились, въ которомъ огонь дѣлаетъ только тусклыя пятна.

... А *та* страна, обмытая темно-синимъ моремъ, накрытая темно-синимъ небомъ... Она одна осталась свѣтлой полосой—по ту сторону кладбища.

О, Римъ, какъ люблю я возвращаться къ твоимъ обманамъ, какъ охотно перебираю я день за день время, въ которое я былъ пьянъ тобою!

... Темная ночь. Корсо покрыто народомъ, кое-гдѣ факелы. Въ Парижѣ уже съ мѣсяцъ провозглашена республика. Новости пришли изъ Милана: тамъ дерутся, народъ требуетъ войны, носится слухъ, что Карлъ Альбертъ идетъ съ войскомъ. Говоръ недовольной толпы похожъ на перемежающийся ревъ волны, которая то приливаетъ съ шумомъ, то тихо переводитъ духъ.

Толпы строятся, онѣ идутъ къ піемонтскому послу узнать, объявлена-ли война.

— Въ ряды, въ ряды съ нами, кричатъ десятки голосовъ.

— «Мы иностранцы».

— Тѣмъ лучше, *Santo dio*, вы наши гости.

Пошли и мы.

Впередъ гостей, впередъ дамъ; впередъ *le donne forestiere*!

И толпа съ страстнымъ крикомъ одобренія разступилась. Чичероваккіо и съ нимъ молодой римлянинъ, поэтъ народныхъ пѣсенъ, продираются съ знаменемъ, трибунъ жметъ руки дамамъ и становится съ ними во главѣ десяти-двѣнадцати тысячъ человѣкъ,—и все двинулось въ томъ величавомъ и стройномъ порядкѣ, который свойствененъ только одному римскому народу.

Передовые вошли въ Палаццо и, черезъ нѣсколько минутъ, двери залы растворились на балконъ. Посолъ явился успокоить народъ и подтвердить вѣсть о роинѣ; слова его приняты съ изступленной радостью. Чичероваккіо былъ на балконѣ, сильно освѣщенный факелами и канделябрами, а возлѣ него освѣщенные знаменемъ Италіи четыре молодыя женщины, всѣ *четыре русскія*—не странно-ли? Я какъ теперь ихъ вижу на этой каменной трибунѣ и внизу колыхающийся, безчисленный народъ, мѣшавшій съ криками войны и проклятіями іезуитамъ громкое—*Evviva le donne forestiere*.

Въ Англіи ихъ и насъ освистали бы, осыпали бы грубостями, а, можетъ, и камнями. Во Франціи приняли бы за подкупныхъ агентовъ. А здѣсь аристократическій пролетарій, потомокъ Марія и древнихъ трибуновъ, горячо и искренно привѣтствовалъ насъ. Мы имъ были приняты въ европейскую борьбу... И съ одной Италіей не прервалась еще связь любви, по крайней мѣрѣ, сердечной памяти.

— И будто все это было..... опьяненіе, горячка? Можетъ—но я не завидую тѣмъ, которые не увлеклись тогда пиящимъ сновидѣніемъ. Долго спать все-же нельзя было; неумолимый Макбетъ дѣйствительной жизни заносилъ уже свою руку, чтобъ убить «сонъ»...и

My dream was past—it has no further change!

II.

Въ грозу ¹⁾.

... Вечеромъ 24 іюня, возвращаясь съ place Maubert, я взомель въ кафе на набережной Orsay. Черезъ нѣсколько минутъ раздался нестройный крикъ и слышался все ближе и ближе; я подошелъ къ окну: уродливая, комическая banlieu шла изъ окрестностей на помощь порядку; неуклюжіе, плюгавые полумужики и полулавочники, нѣсколько навеселѣ, въ скверныхъ мундирахъ и старинныхъ киверахъ, шли быстрымъ, но безпорядочнымъ шагомъ, съ крикомъ: «Да здравствуетъ Людовикъ Наполеонъ!»

Этотъ зловѣщій крикъ я тутъ услышалъ въ первый разъ. Я не могъ выдержать и, когда они поравнялись, закричалъ изо всѣхъ силъ: «Да здравствуетъ республика!» Ближніе къ окну показали мнѣ кулаки, офицеръ пробормоталъ какое-то ругательство, грозя шпагой; и долго еще слышался ихъ привѣтственный крикъ чловѣку, шедшему казнить половинную революцію, убить половинную республику, наказать собою Францію, забывшую въ своей кичливости другіе народы и свой собственный пролетариатъ.

Двадцать пятого или шестого іюня, въ 8 часовъ утра, мы пошли съ А. на Елисейскія поля; канонада, которую мы слышали ночью, умолкла, по временамъ только трещала ружейная перестрѣлка и раздавался барабанъ. Улицы были пусты, по обѣимъ сторонамъ стояла національная гвардія. На Place de la Concorde былъ отрядъ мобили; около нихъ стояло нѣсколько бѣдныхъ женщинъ съ метлами, нѣсколько тряпичниковъ и дворниковъ изъ ближнихъ домовъ, у всѣхъ лица были мрачны и поражены ужасомъ. Мальчикъ лѣтъ 17, опираясь на ружье, что-то рассказывалъ; подошли и мы. Онъ и всѣ его товарищи, такіе же мальчишки, были полупьяны, съ лицами, запачканными порохомъ, съ глазами, воспаленными отъ неспанныхъ ночей и водки; многіе дремали, упирая подбородокъ на ружейное дуло.—«Ну, ужъ тутъ что было, этого и описать нельзя»; замолчавъ, онъ продолжалъ: «да, и они таки хорошо дрались, ну, только и мы за нашихъ товарищей заплатили! сколько ихъ попадало! я самъ до дула всадилъ штыкъ ияти или шести чловѣкамъ—припомнать!» добавилъ онъ, желая себя выдать за законнаго злодѣя. Женщины были блѣдны и молчали, какой-то дворникъ замѣтилъ: «по дѣломъ мерзавцамъ»!..

¹⁾ Двѣ главы: „Передъ грозой“ „Послѣ грозы“ см. въ „Съ того берега“.

но дикое замѣчаніе не нашло ни малѣйшаго отзыва. Это было слишкомъ низкое общество, чтобъ сочувствовать рѣзнѣ и несчастному мальчишкѣ, изъ котораго сдѣлали убійцу.

Мы молча и печально пошли къ Мадленѣ. Тутъ насъ остановилъ кордонъ національной гвардіи. Сначала пошарили въ карманахъ, спросили, куда мы идемъ, и пропустили; но слѣдующій кордонъ, за Мадленой, отказалъ въ пропускѣ и отослалъ насъ назадъ; когда мы возвратились къ первому, насъ снова остановили. «Да, вѣдь, вы видѣли, что мы сейчасъ тутъ шли?»—Не пропускайте, закричалъ офицеръ.—«Что, вы смѣтаете надъ нами, что-ли?» спросилъ я его.—«Тутъ нечего толковать, грубо отвѣтили лавочникъ въ мундирѣ,—берите ихъ, и въ полицію: одного я знаю (онъ указалъ на меня), я его не разъ видѣлъ на сходкахъ, другой долженъ быть такой-же, они оба не французы, я отвѣчаю за все—впередъ». Два солдата съ ружьями впереди, два за нами, по солдату съ каждой стороны—повели насъ. Первый встрѣтившійся человѣкъ былъ представитель народа, съ глупой воронкой въ петлицѣ,—это былъ Токвиль, писавшій объ Америкѣ. Я обратился къ нему и рассказалъ, въ чемъ дѣло; шутить было нечего, они безъ всякаго суда держали людей въ тюрьмѣ, бросали въ тюльерійскіе подвалы, разстрѣливали. Токвиль даже не спросилъ, кто мы; онъ весьма учтиво раскланялся и отпустилъ нижеслѣдующую пошлость: «Законодательная власть не имѣетъ никакого права вступать въ распоряженія исполнительной». Какъ-же ему было не быть министромъ при Бонапартѣ?

«Исполнительная власть» повела насъ по бульвару, въ улицу Шоссе д'Антенъ, къ комиссару полиціи. Кстати, не мѣшаетъ замѣтить, что ни при арестѣ, ни при обыскѣ, ни во время пути я не видалъ ни одного полицейскаго; все дѣлали мѣщане-воины. Бульваръ былъ совершенно пустъ, всѣ лавки заперты, жители бросались къ окнамъ и дверямъ, слыша наши шаги, и спрашивали, что мы за люди: *des émeutiers étrangers*, отвѣчалъ нашъ конвой, и добрые мѣщане смотрѣли на насъ со скрежетомъ зубовъ.

Изъ полиціи насъ отослали въ *hôtel des Capucines*; тамъ помѣщалось министерство иностранныхъ дѣлъ, но на это время какая-то временная полицейская комиссія. Мы съ конвоемъ вошли въ обширный кабинетъ. Плѣшивый старикъ въ очкахъ и весь въ черномъ сидѣлъ одинъ за столомъ; онъ снова спросилъ насъ все то, что спрашивалъ комиссаръ. «Гдѣ ваши виды?»—Мы ихъ никогда не носимъ, ходя гулять... Онъ взялъ какую-то тетрадь, долго просматривалъ ее, повидимому, ничего не нашелъ, и спросилъ провожатаго: «Почему вы захватили ихъ?»—Офицеръ велѣлъ; онъ говоритъ, что это очень подозрительные люди.—«Хорошо, сказалъ старикъ, я разберу дѣло, вы можете идти».

Когда наши провожатые ушли, старикъ просилъ насъ объяснить причину нашего ареста. Я ему изложилъ дѣло, прибавилъ, что офицеръ, можетъ, видѣлъ меня 15 мая у Собранія, и рассказалъ случай, бывший со мной вчера: я сидѣлъ въ кафе Комартенъ, вдругъ сдѣлалась фальшивая тревога, эскадронъ драгунъ пронесся во весь опоръ, національная гвардія стала строиться, я и человекъ пять, бывшихъ въ кафе, подошли къ окну; національный гвардеецъ, стоявшій внизу, грубо закричалъ: «Слышали, что-ли, чтобъ окна были затворены?» Тонъ его далъ мнѣ право думать, что онъ не сомной говорить, и я не обратилъ ни малѣйшаго вниманія на его слова; къ тому-же я былъ не одинъ, а случайно стоялъ впереди. Тогда защитникъ порядка поднялъ ружье и, такъ какъ это происходило въ *rez-de-chaussée*, хотѣлъ пырнуть штыкомъ, но я замѣтилъ его движеніе, отступилъ и сказалъ другимъ: «Господа, вы свидѣтели, что я ему ничего не сдѣлалъ,—или это такой обычай у національной гвардіи колотить иностранцевъ!» *Mais c'est indigne, mais cela n'a pas de nom!* подхватили мои сосѣди. Испуганный трактирщикъ бросился закрывать окна, сержантъ съ подлой наружностью явился съ приказомъ гнать всѣхъ изъ кофейной; мнѣ казалось, что это былъ тотъ самый господинъ, который велѣлъ насъ остановить. Къ тому-же кафе Комартенъ въ двухъ шагахъ отъ Мадлены.

— Вотъ то-то, господа, видите, что значитъ неосторожность, зачѣмъ въ такое время выходить со двора, умы раздражены, кровь течетъ...

Въ это время національный гвардеецъ привелъ какую-то служанку, говоря, что офицеръ ее схватилъ въ то самое время, какъ она хотѣла бросить въ ящикъ письмо, адресованное въ Берлинъ. Старикъ взялъ пакетъ и велѣлъ солдату идти.

— Вы можете отправляться домой, сказалъ онъ намъ, только, пожалуйста, не ходите прежними улицами, особенно мимо кордона, который васъ схватилъ. Да, постойте, я вамъ дамъ провожатаго, онъ васъ выведетъ на Елисейскія поля, тамъ можете пройти.

— Ну и вы, замѣтилъ онъ служанкѣ, отдавая письмо, до котораго не дотронулся, бросьте ваше письмо въ другой ящикъ, гдѣ-нибудь подальше.

Итакъ, полиція защищала отъ вооруженныхъ мѣщанъ!

Ночью, съ 26 на 27 іюня, рассказываетъ Пьеръ Леру, онъ былъ у Сенара, прося его распорядиться насчетъ плѣнныхъ, которые задыхались въ подвалахъ Тюльери. Сенаръ, человекъ извѣстный своимъ отчаяннымъ консерватизмомъ, сказалъ Пьеръ Леру: «А кто будетъ отвѣчать за ихъ жизнь на дорогѣ? ихъ перебьютъ національная гвардія. Если-бъ вы пришли часомъ раньше, вы застали бы здѣсь двухъ полковниковъ, я насилу ихъ унялъ,

и кончилъ тѣмъ, что сказалъ имъ, что если эти ужасы будутъ продолжаться, то я, вмѣсто президентскаго стула въ Собраніи, займу мѣсто за баррикадой».

Часа черезъ два, по возвращеніи домой, явился дворникъ, незнакомый человѣкъ во фракѣ и человѣка четыре въ блузахъ, дурно скрывавшихъ муниципальные усы и жандармскую выправку. Незнакомецъ разстегнулъ фракъ и жилетъ и, съ достоинствомъ указывая на трехцвѣтный шарфъ, сказалъ, что онъ комиссаръ полиціи Барле (тотъ самый, который въ народномъ собраніи втораго декабря взялъ за шиворотъ человѣка, взявшаго въ свою очередь Римъ—генерала Удино), и что ему вѣлно сдѣлать у меня обыскъ. Я подалъ ему ключъ, и онъ принялся за дѣло совершенно такъ, какъ въ 1834 году полицмейстеръ Миллеръ.

Вошла моя жена; комиссаръ, какъ нѣкогда жандармскій офицеръ, пріѣзжавшій отъ Дубельта, сталъ извиняться. Жена моя, спокойно и прямо глядя на него, сказала, когда онъ, въ заключеніе рѣчи, просилъ быть снисходительной: «Это было бы жестоко съ моей стороны не взойти въ ваше положеніе, вы уже довольно наказаны обязанностью дѣлать то, что вы дѣлаете».

Комиссаръ покраснѣлъ, но не сказалъ ни слова. Порывшись въ бумагахъ и отложивъ цѣлый ворохъ, онъ вдругъ подошелъ къ камину, понюхалъ, потрогалъ золу и, важно обращаясь ко мнѣ, спросилъ:—Съ какой цѣлью жгли вы бумаги?

— Я не жегъ бумагъ.

— Помилуйте, зола еще теплая.

— Нѣтъ, она не теплая.

— Monsieur, vous parlez à un magistrat?

— А зола все же холодная, сказалъ я, вспыхнувъ и поднявъ голосъ.

— Что же, я лгу?

— Почему же вы имѣете право сомнѣваться въ моихъ словахъ... Вотъ съ вами какіе-то *честные работники*, пусть попробуютъ. Ну, да если-бъ я и жегъ бумагу: во-первыхъ, я въ правѣ жечь, а во-вторыхъ, что же вы сдѣлаете?

— Больше у васъ нѣтъ бумагъ?

— Нѣтъ.

— У меня есть еще нѣсколько писемъ и презанимательныхъ, пойдемте ко мнѣ, сказала жена.

— Помилуйте, ваши письма...

— Пожалуйста, не церемоньтесь... вѣдь, вы исполняете вашъ долгъ, пойдемте. Комиссаръ пошелъ, слегка взглянулъ на письма большей частію изъ Италіи и хотѣлъ выйти...

— А вотъ вы и не видали, что тутъ внизу—письмо изъ Консьержри, отъ арестанта, видите, не хотите-ли взять съ собой?

— Помилуйте, сударыня, отвѣчалъ квартальный республики,—вы такъ предубѣждены, мнѣ этого письма вовсе ненужно.

— Что вы намѣрены сдѣлать съ русскими бумагами?—спросилъ я.

— Ихъ переведутъ.

— Вотъ въ томъ-то и дѣло, откуда вы возьмете переводчика: если изъ русскаго посольства, то это равняется доносу, вы погубите пять-шесть человѣкъ. Вы меня искренно обяжете, если упомянете въ *procès verbal*, что я настоятельно прошу взять переводчика изъ польской эмиграціи.

— Я думаю, что это можно.

— Благодарю васъ; да вотъ еще просьба: понимаете вы сколько-нибудь по-итальянски?

— Немного.

— Я вамъ покажу два письма, въ нихъ слово Франція не упомянуто, писавшій ихъ въ рукахъ сардинской полиціи, вы увидите по содержанію, что ему плохо будетъ, если письма дойдутъ до нея.

— *Mais ah ça!* замѣтилъ комиссаръ, начинавшій входить въ человѣческое достоинство, вы, кажется, думаете, что мы въ связи со всѣми *деспотическими* полиціями. Намъ дѣла нѣтъ до чужихъ. Поневолѣ мы должны брать мѣры у себя, когда на улицахъ льется кровь и когда иностранцы мѣшаются въ наши дѣла.

— Очень хорошо, стало, вы письмо можете оставить.

Комиссаръ не солгалъ, онъ дѣйствительно *немного* зналъ по-итальянски, и потому, повертѣвши письма, положилъ ихъ въ карманъ, обѣщаясь возвратить.

Тѣмъ его визитъ и кончился. Письма итальянца онъ отдалъ на другой день, но мои бумаги канули въ воду. Прошелъ мѣсяцъ, я написалъ письмо къ Кавеньяку, спрашивая его, отчего полиція не возвращаетъ моихъ бумагъ и не говоритъ о томъ, что нашла въ нихъ,—вещь, можетъ, очень неважная для нея, но чрезвычайно важная для моей чести.

Послѣднее было вотъ на чемъ основано. Нѣсколько знакомыхъ вступились за меня, находя безобразнымъ визитъ комиссара и задерживаніе бумагъ. «Мы желали удостовѣриться, сказалъ Ламорисьеръ, не *агентъ-ли онъ русскаго правительства*». Это гнусное подозрѣніе я услышалъ тутъ въ первый разъ: для меня это было совершенно ново; моя жизнь шла такъ публично, такъ открыто, какъ въ хрустальномъ ульѣ, и вдругъ сильное обвиненіе и отъ кого?—отъ республиканскаго правительства!

Черезъ недѣлю меня потребовали въ префектуру; Барле былъ со мною; насъ принялъ въ кабинетѣ Дюку молодой чиновникъ, очень похожій на петербургскаго начальника отдѣленія изъ развязныхъ.

— Генераль Кавеньякъ, сказалъ онъ мнѣ, поручилъ префекту возвратить ваши бумаги безъ малѣйшаго разбора. Свѣдѣнія, собранныя о васъ, дѣлають его совершенно излишнимъ, на васъ не падаетъ никакого подозрѣнія, вотъ ваша портфель, неудобно ли вамъ подписать предварительно эту бумагу.

Это была расписка въ томъ, что «бумаги *все*» сполна мнѣ возвращены».

Я пріостановился и спросилъ, не будетъ ли правильнѣе, если я пересмотрю бумаги.

— До нихъ не дотрогивались. Впрочемъ, вотъ печать.

— Печать цѣла, замѣтилъ успокоительно Барле.

— Моей печати тутъ нѣтъ. Да ее и не прикладывали.

— Это моя печать, да, вѣдь, у васъ былъ ключикъ.

Не желая отвѣчать грубостью, я улыбнулся. Это взбѣсило обоихъ, начальникъ отдѣленія сдѣлался начальникомъ департамента, схватилъ ножикъ и, взрѣзывая печать, сказалъ довольно грубымъ тономъ:

— Пожалуй, смотрите, коли не вѣрите, только у меня нѣтъ столько свободного времени, и онъ вышелъ, кланаясь съ важностью.

То, что они разсердились, убѣдило меня, что бумагъ дѣйствительно не смотрѣли, и потому, едва бросивъ взглядъ, я далъ расписку и отправился домой.

IV.

Примѣты.

...Нехорошо было и дома; мы слишкомъ настрадались, слишкомъ много видѣли; тишина и подавленность, наступившія послѣ битвы и ужасовъ перваго гоненія, дали назрѣть всему черному и грустному, запавшему въ душу.

Черезъ мѣсяцъ я писалъ: «Вечеромъ 26 іюня, послѣ побѣды, мы слушали правильные залпы съ небольшими разстановками и съ барабаннымъ боемъ... Вѣдь, это разстрѣливають! сказали мы въ одинъ голосъ и отвернулись другъ отъ друга. Я прижалъ

любъ къ стеклу окна и молчалъ; за такія минуты ненавидять десять лѣтъ, мстять всю жизнь».

А жена моя около того же времени писала въ Москву: «Я смотрю на дѣтей и плачу; мнѣ становится страшно, я не смѣю больше желать, *чтобъ они были живы*, можетъ, и ихъ ждетъ такая ужасная доля». Какъ много надобно было протерпѣть, чтобъ мысль эта могла явиться въ сердцѣ матери, страстно любившей дѣтей, и насколько больше, чтобъ найти силу высказать ее, да еще письменно. Въ этихъ словахъ отголосокъ всего пережитаго, послѣдній слѣдъ потерянныхъ вѣрованій, замѣненныхъ страшными воспоминаніями. Въ нихъ видѣются и омнибусы, набитые трупамъ, и плѣнные съ связанными руками, провожаемые ругательствомъ, и бѣдный глухонѣмой мальчикъ, подстрѣленный въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нашихъ воротъ... за то, что не слышалъ: «Passez au large!»

Реакція торжествовала; сквозь блѣдно-синюю республику видѣлись черты претендентовъ; національная гвардія ходила на охоту по блузамъ, префектъ полиціи дѣлалъ облавы по рощамъ и ка-такомбамъ, отыскивая скрывавшихся. Люди менѣе воинственные доносили, подслушивали.

До осени мы были окружены своими, сердились и грустили на родномъ языкѣ: Т. жили въ томъ-же домѣ, М. О. у насъ, А. и П. Т. приходили всякій день; но все глядѣло въ даль, кружокъ нашъ расходился. Парижъ, вымытый кровью, не удерживалъ больше; всѣ собирались ѣхать безъ особенной необходимости, вѣроятно, думая спастись отъ внутренней тягости, отъ іюньскихъ дней, вошедшихъ въ кровь, и которые они везли съ собой.

Зачѣмъ не уѣхать и я? Много было бы спасено, и мнѣ не пришлось бы принести столько человѣческихъ жертвъ и столько самого себя на закланіе богу жестокому и беспощадному.

День нашей разлуки съ Т-ми и съ М. О. какъ-то особо каркнулъ ворономъ въ моей жизни: я и этотъ сторожевой крикъ пропустилъ безъ вниманія, какъ сотни другихъ.

Всякій человѣкъ, много испытавшій, припомнить себѣ дни, часы, рядъ едва замѣтныхъ точекъ, съ которыхъ начинается переломъ, съ которыхъ вѣтеръ тянетъ съ другой стороны; эти знаменія или предостереженія вовсе не случайны: они послѣдствія, печальныя воплощенія готоваго вступить въ жизнь, обличенія тайно бродящаго и уже существующаго. Мы не замѣчаемъ эти психическія *примѣты*, смѣемся надъ ними, какъ надъ просыпанной солонкой и потушеной свѣчей, потому что считаемъ себя несравненно независимѣе, нежели каковы мы на дѣлѣ, и гордо хотимъ сами управлять своей жизнію.

Наканунѣ отъѣзда нашихъ друзей они и еще человѣка три-

четыре близких знакомых собрались у насъ. Путешественники должны были быть на желѣзной дорогѣ въ 7 часовъ утра; ложиться спать не стоило труда, всѣмъ хотѣлось лучше вмѣстѣ провести послѣдніе часы. Сначала все шло живо, съ тѣмъ нервнымъ раздраженіемъ, которое всегда бываетъ при разлукѣ, но мало-по-малу темное облако стало заволакивать всѣхъ; разговоръ не клеился, всѣмъ сдѣлалось не по-себѣ, налитое вино выдыхалось, натянутыя шутки не веселили. Кто-то, увидя разсвѣтъ, отдернулъ занавѣску, и лица освѣтились синевато-блѣднымъ цвѣтомъ, какъ на римской оргіи Кутюра.

Всѣ были печальны; я задыхался отъ грусти.

Жена моя сидѣла на небольшомъ диванѣ, передъ ней на ко-лѣнахъ и, скрывая лицо на ея груди, стояла младшая дочь Т. «*Consuelo di sua alma*», какъ она ее звала. Она любила страстно мою жену и ѣхала отъ нея по неволѣ въ глушь деревенской жизни; ея сестра грустно стояла возлѣ. Консуэла шептала что-то сквозь слезы, а въ двухъ шагахъ, молча и мрачно, сидѣла М. Ѳ.; она давно свыклась съ покорностью судьбѣ, она знала жизнь, и въ ея глазахъ было просто «прощайте», тогда какъ сквозь слезы молодыхъ дѣвушекъ все-таки просвѣчивало «до свиданья».

Потомъ мы поѣхали ихъ провожать. Въ высокомъ, пустомъ каменномъ амбаркадерѣ было пронзительно холодно, двери хлопали неистово и сквозной вѣтеръ дулъ со всѣхъ сторонъ. Мы усѣлись въ углу на лавкѣ; Т. пошелъ хлопотать съ чемоданами. Вдругъ дверь отворилась и два пьяныхъ старика шумно вошли въ залу. Платья ихъ были замараны, лица искажены, отъ нихъ несло дикимъ развратомъ. Они вошли ругаясь, одинъ хотѣлъ ударить другого, тотъ посторонился и, размахнувшись, что есть силы, ударилъ его самого въ лицо: пьяный старикъ полетѣлъ со всѣхъ ногъ. Голова его съ какимъ-то дребезжащимъ, пронзительнымъ звукомъ щелкнулась о каменный полъ; онъ вскрикнулъ, приподнялъ голову, кровь лилась ручьями по сѣдымъ волосамъ и камнямъ. Полиція и пассажиры съ неистовствомъ бросились на другого старика.

Съ вечера раздраженные, взволнованные, въ натянутомъ состояніи, мы крѣпились, но страшное эхо, раздавшееся въ огромной залѣ отъ костяного звука ударившагося черепа, произвело во всѣхъ что-то истерическое. Нашъ домъ и весь нашъ кругъ были во всѣ времена чистъ и свободенъ отъ «траги-нервическихъ явленій»; но это было сверхъ силъ, я чувствовалъ дрожь во всемъ тѣлѣ, жена моя была близка къ обмороку, а тутъ звонокъ... Пора, пора! и мы остались вдругъ за рѣшеткой—одни.

Ничего нѣтъ грубѣе и оскорбительнѣе для расстающагося, какъ полицейскія мѣры во Франціи на желѣзныхъ дорогахъ; онѣ

крадутъ у остающагося послѣднія двѣ-три минуты... *Они* еще тутъ, машина не свистнула еще, поѣздъ не отошелъ, но между вами загородка, стѣна и рука полицейскаго, а вамъ хочется видѣть, какъ сядутъ, какъ тронутся съ мѣста, потомъ слѣдить за отдаленіемъ, за пылью, дымомъ, точкой, слѣдить, когда уже ничего не видать...

...Молча приѣхали мы домой. Жена моя тихо проплакала всю дорогу, жаль ей было своей Консуэлы; по временамъ, завертываясь въ шаль, она спрашивала меня: «Помнишь этотъ звукъ, онъ у меня въ ушахъ».

Дома я уговорилъ ее прилечь, а самъ сѣлъ читать газеты; читалъ, читалъ и *premier Paris*, и фельетоны, и смѣсь, взглянулъ на часы—еще не было двѣнадцати... Вотъ день! Я пошелъ къ А., онъ тоже ѣхалъ на дняхъ; съ нимъ мы отправились гулять, улицы были скучнѣе чтенія, такая тоска... точно угрызенія совѣсти.

— Пойдемте ко мнѣ обѣдать, сказалъ я, и мы пошли. Жена моя была рѣшительно больна.

Вечеръ былъ безсвязенъ, глупъ.

— Итакъ, рѣшено, спросилъ я А., прощаясь,—вы ѣдете въ концѣ недѣли?

— Рѣшено.

— Жутко будетъ вамъ въ Россіи.

— Что дѣлать, мнѣ ѣхать необходимо, въ Петербургѣ я не останусь, уѣду въ деревню. Вѣдь, и здѣсь теперь не Богъ знаетъ какъ хорошо, какъ бы вамъ не пришлось раскаться, что остаетесь?

Я тогда еще могъ возвратиться, корабли не были сожжены, Ребилъ и Карлье не писали еще своихъ доносовъ; но внутри дѣло было рѣшено. Слова А., между тѣмъ, все-таки непріятно коснулись моихъ обнаженныхъ нервъ, я подумалъ и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, для меня выбора нѣтъ, я долженъ остаться—и если раскаюсь, то скорѣе въ томъ, что не взялъ ружья, когда мнѣ его подавалъ работникъ за баррикадой на *Place Maubert*.

Много разъ въ минуты отчаянія и слабости, когда горечь переполняла мѣру, когда вся моя жизнь казалась мнѣ одной продолжительной ошибкой, когда я сомнѣвался въ самомъ себѣ, въ *послѣднемъ*, въ *остальномъ*,—приходили мнѣ въ голову эти слова: «Зачѣмъ не взялъ я ружья у работника и не остался за баррикадой». Незвначай сраженный пулей, я унесъ бы съ собой въ могилу еще два-три вѣрованья.

И опять потянулось время... день за день... сѣрое, скучное... мелькали люди, сближались на день, проходили мимо, исчезали, гибли. Къ зимѣ стали являться изгнанники другихъ странъ, спасшіеся матросы другихъ кораблекрушеній; полные самоуверенности, надеждъ, они принимали реакцію, подымавшуюся во

всей Европѣ, за мимолетный вѣтеръ, за легкую неудачу, они ждали завтра, черезъ недѣлю, свой чередъ...

Я чувствовалъ, что они ошибаются, но мнѣ правилась ихъ ошибка, я старался быть непоследовательнымъ, боролся съ собой и жилъ въ какомъ-то тревожномъ раздраженіи. Время это осталось у меня въ памяти, какъ чадный, угарный день... Я метался отъ тоски туда, сюда, искалъ разсѣяній... въ книгахъ, въ шумѣ, въ домашнемъ отшельничествѣ, на людяхъ, но все чего-то недоставало, смѣхъ не веселилъ, тяжело пьянило вино, музыка рѣзала по сердцу, и веселая бесѣда оканчивалась почти всегда мрачнымъ молчаніемъ.

Внутри все было оскорблено, все опрокинуто, очевидныя противорѣчія, хаосъ; снова ломка, снова ничего нѣтъ. Давно оконченныя основы нравственнаго быта превращались опять въ вопросы; факты сурово подымались со всѣхъ сторонъ и опровергали ихъ. Сомнѣніе заносило свою тяжелую ногу на послѣднія достоянія, оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторскія мантіи, а революціонныя знамена... изъ общихъ идей оно пробиралось въ жизнь. Пропасть лежитъ между теоретическимъ отрицаніемъ и сомнѣніемъ, переходящимъ въ поведеніе, мысль смѣла, языкъ дерзокъ, онъ легко произноситъ слова, отъ которыхъ сердце бьется, въ груди еще тлѣютъ вѣрованія и надежды тогда, когда забѣжавшій умъ качаетъ головой. Сердце отстаётъ, потому что любить,—и когда умъ приговариваетъ и казнить, оно еще процается.

Можетъ, въ юности, когда все кинитъ и несется, когда такъ много будущаго, когда потеря однихъ вѣрованій расчищаетъ мѣсто другимъ, можетъ, въ старости, когда все становится безразлично отъ усталости, эти переломы дѣлаются легче;—но *nel mezzo del camin di nostra vita*, они достаются не даромъ.

Что-же, наконецъ, все это—шутка? Все завѣтное, что мы любили, къ чему стремились, чему жертвовали. Жизнь обманула, исторія обманула, обманула въ свою пользу; ей нужны для закваски сумасшедшіе, и дѣла нѣтъ, что съ ними будетъ, когда они придутъ въ себя, она ихъ употребила,—пусть доживаютъ свой вѣкъ въ инвалидномъ домѣ. Стыдъ, досада! А тутъ возлѣ просто-сердечные друзья жмутъ плечами, удивляются вашему малодушію, вашему нетерпѣнію, ждутъ завтрашняго дня и, вѣчно озабоченные, вѣчно занятые однимъ и тѣмъ же, ничего не понимаютъ, не останавливаются ни передъ чѣмъ, вѣчно идутъ—и все ни съ мѣста... Они васъ судятъ, утѣшаютъ, журятъ,—какая скука, какое наказанье!

«Люди вѣры, люди любви», какъ они называютъ себя въ противоположность намъ, людямъ «сомнѣнья и отрицанія», не знаютъ,

что такое полоть съ корнемъ упованія, взлелѣянные цѣлой жизнію, они не знаютъ *болѣзни истины*, они не отдавали никакого со-кровища съ тѣмъ «громкимъ воплемъ», о которомъ говоритъ поэтъ:

Ich riss sie blutend aus dem wunden Herzen,
Und weinte laut und gab sie hin.

Счастливые безумцы, никогда не трезвѣющіе, имъ незнакома внутренняя борьба, они страдаютъ отъ внѣшнихъ причинъ, отъ злыхъ людей и случайностей; внутри все цѣло, совѣсть покойна, они довольны. Оттого-то червь, точащій другихъ, имъ кажется капризомъ, эпикуреизмомъ сытаго ума, праздною ироніей. Они видятъ, что раненый смѣется надъ своей деревяшкой, и заключаютъ, что ему операція ничего не стоила; имъ въ голову не приходитъ, отчего онъ состарѣлся не по лѣтамъ, и какъ ноетъ отнятая нога при перемѣнѣ погоды, при дуновеніи вѣтра.

Моя логическая исповѣдь, исторія недуга, черезъ который про-бывалась оскорбленная мысль, осталась въ рядѣ статей, составившихъ «Съ того берега». Я въ себѣ преслѣдовалъ имп послѣдніе идола, я ироніей мстилъ имъ за боль и за обманъ, я не надъ ближнимъ издѣвался, а надъ самимъ собой и, снова увлеченный, мечталъ уже быть свободнымъ, но тутъ-то и запнулся. Утративъ вѣру въ слова и знамена, въ канонизированное человѣчество и единую спасающую церковь западной цивилизаціи, я вѣрилъ въ нѣсколько человѣкъ, вѣрилъ въ себя.

Видя, что все рушится, я хотѣлъ спастись, начать новую жизнь, отойти съ думя-тремя въ сторону, бѣжать, скрыться отъ... лишнихъ. И я надменно поставилъ заглавіемъ послѣдней статьи: *Omnia mea mecum porto!*

Жизнь распущенная, опаленная, полуувядшая въ омутѣ событій, въ круговоротѣ общихъ интересовъ,—обособлялась, снова сводилась на періодъ юнаго лиризма, безъ юности, безъ вѣры. Съ этимъ *fata da me* моя лодка должна была разбиться о подводные камни—и разбилась. Правда, я уцѣлѣлъ, но *безъ всего...*

V

Тифоидная горячка.

Зимой 1848 года была больна моя маленькая дочь. Она долго раз-немогалась, потомъ сдѣлалась небольшая лихорадка и, казалось, прошла. Райе, извѣстный докторъ, совѣтовалъ ее прокатить, не-смотря на зимній день. Погода была прекрасная, но не теплая.

Когда ее привезли домой, она была необыкновенно блѣдна, про-сила ѣсть и, не дождавшись бульона, уснула возлѣ насъ на диванѣ; прошло нѣсколько часовъ, сонъ продолжался. Фогтъ, братъ натуралиста, студентъ медицины, случился у насъ. «Посмотрите, сказалъ онъ, на ребенка, вѣдь, это вовсе неестественный сонъ». Мертвая, слегка синеватая блѣдность лица испугала меня, я положилъ руку на лобъ, лобъ былъ совершенно холодный. Я бросился самъ къ Райе, по счастью засталъ его дома и привезъ съ собою. Малютка не просыпалась; Райе приподнялъ ее, сильно потрясъ и заставилъ меня громко звать ее по имени... Она раскрыла глаза, сказала слова два и снова заснула тѣмъ-же сномъ, тяжелымъ, мертвымъ, дыханье едва-едва было замѣтно. Въ этомъ состояніи, съ небольшими перемѣнами, она оставалась нѣсколько дней, безъ пищи и почти безъ питья; губы почернѣли, ногти сдѣлались синіе, на тѣлѣ показались пятна, это была тифоидная горячка. Райе почти ничего не дѣлалъ, ждалъ, слѣдилъ за болѣзнию и не слиш-комъ обнадеживалъ.

Видъ ребенка былъ страшенъ, я ждалъ съ часа на часъ смерти. Блѣдная и молчащая сидѣла моя жена, день и ночь, у кровати, глаза ея покрылись тѣмъ жемчужнымъ отливомъ, которымъ выска-зывается усталъ, страданіе, истощеніе силъ и неестественное на-пряженіе нервъ. Разъ, часу во второмъ ночи, мнѣ показалось, что Тата не дышитъ; я смотрѣлъ на нее, скрывая ужасъ, жена моя догадалась. «У меня кружится въ головѣ, сказала она мнѣ, дай воды». Когда я подаль стаканъ, она была безъ чувствъ. И. Т., приходившій дѣлать мрачные часы наши, побѣждалъ въ аптеку за аммоніакомъ,—я стоялъ неподвижно, между двумя обмершими тѣлами, смотрѣлъ на нихъ и ничего не дѣлалъ. Горничная терла руки, мочила виски моей женѣ. Черезъ нѣсколько минутъ она пришла въ себя.—Что? спросила она.—«Кажется, Тата открывала глаза», сказала наша добрая, милая Луиза. Я посмотрѣлъ—будто просыпается; я назвалъ ее шепотомъ по имени, она раскрыла глаза и улыбнулась черными, сухими и растреснувшими губами. Съ этой минуты здоровье стало возвращаться.

Есть яды, которые злѣе, мучительнѣе разлагаютъ человѣка, чѣмъ дѣтскія болѣзни, я и ихъ знаю, но *тупого* яда, берущаго истомой, обезсильивающаго въ тиши, оскорбляющаго страшной ролью празднаго свидѣтеля—хуже нѣтъ.

Кто разъ на своихъ рукахъ держалъ младенца и чувствовалъ, какъ онъ холодѣлъ, тяжелѣлъ, становился каменнымъ; кто слы-шалъ послѣдній стонъ, которымъ тщедушный организмъ умоляетъ о пощадѣ, о спасеніи, просится остаться на свѣтѣ; кто видѣлъ на своемъ столѣ красивый гробикъ, обитый розовымъ атласомъ, и бѣленькое платьице съ кружевами, такъ отличающееся отъ жел-

таго личика, тотъ при каждой дѣтской болѣзни будетъ думать: отчего же не быть и другому гробику—вотъ на этомъ столѣ?

Несчастье самая плохая школа! Конечно, человѣкъ, много испытавшій, выносливѣе, но, вѣдь, это оттого, что душа его помята, ослаблена. Человѣкъ изнашивается и становится трусливѣе отъ перенесеннаго. Онъ теряетъ ту увѣренность въ завтрашнемъ днѣ, безъ которой ничего дѣлать нельзя; онъ становится равнодушнѣе, потому что свыкается съ страшными мыслями, наконецъ, онъ боится несчастій эгоистически, т. е. боится снова перечувствовать рядъ щемящихъ страданій, рядъ замираній сердца, память о которыхъ не разносится съ тучами.

Стонъ больного ребенка наводитъ на меня такой внутренній ужасъ, обдаетъ такимъ холодомъ, что я долженъ дѣлать большія усилія, чтобъ побѣдить эту чисто *нервную* память.

На другое утро той же ночи, я въ первый разъ пошелъ пройтись; на дворѣ было холодно, тротуары были слегка посыпаны инеемъ; но, несмотря ни на холодъ, ни на ранній часъ, толпы народа покрывали бульвары, мальчишки съ крикомъ продавали бюллетени,—слишкомъ пять миллионовъ голосовъ клали связанную Францію къ ногамъ Людовика Наполеона.

Осиротѣвшая передняя нашла, наконецъ, своего барина!

ГЛАВА XXXVI.

La Tribune des Peuples.—Мицкевичъ и Рамонъ-де-ла-Сагра.—Хористы революціи 13 іюня 1849.—Холера въ Парижѣ.—Отъѣздъ.

Я оставилъ Парижъ осенью 1847 г., не завязавши никакихъ связей; литературные и политическіе кружки оставались мнѣ совершенно чуждыми. Причинъ на это было много. Прямого случая не представлялось,—искать я не хотѣлъ. Ходить только, чтобы смотрѣть знаменитости, я считалъ неприличнымъ. Къ тому же мнѣ очень мало нравился тонъ снисходительнаго превосходства французовъ съ русскими: они одобряютъ, поощряютъ насъ, хвалятъ наше произношеніе и наше богатство; мы выносимъ все это и являемся къ нимъ какъ просители, даже отчасти какъ виноватые, радуясь, когда они изъ учтивости принимаютъ насъ за французовъ. Французы забрасываютъ насъ словами, мы за ними не поспѣваемъ, думаемъ объ отвѣтѣ, а имъ дѣла нѣтъ до него; намъ совѣстно показать, что мы замѣчаемъ ихъ ошибки, ихъ невѣжество,—они пользуются всѣмъ этимъ съ безнадежнымъ довольствомъ собой.

Чтобы стать съ ними на другую ногу, надобно *импонировать*; на это необходимы разныя права, которыхъ у меня тогда не было, и которыми я тотчасъ воспользовался, когда они случились подъ рукой.

Не должно, сверхъ того, забывать, что нѣтъ людей, съ которыми было бы легче завести шапочное знакомство, какъ съ французами, и нѣтъ людей, съ которыми было бы труднѣе въ самомъ дѣлѣ сойтись. Французъ любитъ жить на людяхъ, чтобы себя показать, чтобы имѣть слушателей, и въ этомъ онъ такъ же противоположенъ англичанину, какъ и во всемъ остальномъ. Англичанинъ всегда смотритъ на людей отъ скуки, смотреть, какъ изъ партера, употребляетъ людей для развлечения, для полученія свѣдѣній; англичанинъ постоянно спрашиваетъ, а французъ постоянно отвѣчаетъ. Англичанинъ все недоумѣваетъ, все обдумываетъ,—французъ все знаетъ положительно, онъ конченъ и готовъ, онъ дальше не пойдетъ; онъ любитъ проповѣдывать, рассказывать, поучать,—чему? кого? все равно. Потребности личнаго сближенія у него нѣтъ, кафе его исполнѣ удовлетворяетъ, онъ, какъ Репетиловъ, не замѣчаетъ, что вмѣсто Чацкаго стоитъ Скалозубъ, вмѣсто Скалозуба—Загорѣцкій, и продолжаетъ толковать о камерѣ, присяжныхъ, о Байронѣ (котораго называетъ Биронъ) и о матеряхъ важныхъ.

Возвратившись изъ Италіи, еще неостывшій отъ февральской революціи, я натолкнулся на 15 мая, потомъ протрадалъ іюньскіе дни и осадное положеніе. Тогда я еще глубже взглядѣлся въ вольтеровскаго *tigresinge*,—и у меня прошло даже желаніе знакомиться съ сильными республики сей.

Разъ представлялась было возможность общаго труда, которая могла привести въ сношеніе со многими лицами, да и та не удалась. Графъ Ксаверій Браницкій далъ 70,000 франковъ на основаніе журнала, который занимался бы преимущественно иностранной политикой, другими народами и въ особенности Польскимъ вопросомъ. Польза и своевременность такого журнала были очевидны. Французскія газеты занимаются мало и плохо тѣмъ, что дѣлается внѣ Франціи; во время республики онѣ думали, что достаточно подчасъ ободрить всѣ языцы словомъ *solidarité des peuples*, обѣщаніемъ, какъ только дома обдосужатся, завести всемірную республику, основанную на всеобщемъ братствѣ. При средствахъ, которыя имѣлъ новый журналъ, названный «Народной Трибуной», изъ него можно было сдѣлать международный «Мониторъ» движенія и прогресса. Его успѣхъ былъ тѣмъ вѣрнѣе, что всеобщихъ газетъ вовсе нѣтъ; въ *Теймсъ* и *Journal des Debats* бывають превосходныя статьи о специальныхъ вопросахъ, но безъ связи, случайно, отрывочно. Редакція

Аугсбургской Газеты была бы дѣйствительно самая всеобщая, если-бъ отъ ея *черно-желтаго* направленія не такъ грубо рябило въ глазахъ.

Но, видно, всѣмъ добрымъ начинаніямъ 1848 г. было на роду написано родиться на седьмомъ мѣсяцѣ и умереть прежде перваго зуба. Журналъ пошелъ плохо, вяло—и умеръ при избіеніи невинныхъ листовъ послѣ 14 іюня 1849.

Когда все было готово и на чеку: домъ былъ нанятъ и устроенъ, съ большими столами, покрытыми сукномъ, и маленькими косыми конторками; тощій французскій литераторъ былъ приставленъ смотрѣть за международными ореографическими ошибками; при редакціи учрежденъ совѣтъ изъ бывшихъ польскихъ нунціевъ и сенаторовъ, а главнымъ завѣдывателемъ назначенъ Мицкевичъ, въ помощники которому данъ Хоецкій,—оставалось торжественно начать, и когда же лучше, какъ не въ годовщину 24 февраля, и чѣмъ же приличнѣе, какъ не ужиномъ?

Ужинъ былъ назначенъ у Хоецкаго. Приѣхавъ, я засталъ уже довольно много гостей, въ числѣ которыхъ не было почти ни одного француза, зато другія націи, отъ Сициліи до кроатовъ, были хорошо представлены. Меня собственно интересовало одно лицо—Адамъ Мицкевичъ; я его никогда прежде не видалъ. Онъ стоялъ у камина, опершись локтемъ о мраморную доску. Кто видѣлъ его портретъ, приложенный къ французскому изданію и снятый, кажется, съ медальона Давида д'Анже, тотъ могъ бы тотчасъ узнать его, несмотря на большую перемѣну, внесенную лѣтами. Много думъ и страданій сквозили въ его лицѣ, скорѣе литовскомъ, чѣмъ польскомъ. Общее впечатлѣніе его фигуры, головы съ пышными сѣдыми волосами и усталымъ взглядомъ выражало пережитое несчастіе, знакомство съ внутреннею болью, экзальтацію горести; это былъ пластическій образъ *судебъ Польши*. Подобное впечатлѣніе дѣлало на меня потомъ лицо Ворцеля; впрочемъ, черты его, еще болѣе болѣзненные, были живѣе и привѣтливѣе, чѣмъ у Мицкевича. Мицкевича будто что-то удерживало, занимало, разсѣивало; это *что-то* было его странный мистицизмъ, въ который онъ заступалъ дальше и дальше.

Я подошелъ къ нему, онъ меня сталъ спрашивать о Россіи; свѣдѣнія его были отрывочны, литературное движеніе послѣ Пушкина онъ мало зналъ, остановившись на томъ времени, на которомъ покинулъ Россію. Несмотря на свою основную мысль о братственномъ союзѣ всѣхъ славянскихъ народовъ, мысль, которую онъ одинъ изъ первыхъ сталъ развивать, въ немъ оставалось что-то непріязненное къ Россіи.

Первое, что меня какъ-то непріятно удивило, было обращеніе

съ нимъ поляковъ его партіи: они подходили къ нему, какъ монахи къ игумену, уничтожаясь, благоговѣя; иные цѣловали его въ плечо. Должно быть, онъ привыкъ къ этимъ знакамъ подчиненной любви, потому что принималъ ихъ съ большимъ *laisser aller*. Быть признаннымъ людьми одного образа мнѣнія, имѣть на нихъ вліяніе, видѣть ихъ любовь—желаетъ каждый, отдавшійся душою и тѣломъ своимъ убѣжденіямъ, жившій ими; но наружныхъ знаковъ симпатіи и уваженія я не желалъ бы принимать, они разрушаютъ равенство и, слѣдовательно, свободу; да сверхъ того, въ этомъ отношеніи намъ никакъ не догнать ни архіереевъ, ни начальниковъ департаментовъ, ни полковыхъ командировъ.

Хоецкій сказалъ мнѣ, что за ужиномъ онъ предложить тостъ «въ память 24 февраля 1848 г.», что Мицкевичъ будетъ ему отвѣчать рѣчью, въ которой изложитъ свое возрѣніе и духъ будущаго журнала; онъ желалъ, чтобъ я, какъ русскій, отвѣчалъ Мицкевичу. Не имѣя привычки говорить публично, особенно не приготовившись, я отклонилъ его предложеніе, но общалъ предложить тостъ «за Мицкевича» и прибавить нѣсколько словъ къ нему о томъ, какъ я пилъ за него въ первый разъ, въ Москвѣ, на публичномъ обѣдѣ, данномъ Грановскому въ 1843 г., Хомяковъ поднялъ бокалъ со словами «за великаго отсутствующаго славянскаго поэта!» Имени (которое не смѣли произнести) не было нужно: всѣ встали, всѣ подняли бокалы и, стоя въ молчаніи, выпили за здоровье изгнанника. Хоецкій былъ доволенъ; подтасовавши такимъ образомъ наше *extempore*, мы сѣли за столъ. Въ концѣ ужина Хоецкій предложилъ свой тостъ, Мицкевичъ всталъ и началъ говорить. Рѣчь его была выработана, умна, чрезвычайно ловка, т. е. Барбесъ и Людовикъ Наполеонъ могли бы откровенно аплодировать ей; меня стало коробить отъ нея. По мѣрѣ того, какъ онъ развивалъ свою мысль, я начиналъ чувствовать что-то болѣзненно тяжелое и ждалъ одного слова, одного имени, чтобъ не осталось ни малѣйшаго сомнѣнія; оно не замедлило явиться!

Мицкевичъ свелъ свою рѣчь на то, что демократія теперь собирается въ новый открытый станъ, во главѣ котораго Франція, что она *снова* ринется на освобожденіе всѣхъ притѣсненныхъ народовъ, подъ тѣми же орлами, подъ тѣми же знаменами, при видѣ которыхъ блѣднѣли всѣ цари и власти, и что ихъ снова поведетъ впередъ одинъ изъ членовъ той вѣнчанной народомъ династіи, которая какъ бы самимъ Провидѣніемъ назначена вести революцію стройнымъ путемъ авторитета и побѣдъ.

Когда онъ кончилъ, кромѣ двухъ-трехъ одобрительныхъ восклицаній его приверженныхъ, молчаніе было общее. Хоецкій замѣтилъ очень хорошо ошибку Мицкевича и, желая поскорѣе загла-

дѣйствіе рѣчи, подошелъ съ бутылкой и, наливая бокалъ, шепнулъ мнѣ: «Что же вы?»—«Я не скажу ни слова послѣ этой рѣчи».—«Пожалуйста, что-нибудь».—«Ни подъ какимъ видомъ».

Пауза продолжалась, нѣкоторые опустили глаза въ тарелку, другіе пристально разсматривали бокалъ, третьи заводили частный разговоръ съ сосѣдомъ. Мицкевичъ перемѣнился въ лицѣ, онъ хотѣлъ еще что-то сказать, но громкое: *Je demande la parole*, положило конецъ затруднительному положенію. Всѣ обернулись къ вставшему. Невысокій старикъ, лѣтъ семидесяти, весь сѣдой, съ славной, энергической наружностью, стоялъ съ бокаломъ въ дрожащей рукѣ; въ его большихъ черныхъ глазахъ, въ его взволнованномъ лицѣ были видны гнѣвъ и негодованіе. Это былъ Рамонъ-де-ла-Сагра. «За 24 февраля», сказалъ онъ, «таковъ былъ тостъ, предложенный нашимъ хозяиномъ. Я не могу дѣлить воззрѣнія нашего друга Мицкевича; онъ смотрѣть можетъ на дѣла, какъ поэтъ, и по своему праву, но я не хочу, чтобъ его слова въ такомъ собраніи прошли безъ протестаціи», и пошелъ, и пошелъ, со всюю страстью испанца, со всѣми правами семидесяти лѣтъ.

Когда онъ кончилъ, двадцать рукъ, въ томъ числѣ и моя, протянулись къ нему съ бокалами, чтобы чокнуться.

Мицкевичъ хотѣлъ поправиться, сказалъ нѣсколько словъ въ объясненіе, они не удались. Де-ла-Сагра не сдавался. Всѣ встали изъ-за стола и Мицкевичъ уѣхалъ.

Хуже предназначенія для новаго журнала не могло быть, онъ просуществовалъ кое-какъ до 13 іюня, и исчезъ такъ незамѣтно, какъ существовалъ. Единства въ редакціи не могло быть; Мицкевичъ свертывалъ половину своего императорскаго знамени, *usé par la groire*, другіе не смѣли развѣрживать своего; стѣсненные имъ и совѣтомъ, многіе черезъ мѣсяцъ оставили редакцію, я не послалъ ни разу ни одной строчки. Если-бъ наполеоновская полиція была умнѣе, никогда *Tribune des peuples* не была бы запрещена за нѣсколько строчекъ о 13 іюня. Съ именемъ Мицкевича и съ поклоненіемъ Наполеону, съ мистической революціонностью и съ мечтой о вооруженной демократіи, во главѣ которой Наполеониды, этотъ журналъ могъ бы сдѣлаться кладомъ для президента, чистымъ органомъ нечистаго дѣла.

Католицизмъ, такъ мало свойственный славянскому генію, дѣйствуетъ на него разрушительно: когда у богемцевъ не стало силы обороняться отъ католицизма, они сломились; у поляковъ католицизмъ развилъ ту мистическую экзальтацію, которая постоянно ихъ поддерживаетъ въ мірѣ призрачномъ. Если они не находятся подъ прямымъ вліяніемъ іезуитовъ, то, вмѣсто освобожденія, или выдумываютъ себѣ кумиръ, или попадаютъ подъ вліяніе какого-нибудь визионера. Мессіаниззмъ, это помѣшательство

Вронскаго, эта бѣлая горячка Товянскаго, вкружили голову сотнямъ поляковъ и самому Мицкевичу. Поклоненіе Наполеону принадлежить на первомъ планѣ къ этому безумію; Наполеонъ ничего не сдѣлалъ для нихъ; онъ не любилъ Польши, а любилъ поляковъ, проливавшихъ за него кровь съ тѣмъ поэтически-колоссальнымъ мужествомъ, съ которыми они сдѣлали свою знаменитую кавалерійскую атаку въ Сомо-Сиерра. Въ 1812 г. Наполеонъ говорилъ Нарбону: «Я хочу въ Польшѣ лагерь, а не форумъ. Я равно не позволю ни въ Варшавѣ, ни въ Москвѣ открыть клубъ для демагоговъ», и изъ него-то поляки сдѣлали военное воплощеніе Бога, поставили рядомъ съ Вишну.

Разъ вечеромъ поздно, зимой 1848, шелъ я съ однимъ полякомъ изъ Мицкевичевыхъ приверженцевъ по Вандомской площади. Когда мы поровнялись съ колонной, полякъ снялъ фуражку. Неужели?... подумалъ я, не смѣя вѣрить въ такую глупость, и смѣренно спросилъ его: что за причина, что онъ снялъ фуражку. Полякъ показатъ мнѣ пальцемъ на бронзоваго императора. Какъ же послѣ этого не тѣснить и не угнетать людей, когда это пріобрѣтаетъ столько любви!

Въ домашней жизни Мицкевича было темно, что-то несчастное, мрачное, «посѣщенное Богомъ». Жена его долгое время была поврежденной. Товянскій заговаривалъ ее и будто помогъ, это особенно поразило Мицкевича, но слѣды болѣзни остались... дѣла ихъ шли плохо. Печально оканчивалась жизнь великаго поэта, пережившаго себя. Онъ утасъ въ Турціи, замѣшавшись въ нелѣпое дѣло, устройство казацкаго легіона, которому Турція запретила называться польскимъ. Передъ смертію онъ написалъ латинскую оду во славу и честь Людовика Наполеона.

Послѣ этой неудачной попытки участвовать въ журналѣ, я еще больше удался въ небольшой кругъ знакомыхъ, увеличивавшійся появленіемъ новыхъ эмигрантовъ. Прежде я хаживалъ иногда въ клубы, участвовалъ въ трехъ-четырехъ банкетахъ, т. е. ѣлъ холодную баранину и пилъ кислое вино, слушая Пьера Леру, отца Кабе и подтягивая марсельезу. Теперь и это надоѣло. Съ глубоко скорбнымъ чувствомъ слѣдилъ я и помѣчалъ успѣхи разложенія, паденія республики, Франціи, Европы. Изъ Россіи—ни дальней зарницы, ни вѣсти хорошей, ни дружескаго привѣта; писать ко мнѣ перестали; личныя, ближайшія, родныя связи пріостановились ¹⁾.

Это пятилѣтіе и для меня было самое худшее время моей жизни; у меня нѣтъ ни столько богатствъ на потерю, ни столько вѣрованій на уничтоженіе...

¹⁾ Писано въ 1856 г.

...Холера свирѣпствовала въ Парижѣ, тяжелый воздухъ, безсолнечный жаръ производили тоску; видъ испуганнаго несчастнаго населенія и ряды похоронныхъ дрогъ, которыя, приближаясь къ кладбищамъ, пускались въ обгонки, все это соотвѣтствовало событіямъ.

Жертвы заразы падали возлѣ, рядомъ. Моя мать поѣхала съ одной знакомой дамой, лѣтъ двадцати пяти, въ Сенъ-Клу; вечеромъ, когда онѣ возвращались, дама чувствовала себя нѣсколько нездоровой, моя мать уговаривала ее остаться ночевать. Утромъ, часовъ въ семь пришли мнѣ сказать, что у нея холера; я пошелъ къ ней и обомлѣлъ,—ни одной черты не осталось по прежнему: она была хороша собой, но всѣ мышцы лица опустились, сѣжились, темныя тѣни легли подъ глазами. Насилу отыскалъ я Райе въ институтѣ и привезъ его. Взглянувъ на больную, Райе шепнулъ мнѣ: «Вы сами видите, что тутъ дѣлать», прописалъ что-то и уѣхалъ.

Больная подозвала меня и спросила: «Что вамъ сказалъ докторъ? Онъ вамъ что-то сказалъ?»—«Послать за лекарствомъ». Она взяла меня за руку и рука ея удивила меня больше лица: она исхудала и сдѣлалась угловатой, какъ будто мѣсяцъ тяжелой болѣзни прошелъ съ тѣхъ поръ, какъ она занемогла, и, останавливая на мнѣ взглядъ, исполненный страданія и ужаса, проговорила: «скажите, Бога ради, что онъ сказалъ... что умираю я?.. Да вы меня не бойтесь?» прибавила она. Мнѣ ее было ужасно жаль въ эту минуту; это страшное сознаніе не только смерти, но и заразительности недуга, который быстро подтачивалъ ея жизнь, должно было быть безмѣрно мучительно. Къ утру она умерла.

И. Т-въ собирался ѣхать изъ Парижа, срокъ его квартиры окончился, онъ пришелъ ко мнѣ переночевать. Послѣ обѣда онъ жаловался на духоту, я сказалъ ему, что купался утромъ, вечеромъ пошелъ и онъ купаться. Возвратившись, онъ чувствовалъ себя нехорошо, выпилъ содовой воды съ виномъ и сахаромъ и пошелъ спать. Ночью онъ разбудилъ меня. «Я потерянный человѣкъ, сказалъ онъ мнѣ, холера». У него дѣйствительно была тошнота и спазмы; по счастью, онъ отдѣлался десятью днями болѣзни.

Моя мать, схоронивъ свою знакомую, переѣхала въ Ville d'Avray. Когда занемогъ И. Т-въ, я отправилъ туда Natalie и дѣтей, и остался одинъ съ нимъ, а когда ему стало гораздо легче, переѣхалъ и я туда.

Туда-то утромъ, 12 іюня, явился ко мнѣ Сазоновъ. Онъ былъ въ величайшемъ одушевленіи, говорилъ о готовящемся движеніи, о неминуемости успѣха, о славѣ, которая ждетъ участниковъ, и настоятельно звалъ меня на это жнитво лавръ. Я говорилъ ему,

что онъ знаетъ мое мнѣніе о настоящемъ положеніи дѣлъ, что мнѣ кажется глупо идти безъ вѣры съ людьми, съ которыми не имѣешь почти ничего общаго.

На это восторженный агитаторъ замѣтилъ, что оно, конечно, покойнѣе и безопаснѣе писать у себя дома скептическія статьи, въ то время, когда другіе отстаиваютъ на площади свободу міра, солидарность народовъ и много другого добра.

Чувство весьма дрянное, но которое многихъ привело и приведетъ къ большимъ ошибкамъ и даже къ преступленіямъ, заговорило во мнѣ.

— Да съ чего же ты вообразилъ, что я не пойду?

— Я такъ заключилъ изъ твоихъ словъ.

— Нѣтъ, я сказалъ, что это глупо, но, вѣдь, не говорилъ, что я никогда не дѣлаю глупостей.

— Вотъ этого-то я и хотѣлъ. Вотъ такимъ-то я тебя люблю! Ну, такъ нечего терять времени, ѣдемъ въ Парижъ. Сегодня вечеромъ нѣмцы и другіе рефужье собираются въ девять часовъ, пойдемъ сначала къ нимъ.

— Гдѣ-же они собираются? спросилъ я его въ вагонѣ.

— Въ *café Lamblin*, въ *Palais Royal*.

Это было мое первое удивленіе.—Какъ въ *café Lamblin*?

— Тамъ обыкновенно собираются «красные».

— Именно потому-то, мнѣ кажется, и слѣдовало бы сегодня обратиться въ другомъ мѣстѣ.

— Да уже они всѣ тамъ привыкли.

— Пиво, вѣрно, очень хорошо!

Въ кафе, за десяткомъ маленькихъ столиковъ, важно застѣдали разные *habitués* революціи, значительно и мрачно посматривавшіе изъ-подъ поярковыхъ шляпъ съ большими полями, изъ-подъ фуражекъ съ крошечными козырьками. Это были тѣ вѣчные женщины революціонной Пенелопы, тѣ неизбѣжныя лица всѣхъ политическихъ демонстрацій, составляющія ихъ *табло*, ихъ *фронъ*, грозныя издали, какъ драконы изъ бумаги, которыми китайцы хотѣли застращать англичанъ.

Въ смутныя времена общественныхъ пересозданій, бурь, въ которыя государства надолго выходятъ изъ обыкновенныхъ пазовъ своихъ, нараждается новое поколѣніе людей, которыхъ можно назвать хористами революціи; вырощенное на подвижной и вулканической почвѣ, воспитанное въ тревогѣ и перерывѣ всякихъ дѣлъ,—оно съ раннихъ лѣтъ вживается въ среду политическаго раздраженія, любитъ драматическую сторону его, его торжественную и яркую постановку. Для нихъ всѣ эти банкеты, демонстраціи, протестаціи, сборы, тосты, знамена—главное въ революціи.

Въ ихъ числѣ есть люди добрые, храбрые, искренно преданные

и готовые стать подъ пулю, но большей частію очень недалёкіе и чрезвычайные педанты. Неподвижные консерваторы во всемъ революціонномъ, они останавливаются на какой-нибудь программѣ и не идутъ впередъ.

Толкуя всю жизнь о небольшомъ числѣ политическихъ мыслей, они объ нихъ знаютъ, такъ сказать, ихъ риторическую сторону, ихъ священническое облаченіе, т. е. тѣ общія мѣста, которыя послѣдовательно появляются одни и тѣ же, à tour de rôle, какъ уточки въ извѣстной дѣтской игрушкѣ, въ газетныхъ статьяхъ, въ банкетныхъ рѣчахъ и въ парламентскихъ выходкахъ.

Сверхъ людей наивныхъ, революціонныхъ доктринеровъ, въ эту среду естественно втекаютъ непризнанные артисты, несчастные литераторы, студенты, не окончившіе курса, но окончившіе ученіе, адвокаты безъ процессовъ, артисты безъ таланта, люди съ большимъ самолюбіемъ, но съ малыми способностями, съ огромными притязаніями, но безъ выдержки и силы на трудъ. Выѣшнее руководство, которое гуртомъ пасетъ въ обыкновенныя времена стада человѣческія, слабѣетъ во времена переворотовъ, люди, оставленные сами на себя, не знаютъ, что имъ дѣлать. Легкость, съ которой, и то только повидимому, всплываютъ знаменитости въ революціонныя времена, поражаетъ молодое поколѣніе, и оно бросается въ пустую агитацію; она пріучаетъ ихъ къ сильнымъ потрясеніямъ и отучаетъ отъ работы. Жизнь въ кофейныхъ и клубахъ увлекательна, полна движенія, льститъ самолюбію и вовсе не стѣсняетъ. Опоздать нельзя, трудиться не нужно, что не сдѣлано сегодня, можно сдѣлать завтра, можно и вовсе не дѣлать.

Хористы революціи, подобно хору греческихъ трагедій, дѣлаются еще на полухоры; къ нимъ идетъ ботаническая классификація: одни изъ нихъ могутъ назваться *тайнобрачными*, другіе *явнобрачными*. Одни изъ нихъ дѣлаются вѣчными заговорщиками, мѣняють по нѣсколько разъ квартиру и форму бороды. Они тайнственно приглашаютъ на какія-то необыкновенно важныя свиданья, если можно ночью, или въ какомъ-нибудь неудобномъ мѣстѣ. Встрѣчаясь публично съ своими друзьями, они не любятъ кланяться головой, а значительно кланяются глазами. Многие скрываютъ свой адресъ, не сообщаютъ день отъѣзда, не сказываютъ, куда ѣдутъ, пишутъ шифрами и химическими чернилами новости, напечатанныя просто голландской сажой въ газетахъ.

При Людвигѣ Филиппѣ, рассказывалъ мнѣ одинъ французъ, Е., замѣшанный въ какое-то политическое дѣло, скрывался въ Парижѣ; при всѣхъ своихъ прелестяхъ, такая жизнь становится à la longue утомительна и скучна. Делессеръ, bon vivant и богатый человѣкъ, былъ тогда префектомъ; онъ служилъ по полиціи не изъ нужды, а изъ страсти, и любилъ иногда весело пообѣдать.

У него и у Е. было много общих пріятелей; разъ, между «грушей и сыромъ», какъ говорятъ французы, одинъ изъ нихъ ска- залъ ему:

— Какая досада, что вы такъ преслѣдуете бѣднаго Е! Мы лишены славнаго собесѣдника, и онъ долженъ скрываться какъ преступникъ.

— «Помилуйте», сказалъ Делессеръ, «объ его дѣлѣ помину нѣтъ.—Зачѣмъ онъ прячется?»—Знакомые его иронически улыба- лись. «Я его постараюсь увѣрить, что онъ дѣлаетъ вздоръ,—и васъ съ тѣмъ вмѣстѣ».

Пріѣхавши домой, онъ позвалъ одного изъ главныхъ шпіоновъ и спросилъ его:

— «Что Е., въ Парижѣ?»

— Въ Парижѣ, отвѣчалъ шпіонъ.

— «Прячется?»—спросилъ Делессеръ.

— Прячется, отвѣчалъ шпіонъ.

— «Гдѣ?» спросилъ Делессеръ. Шпіонъ вынулъ книжку, порыл- ся въ ней и прочелъ его адресъ.—«Хорошо, такъ ступайте къ нему завтра утромъ рано и скажите, что онъ напрасно беспокоится, что мы его не ищемъ, и что онъ можетъ спокойно жить на своей квартирѣ».

Шпіонъ въ точности исполнилъ приказаніе, а, черезъ два часа послѣ его визита, Е. тайно извѣщалъ своихъ близкихъ и друзей, что онъ уѣзжаетъ изъ Парижа и будетъ скрываться въ одномъ изъ дальнихъ городовъ, потому-де, что префектъ открылъ мѣсто, гдѣ онъ прятался!

Сколько заговорщики стараются покрыть прозрачной завѣсой таинственности и краснорѣчивымъ молчаніемъ свою тайну, столько явнобрачные стараются обличить и разболтать все, что есть за душой.

Это безсмѣнные трибуны кофейныхъ и клубовъ; они постоянно недовольны всѣмъ и хлопочутъ обо всемъ, все сообщаютъ, даже то, чего не было, а то, что было, является у нихъ какъ горы въ рельефныхъ картахъ, возведенное въ квадратъ и кубъ. Глазъ до того къ нимъ привыкаетъ, что невольно ищетъ ихъ при всякомъ уличномъ шумѣ, при всякой демонстраціи, на всякомъ банкетѣ.

...Для меня зрѣлище въ *café Lamblin* было еще ново, я мало былъ знакомъ тогда съ заднимъ дворомъ революціи. Правда, я ходилъ въ Римъ и въ *café delle Belli Arti* и на площадь, бывалъ въ *Circolo Romano* и въ *Circolo Popolare*, но тогдашнее римское движеніе не имѣло еще того характера политической махровости, который особенно развился послѣ неудачъ 1848 года. Чичероваккіо и его друзья имѣли свои наивности, свою южную мимику, которая намъ кажется фразой, и свои итальянскія фразы, которыя

мы принимаемъ за декламацию; но они были въ періодѣ юнаго увлеченія, они еще не пришли въ себя послѣ трехвѣковаго сна; il popolo Чичероваккю вовсе не былъ политическимъ агитаторомъ по ремеслу, онъ ничего лучше не просилъ бы, какъ снова удалиться съ миромъ въ свой небольшой домъ Strada Ripetta и торговать лѣсомъ и дровами, въ кругу своей семьи, какъ pater familias и свободный civis romanus.

Въ людяхъ, его окружавшихъ, не могло быть той печати пошлаго, изболтавшагося псевдо-революціонизма, того характера tare, который такъ печально распространился во Франціи.

Само собою разумѣется, что, говоря о кофейныхъ агитаторахъ и о революціонныхъ лаццарони, я вовсе не думалъ о тѣхъ сильныхъ рабочихъ человѣческаго освобожденія, о тѣхъ огненныхъ проповѣдникахъ независимости, о тѣхъ мученикахъ любви къ ближнему, которымъ ни тюрьма, ни ссылка, ни изгнаніе, ни бѣдность не перерывала рѣчи, о тѣхъ дѣлателяхъ и двигателяхъ событий,—кровью, слезами и рѣчами которыхъ водворяется новый порядокъ въ исторіи. У насъ рѣчь шла о той накупившей закраинѣ, покрытой празднымъ пустоцвѣтомъ, для котораго сама агитация—цѣль и награда, которымъ процессъ народныхъ возстаній нравится,—какъ процессъ чтенія нравился Петрушкѣ Чичикова.

Реакція радоваться нечему,—не такими репейниками и мухоморами поросла она и не на окраинахъ, а повсюду. Въ ней цѣлыя населенія чиновниковъ, дрожащихъ передъ начальниками, шныряющихъ шпионовъ, вольнонаемныхъ убійцъ, готовыхъ драться съ той и другой стороны, офицеровъ во всѣхъ отвратительныхъ видахъ, отъ прусскаго юнкертума до хищныхъ французскихъ алжирцевъ. И тутъ мы еще только коснулись свѣтской реакціи, не трогая ни нищенствующую братію, ни интригующихъ іезуитовъ, ни полицействующихъ поповъ.

Если въ реакціи есть что-нибудь похожее на нашихъ дилетантовъ революціи, то это придворные—люди, употребляемые для церемоній, люди выходовъ и входовъ, люди, бросающіеся въ глаза на крестинахъ и бракосочетаніяхъ, на похоронахъ, люди для мундира, для шитья, представляющіе лучи власти, ея ароматъ.

Въ café Lamblin, гдѣ отчаянные граждане сидѣли за пиверами и большими стаканами, я узналъ, что нѣтъ никакого плана, нѣтъ никакого настоящаго центра движенія, никакой программы. Только въ одномъ пунктѣ всѣ были согласны—*въ томъ, чтобы явиться на мѣсто сбора безъ оружія*. Послѣ пустой болтовни, продолжавшейся часа два, условившись, чтобы завтра въ восемь часовъ утра собраться на Boulevard Bonne Nouvelle противъ Châ-

teau d'Eau, мы отправились въ редакцію «Истинной Респу-блики».

Издателя не было дома: онъ поѣхалъ «къ горцамъ» за ин-струкціями. Въ большой, почернѣлой, слабо освѣщенной и еще слабѣе меблированной залѣ, служившей редакціи для сбора и совѣщаній, было человѣкъ двадцать, большей частью поляки и нѣмцы. Сазоновъ взялъ листъ бумаги и принялся что-то писать; написавши, онъ намъ прочелъ: это была протестація отъ имени эмигрантовъ всѣхъ странъ противъ занятія Рима и заявленіе готовности ихъ принять участіе въ движеніи. Тѣмъ, кто хотѣлъ обезсмертить свое имя, связывая его съ славнымъ завтра, онъ предлагалъ подписаться. Почти всѣ хотѣли обезсмертить свое имя и подписались. Вошелъ издатель, усталый, невеселый, стараясь внушить, что онъ много знаетъ, но долженъ молчать: я былъ увѣренъ, что онъ ничего не знаетъ. «Citoyens», сказалъ Торе, «la Montagne est en permanence». Ну, что же сомнѣваться въ успѣхѣ—en permanence!.. Сазоновъ передалъ издателю протестацію европейской демократіи. Издатель перечиталъ и ска-залъ: «Это прекрасно, это прекрасно! Франція васъ благодарить, граждане; но зачѣмъ же подписи? Ихъ такъ немного, что, въ случаѣ неудачи, на васъ обрушится вся злоба нашихъ вра-говъ».

Сазоновъ настаивалъ, чтобъ имена остались; многіе были согласны съ нимъ. «Я не беру этого на мою отвѣтственность», возразилъ издатель; «простите меня, я лучше васъ знаю, съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло». При этомъ онъ оторвалъ подписи и предалъ имена дюжины кандидатовъ на безсмертіе всесоженію на свѣчѣ, а текстъ послалъ набирать въ типографію.

Когда мы вышли изъ редакціи, разсвѣтало; толпы оборван-ныхъ мальчишекъ и несчастныхъ, убого одѣтыхъ женщинъ стояли, сидѣли, лежали по тротуарамъ, возлѣ разныхъ редакцій, ожидая кипы журналовъ—однѣ, чтобъ ихъ складывать, другіе, чтобъ бѣжать съ ними во всѣ концы Парижа. Мы вышли на бульваръ; тишина была совершенная, изрѣдка попадались па-трули національной гвардіи, прогуливались и лукаво посматри-вавшіе городовые сержанты.

— Какъ беззаботно спитъ этотъ городъ, сказалъ мой това-рищъ, не предчувствуя, какая гроза его разбудитъ завтра!

— «Вотъ, кто не спитъ за насъ за всѣхъ,—сказалъ я ему, указывая наверхъ, то есть на освѣщенное окно въ maison d'Or.—Это очень кстати, зайдемъ выпить абсенту; у меня что-то на желудкѣ нехорошо».

— А у меня пусто, къ тому же оно и недурно поужинать;

какъ ѣдятъ въ Капитоліи, я не знаю, ну, а въ Консерваторіи кормятъ отвратительно.

По костюмъ холодной индѣйки, оставшимся отъ трапезы нашей, нельзя было догадаться ни того, что холера свирѣпствовала въ Парижѣ, ни того, что мы идемъ черезъ два часа мѣнять судьбы Европы. Мы ѣли въ *maison d'Or* такъ, какъ Наполеонъ спалъ подъ Аустерлицемъ.

Часу въ девятомъ, когда мы пришли на бульваръ *Bonne Nouvelle*, на немъ уже стояли многочисленныя кучки людей, съ видимымъ нетерпѣніемъ ожидавшихъ что дѣлать, на лицахъ было написано недоумѣніе, но съ тѣмъ вмѣстѣ по особенной фізіономіи группъ видно было большое озлобленіе. Найди себѣ эти люди настоящихъ вожатаевъ, день не окончился бы фарсомъ.

Была минута, въ которую мнѣ показалось, что сейчасъ завяжется дѣло. Какой-то господинъ довольно тихо ѣхалъ верхомъ по бульварамъ. Въ немъ узнали одного изъ министровъ (Лакруа), который вѣроятно не для одного чистаго воздуха прогуливался верхомъ такъ рано. Его окружили съ крикомъ, стащили съ лошади, изодрали ему фракъ и потомъ отпустили, т. е. другая группа отбила его и эскортировала куда-то. Толпа росла, часамъ къ десяти могло быть до двадцати пяти тысячъ человѣкъ. Кого мы ни спрашивали, къ кому мы ни обращались, никто ничего не зналъ. Керсози, времени минувшихъ карбонаро, увѣрялъ насъ, что банье входитъ въ *Arc de Triomphe* съ крикомъ: «*Vive la République!*»—«Пуще всего», опять повторяли всѣ старѣйшины демократіи, «будьте безъ оружія, а то вы испортите характеръ дѣла. Самодержавный народъ долженъ мирно и торжественно заявить Собранію свою волю, чтобъ не дать врагамъ никакого повода къ клеветѣ».

Наконецъ, колонны состроились. Изъ насъ, иностранцевъ, составили почетную фалангу за самыми вожатаями, въ числѣ которыхъ были Е. Араго, въ полковничьемъ мундирѣ, бывшій министръ Бастидъ и другія знаменитости 1848 года. Съ разными криками и съ марсельезой двинулись мы по бульвару. Кто не слыхалъ марсельезы, пѣтой тысячами голосовъ, въ томъ нервномъ раздраженіи и въ томъ раздумьи, которое необходимо является передъ извѣстной борьбой, тотъ врядъ ли пойметъ потрясающее дѣйствіе революціоннаго псалма.

Въ эту минуту демонстрація получила величавый характеръ. По мѣрѣ того, какъ мы тихо двигались по бульварамъ, всѣ окна отворялись; дамы, дѣти толкались у нихъ и выходили на балконы; мрачныя и встревоженныя лица ихъ мужей, отцовъ-пропріетеровъ выглядывали изъ-за нихъ, не замѣчая, что въ четвертыхъ этажахъ и мансардахъ высовывались другія головки, бѣд-

ныхъ швей и работницъ:—онѣ махали намъ платками, кланялись и привѣтствовали руками. Время отъ времени подымались разные крики, когда мы проходили мимо домовъ извѣстныхъ лицъ.

Такъ дошли мы до того мѣста, гдѣ rue de la Paix входитъ въ бульвары; она была заперта взводомъ венсенскихъ стрѣлковъ, и, когда наша колонна поровнялась съ ними, стрѣлки вдругъ разступились, какъ декорація въ театрѣ,—и Шангарнье, верхомъ на небольшой лошади, скакалъ передъ эскадрономъ драгуновъ. Безъ всякихъ соммацій, безъ барабаннаго боя и прочихъ, закономъ предписанныхъ, формъ, онъ, смявъ передовые ряды, отрѣзалъ ихъ отъ прочихъ и, развернувъ драгуновъ на двѣ стороны, велѣлъ имъ скорымъ шагомъ расчистить улицу. Драгуны съ какимъ-то упоеніемъ пустились мять людей, рубя палашами плашмя и острой стороной при малѣйшемъ сопротивленіи. Я едва успѣлъ сообразить, что случилось, какъ очутился носъ съ носомъ съ лошадыю, которая фыркала мнѣ въ лицо, и съ драгуномъ, который, ругаясь, также не заглаза, грозился вытянуть меня фухтелемъ, если я не пойду въ сторону. Я подался направо и, въ одно мгновеніе, былъ увлеченъ толпой и прижать къ рѣшеткѣ rue Basse des Remparts. Изъ нашего ряда остался возлѣ меня одинъ М. Стрюбингъ; между тѣмъ драгуны жали передовыхъ людей лошадыми, а они насъ людьми, которымъ некуда было дѣться. Е. Араго соскочилъ въ улицу Basse des Remparts, поскользнулся и вывихнулъ себѣ ногу; велѣдъ за нимъ соскочилъ и я съ Стрюбингомъ, мы взглянули другъ на друга съ какимъ-то бѣшенствомъ негодованья, Стрюбингъ обернулся и громко закричалъ: «Aux armes! aux armes!»! Человѣкъ въ блузѣ схватилъ его за воротникъ и, толкая въ другую сторону, сказалъ: «Что вы, съ ума сошли, что-ли?.. смотрите сюда». По улицѣ—должно быть Chaussée d'Antin—двигалась густая щетина штыковъ.—«Ступайте, пока васъ не слыхали, да пока не отрѣзали дороги». «Все пропало!—все!» прибавилъ онъ, сжимая кулакъ, и, напѣвая пѣсню, будто ничего не было, удалился скорыми шагами. Мы пошли на площадь Согласія. На Елисейскихъ поляхъ не было ни одного взвода изъ банлье; вѣдь и Керсози зналъ, что не было; это была дипломатическая ложъ къ спасенію, а, можетъ, она была бы и къ гибели тѣхъ, которые повѣрили бы.

Наглость нападенія на безоружныхъ людей возбудила большую злобу. Будь въ самомъ дѣлѣ что-нибудь приготовлено, будь вожатые, не было бы ничего легче, какъ начать настоящій бой. Гора, вмѣсто того, чтобъ явиться въ весь ростъ, услышавъ о томъ, какъ смѣшно разогнали лошадыми самодержавный народъ, скрылась за облакомъ. Тедрю-Ролленъ велъ переговоры съ Гинаромъ. Гинаръ, начальникъ артиллеріи національной гвардіи, хотѣлъ самъ при

стать къ движенію, хотѣлъ дать людей, соглашался дать пушки, но ни подъ какимъ видомъ не хотѣлъ *давать зарядовъ*, онъ какъ-то хотѣлъ дѣйствовать *моральной стороною пушекъ*; тоже дѣлалъ со своимъ легиономъ Форестье. Много ли имъ помогло это,—мы видѣли по версальскому процессу. Всѣмъ чего-то хотѣлось, но никто не дерзалъ; всего предусмотрительнѣе оказались нѣсколько молодыхъ людей, съ надеждой на новый порядокъ,— они заказали себѣ префектскіе мундиры, которыхъ, послѣ неудачи движенія, не взяли, и портной принужденъ былъ вывѣсить ихъ на продажу.

Когда наскоро сколоченное правительство расположилось въ Arts et Métiers, работники, походивши по улицамъ съ вопрошающимъ взглядомъ и не находя ни совѣта, ни призыва, отправились домой, еще разъ убѣдившись въ несостоятельности горныхъ отцевъ отечества, можетъ быть, глотая слезы, какъ блузникъ, говорившій намъ: «Все погибло!—все!» а можетъ, и смѣясь исподтишка тому, что «гора» опростоволосилась.

Но нерасторопность Ледрю-Роллена, формализмъ Гинара— все это внѣшнія причины неудачи и являются съ тѣмъ же *кетати*, какъ рѣзкіе характеры и счастливыя обстоятельства, когда ихъ нужно. Внутренняя причина состояла въ бѣдности той республиканской идеи, изъ которой шло движеніе. Идеи, пережившія свое время, могутъ долго ходить съ клюкой, но трудно для нихъ снова завладѣть жизнью и вести ее. Они не увлекаютъ всего человѣка, или увлекаютъ только неполныхъ людей. Если-бъ гора одолѣла 13 іюня, что бы она сдѣлала? Новаго у нея за душой ничего не было, опять безцвѣтная фотографія яркой и мрачной Рембрандтовской, Сальваторъ-Розовской картины 1793 года, безъ якобинцевъ, безъ войны, даже безъ наивной гильотины...

Вслѣдъ за 13 іюнемъ и опытомъ ліонскаго возстанія начались аресты; меръ съ полиціей приходилъ къ намъ въ ville d'Avray искать К. Блинда и А. Руге; часть знакомыхъ была захвачена. Консьержи была набита биткомъ, въ небольшомъ залѣ было до шестидесяти человѣкъ; посреди него стоялъ ушатъ для нечистоты, разъ въ сутки его выносили, и все это въ образованномъ Парижѣ, во время свирѣпѣйшей холеры. Не имѣя ни малѣйшей охоты прожить мѣсяца два въ этомъ комфортаѣ, на гнилыхъ бокахъ и тухлой говядинѣ, я взялъ пассъ у одного молдовалаха и уѣхалъ въ Женеву ¹⁾.

¹⁾ Какъ справедливы были мои опасенія, доказалъ полицейскій обыскъ, сдѣланный дня три послѣ моего отъѣзда въ домъ моей матери, въ ville d'Avray. У нея захватили всѣ бумаги, даже переписку ея горничной съ моимъ поваромъ. Разсказъ о 13 іюнѣ я не считъ своевременнымъ печатать тогда.

Тогда еще возили Францію Lafitte и Calliard, дилижансы ставили на желѣзную дорогу, потомъ снимали, помнитса, въ Шалонѣ и опять гдѣ-то ставили. Со мной въ купе сѣлъ худощавый мужчина, загорѣлый, съ подстриженными усами, довольно неприятной наружности и подозрительно посматривавшій на меня; съ нимъ былъ небольшой сакъ и шпага, завернутая въ клеенку. Очевидно, что это былъ переодѣтый городской сержантъ. Онъ тщательно осмотрѣлъ меня съ ногъ до головы, потомъ уткнулся въ уголъ и не произнесъ ни одного слова. На первой станціи онъ подозвалъ кондуктора и сказалъ ему, что забылъ превосходную карту, что онъ его обяжетъ, давши клочекъ бумаги и конвертъ. Кондукторъ замѣтилъ, что до звонка остается всего минуты три; сержантъ выпрыгнулъ и, возвратившись, сталъ еще подозрительнѣе осматривать меня. Часа четыре продолжалось молчаніе, даже позволеніе курить онъ спросилъ у меня молча; я отвѣчалъ также головой и глазами и вынулъ самъ сигару. Когда стало смеркаться, онъ спросилъ меня:

— «Вы въ Женеву?»

— Нѣтъ, въ Ліонъ, отвѣчалъ я.

— «А!»—Тѣмъ разговоръ и кончился.

Черезъ нѣсколько времени отворилась дверь и кондукторъ съ трудомъ всунулъ плѣшивую фигуру, въ просторномъ гороховомъ пальто, въ цвѣтномъ жилетѣ, съ толстой тростью, мѣшкомъ, зонтикомъ и огромнымъ животомъ. Когда этотъ типъ добродѣтельнаго дяди усѣлся между мной и сержантомъ, я его спросилъ, не давши ему придти въ себя отъ одышки:

— Monsieur, vous n'avez pas d'objection? Камшляя, отирая потъ и повязывая фуляромъ голову, онъ отвѣчалъ мнѣ:

— «Сдѣлайте одолженіе; помилуйте, мой сынъ, который теперь въ Алжирѣ, всегда курить, *il fume toujours*», и потомъ, съ легкой руки, пошелъ рассказывать и болтать; черезъ полчаса онъ уже допросилъ меня, откуда я и куда я ѣду, и, услыхавъ, что я изъ Валахій, съ свойственной французу учтивостью прибавилъ: «Ah! c'est un beau pays», хотя онъ и не зналъ навѣрно, въ Турціи она или въ Венгріи.

Сосѣдъ мой отвѣчалъ на его вопросы очень лаконически: Monsieur est militaire?—Oui, Monsieur.—Monsieur a été en Algérie?—Oui, Monsieur.—Мой старшій сынъ тоже, онъ и теперь тамъ. Вы вѣрно въ Оранъ? Non, monsieur. А въ вашихъ странахъ есть дилижансы?

— Между Яссами и Бухарестомъ, отвѣчалъ я съ неподражаемой самоувѣренностью. Только у насъ дилижансы ходятъ на волахъ. Это привело въ крайнее удивленіе моего сосѣда и онъ навѣрно

присягнуть бы, что я валахъ; послѣ этой счастливой подробности даже сержантъ смягчился и сталъ разговорчивѣе.

Въ Ліонѣ я взялъ свой чемоданъ и тотчасъ поѣхалъ въ другую контору дилижансовъ, вскарабкался на имперіаль и черезъ пять минутъ скакалъ уже по женевской дорогѣ. Въ послѣднемъ большомъ городѣ, на площадкѣ передъ полицейскимъ домомъ, сидѣлъ комиссаръ полиціи съ писаремъ, около стояли жандармы, тутъ свидѣтельствовали предварительно пассы. Примѣты не совсѣмъ шли ко мнѣ, а потому, слѣзая съ имперіала, я сказалъ жандарму:

— Mon brave, пожалуйста, гдѣ бы на скорую руку выпить стаканъ вина съ вами, укажите, мочи нѣтъ какой жаръ.

— Да вотъ тутъ два шага кафе моей родной сестры.

— А какъ же быть съ пассомъ?

— Давайте сюда, я отдамъ моему товарищу, онъ принесетъ его намъ.

Черезъ минуту мы осушали съ жандармомъ бутылку Бонъ въ кафе его родной сестры, а черезъ пять его пріятель принесъ пассъ, я ему поднесъ стаканъ, онъ приложилъ руку къ шляпѣ, и мы отправились друзьями къ дилижансу. Первый разъ сошло хорошо съ рукъ. Пріѣзжаемъ на границу—рѣка, на рѣкѣ мостъ, за мостомъ піемонтская таможня. Французскіе жандармы на берегу таскаются во всѣхъ направленіяхъ, ищутъ Ледрю-Роллена, который давно проѣхалъ, или по крайней мѣрѣ Феликса Піа, который все-таки проѣдетъ, и такъ же, какъ и я, съ валахскимъ пассомъ.

Кондукторъ замѣтилъ намъ, что здѣсь окончательно смотрятъ бумаги, что это продолжается довольно долго, съ полчаса, въ силу чего совѣтовалъ поѣсть въ почтовомъ трактирѣ. Мы вошли и только что усѣлись, прикатилъ другой ліонскій дилижансъ; входятъ пассажиры и первый—мой сержантъ; фу, пропасть какая, я, вѣдь, ему сказалъ, что ѣду въ Ліонъ. Мы съ нимъ сухо поклонились, онъ также, кажется, удивился, однако не сказалъ ни слова.

Пришелъ жандармъ, роздалъ пассы, дилижансы были уже на той сторонѣ; «извольте, господа, отправляться пѣшкомъ черезъ мостъ». Вотъ тутъ-то, думаю, и пойдетъ исторія. Вышли мы... Вотъ и на мосту—исторіи нѣтъ, вотъ и за мостомъ—исторіи нѣтъ.

— Ха, ха, ха, сказалъ, нервно смѣясь, сержантъ, переѣхали таки, фу, какъ будто какая-нибудь тяжесть свалилась.

— Какъ, сказалъ я, да вы?

— Да, вѣдь, и вы кажется?

— Помилуйте, отвѣчалъ я, смѣясь отъ души, прямо изъ Бухареста, чуть не на волахъ.

— Ваше счастье, сказалъ мнѣ кондукторъ, грозя пальцемъ, а впередъ будьте осторожны, зачѣмъ вы дали два франка на водку мальчику, который привелъ васъ въ контору. Хорошо, что онъ тоже *нашъ*, онъ мнѣ тотчасъ сказалъ: должно быть красный, ни минуты не остался въ Лионѣ, и такъ обрадовался мѣсту, что далъ мнѣ два франка на водку. Ну, молчи, не твое дѣло, сказалъ я ему, а то услышитъ бестія какая-нибудь полицейская и, пожалуй, остановить.

На другой день мы пріѣхали въ Женеву, эту старинную гавань гонимыхъ... «Во время смерти короля, сто пятьдесятъ семействъ, говоритъ Мишле въ своей исторіи XVI столѣтія, бѣжали въ Женеву; спустя нѣкоторое время, еще тысяча четыреста. Выходцы французскіе и выходцы изъ Италіи основали истинную Женеву, это удивительное убѣжище между тремя націями; безъ всякой опоры, боясь самихъ швейцарцевъ, оно держалось одной нравственной силой».

Швейцарія была тогда сборнымъ мѣстомъ, куда сходились со всѣхъ сторонъ уцѣлѣвшіе остатки европейскихъ движеній. Представители всѣхъ неудавшихся революцій кочевали между Женевой и Базелемъ, толпы ополченцевъ переходили Рейнъ, другіе спускались съ С.-Готарда или шли изъ-за Юры. Трусливое федеральное правительство еще не смѣло открыто ихъ гнать, кантоны еще держались за свое старинное, святое право убѣжища.

Точно на смотру, церемоніальнымъ маршемъ проходили по Женевѣ, останавливались, отдыхали и шли дальше всѣ эти люди, которыми была полна молва, которыхъ я любилъ заочно и къ которымъ теперь торопился навстрѣчу...

ГЛАВА XXXVII.

Вавилонское столпотвореніе. — Нѣмецкіе *umwaelzungsmaenner*ы. — Французскіе красные горцы. — Итальянскіе *Fuorusciti* въ Женевѣ. — Маццини, Гарibaldi, Орсини... — Романская и Германская традиція. — Прогулка на «князь Радецкомъ».

Было время, когда, въ порывѣ раздраженія и горькаго смѣха, я собирался, на манеръ Гранвилевской иллюстраціи, написать памфлетъ: *Les réfugiés peints par eux mêmes*. Я радъ, что не сдѣлалъ этого. Теперь я смотрю покойнѣе, меньше смѣюсь и меньше негодую. Къ тому же и эмиграція продолжается слишкомъ долго и слишкомъ тяжело гнететъ людей.

Тѣмъ не меньше, я и теперь скажу, что эмиграціи, предпри-

нимаемая не съ опредѣленной цѣлью, а вытѣсняемая побѣдой противной партіи, замыкають развитіе и утягивають людей изъ живой дѣятельности въ призрачную. Выходя изъ родины съ затѣнной злобой, съ постоянной мыслию завтра снова въ нее вѣхать, люди не идутъ впередъ, а постоянно возвращаются къ старому; надежда мѣшаетъ осядлости и длинному труду; раздраженіе и пустые, но озлобленные споры не позволяютъ выйти изъ извѣстнаго числа вопросовъ, мыслей, воспоминаній, изъ которыхъ образуется обязательное, тяготящее преданіе. Люди вообще, но пуще всего люди въ исключительномъ положеніи, имѣють такое пристрастіе къ формализму, къ цеховому духу, къ профессиональной наружности, что тотчасъ принимаютъ свой ремесленническій, доктринерный типъ.

Всѣ эмиграціи, отрѣзанныя отъ живой среды, къ которой принадлежали, закрываютъ глаза, чтобъ не видѣть горькихъ истинъ, и вживаются больше въ фантастическій, замкнутый кругъ, состоящій изъ косныхъ воспоминаній и несбыточныхъ надеждъ. Если прибавимъ къ тому отчужденіе отъ не-эмигрантовъ, что-то озлобленное, подозрѣвающее, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будетъ совершенно понятенъ.

Эмигранты 1849 не вѣрили еще въ продолжительность побѣды своихъ враговъ, хмѣль недавнихъ успѣховъ еще не проходилъ у нихъ, пѣсни ликующаго народа и его рукоплесканія еще раздавались въ ихъ ушахъ. Они твердо вѣрили, что ихъ пораженіе—минутная неудача, и не перекладывали платья изъ чемодана въ комода. Между тѣмъ Парижъ былъ подъ надзоромъ полиціи, Римъ—подъ ударами французовъ, въ Баденѣ свирѣпствовали братья короля Прусскаго, а Паскевичъ по-русски, взятками и посулами, надулъ Гёрвея въ Венгріи. Женева была биткомъ набита выходцами, она дѣлалась Кобленцомъ революціи 1848 года. Итальянцы всѣхъ странъ, французы, ушедшіе отъ Башарова слѣдствія, отъ Версальскаго процесса, Баденскіе ополченцы, вступившіе въ Женеву правильнымъ строемъ, съ своими офицерами и съ Густавомъ Струве, участники Вѣнскаго возстанія, богемцы, познанскіе и галиційскіе поляки. Все это толпилось между отель де Бергъ и почтовымъ кафе. Умнѣйшіе изъ нихъ стали догадываться, что эта эмиграція не минутна, поговаривали объ Америкѣ и уѣзжали. Большинство, совсѣмъ напротивъ, и въ особенности французы, вѣрные своей натурѣ, ждали всякій день смерти Наполеона и народження республики демократической и соціальной—одни, другіе демократической, но отнюдь не соціальной.

Черезъ нѣсколько дней послѣ моего пріѣзда, гуляя въ Паки, я встрѣтилъ какого-то пожилого господина съ видомъ русскаго сельскаго священника, въ низкой шляпѣ съ большими полями,

въ *черномъ* бѣломъ стуртукѣ, прогуливавшагося съ какимъ-то іерейскимъ помазаніемъ; возлѣ него шелъ человѣкъ страшныхъ размѣровъ, небрежно собранный изъ огромныхъ частей людского тѣла. Со мной былъ молодой литераторъ Ф. Капъ.

— «Вы не знаете ихъ?» спросилъ онъ меня.

— Нѣтъ, но, если я не ошибаюсь, это Ной или Лотъ, прогуливающийся съ Адамомъ, который вмѣсто фиговыхъ листьевъ надѣлъ не по мѣркѣ сшитое пальто.

— «Это Струве и Гейнценъ, отвѣтилъ онъ, смѣясь. Хотите познакомиться?»

— Очень. Онъ подвелъ меня.

Разговоръ былъ ничтоженъ; Струве возвращался домой и просилъ зайти, мы пошли съ нимъ. Небольшая квартира его была наполнена баденцами; середъ ихъ сидѣла высокая и издали очень красивая женщина, съ богатой шевелюрой, оригинальнымъ образомъ разбросанной; это была извѣстная Амалія Струве, его жена.

Лицо Струве съ самаго начала сдѣлало на меня странное впечатлѣніе: оно выражало тотъ нравственный столбнякъ, который изуверство придаетъ святошамъ и раскольниковамъ. Глядя на этотъ крѣпкій, сжатый лобъ, на спокойное выраженіе глазъ, на нечесаную бороду, на волосы съ просѣдью и на всю его фигуру, мнѣ казалось, что это или какой-нибудь фанатическій пасторъ изъ войска Густава Адольфа, забывшій умереть, или какой-нибудь таборить, проповѣдующій покаяніе и причастіе въ двухъ видахъ. Наружность Гейнцена, этого Собакевича нѣмецкой революціи, была утрумо груба; сангвиническій, неуклюжій, онъ сердито поглядывалъ изъ-подлобья и былъ не рѣчистъ. Онъ впослѣдствіи писалъ, что достаточно *избить два милліона* человѣкъ на земномъ шарѣ, и дѣло революціи пойдетъ какъ по маслу. Кто его видѣлъ хоть разъ, тотъ не удивится, что онъ это писалъ.

Не могу не рассказать о чрезвычайно смѣшномъ анекдотѣ, который со мной случился по поводу этой канибальской выходки. Въ Женевѣ жилъ, да и теперь живетъ добрейшій въ мірѣ докторъ Р., одинъ изъ самыхъ платоническихъ и самыхъ постоянныхъ любовниковъ революціи, другъ всѣхъ выходцевъ; онъ на свой счетъ лечилъ, кормилъ и поилъ ихъ. Бывало, какъ рано ни придешь въ Café de la Poste, а докторъ уже тамъ и уже читаетъ третью или четвертую газету, зоветъ таинственно пальцемъ и сообщаетъ на ухо... «Я думаю, что сегодня въ Парижѣ горячій день».—Отчего-же?—«Я вамъ не могу сказать, отъ кого я слышалъ, но только отъ близкаго человѣка Ледрю Роллена, онъ былъ здѣсь проездомъ»...—Да, вѣдь, вы и вчера, и третьяго дня ждали чего-то, любезнѣйшій докторъ?—«Ну такъ что-жъ? Stadt Rom war nicht in einem Tage gebaut».

Вотъ къ нему-то, какъ къ другу Гейнцену, въ томъ же самомъ кафе, я и обратился, когда Гейнценъ напечаталъ свою филантропическую программу. «Зачѣмъ же, сказалъ я ему, вашъ пріятель пишетъ такой вредный вздоръ? Реакція кричитъ, да и имѣетъ право... Что за Мара, переложенный на нѣмецкіе нравы, да и какъ требовать два милліона головъ?» Р. сконфузился, но друга выдать не хотѣлъ. «Послушайте, сказалъ онъ, наконецъ, вы, можете, одно выпустили изъ виду: Гейнценъ говоритъ обо всемъ родѣ человѣческомъ, въ этомъ числѣ, по крайней мѣрѣ, *двѣсти тысячъ китайцевъ*». — «Ну, вотъ это другое дѣло, чего ихъ жалѣть», отвѣтилъ я, и долго послѣ не могъ вспомнить безъ сумасшедшаго смѣха эту облегчающую причину.

Дня черезъ два послѣ моей встрѣчи въ Паки, гарсонъ *hôtel des Bergues*, гдѣ я стоялъ, прибѣжалъ ко мнѣ въ комнату и съ важной миной возвѣстилъ:

— «Генераль Струве, съ своими адъютантами».

Я подумалъ или что мальчика кто-нибудь подослалъ шутя, или что онъ что-нибудь перевралъ; но дверь отворилась и

Mit bedachtigen schritt
Густавъ Струве tritt.....

и съ нимъ четыре господина; двое были въ военномъ костюмѣ, какъ ихъ тогда носили фрейшерлеры, и вдобавокъ съ большими красными брасарами, украшенными разными эмблемами. Струве представилъ мнѣ свою свиту, демократически называя ее «братьями въ ссылкѣ». Я съ удовольствіемъ узналъ, что одинъ изъ нихъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати, съ видомъ бурша, недавно вышедшаго изъ фуксовъ, успѣшно занималъ уже должность министра внутреннихъ дѣлъ *per interim*.

Струве тотчасъ началъ меня поучать своей теоріи о семи бичахъ, *der sieben Geissel*: папы, попы, короли, солдаты, банкиры и т. д., и о водвореніи какой-то новой демократической и революціонной религіи. Я замѣтилъ ему, что если уже это зависитъ отъ нашей воли заводить или нѣтъ новую религію, то лучше не заводить никакой, а предоставить это волѣ Божіей, оно же и по сущности дѣла относится болѣе до нея. Мы поспорили. Струве что-то отпустилъ о *Weltseele*, я ему замѣтилъ, что, несмотря на то, что Шеллингъ такъ ясно опредѣлилъ міровую душу, называя ее *das Schwebende*, мнѣ она порядкомъ не дается. Онъ вскочилъ со стула и, подошедши ко мнѣ какъ нельзя ближе со словами: «извините, позвольте», принялся играть пальцами по моей головѣ, нажимая ими, какъ-будто черепъ у меня былъ составленъ изъ клавишей фисгармоники. «Дѣйствительно», прибавилъ онъ, обращаясь къ четыремъ братьямъ въ ссылкѣ: «*Bürger Herzen*

hat kein, aber auch gar kein Organ der Veneration»; всё были довольны отсутствием у меня «бугра почтительности», и я тоже.

При этомъ онъ объявилъ мнѣ, что онъ глубокий френологъ и не только писалъ книгу о Галлевой системѣ, но даже выбралъ по ней свою Амалію, потрогавши предварительно ея черепъ. Онъ увѣрялъ, что у нея бугра страстей совсѣмъ почти не существуетъ, и что задняя часть черепа, обиталище ихъ, почти приплюснута. По этой-то, достаточной для развода, причинѣ, онъ женился на ней.

Струве былъ большой чудакъ, ѣлъ одно постное съ прибавкой молока, не пилъ вина, и на такой же діетѣ держалъ свою Амалію. Ему казалось и этого мало, и онъ всякій день ходилъ купаться съ нею въ Арву, гдѣ вода середь лѣта едва достигаетъ 8 градусовъ, не успѣвая нагрѣться, такъ быстро стекаетъ она съ горъ.

Впослѣдствіи мнѣ случалось говорить съ нимъ о растительной пищѣ. Я возражалъ ему, какъ обыкновенно возражаютъ: устройствомъ зубовъ, большей потерей силъ на претвореніе растительнаго фибрина, указывалъ на меньшее развитіе мозга у травоядныхъ животныхъ. Онъ слушалъ кротко, не сердился, но стоялъ на своемъ. Въ заключеніе, онъ, видимо желая меня поразить, сказалъ мнѣ:

— «Знаете ли вы, что человѣкъ, всегда питающійся растительной пищей, до того очищаетъ свое тѣло, что оно совсѣмъ не пахнетъ послѣ смерти?»

— Это очень пріятно, возразилъ я ему, но мнѣ-то отъ этого какая же польза? я не буду нюхать самъ себя послѣ смерти.

Струве даже не улыбнулся, но сказалъ мнѣ съ спокойнымъ убѣжденіемъ:

— «Вы еще будете иначе говорить!»

— Когда вырастетъ бугоръ почтительности, прибавилъ я.

Въ концѣ 1849 Струве прислалъ мнѣ свой, вновь изобрѣтенный для вольной Германіи, календарь. Дни, мѣсяцы, все было переведено на какое-то древне-германское и трудно понятное нарѣчіе; вмѣсто святыхъ, каждый день былъ посвященъ воспоминанію двухъ знаменитостей, напр. Вашингтону и Лафайету, но зато десятый назначался въ память враговъ рода человѣческаго, напр. Меттерниха. Праздниками были тѣ дни, когда воспоминаніе падало на особенно великихъ людей, на Лютера, Колумба и пр. Въ этомъ календарѣ Струве галантно замѣнилъ 25 декабря, Рождество Христово, праздникомъ Амаліи!

Какъ-то, встрѣтившись со мной на улицѣ, онъ, между прочимъ, сказалъ, что надобно было бы издавать въ Женевѣ журналъ, общій всѣмъ эмиграціямъ, на трехъ языкахъ, который

могъ бы бороться противъ «семи бичей» и поддерживать «священный огонь» народовъ, раздавленныхъ теперь реакціей. Я ему отвѣчалъ, что, разумѣется, это было бы хорошо.

Изданіе журналовъ было тогда повальной болѣзнію: каждыя двѣ-три недѣли возникали проекты, являлись спесимены, разсылались программы, потомъ нумера два-три,—и все исчезало безслѣдно. Люди, ни на что неспособные, все еще считали себя способными на изданіе журнала, сколачивали сто-двѣсти франковъ и употребляли ихъ на первый и послѣдній листъ. Поэтому намѣреніе Струве меня нисколько не удивило; но удивило и очень его появленіе ко мнѣ на другое утро, часовъ въ семь. Я думалъ, что случилось какое-нибудь несчастіе, но Струве, спокойно усѣвшись, вынулъ изъ кармана какую-то бумагу и, готовляясь читать, сказалъ:

— «Бюргеръ, такъ какъ мы вчера согласились съ вами въ необходимости издавать журналъ, то я и пришелъ прочесть вамъ его программу».

Прочитавши, онъ объявилъ, что пойдетъ къ Мадцини и многимъ другимъ и пригласитъ собраться для совѣщанія у Гейнца. Пошелъ и я къ Гейнцену. Онъ свирѣпо сидѣлъ на стулѣ за столомъ, держа въ огромной ручищѣ тетрадь, другую онъ протянулъ мнѣ, густо пробормотавши: «Бюргеръ, плацъ!»

Человѣкъ восемь нѣмцевъ и французовъ были налицо. Какой-то экс-народный представитель французскаго Законодательнаго собранія дѣлалъ смѣту расходовъ и писалъ что-то кривыми строчками. Когда вошелъ Мадцини, Струве предложилъ прочесть программу, писанную Гейнценомъ. Гейнценъ прочистилъ голосъ и началъ читать *по-нѣмецки*, несмотря на то, что общій всѣмъ языкъ былъ одинъ французскій.

Такъ какъ у нихъ не было тѣни новой идеи, то программа была тысячной вариацией тѣхъ демократическихъ разглагольствованій, которыя составляютъ такую же риторику на революціонные тексты, какъ церковныя проповѣди на библейскіе. Косвенно предупреждая обвиненіе въ социализмѣ, Гейнценъ говорилъ, что демократическая республика сама по себѣ уладитъ экономическій вопросъ къ общему удовольствію. Человѣкъ, не содрогнувшійся передъ требованіемъ двухъ милліоновъ головъ, боялся, что ихъ органъ сочтутъ коммунистическимъ.

Я что-то возразилъ ему на это послѣ чтенія, но по его отрывистымъ отвѣтамъ, по вмѣшательству Струве и по жестамъ французскаго представителя, догадался, что мы были приглашены на совѣтъ, чтобъ принять программу Гейнца и Струве, а совсѣмъ не для того, чтобъ ее обсуживать; это было, впрочемъ,

совершенно согласно съ теоріей Эллипидифора Антиоховича Зурова, новгородскаго военнаго губернатора ¹⁾).

Маццини, хотя и печально слушалъ, однако согласился, и чуть ли не первый подписалъ на двѣ-три акціи. Si omnes consentiunt, ego non dissentio, подумалъ я à la Шуфтерле въ «Шиллеровскихъ Разбойникахъ», и тоже подписался.

Однакожъ акціонеровъ оказалось мало; какъ представитель ни считалъ и ни прикидывалъ, подписанной суммы было недостаточно.

— Господа, сказалъ Маццини, я нашелъ средство побѣдить это затрудненіе: издавайте сначала журналъ только по-французски и по-нѣмецки, что же касается итальянскаго перевода, я буду помѣщать всѣ *замѣчательныя* статьи въ моей Italia del Popolo, вотъ вамъ одной третью расходовъ и меньше.

— Въ самомъ дѣлѣ! чего же лучше!—Предложеніе Маццини было принято всѣми. Онъ повеселѣлъ. Мнѣ было ужасно смѣшно, и смертельно хотѣлось показать ему, что я видѣлъ, какъ онъ передернулъ карту. Я подошелъ къ нему и, высмотрѣвъ минуту, когда никого не было возлѣ, сказалъ:

— Вы славно отдѣлялись отъ журнала.

— Послушайте, замѣтилъ онъ, вѣдь итальянская часть въ самомъ дѣлѣ *лишняя*.

— Такъ, какъ и двѣ остальные! добавилъ я. Улыбка скользнула по его лицу, и такъ быстро исчезла, какъ-будто ея и не было никогда.

Я тутъ видѣлъ Маццини во второй разъ. Маццини, знавшій о моей римской жизни, хотѣлъ со мной познакомиться. Однимъ утромъ мы отправились къ нему въ Паки съ Л. Спини.

Когда мы вошли, Маццини сидѣлъ, пригорюнившись, за столомъ и слушалъ рассказъ довольно высокаго, стройнаго и прекраснаго собой молодого человѣка съ бѣлокурыми волосами. Это былъ отважный сподвижникъ Гарибальди, защитникъ Vassello, предводитель римскихъ легіонеровъ, Джакомо Медичи. Задумавшись и не обращая никакого вниманія на происходившее, сидѣлъ другой молодой человѣкъ, съ печально разсѣяннымъ выраженіемъ; это былъ товарищъ Маццини по тріумвирату, Маркъ Аврелій Саффи.

Маццини всталъ и, глядя мнѣ прямо въ лицо своими пронзительными глазами, протянулъ дружески обѣ руки. Въ самой Италіи рѣдко можно встрѣтить такую изящную въ своей серьезности, такую строгую античную голову. Минутами выраженіе его лица было жестко, сурово, но оно тотчасъ смягчалось и прояснялось. Дѣятельная, сосредоточенная мысль сверкала въ

¹⁾ „Вѣлое и Думы“. Т. II.

его печальныхъ глазахъ; въ нихъ и въ морщинахъ на лбу—бездна воли и упрямства. Во всѣхъ чертахъ были видны слѣды долготѣнныхъ заботъ, неспанныхъ ночей, пройденныхъ бурь, сильныхъ страстей, или, лучше, *одной* сильной страсти, да еще что-то фанатическое—можетъ аскетическое.

Маццини очень простъ, очень любезенъ въ обращеніи, но привычка властвовать видна, особенно въ спорѣ; онъ едва можетъ скрыть досаду при противорѣчии, а иногда и не скрываетъ ее. Силу свою онъ знаетъ и откровенно пренебрегаетъ всѣми наружными знаками диктаторіальной обстановки. Популярность его была тогда огромна. Въ своей маленькой комнаткѣ, съ вѣчной сигарой во рту, Маццини въ Женевѣ, какъ нѣкогда папа въ Авиньонѣ, сосредоточивалъ въ своей рукѣ нити психическаго телеграфа, приводившія его въ живое сообщеніе со всѣмъ полуостровомъ. Онъ зналъ каждое біеніе сердца своей партіи, чувствовалъ малѣйшее сотрясеніе, немедленно отвѣчалъ на каждое, и давалъ общее направленіе всему и всѣмъ съ поразительною неутомимостью.

Фанатикъ и въ то же время организаторъ, онъ покрылъ Италію сѣтью тайныхъ обществъ, связанныхъ между собой и шедшихъ къ одной цѣли. Общества эти вѣтвились неуволыми артеріями, дробились, мельчали и исчезали въ Апеннинахъ и въ Альпахъ, въ царственныхъ *rallazzi* аристократовъ и въ темныхъ переулкахъ итальянскихъ городовъ, въ которые никакая полиція не можетъ проникнуть. Сельскіе попы, кондукторы дилижансовъ, ломбардскіе принчипе, контрабандисты, трактирщики, женщины, бандиты—все шло на дѣло, всѣ были звенья цѣпи, примыкавшей къ нему и повиновавшейся ему.

Послѣдовательно, со временъ Менотти и братьевъ Бандьера, рядъ за рядомъ, выходятъ восторженные юноши, энергическіе плебеи, энергическіе аристократы, иногда старые старики... и идутъ по указаніямъ Маццини, рукоположеннаго старцемъ Буонаротти, товарищемъ и другомъ Гракха Бабѣфа, идутъ на неровный бой, пренебрегая цѣпями и плахой и примѣшивая иной разъ къ предсмертному крику: *Viva l'Italia! Evviva Mazzini!*

Такой революціонной организаціи никогда не бывало нигдѣ, да и врядъ ли она возможна гдѣ-нибудь, кромѣ Италіи, развѣ въ Испаніи. Теперь она утратила прежнее единство и прежнюю силу, она истощилась десятилѣтнимъ мученичествомъ, она изошла кровью и истомой ожиданія, ея мысль состарѣлась, да и тутъ еще какіе порывы, какіе примѣры:

Піанори, Орсини, Пизакане!

Я не думаю, чтобъ смертью одного человѣка можно было поднять страну изъ такого паденія, въ какомъ теперь Франція.

Я не оправдываю плана, вслѣдствіе котораго Пизакане сдѣлалъ свою высадку, она мнѣ казалась такъ же не своевременна, какъ два предпоследніе опыта въ Миланѣ; но рѣчь не о томъ, а здѣсь хочу только сказать о самомъ исполненіи. Люди эти подавляютъ величіемъ своей мрачной поэзіи, своей страшной силы и останавливаютъ всякій судъ и всякое осужденіе. Я не знаю примѣровъ бѣльшаго героизма ни у грековъ, ни у римлянъ, ни у мучениковъ христіанства и реформы!

Кучка энергическихъ людей приплываетъ къ несчастному неаполитанскому берегу, служа вызовомъ, примѣромъ, живымъ свидѣтельствомъ, что еще не все умерло въ народѣ. Вождь молодой, прекрасный, падаетъ первый съ знаменемъ въ рукѣ, а за нимъ падаютъ остальные, или, хуже, попадаютъ въ когти Бурбона.

Смерть Пизакане и смерть Орсини были два страшныхъ громовыхъ удара въ душную ночь. Романская Европа вздрогнула,—дикій вепрь, испуганный, отступилъ въ Казерту и спрятался въ своей берлогѣ. Блѣдный отъ ужаса, траурный кучеръ, мчащій Францію на кладбище, покачнулся на козлахъ.

Недаромъ высадка Пизакане такъ поэтически отозвалась въ народѣ.

Sceser con l'armi, e a noi non fecer guerra,
Ma s'inchinaron per bacciar la terra:
Ad uno, ad uno li gardai nel viso,
Tutti avean una lagrima e un sorriso,
Li disser ladri, usciti dalle tane,
Ma non portaron via nemmeno un pane;
E li sentj mandare un solo grido:
Siam venuti a morir per nostro lido—
Eran trecento, eran giovani e forti:
E sono morti!
Con gli occhi azzuri, e coi capelli d'oro
Un giovin camminava innanzi a loro;
Mi feci ardita, e présol per la mano,
Gli chiesi: Dove vai bel capitano?
Guardomni e mi rispose—O mia sorella,
Vado a morir per la mia patria bella!
Io mi sentj tremarre tutto il core;
Né potei dirgli: V' aiuti il signore;
Eran trecento, eran giovani e forti:
E sono morti!

L. Mercantini, La Spigolatrice di Sapri 1)

1) Вотъ бѣдный прозаичный переводъ этихъ удивительныхъ строкъ, перешедшихъ въ народную легенду:

„Они сошли съ оружіемъ въ рукахъ, но они не воевали съ нами; они бросились на землю и цѣловали ее; я взглянула на cadaго изъ нихъ, на cadaго,—

Въ 1849 году Маццини былъ властью, правительства не да- ромъ боялись его; звѣзда его тогда была въ полномъ блескѣ, но это былъ блескъ заката. Она еще долго поддержалась бы на своемъ мѣстѣ, блѣднѣя мало-по-малу, но, послѣ повторенныхъ неудачъ и натянутаго опытовъ, она стала быстро склоняться.

Одни изъ друзей Маццини сблизились съ Пиемонтою, другіе съ Наполеономъ. Манингъ пошелъ своимъ революціоннымъ проселкомъ, составилъ расколы, федеральный характеръ итальянцевъ поднималъ голову.

Самъ Гарибальди, скрѣпя сердце, произнесъ строгій судъ надъ Маццини и, увлекаемый его врагами, далъ гласность письму, въ которомъ косвенно обвинялъ его.

Вотъ отъ этого Маццини посѣдѣлъ, состарѣлся; отъ этого черта желчевой нетерпимости, даже озлобленія, прибавилась въ его лицѣ, въ его взглядѣ. Но такіе люди не сдаются, не уступаютъ: чѣмъ хуже дѣла ихъ, тѣмъ выше знамя. Маццини, теряя сегодня друзей, деньги, едва ускользая отъ цѣпей и висѣлицы, становится завтра настойчивѣе и упорнѣе, собираетъ новыя деньги, ищетъ новыхъ друзей, отказываетъ себѣ во всемъ, даже во снѣ и пищѣ, обдумываетъ цѣлыя ночи новыя средства и, дѣйствительно, всякій разъ создаетъ ихъ, бросается въ бой и, снова разбитый, опять принимается за дѣло, съ судорожной горячностью.

Въ этомъ непреклонномъ постоянствѣ, въ этой вѣрѣ, идущей наперекоръ фактамъ, въ этой неутомимой дѣятельности, которую неудача только вызываетъ и подзадориваетъ, есть что-то великое и, если хотите, что-то безумное. Часто эта-то доля безумія и обусловливаетъ успѣхъ, она дѣйствуетъ на нервы народа, увлекаетъ его. Великій человѣкъ, дѣйствующій непосредственно, долженъ быть великимъ маніакомъ, особенно съ такимъ восторженнымъ народомъ, какъ итальянцы, къ тому-же защищая религіозную мысль національности. Одни послѣдствія могутъ показать, поте-

у всѣхъ дрожала слеза на глазахъ и у всѣхъ была улыбка. Намъ говорили, что это разбойники, вышедшіе изъ своихъ вертеповъ; но они ничего не взяли, ни даже куска хлѣба, и мы только слышали отъ нихъ одно восклицаніе: „Мы пришли умереть за нашъ край!“

„Ихъ было триста, они были молоды и сильны... и всѣ погибли.“

„Передъ ними шелъ молодой, золотовласый вожь съ голубыми глазами.. Я приободрилась, взяла его за руку и спросила: „Куда идешь ты, прекрасный вожь?“ Онъ посмотрѣлъ на меня и сказалъ: „Сестра моя, иду умирать за родину“. И сильно заняло мое сердце, и я не въ силахъ была вымолвить: „Богъ тебѣ въ помощь!“

„Ихъ было триста; они были молоды и сильны... и всѣ погибли!“

И я зналъ *bel capitano*, и не разъ бесѣдовалъ съ нимъ о судьбахъ его печальной родины...

рять ли Маццини излишними и неудачными опытами магнитическую силу свою на итальянскія массы. Не разумъ, не логика ведетъ народы, а вѣра, любовь и ненависть.

Выходцы итальянскіе не были выше другихъ ни талантами, ни образованіемъ: большая часть ихъ даже ничего не знала, кромѣ своихъ поэтовъ, кромѣ своей исторіи; но они не имѣли ни битаго стереотипнаго чекана французскихъ строевыхъ демократовъ, которые разсуждаютъ, декламируютъ, восторгаются, чувствуютъ стадами одно и то же и одинакимъ образомъ выражаютъ свои чувства, ни того неотесаннаго, грубаго, харчевенно-бурсацкаго характера, которымъ отличались нѣмецкіе выходцы. Французскій дюжинный демократъ—буржуа *in spe*, нѣмецкій революціонеръ, такъ-же, какъ нѣмецкій буршъ—тотъ же филистеръ, но въ другомъ періодѣ развитія. Итальянцы—самобытнѣе, *индивидуальнѣе*.

Французы заготовляются тысячами по одному шаблону. Теперешнее правительство не создало, но только поняло тайну преуращенія личностей: оно, совершенно во французскомъ духѣ, устроило общественное воспитаніе, т. е. воспитаніе вообще, потому что домашняго воспитанія во Франціи нѣтъ. Во всѣхъ городахъ имперіи преподаютъ въ тотъ же день и въ тотъ же часъ, по тѣмъ же книгамъ—одно и то же. На всѣхъ экзаменахъ задаются одни и тѣ же вопросы, одни и тѣ же примѣры, учителя, отклоняющіеся отъ текста или мѣняющіе программу, немедленно исключаются. Эта бездушная стертость воспитанія только привела въ обязательную, наслѣдственную форму то, что прежде бродило въ умахъ. Это—формально-демократическій уровень, приложенный къ умственному развитію. Ничего подобнаго въ Италіи. Федералистъ и художникъ по натурѣ, итальянецъ съ ужасомъ бѣжитъ отъ всего казарменнаго, однообразнаго, геометрически правильнаго. Французъ—природный солдатъ: онъ любитъ строй, команду, мундиръ, любитъ задать страху. Итальянецъ, если на то пошло, скорѣе бандитъ, чѣмъ солдатъ, и этимъ я вовсе не хочу сказать что-нибудь дурное о немъ. Онъ предпочитаетъ, подвергаясь казни, убивать врага по собственному желанію, чѣмъ убивать по приказу, но за то безъ всякой отвѣтственности постороннихъ. Онъ любитъ лучше скудно жить въ горахъ и скрывать контрабандистовъ, чѣмъ открывать ихъ и почетно служить въ жандармахъ.

Образованный итальянецъ вырабатывался, какъ нашъ братъ, самъ собой, жизнію, страстями, книгами, которыя случались подъ рукой, и пробрался до такого или иного пониманія. Оттого у него и у насъ есть пробѣлы, неспѣлости. Онъ и мы во многомъ уступаемъ спеціальной оконченности французовъ и теоретической учености нѣмцевъ, но зато у насъ и у итальянцевъ ярче цвѣта.

У насъ съ ними есть даже общіе недостатки. Итальянецъ

имѣть ту же наклонность къ лѣни, какъ и мы, онъ не находитъ, что работа наслажденіе; онъ не любитъ ея тревогу, ея усталъ, ея недосугъ. Промышленность въ Италіи почти столько же отстала, какъ у насъ; у нихъ, какъ у насъ, лежатъ подъ ногами клады и они ихъ не выкапываютъ. Нравы въ Италіи не измѣнились новомѣщанскимъ направлениемъ до такой степени, какъ во Франціи и Англіи.

Исторія итальянскаго мѣщанства совсѣмъ непохожа на развитіе буржуазіи во Франціи и Англіи. Богатые мѣщане, потомки *del popolo grasso*, не разъ счастливо соперничали съ феодальной аристократіей, были властелинами городовъ, и оттого они стали не дальше, а ближе къ плебею и *контадину*, чѣмъ наскоро обогатѣвшая чернь другихъ странъ. Мѣщанство, въ французскомъ смыслѣ, собственно представляется въ Италіи особой средой, образовавшейся со времени первой революціи, и которую можно назвать, какъ это дѣлается въ геологіи, *піемонтскимъ* слоемъ. Онъ отличается въ Италіи, такъ-же, какъ во всемъ материкѣ Европы, тѣмъ, что во *многихъ* вопросахъ постоянно либераленъ и во *всѣхъ* боится народа и слишкомъ нескромныхъ толковъ о трудѣ и заплатѣ; да еще тѣмъ, что онъ всегда уступаетъ врагамъ сверху, не уступая никогда *своимъ* снизу.

Личности, составлявшія итальянскую эмиграцію, были выхвачены изъ всевозможныхъ слоевъ общества. Чего и чего не находилось около Мадзини, между старыми именами изъ лѣтописей Гвичардини и Муратори, къ которымъ народное ухо привыкло вѣками, какъ Литты, Боромей, Дель-Верме, Белжоіозо, Нани, Висконти, и какимъ-нибудь полудикимъ ускокомъ Ромео изъ Абрудъ, съ его темнымъ, до оливковаго цвѣта, лицомъ и неукротимой отвагой! Тутъ были и духовные, какъ Сиртори — попъ-герой, который, при первомъ выстрѣлѣ въ Венеціи, подвязалъ свою сутану, и все время осады и защиты Маргеры, съ ружьемъ въ рукѣ, дрался подъ градомъ пуль, въ передовыхъ рядахъ; тутъ былъ и блестящій военный штабъ неаполитанскихъ офицеровъ, какъ Пизакане, Козенцъ и братья Меццокаппа; тутъ были и трастевринскіе плебеи, закаленные въ вѣрности и лишеніяхъ, суровые, угрюмые, нѣмые въ бѣдѣ, скромные и несокрушимые, какъ Піанори, и рядомъ съ ними тосканцы, изнѣженные даже въ произношеніи, но также готовые на борьбу. Наконецъ, тутъ были Гарибальди, цѣликомъ взятый изъ Корнелія Непота, съ простотой ребенка, съ отвагой льва, и Феличе Орсини, голова котораго такъ недавно скатилась со ступеней эшафота.

Но, назвавъ ихъ, нельзя не пріостановиться.

Съ Гарибальди я собственно познакомился въ 1854 г., когда онъ приплылъ изъ Южной Америки капитаномъ корабля и сталъ

въ Вестъ-Индскихъ докахъ; я отправился къ нему съ однимъ изъ его товарищей по римской войнѣ и съ Орсини. Гарибальди, въ толстомъ свѣтломъ пальто, съ ярко-цвѣтнымъ шарфомъ на шеѣ и фуражкой на головѣ, казался мнѣ больше истымъ морякомъ, чѣмъ тѣмъ славнымъ предводителемъ римскаго ополченія, статуетки котораго въ фантастическомъ костюмѣ продавались во всемъ свѣтѣ. Добродушная простота его обращенія, отсутствіе всякой претензіи, радушіе, съ которымъ онъ принималъ, располагали въ его пользу. Экипажъ его почти весь состоялъ изъ итальянцевъ, онъ былъ глава и власть, и, я увѣренъ, власть строгая, но все весело и съ любовью смотрѣли на него; они гордились своимъ капитаномъ. Гарибальди угощалъ насъ завтракомъ въ своей каютѣ, особенно приготовленными устрицами изъ Южной Америки, сушеными плодами, порвейномъ, — вдругъ онъ вскочилъ, говоря: «Постойте! съ вами мы выпьемъ другого вина», и побѣждалъ наверхъ; вслѣдъ за тѣмъ матросъ принесъ какую-то бутылку; Гарибальди посмотрѣлъ на нее съ улыбкой и налилъ намъ по рюмкѣ... Чего нельзя было ожидать отъ человѣка, прѣхавшаго изъ-за океана? Это былъ просто на просто *белетъ* изъ его родины Ниццы, который онъ привезъ съ собой въ Лондонъ изъ Америки.

Между тѣмъ въ простыхъ и безцеремонныхъ разговорахъ его мало-по-малу становилось чувствительно присутствіе силы; безъ фразъ, безъ общихъ мѣстъ, народный вождь, удивлявшій своей храбростью старыхъ солдатъ, обличался, и въ капитанѣ корабля легко уже было узнать того уязвленнаго льва, который, огрызаясь на каждомъ шагу, отступилъ послѣ взятія Рима и, растерявъ своихъ сподвижниковъ, снова сзывалъ въ Санъ-Марино, въ Равеннѣ, въ Ломбардіи, въ Тиролѣ, въ Тесино солдатъ, мужиковъ, бандитовъ, кого попало, чтобъ только снова ударить на врага, и это возлѣ тѣла своей подруги, не вынесшей всехъ трудностей и лишеній похода.

Мнѣнія его въ 1854 году уже значительно расходились съ Маццини, хотя онъ и былъ съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ. Онъ при мнѣ говорилъ ему, что Піемонтъ дразнить не надобно, что главная цѣль теперь освободиться отъ австрійскаго ига, и очень сомнѣвался, чтобъ Италія такъ была готова къ единству и республикѣ, какъ думалъ Маццини. Онъ былъ совершенно противъ всехъ попытокъ и опытовъ возстанія.

Когда онъ отплывалъ за углемъ въ Ньюкестль на Тейнѣ и оттуда отправлялся въ Средиземное море, я сказалъ ему, что мнѣ ужасно нравится его морская жизнь, что онъ изъ всехъ эмигрантовъ избралъ самую хорошую часть.

— «А кто имъ не велитъ сдѣлать то же», возразилъ онъ съ жа-

ромъ. «Это была моя любимая мечта, смѣйтесь надъ ней, если хотите, но я и теперь ее люблю. Меня въ Америкѣ знаютъ; я могъ бы имѣть подъ моимъ начальствомъ—три, четыре такихъ корабля. На нихъ я взялъ бы всю эмиграцію: матросы, лейтенанты, работники, повара, все были бы эмигранты. Что теперь дѣлать въ Европѣ? Привыкать къ рабству, измѣнять себѣ или въ Англіи ходить по міру. Поселиться въ Америкѣ еще хуже: это конецъ, это страна «забвенія родины», это новое отечество, тамъ другіе интересы, все другое; люди, остающіеся въ Америкѣ, выпадаютъ изъ рядовъ. Что же лучше моей мысли (и лицо его просвѣтлѣло), что же лучше, какъ собраться въ кучку около нѣсколькихъ мачтъ и носиться по океану, закаляя себя въ суровой жизни моряковъ, въ борьбѣ съ стихіями, съ опасностью. Пловучая революція, готовая пристать къ тому или другому берегу, независимая и недосгаемая!»

Въ эту минуту онъ мнѣ казался какимъ-то классическимъ героемъ, лицомъ изъ Энеиды, о которомъ — живи онъ въ иной вѣкъ—сложилась бы своя легенда, свое *Arma virumque cano!*

Орсини былъ совсѣмъ другого рода человѣкъ. Дикую силу и страшную энергію свою онъ доказалъ 14 января 1858 года, въ rue Lepelletier; онѣ приобрѣли ему имя и положили его тридцатипестилѣтнюю голову подъ ножъ гильотины. Я познакомился съ Орсини въ Ниццѣ, въ 1851 году; временами мы были даже очень близки, потомъ расходились, снова сближались, наконецъ, какая-то сѣрая кошка пробѣжала между нами въ 1856 году, и мы хотя примирились, но уже не по-прежнему смотрѣли другъ на друга.

Такія личности, какъ Орсини, развиваются только въ Италіи, зато въ ней онѣ развиваются во всѣ времена, во всѣ эпохи: заговорщики-художники, мученики и искатели приключеній, патріоты и кондотьеры, Теверино и Ріензи, все, что хотите—только не пошлые будничные мѣщане. Такія личности ярко вырѣзываются въ лѣтописяхъ каждаго итальянскаго города. Онѣ дивятся добромъ, дивятся зломъ, поражаютъ силой страстей, силой воли. Безпокойная закованная бродитъ въ нихъ съ раннихъ лѣтъ, имъ надобна опасность, надобенъ блескъ, лавры, похвалы; это натуры чисто южныя, съ острой кровью въ жилахъ, съ страстями, почти непонятными для насъ, готовые на всякое лишеніе, на всякую жертву, изъ своего рода жажды наслажденія. Самоотверженіе, преданность идутъ у нихъ вмѣстѣ съ мстительностью и нетерпимостью; онѣ просты во многомъ и лукавы во многомъ. Неразборчивые на средства, они неразборчивы и на опасности, потомки римскихъ «отцовъ отечества», и дѣти во Христѣ отцовъ іезуитовъ, воспитанные на классическихъ воспоминаніяхъ и на преданіяхъ средневѣковыхъ смуть, у нихъ въ душѣ бродитъ бездна античныхъ

добродѣтелей и католическихъ пороковъ. Они не дорожатъ своею жизнію, но не дорожатъ также и жизнію ближняго; страшная настойчивость ихъ равняется англосаксонскому упрямству. Съ одной стороны, наивная любовь къ внѣшнему, самолюбіе, доходящее до тщеславія, до сладострастнаго желанія упиться властью, рукоприкладствіями, славой; съ другой—весь римскій героизмъ лишній и смерти.

Людей этой энергіи останавливать можно только гильотиной; а то, едва спасшись отъ сардинскихъ жандармовъ, они дѣлають заговоры въ самыхъ когтяхъ австрійскаго коршуна и, на другой день послѣ чудеснаго спасенія изъ казематъ Мантуи, рукой, еще помятой отъ прыжка, начинаютъ чертить проектъ *гранатъ*. потомъ, лицомъ къ лицу съ опасностью,—бросаютъ ихъ подъ кареты. Въ самой неудачѣ они растутъ до колоссальныхъ размѣровъ и своею смертію наносятъ ударъ, стоящій осколка гранаты...

Орсини молодымъ человѣкомъ попалъ въ руки тайной полиціи Григорія XIV: онъ былъ судимъ за участіе въ романскомъ движеніи и, осужденный на галеры, просидѣлъ въ тюрьмѣ до амнистіи Пія IX. Огромное знаніе народнаго духа и желѣзный закалъ характера вынесъ онъ изъ этой жизни съ контрабандистами, съ *bravi*, съ остатками карбонаровъ. Отъ этихъ людей, находившихся въ постоянной, ежедневной борьбѣ съ обществомъ, давившимъ ихъ, научился онъ искусству владѣть собой, искусству молчать, не только передъ судомъ, но и съ друзьями.

Люди въ родѣ Орсини сильно дѣйствуютъ на другихъ, они нравятся своей замкнутой личностью, и между тѣмъ съ ними не по себѣ: на нихъ смотришь съ тѣмъ нервнымъ наслажденіемъ, перемѣшаннымъ съ трепетомъ, съ которымъ мы любуемся граціознымъ движеніямъ и бархатнымъ прыжкамъ барса. Они дѣти, но дѣти злые. Не только Дантовъ адъ «вымощенъ» ими, но ими полны всѣ слѣдующіе вѣка, выращенные на грозной поэзіи его и на озлобленной мудрости Маккиавелли. Маццини также принадлежатъ къ ихъ семьѣ, какъ Козимо Медичи, Орсини, какъ Іоаннъ Прочида. Изъ нихъ даже нельзя исключить ни великаго «искателя морскихъ приключеній», Колумба, ни величайшаго «бандита» новѣйшихъ вѣковъ, Наполеона Бонапарта.

Орсини былъ поразительно хорошъ собой: вся наружность его, стройная и граціозная, невольно обращала на него вниманіе; онъ былъ тихъ, мало говорилъ, размахивалъ руками меньше, чѣмъ его соотечественники, и никогда не подымалъ голоса. Длинная, черная борода (какъ онъ носилъ ее въ Италіи) придавала ему видъ какого-то молодого этрурійскаго жреца. Вся голова его была необыкновенно красива и развѣ только нѣсколько попорчена неправильной линіей носа. И при всемъ этомъ въ чертахъ Орсини,

въ его глазахъ, въ его частой улыбкѣ, въ его кроткомъ голосѣ было что-то останавливавшее близость. Видно было, что онъ держитъ себя на уздѣ, никогда вполне не отдается и удивительно владѣетъ собой; видно было, что съ этихъ улыбающихся губъ не пало ни одного слова безъ его воли, что за этими внутрь сверкающими глазами какія-то пропасти, что тамъ, гдѣ нашъ братъ призадумается и отшарахнется, онъ улыбнется, не перемѣнится въ лицѣ, не повыситъ голоса и—пойдетъ далѣе безъ раскаянія и сомнѣнія.

Весною 1852 года Орсини ждалъ очень важной вѣсти по семейнымъ дѣламъ; его мучило, что онъ не получалъ письма, онъ мнѣ говорилъ это много разъ, и я зналъ, въ какой тревогѣ онъ жилъ. Разъ, во время обѣда, при двухъ-трехъ постороннихъ, вошелъ почталіонъ въ переднюю; Орсини велѣлъ спросить, нѣтъ ли письма къ нему; оказалось, что какое-то письмо дѣйствительно было къ нему, онъ взглянулъ на него, положилъ въ карманъ и продолжалъ разговоръ. Часа черезъ полтора, когда мы остались втроемъ, Орсини намъ сказалъ: «Ну, слава Богу, наконецъ-то получилъ я отвѣтъ, все очень хорошо.» Мы, знавшіе, что онъ ожидаетъ письма, не догадались, до того равнодушно онъ распечаталъ письмо и потомъ положилъ его въ карманъ; такой человѣкъ родился заговорщикомъ. Онъ и былъ имъ всю жизнь.

И что же сдѣлалъ онъ съ своей энергіей, Гарибальди съ своей отвагой, Піанори съ своимъ револьверомъ, Пизакане и другіе мученики, кровь которыхъ еще не засохла? Отъ австрійцевъ Италію освободить развѣ Піемонтъ; отъ неаполитанскаго Бурбона—толстый Мюратъ, оба подъ покровительствомъ Бонапарта. O divina Comedia!—или просто Comedia! въ томъ смыслѣ, какъ папа Кіарамонти говорилъ Наполеону въ Фонтенебло.

... Съ двумя лицами, о которыхъ я упомянулъ, говоря о первой встрѣчѣ съ Маццини, я впоследствии очень сблизился, особенно съ Саффи.

Медичи—ломбардъ. Въ начальной юности, томимый безнадѣжнымъ положеніемъ Италіи, онъ уѣхалъ въ Испанію, потомъ въ Монтевидео, въ Мексику; онъ служилъ въ рядахъ кристиновъ, былъ, кажется, капитаномъ и, наконецъ, возвратился на родину, послѣ избранія Мастая Феррети. Италія оживала, Медичи бросился въ движеніе. Начальствуя римскими легіонерами во время осады, онъ надѣлалъ чудеса храбрости; но французскіе орды все-таки вошли въ Римъ по трунамъ многихъ благородныхъ жертвъ—по трупу Лавирона, который, какъ бы въ искупленіе своему народу, дрался противъ него и палъ, сраженный французской пулей въ воротахъ Рима.

Трибунъ-воинъ Медичи долженъ рисоваться въ воображеніи кондотьеромъ, загорѣвшимъ отъ пороха и отъ трюмического солнца, съ рѣзкими чертами, съ отрывистой, громкой рѣчью, съ энергической мимикой. Блѣдный, бѣлокурый, съ нѣжными чертами, съ глазами, исполненными кротости, съ изящными манерами, Медичи скорѣе походилъ на человѣка, проводившаго всю жизнь въ дамскомъ обществѣ, чѣмъ на герильяса и агитатора; поэтъ, мечтатель, тогда страстно влюбленный,—въ немъ все было изящно и правилось.

Нѣсколько недѣль, проведенныхъ съ нимъ въ Генуѣ, сдѣлали мнѣ большое добро; это было въ самое черное для меня время, въ 1852 г., мѣсяца полтора послѣ похоронъ; я былъ сбитъ съ толку: вѣхи, знаки фарватера были потеряны, не знаю, былъ ли я похожъ и тогда на поврежденнаго, какъ замѣтилъ Орсини въ своихъ запискахъ, но мнѣ было скверно. Медичи жалѣлъ меня; онъ этого не говорилъ, но вечеромъ поздно, часовъ въ двѣнадцать, онъ стучалъ иной разъ ко мнѣ въ дверь и приходилъ поболтать, садясь на мою постель (мы разъ, бесѣдуя съ нимъ такимъ образомъ, поймали на одѣялѣ скорпіона). Онъ стучалъ иной разъ и въ седьмомъ часу утра, говоря: «на дворѣ прелесть, пойдемте въ Альбаро»,—тамъ жила красавица испанка, которую онъ любилъ. Онъ не надѣялся на скорую перемѣну обстоятельствъ, впереди виднѣлись годы изгнанія, все становилось хуже, тусклѣе, но въ немъ было что-то молодое, веселое, иногда наивное; я это замѣчалъ почти у всѣхъ натуръ этого закала.

Въ день моего отъѣзда пришли ко мнѣ обѣдать нѣсколько близкихъ людей, Пизакане, Мордини, Козенцъ...

— Отчего, сказалъ я шутя, нашъ другъ Медичи, съ своими бѣлокурыми волосами и сѣвернымъ, аристократическимъ лицомъ, напоминаетъ мнѣ скорѣе какихъ-то вандиковскихъ рыцарей, чѣмъ итальянца?

— Это натурально, прибавилъ, продолжая шутить, Пизакане: Джакомо—ломбардъ, онъ потомокъ какого-нибудь рыцаря».

— Fratelli,—сказалъ Медичи,—нѣмецкой крови въ этихъ жилахъ нѣтъ ни капли, ни одной капли!

— Хорошо вамъ толковать; нѣтъ, вы приведите доказательство, объясните намъ, отчего у васъ сѣверныя черты, продолжалъ тотъ.

— Извольте, сказалъ Медичи, если у меня сѣверныя черты, то вѣрно какая-нибудь изъ моихъ прабабушекъ забылась съ какимъ-нибудь полякомъ!

Чище и проще Саффи я не встрѣчалъ натуры между не-русскими. Западные люди часто бываютъ недалые, и оттого кажутся простыми, недогадливými; но талантливыя натуры рѣдко

бываютъ просты. У нѣмцевъ встрѣчается противная простота практическихъ недорослей; у англичанъ—простота отъ нерасторопности ума, оттого, что они все какъ-будто съ просонья, не могутъ порядкомъ придти въ себя. Зато французы постоянно исполнены заднихъ мыслей, заняты своей ролью. Рядомъ съ отсутствіемъ простоты, у нихъ другой недостатокъ: всѣ они прескверные актеры и не умѣютъ скрыть игры. Ломанье, хвастовство и привычка къ фразѣ до такой степени проникли въ кровь и плоть ихъ, что люди гибли, платили жизнь изъ-за актерства, и жертва ихъ все-таки была *ложь*. Это страшныя вещи, многіе негодуютъ за высказываніе ихъ, но обманываться еще страшнѣе.

Вотъ почему становится такъ отраднo, такъ легко дышать, когда на этомъ толкунѣ посредственностей съ притязаніями и талантовъ съ несноснымъ жеманствомъ и самохвальствомъ встрѣчается человѣкъ сильный, безъ малѣйшихъ румянъ, безъ притязаній, безъ самолюбія, кричащаго какъ ножъ по тарелкѣ. Точно изъ душнаго театральнаго коридора, освѣщеннаго лампами, выходишь на солнце, послѣ утренняго спектакля, и, вмѣсто картонныхъ магнолій и пальмъ изъ парусины, видишь настоящія липы и дышишь свѣжимъ, здоровымъ воздухомъ. Къ этого рода людямъ принадлежитъ Саффи. Маццини, старикъ Армеллини и онъ были тріумвирами во время Римской республики. Саффи завѣдывалъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ и, до конца борьбы съ французами, былъ на первомъ планѣ; а на первомъ планѣ значило тогда—подъ ядрами и пулями.

Онъ изъ своего изгнанія еще разъ переходилъ Апеннины: эту жертву принесъ онъ изъ благочестія, безъ вѣры, изъ чувства великой преданности, чтобъ не огорчить однихъ, чтобъ своимъ отсутствіемъ не послужить дурнымъ примѣромъ. Онъ прожилъ нѣсколько недѣль въ Болоньи, гдѣ его въ 24 часа растрѣляли бы, если-бъ онъ попался; и задача его не состояла только въ томъ, чтобъ скрываться, ему надобно было дѣйствовать, готовить движеніе, ожидая новостей изъ Милана. Я никогда отъ него не слышалъ объ особенностяхъ этой жизни. Но я о ней слышалъ, и очень много, отъ человѣка, который могъ быть судьей въ дѣлахъ отваги, и слышалъ въ то время, когда личныя отношенія ихъ сильно колебались. Орсини его сопровождалъ черезъ Апеннины: онъ разсказывалъ мнѣ съ восхищеніемъ объ этомъ ровномъ, свѣтломъ покоѣ, объ ясномъ, почти веселомъ расположеніи Саффи въ то время, когда они пѣшкомъ спускались съ горъ; въ виду всякаго рода враговъ, Саффи беззаботно пѣлъ народныя пѣсни и повторялъ стихи Данта...Я думаю, онъ и на плаху пошелъ бы съ тѣми же стихами и съ тѣми же пѣснями, вовсе не думая о своемъ подвигѣ.

Въ Лондонѣ, у Маццини или у его друзей, Саффи большей частію молчалъ, участвовалъ рѣдко въ спорахъ, иногда одушевлялся на минуту и опять утихалъ. Его не понимали, это было для меня ясно, *il ne savait pas se faire valoir...* Но я ни отъ одного итальянца изъ тѣхъ, которые отпадали отъ Маццини, не слышалъ ни одного, ни малѣйшаго слова противъ Саффи.

Разъ, вечеромъ, зашелъ споръ между мной и Маццини о Леопарди.

Есть пьесы Леопарди, которымъ я страстно сочувствую. У него, какъ у Байрона, много убито рефлексіей, но у него, какъ у Байрона, стихъ иногда рѣжетъ, дѣлаетъ боль, будитъ нашу внутреннюю скорбь. Такія слова, стихи есть у Лермонтова, есть они и въ нѣкоторыхъ ямбахъ Барбье.

Леопарди была послѣдняя книга, которую читала, перелистывала передъ смертью Natalie...

Людямъ дѣятельности, агитаторамъ, двигателямъ массъ непонятны эти ядовитыя раздумья, эти сокрушительныя сомнѣнія. Они въ нихъ видятъ одну бесплодную жалобу, одно слабое уныніе. Маццини не могъ сочувствовать Леопарди, это я впередъ зналъ; но онъ на него напалъ съ какимъ-то ожесточеніемъ. Мнѣ было очень досадно; разумѣется, онъ на него сердился за то, что онъ ему не годился на пропаганду. Такъ Фридрихъ II могъ сердиться... я не знаю... ну, напримѣръ, зачѣмъ онъ не годился въ драбанты. Это возмутительное стѣсненіе личности, подчиненіе ихъ категоріямъ, кадрамъ,—точно историческое развитіе—барщина, на которую сотскіе гонятъ, не спрашивая воли, слабого и крѣпкаго, желающаго и не желающаго.

Маццини сердился. Я, полушутя и полусерьезно, сказалъ ему:

— Вы, мнѣ кажется, имѣете зубъ на бѣднаго Леопарди за то, что онъ не участвовалъ въ римской революціи, а, вѣдь, онъ имѣетъ важную извинительную причину; вы все ее забываете!

— Какую?

— Да то, что онъ умеръ въ 1836 году.

Саффи не выдержалъ и вступился за поэта, котораго онъ еще больше меня любилъ и, разумѣется, еще живѣе понималъ: онъ разбиралъ его съ тѣмъ эстетическимъ, художественнымъ чувствомъ, въ которомъ человѣкъ больше обличаетъ извѣстныя стороны своего духа, чѣмъ *думаетъ*.

Изъ этого разговора и изъ нѣсколькихъ подобныхъ, я понялъ, что въ сущности *имъ* не одинъ путь. У одного мысль ищетъ средствъ, сосредоточена на нихъ однихъ,—это своего рода бѣгство отъ сомнѣній; она жаждетъ только дѣятельности прикладной,—это своего рода лѣнь. Другому дорога объективная истина, у него мысль работаетъ; сверхъ того, для художественной натуры искус-

ство дорого уже само по себѣ, безъ его отношенія къ дѣйствительности.

Оставивъ Мацини, мы еще долго толковали о Леопарди, онъ у меня былъ въ карманѣ; мы зашли въ кафе и еще прочли нѣкоторыя изъ моихъ любимыхъ пьесъ.

Этого было достаточно. Когда люди сочувственно встрѣчаются въ исчезающихъ оттѣнкахъ, они могутъ молчать о многомъ,—очевидно, что они согласны въ яркихъ цвѣтахъ и въ густыхъ тѣняхъ.

Говоря о Медичи, я упомянулъ одно глубоко трагическое лицо—*Лавирона*; съ нимъ я недолго былъ знакомъ, онъ промелькнулъ мимо меня и исчезъ въ кровавомъ облакѣ. Лавиронъ былъ кончившій курсъ политехникъ, инженеръ и архитекторъ. Я познакомился съ нимъ въ самый разгаръ революціи, между 24 февраля и 15 мая (онъ тогда былъ капитаномъ національной гвардіи), въ его жилахъ текла, безъ всякой примѣси, энергическая, суровая, когда надобно, и добродушная, веселая галло-франкская кровь девяностыхъ годовъ. Я предполагаю, что таковъ былъ архитекторъ Клеберъ, когда онъ возилъ въ тачкѣ землю съ молодымъ актеромъ Тальмой, расчищая мѣсто для праздника федерации.

Лавиронъ принадлежалъ къ небольшому числу людей, не опьянѣвшихъ 24 февраля отъ побѣды, отъ провозглашенія республики. Онъ былъ на баррикадахъ, когда дрались, и въ *Hôtel de Ville*, когда не-дравшіеся выбирали диктаторовъ. Когда прибыло новое правительство, какъ *Deus ex machina*, въ ратушу, онъ громко протестовалъ противъ его избранія и, вмѣстѣ съ нѣсколькими энергическими людьми, спрашивалъ, откуда оно взялось? почему оно правительство? Совершенно послѣдовательно Лавиронъ 15 мая ворвался съ парижскимъ народомъ въ мѣщанское собраніе и, съ обнаженной шпагой въ рукѣ, заставилъ президента допустить на трибуну народныхъ ораторовъ. Дѣло было потеряно. Лавиронъ скрылся. Онъ былъ судимъ и осужденъ *par contumace*. Реакція нынѣшняя, она чувствовала себя сильной для борьбы и вскорѣ сильной для побѣды,—тутъ юньскіе дни, потомъ проскрипціи, ссылки, *синій* терроръ. Въ это самое время, однажды вечеромъ сидѣлъ я на бульварѣ передъ Тортони, въ толпѣ всякой всячины и, какъ въ Парижѣ всегда бываетъ,—въ умѣренную и неумѣренную монархію, въ республику и имперію—все это общество въ пересыпку съ шпионами. Вдругъ подходитъ ко мнѣ—не вѣрю глазамъ—Лавиронъ.

— Здравствуйте! говоритъ онъ.

— Что за сумасшествіе? отвѣчаю я вполголоса и, взявъ его подъ руку, отхожу отъ Тортони.

— Какъ же можно такъ подвергаться и особенно теперь?

— Если бы вы знали, что за скука сидѣть въ заперти и прятаться, просто съ ума сойдешь... я думалъ, думалъ, да и пошелъ гулять.

— Зачѣмъ же на бульваръ?

— Это ничего не значить. Здѣсь меня меньше знаютъ, чѣмъ по ту сторону Сены, и кому жъ придетъ въ голову, что я стану прогуливаться мимо Тортона. Впрочемъ я ѣду...

— Куда?

— Въ Женеву, такъ тяжело и такъ все надоѣло; мы идемъ навстрѣчу страшнымъ несчастіямъ. Паденіе, паденіе, мелкость во всѣхъ, во всемъ. Ну, прощайте, прощайте, и да будетъ наша встрѣча повеселѣе.

Въ Женевѣ Лавиронъ занимался архитектурой, что-то строилъ, вдругъ объявлена война «за папу» противъ Рима. Французы сдѣлали свою вѣроломную высадку въ Чивита-Веккіи и приближались къ Риму. Лавиронъ бросилъ циркуль и поскакалъ въ Римъ. «Надобно вамъ инженера, артиллериста, солдата... Я французъ, я стыжусь за Францію и иду драться съ моими соотечественниками», говорилъ онъ триумвирамъ, и пошелъ жертвой истребленія въ ряды римлянъ. Съ мрачной отвагой шелъ онъ впередъ, — когда все было потеряно, онъ еще дрался и палъ въ воротахъ Рима, сраженный французскимъ ядромъ.

Французскія газеты похоронили его рядомъ ругательствъ, указывая судъ божій надъ преступнымъ измѣнникомъ отечества!

... Когда человѣкъ, долго глядя на черныя кудри и черные глаза, вдругъ обращается къ блѣлой женщинѣ съ свѣтлыми бровями, нервной и блѣдной, взглядъ его всякій разъ удивляется и не можетъ сразу придти въ себя. Разница, о которой онъ не думалъ, которую забылъ, невольно, физически навязывается ему.

Точно то же дѣлается при быстромъ переходѣ отъ итальянской эмиграціи къ нѣмецкой.

Нѣмецъ теоретически развитъ, безъ сомнѣнія, больше, чѣмъ все народы, но проку въ этомъ нѣтъ до сихъ поръ. Изъ католическаго фанатизма онъ перешелъ въ протестантскій піетизмъ трансцендентальной философіи и поэтизмъ филологіи, а теперь понемногу перебирается въ положительную науку; онъ «во всѣхъ классахъ учится прилежно», и въ этомъ вся его исторія, на страшномъ судѣ ему сочтутъ баллы. Народъ Германіи, менѣе учившійся, много страдалъ; онъ купилъ право на протестантизмъ—Тридцатилѣтней войной, право на независимое существованіе, т. е. на блѣдное существованіе подъ надзоромъ Россіи,—борьбой съ Наполеономъ. Его освобожденіе въ 1814, 1815 г. было совершеннѣйшей реакціей, и когда на мѣсто Жерома Бонапарта явился

der Landesvater, въ пудреномъ парикѣ и залежавшемся мундирѣ стараго покроя, и объявилъ, что на другой день назначается, по порядку, положимъ, 45-й *парадъ* (сорокъ четвертый былъ до революціи),—тогда всѣмъ освобожденнымъ показалось, что они вдругъ потеряли современность и воротились къ другому времени, каждый щупаль, не выросла ли у него коса съ бантомъ на затылкѣ. Народъ принималъ это съ простодушной глупостью и пѣлъ Кернеровы пѣсни. Науки шли впередъ. Греческія трагедіи давались въ Берлинѣ, драматическія торжества для Гёте въ Веймарѣ.

Самые радикальные люди между нѣмцами въ частной жизни остаются филистерами. Смѣлые въ логикѣ, они освобождаютъ себя отъ практической послѣдовательности и впадаютъ въ вопіющія противорѣчія. Германскій умъ въ революціи, какъ во всемъ, беретъ общую идею, разумѣется въ ея безусловномъ, т. е. недѣйствительномъ значеніи, и довольствуется идеальнымъ построеніемъ ея, воображая, что вещь сдѣлана, если она понята, и что фактъ такъ же легко кладется подъ мысль, какъ смыслъ факта переходитъ въ сознаніе.

Англичанинъ и французъ исполнены предразсудковъ, нѣмецъ ихъ не имѣетъ; но и тотъ, и другой въ своей жизни послѣдовательнѣе: то, чему они покоряются, можетъ быть и нелѣпо, но признано ими. Нѣмецъ не признаетъ ничего, кромѣ разума и логики, но покоряется многому *изъ видовъ*,—это кривленіе душой за взятки.

Французъ не свободенъ нравственно: богатый инициативой въ дѣятельности, онъ бѣденъ въ мышленіи. Онъ думаетъ принятыми понятіями, въ принятыхъ формахъ; онъ пошлымъ идеямъ даетъ модный покрой и доволенъ этимъ. Ему трудно дается новое, даромъ что онъ бросается на него. Французъ тѣснитъ свою семью и вѣритъ, что это его обязанность, такъ, какъ вѣритъ въ почетный легіонъ, въ приговоры суда. Нѣмецъ ни во что не вѣритъ, но пользуется на выборъ общественными предразсудками. Онъ привыкъ къ мелкому довольству. къ Wohlbehagen, къ покою и, переходя изъ своего кабинета въ Prunkzimmer или спальню, жертвуетъ халату, покою и кухнѣ—свободную мысль свою. Нѣмецъ большой сибаритъ, этого въ немъ не замѣчаютъ, потому что его убогое раздолье и мелкая жизнь не казисты, но эскимось, который пожертвуетъ всѣмъ для рыбьяго жира, такой же эпикуреецъ, какъ Лукуллъ. Къ тому же нѣмецъ, лимфатическій отъ природы, скоро тяжелѣетъ и пускаетъ тысячи корней въ извѣстный образъ жизни; все, что можетъ его вывести изъ его привычки, ужасаетъ его филистерскую натуру.

Всѣ нѣмецкіе революціонеры большіе космополиты, sie haben überwunden den Standpunkt der Nationalität, и всѣ исполнены са-

маго раздражительнаго, самаго упорнаго патріотизма. Они готовы принять всемірную республику, стереть границы между государствами, но чтобъ Триестъ и Данцигъ принадлежали Германіи. Вѣнскіе студенты не побрезгали отправиться подъ начальство Радецкаго въ Ломбардію, они даже, подъ предводительствомъ какого-то профессора, взяли пушку, которую подарили Инспруку.

При этомъ заносчивомъ и воинственномъ патріотизмѣ Германія, со времени первой революціи и поднесъ, смотритъ съ ужасомъ направо, съ ужасомъ налево. Тутъ Франція съ распущенными знаменами переходитъ Рейнъ, тамъ Россія переходитъ Нѣманъ, и народъ въ двадцать пять милліоновъ головъ чувствуетъ себя круглой сиротой, бранится отъ страха, ненавидитъ отъ страха, и теоретически, по источникамъ, доказываетъ, чтобъ утѣшиться, что бытіе Франціи есть уже не бытіе, а бытіе Россіи не есть еще бытіе.

«Воинственный» конвентъ, собиравшійся въ Павловской церкви во Франкфуртѣ и состоявшій изъ добрыхъ sehr ausgezeichneten in ihrem Fache профессоровъ, врачей, теологовъ, фармацевтовъ и филологовъ, рукоплескалъ австрійскимъ солдатамъ въ Ломбардіи, тѣснилъ поляковъ въ Познани. Самый вопросъ о Шлезвигъ-Гольштейнѣ (Stammverwandt!) бралъ за живое только съ точки зрѣнія «Тейтчтума». Первое свободное слово, сказанное, послѣ вѣковъ молчанія, представителями освобождающейся Германіи, было противъ притѣсненныхъ, слабыхъ народностей; эта неспособность къ свободѣ, эти неловко обличаемыя поползновенія удержать неправоe стяжаніе, вызываютъ иронию: человѣкъ прощаетъ дерзкія притязанія только за энергическія дѣйствія, а ихъ не было.

Революція 1848 года имѣла вездѣ характеръ опрометчивости, невыдержки, но не имѣла ни во Франціи, ни въ Италиі почти ничего смѣшнаго; въ Германіи, кромѣ Вѣны, она была исполнена комизма несравненно больше юмористическаго, чѣмъ комизмъ прегадкой гётевской комедіи «der Bürgergeneral».

Не было города, «пятна» въ Германіи, въ которомъ при возстаніи не являлась бы попытка «комитета общественнаго спасенія», со всѣми главными дѣятелями, съ холоднымъ юношей *Сенъ-Жюстомъ*, съ мрачными террористами и военнымъ геніемъ, представлявшимъ Карно. Двухъ-трехъ Робеспьеровъ я лично зналъ, они надѣвали всегда чистую рубашку, мыли руки и чистили ногти; зато были и растрепанные Коло д'Эрбуа, а если въ клубѣ находился человѣкъ, любившій еще больше пиво, чѣмъ другіе, и волочившійся еще открытѣе за штубенмедхенами,—это былъ Дантонъ, eine schwelgende Natur!

Французскіе слабости и недостатки долею улетучиваются при ихъ легкомъ и быстромъ характерѣ. У нѣмца тѣ же недостатки получаютъ какое-то прочное и основательное развитіе и бросаются въ глаза. Надобно самому видѣть эти нѣмецкіе опыты, представить со *einen burschikosen Kamin de Paris* въ политикѣ, чтобы оцѣнить ихъ. Мнѣ они всегда напоминали рѣзвость коровы, когда это доброе и почтенное животное, украшенное семейнымъ добродушіемъ, разыграется, завітреничается на лугу и съ пресерььзной миной побрыкается обѣими задними ногами или пробѣжитъ косымъ галопомъ, погоняя себя хвостомъ.

Послѣ дрезденскаго дѣла я встрѣтилъ въ Женевѣ одного изъ тамошнихъ агитаторовъ и началъ его тотчасъ распрашивать о Бакунинѣ. Онъ его превозносилъ и сталъ рассказывать, какъ онъ самъ начальствовалъ баррикадой, подѣ его распоряженіями. Воспламенившись своимъ рассказомъ, онъ продолжалъ: «Революція—гроза, тутъ нельзя слушать ни сердца, ни сообразоваться съ обыкновенной справедливостью... Надобно самому побывать въ этихъ обстоятельствахъ, чтобъ вполне понять *Гору* 1794 г. Представьте себѣ, вдругъ мы замѣчаемъ глухое движеніе въ королевской партіи, намѣренно распускаются ложные слухи, показываются люди съ подозрительными лицами. Я подумалъ-подумалъ и рѣшился *терроризовать* мою улицу:—*Männer!* говорю я моему отряду, подѣ опасеніемъ военного суда, который при осадномъ положеніи можетъ *сейчасъ лишить васъ жизни* въ случаѣ ослушанія, приказываю вамъ, чтобъ всякій, безъ различія пола, возраста и званія, кто захотѣлъ бы перейти баррикаду, быть захваченъ и, подѣ строгимъ прикрытіемъ, приведенъ ко мнѣ,—такъ продолжалось болѣе сутокъ. Если бюргеръ, котораго ко мнѣ приводили былъ хорошій патріотъ, я его пропускалъ, но если это было подозрительное лицо, то я давалъ знакъ стражѣ»...

— И, сказалъ я съ ужасомъ, и она?

— И она ихъ отводила домой, прибавилъ гордо и самодовольно террористъ.

Къ характеристикѣ нѣмецкихъ освободителей прибавлю еще анекдотъ.

Исправлявшій должность министра внутреннихъ дѣлъ, юноша, о которомъ я упомянулъ, рассказывая о визитѣ Густава Струве, написалъ мнѣ черезъ нѣсколько дней записку, въ которой просилъ найти ему какую-нибудь работу. Я предложилъ ему переписывать для печати рукопись *Vom Andern Ufer*, писанную рукой Капа, которому я диктовалъ по-нѣмецки съ русскаго оригинала. Молодой человѣкъ принялъ предложеніе. Черезъ нѣсколько дней онъ сказалъ мнѣ, что онъ такъ дурно помѣщенъ съ разными фрейшерлерами, что у него нѣтъ ни мѣста, ни ти-

шины. чтобъ заниматься, и просилъ позволеніе переписывать въ комнатѣ Капа. И тутъ работа не пошла. Министръ *per interim* приходилъ въ одиннадцать часовъ утра, лежалъ на диванѣ, курилъ сигары, пилъ пиво... и уходилъ вечеромъ на совѣщанія и собранія къ Струве. Капъ, деликатнѣйшій въ мірѣ человѣкъ, стыдился за него; такъ прошло съ недѣлю. Капъ и я, мы молчали. но эксъ-министръ прервалъ молчаніе: онъ попросилъ у меня запиской *сто франковъ впередъ* за работу. Я написалъ ему, что онъ такъ медленно работаетъ, что такой суммы я ему впередъ дать не могу, а если ему очень нужны деньги, то посылаю двадцать франковъ, несмотря на то, что онъ не переписалъ еще и на десять.

Вечеромъ министръ явился на сходку къ Струве и донесъ о моемъ анти-цивическомъ поступкѣ и о злоупотребленіи капиталомъ. Добрый министръ считалъ, что социализмъ состоитъ не въ общественной организаціи, а въ безмысленномъ дѣлѣжѣ безсмысленно полученнаго достоянія!

Несмотря на удивительный хаосъ, царившій въ головѣ Струве, онъ, какъ честный человѣкъ, разсудилъ, что я не совсѣмъ виноватъ, и что, можетъ, *бургеру* и *брудеру* лучше было бы переписывать больше, а денегъ впередъ просить меньше. Онъ уговаривалъ его не дѣлать изъ исторіи шума.

— Ну, такъ я отошлю ему деньги—*mit Verachtung*, сказали, министръ.

— Что за вздоръ, закричалъ одинъ фрейшерлеръ. Если брудеръ и бюргеръ не хочетъ ихъ брать, то я предлагаю сейчасъ на всѣ послать за пивомъ и выпить на гибель *der Besitzenden*.

— Согласны?

— Да, да, согласны, браво!

— Выпьемъ, кричалъ ораторъ, и дадимъ слово не кланяться русскому аристократу, который обидѣлъ брудера.

— Да, да, ненадобно кланяться.

Дѣйствительно, пиво выпили и кланяться мнѣ перестали.

Всѣ эти смѣшные недостатки, вмѣстѣ съ особенной *Plumpheit* нѣмцевъ, оскорбляютъ южную натуру итальянцевъ и возбуждаютъ въ нихъ зоологическую, народную ненависть. Всего хуже, что хорошая сторона нѣмцевъ, т. е. сторона философскаго образованія, итальянцу равнодушна или недоступна, а сторона пошлая, тяжелая постоянно колѣтъ глаза. Итальянецъ часто ведетъ самую пустую и праздную жизнь, но съ какимъ-то артистическимъ, граціознымъ ритмомъ, и именно потому онъ всего меньше можетъ вынести медвѣжью шутку и фамильярное прикосновеніе жовіальнаго нѣмца.

Англо-германская порода гораздо грубѣе франко-романской.

Съ этимъ дѣлать нечего, это ея фізіологическій признакъ, сердиться на него смѣшно. Пора понять разъ навсегда, что разные породы людей, какъ разные породы звѣрей, имѣютъ разные характеры и не виноваты въ этомъ. Никто не сердится на быка за то, что онъ не имѣетъ ни красоты лошади, ни быстроты оленя, никто не упрекаетъ лошадь за то, что ея филейныя мяса не такъ вкусны, какъ у быка; все, чего мы можемъ требовать отъ нихъ, во имя животнаго братства, это чтобъ они мирно паслись на одномъ и томъ-же полѣ, не боаясь и не лягаясь. Въ природѣ все достигаетъ посильно, чего можетъ, складывается, какъ случится, и потомъ принимаетъ родовое рлі; воспитаніе идетъ до извѣстной степени, исправляетъ одно, прививаетъ другое, но требовать отъ лошади бифштекса и отъ быковъ иноходи все-же нелѣпость.

Чтобъ наглазно понять разницу двухъ противоположныхъ традицій европейскихъ породъ, стоитъ взглянуть въ Парижъ и въ Лондонъ на уличныхъ мальчишекъ: я беру именно ихъ потому, что они неподдѣльны въ своей грубости.

Посмотрите, какъ парижскіе гамены смѣются надъ какимъ-нибудь англійскимъ чудакомъ, и какъ лондонскіе мальчишки издѣваются надъ французомъ; въ этомъ маленькомъ примѣрѣ рѣзко высказываются два противоположные типа двухъ европейскихъ породъ. Парижскій гамень наглъ и привязчивъ, онъ можетъ быть несносенъ, но, во-первыхъ, онъ остеръ, его шалость ограничивается шутками, и онъ столько же смѣшитъ, сколько сердитъ; во-вторыхъ, есть слова, отъ которыхъ онъ краснѣетъ и сейчасъ отстаетъ, есть слова, которыхъ онъ никогда не употребляетъ,—грубостью его остановить трудно, если же пациентъ подниметъ палку, то я не отвѣчаю за послѣдствія. Еще надобно замѣтить, что французскихъ мальчишковъ нужно чѣмъ-нибудь поразить: краснымъ жилетомъ съ синими полосками, кирпичнымъ полуфракомъ, необычайнымъ кашне, лакеемъ, который несетъ попугая, собаку, вещами, дѣлаемыми одними англичанами и, замѣтьте, только въ Англіи. Быть просто иностранцемъ не достаточно, чтобъ обратить гоненіе или смѣхъ.

Острота лондонскихъ мальчишекъ проще, она начинается съ ржанія при видѣ иностранца ¹⁾, лишь бы онъ имѣлъ усы, бороду или шляпу съ широкими полями; потомъ они кричатъ разъ двадцать: french pig! french dog! Если иностранецъ обратится къ нимъ съ какимъ-нибудь отвѣтомъ, ржаніе и блеяніе удваиваются; если онъ идетъ прочь, мальчишки бѣгутъ за нимъ,—тогда остается ultima ratio поднять палку, а иногда и опустить ее на

¹⁾ Все это очень переѣнилось послѣ Крымской войны (1866).

перваго попавшагося. Послѣ этого мальчишки бѣгутъ, сломя голову, прочь, осыпая ругательствами, а иной разъ пуская издали грязью или камнемъ.

Во Франціи взрослый работникъ, сидѣлецъ или торговка никогда не участвуютъ съ *gamins* въ ихъ продѣлкахъ противъ иностранца; въ Лондонѣ, всѣ грязныя бабы, всѣ взрослые сидѣльцы хрюкаютъ и помогаютъ мальчишкамъ.

Во Франціи есть щитъ, который тотчасъ останавливаетъ самаго зазорнаго мальчика,—это бѣдность. Страна, которая не знаетъ слова болѣе оскорбительнаго, какъ слово *beggar*, тѣмъ больше преслѣдуетъ иностранца, чѣмъ онъ беззащитнѣе и бѣднѣе.

Одинъ итальянскій рефюжъе, бывшій прежде офицеромъ въ австрійской кавалеріи и, безъ всякихъ средствъ, оставившій отечество послѣ войны, ходилъ, когда пришла зимняя пора, въ военной офицерской шинели. Это производило такой фуроръ на рынкѣ, по которому онъ долженъ былъ проходить всякій день, что крики «кто вашъ портной?» хохотъ и, наконецъ, подергиваніе за воротникъ дошли до того, что итальянецъ бросилъ свою шинель и ходилъ, дрогнувъ до костей, въ одномъ сюртукѣ.

Эта грубость въ уличной шуткѣ, этотъ недостатокъ деликатности, такта въ народѣ, съ своей стороны, объясняетъ, отчего женщинъ нигдѣ не бьютъ такъ часто и такъ больно, какъ въ Англіи ¹⁾, отчего отецъ готовъ безчестить дочь, мужъ—жену, юридически преслѣдовать ихъ.

Уличныя грубости сильно оскорбляютъ сначала французовъ и итальянцевъ. Нѣмецъ, напротивъ, принимаетъ ихъ съ хохотомъ, отвѣчаетъ такимъ же ругательствомъ, перебранка продолжается, и онъ остается очень доволенъ. Обоимъ это кажется любезностью, милой шуткой. «Bloody dog!» кричитъ ему, хрюкая, гордый британецъ.—«Стерва Джонъ Буль!» отвѣчаетъ нѣмецъ, и каждый идетъ своей дорогой.

Это обращеніе не ограничивается улицей: стоитъ только посмотреть на полемику Маркса, Гейнцена, *Puge et consorts*, которая съ 1849 г. не переставала и теперь продолжается по ту сторону океана. Глазъ нашъ не привыкъ видѣть въ печати такія выраженія, такія обвиненія: ничего не пощажено, ни личная честь, ни семейныя дѣла, ни повѣренныя тайны.

У англичанъ грубость пропадаетъ, поднимаясь на высоту таланта или аристократическаго воспитанія; у нѣмцевъ—никогда. Величайшіе поэты Германіи (за исключеніемъ Шиллера) впадаютъ въ самую неотесанную вульгарность.

¹⁾ „Таймсъ“ какъ-то, года два тому назадъ, считалъ, что среднимъ числомъ въ каждой части Лондона (ихъ десять) ежегодно бываетъ до 200 процессовъ о побояхъ женщинъ и дѣтей. А сколько побоевъ проходитъ безъ процессовъ?

Одна изъ причинъ дурного тона нѣмцевъ происходитъ отъ того, что въ Германіи вовсе не существуетъ воспитанія, въ нашемъ смыслѣ слова. Нѣмцевъ учать и учать много, но совсѣмъ не воспитываютъ, даже въ аристократіи, въ которой преобладаютъ казарменные, юнкерскіе нравы. У нихъ въ житейскихъ дѣлахъ отсутствуетъ эстетическій органъ. Французы его утратили, точно такъ, какъ они утратили изящество своего языка; нынѣшній французъ рѣдко умѣетъ написать письмо безъ канторскихъ или адвокатскихъ выраженій,—прилавокъ и казармы исказили ихъ нравы.

Въ заключеніе этого сравненія, я расскажу одинъ случай, въ которомъ я наглазно и лицомъ къ лицу видѣлъ всю пропасть, дѣлящую итальянцевъ отъ tedesковъ, и въ которую, сколько хочешь грузи амнистій и разглагольствованій о братствѣ народовъ, моста долго еще не составишь.

Отправляясь съ Тесье-дю-Моте въ 1852 году изъ Генуи въ Лугано, мы пріѣхали ночью въ Арону, спросили, когда идетъ пароходъ, узнали, что на другой день утромъ въ 8 часовъ, и легли спать. Въ половинѣ восьмого портъе пришелъ взять наши чемоданы, и, когда мы вышли на берегъ, они уже были на палубѣ. Но, несмотря на то, вмѣсто того, чтобъ идти на пароходъ, мы глядѣли съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ другъ другу въ глаза.

Надъ шипѣвшимъ и покачивавшимся пароходомъ развѣвался огромный бѣлый флагъ съ двуглавымъ орломъ, а на кормѣ красовалась надпись: Fürst Radetzky. Мы забыли съ вечера спросить, какой пароходъ отходить: австрійскій или сардинскій. Тесье, по Версальскому суду, былъ осужденъ *in contumaciam* на депортацію. Хотя Австрія до этого и не было дѣла, но какъ не воспользоваться случаемъ, ну, хоть за справками мѣсяцевъ шесть продержатъ въ тюрьмѣ. Примѣръ Бакунина показывалъ, что они могутъ сдѣлать со мной. По договору съ Піемонтомъ, австрійцы не имѣли права требовать паспортовъ у тѣхъ, которые, не высаживаясь на ломбардскій берегъ, ѣхали въ Могадино, принадлежащій Швейцаріи,—но я думаю, что они не побрезгали бы, если-бъ можно было, такимъ простымъ средствомъ, чтобъ схватить Мадзини или Кошута.

— Что-же, сказалъ Тесье, вѣдь, идти назадъ смѣшно!

— «Ну, такъ впередъ!» и мы пошли на палубу.

Когда канатъ былъ взятъ, пассажировъ окружили взводомъ солдатъ съ ружьями. За чѣмъ?—не знаю; на пароходѣ стояли двѣ небольшія пушки, особымъ образомъ прикрѣпленныя. Когда пароходъ пошелъ, солдатъ распустили. Въ каютѣ, на стѣнѣ, висѣли правила: въ нихъ было подтверждено, что ѣдущіе не въ Ломбардію не обязаны предъявлять паспортовъ, но было добавлено, что если

кто-нибудь изъ этихъ лицъ сдѣлаеть какой-либо проступокъ противъ К. К. (kaiserlich-königlichen) полицейскихъ уставовъ, тотъ имѣетъ быть судимъ по австрійскимъ законамъ. Отъ done, носить калабрійскую шляпу или трехцвѣтную кокарду было уже австрійское преступленіе. Только тогда я вполне оцѣнилъ, въ какихъ мы когтяхъ. Однако я далекъ отъ того, чтобъ раскаиваться въ моей поѣздкѣ: все время нашего пути ничего не произошло особаго, но я сдѣлалъ богатый штудіумъ.

На палубѣ сидѣло нѣсколько итальянцевъ; мрачно, молча курили они сигары, съ затаенной ненавистью поглядывая на суетившихся во всѣ стороны и безъ всякой нужды бѣлобрысыхъ и одѣтыхъ въ бѣлые сюртуки офицеровъ. Надобно замѣтить, что въ ихъ числѣ были мальчишки лѣтъ двадцати и вообще они были молодые люди; я теперь слышу дребезжащій, горловой, казарменный голосъ, наглый смѣхъ, похожій на кашель, и къ тому еще отвратительный австрійскій акцентъ въ нѣмецкомъ языкѣ. Повторяю, не было ничего ужаснаго, но я чувствовалъ, что за эту манеру стоять, повернувшись спиной возлѣ самаго носа, ломаться и показывать: «мы де побѣдители—наша взяла», слѣдовало бы ихъ всѣхъ бросить въ воду, и еще больше чувствовалъ я, что былъ бы радъ, если-бъ это случилось, и охотно помогъ бы.

Кто далъ бы себѣ трудъ счетомъ пять минутъ посмотрѣть на тѣхъ и другихъ, тотъ непремѣнно понялъ-бы, что тутъ и рѣчи быть не можетъ о примиреніи, что въ крови у этихъ людей лежить ненависть другъ къ другу, которую распустить, смягчить, привестъ къ безобидному племенному различію надобно вѣка времени.

Послѣ полудня часть пассажировъ сошла въ каюту, другіе спросили себѣ завтракъ на палубу. Тутъ физическая разница еще рѣзче выразилась. Я смотрѣлъ съ удивленіемъ—ни одного общаго приема. Итальянцы ѣли мало, съ той врожденной, натуральной граціей, съ которой они все дѣлають. Офицеры рвали куски, жевали вслухъ, бросали кости, толкали тарелки, одни, наклонясь къ самому століку, съ особенной ловкостью и необыкновенной скоростью *плескали* съ ложки супъ въ ротъ, другіе ѣли съ *ножа*, безъ хлѣба и безъ соли, масло. Я посмотрѣлъ на этихъ артистовъ и, глядя на итальянца, улыбнулся,—онъ тотчасъ понялъ меня и, симпатически отвѣчая мнѣ улыбкой, показалъ полнѣйшій видъ отвращенія. Еще замѣчаніе: въ то время, какъ итальянцы съ улыбкой и мягкостью спрашивали тарелку, вина, каждый разъ благодаря головой или взглядомъ челоуѣка, австрійцы обращались возмутительно съ прислугой, такъ, какъ русскіе отставные корнеты и прапорщики обращаются съ крѣпостными при чужихъ.

Для закуски, молодой, долговязый, съ свѣтложелтыми волосами офицерикъ позвалъ солдата лѣтъ пятидесяти, поляка или кроата по лицу, и началъ его ругать за какую-то оплошность. Старикъ стоялъ, какъ слѣдуетъ, на вытяжкѣ и, когда офицеръ кончилъ, хотѣлъ было что-то ему сказать; но лишь только онъ произнесъ: «Ваше благородіе»,—«Молчать», закричалъ раздавленнымъ голосомъ свѣтложелтый, и «маршъ!» Потомъ, обращаясь къ товарищамъ, какъ ни въ чемъ не бывало, онъ принялся снова за пиво. Зачѣмъ же все это было дѣлать при насъ? Да уже не было ли это нарочно сдѣлано для насъ?

Когда мы вышли на землю, у Могадина, натерпѣвшееся сердце не выдержало, и мы, обернувшись къ пароходу, который еще стоялъ, прокричали: *Viva la Republica!*—а одинъ итальянецъ, качая головой, повторялъ: *o, brutissimi, brutissimi!*

Не рано-ли такъ опречетчиво толковать о солидарности народовъ, о братствѣ, и не будетъ-ли всякое насильственное прикрытие вражды однимъ лицемѣрнымъ перемиріемъ? Я вѣрю, что національныя особенности настолько потеряютъ свой оскорбительный характеръ, насколько онъ теперь потерянъ въ образованномъ обществѣ; но, вѣдь, для того, чтобъ это воспитаніе проникло во всю глубину народныхъ массъ, надобно много времени. Когда-же я посмотрю на Фокстонъ и Булонъ, на Дувръ и Кале, тогда мнѣ становится страшно и хочется сказать—много вѣковъ.

ГЛАВА XXXVIII.

Швейцарія.—Джемсъ Фазн и Рефюжье.—*Monte-Rosa*.

Волненіе Европы еще такъ сильно качало въ 1849 г., что трудно было установить, живши въ Женевѣ, вниманіе на одной Швейцаріи. Къ тому же политическія партіи довольно похожи на правительство въ искусствѣ отводить глаза путешественнику. Попадая подъ ихъ вліяніе, онъ все видитъ, но видитъ не просто, а подъ извѣстнымъ угломъ; онъ не можетъ выйти изъ заколдованнаго круга. Его первое впечатлѣніе подтасовано, закуплено, не ему принадлежитъ. Пристрастный взглядъ партіи застаётъ его врасплохъ, непрigотовленнаго, равнодушнаго, обезоруженнаго, такъ сказать, и, прежде чѣмъ онъ спохватится, дѣлается его взглядомъ.

Въ 1849 году я зналъ одну радикальную Швейцарію, ту, которая сдѣлала демократическій переворотъ, ту, которая въ 1847 году подавила Зондербундъ. Потомъ, окруженный больше и больше

выходцами, я дѣлилъ ихъ негодованіе на малодушное федеральное правительство и на жалкую роль, которую оно играло передъ реакціонными сосѣдями.

Больше и лучше узналъ я Швейцарію въ слѣдующія поѣздки, и всего больше въ Лондонѣ. Въ томномъ досугѣ 53 и 54 годовъ я многому научился и на многое, изъ прошедшаго и видѣннаго прежде, иначе взглянулъ.

Швейцарія прошла труднымъ искусомъ. Между развалинами цѣлаго міра свободныхъ учрежденій, между обломками цивилизацій, шедшихъ ко дну, перетирая другъ друга, середь гибели всѣхъ человѣческихъ условій жизни, всѣхъ государственныхъ формъ въ пользу грубаго деспотизма, двѣ страны остались, какъ были. Одна за своимъ моремъ, другая за своими горами, обѣ средневѣковыя республики, обѣ, прочно вросшія въ землю вѣковыми нравами.

Но какая разниа въ силѣ и положеніи между Англіей и Швейцаріей! Если Швейцарія и представляетъ сама островъ за своими горами, то ея промежуточное положеніе и духъ народный обязываютъ ее, съ одной стороны, къ трудному лавированію, съ другой, къ сложному поведенію. Въ Англіи собственно народъ покоенъ, онъ вѣка на три отсталъ. Дѣятельная часть Англіи принадлежитъ извѣстной средѣ; большинство народа внѣ движенія; ее едва колеблетъ чартизмъ, и то исключительно между городскими работниками. Англія стоитъ въ сторонѣ, выбрасываетъ за океанъ горючія вещества, по мѣрѣ ихъ накопленія, и тамъ они торжественно взрастаютъ. Идеи не тѣсняются въ нее съ материка, а входятъ тихо, переложенныя на ея нравы и переведенныя на ея языкъ.

Совсѣмъ другое дѣло въ Швейцаріи: въ ней нѣтъ кастъ, даже нѣтъ яркихъ предѣловъ между горожанами и сельскими жителями. Патриархальныя патриціи кантоновъ оказались несостоятельными при первомъ напорѣ демократическихъ идей. Черезъ Швейцарію идутъ взадъ и впередъ всѣ ученія, всѣ идеи, и всѣ оставляютъ слѣды. Она говоритъ на трехъ языкахъ. Въ ней проповѣдывалъ Кальвинъ, въ ней проповѣдывалъ портной Вейтлингъ, въ ней смѣялся Вольтеръ, въ ней родился Руссо. Страна эта, призванная вся, отъ пахаря и работника, къ самоуправленію, задавленная большими сосѣдями, безъ постоянной арміи, безъ бюрократіи и диктатуры, является, послѣ бурь революціи и сатурналий реакцій, той-же вольной, республиканской конфедераціей, какъ и прежде.

Желательно было-бы знать, какъ консерваторы объясняютъ, что единственныя покойныя земли въ Европѣ тѣ, въ которыхъ личная свобода и свобода рѣчи всего меньше стѣснены. Въ то время, какъ Австрійская имперія, напр., поддерживается рядомъ

cours d'états съ мошусомъ, гальваническихъ потрясеній и административныхъ революцій, а французскій тронъ держится однимъ терроромъ и уничтоженіемъ всякой законности,—въ Швейцаріи и Англіи сохраняются даже нелѣпыя и устарѣлыя формы, сросшіяся съ ихъ свободой и твердыя подъ ея могучей сѣнью.

Поведеніе федеральнаго совѣта въ отношеніи къ политическимъ выходцамъ, которыхъ они выбрасывали по первому требованію Австріи или Франціи, было позорно. Но отвѣтственность за него падаетъ исключительно на правительство; вопросы внѣшней политики совѣмъ не такъ близки къ сердцу народа, какъ вопросы внутренніе. Въ сущности, всѣ народы занимаются только своими дѣлами, остальное составляетъ или дальнее желаніе, или просто риторическое упражненіе, иногда откровенное, но и тогда рѣдко дѣльное. Народъ, составившій себѣ репутацію своимъ общечеловѣческимъ участіемъ ко всѣмъ и всему, наименѣе знаетъ географію и всего больше зараженъ нестерпимо-раздражительнымъ патріотизмомъ. Къ тому-же, швейцарецъ самую природой не увлекается вдаль: онъ сведенъ горами на свою родную долину, какъ житель приморскій на свой берегъ, и, пока его не трогаютъ на ней, онъ молчитъ.

Право, присвоенное себѣ федеральнымъ правительствомъ, распоряжаться выходами, вовсе не *швейцарское*, по немъ вопросъ объ эмигрантахъ—вопросъ кантональный. Швейцарскіе радикалы, увлекаемые французскими теоріями, старались усилить сводное правительство въ Бернѣ и сдѣлали большую ошибку. По счастью, попытки централизаціи, кромѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ практическая польза ихъ очевидна, какъ въ устройствѣ почтъ, дорогъ, единства монетъ, вовсе не народны въ Швейцаріи. Централизація можетъ многое сдѣлать для порядка, для разныхъ общихъ предпріятій, но она несовмѣстна съ свободой, ею легко народы доходятъ до положенія хорошо береженаго стада, или своры собакъ, ловко держимыхъ какимъ-нибудь доѣзжачимъ.

Оттого-то американцы и англичане столько-же ненавидятъ ее, сколько и швейцарцы.

Слабая числомъ, нецентрализованная Швейцарія—Гидра, Бріарей, се не пришибешь однимъ ударомъ. Гдѣ ея голова? гдѣ ея сердце? Сверхъ того, безъ столицы нельзя себѣ представить короля. Король въ Швейцаріи такая-же нелѣпость, какъ табель о рангахъ въ Нью-Йоркѣ. Горы, республика и федерализмъ воспитали, сохранили въ Швейцаріи сильный, мощный кряжъ людей, такъ-же рѣзко разграниченный, какъ ихъ почва—горами, и такъ-же соединенный ими, какъ она.

Надобно видѣть, какъ гдѣ-нибудь на федеральномъ тирѣ собираются стрѣлки разныхъ кантоновъ, съ своими знаменами, въ

своихъ костюмахъ и съ карабиномъ за плечами. Гордые своей особенностью и своимъ единствомъ, они, сходя съ родныхъ горъ, братскими кликами привѣтствуютъ другъ друга и федеральный стягъ (остающийся въ томъ городѣ, гдѣ былъ послѣдній тиръ), нисколько не смѣшиваясь.

Въ этихъ празднествахъ вольнаго народа, въ его военной заставѣ, безъ пышной обстановки золотомъ шитой аристократіи, пестрой гвардіи — есть что-то торжественное и могучее. Вездѣ проносятся рѣчи, льется домашнее вино, раздаются крики, пѣсни, музыка, и всѣ чувствуютъ, что на ихъ плечахъ нѣтъ свинцовой плиты, гнетущей власти...

Въ Женевѣ, вскорѣ послѣ моего приѣзда, давали обѣдъ ученикамъ всѣхъ школъ передъ наступающими вакаціями. Джемсъ Фазп (президентъ кантона) пригласилъ меня на этотъ пиръ. На полѣ, въ Каружѣ, былъ разбитъ большой шатеръ. Совѣтъ и всѣ кантональныя знаменитости были налицо и обѣдали вмѣстѣ съ дѣтьми. Часть гражданъ, состоявшихъ на очереди, была созвана въ мундирахъ и съ ружьями, для почетной стражи. Фази произнесъ рѣчь, совершенно радикальную, поздравилъ получившихъ награды и предложилъ тостъ: «за будущихъ гражданъ!» при громѣ музыки и пушечныхъ выстрѣлахъ. Послѣ этого, дѣти, по два въ рядъ, отправились за нимъ въ поле, гдѣ были приготовлены разныя забавы, воздушныя шары, акробаты и проч. Вооруженные граждане, т. е. отцы, дяди, старшіе братья учениковъ, составили шпалеры и, по мѣрѣ того, какъ глава колонны проходила, они дѣлали на караулъ... Да! на караулъ передъ сыновьями-мальчиками, передъ сиротами, воспитывающимися на счетъ кантона... Дѣти были почетные гости города—его «будущіе граждане». (Странно все это нашему брату, бывавшему на институтскихъ и иныхъ торжественныхъ актахъ.

(Странно и то, что каждый работникъ, каждый взрослый крестьянинъ, половые въ трактирахъ и ихъ хозяева, жители горъ и жители болотъ знаютъ хорошо дѣла кантона, принимаютъ въ нихъ участіе, принадлежатъ къ партіямъ. Языкъ ихъ, степень образованія очень мѣняются, и если женевскій работникъ напоминаетъ иногда лѳонскаго клубиста, въ то время какъ простой житель горъ похожъ еще до сихъ поръ на лица, окружающія шиллеровскаго Теля, то это нисколько не мѣшаетъ тому и другому горячо заниматься общественными дѣлами. Во Франціи идутъ по городамъ отырыски и развѣтвленія политическихъ и социальныхъ обществъ, члены ихъ занимаются *революціоннымъ* вопросомъ и по дорогѣ знаютъ кое-что изъ настоящаго управленія. Но за то стоящіе внѣ ассоціаціи, а въ особенности крестьяне, ничего не знаютъ и вовсе не интересуются ни дѣлами Франціи, ни дѣлами департамента.

Наконецъ, и намъ, и французамъ бросается въ глаза отсутствіе всякихъ ризъ и облаченій, всей обстановки правительства. Президентъ кантона, президентъ федеральнаго собранія, статсъ-секретари (т. е. министры), федеральные полковники ходятъ, какъ всѣ простые смертные, въ кафе, обѣдаютъ за общимъ столомъ, разсуждаютъ о дѣлахъ, спорятъ съ работниками, спорятъ при нихъ между собой, и все это запиваютъ вмѣстѣ съ другими иворнскимъ виномъ да киршемъ.

Сначала нашего знакомства съ Джемсомъ Фази, эта демократическая простота поражала меня, и я только впослѣдствіи, вглядываясь ближе, увидѣлъ, что во всѣхъ законныхъ случаяхъ правительство кантона вовсе не было слабо, несмотря на отсутствіе гардеробной важности, лампасовъ, плюмажей, цвейцаровъ съ булавой, вахмистровъ съ усами и прочихъ шалостей и ненужностей *mise en scène*.

Осенью 1849 началось гоненіе выходцевъ, искавшихъ убѣжища въ Швейцаріи; правительство было въ слабыхъ рукахъ доктринеровъ, федеральные министры потеряли голову. Заstraщенная конфедерація, отказавшая нѣкогда Людовику Филиппу въ высылкѣ Людовика Наполеона, высылала теперь, по приказу послѣдняго, людей, искавшихъ убѣжища, и дѣлала ту же любезность для Австріи и Пруссіи. Конечно, федеральное правительство имѣло дѣло не съ старымъ, толстымъ королемъ, не любившимъ крайнихъ мѣръ, а съ людьми, у которыхъ на рукахъ еще не обсохла кровь, и которые были въ самомъ разгарѣ дикаго преслѣдованія. Но чего же боялось федеральное собраніе? Если-бъ оно умѣло смотрѣть дальше своихъ горъ, тогда оно поняло бы, какую долю внутреннего страха покрывали нахальствами и угрозами сосѣднія правительства. Ни одно изъ нихъ въ 1849 году не имѣло достаточной осѣдлости и нравственнаго сознанія своей силы, чтобъ начать войну. Стоило конфедераціи показать зубы, и они умолкли бы; доктринеры предпочли робкую уступчивость и начали мелкое, неблагородное гоненіе людей, которымъ некуда было дѣться.

Долго нѣкоторые кантоны, и въ томъ числѣ Женевскій, противодѣйствовали Федеральному собранію, но, наконецъ, и Фази былъ увлеченъ, *volens-nolens*, въ преслѣдованіе выходцевъ.

Положеніе его было очень непріятно. Переходъ чловѣка изъ заговорщиковъ въ правительство, какъ бы онъ естественъ ни былъ, имѣетъ свои комическія и досадныя стороны. Въ сущности, надобно сказать, что не Фази перешелъ въ правительство, а правительство перешло къ Фази, тѣмъ не менѣе прежній конспираторъ не всегда ладилъ съ президентомъ кантона. Ему приходилось бить по своимъ или иногда явно не слушаться феде-

ральныхъ приказовъ, принимать такія мѣры, противъ которыхъ онъ лѣтъ десять къ ряду ораторствовалъ. Онъ дѣлалъ то и другое по капризу, и этимъ возбуждалъ противъ себя обѣ стороны.

Фази человѣкъ большой энергіи и большихъ государственныхъ талантовъ, но слишкомъ французъ, чтобы не любить крутыя мѣры, централизацію, власть. Онъ всю жизнь провелъ въ политической борьбѣ. Молодымъ человѣкомъ мы его встрѣчаемъ на парижскихъ баррикадахъ 1830 года, а потомъ въ Отель-де-Виль, въ числѣ той молодежи, которая, вопреки Лафайету и банкирамъ, требовала провозглашенія республики. Перье и Лафитъ нашли, что «лучшая республика»—герцогъ Орлеанскій; онъ сдѣлался королемъ, а Фази бросился въ крайнюю республиканскую оппозицію. Тутъ онъ дѣйствуетъ съ Годфруа Кавеньякомъ и Марастомъ, съ обществомъ *Des droits de l'homme* и съ карбонарами, замѣшивается въ Савойскую экспедицію Маццини, издаетъ журналъ, который на французскій манеръ задавили пенями...

Убѣдившись, наконецъ, что во Франціи нечего дѣлать, онъ вспоминаетъ свою родину и переноситъ всю свою энергію, всю прибрѣтенную ловкость политическаго дѣятеля, публициста и конспиратора на развитіе своихъ идей въ Женевскомъ кантонѣ.

Онъ задумалъ радикальный переворотъ въ немъ и исполнилъ его. Женева возстала на свое старое правительство; пренія, нападки и отпоры перешли изъ камеръ и журналовъ на площадь, и Фази явился главою возмущившейся части города. Пока онъ распоряжался и устанавливалъ своихъ вооруженныхъ друзей, сѣдой старикъ смотрѣлъ изъ окна и, военный по профессіи, не могъ вытерпѣть, чтобы не дать совѣта, какъ слѣдуетъ поставить пушку или отрядъ. Фази послушался. Совѣтъ былъ дѣльный,—но кто же этотъ военный? Графъ Остерманъ-Толстой, главнокомандующій союзными арміями подъ Кульмомъ, уѣхавшій изъ Россіи при воцареніи Николая и жившій потомъ почти всегда въ Женевѣ.

Во время этого переворота Фази показалъ, что онъ вполне обладаетъ не только тактомъ и вѣрностью взгляда, но и той дерзостью, которую Сень-Жюсть считалъ необходимой для революціонера. Разбивши почти безъ кровопролитія консерваторовъ, онъ явился въ Большой совѣтъ и объявилъ ему, что онъ распущенъ. Члены хотѣли арестовать его и съ негодованіемъ спрашивали: «Во имя кого онъ осмѣливается такъ говорить?»

— «Во имя женевского народа, которому надоѣло дурное управленіе ваше, и который со мной»,—при этомъ Фази отдернулъ сукно въ дверяхъ Совѣта. Толпа вооруженныхъ людей наполнила залы, готовая, по первому слову Фази, опустить ружья и выстрѣлить. Старые «патриціи» и мирные кальвинисты смутились.—

«Ступайте вонъ, пока есть время»,—замѣтилъ Фази, и они смиренно поплелись домой, а Фази сѣлъ за столъ и написалъ декретъ или плебисцитъ, объявлявшій, что народъ женевскій, уничтоживъ прежнее правительство, собирается для новыхъ выборовъ и для принятія новаго демократическаго уложенія, въ ожиданіи чего народъ ввѣряетъ исполнительную власть *Джемесу Фази*. Это 18 Брюмера въ пользу демократіи и народа. Хотя онъ и выбралъ самъ себя диктаторомъ, но выборъ безспорно былъ очень удаченъ.

Съ тѣхъ поръ, т. е. съ 1846 года, онъ управляетъ Женовой. Такъ какъ по конституціи президентъ избирается на два года и не можетъ быть избранъ два раза къ ряду, то черезъ два года женевцы назначаютъ кого-нибудь изъ блѣдныхъ поклонниковъ Фази, и такимъ образомъ *de facto* онъ остается президентомъ къ великой горести консерваторовъ и піэтистовъ, постоянно остающихся въ меньшинствѣ.

Фази показали новыя способности во время своего диктаторства. Администрація, финансы, все двинулось быстро впередъ; твердое проведеніе радикальныхъ началъ привязало къ нему народъ. Фази явился такимъ же энергическимъ организаторомъ, какимъ былъ разрушителемъ. Женева расцвѣла при немъ. Это мнѣ говорили не одни друзья его, но люди совершенно посторонніе, между прочими и знаменитый побѣдитель подъ Кульмомъ, Остерманъ-Толстой.

Крутой и раздражительный, быстрый и безъ терпимости въ характерѣ, Фази всегда имѣлъ въ себѣ деспотически-республиканскія замашки; привыкнувъ къ власти,—деспотическое *plu* стало иной разъ брать верхъ; къ тому же событія и идеи послѣ 1848 застали Фази врасплохъ, онъ былъ смущенъ съ одной стороны, обойденъ съ другой. Ну, вотъ она, эта республика, о которой онъ мечталъ съ Годфруа Кавеньякомъ и Арманъ Карелемъ... а что-то неладно. Бывшій его товарищъ, Марастъ, президентъ національнаго собранія замѣчаетъ ему, что онъ неосторожно отозвался о католицизмѣ «за завтракомъ, въ присутствіи секретаря», и говорить, что религію надобно беречь, чтобы не разсердить поповъ; когда эксъ-редакторъ *National'a* въ президентскомъ домѣ проходилъ изъ комнаты въ комнату, двое часовыхъ отдавали ему честь. Другой пріятель и протеже Фази пошелъ еще дальше: сдѣлался самъ президентомъ республики, но онъ уже не хочетъ знаться съ старымъ товарищемъ и идетъ въ Наполеоны. «Республика въ опасности!»—а работники и передовые люди не занимаются ею, они все толкуютъ о социализмѣ. Такъ вотъ виноватый,—и Фази съ упрямствомъ и озлобленіемъ опрокинулся на

соціализмъ. Это значило, что онъ достигъ своего предѣла, своего *culminations punkt'a*, какъ говорятъ нѣмцы, и пошелъ внизъ.

Онъ и Маццини, бывши соціалистами прежде соціализма, сдѣлались его врагами, когда онъ сталъ переходить изъ общихъ стремленій въ новую революціонную силу. Много поломалъ и копій съ обоими и съ удивленіемъ увидѣлъ, какъ мало можно взять логикой, когда человѣкъ *не хочетъ* убѣдиться. Если у того и у другого это была политика, уступка временной необходимости, то зачѣмъ-же было горячиться, зачѣмъ такъ хорошо играть свою роль, даже въ частной бесѣдѣ? Нѣтъ, тутъ былъ какой-то зубъ на новое ученіе, сложившееся *внѣ* ихъ крута; тутъ была даже злоба къ имени. Я разъ предлагалъ Фази называть соціализмъ въ нашихъ разговорахъ «Клеопатрой», чтобъ это слово не сердило его и не мѣшало своимъ звукомъ пониманію. Брошюры Маццини противъ соціализма впослѣдствіи принесли больше вреда знаменитому агитатору, чѣмъ Радецкій,—но объ этомъ не здѣсь.

Разъ, пришедши домой, я нашелъ записку Струве; онъ меня извѣщалъ, что Фази изгоняетъ его и очень круто. Федеральное правительство давнымъ-давно предписало выслать Струве и Гейнца; Фази ограничился тѣмъ, что сообщилъ имъ это. Что-же случилось новаго?

Фази не хотѣлъ, чтобъ Струве издавалъ въ Женевѣ свой «Интернаціональный» журналъ; онъ боялся и, можетъ, былъ правъ, что они вдвоемъ съ Гейнценомъ напечатаютъ такой опасный вздоръ, что снова навлекутъ угрозы Франціи, вопль Пруссіи и скрежетъ зубовъ Австріи. Какъ практическій человѣкъ могъ думать, что этотъ журналъ состоится, я не знаю; довольно того, что онъ предложилъ Струве отказаться отъ журнала или ѣхать вонъ изъ Женевы. Отказаться въ ту минуту, когда Струве фанатически мечталъ, что онъ своимъ журналомъ окончательно побьетъ «семь бичей рода человѣческаго», было выше силъ баденскаго революціонера. Тогда Фази послалъ къ нему квартальнаго съ приказомъ, чтобъ онъ сейчасъ оставилъ кантонъ. Струве сухо принялъ полицейскаго и объявилъ, что онъ еще не готовъ къ отъѣзду. Фази обидѣлся за квартальнаго и велѣлъ полиціи сбыть Струве съ рукъ. Войти въ домъ безъ судебнаго приговора было невозможно; мѣра, принятая въ Бернѣ, была полицейская, а не судебная (то, что французы называютъ *mesure de salut public*). Полицейскій зналъ это, но, желая услужить Фази и, вѣроятно, расплатиться за дурной пріемъ, приготовилъ карету и сѣлъ съ товарищемъ гдѣ-то подъ липой, неподалеку отъ дома Струве.

Струве, втайнѣ довольный вновь начинающейся эрой гоненій

и мученичества и впередъ увѣренный, что важнаго ничего съ нимъ не сдѣлають, разослалъ всѣмъ своимъ знакомымъ записки о случившемся. Въ ожиданіи ихъ пламеннаго участія и горячаго негодованія, онъ не вытерпѣлъ, чтобъ не сходить къ другу Гейнцену, который, съ своей стороны, получилъ такую же любезную цидулку отъ Фази. Такъ какъ Гейнценъ жилъ недалеко, то Струве ganz gemüthlich отправился къ нему, одѣтый по-домашнему и въ туфляхъ. Лишь только онъ поровнялся съ липой, за которой прятался лукавый сынъ Кальвина, какъ тотъ перерѣзалъ ему дорогу и, показавъ приказъ федеральнаго совѣта, требовалъ, чтобъ онъ слѣдовалъ за нимъ. Убѣдительность его приглашенія поддерживали два жандарма. Удивленный Струве, проклиная Фази и причисляя его къ числу «семи бичей», сѣлъ въ карету и покотился съ полицейскими въ Ваадскій кантонъ.

Со времени диктаторства Фази, еще ничего подобнаго не было въ Женевѣ. Во всемъ этомъ было что-то грубое, ненужное и даже шутовское. Кипя досадою, возвращался я домой часу въ двѣнадцатомъ вечера: у pont des Bergues я встрѣтилъ Фази, онъ весело шелъ съ нѣсколькими итальянскими выходцами.

— А, здравствуйте, что новаго? сказалъ онъ, увидавъ меня.

— Много, отвѣчалъ я съ изысканной сухостью.

— Что же такое?

— Да вотъ, напримѣръ, въ Женевѣ, точно въ Парижѣ, людей хватають на улицѣ, насильно увозять, il n'y a plus de sécurité dans les rues,—я боюсь ходить...

— А, это вы говорите насчетъ Струве... отвѣчалъ Фази, успѣвшій разсердиться до того, что голосъ его сталъ перерываться. Что-же прикажете дѣлать съ этими взбалмошными людьми? Я, наконецъ, усталъ, я покажу этимъ господамъ, что значить пренебрегать законами, явно не слушаться распоряженій федеральнаго совѣта...

— Право, сказалъ я, улыбаясь, которое вы предоставляете одному себѣ.

— Что же, мнѣ изъ-за всякаго вырвавшагося изъ Бедлама подвергать опасности кантонъ, самого себя, и это при теперешнихъ обстоятельствахъ? Да мало еще, вмѣсто спасибо они грубить. Представьте себѣ, господа, я посылаю къ нему камиссара полиціи, а онъ только-что не вытолкалъ его,—это изъ рукъ вонъ! Не понимаютъ, что чиновникъ (magistrat), приходящій во имя закона, долженъ быть уважаемъ. Не правда-ли?

Товарищи Фази кивнули утвердительно головой.

— Я не согласенъ, сказалъ я ему, и совсѣмъ не вижу причины уважать человека за то, что онъ полицейскій, и за то, что онъ пришелъ объявлять какой-нибудь вздоръ, написанный Фуре-

ромъ или Друэ въ Бернѣ. Можно быть не грубымъ, но для чего расточаться въ учтивостяхъ передъ человѣкомъ, который является ко мнѣ какъ врагъ, да еще какъ врагъ, поддерживаемый силой?

— Я отроду не слыхивалъ такихъ вещей, замѣтилъ Фази, подымая плечи и бросая на меня молніи своихъ взоровъ.

— Вамъ это ново, потому что вы никогда не думали объ этомъ.

— Вы не хотите понять разницы между уваженіемъ къ закону и раболѣпствомъ,—*c'est parfaitement russe!*

— Да гдѣ же это понять, когда у васъ уваженіе къ закону значитъ уваженіе къ квартальному или къ городовому сержанту?

— А знаете-ли вы, м. г., что комиссаръ полиціи, котораго я посылалъ, не только честиѣйшій человѣкъ, но и одинъ изъ преданнѣйшихъ патріотовъ; я его видѣлъ на дѣлѣ...

— И прекрасный отецъ семейства, продолжалъ я, да только ни мнѣ, ни Струве дѣла нѣтъ до этого; мы съ нимъ незнакомы, и явился онъ къ Струве вовсе не какъ образцовый гражданинъ, а какъ исполнитель притѣснительной власти...

— Да помилуйте, замѣтилъ все больше и больше сердившійся Фази, что вамъ дался этотъ Струве, да не вчера ли вы сами надъ нимъ хохотали...

— Не смѣяться-же мнѣ сегодня, если вы будете его вѣшать.

— Знаете, что я думаю,—онъ пріостановился: я полагаю, что онъ просто русскій агентъ.

— Господи, какой вздоръ! сказалъ я, расхохотавшись.

— Какъ *вздоръ*, кричалъ Фази еще громче, я вамъ говорю это серьезно!

Зная необузданно-вспыльчивый нравъ моего женевского тирана и зная, что, при всей раздражительности его, онъ въ сущности былъ во сто разъ лучше своихъ словъ и человѣкъ не злой, я, можетъ, пропустилъ бы ему это поднятіе голоса; но тутъ были свидѣтели, къ тому-же онъ былъ президентъ кантона, а я такой-же безпаспортный бродяга, какъ и Струве, и потому я стенторовскимъ голосомъ отвѣчалъ ему:

— Вы воображаете, что вы президентъ, такъ вамъ и достаточно что-нибудь сказать, чтобъ всѣ повѣрили?

Крикъ мой подѣйствовалъ, Фази сбавилъ голосъ, но зато, безпощадно разбивая свой кулакъ о перила моста, онъ замѣтилъ:

— Да его дядя, Густавъ Струве, русскій повѣренный въ дѣлахъ въ Гамбургѣ.

— Это ужъ изъ «Волка и Овцы». Я лучше пойду домой. Прощайте!

— Въ самомъ дѣлѣ, лучше идти спать, чѣмъ спорить, а то еще мы поссоримся, замѣтилъ Фази, принужденно улыбаясь.

Я пошелъ въ *hôtel des Bergues*, Фази съ итальянцами черезъ мостъ. Мы такъ усердно кричали, что нѣсколько оконъ въ отелѣ растворились, и публика, состоявшая изъ гарсоновъ и туристовъ, слушала наше преніе.

Между тѣмъ квартальный и честнѣйшій гражданинъ, который повезъ Струве, возвратился и не одинъ, а съ тѣмъ-же Струве. Въ первомъ городкѣ Ваадскаго кантона, близъ Копета, гдѣ жили Стааль и Рекамье, случилось презабавное обстоятельство. Префектъ полиціи, горячій республиканецъ, услышавъ, какъ Струве былъ схваченъ, объявилъ, что женевская полиція поступила незаконно, и не только отказался послать его далѣе, но воротилъ назадъ.

Можно себѣ представить бѣшенство Фази, когда онъ, на куску нашего разговора, узналъ о благополучномъ возвращеніи Струве. Побранившись съ «тираномъ» письменно и словесно, Струве уѣхалъ съ Гейнценомъ въ Англію; тамъ-то Гейнценъ потребовалъ два милліона головъ и мирно уплылъ съ своимъ Плядомъ въ Америку, сначала съ цѣлю зависти *училище для молодыхъ дѣвицъ*, потомъ, чтобъ издавать въ С. Луисѣ *Піонера*, журналъ, который и пожилымъ мужчинамъ не всегда можно читать.

Дней пять послѣ разговора у моста, я встрѣтился съ Фази въ *café de la Poste*.

— Что это васъ не видать давно, спросилъ онъ, неужели все сердитесь? Ну, уже эти мнѣ дѣла о выходцахъ, признаюсь, такая обуза, что съ ума можно сойти! Федеральныи совѣтъ бомбардируетъ одной нотой за другой, а тутъ проклятый жекскій су-префектъ нарочно живетъ, чтобъ смотрѣть, интернированы-ли французы. Я стараюсь все уладить и за все за это—свои-же сердятся. Вотъ теперь новое дѣло, и прескверное, я уже знаю, что меня будутъ бранить, а что мнѣ дѣлать. Онъ сѣлъ за мой столикъ и, понижая голосъ, продолжалъ:—это уже не фразы, не социализмъ, а просто воровство.

Онъ подаль мнѣ письмо. Какой-то нѣмецкій владѣтельный герцогъ жаловался, что, во время занятія фрейшерлерами его городишка, были ими похищены драгоценныя вещи и, между прочимъ, рѣдкой работы старинный потиръ, что онъ находится у бывшего начальника легіона Бленкера, а такъ какъ до свѣдѣнія его свѣтлости дошло, что Бленкеръ живетъ въ Женевѣ, то онъ и проситъ содѣйствія Фази въ отысканіи вещей.

— Что скажете? спросилъ торжествующимъ голосомъ Фази.

— Ничего. Мало ли что бываетъ въ военное время.

— Что-же по вашему дѣлать?

— Бросить письмо или написать этому шуту, что вы вовсе

не сыщикъ его въ Женевѣ; что вамъ за дѣло до его посуды? Онъ долженъ радоваться, что Бленкеръ не повѣсилъ его, а тутъ онъ еще ищетъ пожитки.

— Вы преопасный софистъ, сказалъ Фази, да только вы не подумали, что такія продѣлки бросаютъ тѣнь на нашу партію... Этого такъ оставить невозможно.

— Не знаю, зачѣмъ вы это принимаете къ сердцу. Такіе-ли дѣлаются ужасы на бѣломъ свѣтѣ. Что касается партіи и ея чести, вы, пожалуй, опять скажете, что я софистъ,—подумайте сами, неужели, давши ходъ этому дѣлу, вы ей сдѣлаете пользу? Оставьте безъ вниманія доносъ герцога, его примутъ за клевету; а вотъ, какъ къ слуху о немъ прибавятъ, что вы посылали дѣлать обыскъ, да еще на бѣду что-нибудь найдутъ, тогда трудно будетъ оправдываться Бленкеру и всей партіи.

Фази откровенно удивлялся русскому безпорядку моихъ мнѣній. Дѣло Бленкера кончилось какъ нельзя лучше. Его не было въ Женевѣ, жена его, при появленіи слѣдственнаго судьи и полиціи, показала спокойно вещи и деньги, рассказала, откуда онѣ, и, услышавъ о сосудѣ, сама отыскала его,—это былъ весьма простой серебряный потиръ. Его взяли молодые люди, бывшіе въ ополченіи, и поднесли въ память побѣды своему полковнику.

Фази впослѣдствіи извинялся передъ Бленкеромъ, *соглашаясь*, что поторопился въ этомъ дѣлѣ. Неумѣренная любовь раскрывать истину, добираться до подробностей въ дѣлахъ уголовныхъ, преслѣдовать съ ожесточеніемъ виноватыхъ, сбивать ихъ—все это *чисто-французскіе* недостатки, судопроизводство для нихъ кровавая игра, въ родѣ травли для испанцевъ. Прокуроръ, какъ ловкій тореадоръ, униженъ и оскорбленъ, ежели травимый звѣрь уцѣлѣетъ. Въ Англіи нѣтъ ничего подобнаго: судья смотритъ хладнокровно на подсудимаго, не усердствуетъ, и почти доволенъ, когда присяжные не даютъ обвинительнаго приговора.

Съ своей стороны, рефюжѣ дразнили Фази и отравляли дни его. Все это понятно и къ этому нельзя быть слишкомъ строгимъ. Страсти, распахнувшіяся во время революціонныхъ движеній, не утомились отъ неудачи и, не имѣя другого выхода, выражались въ строптивомъ безпокойствѣ духа. Людямъ этимъ смертельно хотѣлось говорить именно въ то время, когда приходилось замолкнуть, отступить на второй планъ, стереться, сосредоточиться, а они, совсѣмъ напротивъ, старались не сходить со сцены и заявляли всѣми средствами свое существованіе; они писали брошюры, писали въ журналахъ, говорили на сходкахъ, говорили въ кафе, распространяли ложныя новости и страшали глупыя правительства близкимъ возстаніемъ. Большая часть изъ нихъ принадлежала къ числу самыхъ безопасныхъ хористовъ революцій,

но устрашенныя правительства съ обратнымъ безуміемъ вѣрили ихъ силѣ и, непривычныя къ свободной и смѣлой рѣчи, кричали о неминуемой опасности, о гибели религіи, трона, семьи, и требовали, чтобъ федеральный совѣтъ изгналъ этихъ страшныхъ людей мятежа и разрушеній.

Одна изъ первыхъ мѣръ, принятыхъ швейцарскимъ правительствомъ, состояла въ удаленіи отъ французской границы тѣхъ изъ рефюжѣ, которые особенно не нравились Наполеону. Исполнить эту мѣру было очень противно для Фази; онъ почти со всѣми былъ лично знакомъ. Объяснивъ имъ приказъ оставить Женеву, онъ старался *не знать*, кто уѣхалъ, кто нѣтъ. Неуѣхавшимъ еще надобно было отказаться отъ главныхъ кафе, отъ pont des Bergues,—этого-то они и не хотѣли уступить. Отсюда выходили смѣшныя пансіонскія сцены, въ которыхъ участвовали бывшіе народные представители, люди съ сѣдыми волосами, за сорокъ лѣтъ извѣстные писатели—съ одной стороны, и съ другой—президентъ свободного кантона да полицейскіе агенты рабскихъ сосѣдей Швейцаріи.

Разъ при мнѣ жекскій су-префектъ спросилъ ироническимъ тономъ у Фази:

— M. le Président, а что, такой-то въ Женевѣ?

— Давнымъ-давно нѣтъ, отвѣчалъ отрывисто Фази.

— Я очень радъ, замѣтилъ су-префектъ, и пошелъ своей дорогой. А Фази, неистово схвативъ меня за руку и судорожно указывая на человѣка, спокойно курившего сигару, сказалъ мнѣ:

— Вотъ онъ! вотъ онъ!—пойдемте въ другую сторону, чтобъ не встрѣтить этого разбойника. Это адъ, да и только!

Я не могъ удержаться отъ смѣха. Разумѣется, это былъ высланный рефюжѣ, и онъ-то прогуливался по pont des Bergues, который въ Женевѣ то, что у насъ Тверской бульваръ.

Я прожилъ въ Женевѣ до половины декабря. Гоненія, начавшіяся втихомолку противъ меня, заставили меня покинуть ее для того, чтобъ ѣхать въ Цюрихъ спасать имѣнье моей матери.

Страшное это время было въ моей жизни. Штиль между двухъ ударовъ грома, штиль давящій, тяжелый, но не казистый... примѣты грозили пальцемъ, но я и тутъ еще отворачивался отъ нихъ. Жизнь шла неровно, нестройно, но въ ней были свѣтлые дни; за нихъ я обязанъ величественной швейцарской природѣ.

Даль отъ людей и изящная природа имѣютъ удивительно цѣлебное вліяніе. Я по опыту писалъ въ «Поврежденномъ»: «Когда душа носить въ себѣ великую печаль, когда человѣкъ не настолько сладилъ съ собою, чтобы примириться съ прошедшимъ, чтобы успокоиться на пониманіи, ему нужна даль и горы, море и теплый, кроткій воздухъ. Нужны для того, чтобы грусть не

превращалась въ ожесточеніе, въ отчаяніе, чтобъ онъ не зачерствѣлъ»...

Отъ многого хотѣлось отдохнуть уже и тогда. Полтора года, проведенные въ средоточіи политическихъ смутъ и распрей, въ постоянномъ раздраженіи, въ виду кровавыхъ зрѣлищъ, страшныхъ паденій и мелкихъ измѣнъ, осадили много горечи, тоски и устали на днѣ души. Иронія принимала другой характеръ. Грановскій писалъ мнѣ, прочитавъ «Съ того берега», писанное именно въ то время: «Книга твоя дошла до насъ, я читалъ ее съ радостью и съ гордымъ чувствомъ... Но при всемъ томъ въ ней есть что-то усталое, ты стоишь слишкомъ одиноко и, можетъ, сдѣлаешься великимъ писателемъ; но то, что было въ Россіи живаго и симпатическаго для всѣхъ въ твоёмъ талантѣ, какъ-будто исчезло на чужой почвѣ»... Сазоновъ, перечитавъ передъ моимъ отъѣздомъ изъ Парижа, въ 1849 г., начало моей повѣсти «Долгъ прежде всего», писанный за два года, сказалъ мнѣ: «Ты этой повѣсти не кончишь, да и ничего подобнаго больше не напишешь. У тебя прошелъ свѣтлый смѣхъ и добродушная шутка».

Но могъ ли человѣкъ пройти искусомъ 1848 и 1849 года и остаться тѣмъ-же? Я самъ чувствовалъ эту перемѣну. Только дома, безъ постороннихъ, находили иногда прежнія минуты не «свѣтлаго смѣха», а *свѣтлой грусти*; вспоминая бывшее, нашихъ друзей, вспоминая недавнія картины римской жизни, возлѣ криватки спящихъ дѣтей, или глядя на ихъ игру, душа настраивалась какъ прежде, какъ нѣкогда,—на нее вѣяло свѣжестью, молодой поэзіей, полной кроткой гармоніей, на сердцѣ становилось хорошо, тихо, и подъ вліяніемъ такого вечера легче жилось день, другой.

Минуты эти были не часты, дурное, невеселое разсѣяніе мѣшало имъ; число постороннихъ росло около насъ, и къ вечеру маленькая гостиная наша на Елисейскихъ поляхъ была полна чужими. Большею частью это были вновь-пріѣхавшіе эмигранты, люди добрые и несчастные, но близокъ я былъ только съ однимъ человѣкомъ... и зачѣмъ я былъ близокъ съ нимъ!..

Я съ радостью покидалъ Парижъ, но въ Женевѣ мы очутились въ томъ-же обществѣ, только лица были другія и размѣры тѣснѣе. Въ Швейцаріи все тогда было ринуто въ политику, все дѣлилось на партіи, *table d'hôte*ы и кофейныя, часовщики и женщины. Исключительно политическое направленіе, особенно въ томъ тягеломъ затишьи, которое всегда слѣдуетъ за неудачными переворотами, чрезвычайно утомляетъ бесплодной сухостью и однообразнымъ попреканіемъ прошедшему. Оно похоже на лѣтнее время въ большихъ городахъ, гдѣ все запылено, жарко, безъ воздуха, гдѣ, сквозь блѣдныя деревья просвѣчиваютъ стѣны, отражающія

солнце, и теплые камни мостовой. Живой человѣкъ рвется на воздухъ, которымъ еще не дышала тьма темъ, въ которомъ не пахнутъ обглодками жизни и не слышно нестройнаго дребезжанія, сальнаго, гнилого запаха и непрерывнаго стука.

Иногда мы въ самомъ дѣлѣ вырывались изъ Женевы, ѣздили по берегамъ Лемана, уѣзжали къ подножію Монъ-Блана, и насупившаяся, мрачная красота горной природы заслоняла своими яркими тѣнями всю суету суетствій, освѣжая душу и тѣло холоднымъ вѣяніемъ своихъ вѣчныхъ ледниковъ.

Не знаю, желалъ ли бы я навсегда остаться въ Швейцаріи; нашему брату, жителю долинъ и луговъ, горы черезъ нѣкоторое время мѣшаютъ, онѣ слишкомъ громадны, близки, тѣснятъ, ограничиваютъ, но иной разъ хорошо пожить подъ ихъ тѣнью. Къ тому-же по горамъ живетъ чистое и доброе племя, племя бѣдное, но не несчастное, съ малыми потребностями, привычное къ жизни самобытной и независимой. Накинь цивилизаціи, ея ярмѣдянка не осѣла на этихъ людяхъ; историческія перемѣны, словно облака, ходятъ подъ ними, мало задѣвая ихъ. Римскій міръ еще продолжается въ Граубюнденѣ, время крестьянскихъ войнъ едва прошло гдѣ-нибудь въ Апенцелѣ. Можетъ, въ Пиренеяхъ или другихъ горахъ, въ Тироли, найдется такой-же здоровый кряжъ населенія, но, вообще, его въ Европѣ давно нѣтъ.

На нашемъ сѣверовостокѣ видѣлъ я, впрочемъ, что-то подобное. Въ Перми и Вяткѣ мнѣ удавалось встрѣчать людей такого-же закала, какъ на Альпахъ.

Утомленные непрерывнымъ, долгимъ подниманіемъ шагъ-за-шагъ по горѣ, чтобъ дать отдохнуть клячамъ, я и товарищъ, ѣхавшій со мной въ Церматъ, мы вошли въ небольшой постоялый дворъ, помнится, повыше Св. Николы. Хозяйка, худая, но мускулистая, высокая старушка, была одна-одинехонька дома; увидя гостей, она засуетилась и, жалуюсь на бѣдность своихъ запасовъ, пошаривъ тамъ-сямъ, принесла бутылку кирша, сухой, какъ камень, хлѣбъ (хлѣбъ въ горахъ вещь не простая, его привозятъ на ослахъ съ долинъ), копченую баранину, тоже сухую, сыру, козьего молока, и потомъ пошла стряпать какую-то сладкую яичницу, которой я ѣсть не могъ; но баранина, сыръ и киршъ были хороши. Хозяйка угощала насъ, какъ званныхъ гостей, съ добродушнымъ видомъ подкладывала кусочки, и все извинялась. Проводники наши тоже поѣли и допили киршъ. Уѣзжая, я спросилъ, что мы ей должны. Хозяйка долго думала, даже прошлась въ другую комнату, чтобы сообразить, и потомъ, сдѣлавъ предисловіе о дороговизнѣ, трудномъ подвозѣ, она рискнула сказать *пять франковъ*.

— «Какъ, замѣтилъ я, и съ лошадьми?»—Она не поняла меня и поторопилась прибавить:

— Ну, и четырехъ будетъ довольно.

Когда меня везли изъ Перми въ Вятку, я попросилъ въ одной деревнѣ, гдѣ мѣняли лошадей, квасу у женщины, сидѣвшей на бревнѣ возлѣ избы.

— «Больно кисель, отвѣчала она, а вотъ я тебѣ вынесу браги, отъ праздника, видишь, осталась».

Черезъ минуту она принесла глиняный кувшинъ, заткнутый тряпкой, и ковшъ. Мы съ жандармомъ напились вдоволь; отдавая ковшъ старухѣ, я подаль ей гривенникъ или пятиалтынный, но она не взяла, приговаривая:

— «Господь съ тобой, что это, съ дорожнаго человѣка-то брать, да и ѣдешь ты того...» она посмотрѣла на жандарма.

— Да за что-же, тетушка, мы твою бражку-то даромъ пили, возьми дѣтушкамъ на пряники.

— «Нѣтъ, кормилецъ, ты въ этомъ не сомнѣвайся, а есть лишнія деньги, подай ихъ нищему, али Богу поставь свѣчку».

Другой подобный случай былъ со мной на Великой-рѣкѣ, близъ Вятки. Я ѣздилъ смотрѣть туда оригинальную прецессию, какъ икону Николая Хлыновскаго несятъ туда въ гости. На обратномъ пути я зашелъ съ ямщикомъ въ избу, гдѣ онъ бралъ овесъ: хозяева и человѣка три богомольцевъ собирались обѣдать; сильно пахло щами, попросилъ и я себѣ. Молодая женщина принесла деревянную чашку шей, ломоть хлѣба и огромную солонку съ высокой спинкой. Поѣвши, я далъ хозяину четвертакъ. Онъ посмотрѣлъ на меня, почесалъ затылокъ и сказалъ: «Оно, видишь, неладно, что-же ты наѣлъ гроша на два, а даешь четвертакъ, оно мнѣ взять-то и не приходится, и передъ Богомъ грѣшно, и передъ людьми совѣстно».

Помнится, я гдѣ-то упоминалъ объ обычаѣ пермскихъ мужиковъ выставлять на ночь за окно кусокъ хлѣба, квасъ или молоко, на тотъ случай, что если *несчастный*, т. е. сосланный, проберется изъ Сибири, да побоится постучать, такъ чтобъ подкрѣпился, не дѣлая шума. Подобное я нашелъ на горахъ Швейцаріи; только тутъ это дѣлается, за неимѣніемъ возлѣ Сибири, просто для путниковъ. На довольно большихъ высотахъ, тамъ, гдѣ уже жизнь рѣдѣетъ, гдѣ гранить уже выказывается, какъ черепъ у человѣка, начинающаго плѣшивѣть, и рѣзкій холодный вѣтеръ подуваетъ на сухую, аптекарескую растительность,—тамъ попадались мнѣ хижины пустыя, но съ незапертыми дверями, чтобы путникъ, сбившійся съ дороги или загнанный непогодой, могъ найти пріютъ и безъ хозяина. Разная крестьянская утварь стояла тутъ, а на столѣ—сыръ, хлѣбъ или козье молоко. Иные, поѣвши, кладутъ на столъ какую-нибудь копейку, другіе ничего, но, видно, никто не крадетъ. Конечно, постороннихъ прохожихъ

бываетъ очень мало, но тѣмъ не менѣе эти отпертыя двери удивляютъ городской глазъ.

Разговорившись о горахъ и вершинахъ, доскажу мое путешествіе на Монте-Розу. Какъ-же лучше и кончить главу о Швейцаріи, какъ не на высотѣ семи тысячъ футовъ?

Отъ старушки, которая совѣстилась взять пять франковъ за кормъ четырехъ человѣкъ и двухъ лошадей, со включеніемъ цѣлой бутылки кирша, мы до самаго вечера поднимались по узкой нарѣзкѣ, мѣстами не шире метра, до Цермата; привычныя лошади шли шагомъ и осторожно, выбирая мѣсто, куда поставить копыто по скалистой, неровной тропинкѣ. Проводники безпрестанно напоминали намъ, чтобъ не править, а пускать лошадь идти, какъ она знаетъ. Съ одной стороны былъ крутой обрывъ, тысячи въ три футовъ и больше. Внизу, на его днѣ, шумѣлъ и несся Веспъ, съ какой-то безумной поспѣшностью, стараясь найти больше открытое русло и вырваться изъ сжатой каменной постели. Его пѣнящаяся, клубящаяся поверхность была мѣстами видна; по гористымъ берегамъ росли цѣлые сосновые лѣса, казавшіеся мохомъ съ высоты, по которой мы двигались. Съ другой стороны—голая, скалистая высь, мѣстами нависшая надъ головами. Часы цѣлые ѣдешь, ѣдешь... Стучать подковы о камень, срывается нога лошади, реветъ Веспъ, и все такія-же скалы съ одной стороны, за которыми ничего не видать, и уже смеркающійся обрывъ съ другой,—это наводитъ тоску, раздражительную усталъ... Я не хотѣлъ бы часто повторять этого пути.

Церматъ послѣднее мѣстечко, гдѣ живутъ нѣсколько семей вмѣстѣ; оно стоитъ, какъ въ котлѣ: громады горъ окружаютъ его. Одинъ изъ домохозяевъ принимаетъ у себя рѣдкихъ путешественниковъ, мы застали у него шотландца, геолога. Пока намъ собирали ужинъ, сдѣлалось совершенно темно; близость горъ удваивала мракъ. Часу въ одиннадцатомъ хозяйка, прислушиваясь у окна, сказала намъ:

— «Вѣдь, это копыта, да и крикъ проводниковъ слышенъ... охота-же въ ночную пору ѣхать по такой дорогѣ».

Стукъ копытъ медленно приближался, хозяйка взяла фонарь и вышла съ нимъ въ сѣни, я пошелъ за ней. Что-то стало отдѣляться изъ черной мглы, какія-то фигуры показались на полосѣ фонарнаго свѣта и, наконецъ, два всадника подъѣхали къ сѣнямъ. На одной лошади сидѣла высокая, среднихъ лѣтъ женщина, на другой мальчикъ, лѣтъ четырнадцати. Дама покойно сошла съ лошади, будто она воротилась съ прогулки въ Гайдъ-Паркъ, и вошла въ общую комнату. Шотландца она уже гдѣ-то встрѣтила, и потому тотчасъ стала съ нимъ говорить. Спросивъ себѣ поѣсть, она послала сына узнать отъ проводни-

ковъ, сколько времени лошадямъ нужно отдыхать. Они сказали, что двухъ часовъ довольно.

— «Неужели вы ѣдете, не дождавшись дня, спросилъ шотландецъ,—эти не видать, и притомъ же вамъ теперь придется спускаться по новой дорогѣ?»

— Я уже такъ разочла время.

Черезъ два часа англичанка съ сыномъ стала спускаться на итальянскую сторону, а мы легли уснуть часа два-три.

На разсвѣтѣ мы взяли третьяго проводника гербориста, который зналъ всѣ тропинки и удивительно насвистывалъ альпійскіе мотивы, и стали взбираться на одну изъ ближнихъ высотъ, поднимаясь къ ледяному морю и Монъ-Сервину.

Сначала сѣдой туманъ закрывалъ все и мочилъ насъ мелкимъ дождемъ, мы поднимались, онъ понижался; вскорѣ сдѣлалось какъ-то рѣзко свѣтло, необыкновенно чисто и ясно.

Гюго гдѣ-то описываетъ «что слышно на горѣ»; не высока, должно быть, была его гора, меня поразило, совсѣмъ напротивъ, совершенное отсутствіе звука: рѣшительно ничего не слышать, кромѣ легкаго, перемежающагося грохота отъ перекатывающихся лавинъ, и то изрѣдка... Вообще-же, тишина мертвая, *прозрачная*, —я нарочно употребляю это слово,—и необычайная разрѣженность воздуха дѣлають *видимой, звучной* эту совершенную нѣмоту, этотъ безпробудный, минеральный, стихійный сонъ¹⁾ допотопныхъ временъ.

Шумить жизнь,—но все живое внизу и покрыто облаками: тутъ ужъ нѣтъ и растений, одинъ мохъ сѣдой, жесткій, попадаетъ кое-гдѣ на камняхъ. Еще вверхъ—еще свѣжѣе стало, начинается натающій иней; тутъ рубежъ, тутъ ничего не бываетъ, дальше ходить только любопытнѣйшій изъ всѣхъ *звѣрей*, чтобъ на минуту заглянуть въ эти степи пустоты, посмотрѣть на эти пограничные, выдавшіеся предѣлы планеты, и скорѣе спуститься въ свою среду, исполненную суетъ, но гдѣ онъ дома.

Мы остановились передъ ледянымъ снѣжнымъ моремъ, разстлавшимся между нами и Монъ-Сервиномъ; окаймленное грядою горъ, облитыхъ солнцемъ, оно само, бѣлое до ослѣпительности, представляло замерзшую арену какого-то гигантскаго Колизея. Мѣстами изрытое вѣтрами, волнистое, оно будто застыло въ самую минуту движенія; изгибы валовъ замерзли, не успѣвъ выправиться.

Я сошелъ съ лошади и прилегъ на глыбу гранита, причаленную снѣжными волнами къ берегу... Нѣмая, неподвижная бѣ-

¹⁾ Вотъ я и оправдалъ знаменитое: «я слышу молчаніе!» московскаго полицмейстера.

лизна, безъ всякаго предѣла... Легкій вѣтеръ приподнималъ небольшую бѣлую пыль, уносилъ ее, вертѣлъ... Она падала и все снова приходило въ покой, да раза два лавины, оторвавшись съ глухимъ раскатомъ, скатывались вдаль, цѣпляясь за утесы, разбиваясь о нихъ и оставляя по себѣ облако снѣга...

Странно чувствуетъ себя человѣкъ въ этой рамѣ: гостемъ, лишнимъ, постороннимъ, и, съ другой стороны, свободнѣе дышать и, будто подъ цвѣтъ окружающему, становится бѣль и чистѣ внутри... серьезнѣе и полонѣ какого-то благочестія!

Какимъ натянутымъ риторомъ сочли бы меня, если-бъ я заключилъ эту картину Монте-Розы, сказавши, что середь этой бѣлизны, свѣжести и тишины, изъ двухъ путниковъ, потерянныхъ на этой выси и считавшихъ другъ друга близкими друзьями, одинъ обдумывалъ черную измѣну?..

Да, жизнь иногда имѣетъ свои мелодраматическія выходы— свои *cours de théâtre*, очень натянутые.

Западныя арабески.

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ.

I.

II Pianto.

Послѣ юньскихъ дней я видѣлъ, что революція побѣждена, но вѣрилъ еще въ *побѣжденныхъ*, въ падшихъ, вѣрилъ въ чудотворную силу мощей, въ ихъ нравственную могучесть. Въ Женевѣ я сталъ понимать яснѣе и яснѣе, что революція не только побѣждена, но что она *должна была быть* побѣжденной.

У меня кружилась голова отъ моихъ открытій, пропасть открывалась передъ глазами, и я чувствовалъ, какъ почва исчезала подъ ногами.

Не реакція побѣдила революцію. Реакція вездѣ оказалась тупой, трусливой, выжившей изъ ума; она вездѣ позорно отступила за уголъ передъ напоромъ народной волны и воровски выжидала времени въ Парижѣ и въ Неаполѣ, въ Вѣнѣ и Берлинѣ. Революція пала, какъ Агрипина, подъ ударами своихъ дѣтей и, что всего хуже, безъ ихъ сознанія; героизма, юношескаго самоотверженія было больше, чѣмъ разумѣнія, и чистыя, благородныя жертвы пали, не зная за что. Судьба остальныхъ врядъ не была-ли еще печальнѣе. Они, въ раздорѣ между собой, въ личныхъ спорахъ, въ печальномъ самообольщеніи, разѣждаемые необузданнымъ самолюбіемъ, останавливались на своихъ неожиданныхъ дняхъ торжества и не хотѣли ни снять увядшихъ вѣнковъ, ни вѣнчальнаго наряда, несмотря на то, что не *невѣста* обманула.

Несчастія, праздность и нужда внесли нетерпимость, упрямство, раздраженіе... Эмиграціи разбивались на маленькія кучки, средоточіемъ которыхъ дѣлались имена, ненависти, а не начала. Взглядъ, постоянно обращенный назадъ, и исключительное, замкнутое общество начало выражаться въ рѣчахъ и мысляхъ, въ

приемахъ и одеждѣ; новый цехъ—*цехъ выходцевъ*—складывался и костенѣлъ рядомъ съ другими. И какъ нѣкогда Василій Великій писалъ Григорію Назіанзину, что онъ «утопаетъ въ постѣ и наслаждается лишеніями», такъ теперь явились добровольные мученики, страдавшіе по званію, несчастные по ремеслу, и въ ихъ числѣ добросовѣстнѣйшіе люди; да и Василій Великій откровенно писалъ своему другу объ оргіяхъ плотоумерщвленія и о нѣгѣ гоненія. При всемъ этомъ, сознаніе не двигалось ни на шагъ, мысль дремала... Если-бъ эти люди были призваны звукомъ новой трубы и новаго набата, они, какъ девять спящихъ дѣвъ, продолжали бы тотъ день, въ который заснули.

Сердце изнывало отъ этихъ тяжелыхъ истинъ; трудную страшицу поспитанія приходилось переживать.

... Печально сидѣлъ я разъ въ мрачномъ, непріятномъ Цюрихѣ, въ столовой у моей матери; это было въ концѣ декабря 1849. Я ѣхалъ на другой день въ Парижъ; день былъ холодный, снѣжный, два-три полѣна нехотя, дымясь и треща, горѣли въ каминѣ, всѣ были заняты укладкой, я сидѣлъ одинъ-одинехонекъ: женевская жизнь носилась передъ глазами, впереди все казалось темно, я чего-то боялся, и мнѣ было такъ невыносимо, что, если-бъ я могъ, я бросился бы на колѣни и плакать бы, и молился бы, но я не могъ и, вмѣсто молитвы, написалъ *проклятіе—мой Эпилогъ къ 1849.*

«Разочарованіе, усталъ, Blasirtheit!» сказали объ этихъ выблѣвшихъ строкахъ демократическіе рецензенты. Да, разочарованіе! Да, усталъ!.. Разочарованіе слово битое, пошлое, дымка, подъ которой скрывается лѣнь сердца, эгоизмъ, придающій себѣ видъ любви, звучная пустота самолюбія, имѣющаго притязаніе на все, силы—ни на что. Давно надоѣли намъ всѣ эти высшія, неузнанныя натуры, исхудалыя отъ зависти и несчастныя отъ высокомерія,—въ жизни и въ романахъ. Все это совершенно такъ, а врядъ-ли нѣтъ чего-либо истиннаго, особенно принадлежащаго нашему времени на днѣ этихъ страшныхъ психическихъ болей, вырождающихся въ смѣшныя пародіи и въ пошлый маскарадъ.

Поэтъ, нашедшій слово и голосъ для этой боли, былъ слишкомъ гордъ, чтобъ притворяться, чтобъ страдать для рукописаній; напротивъ, онъ часто горькую мысль свою высказывалъ съ такимъ юморомъ, что добрые люди помирали со смѣха. Разочарованіе Байрона больше, нежели капризъ, больше, нежели личное настроеніе. Байронъ сломился оттого, что его жизнь обманула. А жизнь обманула не потому, что требованія его были ложны, а потому, что Англія и Байронъ были двухъ разныхъ возрастовъ, двухъ разныхъ воспитаній, и встрѣтились именно въ ту эпоху, въ которую туманъ разсѣялся.

Разрывъ этотъ существовалъ и прежде, но въ нашъ вѣкъ онъ пришелъ къ сознанію, въ нашъ вѣкъ больше и больше обличается невозможность посредства какихъ-нибудь вѣрованій. За римскимъ разрывомъ шло христіанство, за христіанствомъ—вѣра въ цивилизацію, въ человѣчество. *Либерализмъ составляетъ послѣднюю религію*, но его церковь не другого міра, а этого, его теодицея—политическое ученіе; онъ стоитъ на землѣ и не имѣетъ мистическихъ примиреній, ему надобно мириться въ самомъ дѣлѣ. Торжествующій и потомъ побитый либерализмъ раскрылъ разрывъ во всей наготѣ; болѣзненное сознаніе этого выражается ироніей современнаго человѣка, его скептицизмомъ, которымъ онъ мететъ осколки разбитыхъ кумировъ.

Ироніей высказывается досада, что истина логическая не одно и то же съ истиной исторической, что, сверхъ діалектическаго развитія, она имѣетъ свое страстное и случайное развитіе, что, сверхъ своего разума, она имѣетъ свой романъ.

Разочарованья¹⁾, въ нашемъ смыслѣ слова, до революціи не знали; XVIII столѣтіе было одно изъ самыхъ религіозныхъ временъ исторіи. Я уже не говорю о великомученикѣ С. Кюстѣ или объ апостолѣ Жанъ-Жакѣ; но развѣ папа Вольтеръ, благословлявшій Франклинова внука во имя Бога и Свободы, не былъ піетистъ своей человѣческой религіей?

Скептицизмъ провозглашенъ вмѣстѣ съ республикой 22 сентября 1792 года.

Якобинцы и вообще революціонеры принадлежали къ меньшинству, отдѣлившемуся отъ народной жизни развитіемъ: они составляли нѣчто въ родѣ свѣтскаго духовенства, готоваго пасти стада людскія. Они представляли *высшую* мысль своего времени, его *высшее*, но не *общее* сознаніе, не *мысль всѣхъ*.

У новаго духовенства не было понудительныхъ средствъ, ни фантастическихъ, ни насильственныхъ; съ той минуты, какъ власть выпала изъ ихъ рукъ, у нихъ было одно орудіе—убѣжденіе, но для убѣжденія недостаточно *правоты*, въ этомъ вся ошибка, а необходимо еще одно—*мозговое равенство*!

Пока длилась отчаянная борьба, при звукахъ пѣсни гугеновъ и марсельезы, пока костры горѣли и кровь лилась, этого неравенства не замѣчали; но, наконецъ, тяжелое зданіе феодальной монархіи рухнулось, долго ломали стѣны, отбивали замки... еще ударъ—еще проломъ сдѣланъ, храбрые впередъ, ворота открыты—и толпа хлынула, только не та, которую ждали. Кто это такіе?

¹⁾ Вообще „нашъ“ скептицизмъ не былъ извѣстенъ въ прошломъ вѣкѣ, одинъ Дидро и Англія дѣлаютъ исключеніе. Въ Англіи скептицизмъ былъ съ давнихъ временъ дома, и Байронъ естественно идетъ за Шекспиромъ, Роббсомъ и Юмомъ.

Изъ какого вѣка? Это не спартанцы, не великій *populus romanus*, *Davus sum, non Ædipus!* Неотразимая волна грязи залила все. Въ террорѣ 93, 94 года выразился внутренній ужасъ якобинцевъ: они увидѣли страшную ошибку, хотѣли ее поправить гильотиной, но сколько ни рубили головъ, все-таки склонили свою собственную передъ силою восходящаго общественнаго слоя. Все ему покорилось, онъ пересилилъ революцію и реакцію, онъ затопилъ старыя формы и наполнилъ ихъ собою, потому что онъ составлялъ единственное дѣятельное и современное большинство; Сіэзъ былъ больше правъ, чѣмъ думалъ, говоря, что *мишчане*—«все».

Мишчане не были произведены революціей, они были готовы съ своими преданіями и нравами, чуждыми на другой ладъ революціонной идеи. Ихъ держала аристократія въ черномъ тѣлѣ и на третьемъ планѣ; освобожденные, они прошли по трупамъ освободителей и ввели свой порядокъ. Меньшинство было или раздавлено, или распустилось въ мишчанство.

Нѣсколько человѣкъ каждаго поколѣнія оставались, вопреки событіямъ, упорными хранителями идеи; эти-то левиты, а, можетъ, астеки, несутъ несправедливую казнь за монополъ исключительнаго развитія, за мозговое превосходство сытыхъ кастъ, кастъ досухихъ, имѣвшихъ время работать не одними мышцами.

Насъ сердить, выводить изъ себя нелѣпость, несправедливость этого факта. Какъ будто кто-нибудь (кроме насъ самихъ) обѣщалъ, что все въ мірѣ будетъ изящно, справедливо и идти какъ по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и историческаго развитія, пора догадаться, что въ природѣ и исторіи много случайнаго, глушаго, неудавшагося, спутаннаго. Разумъ, мысль на концѣ—это заключеніе: все начинается тупостью новорожденнаго; возможность и стремленіе лежатъ въ немъ, но прежде чѣмъ онъ дойдетъ до развитія и сознанія, онъ подвергается ряду внѣшнихъ и внутреннихъ вліяній, отклоненій, остановокъ. У одного вода размягчитъ мозгъ, другой, падая, сплюснетъ его, оба останутся идіотами, третій не упадетъ, не умретъ скарлатиной,—и сдѣлается поэтомъ, военачальникомъ, бандитомъ, судьей. Мы вообще въ природѣ, въ исторіи и въ жизни всего больше знаемъ удачи и успѣхи; мы теперь только начинаемъ чувствовать, что не все такъ хорошо подтасовано, какъ казалось, потому что мы сами неудача, *проигранная карта*.

Сознаніе безсилія идеи, отсутствія обязательной силы истины надъ дѣйствительнымъ міромъ огорчаетъ насъ. Новаго рода макиавеллизмъ овладѣваетъ нами, мы готовы, *par dépit*, вѣрить въ разумное (т. е. намѣренное) зло, какъ вѣрили въ разумное добро,—это послѣдняя дань, которую мы платимъ идеализму.

Боль эта пройдетъ со временемъ, трагическій и страстный ха-

ракторъ уляжется; ее почти нѣтъ въ *Новомъ свѣтѣ* Соединенныхъ Штатовъ. Этотъ народъ молодой, предприимчивый, болѣе дѣловой, чѣмъ умный, до того занятъ устройствомъ своего жилья, что вовсе не знаетъ нашихъ мучительныхъ болей. Тамъ, сверхъ того, нѣтъ и двухъ образованій. Лица, составляющія слои въ тамошнемъ обществѣ, безпрестанно мѣняются, они поднимаются, опускаются съ итогомъ credit и debit каждаго. Дюжая порода англійскихъ колонистовъ разрастается страшно, если она возьметъ верхъ, люди въ ней не сдѣлаются счастливые, но будутъ довольные. Довольство это будетъ плоше, бѣднѣе, суше того, которое носилось въ идеалахъ романтической Европы, но съ нимъ, можетъ, не будетъ голода. *Кто можетъ* совлечь съ себя стараго европейскаго Адама и переродиться въ новаго Ионатана, тотъ пусть ѣдетъ съ первымъ пароходомъ куда-нибудь въ Висконсинъ или Канзасъ, тамъ навѣрно ему будетъ лучше, чѣмъ въ европейскомъ разложеніи.

Тѣ, которые *не могутъ*, тѣ останутся доживать свой вѣкъ, какъ образчики прекраснаго сна, которымъ дремало человѣчество. Они слишкомъ жили фантазіей и идеалами, чтобъ войти въ разумный американскій возрастъ.

Большой бѣды въ этомъ нѣтъ, насъ немного и мы скоро выйдемъ!

Но какъ люди такъ развиваются вонъ изъ своей среды?..

Представьте себѣ оранжерейнаго юношу, хоть того, который описалъ себя въ the Dream; представьте его себѣ лицомъ къ лицу съ самымъ скучнымъ, съ самымъ тяжелымъ обществомъ, лицомъ къ лицу съ уродливимъ минотавромъ англійской жизни, неловко спаяннымъ изъ двухъ животныхъ, одного дряхлаго, другого по колѣна въ топкомъ болотѣ, раздавленнаго какъ Каріатида, постоянно натянутыя мышцы которой не даютъ ни капли крови мозгу. Если-бъ онъ умѣлъ приладиться къ той жизни, онъ вмѣсто того, чтобъ умереть за тридцать лѣтъ въ Греціи, былъ бы теперь лордомъ Пальмерстономъ или сиромъ Джономъ Росселемъ. Но такъ какъ онъ не могъ, то ничего нѣтъ удивительнаго, что онъ съ своимъ Гарольдомъ говоритъ кораблю:—«Неси меня, куда хочешь,—только вдаль отъ родины».

Но что же ждало его въ этой дали? Испанія, вырѣзываемая Наполеономъ, одичалая Греція, всеобщее воскрешеніе всѣхъ смердящихъ Лазарей послѣ 1814 года; отъ нихъ нельзя было спастись ни въ Равенѣ, ни въ Дюдатіи. Байронъ не могъ удовлетвориться по-нѣмецки теоріями sub specie eternitatis, ни по-французски политической болтовней, и онъ сломился, но сломился какъ грозный Титанъ, бросая людямъ въ глаза свое презрѣніе, не золотя пилюли.

Разрывъ, который Байронъ чувствовалъ, какъ поэтъ и гений, сорокъ лѣтъ тому назадъ, послѣ ряда новыхъ испытаній, послѣ грязнаго перехода съ 1830 къ 1848 г. и гнусаго съ 48 до сегодняшняго дня, поразилъ теперь многихъ. И мы, какъ Байронъ, не знаемъ, куда дѣться, куда преклонить голову.

Реалистъ Гёте такъ же, какъ романтикъ Шиллеръ, этой разорванности не знали. Одинъ былъ слишкомъ религіозенъ, другой слишкомъ философъ. Оба могли примиряться въ отвлеченныхъ сферахъ. Когда «духъ отрицанья» является такимъ шутникомъ, какъ Мефистофель, тогда разрывъ еще не страшенъ; насмѣшливая и вѣчно противорѣчащая натура его еще расплывается въ высшей гармоніи и въ свое время прозвучитъ всему—*sie ist gerettet*. Не таковъ Люциферъ въ Каинѣ; это печальный ангель тмы, на его лбу тускло мерцаетъ звѣзда горькой думы, полного внутренняго распада, концы котораго не сведешь. Онъ не остритъ отрицаніемъ, не смѣшитъ дерзостью невѣрія, не манитъ чувственностью, не достаетъ ни напвныхъ дѣвочекъ, ни вина, ни брилліантовъ, а спокойно влечетъ къ убійству, тянетъ къ себѣ, къ преступленію—той непонятной силой, которой зоветъ человѣка въ инныя минуты стоячая вода, освѣщенная мѣсяцемъ, ничего не обѣщая въ безотрадныхъ, холодныхъ, мерцающихъ объятіяхъ своихъ, кромѣ смерти.

Ни Каинъ, ни Манфредъ, ни Донъ-Жуанъ, ни Байронъ не имѣютъ никакого вывода, никакой развязки, никакого «нравоученія». Можетъ, съ точки зрѣнія драматическаго искусства это и не идетъ, но въ этомъ-то и печать искренности и глубины разрыва. Эпилогъ Байрона, его послѣднее слово, если вы хотите, это *the Darkness*; вотъ результатъ жизни, начавшейся со «Сна». Допишите картину сами. Два врага, обезображенные голодомъ, умерли, ихъ съѣли какія-нибудь ракообразныя животныя;... корабль догниваетъ—смоленный канатъ качается себѣ по мутнымъ волнамъ въ темнотѣ, холодъ страшный, звѣри вымираютъ, исторія уже умерла, и мѣсто расчищено для новой жизни: наша эпоха зачислится въ четвертую формацію, т. е., если новый міръ дойдетъ до того, что сумѣетъ считать до четырехъ.

Наше историческое призваніе, наше дѣяніе въ томъ и состоитъ, что мы нашимъ разочарованіемъ, нашимъ страданіемъ доходимъ до смиренія и покорности передъ истинной, и избавляемъ отъ этихъ скорбей слѣдующія поколѣнія. Нами человечество протрезвляется, мы его спохмелъе, мы его боли родовъ. Если роды кончатся хорошо, все пойдетъ на пользу; но мы не должны забывать, что по дорогѣ можетъ умереть ребенокъ или мать, а можетъ и оба, и тогда—ну, тогда исторія съ своимъ мормонизмомъ начнетъ новую беременность... *E sempre bene, господа!*

Мы знаемъ, какъ природа распоряжается съ личностями: послѣ, прежде, безъ жертвъ, на горахъ труповъ—ей все равно, она продолжаетъ свое, или такъ продолжаетъ что попало: десятки тысячъ лѣтъ наносить какой-нибудь коралловый рифъ, всякую весну покидая смерти забѣжавшіе ряды. Полины умираютъ, не подозрѣвая, что они служили *прогрессу* рифа.

Чему-нибудь послужимъ и мы. Войти въ будущее какъ элементъ не значить еще, что будущее исполнить наши идеалы. Римъ не исполнилъ ни Платонову республику, ни вообще греческій идеалъ. Средніе вѣка не были развитіемъ Рима. Современная мысль западная войдетъ, воплотится въ исторію, будетъ имѣть свое вліяніе и мѣсто, такъ, какъ тѣло наше войдетъ въ составъ травы, барановъ, котлетъ, людей. Намъ не нравится это безсмертіе,—что же съ этимъ дѣлать?

Теперь я привыкъ къ этимъ мыслямъ, онѣ уже не путаютъ меня. Но въ концѣ 1849 года я былъ ошеломленъ ими, и несмотря на то, что каждое событіе, каждая встрѣча, каждое столкновеніе, лице—наперерывъ обрывали послѣдніе зеленые листья, я еще упрямо и судорожно искалъ *выхода*.

Оттого-то я теперь и цѣню такъ высоко мужественную мысль Байрона. Онъ видѣлъ, что *выхода нѣтъ*, и гордо высказалъ это.

Я былъ несчастенъ и смущенъ, когда эти мысли начали посѣщать меня; я всячески хотѣлъ бѣжать отъ нихъ..... Я стучался, какъ путникъ, потерявшій дорогу, какъ нищій, во все двери, останавливалъ встрѣчныхъ и спрашивалъ о дорогѣ, но каждая встрѣча и каждое событіе вели къ одному результату—къ *смирению передъ истиной*, къ самоотверженному принятію ея.

... Три года тому назадъ я сидѣлъ у изголовья больной и видѣлъ, какъ смерть стягивала ее безжалостно шагъ за шагомъ въ могилу. Эта жизнь была все мое достояніе. Мгла стлалась около меня, я дичалъ въ тупомъ отчаяніи, но не тѣшилъ себя надеждами, не предавалъ своей горести ни на минуту одуряющей мысли о свиданіи за гробомъ.

Такъ ужъ съ общими-то вопросами и подавно не стану кривить душой!

II.

Post-scriptum.

Я знаю, что мое возрѣніе на Европу встрѣтитъ у насъ дурной пріемъ. Мы, для утѣшенія себя, *хотимъ* другой Европы и вѣримъ въ нее такъ, какъ хрістіане вѣрятъ въ рай. Разрушать мечты вообще дѣло непріятное, но меня заставляетъ какая-то

внутренняя сила, которой я не могу побѣдить, высказывать истину—даже въ тѣхъ случаяхъ, когда она мнѣ вредна.

Мы вообще знаемъ Европу школьно, литературно, т. е., мы не знаемъ ее, а судимъ à livre ouvert, по книжкамъ и картинкамъ, такъ, какъ, дѣти судятъ по Orbis pictus о настоящемъ мірѣ, воображая, что всѣ женщины на Сандвичевыхъ островахъ держать руки надъ головой съ какими-то бубнами, и что гдѣ есть голый негръ, тамъ непременно, въ пяти шагахъ отъ него, стоитъ левъ съ растрепанной гривой или тигръ съ злыми глазами.

Наше *классическое* незнаніе западнаго человѣка надѣляетъ много бѣдъ, изъ него еще разовьются племенные ненависти и кровавыя столкновенія.

Во-первыхъ, намъ извѣстенъ только одинъ верхній, *образованный* слой Европы, который накрываетъ собой тяжелый фундаментъ народной жизни, сложившійся вѣками, выведенный инстинктомъ, по законамъ, мало извѣстнымъ въ самой Европѣ. Западное образованіе не проникаетъ въ эти циклопическія работы, которыми исторія приросла къ землѣ и граничитъ съ геологіей. Европейскія государства спаяны изъ двухъ народовъ, особенности которыхъ поддерживаются совершенно разными воспитаніями. Восточнаго единства, вслѣдствіе котораго турокъ, подающій чубукъ, и турокъ, великій визирь, похожи другъ на друга, здѣсь нѣтъ. Массы сельскаго населенія, послѣ религіозныхъ войнъ и крестьянскихъ возстаній, не принимали никакого дѣйствительнаго участія въ событіяхъ; они ими увлекались направо или налево, какъ нивы, не оставляя ни на минуту своей почвы.

Во-вторыхъ, и тотъ слой, который намъ знакомъ, съ которымъ мы входимъ въ соприкосновеніе, мы знаемъ исторически, несовременно. Поживши годъ, другой въ Европѣ, мы съ удивленіемъ видимъ, что вообще западные люди не соответствуютъ нашему понятію о нихъ, что они *гораздо ниже* его.

Въ идеаль, составленный нами, входятъ элементы вѣрные, но или не существующіе болѣе, или совершенно измѣнившіеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократическихъ нравовъ, строгая чинность протестантовъ, гордая независимость англичанъ, роскошная жизнь итальянскихъ художниковъ, искрающійся умъ энциклопедистовъ и мрачная энергія террористовъ—все это переплавилось и переродилось въ цѣлую совокупность другихъ господствующихъ нравовъ, *мищанскихъ*. Они составляютъ цѣлое, т. е., замкнутое, оконченное въ себѣ воззрѣніе на жизнь, съ своими преданіями и правилами, съ своимъ добромъ и зломъ, съ своими приемами и съ своей нравственностью *низшаго порядка*.

Какъ рыцарь былъ первообразъ міра феодальнаго, такъ ку-

пецъ сталъ первообразомъ новаго міра; господа замѣнились *хозяевами*. Купецъ самъ по себѣ лицо стертое, промежуточное; посредникъ между однимъ, который производитъ, и другимъ, который потребляетъ, онъ представляетъ нѣчто въ родѣ дороги, повозки, средства.

Рыцарь былъ больше *онъ самъ*, больше *лицо*, и берегъ, какъ понимать, свое достоинство, оттого-то онъ въ сущности и не зависѣлъ ни отъ богатства, ни отъ мѣста; его личность была главное; въ мѣщанинѣ личность прячется или не выступаетъ, потому что не она главное: главное товаръ, дѣло, вещь, главное *собственность*.

Рыцарь былъ страшная невѣжда, драчунъ, бретеръ, разбойникъ и монахъ, пьяница и піэтистъ, но онъ былъ во всемъ открытъ и откровененъ; къ тому-же онъ всегда готовъ былъ лечь костью за то, что считалъ правымъ: у него было свое нравственное уложеніе, свой кодексъ чести, очень произвольный, но отъ котораго онъ не отступалъ безъ утраты собственного уваженія или уваженія равныхъ.

Купецъ человекъ мира, а не войны, упорно и настойчиво отстаивающій свои права, но слабый въ нападеніи; расчетливый, скупой, онъ во всемъ видитъ торгъ и, какъ рыцарь, вступаетъ съ каждымъ встрѣчнымъ въ поединокъ, только мѣрится съ нимъ—*хитростью*. Его предки, средневѣковые горожане, спасаясь отъ насилій и грабежа, принуждены были лукавить; они покупали покой и достояніе уклончивостью, скрытностью, сжимаясь, притворяясь, обуздывая себя. Его предки, держа шляпу и кланяясь въ поясъ, обсчитывали рыцаря; качая головой и вздыхая, говорили они сосѣдямъ о своей бѣдности, а между тѣмъ потихоньку зарывали деньги въ землю. Все это естественно перешло въ кровь и мозгъ потомства и сдѣлалось физиологическимъ признакомъ особаго вида людскаго, называемаго *среднимъ состояніемъ*.

Пока оно было въ несчастномъ положеніи и соединялось съ свѣтлой закраиной аристократіи для защиты своей вѣры, для завоеванія своихъ правъ, оно было исполнено величія и поэзіи. Но этого стало не надолго, и Санчо-Панса, завладѣвъ мѣстомъ и запросто разваливъ на просторѣ, далъ себѣ полную волю и потерялъ свой народный юморъ, свой здравый смыслъ; вульгарная сторона его натуры взяла верхъ.

Подъ вліяніемъ мѣщанства все перемѣнилось въ Европѣ. Рыцарская честь замѣнилась бухгалтерской честностью, изящные нравы—нравами чинными, вѣжливость—чопорностью, гордость—обидчивостью, парки—огородами, дворцы—гостиницами, открытыми для *всѣхъ* (т. е. для всѣхъ имѣющихъ деньги).

Прежнія, устарѣлыя, но послѣдовательныя понятія объ отно-

шеніяхъ между людьми были потрясены, но новаго сознанія *настоящихъ* отношеній между людьми не было раскрыто. Хаотическій просторъ этотъ особенно способствовалъ развитію всѣхъ мелкихъ и дурныхъ сторонъ мѣщанства, подъ всемогущимъ вліяніемъ ничѣмъ необуздываемаго стяжанія.

Разберите моральныя правила, которыя въ ходу съ полвѣка, чего тутъ нѣтъ? Римскія понятія о государствѣ съ готическимъ раздѣленіемъ властей, протестантизмъ и политическая экономія, *Salus populi* и *chacun pour soi*, Брутъ и Тома Кемпійскій, Евангеліе и Бентамъ, приходорасходное счетоводство и Ж. Ж. Руссо. Съ такимъ сумбуромъ въ головѣ и съ магнитомъ, вѣчно притягиваемымъ къ золоту въ груди, нетрудно было дойти до тѣхъ нелѣпностей, до которыхъ дошли передовыя страны Европы.

Вся нравственность свелась на то, что неимущій долженъ всѣми средствами приобрѣтать, а имущій хранить и увеличивать свою собственность; флагъ, который поднимають на рынкѣ для открытія торговаго, сталъ хоругвію новаго общества. Человѣкъ *de facto* сдѣлался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу изъ-за денегъ.

Политическій вопросъ съ 1830 года дѣлается исключительно вопросомъ мѣщанскимъ и вѣковая борьба высказывается страстями и влеченіями господствующаго состоянія. Жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось въ мѣняльныя лавочки и рынки—редакція журналовъ, избирательныя собранія, камеры. Англичане до того привыкли все приводить къ лавочной номенклатурѣ, что называютъ свою старую англиканскую церковь—*Old Shop*.

Всѣ партіи и оттѣнки мало-по-малу раздѣлились въ мірѣ мѣщанскомъ на два главные стана: съ одной стороны, мѣщане-собственники, упорно отказывающіеся поступиться своими монополіями, съ другой—неимущіе *мѣщане*, которые хотятъ вырвать изъ ихъ рукъ ихъ достояніе, но не имѣють силы, т. е. съ одной стороны, *скупость*, съ другой, *зависть*. Такъ какъ дѣйствительно нравственнаго начала во всемъ этомъ нѣтъ, то и мѣсто лица въ той или другой сторонѣ опредѣляется внѣшними условіями состоянія, общественнаго положенія. Одна волна оппозиціи за другой достигаетъ побѣды, т. е. собственности или мѣста, и естественно переходитъ со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не можетъ быть лучше, какъ безплодная качка парламентскихъ преній,—она даетъ движеніе и предѣлы, даетъ *видъ дѣла* и форму общихъ интересовъ, для достиженія своихъ личныхъ цѣлей.

Парламентское правленіе, не такъ, какъ оно истекаетъ изъ народныхъ основъ англо-саксонскаго *Commonlaw*, а такъ, какъ

оно сложилось въ государственнѣй законъ—самое колоссальное бѣличье колесо въ мірѣ. Можно ли величественнѣе стоять на одномъ и томъ-же мѣстѣ, придавая себѣ видъ торжественнаго марша, какъ оба англійскіе парламента?

Но въ этомъ-то сохраненіи вида и главное дѣло.

Во всемъ современно-европейскомъ глубоко лежатъ двѣ черты, явно идущія изъ-за прилавка: съ одной стороны, лицемѣріе и скрытность, съ другой—выставка и *étalage*. Продать товаръ лицомъ, купить за полцѣны, выдать дрянъ за дѣло, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условіе, воспользоваться буквальнымъ смысломъ, *казаться* вмѣсто того, чтобъ *быть*, вести себя *прилично*, вмѣсто того, чтобъ вести себя *хорошо*, хранить внѣшній *respectabilitaet*, вмѣсто внутренняго достоинства.

Въ этомъ мірѣ все до такой степени декорація, что самое грубое невѣжество получило видъ образованія. Кто изъ насъ не останавливался, краснѣя за невѣдѣніе западнаго общества (я здѣсь не говорю объ ученыхъ, а о людяхъ, составляющихъ то, что называется обществомъ)? Образованія теоретическаго, серьезнаго быть не можетъ; оно требуетъ слишкомъ много времени, слишкомъ отвлекаетъ отъ *дѣла*. Такъ какъ все, лежащее внѣ торговыхъ оборотовъ и «эксплоатаціи» своего общественнаго положенія, не *существенно* въ мѣщанскомъ обществѣ, то ихъ образованіе и должно быть ограничено. Оттого происходитъ та нелѣпость и тяжесть ума, которую мы видимъ въ мѣщанахъ всякій разъ, какъ имъ приходится сѣзжать съ битой и торной дороги. Вообще, хитрость и лицемѣріе далеко не такъ умны и дальновидны, какъ воображаютъ; ихъ діаметръ бѣденъ и плаванье мелко.

Англичане это знаютъ, и потому не оставляютъ битыя колеи и выносятъ не только тяжелыя, но, хуже того, смѣшныя неудобства своего готизма, боясь всякой перемѣны.

Французскіе мѣщане не были такъ осторожны, и со всѣмъ своимъ лукавствомъ и двоедушіемъ оборвались въ имперію.

Увѣренные въ побѣдѣ, они провозгласили основой новаго государственнаго порядка *всеобщую подачу голосовъ*. Это арифметическое знамя было имъ симпатично, истина опредѣлялась сложениемъ и вычитаніемъ, ее можно было прикидывать на счетахъ и мѣтить булавками.

И что же они подвергнули суду *всѣхъ голосовъ*, при современномъ состояніи общества? Вопросъ о существованіи республики. Они хотѣли ее убить народомъ, сдѣлать изъ нея пустое слово, потому что они не любили ее. Кто уважаетъ истину,—пойдетъ ли тотъ спрашивать мнѣніе встрѣчнаго, поперечнаго? Что, если-бъ Колумбъ или Коперникъ пустили Америку и движеніе земли на голоса?

Хитро было придумано, а въ послѣдствіяхъ добряки обочились.

Щель, сдѣлавшаяся между партеромъ и актерами, прикрытая сначала линочымъ ковромъ Тамартиновскаго краснорѣчія, дѣлалась больше и больше; іюньская кровь ее размыла, и тутъ-то раздраженному народу поставили вопросъ о президентѣ. Отвѣтомъ на него вышелъ изъ щели, протирая заспанные глаза, Людовикъ Наполеонъ, забравшій все въ руки, т. е., и мѣщанъ, которые воображали по старой памяти, что онъ будетъ *царствовать*, а они *править*.

То, что вы видите на большой сценѣ государственныхъ событій, то микроскопически повторяется у каждаго очага. Мѣщанское растлѣніе пробралось во всѣ тайники семейной и частной жизни. Никогда католицизмъ, никогда рыцарство не отпечатлѣвались такъ глубоко, такъ многосторонне на людяхъ, какъ буржуазія.

Дворянство обязывало. Разумѣется, такъ какъ его права были долею фантастическія, то и обязанности были фантастическія, но онѣ дѣлали извѣстную круговую поруку между равными. Католицизмъ обязывалъ, съ своей стороны, еще больше. Рыцари и вѣрующіе часто не исполняли своихъ обязанностей, но сознаніе, что они тѣмъ нарушили ими самими признанный общественный союзъ, не позволяло имъ ни быть свободными въ отступленіяхъ, ни возводить въ норму своего поведенія. У нихъ была своя праздничная одежда, своя офиціальная постановка, которая не были ложью, а скорѣй ихъ идеаломъ.

Намъ теперь дѣла нѣтъ до содержанія этого идеала. Ихъ процессъ рѣшенъ и давно проигранъ. Мы хотимъ только указать, что мѣщанство, напротивъ, ни къ чему не обязываетъ, ни даже къ военной службѣ, если только есть охотники, т. е. обязываетъ *per fas et nefas*, имѣть собственность. Его Евангеніе коротко: «Наживайся, умножай свой доходъ, какъ песокъ морской, пользуйся и злоупотребляй своимъ денежнымъ и нравственнымъ капиталомъ, не разоряясь, и ты сыто и почетно достигнешь долголѣтія, женишь своихъ дѣтей и оставишь по себѣ хорошую память».

Отрицаніе міра рыцарскаго и католическаго было необходимо и сдѣлалось не мѣщанами, а просто свободными людьми, т. е., людьми, отрѣшившимися отъ всякихъ гуртовыхъ опредѣленій. Тутъ были рыцари, какъ Ульрихъ фонъ Гутенъ, и дворяне, какъ Аруеть Вольтеръ, ученики часовщиковъ, какъ Руссо, полковые лекаря, какъ Шиллеръ, и купеческія дѣти, какъ Гёте. Мѣщанство воспользовалось ихъ работой и явилось освобожденнымъ не только отъ рабства, но и отъ всѣхъ общественныхъ тягъ, кромѣ складчины для найма, охраняющаго ихъ правительство.

Изъ протестантизма они сдѣлали *свою* религію, религію, припрямившую совѣсть христіанина съ занятіемъ ростовщика, религію до того мѣщанскую, что народъ, лившій кровь за нее, ее оставилъ. Въ Англіи *чернь* всего менѣе ходитъ въ церковь.

Изъ революціи они хотѣли сдѣлать *свою* республику, но она ускользнула изъ-подъ ихъ пальца, такъ, какъ античная цивилизація ускользнула отъ варваровъ, т. е. безъ мѣста въ настоящемъ, но съ надеждой на *Instaurationem magnam*.

Реформація и революція были сами до того испуганы пустою міра, въ который они входили, что они искали спасенія въ двухъ монашествахъ: въ холодномъ, скучномъ ханжествѣ пуританизма и въ сухомъ, натянутомъ цивилизмѣ республиканскаго формализма. Квakerская и яковинская нетерпимость были основаны на страхѣ, что ихъ почва не тверда; они видѣли, что имъ надобны были сильныя средства, чтобы увѣрить однихъ, что это церковь, другихъ, что это свобода.

Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелѣе и невыносимѣе тамъ, гдѣ современное западное состояніе наибольше развито, тамъ, гдѣ оно вѣрнѣе своимъ началамъ, гдѣ оно богаче, *образованнѣе*, т. е. промышленнѣе. И вотъ отчего гдѣ-нибудь въ Италіи или въ Испаніи не такъ невыносимо душливо жить, какъ въ Англіи и во Франціи... И вотъ отчего горная, бѣдная, сельская Швейцарія—единственный клочекъ Европы, въ который можно удалиться съ миромъ.

Эти отрывки, напечатанные въ «Полярной Звѣздѣ», оканчивались слѣдующимъ посвященіемъ, писаннымъ до *пріѣзда Огарева въ Лондонъ и до смерти Грановскаго*:

.... Прими сей черепъ. — онъ
Принадлежитъ тебѣ поправу.

А. Пушкинъ.

На этомъ пока и остановимся. Когда-нибудь я напечатаю выпущенныя главы и напишу другія, безъ которыхъ разсказъ мой останется непонятнымъ, усѣченнымъ, можетъ, ненужнымъ, во всякомъ случаѣ будетъ не тѣмъ, чѣмъ я хотѣлъ, но все это послѣ, гораздо послѣ...

Теперь разстанемся, и на прощанье одно слово, къ вамъ, друзья юности.

Когда все было скоронено, когда даже шумъ, долею вызванный мною, долею самъ накликавшійся, улегся около меня и люди разошлись по домамъ, я приподнял голову и посмотрѣлъ вокругъ: живого, родного не было ничего, кромѣ дѣтей. Побродивши между постороннихъ, еще присмотрѣвшись къ нимъ, я пересталъ въ нихъ искать *своихъ* и отучился — не отъ людей, а отъ близости съ ними.

Правда, подъ часъ кажется, что еще есть въ груди чувства, слова, которыхъ жаль

не высказать, которыя сдѣлали бы много добра, по крайней мѣрѣ отрады слушающему, и становится жалъ, зачѣмъ все это должно заглухнуть и пропасть въ душѣ, какъ взглядъ разсѣивается и пропадаетъ въ пустой дали... но и это скорѣе догорающее зарево, отраженіе уходящаго прошедшаго.

Къ нему-то я и обернулся. Я оставилъ чужой мнѣ міръ и воротился къ вамъ; и вотъ мы съ вами живемъ второй годъ, какъ бывало, видаемся каждый день, и ничего не перемѣнилось, никто не отошелъ, не состарѣлся, никто не умеръ, и мнѣ такъ дома съ вами и такъ ясно, что у меня нѣтъ другой почвы,—кромѣ нашей, другого призванія, кромѣ того, на которое я себя обрекалъ съ дѣтскихъ лѣтъ.

Разсказъ мой о быломъ, можетъ, скученъ, слабъ, но вы, друзья, примите его радушно; этотъ трудъ помогъ мнѣ пережить страшную эпоху, онъ меня вывелъ изъ празднаго отчаянія, въ которомъ я погнбалъ, онъ меня воротилъ къ вамъ. Съ нимъ я вхожу не *вессело*, но *спокойно* (какъ сказалъ поэтъ, котораго я безмѣрно люблю) въ мою зиму:

Lieto no... ma sicuro! говорить Леопарди о смерти въ своемъ *Ruysch e le sni mommie*.

Такъ, безъ вашей воли, безъ вашего вѣдома, вы выручили меня.—*примите же сей черепъ—онъ вамъ принадлежитъ по праву.*

Isle of Wight, Ventnor, 1 октября 1855.

ГЛАВА XXXIX.

Деньги и Полиція.—Полиція и Деньги.

Въ декабрѣ 1849 года я узналъ, что довѣренность на залогъ моего имѣнья, посланная изъ Парижа и засвидѣтельствованная въ посольствѣ, уничтожена, и что вслѣдъ за тѣмъ на капиталъ моей матери наложено запрещеніе. Терять времени было нечего, я, какъ уже сказалъ въ прошлой главѣ, бросилъ тотчасъ Женеvu и поѣхалъ къ моей матери.

Глухо или притворно было бы въ наше время денежнаго неустройства пренебрегать состояніемъ. Деньги—независимость, сила, оружіе. А оружіе никто не бросаетъ во время войны, хотя бы оно и было непріятельское, даже ржавое. Рабство нищеты страшно, я изучилъ его во всѣхъ видахъ, живши годы съ людьми, которые спаслись, въ чемъ были, отъ политическихъ кораблекрушеній. Поэтому я считалъ справедливымъ и необходимымъ принять все мѣры, чтобъ вырвать что можно.

Я и то чуть не потерялъ всего. Когда я ѣхалъ изъ Россіи, у меня не было никакого опредѣленнаго плана, я хотѣлъ только остаться до нѣльзя за границей. Пришла революція 1848 года и увлекла меня въ свой круговоротъ, прежде чѣмъ я что-нибудь сдѣлалъ для спасенія моего состоянія. Добрые люди винили меня за то, что я замѣшался, очертя голову, въ политическія

движенія и предоставилъ на волю Божью будущность семьи.— можетъ, оно и было не совсѣмъ осторожно; но если-бъ, живши въ Римѣ въ 1848 году, я сидѣлъ дома и придумывалъ средства, какъ спасти свое имѣнїе въ то время, какъ вспрыгнувшая Италія кипѣла предъ моими окнами, тогда я, вѣроятно, не остался бы въ чужихъ краяхъ, а поѣхалъ бы въ Петербургъ, снова вступилъ бы на службу, могъ бы быть «вице-губернаторомъ», за «оберъ-прокурорскимъ столомъ», и говорилъ бы своему секретарю «ты», а своему министру «Ваше Высочайшее превосходительство!»

Столько воздержности и благоразумія у меня не было, и теперь я стократно благословляю это. Вѣднѣе было бы сердце и память, если-бъ я пропустилъ тѣ свѣтлыя мгновенія вѣры и восторженности! Чѣмъ было бы выкуплено для меня лишеніе ихъ? да и что для *меня*, чѣмъ было бы выкуплено для *той*, сломленная жизнь которой была потомъ однимъ страданіемъ, окончившимся могилой? Какъ горько упрекала бы меня совѣсть, что я изъ предусмотрительности укралъ у нея чуть-ли не послѣднія минуты невозмутимаго счастья! А потомъ, вѣдь, главное я все-же сдѣлалъ,—спасъ почти все достояніе, за исключеніемъ костромскаго имѣнія.

Послѣ юньскихъ дней мое положеніе становилось опаснѣе; я познакомился съ Ротшильдомъ и предложилъ ему размѣнять мнѣ два билета Московской сохранной казны. Дѣла тогда, разумѣется, не шли, курсъ былъ прескверный; условія его были невыгодны, но я тотчасъ согласился и имѣлъ удовольствіе видѣть легкую улыбку сожалѣнія на губахъ Ротшильда,—онъ меня принялъ за безчестнаго prince russe, задолжавшаго въ Парижѣ, и потому сталъ называть monsieur le comte.

По первымъ билетамъ деньги немедленно были уплачены; по слѣдующимъ, на гораздо значительнѣйшую сумму, уплата хотя и была сдѣлана, но корреспондентъ Ротшильда извѣщалъ его, что на мой капиталъ наложено запрещеніе,—по-счастію его не было больше.

Такимъ образомъ, я очутился въ Парижѣ съ большой суммой денегъ, средѣ самаго смутнаго времени, безъ опытности и знанія, что съ ними дѣлать. И между тѣмъ все уладилось довольно хорошо. Вообще, чѣмъ меньше страстности въ финансовыхъ дѣлахъ, безпокойствія и тревоги, тѣмъ они легче удаются. Состоянія рушатся такъ же часто у жадныхъ стяжателей и финансовыхъ трусовъ, какъ у мотовъ.

По совѣту Ротшильда, я купилъ себѣ американскихъ бумагъ, нѣсколько французскихъ и небольшой домъ на улицѣ Амстердамъ, занимаемый Гаврской гостиницей.

Одинъ изъ первыхъ революціонныхъ шаговъ моихъ, развязавшихъ меня съ Россіей, погрузилъ меня въ почтенное сословіе консервативныхъ туеядцевъ, познакомилъ съ банкирами и нотариусами, приучилъ заглядывать въ биржевой курсъ, словомъ, сдѣлалъ меня западнымъ *gentier*. Разрывъ современнаго человѣка со средой, въ которой онъ живетъ, вноситъ страшный сумбуръ въ частное поведеніе. Мы въ самой серединѣ двухъ, мѣшающихъ другъ другу, потоковъ; насъ бросаетъ, и будетъ еще долго бросать, то въ ту, то въ другую сторону, до тѣхъ поръ, пока тотъ или другой окончательно не сломитъ, и потокъ еще безпокойный и бурный, но уже текущій въ одну сторону, не облегчитъ пловца, т. е. не унесетъ его съ собой.

Счастливъ тотъ, кто до этого умѣетъ такъ лавировать, что, уступая волнамъ и качаясь, все-же плыветъ въ *свою* сторону!

При покупкѣ дома я имѣлъ случай поближе взглянуть въ дѣловой и буржуазный міръ Франціи. Бюрократическій формализмъ при совершеніи купчей не уступитъ нашему. Старикъ нотариусъ прочелъ мнѣ нѣсколько тетрадей, актъ о прочтеніи ихъ, *mainlevée*, потомъ настоящий актъ,—изъ всего составила цѣлая книга *in-folio*. Въ послѣдній торгъ нашъ о цѣнѣ и расходахъ хозяинъ дома сказалъ, что онъ сдѣлаетъ уступку и возьметъ на себя весьма значительные расходы по купчей, если я немедленно заплачу ему самому всю сумму; я не понялъ его, потому что съ самаго начала объявилъ, что покупаю на чистыя деньги. Нотариусъ объяснилъ мнѣ, что деньги должны остаться у него, по крайней мѣрѣ, три мѣсяца, въ продолженіе которыхъ сдѣлается публикація и вызовутся всѣ кредиторы, имѣющіе какія-нибудь права на домъ. Домъ былъ заложенъ въ 70.000, но онъ могъ быть еще заложенъ и въ другія руки. Черезъ три мѣсяца, по собраніи справокъ, выдается покупщику *purge hypothécaire*, а прежнему хозяину вручаются деньги.

Хозяинъ увѣрялъ, что у него нѣтъ другихъ долговъ. Нотариусъ подтверждалъ это.

— Честное слово, сказалъ я ему, и вашу руку,—у васъ другихъ долговъ нѣтъ, которые касались бы дома?

— Охотно даю его.

— Въ такомъ случаѣ я согласенъ, и явлюсь сюда завтра съ чекомъ Ротшильда.

Когда я на другой день пріѣхалъ къ Ротшильду, его секретарь всплеснулъ руками:

— Они васъ надуютъ! какъ это возможно, мы остановимъ, если хотите, продажу. Это неслыханное дѣло, покупать у незнакомаго на такихъ условіяхъ.

— Хотите, я пошлю съ вами кого-нибудь разсмотрѣть это дѣло? спросилъ самъ баронъ Джемсъ.

Такую роль недоросля мнѣ не хотѣлось играть, я сказалъ, что дать слово, и взялъ чекъ на всю сумму. Когда я пріѣхалъ къ нотаріусу, тамъ, сверхъ свидѣтелей, былъ еще кредиторъ, пріѣхавшій получить свои 70.000 фр. Купчую перечитали, мы подписались, нотаріусъ поздравилъ меня парижскимъ домохозяиномъ,—оставалось вручить чекъ.

— Какая досада, сказалъ хозяинъ, взявши его изъ моихъ рукъ, я забылъ васъ попросить привезти два чека, какъ я теперь отдѣлю 70.000?

— Нѣтъ ничего легче, сѣздите къ Ротшильду, вамъ дадутъ два, или, еще проще, сѣздите въ банкъ.

— Пожалуй, я сѣзжу, сказалъ кредиторъ; хозяинъ поморщился и отвѣтилъ, что это его дѣло, что онъ поѣдетъ.

Кредиторъ нахмурился. Нотаріусъ добродушно предложилъ имъ ѣхать вмѣстѣ.

Едва удерживаясь отъ смѣха, я имъ сказалъ:

— Вотъ ваша записка, отдайте мнѣ чекъ, я сѣзжу и размѣняю его.

— Вы насъ безконечно обяжете, сказали они, вздохнувъ отъ радости; и я поѣхалъ.

Черезъ четыре мѣсяца *purge hypothécaire* была мнѣ прислана, и я выигралъ тысячу десять франковъ за мое опрометчивое доверіе.

Послѣ 13 іюня 1849 года, префектъ полиціи, Ребилю, что-то донесъ на меня; вѣроятно, вслѣдствіе его доноса и были взяты петербургскимъ правительствомъ странныя мѣры противъ моего имѣнія. Онѣ-то, какъ я сказалъ, заставили меня ѣхать съ моей матерью въ Парижъ.

Мы отправились черезъ Невшатель и Безансонъ. Путешествіе наше началось съ того, что въ Бернѣ я забылъ на почтовомъ дворѣ свою шинель; такъ какъ на мнѣ было теплое пальто и теплыя калоши, то я и не воротился за ней. До горъ все шло хорошо, но въ горахъ насъ встрѣтилъ снѣгъ по колѣно, градусовъ восемь мороза и проклятая швейцарская биза. Дилижансъ не могъ идти, пассажировъ разсажали по два, по три въ небольшія пошевни. Я не помню, чтобы я когда-нибудь страдалъ столько отъ холода, какъ въ эту ночь. Ногамъ было просто больно, я зарылъ ихъ въ солому, потомъ почталіонъ далъ мнѣ какой-то воротникъ, но и это мало помогло. На третьей станціи я купилъ у крестьянки ея шаль франковъ за 15 и завернулся въ нее; но это было уже на сѣздѣ и съ каждой милей становилось теплѣе.

Дорога эта великолѣпно-хороша, съ французской стороны; обширный амфитеатръ громадныхъ и совершенно непохожихъ

другъ на друга очертаніями горъ провожаетъ до самаго Безансона; кое-гдѣ на скалахъ виднѣются остатки укрѣпленныхъ рыцарскихъ замковъ. Въ этой природѣ есть что-то могучее и суровое, твердое и угрюмое; на нее-то глядя, росъ и складывался крестьянскій мальчикъ, потомокъ стараго сельскаго рода—Пьеръ Жозефъ Прудонъ. И дѣйствительно, о немъ можно сказать, только въ другомъ смыслѣ, сказанное поэтомъ о флорентинцахъ:

E tiene ancor del monte et del masigno!

Ротшильдъ согласился принять билетъ моей матери, но не хотѣлъ платить впередъ, ссылаясь на письмо Гассера. Опекунскій совѣтъ дѣйствительно отказалъ въ уплатѣ.

Дня черезъ три послѣ этого я встрѣтилъ Ротшильда на бульварѣ.

— Кстати, сказалъ онъ мнѣ, останавливая меня, я вчера говорилъ о вашемъ дѣлѣ съ Киселевымъ ¹⁾. Я вамъ долженъ сказать, вы меня извините, онъ очень невыгоднаго мнѣнія о васъ и врядъ ли сдѣлаетъ что-нибудь въ вашу пользу.

— Вы съ нимъ часто видаетесь?

— Иногда, на вечерахъ.

— Сдѣлайте одолженіе, скажите ему, что вы сегодня видѣлись со мной, и что я самаго дурнаго мнѣнія о немъ, но что съ тѣмъ вмѣстѣ никакъ не думаю, чтобъ за это было справедливо обокрасть его мать.

Ротшильдъ расхохотался; онъ, кажется, съ этихъ поръ сталъ догадываться, что я не *prince russe*, и уже называлъ меня *барономъ*; но это, я думаю, онъ для того поднималъ меня, чтобъ сдѣлать достойнымъ разговаривать съ нимъ.

На другой день онъ прислалъ за мной; я тотчасъ отправился. Онъ подаль мнѣ неподписанное письмо къ Гассеру и прибавилъ:

— Вотъ нашъ проектъ письма, садитесь, прочтите его внимательно и скажите, довольны ли вы имъ; если хотите что прибавить или измѣнить, мы сейчасъ сдѣлаемъ. А мнѣ позвольте продолжать мои занятія.

Сначала я осмотрѣлся. Каждую минуту отворялась небольшая дверь и входилъ одинъ биржевой агентъ за другимъ, громко говоря цифру; Ротшильдъ, продолжая читать, бормоталъ, не подымая глазъ: «да,—нѣтъ,—хорошо,—пожалуй,—довольно», и цифра уходила. Въ комнатѣ были разные господа, рядовые капиталисты, члены народнаго собранія, два-три истощенныхъ туриста съ молодыми усами на старыхъ щекахъ, эти вѣчныя лица, пьющія на

¹⁾ Это не П. Д. Киселевъ.—бывшій впоследствии въ Парижѣ, очень порядочный человекъ и извѣстный министръ государственныхъ имуществъ, а другой, переведенный въ Римъ.

водахъ—вино, представляющіяся ко дворамъ, слабые и лимфатическіе отпрыски, которыми изсякають аристократическіе роды и которые туда-же суются отъ карточной игры къ биржевой. Всѣ они говорили между собой въ полголоса. Царь іудейскій сидѣлъ спокойно за своимъ столомъ, смотрѣлъ бумаги, писалъ что-то на нихъ, вѣрно все милліоны, или, по крайней мѣрѣ, сотни тысячъ.

— Ну, что, сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ, довольны?

— Совершенно, отвѣчалъ я.

Письмо было превосходно, рѣзко, настойчиво, какъ слѣдуетъ,— когда власть говоритъ съ властью. Онъ писалъ Гассеру, чтобъ тотъ немедленно требовалъ аудіенціи у Нессельроде и у министра финансовъ, чтобъ онъ имъ сказалъ, что Ротшильдъ знать не хочетъ, кому принадлежали билеты, что онъ ихъ купилъ и требуетъ уплаты, или яснаго, законнаго изложенія, почему уплата остановлена, что, въ случаѣ отказа, онъ подвергнетъ дѣло обсужденію юрисконсультовъ и совѣтуетъ очень подумать о послѣдствіяхъ отказа, особенно страннаго въ то время, когда русское правительство хлопочетъ заключить черезъ него новый заемъ. Ротшильдъ заключалъ тѣмъ, что, въ случаѣ дальнѣйшихъ проволочекъ, онъ долженъ будетъ дать гласность этому дѣлу черезъ журналы, для предупрежденія другихъ капиталистовъ. Письмо это онъ рекомендовалъ Гассеру показать Нессельроду.

Въ продолженіе моего процесса я жилъ въ отель Мирабо, rue de la Paix. Хлопоты по этому дѣлу заняли около полугода. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, однимъ утромъ говорятъ мнѣ, что какой-то господинъ дожидается меня въ залѣ и хочетъ непременно видѣть. Я вышелъ, въ залѣ стояла какая-то подхалюзая, чиновническая, старая фигура.

— Комиссаръ полиціи тюльерійскаго квартала, такой-то.

— Очень радъ.

— Позвольте мнѣ прочесть вамъ декретъ министра внутреннихъ дѣлъ, сообщенный мнѣ префектомъ полиціи и касающійся васъ.

— Сдѣлайте одолженіе, вотъ стулъ.

— «Мы, префектъ полиціи ¹⁾»:

«Взявъ въ соображеніе 7 пунктъ закона 13 и 21 ноября и 3 декабря 1849 года, дающій министру внутреннихъ дѣлъ право высылать (expulser) изъ Франціи всякаго иностранца, присутствіе котораго во Франціи можетъ возмутить порядокъ и быть опаснымъ общественному спокойствію, и основываясь на министерскомъ циркулярѣ 3 января 1850 года,

«рѣшаемъ, что слѣдуетъ:

¹⁾ Перевожу слово въ слово.

«Называемый (le N-é., т. е. помнѣ, но это не значитъ «вышеупомянутый», потому что прежде обо мнѣ не говорится, это только безграмотная попытка, какъ можно грубѣе обозначить человѣка) Герценъ, Александръ, 40 лѣтъ (два года прибавили), русскій подданный, живущій тамъ-то, обязанъ оставить немедленно Парижъ, по объявленіи сего, и въ наискорѣйшемъ времени выѣхать изъ предѣловъ Франціи.

«Восп्रेщается ему впредь возвращаться, подѣ опасеніемъ наказаній, положенныхъ 8 пунктомъ того-же закона (тюремное заключеніе отъ одного мѣсяца до шести и денежный штрафъ).

«Всѣ мѣры будутъ приняты для удостовѣренія въ исполненіи сихъ распоряженій.

«Сдѣлано (Fait) въ Парижѣ, 16 апрѣля 1850.

«Префектъ полиціи.

А. КАРЛЬЕ.

«Скрѣпилъ общій секретарь префектуры.

Клементъ Рейрѣ.

На боку: «Читалъ и одобрилъ 19 апрѣля 1850 г.

Министръ внутреннихъ дѣлъ.

Ж. БАРОШЪ.

«Лѣта тысяча восемьсотъ пятидесятаго, апрѣля двадцать четвертаго.

«Мы, Емилій Буллей, комиссаръ полиціи города Парижа и въ особенности тюльерійскаго отдѣленія, во исполненіе приказаній господина префекта полиціи отъ 23 апрѣля:

«Объявили сударю (sieur) Александру Герцену, говоря ему, какъ сказано въ оригиналѣ». Тутъ слѣдуетъ весь текстъ опять. Въ томъ родѣ, какъ дѣти говорятъ сказку о бѣломъ быкѣ, повторяя всякій разъ съ прибавкой одной фразы: «Сказать ли вамъ сказку о бѣломъ быкѣ?»

Далѣе: «Мы пригласили поименованнаго (le dit) Герцена явиться въ продолженіе двадцати четырехъ часовъ въ префектуру для полученія паспорта и для назначенія границы, черезъ которую онъ выѣдетъ изъ Франціи.

«А чтобъ сказанный сударь Герценъ не отозвался невѣдніемъ (n'en prétende cause d'ignorance—каковъ языкъ), мы ему оставили эту копію сказаннаго рѣшенія въ началѣ сего настоящаго нашего протокола объявленія.—Nous lui avons laissé cette copie tant du dit arrêté en tête de cette présente de notre procès-verbal de notification.

Гдѣ мои вятскіе товарищи по канцеляріи Тюфяева, гдѣ Ардашовъ, писавшій за присѣсть по десяти листовъ, Вепревъ, Штинъ и мой пьяневъкій столоначальникъ? Какъ сердце ихъ должно возрадоваться,

что въ Парижѣ, послѣ Вольтера, послѣ Бомарше, послѣ Ж. Зандъ и Гюго, пишутъ такъ бумаги? Да и не одинъ Вепревъ и Штинъ должны радоваться, а и земскій моего отца, Василій Елифановъ, который, изъ глубокихъ соображеній учтивости, писалъ своему помѣщику: «Повелѣніе ваше по сей настоящей прошедшей почтѣ получилъ и по оной же имѣю честь доложить»...

Можно ли оставить камень на камнѣ этого глупаго, пошлаго зданія *des us et coutumes*, годнаго только для слѣпой и выжившей изъ ума старухи, какъ Оемида.

Чтеніе не произвело ожидаемаго дѣйствія; парижанинъ думаетъ, что высылка изъ Парижа равняется изгнанію Адама изъ рая, да и то еще безъ Евы,—мнѣ, напротивъ, было все равно, и жизнь парижская уже начинала надоедать.

— Когда долженъ я явиться въ префектуру?—спросилъ я, придавая себѣ любезный видъ, несмотря на злобу, разбиравшую меня.

— Я совѣтую завтра, часовъ въ десять утра.

— Съ удовольствіемъ.

— Какъ нынѣшній годъ весна рано начинается, замѣтилъ комиссаръ города Парижа и въ особенности тюльерійскій.

— Чрезвычайно.

— Это старинный отель, здѣсь обѣдывалъ Мирабо, оттого онъ такъ и называется; вы, вѣрно, были имъ очень довольны?

— Очень. Вообразите же, каково съ нимъ разстаться такъ круто!

— Это дѣйствительно непріятно... Хозяйка умная и прекрасная женщина—М-ле Кузенъ—была большой пріятельницей знаменитой *Le Normand*.

— Представьте себѣ! Какъ досадно, что я этого не зналъ, можетъ, она унаслѣдовала у нея искусство гадать и могла бы мнѣ предсказать *billet doux* Карлье.

— Ха, ха... мое дѣло вы знаете, позвольте пожелать.

— Помилуйте, всякое бываетъ, честь имѣю вамъ кланяться.

На другой день я явился въ знаменитую, больше чѣмъ сама Ленорманъ, улицу *Jerusalem*. Сначала меня принялъ какой-то шпионствующій юноша, съ бородкой, усиками и со всѣми приемами недозрѣлаго фельетониста и неудавшагося демократа: лицо его, взгляды носили печать того утонченнаго растлѣнія души, того завистливаго голода наслажденій, власти, пріобрѣтений, которыя я очень хорошо научился читать на западныхъ лицахъ, и котораго вовсе нѣтъ у англичанъ. Должно быть, онъ еще недавно поступилъ на свое мѣсто, онъ еще наслаждался имъ, и потому говорилъ нѣсколько свысока. Онъ объявилъ мнѣ, что я долженъ ѣхать черезъ три дня, и что безъ особенно важныхъ

причинъ отсрочить нельзя. Его дерзкое лице, его произношеніе и мимика были таковы, что, не вступая съ нимъ въ дальнѣйшія разсужденія, я поклонился ему и потомъ спросилъ, надѣвъ сперва шляпу, когда можно видѣть префекта.

— Префектъ принимаетъ только тѣхъ, кто у него письменно просить аудіенціи.

— Позвольте мнѣ написать сейчасъ.

Онъ позвонилъ, вошелъ старикъ huissier, съ цѣпью на груди; сказавъ ему съ важнымъ видомъ: «бумаги и перо этому господину», юноша кивнулъ мнѣ головой.

Huissier повелъ меня въ другую комнату. Тамъ я написалъ Карлье, что желаю его видѣть, чтобъ объяснить ему, почему мнѣ надобно отсрочить мой отъѣздъ.

Въ тотъ же день вечеромъ я получилъ изъ префектуры лаконическій отвѣтъ: «Г. префектъ готовъ принять такого-то завтра, въ два часа».

Тотъ же самый противный юноша встрѣтилъ меня и на другой день: у него была особая комната, изъ чего я и заключилъ, что онъ нѣчто въ родѣ начальника отдѣленія. Начавши такъ рано и съ такимъ успѣхомъ карьеру, онъ далеко уйдетъ, если Богъ продлитъ его жизнь.

На сей разъ онъ привелъ меня въ большой кабинетъ; тамъ, за огромнымъ столомъ, на большихъ покойныхъ креслахъ, сидѣлъ толстый, высокій, румяный господинъ, изъ тѣхъ, которыми всегда бываетъ жарко, съ бѣлыми, откормленными, но рыхлыми мясами, съ толстыми, но тщательно выхоленными руками, съ шейнымъ платкомъ, сведеннымъ на минимумъ, съ безцвѣтными глазами, съ жовіальнымъ выраженіемъ, которое обыкновенно принадлежитъ людямъ, совершенно потонувшимъ въ любви къ своему благосостоянію, и которые могутъ подняться холодно и безъ большихъ усилій до чрезвычайныхъ злодѣйствъ.

— Вы желали видѣть префекта, сказалъ онъ мнѣ, но онъ извиняется передъ вами, очень нужное дѣло заставило его выѣхать,—если я могу сдѣлать вамъ чѣмъ-нибудь что-нибудь пріятное, я ничего лучшаго не прошу. Вотъ кресло, не угодно ли?

Все это высказалъ онъ плавно, очень учтиво, нѣсколько щуря глаза и улыбаясь мясными подушечками, которыми были украшены его скулы. Ну, этотъ давно служить, подумалъ я.

— Вы, вѣрно, знаете, зачѣмъ я пришелъ?—Онъ сдѣлалъ головою то тихое движеніе, которое дѣлаетъ всякій, начиная плавать, и не отвѣчалъ ничего.

— Мнѣ объявленъ приказъ ѣхать черезъ три дня. Такъ какъ я знаю, что министръ у васъ имѣетъ право высылать, не говоря причины и не дѣлая слѣдствія, то я и не стану ни спра-

шивать, почему меня высылаютъ, ни защищаться: но у меня есть, сверхъ собственнаго дома,...

— Гдѣ вашъ домъ?

— 14, Rue Amsterdam.... очень серьезныя дѣла въ Парижѣ, мнѣ трудно ихъ оставить сразу.

— Позвольте узнать, какія у васъ дѣла, по дому, или...?

— Дѣла мои у Ротшильда, мнѣ приходится получить тысячь чetyреста франковъ.

— Какъ-съ?

— Съ небольшимъ сто тысячь roubles argent.

— Это значительная сумма!

— C'est une somme ronde.

— Сколько времени вамъ нужно для окончанія вашего дѣла? спросилъ онъ, глядя на меня еще кротче, такъ, какъ глядятъ на выставленные въ окнахъ фазаны съ трюфелями.

— Отъ мѣсяца до шести недѣль.

— Это ужасно много.

— Процессъ мой въ Россіи. Чуть-ли не по его милости я и оставляю Францію.

— Какъ такъ?

— Съ недѣлю тому назадъ Ротшильдъ мнѣ говорилъ, что Киселевъ дурно обо мнѣ отзывался. Вѣроятно, петербургскому правительству хочется замаять дѣло, чтобъ о немъ не говорили; чай, посолъ попросилъ по дружбѣ выслать меня вонъ.

— D'abord—замѣтилъ, принимая важный и проникнутый сильнымъ убѣжденіемъ видъ, обиженный патріотъ префектуры, — Франція не позволитъ ни одному правительству мѣшаться въ ея внутреннія дѣла. Я удивляюсь, какъ вамъ могла придти такая мысль въ голову. Потомъ, что можетъ быть естественнѣе, какъ право, которое взяло себѣ правительство, старающееся всѣми силами возратить порядокъ страждущему народу, удалять изъ страны, въ которой столько горючихъ веществъ, иностранцевъ, употребляющихъ во зло то гостепріимство, которое она имъ даетъ.

Я рѣшилъ его добывать деньгами. Это было такъ-же вѣрно, какъ въ спорѣ съ католикомъ употреблять тексты изъ Евангелія, а потому, улынувшись, я возразилъ ему:

— За гостепріимство Парижа я заплатилъ сто тысячь франковъ, и потому считалъ себя почти сквитавшимся.

Это удалось еще лучше, чѣмъ моя somme ronde. Онъ сконфузился и, сказавъ послѣ небольшой паузы:

— Что намъ дѣлать, мы въ необходимости,—взялъ со стола мой досье. Это былъ второй томъ романа, первую часть котораго я видѣлъ когда-то въ рукахъ Дуббельта. Поглаживая листы, какъ добрыхъ коней, своей пухлой рукой:

— Видите-ли, приговаривалъ онъ, ваши связи, участіе въ неблагонамѣренныхъ журналахъ (почти слово въ слово то же, что мнѣ говорилъ Сахтынский въ 1840), наконецъ, значительныя subventions, которыя вы давали самымъ вреднымъ предпріятіямъ, заставили насъ прибѣгнуть къ мѣрѣ очень непріятной, но необходимой. Мѣра эта удивлять васъ не можетъ. Вы даже въ своемъ отечествѣ навлекли на себя политическія гоненія. Одинакія причины ведутъ къ одинакимъ послѣдствіямъ. Un bon citoyen уважаетъ законы страны, какіе-бы они ни были...

— Вѣроятно это по тому знаменитому правилу, что все-же лучше, чтобъ была дурная погода, чѣмъ чтобъ совсѣмъ погоды не было.

— Но, чтобъ вамъ доказать, что русское правительство совершенно внѣ игры, я вамъ обещаю выхлопотать у префекта отсрочку на одинъ мѣсяцъ. Вы, вѣрно, не найдете страннымъ, если мы справимся у Ротшильда о вашемъ дѣлѣ; тутъ не столько сомнѣніе...

— Да сдѣлайте одолженіе, отчего же не справиться, мы въ войнѣ, и если-бъ мнѣ было полезно употребить военную хитрость, чтобъ остаться, неужели вы думаете, что я не употребилъ бы ея?...

Но свѣтскій и милый alter ego префекта не остался въ долгу:

— Люди, которые такъ говорятъ, никогда не говорятъ неправды.

Черезъ мѣсяцъ дѣло еще не было окончено; къ намъ ѣздилъ старикъ докторъ Пальмье, который всякую недѣлю имѣлъ удовольствіе дѣлать въ префектурѣ инспекторскій смотръ интересному классу парижанокъ. Давая такое количество свидѣтельствъ прекрасному полу въ здоровьѣ, я думалъ, что онъ не откажется написать мнѣ свидѣтельство въ болѣзни. Пальмье, разумѣется, былъ знакомъ со всѣми въ префектурѣ; онъ обѣщалъ мнѣ лично передать Х. исторію моего недуга. Къ крайнему удивленію, Пальмье пріѣхалъ безъ удовлетворительнаго отвѣта. Черта эта потому драгоцѣнна, что въ ней есть какое-то братственное сходство между русской и французской бюрократіей. Х. не давалъ отвѣта и виллялъ, обидѣвшись, что я не явился лично извѣстить его о томъ, что я боленъ, въ постелѣ и не могу встать. Дѣлать было нечего, я отправился на другой день въ префектуру пышавій здоровьемъ.

Х. съ большимъ участіемъ спросилъ меня о моей болѣзни. Такъ какъ я не полубоцшествовалъ прочитатъ, что написалъ докторъ, то мнѣ и пришлось выдумать болѣзнь. По счастію, я вспомнилъ Сазонова, который, при обильной тучности и неистощимомъ апетитѣ, жаловался на аневризмъ,—я сказалъ Х., что у меня болѣзнь въ сердцѣ и что дорога можетъ мнѣ быть очень вредна.

Х. пожалѣлъ, совѣтовалъ беречься, потомъ отправился въ сосѣдную комнату и черезъ минуту вышелъ, говоря:

— Вы можете остаться еще мѣсяцъ. Префектъ поручилъ мнѣ вмѣстѣ съ тѣмъ сказать вамъ, что онъ надѣется и желаетъ, чтобъ ваше здоровье поправилось въ продолженіе этого времени; ему было бы очень непріятно, если-бъ это было не такъ, потому что въ третій разъ онъ отсрочить не можетъ.

Я понялъ это и приготовился выѣхать изъ Парижа около 20 іюня.

Имя Х. встрѣтилось мнѣ еще разъ черезъ годъ. Патріотъ этотъ и *bon citoyen* безшумно удалился изъ Франціи, забывши отдать отчетъ тысячамъ небогатыхъ и бѣдныхъ людей, вкладчиковъ въ какую-то калифорнскую лотерею, дѣйствовавшую подъ покровительствомъ префектуры! Когда добрый гражданинъ увидѣлъ, что, при всемъ уваженіи къ законамъ своей родины, онъ можетъ попасть на галеры за *faux*, тогда онъ предпочелъ имъ пароходъ и уѣхалъ въ Геную. Это была натура цѣльная, нетерпящаяся отъ неудачъ. Онъ воспользовался извѣстностью, приобретенною исторіей калифорнской лотереи, и тотчасъ предложилъ свои услуги обществу акціонеровъ, составлявшемуся около того времени въ Туринѣ, для постройки желѣзныхъ дорогъ; видя столь надежнаго человѣка, общество поспѣшило принять его услуги.

Послѣдніе два мѣсяца, проведенные въ Парижѣ, были невыносимы. Я былъ буквально *gardé à vue*, письма приходили нагло подпечатанныя и днемъ позже. Куда бы я ни шелъ, издали слѣдовала за мной какая-нибудь гнусная фигура, передавая меня на углу глазомъ другому.

Ненадобно забывать, что это было время пущаго полицейскаго бѣшенства. Тупые консерваторы и революціонеры алжирски-ламартиновскаго толка помогали плутамъ и пройдохамъ, окружавшимъ Наполеона, и ему самому въ приготовленіи сѣтей шпіонства и надзора, чтобъ, растянувши ихъ на всю Францію, въ данную минуту поймать и задушить по телеграфу, изъ министерства внутреннихъ дѣлъ и *Elysée*, всѣ дѣятельныя силы страны. Наполеонъ ловко воспользовался противъ нихъ самихъ врученнымъ ему орудіемъ. Второе декабря—возведеніе полиціи на степенъ государственной власти.

Никогда нигдѣ не было такой политической полиціи, какъ во Франціи со временъ конвента. На это, сверхъ особеннаго *національнаго* влеченія къ полиціи, есть много причинъ. Кромѣ Англіи, гдѣ полиція не имѣетъ ничего общаго съ континентальнымъ шпіонствомъ, полиція вездѣ окружена враждебными элементами и, слѣдственно, оставлена на свои силы. Во Франціи, напротивъ, полиція самое народное учрежденіе; какое бы правительство ни захватило власть въ руки, *полиція у него готова*, часть народонаселенія будетъ ему помогать съ фанатизмомъ и

увлеченіемъ, которые надобно умѣрять, а не усиливать, и помогать притомъ всѣми страшными средствами частныхъ людей, которыя для полиціи невозможны. Куда скрыться отъ лавочника, дворника, портного, прачки, мясника, сестринаго мужа, братниной жены, особенно въ Парижѣ, гдѣ живутъ не особнякомъ, какъ въ Лондонѣ, а въ какихъ-то полициникахъ или ульяхъ, съ общей лѣстницей, съ общимъ дворомъ и дворникомъ?

Кондорсе ускользаетъ отъ якобинской полиціи и счастливо пробирается до какой-то деревни близъ границы; усталый и измученный, онъ входитъ въ харчевню, садится передъ огнемъ, грѣетъ себѣ руки и проситъ кусокъ курицы. Трактирщица, добродушная старушка, большая патриотка, разсуждаетъ такъ: «Онъ въ пыли, стало, пришелъ *издалека*; онъ спросилъ курицы, стало, у него есть *деньги*; руки у него бѣлыя, стало, онъ *аристократъ*». Поставивъ курицу въ печь, она идетъ въ другой кабакъ, тамъ засѣдаютъ патриоты: какой-нибудь гражданинъ—Муцій Сцевола, ликвористъ и гражданинъ—Брутъ, Тимoleonъ—портной. Тѣмъ того и надобно, и черезъ десять минутъ одинъ изъ умнѣйшихъ дѣятелей французской революціи въ тюрьмѣ и выданъ полиціи—свободы, равенства и братства!

Наполеонъ, имѣвшій въ высшей степени полицейскій талантъ, сдѣлалъ изъ своихъ генераловъ лазутчиковъ и доносчиковъ; палачъ Тюна Фуше основалъ цѣлую теорію, систему, науку шпионства—черезъ префектовъ, помимо префектовъ, черезъ развратныхъ женщинъ и безпорочныхъ лавочницъ, черезъ слугъ и кучеровъ, черезъ врачей и парикмахеровъ. Наполеонъ палъ, но оружіе осталось, и не только оружіе, но и оруженосецъ; Фуше перешелъ къ Бурбонамъ, сила шпионства ничего не потеряла, напротивъ, увеличилась монахами, попами. При Людовикѣ Филиппѣ, при которомъ подкупъ и нажива сдѣлались одной изъ нравственныхъ силъ правительства,—половина мѣщанства сдѣлалась его лазутчиками, полицейскимъ хоромъ, къ чему особенно способствовала ихъ служба, сама по себѣ полицейская, въ національной гвардіи.

Во время февральской республики образовались три или четыре дѣйствительно тайныя полиціи и нѣсколько явно-тайныхъ. Была полиція Ледрю-Роллена и полиція Косидьера, была полиція Мараста и полиція временнаго правительства, была полиція порядка и полиція безпорядка, полиція Бонапарта и орлеанская полиція. Всѣ подсматривал и, слѣдили другъ за другомъ и доносили; положимъ, что доносы дѣлались съ убѣжденіемъ, съ наилучшими цѣлями, безденежно, но все-же это были доносы... Эта пагубная привычка, встрѣтившись съ одной стороны, съ печальными неудачами, а съ другой, съ болѣзненной, необузданной жадностью денегъ и наслажденій, растлила цѣлое поколѣніе.

Ненадобно забывать и то нравственное равнодушіе, ту шаткость мѣнній, которыя остались осадкомъ отъ перемежающихся революцій и реставрацій. Люди привыкли считать сегодня то за героизмъ и добродѣтель, за что завтра посылаютъ въ каторжную работу; лавровый вѣнокъ и клеймо палача мѣнялись нѣсколько разъ на одной и той же головѣ. Когда къ этому привыкли, нація шпіоновъ была готова.

Всѣ послѣднія открытія тайныхъ обществъ, заговоровъ, всѣ доносы на выходцевъ сдѣланы фальшивыми членами, подкупленными друзьями, людьми, *сближавшимися* съ цѣлью предательства.

Вездѣ бывали примѣры, что трусы, боясь тюрьмы и ссылки, губятъ друзей, открываютъ тайны,—такъ, слабодушный товарищъ погубилъ Конарскаго. Но ни у насъ, ни въ Австріи нѣтъ этого легіона молодыхъ людей, образованныхъ, говорящихъ *нашимъ* языкомъ, произносящихъ вдохновенныя рѣчи въ клубахъ, пишущихъ революціонныя статьи и служащихъ шпіонами.

Къ тому-же правительство Бонапарта превосходно поставлено, чтобъ пользоваться доносчиками всѣхъ партій. Оно представляетъ революцію и реакцію, войну и миръ, 89 годъ и католицизмъ, паденіе Бурбоновъ и 4½ 0/0. Ему служитъ и Фалу-іезуитъ, и Бильо-соціалистъ, и Ла-Роншъ Жакеленъ легитимистъ, и бездна людей, облагодѣтельствованныхъ Людовикомъ Филиппомъ. Растлѣнное всѣхъ партій и оттѣнковъ и естественно стекаетъ и бродитъ въ тюльерійскомъ дворцѣ.

ГЛАВА XL.

Европейскій комитетъ. — Русскій генеральный консулъ въ Ниццѣ. — Письмо къ А. Ѳ. Орлову. — Преслѣдованіе ребенка. — Фогты. — Перечисленіе изъ надворныхъ совѣтниковъ въ тягловые крестьяне. — Пріемъ въ Шателѣ.

(1850—1851).

Съ годъ послѣ нашего пріѣзда въ Ниццу изъ Парижа, я писалъ: „Напрасно радовался я моему тихому удаленію, напрасно чертилъ у дверей моихъ пентаграммъ, я не нашелъ ни желаннаго мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищаютъ отъ нечистыхъ духовъ,—отъ нечистыхъ людей не спасетъ никакой многоугольникъ, развѣ только квадратъ селюлярной тюрьмы.

„Скучное, тяжелое и чрезвычайно пустое время, утомительная дорога между станціей 1848 года и станціей 1852,—новаго ничего, развѣ какое личное несчастіе доломаетъ грудь, какое-нибудь колесо жизни разсыплется“.

Письма изъ Франціи и Итали (1 іюня, 1851).

Дѣйствительно, перебирая то время, становится больно, какъ бываетъ при воспоминаніи похоронъ, мучительныхъ болѣзней,

операций. Не касаясь еще здѣсь до внутренней жизни, которую заволакивали больше и больше темныя тучи, довольно было общих происшествій и газетныхъ новостей, чтобъ бѣжать куда-нибудь въ степь. Франція неслась съ быстротой падающей звѣзды къ 2 декабря. Германія лежала у ногъ Николая, куда ее стащила несчастная, проданная Венгрія. Полицейскіе кондотьеры съѣзжались на свои вселенскіе соборы и тайно совѣщались объ общихъ мѣрахъ международнаго шпіонства. Революціонеры продолжали пустую агитацію. Люди, стоявшіе во главѣ движенія, обманутые въ своихъ надеждахъ, теряли голову. Кошутъ возвращался изъ Америки, утративъ долю своей народности, Мацини заводилъ въ Лондонѣ съ Ледрю-Ролленомъ и Руте *центральный европейскій комитетъ*... А реакція свирѣпѣла больше и больше.

Послѣ нашей встрѣчи въ Женевѣ, потомъ въ Лозаннѣ, я видѣлся съ Мацини въ 1850 году. Онъ былъ во Франціи тайно, остановился въ какомъ-то аристократическомъ домѣ и присылалъ за мной одного изъ своихъ приближенныхъ. Тутъ онъ говорилъ мнѣ о проектѣ международной юнты въ Лондонѣ и спрашивалъ, желалъ ли бы я участвовать въ ней, *какъ русскій*; я отклонилъ разговоръ. Годъ спустя, въ Ниццѣ, явился ко мнѣ Орсини, отдалъ программу, разныя прокламаціи европейскаго центральнаго комитета и письмо отъ Мацини съ новымъ предложеніемъ. Участвовать въ комитетѣ я и не думалъ; какой же элементъ русской жизни я могъ представить тогда, совершенно отрѣзанный отъ всего русскаго? Но эта не была единственная причина, по которой европейскій комитетъ мнѣ былъ не по душѣ. Мнѣ казалось, что въ основѣ его не было ни глубокой мысли, ни единства, ни даже необходимости, а форма его была просто ошибочна.

Та сторона *движенія*, которую комитетъ представлялъ, т. е. возстановленіе угнетенныхъ національностей, не была такъ сильна въ 1851 году, чтобъ имѣть *явно* свою юнту. Существованіе такого комитета доказывало только терпимость англійскаго законодательства и отчасти то, что министерство не вѣрило въ его силу, иначе оно прихлопнуло бы его, или *alien биллемъ*, или предложеніемъ приостановить *habeas corpus*.

Европейскій комитетъ, напугавшій всѣ правительства, ничего не дѣлалъ, не догадываясь объ этомъ. Самые серьезныя люди ужасно легко увлекаются формализмомъ и увѣряютъ себя, что они дѣлаютъ *что-нибудь*, имѣя періодическія собранія, кипы бумагъ, протоколы, совѣщанія, подавая голоса, принимая рѣшенія, печатая прокламаціи, *professions de foi* и проч. Революціонная бюрократія точно такъ-же распускаетъ дѣла въ слова и формы, какъ наша канцелярская. Въ Англіи пропасть разныхъ ассоціацій, имѣющихъ торжественныя собранія, на которыя являются

герцоги и лорды, клержимены и секретари. Казначей собираютъ деньги, литераторы пишутъ статьи, и всё вмѣстѣ рѣшительно ничего не дѣлаютъ. Собранія эти, большей частью филантропическія и религіозныя, съ одной стороны, служатъ развлеченіемъ, а, съ другой, примиряютъ христіанскую совѣсть людей, преданныхъ свѣтскимъ интересамъ. Но такого кроткаго и мирнаго характера не могъ представлять въ Лондонѣ революціонный сенатъ en permanence. Это былъ гласный заговоръ, заговоръ съ открытыми дверями, то есть, невозможный.

Другая ошибка или другое несчастье комитета состояло въ отсутствіи единства. Это собраніе въ одинъ фокусъ разнородныхъ стремленій могло только въ дѣйствительномъ единствѣ развить составную силу. Если-бъ каждый, входя въ комитетъ, вносилъ только свою исключительную національность, это не мѣшало бы еще; у нихъ было бы единство ненависти къ одному главному врагу, къ священному союзу. Но возрѣнія ихъ, согласныя въ отрицательныхъ принципахъ, въ остальномъ были различны; для ихъ единства были необходимы уступки, а этого рода уступки оскорбляютъ одностороннюю силу каждого, подвывая именно тѣ струны для общаго аккорда, которыя звучатъ всего рѣзче, оставляя стертой, мутной и колеблющейся сводную гармонію.

Прочитавъ бумаги, которыя привезъ Орсини, я написалъ къ Маддини слѣдующее письмо:

Ницца. 13 сентября, 1850.

«Любезный Маддини! Я васъ уважаю искренно, и потому не боюсь откровенно высказать вамъ мое мнѣніе. Во всякомъ случаѣ, вы меня выслушаете терпѣливо и снисходительно.

«Вы чуть ли не одинъ изъ главныхъ *политическихъ* дѣятелей послѣдняго времени, имя котораго осталось окружено сочувствіемъ и уваженіемъ. Можно не соглашаться съ вами въ мнѣніяхъ, въ образѣ дѣйствія, но не уважать васъ нельзя. Ваше прошедшее, Римъ 1848 и 1849 годовъ, обязываютъ васъ гордо нести великое вдовство до тѣхъ поръ, пока событія снова позовутъ предупредившаго ихъ бойца. Потому-то мнѣ и больно видѣть имя ваше вмѣстѣ съ именами людей неспособныхъ, испортившихъ все дѣло, съ именами, которыя намъ только напоминаютъ бѣдствія, обрушенныя ими на насъ.

«Какая тутъ можетъ быть организація?—это одно смѣшеніе.

«Ни вамъ, ни исторіи эти люди не нужны, все, что для нихъ можно сдѣлать,—это отпустить имъ ихъ прегрѣшенія. Вы ихъ хотите покрыть вашимъ именемъ, вы хотите раздѣлить съ ними

ваше вліяніе, ваше прошедшее; они раздѣляютъ съ вами свою непопулярность, свое прошедшее.

«Что *новаго* въ прокламаціяхъ, что въ Proscrit? Гдѣ слѣды грозныхъ уроковъ послѣ 24 февраля? Это продолженіе прежняго либерализма, а не начало новой свободы,—это эпилогъ, а не прологъ. Почему нѣтъ въ Лондонѣ той организаціи, которую вы желаете? Потому что нельзя устроиваться на основаніи неопредѣленныхъ стремленій, а только на глубокой и общей мысли;—но гдѣ же она?

«Первая публикація, дѣлаемая при такихъ условіяхъ, какъ присланная вами прокламація, должна была быть исполнена искренности, ну, а кто же можетъ прочесть безъ улыбки имя Арнольда Руге подъ прокламаціей, говорящей во имя божественнаго Провидѣнія. Руге проповѣдывалъ съ 1838 года философскій атеизмъ, для него (если голова его устроена логически) идея Провидѣнія должна представлять въ зародышѣ всѣ реакціи. Это уступка, дипломатія, политика, оружія нашихъ враговъ. Къ тому же все это ненужно. Богословская часть прокламаціи—чистая роскошь, она ничего не прибавляетъ ни къ разумнѣю, ни къ популярности. Народъ имѣетъ положительную религію и церковь. Деизмъ—религія рационалистовъ, представительная система, приложенная къ вѣрѣ, религія, окруженная атеистическими учрежденіями.

«Я, съ своей стороны, проповѣдую полный разрывъ съ неполными революціонерами. отъ нихъ на двѣсти шаговъ вѣдетъ реакціей. Нагрузивъ себѣ на плечи тысячи ошибокъ, они ихъ до сихъ поръ оправдываютъ; лучшее доказательство, что они ихъ повторятъ.

«Въ Nouveau Monde тотъ же *vacuum horrendum*, печальное пережевываніе пищи, вмѣстѣ зеленой и сухой, которая все-таки не переваривается.

«Пожалуйста, не думайте, что я это говорю для того, чтобъ отклонять отъ дѣла. Нѣтъ, я не сижу сложа руки. У меня еще слишкомъ много крови въ жилахъ и энергіи въ характерѣ, чтобъ удовлетвориться ролью страдательнаго зрителя. Съ тринадцати лѣтъ я служилъ одной идеѣ и былъ подъ однимъ знаменемъ—войны противъ всякой втѣсняемой власти, противъ всякой неволи, во имя безусловной независимости лица. Мнѣ хотѣлось бы продолжать мою маленькую, партизанскую войну—настоящимъ казакомъ....., auf eigene Faust, какъ говорятъ нѣмцы, при большой революціонной арміи, не вступая въ правильные кадры ея, пока они совсѣмъ не преобразуются.

«Въ ожиданіи этого—я пишу. Можетъ, это ожиданіе продолжится долго, не отъ меня зависитъ измѣненіе капризнаго люд-

ского развитія; но говорить, обращать, убѣждать зависитъ отъ меня,—и я это дѣлаю отъ всей души, и отъ всего помышленія.

«Простите мнѣ, любезный Мацини, и откровенность, и длину моего письма и не переставайте ни любить меня немного, ни считать человѣкомъ, преданнымъ вашему дѣлу,—но тоже преданнымъ и своимъ убѣжденіямъ».

На это письмо Мацини отвѣчалъ нѣсколькими дружескими строками, въ которыхъ, не касаясь сущности, говорилъ о необходимости соединенія всѣхъ силъ въ одно единое дѣйствіе, грустилъ о разномысліи ихъ и пр.

Въ ту же осень, въ которую меня вспомнилъ Мацини и европейскій комитетъ, вспомнилъ меня, наконецъ, и противоевропейскій комитетъ.

Однимъ утромъ горничная наша, съ нѣсколько озабоченнымъ видомъ, сказала мнѣ, что русскій консулъ внизу и спрашиваетъ, могу ли я его принять. Я до того уже считалъ поконченными мои отношенія съ русскимъ правительствомъ, что самъ удивился такой чести и не могъ догадаться, что ему отъ меня надобно.

Вошла какая-то официальная, германски-канцелярская фигура *второго* порядка.

— Я имѣю вамъ сдѣлать сообщеніе.

— Несмотря на то, отвѣчалъ я, что я не знаю вовсе какого рода, я почти увѣренъ, что оно будетъ непріятное. Прошу садиться.

Консулъ покраснѣлъ, нѣсколько смѣшался, потомъ сѣлъ на диванъ, вынулъ изъ кармана бумагу, развернулъ и, прочитавши: «Генераль-адъютантъ графъ Орловъ сообщилъ графу Нессельроде, чтобы такой-то немедленно возвратился, о чемъ ему объявить, не принимая отъ него никакихъ причинъ, которыя могли бы замедлить его отъѣздъ, и не давая ему ни въ какомъ случаѣ отсрочки», — онъ замолчалъ.

Я продолжалъ не говорить ни слова.

— Что-же мнѣ отвѣчать? спросилъ онъ, складывая бумагу.

— Что я не поѣду.

— Какъ не поѣдете?

— Такъ-таки просто не поѣду.

— Вы обдумали ли, что такой шагъ...

— Обдумалъ.

— Да какъ же это... Позвольте, что же я напишу?—по какой причинѣ?..

— Вамъ не вѣлно принимать никакихъ причинъ.

— Какъ же я скажу, вѣдь, это ослушаніе?

— Такъ и скажите.

— Это невозможно, я никогда не осмѣлюсь написать это,—и

онъ еще больше покраснѣлъ. Право, лучше было бы вамъ измѣнить ваше рѣшеніе, пока все это еще *желейно*.

Какъ я ни человѣколюбивъ, но, для облегченія переписки генеральнаго консула въ Ниццѣ, не хотѣлъ ѣхать въ Петропавловскія кельи отца Леонтія или въ Нерчинскъ.

— Неужели, сказалъ я ему, когда вы шли сюда, вы могли хоть одну секунду предполагать, что я поѣду? Забудьте, что вы консуль, и разсудите сами. Имѣнье мое секвестровано, капиталъ моей матери былъ задержанъ, и все это не спрашивая меня, хочу ли я возвратиться. Могу ли же я послѣ этого ѣхать, не сойдя съ ума?

Онъ мялся, постоянно краснѣлъ и, наконецъ, попалъ на ловкую, умную и, главное, новую мысль.

— Я не могу, сказалъ онъ, вступать... я понимаю затруднительное положеніе, съ другой стороны милосердіе!—Сверхъ того, зачѣмъ же вамъ отрѣзывать себѣ всѣ пути, вы напишите мнѣ, что вы очень больны, я отошлю къ графу.

— Это ужъ слишкомъ старо, да и на что же безъ нужды говорить неправду.

— Ну, такъ ужъ потрудитесь написать мнѣ письменный отвѣтъ.

— Пожалуй. Вы мнѣ не оставите ли копія съ бумаги, которую читали?

— У насъ этого не дѣлается.

— Жаль.

Какъ ни былъ простъ мой письменный отвѣтъ, консуль все-же перепугался: ему казалось, что его переведутъ за него, не знаю, куда-нибудь въ Бейрутъ или въ Триполи; онъ рѣшительно объявилъ мнѣ, что ни принять, ни сообщить его никогда не осмѣлится. Какъ я его ни убѣждалъ, что на него не можетъ пасть никакой отвѣтственности, онъ не соглашался и просилъ меня написать другое письмо.

— Это невозможно, возразилъ я ему, я не шучу этимъ шагомъ и вздорныхъ причинъ писать не стану: вотъ вамъ письмо и дѣлайте съ нимъ, что хотите.

— Позвольте, говорилъ самый кроткій консуль изъ всѣхъ, бывшихъ послѣ Юнія Брута и Калпурнія Бестія, вы письмо это напишите не ко мнѣ, а къ графу Орлову, я же только сообщу его канцлеру.

— Дѣло не трудное, стоитъ поставить *M. le comte*, вмѣсто *M. le consul*; на это я согласенъ.

Переписывая мое письмо, мнѣ пришло въ голову, для чего же это я пишу Орлову по-французски. А потому я перевелъ письмо; вотъ оно:

«М. Г.

Графъ Алексѣй Ѳедоровичъ!

«Императорскій консулъ въ Ниццѣ сообщилъ мнѣ о моемъ возвращеніи въ Россію. При всемъ желаніи, я нахожусь въ невозможности исполнить, не приведя въ ясность моего положенія.

«Прежде всякаго вызова, болѣе года тому назадъ положено было запрещеніе на мое имѣнье, отобраны дѣловыя бумаги, находившіяся въ частныхъ рукахъ, наконецъ, захвачены деньги, 10,000 фр., высланные мнѣ изъ Москвы. Такія строгія и чрезвычайныя мѣры противъ меня показываютъ, что я не только въ чемъ-то обвиняемъ, но что прежде всякаго вопроса, всякаго суда признанъ виновнымъ и наказанъ—лишеніемъ части моихъ средствъ.

«Я не могу надѣяться, чтобъ одно возвращеніе мое могло меня спасти отъ печальныхъ послѣдствій политическаго процесса. Мнѣ легко объяснить каждое изъ моихъ дѣйствій, но въ процессахъ этого рода судятъ мнѣнія, теоріи; на нихъ основываютъ приговоры. Могу ли я, долженъ ли я подвергать себя и все мое семейство такому процессу...

«В. С. оцените простоту и откровенность моего отвѣта и повергнете на высочайшее разсмотрѣніе причины, заставляющія меня остаться въ чужихъ краяхъ, несмотря на мое искреннее и глубокое желаніе возвратиться на родину.»

Ницца, 23 сентября, 1850.

Я дѣйствительно не знаю, возможно ли было скромнѣе и проще отвѣчать; но это письмо консулъ въ Ниццѣ счелъ чудовищно-дерзкимъ, да вѣроятно и самъ Орловъ также.

Отдѣлавшись отъ консула, мнѣ захотѣлось выйти изъ категоріи безпаспортныхъ.

Будущее было темно, печально... Я могъ умереть, и мысль, что тотъ же краснѣющій консулъ явится распоряжаться въ домѣ, захватить бумаги, заставляла меня думать о полученіи гдѣ-нибудь правъ гражданства. Само собою разумѣется, что я выбралъ Швейцарію, несмотря на то, что именно около этого времени въ Швейцаріи сдѣлали мнѣ полицейскую шалость.

Съ годъ послѣ рожденія моего второго сына, мы съ ужасомъ замѣтили, что онъ совершенно глухъ. Разныя консультаціи и опыты скоро доказали, что возбудить слухъ было невозможно. Но тутъ явился вопросъ, слѣдовало ли его оставить, какъ это всегда дѣлають, нѣмымъ. Школы, которыя я видѣлъ въ Москвѣ, далеко не удовлетворяли меня. Разговоръ пальцами и знаками не есть разговоръ, говорить надобно ртомъ и губами. По книгамъ я зналъ, что въ

Германіи и въ Швейцаріи дѣлали опыты учить глухонѣмыхъ говорить, какъ мы говоримъ, и слушать, смотря на губы. Въ Берлинѣ я видѣлъ въ первый разъ оральное преподаваніе глухонѣмымъ и слышалъ, какъ они декламировали стихи. Это огромный шагъ впередъ отъ метода аббата Лене. Въ Цюрихѣ это учение доведено до большого совершенства. Моя мать, страстно любившая Колю, рѣшилась поселиться съ нимъ на нѣсколько лѣтъ въ Цюрихѣ, чтобы посылать его въ школу.

Ребенокъ этотъ былъ одаренъ необыкновенными способностями: вѣчная тишина вокругъ него, сосредоточивая его живой, порывистый характеръ, славно помогала его развитію и вмѣстѣ съ тѣмъ изощряла необычайно пластическую наблюдательность: глазенки его горѣли умомъ и вниманіемъ; пяти лѣтъ онъ умѣлъ дразнить намѣренно-карикатурно всѣхъ приходившихъ къ намъ, съ такимъ комическимъ тактомъ, что нельзя было не смѣяться.

Въ полгода онъ сдѣлалъ въ школѣ большіе успѣхи. Его голось былъ *voilé*; онъ мало обозначалъ ударенія, но уже говорилъ очень порядочно по-нѣмецки и понималъ все, что ему говорили съ разстановкой; все шло какъ нельзя лучше; проѣзжая черезъ Цюрихъ, я благодарилъ директора и совѣтъ, дѣлалъ имъ разныя любезности, они мнѣ.

Но послѣ моего отъѣзда, старѣйшины города Цюриха узнали, что я вовсе не русскій графъ, а русскій эмигрантъ и, къ тому же, пріятель съ радикальной партіей, которую они терпѣть не могли, да еще и съ социалистами, которыхъ они ненавидѣли, и, что хуже всего этого вмѣстѣ, что я человѣкъ не религіозный и открыто признаюсь въ этомъ. Последнее они вычитали въ ужасной книжкѣ: *Von andern Ufer*, вышедшей, какъ на смѣхъ, у нихъ подъ носомъ, изъ лучшей цюрихской типографіи. Узнавъ это, имъ стало совѣстно, что они даютъ воспитаніе сыну человѣка, не вѣрящаго ни по Лютеру, ни по Лойолѣ, и они принялись искать средствъ, чтобъ сбыть его съ рукъ. Городская полиція вдругъ потребовала *паспортъ ребенка*: я отвѣчалъ изъ Парижа, думая, что это простая формальность, что Коля дѣйствительно мой сынъ, что онъ означенъ на моемъ паспортѣ, но что особаго вида я не могу взять изъ русскаго посольства. находясь съ нимъ не въ самыхъ лучшихъ сношеніяхъ. Полиція не удовлетворилась и грозила выслать ребенка изъ школы и изъ города. Я рассказалъ это въ Парижѣ, кто-то изъ моихъ знакомыхъ напечаталъ объ этомъ въ *National*ъ. Устыдившись гласности, полиція сказала, что она не требуетъ высылки, а только какую-то ничтожную сумму денегъ въ обезпеченіе (*caution*), что ребенокъ не кто-нибудь другой, а онъ самъ. Какое же обезпеченіе нѣсколько сотъ франковъ? А, съ другой стороны, если-бъ у моей матери и у меня не было ихъ,

такъ ребенка выслали бы (я спрашивалъ ихъ объ этомъ черезъ «National») ? И это могло быть въ XIX столѣтіи. въ свободной Швейцаріи! Послѣ случившагося мнѣ было противно оставлять ребенка въ этой ослиной пещерѣ.

Но что же было дѣлать? Лучшій учитель въ заведеніи, молодой человѣкъ, отдавшійся съ увлеченіемъ педагогій глухонѣмыхъ, человѣкъ съ основательнымъ университетскимъ образованіемъ, по счастью, недѣлилъ мнѣній полицейскаго синхедріона и былъ большой почитатель именно той книги, за которую разсвирѣпѣли благочестивые кварталные Цюрихскаго кантона. Мы предложили ему оставить школу и перейти въ домъ моей матери. съ тѣмъ, чтобы ѣхать съ ней въ Италію. Онъ, разумѣется, согласился. Институтъ взбѣсилъ. но дѣлать было нечего. Мать моя съ Колей и Шильманомъ отправились въ Ниццу. Передъ отъѣздомъ она послала за своимъ залогомъ, ей его не выдали, подъ предлогомъ, что Коля еще въ Швейцаріи. Я написалъ изъ Ниццы. Цюрихская полиція потребовала свѣдѣній: имѣетъ ли Коля законное право жить въ Пиемонтѣ.

Это было уже слишкомъ, и я написалъ слѣдующее письмо къ президенту Цюрихскаго кантона:

«Г. Президентъ!

«Въ 1849 я помѣстилъ моего сына, пяти лѣтъ отъ роду, въ цюрихскій институтъ глухонѣмыхъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ цюрихская полиція потребовала у моей матери его паспортъ. Такъ какъ у насъ не спрашиваютъ ни у новорожденныхъ, ни у дѣтей, ходящихъ въ школу, паспортвъ, то сынъ мой и не имѣлъ отдѣльнаго вида, а былъ помѣщенъ на моемъ. Это объясненіе не удовлетворило цюрихскую полицію. Она потребовала залогъ. Моя мать, боясь, что ребенка, навлекшаго на себя столько опасливаго подозрѣнія со стороны цюрихской полиціи, выплутъ,— внесла его.

«Въ августѣ 1850 г., желая оставить Швейцарію, моя мать потребовала залогъ, но цюрихская полиція его не отдала; она хотѣла прежде узнать о дѣйствительномъ отъѣздѣ ребенка изъ кантона. Пріѣхавъ въ Ниццу, моя мать просила гг. Авигдора и Шултгеса получить деньги, при чемъ она приложила свидѣтельство о томъ, что мы и, главное, шестилѣтній и подозрительный сынъ мой находимся въ Ниццѣ, а не въ Цюрихѣ. Цюрихская полиція, тугая на отдачу залога, потребовала тогда другого свидѣтельства, въ которомъ здѣшняя полиція должна была засвидѣтельствовать, «что сыну моему официально позволено жить въ Пиемонтѣ» (que l'enfant est officiellement toléré). Г. Шултгесъ сообщилъ это г. Авигдору.

«Видя такое эксцентрическое любопытство цюрихской полиціи,

я отказался отъ предложенія г. Авигдора послать новое свидѣтельство, которое онъ очень любезно предложилъ мнѣ самъ взять. Я не хотѣлъ доставить этого удовольствія цюрихской полиціи, потому что она, при всей важности своего положенія, все же не имѣетъ права ставить себя полиціей международной, и потому еще, что требованіе ея не только обидно для меня, но и для Піемонта.

«Сардинское правительство, господинъ Президентъ, правительство образованное и свободное. Какъ же возможно, чтобъ оно не дозволило жить (*ne tolerât pas*) въ Пімонтѣ больному ребенку шести лѣтъ? Я дѣйствительно не знаю, какъ мнѣ считать этотъ запросъ цюрихской полиціи: за странную шутку или за слѣдствіе пристрастія къ залогамъ вообще.

«Представляя на ваше разсмотрѣніе, г. Президентъ, это дѣло, я буду васъ просить, какъ особеннаго одолженія, въ случаѣ новаго отказа, объяснить мнѣ это происшествіе, которое слишкомъ любопытно и интересно, чтобъ я считалъ себя въ правѣ скрыть его отъ общаго свѣдѣнія.

«Я снова писалъ къ г. Шултесу о полученіи денегъ и могу васъ смѣло увѣрить, что ни моя мать, ни я, ни подозрительный ребенокъ, не имѣемъ ни малѣйшаго желанія, послѣ всѣхъ полицейскихъ непріятностей, возвращаться въ Цюрихъ. Съ этой стороны нѣтъ ни тѣни опасности».

Ницца, 9 сентября, 1850.

Само собою разумѣется, что послѣ этого полиція города Цюриха, несмотря на вселенскія притязанія, выплатила залогъ.

... Кромѣ Швейцарской натурализіи, я не принялъ бы въ Европѣ никакой, ни даже англійской; поступить добровольно въ подданство чье бы то ни было было мнѣ противно; хотѣлъ я выйти изъ крѣпостного состоянія въ свободные хлѣбопашцы. Для этого предстояли двѣ страны: Америка и Швейцарія.

Америка—я ее очень уважаю, вѣрю, что она призвана къ великому будущему, знаю, что она теперь вдвое ближе къ Европѣ, чѣмъ была, но американская жизнь мнѣ антипатична. Весьма вѣроятно, что изъ угловатыхъ, грубыхъ, сухихъ элементовъ ея сложится иной бытъ. Америка не приняла осѣдлости, она не построена, въ ней работники и мастеровые въ будничномъ платьѣ таскаютъ бревна, таскаютъ каменья, пилятъ, рубятъ, приколачиваютъ... Зачѣмъ же постороннему обживать ея сырое зданіе?

Сверхъ того, Америка, какъ сказалъ Гарибальди, «страна забвенія родины»; пусть же въ нее ѣдутъ тѣ, которые не имѣютъ вѣры въ свое отечество, они должны ѣхать съ своихъ кладбищъ;

совсѣмъ напротивъ, по мѣрѣ того, какъ я утрачивалъ всѣ надежды на романо-германскую Европу, вѣра въ Россію снова возрождалась, но думать о возвращеніи было бы безуміемъ.

Итакъ, оставалось вступить въ союзъ съ свободными людьми Гельветической конфедераціи.

Фази, еще въ 1849 году, обѣщала меня натурализовать въ Женевѣ, но все оттягивала дѣло; можетъ, ему просто не хотѣлось прибавить мною число социалистовъ въ своемъ кантонѣ. Мнѣ это надоѣло, приходилось переживать черное время, послѣднія стѣны покривились, могли рухнуть на голову, долго ли до бѣды... Карлъ Фогтъ предложилъ мнѣ списаться о моей натурализаціи съ Ю. Шаллеромъ, который былъ тогда президентомъ Фрибургскаго кантона и главою тамошней радикальной партіи.

Но, назвавши Фогта, прежде всего надобно поговорить о немъ самомъ.

Въ однообразной, мелко и тихо текущей жизни германской встрѣчаются иногда, какъ бы на выкупъ ей, здоровыя, коренастыя семьи, исполненныя силы, упорства, талантовъ. Одно поколѣніе даровитыхъ людей смѣняется другимъ многочисленнѣйшимъ, сохраняя изъ рода въ родъ дюжесть ума и тѣла. Глядя на какой-нибудь невзрачный, старинной архитектуры домъ въ узкомъ, темномъ переулкѣ, трудно представить себѣ, сколько въ продолженіе ста лѣтъ сошло по стоптаннымъ каменнымъ ступенькамъ его лѣстницы молодыхъ парней съ котомкой за плечами, съ всевозможными сувенирами изъ волосъ и сорванныхъ цвѣтовъ въ котомкѣ, благословляемые на путь слезами матери и сестеръ... и пошли въ міръ, оставленные на однѣ свои силы, и сдѣлались извѣстными мужами науки, знаменитыми докторами, натуралистами, литераторами. А домикъ, крытый черепицей, въ ихъ отсутствіе опять наполнялся новымъ поколѣніемъ студентовъ, рвущихся грудью впередъ въ неизвѣстную будущность.

За немѣніемъ другого, тутъ есть наслѣдство примѣра, наслѣдство фибрина. Каждый начинаетъ самъ и знаетъ, что придетъ время, и его выпроводитъ старушка бабушка по стоптанной каменной лѣстницѣ, бабушка, принявшая своими руками въ жизнь три поколѣнія, мывшая ихъ въ маленькой ваннѣ и отпускавшая ихъ съ полною надеждой; онъ знаетъ, что гордая старушка увѣрена и въ немъ, увѣрена, что и изъ него выйдетъ что-нибудь... и выйдетъ непременно!

Dann und wann, черезъ много лѣтъ, все это разсѣянное населеніе побываетъ въ старомъ домикѣ, всѣ эти состарившіеся оригиналы портретовъ, висящихъ въ маленькой гостиной, гдѣ они представлены въ студенческихъ беретахъ, завернутые въ плащи, съ рембрандтовскимъ притязаніемъ со стороны живописца,—

въ домѣ тогда становится суетливѣе, два поколѣнія знакомятся, сближаются... и потомъ опять все идетъ на трудъ. Разумѣется, что при этомъ кто-нибудь непременно въ кого-нибудь хронически-влюбленъ, разумѣется, что дѣло не обходится безъ сентиментальности, слезъ, сюрпризовъ и сладкихъ пирожковъ съ вареньемъ, но все это заглаживается той реальной, чисто жизненной поэзіей съ мышцами и силой, которую я рѣдко встрѣчалъ въ выродившихся, рахитическихъ дѣтяхъ аристократіи и еще менѣе у мѣщанства, строго соразмѣряющаго число дѣтей съ прихода-расходной книгой.

Вотъ къ этимъ-то благословеннымъ семьямъ древне-германскимъ принадлежитъ родительскій домъ Фогта.

Отецъ Фогта чрезвычайно даровитый профессоръ медицины въ Бернѣ; мать—изъ рода Фолленовъ, изъ этой эксцентрической, нѣкогда надѣлавшей большого шума, швейцарско-германской семьи. Фоллены являются главами юной Германіи въ эпоху тугендбундовъ и буршеншафтовъ, Карла Занда и политическаго Schwärmerei 17 и 18 годовъ. Одинъ Фолленъ былъ брошенъ въ тюрьму за Ватбургскій праздникъ въ память Лютера: онъ произнесъ дѣйствительно зажигательную рѣчь, вслѣдъ за которою сжегъ на кострѣ іезуитскія и реакціонныя книги, всякіе символы папской власти. Студенты мечтали сдѣлать его императоромъ единой и нераздѣльной Германіи. Его внукъ, Карлъ Фогтъ, въ самомъ дѣлѣ былъ однимъ изъ *vikarievъ имперіи* въ 1849 году.

Здоровая кровь должна была течь въ жилахъ сына бернского профессора, внука Фолленовъ. А вѣдь, *au bout du compte*, все зависить отъ химическаго соединенія, да отъ качества элементовъ. Не Карлъ Фогтъ станетъ со мной спорить объ этомъ.

Въ 1851 г. я былъ проѣздомъ въ Бернѣ. Прямо изъ почтовой кареты я отправился къ Фогтову отцу съ письмомъ сына. Онъ былъ въ университетѣ. Меня встрѣтила его жена, радушная, веселая, чрезвычайно умная старушка; она меня приняла какъ друга своего сына и тотчасъ повела показывать его портретъ. Мужа она не ждала ранѣе 6 часовъ; мнѣ его очень хотѣлось видѣть, я возвратился, но онъ уже уѣхалъ на какую-то консултанцію къ больному. Второй разъ старушка встрѣтила меня уже какъ стараго знакомаго и повела въ столовую, желая, чтобъ я выпилъ рюмку вина. Одна часть комнаты была занята большимъ круглымъ столомъ, неподвижно прикрѣпленнымъ къ полу; объ этомъ столѣ я уже давно слышалъ отъ Фогта, и потому очень радъ былъ лично познакомиться съ нимъ. Внутренняя часть его двигалась около оси, на нее ставили разные припасы: кофе, вино и все нужное для ѣды, тарелки, горчицу, соль, такъ что, не безпокая никого и безъ прислуги, каждый привертывалъ

къ себѣ что хотѣлъ, ветчину или варенье. Только ненадобно было задумываться или много говорить, а то вмѣсто горчицы можно было попасть ложкой въ сахаръ... если кто-нибудь повертывалъ дискъ. Въ этомъ населеніи братьевъ и сестеръ, короткихъ знакомыхъ и родныхъ, гдѣ всѣ были заняты розно, срочно, общій обѣдъ вечеромъ было трудно устроить. Кто приходилъ къ кому хотѣлось ѣсть, тотъ садился за столъ, вертѣлъ его направо, вертѣлъ его налѣво, и управлялся какъ нельзя лучше. Мать и сестры надсматривали, приказывали приносить того или другого.

Остаться у нихъ я не могъ: ко мнѣ вечеромъ хотѣли прѣхать Фази и Шаллеръ, бывшіе тогда въ Бернѣ; я общалъ, если пробуду еще полдня, зайти къ Фогтамъ и, пригласивши меньшаго брата, юриста, къ себѣ ужинать, пошелъ домой. Звать старика такъ поздно и послѣ такого дня, я не считъ возможнымъ. Но около двѣнадцати часовъ гарсонъ, почтительно отворяя двери передъ кѣмъ-то, возвѣстилъ намъ: *Der Herr Professor Vogt*,—я всталъ изъ-за стола и пошелъ къ нему навстрѣчу.

Вошелъ старикъ довольно высокаго роста, съ умнымъ, выразительнымъ лицомъ, превосходно сохранившійся.

— Ваше посѣщеніе, сказалъ я ему, мнѣ вдвойнѣ дорого, я не смѣлъ васъ звать такъ поздно, послѣ вашихъ трудовъ.

— А я не хотѣлъ васъ пропустить черезъ Бернъ, не увидавшись съ вами. Услышавъ, что вы были у насъ два раза и что вы пригласили Густава, я пригласилъ самъ себя. Очень, очень радъ, что вижу васъ, то... что Карлъ о васъ пишетъ, да и безъ комплиментовъ, я хотѣлъ познакомиться съ авторомъ «Съ того берега».

— Душевно благодарю васъ; вотъ мѣсто, садитесь съ нами, у насъ ужинъ во всемъ разгарѣ, что вамъ угодно?

— Я не буду ѣсть, но рюмку вина выпью съ удовольствіемъ.

Въ его видѣ, словахъ, движеніяхъ было столько непринужденности, вмѣстѣ—не съ тѣмъ добродушіемъ, которое имѣютъ люди вялые, прѣсные и чувствительные,—а именно съ добродушіемъ людей сильныхъ и увѣренныхъ въ себѣ. Его появленіе нисколько не стѣснило насъ, напротивъ, все пошло живѣе.

Разговоръ переходилъ отъ предмета къ предмету, вездѣ, во всемъ онъ былъ дома, уменъ, éveillé, оригиналенъ. Рѣчь зашла какъ-то о федеральномъ концертѣ, который давался утромъ въ бернскомъ соборѣ, и на которомъ были всѣ, кромѣ Фогта. Концертъ былъ гигантскій, со всей Швейцаріи съѣхались музыканты, пѣвцы и пѣвицы для участія въ немъ. Музыка, разумѣется, была духовная. Съ талантомъ и пониманіемъ исполнили они знаменитое твореніе Гайдена. Публика была внимательна, но холодна,

она шла изъ собора, какъ идти отъ обѣдни; не знаю, насколько было благочестія, но увлеченія не было. Я то же испыталъ на самомъ себѣ. Въ припадкѣ откровенности, я сказалъ это знакомымъ, съ которыми выходилъ: по несчастію, это были правдивые, ученые, горячіе музыканты, они напали на меня, объявили меня профаномъ, не умѣющимъ слушать музыку, глубокую, серьезную. «Вамъ только нравятся мазурки Шопена», говорили они. Въ этомъ еще нѣтъ бѣды, думалъ я, но, считая себя все же несостоятельнымъ судьей, замолчалъ.

Надобно имѣть много храбрости, чтобъ признаться въ такихъ впечатлѣніяхъ, которыя противорѣчатъ общепринятому предразсудку или мнѣнію. Я долго не рѣшался при постороннихъ сказать, что «Освобожденный Иерусалимъ»—скученъ, что «Новую Элоизу»—я не могъ дочитать до конца, что «Германъ и Доротея»—произведеніе мастерское, но утомляющее до противности. Я сказалъ что-то въ этомъ родѣ Фогту, рассказывая ему мое замѣчаніе о концертѣ.

— А что, спросилъ онъ, Моцарта вы любите?

— Чрезвычайно, безъ всякихъ границъ.

— Я зналъ это, потому что я вполне вамъ сочувствую. Какъ же это возможно, чтобъ живой, современный человѣкъ могъ себя такъ искусственно натянуть на религиозное настроеніе, чтобъ наслажденіе его было естественно и полно. Для насъ такъ же нѣтъ піэтистической музыки, какъ нѣтъ духовной литературы, она для насъ имѣетъ смыслъ историческій. У Моцарта, напротивъ, звучитъ намъ знакомая жизнь, онъ поетъ отъ избытка чувства, страсти, а не молится. Я помню, когда Don-Giovani, когда Nozze di Figaro были новостію, что это былъ за восторгъ, что за откровеніе новаго источника наслажденій! Моцартова музыка сдѣлала эпоху, переворотъ въ умахъ, какъ Гётевъ Фаустъ, какъ 1789 годъ. Мы видѣли въ его произведеніяхъ, какъ свѣтская мысль XVIII-го столѣтія съ своей секуляризацией жизни вторгалась въ музыку; съ Моцартомъ революція и новый вѣкъ вошли въ искусство. Ну, какъ же намъ послѣ Фауста читать Клоппштока и безъ вѣры слушать эти литургіи въ музыкѣ?...

Долго и необыкновенно занимательно говорилъ старикъ, онъ одушевился, я налилъ еще раза два вина въ его бокалъ, онъ не отказывался и не торопился пить. Наконецъ, онъ посмотрѣлъ на часы:—«Ба, ужъ два часа, прощайте, мнѣ въ девять надобно быть у больного».

Я съ истинной дружбой проводилъ его.

Два года спустя, онъ доказалъ, какъ много энергіи въ его сѣдой головѣ, и какъ его теоріи—*правда*, т. е. какъ онѣ близки къ практикѣ. Вѣнскій рефюжъ, докторъ Кудлихъ, посватался за одну

изъ дочерей Фогта; отецъ былъ согласенъ, но вдругъ протестантская консисторія потребовала метрическія свидѣтельства жениха. Разумѣется, ему, какъ изгнаннику, ничего нельзя было достать изъ Австріи, и онъ представилъ приговоръ, по которому былъ осужденъ заочно; одного свидѣтельства Фогта и его дозволенія было бы достаточно для консисторіи, но бернскіе піетисты, по инстинкту ненавидѣвшіе Фогта и всѣхъ изгнанниковъ, уперлись. Тогда Фогтъ собралъ всѣхъ своихъ друзей, профессоровъ и разныхъ бернскія знаменитости, разсказалъ имъ дѣло, потомъ позвалъ свою дочь и Кудлиха, взялъ ихъ руки, соединилъ и сказалъ присутствовавшимъ: «Васъ, друзья, беру въ свидѣтели, что я, какъ отецъ, благословляю этотъ бракъ и отдаю мою дочь, по ея желанію, за такого-то».

Поступокъ этотъ ошеломилъ піетистическое общество въ Швейцаріи; оно съ негодованіемъ и ужасомъ взглянуло на этотъ antecedentъ, сдѣланный не горячимъ юношей, не бездомнымъ изгнанникомъ, а старцемъ безукоризненнымъ и уважаемымъ всѣми.

Теперь отецъ перейдемте къ его старшему сыну.

Я съ нимъ познакомился въ 1847 году у Бакунина, но особенно сблизились мы въ два года нашей жизни въ Ниццѣ. Это не только свѣтлый умъ, но и самый свѣтлый нравъ изъ всѣхъ видѣнныхъ мною. Я счелъ бы его за очень счастливаго человека, если-бъ зналъ, что онъ недолго проживетъ; но на судьбу полагаться нечего, хотя она его и щадила до сихъ поръ, донимая только одними мигренями. Его натура реальная, живая, всему раскрытая—имѣетъ многое, чтобъ наслаждаться, все, чтобъ никогда не скучать, и почти ничего, чтобъ мучиться внутренно, развѣдать себя недовольной мыслию, страдать теоретически—сомнѣніемъ и практически—тоской по несбывшимся мечтамъ. Страстный поклонникъ красотъ природы, неутомимый работникъ въ наукѣ, онъ все дѣлалъ необыкновенно легко и удачно; вовсе не сухой ученый, а художникъ въ своемъ дѣлѣ, онъ имъ наслаждался; радикаль—по темпераменту, реалистъ—по организаціи и гуманный человекъ—по ясному и добродушно проницательному взгляду, онъ жилъ именно въ той жизненной средѣ, къ которой единственно идутъ Дантовскія слова: «Qui e l'uomo felice».

Онъ прожилъ жизнь дѣлательно и беззаботно, нигдѣ не отставая, вездѣ въ первомъ ряду; не боясь горькихъ истинъ, онъ такъ же пристально всматривался въ людей, какъ въ полипы и медузы, ничего не требуя ни отъ тѣхъ, ни отъ другихъ, кромѣ того, что они могутъ дать. Онъ не поверхностно изучалъ, но не чувствовалъ потребности переходить извѣстную глубину, за которой и оканчивается все свѣтлое, и которая, въ сущности, представляетъ своего рода выходъ изъ дѣйствительности. Его не манило въ

тѣ нервныя омуты, въ которыхъ люди упиваются страданіями. Простое и ясное отношеніе къ жизни исключало изъ его здороваго взгляда ту поэзію печальныхъ восторговъ и болѣзненнаго юмора, которую мы любимъ, какъ все потрясающее и ѣдкое. Его пронія, какъ я замѣтилъ, была добродушна, его насмѣшка весела; онъ смѣялся первый и отъ души своимъ шуткамъ, которыми отравлялъ чернила и пиво педантовъ-профессоровъ и своихъ товарищей по парламенту in der Paul's Kirche.

Въ этомъ жизненномъ реализмѣ было то общее, симпатическое, что насъ связывало, хотя жизнь и развитіе наше были такъ разны, что мы во многомъ расходились.

Во мнѣ не было и не могло быть той снѣтости и того единства, какъ у Фогта. Воспитаніе его шло такъ же правильно, какъ мое безспостемно; ни семейная связь, ни теоретическій ростъ никогда не обрывались у него, онъ продолжалъ традицію семьи. Отецъ стоялъ возлѣ примѣромъ и помощникомъ; глядя на него, онъ сталъ заниматься естественными науками. У насъ обыкновенно поколѣніе съ поколѣніемъ расчленено; общей, нравственной связи у насъ нѣтъ. Я съ раннихъ лѣтъ долженъ былъ бороться съ воззрѣніемъ всего окружавшаго меня, я дѣлалъ оппозицію въ дѣтской, потому что старшіе наши, наши дѣды были не Фоллены, а помѣщики и сенаторы. Выходя изъ нея, я съ той же запальчивостію бросился въ другой бой и, только что кончилъ университетскій курсъ, былъ уже въ тюрьмѣ, потомъ въ ссылкѣ. Наука на этомъ переломилась, тутъ представилось иное изученіе, изученіе міра несчастнаго, съ одной стороны, грязнаго, съ другой.

Наскучивъ этой патологіей, я бросился съ жадностью на философію, отъ которой Фогтъ чувствовалъ непреодолимое отвращеніе. Окончивъ курсъ медицины и получивъ дипломъ доктора, онъ не рѣшился лечить, говоря, что недостаточно вѣрить въ врачебную кабалистику, и снова весь отдался фізіологіи. Трудъ его очень скоро обратилъ на себя вниманіе не только нѣмецкихъ ученыхъ, но и парижской академіи наукъ. Онъ уже былъ профессоромъ сравнительной анатоміи въ Гиссенѣ, товарищемъ Либиха, (съ которымъ велъ потомъ озлобленную химико-теологическую полемику), когда революціонный шквалъ 1848 года оторвалъ его отъ микроскопа и бросилъ въ франкфуртскій парламентъ.

Разумѣется, что онъ сталъ въ самый радикальный рядъ, говорилъ исполненные остроты и отваги рѣчи, выводилъ изъ терпѣнія умѣренныхъ прогрессистовъ, а иногда и неумѣреннаго короля прусскаго. Вовсе не будучи политическимъ человѣкомъ, онъ по удѣльному вѣсу сдѣлался однимъ изъ «лидеровъ» оппозиціи, и когда эрцъ-герцогъ Іоаннъ, бывшій какимъ-то викаріемъ имперіи, окончательно сбросилъ съ себя маску добродушія и популяр-

ности, заслуженной тѣмъ, что онъ женился когда-то на дочери станціоннаго смотрителя и иногда ходилъ во фракъ, Фогтъ съ четырьмя товарищами были выбраны на его мѣсто. Тутъ дѣла нѣмецкой революціи пошли быстро подъ гору: правительства достигли цѣли, выиграли нужное время (по совѣту Меттерниха);— упадить парламентъ имъ было бесполезно. Изгнанный изъ Франкфурта, парламентъ мелькнулъ какой-то тѣнью въ Штутгартѣ, подъ печальнымъ названіемъ Nach-Parlament, тамъ его реакція и придушила. Оставалось викаріямъ по добру, да по здорову уѣхать отъ вѣрной тюрьмы и каторжной работы... Переѣхавъ швейцарскія горы, Фогтъ стряхнулъ съ себя пыль франкфуртскаго собора и, расписавшись въ книгѣ путешественниковъ «К. Фогтъ—викарій Германской имперіи въ бѣгахъ», снова принялся съ той же невозмутимой ясностью, веселымъ расположеніемъ духа и неутомимымъ трудолюбіемъ за естественныя науки. Съ цѣлью изученія морскихъ зоофитовъ онъ поѣхалъ въ Ниццу въ 1850.

Несмотря на то, что мы шли съ разныхъ сторонъ и разными путями, мы встрѣтились на *трезвомъ совершеннолѣтіи въ науки*.

Былъ ли я такъ послѣдователенъ, какъ Фогтъ—и *въ жизни*, трезво ли я на нее смотрѣлъ? Теперь мнѣ кажется, что нѣтъ. Да я не знаю, впрочемъ, хорошо ли начинать съ трезвости; она не только *предупреждаетъ* много бѣдствій, но и лучшія минуты жизни. Вопросъ трудный, который, по счастью, для каждаго разрѣшается не разсужденіями и волей, а организаціей и событіями. Теоретически освобожденный, я не то, что хранилъ разныя непослѣдовательныя вѣрованія, *а они сами остались*; романтизмъ революціи я пережилъ, мистическое вѣрованіе въ прогрессъ, въ человѣчество оставалось дольше другихъ теологическихъ догматовъ; а когда я ихъ пережилъ, у меня еще оставалась религія личностей, вѣра въ двухъ, трехъ, увѣренность въ себя, въ волю человѣческую. Тутъ были, разумѣется, противорѣчія; внутреннія противорѣчія ведутъ къ несчастіямъ, тѣмъ болѣе прискорбнымъ, обиднымъ, что у нихъ впередъ отнято послѣднее человѣческое утѣшеніе, оправданіе себя въ своихъ собственныхъ глазахъ...

Въ Ниццѣ Фогтъ принялся съ необыкновенной ревностью за дѣло... Покойные, теплые заливы Средиземнаго моря представляютъ богатую колыбель всѣмъ *frutti di mare*, вода просто полна ими. Ночью бразды ихъ фосфорнаго огня тянутся, мерцающія за лодкой, тянутся за весломъ, салпы можно брать рукой, всякимъ судномъ. Стало быть, въ матеріалѣ не было недостатка. Съ ранняго утра сидѣлъ Фогтъ за микроскопомъ, наблюдалъ, рисовалъ, писалъ, читалъ, и часовъ въ пять бросался, иногда со мной, въ море (плавалъ онъ какъ рыба); потомъ онъ приходилъ къ намъ

обѣдать и, вѣчно веселый, былъ готовъ на ученый споръ и на всякіе пустяки, пѣлъ за фортепіано уморительныя пѣсни или рассказывалъ дѣтямъ сказки съ такимъ мастерствомъ, что они, не вставая, слушали его цѣлые часы.

Фогтъ обладаетъ огромнымъ талантомъ преподаванія. Онъ, по-лушутя, читалъ у насъ нѣсколько лекцій фізіологіи для дамъ. Все у него выходило такъ живо, такъ просто и такъ пластически выразительно, что дальній путь, которымъ онъ достигъ этой ясности, не былъ замѣтенъ. Въ этомъ-то и состоитъ вся задача педагогіи—сдѣлать науку до того понятной и усвоенной, чтобъ заставить ее говорить простымъ, *обыкновеннымъ* языкомъ.

Трудныхъ наукъ нѣтъ, есть только трудныя изложенія, т. е. непереваримыя. Ученый языкъ—языкъ условный, подъ титлами, языкъ стенографированный, временной, пригодный ученикамъ; содержаніе спрятано въ его алгебраическихъ формулахъ для того, чтобъ, раскрывая законъ, не повторять сто разъ одного и того же. Переходя рядомъ схоластическихъ приемовъ, содержаніе науки обростае всей этой школьной дрянью,—а доктринеры до того привыкаютъ къ уродливому языку, что другого не употребляютъ, имъ онъ кажется понятенъ,—въ старыя годы имъ этотъ языкъ былъ даже дорогъ, какъ трудовая копейка, какъ отличіе отъ языка вульгарнаго. По мѣрѣ того, какъ мы изъ учениковъ переходимъ къ дѣйствительному знанію, стропилы и подмостки становятся противны,—мы ищемъ простоты. Кто не замѣтилъ, что учащіеся вообще употребляютъ гораздо больше трудныхъ терминовъ, чѣмъ выучившіеся.

Вторая причина темноты въ наукѣ происходитъ отъ недобросовѣстности преподавателей, старающихся скрыть долю истины, отдѣлаться отъ опасныхъ вопросовъ. Наука, имѣющая какую-нибудь цѣль вмѣсто истиннаго знанія,—не наука. Она должна имѣть смѣлость прямой, открытой рѣчи. Въ недостаткѣ откровенности, въ робкихъ уступкахъ никто не обвинитъ Фогта. Скорѣе «нѣжныя души» упрекнутъ его въ томъ, что онъ слишкомъ прямо и слишкомъ просто высказываетъ свою правду, находящуюся въ прямомъ противорѣчій съ общепринятой ложью.

Перехожу теперь къ тому, какъ одна страна радушно приняла меня въ то самое время, какъ другая безъ всякаго повода вытолкнула.

Шаллеръ обѣщалъ Фогту похлопотать о моей натурализаціи, т. е. найти общину, которая согласилась бы принять меня и потомъ поддержать дѣло въ Большомъ совѣтѣ. Въ Швейцаріи для натурализаціи необходимо, чтобъ предварительно какое-нибудь сельское или городское общество было согласно на принятіе новаго согражданина, что совершенно согласно съ samozаконностью

каждаго кантона и каждая мѣстечка въ свою очередь. Деревенька Шатель, близъ Мора (Муртенъ), соглашалась за небольшой взносъ денегъ въ пользу сельскаго общества принять мою семью въ число своихъ крестьянскихъ семей. Деревенька эта недалеко отъ Муртенскаго озера, возлѣ котораго былъ разбитъ и убитъ Карлъ Смѣлый, несчастная смерть и имя котораго такъ ловко послужили австрійской цензурѣ (а потомъ и петербургской), для замѣны имени Вильгельма Теля въ Россиніевской оперѣ.

Когда дѣло поступило въ Большой совѣтъ, два іезуитствующіе депутата подняли голосъ противъ меня, но ничего не сдѣлали. Одинъ изъ нихъ говорилъ, что надобно было бы знать, почему я былъ въ ссылкѣ. Другой, изъ видовъ предупредительной осторожности, требовалъ новыхъ обезпеченій, чтобъ, въ случаѣ моей смерти, воспитаніе и содержаніе моихъ дѣтей не пало на бѣдную коммуну. Мои права гражданства были признаны огромнымъ большинствомъ, и я сдѣлался изъ русскихъ надворныхъ совѣтниковъ тягловымъ крестьяниномъ сельца Шателя, что подъ Муртенемъ, *originaire de Châtel près Morat*, какъ расписался фрибургскій писарь на моемъ паспортѣ.

Получивъ вѣсть объ утвержденіи моихъ правъ, мнѣ было почти необходимо съѣздить поблагодарить новыхъ согражданъ и познакомиться съ ними. Къ тому же у меня именно въ это время была сильная потребность побыть одному, всмотрѣться въ себя, свѣрить прошлое, разглядѣть что-нибудь въ туманѣ будущаго, и я былъ радъ вѣшнему толчку.

Наканунѣ моего отъѣзда изъ Ниццы я получилъ приглашеніе отъ начальника полиціи, *de la sicurezza publica*. Онъ мнѣ объявилъ приказъ министра внутреннихъ дѣлъ выѣхать немедленно изъ сардинскихъ владѣній. Эта странная мѣра со стороны ручного и уклончиваго сардинскаго правительства удивила меня гораздо больше, чѣмъ высылка изъ Парижа въ 1850. Къ тому же и не было никакого повода.

Говорятъ, будто я обязанъ этимъ усердію двухъ-трехъ вѣрно-подданныхъ русскихъ, жившихъ въ Ниццѣ, и въ числѣ ихъ мнѣ пріятно назвать министра юстиціи П.; онъ не могъ вынести, что человѣкъ, навлекшій на себя гнѣвъ Николая Павловича, не только покойно живетъ и даже въ одномъ городѣ съ нимъ, но еще пишетъ статейки. Пріѣхавъ въ Туринъ, юстиція, говорятъ, попросилъ, такъ, по доброму знакомству, министра Азеліо выслать меня. Сердце Азеліо чужало, вѣрно, что я въ Крутицкихъ казармахъ, учась по-итальянски, читалъ его *La Disfida di Barletta*—романъ «и не классическій и не старинный», хотя тоже скучный,—и ничего не сдѣлалъ.

Зато ницскій интендантъ и министры въ Туринѣ воспользова-

лись рекомендаціей при первомъ же случаѣ. Нѣсколько дней до моей высылки, въ Ниццѣ было «народное волненіе», въ которомъ лодочники и лавочники, увлекаемые краснорѣчіемъ банкира Авигдора, протестовали, и притомъ довольно дерзко, говоря о независимости ницскаго графства, о его неотъемлемыхъ правахъ,—противъ уничтоженія свободнаго порта. Общее, легкое таможенное положеніе для всего королевства уменьшало ихъ привилегіи, безъ уваженія «къ независимости ницскаго графства» и къ его правамъ, «начертаннымъ на скрижаляхъ исторіи».

Авигдора, этого Оконеля Пальоне (такъ называется *сухая* рѣка, текущая въ Ниццѣ), посадили въ тюрьму, ночью ходили патрули, и народъ ходилъ, тѣ и другіе пѣли пѣсни и притомъ однѣ и тѣ же—вотъ и все. Нужно ли говорить, что ни я, ни кто другой изъ иностранцевъ не участвовалъ въ этомъ семейномъ дѣлѣ тарифовъ и таможенъ. Тѣмъ не менѣе интендантъ указалъ на нѣсколько человѣкъ изъ рефюжѣ, какъ на зачинщиковъ, и въ томъ числѣ на меня. Министерство, желая показать примѣръ дѣлебной строгости, велѣло меня прогнать вмѣстѣ съ другими.

Я пошелъ къ интенданту (изъ іезуитовъ) и, замѣтивъ ему, что это совершеннѣйшая роскошь высылать человѣка, который самъ ѣдетъ и у котораго визированный пассѣ въ карманѣ, спросилъ его, въ чемъ дѣло? Онъ увѣрялъ, что самъ такъ же удивленъ, какъ я, что мѣра взята министромъ внутреннихъ дѣлъ, даже безъ предварительнаго сношенія съ нимъ. При этомъ онъ былъ до того учтивъ, что у меня не осталось никакого сомнѣнія, что все это напакостилъ онъ. Я написалъ разговоръ мой съ нимъ извѣстному депутату оппозиціи, Лоренцо Валеріо, и уѣхалъ въ Парижъ.

Валеріо свирѣпо напалъ на министра въ своей интерпеляціи и требовалъ отчета, почему меня выслали. Министръ мялся, отклонялъ всякое вліяніе русской дипломатіи, свалилъ все на доносы интенданта и смиренно заключилъ, что если министерство поступило сгоряча, неосторожно, то оно съ удовольствіемъ измѣнитъ свое рѣшеніе.

Оппозиція аплодировала. Слѣдственно, *de facto* запрещеніе было снято, но, несмотря на мое письмо къ министру, онъ мнѣ не отвѣчалъ. Рѣчь Валеріо и отвѣтъ на нее я прочиталъ въ газетахъ и рѣшился ѣхать просто на просто въ Туринъ, на обратномъ пути изъ Фрибурга. Чтобы не имѣть отказа въ визѣ, я поѣхалъ безъ визы: на піемонтской границѣ со стороны Швейцаріи пассы осматриваютъ безъ свирѣпаго ожесточенія французскихъ жандармовъ. Въ Туринѣ я пошелъ къ министру внутреннихъ дѣлъ: вмѣсто его меня принялъ его товарищъ, завѣдывавшій

верховой полиціей, графъ Понсъ де-ла-Мартинно, человѣкъ извѣстный въ тѣхъ краяхъ, умный, хитрый и преданный католической партіи.

Пріемъ его меня удивилъ. Онъ мнѣ сказалъ все то, что я ему хотѣлъ сказать; что-то подобное было со мной въ одно изъ свиданій съ Дуббельтомъ, но графъ Понсъ перещеголялъ.

Онъ былъ очень пожилыхъ лѣтъ, болѣзненный, худой, съ отталкивающей наружностью, съ злыми и лукавыми чертами, съ нѣсколько клерикальнымъ видомъ и жесткими сѣдыми волосами на головѣ. Прежде чѣмъ я успѣлъ сказать десять словъ о причинѣ, почему я просилъ аудіенціи у министра, онъ перебилъ меня словами:

— Да, помилуйте, гдѣ же тутъ можетъ быть сомнѣніе... Отправляйтесь въ Ниццу, отправляйтесь въ Геную, оставайтесь здѣсь—только безъ малѣйшей гансине, мы очень рады... это все надѣлалъ интендантъ... Видите, мы еще ученики, не привыкли къ законности, къ конституціонному порядку. Если бы вы сдѣлали что-нибудь противное законамъ, на то есть судъ, вамъ нечего тогда было бы пенять на несправедливость, неправда-ли?

— Совершенно согласенъ съ вами.

— А то *берутъ* мѣры, которыя раздражаютъ... заставляютъ кричать—и безъ всякой нужды!

Послѣ этой рѣчи противъ *самого себя*, онъ проворно схватилъ листъ бумаги съ министерскимъ заголовкомъ и написалъ: Si permette al sig. A. H. di ritornare a Nizza e di restarvi quanto tempo crederà conveniente. Per il ministro S. Martino—12 Luglio 1851.

— Вотъ вамъ на всякій случай, впрочемъ, будьте увѣрены, до этой бумаги дѣло не дойдетъ. Я очень, очень радъ, что мы покончили съ вами это дѣло.

Такъ какъ это значило, *vulgariter*, «ступайте съ Богомъ», то я и оставилъ моего Понса, улыбаясь впередъ лицу, которое сдѣлаетъ интендантъ въ Ниццѣ; но этого лица Богъ мнѣ не привелъ видѣть, его смѣнили.

Но возвращаясь къ Фрибургу и его кантону. Послушавши знаменитые органы и проѣхавши по знаменитому мосту, какъ всѣ смертные, бывшіе въ Фрибургѣ, мы отправились съ добрымъ старичкомъ, канцлеромъ Фрибургскаго кантона, въ Шатель. Въ Муртенѣ префектъ полиціи, человѣкъ энергическій и радикальный, просилъ насъ подождать у него, говоря, что староста поручилъ ему предупредить его о нашемъ пріѣздѣ, потому что ему и прочимъ домохозяевамъ было бы очень непріятно, если-бъ я пріѣхалъ невзначай, когда всѣ въ полѣ на работѣ. Погулявши часа два по Мора или Муртену, мы отправились и префектъ съ нами.

Возлѣ дома старосты ждали насъ нѣсколько пожилыхъ крестьянъ и впереди ихъ самъ староста, почтенный, высокаго роста, сѣдой и хотя нѣсколько сгорбившійся, но мускулистый старикъ. Онъ выступилъ впередъ, снялъ шляпу, протянулъ мнѣ широкую, сильную руку и, сказавъ *Lieber Mitbürger*,... произнесъ привѣтственную рѣчь на такомъ германо-швейцарскомъ нарѣчьи, что я ничего не понималъ. Приблизительно можно было догадаться, что онъ могъ мнѣ сказать, а потому, да еще взявъ въ соображеніе, что если я скрылъ, что не понимаю его, то и онъ скроетъ, что не понимаетъ меня, я смѣло отвѣчалъ на его рѣчь:

— Любезный гражданинъ староста и любезные шательскіе сограждане! Я прихожу благодарить васъ за то, что вы въ вашей общинѣ дали пріютъ мнѣ и моимъ дѣтямъ и положили предѣлъ моему бездомному скитанію. Съ гордостью вступаю я въ вашу союзъ! И да здравствуетъ Гельветическая республика!

— *Den neuen Bürger hoch! Es lebe der neue Bürger?* отвѣчали старики и крѣпко жали мою руку; я самъ былъ нѣсколько взволнованъ! Староста пригласилъ насъ къ себѣ.

Мы вошли и сѣли за длинный столъ на скамьяхъ, на столѣ былъ хлѣбъ и сыръ. Двое крестьянъ втащили страшной величины бутылъ, больше тѣхъ классическихъ бутылей, которыя прѣютъ цѣлыя зимы въ старинныхъ нашихъ домахъ, въ углу на лежанкѣ, наполненные наливками и настойками. Бутылъ эта была въ плетеной корзинѣ и наполнена бѣлымъ виномъ. Староста сказалъ намъ, что это вино тамошнее, но только очень старое, что эту бутылъ онъ помнитъ лѣтъ за тридцать, и что вино это употребляется только при чрезвычайныхъ случаяхъ. Всѣ крестьяне сѣли съ нами за столъ, кромѣ двухъ, хлопотавшихъ около каѳедальной бутылки. Они изъ нея наливали вино въ большую кружку, а староста наливалъ изъ кружки въ стаканы; передъ каждымъ крестьяниномъ былъ стаканъ, но мнѣ онъ принесъ нарядный хрустальный кубокъ, причемъ онъ замѣтилъ канцлеру и префекту:

— Вы на этотъ разъ извините, почетный-то кубокъ ужъ нынче мы подадимъ нашему новому согражданину; съ вами мы свои люди.

Пока староста наливалъ вино въ стаканы, я замѣтилъ, что одинъ изъ присутствующихъ, одѣтый не совсѣмъ по-крестьянски, былъ очень беспокоенъ, обтиралъ потъ, краснѣлъ, ему нездоровилось; когда же староста провозгласилъ мой тостъ, онъ съ какой-то отчаянной отвагой вскочилъ и, обращаясь ко мнѣ, началъ рѣчь.

— Это, шепнулъ мнѣ на ухо староста съ значительнымъ видомъ, гражданинъ учитель въ нашей школѣ. Я всталъ.

Учитель говорилъ не по-швейцарски, а по-нѣмецки, да и не

просто, а по образцамъ изъ нарочито-извѣстныхъ ораторовъ и писателей: онъ помянулъ и о Вильгельмѣ Телѣ, и о Карлѣ Смѣломъ (какъ тутъ поступила бы австрійско-александринская театральная цензура, развѣ назвала бы Вильгельма—Смѣлымъ, а Карла—Телемъ?) и при этомъ не забылъ не столько новое, сколько выразительное сравненіе неволи съ позлащенной клѣткой, изъ которой птица все-же рвется.

Крестьяне слушали его, вытянувъ загорѣлую, сморщившуюся шею и прикладывая, въ видѣ глазного зонтика, руку къ ушамъ; канцлеръ немного вздремнулъ и, чтобъ скрыть это, первый похвалилъ оратора.

Между тѣмъ староста сидѣлъ не сложа руки, а усердно наливалъ вино, провозглашая, какъ самый привычный къ дѣлу церемоніймейстеръ, тосты:

— За конфедерацію! За Фрибургъ и его радикальное правительство. За президента Шаллера!

— За моихъ любезныхъ согражданъ въ Шателѣ! предложилъ я, наконецъ, чувствуя, что вино, несмотря на слабый вкусъ, далеко не слабо. Всѣ встали... Староста говорилъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, *lieber Mitbürger*, полный кубокъ, какъ мы пили за васъ, полный! Старички мои расходились, вино подогрѣло ихъ...

— Привезите вашихъ дѣтей, говорилъ одинъ.

— Да, да, подхватили другіе, пусть они посмотрятъ, какъ мы живемъ, мы люди простые, дурному не научимъ, да и мы ихъ посмотримъ.

— Непремѣнно, отвѣчалъ я, непременно.

Тутъ староста ужъ пошелъ извиняться въ дурномъ приѣмѣ, говоря, что во всемъ виноватъ канцлеръ, что ему слѣдовало бы дать знать дня за два, тогда бы все было иное, можно бы достать и музыку, а главное, что тогда встрѣтили бы меня и проводили ружейнымъ залпомъ. Я чуть не сказалъ ему *à la Louis Philippe*.—«Помилуйте... да что же случилось?—Однимъ крестьяниномъ только больше въ Шателѣ?»

Мы разстались большими друзьями. Меня нѣсколько удивило, что я не видѣлъ ни одной женщины, ни старухи, ни дѣвочки, да и ни одного молодого человѣка. Впрочемъ, это было въ рабочую пору. Замѣчательно и то, что на такомъ рѣдкомъ для нихъ праздникѣ не былъ приглашенъ пасторъ.

Я имъ это поставилъ въ большую заслугу. Пасторъ непременно испортилъ бы все, сказалъ бы глупую проповѣдь, и съ своимъ чиннымъ благочестіемъ похожъ былъ бы на муху въ стаканѣ съ виномъ, которую непременно надобно вынуть, чтобъ пить съ удовольствіемъ.

Наконецъ, мы снова успѣли въ небольшую коляску, или, вѣрнѣе, линейку канцлера, завезли префекта въ Мора, и покатались

въ Фрибургѣ. Небо было покрыто тучами, меня клонилъ сонъ и кружилось въ головѣ. Я усиливался не спать; неужели это ихъ вино? думалъ я съ нѣкоторымъ презрѣніемъ къ самому себѣ... Канцлеръ лукаво улыбался, а потомъ самъ задремалъ; дождь сталъ накрашивать, я покрылся пальто, сталъ было засыпать... потомъ проснулся отъ прикосновенія холодной воды... Дождь лилъ какъ изъ ведра, черныя тучи словно высѣкали огонь изъ скалистыхъ вершинъ, дальніе раскаты грома пересыпались по горамъ. Канцлеръ стоялъ въ сѣняхъ и громко смѣялся, говоря съ хозяиномъ Zöringer Hoff'a.

— Что, спрашивалъ меня хозяинъ, видно, наше простое, крестьянское вино не то, что французское?

— Да неужели мы прѣхали? спрашивалъ я, выходя весь мокрый изъ ливейки.

— Это не такъ мудрено, замѣтилъ канцлеръ, а вотъ что мудрено, что вы проспали грозу, какой давно не бывало. Неужели вы ничего не слышали?

— Ничего.

Потомъ я узналъ, что простыя швейцарскія вина, вовсе не крѣпкія на вкусъ, получаютъ съ лѣтами большую силу и особенно дѣйствуютъ на непривычныхъ. Канцлеръ нарочно мнѣ не сказалъ этого. Къ тому же, если-бъ онъ и сказалъ, я не сталъ бы отказываться отъ добродушнаго угощенія крестьянъ, отъ ихъ тостовъ, и еще менѣе не сталъ бы церемонно мочить губы и ломаться. Что я хорошо поступилъ, доказывается тѣмъ, что черезъ годъ, пробѣдомъ изъ Берна въ Женеву, я встрѣтилъ на одной станціи моратскаго префекта:

— Знаете ли вы, сказалъ онъ мнѣ, чѣмъ вы заслужили особенную популярность нашихъ шательцевъ?

— Нѣтъ?

— Они до сихъ поръ рассказываютъ съ гордымъ самодовольствіемъ, какъ новый согражданинъ, выпивши ихъ вина, проспалъ грозу и добѣжалъ, не зная какъ, отъ Мора до Фрибурга, подъ проливнымъ дождемъ.

Итакъ, вотъ какимъ образомъ я сдѣлался свободнымъ гражданиномъ Швейцарской конфедераціи и напился пьянъ шательскимъ виномъ! ¹⁾

¹⁾ Не могу не прибавить, что именно этотъ листъ мнѣ пришлось поправлять въ Фрибургѣ, и въ томъ же Zöringerhoff'e. И хозяинъ все тотъ же, съ видомъ дѣйствительнаго хозяина, и столовая, гдѣ я сидѣлъ съ Сазоновымъ въ 1851 году, — та же, и комната, въ которой черезъ годъ я писалъ свое завѣщаніе, дѣлая исполнителемъ его Карла Фогта, и этотъ листъ, напомнившій столько подробностей.

Пятнадцать лѣтъ!

Невольно, безотчетно беретъ страхъ...

14 октября. 1866.

ГЛАВА ХLI.

П. Ж. Прудонъ. — Изданіе *la Voix du Peuple*. — Переписка. — Значеніе Прудона. — Прибавленіе.

Вслѣдъ за іюньскими баррикадами, пали и типографскіе станки. Испуганные публицисты приумолкли. Одинъ старецъ Ламене поднялся мрачной тѣнью судьи, проклятъ—герцога Альбу іюньскихъ дней—Кавеньяка и его товарищей и мрачно сказалъ народу: «А ты молчи, ты слишкомъ бѣденъ, чтобы имѣть право на слово!»

Когда первый страхъ осаднаго положенія миновалъ и журналы снова стали оживать, они взамѣнъ насилія встрѣтили готовый арсеналъ юридическихъ кляузъ и судейскихъ уловокъ. Началась старая травля, *rag force*, редакторовъ, травля, въ которой отличались министры Людовика Филиппа. Уловка ея состоитъ въ уничтоженіи залога рядомъ процессовъ, оканчивающихся всякій разъ тюрьмой и денежной пеней. Пень берется изъ залога; пока залогъ не дополненъ,—нельзя издавать журналъ, какъ онъ пополнится—новый процессъ. Игра эта всегда успѣшна, потому что судебная власть во всѣхъ политическихъ преслѣдованіяхъ дѣйствуетъ за одно съ правительствомъ.

Ледрю - Ролленъ сначала, потомъ полковникъ Франполи, какъ представитель Мацциніевской партіи, заплатили большія деньги, но не спасли «Реформу». Всѣ рѣзкіе органы социализма и республики были убиты этимъ средствомъ. Въ томъ числѣ, и въ самомъ началѣ, Прудоновъ *Le Représentant du Peuple*, потомъ его же *Le Peuple*. Прежде чѣмъ оканчивался одинъ процессъ, начинался другой.

Одного изъ редакторовъ, помнится Дюшена, приводили раза три изъ тюрьмы въ ассизы по новымъ обвиненіямъ, и всякій разъ снова осуждали на тюрьму и штрафъ. Когда ему въ послѣдній разъ, передъ гибелью журнала, было объявлено рѣшеніе, онъ, обращаясь къ прокурору, сказалъ: *L'addition, s'il vous plait!* ему въ самомъ дѣлѣ накопилось лѣтъ десять тюрьмы и тысячь пятьдесятъ штрафу.

Прудонъ былъ подъ судомъ, когда журналъ его остановился послѣ 13 іюня. Національная гвардія ворвалась въ этотъ день въ его типографію, сломала станки, разбросала буквы, какъ бы под-

тверждая именемъ вооруженныхъ мѣщанъ, что во Франціи настаетъ періодъ высшаго насилія и полицейскаго самовластія.

Неукротимый гладіаторъ, упрямый безансонскій мужикъ не хотѣлъ положить оружія, и тотчасъ затѣялъ издавать новый журналъ: *La voix du Peuple*. Надобно было достать 24.000 фр. для залога. Е. Жирарденъ былъ не прочь ихъ дать, но Прудону не хотѣлось быть въ зависимости отъ него, и Сазоновъ предложилъ мнѣ внести залогъ.

Я былъ многимъ обязанъ Прудону въ моемъ развитіи и, подумавши нѣсколько, согласился, хотя и зная, что залога не надолго станетъ.

Чтеніе Прудона, какъ чтеніе Гегеля, даетъ особый пріемъ, оттачиваетъ оружіе, даетъ не результаты, а средства. Прудонъ по преимуществу діалектикъ, контроверзистъ соціальныхъ вопросовъ. Французы въ немъ ищутъ эксперименталиста, и, не находя ни смѣты фаланстера, ни икарійской управы благочинія, пожимаютъ плечами и кладутъ книгу въ сторону.

Прудонъ, конечно, виноватъ, поставивъ въ своихъ «Противорѣчійхъ» эпиграфомъ: *destruo et edificabo*; сила его не въ созданіи, а въ критикѣ существующаго. Но эту ошибку дѣлали споконъ вѣка всѣ ломавшіе старое; человѣку одно разрушеніе противно; когда онъ принимается ломать, какой-нибудь идеалъ будущей постройки невольно бродитъ въ его головѣ, хотя иной разъ это пѣсня каменщика, разбирающаго стѣну.

Въ большей части соціальныхъ сочиненій важны не идеалы, которые почти всегда или недостижимы въ настоящемъ, или сводятся на какое-нибудь одностороннее рѣшеніе, а то, что, достигая до нихъ, становится *вопросомъ*. Соціализмъ касается не только того, что было рѣшено прежнимъ эмпирически-религіознымъ бытомъ, но и того, что прошло черезъ сознаніе односторонней науки: не только до юридическихъ выводовъ, основанныхъ на традиціонномъ законодательствѣ, но и до выводовъ политической экономіи. Онъ встрѣчается съ рациональнымъ бытомъ эпохи гарантій и мѣщанскаго экономическаго устройства, какъ съ своей непосредственностью, точно такъ, какъ политическая экономія относилась къ теоретически-феодальному государству.

Въ этомъ отрицаніи, въ этомъ улетучиваніи стараго общественнаго быта страшная сила Прудона; онъ такой же поэтъ діалектики, какъ Гегель, съ той разницей, что одинъ держится на покойной выси научнаго движенія, а другой втолкнутъ въ сумятицу народныхъ волненій, въ рукопашный бой партій.

Прудонѣмъ начинается новый рядъ французскихъ мыслителей. Его сочиненія составляютъ переворотъ не только въ исторіи соціализма, но и въ исторіи французской логики. Въ діалек-

гической дюжести своей онъ сильнѣе и свободнѣе самыхъ талантливыхъ французовъ. Люди чистые и умные, какъ Пьеръ Леру и Консидеранъ, не понимаютъ ни его точки отправленія, ни его метода. Они привыкли играть впередъ подтасованными идеями, ходить въ извѣстномъ нарядѣ, по торной дорогѣ, къ знакомымъ мѣстамъ. Прудонъ часто ломится цѣликомъ, не боясь помять чего-нибудь по пути, не жалѣя ни раздавить что попадется, ни зайти слишкомъ далеко. У него нѣтъ ни той чувствительности, ни того риторическаго, революціоннаго цѣломудрія, которое у французовъ замѣняетъ протестантскій піэтизмъ... Отъ того онъ и остается одинокимъ между своими, болѣе путая, чѣмъ убѣждая своей силой.

Говорятъ, что у Прудона германскій умъ. Это неправда, напротивъ, его умъ совершенно французскій; въ немъ тотъ родоначальный галло-франкскій геній, который является въ Рабле, въ Монтенѣ, въ Вольтерѣ и Дидро... даже въ Паскалѣ. Онъ только усвоилъ себѣ діалектическій методъ Гегеля, какъ усвоилъ себѣ и всѣ приемы католической контроверзы; но ни Гегелева философія, ни католическое богословіе не дали ему ни содержанія, ни характера,—для него это орудія, которыми онъ пытается свой предметъ, и орудія эти онъ такъ приладилъ и обтесалъ по-своему, какъ приладилъ французскій языкъ къ своей сильной и энергической мысли. Такіе люди слишкомъ твердо стоятъ на своихъ ногахъ, чтобы чему-нибудь покориться, чтобы дать себя заарканить.

— «Мнѣ очень нравится ваша система», сказали Прудону одинъ англійскій туристъ.

— Да у меня нѣтъ никакой системы,—отвѣчалъ съ неудовольствіемъ Прудонъ, и былъ правъ.

Это-то именно и сбиваетъ его соотечественниковъ, привыкшихъ къ нравоученіямъ на концѣ басни, къ систематическимъ формуламъ, оглавленіямъ, къ отвлеченнымъ обязательнымъ рецептамъ.

Прудонъ сидитъ у кровати больного и говоритъ, что онъ очень плохъ потому и потому. Умирающему не можешь, строя идеальную теорію о томъ, какъ онъ могъ бы быть здоровъ, не будь онъ боленъ, или предлагая ему лекарства, превосходныя сами по себѣ, но которыхъ онъ принять не можетъ или которыхъ совсѣмъ нѣтъ налицо.

Наружные признаки и явленія финансоваго міра служатъ для него такъ, какъ зубы животныхъ служили для Кювье, лѣстницей, по которой онъ спускается въ тайники общественной жизни: онъ по нимъ изучаетъ силы, влекущія больное тѣло къ разло-

женію. Если онъ послѣ каждаго наблюденія провозглашаетъ новую побѣду смерти, развѣ это его вина? Тутъ нѣтъ родныхъ, которыхъ страшно испугать, мы сами умираемъ этой смертью. Толпа съ негодованіемъ кричитъ: «лекарства! лекарства! или молчи о болѣзни!» Да зачѣмъ же молчать? Только въ самовластныхъ правленіяхъ запрещаютъ говорить о неурожаяхъ, заразахъ и о числѣ побитыхъ на войнѣ. Лекарство, видно, нелегко находится; мало ли какіе опыты дѣлали во Франціи со времени неумѣренныхъ кровопусканій 1793: ее лечили побѣдами и усиленными моціонами, заставляя ходить въ Египетъ, въ Россію, ее лечили парламентаризмомъ и ажіотажемъ, маленькой республикой и маленькимъ Наполеономъ,—что же, лучше, что ли, стало? Самъ Прудонъ попробовалъ было разъ свою патологию и сръзался на *Народноѣ банкѣ*, несмотря на то, что, сама по себѣ взятая, идея его вѣрна. По несчастію, онъ въ заговариваніе не вѣритъ, а то и онъ причитывалъ бы ко всему: Союзъ народовъ! Союзъ народовъ! Всеобщая республика! Всемирное братство! *grande armée de la démocratie*! Онъ не употребляетъ этихъ фразъ, не щадитъ революціонныхъ старовѣровъ, и зато французы его считаютъ эгоистомъ, индивидуалистомъ, чуть не ренегатомъ и измѣнникомъ.

Я помню сочиненія Прудона, отъ его разсужденія «О собственности» до «Биржевого руководства»; многое измѣнилось въ его мысляхъ,—еще бы, прожить такую эпоху, какъ наша, и свистать тотъ же дуэтъ а молл'ный, какъ Платонъ Михайловичъ въ «Горе отъ ума». Въ этихъ перемѣнахъ именно и бросается въ глаза внутреннее единство, связующее ихъ отъ диссертациі, написанной на школьную задачу безансонской академіи, до недавно вышедшаго *sarment horrendum* биржевого распутства, тотъ же порядокъ мыслей, развиваясь, видоизмѣняясь, отражая событія, идетъ и черезъ «Противорѣчія» политической экономіи, и черезъ его «Исповѣдь», и черезъ его «журналъ».

Реальная истина должна находиться подъ вліяніемъ событій, отражать ихъ, оставаясь вѣрною себѣ, иначе она не была бы *живой истиной*, а истиной вѣчной, успокоившейся отъ тревоженія міра сего—въ мертвой тишинѣ застоя ¹⁾.

Гдѣ и въ какомъ случаѣ, случалось мнѣ спрашивать, Прудонъ измѣнилъ органическимъ основамъ своего воззрѣнія? Мнѣ всякій разъ отвѣчали его политическими ошибками, его прома-

¹⁾ Въ новомъ сочиненіи Стюарта Милля *On Liberty*, онъ приводитъ превосходное выраженіе объ этихъ разъ навсегда рѣшенныхъ истинахъ: «the deep slumber of a decided opinion».

хамп въ революціонной дипломатіи. За политическія ошибки онъ, какъ журналистъ, конечно, повиненъ отвѣтомъ, но и тутъ онъ виноватъ не передъ собой: напротивъ, часть его ошибокъ происходила отъ того, что онъ вѣрилъ своимъ началамъ больше, чѣмъ партія, къ которой онъ, по неволѣ, принадлежалъ, и съ которой онъ не имѣлъ ничего общаго, а былъ собственно соединенъ только ненавистью къ общему врагу.

Политическая дѣятельность не составляла ни его силы, ни основы той мысли, которую онъ облакалъ во всѣ доспѣхи своей диалектики. Совсѣмъ напротивъ, вездѣ ясно видно, что политика, въ смыслѣ стараго либерализма и конституціонной республѣи, стоитъ у него на второмъ планѣ, какъ что-то полупрошедшее, уходящее. Въ политическихъ вопросахъ онъ равнодушенъ, готовъ дѣлать уступки, потому что не приписываетъ особой важности формамъ, которыя, по его мнѣнію, не существенны. Въ подобномъ отношеніи къ религіозному вопросу стоятъ всѣ, оставившіе христіанскую точку зрѣнія. Я могу признавать, что конституціонная религія протестантизма нѣсколько посвободнѣе католическаго самодержавія, но принимать къ сердцу вопросъ объ исповѣданіи и церкви не могу; я вслѣдствіе этого надѣлаю, вѣроятно, ошибокъ и уступокъ, которыхъ избѣжить всякій, самый пошлый бакалавръ богословія или приходскій попъ.

Безъ сомнѣнія, не мѣсто было Прудона въ Народномъ собраніи, такъ, какъ оно было составлено, и личность его терялась въ этомъ мѣщанскомъ вертепѣ. Прудонъ въ своей «Исповѣди революціонера» говоритъ, что онъ не умѣлъ найтись въ Собраніи. Да что же могъ тамъ дѣлать человѣкъ, который Марастовой конституціи, этому кислому плоду семимѣсячной работы семнеотъ головъ, сказалъ: «Я подаю голосъ противъ вашей конституціи, не только потому, что она дурна, но и потому, что она конституція».

Парламентская чернь отвѣчала на одну изъ его рѣчей: «Рѣчь въ «Монитеръ», оратора въ сумасшедшій домъ!» Я не думаю, чтобы въ людской памяти было много подобныхъ парламентскихъ анекдотовъ, съ тѣхъ поръ, какъ александрійскій архіерей возилъ съ собой на вселенскіе соборы какихъ-то послушниковъ, вооруженныхъ дубинами, и до вашингтонскихъ сенаторовъ, доказывающихъ другъ другу палкой пользу рабства.

Но даже и тутъ Прудону удавалось становиться во весь ростъ, и оставлять середь перебранокъ яркій слѣдъ.

Тьеръ, отвергая финансовый проектъ Прудона, сдѣлалъ какой-то намекъ о нравственномъ растлѣніи людей, распространяющихъ такіа ученія. Прудонъ взмошелъ на трибуну и, съ

своимъ грознымъ и сутуловатымъ видомъ коренастаго жителя полей, сказалъ улыбающемуся старичишкѣ: «Говорите о финансахъ, но не говорите о нравственности, я могу принять это за личность, я вамъ уже сказалъ это въ комитетѣ. Если же вы будете продолжать, я—я не вызову васъ на дуэль (Тьеръ улыбнулся). Нѣтъ, мнѣ мало вашей смерти, этимъ ничего не докажешь. Я предложу вамъ другой бой. Здѣсь, съ этой трибуны, я расскажу всю мою жизнь, фактъ за фактомъ, каждый можетъ мнѣ напомнить, если я что-нибудь забуду или пропущу. И потомъ пусть расскажетъ свою жизнь мой противникъ!» Глаза всѣхъ обратились на Тьера: онъ сидѣлъ нахмуренный и улыбки совсѣмъ не было, да и отвѣта тоже.

Враждебная камера смолкнула, и Прудонъ, глядя съ презрѣніемъ на защитниковъ религіи и семьи, сошелъ съ трибуны.

Съ февральской революціи Прудонъ предсказывалъ то, къ чему Франція пришла. На тысячу ладовъ повторялъ онъ: берегитесь, не шутите, «это не Катилина у воротъ вашихъ, а смерть». Французы пожимали плечами. Обнаженныхъ челюстей, косы, клепсидры—всего мундира смерти не было видно, какая же это смерть, это «минутное затмѣніе, послѣобѣденный сонъ великаго народа!» Наконецъ, разглядѣли многіе, что дѣло плохо. Прудонъ унывалъ менѣе другихъ, пугался менѣе, потому что предвидѣлъ; тогда его обвинили не только въ безчувственности, но и въ томъ, что онъ накликалъ бѣду. Говорятъ, что китайскій императоръ таскаетъ ежегодно за хохолъ придворнаго звѣздочета, когда тотъ ему докладываетъ, что дни начинаютъ убывать.

Геній Прудона дѣйствительно антипатиченъ французскимъ риторамъ, его языкъ оскорбляетъ ихъ. Революція развила свой пуританизмъ, узкій, лишенный всякой терпимости, свои обязательные обороты, и патріоты отвергають написанное не по формѣ, точно такъ, какъ русскіе судьи. Ихъ критика останавливается передъ ихъ символическими книгами, въ родѣ «Contrat Social», «Объявленія правъ человѣка». Люди вѣры—они ненавидятъ анализъ и сомнѣнія; люди заговоровъ—они все дѣлають сообща и изъ всего дѣлають интересъ партіи. Независимый умъ имъ ненавистенъ, какъ мятежникъ, они даже въ прошедшемъ не любятъ самобытныхъ мыслей. Луп-Вланъ почти досадуетъ на эцентрическій геній Монтеня¹⁾. На этомъ гальскомъ чувствѣ, стремящемся снять личность стадомъ, основано ихъ пристрастіе къ *приравниванію*. къ единству военнаго строя, къ централизациі, т. е. къ деспотизму.

1) «Histoire de la Révolution Française».

Кошунство француза и рѣзкость сужденій больше шалость, баловство, удовольствіе подразнить, чѣмъ потребность разбора, чѣмъ сосущій душу скептицизмъ. У него бездна маленькихъ предразсудковъ, крошечныхъ религій,—за нихъ онъ стоитъ съ запальчивостію Донъ-Кихота, съ упрямствомъ раскольника. Оттого-то они и не могутъ простить ни Монтеню, ни Прудону ихъ *вольнодумство и непочтительность* къ общепринятымъ кумирамъ. Они, какъ петербургская цензура, позволяютъ шутить надъ титулярнымъ совѣтникомъ, но тайнаго не тронь. Въ 1850 г. Е. Жирарденъ напечаталъ въ «*Presse*» смѣлую и новую мысль, что основы права не вѣчны, а идутъ, измѣняясь съ историческимъ развитіемъ. Что за шумъ возбудила эта статья: брань, крикъ, обвиненія въ безнравственности продолжались, съ легкой руки «*Gazette de France*», мѣсяцы.

Участвовать въ восстановленіи такого органа, какъ «*Peuple*», стоило пожертвованій, я написалъ Саонову и Хоецкому, что готовъ внести залогъ.

До того времени мои сношенія съ Прудонъ были ничтожны; я встрѣчалъ его раза два у Бакунина, съ которымъ онъ былъ очень близокъ. Бакунинъ жилъ тогда съ А. Рейхелемъ въ чрезвычайно скромной квартирѣ за Сеной, въ rue de Bourgogne. Прудонъ часто приходилъ туда слушать Рейхелева Бетховена и Бакунинскаго Гегеля,—философскіе споры длились дольше симфоній. Они напоминали знаменитыя всеобщія бѣднія Бакунина съ Хомяковымъ у Чаадаева, у Елагиной, о томъ же Гегелѣ. Въ 1847 году Карлъ Фогтъ, жившій тоже въ rue de Bourgogne и тоже часто посѣщавшій Рейхеля и Бакунина, наскучивъ какъ-то вечеромъ слушать безконечные толки о феноменологіи, отправился спать. На другой день утромъ онъ зашелъ за Рейхелемъ, имъ обоимъ надобно было идти къ Jardin des Plantes; его удивилъ, несмотря на ранній часъ, разговоръ въ кабинетѣ Бакунина: онъ пріотворилъ дверь—Прудонъ и Бакунинъ сидѣли на тѣхъ же мѣстахъ, передъ потухшимъ каминомъ, и оканчивали въ краткихъ словахъ начатый вчера споръ.

Боясь сначала смиренной роли нашихъ соотечественниковъ и патронажа великихъ людей, я не старался сближаться даже съ самимъ Прудонъ, и, кажется, былъ не совершенно неправъ. Письмо Прудона ко мнѣ, въ отвѣтъ на мое, было учтиво, но холодно и съ нѣкоторой сдержанностью.

Мнѣ хотѣлось съ самаго начала показать ему, что онъ не имѣетъ дѣла ни съ сумасшедшимъ prince russe, который изъ революціоннаго дилетантизма, а вдвое того изъ хвастовства дать деньги, ни съ правовѣрнымъ поклонникомъ французскихъ пуб-

лицистовъ, глубоко благодарнымъ за то, что у него берутъ 24.000 франковъ, нп, наконецъ, съ какимъ-нибудь тупоумнымъ bailleur de fonds, который соображаетъ, что внести залогъ за такой журналъ, какъ «Voix du Peuple», *серьезное* помѣщеніе денегъ. Мнѣ хотѣлось показать ему, что я очень знаю, *что дѣлаю*, что имѣю свою положительную цѣль, а потому хочу имѣть положительное вліяніе на журналъ; принявши безусловно все то, что онъ писалъ о деньгахъ, я требовалъ, во-первыхъ, права помѣщать статьи свои и не свои, во-вторыхъ, права завѣдывать всею иностранною частью, рекомендовать редакторовъ для нея, корреспондентовъ и пр., требовать для послѣднихъ плату за помѣщенные статьи; это можетъ показаться страннымъ, но я могу увѣрить, что «National» и «Reforme» открыли бы огромные глаза, если-бъ кто-нибудь изъ иностранцевъ смѣлъ спросить денегъ за статью. Они приняли бы это за дерзость или за помѣшательство, какъ-будто иностранцу видѣть себя въ печати въ *парижскомъ* журналѣ не есть:

Lohn der reichlich lohnet.

Прудонъ согласился на мои требованія, но все-же они поколебали его. Вотъ что онъ писалъ мнѣ 29 августа 1849 года, въ Женеву: «Итакъ, дѣло рѣшено: подъ моей общей дирекціей вы имѣете участіе въ изданіи журнала, ваши статьи должны быть принимаемы *безъ всякаго контроля*, кромѣ того, къ которому редакцію обязываетъ уваженіе *къ своимъ мнѣніямъ* и страхъ судебной отвѣтственности. Согласные въ идеяхъ, мы можемъ только расходиться въ выводахъ, что же касается до обсуживанія заграничныхъ событій, мы ихъ совсѣмъ предоставляемъ вамъ. Вы и мы миссіонеры одной мысли. Вы увидите нашъ путь по общей полемикѣ, и вамъ надобно будетъ держаться его; я увѣренъ, что мнѣ никогда не придется *поправлять ваши мнѣнія*; я это счелъ бы величайшимъ несчастіемъ, скажу откровенно, весь успѣхъ журнала зависитъ отъ нашего согласія. Надобно вопросъ демократическій и соціальный поднять на высоту предпріятія европейской лиги. *Предположить*, что мы не будемъ согласны другъ съ другомъ, значить предположить, что у насъ недостаетъ необходимыхъ условій для изданія журнала и *что намъ было бы лучше молчать*». На эту строгую депешу я отвѣчалъ высылкою 24.000 фр. и длиннымъ письмомъ совершенно дружескимъ, но твердымъ; я говорилъ, насколько я теоретически согласенъ съ нимъ, прибавивъ, что я, какъ настоящий склѣпъ, съ радостію вижу, какъ разваливается старый міръ, и думаю, что наше призваніе возвѣщать ему его близкую кончину. «*Ваши со-*

отечественники далеки отъ того, чтобы раздѣлять эти идеи. Я знаю одного свободнаго француза,—это васъ. Ваши революціонеры—консерваторы. Они христіане, не зная того, и монархисты, сражаясь за республику. Вы одни подняли вопросъ негации и переворота на высоту науки, и вы первые сказали Франціи, что нѣтъ спасенія внутри разваливающагося зданія, что и спасать изъ него нечего, что самыя его понятія о свободѣ и революціи проникнуты консерватизмомъ и реакціей. Дѣйствительно, политическіе республиканцы составляютъ не больше какъ одну изъ варіацій на ту же конституціонную тему, на которую играютъ свои варіаціи Гизо, Одилонъ-Барро и др. Вотъ этотъ взглядъ слѣдовало бы проводить въ разборѣ послѣднихъ европейскихъ событій, преслѣдовать реакцію, католицизмъ, монархизмъ не въ ряду нашихъ враговъ—это чрезвычайно легко,—но въ собственномъ нашемъ станѣ. Надобно обличить круговую поруку демократовъ и власти. Если мы не боимся затрогивать побѣдителей, то не будемъ бояться изъ ложной сентиментальности затрогивать и побѣжденныхъ.

«Я глубоко убѣжденъ, что если леквизиція республики не убьетъ нашъ журналъ, это будетъ лучший журналъ въ Европѣ».

Я и теперь въ этомъ убѣжденъ. Но какъ же мы съ Прудономъ могли думать, что вовсе нецеремонное правительство Бонапарта допустить такой журналъ? Это трудно объяснить.

Прудонъ былъ доволенъ моимъ письмомъ и 15 сентября писалъ мнѣ изъ Консерватори. «Я очень радъ, что встрѣтился съ вами на одномъ или на одинаковомъ трудѣ, я тоже написалъ нѣчто въ родѣ философіи ¹⁾ подъ заглавіемъ «Исповѣдь революціонера». Въ ней, можетъ, не найдете вашего варварскаго задора (*verve barbare*), къ которому васъ приучила нѣмецкая философія. Не забывайте, что я пишу для французовъ, которые со всѣмъ своимъ революціоннымъ пыломъ, надо признаться, гораздо ниже своей роли. Какъ бы ограниченъ ни былъ мой взглядъ, все-же онъ на сто тысячъ туазовъ выше самыхъ высокихъ вершинъ нашего журнальнаго, академическаго и литературнаго міра; меня еще станетъ на десять лѣтъ, чтобы быть великаномъ между ними.

«Я совершенно раздѣляю ваше мнѣніе насчетъ такъ называемыхъ республиканцевъ; разумѣется, это одинъ видъ общей породы доктринеровъ. Что касается этихъ вопросовъ, намъ не въ чемъ убѣждать другъ друга. Во мнѣ и въ моихъ сотрудникахъ вы найдете людей, которые пойдутъ съ вами рука въ руку...

«Я также думаю, что методическій, мирный шагъ, незамѣт-

¹⁾ Я тогда напечаталъ «*Vom andern Ufer*».

ными переходами, какъ того хотятъ экономическія науки и философія исторіи, не возможенъ больше для революціи: намъ надобно дѣлать страшные скачки. Но, въ качествѣ публицистовъ, возвѣщая грядущую катастрофу, намъ не должно представлять ее необходимой и справедливой, а то насъ возненавидятъ и будутъ гнать, а намъ надобно *жить*»...

Журналъ пошелъ удивительно. Прудонъ изъ своей тюремной кельи мастерски дирижировалъ своимъ оркестромъ. Его статьи были полны оригинальности, огня и того раздраженія, которое тюрьма раздуваетъ.

«Кто вы такой, г. президентъ? пишетъ онъ въ одной статьѣ, говоря о Наполеонѣ, скажите—мужчина, женщина, гермафродитъ, звѣрь или рыба?» И мы все еще думали, что такой журналъ можетъ держаться!

Подписчиковъ было не много, но уличная продажа была велика, въ день продавалось отъ 35.000 до 40.000 экземпляровъ. Расходъ особенно замѣчательныхъ нумеровъ, напр. тѣхъ, въ которыхъ помѣщались статьи Прудона, былъ еще больше; редакция печатала ихъ отъ 50.000 до 60.000 и часто на другой день экземпляры продавались по *франку*, вмѣсто одного су ¹⁾.

Но совсѣмъ этимъ къ 1 марта, т. е. черезъ полгода, не только въ кассѣ не было ничего, но уже доля залога пошла на уплату штрафовъ. Гибель была неминуема. Прудонъ значительно ускорилъ ее. Это случилось такъ. Разъ я засталъ у него въ С. Пеллажи д'Алтонъ-Ше и двухъ изъ редакторовъ. Д'Алтонъ-Ше—тотъ перъ Франціи, который скандализовалъ Пакье и испугалъ всѣхъ перовъ, отвѣчая съ трибуны на вопросъ: «да развѣ вы не католикъ?»—«Нѣтъ, но еще больше, я вовсе не христіанинъ, да и не знаю, деистъ ли». Онъ говорилъ Прудону, что послѣдніе нумера «Voix du Peuple» слабы; Прудонъ разсматривалъ ихъ и становился все угрюмѣе, потомъ, совершенно разсерженный, обратился къ редакторамъ: «Что же это значитъ? Пользуясь тѣмъ, что я въ тюрьмѣ, вы спите тамъ въ редакціи. Нѣтъ, господа, эдакъ я откажусь отъ всякаго участія и напечатаю мой отказъ, я не хочу, чтобъ мое имя таскали въ грязи, у васъ надобно стоять за спиной, смотрѣть за каждой строкой. Публика принимаетъ это за мой журналъ, нѣтъ, этому надобно положить конецъ. Завтра я пришлю статью, чтобъ загладить дурное дѣйствіе вашего маранья, и покажу, какъ я разумію духъ, въ которомъ долженъ быть нашъ органъ». Видя его раздраженіе, можно было ожидать, что статья бу-

¹⁾ Мой отвѣтъ на рѣчь Донозо Кортеса. отпечатанный тысячь въ 50 экземпляровъ, вышелъ весь и, когда я попросилъ черезъ два, три дня себѣ нѣсколько экземпляровъ, редакция принуждена была скупить ихъ по книжнымъ лавкамъ.

детъ не изъ самыхъ умѣренныхъ, но онъ превзошелъ наши ожиданія, его *Vive l'Empereur* былъ днѣпрэмъ пропіи, пропіи ядовитой, страшной.

Сверхъ новаго процесса, правительство отомстило по-своему Прудону. Его перевели въ скверную комнату, т. е. дали гораздо худшую, въ ней забрали окно до половины досками, чтобъ нельзя было ничего видѣть, кромѣ неба, не велѣли къ нему пускать никого, къ дверямъ поставили особаго часового. И эти средства, не приличные для исправленія шестнадцатилѣтняго шалуна, употребляли семь лѣтъ тому назадъ съ однимъ изъ величайшихъ мыслителей нашего вѣка! Не поумнѣли люди со времени Сократа, не поумнѣли со времени Галилея, только стали мельче. Это неуваженіе къ гению, впрочемъ, явленіе новое, возобновленное въ послѣднее десятилѣтіе. Со времени Возрожденія талантъ становится до нѣкоторой степени охраной: ни Спинозу, ни Лессинга не сажали въ темную комнату, не ставили въ уголъ; такихъ людей иногда преслѣдуютъ и убиваютъ, но не унижаютъ мелочами, ихъ посылаютъ на эшафотъ, но не въ рабочій домъ.

Буржуазно-императорская Франція любитъ равенство.

Гонимый Прудонъ еще рванулся въ своихъ цѣпяхъ, еще сдѣлалъ усиліе издавать *Voix du Peuple* въ 1850; но этотъ опытъ былъ тотчасъ задушенъ. Мой залогъ былъ схваченъ до копейки. Пришлось замолчать единственному человѣку во Франціи, которому было еще что сказать.

Послѣдній разъ я видѣлся съ Прудономъ въ С. Пелажи; меня высылали изъ Франціи, ему оставались еще два года тюрьмы. Печально простились мы съ нимъ, не было ни тѣни близкой надежды. Прудонъ сосредоточенно молчалъ, досада кипѣла во мнѣ; у обопхъ было много думъ въ головѣ, но говорить не хотѣлось.

Я много слышалъ о его жесткости, *rudesse*, нетерпимости, на себѣ я ничего подобнаго не испыталъ. То, что *мягкіе* люди называютъ его жесткостью, были упругія мышцы бойца; нахмуренное чело показывало только сильную работу мысли, въ гнѣвѣ онъ напоминалъ сердящагося Лютера или Кромвеля, смѣющагося надъ Крупіономъ. Онъ зналъ, что я его понимаю, зналъ и то, какъ немногіе его понимаютъ, и цѣнилъ это. Онъ зналъ, что его считали за человѣка мало экспансивнаго, и, услышавъ отъ Мишле о несчастіи, постигшемъ мою мать и Колю, онъ написалъ мнѣ изъ С. Пелажи между прочимъ: «Неужели судьба еще и съ этой стороны должна добивать насъ. Я не могу придти въ себя отъ этого ужаснаго происшествія. Я васъ люблю и *глубоко ношу васъ* здѣсь, въ этой груди, которую такъ *многіе считаютъ каменной*».

Съ тѣхъ поръ я не видалъ его ¹⁾; въ 1851 г., когда я, по милости Леона Фоше, пріѣзжалъ въ Парижъ на нѣсколько дней, онъ былъ отосланъ въ какую-то центральную тюрьму. Черезъ годъ я былъ проездомъ и тайкомъ въ Парижѣ, Прудонъ тогда лечился въ Безансонѣ.

У Прудона есть отшибленный уголъ, и тутъ онъ неисправимъ; тутъ предѣлъ его личности, и, какъ всегда бываетъ, за нимъ онъ консерваторъ и человѣкъ преданія. Я говорю о его воззрѣніи на семейную жизнь и на значеніе женщины вообще. «Какъ счастливъ нашъ N.—говаривалъ Прудонъ, шутя,—у него жена не настолько глупа, чтобъ не умѣла приготовить хорошаго rot au feu, и не настолько умна, чтобъ толковать о его статьяхъ. Это все, что надобно для домашняго счастья».

Въ этой шуткѣ Прудонъ, смѣясь, выразилъ серьезную основу своего воззрѣнія на женщину. Понятія его о семейныхъ отношеніяхъ грубы и реакціонны, но и въ нихъ выражается не мѣщанскій элементъ горожанина, а скорѣе упорное чувство сельскаго pater familias'a, гордо считающаго женщину за подвластную работницу, а себя за самодержавную главу дома.

Года полтора послѣ того, какъ это было написано, Прудонъ издалъ свое большое сочиненіе «*О справедливости въ церкви и революціи*».

Книгу эту, за которую одичалая Франція снова осудила его на три года тюрьмы, прочиталъ я внимательно и закрылъ третій томъ, задавленный мрачными мыслями.

Тяжкое..... тяжкое время!..... Разлагающій воздухъ его одуряетъ сильнѣйшихъ.....

И этотъ «яркій боецъ» не выдержалъ, надломился; въ его послѣднемъ трудѣ я вижу ту же мощную діалектику, тотъ же розмахъ, но она приводитъ уже его къ прежде задуманнымъ результатамъ; она уже не свободна въ послѣднемъ словѣ. Я подъ конецъ книги слѣдилъ за Прудономъ, какъ Кентъ слѣдилъ за королемъ Лиромъ, ожидая, какъ онъ образумится, но онъ заговаривался больше и больше,—такіе же припадки нетерпимости, необузданной рѣчи, какъ у Лира, и такъ же «Every inch» обличаетъ талантъ, но..... талантъ «тронутый». И онъ бѣжитъ съ трудомъ, только не дочери, а матери, которую считаетъ живой! ²⁾

Романская мысль, религіозная въ самомъ отрицаніи, суевѣрная въ сомнѣніи, отвергающая одни авторитеты во имя другихъ, рѣдко погружалась далѣе, глубже in medias res дѣйствительности, рѣдко такъ діалектически смѣло и вѣрно снимала съ себя все

¹⁾ Послѣ писаннаго, я видѣлся съ нимъ въ Брюсселѣ.

²⁾ Я долею измѣнилъ мое мнѣніе объ этомъ сочиненіи Прудона (1866).

путы, какъ въ этой книгѣ. Она отрѣшилась въ ней не только отъ дуализма религіи, но и отъ ухищреннаго дуализма философіи; она освободилась не только отъ небесныхъ привидѣній, но и отъ земныхъ; она перешагнула черезъ сентиментальную апотеозу человѣчества, черезъ фатализмъ прогресса, у ней нѣтъ тѣхъ неизмѣняемыхъ литій о братствѣ, демократіи и прогрессѣ, которыя такъ жалко утомляютъ среди раздора и насилія. Прудонъ пожертвовалъ пониманью революціи ея идоламъ, ея языкомъ и перенесъ нравственность на единственную реальную почву,—грудь человѣческую, признающую одинъ разумъ и никакихъ кумировъ, «развѣ его».

И полѣ всего этого, великій иконоборецъ испугался освобожденной личности человѣка, потому что, освободивъ ее отвлеченно, онъ впалъ снова въ метафизику, придалъ ей *небывальную волю*, не слагилъ съ нея и повелъ на закланіе богу безчеловѣчному, холодному богу *справедливости*, богу равновѣсія, тишины, покоя, богу браминовъ, ищущихъ потерять все личное и распуснуться, опочить въ безконечномъ мірѣ ничтожества.

На пустомъ алтарѣ поставлены *вѣсы*. Это будутъ новые каудинскіе фургы для человѣчества.

«Справедливость», къ которой онъ стремится, даже не художественная гармонія Платоновой республики, не *изящное* уравниваніе страстей и жертвъ. Гальскій трибунъ ничего не беретъ изъ «анархической и легкомысленной Греціи», онъ стойчески попираетъ ногами личныя чувства, а не ищетъ согласовать ихъ съ требой семьи и общины. «Свободная» личность у него часовой и работникъ безъ выслуги, она несетъ службу и должна стоять на караулѣ до смѣны смертью, она должна морить въ себѣ все лично-страстное, все внѣшнее долгу, потому что *она не она*, ея смыслъ, ея сущность внѣ ея; она органъ справедливости, она *предназначена* носить въ мученіяхъ идею и водворить ее на свѣтъ для спасенія государства.

Семья, первая ячейка общества, первая ясли справедливости, осуждена на вѣчную, безвыходную работу: она должна служить жертвенникомъ очищенія отъ личнаго, въ ней должны быть вытравлены страсти. Суровая римская семья въ современной мастерской—идеаль Прудона. Христіанство слишкомъ изнѣжило семейную жизнь, оно предпочло Марію—Марѣѣ, мечтательницу—хозяйкѣ, оно простило согрѣшившей и протянуло руку раскаявшейся за то, что она много любила, а въ Прудоновой семьѣ именно надобно мало любить. И это не все: христіанство гораздо выше ставитъ личность, чѣмъ семейныя отношенія ея. Оно сказало сыну: «брось отца и мать и иди за мной», сыну, котораго слѣдуетъ, во имя *воплощенія справедливости*, снова заковать въ

колодки безусловной отцовской власти, сыну, который не может имѣть воли при отцѣ, пуще всего въ выборѣ жены. Онъ долженъ закалиться въ рабствѣ, чтобы въ свою очередь сдѣлаться тираномъ дѣтей, рожденныхъ безъ любви, по долгу, для продолженія семьи. Въ этой семьѣ бракъ будетъ нерасторгаемъ, но зато холодный какъ ледъ; бракъ собственно побѣда надъ любовью: чѣмъ меньше любви между женой-кухаркой и мужемъ-работникомъ, тѣмъ лучше. И эти старыя, изношенныя пугала, изъ гегелизма правой стороны, пришлось-то мнѣ еще разъ увидѣть подъ перомъ Прудона!

Чувство изгнано, все замерло, цвѣта исчезли, остался утомительный, тупой, безвыходный трудъ современнаго пролетарія, трудъ, отъ котораго, по крайней мѣрѣ, была свободна аристократическая семья древняго Рима, основанная на рабствѣ; нѣтъ больше ни поэзіи церкви, ни бреда вѣры, ни упованья рая, даже и стиховъ къ тѣмъ порамъ «не будутъ больше писать», по увѣренію Прудона, зато работа будетъ «увеличиваться». За свободу личности, за самобытность дѣйствія, за независимость можно пожертвовать религиознымъ убаюкиваніемъ, но пожертвовать всѣмъ для воплощенія идеи справедливости,—что это за вздоръ!

Человѣкъ осужденъ на работу, онъ долженъ работать до тѣхъ поръ, пока опустится рука, сынъ вынетъ изъ холодныхъ пальцевъ отца стругъ или молотъ и будетъ продолжать вѣчную работу. Ну, а какъ въ ряду сыновей найдется одинъ поумнѣе, который положить долото и спросить: «Да изъ чего же мы это выбиваемся изъ силъ?»—«Для торжества справедливости», скажетъ ему Прудонъ. А новый Каинъ отвѣтитъ ему: «Да кто же мнѣ поручилъ торжество справедливости?»—«Какъ кто?—развѣ все призваніе твое, вся твоя жизнь не есть воплощеніе справедливости?»—«Кто же поставилъ эту цѣль? скажетъ на это Каинъ. Это слишкомъ старо, Бога нѣтъ, а заповѣди остались. Справедливость не есть мое призваніе, работать не долгъ, а необходимость, для меня семья совсѣмъ не пожизненные колодки, а среда для моей жизни, для моего развитія. Вы хотите держать меня въ рабствѣ, а я бунтую противъ васъ, противъ вашего безмѣна, такъ, какъ вы всю вашу жизнь бунтовали противъ капитала, штыковъ, церкви, такъ, какъ всѣ французскіе революціонеры бунтовали противъ феодальной и католической традиціи. Или вы думаете, что послѣ взятія Бастиліи, послѣ террора, послѣ войны и голода, послѣ короля мѣщанина и мѣщанской республики, я повѣрю вамъ, что Ромео не имѣлъ правъ любить Джульету за то, что старые дураки Монтекки и Капулетти дили вѣковую ссору, и что я ни въ тридцать, ни въ сорокъ лѣтъ не могу выбрать себѣ подруги безъ позволенія отца, что измѣнившую женщину нужно

казнить, позорить? Да за кого же вы меня считаете съ вашей юстиціей?»

А мы съ своей діалектической стороны на подмогу Каину прибавили бы, что все понятіе о *цѣли* у Прудона совершенно непослѣдовательно. Телеологія, это—тоже теологія, это февральская республика, т. е. та же іюльская монархія, но безъ Людовика Филиппа. Какая же разница между предопредѣленной цѣлесообразностью и промысломъ? ¹⁾

Прудонъ, черезъ край освободивши личность, испугался, взглянувъ на своихъ современниковъ, и чтобъ эти каторжные, ticket of leave, не надѣлали бѣдъ, онъ ловить ихъ въ капканъ римской семьи.

Въ растворенныя двери реставрированнаго атриума, безъ ларя и пенатъ, видится уже не *Анархія*, не уничтоженіе власти, государства, а строгій чинъ, съ централизаціей, съ вмѣшательствомъ въ семейныя дѣла, съ наслѣдствомъ и съ лишеніемъ его за наказаніе; всѣ старые римскіе грѣхи выглядываютъ съ ними изъ щелей своими мертвыми глазами статуи.

Античная семья ведетъ естественно за собою античное отечество съ своимъ ревнивымъ патріотизмомъ, этой свирѣпой добродѣтелью, которая пролила вдесятеро больше крови, чѣмъ всѣ пороки вмѣстѣ.

Человѣкъ, прикрѣпленный къ семьѣ, дѣлается снова крѣпокъ землѣ. Его движенія очерчены, онъ пустилъ корни въ свое поле, онъ только на немъ то, что онъ есть: «французъ, живущій въ Россіи, говоритъ Прудонъ, русскій, а не французъ». Нѣтъ больше ни колоній, ни заграничныхъ факторій, живи каждый у себя...

«Голландія не погибнетъ, сказалъ Вильгельмъ Оранскій въ страшную годину, она сядетъ на корабли и уѣдетъ куда-нибудь въ Азію, а здѣсь мы спустимъ плотины». Вотъ какіе народы бываютъ свободны.

Такъ и англичане; какъ только ихъ начинаютъ тѣснить, они плывутъ за океанъ, и тамъ заводятъ юную и болѣе свободную Англію. А уже, конечно, нельзя сказать объ англичанахъ, чтобъ они или не любили своего отечества, или чтобъ они были не національны. Расплывающаяся во всѣ стороны Англія засѣлила полміра, въ то время, какъ скудная соками Франція—одни колоніи потеряла, а съ другими не знаетъ что дѣлать. Онъ ей и ненужны; Франція довольна собой и лѣпитъ все больше и больше къ своему средоточію, а средоточіе къ своему господину. Какая же независимость можетъ быть въ такой странѣ?

¹⁾ Самъ Прудонъ сказалъ: «Rein ne ressemble plus a la préméditation, que la logique des faits».

А, съ другой стороны, какъ же бросить Францію, la belle France? «Развѣ она и теперь не самая свободная страна въ мірѣ, развѣ ея языкъ—не лучший языкъ, ея литература—не лучшая литература, развѣ ея силлабическій стихъ—не звучнѣе греческаго гекзаметра!» Къ тому же ея всемірный геній усваиваетъ себѣ и мысль, и твореніе всѣхъ временъ и странъ: «Шекспиръ и Кантъ, Гёте и Гегель—развѣ не сдѣлались своими во Франціи?» И еще больше: Прудонъ забылъ, что она ихъ исправила и одѣла, какъ помѣщики одѣваютъ мужиковъ, когда ихъ берутъ во дворъ.

Прудонъ заключаетъ свою книгу католической молитвой, положенной на социализмъ; ему стоило только разстричь нѣсколько церковныхъ фразъ и прикрыть ихъ, вмѣсто клобука, фригійской шапкой, чтобъ молитва «бизантинскихъ» архіереевъ какъ-разъ пришлась архіерею социализма!

Что за хаосъ! Прудонъ, освобождаясь отъ всего, кромѣ *разума*, хотѣлъ остаться не только мужемъ въ родѣ Синей Бороды, но и французскимъ націоналистомъ, съ литературнымъ шовинизмомъ и безграничной родительской властью, а потому велѣдъ за крѣпкой, полной силъ мыслию свободного человѣка слышится голосъ свирѣпаго старика, диктующаго свое завѣщаніе и хотящаго теперь сохранить своимъ дѣтямъ ветхую храмину, которую онъ подкапывалъ всю жизнь.

Не любить романскій міръ свободы, онъ любитъ только домогаться ея; силы на *освобожденіе* онъ иногда находитъ, на *свободу*—никогда. Не печально ли видѣть такихъ людей, какъ Огюсть Контъ, какъ Прудонъ, которые послѣднимъ словомъ ставятъ: одинъ—какую-то мандаринскую іерархію, другой—свою каторжную семью и апотеозу безчеловѣчнаго *pereat mundus—fiat justitia!*

Раздумье по поводу затронутыхъ вопросовъ.

I.

... Съ одной стороны, безотвѣтно спаянная, заклепанная наглухо семья Прудона, неразрывный бракъ, нераздѣльность отцовской власти, семья, въ которой для *общественной* цѣли лица гибнутъ, *кромѣ одного*,—свирѣпый бракъ, въ которомъ признана неизмѣняемость чувствъ, кабала обѣту; съ другой—возникающія ученія, въ которыхъ бракъ и семья развязаны, признана неотра-

зимая власть страстей, необязательность былого и независимость лицъ.

Съ одной стороны, женщина, чуть не побиваемая камнями за измѣну, съ другой—самая ревность, поставленная hors la loi, какъ болѣзненное, искаженное чувство эгоизма, пропріетаризма и романтическаго ниспроверженія здоровыхъ и естественныхъ понятій.

Гдѣ истина... гдѣ діагональ? Двадцать три года тому назадъ, я уже искалъ выхода изъ этого лѣса противорѣчій ¹⁾.

Мы смѣлы въ отрицаніи и всегда готовы толкнуть всякаго перуна въ воду,—но перуны домашней и семейной жизни какъ-то water-proof, они все «выдываются». Можетъ, въ нихъ и не осталось смысла, но жизнь осталась: видно, орудія, употребляемая противъ нихъ, только скользнули по ихъ змѣиной чешуѣ, уронили ихъ, оглушили... но не убили.

Ревность... Вѣрность... Измѣна... Чистота... темныя силы, грозныя слова, по милости которыхъ текли рѣки слезъ, рѣки крови,—слова, заставляющія содрогаться насъ, какъ воспоминаніе объ инквизиціи, пыткѣ, чумѣ... и притомъ слова, подъ которыми, какъ подъ Дамокловымъ мечемъ, жила и живетъ семья.

Ихъ не выгонишь за дверь ни бранью, ни отрицаніемъ. Они остаются *за угломъ* и дремлютъ, готовые при малѣйшемъ поводѣ все губить, близкое и дальное—губить насъ самихъ...

Видно надобно оставить благое намѣреніе тушить до тла такіе тлѣющіе пожары и скромно ограничиться только тѣмъ, чтобъ разрушительный огонь человѣчески направить и укротить. Логикой страстей обуздать нельзя, такъ, какъ судомъ нельзя ихъ оправдать. Страсти—факты, а не догматы.

Ревность, сверхъ того, состояла на особыхъ правахъ. Сама по себѣ сильная и совершенно естественная страсть,—она до сихъ поръ, вмѣсто обузданія, укрощенія, была только подстрекаема. Ревность получила *jus gladii*, право суда и мести. Она сдѣлалась *долгомъ чести*, чуть не добродѣтелью. Все это не выдерживаетъ ни малѣйшей критики, но за тѣмъ все-же на днѣ души остается очень *реальное* и несокрушимое чувство *боли, несчастія*, называемое ревностью, чувство элементарное какъ само чувство любви, противостоящее всякому отрицанію—чувство «ирредуктибельное».

... Тутъ опять тѣ вѣчныя грани, тѣ Кавдинскія фуркулы, подъ которыя насъ гонитъ исторія. Съ обѣихъ сторонъ *правда*, съ обѣихъ *ложь*. Бойкимъ *entweder-oder* и тутъ ничего не возьмешь. Въ минуту полного отрицанія *одного* изъ терминовъ, онъ

¹⁾ „По поводу одной драмы“.

возвращается, такъ, какъ за послѣдней четвертью мѣсяца является съ другой стороны первая.

Гегель снималъ эти пограничные столбы человѣческаго разума, подымаясь въ *безусловный духъ*; въ немъ они не исчезали, а *преображались, исполнялись*, какъ выражалась нѣмецкая теологическая наука, — это мистицизмъ, философская теодицея, аллегорія и самое дѣло, намѣренно смѣшанные. Всѣ религіозныя примиренія непримиримаго дѣлаются *искупленіями*, т. е. священнымъ преобразованіемъ, такимъ разрѣшеніемъ, которое не разрѣшаетъ, а дается на вѣру. Что можетъ быть противоположиѣ *личной воли и необходимости*, а вѣрой и онѣ легко примиряются. Человѣкъ безропотно въ одно и то же время принимаетъ справедливость наказанія за поступокъ, который былъ предопредѣленъ.

Самъ Прудонъ поступилъ, въ другомъ порядкѣ вопросовъ, гораздо человѣчественнѣе нѣмецкой науки. Онъ выходитъ изъ экономическихъ противорѣчій тѣмъ, что признаетъ обѣ стороны подъ обузданіемъ высшаго начала. Собственность—*право* и собственность—*кража* становятся рядомъ, въ вѣчномъ колебаніи, въ вѣчномъ восполненіи, подъ постоянно растущимъ міродержавіемъ *справедливости*. Ясно, что противорѣчія и споръ переносятся въ другую сферу, и что къ отвѣту требовать приходится понятіе справедливости больше, чѣмъ право собственности.

Чѣмъ высшее начало проще, менѣе мистично и менѣе одно-сторонно, чѣмъ оно реальнѣе и прилагаемѣе, тѣмъ полнѣе оно сводитъ термины противорѣчащіе на ихъ наименьшее выраженіе.

Безусловный, «перехватывающій» духъ Гегеля замѣненъ у Прудона грозною идеей справедливости.

Но и ею врядъ ли разрѣшатся вопросы страстей. Страсть сама по себѣ несправедлива. Справедливость отвлекается отъ личностей, она междулична,—страсть только индивидуальна.

Тутъ выходъ не въ судъ, а въ человѣческомъ развитіи личностей, въ выводѣ ихъ изъ лирической замкнутости на бѣлый свѣтъ, въ *развитіи общихъ интересовъ*.

Радикально уничтожить ревность, значитъ уничтожить *любовь къ лицу*, замѣняя ее любовью къ женщинѣ или къ мужчинѣ, вообще любовью къ полу. Но именно только *личное, индивидуальное* и нравится, оно-то и даетъ колоритъ, *tonus*, страстность всей нашей жизни. Нашъ лиризмъ—*личный*, наше счастье и несчастье — *личное* счастье и несчастье. Доктринаризмъ со всей своей логикой такъ же мало утѣшаетъ въ личномъ горѣ, какъ и римскія консоляціи съ своей риторикой. Ни слезъ о потерѣ, ни слезъ ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтобъ *онъ лилисъ человѣчески...* и чтобъ въ нихъ равно не было

ни монашескаго яда, ни дикости звѣря, ни вопля уязвленнаго собственника ¹⁾.

II.

Свести отношенія мужчины и женщины на случайную половую встрѣчу такъ же невозможно, какъ поднять и свинтить ихъ до гробовой доски въ неразрывномъ бракѣ. И то, и другое можетъ встрѣтиться на закраинахъ половыхъ и брачныхъ отношеній, какъ частный случай, какъ исключеніе, но не какъ общее правило. Половое отношеніе перервется или будетъ постоянно стремиться къ болѣе тѣсному и прочному соединенію такъ, какъ нерасторгаемый бракъ—къ освобожденію отъ внѣшней цѣпи.

Люди постоянно протестовали противъ обѣихъ крайностей. Нерасторгаемый бракъ былъ принимаемъ ими лицемѣрно или сгоряча. Случайная близость никогда не имѣла полной интимности, ее всегда скрывали, такъ, какъ хвастались бракомъ. Всѣ попытки официальной регламентаціи публичныхъ домовъ, несмотря на то, что онѣ имѣютъ въ виду ихъ стѣсненіе, оскорбляютъ общественный, нравственный смыслъ. Онѣ въ устройствѣ видятъ признаніе. Проектъ, сдѣланный однимъ господиномъ въ Парижѣ, во время Директоріи, о заведеніи привилегированныхъ публичныхъ домовъ, съ своей іерархіей и проч., былъ даже въ тѣ времена принятъ свистомъ и палъ подъ громомъ смѣха и пренебреженія.

¹⁾ Читая корректурный листъ, мнѣ попала французская газета, въ которой разсказанъ чрезвычайно характеристическій случай. Возлѣ Парижа какой-то студентъ завелъ связь съ дѣвушкой, связь эта открылась. Отецъ ея отправился къ студенту и умолялъ его со слезами, *на коленяхъ возстановить* честь дочери и жениться на ней; студентъ съ дерзостью отказался. Колѣнопреклоненный отецъ далъ ему пощечину, студентъ его вызвалъ, они стрѣлялись; во время дуэли, старика хватилъ параличъ, изуродовавшій его. Студентъ сконфузился и „рѣшилъ жениться“, а невѣста огорчилась и рѣшилась выйти замужъ. Газета прибавляетъ, что такая *счастливая* развязка, вѣрно, будетъ много способствовать къ выздоровленію старика. Неужели все это не сумасшедшій домъ, неужели Китай, Индія, надъ юродствами и уродствами которыхъ мы столько издѣваемся, представляютъ что-нибудь безобразнѣе, глупѣе этой исторіи; я уже не говорю безнравственнѣе. Парижскій романъ въ сто разъ преступнѣе всѣхъ поджариваемыхъ вдовъ и зарываемыхъ весталокъ. Тамъ *вѣра*, снимающая всякую отвѣтственность, а здѣсь одни условныя, призрачныя понятія о внѣшней чести, о внѣшней репутаціи... Не явно ли изъ дѣла, что за человекъ студентъ? За что же судьбу дѣвушки сковали съ нимъ à regretuité? За что же ее сгубили для спасенія имени! О Бедламъ! (1866).

Роду человѣческому приходилось или вымереть, или быть непослѣдовательнымъ. Оскорбленная жизнь протестовала.

Протестовала она не только фактами, сопровождаемыми раскаяніемъ и угрызеніемъ совѣсти, а сочувствіемъ, реабилитаціей. Протестъ начался въ самый разгаръ католичества и рыцарства.

Грозный мужъ, Рауль Синяя борода, въ латахъ съ мечемъ, своевольный, ревнивый и безпощадный, босой монахъ, угрюмый, безумный, изувѣръ, готовый мстить за свои лишенія, за свою ненужную борьбу, тюремщики, палачи, лазутчики... и гдѣ-нибудь въ башнѣ или подвалѣ рыдающая женщина, юноша пажъ въ цѣпяхъ, за которыхъ никто не вступится. Все мрачно, дико, вездѣ кровь, ограниченность, насиліе и латинская молитва въ носъ.

Но за спиной монаха, исповѣдника и тюремщика, стоящихъ на стражѣ брака съ грознымъ мужемъ, отцомъ, братомъ, слагается въ тиши *народная легенда*, раздается пѣсня, ходитъ изъ мѣста въ мѣсто, изъ замка въ замокъ, съ трубадуромъ и минезенгеромъ,—она поетъ за несчастную женщину. Судъ разить—пѣсня отпускаетъ. Она защищаетъ влюбленного пажа, падшую жену, угнетенную дочь—не разсужденіемъ, а сочувствіемъ, жалостью, плачемъ. Пѣсня для народа—его свѣтская молитва, его *другой* выходъ изъ голодной, холодной жизни, душевной тоски и тяжелой работы.

Въ праздничные дни, литаніи Богородицѣ смѣнялись печальными звуками *des complaints*, которые не предавали позору несчастную женщину, а оплакивали ее и ставили передъ всѣхъ скорбящей Дѣвой, прося Ея заступы и прощенья.

Изъ пѣсень и легендъ протестъ растетъ въ романъ и драму. Въ драмѣ онъ становится силой. Обиженная любовь, мрачныя тайны семейной неправды получили свою трибуну, свой публичный судъ. Процессъ ихъ потрясалъ тысячи сердецъ, вырывая слезы и крики негодованія противъ кабальнаго брака и насильственно скованной семьи. Присяжные партера и ложъ произносили постоянно свое оправданіе лицамъ и осужденіе институтамъ.

Между тѣмъ, въ эпоху политическихъ перестроекъ и свѣтскаго направленія умовъ, одна изъ двухъ крѣпкихъ ножекъ брака стала подламываться. Переставая все болѣе и болѣе быть таинствомъ, т. е., теряя послѣднюю основу свою, онъ тѣмъ больше опирался на полицію. Только мистическимъ вмѣшательствомъ высшей силы и можетъ быть оправданъ христіанскій бракъ. Тутъ есть своя логика. Квартальный, надѣвающий на себя трехцвѣтный шарфъ и вѣщающій съ гражданскимъ кодексомъ въ рукѣ, гораздо нелѣпѣе священника въ ризѣ, окруженного дымомъ ладона, образами, чудесами. Самъ первый консулъ Наполеонъ, самый буржуазно-политическій человѣкъ въ дѣлѣ любви и семьи, догадался, что бракъ на съѣзжей больно плохъ, и уговаривалъ Камбасереса

прибавить какую-нибудь обязательную фразу, моральную, особенно такую, которая поучала бы новобрачную, что *она* обязана быть *вѣрной* мужу (о немъ ни слова) и слушаться его.

Какъ скоро бракъ выходитъ изъ сферъ мистицизма, онъ дѣлается expedient—внѣшней мѣрой. Ее ввели испуганные «Синія Бороды», обрившіеся и сдѣлавшіеся «синими подбородками», Раули въ судейскихъ парикахъ, академическихъ фракахъ, народные представители и либералы, поны кодекса. Гражданскій бракъ—мѣра государственнаго хозяйства, освобожденіе государства отъ воспитанія дѣтей и вящее прикрѣпленіе людей къ собственности. Бракъ безъ вмѣшательства церкви сдѣлался кабальнымъ контрактомъ на пожизненное отданіе своего тѣла другъ другу. До вѣры законодателю дѣла нѣтъ, лишь бы контрактъ былъ исполненъ, а не будетъ исполненъ, онъ найдетъ средства наказать и добить. Да отчего же и не наказать? Въ Англіи, въ классической странѣ юридическаго развитія, подвергаютъ же страшнѣйшимъ истязаніямъ шестнадцатилѣтняго мальчика, котораго старый казарменный сводникъ, съ лентами на шляпѣ, напоить элемъ и джиномъ и завербуетъ въ полкъ. Отчего же не наказывать позоромъ, развореніемъ, выдачей головой дѣвочку, которая, не давая себѣ отчета въ томъ, что дѣлаетъ, законтрактовалась на пожизненную любовь и допустила extra, забывая, что season ticket не передается.

Но и на «синій подбородокъ» нашлись свои труверы и романисты. Противъ контрактнаго брака водрузился догматъ психіатрической, фізіологической, догматъ *абсолютной непреложности страстей и человѣческой несостоятельности бороться съ ними.*

Вчерашніе рабы брака идутъ въ рабство любви. На любовь суда нѣтъ, противъ нея силъ нѣтъ.

Затѣмъ стирается всякій разумный контроль, всякая отвѣтственность, всякое самообузданіе. Покореніе человѣка неотразимымъ и неподчиненнымъ ему силамъ дѣло совершенно противоположное тому освобожденію въ разумѣ и разумомъ, тому образованію характера свободнаго человѣка, къ которому стремятся, разными путями, всѣ соціальныя ученія.

Мнимыя силы, если люди ихъ принимаютъ за дѣйствительныя, точно такъ же мощны, какъ и дѣйствительныя, и это потому, что матеріалъ, даваемый человѣкомъ, *тотъ же*, какая была ни была. Человѣкъ, который боится духовъ, и человѣкъ, который боится бѣшеныхъ собакъ, боится одинаковымъ образомъ и можетъ умереть отъ страха. Разница въ томъ, что въ одномъ случаѣ человѣку можно доказать, что онъ боится вздора, а въ другомъ нельзя.

Я отрицаю то царственное мѣсто, которое даютъ *любви* въ

жизни, я отрицаю ея самодержавную власть и протестую противъ слабодушнаго оправданія увлеченіемъ.

Неужели мы освободились отъ всего на свѣтѣ, отъ Бога и діавола, отъ римскаго и уголовнаго права, и провозгласили разумъ единственнымъ путеводителемъ и регуляторомъ для того, чтобъ скромно, какъ Геркулесъ, лечь у ногъ Омфалы или уснуть на колѣняхъ Далилы? Неужели женщина искала своего освобожденія отъ ига семьи, вѣчной опеки, тиранства мужа, отца, брата, искала своихъ правъ на самобытный трудъ, на науку и гражданское значеніе для того, чтобъ снова начать всю жизнь ворковать какъ горлица и изнывать отъ десятка Леоне-Леони вмѣсто одного?

Да, женщину въ этомъ вопросѣ мнѣ всего больше жаль, ея безвозвратнѣе точить и губить всепожирающій Молохъ любви. Она больше вѣруетъ въ него, больше страдаетъ. Она больше сосредоточена на одномъ половомъ отношеніи, больше *загнана въ любовь*... Она больше сведена съ ума, и меньше насъ доведена до него.

Мнѣ ее жаль.

III.

Развѣ кто-нибудь серьезно, честно старался разбить предразсудки въ женскомъ воспитаніи? Ихъ разбиваетъ опытъ, и оттого-то ломится не предразсудокъ, а жизнь.

Люди обходятъ вопросы, насъ занимающіе, какъ старухи и дѣти обходятъ кладбище или мѣста, на которыхъ совершилось злодѣйство. Однѣ боятся нечистыхъ духовъ, другія чистой правды, и остаются при фантастическомъ неустройствѣ и неизслѣдованной тѣмѣ. Серьезнаго единства во взглядѣ на половыя отношенія такъ же мало, какъ во всѣхъ практическихъ сферахъ. Все еще мерещится возможность соединить христіанскую нравственность, идущую отъ покаянія плоти на *томъ свѣтѣ*, съ земной, реальной нравственностью *этого свѣта*. Съ досады, что не ладится, и чтобъ недолго мучить себя надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, люди оставляютъ по выбору и по вкусу то, что имъ нравится изъ церковнаго ученія, и бросаютъ то, что не нравится, на томъ самомъ основаніи, на которомъ, не соблюдая постовъ, усердно ѣдятъ блины, и, не оставляя веселыхъ религіозныхъ обычаевъ, устраняются отъ скучныхъ. А, кажется, давно пора внести больше спѣлости и мужества въ поведеніе. Пусть уважающій законъ остается подзаконнымъ и не нарушаетъ его, а непринимающій—свободнымъ отъ него открыто и сознательно.

Трезвый взглядъ на людскія отношенія гораздо труднѣе для женщины, чѣмъ для насъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣній; онѣ больше обмануты воспитаніемъ, меньше знаютъ жизнь, и оттого чаще оступаются и ломаютъ голову и сердце, чѣмъ освобождаются, всегда бунтуютъ и остаются въ рабствѣ, стремятся къ перевороту и пуще всего поддерживаютъ существующее.

Съ дѣтскихъ лѣтъ дѣвушка испугана половымъ отношеніемъ, какой-то *страшной, нечистой тайной*, отъ которой ее предостерегаютъ, отстрачиваютъ, какъ-будто этотъ грѣхъ имѣетъ какую-то чарующую силу. И потомъ то же чудовище, то же *magnum ignotum*, пятнающее неизгладимымъ пятномъ, дальнѣйшій намекъ на которое заставляетъ краснѣть и позорить, ставится цѣлью ея жизни. Мальчику, едва умѣющему ходить, даютъ жестяную саблю, приучая его къ убійству, ему пророчатъ гусарскій мундиръ и эполеты; дѣвочку убаюкиваютъ надеждой богатаго, красиваго жениха, и она мечтаетъ объ эполетахъ, но не на своихъ плечахъ, а на плечахъ суженаго.

Dors, dors, mon enfant,
Jusqu'a l'âge de quinze ans,
A quinze ans faut te réveiller,
A quinze ans faut te marier.

Надобно дивиться хорошей человѣческой натурѣ, не поддающей такому воспитанію,—слѣдовало бы ожидать, что всѣ дѣвочки, такъ убаюканныя съ пятнадцати лѣтъ, пустятся на ускоренную замѣну убитыхъ мальчиками, приученными съ дѣтства къ смертоноснымъ оружіямъ.

Христіанское ученіе вселяетъ ужасъ передъ «плотью», прежде чѣмъ организмъ сознаетъ свой полъ; оно будитъ въ ребенкѣ опасный вопросъ, бросаетъ тревогу въ отроческую душу, и, когда приходитъ время отвѣта, *другое* ученіе возводитъ, какъ мы сказали, для дѣвушки половое назначеніе въ искомый идеаль; ученица становится *невѣстой*, и та же тайна, тотъ же грѣхъ, но *очищенный*, является вѣнцомъ воспитанія, желаніемъ всѣхъ родныхъ, стремленіемъ всѣхъ усилій, чуть не общественнымъ долгомъ. Искусства и науки, образованіе, умъ, красота, богатство, грація,—все устремлено туда же, все это розы, которыми усыпается путь къ тому же грѣху, мысль о которомъ считалась преступленіемъ, но которое измѣнило свою сущность.

Словомъ, отрицательно и положительно все воспитаніе женщины остается воспитаніемъ половыхъ отношеній, около нихъ вертится вся ея послѣдующая жизнь... *отъ нихъ* она бѣжитъ, *къ нимъ* она бѣжитъ, *ими* опозорена, *ими* гордится... Сегодня хранить отрицательную святость непорочности, сегодня ближайшей подругѣ, краснѣя, шепотомъ, говорить о любви, завтра при блескѣ

и шумѣ, при толпѣ, зажженныхъ люстрахъ и громѣ музыки, бросается въ объятія мужчины.

Невѣста, жена, мать—женщина едва подѣ старость, *бабушкой*, освобождается отъ половой жизни и становится самобытнымъ существомъ, особенно, если *дѣдушка* умеръ. Женщина, помѣченная любовью, нескоро ускользаетъ отъ нея... беременность, кормленіе, воспитаніе, развитіе той же тайны, того же акта любви, въ женщинѣ онѣ продолжается не въ одной памяти, а въ крови и въ тѣлѣ, въ ней онѣ бродитъ и зрѣетъ, и, разрываясь,—не разрывается.

Выпутаться женщинѣ изъ этого хаоса—геройскій подвигъ, его совершаютъ однѣ рѣдкія, исключительныя натуры; остальные женщины мучатся, и если не сходятъ съ ума, то только благодаря легкомыслію, съ которымъ мы всѣ живемъ до грозныхъ столкновений и ударовъ, не мудрствуя лукаво и безсмысленно переходя съ дня на день, отъ случайности къ случайности и отъ противорѣчія къ противорѣчію.

Какую ширину, какое человѣчески-сильное и человѣчески-прекрасное развитіе надобно имѣть женщинѣ, чтобъ перешагнуть всѣ палисады, всѣ частоколы, въ которыхъ она поймана!

Я видѣлъ одну борьбу и одну побѣду...

ГЛАВА XLII.

Coup d'état.—Прокуроръ покойной республики.—Гласъ коровій въ пустынѣ.—Высылка прокурора.—Порядокъ и цивилизація торжествуютъ.

«Vive la mort, друзья! И съ новымъ годомъ! Теперь будемъ послѣдовательны, не измѣнимъ собственной мысли, не испугаемся осуществленія того, что мы предвидѣли, не отречемся отъ знанія, до котораго дошли скорбнымъ путемъ. Теперь будемъ сильны и стоимъ за наши убѣжденія.

«Мы давно видѣли приближающуюся смерть; мы можемъ печалиться, принимать участіе, но не можемъ ни удивляться, ни отчаиваться, ни понурить голову. Совсѣмъ напротивъ, намъ надо ее поднять—мы оправданы. насъ называли зловѣщими воронами, накликающими бѣды, насъ упрекали въ расколѣ, въ незнаніи народа, въ гордомъ удаленіи, въ дѣтскомъ негодованіи, а мы были только виноваты въ истинѣ и въ откровенномъ высказываніи ея. Рѣчь наша, оставаясь та же, становится утѣшеніемъ, одобреніемъ утраченныхъ событіями въ Парижѣ». (*Письма изъ Франціи и Италіи, Письмо XIV, Ницца, 31 окт. 1851.*)

Утромъ, помнится 4 декабря, вошелъ ко мнѣ нашъ поваръ Pasquale Росса и съ довольнымъ видомъ объявилъ, что въ городѣ

продаютъ афиши съ извѣщеніемъ о томъ, что «Бонапартъ разогналъ собраніе и назначилъ *красное* правительство». Кто такъ усердно служилъ Наполеону и распространялъ, даже внѣ Франціи (тогда Ницца была итальянской), такіе слухи въ народѣ,—не знаю, но каково должно быть число всякаго рода агентовъ, политическихъ кочегаровъ, взбивателей, подогрѣвателей, когда и на Ниццу хватило?

Черезъ часъ явились Фогтъ, Орсини, Хоецкій, Матьё и др.,—все были удивлены... Матьё, типичское лице изъ французскихъ революціонеровъ, былъ внѣ себя.

Лысый, съ черепомъ въ видѣ грецкаго орѣха, т. е., съ черепомъ чисто гальскимъ, непомѣстительнымъ, но упрямымъ, съ большой, темной и нечесаной бородой, съ довольно добрымъ выраженіемъ и маленькими глазами—Матьё походилъ на пророка, на юродиваго, на авгура и на его птицу. Онъ былъ юристъ и въ счастливые дни февральской республики былъ гдѣ-то прокуроромъ или за прокурора. Революціонеръ онъ былъ до конца ногтей: онъ отдался революціи такъ, какъ отдаются религіи, съ полной вѣрой, никогда не дерзалъ ни понимать, ни сомнѣваться, ни мудрствовать лукаво, а любилъ и вѣрилъ, называлъ Ледрю-Роллена—Ледрррю и Луи-Блана—Бланомъ просто, говорилъ, когда могъ *citoyen*, и постоянно конспирировалъ.

Получивши вѣсть о 2 декабрѣ, онъ исчезъ и возвратился черезъ два дня, съ глубокимъ убѣжденіемъ, что Франція поднялась, *que cela chauffe* и особенно на югѣ, въ Варскомъ департаментѣ, около Драгиньяна. Главное дѣло состояло въ томъ, чтобъ войти въ сношенія съ представителями возстанія... Кой-кого онъ видѣлъ и съ ними рѣшилъ ночью, перейдя Варъ, на извѣстномъ мѣстѣ, собрать на совѣщаніе людей важныхъ и надежныхъ... Но, чтобъ жандармы не могли догадаться, было положено съ обѣихъ сторонъ подавать сигналы «коровимъ мычаніемъ». Если дѣло пойдетъ на ладъ, Орсини хотѣлъ привести всехъ своихъ друзей и, не совѣмъ довѣряя вѣрному взгляду Матьё, самъ отправился вмѣстѣ съ нимъ черезъ границу. Орсини возвратился, покачивая головой, однако, вѣрный своей революціонной и немного кондотьерской натурѣ, сталъ готовить своихъ товарищей и оружіе. Матьё пропалъ.

Черезъ сутки, ночью меня будить Рокка, часа въ четыре:

«Два господина прямо съ дороги, имъ очень нужно, говорить они, васъ видѣть. Одинъ изъ нихъ далъ эту записку».—«Гражданинъ, Бога ради, какъ можно скорѣе, вручите подателю 300 или 400 фран., крайне нужно. Матьё».

Я захватилъ деньги и сошелъ внизъ: въ полумракѣ сидѣли у окна двѣ замѣчательныя личности; привычный ко всемъ мун-

дирамъ революціи, я все-таки былъ пораженъ посѣтителями. Оба были покрыты грязью и глиной, съ колѣнъ до пятокъ, на одномъ былъ красный шарфъ, шерстяной и толстый; на обоихъ затасканныя пальто, по жилету поясъ, за поясомъ большіе пистолеты, остальное, какъ слѣдуетъ—всклоченные волосы, большія бороды и крошечныя трубки. Одинъ изъ нихъ, сказавъ *сitouen*, произнесъ рѣчь, въ которой коснулся до моихъ цивическихъ добродѣтелей и до денегъ, которыя ждетъ Матѣ. Я отдалъ деньги.

— Онъ въ безопасности? спросилъ я.

— Да, отвѣчалъ его посолъ, мы сейчасъ идемъ къ нему за Варъ. Онъ покупаетъ лодку.

— Лодку? зачѣмъ?

— Гражданинъ Матѣ имѣетъ цѣлый планъ высадки,—гнусный трусъ лодочникъ не хотѣлъ дать въ наемъ лодку...

— Какъ, высадку во Франціи... съ одной лодкой...

— Пока, гражданинъ, это тайна.

— *Comme de raison*.

— Прикажете расписку?

— Помилуйте, зачѣмъ.

На другой день явился самъ Матѣ, точно также по уши въ грязи... и усталый до изнеможенія; онъ всю ночь мычалъ коровой, нѣсколько разъ казалось слышалъ отвѣтъ, шелъ на сигналъ и находилъ дѣйствительнаго быка или корову. Орсини, прождавъ его гдѣ-то часовъ десять кряду, тоже возвратился. Разница между ними была та, что Орсини, вымытый и какъ всегда со вкусомъ и чисто одѣтый, походилъ на человѣка, вышедшаго изъ своей спальни, а Матѣ носилъ на себѣ всѣ признаки, что онъ нарушалъ спокойствіе государства и покушался возстать.

Началась исторія лодки. Долго ли до грѣха, сгубилъ бы онъ полдюжины своихъ, да полдюжины итальянцевъ. Остановить, убѣдить его было невозможно. Съ нимъ показались и военачальники, приходившіе ко мнѣ ночью; можно было быть увѣренными, что онъ компрометируетъ не только всѣхъ французовъ, но и насъ всѣхъ въ Ниццѣ. Хоецкій взялся его уговорить и сдѣлалъ это артистомъ.

Окно Хоецкаго, съ небольшимъ балкономъ, выходило прямо на взморье. Утромъ онъ увидѣлъ Матѣ, бродящаго съ таинственнымъ видомъ по берегу моря... Хоецкій сталъ ему дѣлать знаки; Матѣ увидѣлъ и показалъ, что сейчасъ придетъ къ нему, но Хоецкій выразилъ страшнѣйшій ужасъ,—телеграфировалъ ему руками неминуемую опасность и требовалъ, чтобъ онъ подошелъ къ балкону. Матѣ, оглядываясь и на цыпочкахъ, подкрался.

— Вы не знаете? спросилъ его Хоецкій.

— Что?

— Въ Ниццѣ взводъ французскихъ жандармовъ.

— Что вы?

— Ш-ш-ш-ш... Ищутъ васъ и вашихъ друзей, хотятъ дѣлать у насъ домовый обыскъ,—васъ сейчасъ схватятъ, не выходите на улицу.

— Violation du territoire... я буду протестовать.

— Непремѣнно, только теперь спасайтесь.

— Я въ St.-Helène, къ Герцену.

— Съ ума вы сошли. Прямо себя отдать въ руки: дача его на границѣ, съ огромнымъ садомъ, и не провѣдаютъ, какъ возмуть; да и Рокка видѣлъ уже вчера двухъ жандармовъ у воротъ.

Матѣ задумался.

— Идите моремъ къ Фогту, спрячьтесь у него покажѣсть, онъ, кстати, всего лучше вамъ дастъ совѣтъ.

Матѣ берегомъ моря, т. е. вдвое дальше, пошелъ къ Фогту и началъ съ того, что разсказалъ ему отъ доски до доски разговоръ съ Хоецкимъ. Фогтъ въ ту же минуту понялъ въ чемъ дѣло и замѣтилъ ему:

— Главное, любезный Матѣ, не теряйте ни минуты времени. Вамъ черезъ два часа надобно ѣхать въ Туринъ—за горой проходитъ дилижансъ, я возьму мѣсто и проведу васъ тропинкой.

— Я сбѣгаю домой за пожитками... и прокуроръ республики нѣсколько замаялся.

— Это еще хуже, чѣмъ идти къ Герцену. Что вы, въ своемъ ли умѣ, за вами слѣдятъ жандармы, агенты, шпіоны... а вы домой цѣловаться съ вашей толстой провансалкой, экой Селадонъ. Дворникъ! закричалъ Фогтъ (дворникъ его дома былъ крошечный нѣмецъ, уморительный, похожій на давно немытый кофейникъ и очень преданный Фогту),—пишите скорѣе, что вамъ нужна рубашка, платокъ, платье, онъ принесетъ, и, если хотите, приведетъ сюда вашу Дульцинею, цѣлуйтесь и плачьте, сколько хотите.

Матѣ отъ избытка чувствъ обнялъ Фогта.

Пришелъ Хоецкій.

— Торопитесь, торопитесь, говорилъ онъ съ зловѣщимъ видомъ.

Между тѣмъ, воротился дворникъ, пришла и Дульцинея,—осталось ждать, когда дилижансъ покажется за горой. Мѣсто было взято.

— Вы, вѣрно, опять рѣжете гнилыхъ собакъ или кроликовъ? спросилъ Хоецкій у Фогта—*quel chien de métier?*..

— Нѣтъ.

— Помилуйте, у васъ такой запахъ въ комнатѣ, какъ въ катакомбахъ въ Неаполѣ.

— Я и самъ чувствую, но не могу понять, это изъ угла... вѣрно мертвая крыса подъ поломъ—страшная вонь, и онъ снялъ шинель Матѣ, лежавшую на стулѣ. Оказалось, что запахъ идетъ изъ шинели.

— Что за чума у васъ въ шинели? спросилъ его Фогтъ.

— Ничего нѣтъ.

— Ахъ, это вѣрно я, замѣтила, краснѣя, Дульцинея, я ему положила на дорогу фунтъ лимбургскаго сыра въ карманъ, un peu trop fait.

— Поздравляю вашихъ сосѣдей въ дилижансѣ, кричалъ Фогтъ, хохоча, какъ онъ одинъ въ свѣтѣ умѣетъ хохотать. Ну, однако пора.—Маршъ!

И Хоецкій съ Фогтомъ выпроводили агитатора въ Туринъ.

Въ Туринѣ Матѣ явился къ министру внутреннихъ дѣлъ съ протестомъ. Тотъ его принялъ съ досадой и смѣхомъ.

— Какъ же вы могли думать, чтобъ французскіе жандармы ловили людей въ Сардинскомъ королевствѣ,—вы нездоровы.

Матѣ сослался на Фогта и Хоецкаго.

— Ваши друзья, сказалъ министръ, надъ вами пошутили Матѣ написалъ Фогту; тотъ нагородилъ ему, не знаю какой вздоръ въ отвѣтъ. Но Матѣ надулся, особенно на Хоецкаго, и черезъ нѣсколько недѣль написалъ мнѣ письмо, въ которомъ, между прочимъ, писалъ: «Вы одинъ, гражданинъ, изъ этихъ господъ не участвовали въ коварномъ поступкѣ противъ меня...»

Къ характеристическимъ странностямъ этого дѣла принадлежить, безъ сомнѣнія, то, что возстаніе въ Варѣ было очень сильное, что народные массы дѣйствительно поднялись и были усмирены оружіемъ, съ обыкновенной французской кровожадностью. Отчего же Матѣ и тѣлохранители его, при всемъ усердіи и мычаніи, не знали, гдѣ къ нимъ примкнуть? Никто не подозрѣваетъ ни его, ни его товарищей, что они намѣренно ходили пачкаться въ грязи и глины и не хотѣли идти туда, гдѣ была опасность,—совсѣмъ нѣтъ. Это вовсе не въ духѣ французовъ, о которыхъ Дельфина Ге говорила, «что они всего боятся, за исключеніемъ ружейныхъ выстрѣловъ», и еще больше не въ духѣ de la démocratie militante и красной республики... Отчего же Матѣ шель направо, когда возставшіе крестьяне были налѣво?

Нѣсколько дней спустя, какъ желтый листъ, гонимый вихремъ, стали падать на Ниццу несчастныя жертвы подавленнаго возстанія. Ихъ было такъ много, что піемонтское правительство, до поры-до времени, дозволило имъ остановиться какими-то биваками или цыганскимъ таборомъ возлѣ города. Сколько бѣдствій и несчастій видѣли мы на этихъ кочевьяхъ,—это та страшная, закулисная часть внутреннихъ войнъ, которая обыкновенно

остается за большой рамой и пестрой декорацией вторых декаблей.

Тутъ были простые земледѣльцы, мрачно тосковавшіе о домѣ, о своей землицѣ, и наивно говорившіе: «Мы вовсе не возмутители и не *partageux*; мы хотѣли защищать порядокъ, какъ добрые граждане, *ce sont ces coquins*, которые насъ вызвали (т. е. чиновники, меры, жандармы), они измѣнили присягѣ и долгу,—а мы теперь должны умирать съ голоду въ чужомъ краѣ или идти подъ военный судъ?... Какая же тутъ справедливость?»—И дѣйствительно, *coup d'état*, въ родѣ второго декабря, убиваетъ больше, чѣмъ людей,—онъ убиваетъ всякую нравственность, всякое понятіе о добрѣ и злѣ у цѣлаго населенія, это такой урокъ разврата, который не можетъ пройти даромъ. Въ числѣ ихъ были и солдаты, *troupiers*, которые не могли сами надивиться, какъ они, вопреки дисциплины и приказаній капитана, очутились не съ той стороны, съ которой полкъ и знамя. Ихъ число, впрочемъ, не было велико.

Тутъ были простые, небогатые буржуа, которые на меня не дѣлаютъ того омерзительнаго впечатлѣнія, какъ непростые,—жалкіе, ограниченные люди, они, кой-какъ, съ трудомъ, между обмѣриваніемъ и обвѣшиваніемъ, усвоивъ себѣ двѣ-три мысли и полумысли объ обязанностяхъ, возстали за нихъ, когда увидѣли, что ихъ святыня поправа.—«Это побѣда эгоизма, говорили они, да, да, эгоизма, а ужъ гдѣ эгоизмъ, тутъ порокъ, надобно, чтобы каждый исполнялъ долгъ свой безъ эгоизма».

Тутъ были, разумѣется, и городскіе работники, этотъ искренній и настоящій элементъ революціи, стремящейся декретировать *la sociale*—и въ ту же мѣру воздать буржуа и *aristo*, въ какую они имъ воздаютъ.

Наконецъ, тутъ были раненые—и страшно раненые. Я помню двоихъ крестьянъ среднихъ лѣтъ, доползшихъ, оставляя кровавый слѣдъ, отъ границы до предмѣстья, въ которомъ жители подняли ихъ полумертвыми. За ними гнался жандармъ, видя, что граница недалеко, онъ выстрѣлилъ въ одного и раздробилъ ему плечо... раненый продолжалъ бѣжать... жандармъ выстрѣлилъ еще разъ, раненый упалъ; тогда онъ поскакалъ за другимъ и нагналъ его сначала пулей, а потомъ самъ. Второй раненый сдался, жандармъ вторыхъ привязалъ его къ лошади и вдругъ хватился перваго... Тотъ доползъ до перелѣска и пустился бѣжать... догнать его верхомъ было трудно, особенно съ другимъ раненымъ, оставить лошадь невозможно... *Жандармъ выстрѣлилъ «à bout portant» плтнному въ голову, сверху внизъ*, тотъ упалъ замертво, пуля раздробила ему всю правую сторону лица, всѣ кости. Когда онъ пришелъ въ себя,—никого не было... Онъ

добрался по знакомымъ тропинкамъ, протоптаннымъ контрабандистами, до Вара и перешелъ его, исходя кровью; тутъ онъ напелъ совершенно истощеннаго товарища и съ нимъ *дожилъ* до первыхъ домовъ St. Hélène. Тамъ, какъ я сказалъ, ихъ спасли жители. Первый раненый говорилъ, что послѣ выстрѣла онъ зарылся въ какіе-то кусты, что онъ потомъ слышалъ голоса, что охотникъ-жандармъ вѣрно настигъ другихъ и поэтому удалился.

Каково усердіе французской полиціи!

За нимъ слѣдовало усердіе меровъ, ихъ помощниковъ, прокуроровъ *республики* и префектовъ, оно показалось при подачѣ и счетѣ голосовъ; все это исторія чисто французскія, извѣстныя всему міру. Скажу только, что въ отдаленныхъ мѣстахъ мѣры для достиженія огромнаго большинства при вотированіи были взяты съ сельской простотой. По ту сторону Вара, въ первомъ мѣстечкѣ меръ и жандармскій *brigadier* сидѣли возлѣ урны и смотрѣли, какой бюллетень кто кладетъ, тутъ же говоря, что они свернутъ потомъ въ бараній рогъ всякаго *бунтовщика*. Казенные бюллетени были печатаны на особой бумагѣ,—ну, такъ и вышло, что во всемъ мѣстечкѣ нашлось, не знаю, пять или десять смѣльчаковъ безпардонныхъ, вотировавшихъ противъ плебисцита; остальные, и съ ними вся Франція, вотировали имперію *in spe*.

Осеано Нох.

(1851).

I ¹⁾.

...Ночью, съ 7 на 8 іюля, часу во второмъ, я сидѣлъ на ступенькѣ Кариньянскаго дворца въ Туринѣ; площадь была совершенно пуста, поодаль отъ меня дремалъ нищій, часовой тихо ходилъ взадъ и впередъ, насвистывая пѣсню изъ какой-то оперы и побрякивая ружьемъ... Ночь была горячая, теплая, пропитанная *запахомъ* сирокко.

Мнѣ было необычайно хорошо, такъ, какъ не бывало давно; я опять почувствовалъ, что я еще молодъ и силенъ силами въ груди, что у меня есть друзья и вѣрованія, что я полонъ любовью, какъ тринадцать лѣтъ передъ тѣмъ. Сердце билось такъ, какъ я отвыкъ чувствовать въ послѣднее время. Оно билось, какъ въ тотъ мартовскій день 1838, когда я, завернувшись въ плащъ, ждалъ Кетчера у фонарнаго столба, на Поварской.

Я и теперь ждалъ свиданья, свиданья съ *той же* женщиной, и ждалъ, можетъ, еще съ большей любовью, хотя къ ней и примѣшивались грустные, черныя ноты; но въ эту ночь ихъ было мало слышно. Послѣ безумнаго кризиса горести, отчаянія, набѣжавшаго на меня при моемъ проѣздѣ черезъ Женеву, мнѣ стало лучше. Кроткія письма Natalie, исполненные грусти, слезъ, боли, любви, довершили мое выздоровленіе. Она писала, что ѣдетъ изъ Ниццы въ Туринъ мнѣ навстрѣчу, что ей хотѣлось бы пробыть нѣсколько дней въ Туринѣ. Она была права: намъ надобно было еще разъ однимъ всмотрѣться другъ въ друга, выжать другъ другу кровь изъ ранъ, утереть слезы и, наконецъ, узнать оконча-

¹⁾ Этотъ отрывокъ (никогда еще не печатавшійся) принадлежитъ къ той части «Былого и Думъ», которая будетъ издана гораздо позже, и для которой я писалъ всѣ остальные. Нѣсколько строкъ о страшномъ происшествіи, бывшемъ 16 ноября 1851, въ запискахъ Орсини, принимавшаго самое горячее участіе въ несчастіи, поразившемъ меня, были поводомъ, что я напечаталъ второй отрывокъ въ «Полярной Звѣздѣ», 1859.

тельно, *есть ли* для насъ общее счастье,—и все это наединѣ, даже безъ дѣтей, и, притомъ, *въ другомъ мѣстѣ*, не при той обстановкѣ, гдѣ мебель, стѣны, могли не въ-время что-нибудь напомнить, шепнуть какое-нибудь полузабытое слово.

Почтовая карета должна была во второмъ часу придти со стороны Col di Tenda; ее-то я и ждалъ у сумрачнаго Кариньянскаго дворца, недалеко отъ него она должна была заворачивать.

Я приѣхалъ въ этотъ же день утромъ изъ Парижа, черезъ Mont-Cenis; въ hôtel Feder мнѣ дали большую, высокую, довольно красиво убранную комнату и спальню. Мнѣ нравился этотъ праздничный видъ, онъ былъ кстати. Я велѣлъ приготовить небольшой ужинъ и пошелъ бродить, ожидая ночи.

Когда карета подъѣзжала къ почтовому дому, Natalie узнала меня. «Ты тутъ!» сказала она, кланяясь въ окно. Я отворилъ дверцы и она бросилась ко мнѣ на шею съ такой восторженной радостью, съ такимъ выраженіемъ любви и благодарности, что у меня въ памяти мелькнули, какъ молнія, слова изъ ея письма: «Я возвращаюсь, какъ корабль, въ свою родную гавань послѣ бурь, кораблекрушеній и несчастій—сломанный, но спасенный».

Одного взгляда, двухъ-трехъ словъ было за глаза довольно... Все было понято и объяснено; я взялъ ея небольшой дорожный мѣшокъ, перебросилъ его на трости за спину, подаль ей руку и мы весело пошли по пустымъ улицамъ въ отель. Тамъ всѣ спали, кромѣ швейцара. На накрытомъ столѣ стояли двѣ незажженные свѣчи, хлѣбъ, фрукты и графинъ вина; я никого не хотѣлъ будить, мы зажгли свѣчи и, сѣвши за пустой столъ, взглянули другъ на друга и разомъ вспомнили Владимірское житъе.

На ней было бѣлое кисейное платье или блуза, надѣтая на дорогу отъ палящаго жара, и при первомъ свиданіи нашемъ, когда я приѣзжалъ изъ ссылки, она была также вся въ бѣломъ, и вѣнчалъное платье было бѣлое. Даже лицо ея, носившее рѣзкіе слѣды глубокихъ потрясеній, заботъ, думъ и страданій, напоминало выраженіемъ черты того времени.

И мы сами были тѣ же, только теперь мы подавали другъ другу руку, не какъ заносчивые юноши, самонадѣянные и гордые вѣрой въ себя, вѣрой другъ въ друга и въ какую-то исключительность нашей судьбы, а какъ ветераны, закаленные въ бою жизни, испытавшіе не только свою силу, но и свою слабость,... едва уцѣлѣвшіе отъ тяжелыхъ ударовъ и неисправимыхъ ошибокъ. Вновь отправляясь въ путь, мы, не считаясь, раздѣлили печальную ношу былого. Съ этой ношей приходилось идти болѣе скромнымъ шагомъ, но внутри наболѣвшихъ душъ сохранилось все для возмужалаго, отстоявшагося счастья. По ужасу и тупой

боли еще яснѣе разглядѣли мы, какъ мы неразнимчато срослись годами, обстоятельствами, чужбиной, дѣтьми.

Въ эту встрѣчу все было кончено, оборванные концы срослись, не безъ рубца, но крѣпче прежняго; такъ срастаются иногда части сломленной кости. Слезы печали, не обсохнувшія на глазахъ, соединяли еще новой связью: чувствомъ глубокаго состраданія другъ къ другу. Я видѣлъ ея борьбу, ея мученье, я видѣлъ, какъ она изнемогала. Она видѣла меня слабымъ, несчастнымъ, оскорбленнымъ, оскорбляющимъ, готовымъ на жертву и на преступленіе.

Мы слишкомъ большой платой заплатили другъ за друга, чтобъ не понимать, чего мы стоимъ, и какъ дорого мы обошлись другъ другу. «Въ Туринѣ, писалъ я въ началѣ 1852, было наше второе вѣнчаніе; его смыслъ, можетъ быть, глубже и знаменательнѣе перваго, оно совершилось съ полнымъ сознаніемъ всей отвѣтственности, которую мы вновь брали въ отношеніи другъ къ другу, оно совершилось въ виду страшныхъ событій...»

Любовь какимъ-то чудомъ пережила ударъ, который долженъ былъ ее разрушить.

Послѣднія, темныя облака отступали дальше и дальше. Много, долго говорили мы... точно послѣ разлуки въ нѣсколько лѣтъ; день давно сквозилъ яркими полосами въ опущенныя жалюзи, когда мы встали изъ-за пустого стола...

Дня черезъ три мы поѣхали вмѣстѣ домой въ Ниццу по Ривьерѣ; мелькнула Генуя, мелькнулъ Ментоне, гдѣ мы такъ часто бывали и въ такомъ розномъ настроеніи духа, мелькнуло Монако, врѣзывающееся въ море бархатной травой и бархатнымъ пескомъ; все встрѣчало насъ весело, какъ старые друзья послѣ размолвки, а тутъ виноградники, роши розъ, померанцевыхъ деревьевъ и море, стелящееся передъ домомъ, и дѣти, играющія на берегу... Вотъ они узнали, бросились навстрѣчу. *Мы дома.*

Спасибо судьбѣ за эти дни, за эту треть года, шедшаго за ними: ими торжественно заключилась моя личная жизнь. Спасибо ей за то, что она, вѣчная язычница, увѣнчала обреченныхъ на жертву пышнымъ вѣнкомъ осеннихъ цвѣтовъ... и усыпала хоть на время своимъ макомъ и благоуханіемъ!

Пропасти, дѣлившія насъ, исчезли, берега сдвинулись. Развѣ это не та же рука, которая черезъ всю жизнь была въ моей рукѣ, и развѣ это не тотъ же взглядъ, только иногда онъ мутится отъ слезъ? «Успокойся же, сестра, другъ, товарищъ, вѣдь, все прошло,— и мы тѣ же, какъ въ юные, святыя, свѣтлыя годы!»

...«Послѣ страданій, которыхъ, можетъ, ты знаешь мѣру, инныя минуты полны блаженства; всѣ вѣрованія дѣтства, юности, не только совершились, но прошли сквозь страшныя испытанія, не

утративъ ни свѣжести, ни аромата, и расцвѣли съ новымъ блескомъ и новой силой. Я никогда не была такъ счастлива, какъ теперь», писала она своему другу въ Россію.

Разумѣется, отъ прошлаго остался осадокъ, до котораго нельзя было касаться безнаказанно: что-то сломленное внутри, какой-то чутко дремлющій испугъ и боль.

Прошедшее не корректурный листъ, а ножъ гильотины, послѣ его паденія многое не срастается и не все можно поправить. Оно остается, какъ отлитое въ металлъ, подробное, неизмѣнное, темное, какъ бронза. Люди вообще забываютъ только то, чего не стоитъ помнить, или чего они не понимаютъ. Дайте иному забыть два-три случая, такія-то черты, такой-то день, такое-то слово, и онъ будетъ юнъ, смѣлъ, силенъ, а съ ними онъ идетъ какъ ключъ ко дну. Ненадобно быть Макбетомъ, чтобъ встрѣчаться съ тѣнью Банко; тѣни не уголовные судьи, не угрызения совѣсти, *а несокрушимыя событія памяти.*

Да забывать и ненужно: это слабость, это своего рода ложь; прошедшее имѣетъ свой права, оно фактъ, съ нимъ надобно *сладить*, а не забыть его,—и мы шли къ этому дружными шагами.

...Случалось, ничтожное слово, сказанное посторонними, какая-нибудь вещь, попавшаяся на глаза, проводила бритвой по сердцу, и кровь лилась, и было нестерпимо больно; но я въ то же мгновеніе встрѣчалъ испуганный взглядъ, смотрѣвшій на меня съ безконечной мукой и говорившій: «Да, ты правъ, иначе и быть не можетъ, но... » и я старался разогнать набѣжавшія тучи.

Святое время примиренія, я вспоминаю о немъ сквозъ слезы...

... Нѣтъ, не *примиренія*, это слово не идетъ. Слова, какъ гуртовья платья, впору до «извѣстной степени» *всѣмъ* людямъ одинаковаго роста и плохо одѣваютъ каждого *отдѣльно*.

Намъ нельзя было мириться, мы никогда не ссорились, мы страдали другъ о другѣ, но не расходились. Въ самыя мрачныя минуты, какое-то неразрывное единство, безсомнѣнное для обоихъ, и глубокое уваженіе другъ къ другу были присущи. Мы походили скорѣе на людей, оправляющихся послѣ тяжелой горячки, чѣмъ на помирившихся: бредъ прошелъ, мы узнали другъ друга взглядомъ, нѣсколько слабымъ и мутнымъ. Боль вынесенная была памятна, утомленіе ощутительно, но, вѣдь, мы знали, что все дурное прошло, что мы на берегу.

Мысль, нѣсколько разъ прежде мелькавшая у Natalie, занимала ее теперь больше и больше. Она хотѣла написать свою исповѣдь. Она была недовольна ея началомъ, жгла листки; одно длинное письмо и одна страничка уцѣлѣли..... По нимъ можно судить о томъ, что пропало..... Читая ихъ, становится жутко,

чувствуешь, что дотрогиваешься рукой до страдающего и теплаго сердца, чувствуешь шопотъ этихъ беззвучныхъ тайнъ, вѣчно скрытыхъ, едва просыпающихся въ сознаниіи. Въ этихъ строкахъ можно было уловить, какъ мучительная борьба переходила въ новый закалъ и боль въ мысль. Если-бъ этотъ трудъ не былъ грубо прерванъ, онъ составилъ бы великій антецедентъ, въ замѣну уклончиваго молчанія женщины и надменнаго покровительства ея—мужчиной; но самый безсмысленный ударъ разрился надъ нашей головой и окончательно все разбилъ.

II.

Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune.
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis...

V. Hugo.

Такъ оканчивалось лѣто 1851. Мы были почти совсѣмъ одни. Моя мать съ Колей и съ Шпильманомъ уѣхали погостить въ Парижъ къ М. К. Тихо проводили мы время съ дѣтьми. Казалось, всѣ бури были назади.

Въ ноябрѣ мы получили письмо отъ моей матери, что она скоро выѣзжаетъ, потомъ другое изъ Марселя, въ которомъ она писала, что на другой день, 15 ноября, они садятся на пароходъ и ѣдутъ къ намъ. Во время ея отсутствія, мы переѣхали въ другой домъ, также на берегу моря, въ предмѣстіи С. Еленъ. Въ домѣ этомъ съ большимъ садомъ было помѣщеніе для моей матери; мы убрали ея комнату цвѣтами, нашъ поваръ досталъ съ Сашей китайскихъ фонарей и развѣсилъ ихъ по стѣнамъ и деревьямъ. Все было готово, дѣти часовъ съ трехъ не сходили съ террасы; наконецъ, въ шестомъ часу на горизонтѣ отдѣлилась отъ моря темная струйка дыма, а черезъ нѣсколько минутъ показался и пароходъ, стоявшій неподвижной и возрастающей точкой. Все засуетилось у насъ, Франсуа пустился на пристань, я сѣлъ въ коляску и поѣхалъ туда же.

Когда я пріѣхалъ на пристань, пароходъ уже вошелъ, лодки ждали кругомъ разрѣшенія *sanità* сходить пассажирамъ. Одна изъ нихъ подъѣзжала къ дебаркадеру, на ней стоялъ Франсуа.

— Какъ, спросилъ я, вы уже назадъ ѣдете?

Онъ мнѣ не отвѣчалъ; я взглянулъ на него и обмеръ; онъ былъ зеленаго цвѣта и дрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Что это? спросилъ я, вы больны?

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ, минуя мой взглядъ, только наши не пріѣхали.

— Какъ не пріѣхали?

— Тамъ что-то съ пароходомъ случилось, такъ не всѣ пассажиры пріѣхали. Я бросился въ лодку и велѣлъ скорѣе отчаливать.

На пароходѣ меня встрѣтили съ какимъ-то зловѣщимъ почетомъ и съ совершеннымъ молчаніемъ. Самъ капитанъ дожидался меня; все это совсѣмъ не въ обычаяхъ, и я ждалъ чего-нибудь ужаснаго. Капитанъ сказалъ мнѣ, что между островомъ Іеромъ и материкомъ пароходъ, на которомъ была моя мать, столкнулся съ другимъ и пошелъ ко дну, что большая часть пассажировъ взяты имъ и другимъ пароходомъ, шедшимъ мимо. «У меня, сказалъ онъ, только двѣ молодыя дѣвушки изъ вашихъ», и повелъ меня на переднюю палубу,—всѣ разступились съ тѣмъ же мрачнымъ молчаніемъ. Я шелъ бессмысленно, даже не спрашивая ничего. Племянница моей матери, гостившая у нея, высокая, стройная дѣвушка, лежала на палубѣ съ растрепанными и мокрыми волосами; возлѣ нея горничная, ходившая за Колей. Увидя меня, молодая дѣвушка хотѣла приподняться, что-то сказать, но не могла; она, рыдая, отвернулась въ другую сторону.

— Что же это, наконецъ? Гдѣ они? спросилъ я, болѣзненно схвативши руку горничной.

— Мы ничего не знаемъ, отвѣчала она, пароходъ потонулъ, насъ замертво вытащили изъ воды. Какая-то англичанка дала намъ свои платья, чтобъ переодѣться.

Капитанъ грустно посмотрѣлъ на меня, потрясъ мою руку и сказалъ:

— Отчаиваться ненадо, съѣздите въ Іеръ, быть можетъ, и найдете кого-нибудь изъ нихъ.

Поручивъ Энгельсону и Франсуа больныхъ, я поѣхалъ домой въ какомъ-то ошеломленіи; все въ головѣ было смутно и дрожало внутри, я желалъ, чтобъ домъ нашъ былъ за тысячу верстъ. Но вотъ блеснуло что-то между деревьевъ, еще и еще; это были фонарики, зажженные дѣтьми. У воротъ стояли наши люди, Тата и Natalie съ Олею на рукахъ.

— Какъ, ты одинъ?—спросила меня спокойно Natalie, да ты хоть бы Колю привезъ.

— Ихъ нѣтъ, сказалъ я, съ ихъ пароходомъ что-то случилось, надобно было перейти на другой, тотъ не всѣхъ взялъ. Луиза здѣсь.

— *Ихъ нѣтъ!* вскрикнула Natalie. Я теперь только разглядѣла твое лицо: у тебя глаза мутны, всѣ черты искажены. Бога ради, что такое?

— Я ѣду ихъ искать въ Іеръ.

Она покачала головой и прибавила:

— Ихъ нѣтъ! ихъ нѣтъ! потомъ молча приложила лобъ къ моему плечу. Мы прошли аллеей, не говоря ни слова. Я привелъ ее въ столовую; проходя, я шепнулъ Роккѣ: «Бога ради, фонари...», онъ понялъ меня и бросился ихъ тушить. Въ столовой все было готово: бутылка вина стояла во льду, передъ мѣстомъ моей матери букетъ цвѣтовъ, передъ мѣстомъ Коли—новые игрушки.

Страшная вѣсть быстро разнеслась по городу, и домъ нашъ сталъ наполняться близкими знакомыми, какъ Фогтъ, Тесье, Хоецкій, Орсини, и даже совѣтъ посторонними: одни хотѣли узнать, что случилось, другіе показать участіе, третьи совѣтовать всякую всячину, большей частью, вздоръ. Но не буду неблагодаренъ: участіе, которое мнѣ тогда оказали въ Ниццѣ, меня глубоко тронуло. Передъ такими бессмысленными ударами судьбы люди просыпаются и чувствуютъ свою связь.

Я рѣшился въ ту же ночь ѣхать въ Іеръ. Natalie хотѣла ѣхать со мной; я уговорилъ ее остаться; къ тому же погода круто переѣнилась, подулъ мистраль, холодный какъ ледъ и съ сильнымъ дождемъ. Надо было достать пропускъ во Францію, черезъ Варскій мостъ; я поѣхалъ къ Леону Пиле, французскому консулу; онъ былъ въ оперѣ; я отправился къ нему въ ложу съ Хоецкимъ; Пиле, уже прежде что-то слышавшій о случившемся, сказалъ мнѣ:

— Я не имѣю права дать вамъ позволеніе, но есть обстоятельства, въ которыхъ отказъ былъ бы преступленіемъ. Я вамъ дамъ на свою отвѣтственность билетъ для пропуска черезъ границу, приходите за нимъ черезъ полчаса въ консулатъ.

У входа въ театръ меня ждали человѣкъ десять изъ тѣхъ, которые были у насъ. Я имъ сказалъ, что Леонъ Пиле дастъ билетъ.

— «Поѣзжайте домой и не хлопчите ни о чемъ», говорили мнѣ со всѣхъ сторонъ; «остальное будетъ сдѣлано,—мы возьмемъ билетъ, визируемъ его въ интендантствѣ, закажемъ почтовыхъ лошадей». Хозяинъ моего дома, бывшій тутъ, побѣждалъ доставать карету; содержатель гостиницы предложилъ безденежно свою.

Въ 11 часовъ вечера я отправился по проливному дождю. Ночь была ужасная; порывы вѣтра были иной разъ до того сильны, что лошади останавливались; море, въ которомъ такъ недавно были похороны, едва видное въ темнотѣ, билось и ревѣло. Мы поднимались на Эстрель, дождь замѣнился снѣгомъ, лошади спотыкались и чуть не падали отъ гололедицы. Нѣсколько разъ почтальонъ, выбившись изъ силъ, принимался грѣться; я ему подавалъ мою фляжку съ коньякомъ и, общая двойные прогоны, упрашивалъ торопиться.

Зачѣмъ? Вѣрилъ ли я въ возможность, что найду кого-нибудь изъ нихъ, что кто-нибудь спасся? Трудно было предполагать это, послѣ всего слышаннаго,—но поискать, взглянуть на самое мѣсто, найти вещь, тряпку, увидѣть очевидца, наконецъ... была потребность убѣдиться, что нѣтъ надежды, и потребность что-нибудь дѣлать, не быть дома, придти въ себя.

Пока на Эстрелъ мѣняли лошадей, я вышелъ изъ кареты, сердце мое сжалось и я чуть не зарыдалъ, осмотрѣвшись: это было возлѣ той самой таверны, въ которой мы провели ночь въ 1847 г. Я вспомнилъ огромныя деревья, освѣнявшія ее; тотъ же видъ стлался передъ нею, только тогда онъ былъ освѣщенъ восходящимъ солнцемъ, а теперь скрывался за сѣрыми не итальянскими тучами и мѣстами бѣлѣлъ отъ снѣга.

Живо представилось мнѣ то время, со всѣми мельчайшими подробностями: я вспомнилъ, какъ хозяйка насъ потчевала зайцемъ, тухлость котораго была заморена страшнымъ количествомъ чеснока, какъ въ спальнѣ летали летучія мыши, какъ я ихъ гонялъ съ нашей Луизой полотенцемъ и какъ на насъ вѣяло въ первый разъ теплымъ южнымъ воздухомъ...

Тогда я писалъ:—«Съ Авиньона начиная, чувствуется, видится югъ. Для человѣка, вѣчно жившаго на сѣверѣ, первая встрѣча съ южной природой исполнена торжественной радости,—юнѣшь, хочется пѣть, плясать, плакать; все такъ ярко, свѣтло, весело, роскошно. Послѣ Авиньона намъ надобно было переѣзжать приморскія Альпы. Въ лунную ночь взобрались мы на Эстрелъ; когда мы начали спускаться, солнце восходило, цѣпи горъ вырѣзывались изъ-за утренняго тумана, лучъ солнца орумянилъ ослѣпительныя снѣжныя вершины; кругомъ яркая зелень, цвѣты, рѣзкія тѣни, огромныя деревья и мрачныя скалы, едва покрытыя бѣдной и жесткой растительностью; воздухъ былъ упоителенъ, необычайно прозраченъ, освѣжающъ и звонокъ, наши слова, пѣнье птицъ раздавались громче обыкновеннаго, и вдругъ на небольшомъ изгибѣ дороги блеснуло каймой около горъ и задрожало серебрянымъ огнемъ Средиземное море ¹⁾».

И вотъ черезъ четыре года я снова на томъ же мѣстѣ!..

Прежде ночи мы не могли пріѣхать въ Іеръ; я тотчасъ отправился къ комиссару полиціи; съ нимъ и съ жандармскимъ бригадиромъ пошли мы сначала къ морскому комиссару. У него были разныя спасенныя вещи; я ничего въ нихъ не нашелъ. Потомъ мы пошли въ больницу: одинъ изъ утопившихъ отходилъ, другіе сообщали мнѣ, что они видѣли пожилую женщину, ребенка лѣтъ пяти и съ нимъ молодого человѣка, съ бѣлокурой, окладистой

¹⁾ „Письма изъ Франціи и Италіи“.

бородой... что они видѣли ихъ въ самую послѣднюю минуту, и что, стало быть, они такъ же пошли ко дну, какъ и всѣ. Но тутъ-то снова и являлся вопросъ: вѣдь, рассказывавшіе были же живы, хотя и они, какъ Луиза и горничная, порядкомъ не помнили, какъ спаслись.

Найденныя тѣла лежали въ криптѣ монастыря; мы пошли туда изъ больницы; сестры милосердія встрѣтили насъ и повели, освѣщая намъ дорогу церковными свѣчами. Въ криптѣ стоялъ рядъ вновь сколоченныхъ ящиковъ, въ каждомъ ящикѣ было одно тѣло. Комиссаръ велѣлъ ихъ раскрыть, оказалось, что ящики заколочены. Бригадиръ послалъ жандарма за долотомъ и велѣлъ ему потомъ взламывать одну крышку за другой.

Этотъ осмотръ тѣлъ былъ не человѣчески тяжелъ. Комиссаръ держалъ въ рукѣ книжку и какимъ-то офиціальнымъ тономъ спрашивалъ, при вскрытіи каждаго ящика: «Вы свидѣтельствуєте, въ присутствіи нашемъ, что тѣло это вамъ незнакомо»; я кивалъ головой, комиссаръ мѣтилъ карандашемъ и, обращаясь къ жандарму, приказывалъ снова закрыть. Мы переходили къ другому. Жандармъ приподнималъ крышу, я съ какимъ-то ужасомъ бросалъ взглядъ на покойника, и словно было легче, когда встрѣчалъ незнакомыя черты, а въ сущности еще страшнѣе было думать, что всѣ трое пропали такъ безслѣдно, такъ заброшенно лежать на днѣ моря, носятся волнами. Тѣло безъ гроба, безъ могилы страшнѣе всякихъ похоронъ, а тутъ не было и самихъ покойниковъ.

Я никого не нашелъ. Одно тѣло поразило меня: женщина лѣтъ двадцати, красавица, въ нарядномъ провансальскомъ костюмѣ; ея грудь была обнажена (съ нею былъ ребенокъ, разумѣется, унесенный волнами), и струя молока сочилась еще, скатываясь по груди. Лицо ея нисколько не измѣнилось, смуглый загаръ придавалъ ей совершенно живой видъ.

Бригадиръ не вытерпѣлъ и замѣтилъ: «экая прелесть какая!» Комиссаръ ничего не прибавилъ, жандармъ, накрывши ее, замѣтилъ бригадирю: «я зналъ ее, она изъ здѣшнихъ подгородныхъ крестьянокъ, ѣхала къ мужу въ Грасъ. Пусть подождетъ!»

Моя мать, мой Коля и нашъ добрый Шпильманъ исчезли безслѣдно, ничего не осталось отъ нихъ; между спасенными вещами не было ни лоскутка имъ принадлежащаго, сомнѣніе въ ихъ гибели было невозможно. Всѣ спасшіеся были или въ Іерѣ, или на томъ же пароходѣ, который привезъ Луизу. Капитанъ выдумалъ для моего успокоенія какую-то сказку.

Въ Іерѣ мнѣ рассказывали еще о пожилomъ челоvѣкѣ, потерявшемъ всю семью, который не хотѣлъ оставаться въ больницѣ и ушелъ куда-то пѣшкомъ безъ денегъ, въ состояніи близкомъ

къ помѣшательству, и о двухъ англичанкахъ, отправившихся къ англійскому консулу: онѣ лишились матери, отца и брата!

Дѣло шло къ разсвѣту, я велѣлъ привести лошадей. Передъ отъѣздомъ гарсонъ водилъ меня на часть берега, выдавшуюся въ море, и оттуда показывалъ мѣсто кораблекрушенія. Море еще кипѣло и волновалось, сѣдое и мутное отъ вчерашней бури; вдали, на одномъ мѣстѣ, качалось какое-то особенное пятно, словно болѣе густая, прозрачная влага.

— «Пароходъ везъ грузъ масла, видите, оно отстоялось, вотъ тутъ и было несчастье». Это всплывшее пятно было *все*.

— А глубоко тутъ?

— «Метровъ сто восемьдесятъ будетъ». Я постоялъ, утро было очень холодное, особенно на берегу. Мистраль, какъ вчера, дулъ, небо было покрыто русскими осенними облаками. Прощайте!.. Сто восемьдесятъ метровъ глубины и носящееся пятно масла!

Nul ne sait vorte sort, pauvres têtes perdues.

Vous roulez à travers les sombres étendues.

Heurtant de vos fronts des écueils inconnus...

Съ страшной достовѣрностью пріѣхалъ я назадъ. Едва-едва оправившаяся Natalie не вынесла этого удара. Со дня гибели моей матери и Коли, она не выздоравливала больше. Испугъ, боль остались,—вошли въ кровь. Иногда вечеромъ, ночью она говорила мнѣ, какъ бы прося моей помощи: «Коля, Коля не оставляетъ меня, бѣдный Коля, какъ онъ, чай, испугался, какъ ему было холодно, а тутъ рыбы, омары!» Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцѣлѣла въ карманѣ у горничной, и наставляло молчаніе, то молчаніе, въ которое жизнь утекаетъ, какъ въ поднятую плотину. При видѣ этихъ страданій, переходившихъ въ нервную болѣзнь, при видѣ ея блестящихъ глазъ и увеличивающейся худобы, я въ первый разъ усомнился, спасу ли я ее... Въ мучительной неувѣренности тянулись дни. что-то въ родѣ существованія людей между приговоромъ и казнью, когда человѣкъ разомъ надѣется и навѣрно знаетъ, что онъ отъ топора не уйдетъ!

III.

1852.

Снова наступилъ новый годъ; мы его встрѣтили около постели Natalie: наконецъ, организмъ ея не вынесъ и она слегла.

Энгельсоны, Фогтъ, человѣка два близкихъ знакомыхъ были у насъ. Всѣ были печальны. Парижское 2-е декабря лежало пли-

той на груди... Общее, частное—все несло куда-то въ пропасть, и ужъ такъ далеко ушло подъ гору, что ни остановить, ни измѣнить нельзя было; приходилось ждать, тупо, страдательно, когда все сорвавшееся съ рельсовъ полетитъ въ тьму.

Подали обычный бокалъ. Въ двѣнадцать часовъ мы улыбнулись натянуто. Внутри была смерть и ужасъ, всѣмъ было совѣстно прибавить къ новому году какое-нибудь желаніе. Заглянуть впередъ было страшнѣе, чѣмъ обернуться.

Болѣзнь опредѣлилась: сдѣлался плевать въ лѣвой сторонѣ.

Пятнадцать страшныхъ дней провела она между жизнью и смертью, но на этотъ разъ—жизнь побѣдила. Наступило выздоровленіе, а съ нимъ послѣдній лучъ надежды блѣдно освѣтилъ тревожную жизнь нашу.

Силы ея духа возвратились прежде... Были минуты удивительныя—послѣдніе аккорды навѣки умолкнувшей музыки.

Съ наступленіемъ весны больной сдѣлалось лучше: она уже большую часть дня сидѣла въ креслахъ, могла разобрать свои волосы, нечесанные въ продолженіе болѣзни, наконецъ, безъ утомленія могла слушать, когда ей читали вслухъ.

Мы собирались, какъ только ей будетъ получше, ѣхать въ Севилью или Кадиксъ. Ей хотѣлось выздороветь, хотѣлось жить, хотѣлось въ Италію.

Внизъ Natalie еще не сходила и не торопилась: она собиралась сойти въ первый разъ 25 марта въ мое рожденіе. Для этого она приготовила себѣ новую мериносовую блузу, а я выписала изъ Парижа горностаевую мантилью. Дня за два Natalie сама написала или продиктовала мнѣ, кого хочетъ звать сверхъ Энгельсоновъ, Фогта, Орсини, Мордини и Паччелли съ женой.

За два дня до моего рожденія у Ольги сдѣлался насморкъ съ кашлемъ: въ городѣ была influenza. Ночью Natalie два раза вставала, ходила черезъ комнату въ дѣтскую. Ночь была теплая, но бурная. Утромъ она проснулась сама съ сильнѣйшей influenz'ей, сдѣлался мучительный кашель, а къ вечеру вернулась лихорадка.

О томъ, чтобъ встать на другой день, нечего было и думать: послѣ лихорадочной ночи — ужасная прострація, болѣзнь росла. Всѣ вновь ожившія, блѣдныя, но цѣпкія надежды были разбиты. Неестественный звукъ кашля грозилъ чѣмъ-то зловѣщимъ.

Natalie и слышать не хотѣла, чтобы гостямъ отказали. Печально и тревожно сѣли мы часа въ два за столъ безъ нея.

Паччелли привезла съ собой какую-то арію, сочиненную ея мужемъ для меня. М-ме Паччелли была печальная, молчаливая и очень добрая женщина. Словно горе какое-нибудь лежало на ней. Проклятіе ли бѣдности тяготѣло надъ ней, или, можетъ

быть, жизнь сулила ей что-нибудь больше, чѣмъ вѣчные уроки музыки и преданность человѣка слабаго, блѣднаго и чувствовавшаго свое подчиненіе ей.

Въ нашемъ домѣ она чувствовала больше простоты и теплаго привѣта, чѣмъ у другихъ практикъ, и полюбила Natalie съ южной экзальтаціей.

Послѣ завтрака она посидѣла у больной и вышла отъ нея блѣдная, какъ полотно. Гости просили ее спѣть привезенную арію. Она сѣла за фортепіано, запѣла и вдругъ, испуганно взглянувъ на меня, залилась слезами, склонила голову на инструментъ и спазматически зарыдала. Это покончило праздникъ. Гости разошлись, почти не говоря ни слова, задавленные какой-то каменной плитой.

Пошелъ я наверхъ. Тотъ же страшный кашель продолжался. Это было начало похоронъ!

И притомъ двухъ!

Черезъ два мѣсяца послѣ дня моего рожденія, схоронили и m-me Паччелли. Она поѣхала въ Ментонъ или Роккабругъ на ослѣ. Ослы въ Италіи привыкли ночью взбираться въ горы, не оступаясь. Тутъ бѣлымъ днемъ оселъ споткнулся, несчастная женщина упала, скатилась на острые камни и тутъ же умерла въ ужаснѣйшихъ страданіяхъ... Я былъ въ Лугано, когда получилъ эту вѣсть.

И ея съ костей долой. Nur zu — какая-то слѣдующая нелѣпость?

Далѣе все заволакивается... Настаетъ мрачная, тупая и неясная въ памяти ночь, тутъ и описывать нечего, или нельзя. Время боли, тревоги, бессонницы, притупляющее чувство страха, нравственного ничтожества и страшной тѣлесной силы...

Все въ домѣ осунулось. Особеннаго рода неустройство и безпорядокъ, суета, сбитые съ ногъ слуги—и рядомъ съ наступающей смертью новыя сплетни, новыя гадости... Судьба не золотила мнѣ больше пилюли, не пожалѣли меня и люди: благо, молъ, крѣпки плечи, пускай себѣ!

Вечеромъ 29-го апрѣля пріѣхала Марья Каспаровна. Natalie ожидала ее со дня на день. Она звала ее нѣсколько разъ, боясь, чтобы M-me Engelson не захватила въ руки воспитаніе дѣтей. Она ждала съ часу на часъ и, когда мы получили письмо, она послала Гауча и Сашу навстрѣчу къ ней на Варскій мостъ. Но, несмотря на это, свиданіе съ Марьей Каспаровной нанесло ей страшное потрясеніе. Я помню ея слабый крикъ, похожій на стонъ, съ которымъ она сказала: «Маша», и не могла ничего больше прибавить.

Болѣзнь застала Natalie въ половинѣ беременности. Д-ръ Пон-

фисъ и Фогтъ думали, что это исключительное положеніе могло къ выздоровленію отъ плерезіи (плеврита).

Пріѣздъ Марьи Каспаровны ускорилъ роды. Роды были лучше, чѣмъ ожидали, младенецъ родился живой, но силы истощились. Наступила страшная слабость. Младенецъ родился къ утру. Къ вечеру она велѣла подать себѣ новорожденнаго и позвать дѣтей. Докторъ прописалъ наисовершеннѣйшій покой. Я просилъ ее не дѣлать этого. Она кротко посмотрѣла на меня.

— «И ты, Александръ, слушаешься ихъ, сказала она: — смотри, какъ бы тебѣ не сдѣлалось потомъ очень жаль, что ты отъ меня отнимаешь эту минуту, — мнѣ теперь полегче. Я хочу сама представить малютку дѣтямъ».

Я позвалъ дѣтей.

Не имѣя силы держать новорожденнаго, она его положила возлѣ себя и съ свѣтлымъ, радостнымъ лицомъ сказала Сашѣ и Татѣ:

— «Вотъ вамъ еще маленькій братъ, любите его».

Дѣти весело бросились цѣловать ее и малютку. Мнѣ вспомнилось, что недавно Natalie повторяла, глядя на дѣтей:

И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть!

Оглушенный горемъ, смотрѣлъ я на эту апотеозу умирающей матери. Когда дѣти ушли, я умолялъ ее не говорить и отдохнуть. Она хотѣла отдохнуть и не могла: слезы катились изъ глазъ.

— «Да неужели нѣтъ спасенья?»

И она остановила на мнѣ какой-то взглядъ просьбы и отчаянія. Эти переходы отъ страшной безнадежности къ упованію невыразимо раздражали сердце въ послѣднее время. Въ тѣ минуты, когда я всего меньше вѣрилъ, она брала мою руку и говорила мнѣ:

— «Нѣтъ, Александръ, этого не можетъ быть, это слишкомъ глупо, мы поживемъ еще».

Скользнули лучи надежды и меркли сами собой и замѣнялись печальнымъ, тихимъ отчаяніемъ.

— «Когда меня не будетъ, говорила она, и все устроится; теперь я не могу себѣ вообразить, какъ вы будете безъ меня, кажется, я такъ нужна дѣтямъ, а подумаешь — и безъ меня они будутъ такъ же расти, и все пойдетъ своимъ путемъ, какъ-будто и всегда такъ было». Еще нѣсколько словъ прибавила она о дѣтяхъ, о здоровьѣ Саши, порадовалась, что онъ сталъ крѣпче въ Ниццѣ, что въ этомъ согласенъ и Фогтъ. — «Береги Тату, съ ней надо быть очень осторожнымъ, — это натура глубокая и несообща-

тельная. Ахъ, — добавила она, — если бы я могла дожить до приѣзда моей Натали... А что дѣти спать?» — спросила она, немного погодя.

— Спать,—сказаль я.

Издали слышались дѣтскіе голоса.

— «Это Оленька, — сказала она и улыбнулась (въ послѣдній разъ):—посмотри, что она».

Къ ночи ею овладѣло сильное безпокойство, она молча указывала, что подушка нехорошо лежитъ. Но, какъ я ни поправлялъ, ей все казалось безпокойно, и она съ тоской и даже съ неудовольствіемъ мѣняла положеніе головы; потомъ наступилъ тяжелый сонъ.

Средь ночи она сдѣлала движеніе рукой, какъ-будто хотѣла пить; я ей подаль съ ложечки апельсинный сокъ съ сахарной водой, но зубы были стиснуты: она была безъ сознанія. Я отъпенѣлъ отъ ужаса.

Разсвѣтало. Я отдернулъ занавѣсъ и съ какимъ-то безумнымъ чувствомъ отчаянія разглядѣлъ, что не только губы, но и зубы почернѣли въ нѣсколько часовъ.

За что же еще это! Зачѣмъ это ужасное безпамятство! Зачѣмъ этотъ черный цвѣтъ!

Докторъ Понфисъ и К. Фогтъ сидѣли всю ночь въ гостиной. Я сошелъ внизъ и сказалъ, что я замѣтилъ. Онъ миноваль мой взглядъ и, не отвѣчая, пошелъ наверхъ. Отвѣта было ненужно. Пульсъ больной едва бился.

Около полудня она пришла въ себя и опять позвала дѣтей, но не говорила ни слова...

Она находила, что въ комнатѣ темно. Это случилось второй разъ въ день. Она спросила меня, зачѣмъ нѣтъ свѣчей (двѣ свѣчи горѣли на столѣ). Я зажегъ еще свѣчу, но она, не замѣчая ее, находила, что темно.

—«Ахъ, другъ мой, какъ тяжело головѣ»,—сказала она и еще два-три слова.

Она взяла мою руку—рука ея не была похожа на живую—и покрыла ею свое лицо. Я что-то сказалъ ей, она что-то сказала невнятно,—сознаніе было снова потеряно и не возвращалось.

Она осталась въ этомъ положеніи до слѣдующаго утра, 2 мая. Еще одно слово, одно только слово или уже конецъ всему!

Какіе нечеловѣческіе, страшные 19 часовъ!

Минутами она приходила въ сознаніе, явственно говорила, что хочетъ снять фланель, кофту, спрашивала платокъ, но ничего больше.

Я нѣсколько разъ начиналъ говорить; мнѣ казалось, что она слышитъ, но не можетъ выговорить слова, будто бы выраженіе

горькой боли пробѣгало по ея лицу. Раза два она пожала мою руку, не судорожно, а намѣренно,—я въ этомъ увѣренъ. Часовъ въ 6 утра я спросилъ доктора, сколько остается времени.

— Не больше часа.

Я вышелъ въ садъ позвать Сашу. Я хотѣлъ, чтобы у него навсегда остались въ памяти послѣднія минуты его матери. Входя съ нимъ на лѣстницу, я сказалъ ему, какое несчастье насъ ожидаетъ, онъ не подозрѣвалъ всей опасности.

Блѣдный и близкій къ обмороку, вошелъ онъ со мною въ комнату.

— Станемъ рядомъ здѣсь на колѣни, — сказалъ я, указывая на коверъ у изголовья.

Предсмертный потъ покрывалъ ея лицо, рука спазматически касалась до кофты, какъ-будто желала ее снять. Нѣсколько стенаній, нѣсколько звуковъ, напоминавшихъ мнѣ агонію Вадима Пассекъ,—и тѣ замолчали.

Докторъ взялъ руку и опустилъ ее, — она упала, какъ вещь.

Мальчикъ рыдалъ. Я хорошо не помню, что было въ первые минуты. Я бросился вонъ въ залъ, встрѣтилъ Ch. Edm, хотѣлъ имъ сказать что-то, но вмѣсто слова изъ моей груди вырвался какой-то чужой мнѣ звукъ, я сталъ передъ окномъ и смотрѣлъ, оглушенный и безъ яснаго пониманія, на бессмысленно двигавшееся, мерцавшее море.

Потомъ мнѣ вспомнились слова: «Береги Тату». Мнѣ сдѣлалось страшно, что ребенка испугаютъ. Говорить ей я запретилъ, но какъ можно было положиться. Я велѣлъ ее позвать и, запершись съ нею въ кабинетѣ, посадилъ ее къ себѣ на колѣни и, мало-по-малу приготовивъ ее, сказалъ, наконецъ, что «мама умерла». Она дрожала всѣмъ тѣломъ, пятна вышли на лицѣ, слезы навернулись... Я повелъ ее наверхъ. Тамъ уже все измѣнилось. Покойница, какъ живая, лежала на убранной цвѣтами постели возлѣ малютки, скончавшагося въ ту же ночь. Комната была обита бѣлымъ, усыпана цвѣтами. Изящный во всемъ вкусъ итальянцевъ умѣетъ внести что-то кроткое въ раздражающую печаль смерти. Испуганное дитя было поражено изящной обстановкой.

— «Мамаша вотъ», сказала она, но, когда я ее поднялъ и она коснулась губами холоднаго лица, она истерически заплакала. Далѣе я не могъ вынести и вышелъ...

Часа черезъ полтора я сидѣлъ одинъ опять у того же окна и опять бессмысленно смотрѣлъ на море и на небо. Дверь открылась и вошла Тата. Она подошла ко мнѣ и, ласкаясь, какъ-то испуганно шептала мнѣ: «Папа, я умно себя вела, я не много плакала?» Съ глубокой горестью посмотрѣлъ я на сироту. «Да,

тебѣ и надо быть умной. Не знать тебѣ материнской ласки, материнской любви, ихъ ничто не замѣнитъ. У тебя будетъ пробѣль въ сердцѣ, ты не испытала лучшей, чистѣйшей, единой безкорыстной привязанности въ свѣтѣ. Ты ее, можешь быть, будешь имѣть, но къ тебѣ ее никто не будетъ имѣть. Что любовь отца въ сравненіи съ материнской болью любви?...».

Она лежала вся въ цвѣтахъ. Шторы были опущены. Я сидѣлъ на стулѣ, на томъ обычномъ стулѣ возлѣ кровати, кругомъ было тихо,—только море кипѣло подъ окномъ.

Флеръ, казалось, приподнимался отъ слабаго, очень слабаго дыханія.

Кротко застыли скорбь и тревога, словно страданія окончились безслѣдно, ихъ стерла беззаботная ясность памятника, не знающаго, что онъ представляетъ. И я все смотрѣлъ, смотрѣлъ всю ночь. Ну, а какъ, въ самомъ дѣлѣ, она проснется.

Она не проснулась. Это не сонъ, это смерть!

Итакъ, это правда!

На полу, на лѣстницѣ было выброшено множество красно-желтаго гераніума. Запахъ этотъ и теперь потрясаетъ меня, какъ гальваническій ударъ, и я вспоминаю всѣ подробности, каждую минуту, и вижу комнату, обтянутую бѣлымъ съ завѣшанными зеркалами, возлѣ нея также въ цвѣтахъ желтое тѣло младенца, уснувшаго, не просыпаясь, и ея холодный, страшно холодный лобъ... Я иду скорымъ шагомъ, безъ мысли и намѣренія въ садъ. Нашъ человѣкъ Франсуа лежитъ на травѣ и рыдаетъ, какъ дитя. Я хочу ему что-то сказать, и совсѣмъ нѣтъ голоса. Я бѣгу назадъ. Незнакомая дама въ черномъ, и съ нею двое дѣтей, потихоньку отворяетъ дверь,—она проситъ позволенія прочесть католическую молитву, я самъ готовъ молиться съ нею. Она становится на колѣни передъ кроватью, и дѣти становятся на колѣни, она шепчетъ латинскую молитву. Дѣти тихо повторяютъ за ней. Потомъ она говорила мнѣ: «И они не имѣютъ матери, а отецъ ихъ далеко. Вы хоронили ихъ бабушку». Это были дѣти Гарибальди.

Толпы изгнанниковъ собрались черезъ сутки на дворѣ, въ саду, они пришли проводить ее.

Фогтъ и я—мы положили ее въ гробъ. Гробъ вынесли. Я твердо пошелъ за нимъ, держа Сашу за руку, и думалъ: вотъ такъ-то люди глядятъ на толпу, когда ихъ ведутъ на висѣлицу. Какіе-то два француза (одного изъ нихъ помню—графъ Вогэ) на улицѣ съ ненавистью и смѣхомъ указали, что нѣтъ священника. Тесье было прикрикнулъ на нихъ. Я испугался и сдѣлалъ ему знакъ рукой, — тишина была необходима. Огромный вѣнокъ изъ небольшихъ алыхъ розъ лежалъ на гробѣ. Мы всѣ сорвали по розѣ. Точно на cadaго капнула капля крови.

Когда мы входили на гору, поднялся мѣсяцъ, сверкнуло море, участвовавшее въ ея убійствѣ. На пригоркѣ, выступающемъ въ него, въ виду Эстрель, съ одной стороны, и Каринче, съ другой, схоронили мы ее. Кругомъ садъ. Эта обстановка продолжала роль цвѣтовъ на постели...

Марѣ Каспаровнѣ было пора въ Парижъ. Всѣ настаивали, чтобъ я отправилъ Тату и Ольгу съ ней, а самъ отправился съ Сашей въ Геную.

Больно мнѣ было разставаться, но я не довѣрялъ себѣ. Можетъ, думалось мнѣ, и въ самомъ дѣлѣ такъ лучше, ну, а лучше такъ пусть такъ и будетъ. Я только просилъ не увозить дѣтей до 9 мая, я хотѣлъ провести съ ними 14-ую годовщину нашей свадьбы.

На другой день послѣ нея, я проводилъ ихъ на Варскій мостъ. Гаучъ поѣхалъ съ ними до Парижа. Мы посмотрѣли, какъ таможенные пристава, жандармы и всякая полиція тормозили пассажировъ.

Гаучъ потерялъ свою трость, подаренную мною, искалъ ее и сердился.

Тата плакала. Кондукторъ въ мундирной курткѣ сѣлъ возлѣ кучера. Дилижансъ поѣхалъ по Драгиньянской дорогѣ, а мы. Тесье, Саша и я, пошли назадъ черезъ мостъ, сѣли въ коляску и поѣхали туда, гдѣ я жилъ.

Дома у меня больше не было. Съ отъѣздомъ дѣтей, послѣдняя печать семейной жизни отлетѣла. Все приняло холостой видъ.

Энгельсонъ съ женой уѣхалъ черезъ два дня. Комнаты были заперты. Тесье и Ед. переѣхали ко мнѣ. Женскій элементъ былъ исключенъ. Одинъ Саша напоминалъ возрастомъ, чертами, что здѣсь было что-то другое... напоминаніе кого-то отсутствующаго.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Русскія тѣни.

I

Н. И. Сазоновъ.

Сазоновъ, Бакунинъ, Парижъ.—Имена эти, люди эти, городъ этотъ такъ и тянутъ назадъ... назадъ— въ даль лѣтъ, въ даль пространствъ, во времена юношескихъ конспирацій, во времена философскаго культа и революціоннаго идолопоклонства ¹⁾).

Мнѣ слишкомъ дороги наши *дѣтъ юности*, чтобъ опять не пріостановиться на нихъ... Съ Сазоновымъ я дѣлилъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ наши отроческія фантазіи о заговорѣ à la Ріензи; съ Бакунинымъ, десять лѣтъ спустя, въ потѣ мозга завоевывалъ Гегеля.

О Бакунинѣ я говорилъ и придется еще много говорить. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появленіе, вездѣ: въ кругу московской молодежи, въ аудиторіи берлинскаго университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Косидьера, его рѣчи въ Прагѣ, его начальство въ Дрезденѣ, процессъ, тюрьма, приговоръ къ смерти, истязанія въ Австріи, выдача Россіи,—дѣлають изъ него одну изъ тѣхъ индивидуальностей, мимо которыхъ не проходитъ ни современный міръ, ни исторія.

Въ этомъ человѣкѣ лежалъ зародышъ колоссальной дѣятельности, на которую не было запроса. Бакунинъ носилъ въ себѣ возможность сдѣлаться агитаторомъ, трибуномъ, проповѣдникомъ, главой партіи, секты, іересіархомъ, бойцомъ. Поставьте его куда хотите, только въ *крайній край*, анабаптистомъ, якобинцемъ, товарищемъ Анахарсиса Клоотса, другомъ Гракха Бабѣфа,—и онъ увлекать бы массы и потрясать бы судьбами народовъ.

Вырвавшись въ 1840 году изъ Россіи, онъ въ нее не возвра-

¹⁾ Этотъ очеркъ принадлежитъ къ XXXIV^о гл.

щался до тѣхъ поръ, пока пикетъ австрійскихъ драгуновъ не сдалъ его русскому жандармскому офицеру въ 1849 году.

Поклонники цѣлесообразности, милые фаталисты раціонализма, все еще дивятся премудрому à propos, съ которымъ являются таланты и дѣятели, какъ только на нихъ есть потребность, забывая, сколько зародышей мретъ, гложетъ, не издавши свѣта, сколько способностей, готовностей вянуть, потому что ихъ не нужно.

Примѣръ Сазонова еще рѣзче. Сазоновъ прошелъ безслѣдно, и смерть его такъ же никто не замѣтилъ, какъ всю его жизнь. Онъ умеръ, не исполнивъ ни одной надежды изъ тѣхъ, которыя клали на него его друзья. Легко сказать, что онъ виноватъ въ своей судьбѣ; но какъ оцѣнить и взвѣсить долю, падающую на человѣка, и ту, которая падаетъ на среду.

Хоронить затянувшіяся существованія того времени, выбившіяся изъ силъ, усиливаясь стащить съ мели глубоко врѣзавшуюся въ песокъ барку нашу,—моя специальность. Я ихъ Домажировъ, теперь всѣми забытый, а нѣкогда всѣмъ въ Москвѣ извѣстный старикъ, отставной ординарецъ Прозоровскаго. Пудренный, въ свѣтло-зеленомъ павловскомъ мундирѣ, являлся онъ на всѣ выносы, на которыхъ бывалъ архіерей, становился впередъ процессіи и велъ ее, воображая, что дѣлаетъ дѣло.

..... На второй годъ университетскаго курса, то есть, осенью 1831, мы встрѣтили въ числѣ новыхъ товарищей, въ физико-математической аудиторіи, двоихъ, съ которыми особенно сблизились.

Наши сближенія, симпатіи и антипатіи шли изъ одного источника. Мы были фанатики и юноши, все было подчинено одной мысли и одной религіи: наука, искусство, связи, родительскій домъ, общественное положеніе. Тамъ, гдѣ открывалась возможность обращаться, проповѣдывать, тамъ мы были со всѣмъ сердцемъ и помышленіемъ, неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже.

Первый товарищъ, ясно понявшій насъ, былъ Сазоновъ; мы нашли его совсѣмъ готовымъ, и тотчасъ подружились. Онъ сознательно подаль свою руку и на другой день привелъ намъ еще одного студента.

Сазоновъ имѣлъ рѣзкія дарованія и рѣзкое самолюбіе. Ему было лѣтъ восемнадцать, скорѣе меньше, но, несмотря на то, онъ много занимался и читалъ все на свѣтѣ. Надъ товарищами онъ старался брать верхъ и никого не ставилъ на одну доску съ собой. Оттого они его больше уважали, чѣмъ любили. Другъ его, красавый собой и нѣжный, какъ дѣвушка, совсѣмъ напротивъ, искалъ къ кому бы пріютиться; полный любви и предан-

ности, едва вышедшій изъ-подъ материнскаго крыла, съ благородными стремленіями и полудѣтскими мечтами, ему хотѣлось теплоты, нѣжности, онъ жалея къ намъ и отдавался весь и намъ и нашей идеѣ, — это была натура Владиміра Ленскаго, натура Вeneвитинова.

.... Мы подали другу руку и à la lettre пошли проповѣдывать свободу и борьбу во всѣ четыре стороны нашей молодой «вселенной» ¹⁾.

Проповѣдывали мы вездѣ, всегда... Что мы собственно проповѣдывали, трудно сказать. Идеи были смутны, мы проповѣдывали французскую революцію, потомъ проповѣдывали сенъ-симонизмъ и ту же революцію, мы проповѣдывали конституцію и республику, чтеніе политическихъ книгъ и сосредоточеніе силъ въ одномъ обществѣ. Но пуще всего проповѣдывали ненависть къ всякому насилью, къ всякому произволу.

Съ тѣхъ поръ наша пропаганда не перемежалась черезъ всю жизнь нашу, отъ университетской аудиторіи до Лондонской типографіи. Вся наша жизнь была посильнымъ исполненіемъ отроческой программы. Прослѣдить нитку не трудно по затронутымъ вопросамъ, по возбужденнымъ интересамъ, въ журналахъ, на лекціяхъ, въ литературныхъ кругахъ... Видоизмѣняясь, развиваясь, наша пропаганда оставалась вѣрной себѣ и вносила свой *индивидуальный* характеръ во все окружающее. Казна подняла насъ и сдѣлала намъ пьедесталъ *тюрьмой и ссылкой*. Мы возвратились въ Москву «авторитетами» въ двадцать пять лѣтъ. Къ намъ примкнули Бѣлинскій, Грановскій и Бакунинъ, а статьями въ *Отечественныхъ Запискахъ* мы сами примкнули къ петербургскому движенію лицейстовъ и молодой литературы.

Смѣло и съ полнымъ сознаніемъ скажу еще разъ про наше товарищество того времени: «что это была удивительная молодежь, что такого круга людей талантливыхъ, чистыхъ, развитыхъ, умныхъ и преданныхъ я не встрѣчалъ», а скитался довольно по бѣлому и по *красному* свѣту. Я не только говорю о нашемъ, близкомъ кругѣ, но то же и въ той же силѣ долженъ сказать о кругѣ Станкевича и о славянофилахъ. Молодые люди, испуганные ужасной дѣйствительностью, середь тьмы и давящей тоски, оставляли все и шли искать выхода. Они жертвовали всѣмъ, до чего добиваются другіе—общественнымъ положеніемъ, богатствомъ, всѣмъ, что имъ предлагала традиціонная жизнь, къ чему влекла среда, примѣръ, къ чему нудила семья — изъ-за своихъ убѣжденій и остались вѣрными имъ.

¹⁾ Universitas.

Сазоновъ былъ дѣйствительно праздный человѣкъ и сгубилъ въ себѣ бездну силъ; затертый разными разностями на чужбинѣ, онъ пропалъ, какъ солдатъ, взятый въ плѣнъ на первомъ сраженіи и никогда не возвращавшійся домой.

Когда насъ арестовали въ 1834 году и посадили въ тюрьму, Сазоновъ и Кетчеръ уцѣлѣли какимъ-то чудомъ. Оба они жили въ Москвѣ почти безвыѣдно, говорили много, но писали мало, ихъ писемъ ни у кого изъ насъ не было. Насъ повезли въ ссылку; Сазонову мать выхлопотала заграничный паспортъ въ Италію. Участь его, разрозненная съ нами, положила, можетъ, начало послѣдующей жизни его, — жизни какой-то блуждающей и безслѣдно падающей звѣзды.

Черезъ годъ онъ возвратился въ Москву; это былъ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ періодовъ прошлаго царствованія. Въ Москвѣ его встрѣтилъ мертвый *calme plat*, нигдѣ ни тѣни сочувствія, ни живого слова. Мы въ *резервахъ* ссылки хранили нашу прошлую жизнь, жили памятью и надеждой, работали и знакомились съ грубой реальностью провинціального быта.

Въ Москвѣ все Сазонову напоминало наше отсутствіе. Изъ старыхъ друзей одинъ Кетчеръ былъ налицо, человѣкъ, съ которымъ Сазоновъ, чопорный и аристократъ по манерамъ, всего меньше могъ идти рука въ руку. Кетчеръ, какъ мы говорили, былъ сознательный дикарь — изъ *образованныхъ*, куперовскій піонеръ, съ премедитаціей возвращавшійся въ первобытное состояніе людскаго рода, грубый по принципу, неряха по теоріи, студентъ лѣтъ тридцати пяти въ роли Шиллеровскаго юноши.

Сазоновъ побился, побился въ Москвѣ, — скука одолѣла его, ничто не звало на трудъ, на дѣятельность. Онъ попробовалъ переѣхать въ Петербургъ—еще хуже; не выдержалъ онъ *à la longue*, и уѣхалъ въ Парижъ безъ опредѣленнаго плана. Это было еще то время, когда Парижъ и Франція имѣли на насъ всю чарующую силу свою. Туристы наши скользили по лакированной поверхности французской жизни, не зная ея шероховатой стороны, и были въ восторгѣ отъ всего — отъ либеральныхъ рѣчей, отъ пѣсней Беранже и каррикатуръ Филипона. Такъ было и съ Сазоновымъ. Но дѣла не нашелъ онъ и тутъ. Шумная, веселая праздность замѣняла нѣмую, подавленную жизнь. Въ Россіи онъ былъ связанъ по рукамъ и ногамъ, тутъ чужой всѣмъ и всему. Другой длинный рядъ годовъ безцѣльно волнуемой, раздражаемой жизни начался для него въ Парижѣ. Сосредоточиться въ себѣ, отдаться внутренней работѣ, не ожидая толчка извнѣ, онъ не могъ, это не лежало въ его натурѣ. Объективный интересъ науки не былъ въ немъ такъ силенъ. Онъ искалъ иной дѣятельности и былъ бы готовъ на всякій трудъ,—но на виду, но

въ быстромъ приложеніи его, въ практическомъ осуществленіи и притомъ при громкой обстановкѣ, при рукоплесканіяхъ и крикѣ враговъ; не находя такой работы, онъ бросился въ Парижскій разгулъ.

.... А горѣли и его глаза и наполнялись слезой при памяти о нашихъ университетскихъ мечтахъ..... Внутри его глубоко-уязвленного самолюбія все еще хранилась вѣра въ *близкій* переворотъ Россіи и въ то, что онъ призванъ играть въ немъ большую роль. Казалось, онъ и кутилъ только *покаместъ*, въ скучномъ ожиданіи предстоящаго огромнаго дѣла, и былъ увѣренъ, что однимъ добрымъ вечеромъ его вызовутъ изъ-за стола *café Anglais* и повезутъ управлять Россіей... Онъ пристально присматривался къ тому, что дѣлается и съ нетерпѣніемъ ждалъ минуты, когда нужно будетъ принять серьезное участіе и сказать послѣднее, завершающее слово.

.... Послѣ первыхъ, шумныхъ дней, въ Парижѣ начались больше серьезные разговоры, при чемъ сейчасъ обнаружилось, что мы строены не по одному ключу. Сазоновъ и Бакунинъ были недовольны (такъ, какъ впоследствии Высоцкій и члены польской централизаціи), что новости, мною привезенныя, больше относились къ литературному и университетскому міру, чѣмъ къ политическимъ сферамъ. Они ждали рассказовъ о партіяхъ, обществахъ, о министерскихъ кризисахъ, объ оппозиціи (въ 1847 !), а я имъ говорилъ о кафедрахъ, о публичныхъ лекціяхъ Грановскаго, о статьяхъ Бѣлинскаго, о настроеніи студентовъ и даже семинаристовъ. Они слишкомъ разошлись съ русской жизнью и слишкомъ вошли въ интересы «всемирной» революціи и французскихъ вопросовъ, чтобы помнить, что у насъ появленіе «Мертвыхъ Душъ» было важнѣе назначенія двухъ Паскевичей фельд-маршалами. Безъ правильныхъ сообщеній, безъ русскихъ книгъ и журналовъ, они относились къ Россіи какъ-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освѣщеніе всякой дали.

Разница нашихъ взглядовъ чуть не довела насъ до размолвки. Это случилось такъ. Наканунѣ отъѣзда Бѣлинскаго изъ Парижа, мы проводили его вечеромъ домой и пошли гулять на Елисейскія поля. Страшно ясно видѣлъ я, что для Бѣлинскаго все кончено, что я ему въ послѣдній разъ жаль руку. Сильный, страстный боецъ сжегъ себя, смерть уже вываяла крупными чертами свою близость на цѣстрадавшемся лицѣ его. Онъ былъ въ злѣйшей чахоткѣ, а все еще полонъ святой энергіи и святого негодованія, все еще полонъ своей мучительной, «злой» любви къ Россіи. Слезы стояли у меня въ горлѣ и я долго шелъ молча, когда возобновился несчастный споръ, разъ десять являвшійся *sur le tapis*.

— Жаль, замѣтилъ Сазоновъ, что Бѣлинскому не было другой дѣятельности. кромѣ журнальной работы да еще работы подцензурной.

— Кажется, трудно упрекать именно его, что онъ мало сдѣлалъ, отвѣчалъ я.

— Ну, съ такими силами, какъ у него, онъ при другихъ обстоятельствахъ и на другомъ поприщѣ побольше сдѣлалъ бы...

Мнѣ было досадно и больно.

— Да скажите, пожалуйста, ну вы, живущіе безъ цензуры, вы полные вѣры въ себя, полные силъ и талантовъ, что же вы сдѣлали? Или что вы дѣлаете? Неужели вы воображаете, что ходить съ утра изъ одной части Париза въ другую, чтобъ еще разъ переговорить съ Служальскимъ или Хоткевичемъ о границахъ Польши и Россіи — дѣло? Или что ваши бесѣды въ кафе и дома, гдѣ пять дураковъ слушаютъ васъ и ничего не понимаютъ, а другіе пять ничего не понимаютъ и говорятъ,— дѣло?

— Постой, постой,—говорилъ Сазоновъ, уже очень неравнодушно,—ты забываешь наше положеніе.

— Какое положеніе? Вы живете здѣсь годы, на волѣ, безъ гнетущей крайности, чего же вамъ еще? Положенія создаются, силы заставляютъ себя признать, вѣселятъ себя. Полноте, господа, одна критическая статья Бѣлинскаго полезнѣе для новаго поколѣнія, чѣмъ игра въ конспирацію и въ государственныхъ людей. Вы живете въ какомъ-то бреду и лунатизмѣ, въ вѣчномъ, оптическомъ обманѣ, которымъ сами себя отводите глаза...

Меня особенно сердили тогда двѣ мѣры, которыя прилагали не только Сазоновъ, но и вообще русскіе къ оцѣнкѣ людей. Строгость, обращенная на своихъ, превращалась въ культъ и поклоненіе передъ французскими знаменитостями. Досадно было видѣть, какъ наши *пасовали* передъ этими матадорами краснбайства, забрасывавшими ихъ словами, фразами и общими мѣстами, сказанными съ *vitesse accélérée*. И чѣмъ смиреннѣе держали себя русскіе, чѣмъ больше они краснѣли и старались скрывать *ихъ* невѣжество (какъ дѣлаютъ нѣжные родители и самолюбивые мужья), тѣмъ больше тѣ ломались и важничали передъ гиперборейскими Анахарсисами.

Сазоновъ, любившій еще въ Россіи студентомъ окружать себя *дворомъ* разныхъ посредственностей, слушавшихъ и слушавшихъ его, былъ и здѣсь окруженъ всякими скудными умомъ и тѣломъ лаццарони литературной Кіаи, поденщиками журнальной барщины, ветошниками фельетоновъ, въ родѣ тощаго Жюльвекура, полуповрежденнаго Тардифа-де-Мело, неизвѣстнаго, но великаго поэта Буэ, въ его хорѣ были и ограниченнѣйшіе поляки

изъ товянщизны и тупоумѣйшіе нѣмцы изъ атеизма. Какъ онъ не скучалъ съ ними,—это его секретъ, онъ даже ко мнѣ ходилъ почти всегда съ однимъ или съ двумя понятыми изъ хора, не смотря на то, что я съ ними всегда скучалъ и не скрывалъ этого. Поэтому-то особенно странно поражало, что онъ самъ становился въ положеніе Жюльвекура въ отношеніи къ Марастамъ, Риберолямъ и даже къ меньшимъ знаменитостямъ.

Все это не совсѣмъ понятно для современныхъ посѣтителей Парижа. Никакъ ненадобно забывать, что настоящій Парижъ—*не настоящій, а новый.*

Сдѣлавшись какимъ-то *своднымъ* городомъ всего свѣта, Парижъ пересталъ быть городомъ по преимуществу французскимъ. Прежде въ немъ была вся Франція и «ничего развѣ ея»; теперь въ немъ вся Европа, да еще двѣ Америки, но *его самого* меньше; онъ расплылся въ своемъ званіи мірового отеля, караванъ-сарая и потерялъ свою самобытную личность, внушавшую горячую любовь и жгучую ненависть, уваженіе безъ границъ и отвращеніе безъ предѣловъ.

Само собою разумѣется, что отношеніе иностранцевъ къ новому Парижу измѣнилось. Союзныя войска, ставшія на бивакахъ, на Place de la Révolution, знали, что они взяли *чужой* городъ. Кочующій туристъ считаетъ Парижъ своимъ, онъ его покупаетъ, жуируетъ имъ и очень хорошо знаетъ, что онъ нуженъ Парижу, и что старый Вавилонъ обстроился, окрасился, побѣлился не для себя, а для него.

Въ 1847 г. я еще засталъ *прежній* Парижъ, къ тому же Парижъ съ поднятымъ пульсомъ, допѣвавшій Беранжеровы пѣсни—съ припѣвомъ: *vive la réforme*, невзначай перемѣнившимся въ *vive la République!* Русскіе продолжали тогда жить въ Парижѣ съ вѣчно присущимъ чувствомъ сознанія и благодарности Провидѣнію (и исправному взысканію оброковъ), *что они живутъ въ немъ*, что они гуляютъ въ Palais Royal'ѣ и ходятъ aux Français. Они откровенно поклонялись львамъ и львицамъ всѣхъ родовъ—знаменитымъ докторамъ и танцовщицамъ, зубному лекарю Дезирабоду, сумасшедшему Ма-Па и всѣмъ литературнымъ шарлатанамъ и политическимъ фокусникамъ.

Я ненавижу систему дерзости *préméditée*, которая у насъ въ модѣ. Я въ ней узнаю всѣ родовыя черты прежняго, офицерскаго, помѣщичьяго дантизма, ухарства, переложенныя на нравы Васильевскаго острова и линіи его. Но ненадобно забывать, что и кліентизмъ нашъ передъ западными авторитетами шелъ изъ той же казармы, изъ той же канцеляріи, изъ той же передней,—только въ другія двери, а именно обращенныя къ барину, начальнику и командиру. Въ нашей бѣдности поклоненія чему-бъ то ни было,

кромѣ грубой силы и ея знаменій, потребность имѣть нравственную *табелю о рангахъ* очень понятна,—но зато передъ кѣмъ и кѣмъ ни стояли въ умиленіи лучшіе изъ нашихъ соотечественниковъ? Даже передъ Вердеромъ и Руге, этими великими бездарностями гегелизма. Отъ *нѣмцевъ* можно сдѣлать заключеніе, что дѣлалось передъ французами, передъ людьми дѣйствительно замѣчательными, передъ Пьеромъ Леру, напр., или передъ *самой* Жоржъ-Зандъ...

Каюсь, что я сначала былъ увлеченъ и думалъ, что поговорить въ кафе съ историкомъ «десяти лѣтъ» или у Бакунина съ Прудономъ, нѣкоторымъ образомъ чинъ, повышение; но у меня всѣ опыты идолопоклонства и кумировъ не держатся, и очень скоро уступаютъ мѣсто полнѣйшему отрицанію.

Мѣсяца черезъ три послѣ моего пріѣзда въ Парижъ, я началъ крѣпко нападать на это *чинопочитаніе*, и именно въ пущій разгаръ моей оппозиціи случился споръ по поводу Бѣлинскаго. Бакунинъ, съ обыкновеннымъ добродушіемъ своимъ, самъ въ половину соглашался и хохоталъ; но Сазоновъ надулся и продолжалъ меня считать профаномъ въ практически-политическихъ вопросахъ. Вскорѣ я его убѣдилъ еще больше въ этомъ.

Февральская революція была для него полнѣйшимъ торжествомъ, знакомые фельетонисты заняли правительственныя мѣста, троны качались, ихъ поддерживали поэты и доктора. Нѣмецкіе князьки спрашивали совѣта и помощи у вчера гонимыхъ журналистовъ и профессоровъ. Либералы учили ихъ, какъ крѣпче нахлобучить узенькія коронки, чтобъ ихъ не снесло поднявшейся вьюгой. Сазоновъ писалъ ко мнѣ въ Римъ письмо за письмомъ и звалъ *домой*, въ Парижъ, въ единую и нераздѣльную республику.

Возвращаясь изъ Италіи, я засталъ Сазонова озабоченнымъ. Бакунина не было, онъ уже уѣхалъ *поднимать* западныхъ славянъ.

— Неужели, сказалъ мнѣ Сазоновъ при первомъ свиданіи, ты не видишь, что наше *время пришло*?

— То есть, какъ?

— Русское правительство въ *impass'ѣ*.

— Что же случилось, не провозглашена-ли республика?

— *Entendons nous*, я не думаю, чтобъ у насъ завтра было 24 февраля. Нѣтъ, но общественное мнѣніе, но наплывъ либеральныхъ идей, разбитая на части Австрія, Пруссія съ конституціей, заставляютъ подумать людей, окружающихъ Зимній дворецъ. Меньше нельзя сдѣлать, какъ *октроировать* какую-нибудь конституцію, *un simulacre de charte*. ну и при этомъ, прибавилъ онъ съ нѣкоторой торжественностью, при этомъ необходимо либераль-

ное, образованное, умѣющее говорить современнымъ языкомъ министерство. Думалъ ли ты объ этомъ?

— Нѣтъ.

— Чуждакъ, гдѣ же они возьмутъ образованныхъ министровъ?

— Какъ не найти, если-бъ было нужно; но мнѣ кажется, они ихъ искать не будутъ.

— Теперь этотъ скептицизмъ неумѣстенъ, *исторія совершается* и притомъ очень быстро. Подумай,—правительство по неволѣ обратится *къ намъ*.

Я посмотрѣлъ на него, желая знать, что онъ шутитъ или нѣтъ. У него лицо было серьезно, нѣсколько поднято въ цвѣтѣ и нервно отъ волненія.

— Такъ-таки просто *къ намъ*?

— Ну, то есть, *лично* ли къ намъ, или къ нашему кругу, все равно,—да ты подумай еще разъ, къ кому же они сунутся?

— Ты какую берешь портфель?

— Напрасно смѣшешься. Это наше несчастіе, что мы не умѣемъ ни пользоваться обстоятельствами, ni se faire valoir, ты все думаешь о статейкахъ, статейки хорошее дѣло, но теперь другое время, и одинъ день во власти важнѣе цѣлаго тома.

Сазоновъ съ сожалѣніемъ смотрѣлъ на мою *непрактичность* и, наконецъ, нашелъ людей меньше скептическихъ, увѣровавшихъ въ близкое пришествіе его министерства. Въ концѣ 1848 г. два-три нѣмца-рефюжѣ очень постоянно посѣщали небольшие вечера, устроенные Сазоновымъ у себя. Въ ихъ числѣ былъ австрійскій лейтенантъ, отличившійся какъ начальникъ штаба при Мессенгаузерѣ. Разъ, выходя часа въ два ночи по проливному дождю и вспомнивъ, что отъ rue Blanche до Quartier Latin не то, чтобъ было чересчуръ близко, офицеръ ропталъ на свою судьбу.

— Какая же вамъ неволя была въ такую погоду тащиться такую даль?

— Конечно, не неволя, да знаете, Herr von Sessanoff сердится, когда не приходишь, а мнѣ кажется, что съ нимъ надобно намъ поддерживать хорошія отношенія. Вы лучше меня знаете, что онъ съ своимъ талантомъ и умомъ... съ тѣмъ мѣстомъ, которое онъ занимаетъ въ своей партіи, что онъ далеко пойдетъ при предстоящемъ переворотѣ въ Россіи...

— Ну, Сазоновъ,—сказалъ я ему на другой день:—Архимедову точку ты нашелъ, есть человѣкъ, который вѣритъ въ твою будущую портфель, и этотъ человѣкъ лейтенантъ такой-то.

Время шло, переворота въ Россіи не было и пословъ за нами никто не присылалъ. Прошли и грозные іюньскіе дни; Сазоновъ принялся за «передовую статью»—не журнала, а *Эпохи*. Долго

работалъ онъ за ней, читалъ небольшіе отрывки, поправлялъ, мѣнялъ и едва окончилъ къ зпмѣ. Ему казалось необходимымъ «объяснить послѣднюю революцію Россіи». «Не ждите,—говорилъ онъ въ началѣ,—чтобъ я вамъ сталъ описывать событія, другіе это сдѣлаютъ лучше меня. Я вамъ передамъ мысль, идею совершившагося переворота». Простого труда ему было мало: сведенный на перо, онъ всякій разъ, когда бралъ его, хотѣлъ сдѣлать что-нибудь необыкновенное, громовое,—письмо Чаадаева постоянно носилось въ его умѣ. Статья побѣхала въ Петербургъ, была прочтена въ дружескихъ кругахъ и не сдѣлала никакого впечатлѣнія.

Еще лѣтомъ 1848 завелъ Сазоновъ международный клубъ. Туда онъ привелъ всѣхъ своихъ Тардифовъ, нѣмцевъ и мессіанистовъ. Съ сіяющимъ лицомъ ходилъ онъ въ синемъ фракѣ по пустой залѣ. Онъ открылъ международный клубъ рѣчью, обращенной къ пяти-шести слушателямъ, въ числѣ которыхъ былъ я ¹⁾ въ роли публики, остальная кучка была на платформѣ въ качествѣ бюро. Волѣдъ за Сазоновымъ предсталъ растрепанный, съ видомъ заспаннаго человѣка, Тардифъ-де-Мело, и грянулъ стихотвореніе въ честь клуба.

Сазоновъ поморщился, но остановить поэта было поздно.

Worcel, Sassonoff, Olinski, Del Balzo, Leonard

Et vous tous...

Кричалъ съ какимъ-то восторженнымъ остервенѣніемъ Тардифъ-де-Мело, не замѣчая смѣха.

На другой или третій день Сазоновъ мнѣ прислалъ экземпляровъ *тысячу* программы открытія клуба, тѣмъ клубъ и кончился. Только впоследствии мы услышали, что одинъ изъ представителей человѣчества, и именно представлявшій на этомъ конгрессѣ Испанію и говорившій рѣчь, въ которой называлъ исполнительную власть *potence exécutive*, воображая, что это по-французски, чуть не пошалъ въ Англіи на настоящую висѣлицу и былъ приговоренъ къ каторжной работѣ за поддѣлку какого-то акта.

За неудавшимся министерствомъ и лопнувшимъ клубомъ слѣдовали больше скромныя, но и гораздо больше возможныя попытки сдѣлаться журналистомъ. Когда устроилась «*La Tribune des peuples*», подъ главнымъ завѣдываніемъ Мицкевича, Сазоновъ занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ редакціи, написалъ двѣ-три очень хорошія статьи... и замолкъ; а передъ наденіемъ «Трибуны», т. е., передъ 13 іюня 1849, былъ уже со всѣми въ ссорѣ. Все ему казалось мало, бѣдно, *il se sentait derogé*, досадовалъ за это,

¹⁾ Я былъ тогда, какъ выражаются поляки. „паспортовый“ и не отрѣзалъ еще путей возвращенія въ Россію.

ничего не оканчивалъ. запускалъ начатое и бросалъ въ половину сдѣланное.

Въ 1849 году я предложилъ Прудону передать иностранную часть редакціи «*Voix du peuple*» Сазонову. Съ его знаніемъ четырехъ языковъ, литературы, политики, исторіи всѣхъ европейскихъ народовъ, съ его знаніемъ партій, онъ могъ изъ этой части журнала сдѣлать чудо для французовъ. Во внутренній распорядокъ иностранныхъ новостей Прудонъ не входилъ, она была въ моихъ рукахъ, но я изъ Женевы ничего не могъ сдѣлать. Сазоновъ черезъ мѣсяць передалъ редакцію Хоецкому и разстался съ журналомъ. «Я Прудона глубоко уважаю, — писалъ онъ мнѣ въ Женеву, — но двумъ такимъ личностямъ, какъ его и моя, нѣтъ мѣста въ одномъ журналѣ».

Черезъ годъ Сазоновъ пристроился къ воскрешенной тогда маццинистами «Реформѣ». Главной редакціей завѣдывалъ Ламене. И тутъ не было мѣста двумъ великимъ людямъ. Сазоновъ поработалъ мѣсяца три и бросилъ «Реформу». Съ Прудономъ онъ, по счастью, разстался мирно, съ Ламене — въ ссорѣ. Сазоновъ обвинялъ скупого старика въ корыстномъ употребленіи редакціонныхъ денегъ. Ламене, вспомнивъ привычки клерикальной юности своей, прибѣгнулъ къ *ultima ratio* на Западѣ и пустилъ насчетъ Сазонова вопросъ: «Не агентъ ли онъ русскаго правительства?»

Въ послѣдній разъ я Сазонова видѣлъ въ Швейцаріи въ 1851. Онъ былъ высланъ изъ Франціи и жилъ въ Женевѣ. Это было самое сѣрое, подавляющее время, грубая реакція торжествовала вездѣ. Поколебалась вѣра Сазонова во Францію и въ близкую перемену министерства въ Петербургѣ. Праздная жизнь ему надоѣла, мучила его, работа не спорилась, онъ хватался за все, безъ выдержки, сердился и пилъ. Къ тому же жизнь мелкихъ тревогъ, вѣчной войны съ кредиторами, добываніе денегъ, талантъ ихъ бросать и неумѣнье распоряжаться вносили много раздраженія и печальной прозы въ ежедневное существованіе Сазонова; онъ и кутилъ уже невесело, по привычкѣ, а кутить онъ нѣкогда былъ мастеръ.

Кстати нѣсколько словъ о его домашней жизни, и именно кстати потому, что она-то и сбивалась всего больше на кутежъ и не была лишена колорита.

Въ первые годы своей парижской жизни Сазоновъ встрѣтился съ одной богатой вдовой. съ нею онъ еще больше втянулся въ пышную жизнь. Она уѣхала въ Россію, оставивъ ему на воспитаніе ихъ дочь и большія деньги. Вдова не успѣла доѣхать до Петрополя, какъ уже ее замѣнила дебелая итальянка, съ голосомъ, передъ которымъ еще разъ пали бы стѣны Иерихонскія.

Года черезъ два-три вдова вздумала совершенно неожиданно посѣтить друга и дочь. Итальянка поразила ее.

— Это что за особа?—спросила она, оглядывая ее съ головы до ногъ.

— Нянька при Лили, и очень хорошая.

— Ну, какъ она научить ее говорить по-французски съ такимъ акцентомъ?... Это бѣда. Я лучше сыщу парижанку, а ты эту отпусти.

— Mais, ma chère...

— Mais, mon cher...—и вдова взяла дочь.

Это былъ не только чувствительный, но и финансовый кризисъ. Сазоновъ былъ далеко не бѣденъ. Сестры посылали ему тысячъ двадцать франковъ въ годъ дохода съ его имѣнья. Но, тратя безумно, онъ и теперь не думалъ уменьшать свой train, а бросился на займы. Занималъ онъ направо и налево, бралъ у сестеръ изъ Россіи, что могъ, бралъ у друзей и враговъ, бралъ у ростовщиковъ, у дураковъ, у русскихъ и нерусскихъ... Долго держался онъ и лавировалъ такимъ образомъ, но, наконецъ, все-таки оборвался и попалъ въ Клиши, какъ я уже упомянулъ.

Въ продолженіе этого времени старшая сестра его овдовѣла. Услышавъ, что онъ въ тюрьмѣ, обѣ сестры поѣхали его выручать. Какъ всегда бываетъ, онѣ ничего не знали о житьѣ-бытьѣ Николеньки. Обѣ сестры были безъ ума отъ него, считали его за гения и ждали съ нетерпѣніемъ, когда онъ явится во всей силѣ и славѣ.

Ихъ встрѣтили разныя разочарованія, они ихъ тѣмъ больше удивили, чѣмъ меньше онѣ ожидали. На другой день утромъ, онѣ, взявши съ собой графа Хоткевича, пріятеля Сазонова, поѣхали его выкупать сюрпризомъ. Хоткевичъ оставилъ ихъ въ каретѣ и ушелъ, обѣщавши черезъ минуту явиться съ братомъ. Часъ шелъ за часомъ, Николенька не являлся... Вѣрно, такія длинныя формальности, думали дамы, скучая въ фіакрѣ... Прибѣжалъ, наконецъ, Хоткевичъ одинъ съ краснымъ лицомъ и сильнымъ виннымъ запахомъ. Онъ возвѣстилъ, что Сазоновъ сейчасъ будетъ, что онъ на прощанье съ товарищами угощаетъ ихъ виномъ и закусываетъ съ ними, что это ужъ такъ заведено. Кольнуло это немножко нѣжное сердце путешественницъ... но... но вотъ и толстый, потный, плотный Николенька бросился въ ихъ объятія,—и онѣ отправились довольныя и счастливыя домой.

Онѣ слышали что-то... объ какой-то итальянкѣ... Пламенная дочь Италіи, не устоявшая передъ сѣвернымъ гениемъ, и гиперборей, плѣненный южнымъ голосомъ, огнемъ очей... Онѣ, краснѣя и стыдясь, изъявили робкое желаніе съ ней познакомиться. Онъ согласился на все и отправился домой. Дня черезъ два сестры

вздумали сдѣлать второй сюрпризъ брату, который еще меньше удался перваго.

Часовъ въ 11 утра, въ жаркій день, отправились сестры взглянуть на Франческу да Рампини и ея житье-бытье съ Николенькой. Меньшая сестра отворила дверь и остановилась... Въ небольшой гостиной, покрытой коврами, сидѣлъ на полу въ глубокомъ неглиже Сазоновъ и съ нимъ толстая signora P., едва прикрытая легкой блузой. Signora хохотала во всю мочь итальянскихъ легкихъ... разказу Николеньки. Возлѣ нихъ стояло ведро со льдомъ и въ немъ, склоняясь на бокъ, бутылка шампанскаго.

Что было дальше и какъ, я не знаю, но эффектъ былъ сильный и продолжительный. Меньшая сестра притѣжала ко мнѣ совѣщаться объ этомъ событіи, о которомъ она говорила съ спазмами и слезами. Я ее утѣшалъ тѣмъ, что первые дни послѣ Клиши не составляютъ норму.

За всѣмъ этимъ слѣдовала проза переѣзда на меньшую квартиру... Камердинеръ, который мастерски подавалъ галстухъ изъ непрободаемой шелковой матеріи, въ которую изловчился вонзять булавку съ жемчужиной, былъ отпущенъ, да и сама булавка вслѣдъ за нимъ, явилась въ окнѣ какого-то магазина.

Такъ прошло еще лѣтъ пять. Сазоновъ возвратился въ Парижъ изъ Швейцаріи, потомъ опять уѣхалъ изъ Парижа въ Швейцарію. Чтобъ отдѣлаться отъ дебелой итальянки, онъ избралъ самое оригинальное средство, — онъ женился на ней, потомъ разстался.

Между нами пробѣжала кошка: онъ неоткровенно поступилъ со мной въ одномъ дѣлѣ, очень дорогомъ мнѣ. Я не могъ перешагнуть черезъ это.

Между тѣмъ началась новая эпоха для Россіи; Сазоновъ рвался принять участіе въ ней, писалъ статьи неудавшіяся, хотѣлъ возвратиться, и не возвращался ¹⁾ и оставилъ, наконецъ, Парижъ. Долго объ немъ не было ничего слышно.

...Вдругъ какой-то русскій, пріѣхавшій недавно изъ Швейцаріи въ Лондонъ, сказалъ мнѣ:

— Наканунѣ моего отъѣзда изъ Женевы хоронили стараго знакомаго вашего.

— Кого это?

— Сазонова, и представьте, ни одного русскаго не было на похоронахъ.

И стукнуло сердце—будто раскаяньемъ, что я его такъ надолго оставилъ...

(Писано въ 1863).

¹⁾ Его статья „О мѣстѣ Россіи на всемірной выставкѣ“ напечатана въ II кн. „Полярной Звѣзды“.

II.

Энгельсоны.

Они оба умерли. Онъ не старше тридцати пяти лѣтъ, она— моложе его.

*Онъ умеръ лѣтъ около десяти тому назадъ въ Жерсеѣ; за его гробомъ шла вдова, ребенокъ и коренастый, растрепанный старикъ съ крупными, рѣзкими, запущенными чертами; въ его лицѣ были зря перемѣшаны геній и безуміе, фанатизмъ и пронія, озлобленіе ветхозавѣтнаго пророка и якобинца 1793 г. Старикъ этотъ былъ *Пьеръ Леру*.*

Она умерла въ началѣ 1865 года въ Испаніи. О ея смерти я узналъ нѣсколько мѣсяцевъ спустя.

Гдѣ ребенокъ, я не слыхалъ.

Человѣкъ, о которомъ идетъ рѣчь, былъ мнѣ близокъ, былъ мнѣ дорогъ, онъ первый обтеръ глубокія раны, когда онѣ были свѣжи, онъ былъ моимъ братомъ, моей сестрой. *Она*, врядъ зная ли что дѣлаетъ, отдала его отъ меня. Онъ сталъ моимъ врагомъ...

Вѣсть о ея смерти опять вызвала ихъ въ памяти...

Я взялъ тетрадь, писанную мною объ нихъ въ 1859 году, и, вмѣсто псалтыря, прочелъ ее надъ покойниками.

Долго думалъ я, печатать ее или нѣтъ, и недавно рѣшилъ, что *да*. Намѣреніе мое чисто, рассказъ истиненъ. Не упрекъ хочу я бросить въ ихъ могилу, а вмѣстѣ съ читателемъ еще и еще разъ прослѣдить по новымъ субъектамъ всю сложную, болѣзненную сломанность людей послѣдняго поколѣнія.

Chateau Boissiere. 31 декабря. 1865.

I.

Въ концѣ 1850 года въ Ниццу пріѣхалъ одинъ русскій съ женой. Мнѣ ихъ указали на прогулкѣ. Оба они принадлежали къ чающимъ движенія воды, онъ худой, блѣдный, чахоточный, рыжеватоблѣкурый; она быстро увядшая красота, истомленная, полуразрушенная, измученная.

Лекарь, жившій у одной русской дамы, сказалъ мнѣ, что блѣлокурый господинъ лицеистъ, что онъ читаетъ Vom anlern Ufer,

что онъ былъ замѣшанъ въ дѣлѣ Петрашевскаго, и по всему тому желаетъ со мной познакомиться. Я отвѣчалъ, что всегда радъ хорошему русскому, тѣмъ больше лицеисту, да еще участвовавшему въ дѣлѣ, мало мнѣ извѣстномъ, но которое для меня было маслиной, принесенной голубемъ въ Ноевъ ковчегъ.

Прошло нѣсколько дней, я не видалъ ни лекаря, ни новаго русскаго. Вдругъ какъ-то часу въ десятомъ вечера мнѣ подали карточку,—это былъ онъ. Мы сидѣли съ Карломъ Фогтомъ въ столовой, я велѣлъ гостя просить наверхъ въ гостиную, и прежде другихъ пошелъ туда. Тамъ я засталъ его блѣднаго, дрожащаго, въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи. Онъ едва могъ сказать свою фамилію; успокоившись немного, онъ вскочилъ со стула, бросился ко мнѣ, расцѣловалъ меня, и, прежде чѣмъ я въ свою очередь успѣлъ придти въ себя, онъ, со словами: «Такъ наконецъ-то я въ самомъ дѣлѣ вижу васъ», поцѣловалъ мою руку.—«Что съ вами? Помилуйте!» говорилъ я ему, но онъ уже плакалъ въ это время.

Я смотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ: что это—нервная распушенность или просто помѣшательство?

Извиняясь и осыпая меня комплиментами, онъ съ необыкновенной быстротой и сильной мимикой разсказалъ мнѣ, что я ему спасъ жизнь и именно вотъ какимъ образомъ. Пропадая съ тоски въ Петербургѣ, выключенный изъ лица за какой-то вздоръ, гнушаясь службой, которую долженъ былъ принять, и не видя никакого выхода ни для себя лично, ни вообще, онъ рѣшился отравиться и, за нѣсколько часовъ до исполненія своего намѣренія, пошелъ бродить безъ опредѣленной цѣли по улицамъ, зашелъ къ Излеру и взялъ книжку *Отчественныхъ Записокъ*. Въ ней была моя статья: «По поводу одной драмы». Чтеніе мало-по-малу захватило его вниманіе, ему стало легче, ему стало стыдно, что онъ такъ подчиняется горю и отчаянію, когда общіе интересы растутъ со всѣхъ сторонъ и зовутъ все молодое, все имѣющее силы, и Энгельсонъ вмѣсто яда спросилъ полбутылки мадеры, еще разъ перечиталъ статью и съ тѣхъ поръ сдѣлался горячимъ поклонникомъ моимъ.

Онъ просидѣлъ до поздней ночи и ушелъ, прося позволенія скоро возвратиться. (Сквозь его спутанную рѣчь, перерываемую отступленіями и эпизодами, можно было видѣть сильно устроенную голову, рѣзкую діалектическую способность и еще яснѣе сломанность, бросающую его изъ одной крайности въ другую, отъ негодованья, обиженнаго горемъ и удрученнаго печалью, до ироническаго гаерства, отъ слезъ до кривлянія.

Онъ оставилъ меня подъ страннымъ впечатлѣніемъ. Сначала я ему не довѣрялъ, потомъ уставалъ отъ него, онъ какъ-то

слишкомъ дѣйствовалъ на нервы, но мало-по-малу я привыкъ къ его странностямъ и былъ радъ оригинальному лицу, разрушавшему монотонную скуку, наводимую гуртовымъ большинствомъ западныхъ людей.

Энгельсонъ бездну читалъ и бездну учился, былъ лингвистъ, филологъ и вносилъ во все знакомый намъ скептицизмъ, который такъ много беретъ за боль, оставляемую имъ. Встарь объ немъ сказали бы, что онъ зачитался. Черезъ край возбужденная умственная дѣятельность была не по силамъ хилаго организма. Вино, которымъ онъ побѣждалъ усталъ и возбуждалъ себя, раздувало его фантазію и мысли въ длинныя и яркія пасмы огня, быстро сжигая его больное тѣло.

Безпорядокъ и вино, всегдашняя, раздражительная дѣятельность ума, поразительная многосторонность и поразительная бесплодность, полнѣйшая праздность, крайность страстей и крайность апатіи, несмотря на большую разницу съ нашимъ прежнимъ московскимъ складомъ, живо напоминали мнѣ бывшее. Опять слышались звуки не только родного языка, но родной мысли. Онъ зналъ литературные круги. Совершенно отрѣзанный тогда отъ Россіи, я съ жадностью слушалъ его рассказы.

Мы стали видаться часто, потомъ всякій вечеръ.

Жена его тоже была странное существо. Ея лицо отъ природы прекрасное было искажено невралгіями и какимъ-то тревожнымъ безпокойствомъ. Она была обрусѣлая норвежанка и говорила по русски съ легкимъ акцентомъ, который ей шелъ. Вообще она была молчаливѣе и скрытнѣе его. Домашняя жизнь ихъ шла не свѣтло; у нихъ было какъ-то нервно *unheimlich*, натянуто, чего-то недоставало въ ихъ жизни, что-то было лишнее въ ней, и это постоянно чувствовалось, какъ невидимое, грозное, электрическое въ воздухѣ.

Часто заставлялъ я ихъ въ большой комнатѣ, бывшей ихъ спальней и приѣмной въ отелѣ, въ совершеннѣйшей простраціи. Ее съ заплаканными глазами, обезсиленную въ одномъ углу; его блѣднаго, какъ мертвеца, съ бѣлыми губами, растеряннаго, молчащаго въ другомъ... Такъ сидѣли они иногда часы цѣлые, дни цѣлые, и это въ нѣсколькихъ шагахъ отъ синяго Средиземнаго моря, отъ померанцевыхъ рощей, куда звало все—и яхонтовое небо, и яркое, шумное веселье южной жизни. Они собственно не ссорились, тутъ не было ни ревности, ни отдаленья, ни вообще уловимой причины... Онъ вдругъ вставалъ, подходилъ къ ней, становился на колѣни и, иногда съ рыданьемъ, повторялъ: «Сгубилъ я тебя, мое дитя, сгубилъ!» И она плакала и вѣрила, что онъ ее сгубилъ. «Когда же я, наконецъ, умру и оставлю его на свободѣ»—говорила она мнѣ.

Все это было для меня ново, и мнѣ ихъ было до того жаль, что хотѣлось съ ними плакать и пуще всего сказать имъ: «Да полноте, полноте,—вы вовсе не такъ несчастны и не такъ дурны, вы оба славные люди, возьмете лодку и размыкаемъ горе по синему морю»,—я это и дѣлалъ иногда, и мнѣ удавалось ихъ увозить отъ самихъ себя. Но за ночь пароксизмъ возвращался... Они какъ-то надразнили другъ друга и стояли въ такомъ раздражительномъ импасѣ, что пустѣйшее слово нарушало согласіе и снова вызывало какихъ-то фурій со дна ихъ сердца.

Иной разъ мнѣ казалось, что непрерывно растравляя свои раны, они въ этой боли находятъ какое-то жгучее наслажденіе, что это взаимное раздѣданье сдѣлалось имъ необходимо, какъ водка или пикули. Но, по несчастью, организмъ у обоихъ началъ явно уставать, они быстро неслись въ домъ умалишенныхъ или въ могилу.

Натура ея, вовсе не бездарная, но невыработанная и въ то же время испорченная, была гораздо сложнее и въ нѣкоторомъ смыслѣ гораздо выносливѣе и сильнѣе его. Къ тому же въ ней не было ни тѣни единства, послѣдовательности, той несчастной послѣдовательности, которая у него оставалась въ самыхъ вопіющихъ крайностяхъ и въ самыхъ крутыхъ противорѣчіяхъ. Въ ней рядомъ съ отчаяніемъ, съ желаніемъ умереть, съ привычкой ныть и изнывать, была и жажда свѣтскихъ наслажденій, и затаенное кокетство, любовь къ нарядамъ и роскоши, отвергаемая какъ-то преднамѣренно, на зло себѣ. Она всегда была одѣта къ лицу и со вкусомъ.

Ей хотѣлось быть женщиной свободной по тогдашнимъ понятіямъ и огромнымъ, оригинальнымъ психическимъ несчастіемъ, въ смыслѣ героини Ж. Зандъ... Но ее, какъ гири, стягивала прежняя, привычная, традиціональная жизнь совсѣмъ въ иную сферу.

То, что составляло поэзію Энгельсона и много выкупало его недостатковъ, то, что ему самому служило выходомъ, того она не понимала. Она не могла слѣдовать за его скачущей мыслию, за его быстрыми переходами отъ отчаянія къ остроумію и хохоту, отъ откровеннаго смѣха къ откровеннымъ слезамъ. Она отставала, теряла связь, терялась... Для нея были непонятны карикатурные профили печальныхъ мыслей его.

Когда Энгельсонъ, послѣ цѣлаго запаса каламбуровъ и шалостей, передразниваній, больше и больше монтируясь, дѣлалъ цѣлыя драматическія представленія, отъ которыхъ нельзя было не хохотать до упаду, она уходила съ озлобленіемъ изъ комнаты, ее оскорбляло «неприличное поведеніе его при постороннихъ.» Онъ обыкновенно примѣчалъ это, и такъ какъ его нельзя было ни-

чѣмъ остановить, когда онъ закусывалъ удила, то онъ вдвое дурчился и потомъ вальсировалъ съ ней и спрашивалъ ее съ горящими щеками и покрытый потомъ: «Ach mein lieber Gott, Alexandra (Christianovna, war es denn nicht respectabel?» Она плакала вдвое, онъ вдругъ мѣнялся, дѣлался мраченъ и morose, пилъ рюмку за рюмкой коньякъ и уходилъ домой или просто засыпать на диванѣ.

На другой день мнѣ приходилось мирить, улаживать и онъ такъ отъ души цѣловалъ ея руки, и такъ смѣшно просилъ отпущеніе грѣха, что она сама иногда не могла удержаться и смѣялась вмѣстѣ съ нами.

Комическій талантъ Энгельсона былъ несомнѣненъ, огроменъ; до такой *подкости* никогда не доходилъ Левассоръ, развѣ Грассо въ лучшихъ своихъ созданіяхъ, да Горбуновъ въ нѣкоторыхъ рассказахъ. Къ тому же половина была импровизирована, онъ добавлялъ, измѣнялъ, придерживаясь одной рамы. Если-бъ онъ хотѣлъ развить въ себѣ эту способность и привести ее въ порядокъ, онъ навѣрное занялъ бы одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду *злыхъ* комиковъ; но Энгельсонъ ничего не развилъ въ себѣ и ничего не привелъ въ порядокъ. Дикіе и полные силъ побѣги талантовъ росли и глохли въ неустоявшейся душѣ его — и отъ домашнихъ тревогъ, отнимавшихъ половину времени, и отъ хватанья за все на свѣтѣ, отъ филологіи и химіи до политической экономіи и философіи. Въ этомъ смыслѣ Энгельсонъ былъ чисто русскій человѣкъ, несмотря на то, что отецъ его былъ финляндскаго происхожденія.

Но изъ того, что ломанье и кривлянье Энгельсона возмущало его жену, не слѣдуетъ, чтобъ въ ней самой было больше спѣлости и гармоніи; совсѣмъ напротивъ, у нея въ головѣ былъ дѣйствительной безпорядокъ, разрушавшій всякій строй, всякую послѣдовательность и дѣлавшій ее неуловимой. Я на ней на первой изучилъ, какъ мало можно взять логикой въ спорѣ съ женщиной, особенно когда споръ въ практическихъ сферахъ. Въ Энгельсонѣ неустройство напоминало безпорядокъ послѣ пожара, послѣ похоронъ, пожалуй, послѣ преступленія, а въ ней — неприбранную комнату, въ которой все разбросано зря: дѣтскія куклы, вѣнчалъное платье, молитвенникъ, романъ Ж.-Зандъ, туфли, цвѣты, тарелки. Въ ея полусознанныхъ мысляхъ и полуподорванныхъ вѣрованіяхъ, въ притязаніяхъ на невозможную свободу и въ зависимости отъ привычныхъ внѣшнихъ цѣпей, было что-то восьмилѣтнее, восемнадцатилѣтнее, восьмидесятилѣтнее. Много разъ говорилъ я это ей самой; и странное дѣло, даже лицо ея преждевременно завяло, казалось старымъ отъ

сутствія части зубовъ и въ то же время сохраняло какое-то ребяческое выраженіе.

Во внутренномъ хаосѣ ея былъ кругомъ виноватъ Энгельсонъ.

Его жена была избалованнымъ ребенкомъ своей матери, которая не чаяла въ ней души; за нее посватался, когда ей было лѣтъ восемнадцать, пожилой, флегматическій чиновникъ изъ шведовъ. Въ минуту досады и ребяческаго каприза на мать, она согласилась выйти за него. Ей хотѣлось сѣсть хозяйкой и быть своей госпожей.

Когда медовый мѣсяцъ воли, визитовъ, нарядовъ прошелъ, новобрачной стало невыносимо скучно; мужъ, несмотря на то, что тщательно сохранялъ респектабельность, возилъ ее въ театръ и дѣлалъ чайныя вечера, ей опротивѣлъ; она побилась съ нимъ года три-четыре, устала и уѣхала къ матери. Они развелись. Мать умерла и она осталась одна, съ здоровьемъ, преждевременно разрушеннымъ въ борьбѣ съ нелѣпымъ бракомъ, съ пустотой, съ голодомъ въ сердцѣ, съ празднымъ умомъ, страдающая, печальная.

Въ это время Энгельсонъ былъ исключенъ изъ лица. Нервный, раздражительный, съ страстной потребностью любви, съ болѣзненнымъ недовѣріемъ къ себѣ, снѣдаемый самолюбіемъ... Онъ познакомился съ ней еще при жизни матери и сблизился послѣ ея смерти. Мудрено было бы, если-бъ онъ не влюбился въ нее. Надолго ли, или нѣтъ, но онъ долженъ былъ полюбить ее сильно. Къ этому вело все... и то, что она была женщина безъ мужа, вдова и не вдова, невѣста и не невѣста, и то, что она томилась чѣмъ-то, была влюблена въ другого и мучилась своей любовью. Этотъ другой былъ энергическій молодой человекъ, офицеръ и литераторъ, но отчаянный игрокъ. Они поссорились за эту неистовую страсть къ игрѣ,—онъ въ послѣдствіи застрѣлился.

Энгельсонъ не отходилъ отъ нея, онъ утѣшалъ ее, смѣшилъ, занималъ. Это была первая и послѣдняя любовь его. Ей хотѣлось учиться или, лучше, знать не учась; онъ взялся быть ея менторомъ,—она просила книгъ.

Первою книгою, которую Энгельсонъ ей далъ, была «Das Wesen des Christentum's», Фейербаха. Себя онъ сдѣлалъ комментаторомъ и ежедневно изъ-подъ ногъ своей Элоизы, не умѣвшей ступить на землю отъ китайскихъ башмаковъ стараго воспитанія, выдергивалъ скамейку, на которой она кой-какъ могла не потерять равновѣсія...

Освобожденіе отъ традиціонной морали, сказалъ Гёте, никогда не ведетъ къ добру *безъ укрѣпившейся мысли*; дѣйствительно, *одинъ разумъ достоинъ смѣнять религію долга*.

Энгельсонъ попробовалъ женщину, спавшую непробуднымъ сномъ нравственной безпечности, убаюканную традиціями и грезившую все, что грезить слегка христіанская, слегка романтическая, слегка моральная, патриархальная душа, воспитать сразу, по методѣ англійскихъ нянекъ, которыя кричащему отъ боли въ животѣ ребенку наливаютъ въ ротъ рюмку водки. Въ ея незрѣлыя дѣтскія понятія онъ бросилъ разѣдающій ферментъ, съ которымъ мужчины рѣдко умѣютъ справиться, съ которымъ онъ самъ *не справился*, а только понялъ его.

Ошеломленная ниспроверженіемъ всѣхъ нравственныхъ понятій, всѣхъ религіозныхъ вѣрованій и находя у самого Энгельсона одно сомнѣніе, одно отрицанье прежняго и одну иронию, она потеряла послѣдній компасъ, послѣдній руль, и пошла, какъ пущенная въ море лодка, безъ кормила, вертясь и блуждая. Балансъ, выработанный самой жизнью, держащійся—какъ въ маятникѣ противоположными пластинками—нелѣпостями, исключаящими другъ друга и держащими на этомъ,—былъ нарушенъ.

Она бросилась на чтеніе съ яростью, понимала, не понимая, и примѣшивая къ философіи нянюшекъ философію Гегеля, къ экономическимъ понятіямъ чопорнаго хозяйства — сентиментальный социализмъ. При всемъ этомъ здоровье шло хуже, скука, тоска не проходили, она чахла, томила, смертельно хотѣла ѣхать за границу и боялась какихъ-то преслѣдованій и враговъ.

Послѣ долгой борьбы, собравши всѣ силы, Энгельсонъ сказалъ ей: «Вы хотите путешествовать, какъ вы доѣдете однѣ?... Вамъ надѣлаютъ бездну непріятностей, вы потеряетесь безъ друга, безъ защитника, который имѣлъ бы право васъ защищать. Вы знаете, что за васъ я отдамъ мою жизнь... Отдайте мнѣ вашу руку,—я васъ буду беречь, покоить, сторожить... я буду ваша мать, вашъ отецъ, ваша нянька и мужъ только передъ закономъ. Я буду съ вами—близко васъ...»

Такъ говорилъ человѣкъ моложе тридцати лѣтъ, страстно любившій. Она была тронута и приняла его мужемъ безусловно. Черезъ нѣкоторое время они уѣхали въ чужіе края.

Таково было прошедшее моихъ новыхъ знакомыхъ. Когда Энгельсонъ все это рассказалъ мнѣ, когда онъ горько жаловался, что бракъ этотъ загубилъ ихъ обоихъ, и я самъ видѣлъ, какъ они изнывали въ какомъ-то нравственномъ угарѣ, который они преднамѣренно вздували, я убѣдился, что несчастье ихъ состоитъ въ томъ, что они слишкомъ мало знали другъ друга прежде, слишкомъ тѣсно придвинулись теперь, слишкомъ свели всю жизнь на личный лиризмъ, слишкомъ вѣрять, что они мужъ и жена. Если-бъ они могли разѣхаться,... каждый вздохнулъ бы на свободѣ, успокоился бы, а, можетъ, и вновь расцвѣлъ бы.

Время показало бы, въ самомъ ли дѣлѣ они такъ нужны другъ для друга; во всякомъ случаѣ горячка была бы прервана безъ катастрофы. Я не скрывалъ моего мнѣнія отъ Энгельсона; онъ соглашался со мной, но все это былъ миражъ, въ сущности у него не было силы ее оставить, у нея—броситься въ море... Они тайно *хотѣли* остаться при канунѣ этихъ рѣшеній, не приводя ихъ въ исполненіе.

Мнѣніе мое было слишкомъ просто и здорово, чтобъ быть вѣрнымъ въ отношеніи къ такимъ сложно патологическимъ субъектамъ и къ такимъ больнымъ нервамъ.

II.

Типъ, къ которому принадлежалъ Энгельсонъ, былъ тогда для меня довольно новъ. Въ началѣ сороковыхъ годовъ я видѣлъ только его зачатки. Онъ развился въ Петербургѣ подъ конецъ карьеры Бѣлинскаго и сложился послѣ меня до появленія Чернышевскаго. Это типъ петрашевцевъ и ихъ друзей. Кругъ этотъ составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервныя, болѣзненные и полуманные. Въ ихъ числѣ не было ни кричащихъ бездарностей, ни пишущихъ безграмотностей, — это явленія совсѣмъ другого времени, но въ нихъ было что-то испорчено, повреждено.

Петрашевцы ринулись горячо и смѣло на дѣятельность и удивили всю Россію «Словаремъ иностранныхъ словъ». Наслѣдники сильно возбужденной умственной дѣятельности сороковыхъ годовъ, они прямо изъ нѣмецкой философіи шли въ фалангу Фурье, въ послѣдователи Конта.

Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманіемъ полиціи и сознаніемъ своего превосходства, при самомъ выходѣ изъ школы, они слишкомъ дорого оцѣнили свой отрицательный подвигъ, или, лучше, свой подвигъ въ возможности. Отсюда безмѣрное самолюбіе. Не то здоровое, молодое самолюбіе, идущее юношѣ, мечтающему о великой будущности, идущее мужу въ полной силѣ и въ полной дѣятельности, не то, которое въ былыя времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цѣпи и смерть изъ желанія славы, но, напротивъ, самолюбіе болѣзненное, мѣшающее всякому дѣлу огромностью притязаній, раздражительное, обидчивое, самонадѣянное до дерзости и въ то же время неувѣренное въ себѣ.

Между ихъ *запросомъ* и оцѣнкой ближнихъ несоразмѣрность

была велика. Общество не принимаетъ векселей на будущее, а требуетъ готовую работу за свое наличное признаніе. Труда и выдержки у нихъ было мало, того и другого хватило только для пониманья, для усвоенья разработаннаго другими. Они хотѣли жатвы за намѣреніе сѣять и вѣнковъ за то, что у нихъ закормы были полны. «Обидное непризнаніе общества» ихъ мучило и доводило до несправедливости къ другимъ, до отчаянія и Fratzenhaftigkeit.

На Энгельсонѣ я изучилъ разницу этого поколѣнія съ нашимъ. Впослѣдствіи я встрѣчалъ много людей не столько талантливыхъ, не столько развитыхъ, но съ тѣмъ же *видовымъ болѣзненнымъ надломомъ* по всѣмъ суставамъ.

Дивиться надобно, какъ здоровыя силы, сломавшись, все-же уцѣлѣли. Кто не знаетъ знаменитую инструкцію учителямъ кадетскихъ корпусовъ? Вся система казеннаго воспитанія состояла въ внушеніи религіи слѣпого повиновенія, ведущей къ власти, какъ къ своей наградѣ. Молодые чувства, лучистыя по натурѣ, были грубо отѣсняемы внутрь, замѣняемы честолюбіемъ и ревнивымъ, завистливымъ соревнованіемъ. Что не погибло, вышло большое, сумасшедшее... вмѣстѣ съ жгучимъ самолюбіемъ прививалась какая-то обезкураженность, сознаніе безсилія, усталъ передъ работой. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имѣя двадцати лѣтъ отроду. Они все были заражены страстью самонаблюденія, самоислѣдованія, самообвиненія, они тщательно повѣряли свои психическія явленія и любили безконечныя исповѣди и рассказы о нервныхъ событіяхъ своей жизни. Мнѣ впослѣдствіи случалось часто имѣть на духу не только мужчинъ, но и женщинъ, принадлежавшихъ къ той же категоріи. Вглядываясь съ участіемъ въ ихъ покаянія, въ ихъ психическія себя-бичеванія, доходившія до клеветы на себя, я, наконецъ, убѣдился потомъ, что все это одна изъ формъ того же самолюбія. Стоило вмѣсто возраженія и состраданья согласиться съ кающимся, чтобъ увидѣть, какъ легко уязвляемы и какъ безпощадно мстительны эти магдалины обоихъ половъ. Вы передъ ними, какъ христіанскій священникъ передъ сильными міра сего, имѣете только право торжественно отпустить грѣхи и молчать.

У этихъ нервныхъ людей, чрезвычайно обидчивыхъ, содрогавшихся, какъ мимоза, при всякомъ чуть неловкомъ прикосновеніи, была, съ своей стороны, непостижимая жесткость слова. Вообще, когда дѣло шло объ отместкѣ, выраженія не мѣрились,—страшный эстетическій недостатокъ, выражающій глубокое презрѣніе къ лицу и оскорбительную снисходительность къ себѣ. Необузданность эта идетъ у насъ изъ помѣщичьихъ домовъ, кан-

целярія и казармъ, но какъ же она уцѣлѣла, развилась у новаго поколѣнія, перескакивая черезъ наше? Это психологическая задача.

Въ прежнихъ студентскихъ кружкахъ бранились громко, спорили запальчиво и грубо, но въ самой пущей брани *кой-что* оставалось внѣ битвы... Для нашихъ нервныхъ людей—энгельсоновскаго поколѣнія—этого заветнаго мѣста не существовало, они не считали нужнымъ себя сдерживать; для пустой и мимолетной мести, для одержанія верха въ спорѣ не щадили ничего и я часто съ ужасомъ и удивленіемъ видѣлъ, какъ они, начиная съ самаго Энгельсона, бросали безъ малѣйшей жалости драгоценнѣйшія жемчужины въ ѣдкій растворъ *и плакали потомъ*. Съ перемѣной нервнаго тока начинаются раскаянія, вымаливаніе прощенья у поруганнаго кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты въ тотъ же сосудъ, изъ котораго пили.

Раскаянія ихъ бывали искренни, но не предупреждали повтореній. Какая-то пружина, умѣряющая дѣйствіе колесъ и направляющая ихъ, у нихъ сломана; колеса вертятся съ удесятеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетаніе нарушено, эстетическая мѣра потеряна,—съ ними жить нельзя, имъ самимъ съ этимъ жить нельзя.

Счастья для нихъ не существовало, они не умѣли его беречь. При малѣйшемъ поводѣ они давали безчеловѣчный отпоръ и обращались грубо со всѣмъ близкимъ. Ироніей они не меньше губили и портили въ жизни, чѣмъ нѣмцы приторной сентиментальностью. Странно, люди эти жадно хотятъ быть любимыми, ищутъ наслажденія и, когда подносятъ ко рту чашу, какой-то злой духъ толкаетъ ихъ подъ руку, вино льется наземъ и запальчивостью отброшенная чаша валяется въ грязи.

III.

Энгельсоны вскорѣ уѣхали въ Римъ и Неаполь; они хотѣли остаться тамъ мѣсяцевъ шесть и возвратились черезъ шесть недѣль. Ничего не издавши, они таскали свою скуку по Италіи, мыкали свое горе въ Римѣ, грустили въ Неаполѣ и, наконецъ, рѣшились ѣхать обратно въ Ниццу, «къ вамъ на леченіе»—писалъ онъ мнѣ изъ Генуи.

Мрачное расположеніе ихъ выросло во время ихъ отсутствія. Къ нервному разстройству прибавились размолвки, принимавшія все больше и больше озлобленный, желчевого характеръ. Энгель-

сонъ былъ виноватъ въ необузданности словъ, въ жесткихъ выраженіяхъ, но вызывала ихъ всегда она, вызывала преднамѣренно, съ затаенной колкостью и съ особеннымъ успѣхомъ въ самыя добродушныя минуты его; забыться онъ не могъ ни на минуту.

Молчать Энгельсонъ вовсе не умѣлъ, говорить со мною облегчало его и потому онъ мнѣ рассказывалъ все, даже больше, чѣмъ нужно, мнѣ было неловко; я чувствовалъ, что не могу быть съ ними такъ откровененъ, какъ они со мной. Ему говорить было легко, его на время успокаивала высказанная жалоба, — меня нѣтъ.

Разъ, сидя со мной въ небольшой тавернѣ, Энгельсонъ сказалъ, что онъ обезсиленъ въ ежедневной борьбѣ, что выхода изъ нея нѣтъ, что снова мысль о прекращеніи своего существованія ему представляется послѣднимъ спасеніемъ... При его нервной необузданности можно было ждать, что если, наконецъ, ему попадется пистолетъ или склянка яда, то онъ когда-нибудь и попробуетъ то или другое...

Мнѣ было жаль его. И оба они были жалки. Она могла бы быть счастливой женщиной, будь она замужемъ за человѣкомъ свѣтлаго нрава, который умѣлъ бы ее тихо развивать, *весело веселиться* и въ случаѣ нужды дѣйствовать не только убѣжденіемъ, но и авторитетомъ—авторитетомъ серьезнымъ, безъ ироніи. Есть несовершеннолѣтнія натуры, которыя не могутъ себя вести сами, такъ, какъ есть лимфатическія сложенія, которымъ необходимъ корсетъ, чтобъ позвоночный столбъ не гнулся.

Пока я думалъ объ этомъ, Энгельсонъ, продолжая свой рассказъ, самъ пришелъ къ тому же заключенію. «Женщина эта меня не любитъ,—говорилъ онъ,—да и не можетъ любить; то, что она понимаетъ во мнѣ и ищетъ, скверно, а что во мнѣ есть хорошаго—для нея китайская грамота; она испорчена буржуазностью, съ своимъ внѣшнимъ *respectabilitét*омъ, съ мелкимъ фамиллизмомъ; мы замучимъ другъ друга, это для меня ясно».

Мнѣ казалось, что если мужчина можетъ такимъ образомъ говорить о близкой женщинѣ, то главная связь между ними разорвана. А потому я признался ему, что, давно съ глубокимъ участіемъ слѣдя за ихъ жизнью, часто задавалъ себѣ вопросъ, зачѣмъ они живутъ вмѣстѣ?

— У вашей жены тоска по Петербургу, по братьямъ, по старой нянюшкѣ,—отчего вы не устроите, чтобъ она ѣхала домой, а вы бы остались здѣсь?

— Тысячу разъ думалъ я объ этомъ, я только этого и хочу, но, во-первыхъ, ей не съ кѣмъ ѣхать, а во-вторыхъ, она въ Петербургѣ пропадаетъ съ тоски.

— Да, вѣдь, она и здѣсь пропадетъ съ тоски. Что не съ кѣмъ послать,—это воспоминанія нашихъ барскихъ затѣй; вы можете проводить вашу жену до парохода въ Штетинъ, а пароходъ самъ дорогу найдетъ. Если у васъ нѣтъ денегъ, я вамъ дамъ взаймы.

— Вы правы, и я это сдѣлаю непременно. Мнѣ больно, мнѣ жаль ее, все, что было во мнѣ любви, положилъ я на ея голову; я въ ней искалъ не только жены, но существо, которое я хотѣлъ развивать, воспитывать по своей фантазіи, я думалъ, что она будетъ моимъ ребенкомъ,—задача была не по силамъ; да и кто же зналъ, сколько противофійствій я найду, сколько упрямства? Онъ помолчалъ и потомъ добавилъ:—Сказать вамъ всю мою мысль,—ей надобно другого мужа... Если-бъ нашелся человѣкъ достойный ея, котораго бы она полюбила, я сдалъ бы ее съ рукъ на руки и мы оба выздоровѣли бы, — это важнѣе Петербурга.

Я все это принималъ au pied de la lettre. Что онъ былъ искрененъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; тутъ-то и лежитъ загвоздка этихъ подвижныхъ, не владѣющихъ собой организацій, онѣ могутъ, какъ хорошіе актеры, выгратъ въ разныя роли и до того съ ними сродниться, что картонный кинжалъ имъ кажется настоящимъ, и они лѣютъ истинныя слезы о «Гекубѣ».

Мы тогда жили вмѣстѣ въ С.-Еленѣ. Дни два спустя послѣ моего разговора съ Энгельсономъ, поздно вечеромъ вошла м-ше Энгельсонъ въ гостиную, со свѣчой въ рукѣ и съ заплаканнымъ лицомъ; поставила свѣчу на столъ и сказала, что желаетъ поговорить со мной. Мы сѣли... Послѣ небольшой и неясной прелюдіи о судьбѣ, которая ее преслѣдуетъ, о несчастномъ характерѣ Энгельсона и ея самой, она объявила, что рѣшилась возвратиться въ Петербургъ, и не знаетъ, какъ это сдѣлать: «вы одни имѣете на него вліяніе, уговорите его меня *въ самомъ дѣлѣ* отпустить; я знаю, что онъ въ минуты досады на словахъ готовъ меня сейчасъ посадить въ почтовую карету, но все это *на словахъ*. Уговорите его, спасите насъ обоихъ и дайте слово первое время походить за нимъ, похолить его... ему будетъ тяжело, онъ больной, нервный человѣкъ», и она, снова рыдая, покрыла лицо платкомъ.

Въ глубину горести ея я не вѣрилъ, но очень хорошо понималъ, какого я далъ маху, говоря откровенно съ Энгельсономъ; для меня было ясно, что онъ передалъ ей нашъ разговоръ.

Выбора мнѣ не оставалось, я повторилъ свои слова, смягчивши ихъ въ формѣ. Она встала, поблагодарила меня и прибавила, что если она не поѣдетъ, то бросится въ море, что она вечеромъ сожгла многія бумаги и желаетъ мнѣ поручить какія-то

другія въ запечатанномъ пакетѣ. Мнѣ стало ясно, что и она вовсе не такъ страстно хочетъ ѣхать, а хочетъ, по какому-то капризному баловству, тянуться и исходить грустью. Сверхъ того, я увидѣлъ, что если она колеблется безъ всякаго рѣшенія, то онъ и не колеблется, а вовсе не хочетъ, чтобъ она ѣхала. Она надъ нимъ имѣла большую власть, она знала это и, основываясь на ней, позволяла ему бѣситься, покрывать пѣной удила, становиться на дыбы, зная, что бунтуй онъ, какъ хочешь, дѣло пойдетъ *не по его воли, а по ея*.

Совѣта моего она мнѣ никогда не прощала, она боялась моего вліянія, хотя и имѣла явное доказательство моего безсилія.

Дней десять не было рѣчи объ отъѣздѣ. Потомъ пошли періодическія схватки. Въ недѣлю разъ или два она являлась съ заплаканными глазами, объявляла, что теперь все кончено, что завтра она будетъ собираться въ Петербургъ или на дно морское. Энгельсонъ выходилъ изъ своей комнаты съ зеленымъ лицомъ, съ судорожнымъ подергиваніемъ и дрожащими руками, онъ исчезалъ часовъ на десять и возвращался запыленный, усталый и сильно выпившій, носилъ визировать пассъ или брать пропускъ въ Геную, потомъ все утихало и приходило въ обыкновенное русло.

Наружно m-me Энгельсонъ со мною совершенно примирилась, но съ этого времени у ней началось слагаться что-то въ родѣ ненависти ко мнѣ. Прежде она спорила со мной, сердилась, не скрывая... теперь она стала необыкновенно любезна. Она досадовала, что я кое-что разглядѣлъ, что я не умилялся передъ ея трагической судьбой, не принималъ ее за несчастную жертву, а глядѣлъ на нее, какъ на капризную болъную, что я не только не сдѣлался платоническимъ соплакальщикомъ ея, а сомнѣвался, не наслажденіе ли вмѣсто горести доставляютъ ей слезы, душе-раздирательныя сцены, объясненія въ нѣсколько часовъ и пр., и пр.

Время шло и исподволь многое измѣнилось. Она съ быстротою, которая только встрѣчается у нервныхъ больныхъ, поздоровѣла, сдѣлалась веселѣе, стала еще внимательнѣе къ туалету, и хотя самые вздорные поводы снова приводили къ прежнимъ сценамъ между нею и Энгельсономъ, къ прощанью Сократа передъ цикутой и къ готовности идти по слѣдамъ Сафо въ пучину морскую, но въ суммѣ дѣла шли лучше. Вѣчно полулежащая отъ слабости, вѣчно утомленная женщина выпрямилась, какъ Сикстъ V, стала полнѣе и до того, что разъ бѣдный Коля, сидя за обѣдомъ и глядя на ея полную грудь, сказалъ, покачивая головой: «Sehr viel Milch!».

Видно было, что новый интересъ занялъ ея жизнь, что что-то

разбудило ее отъ болѣзненной летаргіи. Съ тѣхъ поръ, какъ мы объяснились съ ней, она начала упорную игру, обдумывая всякій ходъ, не хуже игроковъ du café Régent, и терпѣливо поправляя ошибки. Иногда она измѣняла себѣ, дѣлала промахи, увлекалась въ ту или другую сторону, но съ постоянствомъ возвращалась къ прежнему плану. Планъ этотъ шелъ уже дальше закрѣпленія въ свою власть Энгельсона, дальше отместки мнѣ; онъ состоялъ въ томъ, чтобъ завладѣть всѣми нами, всѣмъ домомъ и, пользуясь усиливающейся болѣзнью Natalie, взять въ свои руки воспитаніе, всю жизнь; si non — non, т. е., въ противномъ случаѣ разорвать во что-бъ ни стало мою связь съ Энгельсономъ.

Но прежде чѣмъ она достигла послѣдняго результата, игра представляла много ходовъ очень трудныхъ, тяжелыхъ уступокъ, кошачьей тактики и большого выжиданія; многое она сдѣлала, но не все. Безконечная болтовня Энгельсона мѣшала ей столько же, сколько мои раскрытые глаза.

На лучшее могла бы она употребить ту энергію, ту силу, ту настойчивость, которую она потратила на свой хитросплетенный замыселъ... Но личности и самолюбія пьяннать, и, вступая въ темную игру страстей, трудно остановиться и трудно что-нибудь разглядѣть. Обыкновенно свѣтъ вносится въ комнату на шумъ уже совершившагося преступленія, т. е., когда, съ одной стороны, неисправимая бѣда, съ другой, угрызеніе совѣсти.

IV.

... О несчастіяхъ, обрушившихся на меня въ 1851 и 1852 годахъ, я говорю въ другомъ мѣстѣ. Энгельсонъ много облегченія внесъ въ мою печальную жизнь. Мы съ нимъ долго прожили бы возлѣ кладбищъ, но безпокойное самолюбіе его жены не пощадило и траура.

Нѣсколько недѣль послѣ похоронъ Энгельсонъ, печальный, встревоженный, видимо нехотя и видимо не отъ себя, спросилъ меня, не думаю ли я поручить его женѣ воспитаніе моихъ дѣтей?

Я отвѣчалъ, что дѣти, кромѣ моего сына, поѣдутъ въ Парижъ съ Марьей Каспаровной, и что я откровенно ему признаюсь, что его предложенія принять не могу.

Отвѣтъ мой огорчилъ его, огорчать его мнѣ было больно.

— Скажите мнѣ, положивши руку на сердце, считаете ли вы вашу жену способной воспитывать дѣтей?..

— Нѣтъ, отвѣчать въ свою очередь Энгельсонъ, но... но, можетъ, это *planche de salut для нея*; она все-таки страдаетъ какъ прежде, а тутъ ваше довѣріе, новый долгъ.

— Ну, а какъ опытъ не удастся?

— Вы правы, не будемъ говорить объ этомъ, а тяжело.

Энгельсонъ былъ дѣйствительно согласенъ со мной и замолчалъ. Но она не ожидала такого простого отвѣта; уступить на этомъ вопросѣ я не могъ, она не хотѣла, и внѣ себя отъ досады, тотчасъ рѣшилась увести Энгельсона изъ Ниццы. Для черезъ три онъ объявилъ мнѣ, что ѣдетъ въ Геную.

— Что съ вами, спросилъ я, и *за что же* такъ скоро?

— Да что, вы видите сами, жена не ладитъ ни съ вами, ни съ вашими друзьями, я ужъ рѣшился... да оно, можетъ, и лучше. И черезъ день они уѣхали.

А потомъ уѣхалъ я изъ Ниццы. Въ Генуѣ, проѣздомъ, мы встрѣтились мирно. Окруженная нашими друзьями, въ числѣ которыхъ былъ Медичи, Пизакане, Козенцъ, Мордини, она казалась спокойнѣе и здоровѣе. Но тѣмъ не меньше она не могла пропустить ни одного случая, чтобъ не кольнуть меня самымъ злымъ образомъ. Я отходилъ, молчалъ, это не помогало. Даже когда я уѣхалъ въ Лугано, она продолжала свои отравленные *petits points*, и это въ рѣдкихъ припискахъ къ письмамъ мужа, какъ будто съ его «виной».

Наконецъ, булавочные уколы въ такое время, когда я весь былъ давленъ болью и горемъ, вывели меня изъ терпѣнія. Я ихъ ничѣмъ не заслужилъ, ничѣмъ не вызвалъ. На одну изъ злыхъ приписокъ, въ которой говорилось о томъ, какъ дорого еще Энгельсонъ поплатится за то, что беззавѣтно отдается друзьямъ, не зная, что они для него ничего не сдѣлаютъ,—я написалъ Энгельсону, что пора положить этому предѣлъ.

«Я не понимаю, писалъ я, за что ваша жена сердится на меня? Если за то, что я не отдалъ ей моихъ дѣтей, то врядъ ли она права?». Я напомнилъ ему нашъ послѣдній разговоръ и прибавилъ: «Мы знаемъ, что Сатурнъ ѣлъ своихъ дѣтей, но чтобъ кто-нибудь *благодарилъ своихъ друзей за ихъ участіе* дѣтскимъ воспитаніемъ, это неслыханно».

Этой выходки она мнѣ не простила, но, что гораздо удивительнѣе, и онъ не простилъ, хотя сначала не показавъ вовсе вида... а попрекнулъ меня этими словами черезъ годы...

Я уѣхалъ въ Лондонъ, Энгельсонъ поселился на зиму въ Женевѣ, потомъ переехалъ въ Парижъ ¹⁾.

¹⁾ Къ этому времени относится рядъ очень замѣчательныхъ его писемъ, изъ которыхъ значительную часть я думаю когда-нибудь напечатать.

V.

Пословицу: «Кто на морѣ не бывалъ, тотъ Богу не молился», можно такъ передѣлать: женщина, у которой дѣтей не бывало, не знаетъ безкорыстной преданности, и это особенно относится къ замужнимъ женщинамъ; бездѣтность у нихъ развиваетъ почти всегда грубый эгоизмъ, разумѣется, если по дорогѣ не спасетъ какой-нибудь общій интересъ. Старая дѣва имѣетъ какія-то посядѣвшія стремленія, смягчающія ее, она все еще ищетъ и все надеется; но женщина безъ дѣтей и съ мужемъ въ гавани, она благополучно пріѣхала, сначала инстинктивно погрузилась о томъ, что дѣтей нѣтъ, потомъ успокоилась и живетъ въ свое удовольствіе, а если и оно не удастся, въ *свое горе*, или въ чье-нибудь неудовольствіе, въ чье-нибудь горе—хоть горничной. Рожденіе ребенка можетъ ее спасти. Ребенокъ приучаетъ мать къ жертвѣ, къ подчиненію воли, къ страстной тратѣ времени *не на себя*, и отучаетъ отъ всякой внѣшней награды, признанія, спасибо. Мать съ ребенкомъ не считается, она ничего не требуетъ отъ него, — кромѣ здоровья, аппетита, сна и его улыбки. Ребенокъ, не выводя женщины изъ дому, превращаетъ ее въ гражданское лицо.

Совсѣмъ не то, когда бездѣтной женщиной въ домъ попадаетъ почему бы то ни было чужой ребенокъ, да еще по какой-нибудь необходимости. Она будетъ, пожалуй, наряжать его, играть съ нимъ, но когда ей *хочется*; она будетъ баловать его, но по своему, во всѣхъ другихъ случаяхъ ребенокъ будетъ напрасно стучаться въ окаменѣлое или ожирѣвшее сердце. Словомъ, ребенокъ можетъ навѣрное рассчитывать на всѣ льготы и коленья, которыя дѣлаютъ шпичу, канарейку,—но не больше.

У одного изъ нашихъ близкихъ знакомыхъ была дочь, родившаяся отъ одной молодой вдовы. Въ видахъ *замужества* матери, ребенка хотѣли увести и украли во время отсутствія отца. Послѣ долгихъ розысковъ дѣвочку нашли; но отецъ, изгнанный изъ Франціи, не могъ за ней пріѣхать въ Парижъ, да и къ тому же не имѣлъ денегъ. Не зная, куда дѣтъ ее, онъ попросилъ Энгельсона взять ее на первое время. Энгельсонъ согласился, но очень скоро раскаялся. Дѣвочка шалила и, вѣроятно, очень много, взявъ въ расчетъ ея неправильное воспитаніе; но все-же она шалила, какъ пятилѣтній ребенокъ, и не съ гуманнымъ пониманьемъ Энгельсона можно было опрокинуться на дѣвочку за шалости. Да и бѣда была не въ томъ, что она шалила: *она*

мѣшала и пуще всего не ему, а ей, никогда ничего не дѣлавшей. Энгельсонъ съ какимъ-то ожесточеніемъ жаловался мнѣ письменно на ребенка!

Между прочимъ, насчетъ ея отца, Энгельсонъ писалъ мнѣ: «Не странно ли, что Х., соглашавшійся когда-то съ вами, что жена моя не способна воспитывать вашихъ дѣтей, поручилъ ей свою собственную дочь?».

Энгельсонъ зналъ очень хорошо, что отецъ дѣвочки не выбралъ его жену воспитательницей, а былъ приведенъ матеріальной нуждой въ необходимость прибѣгнуть къ ея помощи. Въ этомъ замѣчаніи было столько жесткаго, невеликодушнаго, что у меня перевернулось сердце. Я не могъ привыкнуть къ этому недостатку пощады, къ этой смѣлости языка, не останавливающагося ни передъ чѣмъ! Глубоко язвящіе намеки, которые могутъ въ минуту раздраженія придти каждому въ голову, но которые губы наши отказываются высказать, говорятъ людьми, къ которымъ принадлежалъ Энгельсонъ, съ легкостью и наслажденіемъ при малѣйшей размолвкѣ.

Давъ волю своему раздраженію, Энгельсонъ въ письмѣ своемъ, по дорогѣ, оборвалъ и Тесѣ, и другихъ пріятелей, даже самого Прудона, котораго очень уважалъ. Вмѣстѣ съ письмомъ Энгельсона пришло изъ Парижа письмо Тесѣ; онъ дружески шутилъ о «гнѣвахъ и шалостяхъ» Энгельсона, не подозрѣвая, что онъ писалъ объ немъ. Мнѣ была противна роль какого-то отрицательнаго предательства, и я написалъ Энгельсону, что стыдно такъ бранить людей, съ которыми жизнь насъ свела, что, несмотря на ихъ недостатки, все-же они люди хорошіе, какъ онъ самъ знаетъ. Въ заключеніе я говорилъ, что стыдно такъ преувеличивать всякое дѣло и ахать, и охать, и приходить въ отчаяніе отъ шалостей пятилѣтняго ребенка.

Этого было довольно. Пламенный почитатель мой, другъ, цѣловавшій въ порывѣ энтузіазма мою руку, приходившій ко мнѣ дѣлить всякую печаль и предлагавшій мнѣ кровь свою и свою жизнь, не на словахъ, а въ самомъ дѣлѣ... этотъ человѣкъ, связанный со мной своею исповѣдью и моими несчастьями, которыхъ былъ свидѣтелемъ, гробомъ, за которымъ мы шли вмѣстѣ,—все забылъ. Его самолюбіе было затронуто... Ему надобно было отомстить,—онъ и отомстилъ. Черезъ четыре дня я получилъ отъ него слѣдующій отвѣтъ:

2 февраля, 1853.

«Слухи носятъ, что вы рѣшились ѣхать сюда; здоровье Маріи Каспаровны, кажется, возстановливается (по крайней мѣрѣ, на прошедшей недѣлѣ она стала пободрѣе духомъ, встаетъ съ

постели минутъ на пять, имѣть аппетитъ); о порученіи, данномъ вами мнѣ къ Т., имѣю только то сказать, что вещи, которыя генераль проситъ его приготовить, не у Т., а оставлены имъ у Фогта въ Женевѣ, что мадамъ Т. находитъ «*rien gracieux*» ваше молчаніе и прибавляетъ, что переписка съ вами не могла бы причинить имъ непріятностей.

«Словомъ, до вашего пріѣзда я могъ бы и не писать вамъ, если-бъ мнѣ не пришло на умъ, что молчаніе часто можетъ быть принято за знакъ согласія. Я не хочу вводить или продержатъ васъ въ заблужденій насчетъ меня: я не согласенъ съ тѣмъ, что сказано въ послѣднемъ вашемъ письмѣ ко мнѣ (отъ 28 января).

«Вотъ ваши слова: «Ну, скажите, стоило ли такъ расходиться—и биби—и младенецъ—и ужъ ай, ай, ай, и ужъ Боже мой. Ну, подумайте, достойно ли это васъ! И что новаго! Вы людей знали и видѣли. Я становлюсь съ каждымъ днемъ снисходительнѣе и дальше отъ людей».

«На это отвѣчаю, не вдаваясь нынѣшній разъ въ диссертацию о респектабельности вообще и даже не поздравляя васъ съ вашимъ довольствомъ самимъ собою, — что, разумѣется, смѣшонъ человѣкъ, который, облѣпленный комарами или клопами, впадаетъ въ ярость и бѣшенство, но что еще смѣшнѣе тотъ, который, страдая отъ нападеній такихъ насѣкомыхъ, усиливается придать себѣ видъ равнодушія стоическаго.

«Вы, можетъ быть, съ этимъ не согласны, потому что *вы ставите роль выше всего*. Не сердитесь! Погодите! дайте договорить. Въ первой главѣ вашего «*Vom andern Ufer*», въ русскомъ и нѣмецкомъ текстахъ, слѣдующія ваши слова: «Человѣкъ любитъ эффектъ, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагаетъ несчастіе; страданіе отвлекаетъ, утѣшаетъ... да, да, утѣшаетъ».—Какъ я уже въ Ниццѣ вамъ говорилъ, я сначала принялъ было это ваше изреченіе за обмолвку, хотя и не хорошую. Тогда вы мнѣ возразили, что вы не помните этихъ словъ.

«Нисколько не относя исключительно къ вамъ эти слова, то есть, не полагая, чтобъ вы о людяхъ вообще судили въ этомъ случаѣ по самому себѣ, я до сихъ поръ думалъ, что это ваше изреченіе, какъ большая часть *des Réflexions de La-Rochefoucauld*, на которыя оно очень похоже, какъ мастерски однажды сдѣланная Бѣлинскимъ характеристика талантливыхъ людей нашего времени,—«ипербола, шутка». И потому, когда я узналъ, что Х. въ Швейцаріи вознегодовалъ на генерала за его образъ дѣйствія въ вашемъ дѣлѣ, я принялъ это его негодованіе не за роль, а за чувство, и написалъ вамъ: «Да, я вижу, Х. мнѣ братъ».—Когда Т. (при свидѣтелѣ) объявлялъ, что онъ осужденъ «на вѣч-

ность —|— два года», я также вѣрилъ этому и даже пересказалъ это нѣкоторымъ людямъ. Вчера мнѣ г-жа Т. сказала, что ся мужъ никогда не былъ осужденъ. Ergo, я въ глазахъ тѣхъ, кому я пересказалъ его ложь, такой же благѣрь, какъ онъ. Это мнѣ непріятно. Кто виноватъ? Разумѣется, я, потому что я былъ «молоть, легковѣрентъ»; но и они виноваты, потому что они лгали. Нѣтъ, такихъ благѣровъ, какъ я увидѣлъ въ Ниццѣ, я ни на Руси, ни индѣ, еще не видалъ. Въ письмѣ моемъ къ вамъ отъ 19 января, я сказалъ вамъ, что я хочу, безъ эскландра, удалиться отъ этихъ людей, они бо мнѣ антипатичны. Написалъ же я вамъ это, потому что съ вами я хотѣлъ играть въ открытую. *Но, погруженный въ себя*, вы не поняли этой весьма простой мысли. Иначе вы, вѣроятно, не дали бы мнѣ и самого пустого порученія къ Т.—Вы тоже говорили, что вы удаляетесь отъ людей, но вмѣстѣ съ тѣмъ просите ихъ вамъ писать. Я не умѣю такимъ образомъ удаляться.

«Полагая, что въ серьезныхъ дѣлахъ откровенность есть необходимое условіе честности, я имѣю еще слѣдующее сказать вамъ, не теряя времени: Вы пишете мнѣ, что, отправивъ генерала въ Австралію и давъ безсрочный отпускъ всѣмъ, вы останетесь при мнѣ и при врагахъ,—и что, если-бъ къ тому же я поустоялся и меньше зависѣлъ отъ своихъ и не своихъ нервныхъ тревогъ и капризцовъ, то вы со мною сдѣлали бы un bout de chemin. Я долженъ на это вамъ отвѣтить, что, не чувствуя въ себѣ ни охоты, ни таланта къ ролямъ, и особенно трагическимъ, я готовъ, если вамъ угодно, служить вамъ моимъ совѣтомъ, но не дѣломъ»...

Конечно, я не предполагалъ, чтобъ человѣкъ, который слезами, рыданіемъ вызвалъ меня на трудно-произносимыя довѣрія, человѣкъ, такъ близко подошедшій ко мнѣ и на котораго я опирался, какъ на брата, въ минуты слабости и безсилія, когда боль переходила человѣческую емкость,—что очевидецъ, свидѣтель всего, что было, приметъ мои несчастія за котурны и декорации, которыми я воспользуюсь, чтобъ играть трагическую роль. Восхищаясь моей книгой, онъ заискивалъ въ ней камни и откладывалъ ихъ за пазуху, чтобъ при случаѣ пустить въ меня. Ему мало было оборвать настоящее, онъ грязнилъ, опошлялъ прошедшее: разрываясь со мной, онъ не почтилъ его унылымъ чувствомъ молчанія, а покрылъ его безжалостной бранью и ироническимъ шпыняньемъ.

Больно мнѣ было это письмо, очень больно.

Я отвѣчалъ ему грустно, сквозь затаенныя слезы, я прощался съ нимъ и просилъ его прекратить переписку.

Затѣмъ наступило между нами совершеннѣйшее молчаніе...

Съ Энгельсономъ еще разъ что-то оторвалось внутри, я становился еще бѣднѣе, еще разобщеннѣе, холодъ кругомъ, ничего близкаго... Иногда будто теплѣе протягивалась рука, какой-нибудь фанатикъ безъ пониманья, не разобравшій сначала, что мы не одной религіи, быстро подходилъ и также быстро отворачивался. Впрочемъ, я и самъ не искалъ большой близости съ людьми; я привыкалъ къ встрѣчнымъ и проходящимъ, къ разнымъ анонимамъ, отъ которыхъ ничего не требовалъ и которымъ ничего не давалъ, кромѣ сигаръ, вина и иногда денегъ. Одно спасеніе было въ работѣ, я писалъ «Былое и Думы» и устраивалъ русскую типографію въ Лондонѣ.

VI.

Прошелъ годъ. Типографія была въ полномъ ходу, ее замѣтили въ Лондонѣ и боялись въ Россіи. Весною 1854 г. я получилъ отъ Марьи Каспаровны небольшую рукопись. Догадаться было не трудно, что ее писалъ Энгельсонъ. Я тотчасъ напечаталъ ее.

Потомъ пришло отъ него письмо, въ которомъ онъ просилъ окончить несчастную размолвку и соединиться на общее дѣло. Разумѣется, я ему протянулъ обѣ руки.

Вмѣсто отвѣта онъ явился самъ въ Лондонъ на нѣсколько дней и остановился у меня. Рыдая и смѣясь, просилъ онъ забвенія прошлаго... осыпалъ меня словами дружбы и снова схватилъ мою руку и прижалъ ее къ своимъ губамъ. Я обнялъ его, глубоко тронутый и въ твердой увѣренности, что ссора не возобновится.

Но уже черезъ нѣсколько дней показались облака, мало предвѣщавшія хорошаго. Оттѣнокъ фатализма, бонапартизма, который проглядывалъ въ его письмахъ изъ Женевы, выросъ; онъ переходилъ *arme et bagage* въ враждебный станъ. Мы поспорили, онъ былъ упоренъ. Зная, какъ онъ бросается въ крайности и какъ быстро возвращается, я ждалъ отлива, но его не было.

По несчастью, Энгельсонъ возился тогда съ удивительнымъ проектомъ, въ который былъ страстно влюбленъ.

Онъ выдумалъ воздушную батарею, т. е. шаръ, начиненный гроющими веществами и вмѣстѣ съ тѣмъ печатными воззваніями. Дѣло было при началѣ Крымской кампаніи. Энгельсонъ предлагалъ пускать такіе шары съ кораблей на балтійскіе берега. Проектъ этотъ мнѣ очень не нравился; что за пропаганда съ прожектиями, что за смыслъ намъ, русскимъ. жечь финскія де-

ревни, помогать Наполеону и Англіи? Къ тому же Энгельсонъ не открылъ никакого новаго средства направлять воздушные шары. Я мало возражалъ на его планъ, воображая, что онъ самъ бросить эти бредни.

Не тутъ-то было. Онъ отправился съ своимъ проектомъ къ Маццини, къ Ворцелю. Маццини сказалъ, что онъ такого рода дѣлами не занимается, а готовъ переслать черезъ своихъ друзей его проектъ военному министру. Изъ министерства отвѣтили уклончиво и безъ отказа проектъ оставили въ сторонѣ. Онъ просилъ меня собрать двухъ-трехъ военныхъ изъ рефюжье и предложилъ имъ вопросъ о шарѣ. Всѣ были противъ, и я еще и еще разъ говорилъ ему, что и я противъ, что мы падемъ нравственно, становясь на одну сторону съ Наполеономъ, и погубимъ себя въ глазахъ Россіи *faisant cause commune* съ врагами ея. Энгельсонъ сердился, выходилъ изъ себя. Онъ ѣхалъ въ Лондонъ на вѣрное торжество и, встрѣтивши оппозицію даже во мнѣ, незамѣтно возвращался къ неприязни.

Вскорѣ онъ отправился за женой и привезъ ее въ маѣ мѣсяцѣ въ Лондонъ. Въ ихъ отношеніяхъ сдѣлалась совершенная перемена, она была беременна, онъ въ восторгѣ отъ будущаго ребенка. Ссоры, размолвки, объясненія, все прошло. Она съ какимъ-то лунатическимъ мистицизмомъ и полупомѣшательствомъ вертѣла столы и занималась спиритизмомъ. Духи ей предсказывали многое и, между прочимъ, скорую смерть мою. Онъ читалъ Шопенгауера и, улыбаясь, говорилъ мнѣ, что всѣми силами мирволить мистическому направленію ея, что эта вѣра и экзальтація вноситъ миръ и покой въ ея душу.

Со мной она обошлась дружески, можетъ въ ожиданіи близкой смерти, приходила ко мнѣ съ работой и заставляла меня читать главы изъ «Былого и Думъ» и новыя статьи. Когда черезъ мѣсяцъ начались опять размолвки изъ-за бонапартизма и воздушныхъ шаровъ, она являлась *примирительницей*,—приходила ко мнѣ, прося пощады *больному* и увѣряя, что всегда весной на Энгельсона находитъ апохондрическое расположеніе, въ которомъ онъ самъ не знаетъ, что дѣлаетъ.

Ея покойная кротость была кротость побѣдителя, милосердіе полного торжества. Энгельсонъ, воображавшій, что онъ ее держитъ въ рукахъ вертящимися столами, упустилъ одно изъ виду, что она вертѣла не только столами, но и имъ, и что онъ больше, чѣмъ столы, всегда отвѣчалъ то, что она хотѣла.

Однимъ вечеромъ, Энгельсонъ снова заспорилъ о своихъ шагахъ съ однимъ французомъ, наговорилъ ему разныхъ колкостей; тотъ отдѣлался ироніей и, разумѣется, взбѣсилъ Энгельсона еще

больше. Онъ схватилъ шляпу и убѣжалъ. По утру я пошелъ къ нему, чтобъ объяснить по этому поводу.

Я его засталъ за письменнымъ столомъ, съ лицомъ совершенно искаженнымъ вчерашней злобой, съ безумнымъ выраженіемъ глазъ. Онъ сказалъ мнѣ, что французъ (рефюжье, котораго я зналъ давно и знаю теперь) *инионъ*, что онъ его разоблачитъ, убьетъ, и подалъ мнѣ письмо только-что написанное и адресованное какому-то доктору медицины въ Парижъ; въ письмѣ онъ припуталъ людей, живущихъ въ Парижѣ, и клеветалъ на выходцевъ въ Лондонѣ. Я остолбенѣлъ.

— И вы это письмо намѣрены послать?

— Сейчасъ.

— По почтѣ?

— По почтѣ.

— Это *доносъ*, сказалъ я, и бросилъ на столъ его маранье. Если вы пошлете это письмо...

— Такъ что?—закричалъ онъ, перерывая меня голосомъ сильнымъ, дикимъ,—вы хотите грозить мнѣ, чѣмъ? Не боюсь я ни васъ, ни подлыхъ друзей вашихъ,—при этомъ онъ вскочилъ, раскрылъ большой ножъ и, махая имъ, кричалъ задыхаясь:—Ну—ну, покажите-ка прыть... покажу я и вамъ, неудобно ли попробовать... милости просимъ!

Я обернулся къ его женѣ и, сказавши:

— Что это онъ у васъ совсѣмъ съ ума сошелъ? Вы бы убрали его куда-нибудь...—вышелъ вонъ.

И на этотъ разъ м-ше Энгельсонъ явилась примирительницей.

Она пришла ко мнѣ утромъ, прося забыть, что было вчера. Письмо онъ изодралъ,—былъ боленъ, печаленъ. Она принимала все это за несчастіе, за физическое разстройство, боялась, что онъ сильно занеможетъ, плакала. Я уступилъ ей.

Затѣмъ мы переѣхали въ Ричмондъ, и Энгельсонъ тоже. Рожденіе сына и первые мѣсяцы хлопотъ объ немъ оживили Энгельсона; онъ потерялъ голову отъ радости, въ минуту рожденія малютки онъ обнялъ и разцѣловалъ сначала горничную, потомъ старуху хозяйку дома... Страхъ о здоровьѣ маленькаго, новость отцовскаго чувства, новость самаго младенца заняли Энгельсона на нѣсколько мѣсяцевъ, и все шло опять ладно.

Вдругъ получаю отъ него большой пакетъ при записочкѣ, чтобъ я прочелъ вложенную бумагу и сказалъ откровенно мое мнѣніе. Это было письмо къ французскому министру военныхъ дѣлъ. Въ немъ онъ снова предлагалъ шары, бомбы и статьи. Я нашелъ все дурнымъ, отъ пути, къ которому онъ обращался, до слога, мало сохранившаго достоинство, и высказалъ это.

Энгельсонъ отвѣчалъ дерзкой запиской и началъ дуться.

Вслѣдъ за тѣмъ онъ мнѣ далъ другую рукопись для напечатанія. Я не скрылъ отъ него, что дѣйствіе ея на русскихъ будетъ прескверное и что я не совѣтую печатать. Энгельсонъ упрекнулъ меня въ желаніи завести цензуру и говорилъ, что я, вѣроятно, устроилъ типографію исключительно для печати моихъ «безсмертныхъ твореній». Я напечаталъ рукопись, но чутье мое оправдалось, она возбудила въ Россіи общее негодованіе.

Все это показывало, что новый разрывъ недалекъ. Признаюсь, на этотъ разъ я не много объ этомъ жалѣлъ. Перемежающаяся лихорадка съ пароксизмами дружбы и ненависти, цѣлованья рукъ и нравственныхъ заушеній мнѣ надобли. Энгельсонъ перешелъ за черту, за которой не могли даже спасать ни воспоминанія, ни благодарность. Я его меньше и меньше любилъ и хладнокровнѣе ждалъ, что будетъ.

Тутъ случилось событіе, которое своей важностью покрыло на время всѣ споры и раздоры.

Утромъ 4 марта я вхожу по обыкновенію часовъ въ восемь въ свой кабинетъ, развертываю «Теймсъ», читаю десять разъ и не понимаю, не смѣю понять грамматическій смыслъ словъ, поставленныхъ въ заглавіе телеграфической новости: *The death of the Emperor of Russia*.

... Толчекъ былъ силенъ, работа закипѣла вдвое. Я объявилъ, что издаю «Полярную Звѣзду». Энгельсонъ принялся, наконецъ, за свою статью о социализмѣ, о которой еще говорилъ въ Италіи. Можно было думать, что мы проработаемъ года два, или больше, ... но раздражительное самолюбіе его дѣлало всякую работу съ нимъ невыносимой. Жена его поддерживала въ немъ его опьянѣніе собой. «Статья моего мужа, говорила она, будетъ считаться *новой эпохой* въ исторіи русской мысли. Если онъ ничего больше не напишетъ, то мѣсто его въ исторіи упрочено». Статья: «Что такое государство?» ¹⁾ была хороша, но успѣхъ ея не оправдалъ семейныхъ ожиданій. Къ тому же она попалась не во-время. Проснувшаяся Россія требовала, именно тогда, практическихъ совѣтовъ, а не философскихъ трактатовъ по Прудону и Шопенгауеру.

Статья еще не была до конца напечатана, какъ новая ссора, иного характера, чѣмъ всѣ предыдущія, почти окончательно прервала всѣ сношенія между нами.

Разъ, сидя у него, я шутилъ надъ тѣмъ, что они послали въ третій разъ за докторомъ для маленькаго, у котораго былъ насморкъ и легкая простуда. «Неужели оттого, что мы бѣдны, сказала м-ме Энгельсонъ и вся прежняя ненависть, удесятеренная,

¹⁾ „Полярная Звѣзда“, книжка 1.

злая, вспыхнула на ея лицѣ,—нашъ малютка долженъ умереть безъ медицинской помощи? И это говорите вы, социалистъ, другъ моего мужа, *отказавшій ему въ пятидесяти фунтахъ и эксплуатирующій его уроками*».

Я слушалъ съ удивленіемъ и спросилъ Энгельсона: «Дѣлать онъ это мнѣніе или нѣтъ?» Онъ былъ сконфуженъ, пятны выступили у него на лицѣ, онъ умолялъ ее замолчать... Она продолжала. Я всталъ и, перерывая ее, сказалъ: «Вы больны, и сами кормите, я отвѣчать вамъ не стану, но не стану и слушать... Вѣроятно, вамъ не покажется страннымъ, что нога моя не будетъ больше въ вашемъ домѣ».

Энгельсонъ, печальный и растерянный, схватилъ шляпу и вышелъ со мной на улицу: «Не принимайте необузданные слова женщины съ разстроенными нервами au pied de la lettre...» Онъ путался въ объясненіяхъ. «Завтра я приду давать урокъ», сказалъ онъ, я пожалъ ему руку и молча пошелъ домой.

... Все это требуетъ объясненій, и притомъ самыхъ тяжелыхъ, касающихся не мнѣній и общихъ сферъ, а кухни и приходорасходныхъ книгъ. Тѣмъ не меньше я сдѣлаю опытъ раскрыть и эту сторону. Для патологическихъ изслѣдованій—брезгливость, этотъ *романтизмъ чистоплотности*, не идетъ.

Энгельсоны врядъ имѣли ли право себя включать въ категорию бѣдныхъ людей. Они получали изъ Россіи десять тысячъ франковъ въ годъ, и пять онъ легко могъ выработать—переводами, обзорѣніями, учебными книгами; Энгельсонъ занимался лингвистикой. Книгопродавецъ Трюбнеръ требовалъ отъ него лексиконъ русскаго корнесловія и грамматику; онъ могъ давать уроки, какъ Пьеръ Леру, какъ Кинкель, какъ Эскиросъ. Но въ качествѣ русскаго, онъ брался за все, и за корнесловіе, и за переводы, и за уроки,—ничего не кончалъ, ничѣмъ не стѣснялся и не выработывалъ ни одной копейки.

Ни мужъ, ни жена не были расчетливы и не умѣли устроить своихъ дѣлъ. Постоянная лихорадка, въ которой они жили, не позволяла имъ думать о хозяйствѣ. Онъ изъ Россіи уѣхалъ безъ опредѣленнаго плана и остался въ Европѣ безъ всякой цѣли. Онъ не взялъ никакихъ мѣръ, чтобъ спасти свое имѣніе, и un beau jour испугавшись, сдѣлалъ наскоро какое-то распоряженіе, въ силу котораго ограничилъ свой доходъ на 10.000 фр., которые получалъ не совсѣмъ аккуратно, но получалъ.

Что Энгельсонъ не вывернется съ своими десятью тысячами, было очевидно; что онъ не сумѣетъ, съ другой стороны, ограничить себя, и это было ясно,—ему оставалось работать или заниматься. Сначала, послѣ пріѣзда въ Лондонъ, онъ взялъ у меня около сорока фунтовъ... Черезъ нѣкоторое время попросилъ опять...

Я имѣлъ съ нимъ серьезный дружескій разговоръ объ этомъ и сказалъ ему, что готовъ ссужать его, но рѣшительно больше десяти фунтовъ въ мѣсяцъ ему займы не дамъ. Нахмурился Энгельсонъ, однако раза два взялъ по десятифунтовой бумажкѣ и вдругъ написалъ мнѣ, что ему нужны пятьдесятъ фунтовъ, и если я не хочу ему ихъ дать, или не вѣрю, то просить меня занять ихъ подъ закладъ какихъ-то брильянтовъ. Все это очень походило на шутку; если онъ въ самомъ дѣлѣ хотѣлъ заложить брильянты, то ихъ слѣдовало бы снести къ какому-нибудь pawnbroker'у, а не ко мнѣ... Зная его и жалѣя, я написалъ ему, что брильянты заложу въ 50 фунтовъ, если дадутъ, и деньги пришлю. На другой день, я послалъ ему чекъ, а брильянты, которые онъ непременно бы продалъ или заложилъ, спряталъ, чтобъ ихъ сохранить ему. Онъ не обратилъ вниманія на то, что пятьдесятъ фунтовъ были безъ процентовъ и повѣрилъ, что я брильянты заложилъ.

Второй пунктъ, относящійся къ урокамъ, еще проще. Въ Лондонѣ С. давалъ у меня уроки русскаго языка и бралъ 4 шил. за часъ. Въ Ричмондѣ Энгельсонъ предложилъ замѣнить С. Я спросилъ его о цѣнѣ, онъ отвѣтилъ, что ему со мной считается мудрено, но такъ какъ у него нѣтъ денегъ, то онъ возьметъ то же, что бралъ С.

Пришедши домой, я написалъ Энгельсону письмо, напомнилъ ему, что цѣну за уроки онъ назначилъ самъ, но что я прошу его принять за все прошлые уроки вдвое. Затѣмъ я написалъ ему, что заставило меня удержать его брильянты, и отослалъ ему ихъ.

Онъ отвѣчалъ конфузно, благодарилъ, досадовалъ, а вечеромъ пришелъ самъ и сталъ ходить попрежнему. Съ ней я не видался больше.

VII.

Съ мѣсяцъ спустя, обѣдалъ у меня Зено Свентославскій и съ нимъ Линтонъ, англійскій республиканецъ. Къ концу обѣда пришелъ Энгельсонъ. Свентославскій, чистѣйшій и добрѣйшій человекъ, фанатикъ, сохранившій за 50 лѣтъ безразсудный, польскій пылъ и запальчивость мальчика пятнадцати лѣтъ, проповѣдывалъ о необходимости возвращаться въ Россію и начать тамъ живую и печатную пропаганду. Онъ бралъ на себя перевезти буквы и пр.

Слушая его, я полу-шутя сказалъ Энгельсону: «А что, вѣдь, насъ примутъ за трусовъ, если онъ пойдетъ одинъ (on nous accusera de lâcheté)». Энгельсонъ сдѣлалъ гримасу и ушелъ.

На другой день я ѣздилъ въ Лондонъ и возвратился вечеромъ. Мой сынъ, лежавшій въ лихорадкѣ, разсказалъ мнѣ, и притомъ въ большомъ волненіи, что безъ меня приходилъ Энгельсонъ, что онъ меня страшно бранилъ, говорилъ, что онъ мнѣ отомститъ, что онъ больше не хочетъ выносить моего авторитета и что я ему теперь ненуженъ, *послѣ напечатанія его статьи*. Я не зналъ, что думать, — Саша ли бредилъ отъ лихорадки, или Энгельсонъ приходилъ мертвецки пьяный.

Отъ Мальвиды М. я узналъ еще больше. Она съ ужасомъ разсказывала о его неистовствахъ. «Герценъ, кричалъ онъ нервнымъ, задыхающимся голосомъ, меня назвалъ вчера lâche, въ присутствіи двухъ постороннихъ». М. его перебила, говоря, что рѣчь шла совсѣмъ не о немъ, что я сказалъ: *on nous taxera de lâcheté*, говоря объ насъ вообще. «Если Г. чувствуетъ, что онъ дѣлаетъ подлости, пусть говорить о самомъ себѣ, но я ему не позволю говорить такъ обо мнѣ, да еще при двухъ мерзавцахъ...»

На его крикъ прибѣжала моя старшая дочь, которой тогда было десять лѣтъ. Энгельсонъ продолжалъ: «Нѣтъ, конечно, довольно, я не привыкъ къ этому, я не позволю играть мною, я покажу, кто я—и онъ выхватилъ изъ кармана револьверъ и продолжалъ кричать—заряженъ, заряженъ... я дождусь его...»

М. встала и сказала ему, что она требуетъ, чтобъ онъ ее оставилъ, что она не обязана слушать его дикій бредъ, что она только объясняетъ болѣзнь его поведеніе. «Я уйду, сказалъ онъ, не хлопчите, но прежде хочу попросить васъ отдать Герцену это письмо». Онъ развернулъ его и началъ читать, письмо было ругательное.

М. отказалась отъ порученія, спрашивая его, почему онъ думаетъ, что она должна служить посредницей въ доставленіи такого письма?

«Найду путь и безъ васъ», замѣтилъ Энгельсонъ, и ушелъ; письма не присылалъ, а черезъ день написалъ мнѣ записку; *въ ней, не упоминая* ни однимъ словомъ о прошедшемъ, онъ писалъ, что у него открылся геморой, что онъ ходитъ ко мнѣ не можетъ, а проситъ посылать дѣтей къ нему.

Я сказалъ, что отвѣта не будетъ, и снова всѣ дипломатическія сношенія были прерваны... оставались военныя. Энгельсонъ и не преминулъ ихъ употребить въ дѣло.

Изъ Ричмонда я осенью 1855 переѣхалъ въ St. John's Wood. Энгельсонъ былъ забытъ на нѣсколько мѣсяцевъ.

Вдругъ получаю я весной 1856 отъ Орсини, котораго видѣлъ дня два тому назадъ, записку, пахнущую картелью...

Холодно и учтиво просилъ онъ меня разъяснить ему, правда ли, что я и *Саффи* распространяемъ слухъ, что онъ австрійскій

шпiонъ? Онъ просилъ меня или дать полный *dementi*, или указать, отъ кого я слышалъ такую гнусную клевету.

Орсини былъ правъ, я поступилъ бы такъ же. Можетъ, онъ долженъ былъ бы имѣть побольше довѣрія къ Саффи и ко мнѣ,—но обида была велика.

Тотъ, кто сколько-нибудь зналъ характеръ Орсини, могъ понять, что такой человѣкъ, задѣтый въ самой святѣйшей святынѣ своей чести, не могъ остановиться на полдорогѣ. Дѣло могло только разрѣшиться *совершенной* чистотой нашей или чьей-нибудь смертью.

Съ первой минуты мнѣ было ясно, что ударъ шель отъ Ангельсона. Онъ *вѣрно* считалъ на одну сторону Орсинiевскаго характера, но, по счастью, забылъ другую: Орсини соединялъ съ неукротимыми страстями страшное самообузданiе, онъ среди опасностей былъ расчетливъ, обдумывалъ каждый шагъ и не рѣшался съ брызгу, потому что, однажды рѣшившись, онъ не тратилъ время на критику, на перерѣшенiя, на сомнѣнiя, а исполнялъ. Мы видѣли это въ улицѣ Лепелетъе. Такъ онъ поступилъ и теперь, онъ, не торопясь, хотѣлъ изслѣдовать дѣло, узнать виновнаго и потомъ, если удастся, убить его.

Вторая ошибка Ангельсона состояла въ томъ, что онъ, безъ всякой нужды, замѣшалъ Саффи.

Дѣло было вотъ въ чемъ. *Мѣсяцевъ шесть* до нашего разрыва съ Ангельсономъ, я былъ какъ-то утромъ у м-ме Мильнеръ-Гибсонъ (жены министра), тамъ я засталъ Саффи и Пьянчани, они что-то говорили съ ней объ Орсини. Выходя, я спросилъ Саффи, о чемъ была рѣчь. «Представьте, отвѣчалъ онъ, что г-жѣ Мильнеръ-Гибсонъ рассказывали въ Женевѣ, что Орсини подкупленъ Австрiей...»

Возвратившись въ Ричмондъ, я передалъ это Ангельсону. Мы оба были тогда недовольны Орсини. «Чортъ съ нимъ со всѣмъ!» замѣтилъ Ангельсонъ, и больше объ этомъ рѣчи не было. Когда Орсини удивительнымъ образомъ спасся изъ Мантуи, мы вспомнили въ своемъ тѣсномъ кругу объ обвиненiи, слышанномъ Мильнеръ-Гибсонъ. Появленiе самого Орсини, его рассказъ, его раненая нога безслѣдно стерли нелѣпное подозрѣнiе.

Я попросилъ у Орсини назначить свиданье. Онъ звалъ вечеромъ на другой день. Утромъ я пошелъ къ Саффи и показалъ ему записку Орсини. Онъ тотчасъ, какъ я и ждалъ, предложилъ мнѣ идти вмѣстѣ со мною къ нему. Огаревъ, только что прiѣхавшiй въ Лондонъ, былъ свидѣтелемъ этого свиданья.

Саффи рассказалъ разговоръ у Мильнеръ-Гибсонъ, съ той простотой и чистотой, которая составляетъ особенность его характера. Я дополнилъ остальное. Орсини подумалъ и потомъ сказалъ:

— Что, у Мильнеръ-Гибсонъ могу я спросить объ этомъ?

— Безъ сомнѣнія, отвѣчалъ Саффи.

— Да, кажется, я погорячился, но, спросилъ онъ меня, скажите, зачѣмъ же вы говорили съ посторонними, а меня не предупредили?

— Вы забываете, Орсини, время, когда это было, и то, что *посторонній*, съ которымъ я говорилъ, былъ тогда не посторонній; вы лучше многихъ знаете, что онъ былъ для меня.

— Я никого не называлъ...

— Дайте кончить. Что же вы думаете, легко человѣку передавать такія вещи? Если-бъ эти слухи распространились, можетъ, васъ и слѣдовало бы предупредить,—но кто же теперь объ этомъ говорить? Что же касается до того, что вы никого не называли. вы очень дурно дѣлаете, сведите меня лицомъ къ лицу съ обвинителемъ, тогда еще яснѣе будетъ, кто какую роль игралъ въ этихъ сплетняхъ.

Орсини улыбнулся, всталъ, подошелъ ко мнѣ, обнялъ меня, обнялъ Саффи, и сказалъ: «Amici, кончимъ это дѣло, простите меня, забудемте все это и давайте говорить о другомъ».

— Все это хорошо, и требовать отъ меня объясненіе вы были въ правѣ, но зачѣмъ же вы не называете обвинителя? Во-первыхъ, скрыть его нельзя... Вамъ сказалъ Энгельсонъ.

— Даете вы слово, что оставите дѣло?

— Даю, при двухъ свидѣтеляхъ.

— Ну, отгадали.

Это ожидаемое подтвержденіе все-же сдѣлало какую-то боль, точно я еще сомнѣвался.

— Помните обѣщанное, прибавилъ, помолчавши, Орсини.

— Объ этомъ не беспокойтесь. А вы вотъ утѣшите меня, да и Саффи, расскажите, какъ было дѣло, вѣдь, главное мы знаемъ.

Орсини засмѣялся.

— Экое любопытство! Вы Энгельсона знаете; на-дняхъ пришелъ онъ ко мнѣ, я былъ въ столовой (Орсини жилъ въ boarding house), и обѣдалъ одинъ. Онъ ужъ обѣдалъ, я велѣлъ подать графинчикъ хересу, онъ выпилъ его и тутъ сталъ жаловаться на васъ, что вы его обидѣли, что вы перервали съ нимъ всѣ сношенія, и послѣ всякой болтовни спросилъ меня, какъ вы меня приняли послѣ возвращенія? Я отвѣчалъ, что вы меня приняли очень дружески, что я обѣдалъ у васъ и былъ вечеромъ... Энгельсонъ вдругъ закричалъ: «Вотъ они... знаю я этихъ молодцевъ, давно ли онъ и его другъ и почитатель Саффи говорили, что вы австрійскій агентъ. А вотъ теперь, вы опять въ славѣ, въ модѣ, и онъ вашъ другъ!» Энгельсонъ, замѣтилъ я ему, вполне ли вы понимаете важность того, что вы сказали?—«Вполнѣ, вполне»,

повторять онъ.—Вы готовы будете во всѣхъ случаяхъ подтвердить ваши слова?—«Во всѣхъ!» Когда онъ ушелъ, я взялъ бумагу и написалъ вамъ письмо. Вотъ и все.

Мы вышли всѣ на улицу. Орсини, будто догадываясь, что происходило во мнѣ, сказалъ, какъ бы въ утѣшеніе:

— Онъ поврежденный.

Орсини вскорѣ уѣхалъ въ Парижъ, и античная, изящная голова его скатилась окровавленная на помостъ гильотины.

Первая вѣсть объ Энгельсонѣ была вѣсть о его смерти въ Жерсеѣ.

Ни слова примиренья, ни слова раскаянья не долетѣло до меня...

(1858)

... Р. S. Въ 1864 я получилъ изъ Неаполя странное письмо. Въ немъ говорилось о появленіи духа моей жены, о томъ, что она звала меня къ обращенію, къ очищенію себя религіей, къ тому, чтобы я оставилъ свѣтскія заботы...

Писавшая говорила, что все писано подъ диктантъ духа, тонъ письма былъ дружескій, теплый, восторженный.

Письмо было безъ подписи, я узналъ почеркъ, оно было отъ m-me Энгельсонъ ¹⁾).

¹⁾ Здѣсь кончается та часть „Былого и Думъ“, которая была обработана авторомъ въ окончательномъ видѣ и напечатана въ четырехъ томахъ. Слѣдующія главы были напечатаны частью въ „Полярной Звѣздѣ“, частью въ „Колоколѣ“; онѣ отрывочны, не слѣдуютъ другъ за другомъ и не представляютъ цѣлости. Эти главы должны были, по мысли автора, войти въ V часть „Былого и Думъ“, для которой, какъ онъ не разъ говорилъ, «онъ писалъ все остальное».

Кромѣ печатаемыхъ здѣсь отрывковъ изъ V части, имѣется еще нѣсколько главъ въ рукописи. Эти главы наслѣдники автора не считаютъ въ настоящее время удобнымъ печатать.

Примѣчаніе издателя заграничнаго изданія.

Англія¹⁾.

(1852—1855).

ГЛАВА I.

Лондонскіе туманы.

Когда на разсвѣтъ 25 августа 1852 я переходилъ по мокрой доскѣ на англійскій берегъ и смотрѣлъ на его замарано-бѣлые выступы, я былъ очень далекъ отъ мысли, что пройдутъ годы, прежде чѣмъ я покину мѣловые утесы его.

Весь подъ вліяніемъ мыслей, съ которыми я оставилъ Италію, болѣзненно ошеломленный, сбитый съ толку рядомъ ударовъ, такъ скоро и такъ грубо слѣдовавшихъ другъ за другомъ, я не могъ ясно взглянуть на то, что дѣлалъ. Мнѣ будто надобно было еще и еще дотронуться своими руками до знакомыхъ истинъ, для того, чтобъ снова повѣрить тому, что я давно зналъ или долженъ былъ знать.

Я измѣнилъ своей логикѣ и забылъ, какъ розенъ современный человѣкъ въ мнѣніяхъ и дѣлахъ, какъ громко начинаетъ онъ и какъ скромно выполняетъ свои программы, какъ добры его желанія и какъ слабы мышцы.

Мѣсяца два продолжались ненужныя встрѣчи, бесплодное исканіе, разговоры тяжелые и совершенно бесполезные, и я все чего-то ожидалъ... чего-то ожидалъ. Но моя реальная натура не могла остаться долго въ этомъ призрачномъ мірѣ, я сталъ мало-по-малу разглядывать, что зданіе, которое я выводилъ, не имѣетъ грунта, что оно непременно рухнетъ.

Я былъ униженъ, мое самолюбіе было оскорблено, я сердился на самого себя. Совѣсть угрызала за святотатственную порчу горести, за годъ суеты, и я чувствовалъ страшную, невыразимую

¹⁾ Полярная Звѣзда. Т. V. (1859).

усталь... Какъ мнѣ была нужна тогда грудь друга, которая приняла бы безъ суда и осужденія мою исповѣдь, была бы несчастна—моимъ несчастіемъ; но кругомъ стлалась больше и больше пустыня, никого близкаго... ни одного человѣка... А, можетъ, это было и къ лучшему.

Я не думалъ прожить въ Лондонѣ дольше мѣсяца, но мало-по-малу я сталъ разглядывать, что мнѣ рѣшительно некуда ѣхать и не зачѣмъ. Такого отшельничества я нигдѣ не могъ найти, какъ въ Лондонѣ.

Рѣшившись остаться, я началъ съ того, что нашелъ себѣ домъ въ одной изъ самыхъ дальнихъ частей города, за Режентъ-паркомъ, близъ Примрозъ-Гіля.

Дѣти оставались въ Парижѣ, одинъ Саша былъ со мною. Домъ на здѣшній манеръ былъ раздѣленъ на три этажа. Весь средній этажъ состоялъ изъ огромнаго, неудобнаго, холоднаго drawing room. Я его превратилъ въ кабинетъ. Хозяинъ дома былъ скульпторъ и загрозоздилъ всю эту комнату разными статуэтками и моделями... Бюстъ Лола Монтесъ стоялъ у меня предъ глазами, вмѣстѣ съ Викторіей.

Когда на второй или третій день послѣ нашего переѣзда, разобравшись и устроившись, я взошелъ утромъ въ эту комнату, сѣлъ на большія кресла и просидѣлъ часа два въ совершеннѣйшей тишинѣ, никѣмъ не тормошимый, я почувствовалъ себя какъ-то свободнымъ,—въ первый разъ послѣ долгаго, долгаго времени. Мнѣ было нелегко отъ этой свободы, но все-же я съ привѣтомъ смотрѣлъ изъ окна на мрачныя деревья парка, едва сквозившія изъ-за дымчатаго тумана, благодаря ихъ за покой.

По цѣлымъ утрамъ сиживалъ я теперь одинъ-одиноконецъ, часто ничего не дѣлая, даже не читая; иногда прибѣгалъ Саша, но не мѣшалъ одиночеству. Г., жившій со мной, безъ крайности никогда не входилъ до обѣда, обѣдали мы въ седьмомъ часу. Въ этомъ досугѣ разбиралъ я фактъ за фактомъ все бывшее, слова и письма людей, и себя. Ошибки направо, ошибки налѣво, слабость, шаткость, раздумье, мѣшающее дѣлу, увлеченье другими. И въ продолженіе этого разбора внутри исподволь совершался переворотъ... Были тяжелыя минуты и не разъ слеза скатывалась по щекѣ; но были и другія, не радостныя, но мужественныя: я чувствовалъ въ себѣ силу, я не надѣялся ни на кого больше, но надежда на себя крѣпчала, я становился независимѣе отъ всѣхъ.

Пустота кругомъ окрѣпила меня, дала время собраться, я отвыкалъ отъ людей, т. е. не искалъ съ ними истиннаго сближенія; я и неизбѣгалъ никого, но лица мнѣ сдѣлались равнодушны. Я увидѣлъ, что серьезно глубокихъ связей у меня нѣтъ. Я былъ

чужой между посторонними, сочувствовалъ больше однимъ, чѣмъ другимъ, но не былъ ни съ кѣмъ тѣсно соединенъ. Оно и прежде такъ было, но я не замѣчалъ этого, постоянно увлеченный собственными мыслями; теперь маскарадъ кончился, домино были сняты, вѣнки попадали съ головъ, маски съ лицъ и я увидѣлъ другія черты, не тѣ, которыя я предполагалъ. Что же мнѣ было дѣлать? Я могъ не показывать, что я многихъ меньше люблю, т. е., больше знаю, но не чувствовать этого я не могъ и, какъ я сказалъ, эти открытія не отняли у меня мужества, но скорѣе укрѣпили его.

Для такого перелома лондонская жизнь была очень благотворна. Нѣтъ города въ мірѣ, который бы больше отучалъ отъ людей и больше приучалъ бы къ одиночеству, какъ Лондонъ. Его образъ жизни, разстоянія, климатъ, самыя массы народонаселенія, въ которыхъ личность пропадаетъ, все это способствовало къ тому, вмѣстѣ съ отсутствіемъ континентальныхъ развлеченій. Кто умѣетъ *жить одинъ*, тому нечего бояться лондонской скуки. Здѣшняя жизнь, точно такъ же, какъ здѣшній воздухъ, вредна слабому, хилому, ищущему опоры внѣ себя, ищущему привѣтъ, участіе, вниманіе; нравственные легкія должны быть здѣсь такъ же крѣпки, какъ и тѣ, которымъ назначено отдѣлять изъ продымленного тумана кислородъ. Масса спасается завоевываніемъ себѣ насущнаго хлѣба, купцы недосугомъ стяжанія, всѣ суетой дѣлъ; но нервныя романтическія натуры, любящія жить на людяхъ, умственно тянуться и праздно мѣтть, пропадаютъ здѣсь со скуки, впадаютъ въ отчаяніе.

Одинокѣ бродя по Лондону, по его каменнымъ просѣкамъ, по его угарнымъ коридорамъ, не видя иной разъ ни на шагъ впередъ отъ сплошного опаловаго тумана и толкаясь съ какими-то бѣгущими тѣнями,—я много прожилъ.

Обыкновенно вечеромъ, когда мой сынъ ложился спать, я отправлялся гулять; я почти никогда ни къ кому не заходилъ;—читалъ газеты, всматривался въ тавернахъ въ незнакомое племя, останавливался на мостахъ черезъ Темзу.

Съ одной стороны, прорѣзываются и готовы исчезнуть сталакиты парламента, съ другой, опрокинутая миска С. Павла... и фонари... фонари безъ конца въ обѣ стороны. Одинъ городъ, сытый, заснулъ; другой, голодный, еще не проснулся,—пусто, только слышна мѣрная постушь полимена съ своимъ фонарикомъ. Посидишь, бывало, посмотришь, и на душѣ сдѣлается тише и мирнѣе. И вотъ за все за это я полюбилъ этотъ страшный муравейникъ, гдѣ сто тысячъ человѣкъ всякую ночь не знаютъ гдѣ приклонить голову, и полиція нерѣдко находитъ дѣтей и жен-

щинъ, умершихъ съ голода возлѣ отелей, въ которыхъ нельзя обѣдать, не истративши двухъ фунтовъ.

Но такого рода переломы, какъ бы быстро ни приходили, не дѣлаются разомъ, особенно въ сорокъ лѣтъ. Много времени прошло, пока я сладилъ съ новыми мыслями. Рѣшившись на трудъ, я долго ничего не дѣлалъ или дѣлалъ не то, что хотѣлъ.

Мысль, съ которой я пріѣхалъ въ Лондонъ, искать *суда своихъ*, была вѣрна и справедлива. Я это и теперь повторяю съ полнымъ и обдуманнѣмъ сознаніемъ. Къ кому же въ самомъ дѣлѣ намъ обращаться за судомъ, за восстановленіемъ истины? за обличеніемъ лжи?

Не идти же намъ тягаться передъ судомъ нашихъ враговъ, судящихъ по другимъ началамъ, по законамъ, которыхъ мы не признаемъ.

Можно развѣдаться самому, можно, безъ сомнѣнія. Самоуправство вырываетъ силой взятое силой и тѣмъ самымъ приводитъ къ равновѣсію; месть такое же простое и вѣрное челоуѣческое чувство, какъ благодарность; но ни месть, ни самоуправство ничего не объясняютъ. Можетъ же случиться, что челоуѣку въ объясненіи главное дѣло, можетъ быть, ему *возстановленіе правды* дороже мести.

Ошибка была не въ *главномъ положеніи*,—она была въ прилагательномъ; для того, чтобъ былъ судъ своихъ, надобно было прежде всего имѣть *своихъ*. Гдѣ же они были у меня?..

Свои у меня были когда-то въ Россіи. Но я такъ вполне былъ отрѣзанъ на чужбинѣ... Надобно было, во чтобъ ни стало, снова завести рѣчь съ своими,—хотѣлось имъ разсказать, что тяжело лежало на сердцѣ. Писемъ не пропускаютъ,—книги сами пройдутъ; писать нельзя,—буду печатать, и я принялся мало-по-малу за *Былое и Думы* и за *устройство русской типографіи*.

ГЛАВА II ¹⁾.

Горныя вершины.—Центральнѣй Европейскій Комитетъ.—Мадцини.—Тедрю-Ролленъ.—Кошутъ.

Въ Лондонѣ я спѣшилъ увидѣть Мадцини, не только потому, что онъ принялъ самое теплое и дѣятельное участіе въ несчастіяхъ, которыя пали на мою семью, но еще и потому, что я

¹⁾ Начало этой главы было напечатано въ IV т. „Былого и Думъ“, глава XL. Остальное, здѣсь печатаемое, появилось въ „Полярной Звѣздѣ“, т. VI, стр. 241.

Примѣчаніе издателя заграничнаго изданія.

имѣлъ къ нему особое порученіе отъ его друзей. Медичи, Пизакане, Меццокапы, Козенцъ, Бертани и другіе были недовольны направленіемъ, которое давалось изъ Лондона; они говорили, что Маццини плохо знаетъ новое положеніе, жаловались на революціонныхъ царедворцевъ, которые, чтобъ подслужиться, поддерживали въ немъ мысль, что все готово для возстанія и ждетъ только сигнала. Они хотѣли внутреннихъ преобразованій, имъ казалось необходимымъ ввести гораздо больше военного элемента и имѣть во главѣ стратеговъ, вмѣсто адвокатовъ и журналистовъ. Для этого они желали, чтобъ Маццини сблизился съ талантливыми генералами въ родѣ Уллоа, стоявшаго возлѣ старика Пене, въ какомъ-то недовольномъ отдаленіи.

Они поручили мнѣ разсказать все это Маццини долею потому, что они знали, что онъ имѣлъ ко мнѣ довѣріе, а долею и потому, что мое положеніе, независимое отъ итальянскихъ партій, развѣывало мнѣ руки.

Маццини меня принялъ, какъ стараго пріятеля. Наконецъ, рѣчь дошла до порученнаго мнѣ отъ его друзей. Онъ меня сначала слушалъ очень внимательно, хотя и не скрывалъ, что ему не совсѣмъ нравится оппозиція; но когда изъ общихъ мѣстъ я дошелъ до частныхъ и личныхъ вопросовъ, тогда онъ вдругъ прервалъ мою рѣчь:

— Это совершенно не такъ, тутъ нѣтъ ни слова дѣльнаго!

— Однако, замѣтилъ я, нѣтъ полутора мѣсяца, какъ я оставилъ Геную и въ Италіи былъ два года безъ выѣзда, и могу самъ подтвердить многое изъ того, что говорилъ ему отъ имени друзей.

— Оттого-то вы это и говорите, что вы были въ Генуѣ. Что такое Генуя? что вы могли тамъ слышать? Мнѣніе одной части эмиграціи. Я знаю, что она такъ думаетъ, я и то знаю, что она ошибается. Генуя очень важный центръ, но это одна точка, а я знаю всю Италію; я знаю потребность каждаго мѣстечка отъ Абрुццъ до Форалберга. Друзья наши въ Генуѣ разобщены со всѣмъ полуостровомъ, они не могутъ судить объ его потребностяхъ, объ общественномъ настроеніи.

Я сдѣлалъ еще два-три опыта, но онъ уже былъ en garde, начиналъ сердиться, нетерпѣливо отвѣчалъ... Я замолчалъ съ чувствомъ грусти; такой нетерпимости я прежде въ немъ не замѣчалъ.

— Я вамъ очень благодаренъ, сказалъ онъ, подумавъ. Я долженъ знать мнѣніе нашихъ друзей; я готовъ взвѣсить каждое, обдумать каждое, но согласиться или нѣтъ, это другое дѣло; на мнѣ лежитъ большая отвѣтственность не только передъ совѣстью и Богомъ, но передъ народомъ итальянскимъ.

Посольство мое не удалось.

Маццини тогда уже обдумывалъ свое 3 февраля 1853 года; дѣло для него было рѣшенное, а друзья его не были съ нимъ согласны.

— Знакомы вы съ Ледрю-Ролленомъ и Кошутомъ?

— Нѣтъ.

— Хотите познакомиться?

— Очень.

— Вамъ надобно съ ними повидаться, я вамъ напишу къ обоимъ нѣсколько словъ. Расскажите имъ, что вы видѣли, какъ оставили нашихъ. Ледрю-Ролленъ, продолжалъ онъ, взявъ перо и начавъ записку, самый милый человѣкъ въ свѣтѣ, но французъ *jusqu'au bout des ongles*; онъ твердо вѣруетъ, что безъ революціи во Франціи—Европа не двинется, *le peuple initiateur!*.. А гдѣ французская инициатива теперь? Да и прежде идеи, двигавшія Францію, шли изъ Италіи или изъ Англіи. Вы увидите, что новую эру революціи начнетъ Италія! Какъ вы думаете?

— Признаюсь вамъ, что я этого не думаю.

— Что же, сказалъ онъ, улыбаясь, славянскій міръ?

— Я этого не говорилъ; не знаю, на чемъ Ледрю-Ролленъ основываетъ свои вѣрованія, но весьма вѣроятно, что ни одна революція не удастся въ Европѣ, пока Франція въ томъ состояніи протраціи, въ которой мы ее видимъ.

— Такъ и вы еще находитесь подъ *préstig'e*мъ Франціи?

— Подъ престижемъ ея географическаго положенія, ея страшнаго войска и ея естественной опоры на Россію, Австрію и Пруссію. ¹⁾

— Франція спитъ, мы ее разбудимъ.

Мнѣ оставалось сказать: «Дай Богъ, вашими устами медъ пить!»

Кто изъ насъ былъ правъ на ту минуту,—доказалъ Гарибальди. Въ другомъ мѣстѣ я говорилъ о моей встрѣчѣ съ нимъ, въ Вестъ-Индскихъ документахъ, на его американскомъ кораблѣ *Commonwealth*.

Тамъ за завтракомъ у него, въ присутствіи Орсини, Гаука и меня, Гарибальди, говоря съ большою дружбой о Маццини, высказывалъ открыто свое мнѣніе о 3 февраля 1853 (это было весной 1854), и тутъ же говорилъ о необходимости соединенія всѣхъ партій въ одну военную.

Въ тотъ же день вечеромъ, мы встрѣтились въ одномъ домѣ; Гарибальди былъ не веселъ, Маццини вынулъ изъ кармана листъ «*Italia del popolo*», и показалъ ему какую-то статью. Гарибальди

¹⁾ Этотъ разговоръ былъ осенью 1852.

прочитать ее и сказалъ: «Да, написано бойко, а статья превредная, я скажу откровенно, за такую статью стоитъ журналиста или писателя сильно наказать. Раздувать всѣми силами раздоръ между нами и Пиемонтомъ въ то время, когда мы только имѣемъ одно войско—войско Сардинскаго короля! Это опрометчивость и ненужная дерзость, доходящая до преступленія».

Маццини отстаивалъ журналъ; Гарибальди сдѣлался еще скучнѣе.

Когда онъ собирался ѣхать съ корабля, онъ говорилъ, что ночью будетъ поздно возвращаться въ доки, и что онъ поѣдетъ спать въ отель; я предложилъ, вмѣсто отеля, ѣхать спать ко мнѣ. Гарибальди согласился.

Послѣ этого разговора, осажденный со всѣхъ сторонъ неустрашимымъ легиономъ дамъ, Гарибальди ловкими маршами и контр-маршами выпутался изъ хоровода и, подойдя ко мнѣ, шепнулъ мнѣ на ухо:

— Вы до котораго часа останетесь?

— Поѣдемте хоть сейчасъ.

— Сдѣлайте одолженіе.

Мы поѣхали; на дорогѣ онъ сказалъ мнѣ:

— Какъ мнѣ жаль, какъ мнѣ бесконечно жаль, что Рерро ¹⁾ такъ увлекается и съ благороднѣйшимъ, чистѣйшимъ намѣреніемъ дѣлаетъ ошибки. Я не могъ вытерпѣть давеча: тѣшится тѣмъ, что выучилъ своихъ учениковъ дразнить Пиемонтъ. Ну что же, если король бросится совсѣмъ въ реакцію, свободное слово итальянское смолкнетъ въ Италіи, и послѣдняя опора пропадетъ. Республика, республика! Я всегда былъ республиканецъ, всю жизнь, да дѣло теперь не въ республикѣ. Массы итальянскія я знаю лучше Маццини, я жилъ съ ними, ихъ жизнию. Маццини знаетъ Италію образованную и владѣетъ ея умами; но войска, чтобъ выгнать австрійцевъ и папу, изъ нихъ не составишь; для массы, для народа итальянскаго одно знамя и есть—*единство и изгнаніе иноземцевъ!* А какъ же достигнуть до этого, опрокидывая на себя единственное сильное королевство въ Италіи, которое, изъ какихъ бы причинъ ни было, хочетъ стать за Италію и боится; вмѣсто того, чтобъ его звать къ себѣ, его толкаютъ прочь и обижаютъ. Въ тотъ день, въ который *молодой человекъ* повѣритъ, что онъ ближе къ эрцгерцогамъ, чѣмъ къ намъ, судьбы Италіи затормозятся на поколѣніе или на два.

На другой день было воскресенье; онъ ушелъ гулять съ своимъ сыномъ, сдѣлавъ у Калдези его дагеротипъ и принеся мнѣ его въ подарокъ, а потомъ остался обѣдать.

¹⁾ Уменьшительное отъ Джузеппе.

Середь обѣда меня вызываетъ одинъ итальянецъ, посланный отъ Маццини, онъ съ утра отыскивалъ Гарибальди; я просилъ его сѣсть съ нами за столъ.

Итальянецъ, кажется, хотѣлъ говорить съ нимъ наединѣ, я предложилъ имъ идти ко мнѣ въ кабинетъ.

— У меня никакихъ секретовъ нѣтъ, да и чужихъ здѣсь нѣтъ, говорите, замѣтилъ Гарибальди.

Въ продолженіе разговора, Гарибальди еще разъ повторилъ, и притомъ раза два, то же, что мнѣ говорилъ, когда мы ѣхали домой.

Онъ внутренно былъ совершенно согласенъ съ Маццини, но расходился съ нимъ въ исполненіи, въ средствахъ. Что Гарибальди лучше зналъ массы, въ этомъ я совершенно убѣжденъ. Маццини, какъ средневѣковый монахъ, глубоко зналъ одну сторону жизни, но другія *создавалъ*; онъ много жилъ мыслью и страстью, но не на дневномъ свѣтѣ; онъ съ молодыхъ лѣтъ до сѣдыхъ волосъ жилъ въ карбонарскихъ юнтахъ, въ кругу гонимыхъ республиканцевъ, либеральныхъ писателей; онъ былъ въ сношеніяхъ съ греческими гетеріями и съ испанскими *exaltados*, онъ конспирировалъ съ настоящимъ Кавеньякомъ и поддѣльнымъ Ромарино, съ швейцарцомъ Джемсомъ Фази, съ польской демократіей, съ молдовалахами... Изъ его кабинета вышелъ благословенный имъ восторженный Конарскій, пошелъ въ Россію и погибнулъ. Все это такъ, но съ народомъ, но съ этимъ *solo interprete della legge divina*, но съ этой густой толщей, идущей до грунта, т. е., до полей и плуга, до дикихъ калабрійскихъ пастуховъ, до факиновъ и лодочниковъ, онъ никогда не былъ въ сношеніяхъ; а Гарибальди не только въ Италіи, но вездѣ жилъ съ ними, зналъ ихъ силу и слабость, горе и радость: онъ ихъ зналъ на полѣ битвы и середь бурнаго океана и умѣлъ какъ Бемъ сдѣлаться легендой, въ него вѣрили больше, чѣмъ въ его патрона Санъ-Джузеппе.

Одинъ Маццини не вѣрилъ ему.

И Гарибальди, уѣзжая, сказалъ: «Я ѣду съ тяжелымъ сердцемъ, я на него не имѣю вліянія, и онъ опять предприметъ что-нибудь до срока!»

Гарибальди угадалъ: не прошло года, и снова двѣ-три неудачныя вспышки; Орсини былъ схваченъ піемонтскими жандармами, на піемонтской землѣ, чуть не съ оружіемъ въ рукахъ; въ Римѣ открыли одинъ изъ центровъ движенія, и та удивительная организація, о которой я говорилъ, разрушилась. Испуганная правительства усилили полицію; свирѣпый трусъ, король неаполитанскій, снова бросился на пытки.

Тогда Гарибальди не вытерпѣлъ и напечаталъ свое извѣст-

ное письмо: «Въ этихъ несчастныхъ возстаніяхъ могутъ участвовать или сумасшедшіе, или враги итальянскаго дѣла».

Можетъ, письма этого и не слѣдовало печатать. Маццини былъ побитъ и несчастенъ, Гарибальди наносилъ ему ударъ... Но что его письмо совершенно послѣдовательно съ тѣмъ, что онъ мнѣ говорилъ и при мнѣ,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. ¹⁾

Издавая прошлую *Полярную Звѣзду*, я долго думалъ, что слѣдуетъ печатать изъ лондонскихъ воспоминаній и что лучше оставить до другого времени. Больше половины я отложилъ, теперь я печатаю изъ нея нѣсколько отрывковъ.

Что же измѣнилось?—59 и 60 годы раздвинули берега. Личности, партіи уяснились, одніе окрѣпли, другіе улетучились. Съ напряженнымъ вниманіемъ, останавливая не только всякое сужденіе, но самое бѣненіе сердца, слѣдили мы эти два года за близкими лицами; они то исчезали за облаками порохового дыма, то вырѣзывались изъ него съ такою яркостью, росли быстро, быстро и снова скрывались за дымомъ. *На сію минуту* онъ разбѣялся и на сердцѣ легче, всѣ дорогія головы цѣлы!

А еще дальше за этимъ дымомъ, въ тѣни, безъ шума битвъ, безъ ликованій торжества, безъ лавровыхъ вѣнковъ, одна личность достигла колоссальныхъ размѣровъ.

Осыпaeмый проклятіями всѣхъ партій: обманутымъ плебеемъ, дикимъ попомъ, трусомъ буржуа и піемонтской дрянью; оклеветанный всѣми органами всѣхъ реакцій отъ папскаго и императорскаго *Монитера* до либеральныхъ кастратовъ Кавура и великаго Евнуха лондонскихъ мѣнялъ *Теймса* (который не можетъ назвать имени Маццини, не прибавивъ площадной брани),—онъ остался не только... «неколебимъ предъ общимъ заблужденіемъ», но благословляющимъ съ радостью и восторгомъ враговъ и друзей, исполнявшихъ *его* мысль, *его* планъ. Указывая на него, какъ на какого-то Абадонну—

Народъ, таинственно спасаемый тобою.
Ругался надъ твоей священной сѣдиною...

...Но возлѣ него стоялъ не Кутузовъ, а Гарибальди. Въ лицѣ своего героя, своего освободителя Италія не разрывалась съ Маццини. Какъ же Гарибальди не отдалъ ему полъ-вѣнка своего? зачѣмъ не признался, что идетъ съ нимъ рука въ руку? зачѣмъ оставленный триумвиръ римскій не предъявилъ своихъ правъ? зачѣмъ онъ самъ просилъ не поминать его, и зачѣмъ народный вождь, чистый, какъ отрокъ, молчалъ и лгалъ разрывъ?

¹⁾ Въ заграничномъ изданіи Сочиненій Герцена дальнѣйшее озаглавлено: „Изъ IV и V частей“. (Перепечатано тамъ изъ „Поляр. Звѣзды“, т. VI. 1861).

Обоимъ было что-то дороже ихъ личностей, ихъ имени, ихъ славы—*Италія!*

II пошлая современность ихъ не поняла. У ней не хватало емкости, настолько величія; бухгалтерской книги ихъ не достало до того, чтобъ подвести итогъ такихъ credit и debet!

Гарибальди сдѣлался еще больше «лицомъ изъ Корнелія Непота»; онъ такъ антично великъ въ своемъ хуторѣ, такъ просто-душно, такъ чисто великъ, какъ описаніе Гомера, какъ греческая статуя. Нигдѣ ни риторики, ни декорацій, ни дипломатій,—въ эпопеѣ онѣ были ненужны; когда она кончилась и началось продолженіе календаря, тогда король отпустилъ его, какъ отпускаютъ доvezшаго ямщика, и, сконфуженный, что ему ничего нельзя дать на водку, перешеголялъ Австрію колоссальной неблагодарностью; а Гарибальди и не разсердился, онъ, улыбаясь, съ пятьюдесятью скудами въ карманѣ, вышелъ изъ дворцовъ странъ, покоренныхъ имъ, предоставляя дворовымъ усчитывать его расходы и разсуждать о томъ, что онъ испортилъ шкуру медвѣдя. Пускай себѣ тѣшатся, половина великаго дѣла сдѣлана,—лишь бы Италію сколотить въ одно и прогнать бѣлыхъ кретиновъ.

Были минуты тяжелыя для Гарибальди. Онъ увлекается людьми; какъ онъ увлекся А. Дюма, такъ увлекается Викторомъ Эммануиломъ; неделикатность короля огорчаетъ его; король это знаетъ и, чтобъ задобрить его, посылаетъ фазановъ собственно-ручно убитыхъ, цвѣты изъ своего сада и любовныя записки, подписанныя: *sempre il tuo amico Vittorio*.

Для Мадзини люди не существуютъ, для него существуетъ *дѣло*, и притомъ *одно дѣло*; онъ самъ существуетъ, «живетъ и движется» только въ немъ. Сколько ни посылай ему король фазановъ и цвѣтовъ, онъ его не тронетъ. Но онъ сейчасъ соединится не только съ нимъ, котораго онъ считаетъ за добраго человѣка, но съ его маленькимъ Талейраномъ, котораго онъ вовсе не считаетъ ни за добраго, ни за порядочнаго человѣка. Мадзини аскетъ, Кальвинъ, Прочида итальянскаго освобожденія. Односторонній. вѣчно занятый одной идеей, вѣчно на стражѣ и готовый, Мадзини съ тѣмъ упорствомъ и терпѣніемъ, съ которымъ онъ создалъ, изъ разбросанныхъ людей и неясныхъ стремленій, плотную партію и, послѣ десяти неудачъ, вызвалъ Гарибальди и его войско полсвободной Италіи и живую, непрложную надежду на ея единство,—Мадзини не спитъ. День и ночь, ловя рыбу и ходя на охоту, ложась спать и вставая. Гарибальди и его сподвижники видятъ худую, печальную руку Мадзини, указывающую на Римъ, и они еще пойдутъ туда!

Я дурно сдѣлалъ, что выпустилъ, въ напечатанномъ отрывкѣ, нѣсколько страницъ объ Мадзини; его усѣченная фигура вышла

не такъ ясно, я остановился именно на его размолвкѣ съ Гарибальди въ 1854, и на моемъ разномысліи съ нимъ. Сдѣлано было это мною изъ деликатности, но эта деликатность *мелка* для Маццини. О такихъ людяхъ нечего умалчивать, *ихъ щадить нечего!*

Послѣ своего возвращенія изъ Неаполя, онъ написалъ мнѣ записку; я поспѣшилъ къ нему, сердце щемило, когда я его увидѣлъ, я все-же ждалъ найти его грустнымъ, оскорбленнымъ въ своей любви, положеніе его было въ высшей степени трагическое; я дѣйствительно его нашелъ тѣлесно состарившимся и помолодѣлымъ душой; онъ бросился ко мнѣ, по обыкновенію протягивая обѣ руки, съ словами: «Итакъ, наконецъ-то сбывается!»... въ его глазахъ былъ восторгъ и голосъ дрожалъ.

Онъ весь вечеръ рассказывалъ мнѣ о времени, предшествовавшемъ экспедиціи въ Сицилію, о своихъ сношеніяхъ съ Викторомъ Эммануиломъ, потомъ о Неаполѣ. Въ увлеченіи, въ любви, съ которыми онъ говорилъ о побѣдахъ, о подвигахъ Гарибальди, было столько же дужбы къ нему, какъ въ его брани за довѣрчивость и за неумѣнье распознавать людей.

Слушая его, я хотѣлъ поймать одну ноту, одинъ звукъ обременнаго самолюбія, и не поймалъ; ему грустно, но грустно, какъ матери, оставленной на время возлюбленнымъ сыномъ,—она знаетъ, что сынъ воротится, и знаетъ больше этого, что сынъ счастливъ: это покрываетъ все для нея!

Маццини исполненъ надеждъ, съ Гарибальди онъ ближе, чѣмъ когда-нибудь. Онъ съ улыбкой рассказывалъ, какъ толпы неаполитанцевъ, подбитыя агентами Кавура, окружили его домъ съ криками: «Смерть Маццини!» Ихъ, между прочимъ, увѣрили, что Маццини «бурбонскій республиканецъ».—«У меня въ это время было нѣсколько человѣкъ нашихъ и одинъ молодой русскій, онъ удивлялся, что мы продолжали прежній разговоръ. Вы не опасайтесь, сказалъ я ему въ успокоеніе, *они меня не убьютъ, они только кричатъ!*»

Нѣтъ, такихъ людей нечего щадить!

31 января, 1861.

... На другой день я отправился къ Ледрю-Роллену. Онъ меня принялъ очень привѣтливо. Колоссальная, импозантная фигура его, которой ненадо разбирать en détail, общимъ впечатлѣніемъ располагала въ его пользу. Должно быть онъ былъ и bon enfant и bon vivant. Морщины на лбу и просѣды показывали, что заботы и ему не совсѣмъ даромъ прошли. Онъ потратилъ на революцію свою жизнь и свое состояніе; а общественное мнѣніе ему измѣнило. Его странная, непрямая роль въ апрѣлѣ и маѣ, слабая

въ іюньскіе дни, отдалила отъ него часть красныхъ, не сблизивъ съ синими. Имя его, служившее символомъ и произносимое иной разъ съ ошибкой ¹⁾ мужиками, но все же произносимое, рѣже было слышно. Самая партія его въ Лондонѣ таяла больше и больше; особенно, когда и Феликсъ Піа открылъ свою лавочку въ Лондонѣ.

Усѣвшись покойно на кушеткѣ, Ледрю-Ролленъ началъ меня «гарангировать».

— «Революція, говорилъ онъ, только и можетълучиться (rayonner) изъ Франціи. Ясно, что, къ какой бы странѣ вы ни принадлежали, вы должны прежде всего помогать намъ для вашего собственнаго дѣла. Революція только можетъ выйти изъ Парижа. Я очень хорошо знаю, что нашъ другъ Маццини не того мнѣнія, — онъ увлекается своимъ патриотизмомъ. Что можетъ сдѣлать Италія съ Австріей на шеѣ и съ наполеоновскими солдатами въ Римѣ? Намъ надобно Парижъ; Парижъ — это Римъ, Варшава, Венгрія, Сицилія, и, по счастью, Парижъ совершенно готовъ — не ошибайтесь — совершенно готовъ! Революція сдѣлана — la révolution est faite: c'est clair comme bon jour. Я объ этомъ и не думаю; я думаю о послѣдствіяхъ, о томъ, какъ избѣгнуть прежнихъ ошибокъ». Такимъ образомъ онъ продолжалъ съ полчаса и вдругъ, спохватившись, что онъ и не одинъ, и не передъ аудиторіей, добродушнѣйшимъ образомъ сказалъ мнѣ: «Вы видите; мы съ вами совершенно одинакаго мнѣнія». Я не раскрывалъ рта. Ледрю-Ролленъ продолжалъ: «Что касается до матеріальнаго факта революціи, — онъ задержанъ нашимъ безденежьемъ. Средства наши истощились въ этой борьбѣ, которая идетъ годы и годы. Будь теперь сейчасъ въ моемъ распоряженіи *сто тысячъ франковъ*, — да — мизерабельныхъ *сто тысячъ франковъ*! и послѣ завтра, черезъ три дня, революція въ Парижѣ».

— Да какъ же это, — замѣтилъ я наконецъ, — такая богатая нація, совершенно готовая на возстаніе, не находитъ ста тысячъ — полумилліона франковъ?

Ледрю-Ролленъ немного покраснѣлъ, но, не запинаясь, отвѣчалъ:

— «Pardon, pardon. Вы говорите о *теоретическихъ предположеніяхъ* въ то время, какъ я вамъ говорю о фактахъ, о простыхъ фактахъ».

Этого я не понималъ.

Когда я уходилъ, Ледрю-Ролленъ по англійскому обычаю про-

¹⁾ Мужички дальнихъ краевъ любили le duc Rollin'a и жалѣли только, что имъ руководствуетъ женщина, съ которой онъ связался — La Martine, что она-то дюка сбиваетъ, а что онъ самъ bon pour le populaire.

водилъ меня до лѣстницы и еще разъ, подавая мнѣ свою огромную богатырскую руку, сказалъ:

— «Надѣюсь, это не въ послѣдній разъ, я буду всегда радъ; птакъ—au revoir».

— Въ Парижѣ—отвѣтилъ я.

— «Какъ въ Парижѣ?»

— Вы такъ убѣдили меня, что революція за плечами, что я право не знаю, успѣю ли я побывать у васъ здѣсь.

Онъ смотрѣлъ на меня съ недоумѣніемъ, и потому я поторопился прибавить:

— По крайней мѣрѣ я этого искренно желаю, въ этомъ, думаю, вы не сомнѣваетесь.

— «Иначе вы не были бы здѣсь»—замѣтилъ хозяинъ, и мы растались.

Кошута въ первый разъ я видѣлъ собственно во второй разъ. Это случилось такъ. Когда я пріѣхалъ къ нему, меня встрѣтилъ въ парлорѣ военный господинъ, въ полу-венгерскомъ военномъ костюмѣ, съ извѣщеніемъ, что г. *Губернаторъ* не принимаетъ.

— Вотъ письмо отъ Маццини.

— Я сейчасъ передамъ. Сдѣлайте одолженіе.—Онъ указалъ мнѣ на трубку и потомъ на стулъ. Черезъ двѣ-три минуты возвратился.

— Г. *Губернаторъ* чрезвычайно жалѣетъ, что не можетъ васъ видѣть. Сейчасъ онъ оканчиваетъ *американскую почту*; впрочемъ, если вамъ угодно подождать, то онъ будетъ очень радъ васъ принять.

— А скоро онъ кончитъ почту?

— Къ пяти часамъ непременно.

Я взглянулъ на часы: половина второго.—Ну, трехъ часовъ съ половиной я ждать не стану.

— Да вы не пріѣдете ли послѣ?

— Я живу не меньше трехъ миль отъ Ноттингъ-Гиля. Впрочемъ, прибавилъ я, у меня никакого спѣшнаго дѣла къ г. Губернатору нѣтъ!

— Но г. Губернаторъ будетъ очень жалѣть.

— Такъ вотъ мой адресъ.

Прошло съ недѣлю, вечеромъ является длинный господинъ, съ длинными усами—венгерскій полковникъ, съ которымъ я лѣтомъ встрѣтился въ Лугано.

— Я къ вамъ отъ г. Губернатора: онъ очень беспокоится, что вы у него не были.

— Ахъ, какая досада. Я, вѣдь, впрочемъ, оставилъ адресъ. Если-бъ я зналъ время, то непременно поѣхалъ бы къ Кошуту

сегодня—или... прибавилъ я вопросительно, какъ надобно говорить, къ г. Губернатору?

— Zu dem Olten, zu dem Olten,—замѣтилъ улыбаясь гонведъ—мы его между собой все называемъ der Olte.— Вотъ увидите челоѡка! такой головы въ мірѣ нѣтъ, не было и... полковникъ внутренно и тихо помолился Кошуту.

— Хорошо, я завтра въ два часа приѣду.

— Это невозможно. Завтра среда, завтра утромъ старикъ принимаетъ однихъ нашихъ, однихъ венгерцевъ.

Я не выдержалъ, засмѣялся, и полковникъ засмѣялся. Когда же вашъ старикъ пьетъ чай?

— Въ восемь часовъ вечера.

— Скажите ему, что я приѣду завтра въ восемь часовъ; но если нельзя, вы мнѣ напишите.

— Онъ будетъ очень радъ. Я васъ жду въ пріемной.

На этотъ разъ, какъ только я позвонилъ, длинный полковникъ меня встрѣтилъ, а короткій полковникъ тотчасъ повелъ въ кабинетъ Кошута.

Я засталъ Кошуту, работающаго за большимъ столомъ; онъ былъ въ черной бархатной венгеркѣ и въ черной шапочкѣ; Кошутъ гораздо лучше всѣхъ своихъ портретовъ и бюстовъ; въ первую молодость онъ былъ, вѣроятно, красавцемъ и долженъ былъ имѣть страшное вліяніе на женщинъ особеннымъ романтически-задумчивымъ характеромъ лица. Черты его не имѣютъ античной строгости, какъ у Маццини, Саффи, Орсини; но (и, можетъ, именно по этому) онъ былъ роднѣ намъ, жителямъ сѣвера; въ печально кроткомъ взглядѣ его сквозилъ не только сильный умъ, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и нѣсколько восторженная рѣчь окончательно располагали въ его пользу. Говорить онъ чрезвычайно хорошо, хотя и съ рѣзкимъ акцентомъ, равно остающимся въ его французскомъ языкѣ, нѣмецкомъ и англійскомъ. Онъ не отдѣливается фразами, не опирается на битыя мѣста; онъ думаетъ съ вами, выслушиваетъ и развиваетъ свою мысль почти всегда оригинально, потому что онъ свободнѣ другихъ отъ доктрины и отъ духа партіи. Можетъ, въ его манерѣ доводовъ и возраженій виденъ адвокатъ, но то, что онъ говоритъ,—серьезно и обдуманно.

Кошутъ много занимался до 1848 года практическими дѣлами своего края; это дало ему своего рода вѣрность взгляда. Онъ очень хорошо знаетъ, что въ мірѣ событій и приложений не всегда можно прямо летать, какъ воронъ, что факты развиваются рѣдко по простой логической линіи, а идутъ, лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательнымъ. И вотъ, между прочимъ, причина, почему Кошутъ уступаетъ Маццини въ огненной дѣя-

тельности и почему, съ другой стороны, Маццини дѣлаеть непре-
рывные опыты, натягиваетъ попытки, а Кошутъ ихъ не дѣлаеть
вовсе.

Маццини глядитъ на итальянскую революцію какъ фанатикъ;
онъ вѣруеть въ свою мысль объ ней; онъ ее не подвергаетъ кри-
тикѣ и стремится ога е *sempre*, какъ стрѣла, пущенная изъ
лука. Чѣмъ меньше обстоятельствъ онъ беретъ въ расчетъ, тѣмъ
прочнѣе и проще его дѣйствіе, тѣмъ чище его идея.

Революціонный идеализмъ Педрю-Роллена тоже не сложенъ,
его можно весь прочесть въ рѣчахъ конвента и въ мѣрахъ ко-
митета общественнаго спасенія. Кошутъ принесъ съ собою изъ
Венгріи не общее достояніе революціонной традиціи, не апока-
липтическія формулы социальнаго доктринаризма, а протестъ
своего края, который онъ глубоко изучилъ, края новаго, неиз-
вѣстнаго ни въ отношеніи къ его потребностямъ, ни въ отно-
шеніи къ его дико-свободнымъ учрежденіямъ, ни въ отношеніи
къ его средневѣковымъ формамъ. Въ сравненіи съ своими това-
рищами, Кошутъ былъ спеціалистъ.

Французскіе рефюжѣ, съ своей несчастной привычкой рубить
съ плеча и все мѣрить на свою мѣрку, сильно упрекали Кошута
за то, что онъ въ Марсели выразилъ свое сочувствіе къ социаль-
нымъ идеямъ, а въ рѣчи, которую произнесъ въ Лондонѣ съ
балкона Mansion House, съ глубокимъ уваженіемъ говорилъ о
парламентаризмѣ.

Кошутъ былъ совершенно правъ. Это было во время его пу-
тешествія изъ Константинополя, т. е., во время самаго торже-
ственно-эпического эпизода темныхъ лѣтъ, шедшихъ за 1848 го-
домъ. Сѣверо-американскій корабль, вырвавшій его изъ занесен-
ныхъ когтей Австріи и Россіи, съ гордостью плылъ съ изгнан-
никомъ въ республику и остановился у береговъ другой. Въ этой
республикѣ ждалъ уже приказъ полицейскаго диктатора Франціи,
чтобъ изгнанникъ не смѣлъ ступить на землю будущей имперіи.
Теперь это прошло бы такъ; но тогда еще не всѣ были оконча-
тельно надломлены, толпы работниковъ бросились на лодкахъ
къ кораблю привѣтствовать Кошута, и Кошутъ говорилъ съ ними
очень натурально о социализмѣ. Картина мѣняется. По дорогѣ
одна свободная страна выпросила у другой изгнанника къ себѣ
въ гости. Кошутъ, всенародно благодаря англичанъ за пріемъ,
не скрылъ своего уваженія къ государственному быту, который
его сдѣлалъ возможнымъ. Онъ былъ въ обоихъ случаяхъ совер-
шенно искрененъ; онъ не представлялъ вовсе такой-то партіи;
онъ могъ, сочувствуя съ французскимъ работникомъ, сочувство-
вать съ англійской конституціей, не сдѣлавшись орлеанистомъ
и не предавъ республики. Кошутъ это зналъ и отрицательно

превосходно понялъ свое положеніе въ Англіи относительно революціонныхъ партій; онъ не сдѣлался ни Глюкистомъ, ни Пиччинистомъ; онъ держалъ себя равно въ далекѣ отъ Ледрю-Роллена и отъ Луи-Блана. Съ Маддини и Ворцелемъ у него былъ общій terrain, смежность границъ, одинакая борьба и почти одна и та же борьба; съ ними онъ и сошелся съ первыми.

Но Маддини и Ворцель давнымъ давно были, по испанскому выраженію, *afrancisados*. Кошутъ, упираясь, туго поддавался имъ, и очень замѣчательно, что онъ уступалъ по той мѣрѣ, по которой надежды на возстаніе въ Венгріи становились блѣднѣе и блѣднѣе.

Изъ моего разговора съ Маддини и Ледрю-Ролленомъ видно, что Маддини ждалъ революціоннаго толчка изъ Италіи и вообще былъ очень недоволенъ Франціей; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ я былъ неправъ, назвавъ и его *afrancisado*. Тутъ, съ одной стороны, въ немъ говорилъ патріотизмъ, не совсѣмъ согласный съ идеей братства народовъ и всеобщей республики; съ другой—личное негодованіе на Францію за то, что въ 1848 она ничего не сдѣлала для Италіи, а въ 1849 все, чтобъ погубить ее. Но быть раздраженнымъ противъ современной Франціи не значитъ быть *внѣ ея духа*; французскій революціонаризмъ имѣтъ свой общій мундиръ, свой ритуаль, свой символъ вѣры; въ ихъ предѣлахъ можно быть специально политическимъ либераломъ, или отчаяннымъ демократомъ; можно, не любя Франціи, любить свою родину на французскій манеръ; все это будутъ варіаціи, частные случаи, но алгебраическое уравненіе останется то же.

Разговоръ Кошута со мной тотчасъ принялъ серьезный оборотъ: въ его взглядѣ и въ его словахъ было больше грустнаго, нежели свѣтлаго; навѣрное, онъ не ждалъ революціи завтра. Свѣдѣнія его объ юго-востокѣ Европы были огромны: онъ удивлялъ меня, цитируя пункты екатерининскихъ трактатовъ съ Портой. «Какой страшный вредъ вы сдѣлали намъ во время нашего возстанія», сказалъ онъ, «и какой страшный вредъ вы сдѣлали самимъ себѣ. Какая узкая и *противуславянская* политика поддерживать Австрію. Разумѣется, Австрія и спасибо не скажетъ за спасеніе; развѣ вы думаете, что она не понимаетъ, что Николай не ей помогалъ, а вообще власти».

Соціальное состояніе Россіи ему было гораздо меньше извѣстно, чѣмъ политическое и военное. Оно и не удивительно; многіе ли изъ нашихъ государственныхъ людей знаютъ что-нибудь о немъ, кромѣ общихъ мѣстъ и частныхъ, случайныхъ, ни съ чѣмъ несвязанныхъ замѣчаній. Онъ думалъ, что казенные крестьяне отправляютъ барщиной свою подать, разспрашивалъ о сельской общинѣ, о помѣщичьей власти; я разсказалъ ему, что зналъ.

Оставивъ Кошута, я спрашивалъ себя: да что же общаго у него, кромѣ любви къ независимости своего народа, съ его товарищами. Маццини мечталъ Италіей освободить человѣчество, Ледрю-Ролленъ хотѣлъ его освободить въ Парижѣ и потомъ строжайше предписать свободу всему міру. Кошутъ врядъ ли заботился обо всемъ человѣчествѣ и былъ, казалось, довольно равнодушенъ къ тому, скоро ли провозгласятъ республику въ Лиссабонѣ или дей Триполи будетъ называться простымъ гражданствомъ одного и нераздѣльнаго Триполійскаго Братства.

Различіе это, бросившееся мнѣ въ глаза съ перваго взгляда, обличилось потомъ рядомъ дѣйствій. Маццини и Ледрю-Ролленъ, какъ люди независимые отъ практическихъ условій, каждые два-три мѣсяца усиливались дѣлать революціонные опыты: Маццини возстаніями, Ледрю-Ролленъ посылкою агентовъ. Мацциньевскіе друзья гибли въ австрійскихъ и папскихъ тюрьмахъ, Ледрю-Ролленовскіе посланцы гибли въ Ламбессѣ или Кайенѣ, но они съ фанатизмомъ слѣпо вѣрующихъ продолжали отправлять своихъ Исааковъ на закланіе. Кошутъ не дѣлалъ опытовъ; Лебени не имѣлъ никакихъ сношеній съ нимъ.

Безъ сомнѣнія, Кошутъ пріѣхалъ въ Лондонъ съ болѣе sanguinическими надеждами, да и нельзя не сознаться, что было отъ чего закружиться головѣ. Вспомните опять эту постоянную овацію, это царственное шествіе черезъ моря и океаны; города Америки спорили о чести, кому первому идти ему на встрѣчу и вести въ свои стѣны. Двухмилліонный, гордый Лондонъ ждалъ его на ногахъ у желѣзной дороги, карета лордъ-мера стояла, приготовленная для него; алдерманы, шерифы, члены парламента провожали его моремъ волнующагося народа, привѣтствовавшего его криками и бросаньемъ шляпъ вверхъ. И когда онъ вышелъ съ лордомъ-меромъ на балконъ Mansion House'a, его привѣтствовало громогласное «ура!»

Надменная англійская аристократія, уѣзжавшая въ свои помѣстья, когда Бонапартъ пировалъ съ королевой въ Виндзорѣ и бражничалъ съ мѣщанами въ Сити, толпилась, забывъ свое достоинство, въ коляскахъ и каретахъ, чтобъ увидѣть знаменитаго агитатора; высшіе чины представлялись ему—изгнаннику. *Теймсъ* нахмурилъ было брови, но до того испугался передъ крикомъ общественнаго мнѣнія, что сталъ ругать Наполеона, чтобъ загладить ошибку.

Мудрено ли, что Кошутъ воротился изъ Америки полный упованій. Но, проживши въ Лондонѣ годъ-другой и видя, куда и какъ идетъ исторія на материкѣ, и какъ въ самой Англіи остывалъ энтузіазмъ, Кошутъ понялъ, что возстаніе невозможно, и что Англія плохая союзница революціи.

Разъ, еще одинъ разъ, онъ исполнился надеждами и снова сталъ адвокатомъ за прежнее дѣло передъ народомъ англійскимъ: это было въ началѣ крымской войны.

Онъ оставилъ свое уединеніе и явился рука объ руку съ Ворцелемъ, т. е., съ демократической Польшей, которая просила у союзниковъ одного *воззванія*, одного согласія, чтобъ рискнуть возстаніе. Безъ сомнѣнія, это было для Польши великое мгновеніе—*oggi o mai*. Если-бъ возстановленіе Польши было признано, чего же было бы ждать Венгріи? Вотъ почему Кошутъ является на польскомъ митингѣ 29 ноября 1854 года и требуетъ слова. Вотъ почему онъ велѣдъ за тѣмъ отправляется съ Ворцелемъ въ главнѣйшіе города Англіи, проповѣдуя агитацію въ пользу Польши. Рѣчи Кошута, произнесенныя тогда, чрезвычайно замѣчательны и по содержанію, и по формѣ. Но Англіи на этотъ разъ онъ не увлекъ; народъ толпами собирался на митинги, рукоплѣскалъ великому дару слова, готовъ былъ дѣлать складчины; но вдалѣ движеніе не шло, но рѣчи не вызывали того отзвука въ другихъ кругахъ, въ массахъ, который бы могъ имѣть вліяніе на парламентъ или заставить правительство измѣнить свой путь. Прошелъ 1854 годъ; насталъ 1855, умеръ Николай, Польша не двигалась, война ограничивалась берегомъ Крыма; о возстановленіи польской національности нечего было и думать; Австрія стояла костью въ горлѣ союзниковъ; всѣ хотѣли къ тому же мира, главное было достигнуто—*статскій* Наполеонъ покрылся военной славой.

Кошутъ снова сошелъ со сцены. Его статьи въ «Атласѣ» и лекціи о конкордатѣ, которыя онъ читалъ въ Эдинбургѣ, Манчестерѣ, скорѣе должно считать частнымъ дѣломъ. Кошутъ не спасъ ни своего достоянія, ни достоянія своей жены. Привыкнувши къ широкой роскоши венгерскихъ магнатовъ, ему на чужбинѣ пришлось вырабатывать себѣ средства; онъ это дѣлаетъ, нисколько не скрывая.

Во всей семьѣ его есть что-то благородно-задумчивое; видно, что тутъ прошли великія событія, и что они подняли діапазонъ всѣхъ. Кошутъ еще до сихъ поръ окруженъ нѣсколькими вѣрными сподвижниками; сперва они составляли его дворъ, теперь они просто его друзья.

Не легко прошли ему событія; онъ сильно состарѣлся въ послѣднее время, и тяжело становится на сердцѣ отъ его покоя.

Первые два года мы рѣдко видались; потомъ случай насъ свелъ на одной изъ изящнѣйшихъ точекъ не только Англіи, но и Европы, на Isle of Wight. Мы жили въ одно время съ нимъ мѣсяцъ времени въ Вентнорѣ, это было въ 1855 г.

Передъ его отъѣздомъ мы были на дѣтскомъ праздникѣ. Оба сына

Кошута, прекрасные, милые отроки, танцовали вмѣстѣ съ моими дѣтьми... Кошуты стоялъ у дверей и какъ-то печально смотрѣлъ на нихъ, потомъ, указывая съ улыбкой на моего сына, сказалъ мнѣ:

— Вотъ уже и юное поколѣніе совсѣмъ готово намъ на смѣну.

— Увидятъ ли они?

— Я именно объ этомъ и думалъ. А пока пусть попляшутъ,— прибавилъ онъ и еще грустнѣе сталъ смотрѣть.

Кажется, что и на этотъ разъ мы думали одно и то же:

А увидятъ ли отцы? И что увидятъ? Та революціонная эра, къ которой стремились мы, освѣщенные догорающимъ заревомъ девяностыхъ годовъ, къ которой стремилась либеральная Франція, юная Италія, Мадцини, Ледрю-Ролленъ, не принадлежитъ ли уже прошедшему; эти люди не дѣлаются ли печальными представителями былого, около которыхъ закипають иные вопросы, другая жизнь? Ихъ религія, ихъ языкъ, ихъ движеніе, ихъ цѣль, все это и родственно намъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ чужое... Звуки церковнаго колокола тихимъ утромъ праздничнаго дня, литургическое пѣніе и теперь потрясають душу, но вѣры все же въ ней нѣтъ!

Есть печальныя истины,—трудно, тяжело прямо смотрѣть на многое, трудно и высказывать иногда, что видишь. Да врядъ и нужно ли? Вѣдь, это тоже своего рода страсть или болѣзнь. «Истина, голая истина, одна истина!» Все это такъ; да сообразно ли вѣдѣніе ея съ нашей жизнію? не развѣдаетъ ли она ее, какъ слишкомъ крѣпкая кислота развѣдаетъ стѣнки сосуда? Не есть ли страсть къ ней—страшный недугъ, горько казнящій того, кто воспитываетъ его въ груди своей?

Разъ, годъ тому назадъ, въ день памятный для меня—мысль эта особенно поразила меня.

Въ день кончины Ворцеля я ждалъ скульптора въ бѣдной комнатѣ, гдѣ домучился этотъ страдалецъ. Старая служанка стояла съ оплывшимъ, желтымъ огаркомъ въ рукѣ, освѣщая исхудалый трупъ, прикрытый одной простыней. Онъ, несчастный какъ Іовъ, заснулъ съ улыбкой на губахъ, вѣра замерла въ его потухающихъ глазахъ, закрытыхъ такимъ же фанатикомъ какъ онъ—Мадцини.

Я этого старика грустно любилъ и ни разу не сказалъ ему *всей правды*, бывшей у меня на умѣ. Я не хотѣлъ тревожить потухающій духъ его, онъ и безъ того настрадался. Ему нужна была отходная, а не истина. И потому-то онъ былъ такъ радъ, когда Мадцини его умирающему уху шепталъ обѣты и слова вѣры!

ГЛАВА III.

Эмиграціи въ Лондонѣ.—Нѣмцы, Французы.—Партии.—В. Гюго.—Феликсъ Піа.—Луи Бланъ и Арманъ Барбесъ.

Сидѣхомъ и плакахомъ на берегахъ вавилонскихъ...

Псалтырь.

Если-бъ кто-нибудь вздумалъ написать, со стороны, внутреннюю исторію политическихъ выходцевъ и изгнанниковъ съ 1848 года въ Лондонѣ, какую печальную страницу прибавилъ бы онъ къ сказаніямъ о современномъ человѣкѣ. Сколько страданій, сколько лишеній, слезъ... и сколько пустоты, сколько узкости, какая бѣдность умственныхъ силъ, запасовъ, пониманія, какое упорство въ раздорѣ и мелкость въ самолюбіи...

Съ одной стороны, люди простые, инстинктомъ и сердцемъ понявшіе дѣло революціи и приносящіе ему наибольшую жертву, которую человѣкъ можетъ принести,—добровольную нищету, составляющую небольшую кучку. Съ другой, эти худо прикрытыя, затаенныя самолюбія, для которыхъ революція была служба, position sociale, и которые сорвались въ эмиграцію, не достигнувъ мѣста; потомъ всякіе фанатики, мономаны всѣхъ мономаній, сумасшедшіе всѣхъ сумасшествій; въ силу этого нервнаго, натянутого, раздраженнаго состоянія—верченіе столовъ надѣлало въ эмиграціи страшное количество жертвъ. Кто не вертѣлъ столовъ—отъ Виктора Гюго и Ледрю-Роллена до Квирика Филопанти, который пошелъ дальше... и узнавалъ все, что человѣкъ дѣлалъ лѣтъ тысячу тому назадъ!..

Притомъ ни шагу впередъ. Они, какъ придворные версальскіе часы, показываютъ одинъ часъ, часъ, въ который умеръ король... и ихъ, какъ версальскіе часы, забыли перевести со времени смерти Людовика XV. Они показываютъ одно событіе, одну кончину какого-нибудь событія. Объ немъ говорятъ, объ немъ думаютъ, къ нему возвращаются. Встрѣчая тѣхъ же людей, тѣ же группы, мѣсяцевъ черезъ пять-шесть, года черезъ два-три, становится страшно,—тѣ же споры продолжаются, тѣ же личности и упреки, только морщинъ, нарѣзанныхъ нищетою, лишеніями, больше; сюртуки, пальто—вытерлись; больше сѣдыхъ волосъ, и все вмѣстѣ старѣе, костлявѣе, сумрачнѣе... А рѣчи все тѣ же и тѣ же!

Революція у нихъ остается, какъ въ девяностыхъ годахъ, ме-

тафизикой общественнаго быта, но тогдашней наивной страсти къ борьбѣ, которая давала рѣзкій колоритъ самымъ тощимъ всеобщностямъ и тѣло сухимъ линіямъ, ихъ политическаго сруба— у нихъ нѣтъ и не можетъ быть; всеобщности и отвлеченныя понятія тогда были радостной новостію, откровеніемъ. Въ концѣ XVIII столѣтія люди въ первый разъ, не въ книгѣ, а на самомъ дѣлѣ, начали освобождаться отъ рокового, таинственно-тяготѣвшаго міра теологической исторіи и пытались весь гражданскій бытъ, выросшій помимо сознанія и воли, основать на сознательномъ пониманіи. Въ попыткѣ *разумнаго* государства, какъ въ попыткѣ религіи *разума*, была въ 1793 могучая, титаническая поэзія, которая принесла свое, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, вывѣтрилась и оскудѣла въ послѣдніе шестьдесятъ лѣтъ. Наши наслѣдники титановъ этого не замѣчаютъ. Они, какъ монахи Аѳонской горы, которые занимаются своимъ, ведутъ тѣ же рѣчи, которыя вели во время Златоуста, и продолжаютъ жизнь, давно задвинутую турецкимъ владычествомъ, которое само ужъ приходитъ къ концу,... собираясь въ извѣстные дни поминать извѣстныя событія, въ томъ же порядкѣ, съ тѣми же молитвами.

Другой тормазъ, останавливающій эмиграціи, состоитъ въ отстаиваніи себя другъ противъ друга; это страшно убиваетъ внутреннюю работу и всякій добросовѣстный трудъ. Объективной цѣли у нихъ нѣтъ, всѣ партіи упрямо консервативны, движеніе впередъ имъ кажется слабостью, чуть не бѣгствомъ; сталь подъ знамя, такъ стой подъ нимъ, хотя бы со временемъ и разглядѣлъ, что цвѣта не совсѣмъ такіе, какъ казались.

Такъ идутъ годы,—исподволь все мѣняется около нихъ. Тамъ, гдѣ были сугробы снѣга, растетъ трава, вмѣсто кустарника—лѣсъ, вмѣсто лѣса—одни пни..... Они ничего не замѣчаютъ. Нѣкоторые выходы совсѣмъ обвалились и засыпались, они въ нихъ-то и стучатъ; новыя щели открылись; свѣтъ изъ нихъ такъ и врывается полосами, но они смотрятъ въ другую сторону.

Отношенія, сложившіяся между разными эмиграціями и англичанами, могли бы сами по себѣ дать удивительные факты о химическомъ сродствѣ разныхъ народностей.

Англійская жизнь сначала ослѣпляетъ нѣмцевъ, подавляетъ ихъ, потомъ поглощаетъ, или, лучше сказать, распускаетъ ихъ въ плохихъ англичанъ. Нѣмецъ, по большей части, если принимаетъ какое-нибудь дѣло, тотчасъ брѣтся, поднимаетъ воротнички рубашки до ушей, говоритъ yes, вмѣсто ja, и well тамъ, гдѣ ничего венадобно говорить. Года черезъ два онъ пишетъ по англійски письма и записки и живетъ совершенно въ англійскомъ кругу. Съ англичанами нѣмцы никогда не обходятся, какъ съ рав-

ными, а какъ наши мѣщане съ чиновниками и наши чиновники съ столбовыми дворянами.

Входя въ англійскую жизнь, нѣмцы не въ самомъ дѣлѣ дѣлаются англичанами, но притворяются ими и долею перестаютъ быть нѣмцами. Англичане въ своихъ сношеніяхъ съ иностранцами такіе же капризники, какъ во всемъ другомъ; они бросаются на пріѣзжаго, какъ на комедіанта или акробата, не даютъ ему покоя, но едва скрываютъ чувство своего превосходства и даже нѣкотораго отвращенія къ нему. Если пріѣзжій удерживаетъ свой костюмъ, свою прическу, свою шляпу, оскорбленный англичанинъ шпыняетъ надъ нимъ, но мало-по-малу привыкаетъ въ немъ видѣть самобытное лицо. Если же испуганный сначала иностранецъ начинаетъ подлаживаться подъ его манеры, онъ не уважаетъ его и снисходительно трактуетъ его съ высоты своей британской надменности. Тутъ и съ большимъ тактомъ трудно найтись иной разъ, чтобъ не согрѣшить по минусу или по плюсу; можно же себѣ представить, что дѣлаютъ нѣмцы, лишенные всякаго такта, фамиліярные и подобострастные, слишкомъ вычурные и слишкомъ простые, сентиментальные безъ причины и грубые безъ вызова.

Но если нѣмцы смотрятъ на англичанъ, какъ на высшее племя того же рода, и чувствуютъ себя ниже ихъ, то изъ этого не слѣдуетъ никакъ, чтобы отношеніе французовъ, и преимущественно французскихъ рефюжѣ, было умнѣе. Такъ, какъ нѣмецъ все безъ разбору уважаетъ въ Англіи, французъ протестуетъ противъ всего и ненавидитъ все англійское. Это доходитъ, само собой разумѣется, до уродливости самой комической.

Французъ, во-первыхъ, не можетъ простить англичанамъ, что они не говорятъ по-французски; во-вторыхъ, что они не понимаютъ, когда онъ Чарингъ-Кросъ называетъ *Шаран'кро* или Лестеръ-скверъ—*Лесестеръ-скуаръ*. Далѣе его желудокъ не можетъ переварить, что въ Англіи обѣдъ состоитъ изъ двухъ огромныхъ кусковъ мяса и рыбы, а не изъ пяти маленькихъ порцій всякихъ рагу, фритюръ, салми и пр. Затѣмъ, онъ не можетъ примириться съ «рабствомъ», по которому трактиры заперты въ воскресенье и весь народъ *скупаетъ Богу*, хотя вся Франція семь дней въ недѣлю *скупаетъ Бонапарту*. Затѣмъ, весь *habitus*, все хорошее и дурное въ англичанинѣ ненавистно французу. Англичанинъ платитъ ему той же монетой, но съ завистью смотритъ на покрой его одежды и каррикатурно старается подражать ему.

Все это очень замѣчательно для изученія сравнительной фпзіологіи, и я совѣмъ не для смѣха рассказываю это. Нѣмецъ, какъ мы замѣтили, сознаетъ себя, по крайней мѣрѣ, въ гражданскомъ отношеніи низшимъ видомъ той же породы, къ которой

принадлежить англичанинъ, и подчиняется ему. Французъ, принадлежащій къ другой породѣ, не настолько различной, чтобы быть равнодушнымъ, какъ турокъ къ китайцу, ненавидитъ англичанина, особенно потому, что оба народа слѣпо убѣждены, каждый о себѣ, что они представляютъ первый народъ въ мірѣ. И нѣмецъ внутри себя въ этомъ увѣренъ, особенно auf dem theoretischen Gebiete, но стыдится признаться.

Французъ дѣйствительно во всемъ противоположенъ англичанину; англичанинъ существо берложное, любящее жить особнякомъ, упрямое и непокорное, французъ—стадное, дерзкое, но легко пасущееся. Отсюда два совершенно параллельныя развитія, между которыми Ла-Маншъ. Французъ постоянно предупреждаетъ, во все мѣшается, всѣхъ воспитываетъ, всему поучаетъ; англичанинъ выжидаетъ, вовсе не мѣшается въ чужія дѣла и былъ бы готовъ скорѣе поучиться, нежели учить, но времени нѣтъ, въ лавку надо.

Два краугольныхъ камня всего англійскаго быта: личная независимость и родовая традиція, для француза почти не существуютъ. Грубость англійскихъ нравовъ выводитъ француза изъ себя, и она дѣйствительно противна и отравляетъ лондонскую жизнь, но за ней онъ не видитъ той суровой мощи, которою народъ этотъ отстоялъ свои права; того упрямства, вслѣдствіе котораго изъ англичанина можно все сдѣлать, льстя его страстямъ,—но не раба, веселящагося галунами своей ливреи, восхищающагося своими цѣпями, обвитыми лаврами.

Французу такъ дикъ, такъ непонятенъ міръ самоуправленія, децентрализаціи, своеобразно, капризно разросшіяся, что онъ, какъ долго ни живетъ въ Англіи, ея политической и гражданской жизни, ея правъ и судопроизводства не знаетъ. Онъ теряется въ неспѣтомъ разноначаліи англійскихъ законовъ, какъ въ темномъ бору, и совсѣмъ не замѣчаетъ, какіе огромные и величавые дубы составляютъ его и сколько прелести, поэзіи, смысла въ самомъ разнообразіи. То ли дѣло маленькой кодексъ съ посыпанными дорожками, съ подстриженными деревцами и съ полицейскими садовниками на каждой аллеѣ.

Опять Шекспиръ и Расинъ.

Видитъ ли французъ пьяныхъ, дерущихся у кабака, и полисмена, смотрящаго съ спокойствіемъ посторонняго и любопытствомъ челоуѣка, слѣдящаго за пѣтушинымъ боемъ,—онъ приходитъ въ неистовство, зачѣмъ полисменъ не выходитъ изъ себя, зачѣмъ не ведетъ кого-нибудь au violon. Онъ и не думаетъ о томъ, что личная свобода только и возможна, когда полицейскій не имѣетъ власти отца и матери и когда его вмѣшательство сводится на страдательную готовность—до тѣхъ поръ, пока его по-

зовуть. Увѣренность, которую чувствуетъ каждый бѣднякъ, за-
творяя за собой дверь своей темной, холодной, сырой конуры,
измѣняетъ взглядъ человѣка. Конечно, за этими строго наблю-
даемыми и ревниво отстаиваемыми правами, иногда прячется
преступникъ,—пускай себя. Гораздо лучше, чтобъ ловкій воръ
остался безъ наказанія, нежели чтобъ каждый честный человѣкъ
дрожалъ какъ воръ у себя въ комнатѣ. До моего приѣзда въ
Англію всякое появленіе полицейскаго въ домѣ, въ которомъ я
жилъ, производило непреодолимо скверное чувство, и я нрав-
ственно становился en garde противъ врага. Въ Англіи полицей-
скій у дверей и въ дверяхъ только прибавляетъ какое-то чув-
ство безопасности.

Въ 1855, когда Жерсейскій губернаторъ, пользуясь особымъ
безправіемъ своего острова, поднялъ гоненіе на журналъ «L'Ном-
ме» за письмо Ф. Піа къ королевѣ и, не смѣя вести дѣло су-
дебнымъ порядкомъ, велѣлъ В. Гюго и другимъ рефюжѣ, проте-
ствовавшимъ въ пользу журнала, оставить Жерсей,—здравый
смыслъ и все оппозиціонныя журналы говорили имъ, что губер-
наторъ перешелъ власти, что имъ слѣдуетъ остаться и сдѣлать
процессъ ему. «Daily News» общалъ съ другими журналами
взять на себя издержки. Но это продолжалось бы долго, да и какъ,—
«будто возможно выиграть процессъ противъ правительства». Они
напечатали новый грозный протестъ, грозили губернатору судомъ
исторіи—и гордо отступили въ Гернсей.

Расскажу одинъ примѣръ французскаго пониманія англійскихъ
нравовъ. Однажды вечеромъ прибѣгаетъ ко мнѣ одинъ рефюжѣ
и, послѣ дѣлаго ряда ругательствъ противъ Англіи и англичанъ,
рассказываетъ мнѣ слѣдующую «чудовищную» исторію.

Французская эмиграція въ то утро хоронила одного изъ сво-
ихъ собратьевъ. Надо сказать, что въ томной и скучной жизни
изгнанія похороны товарища почти принимаются за праздникъ,—
случай сказать рѣчь, пронести свои знамена, собраться вмѣстѣ,
пройтись по улицамъ, отмѣтить кто былъ и кто не былъ, а по-
тому демократическая эмиграція отправилась au grand complet. На
кладбищѣ явился англійскій пасторъ съ молитвенникомъ. Пріятель
мой замѣтилъ ему, что покойникъ не былъ христіанинъ, и
что въ силу этого ему ненужна его молитва. Пасторъ, педавя
и лицемѣръ, какъ все англійскіе пасторы, съ притворнымъ сми-
реніемъ и національной флегмой, отвѣчалъ: «Что можетъ покой-
нику и ненужна его молитва, но что ему по долгу необходимо
сопровождать каждаго умершаго молитвой на послѣднее жилище
его». Завязался споръ, и такъ какъ французы стали горячиться
и кричать, упрямый пасторъ позвалъ полицейскихъ.

— Allons donc, parlez-moi de ce chien de pays avec sa sacrée li-

berté!—прибавилъ главный актеръ этой сцены, послѣ покойника и пастора.

— Ну, что же сдѣлала, спросилъ я, *la force brutale au service du noir fanatisme?*

— Пришли четыре полицейскихъ. *et le chef de la bande спрашиваетъ: Кто говорилъ съ пасторомъ?*

Я прямо вышелъ впередъ—и, рассказывая, мой пріятель, обѣдавшій со мною, смотрѣлъ такъ, какъ нѣкогда смотрѣлъ Леонидъ, отправляясь ужинать съ богамп,—*c'est moi «Monsieur», car je me garde bien de dire «citoyen»* ¹⁾ *a ces gueux-là.*—Тогда *le chef des sbires* съ величайшей дерзостью сказалъ мнѣ: «Переведите другимъ, чтобъ они не шумѣли, хороните вашего товарища и ступайте по домамъ. А если вы будете шумѣть, я васъ всѣхъ велю отсюда вывести».—Я посмотрѣлъ на него, снявъ съ себя шляпу и громко что есть силы прокричалъ: *Vive la République démocratique et sociale!*

Едва удерживая смѣхъ, я спросилъ его:—Что же сдѣлалъ «начальникъ сбировъ»?

— Ничего—съ самодовольной гордостью замѣтилъ французъ.—Онъ переглянулся съ товарищами, прибавилъ: «Ну, дѣлайте, дѣлайте ваше дѣло!» и остался покойно дожидаться. Они очень хорошо поняли, что имѣютъ дѣло не съ англійской чернью... у нихъ тонкій носъ!

Что-то происходило въ душѣ серьезнаго, плотнаго и, вѣроятно, выпившаго констебля во время этой выходки? Пріятель и не подумалъ о томъ, что онъ могъ себѣ доставить удовольствіе прокричать то же самое передъ окнами королевы у рѣшетки Букингамскаго дворца, безъ малѣйшаго неудобства. Но еще замѣчательнѣе, что ни мой пріятель, ни всѣ прочіе французы, при такомъ происшествіи и не думаютъ, что за подобную продѣлку во Фран-

¹⁾ Въ поясненіе того, что мой красный пріятель употреблялъ въ разговорѣ съ полисменомъ слово „Monsieur“, чтобы не употреблять во зло слово „Citoyen“—надо вотъ что рассказать. Въ одной изъ темныхъ, бѣдныхъ и нечистыхъ улицъ лежащихъ между Сого и Лестеръ-Скверомъ, гдѣ обыкновенно кочуетъ недостаточная часть эмиграціи, завелъ какой-то красный ликвористъ небольшую аптеку. Идучи мимо, я зашелъ къ нему взять седативной воды. За прилавкомъ сидѣлъ онъ самъ, высокій, съ грубыми чертами, густыми, насупленными бровями, большимъ носомъ и ртомъ нѣсколько на сторону. Настоящій уѣздный террористъ 94 года, къ тому же и бритый.—„Распалевой воды на 6 пенсовъ. Monsieur“, сказалъ я. Онъ отвѣшивалъ какую-то траву, за которой пришла дѣвочка, не обращая никакого вниманія на мой вопросъ; я могъ досыта налюбоваться этимъ *Collot d'Herbois*, пока онъ, наконецъ, припечатать сургучемъ уголки бумажнаго пакета, надписалъ и потомъ довольно строго обратился ко мнѣ съ *plait-il?*—Распалевой воды на 6 пенсовъ, повторилъ я. Monsieur. Онъ посмотрѣлъ на меня съ какимъ-то свирѣпымъ выраженіемъ и, оглядѣвъ съ головы до ногъ, важнымъ и густымъ голосомъ сказалъ мнѣ: „Citoyen. s'il vous plait!“

ції они бы пошли въ Кайенну или Ламбессу. Если же имъ это напомнишь, то отвѣтъ ихъ готовъ: *A bas! C'est une halte dans la boue... ce n'est pas normal!*

А когда же у нихъ свобода была нормальна?

Антагонизмъ, нѣкогда выражавшійся *возможнымъ* Мартиномъ Лютеромъ и *последовательнымъ* Томасомъ Мюнцеромъ, лежитъ какъ сѣмевныя доли при каждомъ зернѣ; логическое развитіе, расчлененіе всякой партіи непременно дойдетъ до обнаруженія его. Мы его равно находимъ въ *трехъ* невозможныхъ Гракхахъ, т. е., считая тутъ же Гракха Бабёфа, и въ слишкомъ возможныхъ Суллахъ и Сулукахъ всѣхъ цвѣтовъ. Возможна одна диагональ, возможенъ компромиссъ, стертое, среднее и потому соответствующее всему среднему: сословію, богатству, пониманью. Изъ Лиги и гугенотовъ—дѣлается Ганрихъ IV, изъ Стюартовъ и Кромвеля—Вильгельмъ Оранскій, изъ революціи и легитимизма—Людовикъ Филиппъ. Послѣ него антагонизмъ сталъ между возможной республикой и последовательной; возможную назвали *демократической*, последовательную *соціальною*—изъ ихъ столкновенія вышла имперія, но партіи остались.

Несговорчивыя крайности очутились въ Кайеннѣ, Ламбессѣ, Бель-Илѣ, и долею за французской границей, преимущественно въ Англіи.

Какъ только они въ Лондонѣ перевели духъ и глазъ ихъ привыкъ различать предметы въ туманѣ, старый споръ возобновился съ особенной нетерпимостью эмиграціи, съ мрачнымъ характеромъ Лондонскаго климата.

Предсѣдатель Люксембургской комиссіи былъ, *de jure*, главное лицо между соціалистами въ Лондонской эмиграціи. Представитель организаціи работъ и эгалитарныхъ рабочихъ обществъ, онъ былъ любимъ работниками: строгій по жизни, неукоризненной чистоты въ мнѣніяхъ, вѣчно работающій самъ, *sobre*, мастеръ говорить, популярный безъ фамиллярности, смѣлый и вмѣстѣ осторожный, онъ имѣлъ всѣ средства, чтобъ дѣйствовать на массу.

Съ другой стороны, Ледрю-Ролленъ представлялъ религіозную традицію 93 года, для него слова *республика* и *демократія* обнимали все: насыщеніе голодныхъ, право на работу, братство народовъ, паденіе папы. Работниковъ было меньше около него, его хоръ состоялъ изъ *saracités*, то есть, изъ адвокатовъ, журналистовъ, учителей, клубистовъ и пр.

Двойство этихъ партій ясно, и именно по этому я никогда не умѣлъ понять, какъ Мадзини и Луи Бланъ объясняли свое окончательное распаденіе частными столкновеніями. Разрывъ лежалъ въ самой глубинѣ ихъ воззрѣнія, въ задачѣ ихъ. Имъ вмѣстѣ нельзя было идти, но, можетъ, ненужно было и ссориться публично.

Дѣло социализма и итальянское дѣло различались, такъ сказать, чередомъ или степенью. Государственная независимость шла прежде, должна была идти прежде экономического устройства въ Италіи. Но тутъ нѣтъ мѣста полемикѣ, это скорѣе вопросъ о хронологическомъ раздѣленіи труда, чѣмъ о взаимномъ уничтоженіи. Соціальныя теоріи мѣшали прямому, сосредоточенному дѣйствію Мадцинни, мѣшали военной организаціи, которая для Италіи была необходима; за это онъ сердился, не соображая, что для французовъ такая организація только могла вредить. Увлекаемый нетерпимостью и итальянской кровью, онъ напалъ на социалистовъ и въ особенности на Луи Блана, въ небольшой брошюркѣ, оскорбительной и ненужной. По дорогѣ зацѣпилъ онъ и другихъ, такъ, напримѣръ, называетъ Прудона «демономъ»... Прудонъ хотѣлъ ему отвѣчать, но ограничился только тѣмъ, что въ слѣдующей брошюркѣ назвалъ Мадцинни «архангеломъ». Я раза два говорилъ, шутя, Мадцинни: *Ne reveillez pas le chat qui dort*, а то съ такими бойцами трудно выйти безъ сильныхъ рубцовъ. Лондонскіе социалисты отвѣчали ему тоже желчно, съ ненужными личностями и дерзкими выраженіями.

Другого рода вражда и вражда, больше основательная, была между французами двухъ революціонныхъ толковъ. Всѣ опыты соглашенія формальнаго республиканизма съ социализмомъ были неудачны, и дѣлали только очевиднѣе неоткровенность уступокъ и непримиримый раздоръ; черезъ ровъ, ихъ раздѣлявшій, ловкій акробатъ бросилъ свою доску и провозгласилъ себя на ней императоромъ.

Провозглашеніе имперіи было гальваническимъ ударомъ, судорожно вздрогнули сердца эмигрантовъ и ослабли.

Это былъ печальный, тоскливый взглядъ больного, убѣдившагося, что ему не встать безъ костылей. Усталъ, скрытная безнадѣжность стала овладѣвать тѣми и другими. Серьезная полемика начинала блѣднѣть, сводиться на личности, на упрёки, обвиненія.

Еще года два оба французскіе стана продержались въ агрессивной готовности, одинъ празднуя 24 февраля, другой іюльскіе дни. Но къ началу крымской войны и къ торжественной прогулкѣ Наполеона съ королевой Викторіей по Лондону—безсиліе эмиграціи стало очевидно. Самъ начальникъ лондонской *Metro-politan-Police* Робертъ Менъ засвидѣтельствовалъ это. Когда консерваторы благодарили его, послѣ посѣщенія Наполеона, за ловкія мѣры, которыми онъ предупредилъ всякую демонстрацію со стороны эмигрантовъ, онъ отвѣчалъ: *«Эта благодарность мною вовсе не заслужена. Благодарите Лабрю-Роллена и Луи Блана»*.

Признакъ, еще больше намекавшій на близкую кончину, обна-

ружился около того же времени въ подраздѣленіяхъ партій во имя лицъ или личностей, безъ серьезныхъ причинъ.

Партіи эти составлялись такъ, какъ иногда компонисты придумываютъ въ операхъ партіи для Гриси и Лаблаша не потому, чтобъ эти партіи были необходимы, а потому, что Гриси или Лаблаша надобно было употребить...

...Они просидѣли до поздней ночи, вспоминая о 1848 годѣ; когда я проводилъ ихъ на улицу и возвратился одинъ въ мою комнату, мною овладѣла безконечная грусть, я сѣлъ за свой письменный столъ и готовъ былъ плакать...

Я чувствовалъ то, что долженъ ощущать сынъ, возвращаясь послѣ долгой разлуки въ родительскій домъ; онъ видитъ, какъ въ немъ все почернѣло, покривилось, отецъ его постарѣлъ, не замѣчая того, сынъ очень замѣчаетъ и ему тѣсно, онъ чувствуетъ близость гроба, скрываетъ это, но свиданье не оживляетъ его, не радуетъ, а утомляетъ.

Барбесъ. Луи Бланъ! вѣдь, это все старые друзья, почетные друзья кипучей юности. Histoire de dix ans, процессъ Барбеса передъ камерой пэровъ, все это такъ давно обжилося въ головѣ, въ сердцѣ, со всѣмъ съ этимъ мы такъ сроднились, — и вотъ они налицо.

Самые злые враги ихъ никогда не осмѣливались заподозрѣть неподкупную честность Луи Блана или набросить тѣнь на рыцарскую доблесть Барбеса. Обоихъ всѣ видѣли, знали во всѣхъ положеніяхъ, у нихъ не было частной жизни, не было закрытыхъ дверей. Одного изъ нихъ мы видѣли членомъ правительства, другого за полчаса до гильотины. Въ ночь передъ казнью Барбесъ не спалъ, а спросилъ бумаги и сталъ писать: строки эти сохранились, я ихъ читалъ. Въ нихъ есть французскій идеализмъ, религіозныя мечты, но ни тѣни слабости; его духъ не смутился, не унылъ; съ яснымъ сознаніемъ приготавлиая онъ положить голову на плаху и покойно писать. когда рука тюремщика сильно стукнула въ дверь: «это было на разсвѣтѣ, я (и это онъ мнѣ рассказалъ самъ) ждалъ исполнителей», но вмѣсто палачей, вошла его сестра и бросилась къ нему на шею. Она выпросила, безъ его вѣдома, у Людовика Филиппа перемѣну наказанія, и скакала на почтовыхъ всю ночь, чтобъ успѣть.

Колодникъ Людовика Филиппа, черезъ нѣсколько лѣтъ, является на верху цивическаго торжества: цѣпи сняты ликующимъ народомъ, его везутъ въ триумфъ по Парижу. Но прямое сердце Барбеса не смутилось, онъ явился первымъ обвинителемъ временнаго правительства за руанскія убійства. Реакція росла около него, спасти республику можно было только дерзкой отвагой. и Бабресъ 15 мая сдѣлалъ то, чего не дѣлали ни Ледрю-Ролленъ, ни Луи Бланъ, чего испугался Косидьеръ! Coup d'état не удался,

и Барбесъ, колодникъ республики, снова передъ судомъ. Онъ въ Буржѣ такъ же, какъ въ камерѣ пэровъ, говоритъ законникамъ мѣщанскаго міра, какъ говорилъ грѣшному старцу Пакье: «Я васъ не признаю за судей, вы враги мои, я вашъ военнопленный, дѣлайте со мною. что хотите, но судьями я васъ не признаю». И снова тяжелая дверь пожизненной тюрьмы затворилась за нимъ.

Случайно, противъ своей воли, вышелъ онъ изъ тюрьмы; Наполеонъ его вытолкнулъ изъ нея почти въ насмѣшку, прочитавъ во время крымской войны письмо Барбеса, въ которомъ онъ, въ припадкѣ гальскаго шовинизма, говоритъ о военной славѣ Франціи. Барбесъ удалился было въ Испанію, перепуганное и тупое правительство выслало его. Онъ уѣхалъ въ Голландію, и тамъ нашель покойное, глухое убѣжище.

И вотъ этотъ-то герой и мученикъ, вмѣстѣ съ однимъ изъ главныхъ дѣятелей февральской республики, съ первымъ государственнымъ человѣкомъ социализма, вспоминали и обсуживали прошедшіе дни славы и невзгоды!

А меня давила тяжелая тоска, я съ несчастной ясностью видѣлъ, что они тоже принадлежать исторіи *другого десятилѣтія*, которая окончена до послѣдняго листа, до переплета!

Окончена не для нихъ лично, а для всей эмиграціи и для всѣхъ теперешнихъ политическихъ партій. Живыя и шумныя десять, даже пять, лѣтъ тому назадъ, онѣ вышли и русла ихъ теряются въ песокъ, воображая, что все текутъ въ океанъ. У нихъ нѣтъ больше ни тѣхъ словъ, которыя, какъ слово: республика, пробуждали цѣлые народы, ни тѣхъ пѣсень, какъ марсельеза, которыя заставляли содрогаться каждое сердце. У нихъ и враги не той же величины, и не той же пробы. Казните Наполеона, изъ этого не будетъ 21 января; разберите по камнямъ Мазасъ, изъ этого не выйдетъ взятія Бастиліи! *Тогда*, въ этихъ громахъ и молніяхъ, раскрывалось новое откровеніе, откровеніе государства, основаннаго на разумѣ, новое искупленіе изъ средневѣковаго мрачнаго рабства. Съ тѣхъ поръ искупленіе революціей обличилось несостоятельнымъ, на разумъ государство не устроилось. Политическая реформація выродилась, какъ и религіозная, въ риторическое пустословіе, охраняемое слабостью однихъ и лицемеріемъ другихъ. Марсельеза остается гимномъ прошедшаго, какъ *Gottes feste Burg*, звуки той и другой пѣсни вызываютъ и теперь рядъ величественныхъ образовъ, какъ въ Макбетовскомъ процессѣ тѣней—все цари, но все мертвые.

Послѣдній едва еще виденъ въ спину, а объ новомъ только слухи. Мы въ *междоцарствіи*: пока до наслѣдника, полиція все захватила, во имя наружнаго порядка. Тутъ не можетъ быть и рѣчи о правахъ, это временныя необходимы, это *lunch law* въ исто-

ріи, езекуція, одѣленіе, карантинная мѣра. Новый порядокъ, совмѣстившій все тяжкое монархіи и все свирѣпое якобинизма, огражденъ не идеями, не предразсудками, а страхами и неизвѣстностями. Пока одни боялись, другіе ставили штыки и занимали мѣста. Первый, кто прорветъ ихъ цѣпь, пожалуй, и займетъ главное мѣсто, занятое полиціей, только онъ и самъ сдѣлается сейчасъ квартальнымъ.

Это напоминаетъ намъ, какъ Косидьеръ вечеромъ 24 февраля пришелъ въ префектуру съ ружьемъ въ рукѣ, сѣлъ въ кресла только что бѣжавшаго Делесера, позвалъ секретаря, сказалъ ему, что онъ назначенъ префектомъ, и велѣлъ подать бумаги. Секретарь такъ же почтительно улыбнулся, какъ Делесеру, такъ же почтительно поклонился и пошелъ за бумагами, и бумаги пошли своимъ чередомъ, ничего не перемѣнилось, только ужинъ Делесера съѣлъ Косидьеръ.

Многіе узнали пароль префектуры, но лозунга исторія не знаетъ. Они хотѣли, чтобъ старому порядку былъ нанесенъ ударъ, но не смертельный.

И вотъ почему, если они снова сойдутъ на арену, они ужаснутся *людою неблагодарности*, и пусть останутся при этой мысли, пусть думаютъ, что это *одна* неблагодарность. Мысль эта мрачна, но легче многихъ другихъ.

А еще лучше имъ вовсе не ходить туда, пусть они намъ и нашимъ дѣтямъ повѣствуютъ о своихъ великихъ дѣлахъ. Сердиться за этотъ совѣтъ нечего, живое мѣняется, неизмѣнное становится памятникомъ. Они оставили свою бразду такъ, какъ свою оставятъ за ними идущіе, и ихъ обгонитъ въ свою очередь свѣжая волна, а потомъ все. бразды... живое и памятники, все покроется всеобщей амністіей вѣчнаго забвенія!

На меня сердятся многіе за то, что я высказываю эти вещи. «Въ вашихъ словахъ, говорилъ мнѣ очень почтенный человѣкъ, такъ и слышится *посторонній зритель*».

А. вѣдь, я не постороннимъ пришелъ въ Европу. Постороннимъ я сдѣлался. Я очень выносливъ, но выбился, наконецъ, изъ силъ.

Я пять лѣтъ не видалъ свѣтлаго лица, не слыхалъ простого смѣха, понимающаго взгляда. Все фельдшеры были возлѣ, да прозекторы. Фельдшеры все пробовали лечить, прозекторы все указывали имъ по трупу, что они ошиблись,—ну, и я, наконецъ, схватилъ скальпель; можетъ, рѣзнулъ слишкомъ глубоко съ привычки.

Говорилъ я не какъ посторонній, не для упрека, говорилъ оттого, что сердце было полно, оттого, что общее непониманье выводило изъ терпѣнія. Что я раньше отрезвѣлъ, это мнѣ ничего

не облегчило. Это и изъ фельдшеровъ только самыя плохіе само-довольно улыбаются, глядя на умиряющаго. «Вотъ, молъ, я ска-залъ, что онъ къ вечеру протянетъ ноги, онъ и протянулъ».

Такъ зачѣмъ же я вынесъ?

Въ 1856 году, лучший изъ всей нѣмецкой эмиграціи человѣкъ. *Карль Шурцъ*, пріѣзжалъ изъ Висконсина въ Европу. Возв-ращаясь изъ Германіи, онъ говорилъ мнѣ, что его поразило прав-ственное запустѣніе материка. Я перевелъ ему, читая, мои *За-падныя Арабески*. онъ оборонялся отъ моихъ заключеній, какъ отъ привидѣнія, въ которое человѣкъ не хочетъ вѣрить, но ко-торого боится.

— Человѣкъ, сказалъ онъ мнѣ, который такъ понимаетъ со-временную Европу, какъ вы, долженъ бросить ее.

— Вы такъ и поступили, замѣтилъ я.

— Отчего же вы этого не дѣлаете?

— Очень просто: я могу вамъ сказать такъ. какъ одинъ че-стный нѣмецъ прежде меня отвѣчалъ въ гордомъ припадкѣ са-мобытности: «у меня въ Швабіи есть свой король»,—*у меня въ Россіи есть свой народъ!*

(Сходя съ вершинъ въ средніе слои эмиграціи, мы увидимъ, что большая часть была увлечена въ изгнаніе благороднымъ по-рывомъ и риторикой. Люди эти жертвовали собой за слова. т. е. за ихъ музыку, не давая себѣ никогда яснаго отчета въ смыслѣ ихъ. Они ихъ любили горячо и вѣрили въ нихъ, какъ католики любили и вѣрили въ латинскія молитвы, не зная по-латы-ни. La fraternité universelle comme base de la république uni-verselle—это кончено и принято! Point de salariés, et la solida-rité des peuples!—и, покраснѣйте, этого иному достаточно, чтобъ идти на баррикаду, а ужъ коли французъ пойдетъ, онъ съ нея не побѣжить.

Pour moi, voyez vous, la république n'est pas une forme gouverne-mentale, c'est une religion, et elle ne sera vraie que lorsqu'elle le sera, говорилъ мнѣ одинъ участникъ всѣхъ возстаній со времени Та-марковскихъ похоронъ. Et lorsque la religion sera une république,—добавилъ я. Précisément! отвѣчалъ онъ, очень довольный тѣмъ, что я вывернулъ на изнанку его фразу.

Массы эмиграціи представляютъ своего рода вѣчно открытое угрызеніе совѣсти, передъ глазами вождей. Въ нихъ всѣ ихъ недостатки являются въ томъ преувеличенномъ и смѣшномъ видѣ, въ которомъ парижскія моды являются гдѣ-нибудь въ рус-скомъ уѣздномъ городѣ.

И во всемъ этомъ есть бездна наивнаго. За декламаціей на первомъ планѣ, la mise en scene.

Античныя драпри и торжественная постановка конвента такъ

поразила французскій умъ своей грозной поэзіей, что, напр., съ именемъ республики ея энтузіасты представляютъ не внутреннюю перемѣну, а праздникъ федерализаціи, барабанный бой и заунывные звуки *tocsin*. Отечество возбѣщается въ опасности, народъ встаетъ массою на его защиту, въ то время какъ около деревьевъ свободы празднуется торжество цивилизма: дѣвушки въ бѣлыхъ платьяхъ пляшутъ подъ напѣвъ патріотическихъ гимновъ и Франція въ фригійской шапкѣ посылаетъ громадную армію для освобожденія народовъ и низверженія царей.

Главный баластъ всѣхъ эмиграцій, особенно французской, принадлежитъ буржуазіи; этимъ характеръ ихъ уже обозначенъ. Марка или штемпель мѣщанства такъ же трудно стирается, какъ печать, которую прикладываютъ наши семинаріи своимъ ученикамъ. Собственно купцовъ, лавочниковъ, хозяевъ въ эмиграціи мало и тѣ попали въ нее какъ-то невзначай, вытолкнутые большей частью изъ Франціи послѣ 2 декабря, за то, что не догадались, что на нихъ лежитъ священная обязанность измѣнить конституцію. Ихъ тѣмъ больше жаль, что положеніе ихъ совершенно комическое, они потеряны въ красной обстановкѣ, которой дома не знали, а только боялись; въ силу національной слабости имъ хочется себя выдавать за гораздо большихъ радикаловъ, чѣмъ они въ самомъ дѣлѣ; но не превыкнувъ къ революціонному jargon, они, къ ужасу новыхъ товарищей, безпрестанно впадаютъ въ орлеанизмъ. Разумѣется, они были бы всѣ рады возвратиться, если-бъ *point d'honneur*, единственная крѣпкая, нравственная сила современнаго француза, не воспрещалъ просить дозволенія.

Надъ ними стоящій слой составляетъ лейбъ-компанейскую роту эмиграціи: адвокаты, журналисты, литераторы и нѣсколько военныхъ.

Большая часть изъ нихъ искали въ революціи общественнаго положенія, но при быстромъ отливѣ, они очутились на англійской отмели. Другіе—безкорыстно увлеклись клубной жизнію и агитаціями, риторика довела ихъ до Лондона, сколько волею, а вдвое того неволею. Въ ихъ числѣ много чистыхъ и благородныхъ людей, но мало способныхъ; они попали въ революцію по темпераменту, по отвагѣ человѣка, который бросается, слыша крикъ, въ рѣку, забывая объ ея глубинѣ и о своемъ неумѣніи плавать.

За этими дѣтьми, у которыхъ, по несчастію, посѣдѣли узкія бородки и нѣсколько очистился отъ волосъ остроконечный гальскій черепъ, стояли разныя кучки работниковъ, гораздо болѣе серьезныхъ, не столько связанные въ одно наружностію, сколько духомъ и общимъ интересомъ.

Ихъ революціонерами поставила сама судьба; нужда и развитіе сдѣлали ихъ практическими социалистами; оттого-то ихъ дума

реальнѣе, рѣшимость тверже. Эти люди вынесли много лишений, много униженій. и притомъ молча, это даетъ большую крѣпость; они переплыли Ламаншъ не съ фразами, а со страстями и ненавистями. Подавленное положеніе спасло ихъ отъ буржуазной *sniffance*, они знаютъ, что имъ некогда было образоваться, они хотятъ учиться; въ то время, какъ буржуа не больше ихъ учились, но совершенно доволенъ знаніемъ.

Оскорбленные съ дѣтства, они ненавидятъ общественную неправду, которая ихъ столько давила. Тлѣтворное вліяніе городской жизни и всеобщей страсти стяжанія превратило у многихъ эту ненависть въ зависть; они, не давая себѣ отчета, тянутся въ буржуазію и терпѣть ея не могутъ, такъ, какъ мы не можемъ терпѣть счастливаго соперника, страстно желая занять его мѣсто или отомстить ему его наслажденія.

Французская эмиграція, какъ и всѣ другія, увезла съ собой въ изгнаніе и ревниво сохранила всѣ раздоры, всѣ партіи. Сумрачная среда чужой и непріянной страны, не скрывавшей, что она хранитъ свое *право убѣжища* не для ищущихъ его, а изъ уваженія къ себѣ, раздражала нервы.

А тутъ оторванность отъ людей и привычекъ, невозможность передвиженія. Столкновенія стали злѣе, упреки въ прошедшихъ ошибкахъ—безпощаднѣе. Оттѣнки партій расходились до того, что старые знакомые прерывали всѣ сношенія, не кланялись...

Были дѣйствительные, теоретическіе и всяческіе раздоры; но рядомъ съ идеями стояли лица; рядомъ со знаменами—собственные имена, рядомъ съ фанатизмомъ — зависть, и съ откровеннымъ увлеченіемъ—наивное самолюбіе.

Года черезъ полтора послѣ *coup d'état*, пріѣхалъ въ Лондонъ Феликсъ Піа изъ Швейцаріи. Бойкій фельетонистъ, онъ былъ извѣстенъ процессомъ, который имѣлъ, скучной комедіей *Діогенъ*, повравившейся французамъ своими сухими и тощими сентенціями, наконецъ, успѣхомъ «Ветошника» на сценѣ *Porte Saint-Martin*. Объ этой пьесѣ я когда-то писалъ цѣлую статью ¹⁾. Феликсъ Піа былъ членомъ послѣдняго законодательнаго собранія, сидѣлъ на горѣ, *подражая* какъ-то въ палатѣ съ Прудономъ, замѣшался въ протестъ 13 іюня 1849 г. и, вслѣдствіе этого, долженъ былъ оставить Францію тайкомъ. Уѣхалъ онъ, какъ и я, съ молдавскимъ видомъ и ходилъ въ Женевѣ въ костюмъ ка-

¹⁾ Письма изъ Avenue Marigny. „Зачѣмъ вы испортили вашего *Chiffonnier*, навязавъ ему въ концѣ счастливую развязку, портящую и нравственность пьесы, и ея артистическое единство?“ спросилъ я разъ Піа.

— Затѣмъ. отвѣчалъ онъ, что если-бъ я огорчилъ парижанъ мрачной судьбой старика и дѣвочки. на другое представленіе никто бы не пошелъ.

кого-то мавра, вѣроятно для того, чтобъ его все узнали. Въ Лондонѣ, куда онъ переѣхалъ, составилъ у Ф. Пиа небольшой кругъ почитателей изъ французскихъ изгнанниковъ, жившихъ манною его острыхъ словъ и крупицами его мыслей. Горько ему было изъ кантональных вождей перейти въ какую-нибудь изъ лондонскихъ партій. Для лишняго кандидата на великаго человека не было партій; пріятели и поклонники его выручили изъ бѣды: они выдѣлились изъ всехъ прочихъ партій и назвались *лондонской революціонной коммуной*.

La Commune révolutionnaire должна была представлять самую красную сторону демократіи и самую коммунистическую социализма. Она считала себя вѣчно на чеку, въ самыхъ тѣсныхъ связяхъ съ «Марьяной» и съ тѣмъ вмѣстѣ вѣрнѣйшей представительницей Бланки *in partibus infidelium*.

Мрачный Бланки, суровый педантъ и доктринеръ своего дѣла, аскетъ, исхудавшій въ тюрьмахъ, расправилъ въ образѣ Ф. Пиа свои морщины, подкрасилъ въ алый цвѣтъ свои черныя мысли и сталъ морить со смѣху Парижскую коммуну въ Лондонѣ. Выходя изъ Ф. Пиа въ его письмахъ къ королевѣ, къ Валуевскому, котораго онъ называлъ *ex-réfugié* и *ex-Polonais*, не-принцемъ и пр., были очень забавны; но въ чемъ сходство съ Бланки, я никакъ не могъ добратся; да и вообще, въ чемъ состояла отличительная черта, дѣлившая его отъ Луи-Блана, напр., простымъ глазомъ видѣть было трудно.

Тоже должно сказать о Жерсейской партіи Виктора Гюго.

Викторъ Гюго никогда не былъ въ настоящемъ смыслѣ слова политическимъ дѣятелемъ. Онъ слишкомъ поэтъ, слишкомъ подъ вліяніемъ своей фантазіи, чтобы быть имъ. И, конечно, я это говорю не въ порицаніе ему. Соціалистъ-художникъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ поклонникомъ военной славы, республиканскаго разгрома, средневѣковаго романтизма и бѣлыхъ лилій,—вконтъ и гражданинъ, перъ орлеанской Франціи и агитаторъ 2 декабря; это—пышная, великая личность; но не глава партіи, несмотря на рѣшительное вліяніе, которое онъ имѣлъ на два поколѣнія. Кого не заставилъ задуматься надъ вопросомъ о смертной казни «Послѣдній день осужденнаго»? Въ комъ не возбуждали чего-то въ родѣ угрызеній совѣсти его рѣзкія, страшно и странно освѣщенные, на манеръ Турнера, картины общественныхъ язвъ бѣдности и рокового порока?

Февральская революція застала Гюго въ располхъ: онъ не понималъ ея, удивился, отсталъ, надѣлалъ бездну ошибокъ, пока реакція въ свою очередь не опередила его. Приведенный въ негодование цензурой театральныхъ пьесъ и римскими дѣлами, онъ явился на трибунѣ собранія съ рѣчами, раздавшимися по всей

Франціи. Успѣхъ и рукоплесканія увлекали его дальше и дальше. Наконецъ, 2 декабря 1851, онъ сталъ во весь ростъ: онъ, въ виду штыковъ и заряженныхъ ружей, звалъ народъ къ возстанію; подъ пулями протестовалъ противъ *сюр д'ѣтат* и удалился изъ Франціи, когда нечего было въ ней дѣлать. Раздраженнымъ львомъ отступилъ онъ въ Жерсей; оттуда, едва переводя духъ, онъ бросилъ въ императора своего «*Napoléon le petit*», потомъ свои «*Châtiments*». Какъ ни старались бонапартекіе агенты примирить стараго поэта съ новымъ дворомъ—не могли. «Если останутся хоть десять французовъ въ изгнаніи, и я останусь съ ними: если три, я буду въ ихъ числѣ; если останется одинъ, то этотъ изгнанникъ буду я. Я не возвращусь иначе, какъ въ свою бодную Францію».

Отъѣздъ Гюго изъ Жерсея въ Гернсей, кажется, убѣдилъ еще больше его друзей и его самого въ его политическомъ значеніи, въ то время, какъ отъѣздъ этотъ могъ только убѣдить въ противномъ. Дѣло было такъ. Когда Ф. Піа написалъ свое письмо къ королевѣ Викторіи, послѣ посѣщенія ею Наполеона, онъ прочиталъ его на митингѣ и отослалъ его въ редакцію *L'Homme*. Свентославскій, печатавшій *L'Homme* на свой счетъ въ Жерсеѣ, былъ тогда въ Лондонѣ и вмѣстѣ съ Ф. Піа пріѣзжалъ ко мнѣ: уходя, онъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ, что ему знакомый его *lawyer* сообщилъ, что за это письмо легко можно преслѣдовать журналъ въ Жерсеѣ, состоящемъ на положеніи колоній, а Ф. Піа непременно хочетъ въ *L'Homme*. Свентославскій сомнѣвался и хотѣлъ знать мое мнѣніе.

— Не печатайте.

— Да, я и самъ думаю такъ, только вотъ что скверно: онъ подумаетъ, что я *испугался*.

— Какъ же не бояться при теперешнихъ обстоятельствахъ потерять нѣсколько тысячъ франковъ.

— Вы правы. Этого я не могу, не долженъ дѣлать.

Свентославскій, такъ премудро разсуждавшій, уѣхалъ въ Жерсей и письмо напечаталъ.

Слухи носились, что министерство хотѣло что-то сдѣлать. Англичане были обижены за тонъ, съ которымъ Ф. Піа обращался къ Квинѣ. Первымъ результатомъ этихъ слуховъ было то, что Ф. Піа пересталъ ночевать у себя дома: онъ *боялся въ Англии visite domiciliaire* и ночного ареста за напечатанную статью! Преслѣдовать судомъ правительство и не думало: министры подмигнули Жерсейскому губернатору, или какъ тамъ онъ у нихъ называется, и тотъ, пользуясь незаконными правами, которыя существуютъ въ колоніяхъ, велѣлъ Свентославскому выѣхать съ острова. Свентославскій протестовалъ, и съ нимъ

человѣкъ десять французовъ, въ томъ числѣ В. Гюго. Тогда полицейскій Наполеонъ Жерсея велѣлъ вытѣхать всѣмъ протестовавшимъ. Имъ слѣдовало не слушаться до нельзя; пусть бы полиція схватила кого-нибудь за шиворотъ и выбросила съ острова; тогда можно было бы поставить передъ судомъ вопросъ о высылкѣ. Это и предлагали французамъ англичане. Процессы въ Англіи безобразно дороги; но издатели Daily News и другихъ либеральныхъ листовъ обѣщали собрать какую надобно сумму, найти способныхъ защитниковъ. Французамъ путь легальности показался скученъ и дологъ, противенъ, и они съ гордостью оставили Жерсей, увлекая за собой Свентославскаго и С. Телеки.

Объявленіе полицейскаго приказа В. Гюго особенно торжественно. Когда полицейскій чиновникъ вошелъ къ нему, чтобъ прочесть приказъ, Гюго позвалъ своихъ сыновей, сѣлъ, указалъ на стулъ чиновнику и, когда всѣ усѣлись,—какъ въ Россіи передъ отъѣздомъ,—онъ всталъ и сказалъ: «Г. комиссаръ, мы дѣлаемъ теперь страницу исторіи (Nous faisons maintenant une page de l'histoire).—Читайте вашу бумагу». Полицейскій, ожидавшій, что его выбросятъ за двери, былъ удивленъ легкостью побѣды; объявилъ Гюго подпиской, что онъ уѣдетъ, и ушелъ, отдавая справедливую учтивость французовъ, давшихъ даже ему стулъ. Гюго уѣхалъ, и другіе съ нимъ вмѣстѣ оставили Жерсей. Большая часть побѣхалъ не дальше Гернсея; другіе отправились въ Лондонъ; дѣло было проиграно и право высылать осталось непочатымъ. Серьезныхъ партій было только двѣ, т. е., партія формальной республики и насильственного социализма: Ледрю-Ролленъ и Луи-Бланъ. О послѣднемъ я еще не говорилъ, а зналъ я его почти больше, чѣмъ всѣхъ французскихъ изгнанниковъ.

Нельзя сказать, чтобъ возрѣніе Луи-Блана было неопредѣленно,—оно во всѣ стороны обрѣзано какъ ножемъ. Луи-Бланъ въ изгнаніи приобрѣлъ много фактическихъ свѣдѣній (по своей части, т. е., по части изученія первой французской революціи),—нѣсколько устоялся и успокоился: но въ сущности своего возрѣнія не подвинулся ни на одинъ шагъ съ того времени, какъ писалъ «Исторію десяти лѣтъ» и «Организацію труда». Осѣвшее и устоявшееся было то же самое, что бродило смолоду.

Въ маленькомъ тѣльцѣ Луи-Блана живетъ бодрый и круто сложившійся духъ, très-éveillé, съ сильнымъ характеромъ, со своей опредѣленно вываянной особенностью, и притомъ совершенно французскій. Быстрые глаза, скорыя движенія, придаютъ ему какой-то вмѣстѣ подвижной и точный видъ, нелишенный граціи. Онъ похожъ на сосредоточеннаго человѣка, сведеннаго на наименьшую величину, въ то время какъ колоссальность его противника, Ледрю-Роллена, похожа на разбукнувшего ребенка, на

карлика въ огромныхъ размѣрахъ, или подъ увеличительнымъ стекломъ. Они оба могли бы чудесно играть въ Гуливеровомъ путешествіи. Луи-Бланъ, — и это большая сила и очень рѣдкое свойство, — мастерски владѣетъ собой; въ немъ много выдержки, и онъ въ самомъ пылу разговора, не только публично, но и въ пріятельской бесѣдѣ, никогда не забываетъ самыхъ сложныхъ отношеній, никогда не выходитъ изъ себя въ спорѣ, не перестаетъ весело улыбаться, — и никогда не соглашается съ противникомъ. Онъ мастеръ рассказывать и, несмотря на то, что много говоритъ, какъ французъ, — никогда не скажетъ лишняго слова, какъ корсиканецъ.

Онъ занимается только Франціей, знаетъ только Францію и ничего не знаетъ «развѣ ее». Событія міра, открытія науки, землетрясенія и наводненія занимаютъ его по той мѣрѣ, по которой они касаются Франціи. Говоря съ нимъ, слушая его тонкія замѣчанія, его замѣчательные рассказы, легко изучать характеръ французскаго ума и тѣмъ легче, что мягкія, образованныя формы его не имѣютъ въ себѣ ничего вызывающаго раздражительную колкость ¹⁾.

¹⁾ Все это, за исключеніемъ нѣкоторыхъ добавокъ и поправокъ, писано лѣтъ десять тому назадъ. Я долженъ признаться, что послѣднія событія заставили меня отчасти измѣнить мое мнѣніе о Луи-Бланѣ. Онъ дѣйствительно сдѣлалъ *мнѣ впередъ* — т. е. какъ слѣдовало ожидать отъ якобинскихъ старообрядцевъ, онъ ему не прошелъ даромъ. „Что дѣлать, говорилъ мнѣ Луи-Бланъ, еще въ разгарѣ Мексиканской войны: — честь нашего знамени компрометирована“. Мнѣніе чисто французское и совершенно противочеловѣческое. Видно, оно сильно мучило Луи-Блана. Черезъ годъ, за обѣдомъ, который давали въ Брюсселѣ В. Гюго послѣ паданія „*Les Misérables*“, Луи-Бланъ въ своей рѣчи сказалъ: „Горе народу, когда его понятіе о чести вообще не совпадаетъ съ понятіемъ военной чести“. Тутъ былъ цѣлый переворотъ. Онъ-то и обличился при началѣ послѣдней войны. Энергическія, полныя мѣткости и пестинъ статьи Луи-Блана, помѣщаемыя въ *Le Temps*, возбуждали грозу *Siècle*'а и *Opinion Nationale*: они чуть не выдали Луи-Блана за австрійскаго агента; и выдали бы совсѣмъ, если-бъ онъ не пользовался дѣйствительно заслуженной репутаціей — чистоты.

Когда я ближе познакомился съ Луи-Бланомъ, меня поразилъ внутренний невозмутимый покой его. Въ его разумѣніи все было въ порядкѣ и рѣшено; тамъ не возникало вопросовъ, кромѣ второстепенныхъ, прикладныхъ. Свои счеты онъ свелъ: *er war im Klaren mit sich*; ему было нравственно свободно, какъ человѣку, который знаетъ, что онъ правъ. — Въ частныхъ ошибкахъ своихъ, въ промахахъ друзей онъ сознавался добродушно; теоретическихъ угрызеній со-вѣсти у него не было. Онъ былъ доволенъ собою послѣ разрушенія республики 1848 г. Умъ его, подвижной въ ежедневныхъ дѣлахъ и подробностяхъ, — былъ японски неподвиженъ во всемъ общемъ. Эта неизблемая увѣренность въ основахъ, однажды принятыхъ, слегка провѣтриваемая холоднымъ рациональнымъ вѣтеркомъ, прочно держалась на нравственныхъ подпорочкахъ, силу которыхъ онъ никогда не испытывалъ, потому что вѣрилъ въ нее. Мозговая религіозность и отсутствіе скептическаго сосанія подъ ложкой обводили его китайской стѣной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнѣнія.

И иногда, шутя, останавливалъ его на общихъ мѣстахъ, которые онъ, вѣроятно, повторялъ годы, не думая, чтобъ можно было возражать на такія почтенныя истины, и самъ не возражая: жизнь человѣка великій социальный долгъ: человѣкъ *долженъ* постоянно приносить себя на жертву обществу.

— Зачѣмъ?—спросилъ я вдругъ.

— Какъ зачѣмъ? Помилуйте: вся цѣль, все назначеніе лица — благосостояніе общества.

— Оно никогда не достигнется, если всѣ будутъ жертвовать и никто не будетъ наслаждаться.

— Это игра словъ.

— Варварская сбивчивость понятій, — говорилъ я, смѣясь.

— Мнѣ никакъ не дается матеріалистическое понятіе о духѣ, — говорилъ онъ разъ, — все же духъ и матерія различны; они тѣсно связаны, такъ тѣсно, что и не являются врозь, но все же они не одно и то же и, видя, что какъ-то доказательство идетъ плохо, онъ вдругъ прибавилъ:—Ну вотъ, я теперь закрываю глаза и воображаю моего брата, вижу его черты, слышу его голосъ; гдѣ же матеріальное существованіе этого образа?

Я сначала думалъ, что онъ шутить; но, видя, что онъ говорить совершенно серьезно, я замѣтилъ ему, что образъ его брата на сію минуту въ фотографическомъ заведеніи, называемомъ мозгомъ, и что врядъ ли существуетъ портретъ Шарля-Блана отдѣльно отъ фотографическаго снаряда.

— Это совсѣмъ другое дѣло: матеріально въ моемъ мозгѣ нѣтъ изображенія моего брата.

— Почему вы знаете?

— А вы почему?

— По наведенію.

— Кстати: это напоминаетъ мнѣ преуморительный анекдотъ...

И тутъ, какъ всегда, рассказъ о Дидро или m-me Tencin. очень милый, но вовсе не идущій къ дѣлу.

Въ качествѣ преемника Максимилиана Робеспьера, Луи-Бланъ поклонникъ Руссо и въ холодныхъ отношеніяхъ съ Вольтеромъ. Въ своей исторіи онъ по-библейски раздѣлилъ всѣхъ дѣятелей на два стана. Одесную — агнцы братства; ошуюю — козлы алчности и эгоизма. Эгоистамъ, въ родѣ Монтеня, пощады нѣтъ, п ему досталось порядкомъ. Луи-Бланъ въ этой сортировкѣ ни на чемъ не останавливается и, встрѣтивъ финансиста Ло, смѣло зачислилъ его по братству, чего, конечно, отважный шотландецъ никогда не ожидалъ.

Въ 1856 году пріѣзжалъ въ Лондонъ изъ Гааги Барбесъ. Луи-Бланъ привелъ его ко мнѣ. Съ умиленіемъ смотрѣлъ я на страдальца, который провелъ почти всю жизнь въ тюрьмѣ. Я прежде

видѣлъ его одинъ разъ, и гдѣ? Въ окнѣ Hôtel-de-Ville, 15 мая 1848 г., за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, какъ ворвавшаяся національная гвардія схватила его ¹⁾).

Я звалъ ихъ на другой день обѣдать; они пришли и мы просидѣли до поздней ночи.

Прежде чѣмъ мы перейдемъ къ этой дикой, стихійной силѣ, которая мрачно содрогается, скованная людскимъ насилиемъ и собственнымъ невѣжествомъ, и подъ часъ прорывается въ щели и трещины разрушительнымъ огнемъ, наводящимъ ужасъ и смятеніе,—остановимся еще разъ на послѣднихъ тампліерахъ и классикахъ французской революціи,—на ученой, образованной, изгнанной, республиканской, журнальной, адвокатской, медицинской, сорбонской, демократической буржуазіи, которая участвовала въ десять въ борьбѣ съ Людовикомъ-Филиппомъ, увлекаясь событіями 1848 года, и осталась имъ вѣрной и дома, и въ изгнаніи.

Въ ихъ рядахъ есть люди умные, острые, люди очень добрые, съ горячей религіей и съ готовностью ей пожертвовать всеѣмъ; но понимающихъ людей, людей, которые изслѣдовали бы свое положеніе, свои вопросы такъ, какъ естествоиспытатель изслѣдуетъ явленіе или паталогъ болѣзни, почти вовсе нѣтъ.

Скорѣе полное отчаяніе, презрѣніе къ лицамъ и дѣлу, скорѣе праздность упрековъ и попрековъ, стоицизмъ, героизмъ, все лишенія, чѣмъ изслѣдованіе. Или такая же полная вѣра въ успѣхъ, безъ взвѣшиванія средствъ, безъ уясненія практической дѣли. Въмѣсто нея удовлетворялись знаменемъ, заголовкомъ, общимъ мѣстомъ: право на трудъ, уничтоженіе пролетаріата, республика и порядокъ, братство и солидарность всеѣхъ народовъ. Да какъ же все это устроить, осуществить? Это послѣднее дѣло. Лишь бы имѣть власть; остальное сдѣлается декретами, плебисцитами. А не будутъ слушаться—Grenadiers, en avant armes! pas de charge... bayonnettes!

И религія террора, coup d'état, централизація, военного вмѣшательства, сквозить въ дыры карманьолы и блузы. Несмотря на доктринерскій протестъ нѣсколькихъ аттическихъ умовъ орлеанской партіи, отъ которыхъ разить Англіей на ружейный выстрѣлъ, терроръ былъ величественъ въ своей грозной неожиданности, въ своей неприготовленной, колоссальной мести; но оста-

¹⁾ До чего доходило остервенѣніе хранителей порядка въ этотъ день, можно измѣрить тѣмъ, что національная гвардія схватила на бульварѣ Лун-Блана, котораго вовсе не слѣдовало арестовать, и котораго полиція тотчасъ велѣла освободить. Видя это, національный гвардеецъ, державшій его, схватилъ его за носъ, врезалъ съ него свои ногти и повернулъ послѣдній суставъ.

павливаться на немъ съ любовью, но звать его безъ необходимости,— страшная ошибка, которой мы обязаны реакціею.

На меня комитетъ общественнаго спасенія постоянно производилъ то впечатлѣніе, которое я испытывалъ въ магазинѣ Charrière, rue de l'école de Médecine: со всѣхъ сторонъ блестятъ зловѣщимъ блескомъ стали кривыя, прямые лезвья, ножницы, пилы, оружія вѣроятнаго спасенія, но навѣрно и боли. Операциі оправдываются успѣхомъ, а терроръ этимъ похвастаться не можетъ. Онъ всей своей хирургіей не спасъ республики. Къ чему была сдѣлана *Дантономіа*, къ чему *Эбертомиа*? Онъ ускорили лихорадку термидора; а въ ней республика и зачахла; люди все также и еще больше бредили спартанскими добродѣтелями, латинскими сентенціями и латинизмами à la David; бредили до того, что *Salus populi* въ одинъ прекрасный день перевели на *Salvum fac Imperatorem*, и пропѣли его «соборне», во всемъ архіерейскомъ орнатѣ, въ Потръ-Дамскомъ соборѣ.

Террористы были люди недюжинные. Суровые, рѣзкіе образы ихъ глубоко выяснились въ пятомъ дѣйствіи и вѣка останутся въ исторіи до тѣхъ поръ, пока у рода человѣческаго не зашибетъ памяти; но нынѣшніе французы-республиканцы на нихъ смотрятъ не такъ; они въ нихъ видятъ образцы и стараются быть кровожадными въ теоріи и въ *надеждѣ* приложенія.

Повторяя à la Saint-Just натянутыя сентенціи изъ хрестоматій и латинскихъ классовъ, восхищаясь холоднымъ, риторическимъ краснорѣчіемъ Робеспьера, они не допускаютъ, чтобъ ихъ героевъ судили, какъ прочихъ смертныхъ. Человѣкъ, который бы сталъ говорить о нихъ, освобождаясь отъ обязательныхъ титуловъ, былъ бы обвиненъ въ ренегатствѣ, въ измѣнѣ, въ шпіонствѣ.

Пзрѣдка встрѣчалъ я, впрочемъ, людей эксцентричныхъ, сорвавшихся со своей торной, гуртовой дороги.

Зато уже французы въ этихъ случаяхъ, закусывая удила и усваяя себѣ какую-нибудь мысль, непринадлежащую къ суммѣ *оборотныхъ* мыслей и идей, доводятъ эту мысль до того черезъ край, что человѣкъ, подавшій имъ ее, самъ съ ужасомъ отпрядывалъ отъ нихъ.

Въ 1854 году, докторъ Cœurderoi, посылая мнѣ изъ Испаніи свою брошюру, написалъ ко мнѣ письмо. Такой озлобленный крикъ противъ современной Франціи и ея послѣднихъ революціонеровъ — мнѣ рѣдко удавалось слышать. Это былъ отвѣтъ Франціи на легко перенесенный *coup d'état*; онъ сомнѣвался въ умѣ, въ силѣ, въ крови своей расы; онъ звалъ казаковъ для «поправленія выродившагося народонаселенія». Онъ писалъ ко мнѣ потому, что нашелъ въ моихъ статьяхъ «то же воззрѣніе».

Я отвѣчалъ ему, что до исправительной трансфузіи крови не иду, и послалъ ему «Du Développement des idées révolutionnaires en Russie».

Cœurderoi не остался въ долгу; онъ отвѣтилъ мнѣ, что возлагаетъ всю надежду на войско Николая, долженствующее разрушить до тла, безъ пощады и сожалѣнія, цивилизацію обветшавшую, испорченную, и которая не имѣетъ силъ ни обновиться, ни умереть своей смертію.

Одно уцѣлѣвшее письмо его прилагаю:

M. A. Herzen.

Santander, 27 mai.

Monsieur,

Que je vous remercie tout d'abord de l'envoi de votre travail sur les idées révolutionnaires et leur développement en Russie. J'avais déjà lu ce livre, mais il ne m'était pas resté entre les mains, et c'était pour moi un très grand regret.

C'est vous dire combien j'en apprécie la valeur comme fond et comme forme, et combien je le crois utile pour donner conscience à chacun des forces de la Révolution universelle, aux Français surtout qui ne la croient possible que par *l'initiative du faubourg Saint-Antoine*.

Puisque vous m'avez fait l'amitié de m'envoyer votre livre, permettez-moi, Monsieur, de vous en témoigner ma gratitude en vous disant ce que j'en pense. Non que j'attache de l'importance à mon opinion, mais pour vous prouver que j'ai lu avec attention.

C'est une belle étude, organique et originale, il y a là véritable vigueur, travail sérieux, vérités nues, passages profondément émouvants. C'est jeune et fort comme la race slave; on sent parfaitement que ce n'est ni un Parisien, ni un Paléologue, ni un Philistre d'Allemagne qui ont écrit des lignes aussi brûlantes; ni un républicain constitutionnel, ni un socialiste théocrate et modéré.—mais un Cosaque (vous ne vous effrayez pas de ce nom, n'est-ce pas?) grandement anarchiste, utopiste et poète, acceptant la négation et l'affirmation la plus hardie du XIX-e siècle. Ce que peu de révolutionnaires français osent faire.

...Sur le point patriculier de la Rénovation ethnographique prochaine, j'ai trouvé dans votre livre (surtout dans l'Introduction) bien des passages qui semblent se rapprocher de mon opinion. Quoique vos conclusions ne soient pas très nettement formulées sur ce point, je crois que vous comptez pour le succès de la Révolution sur la fédération démocratique des races slaves qui donneront à l'Europe l'impulsion générale. Il est bien entendu que nous ne différons pas pour le but: la Résurrection du Continent sous la forme démocratique et sociale. Mais je crois que le sac de la Civilisation sera fait par l'absolutisme. Là je vois toute la différence entre nous.

Oui, j'ai conçu ces convictions qu'on dit malheureuses, et j'y persiste parce que chaque jour je les trouve plus justes:

1^o Que la force a quelque chose à voir dans les affaires de notre microcosme;

2^o Qu'en étudiant la marche des événements révolutionnaires dans le temps et dans l'espace on se convainc que la force prépare toujours la Révolution que l'idée a démontrée nécessaire;

3^o Que l'idée ne peut pas accomplir l'œuvre de sang et de destruction;

4^o Que le despotisme, au point de vue de la rapidité, de la sûreté, de la possibilité d'exécutions, est plus apte que la démocratie à bouleverser un monde;

5^o Que l'armée monarchique russe sera plutôt mise en mouvement que la phalange démocratique slave;

6^o Qu'il n'y a que la Russie en Europe assez compacte encore sous l'absolutisme, assez peu divisée par les intérêts propriétaires et les partis pour faire bloc, coin, massue, graine, épée, et exécuter l'Occident et trancher le nœud gordien.

Là La Là

Qu'on me montre une autre force capable d'accomplir une pareille tâche; qu'on me fasse voir quelque part une armée démocratique toute prête et décidée à frapper sur les peuples, les frères, et à faire couler le sang, à brûler, à abattre sans regarder derrière elle, sans hésiter. Et je changerai de manière de voir.

Avec vous, je voulais seulement bien spécifier la question et la limiter sur ce seul point, *le moyen d'exécution générale de la civilisation occidentale.*

Je n'ai pas besoin de vous dire que notre appréciation sur le Passé et l'Avenir est la même. Nous ne différons absolument que sur le Présent. Vous, qui avez si bien apprécié le rôle révolutionnaire de Pierre I-er, pourquoi ne pourriez-vous pas penser que tout autre, Nicolas ou l'un de ses successeurs, pût avoir un formidable rôle à accomplir? Quelle autre main plus puissante, plus large, plus capable de rassembler des peuples conquérants, voyez-vous à l'Orient? Avant que la démocratie slave ait trouvé un mot d'ordre et traduit le vague secret de ses aspirations, le tzar aura bouleversé l'Europe. Le sort des nations civilisées est dans son bras, s'il le veut. Le monde ne tremble-t-il pas parce qu'il a parlé un peu plus haut que d'habitude? Je vous l'avoue, cette force me frappe tellement, que je ne puis concevoir qu'on cherche à en voir une autre. Et les révolutionnaires sentent tellement la nécessité d'une dictature pour démolir qu'ils voudraient l'instituer eux-mêmes dans le cas de réussite d'une nouvelle Révolution. A mon sens, ils ne se trompent pas sur la nécessité du moyen, seulement il n'est ni dans leur rôle, ni dans leurs principes, ni dans leurs forces de l'employer. Moi j'aime même voir le Despotisme se charger de cette odieuse tâche de fossoyeur.

Cette lettre est déjà bien assez longue. Je voulais seulement préciser avec vous le point débattu. Ce qu'il faudrait maintenant entre nous, je le sens: ce serait une conversation dans laquelle nous avancerions plus en une heure que par milliers de lettres. Je n'abandonne pas cet espoir, et ce jour sera le bienvenu pour moi. Avec un homme de Révolution, de travail, de science et d'audace je crois toujours pouvoir m'entendre.

Quant aux sourds ou muets de la tradition révolutionnaire de 93, j'ai grand peur que vous n'en fassiez jamais des socialistes universels et des hommes de liberté. Encore moins des partisans de la Possession, du Droit au travail, de l'Echange et du Contrat. C'est tellement séduisant que de rêver une place de commissaire aux armées ou à la police, ou encore une sinécure de représentant du Peuple avec une belle écharpe rouge autour des reins, comme disait Rabelais, beaux floquarts, beaux rubans, gentil pourpoint, galantes braguettes, etc., etc. La plupart de nos révolutionnaires en sont là!

Les hommes ne sont guère plus sages que les enfants, mais beau-

coup plus hypocrites. Ils portent des faux-cols et des décorations et se croient illustres. Les enfants jouent plus sérieusement aux soldats que les grands monarques et les énormes tribunes que les peuples admirent.

Vous voudrez bien me pardonner de vous avoir écrit sans avoir l'honneur de vous connaître personnellement.

Vous m'excuserez surtout de m'être permis de vous donner sur vos ouvrages une opinion qui n'a d'autre valeur que la sincérité. J'estime, d'après mes propres impressions, que c'est le moyen le plus efficace pour reconnaître un don, qui vous a fait plaisir. D'ailleurs notre commun exil et nos aspirations semblables me semblent devoir nous épargner à tous deux les vaines formules de politique banale. Je termine en vous résumant mon opinion par ces deux mots: La Force et la Destruction demain par le tzar, la pensée et l'ordre après demain par les socialistes universels, les Slaves comme les Germano-Latins.

Agreez, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée et de mes sympathies.

Ernest Cœurderoi.

J'espère que vous publierez en volume vos lettres à Linton Esq-re que le journal *l'Homme* a données à ses lecteurs.

Pourriez-vous me dire s'il existe des traductions françaises des poésies de Pouchkine, de Lermontoff et surtout de Koltzoff. Ce que vous en dites me fait désirer infiniment de les lire. La personne qui vous remettra cette lettre est mon ami, L. Charre, proscrit comme nous, à qui j'ai dédié *Mes jours d'exil*.

ГЛАВА IV¹⁾.

Польскіе выходцы.

Алонзій Бернацкій.—Станиславъ Ворцель.—Агитация 1854-56 года.—Смерть Ворцеля.

Nuovi tormenti e nuovi tormentati!
Inferno.

Другія несчастія, другіе страдальцы ждуть насъ. Мы живемъ на полѣ вчерашней битвы: кругомъ лазареты, раненые, плѣнные, умирающіе. Польская эмиграція, старшая всѣмъ, истощилась больше другихъ, но была упорно жива. Перейдя границу, поляки, вопреки Дантону, взяли съ собою свою родину и, не склоняя головы, гордо и угрюмо пронесли ее по свѣту. Европа проснулась на минуту отъ ихъ шаговъ, нашла слезы и участіе, нашла деньги и силу ихъ дать²⁾.

¹⁾ Напечатано было въ «Колоколѣ», 1 октября и 7 ноября 1865 г., стр. 1681 и 1693.

²⁾ Д-ръ П. Дарашъ рассказывалъ мнѣ случай, бывший съ нимъ самимъ. Онъ студентомъ медицины участвовалъ въ возстаніи 1831. Послѣ взятія Вар-

Но правительство, въ которомъ сидѣлъ Тамаринъ, въ нихъ не нуждалось и вовсе объ нихъ не думало. Самые пестрые республиканцы вспомнили Польшу для того, чтобы ее употребить неоткровеннымъ крикомъ возстанія и войны 15 мая 1848. Ложь поняли, но на Польшу французская буржуазія (у которой Польша была капризомъ, какъ у англійской Италія) стала съ тѣхъ поръ дуться. Въ Парижѣ не говорили больше съ прежней риторикой о *Varsovie échevelée*, и только въ народѣ оставалась, рядомъ со всякими бонапартовскими воспоминаніями, легенда о *Понятуски*, поддерживаемая лубочной картинкой, на которой Понятовскій тонетъ, верхомъ въ своей *chapska*.

Съ 1849 начинается для польской эмиграціи самое удручительное время. Ни одной истинной надежды, ни одной капли живой воды. Апокалиптическое время, провидѣнное Красинскимъ, казалось, наступало. Отрѣзанная отъ страны, эмиграція осталась на другомъ берегу и, какъ дерево безъ новыхъ соковъ, вяла, сохла, дѣлалась чужой для родины, не переставая быть чужой для странъ, въ которыхъ жила. Онѣ до нѣкоторой степени ей сочувствовали, но ихъ несчастіе продолжалось слишкомъ долго, а въ душѣ человѣка нѣтъ добраго чувства, которое бы не признавалось. Къ тому же вопросъ польскій прежде всего былъ вопросъ національный.

Эмиграція смотрѣла столько же назадъ, сколько впередъ, она стремилась возстановить,—какъ-будто въ прошедшемъ что-нибудь достойно возстановленія, кромѣ независимости, а одна независимость ничего не говоритъ: это понятіе отрицательное. Развѣ можно быть независимѣ Россіи? Въ сложную, туго выработывающуюся формулу будущаго общественнаго устройства Польша внесла не новую идею, а свое историческое право и свою готовность помогать другимъ, въ справедливой надеждѣ на взаимность. Борьба за независимость всегда вызываетъ горячее сочувствіе,

шавы отрядъ, въ которомъ онъ былъ, перешелъ границу и небольшими кучками сталъ пробираться во Францію. Вездѣ по городамъ и деревнямъ мужчины и женщины выходили на дорогу звать изгнанниковъ къ себѣ, предлагая свои комнаты, часто свои кровати. Въ одномъ небольшомъ городкѣ хозяйка замѣтила, что у него изорванъ, помнител, кисетъ, и взяла его починить. На другой день на пути Дарашъ, ощутивъ въ кисетѣ что-то постороннее, нашелъ въ немъ тщательно зашитыми два золотыхъ. Дарашъ, у котораго не было ни гроша, бросился назадъ, чтобы отдать деньги. Хозяйка сначала отказывалась, говорила, что она ничего не знаетъ, потомъ принялась плакать и умолять Дараша деньги взять. Тутъ надобно вспомнить, что въ маленькомъ нѣмецкомъ городкѣ для небогатой женщины значатъ *два золотыхъ*; они составляли, вѣроятно, плодъ откладыванія въ *Sparbüchse* разныхъ крейцеровъ, пфенинговъ, *хорошихъ и бурныхъ* грошей въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ.... Прощай всѣ мечты объ шелковомъ платьѣ, о цвѣтной мантиліи, о яркой шали.

но она не можетъ стать *своимъ* дѣломъ для чужихъ. Только тѣ интересы принадлежатъ всѣмъ, которые по сущности своей *не-національны*.

... Въ 1847 году познакомился я съ польской демократической централизацией. Тогда она жила въ Версалѣ и, сколько мнѣ казалось, самый дѣятельный членъ ея былъ Высоцкій. Особеннаго сближенія не могло быть. Эмигрантамъ хотѣлось слышать отъ меня подтвержденіе своимъ желаніямъ, своимъ предположеніямъ, а не то, что я зналъ. Они желали имѣть свѣдѣнія о какомъ-то заговорѣ, подкапывающемъ все государственное зданіе въ Россіи, и спрашивали, участвуетъ ли въ немъ Ермоловъ... А я имъ могъ рассказывать о направленіи тогдашней молодежи, о пропагандѣ Грановскаго, объ огромномъ вліяніи Бѣлинскаго, о социальномъ отбѣнкѣ въ обѣихъ партіяхъ, бившихся тогда въ литературѣ и въ обществѣ, у западниковъ и славянофиловъ. Имъ казалось это не важнымъ.

У нихъ было богатое прошедшее, у насъ большая надежда; у нихъ грудь была покрыта рубцами, у насъ только крѣпили для нихъ мышцы. Мы казались ополченцами передъ ними, ветеранами. Поляки—мистики, мы—реалисты. Ихъ влечетъ въ таинственный полусвѣтъ, въ которомъ стираются очертанія, носятся образы, въ которомъ можно предполагать страшную даль, страшную высь, потому что ничего не видать ясно. Они могутъ жить въ этомъ полуснѣ, безъ анализа, безъ *холоднаго* изслѣдованія, безъ сосущаго сомнѣнія. Въ глубинѣ ихъ души, какъ человѣкъ въ военномъ станѣ, есть чуждый намъ отблескъ среднихъ вѣковъ и распятіе, передъ которымъ въ минуты тяжести и устали они могутъ молиться. Въ поэзіи Красинскаго Stabat Mater заглушаетъ народные гимны и влечетъ васъ не къ торжеству жизни, а къ торжеству смерти, ко дню великаго суда... Мы или *глупѣе* вѣримъ, или *умнѣе* сомнѣваемся.

Мистическое направленіе развернулось во всей силѣ послѣ наполеоновской эпохи. Мицкевичъ, Товянскій, даже математикъ Вронскій—все способствовали мессіанизму. Прежде были католики и энциклопедисты, но не было мистиковъ. Старики, получившіе образованіе еще въ XVIII вѣкѣ, были свободны отъ теософическихъ фантазій. Классическій закалъ, который давалъ людямъ великій вѣкъ, какъ дамась, не стирался. Мнѣ еще удалось видѣть два-три типа старыхъ пановъ энциклопедистовъ.

Въ Парижѣ и притомъ въ Rue de la Chaussée d'Antin жилъ съ 1831 года графъ Алоизій Бернацкій, нунцій польской діеты, министръ финансовъ во время революціи, маршалъ дворянства какой-то губерніи, представлявшій свое сословіе императору Александру I въ 1814 г.

Совершенно раззоревный конфискаціей, онъ поселился съ 1831 года въ Парижѣ и притомъ на той маленькой квартирѣ въ Chaussée d'Antin, которую я упомянулъ; оттуда-то онъ выходилъ всякое утро въ темно-коричневомъ сюртукѣ на прогулку и чтеніе журналовъ и всякій вечеръ, въ синемъ фракѣ съ золотыми пуговицами, къ кому-нибудь провести вечеръ; тамъ, въ 1847 году, я познакомился съ нимъ. Домъ состарѣлся, хозяйка хотѣла его перестроить. Бернадскій написалъ къ ней письмо, которое до того тронуло французенку (что очень не легкая вещь, когда замѣшаны финансы!), что она пустилась съ нимъ въ переговоры и просила его только на время переѣхать. Отдѣлавъ квартиру, она снова отдала ее Бернадскому за ту же цѣну. (Съ горестію увидѣлъ онъ новую красивую лѣстницу, новые обои, рамы, мебель, но покорился своей судьбѣ.

Во всемъ умѣренный, безусловно чистый и благородный, старикъ былъ поклонникъ Вашингтона и пріятель О'Коннеля. Настоящій энциклопедистъ, онъ проповѣдывалъ эгоизмъ *bien entendu* и провелъ всю жизнь въ самоотверженіи и пожертвованіи всѣмъ, отъ семьи и богатства до родины и общественнаго положенія, никогда не показывая особеннаго сожалѣнія и никогда не падая до ропота.

Французская полиція оставляла его въ покоѣ и даже уважала его, зная, что онъ былъ министръ и *нунцій*; префектура пресерьезно думала, что нунцій польской діеты былъ что-то въ родѣ папскаго нунція. Въ эмиграціи это знали и потому товарищи и соотечественники безпрестанно посылали его объ нихъ хлопотать. Бернадскій шелъ безпрекословно и до тѣхъ поръ говорилъ правильные комплименты и надоѣдалъ, что префектура часто дѣлала уступки, чтобъ отвязаться отъ него. Послѣ совершеннаго покоренія февральской революціи тонъ перемѣнился; ни улыбкой, ни слезой, ни комплиментами, ни сѣдой головой ничего нельзя было взять, а тутъ, какъ на зло, пріѣхала въ Парижъ жена польскаго генерала, участвовавшего въ венгерской войнѣ, въ болышой крайности. Бернадскій просилъ помощи для нея у префектуры; префектура, несмотря на громкій адресъ *à son Excellence monsieur le Nonce*, отказала наотрѣзъ. Старикъ отправился самъ къ Карлье; Карлье, чтобъ отвязаться отъ него и съ тѣмъ вмѣстѣ унижить, замѣтилъ ему, что пособія только даютъ выходцамъ 1831 года. «Вотъ, прибавилъ онъ, если вы принимаете такое участіе въ этой дамѣ, подайте просьбу, чтобъ вамъ по бѣдности назначили пособіе; мы вамъ положимъ франковъ двадцать въ мѣсяцъ, а вы ихъ отдавайте, кому хотите».

Карлье былъ пойманъ. Бернадскій самымъ простодушнымъ образомъ принялъ предложеніе префекта и тотчасъ согласился, раз-

сыпаясь въ благодарности. Съ тѣхъ поръ всякій мѣсяцъ старикъ являлся въ префектуру, ждалъ въ передней частъ-другой, получалъ двадцать франковъ и относилъ ихъ къ вдовѣ.

Бернацкому было далеко за семьдесятъ лѣтъ, но онъ удивительно сохранился, любилъ обѣдать съ друзьями, посидѣть вечеромъ часовъ до двухъ, иногда выпить бокаль-другой вина. Разъ какъ-то поздно, часа въ три, возвращались мы съ нимъ домой: дорога наша шла по улицѣ Лепелетье. Опера горѣла въ огнѣ; пьоро и дебардеры, едва прикрытые шаями, драгуны и полицейскіе толпились въ сѣняхъ. Шутя и увѣренный, что онъ откажется, я сказалъ Бернацкому:

— *Quelle chance, не зайти ли?*

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, отвѣчалъ онъ, я лѣтъ пятнадцать не видалъ маскарада.

— Бернацкій, сказалъ я ему, шутя и входя въ сѣни, когда же вы начнете старѣть?

— *Un homme comme il faut*, отвѣчалъ онъ, смѣясь, *acquiert des années, mais ne vieillit jamais!*

Онъ выдержалъ характеръ до конца и, какъ благовоспитанный человѣкъ, разстался съ жизнью тихо и въ хорошихъ отношеніяхъ: утромъ ему нездоровилось, къ вечеру онъ умеръ.

Во время смерти Бернацкаго я былъ уже въ Лондонѣ. Тамъ вскорѣ послѣ моего пріѣзда сблизился я съ человѣкомъ, котораго память мнѣ дорога и котораго гробъ я помогъ снести на Гайгетское кладбище,—я говорю о Ворцелѣ. Изъ всѣхъ поляковъ, съ которыми я сблизился тогда, онъ былъ наиболѣе симпатичный и, можетъ, наименѣе исключительный въ своей нелюбви къ намъ. Онъ не то, чтобъ любилъ русскихъ, но онъ понималъ вещи гуманно, и потому далекъ былъ отъ гуловыхъ проклятій и ограниченной ненависти. Съ нимъ съ первымъ говорилъ я объ устройствѣ русской типографіи. Выслушавъ меня, бѣлой встрепенулся, схватилъ бумагу и карандашъ, началъ дѣлать расчеты, вычислять, сколько нужно буквъ и пр. Онъ сдѣлалъ главные заказы, онъ познакомилъ меня съ Чернецкимъ, съ которымъ мы столько работали потомъ.—«Боже мой, Боже мой, говорилъ онъ, держа въ рукѣ первый корректурный листъ, Вольная Русская Типографія въ Лондонѣ... сколько дурныхъ воспоминаній стираетъ съ моей души этотъ клочекъ бумаги, замаранный голландской сажей!»

— «Намъ надобно идти вмѣстѣ, повторялъ онъ часто потомъ, намъ одна дорога и одно дѣло...», и онъ клалъ исхудалую руку свою на мое плечо.

На польской годовщинѣ 29 ноября 1853 года я сказалъ рѣчь Гановерь-Румъ, Ворцель председательствовалъ. Когда я кон-

чить, Ворцель, при громѣ рукоплесканій, обнялъ меня и со слезами на глазахъ поцѣловалъ. «Ворцель и вы, замѣтили мнѣ, выходя, одинъ итальянецъ (графъ Нани), вы меня поразили давеча на платформѣ, мнѣ казалось, что этотъ увядающій, благородный, покрытый сѣдинами старецъ, обнимающій вашу здоровую плотную фигуру, представляли типически Польшу и Россію».

Дѣйствительно мы могли идти вмѣстѣ... Это не удалось.

Ворцель былъ *не одинъ*.... Но прежде объ немъ одномъ.

Когда родился Ворцель, его отецъ, одинъ изъ богатыхъ польскихъ аристократовъ въ Литвѣ, родственникъ Эстергази, Потодкимъ и не знаю кому, выписалъ изъ пяти помѣстій старость и съ ними молодыхъ женщинъ, чтобъ они присутствовали при крещеніи графа Станислава и помнили бы до конца жизни объ панскомъ угощеніи по поводу такой радости. Это было въ 1800 году. Графъ далъ своему сыну самое блестящее, самое многостороннее воспитаніе; Ворцель былъ математикъ, лингвистъ, знакомый съ пятью-шестью литературами, съ раннихъ лѣтъ пріобрѣлъ онъ огромную эрудицію, и притомъ былъ свѣтскимъ человѣкомъ и принадлежалъ къ высшему польскому обществу, въ одну изъ самыхъ блестящихъ эпохъ его заката, между 1815—1830 годами; Ворцель рано женился, и только что началъ «практическую» жизнь, какъ вспыхнуло возстаніе 1831 года. Ворцель бросилъ все и присталъ душой и тѣломъ къ движенію. Возстаніе было подавлено, Варшава взята. Графъ Станиславъ перешелъ, какъ и другіе, границу, оставляя за собой семью и состояніе.

Жена его не только не поѣхала за нимъ, но прервала съ нимъ всѣ сношенія, и за то получила обратно какую-то часть имѣнія. У нихъ были двое дѣтей, сынъ и дочь; какъ она ихъ воспитала, мы увидимъ: на первый случай она ихъ выучила заботы отца.

Ворцель между тѣмъ пробрался черезъ Австрію въ Парижъ, и тутъ сразу очутился въ вѣчной ссылкѣ и безъ малѣйшихъ средствъ. Ни то, ни другое его нисколько не поколебало. Онъ, какъ Бернацкій, свелъ свою жизнь на какой-то монашескій постъ, и ревностно началъ свое апостольство, которое прекратилось черезъ двадцать пять лѣтъ съ его послѣднимъ дыханіемъ, въ сыромъ углу нижняго этажа убогой квартиры, въ темной Hunter Street.

Реорганизовать польскую партію движенія, усилить пропаганду, сосредоточить эмиграціонныя силы, приготовить новое возстаніе и для этого проповѣдывать съ утра до ночи, для этого жить,—такова была тема всей жизни Ворцеля, отъ которой онъ не отступалъ ни на шагъ и которой подчинилъ все. Съ этой

цѣлью онъ сблизился со всѣми людьми движенія во Франціи, отъ Годафруа Кавеньяка до Ледрю-Роллена; съ этой цѣлью былъ массономъ, былъ въ близкихъ сношеніяхъ съ сторонниками Маццини и съ самимъ Маццини впоследствии. Ворцель твердо и открыто поставилъ революціонное знамя Польши противъ партіи Чарторижскихъ. Онъ былъ увѣренъ, что аристократія погубила возстаніе, онъ въ старыхъ панахъ видѣлъ враговъ своему дѣлу и собиралъ новую Польшу, чисто демократическую.

Аристократическая Польша, искренно преданная своему дѣлу, шла во многомъ въ разрѣзъ съ стремленіями нашего времени; передъ ея глазами постоянно носился образъ прежней Польши, не новой, а восстановленной, ея идеалъ былъ столько же въ воспоминаніи, сколько въ упованіяхъ. Польшѣ достаточно было и одного католическаго ядра на ногахъ, чтобъ отставать,—рыцарскіе доспѣхи совсѣмъ остановили бы ее. Соединяясь съ Маццини, Ворцель хотѣлъ привѣнчать польское дѣло къ обще-европейскому, республиканскому и демократическому движенію.

Можно обвинять Ворцеля за то, что онъ вступилъ въ ту же колею, въ которой уже вязла и грузла западная революція, что онъ въ этомъ пути видѣлъ единственный путь спасенія; но однажды принявъ его, онъ былъ послѣдователенъ.

Года за полтора до февральской революціи по дремавшей Европѣ пробѣжала какая-то дрожь пробужденія: Краковское дѣло, процессъ Мирославскаго, потомъ война Зондербунда и Итальянское *risorgimento*. Австрія отвѣчала возстанію имперской путачевщиной, но тишина не возвратилась. Людовикъ Филиппъ палъ въ февралѣ 1848 года, полякъ возилъ его тронъ на сожженіе. Ворцель во главѣ польской демократіи явился напомнить временному правительству о Польшѣ. Ламартинъ принялъ его холодной риторикой. Республика была больше миръ, чѣмъ имперія.

Съ паденіемъ Венгріи, Ворцель, вынужденный оставить Парижъ, переселился въ Лондонъ.

Въ Лондонѣ я его засталъ въ концѣ 1852 членомъ Европейскаго комитета ¹⁾. Онъ стучался во всѣ двери, писалъ письма, статьи въ журналахъ, онъ работалъ и надѣялся, убѣждалъ и просилъ,—а такъ какъ при всемъ остальномъ надо было ѣсть, то Ворцель принялся давать уроки математики, черченія и даже французскаго языка; кашляя и задыхаясь отъ астмы, ходилъ онъ съ конца Лондона на другой, чтобъ заработать два шиллинга, много полкроны. И тутъ онъ еще долю выработаннаго отдавалъ своимъ товарищамъ.

¹⁾ Маццини, Кошутъ, Ледрю-Ролленъ, Арнольдъ Руге, Братіано и Ворцель.

Духъ его не унывалъ, но тѣло отстало. Лондонскій воздухъ, сырой, копченый, не согрѣтый солнцемъ, былъ не по слабой груди. Ворцель таялъ, но держался. Такъ онъ дожилъ до крымской войны; ее онъ не могъ, я готовъ сказать, не долженъ былъ пережить. «Если Польша *теперь* ничего не сдѣлаетъ, все пропало, надолго, очень надолго, если не навсегда, и мнѣ лучше закрыть глаза», говорилъ Ворцель мнѣ, отправляясь по Англіи съ Кошутомъ. Во всѣхъ главныхъ городахъ собирали они митинги. Кошута и Ворцеля встрѣчали громомъ рукоплесканій, дѣлали небольшіе денежные сборы *и только*. Парламентъ и правительство очень хорошо знаютъ, когда народная волна просто шумитъ и когда она въ самомъ дѣлѣ напираетъ. Твердо стоявшее министерство, предложившее *conspiracy bill*, пало въ *ожиданіи* народнаго схода въ Гайдъ-паркѣ. Въ митингахъ, собираемыхъ Кошутомъ и Ворцелемъ для того, чтобъ вызвать со стороны парламента и правительства признаніе польскихъ правъ, заявленіе симпатіи къ польскому дѣлу, ничего не было опредѣленнаго, не было силы. Отвѣтъ консерваторовъ былъ неотразимъ: «въ Польшѣ все покойно». Правительству приходилось не признать совершившійся фактъ, а вызвать его, взять революціонную инициативу, разбудить Польшу. Такъ далеко въ Англіи общественное мнѣніе не идетъ. Къ тому же *in petto* всѣ желали окончанія войны, только что начавшейся, дорогой и въ сущности бесполезной.

Между большими митингами Ворцель возвращался въ Лондонъ. Онъ былъ слишкомъ уменъ, чтобъ не понять неудачу, онъ старился наглазно, былъ угрюмъ и раздражителенъ, и съ той лихорадочной дѣятельностью, съ которой умирающіе принимаются тревожно за всякое леченіе, съ зловѣщей боязнію въ груди и съ упорной надеждой, ѣздилъ онъ опять, въ Бирмингамъ или Ливерпуль, съ трибуны поднимать свой плачъ о Польшѣ. Я смотрѣлъ на него съ глубокой горестью. Но какъ же онъ могъ думать, что Англія подниметъ Польшу, что Франція Наполеона вызоветъ революцію? Какъ онъ могъ надѣяться на ту Европу, которая допустила Россію въ Венгрію, французовъ въ Римъ, развѣ самое присутствіе Маццини и Кошута въ Лондонѣ не громко ему напоминало о ея паденіи?

... Около того же времени давно накопившее неудовольствіе противъ централизаціи въ молодой части эмиграціи подняло голосъ. Ворцель обомлѣлъ,—этого удара онъ не ждалъ, а онъ пришелъ совершенно естественно.

Небольшая кучка людей, близко окружавшихъ Ворцеля, далеко не имѣла одного уровня съ нимъ. Ворцель понималъ это, но, привыкнувъ къ своему хору, былъ подъ его вліяніемъ. Онъ

воображалъ, что онъ ведетъ, въ то время какъ хоръ, стоя сзади, направлялъ его, куда хотѣлъ. Только Ворцель подымался на ту высь, въ которой ему было свободно дышать, въ которой ему было естественно,—хоръ, исполняя должность мѣщанской родни, стягивалъ его въ низменную сферу эмиграціонныхъ дрязгъ и мелочныхъ расчетовъ. Преждевременный старикъ задыхался въ этой средѣ отъ духовнаго астма, столько же, какъ и отъ физическаго.

Люди эти не поняли серьезнаго смысла того союза, который я предлагалъ.

— Вы вѣрно слышали, спросилъ меня Ворцель, что противъ насъ готовится обвинительный актъ?

— Слышалъ.

— Вотъ что я заслужилъ подъ старость... вотъ до чего дожилъ. . . и онъ грустно качалъ сѣдой головой своей.

— Врядъ правы ли вы, Ворцель? Васъ такъ привыкли любить и уважать, что если этому дѣлу не давали хода, то это только изъ боязни васъ огорчить. Вы знаете, зубъ не на васъ, пусть ваши товарищи идутъ своей дорогой.

— Никогда, никогда, мы все дѣлали вмѣстѣ, на насъ лежитъ общая отвѣтственность.

— Вы ихъ не спасете...

— А что вы говорили полчаса тому назадъ по поводу того, что Россель предалъ своихъ товарищей?

Это было вечеромъ. Я стоялъ поодаль отъ камина, Ворцель сидѣлъ у самаго огня, обернувшись лицомъ къ камину; его болѣзненное лицо, на которомъ дрожали красный отсвѣтъ, показалось мнѣ еще больше истомленнымъ и страдальческимъ... Слеза, старая слеза, скатывалась по исхудалой щекѣ его... Прошли нѣсколько минутъ невыносимо тяжелаго молчанія... Онъ всталъ, я проводилъ его въ его спальню, большія деревья шумѣли въ саду... Ворцель отворилъ окно и сказалъ:

— Я здѣсь съ моей несчастной грудью прожилъ бы вдвое.

Я схватилъ его за обѣ руки.

— Ворцель,—говорилъ я ему, — оставайтесь у меня, я вамъ дамъ еще комнату, вамъ никто мѣшать не будетъ, дѣлайте, что хотите, завтракайте одни, обѣдайте одни, если хотите; вы отдохнете мѣсяца два... васъ не будутъ непрерывно тормошить, вы освѣжитесь, я васъ прошу, какъ друга, какъ вашъ меньшой братъ!

— Благодарю, благодарю васъ отъ всего сердца; я сейчасъ бы принялъ ваше предложеніе, но при теперешнихъ обстоятельствахъ это просто невозможно... Съ одной стороны, война, съ другой, наши

это примуть за то, что я ихъ оставилъ. Нѣтъ, каждый долженъ пести крестъ свой до конца.

— Ну, такъ усните, по крайней мѣрѣ, спокойно, сказалъ я ему, стараясь улыбнуться. Его нельзя было спасти!

... Война оканчивалась, началась новая Россія, дожили мы до Парижскаго мира и до того, что *Полярная Звѣзда* и все напечатанное нами въ Лондонѣ покупалось *на корню*. Мы стали издавать *Колоколъ*, и онъ пошелъ... Мы съ Ворцелемъ видались рѣдко, онъ радовался нашимъ успѣхамъ, съ той внутренней, подавляемой, но жгучей болью, съ которой мать, потерявшая сына, слѣдитъ за развитіемъ чужого отрока... Время роковой альтернативы, поставленной Ворцелемъ въ его *oggi o mai*, наступало и онъ гаснулъ...

За три дня до его кончины Чернецкій прислалъ за мною. Ворцель меня спрашивалъ,—онъ былъ очень плохъ, ждали его кончины. Когда я пріѣхалъ къ нему, онъ былъ въ забытіи, близкомъ къ обмороку; блѣдный, восковой лежалъ онъ на диванѣ... щеки его совершенно ввалились; такіе припадки съ нимъ повторялись въ послѣдніе дни, онъ привыкалъ быть мертвымъ. Черезъ четверть часа Ворцель сталъ приходить въ себя, слабо говорить, потомъ узналъ меня, привсталъ и легъ полусидя на диванѣ.

— Читали вы газеты?—спросилъ онъ меня.

— Читалъ.

— Расскажите, какъ идетъ Невшательскій вопросъ, я не могу ничего читать?

Я ему рассказалъ, онъ все слышалъ и все понималъ.

— Ахъ, какъ спать хочется, оставьте меня теперь, я не усну при васъ, а мнѣ отъ сна будетъ легче.

На другой день ему было лучше. Ему хотѣлось мнѣ что-то сказать... Онъ раза два начиналъ и останавливался... и только оставшись со мной наединѣ, умирающій подозвалъ меня къ себѣ и, слабо взявъ меня за руку, сказалъ:

— Какъ вы были правы... вы не знаете, какъ вы были правы... у меня лежало это на душѣ вамъ сказать.

— Не будемъ больше говорить объ нихъ.

— Идите вашей дорогой... онъ поднялъ на меня свой умирающій, но свѣтлый, лучезарный взглядъ. Больше онъ говорить не могъ. Я поцѣловалъ его въ губы—и хорошо сдѣлалъ, мы простились надолго. Вечеромъ онъ всталъ, вышелъ въ другую комнату, хлебнулъ теплой воды съ джиномъ у хозяйки дома, простой, превосходной женщины, религіозно уважавшей въ Ворцелѣ какое-то высшее явленіе, вздохнулъ опять къ себѣ и уснулъ. На другой день, утромъ, Жабицкій и хозяйка спросили не надобно ли

ему чего больше. Онъ просилъ сдѣлать огонь и дать ему еще уснуть. Огонь сдѣлали. Ворцель не просыпался.

Я уже не засталъ его. Худое, худое лицо его и тѣло было покрыто бѣлой простыней, я посмотрѣлъ на него, простился и пошелъ за работникомъ скульптора, чтобъ снять маску.

Его послѣднее свиданіе, его величественную агонію я разсказалъ въ другомъ мѣстѣ. ¹⁾ Прибавлю къ ней одну страшную черту.

Ворцель никогда не говорилъ о своей семьѣ. Разъ какъ-то онъ искалъ для меня какое-то письмо; порывшись на столѣ, онъ открылъ ящикъ. Тамъ лежала фотографія какого-то сытаго, молодого человѣка съ офицерскими усами.

— Навѣрное полякъ и патріотъ? сказалъ я больше шутя, чѣмъ спрашивая.

— Это—сказалъ Ворцель, глядя въ сторону и поспѣшно взявъ у меня изъ рукъ портретъ,—это... мой сынъ.

Я узналъ впоследствии, что онъ былъ русскимъ чиновникомъ въ Варшавѣ.

Дочь его вышла замужъ за какого-то графа и жила богато; отца она не знала.

Дни за два до своей кончины онъ диктовалъ Маццини свое завѣщаніе—совѣтъ Польшѣ, поклонъ ей, привѣтъ друзьямъ...

— Теперь все,—сказалъ умирающій; Маццини не покидалъ пера.

— Подумайте,—говорилъ онъ, не хотите ли вы въ эту минуту... Ворцель молчалъ.

— Нѣтъ ли еще лицъ, которымъ бы вы имѣли что-нибудь сказать?

Ворцель понялъ, лицо его подернулось тучей и онъ отвѣтилъ:

— *Мнѣ имъ нечего сказать.*

Я не знаю проклятія, которое ужаснѣе звучало бы и тяжелѣй бы ложилося этихъ простыхъ словъ.

Нѣмцы въ эмиграціи.

Рурс, Кинксель, Schwefelbaende.—Американскій обѣдъ.—The Leader.—Народный сходъ въ—St-Martin's Hall.

Нѣмецкая эмиграція отличалась отъ другихъ своимъ тяжелымъ, скучнымъ и сварливымъ характеромъ. Въ ней не было энтузіастовъ, какъ въ итальянской; не было ни горячихъ головъ, ни горячихъ языковъ, какъ между французами.

¹⁾ Сборникъ Тппогр. Стр. 163, 164.

Другія эмиграціи мало сближались съ нею. Разница въ манерѣ, въ *habitus'ѣ*, удерживала ихъ на нѣкоторомъ разстояніи; французская дерзость не имѣетъ ничего общаго съ нѣмецкой грубостью. Отсутствие общепринятой свѣтскости, тяжелый школьный доктринаризмъ, излишняя фамиллярность, излишнее простодушіе нѣмцевъ затрудняли съ ними сношенія непривычныхъ людей. Они и сами не очень сближались, считая себя, съ одной стороны, гораздо выше прочихъ по научному развитію, а съ другой—чувствуя передъ другими непріятную неловкость провинціала въ столичномъ салонѣ, или чиновника въ аристократическомъ кругу.

Внутри нѣмецкая эмиграція представляла такую же разсыпчатость, какъ и ея родина. Общаго плана у нѣмцевъ не было: единство ихъ поддерживалось взаимной ненавистью и злымъ преслѣдованіемъ другъ друга. Лучшіе изъ нѣмецкихъ изгнанниковъ чувствовали это. Люди энергическіе, люди чистые, люди умные, какъ К. Шурцъ, какъ А. Виллихъ, какъ Рейхенбахъ, уѣзжали въ Америку. Люди кроткіе по нраву прятались за дѣлами, за Лондонскою далью, какъ Фрейлигратъ. Остальные, не исключая двухъ-трехъ вожаковъ, раздирали другъ друга на части съ неутолимымъ остервенѣніемъ, не щадя ни семейныхъ тайнъ, ни самыхъ уголовныхъ обвиненій.

Вскорѣ послѣ моего пріѣзда въ Лондонъ, поѣхалъ я въ Брайтонъ къ Арнольду Руге. Руге былъ коротко знакомъ московскому университетскому кругу сороковыхъ годовъ: онъ издавалъ знаменитые *Hallische Jahrbücher*; мы въ нихъ черпали философскій радикализмъ. Встрѣтился я съ нимъ въ 1849, въ Парижѣ, на неостывшей еще вулканической почвѣ. Въ тѣ времена было не до изученія личностей. Онъ пріѣзжалъ однимъ изъ повѣренныхъ баденскаго инсurreкціоннаго правительства звать Мѣрославскаго, не умѣвшаго по-нѣмецки, начальствовать арміею фрейшерлеровъ и переговаривать съ французскимъ правительствомъ, которое вовсе не хотѣло признавать революціонный Баденъ. Съ нимъ былъ и К. Блиндъ. Послѣ 13 іюня ему и мнѣ пришлось бѣжать изъ Франціи. К. Блиндъ опоздалъ нѣсколькими часами и былъ посаженъ въ Консьержери. Съ тѣхъ поръ я не видалъ Руге до осени 1852. Въ Брайтонѣ я нашелъ его брюзгливымъ старикомъ, озлобленнымъ и злорѣчивымъ. Оставленный прежними друзьями, забытый въ Германіи, безъ вліянія на дѣла, и перессорившись съ эмиграціей,—Руге былъ поглощенъ сплетнями и пересудами. Въ постоянной связи съ нимъ были два-три бездарнѣйшихъ газетныхъ корреспондента, грошевыхъ фельетонистовъ, мелкихъ мародеровъ гласности, которыхъ никогда не видать во время сраженія и всегда послѣ, майскихъ жуковъ политическаго и литературнаго міра, каждый вечеръ съ наслажденіемъ и усердіемъ ко-

пающихся въ выброшенныхъ остаткахъ дня. Съ ними Руге составлялъ статейки, подзадоривалъ ихъ, давалъ имъ матеріалы и сплетничалъ на нѣсколько журналовъ въ Германіи и Америкѣ.

Я обѣдалъ у него и провелъ весь вечеръ. Въ продолженіе всего времени онъ жаловался на эмигрантовъ и сплетничалъ на нихъ.

— Вы не слыхали, — говорилъ онъ, — какъ идутъ дѣла нашего сорокапяти-лѣтняго Вертера съ баронессой? Говорятъ, что, открываясь ей въ любви, онъ хотѣлъ ее увлечь химической перспективой гениальнаго ребенка, который долженъ родиться отъ аристократки и коммуниста? Баронъ не охотникъ до физиологическихъ опытовъ, говорятъ, прогналъ его въ три шеи. Правда ли это?

— Какъ же вы можете вѣрить такимъ нелѣпостямъ?

— Да я и въ самомъ дѣлѣ не очень вѣрю. Живу здѣсь въ захолустьи и слышу только о томъ, что дѣлается въ Лондонѣ, отъ нѣмцевъ; всѣ они, а особенно эмигранты, врутъ. Богъ знаетъ что, всѣ между собой въ ссорѣ, клеветаютъ другъ на друга. Я думаю, это К. распустилъ такой слухъ въ знакъ благодарности за то, что баронесса его выпустила изъ тюрьмы. Вѣдь, онъ бы и самъ за ней поволочился, да воли-то нѣтъ. Жена не даетъ ему баловаться: «Ты, говоритъ, меня отъ перваго мужа отбилъ, такъ ужъ теперь довольно....»

Вотъ образчикъ философской бесѣды Арнольда Руге.

Одинъ разъ онъ измѣнилъ своему діапазону и сталъ съ дружескимъ участіемъ говорить о Бакунинѣ; но на полъ-дорогѣ спохватился и добавилъ: «А впрочемъ, въ послѣднее время онъ какъ-то сталъ опускаться, бредилъ какимъ-то революціоннымъ царизмомъ, панславизмомъ».

Я уѣхалъ отъ него съ тяжелымъ сердцемъ и съ твердымъ намѣреніемъ никогда не возвращаться.

Черезъ годъ онъ читалъ въ Лондонѣ нѣсколько лекцій о философскомъ движеніи въ Германіи. Лекціи были плохи, берлинско-англійскій акцентъ непріятно поражалъ ухо; къ тому же онъ всѣ греческія и римскія имена произносилъ на нѣмецкій манеръ, такъ что англичане не могли догадаться, кто это Юфисъ, Юно и проч.

На вторую лекцію пришли десять человѣкъ; на третью человѣкъ пять, да я съ Ворцелемъ. Руге, проходя по пустой залѣ мимо насъ, сильно сжалъ мнѣ руку и прибавилъ: «Польша и Россія пришли, а Италіи нѣтъ; этого я ни Маццини, ни Саффи не забуду при новомъ возстаніи народовъ». Когда онъ ушелъ, разгнѣванный и грозившій, я посмотрѣлъ на сардоническую улыбку Ворцеля и сказалъ ему: «Россія зоветъ Польшу къ себѣ отобѣ-

дать». — «S'en est fait de l'Italie», замѣтилъ Ворцель, качая головой, и мы пошли.

К. былъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ нѣмецкихъ эмигрантовъ въ Лондонѣ. Человѣкъ безукоризненнаго поведенія, работавшій въ потѣ лица своего, что, какъ ни странно можетъ это показаться, почти вовсе не встрѣчалось въ эмиграціи, К. былъ заклятый врагъ Руге. Почему? Это такъ же трудно объяснить, какъ то, что проповѣдникъ атеизма, Руге, былъ другомъ нео-католика Ронге.

Готфридъ К. былъ одинъ изъ главъ сорока сороковъ лондонскихъ нѣмецкихъ расколовъ. Глядя на него, я всегда дивился, какъ величественная Зевсовская голова попала на плечи нѣмецкаго профессора, и какъ нѣмецкій профессоръ попалъ сначала на поле сраженія, потомъ, раненый, въ прусскую тюрьму; а, можетъ, мудренѣе всего этого то, что все это *и посѣ* Лондонъ, его нисколько не пзмѣнило, и онъ остался нѣмецкимъ профессоромъ. Высокій ростомъ, съ сѣдыми волосами и бородой съ просѣдью, онъ самъ по себѣ имѣлъ величавый и внушающій уваженіе видъ, — но онъ къ нему прибавлялъ какое-то официальное помазаніе, *Salbung*, что-то судейское и архіерейское, торжественное, натянутое и скромно-самодовольное. Оттѣнокъ этотъ въ разныхъ варіаціяхъ встрѣчается у модныхъ пасторовъ, у дамскихъ врачей; особенно у магнетизеровъ, адвокатовъ, спеціально защищающихъ нравственность, у главныхъ waiter'овъ аристократическихъ отелей въ Англіи. К. въ молодости много занимался богословіемъ; освободившись отъ него, онъ остался священникомъ въ приѣмахъ. Это не удивительно: самъ Ламене, подрывая такъ глубоко корни католицизма, сохранилъ до старости видъ аббата. Обдуманная и плавная рѣчь К., правильная и избѣгающая крайностей, шла какой-то назидательной бесѣдой; онъ съ изученнымъ снисхожденіемъ выслушивалъ другого и съ искреннимъ удовольствіемъ самого себя.

Онъ былъ профессоромъ въ Сомерсетъ-гаузѣ и въ нѣсколькихъ высшихъ заведеніяхъ, читалъ публичныя лекціи объ эстетикѣ въ Лондонѣ и Манчестерѣ; этого ему не могли простить голодные и праздношатающіеся въ Лондонѣ освободители тридцати четырехъ нѣмецкихъ отечествъ. К. былъ постоянно обругиваемъ въ американскихъ газетахъ, сдѣлавшихся главнымъ стокомъ нѣмецкихъ сплетенъ, и на тощихъ митингахъ, ежегодно даваемыхъ въ память Роберта Блюма, перваго баденскаго *Schilderhebung'a* и проч., перваго австрійскаго *Schwertfart'a*. Ругали его всѣ его соотечественники, — не имѣвшіе никогда уроковъ, всегда просящіе денегъ въ займы, никогда не отдающіе занятаго и постоянно готовые выдать человѣка за шпіона и вора въ случаѣ отказа. К.

не отвѣчалъ. Писаки лаяли лаяли и стали, по-крыловски, отставать; только еще изрѣдка какая-нибудь нечесанная и шершавая шавка выбѣжить изъ нижняго этажа германской демократіи куда-нибудь въ фельетонъ никѣмъ нечитаемого журнала,—и залется злѣйшимъ лаемъ, который такъ и напомнитъ счастливыя времена братскихъ возстаній въ разныхъ Тюбингенахъ, Дармштатахъ и Брауншвейгъ-Вольфенбюттеляхъ.

Въ домѣ К., на его лекціяхъ, въ его разговорѣ, все было хорошо и умно; но не доставало какого-то масла въ колесахъ, и оттого все вертѣлось туго, безъ скрипа,—но тяжело. Онъ говорилъ всегда интересныя вещи; жена его, извѣстная піанистка, играла прекрасныя вещи,—а скука была смертная. Одни дѣти, прыгая, вносили какой-то больше свѣтлый элементъ; ихъ свѣтленькіе глазенки и звонкіе голоса обѣщали меньше достоинства, но больше масла въ колесахъ ¹⁾.

...Смѣшно національное фанфаронство и у французовъ; но все же они могутъ сказать, «что, нѣкоторымъ образомъ, за челоѣчество кровь проливали», въ то время какъ ученые германцы проливали одни чернила. Притязаніе на какое-то огромное національное значеніе, идущее рядомъ съ доктринерскимъ космополитизмомъ, тѣмъ смѣшнѣе, что оно не предъявляетъ другого права, кромѣ неуѣренности въ уваженіи другихъ, желанія *sich geltend machen*.

— За что насъ поляки не любятъ? говорилъ серьезно въ обществѣ гелертеровъ одинъ нѣмецъ. Тутъ случился журналистъ, умный челоѣкъ, давно поселившійся въ Англіи.

— Ну, это еще не такъ мудро понять, — отвѣчалъ онъ: — вы лучше скажите, кто насъ любитъ? Или за что насъ всѣ ненавидятъ?

— Какъ всѣ ненавидятъ? — спросилъ удивленный профессоръ.

— По крайней мѣрѣ всѣ пограничные: итальянцы, датчане, шведы, русскіе, славяне.

— Позвольте, Herr Doctor, есть же исключенія, — возразилъ обеспокоенный и нѣсколько сконфуженный гелертеръ.

— Безъ малѣйшаго сомнѣнія, и какое исключеніе: Франція и Англія.

Ученый началъ расцвѣтать.

— И знаете отчего?—Франція насъ не боится, а Англія презираетъ.

¹⁾ Здѣсь пропускъ въ рукописи, которая снова начинается слѣдующими словами:... „отвращенія. является горькое чувство зависти. Источникъ этихъ ненавистей доле лежитъ въ сознаніи политической второстепенности *германскаго отечества* и въ притязаніи играть первую роль“.

Положеніе нѣмца дѣйствительно печальное,—но печаль его не интересна. Всѣ знаютъ, что они справиться могутъ съ внутреннимъ и внѣшнимъ врагомъ, но не умѣютъ. Отчего, напримѣръ, единоплеменные ей народы: Англія, Голландія, Швеція, свободны, а нѣмцы нѣтъ? Неспособность тоже обязываетъ, какъ дворянство, кой къ чему, и всего больше къ скромности. Нѣмцы чувствуютъ это и прибѣгаютъ къ отчаяннымъ средствамъ, чтобъ имѣть верхъ; они выдаютъ Англію и Сѣверо-Американскіе Штаты за представителей германизма въ сферѣ государственной прахис. Руге, разгнѣвавшись на Эдгарда Бауера за его пустую брошюру о Россіи (кажется, подъ заглавіемъ Kirche und Staat) и подозрѣвая, что я Э. Бауера ввелъ въ искушеніе, писалъ мнѣ (а потомъ то же самое напечаталъ въ Жерсейскомъ Альманахѣ), что Россія одинъ грубый матеріаль, дикій и неустроенный, котораго сила, слава и красота только отъ того и происходятъ, что германскій геній ей придалъ свой образъ и подобіе.

Каждый русскій, являющійся на сцену, встрѣчаетъ то озлобленное удивленіе нѣмцевъ, которое не такъ давно находили отъ нихъ же наши ученые, желавшіе сдѣлаться профессорами русскихъ университетовъ и русской академіи. Выписнымъ «коллегамъ» казалось это какой-то дерзостью, неблагодарностью и захватомъ чужого мѣста.

Марксъ, очень хорошо знавшій Бакунина, который чуть не сложилъ голову за нѣмцевъ подъ топоромъ саксонскаго палача, выдалъ его за *русскаго шпіона*. Онъ разсказалъ въ своей газетѣ цѣлую исторію, какъ Ж.-Зандъ слышала отъ Ледрю-Роллена, что, когда онъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, то видѣлъ какую-то компрометирующую Бакунина переписку. Бакунинъ тогда сидѣлъ, ожидая приговора, въ тюрьмѣ—и ничего не подозрѣвалъ. Клевета толкала его на эшафотъ и порывала послѣднее общеніе любви между мученикомъ и сочувствующей ему массою.— Другъ Бакунина, А. Рейхель, написалъ въ Nohant къ Ж.-Зандъ и спросилъ ее, въ чемъ дѣло? Она тотчасъ отвѣчала Рейхелю и прислала письмо въ редакцію Марксова журнала, отзываясь съ величайшей дружбой о Бакунинѣ; она прибавляла, что вообще *никогда не говорила* съ Ледрю-Ролленомъ о Бакунинѣ, въ силу чего не могла сказать и сказаннаго въ газетѣ. Марксъ нашелся ловко и помѣстилъ письмо Ж.-Зандъ съ примѣчаніемъ, что статья о Бакунинѣ была помѣщена во время его отсутствія.

Финалъ совершенно нѣмецкій: онъ невозможенъ не только во Франціи, гдѣ point d'honneur такъ щепетилень и гдѣ издатель зарылъ бы всю нечистоту дѣла подъ кучей фразъ, словъ, окolicнословій, нравственныхъ сентенцій, покрылъ бы ее отчаяніемъ qu'on avait surpris sa religion; но даже англійскій издатель,

несравненно меньше церемонный, не смѣлъ бы свалить дѣла на сотрудников¹⁾.

Черезъ годъ послѣ моего пріѣзда въ Лондонъ, Марксова шайка еще разъ возвратилась на гнусную клевету противъ Бакунина.

Въ Англіи, въ этомъ стародавнемъ отечествѣ поврежденныхъ, одно изъ самыхъ оригинальныхъ мѣстъ между ними занимаетъ *Давидъ Уркуардъ*—человѣкъ съ талантомъ и энергіей, эксцентрическій радикалъ изъ консерватизма. Онъ помѣшался на двухъ идеяхъ: во-первыхъ,—что Турція превосходная страна, имѣющая большую будущность, въ силу чего онъ завелъ себѣ турецкую кухню, турецкую баню, турецкіе диваны; во-вторыхъ,—что русская дипломатія, самая хитрая и ловкая во всей Европѣ, подкупаетъ и надуваетъ всѣхъ государственныхъ людей во всѣхъ государствахъ міра сего, и преимущественно въ Англіи. Уркуардъ работалъ годы, чтобъ отыскать доказательства того, что Пальмерстонъ на откупѣ у Петербургскаго кабинета. Онъ объ этомъ печаталъ статьи и брошюры, дѣлалъ предложенія въ парламентѣ, проповѣдывалъ на митингахъ. Сначала на него сердились, отвѣчали ему, бранили его; потомъ привыкли. Обвиняемые и слушав-

¹⁾ Несмотря на то, что они позволяютъ себѣ ужасно много, для ихъ характеристики расскажу одинъ случай, бывший съ Луи Бланомъ. *Теймсъ* напечаталъ, что Луи Бланъ, бывши членомъ временнаго правительства, истратилъ „милліона полтора франковъ казенныхъ денегъ“ на составленіе себѣ партіи между работниками. Луи Бланъ отвѣчалъ редакціи, что она имѣетъ невѣрные свѣдѣнія о немъ, что, при пущемъ желаніи, онъ не могъ ни украсть, ни истратить полтора милліона франковъ, потому что во все время его завѣдыванія Люксембургской комиссіей у него не было въ распоряженіи болѣе 30.000 франковъ. *Теймсъ* не помѣтилъ его отвѣта. Луи Бланъ отправился въ редакцію самъ и потребовалъ свиданія съ главнымъ издателемъ. Ему отвѣчали, что главного издателя *вовсе нѣтъ*, что *Теймсъ* издается какъ-то артелью. Луи Бланъ требовалъ отвѣтственнаго артельщика: ему отвѣчали, что никто лично ни за что не отвѣчаетъ.

— Къ кому же, наконецъ, я долженъ обратиться, у кого требовать отчетъ въ томъ, что мое письмо въ дѣлѣ, касающемся до моего добраго имени, не было имѣнено?

— Здѣсь,—сказалъ ему одинъ изъ чиновниковъ при *Теймсъ*. — не такъ, какъ во Франціи; у насъ нѣтъ ни *Gérant responsable*, ни законнаго обязательства помѣщать отвѣты.

— Рѣшительно нѣтъ отвѣтственнаго редактора?—спросилъ Луи Бланъ.

— Нѣтъ.

— Очень, очень жаль. — замѣтилъ Луи Бланъ, зло улыбаясь: — что нѣтъ главнаго редактора: а то я непременно надавалъ бы ему пощечинъ. Прощайте, господа.

— Good day, Sir, good day, God bless you!—повторилъ чиновникъ при *Теймсъ*, учтиво и спокойно отворяя двери.

шіе стали улыбаться, не обращали вниманія; наконецъ, разразились общимъ хохотомъ.

На одномъ митингѣ, въ одномъ изъ большихъ центровъ, Уркуардъ до того увлекся своей *idée fixe*, что, представляя Кошута человѣкомъ невѣрнымъ, онъ прибавилъ, что, если Кошутъ и не подкупленъ Россіей, то находится подъ вліяніемъ человѣка, явнымъ образомъ работающаго въ пользу Россіи, и *этотъ человекъ Маццини!* Уркуардъ, какъ Дантовская Франческа, не продолжалъ больше своего чтенія въ этотъ день. При имени Маццини поднялся такой гомерическій смѣхъ, что самъ Давидъ замѣтилъ, что итальянскаго Голіаѳа онъ не сбилъ своей пращею, а себѣ свихнулъ руку.

Человѣкъ, думавшій и открыто говорившій, что, отъ Гизо и Дерби, до Эспартеро, Кобдена и Маццини, все русскіе агенты, былъ кладъ для шайки непризнанныхъ нѣмецкихъ государственныхъ людей, окружавшихъ неузнаннаго генія первой величины, Маркса. Они изъ своего неудачнаго патріотизма и страшныхъ притязаній сдѣлали какую-то Hochschule клеветы и запоздრѣванія всѣхъ людей, выступавшихъ на сцену съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ они сами. Имъ недоставало честнаго имени. Уркуардъ его далъ. Съ Уркуардомъ и публикой питейныхъ домовъ вошли въ Morning Advertiser марксисты и ихъ друзья. Гдѣ пиво,—тамъ и нѣмцы.

Однимъ добрымъ утромъ, Morning Advertiser вдругъ поднялъ вопросъ: «Былъ ли Бакунинъ русскій агентъ или нѣтъ?» Само собою разумѣется, отвѣчалъ на него положительно ¹⁾. Поступокъ этотъ былъ до того гнусенъ, что возмущилъ даже такихъ людей, которые не принимали особеннаго участія въ Бакунинѣ.

Оставить это дѣло такъ было невозможно. Какъ ни досадно было, что приходилось подписать коллективную протестацію съ Головинымъ (объ этомъ субъектѣ будетъ особая глава), но выбора не было. Я пригласилъ Ворцеля и Маццини присоединиться къ нашему протесту: они тотчасъ согласились. Казалось бы, что, послѣ свидѣтельства председателя польской демократической централизаціи и такого человѣка, какъ Маццини, все кончено.

Но нѣмцы не остановились на этомъ.

¹⁾ Уркуардъ имѣлъ тогда большое вліяніе на Morning Advertiser. — одинъ изъ журналовъ, самымъ страннымъ образомъ поставленныхъ. Журнала этого нѣтъ ни въ клубахъ, ни у большихъ стещіонеровъ, ни на столѣ у порядочныхъ людей; однако же онъ имѣетъ большую циркуляцію, чѣмъ Daily News, и только въ последнее время дешевые листы, въ родѣ Daily Telegraph, Morning Star и Evening Star отодвинули Morning Advertiser на второй планъ. Явленіе чисто англійское. Morning Advertiser журналъ питейныхъ домовъ, и нѣтъ кабака, въ которомъ бы его не было.

Они затанули скучнѣйшую полемику съ Головинымъ, который, съ своей стороны, поддерживалъ ее для того, чтобъ собою занимать публику лондонскихъ кабаковъ...

Мой протестъ и то, что я писалъ къ Маццини и Ворцелю, должно было обратить на меня гнѣвъ Маркса. Вообще, то было время, въ которое нѣмцы спохватились и стали меня окружать такою же грубою непріязнью, какъ прежде окружали грубымъ ухаживаніемъ; они уже не писали мнѣ панегириковъ, какъ во время выхода «*Vom Andern Ufer*» и «*Писемъ изъ Италіи*», а отзывались обо мнѣ, «какъ о дерзкомъ варварѣ, осмѣливающемся смотрѣть на Германію сверху внизъ» ¹⁾. Одинъ изъ марксовскихъ гезеллей написалъ цѣлую книжку противъ меня и отослалъ Гофману и Кампе, которые отказались ее печатать. Тогда онъ напечаталъ (что я узналъ гораздо позже) ту статейку въ Лидерѣ, о которой шла рѣчь. Имя его я не припомню.

Къ марксистамъ присоединился вскорѣ и рыцарь съ опущеннымъ забраломъ, *Карлъ Блиндъ*, тогда *famulus* Маркса, теперь его врагъ. Въ его корреспонденціи въ нью-іоркскіе журналы было сказано по поводу обѣда, который давалъ намъ американскій консулъ въ Лондонѣ: «На этомъ обѣдѣ былъ русскій, именно А. Герценъ, выдающій себя за социалиста и республиканца. Герценъ живетъ въ близкихъ сношеніяхъ съ Маццини, Кошутомъ и Саффи. Со стороны людей, стоящихъ во главѣ движенія, чрезвычайно неосторожно допускать русскаго въ свою близость. Желаемъ, чтобы имъ не пришлось слишкомъ поздно раскаяться въ этомъ».

Самъ ли Блиндъ это писалъ, или кто изъ его помощниковъ,—я не знаю; текста у меня передъ глазами нѣтъ, но за смыслъ я отвѣчаю.

При этомъ надобно замѣтить, что, какъ со стороны К. Блинда, такъ и со стороны Маркса, котораго я совсѣмъ не зналъ, вся эта ненависть была чисто платоническая, такъ сказать, безличная: меня приносили на жертву фатерланду изъ патріотизма. Въ американскомъ обѣдѣ, между прочимъ, ихъ бѣсило отсутствіе нѣмца,—за это они наказали русскаго ²⁾.

¹⁾ Это печаталъ нѣкто Колачекъ въ одномъ американскомъ журналѣ, по поводу второго французскаго изданія: *Du développement des idées révolutionnaires en Russie*. *Пикантное* этого состоитъ въ томъ, что *весь текстъ* этой книги былъ прежде напечатанъ по нѣмцки въ *Deutsche Jahrbücher*. издаваемыхъ тѣмъ же самымъ *Колачекомъ*!

²⁾ Отсутствіе нѣмца на обѣдѣ напоминаетъ мнѣ похороны матери Гарибальди. Она умерла въ Ниццѣ въ 1851 году. Друзья ея сына пригласили изгнанниковъ разныхъ странъ нести покойницу; въ томъ числѣ былъ приглашенъ и я.

Обѣдъ этотъ, надѣлавшій много шуму по ту и другую сторону Атлантики, случился такимъ образомъ. Президентъ Пирсъ будировалъ старыя европейскія правительства,—долею для того, чтобъ пріобрѣсти больше популярности дома; долею, чтобъ отвести глаза всѣхъ радикальныхъ партій въ Европѣ отъ главнаго алмаза, на которомъ ходила вся его политика: отъ незамѣтнаго упроченія и распространенія невольничества.

Это было время посольства *Суле* въ Испанію и сына *Р. Оуэна* въ Неаполь, вскорѣ послѣ дуэли Суле съ Тюрго и его настоятельнаго требованія проѣхать, вопреки приказу Наполеона, черезъ Францію въ Брюссель: въ проѣздѣ этомъ императоръ французовъ отказать не рѣшился. «Мы посылаемъ пословъ»,—говорили американцы—«не къ царямъ, а къ народамъ». Отсюда идея дать дипломатическій обѣдъ врагамъ всѣхъ существующихъ правительствъ.

Я не имѣлъ понятія о готовящемся обѣдѣ; получаю вдругъ приглашеніе отъ Саундерса, американскаго консула. Въ приглашеніи лежала небольшая записочка отъ Маццини: онъ просилъ меня, чтобъ я не отказывался, что обѣдъ этотъ дѣлается съ цѣлью кой-кого подразнить и показать симпатію кой-кому другому.

На обѣдѣ были Маццини, Кошутъ, Ледрю-Ролленъ, Гарибальди, Орсини, Ворцель, Пульскій и я. Изъ англичанъ одинъ радикальный членъ парламента, Жозуа Вомсей; затѣмъ посолъ Бюхананъ и всѣ посольскіе чиновники.

Надобно замѣтить, что одна изъ цѣлей *краснаго* обѣда, даннаго защитникомъ *чернаго* рабства, состояла въ сближеніи Кошута съ Ледрю-Ролленомъ. Дѣло было не въ томъ, чтобы ихъ примирить: они никогда не ссорились, а чтобы ихъ офиціально познакомить. Ихъ незнакомство случилось такъ. Ледрю-Ролленъ былъ уже въ Лондонѣ, когда Кошутъ пріѣхалъ изъ Турціи. Возникъ вопросъ, кому первому ѣхать съ визитомъ: Ледрю-Роллену къ Кошуту, или Кошуту къ Ледрю-Роллену. Вопросъ этотъ сильно занималъ ихъ друзей, сподвижниковъ, ихъ дворъ, гвардію и чернь. Pro и contra были значительныя. Одинъ былъ диктаторомъ Венгріи; другой не былъ диктаторомъ, но зато *французъ*. Одинъ былъ почетный гость Англіи, левъ первой величины, на вершинѣ своей славы; другой былъ въ Англіи какъ дома, а визиты дѣлаются вновь пріѣзжающими. Словомъ, вопросъ этотъ, какъ квадратура круга или *perpetuum mobile*, былъ найденъ

Когда мы собрались у сѣней дома, оказалось, что приглашенные были: два римлянина (одинъ изъ нихъ былъ Орсини), два ломбардца, два неаполитанца, два французъ, Хоецкій—полякъ и я—русскій. „Господа,—сказалъ,—Хоецкій,—L'Europe entière est représentée; même il y manque un Allemand!“

обоими дворами неразрѣшимымъ... А потому и рѣшили тѣмъ, чтобы не ѣздить ни тому, ни другому, предоставляя дѣло встрѣчи воли божіей и случаю. Года три или четыре Ледрю-Ролленъ и Кошутъ, живя въ одномъ городѣ, имѣя общихъ друзей, общіе интересы и одно дѣло, должны были игнорировать другъ друга, а случая никакого не было. Мадцини рѣшился помочь судьбѣ.

Передъ обѣдомъ, послѣ того какъ Бюхананъ уже пережалъ намъ всѣмъ руки и изъяснилъ каждому свое полное удовольствіе, что познакомился лично,—Мадцини взялъ Ледрю-Роллена подъ руку; въ то же самое время Бюхананъ сдѣлалъ такой же маневръ съ Кошутомъ, и, кротно подвигая виновниковъ, привели ихъ почти къ столкновенію и назвали ихъ другъ другу. Новые знакомые не остались въ долгу и осыпали другъ друга комплиментами—съ восточнымъ, цвѣтистымъ оттѣнкомъ со стороны великаго мадьяра, и съ сильнымъ колоритомъ рѣчей конвента со стороны великаго галла...

Я стоялъ во время всей этой сцены у окна съ Орсини; взглянувъ на него, я былъ до смерти радъ, видя легкую улыбку больше въ его глазахъ, чѣмъ на губахъ. «Послушайте,—сказалъ я ему,—какой мнѣ вздоръ пришелъ въ голову: въ 1847 году я видѣлъ въ Парижѣ въ историческомъ театрѣ какую-то глупѣйшую военную пьесу, въ которой главную роль играли дымъ и стрѣльба, вторую—лошади, пушки и барабаны. Въ одномъ изъ дѣйствій полководцы обѣихъ армій выходятъ для переговоровъ съ противоположныхъ сторонъ сцены, храбро идутъ навстрѣчу другъ другу, и, подойдя, одинъ снимаетъ шляпу и говоритъ:

Souvaroff—Massena!

На что другой ему отвѣчаетъ тоже безъ шляпы:

Massena—Souvaroff!

— Я самъ едва удержался отъ смѣха,—сказалъ мнѣ Орсини съ совершенно серьезнымъ лицомъ.

Хитрый старикъ Бюхананъ, мечтавшій тогда уже, несмотря на семидесятилѣтній возрастъ, о президентствѣ, и потому говорившій постоянно о счастіи покоя, объ идиллической жизни и о своей дряхлости, любезничалъ съ нами такъ, какъ любезничалъ въ Зимнемъ дворцѣ съ Орловымъ и Бенкендорфомъ, когда былъ посломъ при Николаѣ. Съ Кошутомъ и Мадцини онъ былъ прежде знакомъ; другимъ онъ говорилъ очень хорошо отфланнныя комплименты, напоминавшіе гораздо больше тертаго дипломата, чѣмъ суроваго гражданина демократической республики. Мнѣ онъ ничего не сказалъ, кромѣ того, что онъ долго былъ въ Россіи и вывезъ убѣжденіе, что она имѣетъ великую будущность. Я ему на это, разумѣется, ничего не сказалъ, а замѣтилъ, что помню

эго со временъ коронаціи Николая: «Я былъ мальчикомъ, но вы были такъ замѣтны въ вашемъ простомъ черномъ фракѣ и въ круглой шляпѣ среди толпы раззолоченной ливрейной знати» ¹⁾).

Гарибальди онъ замѣтилъ: «У васъ такая же слава въ Америкѣ, какъ въ Европѣ; только въ Америкѣ еще прибавляется новый титулъ: тамъ васъ знаютъ за отличнаго моряка».

За десертомъ, когда m-me Sanders уже вышла и подали сигары съ еще большимъ количествомъ вина, Бюхананъ, сидѣвшій противъ Ледрю-Роллена, сказалъ ему, «что у него былъ знакомый въ Нью-Йоркѣ, говорившій, будто онъ готовъ бы былъ съѣздить изъ Америки во Францію только для того, чтобъ познакомиться съ нимъ».

По несчастію, Бюхананъ какъ-то шамшилъ, а Ледлю-Ролленъ плохо понималъ по-англійски; въ силу чего вышло презабавное *qui pro quo*. Ледрю-Ролленъ думалъ, что Бюхананъ говоритъ это отъ себя и, съ французскимъ *effusion de reconnaissance*, сталъ его благодарить—и протянулъ ему черезъ столъ свою огромную руку. Бюхананъ принялъ благодарность и руку и, съ тѣмъ невозможнымъ спокойствіемъ въ трудныхъ обстоятельствахъ, съ которыми англичане и американцы тонуть съ кораблемъ или теряютъ половину состоянія,—замѣтилъ ему: «I think—it is a mistake,—это не я такъ думалъ, это одинъ изъ моихъ хорошихъ пріятелей въ New-York'ѣ».

Праздникъ кончился тѣмъ, что поздно вечеромъ, когда Бюхананъ уѣхалъ, а вслѣдъ за нимъ не счелъ болѣе возможнымъ остаться и Кошутъ, и отправился съ своимъ министромъ безъ портфеля,—Сандерсъ сталъ умолять насъ снова сойти въ столовую, гдѣ онъ хотѣлъ самъ приготовить какой-то американскій пуншъ изъ стараго кентукійскаго виски. Къ тому же, Сандерсу тамъ хотѣлось вознаграждать себя за отсутствіе тостовъ за будущую всемірную (бѣлую) республику и т. д., которыхъ, должно быть, осторожный Бюхананъ не допускалъ. За обѣдомъ пили тосты двухъ-трехъ гостей и его, безъ рѣчей.

Пока онъ жегъ какой-то алкоголь и приправлялъ его всякой всячиной,—онъ предложилъ хоромъ *отслужить* марсельезу. Оказалось, что музыку ея порядкомъ зналъ одинъ Ворцель—зато у него было *extinction* голоса.—да кое-какъ Мадцини, и пришлось звать американку Сандерсъ, которая сыграла марсельезу на гитарѣ.

Между тѣмъ ея супругъ, окончивъ свою стряпню, попробовалъ ее, остался доволенъ и разлилъ намъ въ большія чайныя чашки.

¹⁾ Я ни слова тогда не говоритъ по-англійски. Бюхананъ плохо понималъ по-французски. Ворцель ему переводилъ мои слова.

Не опасаясь ничего, я сильно хлебнулъ—и въ первую минуту не могъ перевести духа. Когда я пришелъ въ себя и увидѣлъ, что Ледрю-Ролленъ собирался также усердно хлебнуть, я остановилъ его словами:

— Если вамъ дорога жизнь, то вы осторожнѣе обращайтесь съ кентукійскимъ прохладительнымъ; я русскій — да и то опалилъ себѣ нѣбо, горло и весь пищепріемный каналъ,— что же будетъ съ вами? Должно быть, у нихъ въ Кентуки пуншъ дѣлается изъ краснаго перца, настоящаго на купоросномъ маслѣ.

Американецъ радовался, иронически улыбаясь, слабости европейцевъ. Подражатель Митридата съ молодыхъ лѣтъ, я одинъ подаль пустую чашку и попросилъ еще. Это химическое сродство съ алкоголемъ ужасно подняло меня въ глазахъ консула.

— Да, да, говорилъ онъ, только въ Америкѣ и въ Россіи люди и умѣютъ пить.

Да, есть и еще больше лестное сходство, подумалъ я, только въ Америкѣ и въ Россіи умѣютъ крѣпостныхъ засѣкать до смерти.

Пуншемъ въ 70% окончился этотъ обѣдъ, испортившій больше крови нѣмецкимъ фолликуляріямъ, чѣмъ желудокъ обѣдавшимъ.

За трансъ-атлантическимъ обѣдомъ слѣдовала попытка *международнаго комитета*:—послѣднее усиліе чартистовъ и изгнанниковъ соединенными силами заявить свою жизнь и свой союзъ. Мысль этого комитета принадлежала Эрнесту Джонсу. Онъ хотѣлъ оживить дряхлѣвшій не по лѣтамъ чартизмъ,—сближать англійскихъ работниковъ съ французскими социалистами. Общественнымъ актомъ этой *entente cordiale* назначенъ былъ митингъ—въ воспоминаніе 24 февраля 1848.

Международный комитетъ избралъ между десятками другихъ и меня своимъ членомъ. Меня просили сказать рѣчь о Россіи; я поблагодарилъ ихъ письмомъ, рѣчи говорить не хотѣлъ; тѣмъ бы и заключилъ, если-бъ Марксъ и Головинъ не вынудили меня явиться на зло имъ на трибунѣ St.-Martin's Hall. Сначала Джонсъ получилъ письмо—отъ какого-то нѣмца, протестовавшаго противъ моего избранія. Онъ писалъ, что я извѣстный панславистъ, что я писалъ о необходимости завоеванія Вѣны, которую называлъ славянскою столицей; что я проповѣдую русское крѣпостное состояніе, какъ идеаль для земледѣльческаго населенія. Во всемъ этомъ онъ ссыался на мои письма къ Линтону (*La Russie et le vieux monde*). Джонсъ бросилъ безъ вниманія патристическую клевету.

Но это письмо было только авангардною рекогносцировкою. Въ слѣдующее засѣданіе комитета Марксъ объявилъ, что онъ

считаетъ мой выборъ несомѣстнымъ съ цѣлью комитета и предлагалъ выборъ уничтожить. Джонсъ замѣтилъ, что это не такъ легко, какъ онъ думаетъ, что комитетъ, избравши лицо, которое вовсе не заявляло желанія быть членомъ, и сообщивши ему официально избраніе, не можетъ измѣнить рѣшеній по желанію одного члена, что пусть Марксъ формулируетъ свои обвиненія, и онъ ихъ предложить теперь же на обсужденіе комитета.

На это Марксъ сказалъ, что онъ меня лично не знаетъ, что онъ не имѣетъ никакого частнаго обвиненія, но находитъ достаточнымъ и того, что я русскій, и притомъ *русскій, который во всемъ, что писалъ, поддерживаетъ Россію*, что, наконецъ, если комитетъ не исключить меня, то онъ, Марксъ, со всѣми своими будетъ принужденъ выйти.

Французы, поляки, итальянцы, челоѣка два-три нѣмцевъ и англичане вотировали за меня. Марксъ остался въ страшномъ меньшинствѣ. Онъ всталъ и, со своими пріятелями, оставилъ комитетъ, куда болѣе не возвращался.

Побитые въ комитетѣ, марксисты отретировались въ свою твердыню—въ *Morning Advertiser*. Герстъ и Блакетъ издали англійскій переводъ одного тома «Былого и Думъ», включивъ въ него «Тюрьму и Ссылку»; чтобъ товаръ продать лицомъ, они не обинуясь поставили: «*My exil in Siberia*» на заглавномъ листѣ *Express* первый замѣтилъ это фанфаронство. Я написалъ къ издателямъ письмо, и другое въ *Express*. Герстъ и Блакетъ объявили, что заглавіе было сдѣлано ими, что въ оригиналѣ его нѣтъ, но что Гофманъ и Кампе поставили въ нѣмецкомъ переводѣ тоже «въ Сибири». *Express* все это напечаталъ. Казалось, дѣло было кончено. Но *Morning Advertiser* началъ меня шпиговать въ недѣлю раза два-три. Онъ говорилъ, что я слово *Сибирь* употребилъ для лучшаго сбыта книги, что я протестовалъ черезъ *пять дней* послѣ выхода книги, т. е., давши время сбыту изданіе. Я отвѣчалъ, они сдѣлали рубрику: «*Case of M. Herzen*», какъ помѣщаютъ дополненіе къ убійствамъ или уголовнымъ процессамъ. Адвертейзеровскіе нѣмцы не только сомнѣвались въ Сибири, приписанной книгопродавцемъ, но и въ самой ссылкѣ. «Въ Вяткѣ и Новгородѣ г. Герценъ былъ на императорской службѣ; гдѣ же и когда онъ былъ въ ссылкѣ?»

Наконецъ, интересъ изсякъ, и *Morning Advertiser* забылъ меня.

Прошло четыре года.—Началась итальянская война. Красный Марксъ избралъ самый черно-желтый журналъ въ Германіи, «Аугсбургскую газету», и въ ней сталъ выдавать (анонимно) Карла Фогта за агента принца Наполеона, Кошута съ Телеки, Пульскаго и пр., какъ продавшихся Бонапарту. Вслѣдъ за тѣмъ, онъ напечаталъ: «Герценъ, по самымъ вѣрнымъ источникамъ,

получаетъ большія деньги отъ Наполеона. Его близкія сношенія съ Palais-Royal'емъ были и прежде не тайной». Я не отвѣчалъ; но зато былъ почти обрадованъ, когда одинъ тощій лондонскій журналъ помѣстилъ статейку, въ которой говорилъ (несмотря на то, что я десять разъ отрицалъ это), будто я «рекомендую Россіи завоевать Вѣну и считаю ее столицей славянскаго міра».

Мы сидѣли за обѣдомъ, — человекъ десять; кто-то разсказывать изъ газетъ о злодѣйствахъ, сдѣланныхъ Урбаномъ со своими пандурами возлѣ Комо. Кавуръ обнародовалъ ихъ. Что касается до Урбана, въ немъ сомнѣваться было грѣшно. Кондотьеръ безъ роду и племени, онъ гдѣ-то родился на бивакахъ и выросъ въ какихъ-то казармахъ: пандуръ и грабитель *par droit de conquête et par droit de naissance*, fille du régiment мужского пола, и по всему свирѣпый солдатъ. Дѣло было какъ-то около Мадженты и Сольферино. Нѣмецкій патріотизмъ былъ тогда въ періодъ злѣйшей ярости; классическая любовь къ Италіи, патріотическая ненависть къ Австріи, — все исчезло передъ *патосомъ* національной гордости, хотѣвшей во что бы то ни стало удержатъ чужой «квадрилатеръ». Баварцы собирались итти, несмотря на то, что ихъ никто не посылалъ, никто не звалъ, никто не пускалъ. Гремя ржавыми саблями бефрейюнгсъ-крига, они запаивали пивомъ и засыпали цвѣтами всякихъ кроатовъ и далматовъ, шедшихъ бити итальянцевъ за Австрію и за свое собственное рабство. Либеральный изгнанникъ Бухеръ и какой-то, должно быть побочный потомокъ Барбароссы, Ротбартусъ протестовали противъ всякаго притязанія иностранцевъ (т. е., итальянцевъ) на Венецію.

При этихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ и былъ, между супомъ и рыбой, поднятъ несчастный вопросъ о злодѣйствахъ Урбана.

— Ну, если это не правда? — замѣтилъ нѣсколько поблѣднѣвшій докторъ М.-С. изъ Мекленбурга по тѣлесному и Берлина по духовному рожденію.

— Однако же нота Кавура...

— Ничего не доказываетъ.

— Въ такомъ случаѣ, замѣтилъ я, можетъ, подъ Маджентой австрійцы разбили на голову французовъ: вѣдь, никто изъ насъ не былъ тамъ.

— Это другое дѣло: тамъ тысячи свидѣтелей, а тутъ какіе-то итальянскіе мужики.

— Да что за охота защищать австрійскихъ генераловъ?... Развѣ мы ихъ и прусскихъ офицеровъ не знаемъ по 1848 г.: эти проклятые юнкеры, съ дерзкимъ лицомъ, надменнымъ видомъ...

— Господа, — замѣтилъ М.-С. — прусскихъ офицеровъ не слѣдуетъ оскорблять и ставить на ряду съ австрійскими.

— Такихъ тонкостей мы не знаемъ; всѣ они несносны, противны. Мнѣ кажется, что всѣ они, да и наши лейбъ-гвардейцы въ добавокъ, такіе же...

— Кто обижаетъ прусскихъ офицеровъ, обижаетъ прусскій народъ: они съ нимъ неразрывны, и М.-С., совсѣмъ блѣдный, отставилъ въ первый разъ отроду дрожащей рукой стаканъ налитого пива.

— Нашъ другъ М.-С.—величайшій патріотъ Германіи, сказалъ я, все еще полусуя, — онъ на алтарь отечества приноситъ больше чѣмъ жизнь, больше, чѣмъ обожженную руку; онъ жертвуетъ здравымъ смысломъ.

— И нога его не будетъ въ домъ, гдѣ обижаютъ германскій народъ!

Съ этими словами мой докторъ философіи всталъ, бросилъ на столъ салфетку, какъ матеріальный знакъ разрыва, и мрачно вышелъ... Съ тѣхъ поръ мы не видѣлись.

А, вѣдь, мы съ нимъ пили на «Du» у Стеели, Gendarmen-Platz, въ Берлинѣ, въ 1847 году, и онъ былъ самый лучшій и самый счастливый Bummel изъ всѣхъ, видѣнныхъ мною. Не вѣзжая въ Россію, онъ какъ-то всю жизнь прожилъ съ русскими, и біографія его не лишена для насъ интереса.

Какъ всѣ нѣмцы, не работающіе руками, М.-С. учился древнимъ языкамъ очень долго и подробно; зналъ ихъ очень хорошо и много. Его образованіе было до того упорно классическое, что онъ не имѣлъ времени никогда заглянуть ни въ какую книгу объ естествовѣдѣніи, хотя естественныя науки уважалъ, зная, что Гумбольдтъ ими занимался всю жизнь. М.-С., какъ всѣ филологи, умеръ бы отъ стыда, если-бъ онъ не зналъ какой-нибудь книжонки средневѣковой, или классическую дрянь, и не обинуясь признавался, напр., въ совершенномъ невѣдѣніи физики, химіи и пр. Страстный музыкантъ безъ Anschlag'a и голоса, платоническій эстетикъ, неумѣвшій карандаша взять въ руки и изучавшій картины и статуи. Въ Берлинѣ М.-С. началъ свою карьеру глубокомысленными статьями объ игрѣ талантливыхъ, но все неизвѣстныхъ, берлинскихъ актеровъ въ «Шпенеровой газетѣ», и былъ страстнымъ любителемъ спектакля. Театръ, впрочемъ, не мѣшалъ ему любить вообще всѣ зрѣлища, отъ звѣринцевъ, съ пожилыми львами и умывающимся бѣлымъ медвѣдемъ, и фокусниковъ, до панорамъ, телятъ съ двумя головами, восковыхъ фигуръ, ученыхъ собакъ и пр.

Въ жизнь мою я не видывалъ такого *дѣятельнаго лѣнтяя*, такого вѣчно занятого праздношатающагося. Утомленный, въ поту, въ пыли, измятый, затасканный, приходилъ онъ въ одиннадцатомъ часу вечера и бросался на диванъ... Вы думаете, у

себя въ комнатѣ? совсѣмъ нѣтъ. — въ учено-литературной бирь-
кнейпѣ, у Стеели, и принимался за пиво. Выпивалъ онъ его
нечеловѣческое количество, безпрестанно стучалъ крышкой кружки,
и Jungfer уже знала безъ словъ и просьбы, что слѣдуетъ нести
другую. Здѣсь, окруженный отставными актерами и еще непри-
нятыми въ литературу писателями, проповѣдывалъ М.-С. часы
о Каульбахѣ и Корнелиусѣ, — о томъ, какъ пѣлъ въ этотъ вечеръ
Лаблашъ въ королевской оперѣ, о томъ, какъ мысль губить сти-
хотвореніе и портить картину. убивая ея непосредственность...
Вдругъ онъ вскакивалъ, вспомнивъ, что долженъ завтра въ во-
семь часовъ утра бѣжать къ Пассаланьи, въ египетскій музей
смотрѣть новую мумію; и непременно въ восемь часовъ, потому
что въ половинѣ десятаго одинъ пріятель обѣщалъ сводить его
въ конюшню англійскаго посланника показать, какъ англичане
отлично содержать лошадей. Схваченный такимъ воспоминаніемъ,
М.-С. извиняясь, наскоро выпивалъ кружку, забывая то очки, то
платокъ, то крошечную табакерку, бѣжалъ въ какой-то переулочъ
за Шпре, подымался на четвертый этажъ и торопился выпасться,
чтобъ не заставить дожидаться мумію, три-четыре тысячи лѣтъ
покойшуюся, не нуждаясь ни въ Пассаланьи, ни въ док-
торѣ М.-С.

Безъ гроша денегъ и тратя послѣднія на Cerevisia и Circenses,
М.-С. жилъ на антоніевой пищѣ, храня внутри сердца непреодо-
лимую любовь къ кухоннымъ рѣдкостямъ и столовымъ лаком-
ствамъ. Зато, когда фортуна ему улыбалась и когда его несчаст-
ная любовь могла перейти въ реальную, — онъ торжественно до-
казывалъ, что онъ не только уважалъ категорію качества, но
столько же отдавалъ справедливости категоріи количества.

Судьба, рѣдко балующая нѣмцевъ, особенно идущихъ по фи-
лологической части, сильно баловала М.-С. Онъ случайно попалъ
въ пассатное русское общество, и при томъ молодыхъ и образо-
ванныхъ русскихъ. Оно завертѣло его, закармило, запоило. Это
было лучшее, поэтическое время его жизни, Genussjahre! Лица
мѣнялись, пиръ продолжался. Безсмѣннымъ былъ одинъ М.-С.
Кого и кого, съ 1848 года, не водилъ онъ по музеямъ, кому не
объяснялъ Каульбаха, кого не водилъ въ университетъ? Тогда
была эпоха германопоклоненія въ пущемъ разгарѣ; русскій оста-
навливался съ почтеніемъ въ Берлинѣ, тронутый тѣмъ, что по-
пираетъ философскую землю, которую Гегель попиралъ, поми-
налъ его и учениковъ его съ М.-С. языческими возліаніями и
страсбургскими пирогами. Эти событія могли разстроить все
міросозерцаніе какого-угодно нѣмца. Нѣмецъ не можетъ однимъ
синтезисомъ обнять страсбургскіе пироги и шампанское съ изу-
ченіемъ Гегеля, идущимъ даже до брошюръ Маргейнеке, Бадера,

Вердера, Шиллера, Розенкранца и всѣхъ въ жизни усопшихъ знаменитостей сороковыхъ годовъ. У нихъ все еще,—если страбургскій пирогъ—то банкирь,—если Chamagner—то юнкеръ.

М.-С. довольный, что нашелъ такое вкусное сочетаніе науки съ жизнью, сбился съ ногъ; покоя ему не было ни одного дня. Русская семья, усаживаясь въ почтовую карету (или, потомъ, въ вагонъ), чтобъ ѣхать въ Парижъ, перебрасывала его, какъ ракету или воланъ, къ русской семьѣ, подъѣзжавшей изъ Кенигсберга или Штетина. Съ проводовъ онъ торопился на встрѣчу,—и горькое пиво разлуки было нагоняемо сладкимъ пивомъ новаго знакомства. Виргилій философскаго чистилища, онъ вводилъ сѣверныхъ неофитовъ въ берлинскую жизнь и разомъ открывалъ имъ двери въ святилище des reinen Denkens und des deutschen Kneipens. Чистые душою соотечественники наши оставляли съ увлеченіемъ и порядочное вино, и прибранные комнаты отелей, чтобы бѣжать съ М.-С. въ душную полъ-пивную. Они всѣ были внѣ себя отъ буршикозной жизни, и скверный табачный дымъ Германіи имъ сладокъ и пріятенъ былъ.

Въ 1847 году и я дѣлилъ эти увлеченія, и мнѣ казалось, что я какъ-то выше становлюсь въ общественномъ значеніи отъ того, что по вечерамъ встрѣчалъ въ полъ-пивной Ауэрбаха, читавшаго каррикатурно Шиллерову Bürgschaft и рассказывавшаго смѣшныя анекдоты, въ родѣ того, какъ русскій генераль покупалъ для двора какія-то картины въ Дюссельдорфѣ. Генераль былъ не совсѣмъ доволенъ величиной картины и думалъ, что живописецъ хочетъ его обмѣрить.

«*Путь*,—говоритъ онъ,—*аберъ клейнъ. Кёйзеръ liebt grosse Bilder, Кёйзеръ sehr klug; Gott klüger, aber Кёйзеръ noch jung*» и т. п. Кромѣ Ауэрбаха, тамъ бывали два-три берлинскихъ (что было въ этомъ звукѣ для русскаго уха сороковыхъ годовъ!) профессора, одинъ изъ нихъ въ какомъ-то сюртукѣ на *военный* манеръ, и какой-то спившійся актеръ, который былъ недоволенъ современнымъ сценическимъ искусствомъ и считалъ себя неузнаннымъ гениемъ. Этого неоцѣннаго Тальму заставляли всякій вечеръ пѣть куплеты «о покушеніи Фіески на Людовика Филиппа» и, немного потише, о выстрѣлѣ чеха въ прусскаго короля.

Hatte Keiner je so Pech
Wie der Bürgermeister Tschech,
Denn er schoss der Landesmutter
Durch den Rock ins Unterfutter.

Вотъ она свободная - то Европа!.. вотъ онѣ — Аѳины на Шпре! И какъ мнѣ было жаль друзей, оставшихся на Тверскомъ бульварѣ и на Невскомъ проспектѣ.

Зачѣмъ износились все эти чувства непочатости, сѣверной свѣжести и невѣдѣнія, удивленія, поклоненія? Все это оптический обманъ. Что же за бѣда? развѣ мы въ театрѣ ходимъ не изъ-за оптического обмана; только тутъ мы сами въ разговорѣ съ обманщикомъ; а тамъ если и есть обманъ,—то нѣтъ обманщика. Поэтому всякій увидитъ свои ошибки, улыбнется, немного посовѣстится; солжетъ, что этого никогда не было. А веселыя-то минуты *были таки*.

Зачѣмъ видѣть сразу всю подноготную? Мнѣ просто хотѣлось бы воротиться къ прежнимъ демократіямъ и взглянуть на нихъ съ лицевой стороны: «Луиза, обмани меня... солги, Луиза!»

Но Луиза (тоже М.-С.), отворачиваясь отъ старика, говоритъ, надувши губки: «Ach, um Himmelsgnaden lassen Sie doch ihre Thorheiten und gehen Sie nur ihren Weg!» и бреди себѣ по мостовой изъ булыжника, въ пыли, шумѣ, трескѣ, въ безотрадныхъ, ненужныхъ, мелькающихъ встрѣчахъ, ничѣмъ не наслаждаясь, ничему не удивляясь и торопясь къ выходу—зачѣмъ? Затѣмъ, что его миновать нельзя.

Возвращаясь къ М.-С., я долженъ сказать, что не все же онъ жилъ бабочкой, перелетая отъ Кронгартена Подъ-Липы. Нѣтъ, и его молодость имѣла свою героическую главу. Онъ высидѣлъ цѣлыхъ *пять лѣтъ* въ тюрьмѣ и никогда порядкомъ не зналъ за что, такъ же, какъ и философское правительство, которое его засадило; тогда преслѣдовали отголоски Гамбахскаго праздника, студенческихъ рѣчей, брудершафтскихъ тостовъ, буршендумскихъ идей и тугендбундскихъ воспоминаній. Вѣроятно, и М.-С. что-нибудь вспомнилъ: его и посадили. Конечно, во всѣхъ Пруссіяхъ, съ Вестфаліей и Рейнскими провинціями, не было субъекта меньше опаснаго для правительства, какъ М.-С.—М. С. родился зрителемъ, шаферомъ, публикой. Во время берлинской революціи 1848 г. онъ отнесся къ ней точно также; онъ бѣгалъ съ улицы на улицу, подвергаясь то пулѣ, то аресту, для того, чтобы посмотреть, что тамъ дѣлается и что тутъ.

Послѣ революціи, отеческое управленіе короля-богослова и философа стало тяжело, и М.-С., походивши еще съ полтъ-года къ Стеели и Пассаланьи, началъ скучать. Звѣзда его стояла высоко: спасеніе было возлѣ. Полина Гарсіа Віардо пригласила его къ себѣ въ Парижъ. Она была такъ покрыта нашими подснежными вѣнками, такъ окружена сѣверной любовью нашей, что сама состояла на правахъ русской и имѣла, стало быть, въ свою очередь неотъемлемое право на чичеронство М.-С. въ Берлинѣ. Віардо звала его погостить у нихъ. Быть въ домѣ у умной, блестящей, образованной Віардо значило разомъ перешагнуть пропасть, которая дѣлитъ всякаго туриста отъ Парижскаго и Лон-

донскаго общества, всякаго нѣмца безъ *особенныхъ примѣтъ* отъ французовъ. Быть у нея въ домѣ—значило быть въ кругу артистовъ и либераловъ марастовскаго цвѣта, литераторовъ, Ж.-Зандъ и проч. Кто не позавидовалъ бы М.-С. и его дебютамъ въ Парижѣ.

На другой день послѣ своего приѣзда онъ приближалъ ко мнѣ, совершенно запаленный отъ усталости и суеты, и, не имѣя времени сказать двухъ словъ, выпилъ бутылку вина, разбилъ стаканъ, взялъ мою зрительную трубку и побѣжалъ въ театръ. Въ театрѣ онъ трубку потерялъ и, проведя цѣлую ночь по разнымъ полицейскимъ домамъ, явился ко мнѣ съ повинной головой. Я отпустилъ ему грѣхъ бинокля за удовольствіе, которое мнѣ онъ доставлялъ своимъ медовымъ мѣсяцемъ въ Парижѣ. Тутъ только онъ показалъ всю ширь своихъ способностей; онъ выросъ ненасытностью всего на свѣтѣ: картинъ, дворцовъ, звуковъ, видовъ, потрясеній, ѣды и питья. Проглотивъ три-четыре дюжины устрицъ, онъ принимался за три другихъ, потомъ за омара, потомъ за цѣлый обѣдъ; окончивъ бутылку шампанскаго, онъ наливалъ съ такимъ же наслажденіемъ стаканъ пива; сходя съ лѣстницы Вандомской колонны, онъ шелъ на куполь Пантеона: и тамъ и тутъ удивлялся громкимъ и наивнымъ удивленіемъ нѣмца, этого провинціала по натурѣ. Между волкомъ и собакой забѣгалъ онъ ко мнѣ, выпивалъ галонъ пива, ѣлъ что попало и, когда волкъ бралъ верхъ надъ собакой, М.-С. въ райкѣ какого-нибудь театра заливался громкимъ гутуральнымъ хохотомъ и потомъ, струившимся со всего лица его.

Не успѣлъ еще М.-С. досмотрѣть Парижъ и догадаться, что онъ становится невыносимо противенъ, какъ Ж.-Зандъ увезла его къ себѣ въ Nohant. Для элегантной Біардо М.-С. *à la longue* былъ слишкомъ грузенъ; съ нимъ случались въ ея гостиниѣ разныя несчастія. Разъ какъ-то онъ съ неосторожной скоростью уничтожилъ цѣлую корзиночку какихъ-то особенныхъ чудесъ, приготовленныхъ къ чаю для десяти человѣкъ, такъ что, когда Біардо ихъ предложила, въ корзинкѣ были однѣ крошки, и не въ одной корзинкѣ, а и на усахъ М.-С. ¹⁾

Біардо передала его Ж.-Зандѣ. Ж.-Зандѣ, наскучивъ Парижемъ, ѣхала на покойное помѣщичье житъе. Ж.-Зандѣ сдѣлала съ М.-С. чудеса. Она какъ-то вычистила, прибрала, привела его въ порядокъ; исчезъ темный табакъ, покрывавшій верхнюю часть его бѣлокурыхъ усовъ, и доля нѣмецкихъ кнейповыхъ пѣсенъ

¹⁾ И. Т. говорилъ о М.-С., что, садясь за закуску, онъ съ опытностью искуснаго полководца осматривалъ позицію и, если находилъ слабое мѣсто, т. е., вино или мясо, поданное въ недостаточномъ количествѣ, онъ тотчасъ нападалъ на нихъ и бралъ двойную порцію.

замѣнилась французскими, въ родѣ: «Pricadier, rébontit Pantore».. Зачѣмъ онъ не утонулъ, купаясь въ Nohant; зачѣмъ не зашибла его гдѣ-нибудь желѣзная дорога? Жизнь его окончилась бы, не зная горя, веселой прогулкой по кунсткамерѣ съ буфетами, площадками и музыкой. М.-С. вставилъ двойную рамку лорнета въ глазъ и помолодѣлъ; когда онъ пріѣхалъ въ Парижъ въ отпускъ, я его едва узналъ. Послѣ 13 іюня 1849 г., я уѣхалъ изъ Парижа; геройство М.-С., кричавшаго «Au armes!» на Chaussée d'Antin, я рассказывалъ въ другомъ мѣстѣ. Возвратившись въ 1850 г. въ Парижъ, я М.-С. не видѣлъ; онъ былъ у Ж.-Зандѣ. Меня выслали изъ Франціи. Года черезъ два, я былъ въ Лондонѣ и шелъ по Трафальгарской площади. Какой-то господинъ пристально смотрѣлъ въ вставленный лорнетъ на Нельсона; досмотрѣвши его съ лѣвой стороны, онъ занялся правой. «Да, это онъ! кажется, онъ».

Между тѣмъ господинъ занялся спиной адмирала.—«М. С.!»—закричалъ я ему. Онъ не тотчасъ пришелъ въ себя: такъ его заняла плохая статуя сквернаго человѣка; но потомъ, съ крикомъ Potz Tausend, бросился ко мнѣ. Онъ переѣхалъ на житье въ Лондонъ, счастливая звѣзда его померкла. Да и трудно сказать, зачѣмъ онъ пріѣхалъ именно въ Лондонъ. Бумлеру, когда у него есть деньги, нельзя не побывать въ Лондонѣ: въ немъ будетъ пробѣлъ, раскаяніе, неудовлетворенное желаніе; но жить въ Лондонѣ ему нельзя и съ деньгами, а безъ денегъ и думать нечего.

Въ Лондонѣ надобно работать въ *самомъ дѣлѣ*, работать безостановочно, какъ локомотивъ, правильно, какъ машина. Если человѣкъ отошелъ на день, на его мѣстѣ стоятъ двое другихъ; если человѣкъ занемогъ, его считаютъ мертвымъ всѣ, отъ кого ему надобно получать работу, и здоровымъ всѣ, кому надобно получить отъ него деньги.

М.-С., М.-С.!... Куда ты попалъ изъ должности Виргилія въ Берлинѣ, изъ салоновъ Віардо, изъ помѣщицѣй нѣги Ж.-Зандѣ! Ноганскіе пресалы и пулярдки—прощай; прощай русскіе завтраки, продолжающіеся до вечера, и русскіе обѣды, оканчивающіеся на другой день; да, прощай и русскіе:—въ Лондонѣ русскіе ѣздили на скорую руку, сконфуженные, потерянные; имъ было не до М.-С. Да, кстати прощай и солнце, которое такъ хорошо грѣетъ и весело свѣтитъ, когда нѣтъ денегъ на внутреннее топливо... Туманъ, дымъ и вѣчная борьба работы, бой изъ-за работы! Года черезъ три М.-С. сталъ замѣтно старѣть; морщины прорѣзывались глубже и глубже,—онъ опускался. Уроки не шли (несмотря на то, что онъ на нѣмецкій ладъ былъ очень основательно ученъ). Зачѣмъ онъ не ѣхалъ въ Германію? Но вообще у нѣмцевъ, даже у такихъ неистовыхъ патріотовъ, какъ М.-С., дѣлается, поживши

нѣсколько лѣтъ въ Германіи, непреодолимое отвращеніе отъ родины, что-то въ родѣ обратнаго Heimweh. Въ Лондонѣ онъ не могъ свести концовъ. Длинная масленица, длившаяся около десяти лѣтъ, кончилась, и суровый постъ захватилъ добродушнаго буммера; потерянный, вѣчно ищущій захватить денегъ, кругомъ въ маленькихъ долгахъ и становясь лицомъ изъ Диккенсова романа, М.-С. все еще доканчивалъ «Эриха»,—все еще мечталъ, что продать его и заслужить разомъ талеры и лавры,—но «Эрихъ» былъ упоренъ и не оканчивался, и М.-С., чтобъ освѣжиться, дозволялъ себѣ, сверхъ пива, одну роскошь—pleasure-train въ воскресенье. Онъ платилъ очень дешево за большія пространства и ничего не видалъ.

«Я ѣду на Isle of Wight, взадъ и впередъ (помнится) 4 шил., и завтра утромъ рано буду опять въ Лондонѣ». Что же ты увидишь тамъ? «Да, но за то четыре шиллинга!» Бѣдный М.-С., бѣдный буммеръ!

А впрочемъ, пусть онъ съѣздитъ въ Рейдъ, не выдавши его; лишь бы также не видалъ будущаго: въ его гороскопѣ не осталось ни одной свѣтлой точки, ни одного шанса. Онъ, бѣдняга безотрадный, исчезнетъ въ лондонскомъ туманѣ.

Лондонская вольница ¹⁾

ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

Отрывокъ этотъ идетъ за описаніемъ «горныхъ вершинъ» эмиграции, отъ ихъ вѣчно красныхъ утесовъ до низменныхъ болотъ и «сѣрныхъ копей» ²⁾. Я прошу читателя не забывать, что въ этой главѣ мы опускаемся съ нимъ ниже уровня моря и занимаемся исключительно илистымъ дномъ его, такъ, какъ оно было послѣ февральскаго шквала.

Почти все описанное здѣсь измѣнилось, исчезло; политическіе подонки пятидесятыхъ годовъ занесло новыми песками и новыми грязями. Истошился, притихъ, вымеръ этотъ низменный міръ волненій и гоненій, отстой его успокоился и занялъ свое мѣсто въ слойкѣ. Оставшіяся личности становятся рѣдкостью и я ужъ люблю съ ними встрѣчаться.

Печально уродливы, печально смѣшны нѣкоторые изъ образовъ, которые я хочу вывести, но они все писаны съ натуры,—безслѣдно исчезнуть и они не должны.

ГЛАВА VI.

Простыя несчастья и несчастья политическія.—Учители и комиссіонеры.—Ходебщики и хожалые.—Ораторы и эпистолаторы.—Ничего не дѣлающіе фактотумы и вѣчно занятые трутни.—Русскіе.—Воры.—Шпіоны.

(Писано въ 1856—1857).

... Отъ *скрпной шайки*, какъ сами нѣмцы называютъ марксизмовъ, естественно и не далеко перейти къ послѣднимъ подонкамъ, къ мутной гущѣ, которая осѣдаетъ отъ континентальныхъ толчковъ и потрясеній—на британскихъ берегахъ и пуще всего въ Лондонѣ.

Можно себѣ представить, сколько противоположнаго снадобья

¹⁾ Изъ V тома „Былое и Думы“.

Примѣчаніе заграничнаго изданія.

²⁾ Die Schwefelbande.

захватываютъ съ собой съ материка и оставляютъ въ Англіи приливы и отливы революцій и реакцій, истощающихъ, какъ перемежающаяся лихорадка, европейскій организмъ, и что за удивительные слои людей низвергаются этими волнами и бродятъ по сырому, топкому лондонскому дну. Каковъ долженъ быть хаосъ понятій, возрѣній у этихъ образцовъ всѣхъ нравственныхъ формаций и реформаций, всѣхъ протестовъ, всѣхъ утопій, всѣхъ отчаяній, всѣхъ надеждъ, встрѣчающихся въ закоулкахъ, харчевняхъ и питейныхъ домахъ Лестеръ-Сквера и его *проселочныхъ* переулковъ. «Тамъ, гдѣ, по выраженію «Теймса», обитаетъ жалкое населеніе чужеземцевъ, носящихъ шляпы, какихъ никто не носить, и волосы тамъ, гдѣ ихъ ненадобно, населеніе несчастное». Да, тамъ дѣйствительно по public haus'амъ и харчевнямъ сидятъ эти чужіе, эти гости, за джиномъ съ горячей водой, съ холодной водой и совѣмъ безъ воды, горькимъ портеромъ въ кружкѣ и съ еще больше горькими словами на губахъ, поджидая революціи, къ которой они больше не способны, и денегъ отъ родныхъ, которыхъ никогда не получаютъ.

Какихъ оригиналовъ, какихъ чудаковъ я не наглядѣлся между ними! Тутъ, рядомъ съ коммунистомъ стараго толка, ненавидящему всякаго собственника во имя общаго братства,—старый карлистъ, пристѣливавшій своихъ родныхъ братьевъ во имя любви къ отечеству, изъ преданности къ Монтемолино или Донъ-Хуану, о которыхъ ничего не зналъ и не знаетъ. Тамъ, рядомъ съ венгерцемъ, рассказывающимъ, какъ онъ съ пятью гонведами опрокинулъ эскадронъ австрійской кавалеріи, и застегивающимъ венгерку до самаго горла, чтобы имѣть еще больше военный видъ, венгерку, размѣры которой показываютъ, что ея юность принадлежала другому,—нѣмецъ, дающій уроки музыки, латыни, всѣхъ литературъ и всѣхъ искусствъ изъ насущнаго пива, атеистъ, космополитъ, презирающій всѣ націи, кромѣ Куръ-Гессена или Гессенъ-Касселя, смотря по тому, въ которомъ изъ Гессеновъ родился; полякъ, прежняго покроя, католически любящій независимость, и итальянецъ, полагающій независимость въ ненависти къ католицизму.

Возлѣэмигрантовъ-революціонеровъ—эмигранты-консерваторы. Какой-нибудь негоціантъ или нотаріусъ, sans adieux удалившійся отъ родины, кредиторовъ и довѣрителей, считающій себя тоже *несправедливо гонимымъ*, какой-нибудь *честный* банкротъ, увѣренный, что онъ скоро очистится, пріобрѣтетъ ктедить и капиталъ, такъ какъ его сосѣдъ справа достовѣрно знаетъ, что на дняхъ, la rouge будетъ провозглашена лично самой «Марьяной», а сосѣдъ слѣва, что Орлеанская фамилія укладывается въ Клер-

монѣ и принцессы шьютъ отличныя платья для торжественнаго въѣзда въ Парижъ.

Къ *консервативной* средѣ «виноватыхъ, но не осужденныхъ окончательно за *отсутствіемъ* подсудимаго», принадлежатъ и больше радикальныя лица, чѣмъ банкроты и нотаріусы съ горячимъ воображеніемъ;—это люди, имѣвшіе на родинѣ *большія несчастія* и желающіе всѣми силами выдать свои *простыя несчастія* за несчастія *политическія*. Эта особая номенклатура требуетъ поясненія.

Одинъ нашъ пріятель явился, шутя, въ агентство сватовства. Съ него взяли десять франковъ и принялись спрашивать, какую ему нужно невѣсту, въ сколько приданаго, бѣлокурую или смутлую, и пр.; затѣмъ записывавшій гладенькій старичекъ, оговорившись и извиняясь, сталъ спрашивать о его происхожденіи, очень обрадовался, узнавъ, что оно дворянское, потомъ, углубивъ извиненія, спросилъ его, замѣтивъ притомъ, что молчаніе гроба ихъ законъ и сила:

— Не имѣли ли вы *несчастій*?

— Я полякъ и въ изгнаніи, т. е., безъ родины, безъ правъ, безъ состоянія.

— Последнее плохо, но позвольте, по какой причинѣ оставили вы вашу *belle patrie*?

— По причинѣ послѣдняго возстанія (дѣло было въ 1848 году).

— Это ничего не значить, *политическія несчастія мы не считаемъ*, оно скорѣе выгодно, *c'est une attraction*. Но позвольте, вы меня завѣряете, что у васъ не было *другихъ несчастій*?

— Мало ли было, нѣ. отецъ съ матерью у меня умерли.

— О, нѣтъ, нѣтъ...

— Что же вы разумѣете подъ словомъ *другого несчастія*?

— Видите, если-бъ вы оставили ваше прекрасное отечество по *частнымъ* причинамъ, а не по политическимъ. Иногда въ молодости, неосторожность, дурные примѣры, искушеніе большихъ городовъ, знаете эдакъ... необдуманно данный вексель, не совершенно правильная растрата непринадлежащей суммы, подпись, какъ-нибудь...

— Понимаю, понимаю, сказали, раскохотавшись, Х; нѣтъ, увѣряю васъ, я не былъ судимъ ни за кражу, ни за подлогъ.

... Въ 1855 году одинъ французъ *exilé de sa patrie* ходилъ по товарищамъ несчастія съ предложеніемъ помочь ему въ изданіи его поэмы, въ ролѣ Бальзаковой «Comédie du diable», писанной стихами и прозой, съ новой орѳографіей и вновь изобрѣтеннымъ синтаксисомъ. Тутъ были дѣйствующими лицами: Людовикъ-Филиппъ, Исусъ Христосъ, Робеспьеръ, Маршалъ Бюжо и самъ Богъ.

Между прочимъ, явился онъ съ той же просьбой къ Ш.¹⁾), честнѣйшему и чопорнѣйшему изъ смертныхъ.

— Вы давно ли въ эмиграціи? спросилъ его защитникъ черныхъ.

— Съ 1847 года.

— Съ 1847 года? и вы пріѣхали сюда?

— Изъ Бреста, изъ каторжной работы.

— Какое же это было дѣло? Я совѣмъ не помню.

— О, какъ же, тогда это дѣло было очень извѣстно! Конечно, это дѣло больше частное.

— Однакожъ?... спросилъ нѣсколько обезпокоенный Ш.

— Ah bas, si vous y tenez, я по своему протестовалъ противъ права собственности, j'ai protesté à ma manière.

И вы... вы были въ Брестѣ?

Parbleu, oui, семь лѣтъ каторжной работы за *воровство со взломомъ* (vol avec effraction).

И Ш. голосомъ цѣломудренной Сусанны, гнавшей нескромныхъ стариковъ, просилъ самобытнаго протестанта выйти вонъ.

Люди, которыхъ несчастія, по счастью, были *общія* и протесты коллективные, оставленные нами въ закопченныхъ public housesъ и черныхъ тавернахъ, за некрашенными столами съ джинъ-гаторомъ и портеромъ, настрадались вдоволь и, что всего больнѣе, не зная совѣмъ, за что.

Время шло съ ужасной медленностью, но шло; революціи нигдѣ не было въ виду, кромѣ въ ихъ воображеніи, а нужда дѣйствительная, безпощадная подкашивала все ближе и ближе подножный кормъ, и вся эта масса людей, большею частью хорошихъ, голодала больше и больше. Привычки у нихъ не было къ работѣ; умъ, обращенный на политическую арену, не могъ сосредоточиться на дѣлѣ. Они хватались за все, но съ озлобленіемъ, съ досадой, съ нетерпѣніемъ, безъ выдержки, и все падало у нихъ изъ рукъ. Тѣ, у которыхъ была сила и мужество труда, тѣ незамѣтно выдѣлялись и выплывали изъ тины, а остальные?

И какая бездна была этихъ остальныхъ! Съ тѣхъ поръ многихъ унесла французская амністія и амністія смерти, но въ началѣ пятидесятихъ годовъ я засталъ еще the great tide.

Нѣмецкіе изгнанники, особенно не работники, много бѣдствовали, не меньше французовъ. Удачъ имъ было мало. Доктора медицины, хорошо учившіеся и, во всякомъ случаѣ, во сто разъ лучше знавшіе дѣло, чѣмъ англійскіе цирюльники, называемые surgeon, не могли пробиться до самой скудной практики. Живописцы, ваятели, съ чистыми и платоническими мечтами объ ис-

¹⁾ Шельхеръ.

кусствъ и священнодѣйственномъ служеніи ему, но безъ производительнаго таланта, безъ ожесточенія, настойчивости работы, безъ мѣткого чутья, гибли въ толпѣ соревнующихъ соперниковъ. Въ простой жизни своего маленькаго городка, на дешевомъ нѣмецкомъ корму, они могли бы прожить мирно и долго, сохраняя свое дѣвственное поклоненіе идеаламъ и вѣру въ свое жреческое призваніе. Тамъ они остались бы и умерли въ подозрѣніи таланта. Вырванные французской бурей изъ родныхъ палисадниковъ, они потерялись въ Бѣловѣжской пушчѣ лондонской жизни.

Въ Лондонѣ, чтобъ не быть затертымъ, задавленнымъ, надобно работать много, рѣзко, сейчасъ и что попало, что потребовали. Надобно остановить разсѣянное вниманіе ко всему приглядѣвшейся толпы силой, наглостью, множествомъ, всякой всячиной. Орнаменты, узоры для шптыя, арабески, модели, снимки, слѣпки, портреты, рамки, акварели, кронштейны, цвѣты,—лишь бы скорѣе, лишь бы кстати и въ большомъ количествѣ. Жюльенъ, le grand Julien, *черезъ сутки* послѣ полученія вѣсти объ индійской побѣдѣ Гевлока написалъ концертъ съ крикомъ африканскихъ птицъ и топотомъ слоновъ, съ индійскими напѣвами и пушечной пальбой, такъ что Лондонъ разомъ читалъ въ газетахъ и слушалъ въ концертѣ реляцію. За этотъ концертъ онъ выручилъ громадныя суммы, повторяя его мѣсяцъ. А зарейнскіе мечтатели падали середь дороги на этой безчеловѣчной скачкѣ за деньгами и успѣхами, изнеможенные, съ отчаяніемъ складывали они руки или, хуже, подымали ихъ на себя, чтобы окончить неровный и оскорбительный бой.

Кстати къ концертамъ,—музыкантамъ изъ нѣмцевъ вообще было легче; количество ихъ, потребляемое ежедневно Лондономъ съ его субурбами, колоссально. Театры и частные уроки, скромные балы у мѣщанъ и нескромные въ Argyl'румѣ, въ Креморнѣ, въ Casino, cafés chantants съ танцами, cafés chantants съ трико въ античныхъ позахъ, Her Majesty's Ковенъ-Гарденъ, Эксетеръ-Галь, Кристалъ-Паласъ, С. Джемсъ наверху и углы всѣхъ большихъ улицъ внизу занимаютъ и содержатъ цѣлое народонаселеніе двухъ-трехъ нѣмецкихъ герцогствъ. Мечтай себѣ о музыкѣ будущаго и о Россіи, колѣнопреклоненномъ передъ Вагнеромъ, читай себѣ дома à livre ouvert, безъ инструмента, Тангейзера и исполняй, за штатскимъ тамбурмажоромъ и гаеромъ съ слоновой палкой, часа четыре къ ряду какую-нибудь Mary Ann польку или Flower and butterfly's redova, и дадутъ бѣдняку отъ двухъ до четырехъ съ половиной шиллинговъ за вечеръ, и пойдетъ онъ въ темную ночь по дождю въ полпивную, въ которую преимущественно ходятъ нѣмцы, и застанетъ тамъ моихъ бывшихъ друзей Краута и Миллера: Краута, шестой годъ работающаго надъ бю-

стомъ, который становится все хуже; Миллера, двадцать шестой годъ дописывающаго трагедію «Эрикъ», которую онъ мнѣ читалъ десять лѣтъ тому назадъ, пять лѣтъ тому назадъ и теперь бы еще читалъ, если-бъ мы не поссорились съ нимъ.

А поссорились мы съ нимъ за генерала Урбана, но объ этомъ въ другой разъ...

...И чего не дѣлали нѣмцы, чтобъ заслужить благосклонное вниманіе англичанъ; все безуспѣшно.

Люди, всю жизнь кутившіе во всѣхъ углахъ своего жилья, за обѣдомъ и чаемъ, въ постели и за работой, не курятъ въ Лондонѣ, въ своемъ закопченномъ, продымленномъ отъ угля drawing room'ѣ и не дозволяютъ курить гостю. Люди, всю жизнь ходившіе въ биркнейпы своей родины выпить «шопъ», посидѣть тамъ за трубкой въ хорошемъ обществѣ, идутъ, не глядя, мимо public house'овъ и посылаютъ туда за пивомъ горничную съ кружкой или молочникомъ.

Мнѣ случилось въ присутствіи одного нѣмецкаго выходца отправлять къ англичанкѣ письмо. «Что вы дѣлаете?» вскрикнулъ онъ въ какомъ-то азартѣ; я вздрогнулъ и невольно бросилъ пакетъ, полагая, по крайней мѣрѣ, что въ немъ скорпіонъ... «Въ Англіи, сказалъ онъ, письма складываютъ вообще *втрое*, а не *вчетверо*, а вы еще пишете къ дамѣ, и къ какой!»

Сначала моего пріѣзда въ Лондонъ, я пошелъ отыскивать одного знакомаго нѣмецкаго доктора. Я не засталъ его дома и написалъ на бумагѣ, лежавшей на столѣ, что-то въ родѣ: *Cher docteur*, я въ Лондонѣ и очень желалъ бы васъ видѣть, не придете ли вечеромъ въ такую-то таверну выпить по старому бутылку вина и потолковать о всякой всячинѣ. Докторъ не пришелъ, а на другой день я получилъ отъ него записку въ такомъ родѣ: *Monsieur H.*, мнѣ очень жаль, что я не могъ воспользоваться вашимъ любезнымъ приглашеніемъ, мои занятія не оставляютъ мнѣ столько свободнаго времени. Постараюсь, впрочемъ, на дняхъ посѣтить васъ и пр.

— А что? У доктора, видно, практика, того?... спросилъ я освободителя Германіи, которому былъ обязанъ знаніемъ, что англичане письма складываютъ *втрое*.

— «Никакой нѣтъ, *der Kerl hat Pech gehabt in London, es geht ihm zu ominös*».

— Такъ что же онъ дѣлаетъ?—и я передалъ ему записку.

Онъ улыбнулся, однако замѣтилъ, что и мнѣ врядъ слѣдовало ли оставлять на столѣ доктора медицины открытую записку, въ которой я его приглашаю выпить бутылку вина:

— Да и зачѣмъ же въ такой тавернѣ, гдѣ всегда народъ, здѣсь пьютъ дома.

— Жаль, замѣтилъ я, наука всегда приходитъ поздно, теперь я знаю, какъ доктора звать и куда, но навѣрно не позову.

Затѣмъ воротимся къ нашимъ чающимъ движенія народнаго, присылки денегъ отъ родныхъ и работы безъ труда.

Неработнику начать работу не такъ легко, какъ кажется; многіе думаютъ, пришла нужда, есть работа, есть молотъ и долотъ и работникъ готовъ. Работа требуетъ не только своего рода воспитанія, навыка, но и самоотверженія. Изгнанники большей частью изъ мелкой литературной и «паркетной» среды, журнальные поденщики, начинавшіе адвокаты; отъ своего труда въ Англіи они жить не могли, другой имъ былъ дикъ; да и не стоило начинать его, они все прислушивались, не раздастся ли набатъ; прошло десять лѣтъ, прошло пятнадцать лѣтъ, нѣтъ набата.

Въ отчаяніи, въ досадѣ, безъ платья, безъ обезпеченія на завтрашній день, окруженные возрастающими семьями, они бросаются, закрывъ глаза, на аферы, выдумываютъ спекуляціи. Аферы не удаются, спекуляціи лопаются, и потому что они выдумываютъ вздоръ, и потому что они вносятъ вмѣсто капитала какую-то безпомощную неловкость въ дѣлѣ, чрезвычайную раздражительность, неумѣнье найтись въ самомъ простомъ положеніи и опять-таки неспособность къ выдержанному труду и усѣянному терніями началу. При неудачѣ они утѣшаются недостаткомъ денегъ: «Будь сто-двѣсти фунтовъ, и все пошло бы какъ по маслу!» Дѣйствительно, недостатокъ капитала мѣшаетъ, но это общая судьба работниковъ. Чего и чего не выдумывалось, отъ общества на акціяхъ для выписыванія изъ Гавра куриныхъ яицъ до изобрѣтенія особыхъ чернилъ для фабричныхъ марокъ и какихъ-то эссенцій, которыми можно было превращать сквернѣйшія водки въ превосходнѣйшіе ликеры. Но пока собирались товарищества и капиталы на все эти чудеса, надобно было ѣсть и нѣсколько прикрываться отъ сѣверо-восточнаго вѣтра и отъ застѣнчивыхъ взоровъ дочерей Альбіона.

Для этого предпринимались два палліативныя средства: одно очень скучное и очень невыгодное, другое также невыгодное, но съ большими развлеченіями. Люди мирные, съ Sitzfleisch'емъ, принимались за уроки, несмотря на то, что они не только прежде не давали уроковъ, да и сомнительно, чтобъ когда-нибудь ихъ брали. Конкуренція страшно понизила цѣны.

Вотъ образчикъ объявленій одного семидесятилѣтняго старика, который, мнѣ кажется, принадлежалъ скорѣе къ числу *самобытныхъ протестантовъ*, чѣмъ коллективныхъ.

MONSIEUR N. N.
TEACHES THE FRENCH LANGUAGE

on a new and easy system of rapid proficiency,
has attended members of the british parliament and many other
persons of respectability, as vouchers certify,
translates and interprets that universal continental
language, and english,

IN A MASTERLY MANNER.

TERMS MODERATE:

Namely, Three Lessons per Week for Six Shillings.

Давать уроки у англичанъ не составляетъ особеннаго удовольствія; кому англичанинъ платить, съ тѣмъ онъ не церемонится.

Одинъ изъ моихъ старыхъ пріятелей получаетъ письмо отъ какого-то англичанина, предлагающаго ему давать уроки французскаго языка его дочери. Онъ отправился къ нему въ назначенное время для переговоровъ. Отецъ спалъ послѣ обѣда, его встрѣтила дочь и довольно учтиво, потомъ вышелъ старикъ, осмотрѣлъ съ головы до ногъ Б. и спросилъ: «Vous etre le french teacher?» Б. подтвердилъ. «Vous pas convenir á moa». При этомъ британскій осель указалъ на усы и бороду.

— Что же вы ему не дали тумака?—спрашивалъ я Б.

— Я право думалъ объ этомъ, но когда быкъ повернулся, дочь со слезами на глазахъ, молча, просила у меня прощенья.

Другое средство проще и не такъ скучно; оно состоитъ въ судорожномъ и артистическомъ комиссіонерствѣ, въ предложеніи разныхъ разностей безъ вниманія на запросъ. Французы по большей части *работали* въ винахъ и водкахъ. Одинъ легистъ предлагалъ своимъ знакомымъ и *коррелижіонерамъ* коньякъ, доставшійся ему чрезвычайнымъ образомъ, по связямъ, о которыхъ въ теперешнемъ положеніи Франціи онъ не могъ и не долженъ былъ рассказывать, и притомъ черезъ капитана корабля, котораго компрометировать было бы *salamité publique*. Коньякъ былъ такъ себѣ и стоилъ шесть пенсовъ дороже, чѣмъ въ лавкѣ. Легистъ, привыкнувшій «пледировать» съ декламацией, прибавлялъ къ насилію оскорбленіе: онъ бралъ рюмку двумя пальцами за донышко, описывалъ ею медленные крути, плескалъ нѣсколько капель, нюхалъ ихъ на воздухъ и всякій разъ былъ изумленъ замѣчательно превосходнымъ запахомъ коньяка.

Другой товарищъ изгнанія, нѣкогда провинціальный профес-

соръ словесности, увлекалъ виномъ. Вино онъ получалъ *прямо* изъ Котъ д'Ора, Бургоньи, отъ прежнихъ учениковъ и съ необыкновеннымъ выборомъ.

«Гражданинъ, писалъ онъ ко мнѣ, спросите ваше братское сердце (*votre coeur fraternel*), и оно вамъ скажетъ, что вы должны мнѣ уступить пріятное преимущество снабжать васъ французскимъ виномъ. И тутъ сердце ваше будетъ за одно со вкусомъ и экономіей. Употребляя превосходное вино, по самой дешевой цѣнѣ, вы будете имѣть наслажденіе въ мысли, что, покупая его, вы облегчаете судьбу человѣка, который дѣлу родины и свободы пожертвовалъ все.

Salut et fraternité!

Р. S. Я взялъ на себя смѣлость вмѣстѣ съ тѣмъ отправить къ вамъ нѣсколько пробъ».

Образчики эти были въ полубутылкахъ, на которыхъ онъ собственноручно надписывалъ не только имя вина, но и разныя обстоятельства изъ его біографіи: *Chambertin* (*Gr. vin et très-rare!*). *Côte rotie* (*Comète*). *Pomard* (1823!). *Nuits* (*provision Aguado!*)...

Недѣли черезъ двѣ-три профессоръ словесности снова присылалъ образчики. Обыкновенно черезъ день или два послѣприсылки, онъ являлся самъ и сидѣлъ часъ, два, три, до тѣхъ поръ, пока я оставлялъ почти всѣ пробы и платилъ за нихъ. Такъ какъ онъ былъ неумолимъ и это повторялось нѣсколько разъ, то въ послѣдствіи, только что онъ отворялъ дверь, я хвалилъ часть образчиковъ, отдавалъ деньги и остальное вино. «Я не хочу, гражданинъ, у васъ красть ваше драгоценное время», говорилъ онъ мнѣ и освобождалъ меня недѣли на двѣ отъ кислаго бургонскаго, рожденнаго подъ кометою, и прянаго Котъ-роти изъ подваловъ *Aguado*.

Нѣмцы, венгерцы работали въ другихъ отрасляхъ.

Какъ-то въ Ричмондѣ я лежалъ въ одномъ изъ страшныхъ припадковъ головной боли. Взошелъ Франсуа съ визитной карточкой, говоря, что какой-то господинъ имѣетъ крайность меня видѣть, что онъ венгерецъ, *adjutante del generale* (*всѣ венгерцы-изгнанники, не имѣющие никакого занятія, никакой честной профессіи, называли себя адъютантами Кошута*). Я взглянулъ на карточку—совершенно незнакомая фамилія, украшенная капитанскимъ чиномъ.

— Зачѣмъ вы его пустили? сколько тысячъ разъ я вамъ говорилъ?

— Онъ приходитъ сегодня въ третій разъ.

— Ну, зовите въ залу. Я вышелъ разъяреннымъ львомъ, вооружившись склянкой распайлевой седативной воды.

— Позвольте рекомендоваться, капитанъ такой-то. Я долгое

время находился у русскихъ въ плѣну, у Ридигера послѣ Виллагоша. Съ нами русскіе превосходно обращались. Я былъ особенно обласканъ генераломъ Глазенапомъ и полковникомъ... какъ бишь его... русскія фамиліи очень мудрены... *ичь... ичь...*

— Пожалуйста, не беспокойтесь, я ни одного полковника не знаю... Очень радъ, что вамъ было хорошо. Не угодно ли сѣсть.

— Очень, очень хорошо... мы съ офицерами всякій день эдакъ, штось, банкъ... прекрасные люди и австрійцевъ терпѣть не могутъ. Я даже помню нѣсколько словъ по русски: «гліѣба», «шевердакъ»—une pièce de 25 sous.

— Позвольте васъ спросить, что мнѣ доставляетъ...

— Вы меня должны извинить, *баронъ*... я гулялъ въ Ричмондѣ... прекрасная погода, жаль только, что дождь идетъ... я столько наслышался объ васъ отъ *самого старика* и отъ графа Сандора—Сандора Телеки, также отъ графини Терезы Пульской... Какая женщина графиня Тереза!

— И говорить нечего, *hors ligne*.—Молчаніе.

— Да-съ, и Сандоръ... мы съ нимъ вмѣстѣ были въ гонведахъ... Я, собственно, желалъ бы показать вамъ...—и онъ вытащилъ откуда-то изъ-за стула портфель, развязалъ его и вынулъ портреты безрукаго Раглана, отвратительную рожу С. Арно, Омеръ-паши въ фескѣ.—Сходство, баронъ, удивительное. Я самъ былъ въ Турціи, въ Кутаисѣ, въ 1849 году, прибавилъ онъ, какъ будто въ удостовѣреніе сходства, несмотря на то, что въ 1849 году ни Раглана, ни С. Арно тамъ не было.—Вы прежде видѣли эту коллекцію?

— Какъ не видать, отвѣчаю я, смачивая голову распайлевой водой.—Эти портреты вывѣшены вездѣ, на Чипсайдѣ, по Странду, въ Вестъ-Эндѣ.

— Да-съ, вы правы, но у меня вся коллекція, и тѣ не на китайской бумагѣ. Въ лавкахъ вы заплатите гинею, а я могу вамъ уступить за пятнадцать шиллинговъ.

— Я, право, очень благодаренъ, но скажите, капитанъ, на что же мнѣ портреты С. Арно и всей этой сволочи?

— Баронъ, я буду откровененъ, я солдатъ, а не меттерниховскій дипломатъ. Потерявъ мои владѣнія близъ Темешвара, я нахожусь во временно стѣсненномъ положеніи, а потому беру на комиссію артистическія вещи (а также сигары, гаванскія сигары и турецкій табакъ—ужъ въ немъ-то русскіе и мы знаемъ толкъ!); это доставляетъ мнѣ скудную копейку, на которую я покупаю «горькій хлѣбъ изгнанья», *wie der Schiller sagt*.

— Капитанъ, будьте вполне откровенны и скажите, что вамъ придется съ каждой тетради?—спрашиваю я (хотя и сомнѣваюсь, что Шиллеръ сказалъ этотъ дантовскій стихъ).

— Полкроны.

— Позвольте намъ вотъ какъ покончить дѣло: я вамъ предложу *цѣлую крону*, но съ тѣмъ, чтобъ не покупать портретовъ.

— Право, баронъ, мнѣ совѣстно, но мое положеніе... впрочемъ, вы все знаете, чувствуете... я васъ такъ давно привыкъ уважать... графиня Пульская и графъ Сандоръ... Сандоръ Телеки.

— Вы меня извините, капитанъ, я едва сажу отъ головной боли.

— У нашего губернатора (т. е., у Кошута), у старика тоже часто болитъ голова, замѣчаетъ мнѣ гонведъ, какъ бы въ ободреніе и утѣшеніе; потомъ на-скоро завязываетъ портфель и беретъ вмѣстѣ съ удивительно похожими портретами Раглана и К-и довольно сходное изображеніе королевы Викторіи на монетѣ.

Между этими *хобобициками* эмиграціи, предлагающими выгодныя покупки, и эмигрантами, останавливающими всѣхъ небрѣющихъ бороду на улицахъ и скверахъ, требуя *десятый годъ* недостающихъ двухъ шиллинговъ для отъѣзда въ Америку, и шести пенсовъ для покупки гробика ребенку, умершему отъ скарлатины,—находятся эмигранты, пишущіе письма, иногда пользуясь знакомствомъ, иногда пользуясь незнакомствомъ, о всякаго рода чрезвычайныхъ нуждахъ и единовременныхъ денежныхъ затрудненіяхъ, часто представляя въ дальней перспективѣ обогащеніе, и всегда съ оригинальнымъ эпистолярнымъ искусствомъ.

Такихъ писемъ у меня тетрадь, сообщу два-три особенно характеристическихъ.

«Herr Graf! Я былъ австрійскимъ лейтенантомъ, но дрался за свободу мадьяровъ, долженъ былъ бѣжать и совершенно обносился. Если у васъ найдутся поношенные панталоны,—вы неизрѣченно меня обяжете.

P. S. Завтра въ 9 часовъ я навѣдаюсь у вашего *курьера*».

Это родъ наивный, но есть письма классическія по языку и лапидарности, напр.:

«Domine, ego sum Gallus, ex patria mea profugus pro causa libertatis populi. Nihil habeo ad manducandum, si aliquid per me facere potes, gaudeo, gaudebit cor meum.

Mercuris dies 1859».

Другія письма, не имѣя ни лаконизма, ни античной формы, отличаются особеннымъ счетоводствомъ:

«Гражданинъ, вы были такъ добры, что прислали мнѣ прошлаго февраля (вы, можетъ, не помните, но я помню) *три* ливра. Давно хотѣлъ я вамъ ихъ отдать, но не получалъ вовсе денегъ отъ родныхъ; на дняхъ я получу довольно значительную сумму. Если-бъ мнѣ не было совѣстно, я бы попросилъ васъ прислать еще два ливра и отдалъ бы вамъ *круглымъ счетомъ пять* ливровъ».

Я предпочелъ остаться при треугольномъ. Охотникъ до круглыхъ счетовъ началъ поговаривать, что я въ связяхъ съ русскимъ посольствомъ.

Затѣмъ идутъ письма дѣловыя и письма ораторскія, и тѣ и другія очень много теряютъ въ русскомъ переводѣ.

«Mon cher Monsieur! Вы *вѣрно* знаете мое открытіе, оно доставило бы нашему вѣку честь, а мнѣ кусокъ хлѣба. И открытіе это останется неизвѣстнымъ, оттого что у меня нѣтъ кредита на какихъ-нибудь 200 фунтовъ, и вмѣсто того, чтобъ заниматься моимъ дѣломъ, мнѣ приходится за вздорную плату *courir le cachet*. Всякій разъ, когда мнѣ представляется работа продолжительная и выгодная, насмѣшливая судьба дуется на нее (*я перевожусь слово въ слово*), она летитъ прочь,—я за ней, настойчивая дерзость ея беретъ верхъ (*son opiniâtre insolence bafoue mes projets*), вновь стегаетъ мои надежды, и я бѣгу туда—туда. Бѣгу и теперь. Поймаю ли? Почти увѣренъ,—если вы, имѣя довѣріе къ моему таланту, захотите пустить въ волны ваше довѣріе съ моими надеждами, по капризному вѣтру моей судьбы (*embarquer votre confiance en compagnie de mon esprit et la livrer au souffle peu aventureux de mon destin*)». Далѣе объясняется, что 80 фунт. есть въ виду, даже 85; остальные 115 изобрѣтатель ищетъ занять, обѣщая 13, almeno 11, процентовъ въ случаѣ удачи. «Можно ли лучше, вѣрнѣе помѣстить капиталъ въ наше время, когда фонды всего міра колеблются и государства такъ не твердо стоятъ, опираясь на штыки нашихъ враговъ?»

Я ста пятнадцати не даю. Изобрѣтатель начинаетъ соглашаться, что въ моемъ поведеніи не все ясно, *il y a du louche*, и что не мѣшаетъ со мною быть осторожнымъ.

Въ заключеніе, вотъ письмо чисто ораторское:

«Великодушный согражданинъ будущей всемірной республики! Сколько разъ вы помогали мнѣ и вашъ знаменитый другъ Луи-Бланъ, и опять-таки я пишу къ вамъ и пишу къ гражданину Блану, чтобъ попросить нѣсколько шиллинговъ. Удручающее положеніе мое не улучшается вдали отъ Ларъ и Пенатъ, на негостепріимномъ островѣ эгоизма и корысти. Глубоко сказали вы въ одномъ изъ сочиненій вашихъ (*я постоянно ихъ перечитываю*), «что талантъ гаснетъ безъ денегъ, какъ лампа безъ масла» и пр.

Само собой разумѣется, что я этой пошлости никогда не писалъ и что согражданинъ по будущей республикѣ, *future et universelle*, ни разу не развѣтывалъ моихъ сочиненій.

За ораторами на письмѣ идутъ ораторы на словахъ, «дѣлающіе тротуаръ и переулокъ». Большою частію они только прикидываются изгнанниками, а въ сущности—спившіеся съ круга не англійскіе мастеровые или люди, имѣвшіе дома *несчастія*. Поль-

зуюсь необъятной величиной Лондона, они продѣлываютъ одну часть за другой и потомъ снова возвращаются на Via sacra, т. е. на Реджентъ-стритъ съ Геймаркетомъ и Лестеръ-скверомъ.

Лѣтъ пять тому назадъ, молодой человѣкъ, довольно чисто одѣтый и съ сентиментальной наружностью, нѣсколько разъ подходилъ ко мнѣ въ сумеркахъ съ вопросомъ на французскомъ языкѣ съ нѣмецкимъ акцентомъ: «Не можете ли вы мнѣ сказать гдѣ такая-то часть города?» и онъ подавалъ какой-то адресъ верстъ за десять отъ Вестъ-Энда, гдѣ-нибудь въ Головеѣ, Гекнеѣ. Каждый, такъ, какъ и я, принимался ему толковать. Его обдавалъ ужасъ. «Теперь 9 часовъ вечера, я еще не ѣлъ... когда же я приду? Ни гроша на омнибусъ... этого я не ждалъ. Не смѣю просить васъ, но если-бъ вы меня выручили.. мнѣ одного шиллинга за глаза довольно».

Я его встрѣчалъ еще раза два, наконецъ, онъ исчезъ, и я не безъ удовольствія его встрѣтилъ нѣсколько мѣсяцевъ спустя на старомъ мѣстѣ, съ измѣненной бородой и въ другой фуражкѣ. Съ чувствомъ приподымая ее, спросилъ онъ меня:

— Вы, вѣрно, знаете по-французски?

— Знаю, отвѣчалъ я, да сверхъ того знаю, что у васъ есть адресъ, вамъ придется идти далеко, а время позднее, вы еще ничего не ѣли, на омнибусъ денегъ нѣтъ, вамъ нуженъ шиллингъ... но, на этотъ разъ, я вамъ дамъ сикспенсъ, потому что не вы мнѣ, а я вамъ рассказалъ все это.

— Что дѣлать, отвѣчалъ онъ мнѣ улыбаясь, безъ малѣйшей злобы, вѣдь, вотъ вы опять не повѣрите, а я ѣду въ Америку, прибавьте на дорогу.

Я не выдержалъ и додалъ сикспенсъ.

Въ числѣ этихъ господъ были и русскіе: напр., бывшій кавказскій офицеръ Стремоуховъ, просившій на бѣдность въ Парижѣ еще въ 1847 году, рассказывая очень плавно исторію какой-то дуэли, бѣгства и пр. и забирая, къ сильному озлобленію прислуги, все на свѣтѣ: старыя платья и туфли, фуфайки лѣтомъ и зимой панталоны изъ парусины, дѣтскія платья, дамскія не-нужности. Русскіе собрали для него денегъ и отправили въ Алжиръ въ иностранный легіонъ. Онъ выслужилъ пять лѣтъ, привезъ аттестатъ и снова отправился изъ дома въ домъ, рассказывать о дуэли и побѣгѣ, прибавляя къ нимъ разныя арабскія похождения. Стремоуховъ становился старъ, и жалъ его было и надоѣдалъ онъ страшно. Русский священникъ при лондонской миссіи сдѣлалъ для него колекту, чтобъ отправить его въ Австралію. Ему дали въ Мельборнѣ рекомендацію и поручили капитану его самого и, главное, деньги за проѣздъ. Стремоуховъ приходилъ къ намъ прощаться. Мы его совсѣмъ снарядили: я ему далъ

теплое пальто, Г. рубашекъ и пр. Стремоуховъ, прощаясь, заплакалъ и сказалъ: «Какъ хотите, господа, а ѣхать въ такую даль не легкая вещь. Вдругъ разорваться со всеѣми привычками, но это надобно...» И онъ цѣловалъ насъ и благодарилъ съ горячностью.

Я думалъ, что Стремоуховъ давнымъ-давно гдѣ-нибудь на берегахъ Викторіи Риверъ; какъ вдругъ читаю въ «Теймсѣ», что какой-то *russian officer Stremoouchoff* за бунство, драку въ кабацѣ, вслѣдствіе какихъ-то взаимныхъ обвиненій въ воровствѣ и пр., присуждается на три мѣсяца тюрьмы. Мѣсяца черезъ четыре послѣ этого, я шелъ по Оксфордъ-стритъ, пошелъ сильный дождь, со мной не было зонтика, я подъ ворота. Въ то самое время, какъ я остановился, какая-то длинная фигура, закрываясь дряхлымъ зонтикомъ, торопливо шмыгнула подъ другія ворота. Я узналъ Стремоухова.

— Какъ, вы воротились изъ Австраліи? спросилъ я его, прямо глядя ему въ глаза.

— Ахъ, это вы, а я и не призналъ васъ, отвѣчалъ онъ слабымъ и умирающимъ голосомъ; — нѣтъ-съ, не изъ Австраліи, а изъ больницы, гдѣ пролежалъ мѣсяца три между жизнью и смертію... и не знаю, зачѣмъ выздоровѣлъ.

— Въ какой же вы были больницѣ, въ *S. Georges Hospital*?

— Нѣтъ, не здѣсь, въ *Cooutgampton*.

— Какъ же вы это занемогли и никому не дали знать? Да и какъ же вы не уѣхали?

— Опоздалъ на первый *train*, пріѣзжаю со вторымъ, пароходъ-съ ушелъ. Я постоялъ на берегу, постоялъ и чуть не бросился въ пучину морскую. Иду къ *Reverend'u*, къ которому нашъ батюшка меня рекомендовалъ; «капитанъ, говоритъ, уѣхалъ, часу ждать не хотѣлъ».

— А деньги?

— Деньги онъ оставилъ у *Reverend'a*.

— Вы, разумѣется, ихъ взяли?

— Взялъ-съ, но проку не вышло, во время болѣзни все утащили изъ-подъ подушки, такой народъ! Если можете чѣмъ помочь?

— А вотъ здѣсь, во время вашего отсутствія, какого-то другого Стремоухова запекли въ тюрьму и тоже на три мѣсяца, за драку съ курьеромъ. Вы не слыхали?

— Гдѣ же слышать между жизнью и смертію. Кажется, дождь перестаетъ. Желаю счастливо оставаться.

— Берегитесь выходить въ сырую погоду, а то опять попадетесь въ больницу.

Послѣ Крымской войны нѣсколько плѣнныхъ матросовъ и

солдаты остались, сами не зная за чѣмъ, въ Лондонѣ. Люди большей частью пьяные, они спохватились поздно. Нѣкоторые изъ нихъ просили посольство заступиться за нихъ, исходатайствовать прощенье, aber was macht es den dem Herrn Baron von Brunov!

Они представляли чрезвычайно печальное зрѣлище. Испитые, оборванные, они, то унижаясь, то съ дерзостью (довольно неприятною въ узкихъ улицахъ послѣ десяти часовъ вечера) требовали денегъ.

Въ 1853 г. бѣжало нѣсколько матросовъ съ военного корабля въ Портсмутѣ; часть ихъ была возвращена, въ силу нелѣпаго закона, подъ который подходятъ исключительно одни матросы. Нѣсколько человѣкъ спаслись и пришли пѣшкомъ изъ *Порчмы* въ Лондонъ. Одинъ изъ нихъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати двухъ, съ добрымъ и открытымъ лицомъ, былъ башмачникомъ, умѣлъ точать, какъ онъ называлъ, «шлиперы». Я купилъ ему инструментъ и далъ денегъ, но работа не пошла.

Въ это время Гарибальди отплывалъ съ своимъ Common Wealth въ Геную, я попросилъ его взять съ собой молодого человѣка. Гарибальди принялъ его съ жалованьемъ *фунта* въ мѣсяцъ и съ обѣщаніемъ, если будетъ хорошо себя вести, давать черезъ годъ два фунта. Матросъ, разумѣется, согласился, взялъ у Гарибальди два фунта впередъ и принесъ свои пожитки на корабль.

На другой день послѣ отъѣзда Гарибальди, матросъ пришелъ ко мнѣ красный, заспанный, вспухнувшій.

— Что случилось? спрашиваю я его.

— Несчастіе, ваше благородіе, опоздалъ на корабль.

— Какъ опоздалъ?

Матросъ бросился на колѣни и неестественно хныкалъ. Дѣло было исправимо. Корабль пошелъ за углемъ въ Newcastle on Tyne.

— Я тебя пошлю по желѣзной дорогѣ туда, сказалъ я ему, но если ты и на этотъ разъ опоздаешь, помни, что я ничего для тебя не сдѣлаю, хоть умри съ голоду. А такъ какъ дорога въ Newcastle стоитъ больше фунта, а я тебѣ не довѣрю шиллинга, то я пошлю за знакомымъ и ему поручу продержать тебя всю ночь и посадить въ вагонъ.

— Всю жизнь буду молить Бога за в. в.!

Знакомый, взявшійся за отправку, пришелъ ко мнѣ съ рапортомъ, что матроса выпроводилъ.

Представьте же мое удивленіе, когда дня черезъ три матросъ явился съ какимъ-то полякомъ.

— Что это значитъ? закричалъ я на него, въ самомъ дѣлѣ дрожа отъ бѣшенства.

Но прежде чѣмъ матросъ открылъ ротъ, его товарищъ при-

нялся его защищать на ломаномъ русскомъ языкѣ, окружая слова какой-то атмосферой табаку, водки и вина.

— Кто вы такой?

— Польскій дворянинъ.

— Въ Польшѣ всѣ дворяне. Почему вы пришли ко мнѣ съ этимъ мошенникомъ?

Дворянинъ расхорохорился. Я сухо замѣтилъ ему, что я съ нимъ не знакомъ и что его присутствіе въ моей комнатѣ до того странно, что я могу его велѣть вывести, позвавъ полисмена.

Я посмотрѣлъ на матроса. Въ три дня аристократическаго общества съ дворяниномъ его много воспитали. Онъ не плакалъ и пьяно дерзко смотрѣлъ на меня.

— Очень занемогъ, в. б. Думалъ Богу душу отдать, полегчало, когда машина ушла.

— Гдѣ же это тебя схватило?

— На самой, т. е., желѣзной дорогѣ.

— Что-жъ не поѣхалъ съ слѣдующей машиной?

— Не въ домекъ-съ, да и такъ какъ языку не способенъ...

— Гдѣ билетъ?

— Да билета нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?

— Уступилъ тутъ одному человѣчку.

— Ну, теперь ищи себѣ другихъ человѣчковъ, только въ одномъ будь увѣренъ, я тебѣ не помогу ни въ какомъ случаѣ.

— Однако, позвольте, вступилъ въ рѣчь «вольный шляхтичъ».

— М. г., я не имѣю ничего вамъ сказать и не желаю ничего слушать.

Ругая меня сквозь зубы, отправился онъ съ своимъ Телемакомъ, вѣроятно, до перваго кабака.

Еще ступеньку внизъ...

Можетъ, многіе съ недоумѣніемъ спросятъ, какая же это еще ступенька внизъ... *А есть, и довольно большая*—только тутъ ужъ темно, идите осторожно. Я не имѣю pruderie III-ра и мнѣ авторъ поэмы, въ которой Христосъ разговариваетъ съ маршаломъ Бюжо, показался еще забавнѣе послѣ геройскаго *rouir un vol avec effraction*. Если онъ и укралъ что-нибудь изъ-подъ замка, зато подвергался Богъ знаетъ чему и потомъ работалъ нѣсколько лѣтъ, можетъ, съ ядромъ на ногахъ. Онъ имѣлъ противъ себя не только того, котораго обокралъ, но все государство и общество, церковь, войско, полицію, судъ, всѣхъ честныхъ людей, которымъ красть ненужно, и всѣхъ безчестныхъ, но не уличенныхъ по суду. Есть воры другого рода, не преслѣдуемые полиціей, потому что они сами къ ней принадлежатъ. Это люди, ворующіе не платки, но разговоры, письма, взгляды. Эмигранты-шпіоны—шпіоны въ ква-

драть... Имъ оканчивается порокъ и развратъ; дальше, какъ за Люциферомъ у Данта, ничего нѣтъ,—тамъ ужъ опять пойдетъ вверхъ.

Французы большіе артисты этого дѣла. Они умѣютъ ловко сочетать образованныя формы, горячія фразы, *aplomb* человѣка, котораго совѣсть чиста и *point d'honneur* раздражителенъ, съ должностью шпіона. Заподозрите его, онъ вызоветъ васъ на дуэль, онъ будетъ драться и *храбро* драться.

Записки Де-ла-Года, Шеню, Шнепфа—кладъ для изученія грязи, въ которую цивилизація завела своихъ блудныхъ дѣтей. Де-ла-Годъ наивно печатаетъ, что онъ, предавая своихъ друзей, долженъ былъ съ ними хитрить такъ, «какъ хитритъ охотникъ съ дичью».

Де-ла-Годъ—это Алкивиадъ шпіонства.

Молодой человѣкъ съ литературнымъ образованіемъ и радикальнымъ образомъ мыслей, онъ изъ провинціи явился въ Парижъ, бѣдный какъ Иръ, и просилъ работы въ редакціи *Реформы*. Ему дали какую-то работу, онъ ее сдѣлалъ хорошо; мало-по-малу съ нимъ сблизились. Онъ вступилъ въ политическіе круги, зналъ многое изъ того, что дѣлалось въ республиканской партіи, и продолжалъ работать *нѣсколько лѣтъ*, оставаясь въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ къ сотрудникамъ.

Когда послѣ февральской революціи Коссидьеръ разобралъ бумажки въ префектурѣ, онъ нашелъ, что Де-ла-Годъ все время преправильно доносилъ полиціи о томъ, что дѣлалось въ редакціи *Реформы*. Коссидьеръ позвалъ Де-ла-Года къ Альберу, тамъ ждали свидѣтели. Де-ла-Годъ явился, ничего не подозрѣвая, попробовалъ заператься, но потомъ, видя невозможность, признался, что письма къ префекту писалъ онъ. Возникъ вопросъ, что съ нимъ дѣлать? Одни думали застрѣлить его тутъ же, какъ собаку. Альберъ возсталъ пуще всѣхъ и не хотѣлъ, чтобы въ *его квартирѣ* убили человѣка. Коссидьеръ предложилъ ему заряженный пистолетъ съ тѣмъ, чтобы онъ застрѣлился. Де-ла-Годъ отказался. Кто-то спросилъ его, не хочетъ ли онъ яду? Онъ и отъ яду отказался, а, отправляясь въ тюрьму, какъ благоразумный человѣкъ, *спросилъ кружку пива*,—это фактъ, переданный мнѣ сопровождавшимъ его помощникомъ мера XII округа.

Когда реакція стала брать верхъ, Де-ла-Года выпустили изъ тюрьмы, онъ уѣхалъ въ Англію, но когда реакція еще окончательно восторжествовала, онъ возвратился въ Парижъ и совался впередъ въ театрахъ и другихъ публичныхъ собраніяхъ, какъ левъ особой породы; вслѣдъ за тѣмъ издалъ онъ свои записки.

Шпіоны постоянно трутся во всѣхъ эмиграціяхъ; ихъ узнаютъ, открываютъ, колотятъ, а они свое дѣло дѣлаютъ съ пол-

нѣйшимъ успѣхомъ. Въ Парижѣ полиція знаетъ всѣ лондонскія тайны. День тайнаго пріѣзда Делеклюза, потомъ Буашо во Францію, были такъ хорошо извѣстны, что они были схвачены въ Кале, лишь только вышли изъ корабля. Въ коммунистическомъ процессѣ въ Кельнѣ читали документы и письма, «купленные въ Лондонѣ», какъ наивно признался въ судѣ прусскій комиссаръ полиціи.

Въ 1849 году я познакомился съ изгнаннымъ австрійскимъ журналистомъ, Энглендеромъ. Онъ былъ очень уменъ, очень колокъ и впоследствии помѣщалъ въ Колачековскихъ ярбухахъ рядъ живыхъ статей объ историческомъ развитіи социализма. Энглендеръ этотъ попался въ тюрьму въ Парижѣ по дѣлу, названному «Дѣломъ корреспондентовъ». Ходили разные слухи объ немъ; наконецъ, онъ самъ явился въ Лондонъ. Здѣсь другой австрійскій изгнанникъ, докторъ Гефнеръ, очень уважаемый своими, говорилъ, что Энглендеръ въ Парижѣ былъ на жалованьи у префекта, и что его сажали въ тюрьму за измѣну брачной вѣрности французской полиціи, приревновавшей его къ австрійскому посольству, у котораго онъ тоже былъ на жалованьи. Энглендеръ жилъ разгульно, на это надобно много денегъ, одного префекта видно не хватало.

Нѣмецкая эмиграція потолковала, потолковала и позвала Энглендера къ отвѣту. Энглендеръ хотѣлъ отшутиться, но Гефнеръ былъ безпощаденъ! Тогда мужъ двухъ полицій вдругъ вскочилъ съ раскраснѣвшимся лицомъ, со слезами на глазахъ и сказалъ: «Ну, да, я во многомъ виноватъ, но не ему меня обвинять», и онъ бросилъ на столъ письмо префекта, изъ котораго ясно было, что и Гефнеръ получалъ отъ него деньги.

Въ Парижѣ проживалъ нѣкій Н-ръ, тоже австрійскій рефюжье; я познакомился съ нимъ въ концѣ 1848 года. Товарищи его рассказывали объ немъ необыкновенно храбрый поступокъ во время революціи въ Вѣнѣ. У инсургентовъ не доставало пороха, Н-ръ вызвался привезти по *железной дорогѣ* и привезъ. Женатый и съ дѣтьми, онъ бѣдствовалъ въ Парижѣ. Въ 1853 г. я его нашелъ въ Лондонѣ въ большой крайности, онъ занималъ съ семьею двѣ небольшія комнатки, въ одномъ изъ самыхъ бѣдныхъ переулковъ Соо. Все не спорилось въ его рукахъ. Завелъ онъ было прачешную, въ которой его жена и еще одинъ эмигрантъ стирали бѣлье, а Н-ръ развозилъ его,—но товарищъ уѣхалъ въ Америку и прачешная остановилась.

Ему хотѣлось помѣститься въ купеческую контору,—очень не глупый человѣкъ и съ образованіемъ онъ могъ заработать хорошія деньги, но reference, reference, безъ reference въ Англіи ни шагу. Я ему далъ свою; по поводу этой рекомендаціи одинъ нѣ-

мѣдкій рефюжье, О., замѣтилъ мнѣ, что напрасно я хлопочу, что человѣкъ этотъ не пользуется хорошей репутаціей, что онъ будто бы въ связяхъ съ французской полиціей.

Въ это время Р. привезъ въ Лондонъ моихъ дѣтей. Онъ принималъ въ Н-рѣ большое участіе. Я сообщилъ ему, что объ немъ говорятъ.

Р. расхохотался, онъ ручался за Н-рѣ, какъ за самого себя, и указывалъ на его бѣдность, какъ на лучшее опроверженіе. Последнее убѣждало отчасти и меня. Вечеромъ Р. ушелъ гулять, возвратился поздно встревоженный и блѣдный. Онъ взмошелъ на минуту ко мнѣ и, жалуясь на сильную мигрень, собирался лечь спать. Я посмотрѣлъ на него и сказалъ:

— У васъ есть что-то на душѣ, *heraus damit!*

— Да, вы отгадали... но дайте прежде честное слово, что вы никому не скажете.

— Пожалуй, но что за шалости, предоставьте моей совѣсти.

— Я не могъ успокоиться, услышавши отъ васъ объ Н-рѣ, и, несмотря на обѣщаніе, данное вамъ, я рѣшился его спросить и былъ у него. Жена его на дняхъ родить, нужда страшная... Чего мнѣ стоило начать разговоръ! Я вызвалъ его на улицу и, наконецъ, собравъ все силы, сказалъ ему: знаете ли, что Г. предупреждали въ томъ-то и томъ-то; я увѣренъ, что это клевета, поручите мнѣ разъяснить дѣло. «Благодарю васъ,—отвѣчалъ онъ мнѣ мрачно,—но это ненужно; я знаю, откуда это идетъ. Въ минуту отчаянія, умирая съ голода, я предложилъ префекту въ Парижѣ мои услуги, чтобы держать его *au courant* эмиграціонныхъ новостей. Онъ мнѣ прислалъ 300 франковъ и я никогда ему не писалъ потомъ».

Р. чуть не плакалъ.

— Послушайте, пока жена его не родитъ и не оправится, даю вамъ слово молчать; пусть идетъ въ конторщики и оставитъ политическіе круги. Но, если я услышу новыя доказательства и онъ все-таки будетъ въ сношеніяхъ съ эмиграціей, я его выдамъ. Чортъ съ нимъ!

Р. уѣхалъ. Дней черезъ десять, во время обѣда, взмошелъ ко мнѣ Н-рѣ, блѣдный, разстроенный. «Вы можете понять, — говорилъ онъ, — чего мнѣ стоитъ этотъ шагъ; но куда ни смотрю, кромѣ васъ спасенья нѣтъ. Жена родитъ черезъ нѣсколько часовъ, въ домѣ ни угля, ни чая, ни чашки молока, денегъ ни гроша, ни одной женщины, которая бы помогла, не на что послать за акушеромъ». И онъ, дѣйствительно, изнеможенный бросился на стулъ и, покрывъ лицо руками, сказалъ: «Остается пулю въ лобъ, по крайней мѣрѣ, не увижу этого ужаса».

Я тотчасъ послалъ за добрымъ Павломъ Дарашемъ, далъ де-

негъ Н-ръ и, сколько могъ, успокоилъ его. На другой день Дарашъ захватилъ сказать, что роды сошли съ рукъ хорошо.

Между тѣмъ вѣсть, пущенная, вѣроятно, по личной враждѣ, о связяхъ съ французской полиціей Н-ра ходила больше и больше и, наконецъ, Т., извѣстный вѣнскій клубистъ и агитаторъ, послѣ рѣчи котораго народъ повѣсилъ Латура, увѣрялъ направо и налѣво, что онъ самъ читалъ письмо отъ префекта, писанное при присылкѣ денегъ. Обвиненіе Н-ра, видно, было дорого для Т.: онъ самъ зашелъ ко мнѣ, чтобы подтвердить его.

Положеніе мое становилось трудно. Гаугъ жилъ у меня; до того я ему не говорилъ ни слова, но теперь это становилось не деликатно и опасно. Я рассказалъ ему, не упоминая о Р., котораго не хотѣлъ путать въ драму, имѣвшую всѣ шансы на то, что V актъ ея будетъ представляться въ полицейскомъ судѣ или въ Олдъ-Бели. Чего я прежде боялся, то и случилось: «вскипѣлъ бульонъ», я едва могъ усмирить Гауга и удержать его отъ нашествія на чердакъ Н-ра. Я зналъ, что Н-ръ долженъ былъ придти къ намъ съ переписанными тетрадями, и совѣтовалъ подождать его. Гаугъ согласился и какъ-то утромъ вбѣжалъ ко мнѣ, блѣдный отъ ярости, и объявилъ, что Н-ръ внизу. Я бросилъ поскорѣ бумаги въ столъ и сошелъ. Перестрѣлка шла ужъ сильная. Гаугъ кричалъ и Н-ръ кричалъ. Калибръ крѣпкихъ словъ становился все крупнѣе. Выраженіе лица Н-ра, искаженнаго злобой и стыдомъ, было дурно. Гаугъ былъ въ азартѣ и путался. Этимъ путемъ можно было скорѣе дойти до раскрытія черена, чѣмъ дѣла.

— Господа,—сказалъ я вдругъ середь рѣчи,—позвольте васъ остановить на минуту.

Они остановились.

— Мнѣ кажется, что вы портите дѣло горячностью; прежде чѣмъ браниться, надобно поставить совершенно ясно вопросъ.

— Что я *тронъ или нѣтъ*,—кричалъ Н-ръ,—я ни одному человѣку не позволю ставить такой вопросъ.

— Нѣтъ, не въ этомъ вопросъ, который я хотѣлъ предложить; васъ обвиняетъ *одинъ человѣкъ*, да и не онъ одинъ, что вы получали деньги отъ парижскаго префекта полиціи.

— Кто этотъ человѣкъ?

— Т.

— Мерзавецъ.

— Это къ дѣлу не идетъ, вы деньги получали или нѣтъ?

— *Получалъ*,—сказалъ Н-ръ съ натянутымъ спокойствіемъ, глядя мнѣ и Гаугу въ глаза. Гаугъ судорожно кривлялся и какъ-то стоналъ отъ нетерпѣнія снова обругать Н-ра; я взялъ Гауга за руку и сказалъ:

— Ну, только намъ и надобно.

— *Нѣтъ, не только*, — отвѣчалъ Н-ръ, — вы должны знать, что никогда ни одной строкой я не компрометировалъ никого.

— Дѣло это можетъ рѣшить только вашъ корреспондентъ Піетри, а мы съ нимъ не знакомы.

— Да что я у васъ подсудимый, что ли? Почему вы воображаете, что я долженъ передъ вами оправдываться? Я слишкомъ высоко цѣню свое достоинство, чтобы зависѣть отъ мнѣнія какого-нибудь Гауга или вашего. Нога моя не будетъ въ этомъ домѣ, — прибавилъ Н-ръ, — гордо надѣлъ шляпу и отворилъ дверь.

— Въ этомъ вы можете быть увѣрены, — сказалъ я ему вслѣдъ.

Онъ хлопнулъ дверью и ушелъ. Гаугъ порывался за нимъ, но я, смѣясь, остановилъ его, перефразируя слова Сіэса

— *Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons été hier—déjeunons!*

Н-ръ отправился прямо къ Т. Тучный, лоснящійся Силенъ, о которомъ Мацини какъ-то сказалъ: «мнѣ все кажется, что его поджарили на оливковомъ маслѣ и не обтерли», еще не покидалъ своего ложа. Дверь отворилась и передъ его просыпающимися и опухлыми глазами явилась фигура Н-ра.

— Ты сказалъ Г., что я получалъ деньги отъ префекта?

— Я.

— Зачѣмъ?

— За тѣмъ, что ты получалъ.

— Хотя и зналъ, что я не доносилъ. Вотъ же тебѣ за это. — При этихъ словахъ Н-ръ плюнулъ Т. въ лицо и пошелъ вонъ... Разъяренный Силенъ не хотѣлъ остаться въ долгу, — онъ вскочилъ съ постели, схватилъ горшокъ и, пользуясь тѣмъ, что Н-ръ спускался по лѣстницѣ, вылилъ ему весь запасъ на голову, приговаривая:

— А это ты возьми себѣ.

Эпилогъ этотъ утѣшилъ меня несказанно.

— Видите, какъ хорошо я сдѣлалъ, — говорилъ я Гаугу, — что васъ остановилъ. Ну, что бы подобнаго вы могли сдѣлать надъ головой несчастнаго корреспондента Піетри, вѣдь, онъ до второго пришествія не просохнетъ.

Казалось бы, дѣло должно было окончиться этой нѣмецкой вендеттой, но у эпилога есть еще небольшой финалъ. Какой-то господинъ, говорятъ добрый и честный, старикъ В., сталъ защищать Н. Онъ созвалъ комитетъ нѣмцевъ и пригласилъ меня, *какъ одного изъ обвинителей*. Я написалъ ему, что въ комитетъ не пойду, что все мнѣ извѣстное ограничивается тѣмъ, что Н. въ моемъ присутствіи сознался Гаугу, что онъ деньги *отъ префекта получалъ*. В-ру это не понравилось, онъ написалъ

мнѣ, что Н. *фактически* виноватъ, но *морально* чистъ, и приложилъ письмо Н. къ нему. Н. обращалъ, между прочимъ, вниманіе его на *странность* моего поведенія. «Г.,—говорилъ онъ,—гораздо прежде зналъ отъ г. Р. объ этихъ деньгахъ и не только молчалъ до обвиненія Т., но послѣ того еще далъ мнѣ два фунта и присылалъ на свой счетъ доктора во время болѣзни жены!»

Sehr gut!

On Liberty.

Много я принялъ горя за то, что печально смотрю на Европу и просто, безъ страха и сожалѣнія, высказываю это. Съ того времени, какъ я печаталъ въ *Современникѣ* мои *Письма изъ Avenue Marigny*, часть друзей и недруговъ показывали знаки не-терпѣнія, негодованія, возражали.., а тутъ, какъ на зло, съ каждымъ событіемъ становилось на Западѣ темнѣе, угарнѣе, и ни умныя статьи Парадоля, ни клерикально-либеральныя книженки Монталамбера, ни замѣна прусскаго короля прусскимъ принцемъ не могли отвести глазъ, искавшихъ истины. У насъ не хотятъ этого знать, и, натурально, сердятся на нескромнаго обличителя.

Европа намъ нужна какъ идеаль, какъ упрекъ, какъ благой примѣръ; если она не такая, ее надобно выдумать. Развѣ наивныя вольнодумы XVIII вѣка, и въ ихъ числѣ Вольтеръ и Робеспьеръ, не говорили, что если и нѣтъ безсмертія души, то его надобно проповѣдывать для того, чтобъ держать людей въ страхѣ и добродѣтели. Или развѣ мы не видимъ въ исторіи, какъ иногда вельможи скрывали тяжкую болѣзнь или скоропостижную смерть царя и управляли именемъ трупа или сумасшедшаго, какъ это недавно было въ Пруссіи.

Ложь ко спасенію—дѣло, можетъ, хорошее, но не всѣ способны къ ней.

Я не унылъ, впрочемъ, отъ порицаній и утѣшалъ себя тѣмъ, что и здѣсь мною высказанныя мысли принимались не лучше, да еще тѣмъ, что онѣ объективно истинны, т. е., независимы отъ личныхъ мнѣній и даже добрыхъ цѣлей воспитанія, исправленія нравовъ и т. д. Все само по себѣ истинное рано или поздно взойдетъ и обличится, «Kommt an die Sonnen», какъ говоритъ Гёте.

Одна изъ причинъ неудовольствія, собственно противъ *моихъ* мнѣній, антропологически понятна: сверхъ докучнаго безпокойства, приносимаго разрушеніемъ оконченныхъ мнѣній и окаментѣлыхъ идеаловъ, на меня досадовали за то, что я *свой человекъ*,—съ чего же въ самомъ дѣлѣ вдругъ вздумалъ судить и рядить, да еще старшихъ, и какихъ?

Въ нашемъ новомъ поколѣніи есть странный кряжъ, въ немъ спаяны, какъ въ маятникахъ, самые противоположные элементы:

съ одной стороны, оно толкается какимъ-то жестянымъ, костлявымъ, неукладчивымъ самолюбіемъ, заносчивой самонадѣянностью, шепетильной обидчивостью; съ другой, въ немъ поражаетъ обезкураженная подавленность, недовѣріе къ Россіи, преждевременное старчество. Это естественный результатъ рабства: въ немъ въ иной формѣ сохранилась наглость начальника, дерзость барина, съ подавленностью подчиненнаго, съ отчаяніемъ ревизской души, отпущаемой въ услуженіе.

Пока меня побранивали наши начальники литературныхъ отдѣленій, время шло себѣ да шло, и, наконецъ, прошло цѣлыхъ десять лѣтъ. Многое изъ того, что было ново въ 1849, стало въ 1859 битой фразой, что казалось тогда сумасброднымъ парадоксомъ, перешло въ общественное мнѣніе и много *вѣчныхъ и неизбѣжныхъ* истинъ прошли съ тогдашнимъ покроемъ платья.

Серьезные умы въ Европѣ стали смотрѣть серьезно. Ихъ очень немного, это только подтверждаетъ мое мнѣніе о Западѣ, но они далеко идутъ, и я очень помню, какъ Т. Карлейль и добродушный Олсопъ (тотъ, который былъ замѣшанъ въ дѣло Орсини) улыбались надъ остатками моей вѣры въ англійскія формы. Но вотъ является книга, идущая далеко дальше всего, что было сказано мною. *Pereant qui ante nos nostra dixerunt* и спасибо тѣмъ, которые послѣ насъ своимъ авторитетомъ утверждаютъ сказанное нами и своимъ талантомъ ясно и мощно передаютъ слабо выраженное нами.

Книга, о которой я говорю, писана не Прудономъ, ни даже Пьеромъ Леру или другимъ социалистомъ-изгнанникомъ, раздраженнымъ,—совсѣмъ нѣтъ; она писана однимъ изъ извѣстнѣйшихъ политическихъ экономовъ, однимъ изъ недавнихъ членовъ индійскаго борда, которому три мѣсяца тому назадъ лордъ Стенли предлагалъ мѣсто въ правительствѣ. Человѣкъ этотъ пользуется огромнымъ, заслуженнымъ авторитетомъ, въ Англійи его нехотя читаютъ тори и со злобой виги; его читаютъ на материкѣ тѣ нѣсколько человѣкъ (кромѣ специалистовъ), которые вообще читаютъ что-нибудь, кромѣ газетъ и памфлетовъ.

Человѣкъ этотъ Джонъ Стюартъ Милль.

Мѣсяцъ тому назадъ онъ издалъ странную книгу въ защиту *свободы мысли, рѣчи и лица*; я говорю странную, потому что неужели не странно, что тамъ, гдѣ за два вѣка Мильтонъ писалъ о томъ же, явилась необходимость снова поднять рѣчь *on Liberty*. А, вѣдь, такіе люди, какъ С. Милль, не могутъ писать изъ удовольствія; вся книга его проникнута глубокой печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей, тацитовской. Онъ потому заговорилъ, что зло стало хуже. Мильтонъ защищалъ свободу рѣчи противъ нападеній власти, противъ насилія, и все энерги-

ческое и благородное было съ нимъ. У Стюарта Милля врагъ совѣмъ иной, онъ отстаиваетъ свободу не противъ образованнаго правительства, а противъ *общества*, противъ *нравовъ*, противъ мертвящей силы равнодушія, противъ мелкой нетерпимости, противъ «посредственности».

Это не негодующій старикъ царедворецъ Екатерины, который брюзжитъ, обойденный кавалеріей, надъ юнымъ поколѣніемъ и колетъ глаза зимнему дворцу грановитой палатой. Нѣтъ, это человѣкъ полный силъ, давно живущій въ государственныхъ дѣлахъ и глубоко продуманныхъ теоріяхъ, привыкнувшій спокойно смотрѣть на міръ, и какъ англичанинъ, и какъ мыслитель, и онъ-то, наконецъ, не вытерпѣлъ и, подвергаясь гнѣву неvesкихъ регистраторовъ цивилизаціи и москворѣцкихъ крыжниковъ западнаго образованія,—закричалъ: «Мы тонемъ!»

Постоянное пониженіе личностей, вкуса, тона, пустота интересовъ, отсутствіе энергіи ужаснули его, онъ присматривается и видитъ, какъ ясно все мельчаетъ, становится дюжинное, рядское, стертое, пожалуй, «добропорядочнѣе», но пошлѣе. Онъ видитъ въ Англіи (то, что Токвиль замѣтилъ во Франціи), что вырабатываются общіе стадные типы, и, серьезно качая головой, говоритъ своимъ современникамъ: Остановитесь, одумайтесь, знаете ли, куда вы идете, посмотрите—*душа убываетъ*.

Но зачѣмъ же будить онъ спящихъ, какой путь, какой выходъ онъ придумалъ для нихъ? Онъ, какъ нѣкогда Іоаннъ Предтеча, грозитъ будущимъ и зоветъ на покаяніе; врядъ второй разъ подвигнешь ли этимъ отрицательнымъ рычагомъ людей. Стюартъ Милль стыдитъ своихъ современниковъ, какъ стыдилъ своихъ Тацитъ; онъ ихъ этимъ не остановитъ, какъ не остановилъ своихъ Тацитъ. Не только нѣсколькими печальными упреками не уймешь *убывающую душу*, но, можетъ, никакой плотиной въ міръ.

«Люди иного закала, говоритъ онъ, сдѣлали изъ Англіи то, что *она была*, и только люди другого закала могутъ ее предупредить отъ *паденія*».

Но это пониженіе личностей, этотъ недостатокъ закала, только патологическій фактъ, и признать его очень важный шагъ для выхода, но не выходъ. Стюартъ Милль коритъ больного, указывая ему на здоровыхъ праотцевъ,—странное леченіе и едва ли великодушное.

Ну, что же начать теперь корить ящерицу допотопнымъ ихтіозавромъ,—виновата ли она, что она маленькая, а тотъ большой? С. Милль, испугавшись нравственной ничтожности, духовной посредственности окружающей его среды, кричалъ со страстей и съ горя, какъ богатыри въ нашихъ сказкахъ: «Есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?»

Зачѣмъ же онъ его звалъ? Затѣмъ, чтобъ сказать ему, что онъ выродившійся потомокъ сильныхъ праотцевъ и, слѣдственно, долженъ сдѣлаться такимъ же, какъ они.

Для чего?—Молчаніе.

И Робертъ Оуэнъ звалъ людей лѣтъ семьдесятъ сряду и тоже безъ всякой пользы; но онъ звалъ ихъ *на что-нибудь*. Это *что-нибудь* была ли утопія, фантазія или истина, намъ теперь до этого дѣла нѣтъ; намъ важно то, что онъ звалъ съ цѣлью; а С. Милль, подавляя современниковъ суровыми, рембрантовскими тѣнями временъ Кромвеля и пуританъ, хочетъ, чтобъ вѣчно обвѣшивающіе, вѣчно обмѣривающіе лавочники сдѣлались изъ какой-то поэтической потребности, изъ какой-то душевной гимнастики героями.

Мы можемъ также вызвать монументальныя, грозныя личности французскаго конвента и поставить ихъ рядомъ съ бывшими, будущими и настоящими французскими шпионами и *épiciers*, и начать рѣчь въ родѣ Гамлета:

Look here, upon this picture and on this...
Hyperion's curls, the front of Love himself;
An eye like Mars...

Look you now, what follows.
Here is your husband...

Это будетъ очень справедливо и еще больше обидно, но неужели отъ этого кто-нибудь оставитъ свой пошлый, но удобный быть, и все это для того, чтобъ величаво скучать, какъ Кромвель, или стойчески нести голову на плаху, какъ Дантонъ.

Тѣмъ было легко такъ поступать, потому что они были подъ господствомъ страстнаго убѣжденія, *d'une idée fixe*.

Такія *idée fixe* былъ католицизмъ въ свое время, потомъ протестантизмъ; наука въ эпоху возрожденія, революція въ XVIII столѣтіи.

Гдѣ же эта святая мономанія, этотъ *magnum ignotum*, этотъ сфинксовской вопросъ нашей цивилизаціи, гдѣ та могущая мысль, та страстная вѣра, то горячее упованіе, которое можетъ закалить тѣло, какъ сталь, довести душу до того судорожнаго ожесточенія, которое не чувствуетъ ни боли, ни лишеній и твердымъ шагомъ идетъ на плаху, на костеръ?

Посмотрите кругомъ, что въ состояніи одушевить лица, поднять народы, поколебать массы: религія ли папы съ его незапятнаннымъ рожденіемъ Богородицы, или религія безъ папы, съ ея догматомъ воздержанія отъ пива въ субботній день? арифметическій ли пантеизмъ всеобщей подачи голосовъ, суетвѣріе ли въ республику, или суетвѣріе въ парламентскія реформы?... Нѣтъ и нѣтъ;

все это блѣднѣть, старѣть и укладывается, какъ нѣкогда боги Олимпа укладывались, когда они съѣзжали съ неба, вытѣсняемые новыми соперниками.

Только на бѣду ихъ нѣтъ у нашихъ почернѣвшихъ кумировъ, по крайней мѣрѣ, С. Милль не указываетъ ихъ.

Знаеть онъ ихъ или нѣтъ,—это сказать трудно.

Съ одной стороны, англійскому генію противно отвлеченное обобщеніе и смѣлая логическая послѣдовательность; онъ своимъ скептицизмомъ чуетъ, что логическая крайность, какъ законы чистой математики, неприлагаема безъ ввода жизненныхъ условій. Съ другой стороны, онъ привыкъ физически и нравственно застегивать пальто на всѣ пуговицы и поднимать воротникъ; это его предостерегаетъ отъ сырого вѣтра и отъ суровой нетерпимости.

С. Милль, вмѣсто всякаго выхода, вдругъ замѣчаетъ: «Въ развитіи народовъ, кажется, есть предѣлъ, послѣ котораго онъ останавливается и *блѣднѣетъ Китаемъ*».

Когда же это бываетъ?

Тогда, отвѣчаетъ онъ, когда личности начинаютъ стираться, пропадать въ массахъ, когда все подчиняется принятымъ обычаямъ, когда понятіе добра и зла смѣшиваются съ понятіемъ сообразности или несообразности съ принятымъ. Гнетъ обычая останавливаетъ развитіе, развитіе собственно и состоитъ изъ стремленія къ *лучшему* отъ обыкновеннаго. Вся исторія состоитъ изъ этой борьбы, и если большая часть человечества не имѣетъ исторіи, то это потому, что жизнь ихъ совершенно подчинена обычаю.

Теперь слѣдуетъ взглянуть, какъ нашъ авторъ разсматриваетъ современное состояніе образованнаго міра. Онъ говоритъ, что, несмотря на умственное превосходство нашего времени, все идетъ къ *посредственности*. лица теряются въ толпѣ. Эта collective mediocrity ненавидитъ все рѣзкое, самобытное, выступающее; она проводитъ надъ всѣмъ общій уровень. А такъ какъ въ среднемъ разрѣзѣ у людей не много ума и не много желаній, то сборная посредственность, какъ топкое болото, понимаетъ, съ одной стороны, все желающее вынырнуть, а съ другой, предупреждаетъ безпорядокъ эксцентричныхъ личностей воспитаніемъ новыхъ поколѣній въ такую же вялую посредственность. Нравственная основа поведенія состоитъ преимущественно въ томъ, чтобъ жить, какъ другіе. «Горе мужинамъ, а особливо женщинамъ, которые вздумаютъ дѣлать то, *чего никто не дѣлаетъ*; но горе и тѣмъ, которые не дѣлаютъ *того, что дѣлаютъ всѣ*». Для такой нравственности не требуется ни ума, ни особенной воли, люди занимаются своими *дѣлами*, и иной разъ для развлеченія шалятъ

въ филантропію (philanthropic hobby) и остаются добропорядочными, но пошлыми людьми.

Этой-то средѣ принадлежитъ сила и власть, самое правительство по той мѣрѣ мощно, по какой оно служитъ органомъ господствующей среды и понимаетъ его инстинктъ.

Какая же это державная среда? «Въ Америкѣ къ ней принадлежатъ всѣ бѣлые, въ Англіи господствующій слой составляетъ *среднее состояніе*» ¹⁾.

С. Милль находитъ одно различіе между мертвой неподвижностью восточныхъ народовъ и современнымъ мѣщанскимъ государствомъ. И въ немъ-то, мнѣ кажется, находится самая горькая капля изъ всего кубка полныни, поданнаго имъ. Въмѣсто азіатскаго, коснаго покоя, современные европейцы живутъ, говоритъ онъ, въ пустомъ безпокойствѣ, въ бессмысленныхъ перемѣнахъ: «отвергая особенности, мы не отвергаемъ перемѣнъ, лишь бы онѣ были всякій разъ сдѣланы *всѣми*. Мы бросили своеобычную одежду нашихъ отцовъ и готовы мѣнять два-три раза въ годъ покрой нашего платья, но съ тѣмъ, чтобъ всѣ мѣняли его, и это дѣлается не изъ видовъ красоты или удобства, а для самой перемѣны!»

Если личности не высвободятся отъ этого утягивающаго омута, отъ замаривающей топи, то «Европа, несмотря на свои благородные антецеденты и свое христіанство, *сдѣлается Китаемъ*».

Вотъ мы и возвратились и стоимъ передъ тѣмъ же вопросомъ. На какомъ основаніи будить спящаго: во имя чего обрюзгнувшая личность и утянутая въ мелочь вдохновится, сдѣлается недовольна своей теперешней жизнью, съ желѣзными дорогами, телеграфами, газетами, дешевыми изданіями?

Личности не выступаютъ оттого, что нѣтъ достаточнаго повода. За кого, за что или противъ кого имъ выступать? Отсутствіе сильныхъ дѣятелей не причина, а послѣдствіе.

Точка, линія, послѣ которой борьба между желаніемъ *лучшаго* и сохраненіемъ *существующаго* оканчивается въ пользу сохраненія, наступаетъ (кажется намъ) тогда, когда господствующая, дѣятельная, *историческая* часть народа близко подходитъ къ такой формѣ жизни, которая соотвѣтствуетъ ему, это своего рода насыщеніе, сатурація, все приходитъ въ равновѣсіе, успокоивается, продолжаетъ вѣчное одно и то же, до катаклизма, обновленія, разрушенія. *Semper idem* не требуетъ ни огромныхъ успій, ни грозныхъ бойцовъ; въ какомъ бы родѣ они ни были, они будутъ лишніе, середь мира ненужно полководцевъ.

Чтобъ не ходить такъ далеко, какъ Китай, взгляните возлѣ.

¹⁾ Пусть читатель вспомнить, что было сказано объ этомъ въ „Западныхъ Арабескахъ“.

на ту страну на Западѣ, которая наибольше отстоялась, на страну, которой Европа начинается сѣдѣть,—на Голландію; гдѣ ея великіе государственные люди, гдѣ ея великіе живописцы, гдѣ тонкіе богословы, гдѣ смѣлые мореплаватели? Да на что ихъ? Развѣ она несчастна оттого, что не мятется, не бушуетъ, оттого, что ихъ нѣтъ? Она вамъ покажетъ свои смѣющіяся деревни на обсушенныхъ болотахъ, свои выстиранные города, свои выглаженные сады, свой комфортъ, свою свободу, и скажетъ: мои великіе люди приобрѣли мнѣ эту свободу, мои мореплаватели завѣщали мнѣ это богатство, мои великіе художники украсили мои стѣны и церкви, мнѣ хорошо,—чего же вы отъ меня хотите? Рѣзкой борьбы съ правительствомъ? Да развѣ оно тѣснить? у насъ и теперь свободы больше, нежели во Франціи когда-либо бывало.

Да что же изъ этой жизни?

Что выйдетъ? Да вообще, что изъ жизни выходитъ? А потомъ—развѣ въ Голландіи нѣтъ частныхъ романовъ, коллизій, сплетней; развѣ въ Голландіи люди не любятъ, не плачутъ, не хохочутъ, не поютъ пѣсенъ, не пьютъ скидама, не пляшутъ въ каждой деревнѣ до утра? Къ тому же не слѣдуетъ забывать, что, съ одной стороны, они пользуются всѣми плодами образованія, наукъ и художествъ, а съ другой—имъ бездна дѣла: гран-пасьянсъ торговли, меледа хозяйства, воспитаніе дѣтей по образу и подобию своему; не успѣетъ голландецъ оглянуться, обдосужиться, а ужъ его несутъ на «Божью ниву» въ щегольски отлакированномъ гробѣ, въ то время какъ сынъ запряженъ въ торговое колесо, которое необходимо слѣдуетъ безпрестанно вертѣть, а то дѣла останутся.

Такъ можно прожить тысячу лѣтъ, если не помѣшаетъ какое-нибудь второе пришествіе Бонапартова брата.

Отъ старшихъ братій я прошу позволенія отступить къ меньшимъ.

Мы не имѣемъ достаточно фактовъ, но можемъ предположить, что животныя породы, такъ, какъ онѣ установились, представляютъ послѣдній результатъ долгаго колебанія разныхъ видоизмѣненій, ряда совершенствованій и достижений. Эта исторія дѣлалась исподволь костями и мышцами, извилинами мозга и струйками нервъ.

Допотопныя животныя представляютъ какую-то героическую эпоху этой *книги бытія*; это—титаны и богатыри, они мельчаютъ, уравниваются съ новой средой и, какъ только достигаютъ довольно ловкаго и прочнаго типа, начинаютъ типически повторяться, и до такой степени, что Улиссова собака въ Одиссеѣ похожа, какъ двѣ капли воды, на всѣхъ нашихъ собакъ. И это не

все: кто сказалъ, что животныя политическія или общественныя, живущія не только стадомъ, но и съ нѣкоторой организаціей, какъ муравьи и пчелы, что они такъ сразу учредили свои муравейники или ульи? Я вовсе этого не думаю. Милліоны поколѣній легли и погибли прежде, чѣмъ они устроились и упрочили свои *китайскіе* муравейники.

Я желалъ бы уяснить этимъ, что если какой-нибудь народъ дойдетъ до этого состоянія соотвѣтственности внѣшняго общественнаго устройства съ своими потребностями, то ему нѣтъ никакой внутренней необходимости, до перемѣны потребностей, идти впередъ, воевать, бунтовать, производить эксцентрическія личности.

Покойное поглощеніе въ стадѣ, въ ульѣ—одно изъ первыхъ условій сохраненія достигнутаго.

До этого полного покоя міръ, о которомъ говоритъ С. Милль, не дошелъ. Онъ послѣ всѣхъ своихъ революцій и потрясеній не можетъ ни устояться, ни отстояться, бездна дряни наверху, все мутно, нѣтъ ни этой китайской фарфоровой чистоты, ни голландской полотняной бѣлизны. Въ немъ множество неспѣтаго, уродливаго, даже болѣзненнаго, и въ этомъ отношеніи ему предстоитъ дѣйствительно на его собственномъ пути еще шагъ впередъ. Ему надобно пріобрѣсти не энергическія личности, не эксцентрическія страсти, а честную мораль своего положенія. Англичанинъ перестанетъ обвѣшивать, французъ—помогать всякой полиціи, этого требуетъ не только *respectability*, но и прочность быта.

Тогда Англія можетъ, по словамъ С. Милля, превратиться въ Китай (и, конечно, въ усовершенствованный), сохраняя всю свою торговлю, всю свою свободу и улучшая свое законодательство, т. е., облегчая его по мѣрѣ возрастанія обязательнаго обычая, который лучше всѣхъ судовъ и наказаній заморить волю. А Франція можетъ въ это время взойти въ красивое, военное русло персидской жизни, расширенное всѣмъ, что образованная централизація даетъ въ руки власти, вознаграждая себя за потерю всѣхъ человѣческихъ правъ блестящими набѣгами на сосѣдей и приковывая другіе народы къ судьбамъ централизованной деспотіи.... Черты зуавовъ уже теперь принадлежать азіатскому типу, чѣмъ европейскому.

Предупреждая возгласы и проклятія, я тороплюсь сказать, что здѣсь рѣчь идетъ не о моихъ желаніяхъ, ни даже о моихъ мнѣніяхъ. Трудъ мой чисто логическій, я хотѣлъ *развернуть скобки* формулы, въ которой выраженъ результатъ С. Милля, я хотѣлъ отъ его личностей-дифференціаловъ взять историческій интеграль.

Стало быть, вопросъ не можетъ быть въ томъ, учтиво ли про-

рочить Англіи судьбы Китая (это же сдѣлалъ не я, а онъ самъ), и деликатно ли предсказывать Франціи, что она будетъ Персіей? Хотя по справедливости я и не знаю, отчего же Китай и Персію можно безнаказанно оскорблять. Вопросъ дѣйствительно важный, до котораго С. Милль не коснулся, вотъ въ чемъ: существуютъ ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь, есть ли подѣды и здоровые ростки, чтобъ прорасти измельчавшую траву? А тотъ вопросъ сводится на то, потерпитъ ли народъ, чтобъ его окончательно употребили для удобренія почвы новому Китаю и новой Персіи, на безвыходную, черную работу, на невѣжество и проголодь, позволяя взамѣнъ, какъ въ лотерейной игрѣ, одному на десять тысячъ, въ примѣръ, ободреніе и усмиреніе прочимъ, разбогатѣть и сдѣлаться изъ снѣдающаго—обѣдающимъ.

Вопросъ этотъ разрѣшать событія,—теоретически его не разрѣшишь.

Если народъ сломится, новый Китай и новая Персія неминуемы.

Если народъ и въ Англіи будетъ побитъ, какъ въ Германіи во время крестьянскихъ войнъ, какъ во Франціи въ іюньскіе дни,—тогда Китай, пророчимый Стюартомъ Миллемъ, не далекъ. Переходъ въ него сдѣлается незамѣтно, не утратится, какъ мы сказали, ни одного права, не уменьшится ни одной свободы, уменьшится только *способность пользоваться этими правами и этой свободой!*

Люди робкіе, люди чувствительные говорятъ, что это невозможно. Я ничего лучше не прошу, какъ согласиться съ ними, но не вижу причины. Трагическая безвыходность состоитъ именно въ томъ, что та идея, которая можетъ спасти народъ и устремить Европу къ новымъ судьбамъ—*невыгодна* господствующему классу, что ему, если-бъ онъ былъ послѣдователенъ и смѣлъ, *выгодно* только государство съ американскимъ невольничествомъ!

Но кто же изъ нихъ правъ? Праваго между голоднымъ и сытымъ найти не мудрено, но это ни къ чему не ведетъ,—Иисусъ Христосъ развѣ не былъ правъ противъ синагоги,—однако же его распяли.

Зато черезъ четыре вѣка римская имперія сдѣлалась *христіанской*.

А христіанство *языческимъ!* ¹⁾.

¹⁾ Прибавленіе о книгѣ С. Милля писано въ 1859 году.

С. Ворцель.

Давно накипавшее неудовольствіе противъ централизаціи въ молодой части демократической эмиграціи подняло голосъ, голосъ, обвиняющій Ворцеля. Онъ обомлѣлъ: этой раны онъ не ждалъ, и она пришла совершенно естественно. Былъ ли онъ виноватъ и насколько,—мы сейчасъ увидимъ.

Небольшая кучка людей, близко окружавшихъ Ворцеля, и изъ числа которыхъ были избраны почти всѣ члены централизаціи, далеко не имѣла одного уровня съ нимъ. Ворцель понималъ это и постоянно находился подъ ихъ вліяніемъ. Этому странному явленію способствовало многое: снисхожденіе человѣка сильнаго къ слабымъ, но благонамѣреннымъ людямъ; желаніе сохранить около себя цѣлую партію, цѣною, повидимому, неважныхъ уступокъ; наконецъ, физическая слабость и его астмъ: ему говорить было трудно, поднимать голосъ онъ не могъ; а тѣ не привыкли его понижать и, въ случаѣ возраженій, такъ кричали, что Ворцель отказывался отъ своего мнѣнія, чтобъ опомниться отъ крика. Привыкнувъ къ своему жиденькому хору, онъ воображалъ, что ведетъ его, въ то время какъ хоръ, стоя сзади, направлялъ его, куда хотѣлъ. Только старикъ подымался на ту высь, въ которой ему было свободно дышать, въ которой ему было естественно,—хоръ, исполняя должность мѣщанской родни, какъ гиря, стягивалъ его въ низменную сферу эмиграціонныхъ дрызгъ и мелочныхъ расчетовъ; бѣдный Ворцель задыхался въ этой средѣ столько же отъ духовнаго астма, сколько отъ физическаго.

Люди не поняли серьезнаго смысла того союза, который я предлагалъ. Они въ немъ видѣли средство придать новый колоритъ дѣлу; вѣчная таутологія общихъ мѣстъ, патріотическія фразы, казенныя воспоминанія, все это приѣлось, наскучило. Соединеніе съ русскимъ давало новый интересъ. Къ тому же они думали поправить свои дѣла, очень разстроенныя, насчетъ русской пропаганды.

Съ самаго начала между мной и членами централизаціи не было настоящаго пониманья. Недовѣрчивые ко всему русскому, они хотѣли, чтобъ я написалъ и напечаталъ нѣчто въ родѣ

profession de foi. Я написалъ. Они просили измѣнить кой-какія выраженія. Я это сдѣлалъ, хотя далеко не былъ согласенъ съ ними. Въ отвѣтъ на мою статью, Л. З. написалъ воззваніе къ русскимъ и прислалъ мнѣ его въ рукописи. Ни тѣни новой мысли; тѣ же фразы, тѣ же воспоминанія, и притомъ католическія выходки. Прежде чѣмъ переводить на русскій языкъ, я показалъ Ворцелю нелѣпости редакціи. Ворцель былъ согласенъ и пригласилъ меня вечеромъ объяснить дѣло членамъ централизаціи. Тутъ произошла вѣчная сцена Трисотина и Вадіуса: именно тѣ мѣста, на которыя я указывалъ, они-то и были *необходимы* для того, чтобъ «Польша не сгинѣла». Насчетъ католическихъ фразъ они сказали, что, каковы бы ни были ихъ личныя вѣрованія, они хотятъ быть съ народомъ; а народъ горячо любитъ свою гонимую мать, латинскую церковь.

Ворцель поддерживалъ меня. Но, какъ только онъ начиналъ говорить, его товарищи принимались кричать. Ворцель кашлялъ отъ табачнаго дыма и ничего не могъ сдѣлать. Онъ общалъ мнѣ переговорить съ ними потомъ и настоять на главныхъ поправкахъ. Черезъ недѣлю вышелъ «Демократъ Польскій». Въ воззваніи не было перемѣнено *ни одной іоты*; я отказался отъ перевода. Ворцель говорилъ мнѣ, что и онъ былъ удивленъ этой продѣлкой. «Этого мало, что вы удивились, зачѣмъ вы не остановили»,— замѣтилъ я ему.

Для меня было очевидно, что, рано или поздно, вопросъ станетъ для Ворцеля такъ: разорвать съ тогдашними членами централизаціи и остаться въ близкомъ отношеніи со мной, или разорвать со мной и остаться попрежнему со своими революціонными недорослями..... Ворцель выбралъ послѣднее; я былъ огорченъ этимъ, но никогда не сѣтовалъ на него и не сердился.

Здѣсь я долженъ буду войти въ печальныя подробности. Когда я завелъ типографію, у насъ было рѣшено такъ: всѣ расходы книгопечатанія (бумага, наборъ, наемъ мѣста, работа и проч.) падали на мой счетъ. Централизація брала на свой счетъ пересылку русскихъ листовъ и брошюръ тѣми путями, которыми она пересылала польскія брошюры. Все, что они брали для пересылки, я имъ давалъ безденежно. Казалось, что моя львиная часть была хороша; но вышло, что и она была мала.

Для своихъ дѣлъ, и преимущественно для собранія денегъ, централизація рѣшила послать въ Польшу эмиссара. Хотѣли даже, чтобъ онъ пробрался въ Кіевъ, а если можно—въ Москву, для русской пропаганды, и просили отъ меня писемъ. Я отказалъ, боясь надѣлать бѣдъ. Дня за три до его отправленія, вечеромъ, встрѣтилъ я на улицѣ З., который тотчасъ меня спросилъ:

— Вы сколько даете на посылку эмиссара со своей стороны?

Вопросъ показался мнѣ страннымъ; но, зная ихъ стѣсненное положеніе, я сказалъ, что, пожалуй, дамъ фунтовъ десять (250 фр.).

— Да что вы шутите, что ли?—спросилъ, морщась, З. Ему надобно по меньшей мѣрѣ шестьдесятъ фунтовъ, а у насъ *фунтовъ сорокъ* не достаетъ. Этого такъ оставить нельзя, я поговорю съ нашими и приду къ вамъ.

Дѣйствительно, на другой день онъ пришелъ съ Ворцелемъ и двумя членами централизаціи. На этотъ разъ З. меня просто обвинилъ въ томъ, что я не хочу дать достаточно денегъ на посылку эмиссара, а согласенъ ему дать русскіе печатные листы.

— Помилуйте,—отвѣчалъ я,—вы рѣшились послать эмиссара, вы находите это необходимымъ; трата падаетъ на васъ. Ворцель налицо, пусть онъ вамъ напомнитъ условія.

— Что тутъ толковать о *вздорѣ*: развѣ вы не знали, что у насъ теперь гроша нѣтъ.

Тонъ этотъ мнѣ, наконецъ, надоѣлъ.

— Вы, сказалъ я, кажется, не читали «Мертвыя Души»; а то бы я вамъ напомнилъ Ноздрева, который, показывая Чичикову границу своего имѣнья, замѣтилъ, что и съ той и съ другой стороны земля его. Это очень сбиваетъ на нашъ дѣлежъ: мы дѣлили работу нашу и тягу пополамъ на томъ условіи, чтобъ обѣ половины лежали на моихъ плечахъ.

Маленькій, желчный литвинъ началъ выходить изъ себя, кричать о гонорѣ и заключилъ нелѣпую и невѣжливую рѣчь вопросомъ:

— Чего же вы хотите?

— Того, чтобъ вы меня не принимали ни за *bailleur de fonds*, ни за демократическаго банкира, какъ меня назвалъ одинъ нѣмецъ въ своей брошюрѣ. Вы слишкомъ оцѣнили мои средства, и, кажется, слишкомъ мало меня; вы ошиблись...

— Да позвольте, да позвольте,—горячился блѣдный отъ ярости литвинъ.

— Я не могу дозволить продолженія этого разговора,—сказалъ, наконецъ, Ворцель, мрачно сидѣвшій въ углу и вставая,—или продолжайте его безъ меня. *Sher Herzen*, вы правы; но подумайте объ нашемъ положеніи: эмиссара послать необходимо, а средствъ нѣтъ.

Я остановилъ его.

— Въ такомъ случаѣ можно было меня спросить: могу ли я что-нибудь сдѣлать, но нельзя было требовать; а требовать въ этой грубой формѣ просто гадко. Деньги я дамъ; дѣлаю это единственно для васъ и, даю вамъ честное слово, господа, въ послѣдній разъ.

Я вручилъ Ворцелю деньги, и всѣ мрачно разошлись.

Эмиссаръ поѣхалъ и пріѣхалъ назадъ, ничего не сдѣлавши.

Война приближалась, началась. Эмиграція была недовольна; молодые эмигранты винили товарищей Ворцеля въ неспособности, лѣни, въ желаніи устроить свои дѣлишки вмѣсто польскихъ дѣлъ. Неудовольствіе ихъ дошло до явнаго ропота; они поговаривали объ отчетѣ, котораго хотѣли требовать отъ членовъ централизаціи, объ открытомъ заявленіи недовѣрія. Ихъ останавливало и удерживало одно—уваженіе и любовь къ Ворцелю. Сколько могъ, я, черезъ Ч., поддерживалъ это; но ошибка за ошибкой централизаціи должны были, наконецъ, вывести изъ терпѣнія хоть кого.

Въ ноябрѣ 1854 былъ снова польскій митингъ; но уже совсѣмъ въ другомъ духѣ, чѣмъ въ прошломъ году. Предсѣдателемъ былъ избранъ членъ парламента, Жозуа Вомслей. Поляки ставили свое дѣло подъ англійскій патронажъ. Въ предупрежденіе слишкомъ красныхъ рѣчей, Ворцель написалъ кое къ кому записки въ родѣ полученной мною: «Вы знаете, что 29-го у насъ митингъ; не можемъ пригласить васъ и въ этотъ разъ, какъ въ прошлый, сказать намъ нѣсколько сочувственныхъ словъ: война и необходимость сближенія съ англичанами заставляютъ насъ дать митингу иной цвѣтъ. Не Герценъ, не Ледрю-Ролленъ и Пьянчани будутъ говорить, а большей частью англичане; изъ нашихъ же одинъ Кошутъ возьметъ рѣчь, чтобы изложить положеніе дѣлъ и пр.».

Я отвѣчалъ, «что приглашеніе *не говоритъ* на митингъ я получилъ, и съ тѣмъ большей охотой его принимаю, что оно очень легко».

Сближеніе съ англичанами не состоялось; уступки были сдѣланы напрасно; даже подписка шла плохо. Ж. Вомслей сказалъ, что онъ готовъ дать денегъ, но не хочетъ подписать своего имени, не желая, какъ членъ парламента, официально участвовать въ сборѣ, цѣль котораго не признана правительствомъ.

Все это, и между прочимъ мое отдѣленіе отъ митинга, довело раздраженіе молодыхъ людей до крайней степени; у нихъ уже ходилъ по рукамъ обвинительный актъ. Какъ нарочно въ то же время я долженъ былъ перевести русскую типографію въ другое мѣсто. З., нанимавшій на свое имя домъ, въ которомъ помѣщалась она вмѣстѣ съ польской типографіей, былъ кругомъ въ долгахъ; два раза уже являлись брокеры; всякій день можно было ждать, что типографію захватятъ вмѣстѣ съ другой мебелью. Я поручилъ Ч. ее перевезти; З. упирался, не хотѣлъ выдать буквъ и принадлежностей; я написалъ ему холодную записку. Въ отвѣтъ на нее, на другой день, пріѣхалъ больной и разстроенный Ворцель ко мнѣ въ Ричмондъ.

— Вы намъ наносите le coup de grâce; въ то самое время, какъ у насъ идетъ такая усобица, вы переводите типографію.

— Увѣряю васъ, что тутъ никакихъ нѣтъ политическихъ причинъ, ни ссоръ, ни демонстраціи; а очень просто: я боюсь, что опишутъ все у З. Отвѣчаете ли вы мнѣ, что этого не будетъ, я на *ваше* честное слово положусь и типографію оставляю.

— Дѣла его очень запутаны, это правда.

— Какъ же вы хотите, чтобъ я рисковалъ моимъ единственнымъ орудіемъ. Если даже я потомъ и выкуплю, чего будетъ стоить одна потеря времени? Вы знаете, какъ это здѣсь дѣлается.

Ворцель молчалъ.

— Вотъ что я могу сдѣлать для васъ: я напишу письмо, въ которомъ скажу, что хозяйственные распоряженія заставляютъ меня перевести типографію, но что это не только не значитъ, что мы расходимся, но, напротивъ, что у насъ, вмѣсто одной, будутъ двѣ типографіи; письмо это вы можете напечатать, ежели желаете, или показать кому угодно.

Дѣйствительно, я въ этомъ смыслѣ и написалъ письмо на имя Ж., забитого члена централизаціи, завѣдывавшаго ея матеріальной частью.

Ворцель остался обѣдать; послѣ обѣда я уговорилъ его переночевать въ Ричмондѣ; вечеромъ мы сидѣли съ нимъ вдвоемъ передъ каминомъ. Онъ былъ очень печаленъ, ясно понимая, какихъ ошибокъ онъ надѣлалъ, какъ всѣ уступки не повели ни къ чему, кромѣ внутренняго распада; наконецъ, какъ агитація, которую онъ дѣлалъ съ Кошутомъ, пропадала безслѣдно; а фономъ всей черной картины—убійственный покой Польши.

Осенью 1856 Ворцелю совѣтовали ѣхать въ Нипцу и сначала пожить на теплыхъ закраинахъ Женевского озера. Услышавъ это, я ему предложилъ деньги, нужныя на путь. Онъ принялъ, и это насъ снова сблизило; мы опять стали чаще видаться. Но собирався онъ въ путь тихо; лондонская зима сырая, съ продымленнымъ, давящимъ туманомъ, вѣчной сыростью и страшными сѣверо-восточными вѣтрами, начиналась. Я торопилъ его, но у него уже развивался какой-то инстинктивный страхъ отъ перемѣны, отъ движенія. Онъ боялся одиночества. Я ему предлагалъ взять съ собою кого-нибудь до Женевы; тамъ я его передалъ бы Карлу Фогту.

Онъ все принималъ, со всѣмъ соглашался, но ничего не дѣлалъ. Жилъ онъ ниже *rez-de-chaussée*; у него въ комнатахъ почти никогда не было свѣтло. Тамъ-то, въ асмѣ, безъ воздуха, дыша каменнымъ углемъ, онъ потухалъ.

II. Тэйлоръ велѣлъ хозяйкѣ дома всякую недѣлю посылать къ нему счетъ за квартиру, столъ и прачку: этотъ счетъ онъ платилъ, но «на руки» ему не давалъ ни одного фунта.

Бхать онъ рѣшительно опоздалъ; я ему предложилъ нанять для него хорошую комнату въ Brompton Consumption hospital.

— Да, это было бы хорошо, но нельзя. Помилуйте, это страшная даль отсюда.

— Ну, такъ что же?

— Ж. живетъ здѣсь, и всѣ дѣла наши здѣсь, а онъ *долженъ каждое утро приходить ко мнѣ съ дневнымъ отчетомъ!*

Тутъ самоотверженіе граничило съ сумасшествіемъ.

Со смертью Ворцеля, демократическая партія польской эмиграціи въ Лондонѣ обмельчала. Имъ, его изящной, его почтенной личностью, она держалась. Вообще радикальная партія распалась на мелкія партіи, почти враждебныя. Годичные митинги въ разбивку стали бѣдны числомъ и интересомъ: вѣчная панихида, перечень старыхъ и новыхъ потерь и, какъ всегда въ панихидахъ, чаяніе воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго вѣка, вѣра во второе пришествіе Бонапарта и въ преображеніе Рѣчи Посполитой.

Два-три благородныхъ старца остались величественными и скорбными памятниками; какъ тѣ длиннородые, сѣдые израильтяне, которые плачутъ у стѣнъ Іерусалимскихъ, они, не какъ вожди, указываютъ путь впередъ, а, какъ иноки,—могилу; они останавливаютъ насъ своимъ *Sta viator!*

Между ними—лучшій изъ лучшихъ, сохранившій въ дряхломъ тѣлѣ молодое сердце и юный, кроткій, дѣтски чистый, голубой взглядъ. Одна нога его уже въ гробъ,—скоро уйдетъ онъ, скоро и противникъ его, Адамъ Чарторижскій.

Ужъ не въ самомъ ли дѣлѣ это *finis Poloniae*?

..... Прежде чѣмъ мы совсѣмъ оставимъ трогательную и симпатичную личность Ворцеля на холодномъ Гай-Гетовскомъ кладбищѣ, я хочу рассказать нѣсколько мелочей о немъ. Такъ люди, идущіе съ похоронъ, приостанавливая скорбь, рассказываютъ разныя подробности о покойномъ.

Ворцель былъ очень разсѣянъ въ маленькихъ житейскихъ дѣлахъ; послѣ него всегда оставались очки, ихъ чехоль, платокъ, табакерка; зато, если близко него лежалъ не его платокъ, онъ его клалъ въ карманъ; онъ приходилъ иногда съ тремя перчатками, иногда съ одной.

Прежде чѣмъ онъ переѣхалъ въ Hunter street, онъ жилъ возлѣ, въ полукругѣ небольшихъ домовъ Burton Crescent, 43, недалеко отъ Нью-Родъ. На англійскій манеръ, всѣ дома полукруга были одинакіе. Домъ, въ которомъ жилъ Ворцель, былъ пятый съ края. И онъ всякій разъ, зная свою разсѣянность, считалъ двери. Возвращаясь какъ-то съ противоположной стороны полулунія, Ворцель постучалъ и, когда ему отперли, вошелъ въ свою комнату.

Изъ нея вышла какая-то дѣвушка, вѣроятно хозяйская дочь. Ворцель сѣлъ отдохнуть къ потухавшему камину. За нимъ кто-то раза два кашлянулъ: на креслахъ сидѣлъ незнакомый человѣкъ.

— Извините, сказалъ Ворцель, вы вѣрно меня ждали?

— Позвольте, замѣтилъ англичанинъ, прежде чѣмъ я отвѣчу, узнать, съ кѣмъ я имѣю честь говорить?

— Я Ворцель.

— Не имѣю удовольствія знать; что же вамъ угодно?

Тутъ вдругъ Ворцеля поразила мысль, что онъ не туда попалъ: оглядѣвшись, онъ увидѣлъ, что мебель и все прочее не его. Онъ разсказалъ англичанину свою бѣду и, извиняясь, отправился въ пятый домъ съ другой стороны. По счастью, англичанинъ былъ очень учтивый человѣкъ, что не очень обыкновенный плодъ въ Лондонѣ.

Мѣсяца черезъ три та же исторія. На этотъ разъ, когда онъ постучалъ, горничная, отворившая дверь, видя почтеннаго старика, просила его взойти прямо въ парлоръ; тамъ англичанинъ ужиналъ со своей женой. Увидя входящаго Ворцеля, онъ весело протянулъ ему руку и сказалъ:

— Это не здѣсь, вы живете въ 43.

При этой разсѣянности, Ворцель сохранилъ до конца жизни необыкновенную память; я въ немъ справлялся какъ въ лексиконѣ или энциклопедіи. Онъ читалъ все на свѣтѣ, занимался всѣмъ: механикой и астрономіей, естественными науками и исторіей. Не имѣя никакихъ католическихъ предразсудковъ, онъ, по старому рлі польскаго ума, вѣрилъ въ какой-то духовный міръ, неопредѣленный, ненужный, невозможный, но отдѣльный отъ міра матеріальнаго. Это не религія Моисея, Авраама и Исаака, а религія Жанъ-Жака, Жоржъ-Зандъ, Пьера-Леру, Мацини и пр. Но Ворцель имѣлъ меньше ихъ всѣхъ правъ на нее.

Когда его астмъ не очень мучилъ и на душѣ было не очень темно, Ворцель былъ очень любезенъ въ обществѣ. Онъ превосходно разсказывалъ, и особенно воспоминанія изъ стараго панскаго быта; этихъ разсказовъ я заслушивался. Міръ пана Тадеуша, міръ Мурделіо проходилъ передъ глазами; міръ, о кончинѣ котораго не жалѣешь, напротивъ, радуешься, но которому невозможно отказать въ какой-то яркой, необузданной поэзіи, вовсе недостающей нашему барскому быту. Намъ въ сущности такъ не свойственна западная аристократія, что всѣ разсказы о нашихъ тузахъ сводятся на дикую роскошь, на пиры на цѣлый городъ, на безчисленные дворни, на тиранство крестьянъ и мелкихъ сосѣдей. Шереметьевы и Голицыны, со всѣми ихъ дворцами и помѣстьями, ничемъ не отличались отъ своихъ крестьянъ, кромѣ нѣмецкаго кафтана, французской грамоты, царской милости и

богатства. Всѣ они непрерывно подтверждали изреченіе Павла, что у него только и есть высокопоставленные люди: это тѣ, съ которыми онъ говорить. и пока говорить. Все это очень хорошо, но надобно это знать. Что можетъ быть жалче *et moins aristocratique*, какъ послѣдній представитель русскаго барства и вельможничества, видѣнный мною, князь С. М. Г.,—и что отвратительнѣе какого-нибудь Измайлова.

Замашки польскихъ пановъ были скверны, дики, почти непонятны теперь; но діаметръ другой, но другой закалъ личности, и ни тѣни холопства.

— Знаете вы, спросилъ меня разъ Ворцель, отчего называется *passage Radzivill*, въ Пале-Рояль?

— Нѣтъ.

— Вы помните знаменитаго Радзивилла, пріятеля регента, который проѣхалъ на своихъ изъ Варшавы въ Парижъ, и для всякаго ночлега покупалъ домъ; количество вина, которое выпивалъ Радзивиллъ, покорило ему разслабленнаго хозяина; герцога такъ привыкъ къ нему, что, выдавая всякій день, посылалъ еще по утрамъ къ нему записки. Занудило какъ-то Радзивиллу что-то сообщить регенту. Онъ послалъ хлопца къ нему съ письмами. Хлопецъ искалъ—искалъ, не нашелъ и принесъ повинную голову. Дуракъ, сказалъ ему панъ, поди сюда, смотри въ окно: видишь этотъ большой домъ? (Пале-Рояль).—Вижу.—Ну, тамъ живетъ первый здѣшній панъ, каждый тебѣ укажетъ. Пошелъ хлопецъ, искалъ—искалъ, не можетъ найти.

Дѣло было въ томъ, что дома отгораживали дворецъ и надобно было сдѣлать обходъ по *St.-Honoré*.

— Фу, какая скука, сказалъ панъ, велите моему повѣренному купить дома между моимъ дворцомъ и Пале-Роялемъ, да и сдѣлайте улицу, чтобъ дуракъ этотъ не путалъ, когда я опять его пошлю къ регенту.....

Какъ вообще дѣлались финансовыя операціи въ нашемъ мірѣ, я покажу еще на одномъ примѣрѣ.

Послѣ моего пріѣзда въ Лондонъ въ 1852, говоря о плохомъ состояніи итальянской кассы съ Маццини, я сообщилъ ему, что въ Генуѣ я предлагалъ его друзьямъ завести свою *income tax* и платить—безсемеиннымъ процентовъ десять, семейнымъ меньше.

— Примутъ всѣ, замѣтилъ Маццини, а заплатятъ весьма немногіе.

— Стыдно будетъ, заплатятъ. Я давно хотѣлъ внести свою лепту въ итальянское дѣло; мнѣ оно близко, какъ родное; я дамъ десять процентовъ съ дохода одновременно. Это составитъ около двухсотъ фунтовъ. Вотъ сто сорокъ фунтовъ, а шестьдесятъ останутся за мной.

... Въ 1853 году Мадзини исчезъ. Вскорѣ послѣ его отъѣзда явились ко мнѣ два породистыхъ рефюжъе; одинъ въ шинели съ мѣховымъ воротникомъ, потому что онъ десять лѣтъ тому назадъ былъ въ Петербургѣ; другой безъ воротника, но съ сѣдыми усами и военной бородкой. Они пришли съ порученіемъ отъ Ледрю-Роллена: онъ хотѣлъ знать, не намѣренъ ли я прислать какую-нибудь сумму денегъ въ Европейскій комитетъ? Я признался, что *не намѣренъ*.

Нѣсколько дней спустя тотъ же вопросъ былъ мнѣ сдѣланъ Ворцелемъ.

— Съ чего это взялъ Ледрю-Ролленъ?

— Да, вѣдь, дали же вы Мадзини.

— Это скорѣе резонъ не давать никому другому.

— Кажется, за вами остались шестьдесятъ фунтовъ?

— Обѣщанные Мадзини.

— Это все равно.

— Я не думаю.

.... Прошла недѣля; я получилъ письмо отъ Маццолетти, въ которомъ онъ увѣдомлялъ меня, что до его свѣдѣнія дошло, что я *не знаю*, кому доставить шестьдесятъ фунтовъ, оставшіеся за мной; въ силу чего онъ проситъ переслать ихъ ему, какъ представителю Мадзини въ Лондонѣ.

Маццолетти этотъ дѣйствительно былъ секретаремъ Мадзини. Чинovníкъ, бюрократъ по натурѣ, онъ насъ смѣшилъ своей миѣстерской важностью и дипломатическими манерами.

Когда телеграмма о возстаніи въ Миланѣ 3 февраля 1853 была напечатана въ журналахъ, я побѣжалъ къ Маццолетти узнать, не имѣетъ ли онъ какихъ вѣстей. Маццолетти просилъ меня подождать; потомъ вышелъ озабоченный, доблестный, съ какими-то бумагами и съ Братіано, съ которымъ былъ въ важномъ разговорѣ.

— Я къ вамъ пріѣхалъ узнать, нѣтъ ли какихъ вѣстей.

— Нѣтъ, я самъ узналъ изъ «Теймса»; жду съ часу на часъ депешу!

Подошли еще человѣка два. Маццолетти былъ доволенъ и потому морщился и жаловался на недосугъ. Разговорившись, онъ началъ полусловами добавлять новости и пояснять.

— Откуда же вы знаете?—спросилъ я его.

— Это....—это, разумѣется, мои соображенія,—замѣтилъ, нѣсколько смѣшавшись, Маццолетти.

— Завтра утромъ я къ вамъ пріѣду....

— А если сегодня будетъ что-нибудь, я извѣщу васъ.

— Вы меня одолжите, отъ 7 до 9 я буду у Вери.

Маццолетти не забылъ. Часу въ восьмомъ я обѣдалъ у Вери; вошелъ итальянецъ, котораго я раза два видалъ, онъ подошелъ ко мнѣ, осмотрѣлся, выждалъ, когда гарсонъ пошелъ за чѣмъ-то,

и, сказавъ мнѣ, что Маццолетти поручилъ ему передать, что никакой телеграммы не было, ушелъ.

... Получивъ письмо отъ этого статсъ-секретаря по революціи, я ему отвѣчалъ шутя, что онъ напрасно меня представляетъ въ какомъ-то безпомощномъ состояніи, стоящаго середь Лондона, затрудняясь, кому отдать шестьдесятъ ливровъ, что я безъ письма Маццини вовсе не намѣренъ ихъ кому бы то ни было отдавать.

Маццолетти написалъ мнѣ длинную и нѣсколько гнѣвную ноту, которая должна была, не унижая достоинства писавшаго, быть колкой для получающаго, не выходя, впрочемъ, изъ предѣловъ парламентской вѣжливости.

Не прошло недѣли послѣ этихъ искушеній, какъ утромъ рано пріѣхала ко мнѣ Эмилія Г., одна изъ преданнѣйшихъ женщинъ Маццини и близкій его другъ. Она мнѣ сообщила о томъ, что возстаніе въ Ломбардіи не удалось, и что еще Маццини скрывается тамъ и проситъ немедленно выслать денегъ, а денегъ нѣтъ.

— Вотъ вамъ, сказалъ я ей, знаменитые шестьдесятъ фунтовъ; не забудьте только сказать тайному совѣтнику Маццолетти, да и Ледрю-Роллену, если случится, что я не такъ дурно сдѣлалъ, не бросивъ въ омутъ Европейскаго комитета эти полторы тысячи франковъ.

Предупреждая нашъ русскій національный выводъ изъ моего разсказа, я долженъ сказать, что деньгами такъ собираемыми никогда никто не пользовался ¹⁾: у насъ ихъ кто-нибудь укралъ бы; здѣсь онѣ исчезали въ томъ родѣ, какъ если бы кто-нибудь, не записывая нумеровъ, жегъ на свѣчкѣ ассигнаціи.

¹⁾ Итальянская эмиграція выше всякаго подозрѣнія. Во французской былъ одинъ забавный случай.—Б., о которомъ была рѣчь въ разсказѣ о дуэли Бартеlemi, собралъ по порученію Ледрю-Роллена какія-то деньги и прожилъ ихъ. Послѣ этого желаніе возвратиться въ Лондонъ сильно уменьшилось, и онъ сталъ просить разрѣшенія остаться въ Марсели. Билль отвѣчалъ, что Б., какъ политическій человѣкъ, такъ безопасенъ, что могъ бы остаться; но что безчестный поступокъ его со своей собственной партіей показываетъ, что онъ не надежный человѣкъ, въ силу чего онъ ему отказывается.

Своего рода пальма и тутъ принадлежитъ нѣмцамъ. Они сколотили сборами въ Америкѣ и Манчестерѣ, помнится, тысячъ двадцать франковъ. Деньги эти, назначенныя для агитаціи, пропаганды, поддержанія процессовъ и пр., они положили въ одинъ изъ лондонскихъ банковъ и избрали распорядителями: Кинкеля, Руге и графа Оскара Рейхенбаха, трехъ непримиримыхъ враговъ. Тѣ тотчасъ догадались, какой богатый источникъ непріятностей другъ другу имъ данъ въ руки; а потому и поспѣшили написать въ условіяхъ взноса, чтобъ банкъ не выдавалъ никакой суммы безъ всѣхъ трехъ подписей. Стоило одному, или двумъ даже, подписаться,—третій не соглашался. Что ни дѣлало нѣмецкое эмиграционное общество.—одной подписи не доставало. Такъ и лежить сумма нетронутою и поднесъ въ банкъ,—вѣроятно, приданнымъ для будущей тевтонской республики.

Pater V. Petscherine.

— Вчера я видѣлъ Печерина.

Я вздрогнулъ при этомъ имени.

— Какъ, спросилъ я,—*того* Печерина, онъ здѣсь?

— Кто, reverend Petscherine? да, онъ здѣсь.

— Гдѣ же онъ?

— Въ іезуитскомъ монастырѣ С. Мери Чепель въ Клапамѣ.

Reverend Petscherine! Я Печерина лично не зналъ, но слышалъ объ немъ очень много отъ Рѣдкина, Крюкова, Грановскаго. Молодымъ доцентомъ возвратился онъ изъ-за границы, на кафедрѣ греческаго языка въ московскомъ университетѣ; это было въ одну изъ самыхъ томныхъ эпохъ между 1835 и 1840. Мы были въ ссылкѣ, молодые профессора еще не пріѣзжали, *Телеграфъ* былъ запрещенъ, *Европеецъ* былъ запрещенъ, *Телескопъ* запрещенъ, Чаадаевъ объявленъ сумасшедшимъ.

Печеринъ задыхался, имъ овладѣлъ ужасъ, тоска, надобно было бѣжать, бѣжать во что бы ни стало, изъ этой страны. Для того, чтобъ уѣхать, надобны деньги. Печеринъ сталъ давать уроки, свелъ свою жизнь на одно крайне необходимое, мало выходилъ, миновалъ товарищескія сходы и, накопивши немного денегъ, уѣхалъ.

Черезъ нѣкоторое время онъ написалъ гр. Р. Строгонову письмо; онъ увѣдомлялъ его о томъ, что онъ не воротится больше. Благодаря его, прощаясь съ нимъ, Печеринъ говорилъ о невыносимой духотѣ, отъ которой онъ бѣжалъ, и заклиналъ его *беречь* молодыхъ профессоровъ, быть ихъ щитомъ отъ ударовъ.

Строгоновъ показывалъ это письмо многимъ изъ профессоровъ.

Москва на нѣкоторое время замолкла объ немъ, и вдругъ мы слышали, съ какимъ-то безконечно тяжелымъ чувствомъ, что Печеринъ сдѣлался іезуитомъ, что онъ на искусъ въ монастырѣ. Бѣдность, безучастіе, одиночество сломили его; я перечитывалъ его «Торжество смерти!» и спрашивалъ себя, неужели этотъ человекъ можетъ быть католикомъ, іезуитомъ?

Разобщеннымъ показался себѣ, сирымъ русскій человекъ въ

сортированномъ и по горло занятомъ Западѣ, ему было слишкомъ безродно. Когда веревка, на которой онъ былъ привязанъ, порвалась, и судьба его, вдругъ отрѣшенная отъ всякаго внѣшняго направленія, попала въ его собственныя руки, онъ не зналъ, что дѣлать, не умѣлъ съ ней управляться и, сорвавшись съ орбиты, безъ цѣли и границъ, упалъ въ іезуитскій монастырь!

На другой день, часа въ два, я отправился въ S. Mary Chapel. Тяжелая, дубовая дверь заперта.—Я стукнулъ три раза кольцомъ, дверь отворилась и явился тощій, молодой человѣкъ лѣтъ восемнадцати, въ монашескомъ подрясникѣ, въ рукахъ у него былъ молитвенникъ.

— Кого вамъ?—спросилъ братъ-привратникъ по-англійски.

— Reverend Father Petscherine.

— Позвольте ваше имя.

— Вотъ карточка и письмо. Въ письмѣ я вложилъ объявленіе о русской типографіи.

— Взойдите, сказалъ молодой человѣкъ, запирая снова за мною дверь.—Подождите здѣсь,—и онъ указалъ въ обширныхъ сѣняхъ на два, три большихъ стула со старинной рѣзбой.

Минутъ черезъ пять, братъ-привратникъ возвратился и сказалъ мнѣ съ небольшимъ акцентомъ по-французски, что le père Petscherine sera enchanté de me recevoir dans un instant.

Послѣ этого онъ повелъ меня черезъ какой-то рефекторій въ высокую, небольшую комнату, слабо освѣщенную, и снова просилъ сѣсть. На стѣнѣ было высѣченное изъ камня распятіе и, если не ошибаюсь, съ другой стороны также Богородица. Кругомъ тяжелаго массивнаго стола стояли большія деревянные кресла и стулья. Противоположная дверь вела сѣнями въ обширный садъ, его свѣтская зелень и шумъ листьевъ были какъ-то не на мѣстѣ.

Братъ-привратникъ показалъ мнѣ на стѣнѣ надпись; въ ней было сказано, что reverend Fathers принимаютъ имѣющихъ въ нихъ нужду отъ 4 до 6 часовъ. Еще не было четырехъ.

— Вы, кажется, не англичанинъ и не французъ? — спросилъ я его, вѣдушиваясь въ его акценты.

— Нѣтъ.

— Sind sie ein Deutscher?

— O, nein, mein Herr,—отвѣчалъ онъ, улыбаясь,—ich bin beinahe Ihr Landsmann, ich bin ein Pole.

Ну, брата-привратника выбрали не дурно, онъ говорилъ на четырехъ языкахъ. Я сѣлъ, онъ ушелъ; странно мнѣ было видѣть себя въ этой обстановкѣ. Черныя фигуры прохаживались въ саду, человѣка два въ полумонашескомъ платьѣ прошли мимо меня; они серьезно, но учтиво, кланялись, глядя въ землю, я

всякой разъ привставалъ, и также серьезно откланивался имъ. Наконецъ, вышелъ, небольшой ростомъ, очень пожилой, священникъ въ граненой шапкѣ и во всемъ одѣяніи, въ которомъ священники ходятъ въ монастыряхъ. Онъ шелъ прямо ко мнѣ, шурстя своей сутаной, и спросилъ меня чистѣйшимъ французскимъ языкомъ:

— Вы желали видѣть Печерина?

Я отвѣчалъ, что—я.

— Чрезвычайно радъ вашему посѣщенію, сказалъ онъ, протягивая руку, сдѣлайте одолженіе, присядьте.

— Извините, — сказалъ я, нѣсколько смѣшавшись, что не узналъ его; мнѣ въ голову не приходило, что встрѣчу его костюмированного, — ваше платье...

Онъ слегка улыбнулся, и тотчасъ продолжалъ:

— Давно не слыхалъ я никакой вѣсти о родномъ краѣ, объ нашихъ, объ университетѣ; вы, вѣроятно, знали Рѣдкина и Крюкова.

Я смотрѣлъ на него, лице его было старо, старше лѣтъ; видно было, что подъ этими морщинами много прошло и прошло tout de bon, т. е., умерло, оставивъ только свои надгробные слѣды въ чертахъ. Искусственный, клерикальный покой, которымъ особенно монахи, какъ сулемой, заморяютъ цѣлыя стороны сердца и ума, былъ уже и въ его рѣчи и во всѣхъ движеніяхъ. Католическій священникъ всегда сбивается на вдову, онъ также въ траурѣ и въ одиночествѣ, онъ также вѣренъ чему-то, чего нѣтъ. и утоляетъ настоящія страсти раздраженіемъ фантазій.

Когда я ему рассказалъ объ общихъ знакомыхъ, и о кончинѣ Крюкова, при которой я былъ, о томъ, какъ его студенты несли черезъ весь городъ на кладбище, потомъ объ успѣхахъ Грановскаго, объ его публичныхъ лекціяхъ, — мы оба какъ-то призадумались; что происходило въ черепѣ подъ граненой шапкой, — не знаю; но Печеринъ снялъ ее, какъ будто она ему тяжела была на эту минуту, и поставилъ на столъ. Разговоръ не шелъ.

— Sortons un peu au jardin, сказалъ Печеринъ, le temps est si beau, et c'est si rare à Londres.

— Avec le plus grand plaisir. Да скажите, пожалуйста, для чего же мы съ вами говоримъ по-французски?

— И то! будемте говорить по-русски, я думаю, что уже со-всѣмъ разучился.

Мы вышли въ садъ. Разговоръ снова перешелъ къ университету и Москвѣ.

— О, сказалъ Печеринъ, что это было за время, когда я оставилъ Россію, — безъ содроганія не могу вспомнить! Бѣдная страна, особенно для меньшинства, получившаго несчастный

даръ образованія. А, вѣдь, какой добрый народъ, я часто вспоминаю нашихъ мужиковъ, когда бываю въ Ирландіи, они чрезвычайно похожи; кельтійскій землепашецъ такой же ребенокъ, какъ нашъ. Побывайте въ Ирландіи, вы сами убѣдитесь въ этомъ.

Такъ длился разговоръ съ полчаса, наконецъ, собираясь оставить его, я сказалъ ему:

— У меня есть просьба къ вамъ.

— Что такое, сдѣлайте одолженіе?

— У меня были въ рукахъ въ Петербургѣ нѣсколько вашихъ стихотвореній; въ числѣ ихъ есть трилогія — *Паликратъ Саломоскій*, *Торжество смерти*, и еще что-то, нѣтъ ли у васъ ихъ, или не можете ли вы мнѣ ихъ дать?

— Какъ это вы вспомнили такой вздоръ. Это незрѣлыя, ребяскія произведенія иного времени и иного настроенія.

— Можетъ, замѣтилъ я, улыбаясь, *поэтому-то* они мнѣ и нравятся. Да есть они у васъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, гдѣ же!..

— И продиктовать не можете?

— Нѣтъ, нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ.

— А если я ихъ найду гдѣ-нибудь въ Россіи, — печатать позволите?

— Я, право, на эти ничтожныя произведенія смотрю, точно будто другой писалъ; мнѣ до нихъ дѣла нѣтъ, какъ больному до бреда послѣ выздоровленія.

— Если вамъ дѣла нѣтъ, стало, я могу печатать ихъ, положимъ безъ имени.

— Неужели эти стихи вамъ нравятся до сихъ поръ?

— Это мое дѣло, вы мнѣ скажите, позволяете мнѣ ихъ печатать или нѣтъ?

Прямого отвѣта онъ и тутъ не далъ, я пересталъ приставать.

— А что же, — спросилъ Печеринъ, когда я прощался, — вы мнѣ не привезли ничего изъ вашихъ публикацій; я помню, въ журналахъ говорили, года три тому назадъ, объ одной книгѣ, изданной вами, кажется, на нѣмецкомъ языкѣ?

— Ваше платье, отвѣчалъ я, скажетъ вамъ, по какимъ соображеніямъ я не долженъ былъ привезти ее; примите это съ моей стороны за знакъ уваженія и деликатности.

— Мало вы знаете нашу терпимость и нашу любовь: мы можемъ скорбѣть о заблужденіи, молиться объ исправленіи, желать его, и во всякомъ случаѣ любить человѣка.

Мы разстались.

Онъ не забылъ ни книги, ни моего отвѣта, и дня черезъ три написалъ ко мнѣ слѣдующее письмо по-французски.

Л. М. Ж. А.

St-Mary's Clapham, 11 апрѣля, 1853 г.

«Я не могу скрыть отъ васъ той симпатіи, которую возбуждаетъ въ моемъ сердцѣ слово свободы,—свободы для моей несчастной родины! Не сомнѣвайтесь ни на минуту въ искренности моего желанія—возрожденія Россіи. При всемъ этомъ, я далеко не во всемъ согласенъ съ вашей программой. Но это ничего не значитъ. Любовь католическаго священника обнимаетъ всѣ мнѣнія и всѣ партіи. Когда ваши драгоценнѣйшія упованія обманутъ васъ, когда силы міра сего поднимутся на васъ, вамъ еще останется вѣрное убожище въ сердцѣ католическаго священника: въ немъ вы найдете дружбу безъ притворства, сладкія слезы и миръ, который свѣтъ не можетъ вамъ дать. Пріѣзжайте ко мнѣ, любезный соотечественникъ. Я былъ бы очень радъ васъ видѣть еще разъ, до моего отъѣзда въ Гернсей. Не забудьте, пожалуйста, привезти вашу брошюру мнѣ».

В. Печеринъ.

Я свезъ ему книги, и черезъ четыре дня получилъ слѣдующее письмо.

Л. М. Ж. А.

S-t Pierre. Island of Guernsey.

Chapelle Catholique, 15 апрѣля, 1853 г.

«Я прочелъ обѣ ваши книги съ большимъ вниманіемъ. Одна вещь особенно поразила меня: мнѣ кажется, что вы и ваши друзья, вы опираетесь исключительно на философію и на изящную словесность (*belle littérature*). Неужели вы думаете, что онѣ призваны обновить настоящее общество? Извините меня, но свѣдѣтельство исторіи совершенно противъ васъ. Нѣтъ примѣра, чтобы общества основывались или пересоздавались бы философіей и словесностью. Скажу просто (*tranchons le mot*), одна религія служила всегда основой государствъ; философія и словесность—это увы! уже послѣдній цвѣтокъ общественнаго древа. Когда философія и литература достигаютъ своей апогеи, когда философы, ораторы и поэты господствуютъ и разрѣшаютъ всѣ общественные вопросы, тогда конецъ, паденіе, тогда смерть общества. Это доказываетъ Греція и Римъ, это доказываетъ такъ называемая александринская эпоха; никогда философія не была больше процвѣтала, никогда литература цвѣтущѣе, а между тѣмъ это была эпоха глубокаго общественнаго паденія! Когда философія бралась за пересозданіе общественнаго порядка, она постоянно доходила до жестокаго деспотизма, на примѣръ, въ Фридрихъ II, Екатеринъ II, Иосифъ II и во всѣхъ неудавшихся революціяхъ. У васъ вырвалась фраза, счастливая или несчастная, какъ хотите: вы говорите, «что фалапстеръ ничто иное, какъ преобразованная казарма, и коммунизмъ можетъ быть только видоизмѣненіе самовластія». Я вообще

вижу какой-то меланхолическій отблескъ на васъ и на вашихъ московскихъ друзьяхъ. Вы даже сами сознаетесь, что вы всё Онѣгины, т. е., что вы и ваши—въ отрицаніи, въ сомнѣніи, въ отчаяніи. Можно ли перерождать общество на такихъ основаніяхъ?

«Можетъ, я высказалъ вещь избитую, и которую вы знаете лучше меня. Я это пишу не для спора, не для того, чтобъ начать контроверзу, но я считалъ себя обязаннымъ сдѣлать это замѣчаніе, потому что иногда лучшіе умы и благороднѣйшія сердца ошибаются въ основѣ, сами не замѣчая того. Для того я это пишу вамъ, чтобъ доказать, какъ внимательно читалъ я вашу книгу, и дать новый знакъ того уваженія и любви, съ которыми...»

В. Печеринъ.

На это я отвѣчалъ ему по-русски.

25, Euston Square, 21 апрѣля, 1853 г.

«Почтеннѣйшій соотечественникъ.

«Душевно благодарю васъ за ваше письмо и прошу позволеніе сказать нѣсколько словъ à la hâte о главныхъ пунктахъ.

«Я совершенно согласенъ съ вами, что литература, какъ осенніе цвѣты, является во всемъ блескѣ передъ смертью государства. Древній Римъ не могъ быть спасенъ щегольскими фразами Цицерона, ни его жиденькой моралью, ни волтеріанизмомъ Лукіана, ни нѣмецкой философій Прокла. Но замѣьте, что онъ равно не могъ быть спасенъ ни елевзинскими тайнствами, ни Аполлономъ Тианскимъ, ни всѣми опытами продолжить и воскресить язычество.

«Это было не только невозможно, но и ненужно. Древній міръ вовсе ненадобно было спасать, онъ дожилъ свой вѣкъ, и новый міръ шелъ ему на смѣну. Европа совершенно въ томъ же положеніи; литература и философія не сохраняютъ дряхлыхъ формъ, а толкнутъ ихъ въ могилу, разобьютъ ихъ, освободятъ отъ нихъ.

«Новый міръ—точно такъ же приближается, какъ тогда. Не думайте, что я обмолвился, назвавъ фаланстеръ—казармой; нѣтъ, всё доселѣ явившіяся ученія и школы социалистовъ, отъ С. Симона до Прудона, который представляетъ одно отрицаніе,—бѣдны, это первый лепетъ, это чтеніе по складамъ, это терапевты и ессениане древняго Востока.

«Тоска современной жизни—тоска сумерокъ, тоска перехода, предчувствія. Звѣри беспокоятся передъ землетрясеніемъ.

«Къ тому же все остановилось. Одни хотятъ насильственно раскрыть дверь будущему, другіе насильственно не выпускаютъ прошедшаго; у однихъ впереди пророчества, у другихъ—воспо-

мианія. Ихъ *работа* состоитъ въ томъ, чтобъ мѣшать другъ другу, и вотъ тѣ и другіе стоятъ въ болотѣ.

«Рядомъ другой міръ—Русь. Въ основѣ его—народъ, еще дремлющій, покрытый поверхностной пленкой образованныхъ людей, дошедшихъ до состоянія Онѣгина, до отчаянія, до эмиграціи, до вашей. до моей судьбы. Для насъ это горько. Мы жертвы того, что не во-время родился; для *дѣла* это безразлично, по крайней мѣрѣ, не имѣетъ того смысла.

«Я имѣлъ смѣлость сказать (въ письмѣ къ Мишле), что образованные русскіе *самые свободные* люди: мы несравненно дальше пошли въ отрицаніи, чѣмъ, напр., французы. Въ отрицаніи чего? Разумѣется, стараго міра.

«Онѣгинъ рядомъ съ празднымъ отчаяніемъ доходитъ теперь до положительныхъ надеждъ. Вы ихъ, кажется, не замѣтили. Отвергая Европу въ ея изжитой формѣ, отвергая Петербургъ, т. е., опять-таки Европу, но переложенную на наши нравы,—слабые и оторванные отъ народа, мы гибли. Но мало-по-малу развивалось нѣчто новое, уродливо у Гоголя, преувеличенно у панславистовъ. Этотъ новый элементъ, элементъ вѣры въ силу народа, элементъ проникнутый любовью. Мы съ нимъ только начали понимать народъ. Но мы далеки отъ него. Я и не говорю, чтобъ *намъ* досталась участь пересоздать Россію, и то хорошо, что мы привѣтствовали русскій народъ и догадались, что онъ принадлежитъ къ грядущему міру.

«Еще одно слово. Я не смѣшиваю науки съ литературно-философскимъ развитіемъ. Наука, если и не пересоздаетъ государства, то и не падаетъ въ самомъ дѣлѣ съ нимъ. Она средство, память рода человѣческаго, она побѣда надъ природой, освобожденіе. Невѣжество, *одно невѣжество*—причина пауперизма и рабства. Массы были оставлены *своими воспитателями* въ животномъ состояніи. Наука, одна наука можетъ теперь поправить это, и дать имъ кусокъ хлѣба и кровъ. Не пропагандой, а химіей, а механикой, технологіей, желѣзными дорогами она можетъ поправить мозгъ, который вѣками сжимали физически и нравственно.

«Я буду сердечно радъ...»

Черезъ двѣ недѣли я получилъ отъ о. Печерина слѣдующее письмо.

Л. М. Ж. А.

St. Mary's. Clapham. 3 мая, 1853.

«Я вамъ отвѣчаю по-французски по причинамъ, которыя вы знаете. Не могъ писать я къ вамъ прежде, потому что былъ обремененъ занятіями въ Гернсеѣ. Мало остается времени на философскія теоріи, когда живешь въ самой серединѣ животре-

пещущей дѣйствительности; нѣтъ досуга разрѣшать спекулятивные вопросы о будущихъ судьбахъ человѣчества, когда человѣчество съ костями и плотью приходитъ изливать въ вашу грудь свои скорби и требуетъ совѣта и помощи.

«Признаюсь вамъ откровенно, ваше послѣднее письмо навело на меня ужасъ, и ужасъ очень эгоистическій, признаюсь и въ этомъ.

«Что будетъ съ нами, когда *ваше* образованіе (*voire civilisation à vous*) одержитъ побѣду. Для васъ *наука* все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимаетъ всѣ способности человѣка, видимое и невидимое, наука—такъ, какъ ее понималъ міръ до сихъ поръ; но наука ограниченная, узкая, наука матеріальная, которая разбираетъ и разсѣкаетъ вещество, и ничего не знаетъ кромѣ его. Химія, механика, технологія, паръ, электричество, великая наука пить и ѣсть, поклоненіе личности (*le culte de la personne*), какъ бы сказалъ Мишель Шевалье. Если *эта* наука восторжествуетъ, горе намъ! Во времена гоненій римскихъ императоровъ хрістіане имѣли, по крайней мѣрѣ, возможность бѣгства въ степи Египта, мечъ тирановъ останавливался у этого непременнаго для нихъ предѣла. А куда бѣжать отъ тиранства вашей матеріальной цивилизаціи? Она сглаживаетъ горы, вырываетъ каналы, прокладываетъ желѣзныя дороги, посылаетъ пароходы, журналы ея проникаютъ до каленыхъ пустынь Африки, до непроходимыхъ лѣсовъ Америки. Какъ нѣкогда хрістіанъ влекли на амфитеатры, чтобъ ихъ отдать на посмѣяніе толпы, жадной до зрѣлищъ, такъ повлекутъ теперь насъ, людей молчанія и молитвы, на публичныя торжища, и тамъ спросятъ: «Зачѣмъ вы бѣжите отъ нашего общества? Вы должны участвовать въ нашей матеріальной жизни, въ нашей торговлѣ, въ нашей удивительной индустріи. Идите витійствовать на площади, идите проповѣдывать политическую экономію, обсуживать паденіе и возвышеніе курса, идите работать на наши фабрики, направлять паръ и электричество. Идите предсѣдательствовать на нашихъ пирахъ, рай здѣсь на землѣ,—будемъ ѣсть и пить, вѣдь, мы завтра умремъ!» Вотъ что меня приводитъ въ ужасъ, ибо гдѣ же найти убожище отъ тиранства матеріи, которая больше и больше овладѣваетъ всѣмъ.

«Простите, если я сколько-нибудь преувеличилъ темныя краски. Мнѣ кажется, что я только довелъ до законныхъ послѣдствій основанія, положенныя вами.

«Стопло ли покидать Россію изъ-за умственного каприза (*sarprise de spiritualité*). Россія именно начала съ науки такъ, какъ вы ее понимаете, она продолжаетъ наукой. Она въ рукахъ своихъ держитъ гигантскій рычагъ матеріальной мощи, она призываетъ всѣ таланты на служеніе себѣ и на пиръ своего матеріальнаго

благосостоянія, она сдѣлается самая образованная страна въ мірѣ; Провидѣніе ей дало въ удѣлъ матеріальный міръ.—она сдѣлаетъ рай изъ него для своихъ избранныхъ. Она понимаетъ цивилизацію именно такъ, какъ вы ее понимаете. Матеріальная наука составляла всегда ея силу. Но мы, вѣрующіе въ безсмертную душу и въ будущій міръ, какое намъ дѣло въ этой цивилизаціи настоящей минуты? Россія никогда не будетъ меня имѣть своимъ подданнымъ.

«Я изложилъ мои идеи съ простотою для того, чтобы уяснить намъ другъ друга. Извините, если я внесъ въ слова мои излишнюю горячность. Такъ какъ я ѣду снова въ Ирландію въ пятницу утромъ, мнѣ будетъ невозможно зайти къ вамъ. Но я буду очень радъ, если вамъ будетъ удобно посѣтить меня въ среду или въ четвергъ послѣ обѣда.

«Примите и проч.»

В. Печеринъ.

Я ему отвѣчалъ на другой день.

25, Euston Square, 4 мая, 1853.

«Почтеннѣйшій соотечественникъ,

«Я былъ у васъ для того, чтобы пожать руку русскому, котораго имя мнѣ было знакомо, котораго положеніе такъ сходно съ моимъ... Несмотря на то, что судьба и убѣжденія васъ поставили въ торжествующіе ряды побѣдителей, меня—въ печальный станъ побѣжденныхъ, я не думалъ коснуться разницы нашихъ мнѣній. Мнѣ хотѣлось видѣть русскаго, мнѣ хотѣлось принести вамъ живую вѣсть о родинѣ. Изъ чувства глубокой деликатности я не предложилъ вамъ моихъ брошюръ, вы сами желали ихъ видѣть. Отсюда ваше письмо, мой отвѣтъ и второе письмо ваше отъ 3 марта. Вы нападаете на меня, на мои мнѣнія (преувеличенныя и не вполне раздѣляемые мною), нельзя же мнѣ не защищаться. Я не давалъ того значенія слову *наука*, которое вы предполагаете. Я вамъ только писалъ, что я совокупность всѣхъ побѣдъ надъ природой и всего развитія, разумѣется, ставлю внѣ беллетристики и отвлеченной философіи.

«Но это предметъ длинный и, безъ особаго вызова, не хочется повторять все, такъ много разъ сказанное объ немъ. Позвольте мнѣ лучше успокоить васъ насчетъ вашего страха о будущности людей, любящихъ созерцательную жизнь. Наука не есть ученіе или доктрина и потому она не можетъ сдѣлаться ни правительствомъ, ни указомъ, ни гоненіемъ. Вы, вѣрно, хотѣли сказать о торжествѣ социальныхъ идей, свободы. Въ такомъ случаѣ возьмите страну самую «матеріальную» и самую свободную, Англію. Люди созерцательные, такъ, какъ утописты, находятъ въ ней уголокъ для тихой думы и трибуну для проповѣди. А еще

Англія, монархическая и протестантская, далека отъ полной терпимости.

«И чего же бояться? Неужели шума колесъ, подвозящихъ хлѣбъ насущный толпѣ голодной и полуодѣтой? Не запрещаютъ же у насъ, для того, чтобы не беспокоить лирическую нѣгу, молотить хлѣбъ.

«Созерцательныя натуры будутъ всегда, вездѣ; имъ будетъ привольнѣе въ думахъ и тиши, пусть ищутъ онѣ себѣ тогда тихаго мѣста; кто ихъ будетъ беспокоить, кто звать, кто преслѣдовать; ихъ ни гнать, ни *поддерживать* никто не будетъ. Я полагаю, что несправедливо бояться улучшенія жизни массъ, потому что производство этого улучшенія *можетъ* обезпокоить слухъ лицъ, не хотящихъ слышать ничего вышшняго. Тутъ даже самоотверженія никто не просить, ни милости, ни жертвы. Если на торгу шумно, не торгъ перенести слѣдуетъ, а отойти отъ него. Но журналы всюду идутъ слѣдомъ,—кто же изъ *созерцательныхъ* натуръ зависить отъ premier Paris или premier Londres?

«Вотъ видите, если вмѣсто свободы восторжествуетъ антиматеріальное начало, тогда укажите *намъ* мѣсто, гдѣ насъ, не то что не будутъ беспокоить, а гдѣ насъ не будутъ вѣшать, жечь, сажать на колъ, какъ это теперь отчасти дѣлается въ Римѣ, Миланѣ, во Франціи.

«Кому же слѣдуетъ бояться? Оно, конечно, смерть не важна, *sub specie eternitatis*, да, вѣдь, съ этой точки зрѣнія и все остальное не важно.

«Простите мнѣ, П. С., откровенное противорѣчіе вашимъ словамъ и подумайте, что мнѣ было невозможно иначе отвѣчать.

«Душевно желаю, чтобы вы хорошо совершили ваше путешествіе въ Ирландію».

Этимъ и окончилась наша переписка.

Прошло два года. Сѣрая мгла европейскаго горизонта зардѣлась заревою крымской войны, мгла отъ него стала еще чернѣй и, вдругъ, середь кровавыхъ вѣстей походовъ и осадъ, читаю я въ газетахъ, что тамъ-то въ Ирландіи отданъ подъ судъ *rever. father Vladimir Petscherin, native a Russian*, за публичное сожженіе на площади протестантской библіи. Гордый британскій судья, взявъ въ расчетъ безумный поступокъ и то, что виноватый—русскій, а Англія съ Россіей въ войнѣ, ограничился отеческимъ наставленіемъ вести себя впредь на улицахъ благопристойно...

Неужели ему легки эти вериги... или онъ часто снимаетъ граненую шапку и ставитъ ее устало на столъ?

Робертъ Оуэнъ.

Посвящено К—у.

Ты все поймешь, ты все оцѣнишь!
Shut up the world at large, let Bedlam out
And you will be perhaps surprised to find
All things pursue exactly the same route,
As now with those of «soi-disant» sound mind,
This I could prove beyond a single doubt.
Were there a jot of sense among mankind;
But till that point d'appui is found, alas!
Like Archimedes, I leave earth as 't was.
Byron. Don-Juan. C. XIV—84.

I.

...Вскорѣ послѣ моего приѣзда въ Лондонъ, въ 1852 году, я получилъ приглашеніе отъ одной дамы; она звала меня на нѣсколько дней къ себѣ на дачу въ Seven Oaks. Я съ ней познакомился въ Ниццѣ, въ 50 году, черезъ Мадзини. Она еще застала домъ мой свѣтлымъ и такъ оставила его. Мнѣ захотѣлось ее видѣть; я поѣхалъ.

Встрѣча наша была неловка. Слишкомъ много черного было со мною съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались. Если человѣкъ не хвастаетъ своими бѣдствіями, то онъ ихъ стыдится, и это чувство стыда всплываетъ при всякой встрѣчѣ съ прежними знакомыми.

Не легко было и ей. Она подала мнѣ руку и повела меня въ паркъ. Это былъ первый старинный англійскій паркъ, который я видѣлъ, и одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ. До него со временъ Елизаветы не дотрогивалась рука человѣческая; тѣнистый, мрачный, онъ росъ безъ помѣхи и разросался въ своемъ аристократически-монастырскомъ удаленіи отъ міра. Старинный и чисто елизаветинской архитектуры дворецъ былъ пустъ; несмотря на то, что въ немъ жила одинокая старуха барыня, никого не было видно; только сѣдой привратникъ, сидѣвшій у воротъ, съ нѣкоторой важностью замѣчалъ входящимъ въ паркъ, чтобъ въ обѣденное время не ходить мимо замка. Въ паркѣ было такъ тихо,

что лани гурьбой перебѣгали большія аллеи спокойно приостанавливались и безопасно нюхали воздухъ, приподнявши морду. Нигдѣ не раздавался никакой посторонній звукъ и вороны каркали, точно какъ въ старомъ саду у насъ, въ Васильевскомъ. Такъ бы, кажется, легъ гдѣ-нибудь подъ дерево и представилъ бы себѣ тринадцатилѣтній возрастъ... Мы вчера только-что изъ Москвы, тутъ гдѣ-нибудь неподалеку старикъ садовникъ троетъ мятную воду... На насъ, дубравныхъ жителей, лѣса и деревья роднѣе дѣйствуютъ моря и горы.

Мы говорили объ Италіи, о поѣздкѣ въ Ментону; говорили о Медичи, съ которымъ она была коротко знакома, объ Орсини и не говорили о томъ, что тогда меня и ее, вѣроятно, занимало больше всего.

Ея искреннее участіе я видѣлъ въ ея глазахъ и, молча, благодарилъ ее... Что я могъ ей сказать новаго?

Сталъ перепадать дождь; онъ могъ сдѣлаться сильнымъ и продолжительнымъ, мы воротились домой.

Въ гостиной былъ маленькій, тщедушный старичекъ, сѣдой какъ лунь, съ необычайно добродушнымъ лицомъ, съ чистымъ, свѣтлымъ, кроткимъ взглядомъ, съ тѣмъ голубымъ дѣтскимъ взглядомъ, который остается у людей до глубокой старости, какъ отвѣтъ великой доброты ¹⁾.

Дочери хозяйки дома бросилась къ сѣдому дѣдушкѣ; видно было, что они пріатели.

Я остановился въ дверяхъ сада.

— Вотъ кстати, какъ нельзя больше,—сказала ихъ мать, протягивая старику руку, сегодня у меня есть чѣмъ васъ угостить. Позвольте вамъ представить нашего русскаго друга. Я думаю, прибавила она, обращаясь ко мнѣ, вамъ пріятно будетъ познакомиться съ однимъ изъ *вашихъ патріарховъ*.

— Robert Owen, — сказалъ добродушно, улыбаясь, старикъ, очень радъ.

Я сжалъ его руку съ чувствомъ сыновняго уваженія; если-бъ я былъ моложе, я бы сталъ, можетъ, на колѣни и просилъ бы старика возложить на меня руки.

Такъ вотъ отчего у него добрый, свѣтлый взглядъ, вотъ отчего его любятъ дѣти... Это тотъ, *одинъ* трезвый и мужественный присяжный «между пьяными» (какъ нѣкогда выразился Аристотель объ Анаксагорѣ), который осмѣлился произнести not guilty человечеству, not guilty преступнику. Это тотъ второй чудакъ, который скорбѣлъ о мытарѣ и жалѣлъ о падшемъ, и который,

¹⁾ При этомъ не могу не вспомнить тотъ же голубой взглядъ дѣтства подъ сѣдыми бровями Лелевеля.

не потонувши, прошелъ если не по морю, то по мѣщанскимъ болотамъ англійской жизни, не только не потонувши, но и не загрязнившись!

...Обращеніе Оуэна было очень просто; но и въ немъ, какъ въ Гарибальди, середь добродушія просвѣчивала сила и сознаніе, что онъ власть имущій. Въ его снисходительности было чувство собственного превосходства; оно, можетъ, было слѣдствіемъ постоянныхъ сношеній съ жалкой средой; вообще онъ скорѣе подходилъ на раззорившагося аристократа, на меньшаго брата большій фамиліи, чѣмъ на плебея и социалиста.

Я тогда совѣтъ не говорилъ по-англійски; Оуэнъ не зналъ по-французски и былъ замѣтно глухъ. Старшая дочь хозяйки предложила намъ себя въ драгоманы: Оуэнъ привыкъ такъ говорить съ иностранцами.

— Я жду великаго отъ вашей родины, сказалъ мнѣ Оуэнъ, у васъ поле чище, у васъ попы не такъ сильны, предрасудки не такъ закоснѣли... а силъ-то... а силъ-то! Если-бъ императоръ хотѣлъ вникнуть, понять новыя требованія возникающаго гармоническаго міра, какъ ему легко было бы сдѣлаться однимъ изъ величайшихъ людей.

Когда я встрѣтилъ Оуэна, ему былъ восемьдесятъ второй годъ (род. 1771). Онъ *шестьдесятъ лѣтъ* не сходилъ съ арены.

Года три спустя послѣ Seven Oaks'a, я еще разъ мелькомъ видѣлъ Оуэна. Тѣло отжило, умъ тускъ и иногда бродилъ, разнуждавшись, по мистическимъ областямъ призраковъ и тѣней. А энергія была та же и тотъ же голубой взглядъ дѣтской доброты и то же упованье на людей! У него не было памяти на зло, онъ старые счеты забылъ, онъ былъ тотъ же молодой энтузіастъ, учредитель New Lanark'a; худо слышавшій, сѣдой, слабый, но также проповѣдывавшій уничтоженіе казней и стройную жизнь общаго труда. Нельзя было безъ глубокаго благоговѣнія видѣть этого старца, идущаго медленно и невѣрной стопой на трибуну, на которой *нѣкогда* его встрѣчали горячія рукоплесканія блестящей аудиторіи и на которой пожелтѣлыя сѣдины его вызывали теперь шопотъ равнодушія и проницескій смѣхъ. Безумный старикъ, съ печатью смерти на лицѣ, стоялъ, не сердясь, и просилъ кротко, съ любовью, часъ времени. Казалось, можно бы было дать ему этотъ часъ за шестидесяти-пяти лѣтнюю безпорочную службу; но ему въ немъ отказывали, онъ надоѣлъ, онъ повторялъ одно и то же, а главное онъ глубоко обидѣлъ толпу, онъ хотѣлъ отнять у нея право болтаться на висѣлицѣ и смотрѣть, какъ другіе на ней болтаются; онъ хотѣлъ у нихъ отнять подлое колесо, которое сзади подгоняетъ, и отворить целлюлярную клѣтку, эту безчеловѣчную mater dolorosa для духа, которой

свѣтская инквизиція замѣнила монашескіе ящики съ ножами. За это святотатство толпа готова была побить Оуэна камнями, но и она сдѣлалась *человѣколюбивою*: камни вышли изъ моды, имъ предпочитаютъ грязь, свистъ и журнальныя статейки.

Другой старикъ былъ счастливѣе Оуэна, когда слабыми, столѣтними руками благословлялъ малаго и большаго на Патмосѣ и только лепеталъ: «Дѣти! любите другъ друга!» Простые люди и нищіе не хохотали надъ нимъ, не говорили, что его заповѣдь нелѣпность; между этими плебеями не было золотой посредственности мѣщанскаго міра, — больше лицемѣрнаго, чѣмъ невѣжественнаго, больше *ограниченнаго*, чѣмъ глупаго. Принужденный оставить свой New Lanark въ Англіи, Оуэнъ десять разъ переплывалъ океанъ, думая, что сѣмена его ученія лучше взойдутъ на *новомъ грунтѣ*, забывая, что его расчистили квакеры и пуритане, и навѣрно не предвидя, что пять лѣтъ послѣ его смерти, джеферсоновская республика, первая провозгласившая права человѣка, распадется во имя права съѣчь негровъ. Не успѣвъ и тамъ, Оуэнъ снова является на старой почвѣ, стучится ста руками во всѣ двери, у дворцовъ и хижинъ, заводитъ базары, которые послужатъ типомъ рочдельскаго общества и кооперативныхъ ассоціацій, издаетъ книги, издаетъ журналы, пишетъ посланія, собираетъ митинги, произноситъ рѣчи, пользуется всякимъ случаемъ. Правительства посылаютъ со всего міра делегатовъ на «всемирную выставку», — Оуэнъ уже между ними, проситъ ихъ взять съ собой оливковую вѣтку, вѣсть призыва къ разумной жизни и согласію, а тѣ не слушаютъ его, думаютъ о будущихъ крестахъ и табакеркахъ. Оуэнъ не унываетъ.

Однимъ туманнымъ октябрьскимъ днемъ 1858 лордъ Брумъ, очень хорошо знающій, что въ ветхой общественной баркѣ течъ все сильнѣе, но чающій еще, что ее можно такъ проконопатить, что на нашъ вѣкъ хватить, — совѣщался о *паклѣ и смоли* въ Ливерпулѣ, на второмъ сходѣ Social science association.

Вдругъ дѣлается какое-то движеніе, тихо несутъ на носилкахъ блѣднаго больнаго Оуэна на платформу. Онъ черезъ силу, нарочно пріѣхалъ изъ Лондона, чтобъ повторить свою благую вѣсть о возможности — сытаго и одѣтаго общества, о возможности общества безъ палача. Съ уваженіемъ принять лордъ Брумъ старца, — они когда-то были близки; тихо поднялся Оуэнъ и слабымъ голосомъ сказалъ о приближеніи другого времени... новаго согласія, new harmony, и рѣчь его остановилась, силы оставили... Брумъ закончилъ фразу и подалъ знакъ... тѣло старца склонилось, — онъ былъ безъ чувствъ: тихо положили его на носилки и въ мертвой тишинѣ пронесли толпой, пораженной на этотъ разъ какимъ-то благоговѣніемъ: она будто чувствовала, что тутъ

начинаются какія-то не совсѣмъ обыкновенныя похороны, и тухнетъ что-то великое, святое и оскорбленное.

Прошло нѣсколько дней. Оуэнъ немного оправился и однимъ утромъ сказалъ своему другу и помощнику Ригби, чтобъ онъ укладывался, что онъ хочетъ ѣхать.

— Опять въ Лондонъ?—спросилъ Ригби.

— Нѣтъ, свезите меня теперь на мѣсто моего рожденія, я тамъ сложу мои кости.

И Ригби повезъ старца въ Монгомери-Ширъ, въ Ньютоунъ, гдѣ за восемьдесятъ восемь лѣтъ тому назадъ родился этотъ странный человѣкъ, апостолъ между фабрикантами...

«Дыханье его прекратилось такъ тихо, пишетъ его старшій сынъ, одинъ успѣвшій еще пріѣхать въ Ньютоунъ до кончины Оуэна, что я, державшій его руку, едва замѣтилъ,—не было ни малѣйшей борьбы, ни одного судорожнаго движенія». Ни Англія, ни весь міръ точно такъ же не замѣтили, какъ этотъ свидѣтель *à discharge* въ уголовномъ процессѣ человѣчества пересталъ дышать.

Англійскій попъ втѣснилъ его праху отпѣваніе вопреки желанію небольшой кучки друзей, пріѣхавшихъ похоронить его, друзья разошлись, Томасъ Ольсонъ ¹⁾ протестовалъ смѣло, благородно—and all was over.

Хотѣлось мнѣ сказать нѣсколько словъ объ немъ, но унесенный общимъ *wirlewind'омъ*, я ничего не сдѣлалъ; трагическая тѣнь его отступала дальше и дальше, терялась за головами, за рѣзкими событіями и ежедневной пылью, — вдругъ на дняхъ я вспомнилъ Оуэна и мое намѣреніе написать о немъ что-нибудь.

Перелистывая книжку *Westminster Review*, я нашелъ статью о немъ и прочиталъ ее всю внимательно. Статью эту писалъ не врагъ Оуэна, человѣкъ солидный, разсудительный, умѣющій отдавать должное заслугамъ и заслуженное недостаткамъ,—а между тѣмъ я положилъ книгу съ страннымъ чувствомъ боли, оскорбленія, чего-то душнаго; съ чувствомъ близкимъ къ ненависти за вынесенное.

Можетъ, я былъ боленъ, въ дурномъ расположеніи, не понималъ?.. Я взялъ опять книжку, перечиталъ тамъ-сямъ,—все тоже дѣйствіе.

«Больше чѣмъ двадцать послѣднихъ лѣтъ жизни Оуэна не имѣютъ никакого интереса для публики.

Ein unnütz leben ist ein früher Tod

«Онъ сзывалъ митинги, но почти никто не шелъ на нихъ,

¹⁾ Извѣстный по дѣлу Оренин.

потому что онъ повторялъ свои старыя начала, давно всѣми забытыя. Тѣ, которые хотѣли узнать отъ него *что-нибудь полезное для себя*, должны были опять слушать о томъ, что весь общественный бытъ зиждется на ложныхъ основаніяхъ... Вскорѣ къ этому помѣшательству (dotage) присовокупилась вѣра въ постукивающіе духи... старикъ толковалъ о своихъ бесѣдахъ съ герцогомъ Кентомъ, Байрономъ, Шелли и проч...

«Нѣтъ ни малѣйшей опасности, чтобъ ученіе Оуэна было практически принято. Это такія *слабыя цѣпи*, которыя не могутъ *держатъ* цѣлаго народа. Задолго до его смерти начала его уже были *опровергнуты*, забыты, а онъ все еще воображалъ себя благодѣтелемъ рода человѣческаго, какимъ-то *атеистическимъ Мессіей*».

«Его обращеніе къ постукивающимъ духамъ нисколько не удивительно. Люди, *не получившіе воспитанія*, постоянно переходятъ, съ чрезвычайной легкостью, отъ крайняго скептицизма къ крайнему суевѣрію. Они хотятъ опредѣлить каждый вопросъ однимъ *природнымъ* свѣтомъ. Изученіе, разсужденіе и осторожность въ сужденіяхъ имъ неизвѣстны.

«Мы въ предшествующихъ страницахъ», прибавляетъ авторъ въ концѣ статьи, «больше занимались жизнью Оуэна, чѣмъ его ученіями; мы хотѣли *выразить наше сочувствіе* къ практическому добру, сдѣланному имъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ заявить наше совершенное несогласіе съ его теоріями. Его біографія интереснѣе его сочиненій. Въ то время какъ первая можетъ быть полезна и занимательна (amuse), вторыя могутъ только сбить съ толку и надоесть читателю. Но и тутъ мы чувствуемъ, что онъ *слишкомъ долго жилъ*: слишкомъ долго для себя, слишкомъ долго для своихъ друзей, и еще дольше для своихъ біографовъ!»

Тѣнь кроткаго старца носилась передо мной; на глазахъ его были горькія слезы и онъ, грустно качая своей старой, старой головой, какъ будто хотѣлъ сказать: «неужели я заслужилъ это?», и не могъ, а рыдая упалъ на колѣни, и будто лордъ Брумъ торопился опять покрыть его и дѣлалъ знакъ Ригби, чтобъ его снесли, какъ можно скорѣе назадъ на кладбище, пока испуганная толпа не успѣетъ образумиться и упрекнуть его за все, за все, что ему было такъ дорого и свято, и даже за то, что онъ такъ долго жилъ, задалъ чужую жизнь, занималъ лишнее мѣсто у очага. Въ самомъ дѣлѣ Оуэнъ, чай, былъ ровесникомъ Веллингтона, этой величественнѣйшей *неспособности* во время мира.

«Несмотря на его ошибки, его гордость, его паденіе, Оуэнъ *заслуживаетъ наше признаніе*». — Чего же ему больше?

Только отчего ругательства какого-нибудь Оксфордскаго, Винчестерскаго или Чичестерскаго архіерея, проклинающаго Оуэна,

легче для насъ, чѣмъ это воздаяніе по заслугамъ? Оттого, что тамъ страсть, обиженная вѣра, а тутъ узенькое *безпристрастіе*, безпристрастіе не просто человѣка, а судьи низшей инстанціи. Въ управѣ благочинія очень хорошо могутъ обсудить поступки какого-нибудь гуляки вообще, но не такого, какъ Мирабо или Фоксъ. Складнымъ футомъ легко мѣрить съ большой точностью холстъ, но очень неудобно прикидывать на него сидеральныя пространства.

Можетъ, для вѣрности сужденія о дѣлахъ, не подлежащихъ ни полицейскому суду, ни арифметической повѣркѣ, *пристрастіе* нужнѣе справедливости. Страсть можетъ не только ослѣплять, но и проникать глубже въ предметъ, обхватывать его своимъ огнемъ.

Дайте школьному педанту, если онъ только не надѣленъ отъ природы эстетическимъ пониманьемъ,—дайте ему на разборъ что хотите, Фауста, Гамлета, и вы увидите, какъ исхушаетъ «жирный датскій принцъ», помятый какимъ-нибудь гимназистомъ-доктринеромъ. Съ цинизмомъ Ноева сына покажетъ онъ наготу и недостатки драмъ, которыми восхищается поколѣніе за поколѣніемъ.

Въ мірѣ ничего нѣтъ великаго, поэтическаго, что бы могло выдержать *не глупый, да и не умный* взглядъ, взглядъ обыденной, жизненной мудрости. Это-то французы и выразили такъ мѣтко пословицей, что «для камердинера нѣтъ великаго человѣка».

«Попадись нищему лошадь», какъ говоритъ народъ и повторяетъ критикъ «Вестминстерскаго Обозрѣнія», «онъ на ней и ускачетъ къ чорту... An ex linen-draper (это выраженіе употреблено нѣсколько разъ)¹⁾, который вдругъ сдѣлался (замѣтите, послѣ двадцати лѣтъ неусыпнаго труда и колоссальныхъ успѣховъ) важнымъ лицомъ, на дружеской ногѣ съ герцогами и министрами,—натурально долженъ былъ зазнаться и сдѣлаться *сминымъ, не имѣя ни большой умѣренности, ни большого благоразумія*». Ex linen-draper зазнался до того, что деревня его стала ему узка, ему захотѣлось перестроить свѣтъ; съ этими притязаніями, онъ раззорился, ни въ чемъ не успѣлъ и покрылъ себя *смихомъ*.

И это не все. Если-бъ Оуэнъ только проповѣдывалъ свой экономическій переворотъ, это безуміе простили бы ему, на первый случай, въ *классической* странѣ сумасшествія. Доказательствомъ этому служить то, что министры и архіерен, парламентскіе комитеты и съѣзды фабрикантовъ совѣщались съ нимъ. Успѣхъ New

¹⁾ Фурье началъ съ того, что былъ спдѣльцемъ въ суконной лавкѣ своего отца.

Lanark'a увлекъ всѣхъ: ни одинъ государственный человѣкъ, ни одинъ ученый не уѣзжалъ изъ Англіи, не сдѣлавши поѣздки къ Оуэну. Толпы народа наполняли коридоры и сѣни залъ, гдѣ Оуэнъ читалъ свои рѣчи. Но Оуэнъ своей дерзостью, разомъ, въ четверть часа, уничтожилъ эту колоссальную популярность, основанную на колоссальномъ непониманіи того, что онъ говорилъ; видя это, онъ поставилъ точку на і, и притомъ на самое опасное і.

Это случилось 21-го августа 1817 года. Протестантскіе святоши, самые неотвязчивые и клейко-скучные, давно надоедали ему. Оуэнъ, сколько могъ, отклонялъ пренія съ ними; но они не давали ему покоя. Какой-то инквизиторъ и бумажныхъ дѣлъ фабрикантъ, Филипсъ, дошелъ до того, что въ комитетѣ парламента, вдругъ, ни къ селу, ни къ городу, середь дѣльныхъ преній, присталъ къ Оуэну съ допросомъ, во что онъ вѣритъ и во что не вѣритъ?

Вмѣсто того, чтобъ отвѣчать бумажныхъ дѣлъ фабриканту какими-нибудь тонкостями, какъ Фаустъ отвѣчаетъ Гретхенъ, ex linen - draper Оуэнъ предпочелъ отвѣчать съ высоты трибуны, передъ огромнѣйшимъ стеченіемъ народа, на публичномъ митингѣ въ Англіи, въ Лондонѣ, въ Сити, въ London Tavern! Онъ, по сторону Темплъ-бара, возлѣ кафедральнаго зонтика, подъ которымъ лѣпится старый городъ, въ сосѣдствѣ Гога и Магога, въ виду Уайтъ-Голль и свѣтской кафедральной синагоги Банка,—объявилъ прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто: «Нелѣпости изувѣрства сдѣлали изъ человѣка слабого, одурѣлаго звѣря, безумнаго фанатика, ханжу или лицемеръ. Съ существующими религіозными понятіями, заключилъ Оуэнъ, не только не устроишь предполагаемыхъ имъ общинныхъ деревень, но съ ними рай не долго устоялъ бы раемъ».

Оуэнъ былъ до того увѣренъ, что этотъ актъ «безумія» былъ актомъ *честности и апостольства*, необходимымъ послѣдствіемъ его ученія, что обнародовать свое мнѣніе заставляли его чистота и откровенность, вся его жизнь, что черезъ *тридцать пять лѣтъ* онъ писалъ: «это величайшій день въ моей жизни, я исполнилъ свой долгъ!»

Нераскаянный грѣшникъ былъ этотъ Оуэнъ! За то ему и досталось!

«Оуэна, говорить Westminster Review, не разорвали на части за это: время физической мести въ дѣлахъ религіи прошло. Но никто, даже и нынѣ, не можетъ безнаказанно оскорблять *дорогіе намъ предразсудки!*»

Англійскіе попы, въ самомъ дѣлѣ, не употребляютъ больше хирургическихъ средствъ, хотя другими, болѣе духовными, не

брезгаютъ. «Съ этой минуты, говоритъ авторъ статьи, Оуэнъ опрокнулъ на себя страшную ненависть духовенства, и съ этого митинга начинается *длинная перечень его неудачъ, сдѣлавшая смѣшными сорокъ послѣднихъ лѣтъ его жизни*. He was not a martyr, but he was an outlaw!»

Я думаю, довольно. Westminster Review можно положить на мѣсто; я ему очень благодаренъ, онъ мнѣ такъ живо напомнилъ не только старца, но и среду, въ которой онъ жилъ. Обритимся къ дѣлу, т. е., къ самому Оуэну и его ученію.

Одно прибавлю я, прощаясь съ неумытнымъ критикомъ и съ другимъ біографомъ Оуэна, тоже неумытнымъ, менѣе строгимъ, но не менѣе солиднымъ, что, не будучи вовсе завистливымъ человекомъ, я завидую имъ отъ всей души. Я далъ бы дорого за ихъ невозмущаемое сознаніе своего превосходства, за успокоившееся довольство собою и своимъ пониманіемъ, за ихъ иногда уступчивую, всегда справедливую, а подчасъ слегка проироненную снисходительность. Какой покой должна приносить эта полная увѣренность и въ своемъ знаніи, и въ томъ, что они и умнѣ, и практичнѣе Оуэна, что будь у нихъ его энергія и его деньги, они бы не надбѣлали такихъ глупостей, а были бы богаты, какъ Ротшильдъ, и министры, какъ Пальмерстонъ!

II.

Р. Оуэнъ назвалъ одну изъ статей, въ которыхъ онъ излагалъ свою систему An attempt to change this lunatic asylum into a rational world ¹⁾).

Одинъ изъ біографовъ Оуэна по этому случаю рассказываетъ, какъ какой-то безумный, содержащійся въ больницѣ, говорилъ: «Весь свѣтъ меня считаетъ поврежденнымъ, а я весь свѣтъ считаю такимъ же; бѣда моя въ томъ, что *большинство* со стороны всего свѣта».

Это пополняетъ заглавіе Оуэна и бросаетъ яркій свѣтъ на все. Мы увѣрены, что біографъ не разсудилъ, *насколько беретъ и какъ далеко бьетъ* его сравненіе. Онъ только хотѣлъ намекнуть на то, что Оуэнъ былъ сумасшедшій, и мы спорить объ этомъ не станемъ... Но съ чего же онъ *весь свѣтъ-то считаетъ умнымъ*.— этого мы не понимаемъ.

¹⁾ Опытъ пзмѣнить сумасшедшій домъ общественнаго устройства въ раціональный.

Оуэнъ, если былъ сумасшедшимъ, то вовсе не потому, что его свѣтъ считалъ такимъ и онъ ему платилъ той же монетой, а потому, что, зная очень хорошо, что живетъ въ домѣ умалишенныхъ и окруженъ больными, онъ *шестьдесятъ лѣтъ* говорилъ съ ними, какъ съ здоровыми.

Число больныхъ тутъ ничего не значитъ, умъ имѣетъ свое оправданіе не въ большинствѣ голосовъ, а въ своей логической самозаконности. И если вся Англія будетъ убѣждена, что такой-то *medium* призываетъ духи умершихъ, а одинъ Фаредей скажетъ, что это вздоръ, то истина и умъ будутъ съ его стороны, а не со стороны всего англійскаго населенія. Еще больше, если и Фаредей не будетъ этого говорить, тогда истина объ этомъ предметѣ совсѣмъ существовать не будетъ, какъ сознанная, но, тѣмъ не меньше, единогласно принятая цѣлымъ народомъ нелѣпость—все же будетъ нелѣпость.

Большинство, на которое жаловался больной, не потому страшно, что оно умно или глупо, право или неправо, въ лжи или въ истинѣ, а потому, что оно сильно, и потому что ключи отъ Бедлама у него въ рукахъ.

Сила не заключаетъ въ своемъ понятіи сознательности, какъ необходимаго условія, напротивъ, она тѣмъ непреодолимѣе—тѣмъ безумнѣе, тѣмъ страшнѣе—тѣмъ безсознательнѣе. Отъ поврежденнаго человѣка можно спастись, отъ стада бѣшеныхъ волковъ труднѣе, а передъ бессмысленной стихіей человѣку остается сложить руки и погибнуть.

Поступокъ Оуэна, поразившій ужасомъ Англію 1817 года, не удивилъ бы въ 1617 родину Ванини и Джордана Бруно; не скандализировалъ бы въ 1717 ни Германію, ни Францію, а Англія не можетъ черезъ полвѣка вспомнить объ немъ безъ раздраженія. Можетъ быть, гдѣ-нибудь въ Испаніи, монахи взбунтовали бы противъ него дикую чернь, или инквизиціонные алгвазилы посадили бы его въ тюрьму, сожгли бы на кострѣ; но очеловѣченная часть общества была бы за него...

Развѣ Гёте и Фихте, Кантъ и Шиллеръ, наконецъ, Гумбольдъ въ наше время и Лессингъ сто лѣтъ тому назадъ скрывали свой образъ мыслей или имѣли безсовѣстность проповѣдывать шесть дней въ недѣлю въ академіяхъ и книгахъ свою философію, а на седьмой фарисейски слушать предикю и морочить толпу, la plèbe, своимъ благочестивымъ христіанствомъ?

Во Франціи то же самое: ни Вольтеръ, ни Руссо, ни Дидро, ни всѣ энциклопедисты, ни школа Биша и Кабаниса, ни Лапласъ, ни Контъ не прикидывались ультрамонтанами, не преклонялись благоговѣйно передъ «дорогими предрасудками», и это ни на одну іоту не унизило, не умалило ихъ значенія.

Политически поработанный материкъ нравственно свободнѣе Англіи; масса идей и сомнѣній, находящихся въ оборотѣ, гораздо обширнѣе; къ ней привыкли, общество не трепещетъ ни страхомъ, ни негодованіемъ передъ свободнымъ человѣкомъ—

Wenn er die Kette bricht.

Люди материка безпомощны передъ властью, выносятъ цѣпи, но не уважаютъ ихъ. Свобода англичанина больше въ учрежденіяхъ, чѣмъ въ немъ, чѣмъ въ его совѣсти; его свобода въ common law, въ habeas corpus, а не въ правахъ, не въ образѣ мыслей. Передъ общественнымъ предразсудкомъ гордый Бритъ склоняется безъ ропота, съ видомъ уваженія. Само собою разумѣется что вездѣ, гдѣ есть люди, тамъ лгутъ и притворяются; но не считаютъ откровенности порокомъ, не смѣшпваютъ смѣло высказанное убѣжденіе мыслителя съ неблагопріистойностью развратной женщины, хвастающейся своимъ паденіемъ; но не поднимаютъ лицемѣрія на степень общественной и притомъ обязательной добродѣтели ¹⁾.

Конечно, ни Давидъ Юмъ, ни Гиббонъ не лгали на себя мистическихъ вѣрованій. Но Англія, слушавшая Оуэна въ 1817 г., была не та, во времени и въ глубинѣ. Цензъ пониманья расширился и не былъ больше ограниченъ отборнымъ вѣнкомъ образованныхъ аристократовъ и литераторовъ. Съ другой стороны, она лѣтъ пятнадцать просидѣла въ цѣлюлярной тюрьмѣ, запертая въ нее Наполеономъ, и, съ одной стороны, выдвинулась изъ потока идей, а съ другой, жизнь вдвинула впередъ огромное большинство мѣщанства, эту conglomerated mediocrity Стюарта Милля. Въ новой Англіи люди, какъ Байронъ и Шелли, бродятъ иностранцами: одинъ проситъ у вѣтра нести его куда-нибудь, только не на родину; у другого судьи, съ помощью обезумѣвшей отъ изувѣрства семьи, отбираютъ дѣтей, потому что онъ не вѣритъ въ Бога.

Итакъ, нетерпимость противъ Оуэна не даетъ никакого права заключать ни о ложности, ни о истинности его ученія; она только даетъ мѣру безумія, т. е., нравственной несвободы Англіи и въ особенности того слоя, который ходитъ по митингамъ и пишетъ журнальныя статейки.

¹⁾ Въ нынѣшнемъ году мирный судья Темплъ не принялъ показанія одной женщины изъ Рочделя, потому что она отказалась присягать по данной формѣ, говоря, что не вѣритъ въ наказанія на томъ свѣтѣ. Трелоне (сынъ извѣстнаго пріятеля Байрона и Шелли) спрашивалъ 12 февраля въ парламентѣ министра внутреннихъ дѣлъ, какія мѣры онъ предполагаетъ взять, въ отстраненіе такихъ отводовъ? Министръ отвѣчалъ, что никакихъ. Подобные случаи повторялись много разъ, напр., съ извѣстнымъ публицистомъ Голіокомъ.

Умъ количественно всегда долженъ будетъ уступить, онъ *на вѣсъ* всегда окажется слабѣйшимъ, онъ, какъ сѣверное сіяніе, свѣтитъ далеко, но едва существуетъ.—Умъ послѣднее усиліе, вершина, до которой развитіе не часто доходитъ, оттого-то онъ мощенъ, но не устоитъ противъ кулака. Умъ, какъ сознаніе, можетъ вовсе не быть на земномъ шарѣ; онъ едва родился въ сравненіи съ маститыми Альпійскими старцами, свидѣтелями и участниками геологическихъ революцій. Въ до-человѣческой, въ около-человѣческой природѣ нѣтъ ни ума, ни глупости, а необходимость условій, отношеній и послѣдствій. Умъ мутно глядитъ въ первый разъ молочнымъ взглядомъ животнаго, онъ медленно мужаеть, вырастаетъ изъ своего ребячества, проходя стадной и семейной жизнью рода человѣческаго. Стремленіе пробиться къ уму, изъ инстинкта, постоянно является вслѣдъ за сытостью и безопасностью; такъ что въ какую бы минуту мы ни остановили людское сожитіе, мы поймаетъ его на этихъ усиліяхъ достигнуть ума изъ-подъ власти безумія. Пути впередъ не назначено, его надобно прокладывать; исторія, какъ поэма Аріоста, несется зря, двадцатью эпизодами, бросаясь туда, сюда, съ тѣмъ тревожнымъ безпокойствомъ, которое уже безцѣльно волнуетъ обезьяну и котораго почти совсѣмъ нѣтъ у низшихъ звѣрей, этихъ довольныхъ животнаго царства.

Слово *lunatic asylum*, Оуэнъ, само собою разумѣется, употребилъ *comme une manière de dire*. Государства не дома сошедшихъ съ ума, а дома не *взошедшихъ въ умъ*. Практически, впрочемъ, онъ могъ употребить это выраженіе... не дѣлая ошибки. Ядъ или огонь въ рукахъ трехлѣтняго ребенка такъ же страшенъ, какъ въ рукахъ тридцатилѣтняго сумасшедшаго. Разница въ томъ, что безуміе одного—состояніе патологическое, другого—степень развитія, состояніе эмбриогеническое. Устрица представляетъ ту степень развитія организма, на которой животное *еще не имѣетъ* ногъ, она фактически *безногая*, но вовсе не такъ, какъ звѣрь, у котораго ноги отняты. Мы знаемъ (но устрица этого не знаетъ), что при хорошихъ обстоятельствахъ органическія попытки дойдутъ до ногъ и до крыльевъ, и смотримъ на неразвитыя формы моллюска, какъ на одну изъ растущихъ прибывающихъ волнъ прилива, въ то время какъ форма искаженная возвращается съ отливомъ въ стихійный океанъ и составляетъ частный случай смерти или агоніи.

Оуэнъ, убѣдившись, что организму въ тысячу разъ удобнѣе имѣть ноги, руки, крылья, чѣмъ постоянно дремать въ раковинѣ; понимая, что изъ тѣхъ же самыхъ бѣдныхъ, но уже *существующихъ* частей организма, есть возможность развить эти окончательно,—до того увлекся, что вдругъ сталъ проповѣдывать устри-

цамъ. чтобъ они взяли свои раковины и пошли за нимъ. Устрицы обидѣлись и сочли его *анти-моллюскомъ*, т. е., безнравственнымъ въ смыслѣ раковинной жизни, и проклинали его.

... «Характеръ человѣка существенно опредѣляется обстоятельствами, окружающими его. Но эти обстоятельства *общество можетъ легко* такъ устроить, чтобъ они способствовали наилучшему развитію умственныхъ и практическихъ способностей, сохраняя притомъ все безконечное разнообразіе личностей и соображаясь съ многоразличіемъ физической и умственной натуры».

Все это понятно, и надобно имѣть рѣдкую степень тупоумія чтобъ возражать на этотъ тезисъ Оуэна. Да на него, замѣьте, никто и не возражаетъ. Возраженіе большинствомъ—не отвѣтъ, а насиліе; возраженіе, что это безнравственно или несогласно съ такой-то традиціонной религіей или съ иной, тоже не опроверженіе. Въ худшемъ случаѣ, такіе отвѣты могутъ только доказать *двойство между истиной и нравственностью, пользу лжи и вредъ правды*. Истина не подлежитъ этому суду, ея критеріумъ не тутъ.

Ахиллова пята Оуэна не въ ясныхъ и простыхъ основаніяхъ его ученія, а въ томъ, что онъ думалъ, что обществу легко понять его *простую* истину. Думая такъ, онъ вналъ въ святую ошибку любви и нетерпѣнія, въ которую впадали всѣ преобразователи и предтечи переворотовъ.

Хроническое *недоуміе* въ томъ и состоитъ, что люди, подъ вліяніемъ историческаго преломленія лучей и разныхъ нравственныхъ параллаксѣвъ, всего меньше понимаютъ *простое*, а готовы вѣрить и еще больше *вкрить*, что понимаютъ вещи очень сложные и совершенно непонятныя, но традиціонныя, привычныя и соотвѣтствующія дѣтской фантазіи... Просто! Легко! Да всегда ли простое легко? Воздухомъ положительно проще дышать чѣмъ водой, но для этого надобно имѣть легкія; а гдѣ же имъ развиться у рыбъ, которымъ нуженъ сложный дыхательный снарядъ, чтобъ достать немного кислорода изъ воды. Среда имъ не позволяетъ, ихъ не вызываетъ на развитіе легкихъ, она слишкомъ густа и иначе составлена, чѣмъ воздухъ. Нравственная густота и составъ, въ которомъ выросли слушатели Оуэна, обусловила у нихъ свои *духовныя* жабры, дышать болѣе чистой и рѣдкой средой должно было произвести боль и отвращеніе.

Не думайте, что тутъ только виѣшнее сравненіе, тутъ истинная аналогія одинакихъ явленій, въ разныхъ возрастахъ и разныхъ слояхъ.

Легко понять... легко исправить! Помилуйте—кому? Той толпѣ, которая наполняетъ до давки колоссальный транссеяъ кристалъ-

наго дворца, слушая съ жадностью и рукоплесканіемъ проповѣди какого-то плоскаго средневѣковаго бакалавра, попавшаго, не знаю какъ, въ нашъ вѣкъ и общающаго толпѣ кары небесныя и бѣдствія земныя на вульгарномъ языкѣ шиллеровскаго капуцина въ Wallenstein's Lager?

Для нихъ не легко!

Люди отдають долю своего достоянія и своей воли, подчиняются всякаго рода властямъ и требованіямъ, вооружаютъ цѣлыя толпы, строятъ суды, тюрьмы и стращаютъ висѣлицей. Словомъ, дѣлають все такъ, чтобъ, куда человѣкъ ни обернулся, передъ его глазами былъ бы палачъ съ веревкой, готовый все кончить. Цѣль всего этого сохранить общественную безопасность отъ дикихъ страстей и преступныхъ покушеній, какъ-нибудь удержать въ руслѣ общественной жизни необузданныя покушенія вырваться изъ него.

А тутъ является чудакъ, который прямо и просто говорить, да еще съ какой-то обидной наивностью, *что все это вздоръ*, что человѣкъ вовсе не преступникъ *parle le droit de naissance*, что онъ такъ же мало отвѣчаетъ за себя, какъ и другіе звѣри, и, какъ они, суду не подлежитъ, *а воспитанію очень*. И это не все: онъ передъ лицомъ судей и поповъ всенародно объявляетъ, что человѣкъ не самъ творить свой характеръ, что стоитъ его поставить со дня рожденія въ такія обстоятельства, чтобъ онъ могъ быть не мошенникомъ, такъ онъ и будетъ, такъ себѣ, хорошій человѣкъ. А теперь общество рядомъ нелѣпостей наводитъ его на преступленіе, а люди наказываютъ не общественное устройство, *а лицо*.

И Оуэнъ воображалъ, что это *легко* понять?

Развѣ онъ не зналъ, что намъ легче себѣ вообразить кошку, повѣшенную за мышегубство, и собаку, награжденную почетнымъ ошейникомъ за оказанное усердіе при поимкѣ укрывшагося зайца, чѣмъ ребенка не наказаннаго за дѣтскую шалость, не говоря уже о преступникѣ. Примириться съ тѣмъ, что мстить всѣмъ обществомъ преступнику мерзко и глупо, что цѣлымъ соборомъ дѣлать безопасно и хладнокровно столько же злодѣйства надъ преступникомъ, сколько онъ сдѣлалъ, подвергаясь опасности и подвліяніемъ страсти, отвратительно и бесполезно,—ужасно трудно, не по нашимъ жабрамъ! Рѣзко!

Въ боязливомъ упорствѣ массъ, въ тупомъ отстаиваніи стараго, въ консервативной цѣпкости ея есть своего рода темное воспоминаніе, что висѣлица, смертная казнь, страхъ власти, уголовная палата были нѣкогда огромные шаги впередъ, огромныя ступени вверхъ, великіе Errungenschaften, подмостки, по которымъ люди, выбиваясь изъ силъ, взбирались къ покойной жизни, ко-

маги. на которыхъ подплывали. сами не зная дороги. къ гавани гдѣ бы можно было отдохнуть отъ тяжелой борьбы со стихіями, отъ земляной и кровавой работы, можно было бы найти безтревожный досугъ и святую праздность, этихъ первыхъ условій прогресса. свободы, искусства и сознанія!

Чтобъ сберечь этотъ дорого доставшійся покой, люди обставили свои гавани всякаго рода пугалами.

Одолѣвшее племя естественно кабалило себѣ племя покоренное, и на его рабствѣ основывало свой досугъ, т. е., свое развитіе. Рабствомъ собственно началось государство, образованіе, человѣческая свобода. Инстинктъ самосохраненія навелъ на свирѣпыя законы, необузданная фантазія додѣлала остальное.

Если свести всѣ разнообразныя основы этихъ краеугольных камней. на которыхъ выводились государства, на главные начала, освобождая ихъ отъ фантастическаго, дѣтскаго, принадлежащаго къ возрасту, то мы увидимъ, что они постоянно одни и тѣ же, соприносящи всякому государству; декораціи и формы мѣняются, но начала тѣ же.

Дикая расправа царя звѣролова въ Африкѣ, который собственноручно прирѣзываетъ преступника, совсѣмъ не такъ далека отъ расправы судьи, довѣряющаго другому убійство. Дѣло въ томъ, что ни судья въ шубѣ. въ бѣломъ парикѣ, съ перомъ за ухомъ, ни голый африканскій царь, съ перомъ въ носу, и совершенно черный не сомнѣваются, что они это дѣлаютъ для спасенія общества и не только имѣютъ право въ иныхъ случаяхъ убивать, но и священный долгъ.

Сверхъ страха волн, того страха, который дѣти чувствуютъ, начиная ходить безъ помочей, сверхъ привычки къ этимъ поручнямъ, облитымъ потомъ и кровью, къ этимъ ладьямъ, сдѣлавшимся ковчегами спасенія, въ которыхъ народы пережили не одинъ черный день,—есть еще сильные контрфорсы, поддерживающіе ветхое зданіе. Незрелость массъ, не умѣющихъ понимать, съ одной стороны, и корыстный страхъ, съ другой, мѣшающій понимать меньшинству. долго продержатъ на ногахъ старый порядокъ. Образованныя сословія, противно своимъ убѣжденіямъ, готовы сами ходить на веревкѣ, лишь бы не спускали съ нея толпу.

Оно и въ самомъ дѣлѣ не совсѣмъ безопасно.

Внизу и вверхъ разные календари. Наверху XIX вѣкъ, а внизу развѣ XV, да и то не въ самомъ внизу,—тамъ уже готтенты и кафры различныхъ цвѣтовъ, породъ и климатовъ.

Если въ самомъ дѣлѣ подумать объ этой цивилизаціи, которая осыдаетъ лаццаронами и лондонской чернью, людьми свернувшими съ пол-дороги и возвращающимися къ состоянію лему-

ровъ и обезьянъ, въ то время, какъ на вершинахъ ея цвѣтуть тщедушныя аптеки всѣхъ аристократій,—дѣйствительно голова закружится. Вообразите себѣ этотъ звѣринецъ на волѣ, безъ церкви, безъ инквизиціи и суда.

Оуэнъ считалъ ложью, т. е., отжившей правдой, вѣковыя твердыни юриспруденціи, и это понятно; но когда онъ подъ этимъ предлогомъ требовалъ, чтобъ они сдались, онъ забылъ храбрый гарнизонъ, защищающій крѣпость. Ничего въ мірѣ нѣтъ упорнѣе трупъ, его можно убить, разбить на части. но убѣдить нельзя.

Это приводитъ насъ къ вопросу не о томъ, правъ или не правъ Р. Оуэнъ, а о томъ, *совмѣстны ли вообще разумное сознаніе и нравственная независимость съ государственнымъ бытомъ?*

Исторія свидѣтельствуетъ, что общества постоянно достигаютъ разумной автономіи, но свидѣтельствуетъ также, что они остаются въ нравственной неволѣ. Разрѣшмы эти вопросы или нѣтъ, сказать трудно; ихъ не рѣшишь съ плеча, особенно одной любовью къ людямъ и другими теплыми и благородными чувствами.

Во всѣхъ сферахъ жизни мы наталкиваемся на неразрѣшимую антиномію, на эти ассимпоты, вѣчно стремящіяся къ своимъ гиперболамъ, никогда не совпадая съ ними. Это—крайнія грани между которыми колеблется жизнь, движется и утекаетъ, касаясь то того берега, то другого.

Появленіе людей, протестующихъ противъ общественной неволи и неволи совѣсти,—не новость; они являлись обличителями и пророками во всѣхъ сколько-нибудь назрѣвшихъ цивилизаціяхъ, особенно, когда онѣ старѣли. Это высшій предѣлъ, *перехватывающая личность*, явленіе исключительное и рѣдкое, какъ гений, какъ красота, какъ необыкновенный голосъ. Опытъ не доказываетъ, чтобъ ихъ утопіи были осуществляемы.

У насъ передъ глазами страшный примѣръ. Съ тѣхъ поръ, какъ родъ человѣческій запомнить себя, не встрѣчалось никогда такого стеченія счастливыхъ обстоятельствъ для разумаго и свободного развитія государственнаго, какъ въ Сѣверной Америкѣ; все, мѣшающее на истощенной, исторической почвѣ, или на почвѣ, вовсе невоздѣланной, отсутствовало. Ученіе великихъ мыслителей и революціонеровъ XVIII вѣка безъ французской военщины, англійскій common law безъ кастъ легли въ основу ихъ государственнаго быта. Чего же больше? Все, о чемъ мечтала старая Европа: республика, демократія, федерація, самозаконность каждаго клочка и — едва связывающій общій правительственный поясъ съ слабымъ узломъ въ серединѣ.

Что же вышло изъ всего этого?

Общество, большинство захватило диктаторскую и полицейскую

власть; народъ, объявившій восемьдесятъ лѣтъ тому назадъ «права человѣка», распадается изъ-за «права сѣчь». Преслѣдованія и гоненія въ южныхъ штатахъ, поставившихъ на своемъ знамени слово *Рабство*, за образъ мыслей и слова, не уступаютъ въ гнусности тому, что дѣлалъ неаполитанскій король и вѣнскій императоръ.

Въ сѣверныхъ штатахъ «рабство» не возведено въ догматъ религiи; но каковъ уровень образованія и свободы совѣсти въ странѣ, бросающей счетную книгу только для того, чтобъ заннаться вертящимися столами, постукивающими духами, въ странѣ, хранящей всю нетерпимость цуританъ и квакеровъ!

Въ формахъ, болѣе мягкихъ, мы то же встрѣчаемъ въ Англіи и въ Швеціи. Чѣмъ страна свободнѣе отъ правительственнаго вмѣшательства, чѣмъ больше признаны ея права на слово, на независимость совѣсти,—тѣмъ нетерпимѣе дѣлается толпа, общественное мнѣніе становится застѣнкомъ; вашъ сосѣдъ, вашъ мясникъ, вашъ портной, семья, клубъ, приходъ держать васъ подъ надзоромъ и исправляють должностъ квартальнаго. Неужели только народъ, не способный къ *внутренней* свободѣ, можетъ достигнуть свободныхъ учрежденій? или не значитъ ли это, наконецъ, что государство развиваетъ постоянно потребности и идеалы, достиженіе которыхъ исполняютъ дѣятельностью лучшіе умы, но которыхъ осуществленіе несовмѣстимо съ государственной жизнью?

Мы не знаемъ рѣшенія этого вопроса; но считать его рѣшеннымъ не имѣемъ права. Исторія до сихъ подъ его рѣшаетъ однимъ образомъ: нѣкоторые мыслители, и въ томъ числѣ Р. Оуэнъ, иначе. Оуэнъ *вѣритъ* несокрушимой вѣрой мыслителей XVIII-го столѣтія (прозваннаго вѣкомъ безвѣрія), что человѣчество наканунѣ своего торжественнаго облеченія въ вирильную тогу. А намъ кажется, что всѣ опекуны и пастухи, дядьки и мамки могутъ спокойно ѣсть и спать насчетъ недоросля. Какой бы вздоръ народы ни потребовали, *на нашемъ вѣку* они не потребуютъ право совершеннолѣтія. Человѣчество еще долго проходитъ съ отложными воротничками à l'enfant.

Причинъ на это бездна. Для того, чтобъ человѣку образумиться и придти въ себя, надобно быть гигантомъ; да, наконецъ, и никакія колоссальныя силы не помогутъ пробиться, если быть общественный такъ хорошо и прочно сложился, какъ въ Японіи или Китаѣ. Съ той минуты, когда младенецъ, улыбаясь, открываетъ глаза у груди своей матери, до тѣхъ поръ, пока, примирившись съ совѣстью и Богомъ, онъ также спокойно закрываетъ глаза, увѣренный, что его перевезутъ въ обитель, гдѣ нѣтъ ни плача, ни воздыханія,—все такъ улажено, чтобъ онъ не развилъ

ни одного простого понятія, не натолкнулся бы ни на одну простую, ясную мысль. Онъ съ молокомъ матери сосетъ дурманъ; никакое чувство не остается не искаженнымъ, не сбитымъ съ естественнаго пути. Школьное воспитаніе продолжаетъ то, что сдѣлано дома, оно обобщаетъ оптическій обманъ, книжно упрочи-ваетъ его, теоретически узакониваетъ традиціонный хламъ и приучаетъ дѣтей къ тому, чтобъ они *знали, не понимая*, и принимали бы *названія за опредѣленія*.

Сбитый въ понятіяхъ, запутанный словами, человѣкъ теряетъ чутье истины, вкусъ природы. Какую же надобно имѣть силу мышленія, чтобъ заподозрить этотъ нравственный чадъ и уже съ круженіемъ головы броситься изъ него на чистый воздухъ, которымъ въ добавокъ стращаютъ всѣ вокругъ! На это Оуэнъ отвѣчалъ бы, что онъ именно потому и начиналъ свое социальное перерожденіе людей не съ фаланстера, не съ Икаріи, а со школы, со школы, въ которую онъ бралъ дѣтей съ двухлѣтнаго возраста и меньше.

Оуэнъ былъ правъ, и еще больше, онъ практически доказалъ, что онъ *былъ правъ*: передъ New Lanark'омъ противники Оуэна молчатъ. Этотъ проклятый New Lanarkъ вообще костью стоитъ въ горлѣ людей, постоянно обвиняющихъ социализмъ въ утопіяхъ и въ неспособности что-нибудь осуществить на практикѣ. «Что сдѣлалъ Консидеранъ съ Брейсбеномъ, что монастырь Сито, что портные въ Клиши и Banque du peuple Прудона?» Но противъ блестящаго успѣха New Lanark'a сказать нечего. Ученые и послы, министры и герцоги, купцы и лорды, все выходило съ удивленіемъ и благоговѣніемъ изъ школы. Докторъ герцога Кентскаго, скептикъ, говорилъ о Lanark'ѣ съ улыбкой; герцогъ, другъ Оуэна, совѣтовалъ ему съѣздить самому въ New Lanark. Вечеромъ докторъ пишетъ герцогу: «отчетъ я оставляю до завтра: я такъ взволнованъ и тронутъ тѣмъ, что видѣлъ, что не могу еще писать; у меня нѣсколько разъ наворачивались слезы на глазахъ». На этомъ торжественномъ признаніи я и жду моего старика. И такъ, онъ доказалъ свою мысль на дѣлѣ,—онъ былъ правъ. Пойдемте далѣе.

New Lanarkъ былъ на вершинѣ своего благосостоянія. Неутомимый Оуэнъ, несмотря ни на лондонскія поѣздки, ни на митинги, ни на непрерывныя посѣщенія всѣхъ знаменитостей Европы,—съ той же дѣятельной любовью занимался школой-фабрикой и благосостояніемъ работниковъ, между которыми развивалъ общинную жизнь. И все лопнуло!

Что же, вы думаете, онъ обанкротился? Учителя перессорились, дѣти избаловались, родители спились? Помилуйте, фабрика шла превосходно, доходы росли, работники богатыли, школа про-

цвѣтала. Но однимъ добрымъ утромъ въ эту школу вошли какіе-то два черныхъ шута, въ низенькихъ шляпахъ, въ намѣренно дурно сшитыхъ сюртукахъ: это были двое квакеровъ, такіе же собственники New Lanark'a, какъ и самъ Оуэнъ. Насунили они брови, видя веселыхъ дѣтей, нисколько не горюющихъ о грѣхопаденіи: ужаснулись, что маленькіе мальчики безъ панталонъ, и потребовали преподаваніе какого-то своего катехизиса. Оуэнъ сначала отвѣчалъ геніально: цифрой приращенія доходовъ. Ревность успокоилась на время: такъ грѣховная цифра была велика. Но совѣсть квакеровъ проснулась опять, и они еще настоятельнѣе стали требовать, чтобы дѣтей не учили ни танцовать, ни *свѣтскому* пѣнію, а раскольничьему катехизису непременно.

Оуэнъ, у котораго хоры, правильныя эволюціи и танцы играли важную роль въ воспитаніи, не согласился. Были долгія пренія; квакеры рѣшились на этотъ разъ и требовали введенія псалмовъ и какихъ-то штанишекъ дѣтямъ, ходившимъ по-шотландски. Оуэнъ понялъ, что крестовый походъ квакеровъ на этомъ не остановится. «Въ такомъ случаѣ», сказалъ онъ имъ, «управляйте сами; я отказываюсь». Онъ не могъ иначе поступить.

«Квакеры» говоритъ біографъ Оуэна, «вступивъ въ управленіе New Lanark'омъ, начали съ того, что *уменьшили плату и увеличили число часовъ работы*».

New Lanark палъ.

Неудобно забывать, что успѣхъ Оуэна раскрываетъ еще одну великую историческую *новость*, именно ту, что бѣдный и подавленный работникъ, лишенный образованія, съ дѣтства приученный къ пьянству и обману, къ войнѣ съ обществомъ, только сначала противудѣйствуетъ нововведеніямъ, и то изъ недовѣрія; но какъ только онъ убѣждается въ томъ, что перемѣна не во вредъ ему, что при ней и онъ не забытъ, онъ слѣдуетъ съ покорностью, потомъ съ довѣрчивой любовью.

Среда, служащая тормазомъ, не тутъ.

Гейнце, литературный холопъ Меттерниха, за обѣдомъ во Франкфуртѣ, сказалъ Роберту Оуэну:

— Положимъ что вы бы успѣли,—что же бы изъ этого вышло?

— Очень просто, отвѣчалъ Оуэнъ, вышло бы то, что каждый былъ бы сытъ, хорошо одѣтъ, и получилъ бы дѣльное воспитаніе.

И вотъ отчего паденіе небольшой шотландской деревушки, съ фабрикой и школой, имѣетъ значеніе историческаго несчастія. Развалины Оуэнскаго New Lanark'a наводятъ на нашу душу не меньше грустныхъ думъ, какъ нѣкогда другія развалины наводили на душу Марія; съ той разницей, что римскій изгнанникъ сидѣлъ на гробѣ старца и думалъ о суетѣ суетствій; а мы тоже

думаемъ. сидя у свѣжей могилы младенца, много общавшаго и убитаго дурнымъ уходомъ и страхомъ, *что онъ потребуетъ наслѣдства!*

III

Итакъ. Р. Оуэнъ былъ правъ передъ разумомъ; выводы его были логичны и, еще больше, были практически оправданы. Имъ только недоставало *пониманья* со стороны слушавшихъ его.

— Это дѣло времени, когда-нибудь люди поймутъ.

— Я не знаю.

— Нельзя же думать, чтобъ люди никогда не дошли до пониманья своихъ собственныхъ выгодъ.

— Однако до сихъ поръ было такъ.

Во всю тысячу и одну ночь исторiи, какъ только накапливалось немного образованiя, попытки эти были; нѣсколько чело-вѣкъ просыпались, протестовали противъ спящихъ, заявляли, что они наяву, но другихъ добудиться не могли. Появленiе ихъ доказываетъ, безъ малѣйшаго сомнѣнiя, возможность чело-вѣка развиваться до разумаго пониманья. Но этимъ не разрѣшается нашъ вопросъ: можетъ-ли это исключительное развитiе сдѣлаться общимъ? Наведенiе, которое намъ даетъ прошедшее, не въ пользу положительнаго рѣшенiя. Развѣ будущее пойдетъ иначе, приведетъ инныя силы, инныя элементы, которыхъ мы не знаемъ и которые перевернуть, по плюсу или минусу, судьбы чело-вѣчества или значительной части его. Открытiе Америки равняется геологическому перевороту; желѣзныя дороги, электрическiй телеграфъ измѣнили всѣ чело-вѣческiя отношенiя. То, чего мы не знаемъ, мы не имѣемъ права вводить въ нашъ расчетъ; но, принимая всѣ лучшiе шансы, мы все же не предвидимъ, чтобъ люди скоро почувствовали потребность *здраваго смысла*. Развитiе мозга требуетъ своего времени. Въ природѣ нѣтъ торопливости; она могла тысячи и тысячи лѣтъ лежать въ каменномъ обморокѣ и другiя тысячи чирикають птицами, рыскають звѣрями по лѣсу, или плавать рыбою по морю. Историческаго бреда ей станетъ надолго; имъ же превосходно продолжается пластичность природы, истощенной въ другихъ сферахъ.

Люди, которые поняли, что это сонъ, воображаютъ, что проснуться легко, сердятся на спящихъ, не соображая, что весь мiръ ихъ окружающiй не позволяетъ имъ проснуться. Жизнь проходитъ рядомъ оптическихъ обмановъ, искусственныхъ потребностей и мнимыхъ удовольворенiй.

Случайно, не выбирая, возьмите любую газету, взгляните на любую семью. Какой же тутъ Робертъ Оуэнъ поможетъ? Изъ вздора люди страдаютъ съ самоотверженіемъ, изъ вздора идутъ на смерть, изъ вздора убиваютъ другихъ. Въ вѣчной заботѣ, суетѣ, нуждѣ, тревогѣ, въ потѣ лица, въ трудѣ безъ отдыха и конца, человѣкъ даже и не наслаждается. Если ему досугъ отъ работы, онъ торопится свить семейныя сѣти, вьетъ ихъ совершенно случайно, самъ попадаетъ въ нихъ, стягиваетъ другихъ, и, если не долженъ спастись отъ голодной смерти—каторжной, нескончаемой работой, то начинается ожесточенное преслѣдованіе жены, дѣтей, родныхъ или самъ преслѣдуется ими. Такъ люди гонятъ другъ друга во имя родительской любви, во имя ревности, во имя брака, дѣлая ненавистными священнѣйшія связи. Когда же тутъ образумиться? Развѣ по другую сторону семьи, за ея гробомъ, когда человѣкъ все потерялъ, и энергію, и свѣжесть мысли, когда онъ ищетъ одного покоя.

Посмотрите на хлопоты и заботы цѣлаго муравейника, или одного муравья отдѣльно; вникните въ его домогательства и цѣли, въ его радости и горе, въ его понятія о добрѣ и злѣ, о *чести и позорѣ*—во все, что онъ дѣлаетъ въ продолженіе всей жизни, съ утра до ночи; взгляните, на что онъ посвящаетъ послѣдніе дни и чему жертвуетъ лучшими мгновеніями своей жизни,—васъ обдастъ дѣтской, съ ея лошадками на колесахъ, съ блестками и фольгой, съ куклами, поставленными въ уголь, и съ розгами, поставленными въ другой. Въ ребячьемъ лепетѣ слышится иной разъ проблескъ дѣла; но онъ теряется въ дѣтской разсѣянности. Остановиться, обдуматься нельзя,—дѣла разстроишь, отстанешь, будешь затертъ; всѣ слишкомъ компрометировались и всѣ слишкомъ быстро несутся, чтобъ можно было остановиться, особенно передъ горстью людей, безъ пушекъ, безъ денегъ, безъ власти, *протестующихъ во имя разума*, не подтверждая даже своей истины чудесами.

Ротшильдъ или Монтефіоре *надобно* съ утра въ бюро, чтобъ начать капитализацію сотаго милліона; въ Бразиліи моръ, въ Италіи война, Америка распадается, все идетъ прекрасно; а тутъ ему говорятъ о безотвѣтственности человѣка и о *иномъ* распредѣленіи богатствъ,—разумѣется, онъ не слушаетъ. Макъ-Магонъ дни, ночи обдумывалъ, какъ вѣрнѣе, въ самое короткое время, истребить наибольшее количество людей, одѣтыхъ въ бѣлые мундиры, людьми, одѣтыми въ красные штаны; истребилъ ихъ больше, чѣмъ думалъ, всѣ его поздравляютъ, даже ирландцы, которые въ качествѣ папистовъ побиты имъ; а ему говорятъ, что война не только отвратительная нелѣпость, но и преступленіе. Ра-

зумѣется, вмѣсто того, чтобъ слушать, онъ станетъ любоваться мечемъ, поднесеннымъ Ирландіей.

Въ Италіи я былъ знакомъ съ однимъ старикомъ, главою богатаго банкирскаго дома. Разъ, поздно ночью, мнѣ не спалось, я пошелъ гулять и возвращался, часу въ пятомъ утра, мимо его дома. Работники выкатывали изъ подваловъ боченки съ оливковымъ масломъ, для отправки моремъ. Старикъ банкиръ, въ тепломъ сюртукѣ, стоялъ съ бумагой въ рукѣ, отмѣчая каждый боченокъ. Утро было свѣжо, онъ зябнулъ.

— Вы уже встали?—сказалъ я ему.

— Я здѣсь больше часа,—отвѣчалъ онъ, улыбаясь и протягивая руку.

— Да вы замерзли, какъ въ Россіи.

— Что дѣлать, старъ становлюсь, силы отказываютъ.

— Пріатели-то ваши (т. е., его сыновья) спятъ еще, небось,—и пусть поспятъ, пока старикъ еще живъ.

— А безъ собственнаго надзора нельзя. Я прежняго покроя человѣкъ, много наглядѣлся; пять революцій, amico mio, видѣлъ, возлѣ прошли; а я, за своей работой, все также: отпускаю масло, пойду въ контору. Я и кофе тамъ пью, прибавилъ онъ.

— И такъ до самаго обѣда?

— До самаго обѣда.

— Вы не балуете себя.

— А впрочемъ, скажу вамъ откровенно, тутъ много дѣлается привычка. *Мнѣ скучно безъ дѣла.*

Не нынче-завтра онъ умретъ. Кто же будетъ масло отпускать, какъ пойдетъ домъ? думалъ я, оставивъ его. Развѣ къ тѣмъ порамъ старшій сынъ тоже сдѣлается человѣкомъ прежняго покроя, и тоже будетъ скучать безъ дѣла и вставать въ четыре часа? Такъ и пойдетъ одна тысяча золотыхъ къ другой, до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ династовъ, и, навѣрное, самый лучший, проиграетъ все въ карты или поднесетъ лореткѣ.—«Родители-то какіе были! скажутъ добрые люди,—они отказывали во всемъ себѣ и другимъ тоже, и все копили про дѣтей. А вотъ блудный сынъ!..»

Ну, гдѣ-жъ тутъ скоро добраться, сквозь эту толщу нелѣпости до живого мяса?

Этимъ людямъ, занятымъ службой, ажіотажемъ, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми,—Р. Оуэнъ проповѣдывалъ другое употребленіе силъ и указывалъ имъ на нелѣпость ихъ жизни. Убѣдить ихъ онъ не могъ, а озлобилъ ихъ и опрокинулъ на себя всю нетерпимость непониманія. Одинъ разумъ долготерпѣливъ и милосердъ, потому что онъ понимаетъ.

Біографъ Р. Оуэна очень вѣрно судилъ, говоря, что онъ раз-

рушилъ свое вліяніе, отрекаясь отъ религіи. Дѣйствительно, стукнувшись о церковную ограду, ему слѣдовало остановиться, а онъ перелѣзъ на другую сторону и остался тамъ одинъ одиначонокъ провожаемый благочестивымъ ругательствомъ. Но намъ кажется что рано или поздно, онъ точно также остался бы и за *другимъ черепкомъ* раковины—одинъ и outlaw!

Толпа только потому не освирѣпѣла на него съ самаго начала, что государство и судъ не такъ популярны, какъ церковь и алтарь. Но за право наказанія вступились бы, à la longue, люди получше подкованные, чѣмъ богобѣснующіеся квакеры и фельбетонные святоши.

Вѣковой споръ, споръ тысячелѣтній о *воли и предопредѣленіи* не конченъ. Не одинъ Оуэнъ въ наше время сомнѣвался въ отвѣтственности человѣка за его поступки; слѣды того сомнѣнія мы найдемъ у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенгауера, у натуралистовъ и у врачей, и, что всего важнѣе, у всѣхъ занимающихся статистикой преступленій. Во всякомъ случаѣ споръ не рѣшенъ, *но о томъ, что преступника наказывать справедливо, и, притомъ, по мѣрѣ преступленія, объ этомъ и спору нѣтъ*, это всякій самъ знаетъ!

Съ которой же стороны lunatic asylum?

«Наказаніе есть неотъемлемое право преступника», сказалъ самъ Платонъ.

Жаль, что онъ самъ сказалъ этотъ каламбуръ, но, впрочемъ, мы не обязаны съ Аддисоновымъ Катонѣмъ приговаривать ко всему: «ты правъ, Платонъ, ты правъ», даже и тогда, когда онъ говоритъ, что «нашъ духъ не умираетъ».

Если быть выпоронному или повѣшенному составляетъ *право* преступника, пусть же онъ самъ и предъявляетъ его, если оно нарушено. Права втѣснять ненадобно.

Бентамъ называетъ преступника дурнымъ счетчикомъ; понятно, что кто обчелся, тѣмъ долженъ нести послѣдствія ошибки, но, вѣдь, это не право его. Никто не говоритъ, что если вы стукнулись лбомъ, то вы имѣете право на синее пятно, и нѣтъ особаго чиновника, который бы посылалъ фельдшера сдѣлать это пятно, если его нѣтъ. Но юристы или такъ неоткровенны, или такъ забили свой умъ, что они казнъ вовсе не хотятъ признать обороной или местию, а какимъ-то нравственнымъ вознагражденіемъ, «возстановленіемъ равновѣсія». На войнѣ дѣла идутъ прямо: убивая непріятеля, солдатъ не ищетъ *его* вины, не говоритъ даже, что это справедливо, а кто кого сможетъ, тотъ того и повадитъ.

— Но съ этими понятіями придется затворить все суды.

— Зачѣмъ? дѣлали же изъ базиликъ приходскія церкви, не попробовать ли теперь ихъ отдать подъ приходскія школы?

— Съ этими понятіями о безнаказанности не устоятъ ни одно правительство.

— Оуэнъ могъ бы, какъ первый *историческій* братъ, на это отвѣчать: развѣ мнѣ было поручено упрочивать правительства?

— Онъ въ отношеніи правительствъ былъ очень уклончивъ и умѣлъ ладить съ коронованными головами, съ министрами тори и съ президентомъ американской республики.

— А развѣ онъ былъ дурень съ католиками или протестантами?

— Что-жъ вы думаете, Оуэнъ былъ республиканецъ?

— Я думаю, что Р. Оуэнъ предпочиталъ ту *форму правительства*, которая наибольше соотвѣтствуетъ принимаемой имъ церкви.

— Помилуйте, у него никакой нѣтъ церкви.

— Ну, вотъ видите.

— Однако нельзя быть безъ правительства.

— Безъ сомнѣнія; хоть какое-нибудь да надобно. Гегель рассказываетъ о доброй старухѣ, говорившей: «Ну, что-жъ, что дурная погода, все лучше, чтобъ была дурная, чѣмъ если-бъ совсѣмъ погоды не было!»

— Хорошо, смѣйтесь, да, вѣдь, государство погибнетъ безъ правительства!

— А мнѣ что за дѣло!

IV

Во время революціи былъ сдѣланъ опытъ коренного измѣненія гражданскаго быта, съ сохраненіемъ *сильной правительственной власти*. •

Декреты приготовлявшагося правительства уцѣлѣли съ своимъ заголовкомъ:

Egalité

Liberté

Bonheur Commun.

Къ которому иногда прибавляется, въ видѣ поясненія: ou la mort!

Декреты, какъ и слѣдуетъ ожидать, начинаются съ *декрета полиціи*.

§ 1. Лица, ничего не дѣлающія для отечества, не имѣютъ

никакихъ политическихъ правъ, это *иностранцы*, которымъ *республика* даетъ гостепріимство.

§ 2. Ничего не дѣлають для *отечества* тѣ, которые не *служатъ* ему полезнымъ трудомъ.

§ 3. *Законъ* считаетъ полезными трудами:

Земледѣліе, скотоводство, рыбную ловлю, мореплаваніе.

Механическія и ручныя работы.

Мелкую торговлю (*la vente en detail*).

Извозъ и ямщичество.

Военное ремесло.

Науки и преподаваніе.

§ 4. Впрочемъ, *науки* и *преподаваніе* не будутъ считаться полезными, если *лица*, занимающіеся ими, не представляютъ въ данное время свидѣтельство *цивизма*, написанное по *опредѣленной формѣ*.

§ 5. *Иностранцамъ* воспрещается входъ въ публичныя собранія.

§ 7. Иностранцы находятся подъ прямымъ надзоромъ высшей администраціи, которой предоставляется право высылать ихъ съ мѣста жительства и отправлять въ исправительныя мѣста.

Въ декретѣ о «работахъ» все расписано и распредѣлено, въ какое время, когда что дѣлать, сколько часовъ работать; старшины даютъ «примѣръ усердія и дѣятельности»; другіе доносятъ обо всемъ, дѣлающемуся въ мастерскихъ, начальству. Работниковъ *посылаютъ* изъ одного мѣста въ другое (такъ, какъ гоняють мужиковъ на шоссейную работу у насъ), по мѣрѣ надобности рукъ и труда.

§ 11. Высшая администрація посылаетъ на каторжную работу (*travaux forcés*), подъ надзоръ ея назначенныхъ общинъ, лицъ обоюго пола, которыхъ *инцивизмъ* (*incivisme*), лѣнь, роскошь и *дурное поведеніе* даютъ обществу дурной примѣръ. Ихъ имущество будетъ конфисковано.

§ 14. Особенные чиновники заботятся о содержаніи и приплодѣ скота, объ одеждѣ, переѣздахъ и облегченіяхъ, работающихъ гражданъ.

Декретъ о распредѣленіи имущества.

§ 1. Ни одинъ членъ общины не можетъ пользоваться ничѣмъ, кромѣ того, что ему опредѣляется закономъ и дано посредствомъ облеченнаго властью чиновника (*magistrat*).

§ 2. Народная община съ самаго начала даетъ своимъ членамъ квартиру, платья, стирку, освѣщеніе, отопленіе, достаточное количество хлѣба, мяса, куръ, рыбы, яицъ, масла, вина и другихъ напитковъ.

§ 3. Въ каждой коммунѣ, въ опредѣленные эпохи, будутъ

общія трапезы, на которыхъ члены общины *обязаны* присутствовать.

§ 5. Всякій членъ, взявшій плату за работу или хранящій у себя деньги, *наказывается*.

Декретъ о торговлѣ.

§ 1. Заграничная торговля частнымъ лицамъ *запрещена*. Товаръ будетъ конфискованъ, преступникъ наказанъ.

Торговля будетъ производиться чиновниками. Затѣмъ деньги уничтожаются. Золото и серебро не велѣно ввозить. Республика не выдаетъ денегъ, внутреннѣе частныя долги уничтожаются, внѣшнѣе уплачиваются; а если кто обманетъ или сдѣлаетъ подлогъ, то наказывается *вѣчнымъ рабствомъ* (esclavage perpetuel).

За этимъ такъ и ждешь: *Питеръ* въ Сарскомъ Селѣ, или гр. *Аракчеевъ* въ Грузинѣ; а подписалъ не Петръ I, а первый социалистъ французскій *Граакхъ Бабёфъ!*

Жаловаться трудно, чтобъ въ этомъ проектѣ не доставало правительства: обо всемъ попеченіе, за всѣмъ надзоръ, надъ всѣмъ опека, все устроено, все приведено въ порядокъ. Даже воспроизведеніе животныхъ не предоставляется ихъ собственнымъ слабостямъ и кокетству, а регламентировано высшимъ начальствомъ.

И для чего вы думаете все это? Для чего кормятъ «курами и рыбой, обмываютъ, одѣваютъ и *утѣшаютъ*» ¹⁾ этихъ *крѣпостныхъ* благосостоянія, этихъ приписанныхъ къ равенству арестантовъ? Не просто для нихъ, декретъ именно говорить, что все это будетъ дѣлаться *mediocrement*. «Одна Республика должна быть богата, великолѣпна и всемогуща».

Противуположность Роберта Оуэна съ Граакхомъ Бабёфомъ очень замѣчательна. Черезъ вѣка, когда все измѣнится на земномъ шарѣ, по этимъ *двумъ кореннымъ зубамъ* можно будетъ возстановить ископаемые остовы Англіи и Франціи до послѣдней косточки. Тѣмъ больше, что въ сущности эти мастодонты социализма принадлежатъ одной семьѣ, идутъ къ одной цѣли, и изъ тѣхъ же побужденій,—тѣмъ ярче ихъ различіе.

Одинъ видѣлъ, что, несмотря на казнь короля, на провозглашеніе республики, на уничтоженіе *федералистовъ* и демократическій терроръ, народъ остался не причемъ. Другой, что, несмотря на огромное развитіе промышленности, капиталовъ, машинъ и усиленной производительности, «веселая Англія» дѣлается все больше Англіей скучной, и Англія обжорливая—все больше Англіей голодной. Это привело обоихъ къ необходимости измѣненія основ-

¹⁾ „Каждый гражданинъ будетъ отъ администраціи *logé, nourri, habillé et amusé*“.

ныхъ условій государственнаго и экономическаго быта. Почему они (и многіе другіе) почти въ одно и то же время попали на этотъ порядокъ идей,—попятно. Противорѣчія общественнаго быта становились не больше и не хуже, чѣмъ прежде, но они выступали рѣзче къ концу XVIII вѣка. Элементы общественной жизни, развиваясь розно, разрушили ту гармонію, которая была прежде между ними, при меньше благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Встрѣтившіеся такъ близко въ точкѣ исхода, оба идутъ въ противоположныя стороны.

Оуэнъ видитъ въ томъ, что общественное зло приходитъ къ сознанию, послѣднее *достиженіе*, послѣднюю побѣду тяжелаго, сложнаго, историческаго похода; онъ привѣтствуетъ зарю *новаго* дня, никогда не бывалаго и невозможнаго въ прошедшемъ, и уговариваетъ дѣтей, какъ можно скорѣе покинуть пеленки, помочи, и стать на свои ноги. Онъ заглянулъ въ двери будущаго и, какъ путешественникъ, доѣхавшій до мѣста, не сердится больше на дорогу, не бранитъ ни станціонныхъ смотрителей, ни клячъ.

Но конституція 1793 года думала не такъ, а съ ней не такъ думалъ и Граксъ Бабёфъ. Она декретировала *возстановленіе естественныхъ правъ человека, забытыхъ и утраченныхъ*. Государственный бытъ—преступный плодъ узурпаціи, послѣдствіе злодѣйскаго заговора тирановъ и ихъ сообщниковъ, поповъ и аристократовъ. Ихъ слѣдуетъ казнить, какъ враговъ отечества, достояніе ихъ возратить законному *государю*, которому теперь ѣсть нечего, и который называется поэтому *санкюлотомъ*. Пора возстановить его старья, *неотъемлемыя права*... Гдѣ они были? Почему пролетарій государь? Почему ему принадлежитъ все достояніе, награбленное другими?.. А! вы сомнѣваетесь,—вы подозрительный человѣкъ, ближній государь сведетъ васъ къ гражданину судѣ, а тотъ пошлетъ къ гражданину палачу, и вы больше сомнѣваться не будете!

Практика *хирурга* Бабёфа не могла мѣшать практикѣ *акушера* Оуэна.

Бабёфъ хотѣлъ силой, т. е., властью разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжаніе. Для этого онъ сдѣлалъ заговоръ; если-бъ ему удалось овладѣть Парижемъ, комитетъ *insurrecteur* приказалъ бы Франціи новое устройство, точно такъ, какъ Византія его приказалъ побѣдоносный Османлисъ; онъ втѣснилъ бы французамъ свое *рабство общаго благосостоянія*, и, разумѣется, съ такимъ насиліемъ, что вызвалъ бы страшнѣйшую реакцію, въ борьбѣ съ которой Бабёфъ и его комитетъ погибли бы, бросивъ міру *великую мысль въ нелѣпой формѣ*, мысль, которая и теперь тлѣетъ подъ пепломъ и мутитъ довольство *довольныхъ*.

Оуэнъ, видя, что люди образованныхъ странъ подростаютъ къ переходу въ новый періодъ, не думалъ вовсе о насиліи, а хотѣлъ только облегчить развитіе. Съ своей стороны, онъ такъ же послѣдовательно, какъ Бабѣфъ съ своей, принялся за изученіе зародыша, за развитіе яички. Онъ началъ, какъ всѣ естествоиспытатели, съ частнаго случая; его микроскопъ, его лабораторія былъ New Lanark; его ученіе росло и мучало вмѣстѣ съ ячейкой, и оно-то довело его до заключенія, что главный путь водворенія новаго порядка—*воспитаніе*.

Заговоръ для Оуэна былъ ненуженъ, возстаніе могло только повредить ему. Онъ не только могъ ужиться съ лучшимъ въ мірѣ правительствомъ, съ англійскимъ, но со всякимъ другимъ. Онъ въ правительствѣ видѣлъ устарѣлый, историческій фактъ, поддерживаемый людьми отсталыми и неразвитыми, а не шайку разбойниковъ, которую надобно неожиданно накрыть. Не домогаясь ниспровергнуть правительства, онъ не домогался нисколько и *поправлять его*. Если-бъ святыя лавочники не мѣшали ему, въ Англій и Америкѣ были бы теперь сотни New Lanark и New Harmony ¹⁾, въ нихъ втекали бы свѣжія силы рабочаго народонаселенія, они исподволь отвели бы лучшіе, жизненные соки отъ отжившихъ государственныхъ цистернъ. Что же ему было бороться съ умирающими; онъ могъ ихъ предоставить естественной смерти, зная, что каждый младенецъ, котораго приносятъ въ его школы, c'est autant de pris надъ церковью и правительствомъ!

Бабѣфъ былъ казненъ. Во время процесса онъ вырастаетъ въ одну изъ тѣхъ великихъ личностей—мучениковъ и побитыхъ пророковъ, передъ которыми невольно склоняется человѣкъ. Онъ угасъ, а на его могилѣ росло больше и больше всепоглощающее чудовище *централизаціи*. Передъ нею особенность стерлась, завянула, поблѣднѣла личность и исчезла. Никогда на европейской почвѣ, со временъ тридцати тирановъ аѳинскихъ до тридцатилѣтней войны и отъ нея до исхода французской революціи, человѣкъ не былъ такъ пойманъ правительственной паутиной, такъ опутанъ сѣтями администраціи, какъ въ новѣйшее время во Франціи.

Оуэна исподволь затащило иломъ. Онъ двигался, пока могъ, говорилъ, пока его голосъ доходилъ. Плѣ пожималъ плечами, качалъ головой; неотразимая волна мѣщанства росла, Оуэнъ ста-

¹⁾ Съ легкой руки Оуэна начали въ Англій развиваться *кооперативныя рабочничьи ассоціаціи*, ихъ считается до 200. Рочдельское общество, начавшееся скромно и бѣдно 15 лѣтъ тому назадъ, съ капиталомъ 28 ливровъ, строитъ теперь на общественныя деньги фабрику съ двумя машинами, каждая въ 60 силъ, и которая имъ стоитъ за 30.000 фунтовъ. Кѳоперативныя общества печатаютъ журналъ «The Co-operator», который издается исключительно рабочниками.

рѣлся и все глубже уходилъ въ трясины; мало-по-малу его усилія, его слова, его ученіе—все исчезло въ болотѣ. Иногда будто попрыгиваютъ фіолетовые огоньки, пугающіе робкія души либераловъ,— только *либераловъ*: аристократы ихъ презираютъ, попы ненавидятъ, народъ не знаетъ.

— За то будущее ихъ!..

— Какъ случится!

— Помилуйте, къ чему же послѣ этого вся исторія?

— Да и все-то на свѣтѣ къ чему? Что касается до исторіи, я не дѣлаю ее и потому за нее не отвѣчаю. Я, какъ «сестра Анна» въ Синей Бородѣ, смотрю для васъ на дорогу и говорю, что вижу: одна пыль на столбовой, больше ничего не видать... вотъ ѣдутъ... ѣдутъ, кажется, они; нѣтъ, это не братья наши, это бараны, много барановъ! Наконецъ-то, приближаются два гиганта разными дорогами. Ну, ужъ не тотъ, такъ другой потреплеть Рауля за синюю бороду. Не тутъ-то было! грозныхъ указовъ Бабёфа Рауль не слушается, въ школу Р. Оуэна не идетъ; одного послалъ на гильотину, другого утопилъ въ болотѣ. Я этого вовсе не хвалю, мнѣ Рауль не родной; я только констатирую фактъ *и больше ничего!*

V.

... Около того времени, когда въ Вандомѣ упали въ роковой мѣшокъ головы Бабёфа и Дорте, Оуэнъ жилъ на одной квартирѣ съ другимъ непризнаннымъ гениемъ и бѣднякомъ Фультономъ и отдавалъ ему послѣдніе свои шиллинги, чтобъ тотъ дѣлалъ модели машинъ, которыми онъ обогатилъ и благодѣтельствовалъ родъ человѣческій; — случилось, что одинъ молодой офицеръ показывалъ дамамъ свою батарею. Чтобъ быть вполне любезнымъ, онъ безъ всякой нужды пустилъ нѣсколько ядеръ (это рассказываетъ онъ самъ); непріятель отвѣчалъ тѣмъ же; нѣсколько человѣкъ пали, другіе были изранены; дамы остались очень довольны нервнымъ потрясеніемъ. Офицера немножко угрызала совѣсть: «люди эти, говоритъ, погибли совершенно бесполезно»... но дѣло военное, это скоро прошло. *Cela promettait* и въ послѣдствіи молодой человѣкъ пролилъ крови больше, чѣмъ всѣ революціи вмѣстѣ, потребилъ одной конскрипціей больше солдатъ, чѣмъ надобно было Оуэну учениковъ, чтобъ пересоздать весь свѣтъ.

Системы у него не было никакой, добра людямъ онъ не желалъ и не общалъ. Онъ добра желалъ себѣ одному, а подъ добромъ

разумѣть власть. Теперь и посмотрите, какъ слабы передъ нимъ Бабёфъ и Оуэнъ! Его имя тридцать лѣтъ послѣ его смерти было достаточно, чтобъ его племянника признали императоромъ.

Какой же у него былъ секретъ?

Бабёфъ хотѣлъ людямъ *приказать благосостояніе* и коммунистическую республику.

Оуэнъ хотѣлъ ихъ *воспитать* въ другой экономическій бытъ, несравненно больше выгодный для нихъ.

Наполеонъ не хотѣлъ ни того, ни другого; онъ понималъ, что французы не въ самомъ дѣлѣ желаютъ питаться спартанской похлебкой и возвратиться къ правамъ Брута старшаго, что они не очень удовлетворятся тѣмъ, что по большимъ праздникамъ «граждане будутъ сходиться разсуждать о законахъ¹⁾ и обучать дѣтей civicскимъ добродѣтелямъ». Вотъ, дѣло другое, подраться и похвастаться храбростью они, точно, любятъ.

Вмѣсто того, чтобъ имъ мѣшать и дразнить, проповѣдуя вѣчный миръ, лакедемонскій столъ, римскія добродѣтели и миртовые вѣнки, Наполеонъ, видя, какъ они страстно любятъ кровавую славу, сталъ ихъ натравливать на другіе народы и самъ ходить съ ними на охоту. Его винить не за что, французы и безъ него были бы такіе же. Но эта одинаковость вкусовъ совершенно объясняетъ любовь къ нему народа: для толпы онъ не былъ упрекомъ, онъ ее не оскорблялъ ни своей чистотой, ни своими добродѣтелями, онъ не представлялъ ей возвышенный, преображенный идеалъ; онъ не являлся ни карающимъ пророкомъ, ни поучающимъ геніемъ, онъ самъ принадлежалъ толпѣ и показывалъ ей *ее самое*, съ ея недостатками и симпатіями, съ ея страстями и влеченіями, возведенную въ *Генія* и покрытую лучами славы. Вотъ отгадка его силы и вліянія; вотъ отчего толпа плакала объ немъ, переносила его гробъ съ любовью и вездѣ повѣсила его портретъ.

Если и онъ палъ, то вовсе не отъ того, чтобъ толпа его оставила, что она разглядѣла пустоту его замысловъ, что она устала отдавать послѣдняго сына и безъ причины лить кровь человѣческую. Онъ додразнилъ другіе народы до дикаго отпора, и они стали отчаянно драться за своихъ господъ.

На этотъ разъ военный деспотизмъ былъ побѣжденъ феодальнымъ.

Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встрѣчу Веллингтона съ Блюхеромъ въ минуту побѣды подъ Ватерлоо; я долго смотрю на нее всякій разъ, и всякій разъ

¹⁾ Не изъ нашихъ ли законовъ взялъ Гракъ Бабёфъ это развлечение? Когда въ коллегіи нѣтъ дѣла, члены должны *читать законы!*

внутри груди дѣлается холодно и страшно... Эта спокойная, британская, не обѣщающая ничего свѣтлаго фигура,—и этотъ сѣдой, свирѣпо-добродушный нѣмецкій кондотьеръ. Ирландецъ на англійской службѣ, человѣкъ безъ отечества, и пруссакъ, у котораго отечество въ казармахъ,—привѣтствуютъ радостно другъ друга; и какъ имъ не радоваться, они только-что своротили исторію съ большой дороги по ступицу въ грязь, въ такую грязь, изъ которой ее въ полвѣка не вытащатъ... Дѣло на разсвѣтъ... Европа еще спала въ это время и не знала, что судьбы ея переимѣнились. И отъ чего? Оттого, что Блюхеръ поторопился, а Груши опоздалъ! Сколько несчастій и слезъ стоила народамъ эта побѣда? А сколько несчастій и крови стоила бы народамъ побѣда противной стороны?

... Да какой же выводъ изъ всего этого?

— Что вы называете выводъ? Нравоученіе въ родѣ *fais ce que dois, advienne ce qui pourra*, или сентенцію въ родѣ—

И прежде кровь лилась рѣкою,
И прежде плакалъ человѣкъ?

Пониманіе дѣла—вотъ и выводъ. освобожденіе отъ лжи—вотъ и нравоученіе.

— А какая польза?

— Что за корыстолюбіе и особенно теперь, когда всѣ кричать о безнравственности взятокъ? «Истина—религія», толкуетъ старикъ Оуэнъ, «не требуйте отъ нея ничего больше, какъ ее самое».

За все вынесенное, за поломанныя кости, за помятую душу, за потери, за ошибки, за заблужденія, по крайней мѣрѣ, разобрать нѣсколько буквъ таинственной грамоты, понять общій смыслъ того, что дѣлается около насъ... Это страшно много! Дѣтскій хламъ, который мы утрачиваемъ, не занимаетъ больше, онъ намъ дорогъ только по привычкѣ. Чего тутъ жалѣть? Бабу-ягу или жизненную силу, сказку о золотомъ вѣкѣ сзади или о безконечномъ прогрессѣ впереди, тайный умыселъ химическихъ заговорщиковъ или *natura sic voluit*?

Первую минуту страшно, но только одну минуту. Вокругъ все колеблется, несетъ; стой или ступай, куда хочешь; ни заставы, ни дороги, никакого начальства... Вѣроятно, и море цугало сначала безпорядкомъ. но какъ только человѣкъ понялъ его безцѣльную суету, онъ взялъ дорогу съ собой и въ какой-то скорлупѣ переплылъ океаны.

Ни природа, ни исторія *никуда не идутъ* и потому готовы идти *всюду*, куда имъ укажутъ, *если это возможно*, т. е., если ничего не мѣшаетъ. Онѣ слагаются *au fur et à mesure*, бездной другъ на

друга дѣйствующихъ, другъ съ другомъ встрѣчающихся, другъ друга останавливающихъ и увлекающихъ частностей; но человѣкъ вовсе не теряется отъ этого, какъ песчинка въ горѣ, не больше подчиняется стихіямъ, не круче связывается необходимостью, а вырастаетъ тѣмъ, что понялъ свое положеніе, въ рулевого, который гордо разсѣкаетъ волны своей лодкой, заставляя бездонную пропасть служить себѣ путемъ сообщенія.

Не имѣя ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизація исторіи готова идти съ каждымъ, каждый можетъ вставить въ нее свой стихъ и, если онъ звученъ, онъ останется *его* стихомъ, пока поэма не оборвется, пока прошедшее будетъ бродить въ ея крови и памяти. Возможностей, эпизодовъ, открытій въ ней и въ природѣ дремлетъ бездна на всякомъ шагѣ. Стоитъ тронуть наукой скалу, чтобъ изъ нея текла вода... Да что вода? Подумайте о томъ, что сдѣлалъ стнетенный паръ, что дѣлаетъ электричество съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ, а не Юпитеръ, взялъ ихъ въ руки. Человѣческое участіе велико и полно поэзіи, это своего рода творчество. Стихіямъ, веществу все равно, они могутъ дремать тысячелѣтія и вовсе не просыпаться, но человѣкъ шлетъ ихъ на свою работу и они идутъ. Солнце давно ходитъ по небу; вдругъ человѣкъ перехватилъ его лучъ, задержалъ его слѣдъ, и солнце стало ему дѣлать портреты.

Природа никогда не борется съ человѣкомъ, это пошлый поклепъ на нее, она не настолько умна, чтобъ бороться, ей все равно; «по той мѣрѣ, по которой человѣкъ ее знаетъ, по той мѣрѣ онъ можетъ ею управлять», сказали Бэконъ и былъ совершенно правъ. Природа не можетъ перечить человѣку, если человѣкъ не перечить ей законамъ; она, продолжая свое дѣло, безсознательно будетъ дѣлать его дѣло. Люди это знаютъ и на этомъ основаніи владѣютъ морями и сушами. Но передъ объективностью историческаго міра человѣкъ не имѣетъ того же уваженія, тутъ онъ дома и не стѣсняется; въ исторіи ему легче страдательно уноситься потокомъ событій или врываться въ него съ ножомъ и крикомъ: «общее благосостояніе или смерть!» чѣмъ вглядываться въ приливы и отливы волнъ, его несущихъ, изучать ритмъ ихъ колебаній и тѣмъ самымъ открыть себѣ безконечные фарватеры.

Конечно, положеніе человѣка въ исторіи сложнѣе, тутъ онъ разомъ *лодка, волна и кормчій*. Хоть бы карта была!

А будь карта у Колумба, не онъ открылъ бы Америку.

Отчего?

Оттого, что она должна была быть открыта... чтобъ попасть на карту. Только отнимая у исторіи всякой предназначенный

путь, человѣкъ и исторія дѣлаются чѣмъ-то серьезнымъ, дѣйствительнымъ и исполненнымъ глубокаго интереса. Если событія подтасованы, если вся исторія—развитіе какого-то доисторическаго *заговора* и она сводится на одно выполненіе, на одну его mise en scène, возьмемте, по крайней мѣрѣ, и мы деревянные мечи и щиты изъ латуни. Неужели намъ лить настоящую кровь и настоящія слезы для представленія провиденціальной шарады. Съ predeterminedнымъ планомъ исторія сводится на вставку чиселъ въ алгебраическую формулу, будущее отдано въ кабалу до рожденія.

Люди, съ ужасомъ говорящіе о томъ, что Р. Оуэнъ лишаетъ человѣка воли и нравственной доблести, мирятъ predeterminedіе не только съ свободой, но и съ палачемъ ¹⁾.

Въ мистическомъ воззрѣніи все это на мѣстѣ, и тамъ это имѣетъ свою художественную сторону, которой въ докринаризмѣ нѣтъ. Въ религіи разворачивается цѣлая драма; тутъ борьба, возмущеніе и его усмиреніе; вѣчная Мессіада, Титаны, Луциферъ, Аббадона, изгоняемый Адамъ, прикованный Прометей, караемые Богомъ и искупаемые Спасителемъ. Фатализмъ, переходя изъ церкви въ школу, утратилъ весь свой смыслъ, даже тотъ смыслъ правдоподобія, который мы требуемъ въ сказкѣ. Изъ яркаго, пахучаго, опьяняющаго, азіатскаго цвѣтка доктринеры высушили блѣдное сѣно для гербаріума. Отталкивая фантастическіе образы, они остались при голой логической ошибкѣ, при нелѣпости предъ исторической *arrière pensée*, воплощающейся во что бы ни стало и достигающей людьми и царствами, войнами и переворотами, своихъ цѣлей. Зачѣмъ, если она существуетъ, она еще разъ

¹⁾ Теологи отважнѣе доктринеровъ вообще, они прямо говорятъ, что безъ воли Божіей не падетъ волосъ съ головы, а отвѣтственность за каждое дѣйствіе, даже за помыслъ оставляютъ на человѣкѣ. Ученый фатализмъ утверждаетъ, что у нихъ и рѣчи нѣтъ о личностяхъ, о *случайныхъ* носителяхъ идеи... (т. е., рѣчи нѣтъ о нашемъ братѣ, обыкновенномъ человѣкѣ, а что касается до такихъ личностей, какъ Александръ Македонскій или Петръ I—намъ уши прожужжали ихъ всемірно-историческимъ призваніемъ). Доктринеры, видите, какъ большіе господа, хозяйствомъ исторій распоряжаются en gros, гуртомъ... Но гдѣ граница стада и личностей, гдѣ нѣсколько зеренъ-то, какъ спрашивали мои милые аѳинскіе софисты, становятся кучей?

Само собою разумѣется, что мы никогда не смѣшивали predeterminedіей съ теоріей вѣроятностей, мы въ правѣ наведеніемъ дѣлать послылки отъ прошедшаго къ будущему. Дѣлая индукцію, мы знаемъ, что дѣлаемъ, основываясь на постоянствѣ нѣкоторыхъ законовъ и явленій, но допуская также и нарушения. Мы видимъ человѣка тридцати лѣтъ и имѣемъ полное право предполагать, что черезъ другія тридцать лѣтъ онъ будетъ сѣдъ или плѣшивъ, нѣсколько сгорбится и пр. Это не значить, что его назначеніе сѣдѣть, плѣшивѣть, сгорбиться, что ему это на роду написано. Умри онъ тридцати пяти лѣтъ, онъ не будетъ сѣдѣть, а пойдетъ „на замаску“, какъ говорить Гамлетъ, или на салатъ.

осуществляется? Если же ее нѣтъ и она только *становится и отстаивается* событіями, то что же за новый immaculatus процессъ зачатія зародилъ во временномъ преждедущую идею, которая, выходя изъ чрева исторіи, возвѣщаетъ тотчасъ, что она была прежде и будетъ послѣ. Это новое сводное безсмертіе души, идущее въ обѣ стороны, не личное, не чье-нибудь, а родовое... *Бессмертная душа* всего человѣчества... Это стоитъ мертвыхъ душъ! Нѣтъ-ли безсмертной березы всѣхъ березъ?

Мудрено-ли, что съ такимъ освѣщеніемъ самые простѣйшіе, обыденные предметы сдѣлались при схоластическомъ объясненіи совершенно непонятными. Можетъ ли, напримѣръ, быть фактъ доступнѣе всякому, какъ наблюденіе, что чѣмъ человѣкъ больше живетъ, тѣмъ имѣетъ больше случая нажитья; чѣмъ дольше глядитъ на одинъ предметъ, тѣмъ больше разглядываетъ его, если ничего не помѣшаетъ или онъ не ослѣпнеть? И изъ этого факта ухитрились сдѣлать кумиръ *прогресса*, какого-то непрерывно растущаго и общающаго расти въ безконечность золотого тельца.

Не проще ли понять, что человѣкъ живетъ не для *совершенія судьбы*, не для воплощенія идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился и родился *для* (какъ ни дурно это слово) для настоящаго, что вовсе не мѣшаетъ ему ни получать наслѣдство отъ прошедшаго, ни оставлять кое-что по завѣщанію. Это кажется идеалистамъ унижительно и грубо; они никакъ не хотятъ обратить вниманія на то, что все великое значеніе наше при нашей ничтожности, при едва уловимомъ мельканіи личной жизни, въ томъ-то и состоитъ, что, пока мы живы, пока не развязался на стихіи задержанный нами узелъ, *мы все-таки сами*, а не куклы, назначенныя выстрадать прогрессъ или воплотить какую-то бездомную идею. Гордиться должны мы тѣмъ, что мы не нитки и не иголки въ рукахъ фатума, шьющаго пеструю ткань исторіи... Мы знаемъ, что ткань эта не безъ насъ шьется, но это не цѣль наша, не назначенье, не заданный урокъ, а послѣдствіе той сложной круговой поруки, которая связываетъ все сущее концами и началами, причинами и дѣйствіями.

И это не все, мы можемъ *перемѣнить узоръ ковра*. Хозяина нѣтъ, рисунокъ нѣтъ, одна основа, да мы одни одиныхоньки. Прежніе ткачи судьбы, всѣ эти Вулканъ : Нептуны, приказали долго жить. Душеприказчики скрываютъ отъ насъ ихъ завѣщаніе, а покойники намъ завѣщали свою власть.

«Но если, съ одной стороны, вы отдаете судьбу человѣка на его произволъ, а съ другой, снимаете съ него отвѣтственность, то съ вашимъ ученіемъ онъ сложитъ руки и просто ничего не будетъ дѣлать».

Ужъ не перестанутъ ли люди ѣсть и пить, любить и производить дѣтей, восхищаться музыкой и женской красотой, когда узнаютъ, что ѣдятъ и слушаютъ, любятъ и наслаждаются для себя, а не для совершенія вышихъ предначертаній и не для *скорѣйшаго* достиженія *безконечнаго* развитія совершенства?

Если религія съ своимъ подавляющимъ фатализмомъ и доктринаризмомъ, съ своимъ безотраднымъ и холоднымъ, не заставили людей сложить руки, то нечего бояться, чтобъ это сдѣлало воззрѣніе, освобождающее его отъ этихъ плитъ. Одного чутья жизни и непослѣдовательности было достаточно, чтобъ спасти европейскіе народы отъ религіозныхъ проказъ, въ родѣ аскетизма, квіетизма, которые постоянно были только на словахъ и никогда на дѣлѣ; неужели разумъ и сознаніе окажутся слабѣе?

Къ тому же, въ реальномъ воззрѣніи есть свой секретъ; тотъ, кто отъ него сложить руки, тотъ не пойметъ его, и не приметъ: онъ еще принадлежитъ къ иному возрасту мозга, ему еще нужны шпоры.

Стремленіе людей къ болѣе гармоническому быту совершенно естественно, его нельзя ничѣмъ остановить, такъ, какъ нельзя остановить ни голода, ни жажды. Вотъ почему мы вовсе не боимся, чтобы люди сложили руки отъ какого бы ученія ни было. Наидутся ли лучшія условія жизни, совладаетъ ли съ ними человекъ, или въ иномъ мѣстѣ собьется съ дороги, а въ другомъ надѣлаетъ вздору,—это другой вопросъ. Говоря, что у человека никогда не пропадетъ голодъ, мы не говоримъ, будутъ ли всегда и для cadaго съѣстные припасы, и притомъ здоровые.

Есть люди, удовлетворяющіеся малымъ, съ бѣдными потребностями, съ узкимъ взглядомъ и ограниченными желаніями. Есть и народы съ небольшимъ горизонтомъ, съ страннымъ воззрѣніемъ, удовлетворяющіеся бѣдно, ложно, а иногда даже пошло. Китайцы и японцы, безъ сомнѣнія, два народа, нашедшіе наиболѣе соответствующую гражданскую форму для своего быта. Оттого они такъ неизмѣнно одни и тѣ же.

Европа, кажется намъ, тоже близка къ «насыщенію» и стремится, усталая, осѣсть, скристаллизироваться, найди свое прочное общественное положеніе *въ мѣщанскомъ устройствѣ*. Ей мѣшаютъ покойно сложиться монархическо-феодальные остатки и завоевательное начало. Гражданское устройство представляетъ огромный успѣхъ въ сравненіи съ олигархическо-военнымъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, но для Европы, и въ особенности для англо-германской, оно представляетъ не только огромный успѣхъ, *но и успѣхъ достаточный*. Голландія опередила, она первая успокоилась до прекращенія исторіи. Прекращеніе роста—начало совершеннolѣтія. Жизнь студента полнѣе событій и идетъ гораздо

бурнѣ, чѣмъ трезвая и работающая жизнь отца семейства. Если-бъ надъ Англіей не тяготѣлъ свинцовый щитъ феодальнаго землевладѣнія и она, какъ Уголино, не ступала бы постоянно на своихъ дѣтей, умирающихъ съ голоду; если-бъ она, какъ Голландія, могла достигнуть для всѣхъ благосостоянія мелкихъ лавочниковъ и небогатыхъ хозяевъ средней руки, она успокоилась бы на мѣщанствѣ. А съ тѣмъ вмѣстѣ уровень ума, ширь взгляда, эстетичность вкуса еще бы понизилась, и жизнь безъ событій, развлекаемая иногда внѣшними толчками, свелась бы на однообразный круговоротъ, на слегка видоизмѣняющійся *semper idem*. Собирался бы парламентъ, представлялся бы бюджетъ, говорились бы дѣльныя рѣчи, улучшались бы формы... И на будущій годъ то же, и черезъ десять лѣтъ то же; это была бы покойная колея взрослого человѣка, его дѣловые будни. Мы и въ естественныхъ явленіяхъ видимъ, какъ начала эксцентричны, а устоявшееся продолженіе идетъ потихоньку, не буйной кометою, описывающей съ распушенной косою свои невѣдомые пути, а тихой планетою, плывущей съ своими сателлитами, въ родѣ фонариковъ, битымъ и перебитымъ путемъ; небольшія отступленія выставляютъ еще больше общій порядокъ... Весна помокрѣе, весна посуше, но послѣ всякой—лѣто, но передъ всякой—зима.

Такъ это, пожалуй, все человѣчество дойдетъ до мѣщанства, да на немъ и застрянетъ?

Не думаю, чтобы все, а нѣкоторыя части навѣрно. Слово «человѣчество»—препротивное, оно не выражаетъ ничего опредѣленнаго, а только къ смутности всѣхъ остальныхъ понятій прибавляетъ еще какого-то пѣлаго полубога. Какое единство разумѣется подъ словомъ «человѣчество»? Развѣ то, которое мы понимаемъ подъ всякимъ суммовымъ названіемъ, въ родѣ икры и т. п. Кто въ мірѣ осмѣлится сказать, что есть какое-нибудь устройство, которое удовлетворило бы одинакимъ образомъ ирокезовъ и ирландцевъ, арабовъ и мадьяръ, кафровъ и славянъ? Мы можемъ сказать одно, что нѣкоторымъ народамъ мѣщанское устройство противно, а другіе въ немъ какъ рыба въ водѣ. Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русскіе имѣютъ въ себѣ очень мало мѣщанскихъ элементовъ; общественное устройство, въ которомъ имъ было бы привольно, выше того, которое можетъ имъ дать мѣщанство. Но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, что они *достигнутъ* этого высшаго состоянія, или что они не свернутъ на буржуазную дорогу. Одно стремленіе ничего не обезпечиваетъ, на разницу возможнаго и неминуемаго мы ужасно напираемъ. Недостаточно знать, что такое-то устройство намъ противно, а надобно знать, какого мы хотимъ и возможно ли его осуществленіе. Возможностей много впереди: народы буржуазные могутъ взять со-

всѣмъ иной полетъ, народы самые поэтическіе—сдѣлаться лавочниками. Мало ли возможностей гибнетъ, стремленій авортируетъ, развитій отклоняется. Что можетъ быть очевиднѣе, осязаемѣе тѣхъ, не только возможностей, а началъ личной жизни, мысли, энергіи, которыя умираютъ въ каждомъ ребенкѣ. Забудьте, что и эта ранняя смерть дѣтей тоже не имѣетъ въ себѣ ничего неминуемаго; жизнь девяти десятыхъ навѣрное могла бы сохраниться, если-бъ доктора знали медицину и медицина была бы въ самомъ дѣлѣ наукой. На это *вліяніе человека и науки* мы обращаемъ особенное вниманіе, оно чрезвычайно важно.

Замѣьте еще посягательство обезьянъ (напр., шимпанзе) на дальнѣйшее умственное развитіе. Оно видно въ ихъ беспокойно озабоченномъ взглядѣ, въ тоскливо грустномъ присматриваніи ко всему, что дѣлается, въ недовѣрчивой и суетливой тревожности и любопытствѣ, которое, съ другой стороны, не даетъ мысли сосредоточиться и постоянно ее разсѣваетъ. Ряды и ряды поколѣній вновь и вновь стремятся къ какому-то разумнѣю, замѣняются новыми, и эти стремятся, не достигая его, умираютъ,—и такъ прошли десятки тысячъ лѣтъ и пройдутъ еще десятки.

Люди имѣютъ большой шагъ передъ обезьянами; ихъ стремленія не пропадаютъ безслѣдно; они облакаются словомъ, воплощаются въ образъ, остаются въ преданіи и передаются изъ вѣка въ вѣкъ. Каждый человекъ опирается на страшное генеалогическое дерево, котораго корни чуть ли не идутъ до адамова рая; за нами, какъ за прибрежной волной, чувствуется напоръ цѣлаго океана—всемирной исторіи; мысль всѣхъ вѣковъ на сію минуту въ нашемъ мозгу и нѣтъ ея «развѣ него», а съ нею мы можемъ быть властью.

Крайности ни въ комъ нѣтъ, но всякой можетъ быть незамѣнимой дѣйствительностью; передъ каждымъ открытыя двери. *Есть что сказать* человекъ, пусть говоритъ, слушать его будутъ; мучить его душу убѣжденіе, пусть проповѣдуетъ. Люди не такъ покорны, какъ стихіи, но мы всегда имѣемъ дѣло съ современной массой,—ни она не самобытна, ни мы не независимы отъ общаго фона картины, отъ одинакихъ предшествовавшихъ вліяній, связь общая есть. Теперь вы понимаете, отъ кого и кого зависить будущность людей, народовъ?

Отъ кого?

Какъ отъ кого?.. да отъ насъ съ вами, напимѣръ. Какъ же послѣ этого намъ сложить руки!

Дуэль ¹⁾.

Въ 1853 году извѣстный коммунистъ Виллихъ познакомилъ меня съ парижскимъ работникомъ *Бартелеми*. Имя его я зналъ прежде, по июньскому процессу, по приговору и, наконецъ, по его бѣгству изъ Бель-Иля.

Онъ былъ молодъ, невысокаго роста, но мускульно сильнаго сложенія, черные какъ смоль и курчавые волосы придавали ему что-то южное, лице его, слегка отмѣченное оспой, было красиво и рѣзко. Постоянная борьба воспитала въ немъ непреклонную волю и умѣнье управлять ею. Бартелеми былъ одинъ изъ самыхъ цѣльныхъ характеровъ, которыхъ мнѣ случилось видѣть. Школьнаго, книжнаго образованія онъ не имѣлъ, кромѣ по своей части: онъ былъ отличнымъ механикомъ.

Жизненная мысль его, страсть всего его существованія была неутомимая, спартаковская жажда возстанія рабочаго класса противъ средняго сословія. Мысль эта у него была неразрывна съ свирѣпымъ желаніемъ истребленія буржуазіи.

Какой комментарий далъ мнѣ этотъ человѣкъ къ ужасамъ 93 и 94 года, къ сентябрьскимъ днямъ, къ той ненависти, съ которой ближайшія партіи уничтожали другъ друга; въ немъ я наглазно видѣлъ, какъ человѣкъ можетъ соединять желаніе крови съ гуманностью въ другихъ отношеніяхъ, даже съ нѣжностью.

«Чтобъ революція въ десятый разъ не была украдена изъ нашихъ рукъ, говорилъ Бартелеми, надобно *дома, въ нашей семьѣ* сломить голову злѣйшему врагу. За прилавкомъ, за конторкой мы его всегда найдемъ—въ *своемъ станіи* слѣдуетъ его побить!» Въ его листы проскрипціи входила почти вся эмиграція: Викторъ Гюго, Мадзини, Викторъ Шельхеръ и Кошутъ. Онъ исключалъ очень не многихъ и въ томъ числѣ, я помню, Луи-Блана.

Особымъ, задушевымъ предметомъ его ненависти былъ Ледрю-Ролленъ. Живое, страстное, но очень спокойно установившееся лице Бартелеми судорожно подергивалось, когда онъ говорилъ объ «этомъ диктаторѣ буржуазіи».

¹⁾ Пол. Звѣзда, томъ VII (часть 2-я). Примѣчаніе заграничнаго изданія.

А говорилъ онъ мастерски, этотъ талантъ становится рѣже и рѣже. Публичныхъ говорунѡвъ въ Парижѣ и особенно въ Англіи бездна. Попы, адвокаты, члены парламента, продавцы пилюль и дешевыхъ карандашей, наемные свѣтскіе и духовные ораторы въ паркахъ, всѣ они имѣютъ удивительную способность *проповѣдывать*, но говорить *для комнаты* умѣютъ не многіе.

Односторонняя логика Бартелеми, постоянно устремленная въ одну точку, дѣйствовала какъ пламя паяльной трубки. Онъ говорилъ плавно, не возвышая голоса, не махая руками, его фразы и выборъ словъ были правильны, чисты и совершенно свободны отъ трехъ проклятій современнаго французскаго языка: революціоннаго жаргона, адвокатско-судебныхъ выраженій и развязности сидѣльцевъ.

Откуда же взялъ этотъ работникъ, воспитанный въ душныхъ мастерскихъ, гдѣ ковали и тянули желѣзо для машинъ, въ душныхъ парижскихъ закоулкахъ, между питейнымъ домомъ и наковальнею, въ тюрьмѣ и на каторжной работѣ,—вѣрное понятіе мѣры и красоты, такта и граціи, понятіе, утраченное буржуазной Франціей? Какъ онъ умѣлъ сохранить естественность языка середь вычурныхъ риторовъ, гасконцевъ революціонной фразы?

Это дѣйствительно задача.

Видно около мастерскихъ вѣетъ воздухъ посвѣжѣе. Впрочемъ, вотъ его жизнь.

Ему не было двадцати лѣтъ, когда онъ замѣшался въ какую-то эмѣту при Людовикѣ Филиппѣ. Жандармъ остановилъ его и, такъ какъ онъ сталъ ему что-то говорить, то жандармъ хватилъ его кулакомъ въ лицо. Бартелеми, котораго держалъ муниципаль, рванулся, но не могъ ничего сдѣлать. Ударъ этотъ пробудилъ тигра. Бартелеми, живой, молодой, веселый юноша-работникъ всталъ на другой день переродившимся.

Надобно замѣтить, что арестованнаго Бартелеми полиція отпустила, найдя его невиноватымъ. Объ обидѣ, причиненной ему, никто и говорить не хотѣлъ. «Зачѣмъ ходить по улицамъ во время эмѣты! Да и какъ найти теперь жандарма!»

Бартелеми купилъ пистолеть, зарядилъ его и пошелъ бродить около тѣхъ мѣстъ; побродилъ день, другой, вдругъ на углу стоитъ жандармъ. Бартелеми отвернулся и взвелъ курокъ.

— Вы меня узнали? спросилъ онъ полицейскаго.

— Еще бы нѣтъ.

— Такъ вы помните, какъ вы....?

— Ну, ступайте, ступайте своей дорогой, сказалъ жандармъ.

— Счастливаго и вамъ пути, отвѣчалъ Бартелеми и спустилъ курокъ.

Жандармъ повалился, а Бартелеми пошелъ. Жандармъ былъ смертельно раненъ, но не умеръ.

Бартелеми судили какъ простого убійцу. Никто не взялъ въ расчетъ величину обиды, особенно по понятіямъ французовъ, невозможность работника послать ему вызовъ, невозможность сдѣлать процессъ. Бартелеми былъ осужденъ на *каторжную работу*. Это былъ третій пансіонъ, въ которомъ онъ воспитывался послѣ кузницы и тюрьмы. При переборѣ дѣлъ министромъ юстиціи Кремье, послѣ февральской революціи, Бартелеми выпустили.

Пришли іюньскіе дни. Бартелеми, принадлежавшій къ горячимъ послѣдователямъ Бланки, былъ схваченъ, геройски защищая баррикаду, и сведенъ въ форты. Однихъ побѣдители разстрѣливали, другими набивали тюльерійскіе подвалы, третьихъ отсылали въ форты и тамъ иногда разстрѣливали, случайно больше, чтобъ очистить мѣсто.

Бартелеми уцѣлѣлъ; въ судѣ онъ и не думалъ оправдываться, но воспользовался лавкой подсудимаго, чтобъ изъ нея сдѣлать трибуну для обвиненія національной гвардіи. Нѣсколько разъ президентъ приказывалъ ему молчать и, наконецъ, перервалъ его рѣчь, приговоромъ на каторжную работу, помнится, на 15 или 20 лѣтъ (у меня нѣтъ передъ глазами іюньскаго процесса).

Бартелеми былъ съ другими отправленъ въ Belle Isle.

Года черезъ два онъ бѣжалъ оттуда и явился въ Лондонъ съ предложеніемъ ѣхать назадъ и устроить бѣгство шести заключенныхъ. Небольшая сумма денегъ, которую онъ просилъ (тысячъ 6-7 фр.) была ему обѣщана, и онъ, одѣвшись аббатомъ, съ молитвенникомъ въ рукѣ, отправился въ Парижъ, въ Бель-Иль, все устроилъ и возвратился въ Лондонъ за деньгами. Говорятъ, что дѣло не состоялось за споромъ, освободить ли Бланки, или нѣтъ. Сторонники Барбеса и другихъ лучше желали оставить нѣсколько человѣкъ друзей въ тюрьмѣ, чѣмъ освободить одного врага.

Бартелеми уѣхалъ въ Швейцарію. Онъ разошелся со всѣми партіями и отсталъ отъ нихъ; съ ледрю-роллинистами онъ былъ заклятый врагъ, но онъ не былъ другомъ и съ своими: онъ былъ слишкомъ рѣзокъ и утловатъ, крайнія мнѣнія его были непріятны зашѣваламъ и отпугивали слабыхъ. Въ Швейцаріи онъ особенно занялся ружейнымъ мастерствомъ. Онъ изобрѣлъ особеннаго устройства ружье, которое заряжалось по мѣрѣ выстрѣловъ и такимъ образомъ давало возможность пустить рядъ пуль въ одну точку, другъ за другомъ.

Въ партіи Ледрю-Роллена находился лихой человѣкъ, бретеръ, гуляка и сорви-голова Курне.

Курне принадлежалъ къ особому типу людей, который часто встрѣчается между польскими панамъ и русскими офицерами, особенно между отставными корнетами, живущими въ деревнѣ; къ нимъ принадлежалъ Денисъ Давыдовъ и его «субутыльникъ» Бурцовъ, Гагаринъ—Адамова головка и секунданта Ленскаго Зарѣцкій. Въ вульгарной формѣ они встрѣчаются между прусскими «юнкерами» и австрійскимъ казарменнымъ бродерствомъ. Въ Англіи ихъ совѣтъ нѣтъ, во Франціи они дома, какъ рыба въ водѣ, но рыба съ почищенной, лакированной чешуею. Это люди храбрые, опрометчивые до дерзости, до безразсудства, и очень недалгіе. Они всю жизнь живутъ воспоминаніемъ двухъ-трехъ случаевъ, въ которыхъ они прошли сквозь огонь и воду, кому-нибудь обрубили уши, простояли подъ градомъ пуль. Случается, что они сперва наклеплютъ на себя отважный поступокъ, а потомъ дѣйствительно его сдѣлаютъ, чтобъ подтвердить свои слова. Они смутно понимаютъ, что этотъ задоръ ихъ сила, единственный интересъ, которымъ они могутъ похвастаться; а хвастаться имъ хочется смертельно. При этомъ они часто хорошіе товарищи, особенно въ веселой бесѣдѣ, и до первой размолвки за своихъ стоятъ грудью; и вообще имѣютъ больше военной отваги, чѣмъ гражданской доблести.

Люди праздные, азартные игроки въ картахъ и въ жизни, ланскене всякаго отчаяннаго предпріятія, особенно если притомъ можно надѣть мундиръ съ генеральскимъ шитьемъ, схватить денегъ, крестовъ, и потомъ снова успокоиться на нѣсколько лѣтъ въ бильярдной или кофейной. А ужъ помогая Наполеону ли въ Страсбургѣ, герцогинѣ ли Берійской въ Блуа, или красной республикѣ въ предмѣстіи Св. Антона,—все равно. Храбрость и удача для нихъ и для всей Франціи покрываютъ все.

Курне началъ свою карьеру во флотѣ во время ссоры Франціи съ Португаліей. Онъ съ нѣсколькими товарищами влѣзъ на португальскій фрегатъ, овладѣлъ экипажемъ и взялъ фрегатъ. Случай этотъ опредѣлилъ и окончилъ дальнѣйшую жизнь Курне. Вся Франція говорила о молодомъ мичманѣ; далѣе онъ не пошелъ и такъ же кончилъ свою карьеру абордажемъ, которымъ началъ ее, какъ если-бъ онъ на немъ былъ убитъ на повалъ. Изъ флота онъ былъ впоследствии исключенъ. Въ Европѣ царилъ глухой миръ: Курне поскучалъ, поскучалъ, и сталъ воевать на свой салтыкъ. Онъ говорилъ, что у него было до двадцати дуэлей. положимъ, что ихъ было десять, и этого за глаза довольно, чтобъ его не считать серьезнымъ человѣкомъ.

Какъ онъ попалъ въ красные республиканцы, я не знаю. Особенной роли онъ во французской эмиграціи не игралъ. Рассказывали объ немъ разные анекдоты, какъ онъ въ Бельгіи поколо-

тилѣ полицейскаго, который хотѣлъ его арестовать и ушелъ отъ него, и другія продѣлки въ томъ же родѣ. Онъ считалъ себя «одной изъ первыхъ шпагъ во Франціи».

Мрачная храбрость Бартелеми, исполненнаго по своему необузданнѣйшимъ самолюбіемъ, столкнувшись съ надменной храбростью Курне, должна была привести къ бѣдствіямъ. Они ревновали другъ друга. Но, принадлежа къ разнымъ кругамъ, къ враждебнымъ партіямъ, они могли всю жизнь не встрѣчаться. Добрые люди братски помогли дѣлу.

Бартелеми имѣлъ на Курне какой-то зубъ за письма, посланные ему черезъ Курне изъ Франціи, которыя до него не дошли. Очень вѣроятно, что въ этомъ дѣлѣ онъ не былъ виноватъ; вскорѣ къ этому присоединилась сплетня. Бартелеми познакомился въ Швейцаріи съ одной актрисой, итальянкой, и былъ съ нею въ связи. «Какая жалость, говорилъ Курне, что этотъ социалистъ изъ социалистовъ пошелъ на содержаніе къ актрисѣ». Пріятели Бартелеми тотчасъ написали ему это. Получивъ письмо, Бартелеми бросилъ свой проектъ ружья и свою актрису и прискакалъ въ Лондонъ.

Мы уже сказали, что онъ былъ знакомъ съ Виллихомъ. Виллихъ былъ человѣкъ съ чистымъ сердцемъ и очень добрый, прусскій артиллерійскій офицеръ; онъ перешелъ на сторону революціи и сдѣлался коммунистомъ. Дрался въ Баденѣ за народъ, начальствуя орудіями во время Геккерова возстанія, и когда все было побито, уѣхалъ въ Англію. Въ Лондонѣ онъ явился безъ гроша денегъ, попробовалъ давать уроки математики, нѣмецкаго языка, ему не повезло. Онъ бросилъ учебныя книги и, забывая бывшіе эпизоды, геройски сталъ работникомъ. Съ нѣсколькими товарищами они завели мастерскую щеточныхъ издѣлій; ихъ не поддерживали. Виллихъ не терялъ надежды ни на возстаніе Германіи, ни на поправку своихъ дѣлъ; однако дѣла не поправлялись и онъ надежду на тевтонскую республику увезъ съ собою въ Нью-Йоркъ, гдѣ получилъ отъ правительства мѣсто землемѣра.

Виллихъ понялъ, что дѣло съ Курне приметъ очень дурной оборотъ и самъ себя предложилъ въ посредники. Бартелеми вполне вѣрилъ Виллиху и поручилъ ему дѣло. Виллихъ отправился къ Курне; твердый, спокойный тонъ Виллиха подѣйствовалъ на «первую шпагу»; онъ объяснилъ исторію писемъ; послѣ, на вопросъ Виллиха, увѣренъ ли онъ, что Бартелеми жилъ на содержаніи у актрисы, — Курне сказалъ ему, что онъ повторилъ слухъ и что жалѣетъ объ этомъ.

— Этого, сказалъ Виллихъ, совершенно достаточно, напишите, что вы сказали, на бумагѣ, отдайте мнѣ и я съ искренней радостью пойду домой.

— Пожалуй,—сказаль Курне и взяль перо.

— Такъ это вы будете извиняться передъ какимъ-нибудь Бартелемъ, замѣтилъ другой рефюжъе, взошедшій въ концѣ разговора.

— Какъ извиняться?—И вы принимаете это за извиненіе?

— За дѣйствіе, сказалъ Виллихъ, честнаго человѣка, который, повторивши клевету, жалѣеть объ этомъ.

— Нѣтъ, сказалъ Курне, бросая перо, этого я не могу.

— Не сейчасъ же ли вы говорили?

— Нѣтъ, нѣтъ, вы меня простите, но я не могу. Передайте Бартелеми, «что я сказалъ это потому, что хотѣлъ сказать».

— Брависсимо,—воскрикнулъ другой рефюжъе.

— На васъ, м. г., падеть отвѣтственность за будущія несчастія, сказалъ ему Виллихъ и вышелъ вонъ.

Это было вечеромъ; онъ зашелъ ко мнѣ, не выдавшись еще съ Бартелеми; печально ходилъ онъ по комнатѣ, говоря: «теперь дуэль неотвратима, экое несчастіе, что этотъ рефюжъе былъ на лицо».

Тутъ не поможешь, думаль я: умъ молчить передъ дикимъ разгаромъ страстей; а когда еще прибавишь французскую кровь, ненависть котерій и разныхъ хористовъ въ амфитеатрѣ!..

Черезъ день утромъ я шелъ по Пель-Мелю; Виллихъ скорыми шагами торопился куда-то, я остановилъ его; блѣдный и встревоженный, обернулся онъ ко мнѣ.

— Что?

— Убить на поваль.

— Кто?

— Курне. Я бѣгу къ Луи Бланъ за совѣтомъ, что дѣлать.

— Гдѣ Бартелеми?

— И онъ, и его секундантъ, и секунданты Курне—въ тюрьмѣ; одинъ изъ секундантовъ только не взять; по англійскимъ законамъ, Бартелеми можно повѣсить. Виллихъ сѣлъ на омнибусъ и уѣхаль. Я остался на улицѣ, постоялъ, постоялъ, повернулся и пошелъ опять домой.

Часа черезъ два пришелъ Виллихъ. Луи Бланъ принялъ, разумѣется, дѣятельное участіе, хотѣлъ посоветоваться съ извѣстными адвокатами. Всего лучше, казалось, поставить дѣло такъ, чтобъ слѣдователи не знали, кто стрѣляль и кто былъ свидѣтелемъ. Для этого надобно было, чтобъ обѣ стороны говорили одно и то же. Въ томъ, что англійскій судъ не захочетъ въ дѣлѣ дуэли употреблять полицейскіе уловки,—въ этомъ всѣ были увѣрены.

Надобно было передать это пріятелямъ Курне, но никто изъ знакомыхъ Виллиха не ѣздилъ ни къ нимъ, ни къ Ледрю-Роллену; Виллихъ поэтому отправилъ меня къ Маццини.

Я его засталъ сильно раздраженнымъ.

— Вы вѣрно пріѣхали,—сказалъ онъ,—по дѣлу этого убійцы?

Я посмотрѣлъ на него, намѣренно помолчалъ и сказалъ:

— По дѣлу *Бартелеми*.

— Вы съ нимъ знакомы, вы заступаетесь за него, все это очень хорошо, хоть я и не понимаю... У Курне, у несчастнаго Курне, были тоже пріатели и друзья...

— Которые, вѣроятно, не называли его разбойникомъ за то, что онъ былъ на двадцати дуэляхъ, на которыхъ, кажется, *не онъ* былъ убитъ.

— Теперь ли поминать объ этомъ?

— Я отвѣчаю.

— Что же, теперь спасти *его* изъ петли?

— Я полагаю, что особеннаго удовольствія никому не будетъ, если повѣсятъ человѣка. Впрочемъ, рѣчь идетъ не о немъ одномъ, а и о секундантахъ Курне.

— Его не повѣсятъ.

— Почему знать,—замѣтилъ хладнокровно молодой англійскій радикалъ, причесанный à la Jesus, молчавшій все время и подтверждавшій слова Маццини головой, дымомъ сигары и какими-то неувимыми *полифтонгами*, въ которыхъ пять-шесть гласныхъ, сплюснутыхъ вмѣстѣ, составляли одну сводную.

— Вы, кажется, ничего не имѣете противъ этого?

— Мы любимъ и уважаемъ законъ.

— Не оттого ли,—замѣтилъ я, придавая добродушный видъ моимъ словамъ,—всѣ народы больше уважаютъ Англiю, чѣмъ любятъ англичанъ.

— Оуэ?—спросилъ радикалъ, а, можетъ, и отвѣчалъ.

— Въ чемъ дѣло?—перебилъ Маццини.

Я рассказалъ ему.

Они уже сами думали объ этомъ и пришли къ тому же результату.

Процессъ Бартелеми имѣетъ чрезвычайный интересъ. Рѣдко англійскій и французскій характеръ обличались съ такой рѣзкостью, въ такой тѣсной и удобоизмѣримой рамѣ.

Начиная съ мѣста поединка все было нелѣпо: они дрались близъ Виндзора, для этого надобно было по желѣзной дорогѣ (которая *только* идетъ въ Виндзоръ) отѣхать нѣсколько десятковъ миль *отъ границы внутрь* королевства,—въ то время какъ вообще люди дерутся на границѣ, близъ кораблей, лодокъ и пр. Выборъ Виндзора, сверхъ того, самъ по себѣ былъ никуда негоденъ. Королевскій дворецъ, любимая резиденція Викторiи, разумѣется, въ полицейскомъ отношенiи, находится подъ двойнымъ надзоромъ. Я полагаю, что мѣсто это было выбрано очень просто потому,

что французы изъ всѣхъ окрестностей Лондона только и знаютъ: *Ришмон'* и *Вансоръ*.

Секунданты взяли *на всякій случай* рапиры съ отточенными концами, хотя и знали, что противники будутъ стрѣляться. Когда Курне палъ, всѣ, за исключеніемъ одного секунданта, который уѣхалъ особо и вслѣдствіе того спокойно пробрался въ Бельгію, поѣхали вмѣстѣ, *не забывъ съ собою взять* рапиры. Когда они прибыли на ватерлооскую станцію въ Лондонѣ, телеграфъ уже давно извѣстилъ полицію. Полиція искать было нечего: «четыре человѣка, съ бородами и усами, въ фуражкахъ, говорящіе по-французски и съ завернутыми рапирами», были взяты, выходя изъ вагоновъ.

Какъ же все это могло случиться? Не намъ, кажется, учить французовъ прятаться отъ полиціи. Злѣе, расторопнѣе, безнравственнѣе и неутомимѣе въ своемъ усердіи нѣтъ полиціи въ мірѣ, какъ французская. Во время Людовика Филиппа *ищущій* и *искомый* играли мастерски свою партію, каждый ходъ былъ рассчитанъ (теперь это ненужно, полиція впередъ говоритъ *шахъ и матъ*), но, вѣдь, время Людовика Филиппа не за горами. Какимъ же образомъ такой умный человѣкъ, какъ Бартеlemi, и такіе бывалые люди, какъ секунданты Курне, надѣлали столько промаховъ?

Причина одна и та же: совершенное незнаніе Англіи и англійскихъ законовъ. Они слыхали, что никого арестовать нельзя безъ «уарандъ»; они слыхали о какомъ-то «абеасъ корпюсъ», по которому слѣдуетъ выпустить человѣка по требованію адвоката, и полагали, что они доѣдутъ домой, переодѣнутся и будутъ въ Бельгіи, когда утромъ за ними придетъ одураченный констебль, *непремѣнно* съ палочкой (какъ ихъ описываютъ во французскихъ романахъ), и скажетъ, увидя, что ихъ нѣтъ, goddamn! Несмотря на то, что ни констебли палочекъ не носятъ, ни англичане не говорятъ god-damn!

Арестованныхъ посадили въ Surrey'скую тюрьму. Начались посѣщенія, поѣхали дамы, поѣхали пріятели убитаго Курне. Полиція, разумѣется, тотчасъ догадалась, въ чемъ дѣло и какъ оно было; впрочемъ, этого нельзя ей поставить въ заслугу: пріятели и непріятели Бартеlemi и Курне кричали въ трактирахъ и public-гаузахъ о всѣхъ подробностяхъ дуэли, разумѣется, прибавляя и и такія, которыхъ вовсе не было и совершенно не могло быть. Но официально полиція *не хотѣла* знать, и потому, когда одни посѣтителы спрашивали позволеніе видѣть секунданта «Бароне», другіе секунданта Бартеlemi, полицейскій офицеръ рѣшился имъ сказать: «Гг., мы вовсе не знаемъ, кто изъ нихъ секундантъ, кто виноватый, слѣдствіе еще не открыло всѣхъ обстоятельствъ дѣла,

называйте, пожалуйста, знакомыхъ вашихъ по именамъ». Первый урокъ!

Наконецъ, судебный кругъ дошелъ до Surrey, назначенъ былъ день, въ который lord-chief-justice Кембель будетъ судить дѣло о неизвѣстно кѣмъ убитомъ французѣ Курне и прикосновенныхъ къ его убійству лицахъ.

Я тогда жилъ возлѣ Primrose-Hill; часовъ въ семь холодно-туманнаго февральскаго утра вышелъ я въ Режентъ-Паркъ, чтобы, пройдя его, отправиться на желѣзную дорогу.

День этотъ остался очень рельефно въ моей памяти. Отъ тумана, покрывавшаго паркъ, и бѣлыхъ лебедей, сонно плывшихъ по водѣ, подернутой искрасна-желтымъ дымомъ, до той минуты, когда далеко за полночь я сидѣлъ съ однимъ lawyer'омъ у Вери на Режентъ-стритъ и пилъ шампанское за здоровье Англии,—все какъ на блюдечкѣ.

Я англійскаго суда не видалъ прежде; комизмъ средневѣковой mise en scène будить въ насъ больше воспоминаній оперы буффы, чѣмъ почтенной традиции, но это можно забыть въ этотъ день.

Около десяти часовъ передъ гостиницею, гдѣ стоялъ лордъ Кембель, явились первыя маски, герольды съ двумя трубачами, возвѣстившіе, что лордъ Кембель въ открытомъ судѣ будетъ въ 10 часовъ судить такое-то дѣло. Мы бросились къ дверямъ судебной залы, которая была въ нѣсколькихъ шагахъ; между тѣмъ черезъ площадь двигался и лордъ Кембель въ золоченой каретѣ, въ парикѣ, который только уступалъ въ величинѣ и красотѣ парикъ его кучера, прикрытому крошечной треугольной шляпой. За его каретою шло пѣшкомъ челоуѣкъ двадцать атторнеевъ, солиситоровъ, подобравъ мантии, безъ шляпъ и въ шерстяныхъ парикахъ, намѣренно сдѣланныхъ какъ можно менѣе похожими на челоуѣческіе волосы. Въ дверяхъ я чуть было, вмѣсто суда чифъ-джустиса Кембеля надъ Бартелеми, не попалъ на судъ, который Богъ держалъ надъ Курне.

Въ самыхъ дверяхъ масса народа, вытѣсняемая полицейскими изъ залы, и нечелоуѣческій напоръ сзади произвели остановку: впередъ нельзя было идти, толпа сзади прибавлялась, полицейскимъ надоѣло работать по мелочи, они схватились за руки и разомъ, дружно пошли на приступъ,—передній рядъ меня такъ прижалъ, что дыханіе сперлось, еще и еще храбрый напоръ осаждающихъ, и мы вдругъ очутились вытѣсненными, выжатыми, выброшенными на десять шаговъ далѣе двери на улицу.

Если-бъ не знакомый адвокатъ, мы бы совсѣмъ не попали, зала была набита, онъ насъ провелъ особыми дверями, и мы, наконецъ, усѣлись, отирая потъ и справляясь, цѣлы ли часы, деньги и пр.

Замѣчательная вещь, что нигдѣ толпа не бываетъ многочисленнѣе, плотнѣе, страшнѣе, какъ въ Лондонѣ, а дѣлать «кѣ» ни въ какомъ случаѣ не умѣтъ; англичане всегда берутъ своимъ національнымъ упорствомъ, давая два часа, что-нибудь да продавать. Меня это много разъ дивило при входѣ въ театры: если-бъ люди шли другъ за другомъ, они навѣрное вошли бы въ полчаса, но такъ какъ они прутъ всей массой, то множество переднихъ пробиваются по правой и лѣвой сторонѣ дверей, тутъ ими овладѣваетъ какое-то сосредоточенное ожесточеніе и они начинаютъ давить съ боковъ медленно двигающуюся среднюю струю безъ всякой пользы для себя, но какъ бы вымѣщая на ихъ бокахъ ихъ счастье.

Стучать въ двери. Какой-то господинъ, тоже въ маскарадномъ платьѣ, кричитъ, кто тамъ?—«Судъ»,—отвѣчаютъ съ той стороны; отворяются двери и является Кембель въ шубѣ и въ какомъ-то женскомъ шлафроукѣ; онъ поклонился на всѣ четыре стороны и объявилъ, что судъ открытъ.

Мнѣніе о дѣлѣ Бартелеми, составленное судомъ, т. е., Кембелемъ, было ясно съ начала до конца, и онъ его выдержалъ, несмотря на всѣ усилія французовъ сбить его съ дороги и ухудшить. Была дуэль. Одинъ убить. Оба — французы, рефюжѣ, имѣющіе инныя понятія о чести, чѣмъ мы; кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ, разобрать трудно. Одинъ сошелъ съ баррикады, другой бретерь. Намъ нельзя оставить это безнаказаннымъ, но не слѣдуетъ всюю силою англійскихъ законовъ побивать иностранцевъ, тѣмъ больше, что всѣ они люди чистые, и хотя глупо, но благородно вели себя. Поэтому, кто убійца, мы не будемъ добиваться,—все вѣроятіе, что убійца тотъ изъ нихъ, который бѣжалъ въ Бельгію; подсудимыхъ мы обвинимъ въ участіи, и спросимъ присяжныхъ, виноваты ли они въ manslaughter или нѣтъ? Обвиненные присяжными,—они въ нашихъ рукахъ; мы приговоримъ ихъ къ одному изъ наименьшихъ наказаній, и покончимъ дѣло. Оправдаютъ ихъ присяжные,—Богъ съ ними совѣмъ, пусть идутъ на всѣ четыре стороны.

Все это французамъ обѣихъ партій было ножъ острый!

Сторонники Курне хотѣли воспользоваться случаемъ, чтобъ потерять въ мнѣніи суда Бартелеми, и, не называя его прямо, указать на него, какъ на убійцу Курне.

Нѣсколько человекъ друзей Бартелеми и самъ онъ домогались покрыть презрѣніемъ и стыдомъ Бароне и компанію странной подробностью, которая открылась въ полицейскомъ слѣдствіи. Пистолеты были взяты у ружейника, послѣ дуэли ему ихъ прислали. Одинъ пистолетъ былъ заряженъ. Когда началось дѣло, ружейникъ явился съ пистолетомъ и съ показаніемъ, что подѣ

пулей и порохомъ лежала небольшая тряпочка, такъ что выстрѣлъ былъ невозможенъ.

Дуэль шла такъ: Курне выстрѣлилъ въ Бартелеми и не попалъ. У Бартелеми капсюль исправно щелкнулъ, но выстрѣла не было, ему дали другой капсюль,—та же исторія. Тогда Бартелеми бросилъ пистолетъ и предложилъ Курне драться на рапирахъ. Курне не согласился; рѣшились еще разъ стрѣлять, но Бартелеми потребовалъ другой пистолетъ, на что Курне тотчасъ согласился. Пистолетъ былъ поданъ, раздался выстрѣлъ и Курне упалъ мертвый.

Стало быть, пистолетъ, возвратившійся къ ружейнику заряженнымъ, былъ тотъ самый, который былъ въ рукахъ Бартелеми. Откуда попала тряпка? Пистолеты досталъ пріятель Курне, Пардигонъ, нѣкогда участвовавшій въ *Voix du peuple* и страшно изуродованный въ июньскіе дни ¹⁾.

Если-бъ можно было доказать, что тряпка была положена съ пѣлюю, т. е., что противники вели Бартелеми на убой, то враги Бартелеми были бы покрыты позоромъ и погублены на вѣки вѣковъ.

За такой пріятный результатъ Бартелеми охотно пошелъ бы на десять лѣтъ въ каторжную работу или въ депортацію.

По слѣдствію оказалось, что лоскутокъ, вынутый изъ пистолета, дѣйствительно принадлежалъ Пардигону, онъ былъ вырванъ изъ тряпки, которой онъ обтиралъ лаковые сапоги. Пардигонъ говорилъ, что онъ чистилъ дуло, надѣвъ тряпочку на карандашъ, и что, можетъ, вертѣвши ею, отрѣзалъ лоскутокъ; но друзья

¹⁾ Пардигонъ, схваченный въ июньскіе дни, былъ брошенъ въ тюльерійскій подвалъ; тамъ находилось тысячъ до пяти человѣкъ. Тутъ были холерные, раненые, умирающіе. Когда правительство прислало Корменена освидѣтельствовать положеніе ихъ, то, отворивши двери, онъ и доктора отпранули отъ удушающей заразной воню. Къ окошечкамъ *soupirail* было запрещено подходить. Пардигонъ, изнемогая отъ духоты, поднималъ голову, чтобы подышать; это замѣтилъ часовой изъ національной гвардіи и сказалъ ему, чтобъ онъ отошелъ или онъ выстрѣлитъ. Пардигонъ медлилъ, тогда почтенный буржуа опустилъ дуло и выстрѣлилъ въ него; пуля раздробила ему часть щеки и нижнюю челюсть, онъ упалъ. Вечеромъ часть арестантовъ повели въ форты, въ томъ числѣ подняли раненаго Пардигона, связали ему руки и повели. Тутъ извѣстная тревога на Карусельской площади, въ которой національная гвардія со страха стрѣляла другъ въ друга; раненый Пардигонъ выбился изъ силъ и упалъ; его бросили на полъ въ полицейскую коръ-де-гардію, и онъ остался съ связанными руками, лежа на спинѣ и *захлебываясь* своей кровью изъ раны. Такъ его засталъ какой-то политехникъ, разругавшій этихъ каннибаловъ и заставившій ихъ снести больного въ больницу. Помнится, я этотъ случай рассказалъ въ „Письмахъ изъ Италіи и Франціи“... но это не мѣшаетъ протверживать, чтобы не забывать, что такое образованная парижская буржуазія.

Бартелеми спрашивали, отчего же у лоскутка правильная овальная форма, отчего нѣту городковъ отъ складокъ...

Съ своей стороны, противники Бартелеми приготовили фалангу свидѣтелей à discharge въ пользу Бароне и его товарищей.

Политика ихъ состояла въ томъ, что атторней со стороны Бароне будетъ ихъ спрашивать объ antecedентахъ Курне и прочихъ. Они превознесутъ ихъ и будутъ молчать о Бартелеми и его секундантахъ. Такое единодушное умалчиваніе со стороны соотечественниковъ и «корелижіонеровъ» должно было, по ихъ мнѣнію, сильно поднять въ глазахъ Кембеля и публики однихъ и сильно уронить другихъ. Призывъ свидѣтелей стоитъ денегъ, да и, сверхъ того, у Бартелеми не было цѣлой шеренги друзей, которымъ онъ могъ бы отдать приказаніе говорить то или другое.

Друзья Курне и прежде того, при слѣдствіи, умѣли краснорѣчиво молчать.

Одного изъ арестованныхъ свидѣтелей, Бароне, слѣдопроизводитель спросилъ, знаетъ ли онъ, кто убилъ Курне, или кого онъ подозрѣваетъ. Бароне отвѣчалъ, что никакія угрозы, никакія наказанія не заставятъ его назвать человѣка, лишившаго жизни Курне, несмотря на то, что покойникъ былъ лучший другъ его. «Если бы я долженъ былъ десятокъ лѣтъ влачить цѣпи въ душной тюрьмѣ, то я и тогда не сказалъ бы».

Солиситоръ перебилъ его хладнокровнымъ замѣчаніемъ: «Да, это ваше право, впрочемъ вы вашими словами показываете, что вы виновника знаете».

И послѣ всего этого они хотѣли перехитрить—кого же?—*лорда Кембеля*? Я желалъ бы приложить его портретъ для того, чтобы показать всю мѣру нелѣпости этой попытки. Старика лорда Кембеля, посѣдѣвшаго и сморщившагося на своемъ судейскомъ креслѣ, читая равнодушнымъ голосомъ, съ шотландскимъ акцентомъ, страшнѣйшія evidences и распутывая самую сложную дѣла съ осязательной ясностью,—его хотѣла перехитрить кучка парижскихъ клубистовъ... Лорда Кембеля, который никогда не поднимаетъ голоса, никогда не сердится, никогда не улыбается и только позволяетъ себѣ въ самыхъ смѣшныхъ или сильныхъ минутахъ высморкаться... Лорда Кембеля, съ лицомъ ворчуньи-старухи, въ которомъ, вглядываясь, вы ясно видите извѣстную метаморфозу, такъ непріятно удивившую дѣвочку *красную шапочку*, что это вовсе не бабушка, а волкъ, въ парикѣ, женскомъ робронѣ и кацавейкѣ, обшитой мѣхомъ.

Зато его лордшипство не осталось въ долгу.

Послѣ долгихъ дискусій о тряпочкѣ и послѣ показаній Пардигона, защитники Бароне начали вызывать свидѣтелей.

Во-первыхъ, явился старикъ рефюжъе, товарищъ Барбеса и Бланки. Онъ присягнулъ и вытянулъ шею.

— Давно ли вы, спросилъ одинъ изъ атторнеевъ, знакомы съ Курне?

— Граждане, сказали рефюжъе по-французски, съ молодыхъ лѣтъ моихъ преданный одному дѣлу, я посвятилъ жизнь свою священному дѣлу свободы и равенства... и пошелъ было въ этомъ родѣ.

Но атторней остановилъ его и, обращаясь къ переводчику, замѣтилъ: свидѣтель, кажется, не понялъ вопроса, переведите его на французскій.

За нимъ слѣдовалъ другой. Когда пять-шесть французовъ, съ бородами, идущими въ рюмочку, и плѣшивыхъ, съ огромными усами и волосами, выстриженными по-николаевски, наконецъ, съ волосами, падающими на плечи и въ красныхъ шейныхъ платкахъ, являлись одинъ за другимъ, чтобъ сказать варіаціи на слѣдующую тему: «Курне былъ человѣкъ, котораго достоинства превышали добродѣтели, а добродѣтели равнялись достоинствамъ; онъ былъ украшеніе эмиграціи, честь партіи, жена его неутѣшна, а друзья утѣшаются только тѣмъ, что остались въ живыхъ такіе люди, какъ Бароне и его товарищи».

— А знаете ли вы Бартелеми?

— Да, онъ французскій рефюжъе... видать, но не знаю ничего о немъ; при этомъ свидѣтель чмокалъ по-французски ртомъ.

— Свидѣтеля такого-то... сказалъ атторней.

— Позвольте, замѣтила бабушка Кембель голосомъ мягкаго участія, не беспокойте ихъ больше, это множество свидѣтелей *въ пользу* покойнаго Курне и подсудимаго Бароне намъ кажется излишнимъ и вреднымъ, мы не считаемъ ни того, ни другого такими дурными людьми, чтобы ихъ честность и порядочное поведеніе слѣдовало доказывать съ такимъ упорствомъ. Сверхъ того, Курне умеръ, и намъ вовсе ненужно ничего знать о немъ; мы призваны судить одно дѣло о его убіеніи; все, идущее къ этому преступленію, для насъ важно, а событія прошлой жизни подсудимыхъ, которыхъ мы равно считаемъ весьма порядочными джентельменами, намъ ненужно знать. Я, съ своей стороны, не имѣю никакихъ подозрѣній насчетъ г. Бароне.

... А на что у тебя, бабушка, такіе хитрые, да смѣющіеся глаза?

— На то, что ртомъ я по моему сану не могу смѣяться надъ вами, милые внучата, а потому посмѣюсь глазами.

Разумѣется, что послѣ этого свидѣтелей съ прической внизъ и съ прической наверху, съ военнымъ видомъ и съ кашне всѣхъ семи цвѣтовъ призмы, отпустили, не слушавши.

Затѣмъ дѣло пошло быстро.

Одинъ изъ защитниковъ, представляя присяжнымъ, что подсудимые иностранцы, совершенно не знающіе англійскихъ законовъ, заслуживаютъ всякаго снисхожденія, прибавилъ: «Представьте себѣ, гг. присяжные, г. Бароне такъ мало зналъ Англію, что на вопросъ, знаете ли вы, кто убилъ Курне, отвѣчалъ, что если-бъ его въ цѣняхъ посадили лѣтъ на десять въ тюремные склепы, то онъ и тогда бы не сказалъ имени. Вы видите, что г. Бароне еще имѣлъ объ Англіи какія-то средневѣковыя понятія, онъ могъ думать, что за его умалчиваніе его можно ковать въ цѣпи, бросить на десять лѣтъ въ тюрьму. Надѣюсь, сказалъ онъ, не удерживая смѣха, что несчастное событіе, по которому г. Бароне былъ нѣсколько мѣсяцевъ лишенъ свободы, убѣдило его, что тюрьмы въ Англіи нѣсколько улучшились съ среднихъ вѣковъ и врядъ ли хуже тюремъ въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ. Докажете же подсудимымъ, что и судъ нашъ также челоуѣчественъ и справедливъ» и пр.

Присяжные, составленные на половину изъ иностранцевъ, нашли подсудимыхъ «виновными».

Тогда Кембель обратился къ подсудимымъ, напомнилъ имъ строгость англійскихъ законовъ, напомнилъ, что иностранецъ, ступая на англійскую землю, пользуется всѣми правами англичанина и за это долженъ нести и равную отвѣтственность передъ закономъ. Потомъ перешелъ къ разницѣ нравовъ и сказалъ, наконецъ, что онъ не считалъ бы справедливымъ наказывать ихъ по всей строгости законовъ, а потому приговариваетъ ихъ къ *двухмѣсячному тюремному заключенію*.

Публика, народъ, адвокаты и мы всѣ были довольны; ждали рѣзкаго наказанія, но не смѣли думать о меньшемъ *minimum'ѣ*, какъ три-четыре года.

Кто же остались недовольны?

Подсудимые.

Я подошелъ къ Бартеlemi, онъ мрачно сжалъ мнѣ руку и сказалъ:

— Пардигонъ-то остался чистъ, Бароне... и онъ пожалъ плечами.

Когда я выходилъ изъ залы, я встрѣтилъ моего знакомаго, *lawyer'a*, онъ стоялъ съ Бароне.

— Лучше бы меня, говорилъ послѣдній, на годъ посадили, чѣмъ смѣшать съ этимъ злодѣемъ Бартеlemi.

Судъ кончился часовъ около десяти вечеромъ. Когда мы пришли на желѣзную дорогу, мы застали въ амбаркадерѣ толпы французовъ и англичанъ, громко и шумно разсуждавшихъ о дѣлѣ. Большинство французовъ было довольно приговоромъ, хотя и

чувствовало, что побѣда не по ту сторону Ламанша. Въ вагонахъ французы затащили марсельезу.

— Господа, сказалъ я, справедливость прежде всего; на этотъ разъ споемте-ка Rule Britannia!

И Rule Britannia запѣли!

Бартелеми.

Прошло два года, Бартелеми снова стоялъ передъ лордомъ Кембелемъ, и на этотъ разъ угрюмый старикъ, накрывшись чернымъ клобукомъ, произнесъ надъ нимъ иной приговоръ.

Въ 1854 году Бартелеми еще больше отдалился отъ всѣхъ; вѣчно чѣмъ-то занятый, онъ мало показывался, готовилъ что-то втиши; люди, жившіе съ нимъ вмѣстѣ, знали не больше другихъ. Я его видалъ изрѣдка; онъ всегда мнѣ показывалъ большое сочувствіе и довѣріе, но ничего особеннаго не говорилъ.

Вдругъ разнесся слухъ о двойномъ убійствѣ: Бартелеми убилъ какого-то мелкаго неизвѣстнаго англійскаго купца и потомъ полицейскаго агента, который хотѣлъ его арестовать. Объясненія, ключа—никакого; Бартелеми молчалъ передъ судьями, молчалъ въ Нью-Гетѣ. Онъ съ самаго начала признался въ убійствѣ полицейскаго; за это его можно было приговорить къ смертной казни, а потому онъ остановился на признаніи, защищая, такъ сказать, *свое право* быть повѣшеннымъ за послѣднее преступленіе, не говоря о первомъ.

Вотъ что мы узнали мало-по-малу. Бартелеми собрался ѣхать въ Голландію. Въ дорожномъ платьѣ, съ визированнымъ пассомъ въ карманѣ, съ револьверомъ въ другомъ, въ сопровожденіи женщины, съ которой онъ жилъ, Бартелеми отправился въ десять часовъ вечера къ англичанину, фабриканту содовой воды. Когда онъ постучался, горничная отворила ему дверь; хозяинъ пригласилъ ихъ въ парлоръ и, вслѣдъ за тѣмъ, пошелъ съ Бартелеми въ свою комнату.

Горничная слышала, какъ разговоръ становился крупнѣе, какъ онъ перешелъ въ брань; вслѣдъ за тѣмъ ея господинъ отворилъ дверь и пхнулъ Бартелеми; тогда Бартелеми вынулъ изъ кармана пистолетъ и выстрѣлилъ въ него. Купецъ упалъ мертвый. Бартелеми бросился вонъ; испуганная французенка скрылась прежде него и была счастливѣе. Полицейскій агентъ, слышавшій выстрѣлъ, остановилъ Бартелеми на улицѣ; онъ грозилъ ему пистолетомъ, полицейскій не пускалъ. Бартелеми выстрѣлилъ... На этотъ разъ больше, чѣмъ вѣроятно, что онъ не хотѣлъ убить

агента, а только пострадать его; но, вырывая руку и сжимая другой пистолетъ, на такомъ близкомъ разстояніи, онъ его смертельно ранилъ. Бартелеми пустился бѣжать, но полицейскіе уже замѣтили его, и онъ былъ схваченъ.

Браги Бартелеми, не скрывая радости, говорили, что это былъ просто актъ разбоя, что Бартелеми хотѣлъ ограбить англичанина. Но англичанинъ вовсе не былъ богатъ. Безъ полного помѣшательства трудно предположить, чтобъ человѣкъ пошелъ на открытый разбой въ Лондонѣ, въ одномъ изъ населеннѣйшихъ кварталовъ, въ знакомый домъ, часовъ въ десять вечера, съ женщиной, — и все это, чтобъ украсть какихъ-нибудь сто фунтовъ (что-то такое было найдено въ комодѣ убитаго).

Бартелеми, за нѣсколько мѣсяцевъ до этого, завелъ какую-то мастерскую крашенныхъ стеколъ съ узорами, арабесками и надписями по особому способу. Онъ на привилегію истратилъ фунтовъ до 60; фунтовъ 15 не достало, онъ попросилъ у меня займы и очень аккуратно отдалъ. Ясно, что тутъ было что-то важнѣе простого воровства. Внутренняя мысль Бартелеми, его страсть, мономанія остались. Что онъ ѣхалъ въ Голландію только для того, чтобы оттуда пробраться въ Парижъ, — это знали многіе.

Едва три-четыре человѣка остановились въ раздумьи передъ этимъ кровавымъ дѣломъ; остальные всѣ испугались и опрокинулись на Бартелеми. Быть повѣшеннымъ въ Англіи не респектабельно; имѣть связи съ человѣкомъ, судимымъ за убійство, — shocking; ближайшіе друзья его отшарахнулись.

Я тогда жилъ въ Твикнемѣ. Прихожу разъ домой вечеромъ, меня ждутъ два рефужье:

— Мы къ вамъ, говорятъ они, пріѣхали, чтобъ васъ удостоверить, что мы ни малѣйшаго участія не имѣли въ страшномъ дѣлѣ Бартелеми; у насъ была общая работа, мало ли съ кѣмъ приходится работать. Теперь скажутъ... подумаютъ...

— Да неужели вы за этимъ пріѣхали изъ Лондона въ Твикнемъ? — спросилъ я.

— Ваше мнѣніе намъ очень дорого.

— Помилуйте, господа; да я самъ былъ знакомъ съ Бартелеми, и хуже васъ, потому что никакой общей работы съ нимъ не имѣлъ; но я не отрекаюсь отъ него. Я не знаю дѣла, судъ и осужденіе предоставляю лорду Кембелю, а самъ плачу о томъ, что такая молодая и богатая сила, такой талантъ, такъ воспитался горькой борьбой и средой, въ которой жилъ, что въ пущемъ цвѣтѣ лѣтъ его жизнь потухаетъ подъ рукою палача.

Поведеніе его въ тюрьмѣ поразило англичанъ: ровное, покойное, печальное безъ отчаянія, твердое безъ jactance. Онъ зналъ, что для него все кончено, и съ тѣмъ же непоколебимымъ спокой-

ствиѣмъ выслушалъ приговоръ, съ которымъ нѣкогда стоялъ подъ градомъ пуль на баррикадахъ.

Онъ писалъ къ своему отцу и къ дѣвушкѣ, которую любилъ. Письмо къ отцу я читалъ; ни одной фразы, величайшая простота, онъ кротко утѣшаетъ старика, какъ будто рѣчь не о немъ самомъ.

Католическій священникъ, который ex officio ходилъ къ нему въ тюрьму, человѣкъ умный и добрый, принялъ въ немъ большое участіе и даже просилъ Пальмерстона о перемѣнѣ наказанія, но Пальмерстонъ отказалъ. Разговоры его съ Бартелеми были тихи и исполнены гуманности съ обѣихъ сторонъ. Бартелеми писалъ ему: «Много, много благодаренъ я вамъ за ваши добрыя слова, за ваши утѣшенія. Если-бъ я могъ обратиться въ вѣрующаго, то, конечно, одни вы могли бы обратить меня; но что же дѣлать,—у меня нѣтъ вѣры!» Послѣ его смерти священникъ писалъ одной знакомой мнѣ дамѣ: «Какой человѣкъ былъ этотъ несчастный Бартелеми! если-бъ онъ дольше прожилъ, можетъ, его сердце и раскрылось бы благодати. Я молюсь о его душѣ!»

Тѣмъ болѣе останавливаюсь я на этомъ случаѣ, что «Times» со злобой разсказалъ насмѣшку Бартелеми надъ шерифомъ.

За нѣсколько часовъ до казни, одинъ изъ шерифовъ, узнавъ, что Бартелеми отказался отъ духовной помощи, счелъ себя обязаннымъ обратить его на путь спасенія и началъ ему пороть ту піэтическую дичь, которую печатаютъ въ англійскихъ грошевыхъ трактатахъ, раздаваемыхъ даромъ на перекресткахъ. Бартелеми надобло увѣщаніе шерифа. Апостолъ съ золотой цѣпью замѣтилъ это и, принявъ торжественный видъ, сказалъ ему. «Подумайте, молодой человѣкъ, черезъ нѣсколько часовъ вы будете не мнѣ отвѣчать, а Богу».

Но не одинъ апостольствующій шерифъ мѣшалъ Бартелеми умереть въ томъ серьезномъ и нервно поднятомъ состояніи, котораго онъ искалъ, которое такъ естественно искать въ послѣдніе часы жизни.

Приговоръ былъ прочтенъ. Бартелеми замѣтилъ кому-то изъ друзей, что, уже если нужно умереть, онъ предпочелъ бы тихо, безъ свидѣтелей, потухнуть въ тюрьмѣ, чѣмъ всенародно, на площади, погибнуть отъ руки палача. «Ничего нѣтъ легче: завтра, послѣ завтра, я тебѣ принесу стрихнина». Мало одного, двое взялись за дѣло. Онъ тогда уже содержался какъ осужденный, т. е., очень строго; тѣмъ не меньше, черезъ нѣсколько дней, друзья достали стрихнинъ и передали ему въ бѣльѣ. Оставалось убѣдиться, что онъ нашелъ. Убѣдились и въ этомъ...

Боясь отвѣтственности, одинъ изъ нихъ, на котораго могло пасть подозрѣніе, хотѣлъ на время покинуть Англію. Онъ попро-

силъ у меня нѣсколько фунтовъ на дорогу; я былъ согласенъ ихъ дать. Что кажется проще этого? Но я расскажу это ничтожное дѣло для того, чтобъ показать, какимъ образомъ всѣ тайные заговоры французовъ открываются, какимъ образомъ у нихъ во всякомъ дѣлѣ любовью къ роскошной *mise en scène* бездна постороннихъ лицъ компрометируется.

Вечеромъ въ воскресенье у меня были, по обыкновенію, нѣсколько человѣкъ, польскихъ, итальянскихъ и другихъ рефужье. Въ этотъ день были и дамы. Мы очень поздно сѣли обѣдать, часовъ въ восемь. Часовъ въ девять вошелъ одинъ близкій знакомый. Онъ ходилъ ко мнѣ часто, и потому его появленіе не могло броситься въ глаза; но онъ такъ ясно выразилъ всѣмъ лицамъ: «Я умалчиваю!» что гости переглянулись.

— Не хотите ли чего-нибудь съѣсть, или рюмку вина? спросилъ я.

— Нѣтъ, сказалъ, опускаясь на стулъ, сосудъ, отяжелѣвшій отъ тайны.

Послѣ обѣда онъ при всѣхъ вызвалъ меня въ другую комнату и, сказавши, что Бартеlemi досталъ ядъ (новость, которую я уже слышалъ), передалъ мнѣ просьбу о ссудѣ деньгами отъѣзжающаго.

— Съ большимъ удовольствіемъ, я сейчасъ принесу, сказалъ я.

— Нѣтъ, я ночую въ Твикнемѣ и завтра утромъ еще увижусь съ вами. Мнѣ ненужно вамъ говорить, васъ просить, чтобъ ни одинъ человѣкъ...

Я улыбнулся.

Когда я вошелъ опять въ столовую, одна молодая дѣвушка спросила меня: «Вѣрно онъ говорилъ о Бартеlemi?»...

На другой день, часовъ въ восемь утра, вошелъ Франсуа и сказалъ, что какой-то французъ, котораго онъ прежде не видѣлъ, требуетъ непременно меня видѣть.

Это былъ тотъ самый пріятель Бартеlemi, который хотѣлъ *незамѣтно* уѣхать. Я набросилъ на себя пальто и вышелъ въ садъ, гдѣ онъ меня дожидался. Тамъ я встрѣтилъ болѣзненнаго, ужасно исхудалаго, черноволосаго француза (я послѣ узналъ, что онъ годы сидѣлъ въ Бель-Илѣ и потомъ *à la lettre* умиралъ съ голоду въ Лондонѣ). На немъ было потертое пальто, на которое бы никто не обратилъ вниманія; но дорожный картузъ и большой дорожный шарфъ, обмотанный вокругъ шеи, невольно остановили бы на себѣ глаза въ Москвѣ, въ Парижѣ, въ Неаполѣ.

— Что случилось?

— Былъ у васъ такой-то?

— Онъ и теперь здѣсь.

- Говорилъ о деньгахъ?
- Это все кончено,—деньги готовы.
- Я, право, очень благодаренъ.
- Когда вы ѣдете?
- Сегодня или завтра.

Къ концу разговора подоспѣлъ и нашъ общій знакомый. Когда путешественникъ ушелъ:

— Скажите, пожалуйста, зачѣмъ онъ пріѣзжалъ? — спросилъ я, оставшись съ нимъ наединѣ.

- За деньгами.
- Да, вѣдь, вы могли ему отдать.

— Это правда, но ему хотѣлось съ вами познакомиться; онъ спрашивалъ меня, пріятно ли вамъ будетъ; что же мнѣ было сказать?

— Безъ сомнѣнія, очень; только я не знаю, хорошо ли онъ выбралъ время.

— А развѣ онъ вамъ помѣшалъ?

— Нѣтъ; а какъ бы полиція ему не помѣшала выѣхать...

По счастью, этого не случилось. Въ то время, какъ онъ уѣзжалъ, его товарищъ усомнился въ ядѣ, который они доставили; подумалъ-подумалъ и далъ остатокъ его собакѣ. Прошелъ день, собака жива; прошелъ другой—жива. Тогда, испуганный, онъ бросился въ Нью-Гетъ, добился свиданья съ Бартелеми черезъ рѣшетку и, улучшивъ минуту, шепнулъ ему:

— У тебя?

— Да, да!

— Вотъ видишь, у меня большое сомнѣніе. Ты лучше не принимай: я пробовалъ надъ собакой, никакого дѣйствія не было!

Бартелеми опустилъ голову и потомъ, поднявши ее съ глазами, полными слезъ, сказалъ:

— Что же вы это надо мной дѣлаете!

— Мы достанемъ другого.

— Не надобно — отвѣтилъ Бартелеми — пусть совершится судьба.

И съ той минуты сталъ готовиться къ смерти, не думалъ объ ядѣ и писалъ *какой-то мемуаръ, котораго не выдали* послѣ его смерти другу, которому онъ его завѣщалъ (тому самому, который уѣзжалъ).

Девятнадцатаго января, въ субботу, мы узнали о посѣщеніи священникомъ Пальмерстона и его отказъ.

Тяжелое воскресенье слѣдовало за этимъ днемъ. мрачно разошлась небольшая кучка гостей. Я остался одинъ. Легъ спать, уснулъ и тотчасъ проснулся. Итакъ, черезъ 7—6—5 часовъ, его, исполненнаго силы, молодости, страстей, совершенно здороваго,

выведутъ на площадь и убьютъ, безъ жалости убьютъ, безъ удовольствія и озлобленія, а еще съ какимъ-то фарисейскимъ страданіемъ!.. На церковной башнѣ начало бить семь часовъ. *Теперь* двинулось шествіе, и Калькрафтъ налицо. Послужили ли бѣдному Бартелеми его стальные нервы? У меня стучалъ зубъ объ зубъ.

Въ 11 утра взошелъ Д.

— Кончено? спросилъ я.

— Кончено.

— Вы были?

— Былъ.

Остальное досказалъ «Times».

Противъ статьи «Теймсъ», аббатъ Roux напечаталъ: «The murderer Barthelemy».

Когда все было готово, рассказываетъ «Times», онъ попросилъ письмо той дѣвушки, къ которой писалъ, и, помнится, локонъ ея волосъ или какой-то сувениръ; онъ сжалъ ихъ въ рукѣ, когда палачъ подошелъ къ нему... ихъ, сжатыми въ его окоченѣлыхъ пальцахъ нашли помощники палача, пришедшіе снять его тѣло съ висѣлицы. «Человѣческая справедливость, какъ говорить «Теймсъ», была удовлетворена!» Я думаю, да этого и диавольской не показалось бы мало!

Тутъ бы и остановиться. Но пусть же въ моемъ рассказѣ, какъ было въ самой жизни, останутся слѣды богатырской поступи возлѣ ступней ослиныхъ и свиныхъ копытъ.

Когда Бартелеми былъ схваченъ, у него не было достаточно денегъ, чтобъ платить солиситеру; да ему и не хотѣлось нанять его. Явился какой-то неизвѣстный адвокатъ Герингъ, предложившій ему защищать его, явнымъ образомъ, чтобъ сдѣлать себя извѣстнымъ. Защищалъ онъ слабо; но ненадобно забывать, задача была необыкновенно трудна; Бартелеми молчалъ и не хотѣлъ, чтобъ Герингъ говорилъ о главномъ дѣлѣ. Какъ бы то ни было, Герингъ возился, терялъ время, хлопоталъ. Когда казнь была назначена, Герингъ пришелъ въ тюрьму проститься; Бартелеми былъ тронутъ, благодарилъ его и, между прочимъ, сказалъ ему:

— У меня ничего нѣтъ, я не могу вознаградить вашъ трудъ ничѣмъ, кромѣ моей благодарности. Хотѣлъ бы я вамъ, по крайней мѣрѣ, оставить что-нибудь на память, да ничего у меня нѣтъ, что-бъ я могъ вамъ предложить. Развѣ мое пальто?

— Я вамъ буду очень, очень благодаренъ, я хотѣлъ его у васъ просить.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, — сказалъ Бартелеми — но оно плохо...

— О, я его не буду носить; признаюсь вамъ откровенно, я уже запродамъ его, и очень хорошо.

— Какъ запродали? спросилъ удивленный Бартеlemi.

— Да, *madame* Туссо, для ея особой галлерей.

Бартеlemi содрогнулся.

Когда его вели на казнь, онъ вдругъ вспомнилъ и сказалъ шерифу:

— Ахъ, я совсѣмъ было забылъ попросить, чтобъ мое пальто никакъ не отдавали Герингу!

Camicia Rossa ¹⁾.

Шекспировъ день превратился въ день Гарибальди. Сближеніе это вытянуто за волосы исторіей, такіа натяжки удаются ей одной.

Народъ, собравшись на Примрозъ - Гиль, чтобъ посадить дерево въ память *trescentenary*, остался тамъ, чтобъ поговорить о *скоропостижномъ* отъѣздѣ Гарибальди. Полиція разогнала народъ. Пятьдесятъ тысячъ человѣкъ (по полицейскому рапорту) послушались тридцати полицейскихъ и, изъ глубокаго уваженія къ законности, поддержали незаконное вмѣшательство власти.

...Дѣйствительно, какая-то шекспировская фантазія пронеслась передъ нашими глазами на сѣромъ фонѣ Англіи, съ чисто шекспировскою близостью великаго и отвратительнаго, раздирающаго душу и скрипящаго по тарелкѣ. Святая простота человѣка, наивная простота массъ и тайные склоны за стѣной, интриги, ложь. Знакомыя тѣни мелькаютъ въ другихъ образахъ — отъ Гамлета до короля Лира, отъ Гонериль и Корделій до *честнаго* Яго. Яго—все крошечные, но зато какое количество и какая у нихъ честность!

Прологъ. Трубы. Является идолъ массъ, единственная, великая, народная личность нашего вѣка, выработавшаяся съ 1848 года, является во всѣхъ лучахъ славы. Все склоняется передъ ней, все ее празднуетъ, это очью совершающееся *hero-worship* Карлейля. Пушечные выстрѣлы, колокольный звонъ, вымпела на корабляхъ—и только потому нѣтъ музыки, что *гость Англіи* пріѣхалъ въ воскресенье, а воскресенье здѣсь постный день... Лондонъ ждетъ пріѣзжаго часовъ семь на ногахъ, оваціи растутъ съ каждымъ днемъ; появленіе человѣка въ *красной рубашкѣ* на улицѣ дѣлаетъ взрывъ восторга, толпы провожаютъ его ночью въ часъ изъ оперы, толпы встрѣчаютъ его утромъ въ семь часовъ передъ Стаффордъ гаузомъ. Работники и дюки ²⁾,

¹⁾ Напечатано было въ „Колоколѣ“ 15 августа, 15 сентября и 15 ноября 1864 года. *Примѣчаніе заграничнаго изданія.*

²⁾ Я прошу позволеніе дюковъ называть дюками, а не герцогами. Во-первыхъ, оно правильнѣе, а во-вторыхъ, однимъ нѣмецкимъ словомъ меньше въ русскомъ языкѣ. *Autant de pris sur le Deutchthum.*

швей и лорды, банкиры и high church, феодальная развалина Дербн и осколокъ февральской революціи — республиканецъ 1848 года, старшій сынъ королевы Викторіи и босой swiper, родившійся безъ родителей, ищутъ на перерывъ его руки, взгляда, слова. Шотландія, Ньюкестль-он-Тейнъ, Глазговъ, Манчестеръ трепещутъ отъ ожиданія, — а онъ исчезаетъ въ непроницаемомъ туманѣ, въ синевѣ океана.

Какъ тѣнь Гамлетова отца, гость попалъ на какую-то министерскую дощечку, и исчезъ. Гдѣ онъ? Сейчасъ былъ тутъ и тутъ, а теперь нѣтъ... Остается одна точка, какой-то парусъ готовый отплыть.

Народъ англійскій одураченъ. «Великій, глупый народъ» — какъ сказалъ о немъ поэтъ. Добрый, сильный, упорный, но тяжелый, неповоротливый, нерасторопный Джонъ-буль, — я жаль его, и смѣшно! Быкъ съ львиными замашками — только что было тряхнулъ гривой и порасправился, чтобъ встрѣтить гостя, а у него его и отняли. Левъ-быкъ бьетъ двойнымъ копытомъ, царапаетъ землю, сердится... но сторожа знаютъ хитрости замковъ и засосовъ *свободы*, которыми онъ запертъ, болтаютъ ему какой-то вздоръ и держать ключъ въ карманѣ... а точка исчезаетъ въ океанѣ.

Бѣдный левъ-быкъ, ступай на свой hard labour, тащи плугъ, подымай молотъ. Развѣ три министра, одинъ не министръ, одинъ дюкъ, одинъ профессоръ хирургіи и одинъ лордъ піэтизма не засвидѣтельствовали всенародно въ камерѣ пэровъ и въ низшей камерѣ, въ журналахъ и гостиныхъ, что здоровый человѣкъ, котораго ты видѣлъ вчера, *боленъ* и боленъ такъ, что его надобно послать на яхтѣ вдоль Атлантическаго океана и поперегъ Средиземнаго моря... «Кому же ты больше вѣришь, моему ослу или мнѣ?» — говорилъ обожженный мельникъ, въ старой баснѣ, скептическому другу своему, который сомнѣвался, слыша ревъ, что осла нѣтъ дома...

Или развѣ они не друзья народа?.. Больше чѣмъ друзья, — они его опекуны, его отцы съ матерью...

... Газеты подробно рассказали о пирахъ и яствахъ, рѣчахъ и мечяхъ, адресахъ и кантатахъ, Чизикѣ и Гильдголь. Балетъ и декорации, пантомимы и арлекины этого «сновидѣнія въ весеннюю ночь» описаны довольно. Я не намѣренъ вступать съ ними въ соревнованіе, а просто хочу передать изъ моего небольшого фотографическаго снаряда нѣсколько картинокъ, взятыхъ съ того скромнаго угла, изъ котораго я смотрѣлъ. Въ нихъ, какъ всегда бываетъ въ фотографіяхъ, захватилось и осталось много случайнаго, неловкія складки, неловкія позы, слишкомъ выступившія

мелочи—рядомъ съ нерукотворенными чертами событій и неподслащенными чертами лицъ...

Разсказъ этотъ дарю я вамъ, отсутствующія дѣти (отчасти онъ для васъ и писанъ), и еще разъ очень, очень жалѣю, что васъ здѣсь не было съ нами 17 апрѣля.

I.

Въ Брукъ-гаузѣ.

Третьяго апрѣля къ вечеру Гарибальди пріѣхалъ въ Соутгэмптонъ. Мнѣ хотѣлось видѣть его прежде, чѣмъ его завертять, опутаютъ, утомятъ.

Хотѣлось мнѣ этого по многому: во-первыхъ, просто потому, что я его люблю и не видалъ около десяти лѣтъ. Съ 1848 я слѣдилъ шагъ за шагомъ за его великой карьерой; онъ уже былъ для меня въ 1854 г. лицо, взятое цѣликомъ изъ Корнелія Непота или Плутарха... Съ тѣхъ поръ онъ переросъ половину ихъ, сдѣлался «невѣнчаннымъ царемъ» народовъ, ихъ упованіемъ, ихъ живой легендой, ихъ святымъ человѣкомъ, и это отъ Украйны и Сербіи до Андалузіи и Шотландіи, отъ Южной Америки до Сѣверныхъ Штатовъ. Съ тѣхъ поръ онъ съ горстью людей побѣдилъ армію, освободилъ цѣлую страну и былъ отпущенъ изъ нея, какъ отпускаютъ ямщика, когда онъ доведетъ до станціи. Съ тѣхъ поръ онъ былъ обманутъ и побитъ, и, такъ какъ ничего не выигралъ побѣдой, не только ничего не проигралъ пораженіемъ, но удвоилъ ею свою народную силу. Рана, нанесенная ему *своими*, кровью спаяла его съ народомъ. Къ величію героя прибавился вѣнецъ мученика. Мнѣ хотѣлось видѣть, тотъ ли же это добродушный морякъ, приведшій Common Wealth изъ Бостона въ Indian Docks, мечтавшій о пловучей эмиграціи, носящейся по океану, и угощавшій меня ниццскимъ Белетомъ, привезеннымъ изъ Америки.

Хотѣлось мнѣ, во-вторыхъ, поговорить съ нимъ о здѣшнихъ интригахъ и нелѣпностяхъ, о добрыхъ людяхъ, стройившихъ одной рукой пьедесталъ ему и другой привязывавшихъ Маццини къ позорному столбу. Хотѣлось ему разсказать объ охотѣ по Стансфильду и о тѣхъ нищихъ разумомъ либералахъ, которые вторили лаю готическихъ своръ, не понимая, что тѣ имѣли, по крайней мѣрѣ, цѣль—сковырнуть на Стансфильдѣ пѣгое и безхарактерное министерство и замѣнить его своей подагрой, своей ветошью и своимъ лянялымъ тряпьемъ съ гербами.

... Въ Сутгамитонѣ я Гарибальди не засталъ. Онъ только-что уѣхалъ на островъ Вайтъ. На улицахъ были видны остатки торжества, знамена, группы народа, бездна иностранцевъ...

Не останавливаясь въ Сутгамитонѣ, я отправился въ Коусъ. На пароходѣ, въ отеляхъ все говорило о Гарибальди, о его приѣмѣ. Рассказывали отдѣльные анекдоты, какъ онъ вышелъ на палубу, опираясь на дюка Сутерландскаго, какъ, сходя въ Коусъ съ парохода, когда матросы выстроились, чтобъ проводить его, Гарибальди пошелъ было, поклонившись, но вдругъ остановился, подошелъ къ матросамъ и каждому подаль руку, вмѣсто того чтобъ подать на водку.

Въ Коусѣ я приѣхалъ часовъ въ 9 вечера; узналъ, что Брукъ-гаусъ очень не близко, заказалъ на другое утро коляску и пошелъ по взморью. Это былъ первый теплый вечеръ 1864. Море совершенно покойное, лѣниво-шала, колыхалось; кой-гдѣ сверкалъ, исчезая, фосфорическій свѣтъ; я съ наслажденіемъ вдыхалъ влажно-іодистый запахъ морскихъ испареній, который люблю, какъ запахъ сѣна; издали раздавалась бальная музыка изъ какого-то клуба или казино, все было свѣтло и празднично.

Зато на другой день, когда я часовъ въ шесть утра отворилъ окно, Англія напомнила о себѣ; вмѣсто моря и неба, земли и дали, была одна сплошная масса неровнаго сѣраго цвѣта, изъ которой лился частый, мелкій дождь, съ той британской настойчивостью, которая впередъ говоритъ: «если ты думаешь, что я перестану, ты ошибаешься, я не перестану». Въ семь часовъ поѣхалъ я подъ этой душей въ Брукъ-гаусъ.

Не желая долго толковать съ тугой на пониманье и скупой на учтивость англійской прислужгой, я послалъ записку къ секретарю Гарибальди—Гверцони. Гверцони провелъ меня въ свою комнату и пошелъ сказать Гарибальди. Вслѣдъ за тѣмъ я услышалъ постукиванье трости и голосъ: «Гдѣ онъ, гдѣ онъ?» Я вышелъ въ коридоръ, Гарибальди стоялъ передо мной и прямо, ясно, кротко смотрѣлъ мнѣ въ глаза, потомъ протянулъ обѣ руки и, сказавъ: «Очень, очень радъ, вы полны силы и здоровья, вы еще поработаете», обнялъ меня. «Куда вы хотите?» Это комната Гверцони; хотите ко мнѣ, хотите остаться здѣсь?»—спросилъ онъ и сѣлъ.

Теперь была моя очередь смотрѣть на него.

Одѣтъ онъ былъ такъ, какъ вы знаете по безчисленнымъ фотографіямъ, картинкамъ, статуеткамъ; на немъ была красная шерстяная рубашка и сверху плащъ, особымъ образомъ застегнутый на груди; не на шеѣ, а на плечахъ былъ платокъ, такъ, какъ его носятъ матросы, узломъ завязанный на груди. Все это къ нему необыкновенно шло, особенно его плащъ.

Онъ гораздо меньше измѣнился въ эти десять лѣтъ, чѣмъ я ожидалъ. Всѣ портреты, всѣ фотографіи его никуда не годятся, на всѣхъ онъ старше, чернѣе, и, главное, выраженіе лица нигдѣ не схвачено. А въ немъ-то и высказывается *весь секретъ* не только его лица, но его самого, его силы,—той притяжательной и отдающей силы, которой онъ постоянно покорялъ все окружавшее его... какое бы оно ни было, безъ различія діаметра: кучку рыбаковъ въ Ниццѣ, экипажъ матросовъ на океанѣ, draggello гверильясовъ въ Монтевидео, войско ополченцовъ въ Италіи, народныя массы всѣхъ странъ, цѣлыя части земного шара.

Каждая черта его лица, вовсе неправильнаго и скорѣе напоминающаго славянскій типъ, чѣмъ итальянскій, оживлена, проникнута безпредѣльной добротой, любовью и тѣмъ, что называется *bienveillance* (я употребляю французское слово, потому что наше «благоволеніе» затаскалось до того, что его смыслъ исказился). То же въ его взглядѣ, то же въ его голосѣ, и все это такъ просто, такъ отъ души, что если человѣкъ не имѣетъ задней мысли и вообще не остережется, то онъ непременно его полюбитъ.

Но одной добротой не исчерпывается ни его характеръ, ни выраженіе его лица; рядомъ съ его добродушіемъ и увлекаемостью чувствуется несокрушимая, нравственная твердость и какою-то возвать на себя, задумчивый и страшно грустный. Этой черты меланхолической, печальной я прежде не замѣчалъ въ немъ.

Минутами разговоръ обрывается; по его лицу, какъ тучи по морю, пробѣгаютъ какія-то мысли,—ужасъ ли то передъ судьбами, лежащими на его плечахъ, передъ тѣмъ народнымъ *помазаніемъ*, отъ котораго онъ уже не можетъ отказаться? Сомнѣніе ли послѣ того, какъ онъ видѣлъ столько измѣнъ, столько паденій, столько слабыхъ людей? Испушеніе ли величія? Послѣдняго не думаю, его личность давно исчезла въ его дѣлѣ...

Я увѣренъ, что подобная черта страданья, передъ призваніемъ, была и на лицѣ Дѣвы Орлеанской, и на лицѣ Іоанна Лейденскаго,—они принадлежали народу, стихійныя чувства или лучше предчувствія, заморенныя въ насъ, сильнѣе въ народѣ. Въ ихъ вѣрѣ былъ фатализмъ, а фатализмъ самъ по себѣ безконечно грустенъ.

... Гарибальди вспомнилъ разныя подробности о 1854 годѣ, когда онъ былъ въ Лондонѣ, какъ онъ ночевалъ у меня, опоздавши въ Indian docks; я напомнилъ ему, какъ онъ въ этотъ день пошелъ гулять съ моимъ сыномъ и сдѣлалъ для меня его фотографію у Кальдези, объ обѣдѣ у американскаго консула съ Бюхананомъ, который нѣкогда надѣлалъ бездну шума и въ сущности не имѣлъ смысла.

— Я долженъ вамъ покаяться, что я поторопился къ вамъ при-

ѣхать не безъ цѣли, сказалъ я, наконецъ, ему,—я боялся, что атмосфера, которой вы окружены, слишкомъ англійская, т. е., туманная, для того, чтобъ ясно видѣть закулисную механику одной пьесы, которая съ успѣхомъ разыгрывается теперь въ парламентѣ... Чѣмъ вы дальше поѣдете, тѣмъ гуще будетъ туманъ. Хотите вы меня выслушать?

— Говорите, говорите,—мы старые друзья.

Я разсказалъ ему дебаты, журнальный вопль, нелѣпость выходокъ противъ Маццини, пытку, которой подвергали Стансфильда.

— Замѣтите, добавилъ я, что въ Стансфильдѣ тори и ихъ сообщники преслѣдуютъ не только революцію, которую они смѣниваютъ съ Маццини, не только министерство Пальмерстона, но, сверхъ того, человѣка, своимъ личнымъ достоинствомъ, своимъ трудомъ, умомъ достигнувшаго въ довольно молодыхъ лѣтахъ мѣста лорда въ адмиралтействѣ, человѣка безъ рода и связей въ аристократіи.—На васъ прямо они не смѣютъ нападать на сію минуту, но посмотрите, какъ они безцеремонно васъ трактуютъ. Вчера въ Коусѣ я купилъ послѣдній листъ Standart'a; ѣхавши къ вамъ, я его прочиталъ, посмотрите. «Мы увѣрены, что Гарибальди пойметъ настолько обязанности, возлагаемыя на него гостепріимствомъ Англіи, что не будетъ имѣть сношеній съ прежнимъ товарищемъ своимъ, и найдетъ настолько такта, чтобъ не ѣздить въ 35, Thourloe Square» ¹⁾. Затѣмъ выговоръ *par anticipation*, если вы этого не исполните.

— Я слышалъ кое-что, сказалъ Гарибальди, объ этой интригѣ. *Разумѣется, одинъ изъ первыхъ визитовъ моихъ будетъ къ Стансфильду.*

— Вы знаете лучше меня, что вамъ дѣлать, я хотѣлъ вамъ только показать безъ тумана безобразныя линіи этой интриги.

Гарибальди всталъ, я думалъ, что онъ хочетъ окончить свиданіе и сталъ прощаться.

— Нѣтъ, нѣтъ, пойдемте теперь ко мнѣ, сказалъ онъ и мы пошли.

Прихрамываетъ онъ сильно, но вообще его организмъ вышелъ торжественно изъ всякаго рода моральныхъ и хирургическихъ зондированій, операцій и пр.

Костюмъ его, скажу еще разъ, необыкновенно идетъ къ нему и необыкновенно изященъ; въ немъ нѣтъ ничего профессионально-солдатскаго и ничего буржуазнаго, онъ очень простъ и очень удобенъ. Непринужденность, отсутствіе всякой афектаціи въ томъ, какъ онъ носитъ его, остановили салонныя пересуды и тонкія

¹⁾ Квартира Стансфильда.

насмѣшки. Врядъ существуетъ-ли европеецъ, которому бы сошла съ рукъ *красная рубашка* въ дворцахъ и палатахъ Англіи.

Притомъ костюмъ его чрезвычайно важенъ. Аристократія думаетъ, что, схвативши его коня подъ уздцы, она его поведетъ, куда хочетъ, и, главное, отведетъ отъ народа; но народъ смотритъ на *красную рубашку* и радъ, что дюки, маркизы и лорды пошли въ конюхи и официанты къ революціонному вождю, взяли на себя должности мажордомовъ, пажей и скороходовъ при великомъ плебеѣ въ плебейскомъ платьѣ.

Консервативныя газеты замѣтили бѣду и, чтобъ смягчить безнравственность и безчиніе гарибальдѣйскаго костюма, выдумали, что онъ носитъ *мундиръ* монтевидейскаго волонтера. Да, вѣдь, Гарибальди съ тѣхъ поръ былъ пожалованъ генераломъ—королемъ, которому онъ пожаловалъ два королевства,—отчего же онъ носитъ мундиръ монтевидейскаго волонтера?

Да и почему то, что онъ носитъ,—мундиръ?

Къ мундиру принадлежитъ какое-нибудь смертоносное оружіе, какой-нибудь знакъ власти, или кровавыхъ воспоминаній. Гарибальди ходитъ безъ оружія, онъ не боится никого и никого не страшаетъ; въ Гарибальди такъ же мало военнаго, какъ мало аристократическаго и мѣщанскаго. «Я не солдатъ, говорилъ онъ въ Кристальпаласѣ итальянцамъ, подносявшимъ ему мечъ, и не люблю солдатскаго ремесла. Я видѣлъ мой отчій домъ, наполненный разбойниками, и схватился за оружіе, чтобъ ихъ выгнать». — «Я работникъ, происхожу отъ работниковъ и горжусь этимъ». — сказалъ онъ въ другомъ мѣстѣ.

При этомъ нельзя не замѣтить, что у Гарибальди нѣтъ также ни на іоту плебейской грубости, ни изученнаго демократизма. Его обращеніе мягко до женственности. Итальянецъ и человѣкъ, онъ на вершинѣ общественнаго міра представляетъ не только плебея, вѣрнаго своему началу, но итальянца, вѣрнаго эстетичности своей расы.

Его мантия, застегнутая на груди, не столько военный плащъ, сколько риза воина-первосвященника, *propheta-re*. Когда онъ поднимаетъ руку, отъ него ждуть благословенія и привѣта, а не военнаго приказа.

Гарибальди заговорилъ о польскихъ дѣлахъ.

— Я полагаю, что Галиція готова къ возстанію?

Я промолчалъ.

— Такъ же, какъ и Венгрія,—вы не вѣрите?

— Нѣтъ, я просто не знаю.

— Ну, а можно ли ждать какого-нибудь движенія въ Россіи?

— Никакого. Съ тѣхъ поръ какъ я вамъ писалъ письмо, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, ничего не перемѣнилось.

Такъ продолжался разговоръ еще нѣсколько минутъ, начались въ дверяхъ показываться архи-англійскія фізіономіи, шурстѣтъ дамскія платья... я всталъ.

— Куда вы торопитесь?—сказалъ Гарибальди.

— Я не хочу васъ больше красть у Англіи.

— До свиданья въ Лондонѣ, не правда ли?

— Я непременно буду. Правда, что вы останавливаетесь у дюка Сутерландскаго?

— Да, сказалъ Гарибальди и прибавилъ, будто извиняясь:— не могъ отказаться.

— Такъ я явлюсь къ вамъ напудрившись, для того, чтобъ лакеи въ Стаффордъ-гаузѣ подумали, что у меня пудренный слуга.

Въ это время явился поэтъ *лавреатъ* Теннисонъ съ женой,— это было слишкомъ много лавровъ, и я по тому же непрерывному дождю отправился въ Коусъ.

Перемята декорациа, но продолженіе той же пьесы. Пароходъ изъ Коуса въ Соутгэмптонъ только-что ушелъ, а другой отправлялся черезъ три часа, въ силу чего я пошелъ въ ближайшій ресторанъ, заказалъ себѣ обѣдъ и принялся читать «Теймсъ». Съ первыхъ строкъ я былъ ошеломленъ. Семидесятипятилѣтній Авраамъ, судившійся мѣсяца два тому назадъ за какія-то пашни съ новой Агарью, принесъ окончательно на жертву своего Галифакскаго Исаака. Отставка Стансфильда была принята. И это въ самое то время, когда Гарибальди начиналъ свое торжественное шествіе въ Англіи. Говоря съ Гарибальди, я этого даже не предполагалъ.

Что Стансфильдъ подалъ во второй разъ въ отставку, видя, что травля продолжается, совершенно естественно. Ему съ самаго начала слѣдовало стать во весь ростъ и бросить свое лордшипство. Стансфильдъ сдѣлалъ свое дѣло. Но что сдѣлалъ Пальмерстонъ съ товарищами? И что онъ лепеталъ потомъ въ своей рѣчи?... Съ какой подобострастной лестью отзывался онъ о великодушномъ союзникѣ, о притрепетномъ желаніи ему долговѣчья и всякаго блага на вѣки нерушимаго. Какъ будто кто-нибудь бралъ au sérieux эту полицейскую фарсу Greco Trabucco et C^o.

Это была *Маджента*.

Я спросилъ бумаги и написалъ письмо къ Гверцони; написалъ я его со всей свѣжестью досады и просилъ его прочесть «Теймсъ» Гарибальди; я ему писалъ о безобразіи этой апотеозы Гарибальди—рядомъ съ оскорбленіями Мадцини. «Мнѣ 52 года, говорилъ я, но признаюсь, что слезы негодованія навертываются на глазахъ, при мысли объ этой несправедливости» и проч.

За нѣсколько дней до моей поѣздки, я былъ у Мадцини. Че-

ловѣкъ этотъ многое вынесъ, многое умѣть выносить, это старый боецъ, котораго ни утомить, ни низложить нельзя; но тутъ я его засталъ сильно огорченнымъ, именно тѣмъ, что его выбрали средствомъ для того, чтобъ выбить изъ стремянъ его друга. Когда я писалъ письмо къ Гверцони образъ исхудалаго, благороднаго старца съ сверкающими глазами носился передо мной.

Когда я кончилъ и человѣкъ подаль объѣдъ, я замѣтилъ, что я не одинъ: небольшого роста бѣлокурый молодой человѣкъ съ усиками и въ синей пальто-курткѣ, которую носить моряки, сидѣлъ у камина, à l'américaine, хитро утвердивши ноги въ уровень съ ушами. Манера говорить скороговоркой, совершенно провинціальныи акцентъ, дѣлавшій для меня его рѣчь непонятной, убѣдили меня еще больше, что это какой-нибудь пирующій на берегу мичманъ, и я пересталъ имъ заниматься,—говорилъ онъ не со мной, а съ слугой. Знакомство окончилось было тѣмъ, что я ему подвинулъ соль, а онъ зато потряхнулъ головой.

Вскорѣ къ нему присоединились пожилыхъ лѣтъ черноватенькій господинъ, весь въ черномъ и весь до невозможности застегнутый, съ тѣмъ особеннымъ видомъ помѣшательства, которое даетъ людямъ натянутая религіозная экзальтація, дѣлающаяся натуральной отъ долгаго употребленія.

Казалось, что онъ хорошо зналъ мичмана и пришелъ, чтобъ съ нимъ повидаться. Послѣ трехъ-четырехъ словъ, онъ пересталъ *говорить* и началъ *проповѣдывать*. «Видѣлъ я, говорилъ онъ Маккавея, Гедеона... орудіе въ рукахъ промысла, его мечъ, его пращъ... и чѣмъ болѣе я смотрѣлъ на него, тѣмъ сильнѣе былъ тронутъ, и со слезами твердилъ: мечъ Господень! мечъ Господень! Слабаго Давида избралъ онъ побить Голиаѳа. Оттого-то народъ англійскій, народъ избранный, идетъ ему на срѣтеніе, какъ къ невѣстѣ ливанской... Сердце народа въ рукахъ Божіихъ; оно сказало ему, что это мечъ Господень, орудіе промысла, Гедеонъ!»

...Отворились настежъ двери и вошла не невѣста ливанская, а разомъ человѣкъ десять важныхъ бриттовъ, и въ ихъ числѣ лордъ Шефтсбюри, Линдсей. Всѣ они усѣлись за столъ и потребовали что-нибудь перекусить, объявляя, что сейчасъ ѣдутъ въ Brook-house. Это была официальная депутація отъ Лондона, съ приглашеніемъ къ Гарибальди. Проповѣдникъ умолкъ; но мичманъ поднялся въ моихъ глазахъ: онъ съ такимъ недвусмысленнымъ чувствомъ отвращенія смотрѣлъ на взошедшую депутацію, что мнѣ пришло въ голову, вспоминая проповѣдь его пріятеля, что онъ принимаетъ этихъ людей, если не за мечи и кортики сатаны, то хоть за его перочинные ножики и ланцеты.

Я спросилъ его, какъ слѣдуетъ надписать письмо въ Brook-

house? достаточно ли назвать домъ, или надобно прибавить ближній городъ. Онъ сказалъ, что ненужно ничего прибавлять.

Одинъ изъ депутаціи, сѣдой, толстый старикъ, спросилъ меня, къ кому я посылаю письмо въ Brook-house?

— Къ Гверцони.

— Онъ, кажется, секретаремъ при Гарибальди?

— Да.

— Чего же вамъ хлопотать, мы сейчасъ ѣдемъ, я охотно свезу письмо.

Я вынулъ мою карточку и отдалъ ее съ письмомъ. Можетъ ли что-нибудь подобное случиться на континентѣ? Представьте себѣ, если-бъ во Франціи кто-нибудь спросилъ бы васъ въ гостиницѣ,—къ кому вы пишете, и узнавши, что это къ секретарю Гарибальди, взялся бы доставить письмо?

Письмо было отдано и я на другой день имѣлъ отвѣтъ въ Лондонѣ.

Редакторъ иностранной части Morning Star'a узналъ меня. Начались вопросы о томъ, какъ я нашелъ Гарибальди, о его здоровьи. Поговоривши нѣсколько минутъ съ нимъ, я ушелъ въ smoking room. Тамъ сидѣли за пель-элеми и трубками мой бѣлокурый морякъ и его черномазый теологъ.

— Что, сказалъ онъ мнѣ, наглядѣлись вы на эти лица?.. а, вѣдь, это неподражаемо хорошо: лордъ Шефтсбюри, Линдсей ѣдутъ депутатами приглашать Гарибальди. Что за комедія! Знаютъ ли они, кто такое Гарибальди?

— Орудіе промысла, мечъ въ рукахъ Господнихъ, его прачщъ... потому-то онъ и вознесъ его и оставилъ его въ святой простотѣ его...

— Это все очень хорошо, да за чѣмъ ѣдутъ эти господа? Спросилъ бы я кой у кого изъ нихъ,—сколько у нихъ денегъ въ Алабамѣ?.. Дайте-ка Гарибальди пріѣхать въ Ньюкестль-он'Тейнъ да въ Глазговъ, тамъ онъ увидитъ народъ поближе, тамъ ему не будутъ мѣшать лорды и дюки.

Это былъ не мищманъ, а корабельный постройщикъ. Онъ долго жилъ въ Америкѣ, зналъ хорошо дѣла Юга и Сѣвера, говорилъ о безвыходности тамошней войны, на что утѣшительный теологъ замѣтилъ:

— Если Господь раздвоилъ народъ этотъ и направилъ брата на брата, Онъ имѣетъ свои виды, и если мы ихъ не понимаемъ, то должны покоряться Провидѣнію даже тогда, когда оно караетъ.

Вотъ гдѣ и въ какой формѣ мнѣ пришлось слышать въ послѣдній разъ комментарий на знаменитый гегелевскій мотто: «Все, что дѣйствительно, то разумно».

Дружески пожавъ руку моряку и его каплану, я отправился въ Соутгамтонъ.

На пароходѣ я встрѣтилъ радикальнаго публициста Голіока; онъ видѣлся съ Гарибальди позже меня, Гарибальди черезъ него приглашалъ Мадцини; онъ ему уже телеграфировалъ, чтобъ онъ ѣхалъ въ Соутгамтонъ, гдѣ Голіокъ намѣренъ былъ его ждать съ Менотти Гарибальди и его братомъ. Голіоку очень хотѣлось доставить еще въ тотъ-же вечеръ два письма въ Лондонъ (по почтѣ они придти не могли до утра). Я предложилъ мои услуги.

Въ 11 часовъ вечера пріѣхалъ я въ Лондонъ, заказалъ въ York hotelъ возлѣ Ватерлооской станціи комнату и поѣхалъ съ письмами, удивляясь тому, что дождь все еще не успѣлъ перестать. Въ часъ или въ началъ второго пріѣхалъ я въ гостиницу,—заперто. Я стучался, стучался... Какой-то пьяный, оканчивавшій свой вечеръ возлѣ рѣшетки кабака, сказалъ: «не тутъ стучите, въ переулкѣ есть night-bell»; пошелъ я искать night-bell, нашелъ и сталъ звонить. Не отворяя дверей, изъ какого-то подземелья высунулась заспанная голова, грубо спрашивая: «Чего мнѣ?»—Комнаты.—«Ни одной нѣтъ».—Я въ 11 часовъ самъ заказалъ.—«Говорятъ, что нѣтъ ни одной», и онъ захлопнулъ дверь преисподней, не дождавшись даже, чтобъ я его обругалъ, что я и сдѣлалъ платонически, потому что онъ слышать не могъ.

Дѣло было непріятное, найти въ Лондонѣ въ два часа ночи комнату, особенно въ такой части города, не легко. Я вспомнилъ объ небольшомъ французскомъ ресторанѣ и отправился туда.—«Есть комната?»—спросилъ я хозяина.—«Есть, да не очень хороша».—«Показывайте». Дѣйствительно, онъ сказалъ правду, комната была не только не очень хороша, но прескверная. Выбора не было, я отворилъ окно и сошелъ на минуту въ залу. Тамъ все еще пили, кричали, играли въ карты и домино какіе-то французы. Нѣмецъ колоссальнаго роста, котораго я видалъ, подошелъ ко мнѣ и спросилъ, имѣю ли я время съ нимъ поговорить наединѣ, что ему нужно мнѣ сообщить что-то особенно важное.

— Разумѣется, имѣю, пойдемте въ другую залу, тамъ никого нѣтъ.

Нѣмецъ сѣлъ противъ меня и трагически началъ мнѣ рассказывать, какъ его патронъ французъ надулъ, какъ онъ три года эксплуатировалъ его, заставляя втрое больше работать, лаская надеждой, что онъ его приметъ въ товарищи, и вдругъ, не говоря худого слова, уѣхалъ въ Парижъ и тамъ нашелъ товарища. Въ силу этого, нѣмецъ сказалъ ему, что онъ оставляетъ мѣсто, а патронъ не возвращается...

— Да за чѣмъ же вы вѣрили ему безъ всякаго условія?

— Weil ich ein dummer Deutscher bin.

— Ну, это другое дѣло.

— Я хочу запечатать заведеіе и уйти.

— Смотрите, онъ вамъ сдѣлаетъ процессъ; знаете ли вы здѣшніе законы?

Нѣмецъ покачалъ головой.

— Хотѣлось бы мнѣ насолить ему... А вы вѣрно были у Гарибальди?

— Былъ.

— Ну, что онъ? Ein famoser Kerl... Да, вѣдь, если-бъ онъ мнѣ не обѣщаль цѣлые три года, я бы иначе велъ дѣла... Этого нельзя было ждать, нельзя... А что его рана?

— Кажется, ничего.

— Эдакая бестія, все скрылъ и въ послѣдній день говорить: у меня ужъ есть товарищъ-associé... Я вамъ, кажется, надоѣлъ?

— Совсѣмъ нѣтъ, только я немного усталъ, хочу спать, я всталъ въ 6 часовъ, а теперь два съ хвостикомъ.

— Да, что же мнѣ дѣлать? Я ужасно обрадовался, когда вы вошли, ich habe so bei mir gedacht der wird Rath schaffen. Такъ не запечатывать заведенія?

— Нѣтъ. А такъ какъ ему полюбилось въ Парижѣ, такъ вы ему завтра же напишите: «Заведеніе запечатано, когда вамъ угодно принимать его?» Вы увидите эффектъ, онъ бросить жену и игру на биржѣ, прискачетъ сюда и... и увидить, что заведеніе не заперто.

— Saperlot! das ist eine Idée—ausgezeichnet, я пойду писать письмо.

— А я спать. Gute Nacht.

— Schlafen sie wohl!

Я спрашиваю свѣчку. Хозяинъ подаетъ ее собственноручно и объясняетъ, что ему нужно переговорить со мной. Слово я сдѣлался духовникомъ.

— Что вамъ надобно, оно немного поздно, но я готовъ.

— Нѣсколько словъ. Я васъ хотѣлъ спросить,—какъ вы думаете, если я завтра выставлю бюстъ Гарибальди, знаете, съ цвѣтами, съ лавровымъ вѣнкомъ, вѣдь, это будетъ очень хорошо? Я ужъ и о надписи думалъ... трехцвѣтными буквами: Garibaldi—libérateur?

— Отчего же—можно! Только французское посольство запретить ходить въ вашъ ресторанъ французамъ, а они у васъ съ утра до ночи.

— Оно такъ... Но знаете, сколько денегъ запибешъ, выставивши бюстъ... а потомъ забудутъ...

— Смотрите, замѣтилъ я, рѣшительно вставал, чтобъ идти,—не говорите никому, у васъ украдутъ эту оригинальную мысль.

— Никому, никому ни слова. Что мы говорили, останется, я надѣюсь, я прошу, между нами двумя.

— Не сомнѣвайтесь, и я отправился въ нечистую спальню его.

Симъ оканчивается мое первое свиданіе съ Гарибальди въ 1864 году.

II.

Въ Стаффордъ-гаузѣ.

Въ день приѣзда Гарибальди въ Лондонъ, я его не видалъ, а видѣлъ море народа, рѣки народа, запруженные имъ улицы въ нѣсколько верстъ, наводненные площади; вездѣ, гдѣ былъ карнизъ, балконъ, окно, выступили люди, и все это ждало, въ пныхъ мѣстахъ *шесть часовъ*... Гарибальди приѣхалъ въ половинѣ третьяго на станцію Нейн'Эльмсъ и только въ половинѣ девятаго подѣхалъ къ Стаффордъ-гаузу, у подѣзда котораго ждалъ его дюкъ Сутерландъ съ женой.

Англійская толпа груба, многочисленныя сборища ея не обходятся безъ дракъ, безъ пьяныхъ, безъ всякаго рода отвратительныхъ сценъ и, главное, безъ организованнаго на огромную скалу воровства. На этотъ разъ порядокъ былъ удивительный.

У Вестминстерскаго моста, близъ парламента, народъ такъ плотно сжался, что коляска, ѣхавшая шагомъ, остановилась и процессія, тянувшаяся на версту, ушла впередъ съ своими знаменами, музыкой и пр. Съ криками ура народъ обліпилъ коляску, все, что могло продраться, жало руку, цѣловало края плаща Гарибальди, кричало Wellcom! Съ какимъ-то упоеньемъ любясь на великаго плебея, народъ хотѣлъ отложить лошадей и везти на себѣ, но его уговорили. Дюковъ и лордовъ, окружавшихъ его, никто не замѣчалъ. Эта овація продолжалась около часа, одна народная волна передавала гостя другой, при чемъ коляска двигалась нѣсколько шаговъ и снова останавливалась.

Злоба и остервенѣніе континентальныхъ консерваторовъ совершенно понятны. У нихъ помутилось въ глазахъ, зашумѣло въ ушахъ... Англія дворцовъ, Англія сундуковъ, забывъ всякое приличіе, идетъ вмѣстѣ съ Англіей мастерскихъ на срѣтеніе какого-то «aventurier», мятежника, который былъ бы повѣшенъ, если-бъ ему не удалось освободить Сициліи. «Отчего, говоритъ опростоволосившаяся La France, отчего Лондонъ никогда такъ не встрѣчалъ маршала Пелисье, котораго слава такъ чиста?» и даже несмотря на то, забыла она прибавить, что онъ выжигалъ сотнями арабовъ

съ дѣтми и женами, такъ, какъ у насъ выжигаютъ таракановъ.

Жаль, что Гарибальди принялъ гостепріимство дюка Сутерландскаго. Неважное значеніе и политическая стертость «пожарнаго» дюка до нѣкоторой степени дѣлали Стаффордъ-гаузъ, гостиницей Гарибальди... Но все-же обстановка не шла и интрига, затѣянная *до въѣзда* его въ Лондонъ, расцвѣла удобно на дворцовомъ грунтѣ. Цѣль ея состояла въ томъ, чтобъ удалить Гарибальди отъ народа, т. е., отъ работниковъ, и отрѣзать его отъ тѣхъ изъ друзей и знакомыхъ, которые остались вѣрными прежнему знамени и, разумѣется, пуще всего отъ Маццини. Благородство и простота Гарибальди сдула большую половину этихъ ширмъ, но другая половина осталась,—именно, невозможность говорить съ нимъ безъ свидѣтелей. Если-бъ Гарибальди не вставалъ въ 5 часовъ утра и не принималъ въ 6, она удалась бы совсѣмъ; по счастью, усердіе интриги раньше половины девятаго не шло; только въ день его отъѣзда дамы начали вторженіе въ его спальню часомъ раньше. Разъ какъ-то Мордини, не успѣвъ сказать ни слова съ Гарибальди въ продолженіе часа, смѣясь, замѣтилъ мнѣ: «Въ мірѣ нѣтъ человѣка, котораго бы было легче видѣть, какъ Гарибальди, но зато нѣтъ человѣка, съ которымъ бы было труднѣе говорить».

Гостепріимство дюка было далеко лишено того широкаго характера, которое нѣкогда мирило съ аристократической роскошью. Онъ далъ только комнату для Гарибальди и для молодого человѣка, который перевязывалъ его ногу; а другимъ, т. е., сыновьямъ Гарибальди, Гверцони и Базиліо, хотѣлъ нанять комнаты. Они, разумѣется, отказались и помѣстились на свой счетъ въ Bath hotel. Чтобъ оцѣнить эту странность, надо знать, что такое Стаффордъ-гаузъ. Въ немъ можно помѣстить, не стѣсняя хозяевъ, всѣ семьи крестьянъ, пущенныхъ по міру отцомъ дюка, а ихъ очень много.

Англичане дурные актеры, и это имъ дѣлаетъ величайшую честь. Въ первый разъ какъ я былъ у Гарибальди въ Стаффордъ-гаузѣ, придворная интрига около него бросилась мнѣ въ глаза. Разные Фигаро и фактотумы, служители и наблюдатели сновали безпрерывно. Какой-то итальянецъ сдѣлался полицмейстеромъ, церемоніймейстеромъ, экзекуторомъ, дворецкимъ, бутафоромъ, суфлеромъ. Да и какъ не сдѣлаться за честь засѣдать съ дюками и лордами, вмѣстѣ съ ними предпринимать мѣры для предупрежденія и пресѣченія всѣхъ сближеній между народомъ и Гарибальди, и вмѣстѣ съ дюкесами плести паутину, которая должна поймать итальянскаго вожда и которую хромой генераль рвалъ ежедневно, не замѣчая ее.

Гарибальди, напрімѣрь, ѣдетъ къ Маццини. Что дѣлать? Какъ скрыть? Сейчасъ на сцену бутафоры, фактотумы,—средство найдено. На другое утро весь Лондонъ читаетъ: «Вчера въ такомъ-то часу Гарибальди посѣтилъ въ Онсло Террасъ *Джонъ Френса*». Вы думаете, что это вымышленное имя,—нѣтъ, это имя хозяина, содержащаго квартиру.

Гарибальди не думалъ отречься отъ Маццини; но онъ могъ ухватить изъ этого водоворота, не встрѣчаясь съ нимъ при людяхъ и не заявивъ этого публично. Маццини отказался отъ посѣщеній къ Гарибальди, пока онъ будетъ въ Стаффордъ-гаузѣ. Они могли бы легко встрѣтиться при небольшомъ числѣ, но никто не бралъ инициативы. Подумавъ объ этомъ, я написалъ къ Маццини записку и спросилъ его, приметъ ли Гарибальди приглашеніе въ такую даль, какъ Теддингтонъ, если нѣтъ, то я его не буду звать, тѣмъ дѣло и кончится; если же поѣдетъ, то я очень желалъ бы ихъ обоихъ пригласить. Маццини написалъ мнѣ на другой день, что Гарибальди очень радъ, и что если ему ничего не помѣшаетъ, то они пріѣдутъ въ воскресенье, въ часъ. Маццини въ заключеніе прибавилъ, что Гарибальди очень бы желалъ видѣть у меня Ледрю-Роллена.

Въ субботу утромъ я поѣхалъ къ Гарибальди и, не заставъ его дома, остался съ Саффи, Гверцони и др. его ждать. Когда онъ возвратился, толпа посѣтителей, ожидавшихъ въ сѣняхъ и коридорѣ, бросилась на него; одинъ храбрый бриттъ вырвалъ у него палку, всунулъ ему въ руку другую и съ какимъ-то азартомъ повторялъ: «Генераль, эта лучше, вы примите, вы позвольте, эта лучше». — «Да за чѣмъ-же?» — спросилъ Гарибальди, улыбаясь, — я къ моей палкѣ привыкъ». Но видя, что англичанинъ безъ боя палки не отдастъ, пожалъ слегка плечами и пошелъ дальше.

Въ залѣ, за мною, шелъ крупный разговоръ. Я не обратилъ бы на него никакого вниманія, если-бъ не услышалъ громко повторенныя слова:

— Capite, Теддингтонъ въ двухъ шагахъ отъ Гамптонъ-корта. Помилуйте, да это невозможно, матеріально невозможно... въ двухъ шагахъ отъ Гамптонъ-корта, это 16-18 миль.

Я обернулся и, видя совершенно мнѣ незнакомаго человѣка, принимавшаго такъ къ сердцу разстояніе отъ Лондона до Теддингтона, я ему сказалъ:

— Двѣнадцать или тринадцать миль.

Спорившій тотчасъ обратился ко мнѣ:

— И тринадцать миль страшное дѣло. Генераль долженъ быть въ три часа въ Лондонѣ... во всякомъ случаѣ Теддингтонъ надо отложить.

Гверцони повторялъ ему, что Гарибальди хочет ѣхать и поѣдетъ.

Къ итальянскому опекуну прибавился англійскій, находившій, что принять приглашеніе въ такую даль сдѣластъ гибельный antecedentъ... Желая имъ напомнить неделикатность дебатировать этотъ вопросъ при мнѣ, я замѣтилъ имъ:

— Господа, позвольте мнѣ покончить вашъ споръ,—и тутъ же, подойдя къ Гарибальди, сказалъ ему:—Мнѣ ваше посѣщеніе безконечно дорого. Зная, какъ вы заняты, я боялся васъ звать. По одному слову общаго друга, вы велѣли мнѣ передать, что пріѣдете. Это вдвое дороже для меня. Я вѣрю, что вы хотите пріѣхать, но я не настаиваю (*je n'insiste pas*), если это сопряжено съ такими непреодолимыми препятствіями, какъ говоритъ этотъ господинъ, котораго я не знаю,—я указалъ его пальцемъ.

— Въ чемъ же препятствія?—спросилъ Гарибальди.

Impressario подбѣжалъ и скороговоркой представилъ ему всѣ резоны, что ѣхать завтра въ 11 часовъ въ Теддингтонъ и пріѣхать къ тремъ невозможно.

— Это очень просто, сказалъ Гарибальди, значитъ надо ѣхать не въ 11, а въ 10, кажется ясно?

Импрессарио исчезъ.

— Въ такомъ случаѣ, чтобъ не было ни потери времени, ни исканья, ни новыхъ затрудненій, сказалъ я, позвольте мнѣ пріѣхать къ вамъ въ десятомъ часу и поѣдемте вмѣстѣ.

— Очень радъ, я васъ буду ждать.

Отъ Гарибальди я отправился къ Ледрю-Ролленъ. Въ послѣдніе два года я его не видалъ. Не потому, чтобъ между нами были какіе-нибудь счеты, но потому, что между нами мало было общаго. Къ тому же лондонская жизнь и въ особенности въ его предмѣстьяхъ разводитъ людей какъ-то незамѣтно. Онъ держалъ себя въ послѣднее время одиноко и тихо, хотя и вѣрилъ съ тѣмъ же ожесточеніемъ, съ которымъ вѣрилъ 14 іюня 1849 въ близкую революцію во Франціи. Я не вѣрилъ въ нее почти также долго и тоже оставался при моемъ невѣріи.

Ледрю-Ролленъ, съ большой вѣжливостью ко мнѣ, отказался отъ приглашенія. Онъ говорилъ, что душевно былъ бы радъ опять встрѣтиться съ Гарибальди и, разумѣется, готовъ бы былъ ѣхать ко мнѣ, но что онъ, какъ представитель французской республики, какъ пострадавшій за Римъ (13 іюня 1849 года), не можетъ Гарибальди видѣть въ первый разъ иначе, какъ у себя.

— Если, говорилъ онъ, политическіе виды Гарибальди не дозволяютъ ему офиціально показать свою симпатію французской республикѣ, въ моемъ ли лицѣ, въ лицѣ Луи-Блана, или кого-нибудь изъ насъ, все равно, я не буду сѣтовать. Но отклоню

свиданье съ нимъ, гдѣ бы оно ни было. Какъ частный человѣкъ, я желаю его видѣть, но мнѣ нѣтъ особеннаго дѣла до него; французская республика не куртизанка, чтобъ ей назначать свиданье полутайкомъ. Забудьте на минуту, что вы меня приглашаете къ себѣ, и скажите откровенно, согласны вы съ моимъ разсужденіемъ или нѣтъ?

— Я полагаю, что вы правы, и надѣюсь, что вы не имѣете ничего противъ того, чтобъ я передалъ нашъ разговоръ Гарибальди?

— Совѣтъ напротивъ.

Затѣмъ разговоръ перемѣнился. Февральская революція и 1848 годъ вышли изъ могилы и снова стали передо мной въ томъ же образѣ тогдашняго трибуна, съ нѣсколькими морщинами и сѣдинами больше. Тотъ же слогъ, тѣ же мысли, тѣ же обороты, а главное та же надежда.

— Дѣла идутъ превосходно. Имперія не знаетъ, что дѣлать. Elle est debordée. Сегодня еще я имѣлъ вѣсти, невѣроятный успѣхъ въ общественномъ мнѣніи. Да и довольно; кто могъ думать, что такая нелѣпость продержится до 1864.

Я не противорѣчилъ и мы разошлись довольные другъ другомъ.

На другой день, пріѣхавши въ Лондонъ, я началъ съ того, что взялъ карету съ парой сильныхъ лошадей и отправился въ Стаффордъ-гаузъ.

Когда я взошелъ въ комнату Гарибальди, его въ ней не было. А ярый итальянецъ уже съ отчаяніемъ проповѣдывалъ о совершенной невозможности ѣхать въ Теддингтонъ.

— Неужели вы думаете, говорилъ онъ Гверцони, что лошади дюка вынесутъ 12 или 13 миль взадъ и впередъ, да ихъ просто не дадутъ на такую поѣздку.

— Ихъ ненужно, у меня есть карета.

— Да какія же лошади повезутъ назадъ, все тѣ же?

— Не заботьтесь, если лошади устанутъ, впрягутъ другихъ.

Гверцони съ бѣшенствомъ сказалъ мнѣ:

— Когда это кончится эта каторга, всякая дрянь распоряжется, интригуешь.

— Да вы не обо мнѣ ли говорите, кричалъ блѣдный отъ злобы итальянецъ, я, м. г., не позволю съ собой обращаться, какъ съ какимъ-нибудь лакеемъ, и онъ схватилъ на столѣ карандашъ, сломалъ его и бросилъ. Да если такъ, я все брошу, я сейчасъ уйду.

— Объ этомъ-то васъ просятъ.

Ярый итальянецъ направился быстрымъ шагомъ къ двери, но въ дверяхъ показался Гарибальди, покойно посмотрѣлъ онъ на нихъ, на меня и потомъ сказалъ:

— Не пора ли? Я въ вашихъ распоряженіяхъ, только доставьте меня, пожалуйста, въ Лондонъ къ 2½ или 3 часамъ, а теперь позвольте мнѣ принять стараго друга, который только что приѣхалъ, да вы, можетъ, его знаете, Мордини.

— Больше, чѣмъ знаю, мы съ нимъ пріятели. Если вы не имѣете ничего противъ, я его приглашу.

— Возьмемъ его съ собой.

Взошелъ Мордини, я отошелъ съ Саффи къ окну. Вдругъ фактотумъ, измѣнившій свое намѣреніе, подбѣжалъ ко мнѣ и храбро спросилъ меня:

— Позвольте, я ничего не понимаю, у васъ карета, а ѣдете.— вы сосчитайте: генераль, вы, Меноти, Гверцони, Саффи и Мордини... гдѣ вы сядете?

— Если нужно, будетъ еще карета, двѣ...

— А время-то ихъ достать...

Я посмотрѣлъ на него и, обращаясь къ Мордини, сказалъ ему:

— Мордини, я къ вамъ и къ Саффи съ просьбой, возьмите энсомъ и позжайте сейчасъ на Ватерлооскую станцію, вы застанете train, а то вотъ этотъ господинъ заботится, что намъ негдѣ сѣсть и нѣтъ времени послать за другой каретой. Если-бъ я вчера зналъ, что будутъ такіа затрудненія, я пригласилъ бы Гарибальди ѣхать по желѣзной дорогѣ; теперь это потому нельзя, что я не отвѣчаю, найдемъ ли мы карету или коляску у теддингтонской станціи. А пѣшкомъ идти до моего дома я не хочу его заставить.

— Очень рады, мы ѣдемъ сейчасъ, отвѣчали Саффи и Мордини.

— Поѣдемте и мы, сказалъ Гарибальди, вставая.

Мы вышли, толпа уже густо покрывала мѣсто передъ Стаффордъ-гаузомъ. Громкое, продолжительное *ура* встрѣтило и проводило нашу карету.

Менотти не могъ уѣхать съ нами, онъ съ братомъ отправлялся въ Виндзоръ. Говорятъ, что королева, которой хотѣлось видѣть Гарибальди, но которая одна во всей Великобританіи не имѣла на то права, желала *нечаянно* встрѣтиться съ его сыновьями. Въ этомъ дѣлѣжъ львиная часть досталась не королевѣ...

III.

У н а с ъ.

День этотъ удался необыкновенно и былъ однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ, безоблачныхъ и прекрасныхъ дней послѣднихъ пятнадцати лѣтъ. Въ немъ была удивительная ясность и полнота,

въ немъ была эстетическая мѣра и законченность, очень рѣдко случающіяся. *Однимъ* днемъ позже, и праздникъ нашъ не имѣлъ бы того характера. Однимъ не итальянцемъ больше и тонъ былъ бы другой, по крайней мѣрѣ, была бы боязнь, что онъ исказится. Такіе дни представляютъ вершины... Дальше, выше, въ сторону—ничего, какъ въ пропѣтыхъ звукахъ, какъ въ распустившихся цвѣтахъ.

Съ той минуты, какъ исчезъ подъѣздъ Стаффордъ-гауза съ фактотами, лакеями и швейцаромъ Сутерландскаго дюка и толпа приняла Гарибальди своимъ *ура*, на душѣ стало легко, все настроилось на свободный человѣческій діапазонъ и такъ осталось до той минуты, когда Гарибальди, снова тѣснимый, сжимаемый народомъ, цѣлуемый въ плечо и въ полы, сѣлъ въ карету и уѣхалъ въ Лондонъ.

На дорогѣ говорили объ разныхъ разностяхъ. Гарибальди дивился, что нѣмцы не понимаютъ, что въ Даніи побѣждаетъ не ихъ свобода, не ихъ единство, а двѣ армии двухъ государствъ, съ которыми они послѣ не сладятъ ¹⁾).

— Если-бъ Данія была поддержана въ ея борьбѣ, говорилъ онъ, силы Австріи и Пруссіи были бы отвлечены, намъ открылась бы линія дѣйствій на противоположномъ берегу.

Я замѣтилъ ему, что нѣмцы страшные націоналисты, что на нихъ наклепали космополитизмъ, потому что ихъ знали по книгамъ. Они патріоты не меньше французовъ, но французы спокойнѣе, зная, что ихъ боятся. Нѣмцы знаютъ невыгодное мнѣніе о себѣ другихъ народовъ и выходятъ изъ себя, чтобъ поддержать свою репутацію.

— Неужели вы думаете, прибавилъ я, что есть нѣмцы, которые хотятъ отдать Венецію и квадрилатерь? Можетъ, еще Венецію, вопросъ этотъ слишкомъ на виду, неправда этого дѣла очевидна, аристократическое имя дѣйствуетъ на нихъ; а вы поговорите о Триестѣ, который имъ нуженъ для торговли, и о Галиціи или Познани, которыя имъ нужны для того, чтобъ ихъ *цивилизовать*.

Между прочимъ, я передалъ Гарибальди нашъ разговоръ съ Ледрю-Ролленомъ и прибавилъ, что, по моему мнѣнію, Ледрю-Ролленъ правъ.

— Безъ сомнѣнія, сказалъ Гарибальди, совершенно правъ. Я не подумалъ объ этомъ. Завтра поѣду къ нему и къ Луи Блану. Да нельзя ли захватить теперь? прибавилъ онъ.

Мы были на Вондсвортскомъ шоссе, а Ледрю Ролленъ живетъ

¹⁾ Не странно ли, что Гарибальди въ оцѣнкѣ своей Шлезвигъ-Гольштинскаго вопроса встрѣтился съ К. Фогтомъ?

въ Сентъ-Джонсъ-Вудъ Паркѣ, т. е., за восемь миль. Пришлось и мнѣ à l'impressario сказать, что это матеріально невозможно.

И опять минутами Гарибальди задумывался и молчалъ, и опять черты его лица выражали ту великую скорбь, о которой я упоминалъ. Онъ глядѣлъ въ даль, словно искалъ чего-то на горизонтѣ. Я не прерывалъ его, а смотрѣлъ и думалъ: «мечъ ли онъ въ рукахъ Провидѣнія», или нѣтъ, но навѣрное не полковонецъ по ремеслу, не *генералъ*. Онъ сказалъ святую истину, говоря, что онъ не солдатъ, а просто человѣкъ, вооружившійся, чтобъ защитить поруганный очагъ свой, апостолъ-воинъ, готовый проповѣдывать крестовый походъ и идти во главѣ его, готовый отдать за свой народъ свою душу, своихъ дѣтей, нанести и вынести страшные удары, вырвать душу врага, разсѣять его прахъ... и, позабывши потомъ побѣду, бросить окровавленный мечъ свой вмѣстѣ съ ножнами въ глубину морскую...

Все это и именно *это* поняли народы, поняли массы, поняла чернь тѣмъ яснovidѣніемъ, тѣмъ откровеніемъ, которымъ нѣкогда римскіе рабы поняли непонятную тайну пришествія Христова, и толпы страждущихъ и обремененныхъ, женщинъ и старцевъ, молились кресту казеннаго. Понять значитъ для нихъ увѣровать, увѣровать значитъ чтить, молиться.

Оттого-то весь плебейскій Теддингтонъ и толпился у рѣшетки нашего дома, съ утра поджидая Гарибальди. Когда мы подѣхали, толпа въ какомъ-то изступленіи бросилась его привѣтствовать, жала ему руки, кричала: God bless you, Garibaldi, женщины хватили руку его и цѣловали, цѣловали край его плаща—я это видѣлъ своими глазами—подымали дѣтей своихъ къ нему, плакали... Онъ, какъ въ своей семьѣ, улыбаясь, жалъ имъ руки, кланялся и едва могъ пройти до сѣней. Когда онъ взошелъ, крикъ удвоился,—Гарибальди вышелъ опять и, положа обѣ руки на грудь, кланялся во всѣ стороны. Народъ затихъ, но остался и простоялъ все время, пока Гарибальди уѣхалъ.

Трудно людямъ, не выдавшимъ ничего подобнаго, понять подобныя явленія: «флибустьеръ», сынъ моряка изъ Ниццы, матросъ... и этотъ царскій пріемъ! Что онъ сдѣлалъ для англійскаго народа?... И добрые люди ищутъ, ищутъ въ головѣ объясненія, ищутъ тайную пружину: «въ Англіи удивительно съ какимъ плутовствомъ умѣетъ *начальство* устроить демонстраціи... Насъ не проведешь—Wir wissen was wir wissen—мы сами Гнейста читали!»

Чего добраго, можетъ, и лодочникъ въ Неаполѣ, который разсказывалъ ¹⁾, что медальонъ Гарибальди и медальонъ Богородицы

¹⁾ „Колоколь“. № 177 (1864).

предохраняють во время бури, былъ подкупленъ партіей Сикарди и министерствомъ Веносты!

Хотя оно и сомнительно, чтобъ журнальные Видоки, особенно наши москворѣцкіе, такъ ужъ ясно могли отгадывать игру такихъ мастеровъ, какъ Пальмерстонъ, Гладстонъ и К^о, но все же иной разъ они ее скорѣ поймутъ, по сочувствію крошечнаго паука съ огромнымъ тарантуломъ, чѣмъ секретъ Гарибальдѣвскаго приѣма. И это превосходно для нихъ,—пойми они *эту тайну*, имъ придется повѣситься на ближней осинѣ. Клѣпы на томъ только основаніи и могутъ жить счастливо, что они не догадываются о своемъ запахѣ. Горе клѣпу, у котораго раскроется *человѣческое* обоняніе...

...Маццини пріѣхалъ тотчасъ послѣ Гарибальди, мы всѣ вышли его встрѣчать къ воротамъ. Народъ, услышавъ кто это, громко привѣтствовалъ; народъ вообще ничего не имѣетъ противъ него. Старушечій страхъ передъ агитаторомъ начинается съ лавочниковъ, мелкихъ собственниковъ и проч.

Нѣсколько словъ, которыя сказали Маццини и Гарибальди, извѣстны читателямъ *Колокола*, мы не считаемъ нужнымъ ихъ повторять.

...Всѣ были до того потрясены словами Гарибальди о Маццини ¹⁾, тѣмъ искреннимъ голосомъ, которымъ они были сказаны, той полнотой чувства, которое звучало въ нихъ, той торжественностью, которую они пріобрѣтали отъ ряда предшествовавшихъ событій, что никто не отвѣчалъ, одинъ Маццини протянулъ руку и два раза повторилъ—«это слишкомъ». Я не видалъ ни одного лица, не исключая прислуги, которое не приняло бы вида *recueilli* и не было бы взволновано сознаніемъ, что тутъ пали великія слова, что эта минута вносилась въ исторію.

Мы перешли въ другую комнату. Въ коридорѣ понабрались разныя лица, вдругъ продирается старикъ итальянецъ, стародавній эмигрантъ, бѣднякъ, дѣлавшій мороженое; онъ схватилъ Гарибальди за полу, остановилъ его и, заливаясь слезами, сказалъ:

— Ну, теперь я могу умереть, я его видѣлъ, я его видѣлъ!

Гарибальди обнялъ и поцѣловалъ старика. Тогда старикъ,

¹⁾ Гарибальди, съ *рюмкой марсалы* въ рукахъ, сказалъ:

„Я хочу сегодня исполнить долгъ, который уже давно слѣдовало бы исполнить. Между нами здѣсь челоѣкъ, оказавшій величайшія услуги и моему родному краю и свободѣ вообще. Когда еще я былъ юношей и имѣлъ одни неопредѣленные стремленія, я искалъ челоѣка, который бы могъ быть путеводителемъ, совѣтникомъ моей юности, искалъ его, какъ жаждущій ищетъ воды... Я нашелъ его. Онъ одинъ бодрствовалъ, когда все спало кругомъ. Онъ сдѣлался моимъ другомъ и остался имъ навсегда. въ немъ никогда не потухалъ священный огонь любви къ отечеству и къ свободѣ. Этотъ челоѣкъ Джузеппе Маццини—я пью за него, за моего друга, за моего наставника!“

перебиваясь и путаясь, съ страшной быстротой народнаго итальянскаго языка, началъ разсказывать Гарибальди свои похождения и заключилъ свою рѣчь удивительнымъ цвѣткомъ южнаго краснорѣчія:

— Я теперь умру покойно, а вы—да благословить васъ Богъ—живите долго, живите для нашей родины, живите для насъ, живите, пока я воскресну изъ мертвыхъ!

Онъ схватилъ его руку, покрылъ ее поцѣлуями и, рыдая, ушелъ вонъ.

Какъ ни привыкъ Гарибальди ко всему этому, но явнымъ образомъ взволнованный, онъ сѣлъ на небольшой диванъ, дамы окружили его, я сталъ возлѣ дивана,—и на него налетѣло облако тяжелыхъ думъ; но на этотъ разъ онъ не вытерпѣлъ и сказалъ:

— Мнѣ иногда бываетъ страшно и до того тяжело, что я боюсь потерять голову... слишкомъ много хорошаго. Я помню, когда изгнанникомъ я возвращался изъ Америки въ Ниццу, когда я опять увидалъ родительскій домъ, нашелъ свою семью, родныхъ, знакомыя мѣста, знакомыхъ людей,—я былъ удрученъ счастіемъ... Вы знаете, прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ, что и что было потомъ, какой рядъ бѣдствій. Пріемъ народа англійскаго превзошелъ мои ожиданія... Что же дальше? Что впереди?

Я не имѣлъ ни одного слова успокоенія, я внутренно дрожалъ передъ вопросомъ: *Что дальше? Что впереди?*

... Пора было ѣхать. Гарибальди всталъ, крѣпко обнялъ меня, дружески простился со всѣми,—снова крики, снова *ура*, снова два толстыхъ полицейскихъ и мы, улыбаясь и прося, шли на брешу, снова *God bless you, Garibaldi, for ever...* и карета умчалась.

Всѣ остались въ какомъ-то поднятѣмъ, тихо торжественномъ настроеніи. Точно послѣ праздничнаго богослуженія, послѣ крестинъ или отъѣзда невѣсты, у всѣхъ было полно на душѣ, всѣ перебирали подробности и примыкали къ грозному, безотвѣтному—*«А что дальше?»*

Князь П. В. Долгорукій первый догадался взять листъ бумаги и записать оба тоста. Онъ записалъ вѣрно, другіе пополнили. Мы показали Маццини и другимъ, и составили тотъ текстъ (съ легкими и несущественными перемѣнами), который облетѣлъ Европу.

Потомъ уѣхалъ Маццини, уѣхали гости. Мы остались одни съ двумя-тремя близкими и тихо настали сумерки.

Какъ искренно и глубоко жалѣлъ я, дѣти, что васъ не было съ нами въ этотъ день: такіе дни хорошо помнить долгіе годы, отъ нихъ свѣжѣетъ душа и примиряется съ изнанкой жизни. Ихъ очень мало...

IV.

26. Princess Gate.

«Что-то будетъ?»... Ближайшее будущее не заставило себя ждать.

Какъ въ старыхъ эпопеяхъ, въ то время, какъ герой спокойно отдыхаетъ на лаврахъ, пируетъ или спитъ,—Раздоръ, Местъ, Зависть въ своемъ парадномъ костюмѣ стѣзжаются въ какихъ-нибудь тучахъ; Местъ съ Завистью варятъ ядъ, куютъ кинжалы, а Раздоръ раздуваетъ мѣха и оттачиваетъ острія. Такъ случилось и теперь, въ приличномъ переложеніи на наши мирно-кроткіе нравы. Въ нашъ вѣкъ все это дѣлается просто людьми, а не аллегоріями; они собираются въ свѣтлыхъ залахъ, а не во «тѣмѣ ночной», безъ растрепанныхъ фурій, а съ пудренными лакеями; декорации и ужасы классическихъ поэмъ и дѣтскихъ пантомимъ замѣнены простой мирной *игрой*—въ крапленныя карты, колдовство—обыденными коммерческими продѣлками, въ которыхъ *честный* лавочникъ клянется, продавая какую-то смородинную ваксу съ водкой, что это «портъ» и притомъ «олдпортъ ххх», зная, что ему никто не вѣритъ, но и процесса не сдѣлаетъ, а если сдѣлаетъ, то самъ же будетъ въ дуракахъ.

Въ то самое время, какъ Гарибальди называлъ Маццини своимъ «другомъ и учителемъ», называлъ его тѣмъ раннимъ, бдящимъ сѣятелемъ, который одиноко стоялъ на полѣ, когда все спало около него, и, указывая просыпавшимся путь, указалъ его тому рвавшемуся на бой за родину молодому воину, изъ котораго вышелъ вождь народа итальянскаго; въ то время, какъ, окруженный друзьями, онъ смотрѣлъ на плакавшаго бѣдняка-изгнанника, повторявшаго свое «нынѣ отпускаеши», и самъ чуть не плакалъ; въ то время, когда онъ повѣрялъ намъ свой тайный ужасъ передъ будущимъ,—какіе-то *заговорщики* рѣшили отдѣлаться во чтобы ни стало отъ неловкаго гостя и несмотря на то, что въ *заговоръ* участвовали люди, состарившіеся въ дипломатіяхъ и интригахъ, посѣдѣвшіе и падшіе на ноги въ каверзахъ и лицемѣріи, они сыграли свою игру вовсе не хуже честнаго лавочника, продающаго на свое *честное* слово смородинную ваксу за Old Port ххх.

Англійское правительство никогда не приглашало и не выписывало Гарибальди,—это все вздоръ, выдуманный глубоко-

мысленными журналистами на континентѣ. Англичане, приглашавшіе Гарибальди, не имѣютъ ничего общаго съ министерствомъ. Предположеніе правительственнаго плана такъ же нелѣпо, какъ тонкое замѣчаніе нашихъ кретиновъ о томъ, что Пальмерстонъ далъ Стансфильду мѣсто въ адмиралтействѣ *именно потому*, что онъ другъ Мадзини. Замѣтите, что въ самыхъ яростныхъ нападкахъ на Стансфильда и Пальмерстона объ этомъ не было рѣчи ни въ парламентѣ, ни въ англійскихъ журналахъ, подобная пошлость возбудила бы такой же смѣхъ, какъ обвиненіе Уркуарда, что Пальмерстонъ беретъ деньги съ Россіи. Чемберсъ и другіе спрашивали Пальмерстона, не будетъ ли пріѣзъ Гарибальди непріятенъ правительству. Онъ отвѣчалъ то, что ему слѣдовало отвѣчать: правительству не можетъ быть непріятно, чтобы генералъ Гарибальди пріѣхалъ въ Англію, оно, съ своей стороны, не отклоняетъ его пріѣзда и не приглашаетъ его.

Гарибальди согласился пріѣхать съ цѣлью снова выдвинуть въ Англіи итальянскій вопросъ, собрать настолько денегъ, чтобы начать походъ въ Адриатикѣ и совершившимся фактомъ увлечь Виктора Эмануила.

Вотъ и все.

Что Гарибальди будутъ оваціи,—знали очень хорошо приглашавшіе его и всѣ желавшіе его пріѣзда. Но оборотъ, который приняло дѣло, они не ждали.

Англійскій народъ при вѣсти, что человѣкъ «красной рубашки», что *раненый итальянской пулей* ѣдетъ къ нему въ гости, встрепенулся и взмахнулъ своими крыльями, отвыкнутыми отъ полета и потерявшими гибкость отъ тяжелой и непрерывной работы. Въ этомъ взмахѣ была не одна радость и не одна любовь.

Вспомните мою встрѣчу съ корабельщикомъ изъ Нью-Кестля. Вспомните, что лондонскіе работники были первые, которые въ своемъ адресѣ преднамѣренно поставили имя Мадзини рядомъ съ Гарибальди.

Англійская аристократія на сію минуту отъ своего могучаго и забитаго недоросля ничего не боится; сверхъ того, ея Ахилловы пяты вовсе не со стороны европейской революціи. Но все же ей былъ крайне непріятенъ характеръ, который принимало дѣло. Главное, что корбило народныхъ пастырей въ мирной агитаціи работниковъ, это то, что она выводила ихъ изъ достодолжнаго строя, отвлекала ихъ отъ доброй, нравственной и притомъ безвыходной заботы о хлѣбѣ насущномъ, отъ пожизненнаго *hard labor*, на который не они его приговорили, а нашъ общій фабрикантъ, *our Maker*, богъ Шефтсбюри, богъ Дерби, богъ Сутерландовъ и Девоншировъ — въ неисповѣдимой премудрости своей и нескончаемой благодати.

Настоящей англійской аристократіи, разумѣется, и въ голову не приходило изгонять Гарибальди; напротивъ, она хотѣла утѣнуть его въ себя, закрыть его золотымъ облакомъ, какъ закрывалась волоокая Гера, забавляясь съ Зевсомъ. Она собиралась заласкать его, закормить, напоить его, не дать ему придти въ себя, опомниться, остаться минуту одному. Гарибальди хочетъ денегъ,—много ли могутъ ему собрать, осужденные благостью нашего «фабриканта», фабриканты Шефтсбюри, Дерби, Девоншира на тихую и благословенную бѣдность? Мы ему набросаемъ полмилліона, милліонъ франковъ, полпары за лошадь на Эпсомской скачкѣ, мы ему купимъ—

Деревню, дачу, домъ,
Сто тысячъ чистымъ серебромъ.

Мы ему купимъ остальную часть Капреры, мы ему купимъ удивительную яхту, онъ такъ любитъ кататься по морю; а чтобъ онъ не бросилъ на вздоръ деньги (подъ вздоромъ разумѣется освобожденіе Италіи), мы сдѣлаемъ маіоратъ, мы предоставимъ ему пользоваться рентой ¹⁾).

Всѣ эти планы приводились въ исполненіе съ самой блестящей постановкой на сцену, но удавались мало. Гарибальди точно мѣсяцъ въ ненастную ночь, какъ облака ни надвигались, ни торпились, ни чередовались, выходилъ свѣтлый, ясный и свѣтилъ къ намъ внизъ.

Аристократія начала нѣсколько конфузиться. На выручку ей явились *дѣльцы*. Ихъ интересы слишкомъ скоротечны, чтобъ думать о нравственныхъ послѣдствіяхъ агитаціи, имъ надобно владѣть минутой,—какъ бы этимъ не воспользовались тори... и то Стансфильдова исторія вотъ гдѣ сидитъ.

По счастью, въ самое это время Кларендону занедобилось попилигримствовать въ Тюльери! Нужда была небольшая, онъ тотчасъ возвратился. Наполеонъ говорилъ съ нимъ о Гарибальди и изъяснилъ свое удовольствіе, что англійскій народъ чтитъ великихъ людей. Дрюинъ-де-Люйсъ говорилъ, т. е., онъ ничего не говорилъ, а если-бъ онъ заикнулся—

Я близъ Кавказа рождена,
Civis romanus sum!

Австрійскій посоль даже и не радовался приему—*умвелмунгсх*

¹⁾ Какъ будто Гарибальди просилъ денегъ для себя. Разумѣется, онъ отказался отъ приданого англійской аристократіи, даннаго на такихъ нелѣпныхъ условіяхъ, къ крайнему огорченію полицейскихъ журналовъ, расчитавшихъ грошъ въ грошъ, сколько онъ увезетъ на Капреру.

генерала. Все обстояло благополучно. А на душѣ-то кошки... кошки.

Не спится министерству; шепчется «первый» со вторымъ, «второй» съ другомъ Гарибальди, другъ Гарибальди съ родственникомъ Пальмерстона, съ лордомъ Шефтсбюри и съ еще большимъ его другомъ Силли, Силли шепчется съ операторомъ Фергюсономъ,—испугался Фергюсонъ, ничего не боявшійся за ближняго, и пишетъ письмо за письмомъ о болѣзни Гарибальди. Прочитавши ихъ, еще больше хирурга испугался Гладстонъ. Кто могъ думать, какая пропасть любви и состраданія лежитъ иной разъ подъ портфелемъ министра финансовъ?..

...На другой день послѣ нашего праздника побѣхалъ я въ Лондонъ. Беру на желѣзной дорогѣ вечернюю газету и читаю большими буквами: «Болѣзнь генерала Гарибальди», потомъ вѣсть, что онъ на дняхъ ѣдетъ въ Капреру, *не заѣзжая ни въ одинъ городъ*. Не будучи ни такъ нервно чувствителенъ, какъ Шефтсбюри, ни такъ тревожливъ за здоровье друзей, какъ Гладстонъ, я несколько не обезпокоился газетной вѣстью о болѣзни человѣка, котораго вчера видѣлъ совершенно здоровымъ,—конечно, бываютъ болѣзни очень быстрыя, но отъ *апоплексического* удара Гарибальди былъ далекъ, а если-бъ съ нимъ что и случилось, кто-нибудь изъ общихъ друзей далъ бы знать. А потому не трудно было догадаться, что это выкинута какая-то штука, un coup monté.

Ѣхать къ Гарибальди было поздно. Я отправился къ Маццини и не засталъ его, потомъ къ одной дамѣ, отъ которой узналъ главные черты министерскаго состраданія къ болѣзни великаго человѣка. Туда пришелъ и Маццини, такимъ я его еще не видалъ; въ его чертахъ, въ его голосѣ были слезы.

Изъ рѣчи, сказанной на второмъ митингѣ на Примрозъ-Гилъ Шеномъ, можно знать en gros, какъ было дѣло. «Заговорщики» были имъ названы и обстоятельства описаны довольно вѣрно. Шефтсбюри пріѣзжалъ совѣтоваться съ Силли; Силли, какъ дѣловой человѣкъ, тотчасъ сказалъ, что необходимо письмо Фергюсона; Фергюсонъ, слишкомъ учтивый человѣкъ, чтобъ отказать въ письмѣ. Съ нимъ-то въ воскресенье вечеромъ, 17 апрѣля, явились заговорщики въ Стаффордъ-гаусъ и возлѣ комнаты, гдѣ Гарибальди спокойно сидѣлъ, не зная ни того, что онъ такъ боленъ, ни того, что онъ ѣдетъ, ѣлъ виноградъ,—сговаривались, что дѣлать. Наконецъ, храбрый Гладстонъ взялъ на себя трудную роль и пошелъ въ сопровожденіи Шефтсбюри и Силли въ комнату Гарибальди. Гладстонъ заговаривалъ цѣлые парламенты, университеты, корпораціи, депутаціи,—мудрено-ли было заговорить Гарибальди, къ тому же онъ рѣчь велъ на итальянскомъ языкѣ, и хорошо сдѣлалъ, потому что вчетверомъ говорилъ безъ

свидѣтелей. Гарибальди ему отвѣчалъ сначала, «что онъ здоровъ»; но министр финансовъ не могъ принять случайный фактъ его здоровья за оправданіе и доказывалъ по Фергюсону, что онъ боленъ, и это съ документомъ въ рукѣ. Наконецъ, Гарибальди, догадавшись, что нѣжное участіе прикрываетъ что-то другое, спросилъ Гладстона:

— Значить ли все это, что они желаютъ, чтобъ онъ ѣхалъ?

Гладстонъ не скрылъ отъ него, что присутствіе Гарибальди во многомъ усложняетъ трудное безъ того положеніе.

— Въ такомъ случаѣ я ѣду.

Смягченный Гладстонъ испугался слишкомъ *замѣтнаго* успѣха и предложилъ ему ѣхать въ два-три города, и потомъ отправиться въ Капреру.

— Выбирать между городами я не умѣю, отвѣчалъ оскорбленный Гарибальди; и даю слово, что черезъ два дня уѣду.

... Въ понедѣльникъ была интерпелляція въ парламентѣ. Вѣтреный старичекъ Пальмерстонъ въ одной и быстрый пилигримъ Кларендонъ въ другой палатѣ все объясняли по чистой совѣсти. Кларендонъ удостовѣрилъ пэровъ, что Наполеонъ вовсе не требовалъ высылки Гарибальди. Пальмерстонъ, съ своей стороны, вовсе не желалъ его удаленія. Онъ только беспокоился о его здоровьи... и тутъ онъ вступилъ во всѣ подробности, въ которыя вступаетъ любящая жена или врачъ, присланный отъ страхового общества,—о часахъ сна и обѣда, о послѣдствіяхъ раны, о діетѣ, о волненіи, о лѣтахъ. Засѣданіе парламента сдѣлалось консультаціей врачей. Министръ ссылаясь не на Чатама и Кембеля, а на лечебники и Фергюсона, помогавшаго ему въ этой трудной операциі.

Законодательное собраніе рѣшило, что Гарибальди боленъ. Города и села, графства и банки управляются въ Англіи по собственному крайнему разумѣнію. Правительство, ревниво отталкивающее отъ себя всякое подозрѣніе въ вмѣшательствѣ, позволяющее ежедневно умирать людямъ съ голоду, боясь ограничить самоуправленіе рабочихъ домовъ, позволяющее морить на работѣ и кретинизировать цѣлыя населенія, вдругъ дѣлается больничной сидѣлкой, дядькой. Государственные люди бросаютъ кормило великаго корабля и шушукуются о здоровьи челоуѣка, не просящаго ихъ о томъ, прописываютъ ему безъ его спроса Атлантическій океанъ и Сутерландскую «Ундину», министръ финансовъ забываетъ балансъ, income tax, debit и credit, и ѣдетъ на консилиумъ. Министръ министровъ докладываетъ этотъ патологическій казусъ парламенту. Да неужели самоуправленіе желудкомъ и ногами меньше свято, чѣмъ произволъ богоугодныхъ заведеній, служащихъ введеніемъ въ кладбище?

Давно ли Стансфильдъ пострадалъ за то, что, служа королевѣ, не счелъ обязанностью поссориться съ Маццини? А теперь самые *мѣстные* министры пишутъ не адреса, а рецепты и хлопочутъ изъ всѣхъ силъ о сохраненіи дней такого же революціонера, какъ Маццини?

Гарибальди *долженъ былъ* усомниться въ желаніи правительства, изъявленномъ ему слишкомъ горячими друзьями его, и остаться; развѣ кто-нибудь могъ сомнѣваться въ истинѣ словъ перваго министра, сказанныхъ представителямъ Англіи,—ему это совѣтовали всѣ друзья.

— Слова Пальмерстона не могутъ развязать моего честнаго слова,—отвѣчалъ Гарибальди и велѣлъ укладываться.

Это Сольферино!

Бѣлинскій давно замѣтилъ, что секретъ успѣха дипломатовъ состоитъ въ томъ, что они съ нами поступаютъ какъ съ дипломатами, а мы съ *дипломатами* какъ съ людьми.

Теперь вы понимаете, *что однимъ днемъ позже* и нашъ праздникъ и рѣчь Гарибальди, его слова о Маццини не имѣли бы того значенія.

...На другой день я поѣхалъ въ Стаффордъ-гаузъ и узналъ, что Гарибальди переѣхалъ къ Силли, 26 Princess Gate, возлѣ Кензинтонскаго сада. Я отправился въ Princess Gate; говорить съ Гарибальди не было никакой возможности, его не спускали съ глазъ, человѣкъ двадцать гостей ходило, сидѣло, молчало, говорило въ залѣ, въ кабинетѣ.

— Вы ѣдете?—сказалъ я и взялъ его за руку.

Гарибальди пожалъ мою руку и отвѣчалъ печальнымъ голосомъ:

— Я покоряюсь necessitè (je plie aux nécessités).

Онъ куда-то ѣхалъ; я оставилъ его и пошелъ внизъ, тамъ засталъ я Саффи, Гверцони, Мордини, Ричардсона, всѣ были внѣ себя отъ отъѣзда Гарибальди. Возшла m-me Силли и за ней пожилая, худенькая, подвижная француженка, которая адресовалась съ чрезвычайнымъ краснорѣчіемъ къ хозяйкѣ дома, говоря о счастіи познакомиться съ такой *personne distinguée*. M-me Силли обратилась къ Стансфильду, прося его перевести въ чемъ дѣло. Француженка продолжала:

— Ахъ, Боже мой, какъ я рада, это вѣрно вашъ сынъ, позвольте мнѣ ему представиться.

Стансфильдъ разуверилъ француженку, не замѣтившую, что m-me Силли однихъ съ нимъ лѣтъ, и просилъ ее сказать, что ей угодно. Она бросила взглядъ на меня (Саффи и другіе ушли) и сказала:

— Мы не одни.

Стансфильдъ назвалъ меня. Она тотчасъ обратилась съ *ривью* ко мнѣ и просила остаться, но я предпочелъ ее оставить въ *tête à tête* съ Стансфильдомъ и опять ушелъ наверхъ. Черезъ минуту пришелъ Стансфильдъ съ какимъ-то крюкомъ или рванью. Мужъ француженки изобрѣлъ его и она хотѣла одобренія Гарибальди.

Послѣдніе два дня были смутны и печальны. Гарибальди избѣгалъ говорить о своемъ отъѣздѣ и ничего не говорилъ о своемъ здоровьи... во всѣхъ близкихъ онъ встрѣчалъ печальный упрекъ. Дурно было у него на душѣ, но онъ молчалъ.

Наканунѣ отъѣзда, часа въ два, я сидѣлъ у него, когда пришли сказать, что въ пріемной уже тѣсно. Въ этотъ день представлялись ему члены парламента съ семействами и разная *nobility* и *gentry*, всего по «Теймсу» до двухъ тысячъ человѣкъ, это было *Grande levée*, царскій выходъ.

Гарибальди всталъ и спросилъ:

— Неужели пора?

Стансфильдъ, который случился тутъ, посмотрѣлъ на часы и сказалъ:

— Еще минутъ пять есть до назначеннаго времени.

Гарибальди вздохнулъ и весело сѣлъ на свое мѣсто. Но тутъ прибѣжалъ фактотумъ и сталъ распоряжаться, гдѣ поставить диванъ, въ какую дверь входить, въ какую выходить.

— Я уйду,—сказалъ я Гарибальди.

— Зачѣмъ, оставайтесь.

— Что же я буду дѣлать?

— Могу же я,—сказалъ онъ улыбаясь,—оставить одного знакомаго, когда принимаю столько незнакомыхъ.

Отворились двери; въ дверяхъ сталъ импровизированный церемоніймейстеръ съ листомъ бумажки и началъ громко читать какой-то адресъ-календарь—*The right honorable so and so—honorable—esquire—lady—esquire—lordship—Misses—esquire—m. p.—m. p.—m. p.*, безъ конца. При каждомъ имени врывались въ дверь и потомъ покойно плыли старые и молодые кринолины, аэро-статы, сѣдые головы и головы безъ волосъ, крошечные и толстенскіе старички-крѣпыши и какіе-то худые жирафы, безъ заднихъ ногъ, которые до того вытянулись и постарались вытянуться еще, что какъ-то подпирали верхнюю часть головы на огромные желтые зубы... каждый имѣлъ три, четыре, пять дамъ, и это было очень хорошо, потому что онѣ занимали мѣсто пятидесяти человѣкъ и такимъ образомъ спасали отъ давки. Всѣ подходили по очереди къ Гарибальди, мужчины трясали ему руку съ той силой, съ которой это дѣлаетъ человѣкъ, понавши пальцемъ въ кипятокъ, иные при этомъ что-то говорили, большая

часть мычала, молчала и откланивалась. Дамы тоже молчали, но смотрѣли такъ страстно и долго на Гарибальди, что въ нынѣшнемъ году, навѣрное, въ Лондонѣ будетъ урожай дѣтей съ его чертами, а такъ какъ дѣтей и теперь ужъ водятъ въ такихъ же красныхъ рубашкахъ, какъ у него, то дѣло станетъ только за плащемъ.

Откланявшіесяплыли въ противоположную дверь, открывавшуюся въ залу, и спускались по лѣстницѣ; болѣе смѣлые не торопились, а старались побыть въ комнатѣ.

Гарибальди сначала стоялъ, потомъ сѣлся и вставалъ, наконецъ, просто сѣлъ. Нога не позволяла ему долго стоять, конца приему нельзя было и ожидать... кареты все подъѣзжали... церемоніймейстеръ все читалъ памяти.

Грянула музыка *horse guard*овъ, я постоялъ, постоялъ и вышелъ сначала въ залу, а потомъ вмѣстѣ съ потокомъ кринолиновыхъ волнъ достигъ до каскады и съ нею очутился у дверей комнаты, гдѣ обыкновенно сѣдѣли Саффи и Мордини. Въ ней никого не было, на душѣ было смутно и гадко; что все это за фарс, эта высылка съ позолотой и рядомъ эта комедія царскаго приема? Усталый бросился я на диванъ, музыка играла изъ Лукреціи, и очень хорошо, я сталъ слушать.—Да, да, *Non curiamo l'incerto domani*.

Въ окно былъ виденъ рядъ каретъ; эти еще не подъѣхали. воть двинулась одна и за ней вторая, третья, опять остановка... и мнѣ представилось, какъ Гарибальди, съ раненой *рукой*. усталый, печальный сидитъ, у него по лицу идетъ туча, этого никто не замѣчаетъ, и все плывутъ кринолины, и все идутъ *right honorable*—сѣдые, плѣшивые, скулы, жирафы...

...Музыка гремитъ, кареты подъѣзжаютъ; не знаю, какъ это случилось, но я заснулъ, кто-то отворилъ дверь и разбудилъ меня... Музыка гремитъ, кареты подъѣзжаютъ, конца не видать... Они въ самомъ дѣлѣ его убьютъ!

Я пошелъ домой.

На другой день, т. е., въ день отъѣзда, я отправился къ Гарибальди въ семь часовъ утра, и нарочно для этого ночевалъ въ Лондонѣ. Онъ былъ мраченъ, отрывистъ, тутъ только можно было догадаться, что онъ привыкъ къ начальству, что онъ былъ желѣзнымъ вождемъ на полѣ битвы и на морѣ.

Его поймалъ какой-то господинъ, который привелъ сапожника, изобрѣтателя обуви съ желѣзнымъ снарядомъ для Гарибальди. Гарибальди сѣлъ самоотверженно на кресло,—сапожникъ въ потѣ лица надѣлъ на него свою колодку, потомъ заставилъ его потопать и походить, все оказалось хорошо.

— Что ему надобно заплатить?—спросилъ Гарибальди.

— Помяните, отвѣчалъ господинъ, вы его осчастливите, принявши.

Они отретировались.

— На дняхъ это будетъ на вывѣскѣ, — замѣтилъ кто-то, а Гарибальди съ умоляющимъ видомъ сказалъ молодому человѣку, который ходилъ за нимъ:

— Бога ради, избавьте меня отъ этого снаряда, мочи нѣтъ больно.

Это было ужасно смѣшно.

Затѣмъ явились аристократическія дамы, менѣе важныя толпой ожидали въ залѣ.

Я и Огаревъ, мы подошли къ нему.

— Прощайте, сказалъ я. Прощайте и до свиданья въ Капрерѣ.

Онъ обнялъ меня, сѣлъ, протянулъ намъ обѣ руки и голову, который такъ и рѣзнулъ по сердцу, сказалъ:

— Простите меня, простите меня, у меня голова кругомъ идетъ, пріѣзжайте въ Капреру.

И онъ еще разъ обнялъ насъ.

Гарибальди послѣ приѣма собирался ѣхать на свиданіе съ дюкомъ Уэльскимъ въ Стаффордъ-гаузъ.

Мы вышли изъ воротъ и разошлись. Огаревъ пошелъ къ Маццини, я къ Ротшильду. У Ротшильда въ конторѣ еще не было никого. Я взошелъ въ таверну св. Павла и тамъ не было никого... Я спросилъ себѣ ромстекъ и, сидя совершенно одинъ, перебиралъ подробности этого «сновидѣнія въ весеннюю ночь»...

... Ступай, великое дитя, великая сила, великій юродивый и великая *простота*. Ступай на свою скалу, плебей въ красной рубашкѣ и король Лиръ! — Гонериль тебя гонить, оставь ее, у тебя есть бѣдная Корделія, она не разлюбитъ тебя и не умретъ!

Четвертое дѣйствіе кончилось...

Что-то будетъ въ пятомъ?

15 мая. 1864 г.

Апогей и перигей.

(Продолженіе).

По воскресеньямъ вечеромъ собирались у насъ знакомые, и преимущественно русскіе. Въ 1862 число послѣднихъ очень увеличилось: на выставку пріѣзжали купцы и туристы, журналисты и чиновники всѣхъ вообще отдѣленій, и третьяго въ особенности. Дѣлать строгій выборъ было невозможно; короткихъ знакомыхъ мы предупреждали, чтобъ они приходили въ другой день. Благочестивая скука лондонскаго воскресенья побуждала осторожность. Отчасти эти воскресенья и привели къ бѣдѣ. Но прежде чѣмъ я ее передамъ, я долженъ познакомить съ двумя-тремя экземплярами родной фауны нашей, являвшимися въ скромной залѣ Orsett-house. Наша галлерея живыхъ рѣдкостей изъ Россіи была, безъ всякаго сомнѣнія, замѣчательнѣе и занимательнѣе русскаго отдѣла на Great Exhibition.

... Въ 1860 получаю я изъ одного отеля на Гай-Маркетъ русское письмо, въ которомъ какіе-то люди извѣщали меня, что они, русскіе, находятся въ услуженіи князя Юрія Николаевича Голицына, тайно оставившаго Россію: «самъ князь поѣхалъ на Константинополь, а насъ отправилъ по другой дорогѣ. Князь велѣлъ дожидаться его и далъ намъ денегъ на нѣсколько дней. Прошло больше двухъ недѣль; о князѣ ни слуха; деньги вышли, хозяинъ гостиницы сердится. Мы не знаемъ, что дѣлать; по-англійски никто не говоритъ». Находясь въ такомъ безпомощномъ состояніи, они просили, чтобъ я ихъ выручилъ. Я поѣхалъ къ нимъ и уладилъ дѣло. Хозяинъ отеля зналъ меня и согласился подождать еще недѣлю.

Дней черезъ пять послѣ моей поѣздки подъѣхала къ крыльцу богатая коляска, запряженная парой сѣрыхъ лошадей въ яблокахъ. Сколько я ни объяснялъ моей прислугѣ, что, какъ бы человекъ ни пріѣзжалъ, хоть цугомъ, и какъ бы ни назывался, хоть дюкомъ, всеже утромъ не принимать; но уваженія къ аристократическому экипажу и титулу я не могъ побѣдить.

На этотъ разъ встрѣтились оба искусительныя условія, и потому черезъ минуту огромный мужчина, толстый, съ красивымъ лицомъ ассирійскаго бога-вола, обнялъ меня, благодаря за мое посѣщеніе къ его людямъ.

Это былъ князь Юрій Николаевичъ Голицынъ. Такого крупнаго, характеристическаго обломка всей Россіи, такого цвѣтка съ нашей родины я давно не видалъ.

Онъ мнѣ сразу разсказалъ какую-то неправдоподобную исторію, которая вся оказалась справедливой: какъ онъ давалъ кантонисту переписывать статью въ *Колоколъ*, и какъ онъ разошелся со своей женой; какъ кантонистъ донесъ на него, а жена не присылаетъ денегъ; какъ государь его услалъ на безвыѣздное житье въ Козловъ, вслѣдствіе чего онъ рѣшился бѣжать за границу, и поэтому увезъ съ собой какую-то барышню, гувернантку, управляющаго, регента и горничную, черезъ молдавскую границу.

Въ Галацѣ онъ захватилъ еще какого-то лакея, говорившаго ломанымъ языкомъ на пяти языкахъ и показавшагося ему шпіономъ. Тутъ же объявилъ онъ мнѣ, что онъ страстный музыкантъ и будетъ давать концерты въ Лондонѣ, а потому хочетъ познакомиться съ Огаревымъ.

— Дорого у васъ здѣсь въ Англіи б—берутъ на таможенѣ,—сказалъ онъ, слегка заикаясь и окончивъ курсъ своей всеобщей исторіи.

— За товары можетъ,—замѣтилъ я—а къ путешественникамъ costume-house очень снисходителенъ.

— Не скажу; я заплатилъ шиллинговъ 15 за крокодила.

— Да это что такое?

— Какъ что?—да просто крокодилъ.

Я сдѣлалъ большіе глаза и спросилъ его:

— Да вы, князь, что же это: возите съ собой крокодила вмѣсто паспорта, страшать жандармовъ на границахъ?

— Такой случай. Я въ Александріи гулялъ; а тутъ какой-то арабченокъ продаетъ крокодила. Понравился, я и купилъ.

— Ну, а арабченка купили?

— Ха, ха—нѣтъ.

Черезъ недѣлю князь былъ уже инсталированъ въ Porchester terrace, т. е., въ очень дорогой части города, въ большомъ домѣ. Онъ началъ съ того, что велѣлъ на вѣки-вѣчныя, вопреки англійскому обычаю, открыть настежъ ворота и поставилъ въ вѣчномъ ожиданіи у подъѣзда пару сѣрыхъ лошадей въ яблокахъ. Онъ зажилъ въ Лондонѣ, какъ въ Козловѣ, какъ въ Тамбовѣ.

Денегъ у него, разумѣется, не было, т. е., были нѣсколько

тысячъ франковъ на афишу и заглавный листъ лондонской жизни; ихъ тотчасъ истратилъ; но пыль въ глаза бросилъ и успѣлъ на нѣсколько мѣсяцевъ обезпечиться, благодаря англійской тупоумной довѣрчивости, отъ которой иностранцы всего континента не могутъ еще поднесъ отучить ихъ.

Но князь шелъ на всѣхъ парахъ.—Начались концерты. Лондонъ былъ удивленъ княжескимъ титуломъ на афишѣ, и во второй концертъ зала была полна (S.-James hall, Piccadilly). Концертъ былъ великолѣпный. Какъ Голицынъ успѣлъ такъ подготовить хоръ и оркестръ,—это его тайна; но концертъ былъ совершенно изъ ряду вонъ. Русскія пѣсни и молитвы, камаринская и обѣдня, отрывки изъ оперы Глинки и изъ Евангелія (Отче нашъ),—все шло прекрасно. Дамы не могли налюбоваться колоссальными мясами красиваго ассирійскаго бога, величественно и граціозно поднимавшаго и опускавшаго свой скипетръ изъ слоновой кости.

Голицынъ нашелъ средство и изъ этого успѣха сдѣлать себѣ убытокъ. Упоенный рукоплесканіями, онъ послалъ въ концѣ первой части концерта за корзиной букетовъ (не забываютъ лондонскія цѣны) и, передъ началомъ второй части, явился на сцену: два ливрейныхъ лакея несли корзину, князь, благодаря пѣвицѣ и хористокъ, каждой поднесъ по букету. Публика приняла и эту галантерейность аристократа-капельмейстера громомъ рукоплесканій. Выросъ, расцвѣлъ мой князь и, какъ только окончился концертъ, пригласилъ *всѣхъ* музыкантовъ на ужинъ.

Тутъ, сверхъ лондонскихъ цѣнъ, надобно знать и лондонскіе обычаи: въ одиннадцать часовъ вечера, не предупредивши съ утра, нигдѣ нельзя найти ужинъ человѣкъ на пятьдесятъ.

Ассирійскій вождь храбро пошелъ пѣшкомъ по Regent street съ музыкальнымъ войскомъ своимъ, стучась въ двери разныхъ ресторановъ; и достучался, наконецъ: смекнувшій дѣло хозяинъ выѣхалъ на холодныхъ мясахъ и на горячихъ винахъ.

Затѣмъ начались концерты его со всевозможными штукаами; даже съ политическими тенденціями. Всякій разъ гремѣлъ Herzen's Walzer, гремѣлъ Ogareff's Quadrille и потомъ Emancipation Symphonie..... пьесы, которыми и теперь, можетъ, чаруетъ князь москвичей, и которыя, вѣроятно, ничего не потеряли при переѣздѣ изъ Альбіона, кромѣ собственныхъ именъ; онѣ могли легко перемѣнить ихъ на Patapoff's Walzer, Mina Walzer и Komissaroff's Partitur.

При всемъ этомъ шумѣ денегъ не было; платить было нечѣмъ. Поставщики начали роптать, и даже начиналось исподволь спартакское возстаніе рабовъ.....

Однимъ утромъ явился ко мнѣ factotum князя, его упра-

вляющій, переименовавшій себя въ секретаря, съ «регентомъ», т. е., не съ отцомъ Филиппа Орлеанскаго, а съ бѣлокурымъ и кудрявымъ русскимъ малымъ лѣтъ двадцати двухъ, управлявшимъ пѣвцами.

— Мы, Александръ Ивановичъ, къ вамъ-съ.

— Что случилось?

— Да ужъ Юрій Николаевичъ очень обижаютъ, хотимъ ѣхать въ Россію и требуемъ расчета; не оставьте вашей милостью, вступитесь.

Такъ меня и обдало отечественнымъ паромъ,—словно на каменку поддали.

— Почему же вы обращаетесь съ этой просьбой ко мнѣ? Если вы имѣете серьезныя причины жаловаться на князя, на это есть здѣсь для всякаго судъ, и судъ, который не покривитъ ни въ пользу князя, ни въ пользу графа.

— Мы точно слышали объ этомъ, *да чтожъ ходить до суда*. Вы ужъ лучше разберите.

— Какая же польза будетъ вамъ отъ моего разбора? Князь скажетъ мнѣ, что я мѣшаюсь въ чужія дѣла; я и поѣду съ носомъ. Не хотите въ судъ, пойдите къ послу; не мнѣ, а ему поручены русскіе въ Лондонѣ....

— Это ужъ гдѣ же-съ? коль скоро русскіе господа сидятъ, какой же можетъ быть разборъ съ княземъ; а вы, вѣдь, за народъ: такъ мы такъ и пришли къ вамъ. Ужъ разберите дѣло, сдѣлайте милость.

— Экіе, вѣдь, какіе;—да князь не приметъ моего разбора; что же вы выиграете?

— Позвольте доложить, съ живостью возразилъ секретарь, этого онъ не посмѣетъ-съ, такъ какъ они очень уважаютъ васъ, да и бояться сверхъ того: въ *Колоколъ*-то попасть имъ не весело,—амбиція-съ.

— Ну, слушайте, чтобъ не терять намъ по-пусту время, вотъ мое рѣшеніе: если князь согласенъ принять мое посредничество, я разберу ваше дѣло; если нѣтъ,—идите въ судъ; а такъ какъ вы не знаете ни языка, ни здѣшняго хожденія по дѣламъ, то я, если васъ въ самомъ дѣлѣ князь обижаетъ, дамъ человѣка, который знаетъ то и другое, и по-русски говорить.

— Позвольте,—замѣтилъ секретарь.

— Нѣтъ, не позволяю, любезнѣйшій.—Прощайте.

Скажу и объ нихъ слово.

Регентъ ничѣмъ не отличался, кромѣ музыкальныхъ способностей; это былъ откормленный, крупитчатый, туповато красивый, румяный малый изъ дворовыхъ; его манера говорить прикартавливая и нѣсколько заспанные глаза напоминали мнѣ цѣлый

рядъ,—какъ въ зеркалѣ, когда гадаешь,—Сашекъ, Сенекъ, Алешекъ, Мирошекъ.

Секретарь былъ тоже чисто русскій продуктъ, но больше рѣзкій представитель своего типа: человекъ лѣтъ за сорокъ, съ небритымъ подбородкомъ, испытанъ лицомъ, въ засаленномъ сюртукѣ, весь, снаружи и внутри, нечистый и замаранный, съ небольшими плутовскими глазами и съ тѣмъ особеннымъ запахомъ русскихъ пьяницъ, составленнымъ изъ вѣчно поддерживаемаго перегорѣлаго сивушнаго букета съ оттѣнкомъ лука и, для прикрытія, гвоздики. Всѣ черты его лица ободряли, внушали довѣріе всякому скверному предложенію: въ его сердцѣ оно нашло бы навѣрное отголосокъ и оцѣнку, а если выгодно, то и помощь. Это былъ первообразъ русскаго чиновника, міроѣда, подъячаго. Когда я его спросилъ, доволенъ ли онъ готовившимся освобожденіемъ крестьянъ, онъ отвѣчалъ мнѣ:

— Какъ-же-съ, безъ сомнѣнія—и, вздохнувши, прибавилъ Господи, что тяжбъ-то будетъ-съ, разбирательствъ! а князь завезъ меня сюда, какъ на смѣхъ, именно въ такое время.

До пріѣзда Голицына онъ мнѣ съ видомъ задушевности говорилъ:—Вы не вѣрьте, что вамъ о князѣ будутъ говорить насчетъ притѣсненія крестьянъ, или какъ онъ хотѣлъ ихъ безъ земли на волю выпустить за большой выкупъ. Все это враги распускаютъ. Ну, правда, лютъ онъ и щеголь; но зато сердце доброе, и для крестьянъ отецъ былъ.

Какъ только онъ поссорился, онъ, жалуясь на него, проклиналъ свою судьбу и жалѣлъ, что довѣрился такому прощальнѣ:

— Вѣдь, онъ всю жизнь безпутничалъ и крестьянъ раззорилъ; вѣдь, это онъ теперь прикидывается при васъ такимъ, а то, вѣдь, звѣрь, грабитель.....

— Когда же вы говорили неправду: теперь или тогда, когда вы его хвалили?—спросилъ я его, улыбаясь.

Секретарь сконфузился, я повернулся и ушелъ. Родись этотъ человекъ не въ людской князей Голицыныхъ, не сыномъ какого-нибудь земскаго, давно былъ бы, при его способностяхъ, министромъ, не знаю чѣмъ.

Черезъ часъ явился регентъ и его менторъ, съ запиской Голицына; онъ, извиняясь, просилъ меня, если могу, пріѣхать къ нему, чтобъ покончить эти дразги. Князь впередъ обѣщалъ принять безъ спора мое рѣшеніе.

Дѣлать было нечего; я отправился.

Все въ домѣ показывало необыкновенное волненіе. Французъ слуга, Пико, поспѣшно отворилъ мнѣ дверь и съ той торжественной суетливостью, съ которой провожаютъ доктора на консультацію къ умирающему, провелъ въ залу. Тамъ была вторая жена

Голицына, встревоженная и раздраженная; самъ Голицынъ ходилъ огромными шагами по комнатѣ, безъ галстука, богатырская грудь на-голо. Онъ былъ взбѣшенъ и оттого вдвое заикался; на всемъ лицѣ его было видно страданіе отъ внутри взошедшихъ, т. е., не вышедшихъ въ дѣйствительный міръ, зуботычинъ, пинковъ, треуховъ, которыми бы онъ отвѣчалъ инсургентамъ въ Тамбовской губерніи.

— Вы б—б—Бога ради простите меня, что я в—васъ беспокою изъ-за этихъ м—м—мошенниковъ.

— Въ чемъ дѣло?

— Вы ужъ, п—пожалуйста, сами спросите; я только буду слушать.

Онъ позвалъ регента, и у насъ пошелъ слѣдующій разговоръ:

— Вы недовольны чѣмъ-то?

— Очень недоволенъ, и оттого именно безпремѣнно хочу ѣхать въ Россію.

Князь, у котораго голосъ Лаблашевской силы, испустилъ львиный стонъ: еще пять зуботычинъ возвращались къ сердцу.

— Князь васъ удержать не можетъ, такъ вы скажите, чѣмъ недовольны-то вы?

— Всѣмъ-съ, Александръ Ивановичъ.

— Да вы ужъ говорите потолковитѣе.

— Какъ же чѣмъ-съ? я съ тѣхъ поръ, какъ изъ Россіи пріѣхалъ, съ ногъ сбить работой, а жалованья получилъ только два фунта, да третій разъ вечеромъ князь далъ больше въ подарокъ.

— А вы сколько должны получать?

— Этого я не могу сказать-съ...

— Есть же у васъ опредѣленный окладъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Князь, когда *изволили* бѣжать за границу (это безъ злого умысла), сказали мнѣ: вотъ хочешь ѣхать со мной, я, молъ, устрою твою судьбу и, если мнѣ повезетъ, дамъ большое жалованье; а если нѣтъ, то и малымъ довольствуйся; ну, я такъ и поѣхалъ.

Это онъ изъ Тамбова-то въ Лондонъ поѣхалъ на такомъ условіи..... О, Русь!

— Ну, а какъ, по вашему, везетъ князю, или нѣтъ?

— Какой везетъ-съ! оно, конечно, можно бы все...

— Это другой вопросъ. Если ему не везетъ, стало, вы должны довольствоваться малымъ жалованьемъ.

— Да князь самъ говорилъ, что по моей службѣ, т. е., и способности, по здѣшнимъ деньгамъ, меньше нельзя, какъ фунта четыре въ мѣсяць.

— Князь, вы желаете заплатить ему по 4 ф. въ мѣсяцъ?

— Съ о—о—хотой-съ

— Дѣло идетъ прекрасно, что же дальше?

— Князь-съ общалъ, что, если я захочу возвратиться, то пожелуетъ мнѣ на обратный путь до Петербурга.

Князь кивнулъ головой и прибавилъ:

— Да, но въ томъ случаѣ, если я имъ буду доволенъ!

— Чѣмъ же вы недовольны имъ?

Теперь плотину прорвало: князь вскочилъ, трагическимъ басомъ, которому еще больше придавало вѣса дребезжаніе нѣкоторыхъ буквъ и маленькія паузы между согласными, произнесъ онъ слѣдующую рѣчь:

— Мнѣ имъ быть д—довольнымъ, этимъ м—м—молокосомъ, этимъ щ—щенкомъ? Меня бѣситъ гнусная неблагодарность этого разбойника. Я его взялъ къ себѣ во дворъ изъ самобѣднѣйшаго семейства крестьянъ, вшами заѣденнаго, босого; училъ негодая. Я изъ него сдѣлалъ ч—человѣка, музыканта, регента; голосъ канальѣ выработалъ такой, что въ Россіи въ сезонъ рублей возьметъ сто въ мѣсяцъ жалованья.

— Все это такъ, Юрій Николаевичъ, но я не могу раздѣлить вашего взгляда. Ни онъ, ни его семья васъ не просили дѣлать изъ него Ронкони; стало, и особой благодарности съ его стороны вы не можете требовать. Вы его обучили, какъ учатъ соловьевъ, и хорошо сдѣлали; но тѣмъ и конецъ. Къ тому же это и къ дѣлу не идетъ.

— Вы правы, но я хотѣлъ сказать: каково мнѣ выносить это? вѣдь, я его к—каналью.....

— Такъ вы согласны ему дать на дорогу?

— Чортъ съ нимъ, для васъ, только для васъ даю.

— Ну, вотъ дѣло и слажено; а вы знаете, сколько на дорогу надобно?

— Говорятъ фунтовъ двадцать.

— Нѣтъ, этого много. Отсюда до Петербурга ста цѣлковыхъ за глаза довольно. Вы даете?

— Даю.

Я расчелъ на бумажкѣ и передалъ Голицыну; тотъ взглянулъ на итогъ... выходило, помнится, съ чѣмъ-то 30 фунтовъ. Онъ тутъ же мнѣ ихъ и вручилъ.

— Вы, разумѣется, грамотѣ знаете, спросилъ я регента.

— Какъ же-съ.

Я написалъ ему расписку въ такомъ родѣ: «Я получилъ съ кв. Ю. Н. Голицына должныя мнѣ за жалованье и на проѣздъ изъ Лондона въ Петербургъ тридцать съ чѣмъ-то фунтовъ (на

русскія деньги столько-то). Затѣмъ остаюсь доволенъ и никакихъ другихъ требованій на него не имѣю».

— Прочтите сами и подпишитесь.

Регентъ прочелъ, но не дѣлалъ никакихъ приготовленій, чтобъ подписаться.

— За чѣмъ дѣло?

— Не могу-съ.

— Какъ не можете?

— Я недоволенъ.

Львиный, сдержанный ревъ, да ужъ и я самъ готовъ былъ прикрикнуть:

— Что за дьявольщина, вы сами сказали, въ чемъ ваше требованіе. Князь заплатилъ все до копейки; чѣмъ же вы недовольны?

— Помилуйте-съ; а сколько нужды я натерпѣлся съ тѣхъ поръ, какъ здѣсь.

Ясно было, что легкость, съ которой онъ получилъ деньги, разлакомила его.

— Напримѣръ-съ, мнѣ слѣдуетъ еще за переписку нотъ.

— Врешь! закричалъ Голицынъ такъ, какъ и Таблашъ никогда не кричалъ; робко отвѣтили ему своимъ эхо рояли; блѣдная голова Пико показалась въ щель и исчезла съ быстротой испуганной ящерицы...

— Развѣ переписываніе нотъ не входило въ прямую твою обязанность? да и что же бы ты дѣлалъ все время, когда концертовъ не было?

Князь былъ правъ, хотя и ненужно было пугать Пико глазомъ контрбомбардоннымъ.

Регентъ, привыкнувшій ко всякимъ звукамъ, не сдался и, оставя въ сторонѣ переписываніе нотъ, обратился ко мнѣ съ слѣдующей нелѣпостью.

— Да вотъ еще и насчетъ одежды, я совсѣмъ обносился.

— Да неужели, давая вамъ въ годъ около 50 фунтовъ жалованья, Юрій Николаевичъ еще обязался одѣвать васъ?

— Нѣтъ-съ; но прежде князь все иногда давали, а теперь стыдно сказать, до того дошелъ, что безъ носковъ хожу.

— Я самъ хожу безъ н—н—носковъ, прогремѣлъ князь и, сложа на груди руки, гордо и съ презрѣніемъ смотрѣлъ на регента. Этой выходки я никакъ не ожидалъ и съ удивленіемъ смотрѣлъ ему въ глаза. Но, видя, что онъ собирается продолжать, я очень серьезно соколу-пѣвцу сказалъ:

— Вы приходили ко мнѣ сегодня утромъ просить меня въ посредники: стало, вы вѣрили мнѣ?

— Мы васъ очень довольно знаемъ, въ васъ мы нисколько не сомнѣваемся, вы ужъ въ обиду не дадите.

— Прекрасно, ну, такъ я вотъ какъ рѣшаю дѣло: подпишите сейчасъ бумагу, или отдайте деньги; я ихъ передамъ князю и съ тѣмъ вмѣстѣ отказываюсь отъ всякаго вмѣшательства.

Регентъ не захотѣлъ вручить бумажникъ князю, подписалъ и поблагодарилъ меня.

Избавляю отъ разсказа, какъ онъ переводилъ счетъ на цѣлковые; я ему никакъ не могъ вдолбить, что по курсу цѣлковый стоитъ теперь не то, что стоилъ тогда, когда онъ выѣзжалъ изъ Россіи.

— Если вы думаете, что я васъ хочу надуть фунта на полтора, такъ вы вотъ что сдѣлайте: сходите къ нашему пону, да и попросите вамъ сдѣлать расчетъ. Онъ согласился.

Казалось, все кончено, и грудь Голицына не такъ грозно и бурно вздымалась; но судьба хотѣла, чтобъ и финалъ такъ же бы напомнилъ родину, какъ начало.

Регентъ помялся, помялся, и вдругъ, какъ будто между ними ничего не было, обратился къ Голицыну со словами:

— Ваше сіятельство, такъ какъ пароходъ изъ Гуля-съ идетъ только черезъ пять дней, явите милость—позвольте остаться покамѣстъ у васъ.

Задастъ ему, подумалъ я, мой Лаблашъ, самоотвержимо приготавлиаясь къ боли отъ шума.

— Разумѣется, оставайся. Куда ты къ чорту пойдешь.

Регентъ разблагодарилъ князя и ушелъ.

Голицынъ въ видѣ поясненія сказалъ мнѣ:

— Вѣдь, онъ предобрый малый; это его этотъ мошенникъ, этотъ в—воръ, этотъ поганый Юсъ подбилъ.

Поди тутъ Савиньи и Миттермейеръ, пусть схватятъ формулами и обобщать въ нормы юридическія понятія, развившіяся въ православномъ отечествѣ нашемъ между конюшней, въ которой драли дворовыхъ, и бариновымъ кабинетомъ, въ которомъ обирали мужиковъ.

Вторая *cause céleste*, именно съ Юсомъ, не удалась. Голицынъ вышелъ и вдругъ такъ закричалъ, и секретарь такъ закричалъ, что оставалось за тѣмъ катать другъ друга «подъ нитки»; причемъ князь, конечно, зашибъ бы гуняваго подъячаго. Но какъ все въ этомъ домѣ совершалось по законамъ особой логики, то подрались не князь съ секретаремъ, а секретарь съ дверью. Набравшись злобы и освѣжившись еще шкаликомъ джинну, онъ, выходя, треснулъ кулакомъ въ большое стекло, вставленное въ дверь, и *расшибъ его*.

— Полицію!—кричалъ Голицынъ—разбой,—полицію, и вошедши въ залу, бросился изнеможенный на диванъ. Когда онъ немного отошелъ, онъ пояснилъ мнѣ, между прочимъ, въ чемъ состоитъ

неблагодарность секретаря. Человѣкъ тотъ былъ повѣреннымъ у его брата п, не помню, смощенничаль что-то и долженъ былъ непремѣнно идти подѣ судѣ. Голицыну стало жаль его; онъ до того вошелъ въ его положеніе, что заложилъ послѣдніе часы, чтобъ выкупить его изъ бѣды. И потомъ, имѣя полныя доказательства, что онъ плутъ, взялъ его къ себѣ управляющимъ!

Что онъ на всякомъ шагу надувалъ Голицына, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія.

Я уѣхалъ. Человѣкъ, который могъ кулакомъ пробить зеркальное стекло, можетъ самъ себѣ найти судѣ и расправу. Къ тому же онъ мнѣ рассказывалъ потомъ, прося меня достать ему паспортъ, чтобъ ѣхать въ Россію, что онъ гордо предложилъ Голицыну пистолетъ и жребій,—кому стрѣлять.

Если это было, то пистолетъ навѣрное не былъ заряженъ.

Послѣднія деньги князя пошли на усмиреніе Спартаковского возстанія, и онъ все-таки, наконецъ, попалъ, какъ и слѣдовало ожидать, въ тюрьму за долги. Другого посадили бы—и дѣло въ шляпѣ; съ Голицынымъ и это не могло сойти просто съ рукъ.

Полисменъ привозилъ его ежедневно въ Cremorn Garden, часу въ восьмомъ; тамъ онъ дирижировалъ, для удовольствія лоретокъ всего Лондона, концертъ, и съ послѣднимъ взмахомъ скипетра изъ слоновой кости, незамѣтный полицейскій выросталъ изъ-подъ земли и не покидалъ князя до кэба, который везъ узника въ черномъ фракѣ и бѣлыхъ перчаткахъ въ тюрьму. Прощаясь со мной въ саду, у него были слезы на глазахъ. Бѣдный князь! другой смѣялся бы надъ этимъ, но онъ бралъ къ сердцу свое въ неволѣ заключеніе. Родные какъ-то выкупили его; потомъ правительство позволило ему возвратиться въ Россію и отправило его сначала на житѣ въ Ярославль, гдѣ онъ могъ дирижировать духовные концерты вмѣстѣ съ Фелинскимъ, варшавскимъ архіереемъ. Правительство добрѣе его отца: третій калачъ не меньше сына, онъ ему совѣтовалъ *идти въ монастырь*. Хорошо зналъ сына отецъ; а, вѣдь, самъ былъ до того музыкантъ, что Бетховенъ посвятилъ ему одну изъ симфоній.

За пышной фигурой ассирійскаго бога, тучнаго Аполлона-вола, не должно забывать рядъ другихъ русскихъ странностей.

Я не говорю о мелькающихъ тѣняхъ, какъ «колонель Рюссъ», но о тѣхъ, которые, причаленные судьбой и разными превратностями, приостанавливались надолго въ Лондонѣ, въ родѣ того чиновника военнаго комендантства, который, запутавшись въ дѣлахъ и долгахъ, бросился въ Неву, утонулъ... и всплылъ въ Лондонѣ *изгнанникомъ*, въ шубѣ и мѣховомъ картузѣ, которыхъ не покидалъ, несмотря на сырую теплоту лондонской зимы; въ родѣ моего друга Ивана Ивановича С., который весь, цѣликомъ,

съ своими antecedентами и будущностью, съ какой-то мездрой вмѣсто волосъ на головѣ, такъ и просится въ мою галлерею рѣд-костей.

Лейбъ-гвардіи павловскаго полка офицеръ въ отставкѣ, онъ жилъ себѣ да жилъ въ странахъ заморскихъ и дожилъ до февральской революціи; тутъ онъ испугался и сталъ на себя смотрѣть, какъ на преступника; не то чтобъ его мучила совѣсть, но мучила мысль о жандармахъ, которые его встрѣтятъ на границѣ, казематахъ, тройкѣ, снѣгѣ, — и рѣшился отложить возвращеніе. Вдругъ вѣсть о томъ, что его брата взяли по дѣлу Шевченка. Ему стало въ самомъ дѣлѣ нѣсколько опасно, и онъ тотчасъ рѣшился ѣхать. Въ это время я съ нимъ познакомился въ Ниццѣ. Отправился С., купивши на дорогу крошечную скляночку яду, которую, переѣзжая границу, хотѣлъ какъ-то укрѣпить въ дуплѣ пустого зуба и раскусить въ случаѣ ареста.

По мѣрѣ приближенія къ родинѣ, страхъ все возрасталъ, и въ Берлинѣ дошелъ до удручающей боли; однако С. переломилъ себя и сѣлъ въ вагонъ. Станцій на пять его стало; далѣе онъ не могъ. Машина брала воду, онъ подъ совершенно другимъ предлогомъ вышелъ изъ вагона. Машина свиснула, поѣздъ двинулся безъ С.; того-то ему и было надо. Оставивъ чемоданъ свой на произволъ судьбы, онъ съ первымъ обратнымъ поѣздомъ возвратился въ Берлинъ. Оттуда телеграфировалъ о чемоданѣ и пошелъ визировать свой пассъ въ Гамбургъ. «Вчера ѣхали въ Россію, сегодня въ Гамбургъ», замѣтилъ полицейскій, вовсе не отказывая въ визѣ. Перепуганный С. сказалъ ему: «Письма я получилъ, письма», и, вѣроятно, у него былъ такой видъ, что со стороны прусскаго чиновника просто упущеніе по службѣ, что онъ его не арестовалъ. Затѣмъ С., спасаясь никѣмъ не преслѣдуемый, какъ Людовикъ Филиппъ, пріѣхалъ въ Лондонъ. Въ Лондонѣ для него началась, какъ для тысячи и тысячи другихъ, тяжелая жизнь; онъ годы честно и твердо боролся съ нуждой. Но и ему судьба опредѣлила комическій бортикъ ко всѣмъ трагическимъ событіямъ. Онъ рѣшился давать уроки математики, черченія и даже французскаго языка (*для англичанъ*). Посовѣтовавшись съ тѣмъ и другимъ, онъ увидѣлъ, что безъ объявленія или карточекъ не обойдется. «Но вотъ бѣда: какъ взглянуть на это русское правительство. Думалъ я, думалъ, да и напечаталъ *анонимныя карточки*».

Долго я не могъ нарадоваться на это великое изобрѣтеніе: мнѣ въ голову не приходила возможность визитной карточки безъ имени.

Со своими анонимными карточками, съ большой настойчивостью (онъ жевалъ дни цѣлые картофелемъ и хлѣбомъ), онъ

сдвинулъ-таки свою барку съ мели, сталъ заниматься торговымъ комиссіонерствомъ, и дѣла его пошли успѣшно.

И это именно въ то время, когда шефъ павловскаго полка отошелъ въ вѣчность. Пошли льготы, амнистіи; захотѣлось и С. воспользоваться царскими милостями, и вотъ онъ пишетъ къ Брунову письмо и спрашиваетъ, подходитъ ли онъ подъ амнистію? Черезъ мѣсяцъ времени приглашаютъ С. въ посольство. Дѣло-то, — думалъ онъ — не такъ просто, мѣсяцъ думали.

— Мы получили отвѣтъ, — говоритъ ему старшій секретарь. — Вы нехотя поставили министерство въ затрудненіе; ничего объ васъ нѣтъ. Оно сносилось съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, и у него не могутъ найти никакого дѣла объ васъ. Скажите намъ просто, что съ вами было, не можетъ же быть ничего важнаго.

— Да въ 1849 г. мой братъ былъ арестованъ и потомъ сосланъ.

— Ну?

— Больше ничего.

Нѣтъ, — подумалъ Николай, — шалить, и сказалъ С., что, если такъ, то министерство снова наведетъ справки. Прошло мѣсяца два. Я воображаю, что было въ эти два мѣсяца въ Петербургѣ: отношенія, сообщенія, конфиденціональныя справки, секретныя запросы изъ министерства въ III отдѣленіе, изъ III отдѣленія въ министерство, справки Х... генераль-губернатора... выговоры, замѣчанія... а дѣла о С. найти не могли.

Такъ министерство и сообщило въ Лондонъ.

Посылаетъ за С. самъ Бруновъ.

— Вотъ, говоритъ, смотрите отвѣтъ: нигдѣ ничего объ васъ. Скажите, по какому вы дѣлу замѣшаны?

— Мой братъ...

— Все это я слышалъ, да вы-то сами по какому дѣлу?

— Больше ничего не было.

Бруновъ, отъ рожденія ничему не удивлявшійся, удивился.

— Такъ отчего же вы просите прощенья, когда вы ничего не сдѣлали?

— Я думалъ, что все же лучше...

— Стало, просто на просто, вамъ не амнистія нужна, а паспортъ.

И Бруновъ велѣлъ выдать пассъ.

На радостяхъ С. прискакалъ къ намъ.

Разсказавъ подробно всю исторію о томъ, какъ онъ добился амнистіи, онъ взялъ Огарева подъ руку и увелъ въ садъ.

— Дайте мнѣ, Бога ради, совѣтъ, сказалъ онъ ему, Александръ Ивановичъ все смѣется надо мной, такой ужъ нравъ у него; но у васъ сердце доброе. Скажите мнѣ откровенно: думаете вы, что я могу безопасно ѣхать Вѣной?

Огаревъ не поддержалъ добраго мнѣнія и расхохотался. Да что Огаревъ, я воображаю, какъ Бруновъ и Николай минуты на двѣ расправили морщины отъ тяжелыхъ государственныхъ заботъ и осклабились, когда амнистированный С. вышелъ изъ кабинета.

Но при всѣхъ своихъ оригинальностяхъ, С. былъ честный человѣкъ. Другіе русскіе, неизвѣстно откуда всплывавшіе, бродившіе мѣсяць, другой по Лондону, являвшіеся къ намъ съ собственными рекомендательными письмами и исчезавшіе неизвѣстно куда, были далеко не такъ безопасны.

Печальное дѣло, о которомъ я хочу разсказать, было лѣтомъ 1862. Реакція была тогда въ инкубаціи и изъ внутреннего, скрытаго гніенія еще не выходила наружу. Никто не боялся къ намъ ѣздить; никто не боялся брать съ собой *Колоколъ* и другія наши изданія; многіе хвастались, какъ они мастерски провозятъ. Когда мы совѣтовали быть осторожными, надъ нами смѣялись. Писемъ мы почти никогда не писали въ Россію: старымъ знакомымъ намъ нечего было сказать, мы съ ними стояли все дальше и дальше, съ новыми незнакомцами мы переписывались черезъ *Колоколъ*.

Весной возвратился изъ Москвы и Петербурга Кельсіевъ. Его поѣздка, безъ сомнѣнія, принадлежитъ къ самымъ замѣчательнымъ эпизодамъ того времени. Человѣкъ, ходившій мимо носа полиціи, едва скрывавшійся, бывавшій на раскольниковыхъ бесѣдахъ и товарищескихъ попойкахъ, съ глупѣйшимъ турецкимъ пассомъ въ карманѣ, и возвратившійся *sain et sauf* въ Лондонъ, немного закусылъ удила. Онъ вздумалъ сдѣлать пирушку въ нашу честь въ день пятилѣтія *Колокола*, по подпискѣ, въ ресторанѣ Кюна. Я просилъ его отложить праздникъ до другого, больше веселаго времени. Онъ не хотѣлъ. Праздникъ не удался, не было *entrain* и не могло быть. Въ числѣ участниковъ были люди слишкомъ посторонніе.

Говоря о томъ и семъ, между тостами и анекдотами, говорили, какъ о самопростѣйшей вещи, что пріятель Кельсіева, Ветошниковъ, ѣдетъ въ Петербургъ и готовъ съ собою кое-что взять. Разошлись поздно. Многіе сказали, что будутъ въ воскресенье у насъ. Собралась дѣйствительно цѣлая толпа, въ числѣ которой были очень мало знакомые намъ люди и, по несчастію, самъ Ветошниковъ; онъ подошелъ ко мнѣ и сказалъ, что завтра утромъ ѣдетъ, спрашивая меня, — нѣтъ-ли писемъ, порученій. Бакунинъ ему уже далъ два-три письма. Огаревъ пошелъ къ себѣ внизъ и написалъ нѣсколько словъ дружескаго привѣта Николаю Серно-Соловьевичу; съ нимъ я приписалъ поклонъ и просилъ его обратить вниманіе Чернышевскаго (къ которому я никогда не писалъ)

на наше предложеніе въ *Колоколь* печатать на свой счетъ *Современникъ* въ Лондонѣ. Гости стали расходиться часовъ около 12; двое-трое оставались. Ветошниковъ вошелъ въ мой кабинетъ и взялъ письмо. Очень можетъ быть, что и это осталось бы незамѣченнымъ. Но вотъ что случилось. Чтобъ отблагодарить участниковъ обѣда, я просилъ ихъ принять на память отъ меня по выбору что-нибудь изъ нашихъ изданій, или большую фотографію мою. Левъ Ветошниковъ взялъ фотографію; я ему совѣтовалъ обрѣзать края и свернуть въ трубочку; онъ не хотѣлъ и говорилъ, что положить ее на дно чемодана, а потому завернулъ ее въ листъ «Теймса» и такъ отправился. Этого нельзя было не замѣтить. Прощаясь съ нимъ съ послѣднимъ, я спокойно отправился спать,—такъ иногда сильно бываетъ ослѣпленіе—и, ужъ конечно, не думалъ, какъ дорого обойдется эта минута и сколько ночей безъ сна она принесетъ мнѣ. Все вмѣстѣ было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени. Можно было остановить Ветошникова до вторника, отправить въ субботу; зачѣмъ онъ не приходилъ утромъ?... да и вообще зачѣмъ онъ приходилъ самъ?... да и зачѣмъ мы писали?...

Говорятъ, что одинъ изъ гостей телеграфировалъ тотчасъ въ Петербургъ.

Ветошникова схватили на пароходѣ; остальное извѣстно.

Въ заключеніе этого печальнаго сказанья, скажу о человѣкѣ, вскользь упомянутомъ мною, и котораго пройти мимо не слѣдуетъ. Я говорю о Кельсіевѣ.

В. И. Кельсіевъ.

Имя В. Кельсіева пріобрѣло въ послѣднее время печальную извѣстность: быстрота внутренней и скорость внѣшней перемѣны, удачность раскаянія, неотлагаемая потребность всенародной исповѣди и ея странная усѣченность, безтактность разсказа, неумѣстная смѣшливость рядомъ съ неприличной въ кающемся и прощенномъ развязностью; все это, при непривычкѣ нашего общества къ крутымъ и гласнымъ превращеніямъ, вооружило противъ него лучшую часть нашей журналистики. Кельсіеву хотѣлось во что бы то ни стало—занимать собою публику; онъ и накупился на видное мѣсто мишенью, въ которую каждый бросаетъ камень, не жалѣя. Я далекъ отъ того, чтобъ порицать неторпимость, которую показала въ этомъ случаѣ наша дремлющая литература. Негодованіе это свидѣтельствуетъ о томъ, что много свѣтлыхъ, неспорченныхъ силъ уцѣлѣли у насъ, несмотря на черную полосу нравственной неурядицы и безнравственного слова. Негодованіе, опрокинувшееся на Кельсіева, то самое, которое нѣкогда не пощадило Пушкина за одно или два стихотворенія и отвернулось отъ Гоголя за его «Переписку съ друзьями».

Бросать въ Кельсіева камнемъ лишнее, въ него и такъ брошена цѣлая мостовая. Я хочу передать другимъ и напомнить ему, какимъ онъ явился къ намъ въ Лондонъ и какимъ уѣхалъ во второй разъ въ Турцію.

Пусть онъ сравнитъ самыя тяжелыя минуты тогдашней жизни съ лучшими своей теперешней карьеры.

Страницы эти писаны прежде раскаянья и покаянья, прежде метемпсихозы и метаморфозы. Я въ нихъ ничего не измѣнилъ и добавилъ только отрывки изъ писемъ. Въ моемъ бѣгломъ очеркѣ Кельсіевъ представленъ такъ, какъ онъ остался въ памяти до его появленія на лодкѣ въ Скулянскую таможенную, въ качествѣ запрещеннаго товара, просящаго конфискаціи и поступленія съ нимъ по законамъ.

Въ 1859 году получилъ я первое письмо отъ него.

Письмо отъ Кельсіева было изъ Плимута. Онъ туда приплылъ на пароходѣ Сѣверо-Американской компаніи и отправлялся куда-

то въ Ситху или Уполамай на службу. Погостивши въ Плимутѣ, ему расхотѣлось ѣхать на Алеутскіе острова и онъ писалъ ко мнѣ, спрашивая, можно ли ему найти пропитаніе въ Лондонѣ. Онъ успѣлъ уже въ Плимутѣ познакомиться съ какими-то теологами и сообщалъ мнѣ, что они обратили его вниманіе на замѣчательныя истолкованія пророчествъ. Я предостерегъ его отъ клерджименовъ и звалъ въ Лондонъ, «если онъ дѣйствительно хочетъ работать». Недѣли черезъ двѣ онъ явился. Молодой, довольно высокій, худой, болѣзненный, съ четверугольнымъ черепомъ, съ шапкой волосъ на головѣ, онъ мнѣ напоминалъ, не волосами (тотъ былъ плѣшивъ), а всѣмъ существомъ своимъ Энгельсона,—и дѣйствительно, онъ очень многимъ былъ похожъ на него. Съ перваго взгляда можно было замѣтить много неустроеннаго и неустоявшагося,—но ничего пошлаго. Видно было, что онъ вышелъ на волю изъ всѣхъ оpekъ и крѣпостей, но еще не приписался ни къ какому дѣлу и обществу: цѣли не имѣлъ. Онъ былъ гораздо моложе Энгельсона, но все же принадлежалъ къ позднѣйшей шеренгѣ Петрашевцевъ и имѣлъ часть ихъ достоинствъ и всѣ недостатки, учился всему на свѣтѣ и ничему не научился до тла, читалъ всякую всячину и надо всѣмъ ломалъ довольно бесплодно голову. Отъ постоянной критики всего общепринятаго Кельсіевъ раскачалъ въ себѣ всѣ нравственныя понятія и не приобрѣлъ никакой нити поведенія.

Особенно оригинально было то, что въ скептическомъ оцупываніи Кельсіева сохранилась какая-то примѣсь мистическихъ фантазій: онъ былъ нигилистъ съ религіозными приѣмами, нигилистъ въ дьяконовскомъ стихарѣ. Церковный отгѣнокъ, нарѣчіе и образность остались у него въ формѣ, въ языкѣ, въ слогѣ¹⁾, и придавали всей его жизни особый характеръ и особое единство, основанное на спайкѣ противоположныхъ металловъ.

У Кельсіева шелъ тотъ знакомый намъ переборъ, который дѣлаетъ почти всегда въ самомъ дѣлѣ проснувшійся русскій внутри себя и о которомъ вовсе не думаетъ за недосугомъ и заботами западный человѣкъ, втянутый своими специальностями въ другія дѣла; старіе братья наши не провѣряютъ задовъ, и оттого у нихъ смѣняются поколѣнія, строя и разрушая, награждая и наказуя, надѣвая вѣнки и кандалы, твердо увѣренные, что такъ и надобно, что они дѣлають дѣло. Кельсіевъ, напротивъ, сомнѣвался во всемъ и не принималъ на слово ни добро—добра, ни зло—зла. Кобенящійся духъ этотъ, отрѣшающійся отъ вперёдъ идущей нравственности и готовыхъ истинъ, накупѣлъ всего

¹⁾ Петрашевцами заключаются у насъ сильно занимавшіеся юноши; ихъ можно назвать послѣднимъ классомъ нашего учебнаго историческаго развитія.

больше въ мі-сакѣте нашего николаевского поста и рѣзко сталъ высказываться, когда гиря, давившая наши мозги, приподнялась на одну линію. На этотъ полный жизни и отваги анализъ и накинута была Богъ вѣсть что хранящая консервативная литература, а за ней и правительство.

Во время нашего пробужденія, подъ звуки севастопольскихъ пушекъ, съ чужихъ словъ, многіе изъ нашихъ умниковъ пошли повторять, что западный консерватизмъ у насъ фактъ правильный, что насъ наскоро подогнали къ европейскому образованію не для того, чтобъ дѣлиться съ нимъ наслѣдственными болѣзнями и застарѣлыми предразсудками, а для «сравненія съ старшими», для того, чтобъ была возможность съ ими итти ровнымъ шагомъ впередъ. Но какъ только мы видимъ на самомъ дѣлѣ, что у проснувшейся мысли, что у возмужалаго слова нѣтъ ничего твердаго, «ничего святого», а есть вопросы и задачи, что мысль ищетъ, что слово отрицаетъ, что дурное раскачивается вмѣстѣ съ «завѣдомо» хорошимъ и что духъ питанія и сомнѣнія влечетъ все—все безъ разбора—въ пропасть, лишенную перилъ,—тогда крикъ ужаса и изступленія вырывается изъ груди, и пассажиры первыхъ классовъ закрываютъ глаза, чтобъ не видать какъ вагоны сорвутся съ рельсовъ, а кондукторы тормозятъ и останавливаютъ всякое движеніе.

Разумѣется, бояться причины нѣтъ: возникающая сила слишкомъ слаба, чтобъ матеріально сдвинуть шестидесяти милліонный поѣздъ съ рельсовъ. Но въ ней была программа, можетъ быть, пророчество.

Кельсиевъ развился подъ первымъ вліяніемъ времени, о которомъ мы говорили. Онъ далеко не ослѣлся, не дошелъ ни до какого центра тяжести, но онъ былъ въ полной ликвидаціи всего нравственнаго имущества. Отъ стараго онъ отрѣшился, твердое распустилъ, берегъ оттолкнулъ и, очертя голову, пустился въ широкое море. Равно подозрительно и съ недовѣріемъ относился онъ къ вѣрѣ и къ невѣрію, къ русскимъ порядкамъ и къ порядкамъ западнымъ.

Одно, что пустило корни въ его груди, было сознаніе страстное и глубокое экономической неправды современнаго государственнаго строя и, въ силу этого, ненависть къ нему и темное стремленіе къ социальнымъ теоріямъ, въ которыхъ онъ видѣлъ выходъ.

На это сознаніе неправды и на эту ненависть, сверхъ пониманья, онъ имѣлъ неотъемлемое право.

Въ Лондонѣ онъ поселился въ одной изъ отдаленнѣйшихъ частей города, въ глухомъ переулкѣ Фулама, населенномъ матовыми, подернутыми чѣмъ-то пепельнымъ, ирландцами и всякими

исхудалыми работниками. Въ этихъ сырыхъ каменныхъ коридорахъ безъ крыши страшно тихо, звуковъ почти нѣтъ никакихъ, ни свѣта, ни цвѣта: люди, плошки, дома, все полиняло и осунулось; дымъ и сажа обвели всѣ линіи траурнымъ ободкомъ. По нимъ не трещать телѣжки лавочниковъ, развозящихъ съѣстные припасы, не ѣздить извозищѣ кареты, не кричатъ разносчики, не лаютъ собаки (послѣднимъ рѣшительно нечѣмъ питаться); изрѣдка только выходитъ какая-нибудь худая взъерошенная и покрытая углемъ кошка, проберется по крышѣ и подойдетъ къ трубѣ погрѣться, выгибая спину и обличая видомъ, что внутри дома она передрогла.

Когда я въ первый разъ посѣтилъ Кельсіева, его не было дома. Очень молодая, очень некрасивая женщина, худая, лимфатическая, съ заплаканными глазами, сидѣла у тюфяка, посланнаго на полу, на которомъ весь въ лихорадкѣ и жарѣ метался, страдалъ, умиралъ ребенокъ, года или полтора.

Я посмотрѣлъ на его лицо и вспомнилъ предсмертныя черты другого ребенка, это было *то же* выраженіе. Черезъ нѣсколько дней онъ умеръ, другой родился.

Бѣдность была всесовершеннѣйшая. Молодая, тщедушная женщина, или, лучше, замужня дѣвочка, выносила ее геройски и съ необычайной простотой.

Думать нельзя было, глядя на ея болѣзненную, золотушную, слабую наружность, что за мощь, что за сила преданности обитала въ этомъ хиломъ тѣлѣ. Она могла служить горькимъ урокомъ нашимъ записнымъ романистамъ. Она была, хотѣла быть тѣмъ, что впослѣдствіи назвали *нигилисткой*: странно чесала волосы, небрежно одѣвалась, много курила, не боялась ни смѣлыхъ мыслей, ни смѣлыхъ словъ; она не умилялась передъ семейными добродѣтелями, не говорила о священномъ долгѣ, о сладости жертвы, которую совершаетъ ежедневно, и о легкости креста, давившаго ея молодыя плечи. Она не кокетничала своей борьбой съ нуждой и дѣлала все: шила и мыла, кормила ребенка, варила мясо и чистила комнату. Твердымъ товарищемъ была она мужу и великой страдальцей сложила голову свою на дальнемъ востокѣ, слѣдуя за блуждающимъ, безпокойнымъ бѣгомъ своего мужа и потерявъ рядомъ двухъ послѣднихъ малютокъ.

Поборолся я сначала съ Кельсіевымъ, старался его убѣдить, чтобъ онъ не отрѣзывалъ себѣ съ самаго начала, не извѣдавши жизни изгнанника, пути къ возвращенію.

Я ему говорилъ, что надобно прежде узнать нужду на чужбинѣ, нужду въ Англіи, особенно въ Лондонѣ; я ему говорилъ, что въ Россіи теперь дорога всякая сила.

— Что вы будете здѣсь дѣлать?—спрашивалъ я его. Кельсiевъ собирался всему учиться и обо всемъ писать; нуще всего хотѣлъ онъ писать о женскомъ вопросѣ, о семейномъ устройствѣ.

— Пишите прежде, говорилъ я ему, объ освобожденіи крестьянъ съ землей. Это первый вопросъ, стоящій на дорогѣ. Но симпатіи Кельсiева были не туда обращены. Онъ дѣйствительно принесъ мнѣ статью о женскомъ вопросѣ. Она была безмѣрно плоха. Кельсiевъ посердился, что я ее не напечаталъ, и самъ благодарилъ меня за это, года два спустя.

Возвращаясь онъ не хотѣлъ. Во чтобъ ни стало надобно было найти ему работу. За это мы и принялись. Теологическія экцентричности его намъ помогли. Мы доставили ему корректуру св. Писанія, издаваемого по русски лондонскимъ библейскимъ обществомъ; затѣмъ передали ему кипу бумагъ, полученныхъ нами въ разное время, по части старообрядцевъ. За изданіе ихъ и приведеніе въ порядокъ Кельсiевъ принялся со страстью. То, о чемъ онъ догадывался и мечталъ, то раскрывалось передъ нимъ фактически: грубо наивный социализмъ въ евангельской ризѣ сквозилъ ему въ расколѣ. Это было лучшее время въ жизни Кельсiева, онъ съ увлеченіемъ работалъ и прибѣгалъ иногда вечеромъ ко мнѣ указать какую-нибудь социальную мысль духовборцевъ, молоканъ, какое-нибудь коммунистическое ученіе едосѣвцевъ; онъ былъ въ восторгѣ отъ ихъ скитанія по лѣсамъ, ставилъ идеаломъ своей жизни скитаться между ними и сдѣлаться учителемъ социально-христіанскаго раскола въ Бѣлокриницѣ или Россіи.

И дѣйствительно, Кельсiевъ былъ въ душѣ «бѣгуномъ», бѣгуномъ нравственнымъ и практическимъ: его мучили неустоявшіеся мысли, тоска. На одномъ мѣстѣ онъ оставаться не могъ. Онъ нашелъ работу, занятіе, безбѣдное пропитаніе, но не нашелъ дѣла, которое бы поглотило совсѣмъ его безпокойный темпераментъ; онъ былъ готовъ искать его, готовъ былъ не только итти всюду, но поступить въ монахи, принявъ священство безъ вѣры.

Настоящій русскій человекъ, Кельсiевъ всякій мѣсяцъ дѣлалъ новую программу занятій, придумывалъ проекты и брался за новую работу, не кончивъ старой. Работалъ онъ запоємъ и запоємъ ничего не дѣлалъ. Онъ схватывалъ вещи легко, но тотчасъ удовлетворялся до пресыщенія, изъ всего тянулъ онъ съ разу жилы до послѣдняго вывода, а иногда и подальше.

Сборникъ о раскольникахъ шелъ успѣшно; онъ издалъ *шесть* частей, быстро расхोдившихся. Правительство, видя это, позволило обнародованіе свѣдѣній о старообрядцахъ. Тоже случилось съ переводомъ библіи. Переводъ съ еврейскаго не удался. Кельсiевъ попробовалъ сдѣлать *un tour de force* и перевести «слово

въ слово», несмотря на то, что грамматическія формы семитическихъ языковъ вовсе не совпадаютъ съ славянскими. Тѣмъ не меньше, выпущенные ливрезоны разошлись мгновенно, и святѣйшій синодъ, испугавшись заграничнаго изданія, *благословилъ* печатаніе стараго завѣта на русскомъ языкѣ. Эти обратныя побѣды никогда никѣмъ не были поставлены въ *crédit* нашего станка.

Въ концѣ 1862 Кельсіевъ отправился въ Москву съ цѣлью завести прочныя связи съ раскольниками. Поѣздку эту онъ когда-нибудь долженъ самъ рассказать. Она невѣроятна, невозможна, а на дѣлѣ дѣйствительно была. Въ этой поѣздкѣ отвага граничитъ съ безуміемъ; въ ней опрометчивость почти преступная, но уже, конечно, не я буду его винить въ ней. Неосторожная болтовня за границей могла сдѣлать много бѣдъ. Но къ дѣлу и оцѣнкѣ самой поѣздки это не идетъ.

Возвратясь въ Лондонъ, онъ принялся по требованію Трюбнера за составленіе русской грамматики для англичанъ и за переводъ какой-то финансовой книги. Ни того, ни другого онъ не кончилъ: путешествіе стубило его *Sitzfleiss*. Онъ тяготился работой, впадалъ въ ипохондрію, унывалъ; а работа была нужна, денегъ опять не было ни гроша. Къ тому же и новый червь начиналъ точить его. Успѣхъ поѣздки, безспорно доказанная отвага, таинственные переговоры, побѣда надъ опасностями, все это раздуло въ его груди и безъ того сильную струю самолюбія; обратно Цезарю, Донъ-Карлосу и Вадиму Пассекъ, Кельсіевъ, запуская руки въ свои густые волосы, говорилъ, покачивая грустно головой:

— Еще нѣтъ тридцати лѣтъ, и уже такая отвѣтственность взята мною на плечи.

Изъ всего этого легко можно было понять, что грамматики онъ не кончить, а уйдетъ. Онъ и ушелъ. Ушелъ онъ въ Турцію, съ твердымъ намѣреніемъ еще больше сблизиться съ раскольниками, составить новыя связи и, если возможно, остаться тамъ и начать проповѣдь вольной церкви и общиннаго житія. Я писалъ ему длинное письмо, убѣждая его не ѣздить, а продолжать работу. Но страсть къ скитанію, желаніе подвига и великой судьбы, мерещившейся ему, были сильнѣе, и онъ уѣхалъ. Онъ и Мартыановъ исчезаютъ почти въ одно время. Одинъ, чтобъ, послѣ ряда несчастій и испытаній, хоронить своихъ и теряться между Яссами и Галацомъ; другой, чтобъ схоронить себя на каторжной работѣ.

Послѣ нихъ являются на сцену люди другого чекана. Наша общественная метаморфоза, не имѣя большой глубины и захватывая очень тонкій слой, быстро изнашиваетъ и измѣняетъ формы и цвѣта.

Между Энгельсономъ и Кельсіевымъ уже цѣлая формація, какъ между нами и Энгельсономъ. Энгельсонъ былъ человѣкъ сломленный, оскорбленный; зло, сдѣланное ему всей средой, миазмы, которыми онъ дышалъ съ дѣтства, изуродовали его. Лучъ свѣта скользнулъ по немъ и отогрѣлъ его года за три до его смерти; тогда уже неостанавливаемый недугъ грызъ его грудь. Кельсіевъ, тоже поматый и попорченный средой, явился однако безъ отчаянія и устали; оставаясь за границей, онъ не просто шелъ на покой, не просто бѣжалъ безъ оглядки отъ тяжести: онъ шелъ *куда-то*. Куда?—этого онъ не *зналъ* (и тутъ всего ярче выразился видовой оттѣнокъ его пласта), опредѣленной цѣли онъ не имѣлъ; онъ ее искалъ и покамѣстъ осматривался и приводилъ въ порядокъ, а, пожалуй, и въ беспорядокъ, всю массу идей, захваченныхъ въ школѣ, книгахъ и жизни. Внутри у него шла ломка, о которой мы говорили, и она для него была существеннымъ вопросомъ, которымъ онъ жилъ, выжидая или такого дѣла, которое поглотило бы его, или такую мысль, которой бы онъ отдался.

Потаскавшись въ Турціи, Кельсіевъ рѣшился поселиться въ Тульчѣ; тамъ онъ хотѣлъ учредить средоточіе своей пропаганды между раскольниками, школу для казацкихъ дѣтей и сдѣлать опытъ общинной жизни, въ которой прибыль и убыль должна была падать на всѣхъ, чистая и нечистая, легкая и трудная работа — обдѣływаться всѣми. Дешевизна помѣщенія и съѣстныхъ припасовъ дѣлали опытъ возможнымъ. Онъ сблизился съ старымъ атаманомъ некрасовцевъ, Гончаромъ, и въ началѣ превозносилъ его до небесъ.

Лѣтомъ въ 1863 подѣхалъ къ нему его меньшей братъ Иванъ, прекрасный, даровитый юноша. Онъ былъ по студенческому дѣлу высланъ изъ Москвы въ Пермь; тамъ попался къ негодяю губернатору, который его тѣснилъ. Потомъ его опять вызвали въ Москву для какихъ-то показаній; ему грозила ссылка далѣе Перьми. Онъ бѣжалъ изъ частнаго дома и пробрался черезъ Константинополь въ Тульчу. Старшій братъ былъ чрезвычайно радъ ему; онъ искалъ товарищей и, наконецъ, звалъ жену, которая рвалась къ нему и жила на нашемъ попеченіи въ Тедингтонѣ. Пока мы ее снаряжали, явился въ Лондонъ и самъ Гончаръ.

Хитрый старикъ, почуявшій смуты и войны, вышелъ изъ своей берлоги понюхать воздухъ и посмотреть, чего откуда можно ждать, т. е., съ кѣмъ итти и противъ кого. Не зная ни одного слова, кромѣ по-русски и по-турецки, онъ отправился въ Марсель и оттуда въ Парижъ. Въ Парижѣ онъ видѣлся съ Чарторижскимъ и Замойскимъ; говорятъ даже, что его возили къ Наполеону; отъ него я этого не слыхалъ. Переговоры ни къ чему не привели, и

сѣдой казакъ, качая головой и щуря лукавыми глазами, написалъ каракульками семнадцатаго столѣтія ко мнѣ письмо, въ которомъ, называя меня «графомъ», спрашивалъ: можетъ ли пріѣхать къ намъ и какъ насъ найти. Мы жили тогда въ Тедингтонѣ; безъ языка не легко было добратся до насъ, и я поѣхалъ въ Лондонъ на желѣзную дорогу встрѣтить его. Выходитъ изъ вагона старый русскій мужикъ, изъ зажиточныхъ, въ сѣромъ кафтанѣ, съ русской бородой, скорѣе худощавый, но крѣпкій, мускулистый, довольно высокій и загорѣлый, несетъ узелокъ въ цвѣтномъ платкѣ.

— Вы *Осипъ Семеновичъ*? спрашиваю я.

— Я, батюшка, я.—Онъ подаль мнѣ руку. Кафтанъ распахнулся, и я увидѣлъ на поддевкѣ большую звѣзду, разумѣется, турецкую: *русскихъ* звѣздъ мужикамъ не даютъ. Поддевка была синяя и оторочена широкой пестрой тесьмой, этого я въ Россіи не видалъ.

— Я такой-то, пріѣхалъ васъ встрѣтить, да проводить къ намъ.

— Что же ты это, ваше сіятельство, самъ беспокоился... того... ты бы того, кого-нибудь...

— Это ужъ оттого, видно, что я не сіятельство. Съ чего же, Осипъ Семеновичъ, вы выдумали меня называть графомъ?

— А Христось тебя знаетъ, какъ величать; ты небось въ своемъ дѣлѣ во главѣ стоишь. Ну, а я —того, человѣкъ темный ну, и говорю: графъ, т. е., сіятельный, т. е., голова.

Не только оборотъ рѣчи, но и произношеніе у Гончара было великорусское, крестьянское. Какъ у нихъ въ захолустьи, окруженномъ иноплемennыми, такъ славно сохранился языкъ?—Трудно было бы понять безъ старообрядческаго мерщенья. Расколъ ихъ выдѣлилъ такъ строго, что никакое чужое вліяніе не переходило за ихъ частоколъ.

Гончаръ прожилъ у насъ три дня. Первые дни онъ ничего не ѣлъ, кромѣ сухого хлѣба, который привезъ съ собой, и пилъ одну воду. На третій день было воскресенье; онъ разрѣшилъ себѣ стаканъ молока, рыбу, вареную въ водѣ, и, если не ошибаюсь, рюмку хереса.

Русское себѣ на умѣ, восточная хитрость, осмотрительность охотника, сдержанность человѣка, привыкшаго съ дѣтскихъ лѣтъ къ полному безправію и къ сосѣдству сильныхъ враговъ, долгая жизнь, проведенная въ борьбѣ, въ настойчивомъ трудѣ, въ опасностяхъ, все это такъ и сквозило изъ-за-мнимо простыхъ чертъ и простыхъ словъ сѣдого казака. Онъ постоянно оговаривался, употреблялъ уклончивыя фразы, тексты изъ Священнаго Писанія, дѣлалъ скромный видъ, очень сознательно рассказывая о своихъ

успѣхахъ, и если иногда увлекался въ разсказахъ о прошломъ и говорилъ много, то, навѣрное, никогда не проговорился о томъ, о чемъ хотѣлъ молчать.

Этотъ закалъ людей на Западѣ почти не существуетъ. Онъ ненуженъ такъ, какъ ненужна дамаская сталь для лезвія перочиннаго ножа.

Въ Европѣ все дѣлается гуртомъ, массой; человѣку одиночно ненужно столько силы и осторожности.

Въ успѣхъ польскаго дѣла онъ уже не вѣрилъ и говорилъ о своихъ парижскихъ переговорахъ, покачивая головой.—«Намъ, конечно, гдѣ же сообразить: мы люди маленькіе, темные, а они вонъ поди какъ, ну, вельможи, какъ слѣдуетъ; только эдакъ нравъ-то легкій. Ты, молъ, Гончаръ, не сумлевайся: вотъ какъ справимся, мы то и то сдѣлаемъ для тебя, напримѣръ. Понимаешь?... все будетъ въ удовольствіе. Оно точно, люди они добрые, да поди вотъ, *когда справятся...* съ такой политикой». Ему хотѣлось раз-узнать, какія у насъ связи съ раскольниками и какія опоры въ краѣ; ему хотѣлось осязать, можетъ ли быть практическая польза въ связи старообрядцевъ съ нами. Въ сущности для него было все равно, онъ пошелъ бы равно съ Польшей и Австріей, съ нами и съ греками, съ Россіей и съ Турціей, лишь бы это было выгодно для его некрасовцевъ. Онъ и отъ насъ уѣхалъ, качая головой. Написалъ потомъ два-три письма, въ которыхъ, между прочимъ, жаловался на Кельсіева и подалъ, вопреки нашего мнѣнія, адресъ государю.

Въ началѣ 1864 поѣхали въ Тульчу два русскихъ офицера, оба эмигранты, Краснофѣвцевъ и В. Маленькая колонія сначала дружно принялась за работу. Они учили дѣтей и солили огурцы, чинили свои платья и копались въ огородѣ. Жена Кельсіева варила обѣдъ и обшивала пхъ. Кельсіевъ былъ доволенъ началомъ, доволенъ казаками и раскольниками, товарищами и турками ¹⁾.

Кельсіевъ писалъ еще намъ свои юмористическіе разсказы о ихъ водвореніи, а уже черная рука судьбы была занесена надъ маленькой кучкой Тульчинскихъ общинниковъ. Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1864, ровно черезъ годъ послѣ своего пріѣзда, умеръ двадцати трехъ лѣтъ отроду, на рукахъ своего брата, въ злѣйшемъ тифѣ, Иванъ Кельсіевъ. Смерть его была для брата страшнымъ ударомъ; онъ самъ занемогъ, но какъ-то отходилъ. Письма его того

¹⁾ И вотъ эта ужасная Тульчинская агенція, имѣвшая сношенія со всемір-ной революціей, поджигавшая русскія деревни на деньги изъ Мадциніевскихъ кассъ, грозно дѣйствовавшая года черезъ два послѣ того, какъ перестала существовать, и теперь еще поминаемая въ литературѣ сыщиковъ и въ Полицейскихъ Вѣдомостяхъ Каткова!

времени ужасны. Духъ, поддерживавшій отшельниковъ, упалъ, утрюмая скука овладѣвала ими; начались преступленія и ссоры. Гончаръ писалъ, что Кельсіевъ сильно пьетъ. Красногѣвцевъ застрѣлился, В. ушелъ. Дальше не могъ вытерпѣть и Кельсіевъ; онъ взялъ свою жену и своихъ дѣтей (у него еще родился ребенокъ) и, безъ средствъ, безъ цѣли, отправился сначала въ Константинополь, потомъ въ Дунайскія княжества. Совершенно отрѣзанный отъ всѣхъ, отрѣзанный на время даже отъ насъ, онъ въ это время разошелся съ польской эмиграціей въ Турціи. Напрасно искалъ онъ заработать кусокъ хлѣба, съ отчаяніемъ смотрѣлъ онъ на изнуреніе бѣдной женщины и дѣтей. Деньги, которыя мы посылали иногда, не могли быть достаточны. «Случалось, что у насъ вовсе не было хлѣба»,—писала незадолго до своей смерти его жена. Наконецъ, послѣ долгихъ усилій Кельсіевъ нашелъ въ Галацѣ мѣсто «надзирателя за шоссевыми работами». Скука томила, грызла его. Онъ не могъ не винить себя въ положеніи семьи. Невѣжество дико-восточнаго міра оскорбляло его; онъ въ немъ чахнулъ и рвался вонъ. Вѣру въ раскольниковъ онъ утратилъ; вѣру въ Польшу утратилъ; вѣра въ людей, въ науку, въ революцію колебалась сильнѣй и сильнѣй, и можно было легко предсказать, когда и она рухнется. Онъ только и мечталъ, чтобъ, во что бы то ни стало, вырваться опять на свѣтъ, пріѣхать къ намъ, и съ ужасомъ видѣлъ, что ему покинуть семью нельзя. «Если-бъ я былъ одинъ, писалъ онъ нѣсколько разъ, я съ дагерротипомъ или органомъ ушелъ бы, куда глаза глядятъ, и, потаскавшись по міру, пѣшкомъ явился бы въ Женеву».

Помощь была близка.

«Малуша» (такъ звали старшую дочь) легла здоровая спать, проснулась ночью больная; къ утру умерла холерой. Черезъ нѣсколько дней умеръ меньшей; мать свезли въ больницу. У ней открылась острая чахотка.

«Помнишь-ли, ты когда-то мнѣ обѣщалъ сказать, когда я буду умирать, что это смерть. Смерть ли это?»

«Смерть, другъ мой, смерть».

И она еще разъ улыбнулась, впала въ забытье и умерла.

Отрывокъ изъ письма:

...Намъ пишутъ изъ Петербурга, что на дняхъ начальникъ Скулянскій таможеннй получилъ за подписью «В. Кельсіевъ» письмо, предварявшее его, что пассажиръ, имѣющій прибыть на эту таможену съ правильнымъ турецкимъ паспортомъ на имя Івана Желудкова, есть никто иной какъ онъ, г. Кельсіевъ, и что онъ, желая предать себя въ руки русскаго правительства, просить арестовать себя и препроводить въ Петербургъ.

Общій фондъ.

Едва Кельсіевъ ушелъ за порогъ, новые люди, вытѣсненные суровымъ холодомъ 1863, стучались у нашихъ дверей. Они шли не изъ готовальни наступающаго переворота, а съ обрушившейся сцены, на которой уже выступали актерами. Они укрывались отъ вѣтшной бури и ничего не искали внутри, имъ нуженъ былъ временный пріютъ, пока погода уляжется, пока снова представится возможность идти въ бой. Люди эти очень молодые покончили съ идеями, съ образованіемъ; теоретическіе вопросы ихъ не занимали отчасти отъ того, что они у нихъ еще не возникали, отчасти отъ того, что у нихъ дѣло шло о приложеніи. Они были побиты матеріально, но дали доказательства своей отваги! Свернувши знамя, имъ приходилось хранить его честь. Отсюда сухой тонъ, *cassant, raide*, рѣзкій и нѣсколько поднятый. Отсюда военное, нетерпѣливое отвращеніе отъ долгаго обсуживанія, критики, нѣсколько изысканное пренебреженіе ко всѣмъ умышленнымъ роскошамъ, въ числѣ которыхъ ставилось на первомъ планѣ искусство. Какая тутъ музыка, какая поэзія! «Отечество въ опасности, *aux armes, citoyens!*» Въ нѣкоторыхъ случаяхъ они были отвлеченно правы, но сложнаго и запутаннаго процесса уравниванія идеала съ существующимъ они не брали въ расчетъ и, само собой разумѣется, свои мнѣнія и воззрѣнія принимали за воззрѣнія и мнѣнія цѣлой Россіи. Винить за это нашихъ молодыхъ штурмановъ будущей бури было бы несправедливо. Это общеоношеская черта: годъ тому назадъ одинъ французъ, поклонникъ Конта, увѣрялъ меня, что католицизмъ во Франціи *не существуетъ* и *complètement perdu le terrain*, между прочимъ, ссылаясь на медицинскій факультетъ, на профессоровъ и студентовъ, которые не только не католики, но и не дейсты.

— Ну, а та часть Франціи, замѣтилъ я, которая не читаетъ и не слушаетъ медицинскихъ лекцій?

— Она, конечно, держится за религію и обряды, но больше по привычкѣ и по невѣжеству.

— Очень вѣрно, но что же вы сдѣлаете съ нею?

— А что сдѣлали въ 1792 году?

— Немного: революція сначала заперла церкви, а потомъ открыла. Вы помните отвѣтъ Ожеро Наполеону, когда праздновали конкордатъ: «Нравится ли тебѣ церемонія?»—спросилъ консуль, выходя изъ Нотръ-Дамъ. Якобинецъ-генераль отвѣчалъ: «Очень, жаль только, что недостаетъ тѣхъ двухсотъ тысячъ чело-вѣкъ, которые легли костями, чтобъ уничтожить подобныя церемоніи».

— А bah! мы стали умнѣе и не откроемъ церковныхъ дверей, или лучше, не запремъ ихъ вовсе и отдадимъ капища суевѣрія подъ школы.

— L'infâme sera écrasée,—докончилъ я, смѣясь.

— Да, безъ сомнѣнія; это вѣрно!

— Но мы-то съ вами не увидимъ этого; это еще вѣрнѣе.

Въ этомъ взглядѣ на окружающій міръ сквозь подкрашенную личнымъ сочувствіемъ призму лежитъ половина всѣхъ революціонныхъ неуспѣховъ. Жизнь молодыхъ людей, вообще идущая въ своего рода шумномъ и замкнутомъ затворничествѣ, вдали отъ будничной и валовой борьбы изъ-за личныхъ интересовъ, рѣзко схватывая общія истины, почти всегда срѣзывается на ложномъ пониманіи ихъ приложенія къ нуждамъ дня.

...Сначала новые гости оживили насъ разсказами о петербургскомъ движеніи, о дикихъ выходкахъ оперившейся реакціи, о процессахъ и преслѣдованіяхъ, объ университетскихъ и литературныхъ партіяхъ; потомъ, когда все это было передано съ той скоростью, съ которой въ этихъ случаяхъ торопятся все сообщить, наступили паузы, гіатусы; бесѣды наши сдѣлались скучны, однообразны...

Неужели, думалъ я, это въ самомъ дѣлѣ старость, разводящая два поколѣнія? Холодъ, вносимый лѣтами, усталю, испытаніями?

Какъ бы то ни было, я чувствовалъ, что, съ появленіемъ новыхъ людей, горизонтъ нашъ не расширился... а сузился діаметръ разговоровъ сталъ короче; намъ иной разъ нечего было другъ другу сказать. Ихъ занимали подробности ихъ круговъ, за границей которыхъ ихъ ничто не занимало. Однажды передавши все интересное объ нихъ, приходилось повторять и они повторяли. Наукой или дѣлами они занимались мало; даже мало читали и не слѣдили правильно за газетами. Поглощенные воспоминаніями и ожиданіями, они не любили выходить въ другія области; а намъ не доставало воздуха въ этой спертой атмосферѣ. Мы, избаловавшись другими размѣрами, задохались!

Къ тому же, если они и знали извѣстный слой Петербурга, то Россіи вовсе не знали и, искренно желая сблизиться съ народомъ, сближались съ нимъ книжно и теоретически.

Общее между нами было слишком *обще*. Вмѣстѣ идти, *служить*, по французскому выраженію, вмѣстѣ что-нибудь дѣлать—мы могли; но вмѣстѣ стоять и жить сложа руки было трудно. О серьезномъ вліяніи и думать было нечего. Болѣзненное и очень безцеремонное самолюбіе давно закусило удила ¹⁾. Иногда, правда, они требовали программы, руководства, но, при всей искренности, это было не въ самомъ дѣлѣ. Они ждали, чтобы мы формулировали ихъ собственное мнѣніе и только въ томъ случаѣ соглашались, когда высказанное нами нисколько не противорѣчило ему. На насъ они смотрѣли, какъ на почтенныхъ инвалидовъ, какъ на прошедшее, и наивно дивились, что мы еще не очень отстали отъ нихъ.

Я всегда и во всемъ боялся «пуще всѣхъ печалей» *мезальянсовъ*, всегда ихъ допускалъ долею по гуманности, долею по небрежности, и всегда страдалъ отъ нихъ.

Предвидѣть было немудрено, что новыя связи долго не поддержатся, что рано или поздно онѣ разорвутся и что этотъ разрывъ, взявъ въ расчетъ шероховатый характеръ новыхъ пріятелей, не обойдется безъ дурныхъ послѣдствій.

Вопросъ, на которомъ покачнулись шаткія отношенія, былъ именно тотъ старый вопросъ, на которомъ обыкновенно разрываются знакомства, спитыя гнилыми нитками. Я говорю о деньгахъ. Не зная вовсе ни моихъ средствъ, ни моихъ жертвъ, они предъявляли на меня требованія, которыя удовлетворять я не считалъ справедливымъ. Если я могъ черезъ всѣ невзгоды, безъ малѣйшей поддержки, провести лѣтъ пятнадцать русскую пропаганду, то я могъ это сдѣлать, налагая мѣру и границу на другія траты. Новые знакомые находили, что все, дѣлаемое мною, мало, и съ негодованіемъ смотрѣли на человѣка, прикидывающагося социалистомъ и не раздающаго своего достоянія на дуванъ людямъ не работающимъ, но желающимъ денегъ. Очевидно, они стояли еще на непрактической точкѣ зрѣнія христіанской милостыни и добровольной нищеты, принимая ее за практическій социализмъ.

Опыты собранія «Общаго фонда» не дали важныхъ результатовъ. Русскіе не любятъ давать денегъ на общее дѣло, если при немъ нѣтъ сооруженія церкви, обѣда, попойки и высшаго одобряющаго начальства.

¹⁾ Самолюбіе ихъ не было такъ велико, какъ задорно и раздражительно, а главное неводержанно на слова. Они не могли скрыть ни зависти, ни своего рода щепетильнаго требованія—чинопочитанія по рангу, пми присвоенному. При этомъ сами они смотрѣли на все свысока и постоянно трунили другъ надъ другомъ, отчего ихъ дружбы никогда не продолжались дольше мѣсяца.

Въ самый разгаръ эмигрантскаго безденежья, разнесся слухъ, что у меня есть какая-то сумма денегъ, врученная мнѣ для пропаганды.

Молодымъ людямъ казалось справедливымъ ее у меня отобрать.

Для того, чтобы понять это, слѣдуетъ разсказать объ одномъ странномъ случаѣ, бывшемъ въ 1858 г. Однимъ утромъ я получилъ записку, очень короткую, отъ какого-то незнакомаго русскаго; онъ писалъ мнѣ, что имѣетъ «необходимость меня видѣть», и просилъ назначить время.

Я въ это время шелъ въ Лондонъ, а потому, вмѣсто всякаго отвѣта, зашелъ самъ въ Саблоньеръ-отель и спросилъ его. Онъ былъ дома. Молодой человѣкъ съ видомъ кадета, застѣнчивый, очень невеселый и съ особой наружностью, довольно топорно отдѣланной, седьмыхъ-восьмыхъ сыновей степныхъ помѣщиковъ. Очень неразговорчивый, онъ почти все молчалъ; видно было, что у него что-то на душѣ, но онъ не дошелъ до возможности высказать что.

Я ушелъ, пригласивши его дня черезъ два-три обѣдать. Прежде этого я его встрѣтилъ на улицѣ.

— Можно съ вами идти?—спросилъ онъ.

— Конечно, не мнѣ съ вами опасно, а вамъ со мной. Но Лондонъ великъ.

— Я не боюсь, и тутъ вдругъ, закусивши удила, онъ быстро проговорилъ:—я никогда не возвращусь въ Россію, нѣтъ, нѣтъ, я рѣшительно не возвращусь въ Россію...

— Помилуйте, вы такъ молоды?

— Я Россію люблю, очень люблю; но тамъ люди... тамъ мнѣ не житье. Я хочу завести колонію на совершенно соціальныхъ основаніяхъ; это все я обдумалъ и теперь ѣду прямо туда.

— То есть, куда?

— На Маркизскіе острова.

Я смотрѣлъ на него съ нѣмымъ удивленіемъ.

— Да, да; это дѣло рѣшенное. Я плыву съ первымъ пароходомъ и потому очень радъ, что васъ встрѣтилъ сегодня,—могу я вамъ сдѣлать нескромный вопросъ?

— Сколько хотите.

— Имѣете вы выгоду отъ вашихъ публикацій?

— Какая же выгода; хорошо, что теперь печать окупается.

— Ну, а если не будетъ окупаться?

— Буду приплачивать.

— Стало, въ вашу пропаганду не входятъ никакія торговля цѣли?

Я расхохотался.

— Ну, да какъ же вы будете одни приплачивать? А пропаганда ваша необходима. Вы меня простите, я не изъ любопытства спрашиваю: у меня была мысль, оставляя Россію навсегда, сдѣлать что-нибудь полезное для нея, я и рѣшилъ оставить у васъ немного денегъ. На случай, если вашей типографіи нужно, или для русской пропаганды вообще, такъ вы бы и распорядились.

Мнѣ опять пришлось посмотреть на него съ удивленіемъ.

— Ни типографія, ни пропаганда, ни я, въ деньгахъ мы не нуждаемся; напротивъ, дѣло идетъ въ гору; зачѣмъ же я возьму ваши деньги? Но, отказываясь отъ нихъ, позвольте мнѣ отъ души поблагодарить за доброе намѣреніе.

— Нѣтъ-съ, это дѣло рѣшенное. У меня пятьдесятъ тысячъ франковъ, тридцать я беру съ собой на острова, двадцать отдаю вамъ на пропаганду.

— Куда же я ихъ дѣну?

— Ну, не будетъ нужно, вы отдадите мнѣ, если я возвращусь; а не возвращусь лѣтъ черезъ десять, или умру, употребите ихъ на усиленіе вашей пропаганды. Только,—добавилъ онъ, подумавши,—дѣлайте, что хотите, но... но не отдавайте ничего моимъ наслѣдникамъ. Вы завтра утромъ свободны?

— Пожалуй.

— Сводите меня, сдѣлайте одолженіе, въ банкъ и къ Ротшильду; я ничего не знаю и говорить не умѣю по-англійски, и по-французски очень плохо. Я хочу скорѣе отдѣлаться отъ двадцати тысячъ и ѣхать.

— Извольте, я деньги принимаю, но вотъ на какихъ основаніяхъ: я вамъ дамъ расписку.

— Никакой расписки мнѣ ненужно.

— Да, но мнѣ нужно дать, я безъ этого вашихъ денегъ не возьму. Слушайте же. Во-первыхъ, въ распискѣ будетъ сказано, что деньги ваши ввѣряются не мнѣ одному, а мнѣ и Огареву. Во-вторыхъ, такъ какъ вы, можете, соскучитесь на Маркизскихъ островахъ и у васъ явится тоска по родинѣ (онъ покачалъ головой)... почему знаешь чего не знаешь... то писать о цѣли, съ которой вы даете капиталъ, не слѣдуетъ, а мы скажемъ, что деньги эти отдаются въ полное распоряженіе мое и Огарева; буде же мы иного распоряженія не сдѣлаемъ, мы купимъ для васъ на всю сумму какихъ-нибудь бумагъ, гарантированныхъ англійскимъ правительствомъ, въ 5⁰/₀ или около. Затѣмъ, даю вамъ слово, что, безъ явной крайности для пропаганды, мы денегъ вашихъ не тронемъ; вы на нихъ можете считать во всѣхъ случаяхъ, кромѣ банкротства въ Англіи.

— Коли хотите непременно дѣлать столько затрудненій, дѣлайте ихъ. А завтра ѣдемъ за деньгами!

Слѣдующій день былъ необыкновенно смѣшенъ и суетливъ. Началось съ банка и Ротшильда. Деньги выдали ассигнаціями. Б. возымѣлъ сначала благое намѣреніе размѣнять ихъ на *испанское* золото или серебро. Конторщики Ротшильда смотрѣли на него съ изумленіемъ, но когда вдругъ, какъ съ просонья, онъ сказалъ совершенно ломанымъ франко-русскимъ языкомъ: «ну, такъ летръ креди иль Маркизь», тогда Кеснеръ, директоръ бюро, обернулъ на меня испуганный и тоскливый взглядъ, который лучше словъ говорилъ: «Онъ не опасенъ ли?» Еще никогда въ домѣ у Ротшильда никто не требовалъ кредита на Маркизскіе острова.

Рѣшились тридцать тысячъ взять золотомъ и ѣхать домой; на дорогѣ заѣхали въ кафе, я написалъ расписку; Б. съ своей стороны написалъ мнѣ, что отдаетъ въ полное распоряженіе мое и Огарева восемьсотъ фунтовъ; потомъ онъ ушелъ зачѣмъ-то домой, а я отправился его ждать въ книжную лавку; черезъ четверть часа онъ пришелъ блѣдный какъ полотно и объявилъ, что у него изъ 30.000 недостаетъ 250 франковъ, т. е., 10 фунтовъ.

Онъ былъ совершенно сконфуженъ. Какъ потеря 250 франковъ могла такъ перевернуть человѣка, отдавашаго безъ всякой прочной гарантіи 20.000,—опять психологическая загадка натуры человѣческой.—Нѣтъ ли лишней бумажки у васъ?—Со мной денегъ нѣтъ, я отдалъ Ротшильдѣ и вотъ расписка: ровно 800 фунтовъ получено. Б., размѣнявшій безъ всякой нужды на фунты свои ассигнаціи, рассыпалъ на конторкѣ Тхоржевскаго 30.000; считалъ, пересчитывалъ, нѣтъ 10 фунтовъ да и только. Видя его отчаяніе, я сказалъ Тхоржевскому: я какъ-нибудь на себя возьму эти проклятые 10 фунтовъ, а то онъ же сдѣлалъ доброе дѣло, да онъ же и наказанъ.

— Горевать и толковать тутъ не поможетъ, прибавилъ я ему: я предлагаю ѣхать сейчасъ къ Ротшильдѣ.

Мы поѣхали. Было уже позже четырехъ и касса заперта. Я взошелъ съ сконфуженнымъ Б. Кеснеръ посмотрѣлъ на него и, улыбаясь, взялъ со стола 10-фунтовую ассигнацію и подалъ ее мнѣ.

— Это какимъ образомъ?

— Вашъ другъ, мѣняя деньги, далъ вмѣсто двухъ 5 фунт.— двѣ 10 фунт. ассигнаціи, а я сначала не замѣтилъ.

Б. смотрѣлъ, смотрѣлъ и прибавилъ:

— Какъ глупо, одного цвѣта и 10 фунтовъ и 5 фунтовъ; кто же догадается,—видите, какъ хорошо, что я размѣнялъ деньги на золото.

Успокоившись, онъ поѣхалъ ко мнѣ обѣдать, а на другой день я общался притти къ нему проститься. Онъ былъ совсѣмъ готовъ. Маленькій кадетскій или студентскій, вытертый, растертый

чемоданчикъ, шинель, перевязанная ремнемъ, и... и... тридцать тысячъ франковъ *золотомъ*, завязанныя въ толстомъ фулярѣ такъ, какъ завязываютъ фунтъ крыжовнику или орѣховъ.

Такъ ѣхалъ этотъ человѣкъ на Маркизскіе острова.

— Помилуйте,—говорилъ я ему,—да васъ убьютъ и ограбятъ прежде, чѣмъ вы отчалите отъ берега. Положите лучше въ чемоданчикъ деньги.

— Онъ полонъ.

— Я вамъ сакъ достану.

— Ни подъ какимъ видомъ.

— Такъ и уѣхалъ. Я первые дни думалъ, чего добраго его укокошати, а на меня падетъ подозрѣніе, что я подослалъ его убить.

Съ тѣхъ поръ объ немъ не было слуху, ни духу... Деньги его я положилъ въ фонды, съ твердымъ намѣреніемъ не касаться до нихъ безъ крайней нужды типографіи или пропаганды.

Въ Россіи долгое время никто не зналъ объ этомъ; потомъ ходили смутные слухи,—чему мы обязаны двумъ-тремъ пріятелямъ нашимъ, давшимъ слово не говорить объ этомъ. Наконецъ, узнали, что деньги дѣйствительно есть и хранятся у меня.

Вѣсть эта пала какимъ-то яблокомъ искушенія, какимъ-то хроническимъ возбужденіемъ и ферментомъ. Оказалось, что эти деньги нужны всѣмъ, а я ихъ не давалъ. Мнѣ не могли простить, что я не потерялъ всего своего состоянія, а тутъ у меня депо, данное для пропаганды; а кто же пропаганда, какъ не они? Сумма вскорѣ выросла изъ скромныхъ франковъ въ *рубли серебромъ*, и дразнила еще больше желавшихъ сгубить ее *частно* на общее дѣло. Негодовали на Б., что онъ мнѣ деньги ввѣрилъ, а не кому-нибудь другому; самые смѣлые утверждали, что это съ его стороны ошибка, что онъ дѣйствительно хотѣлъ отдать ихъ не мнѣ, а одному петербургскому кругу и что, не зная, какъ это сдѣлать, отдалъ въ Лондонѣ мнѣ. Отважность въ этихъ сужденіяхъ была тѣмъ замѣчательнѣе, что о фамиліи Б. такъ же никто не зналъ, какъ и о его существованіи, и что онъ о своемъ предположеніи ни съ кѣмъ не говорилъ до своего отъѣзда, а послѣ его отъѣзда съ нимъ никто не говорилъ.

Однимъ деньги эти нужны были для послышки эмиссаровъ; другимъ для образованія центровъ на Волгѣ; третьимъ для изданія журнала. *Колоколомъ* они были не довольны и на наше приглашеніе работать въ немъ, что-то подавались туго.

Я рѣшительно денегъ не давалъ и пусть требовавшіе ихъ сами скажутъ, гдѣ онѣ были бы, если-бъ я далъ ихъ.

— Б., говорилъ я, можетъ воротиться безъ гроша; трудно сдѣлать аферу, заводя социалистическую колонію на Маркизскихъ островахъ.

- Онъ навѣрное умеръ.
- А какъ на зло вамъ живъ?
- Да, вѣдь, онъ деньги далъ на пропаганду.
- Пока мнѣ на нее ненужно.
- Да намъ нужно.
- На что именно?
- Надобно послать кого-нибудь на Волгу, кого-нибудь въ Одессу...
- Не думаю, чтобъ очень нужно было.
- Такъ вы не вѣрите въ необходимость послать?
- Не вѣрю.

Старѣть и становится скупъ, — говорили обо мнѣ на разные тоны самые рѣшительные и свирѣпые. — Да что на него смотрѣть; взять у него эти деньги, да и баста, — прибавляли еще больше рѣшительные и свирѣпые. — А будетъ упираться, мы его такъ продернемъ въ журналахъ, что будетъ помнить, какъ задерживать чужія деньги.

Денегъ я не далъ.

Въ журналахъ они не продергивали. Ругательства въ печати являются гораздо позже, но тоже изъ-за денегъ.

... Эти *болѣе свирѣпые*, о которыхъ я сказалъ, были тѣ ультра, тѣ угловатые и шершавые представители «новаго поколѣнья», которыхъ можно назвать *Собакевичами* и *Ноздревыми* нигилизма.

Какъ ни излишне дѣлать оговорку, но я ее сдѣлаю, зная логику и манеру нашихъ противниковъ. Въ моихъ словахъ нѣтъ ни малѣйшаго желанія бросить камень ни въ молодое поколѣнне, ни въ нигилизмъ. О послѣднемъ я писалъ много разъ. Наши Собакевичи нигилизма не составляютъ сильнѣйшаго выраженія ихъ, а представляютъ ихъ черезчурную крайность ¹⁾.

Кто же станетъ христіанство судить по Аршеновымъ хлыстамъ и революцію по сентябрьскимъ мясникамъ и робеспьеровскимъ чулочницамъ?

Заносчивые юноши, о которыхъ идетъ рѣчь, заслуживаютъ изученія, потому что они выражаютъ временный *типъ*, очень опредѣленно вышедшій, очень часто повторявшійся, переходную форму болѣзни нашего развитія изъ прежняго застоя.

Большею частью они не имѣли той выправки, которую даетъ воспитаніе и той выдержки, которая приобрѣтается научными занятіями. Они торопились въ первомъ задорѣ освобожденія сбро-

¹⁾ Въ то самое время въ Петербургѣ и Москвѣ, даже въ Казани и Харьковѣ, образовывались между университетскою молодежью круги, серьезно посвящавшіе себя изученію науки, особенно между медиками. Честно и добросовѣстно трудились они, но устранинные отъ бойкаго участія въ вопросахъ дня, они не были вынуждены покидать Россіи и мы ихъ почти вовсе не знали.

сить съ себя всѣ условныя формы и оттолкнуть всѣ каучуковыя подушки, мѣшающія жесткимъ столкновеніямъ. Это затруднило всѣ простѣйшія отношенія съ ними.

Снимая все до послѣдняго клочка, наши *enfants terribles* гордо являлись какъ *мать родила*, а родила-то она ихъ плохо, вовсе не простыми дебелыми парнями, а наслѣдниками дурной и нездоровой жизни низшихъ петербургскихъ слоевъ. Въмѣсто атлетическихъ мышцъ и юной наготы, обнаружилились печальные слѣды наслѣдственного худосочія, слѣды застрѣлыхъ язвъ и разнаго рода колодокъ и ошейниковъ. Изъ народа было мало выходцевъ между ними. Передняя, казарма, семинарія, мелкопомѣстная господская усадьба, перегнувшись въ противоположное, сохранились въ крови и мозгу, не теряя отличительныхъ чертъ своихъ. На это, сколько мнѣ извѣстно, не обращали должнаго вниманія.

Съ одной стороны, реакція противъ стараго, узкаго, давившаго міра должна была бросить молодое поколѣніе въ антагонизмъ и всяческое отрицаніе враждебной среды; тутъ нечего искать ни мѣры, ни справедливости. Напротивъ, тутъ дѣлается назло, тутъ дѣлается въ отместку. Вы лицомѣры, мы будемъ циниками; вы были нравственны на словахъ, мы будемъ на словахъ злодѣями; вы были учтивы съ высшими и грубы съ низшими, мы будемъ грубы со всѣми; вы кланяетесь, не уважая, мы будемъ толкаться, не извиняясь; у васъ чувство достоинства было въ одномъ приличіи и внѣшней чести, мы за честь себѣ поставимъ поправіе всѣхъ приличій и презрѣніе всѣхъ *points d'honneur*овъ.

Но, съ другой стороны, эта отрѣшенная отъ обыкновенныхъ формъ общежитія личность была полна своихъ наслѣдственныхъ недуговъ и уродствъ. Сбрасывая съ себя, какъ мы сказали, всѣ покровы, самые отчаянные стали щеголять въ костюмѣ гоголевскаго Пѣтуха, и при томъ не сохраняя позы Венеры Медицейской. Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. Она раскрыла, что ихъ систематическая неотесанность, ихъ грубая и дерзкая рѣчь не имѣетъ ничего общаго съ неоскорбительной и просто-душной грубостью крестьянина, и очень много съ пріемами подъяческаго круга, торговаго прилавка и лакейской помѣщичьяго дома. Народъ ихъ такъ же мало счелъ за своихъ, какъ славянофиловъ въ мурмолкахъ. Для него они остались чужимъ, низшимъ слоемъ враждебнаго стана, исхудалыми баричами, стрекулистами безъ мѣста, нѣмцами изъ русскихъ.

Для полной свободы надобно забыть свое освобожденіе и то, изъ чего освободились, бросить привычки среды, изъ которой выросли. Пока этого не сдѣлано, мы невольно узнаемъ переднюю, казарму, канцелярію и семинарію по каждому ихъ движенію и по каждому слову.

Бить въ рожу по первому возраженію, если не кулакомъ, то ругательнымъ словомъ, называть С.-Милля *ракалей*, забывая всю службу его, — развѣ это не барская замашка, которая «старого Гаврилу, за измятое жабо хлещетъ въ усь да въ рыло». Развѣ въ этой и подобныхъ выходкахъ вы не узнаете квартального, исправника, станowego, таскающаго за сѣдую бороду бурмистра? Развѣ въ нахальной дерзости манеръ и отвѣтовъ вы не ясно видите дерзость офицерщины и въ людяхъ, говорящихъ свысока и съ пренебреженіемъ о Шекспирѣ и Пушкинѣ, внучать Скалозуба, получившихъ воспитаніе въ домѣ дѣдушки, хотѣвшаго «дать фельдфебеля въ Вольтеры»?

Самая проказа взятокъ уцѣлѣла въ домогательствѣ денегъ нахрапомъ, съ пристрастіемъ и угрозами, подѣ предлогомъ обшихъ дѣлъ, въ поползновеніи кормиться насчетъ службы и мстить кляузами и клеветами за отказъ.

Все это переработается и перемелется; но нельзя не сознаться, — странную почву приготовили опека и цивилизація въ нашемъ «темномъ царствѣ». Почву, на которой многообѣщающіе всходы проросли, съ одной стороны, поклонниками Муравьевыхъ и Катковыхъ, съ другой, *дантистами* нигилизма и базаровской безпардонной вольницы.

Много дренажа требуютъ наши черноземы!

М. Б. и Польское дѣло.

(Продолженіе главы „Перигей“).

Въ концѣ ноября мы получили отъ Б. слѣдующее письмо:

«15 октября 1861, С.-Франциско. Друзья, мнѣ удалось бѣжать изъ Сибири и, послѣ долгаго странствованія по Амуру, по берегамъ татарскаго пролива и черезъ Японію, сегодня прибылъ я въ Санъ-Франциско.

«Друзья, всѣмъ существомъ стремлюсь я къ вамъ и, лишь только приѣду, примусь за дѣло, буду у васъ служить по польско-славянскому вопросу, который былъ моей *idée fixe* съ 1846 и моей *практической спеціальностью* въ 48 и 49 годахъ.

«Разрушеніе, полное разрушеніе Австрійской имперіи, будетъ моимъ послѣднимъ словомъ; не говорю дѣломъ, это было бы слишкомъ честолюбиво; для служенія ему я готовъ итти въ барабанщики, или даже въ прохвосты и, если мнѣ удастся хоть на волосъ подвинуть его впередъ, я буду доволенъ. А за нимъ является *славная*, вольная *славянская* федерація, единственный исходъ для Россіи, Украйны, Польши и вообще для славянскихъ народовъ».

О его намѣреніи уѣхать изъ Сибири мы знали нѣсколько мѣсяцевъ прежде. Къ новому году явилась и собственная пышная фигура Б. въ нашихъ объятіяхъ.

Въ нашу работу, въ нашъ замкнутый двойной союзъ вошелъ новый элементъ, или, пожалуй, элементъ старый, воскресшая тѣнь сороковыхъ годовъ и всего больше 1848 года. Б. былъ тотъ же, онъ состарѣлся только тѣломъ, духъ его былъ молодъ и восторженъ, какъ въ Москвѣ во время всеобщихъ споровъ съ Хомяковымъ; онъ былъ такъ же преданъ одной идеѣ, такъ же способенъ увлекаться, видѣть во всемъ исполненіе своихъ желаній и идеаловъ, и еще больше готовъ на всякій опытъ, на всякую жертву, чувствуя, что жизни впередъ остается не такъ много

и что, слѣдственно, надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Онъ тяготился долгимъ изученіемъ, взвѣшиваніемъ про и contra и рвался, довѣрчивый и отвлеченный какъ прежде, къ дѣлу, лишь бы оно было среди бурь революціи, среди разгрома и грозной обстановки. Онъ и теперь, такъ въ статьяхъ Жюля Елизара, повторялъ: «Die Lust der Zerstörung ist eine Schaffende Lust». Фантазіи и идеалы, съ которыми его заперли въ Кенигштейнѣ въ 1849, онъ сберегъ и привезъ ихъ черезъ Японію и Калифорнію въ 1861 году, во всей цѣлости. Даже языкъ его напоминалъ лучшія статьи «Реформы» и *Vraie République*, рѣчи de la Constituante и клуба Бланки. Тогдашній духъ партій, ихъ исключительность, ихъ симпатіи и антипатіи къ лицамъ, пуще всего ихъ вѣра въ близость второго пришествія революціи, все было налицо.

Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняютъ сильныхъ людей, если не тотчасъ ихъ губятъ; они выходятъ изъ нея, какъ изъ обморока, продолжая то, на чемъ лишились сознанія. Декабристы возвратились изъ-подъ сибирскаго снѣга моложе потоптанной на корню молодежи, которая ихъ встрѣтила. Въ то время, какъ два поколѣнія французовъ нѣсколько разъ мѣнялись, краснѣли и блѣднѣли, поднимаемые приливами и уносимыя назадъ отливами, Барбесъ и Бланки остались безсмѣнными маяками, напоминавшими изъ-за тюремныхъ рѣшетокъ, изъ-за чужой дали прежніе идеалы во всей чистотѣ.

«Польско-славянскій вопросъ... разрушеніе Австрійской имперіи... вольная славянская и *славная* федерація»... И все это сейчасъ, какъ только онъ пріѣдетъ въ Лондонъ, и пишетъ изъ С.-Франциско, одна нога на кораблѣ!

Европейская реакція не существовала для Б., не существовали и тяжелые годы отъ 1848 до 1858; они ему были извѣстны вкратцѣ, издалека, слегка. Онъ ихъ *прочелъ* въ Сибири, такъ, какъ читалъ въ Кайдановѣ о Пуническихъ войнахъ и о паденіи Римской имперіи. Какъ человекъ, возвратившійся послѣ мора, онъ слышалъ о тѣхъ, которые умерли, и вздохнулъ объ нихъ обо всѣхъ; но онъ не сидѣлъ у изголовья умирающихъ, не надѣялся на ихъ спасеніе, не шелъ за ихъ гробомъ. Совсѣмъ напротивъ, событія 1848 были возлѣ, близки къ сердцу, подробные и живые разговоры съ Коссидьеромъ, рѣчи славянъ на Пражскомъ съѣздѣ, споры съ Араго или Руте,—все это было для Б. вчера, звенѣло въ ушахъ, мелькало передъ глазами.

Впрочемъ, оно и сверхъ тюрьмы немудрено.

Первые дни послѣ февральской революціи были лучшими днями жизни Б. Возвратившись изъ Бельгіи, куда его вытурилъ Гизо за его рѣчь на польской годовщинѣ 29 ноября 1847, онъ

съ головой нырнулъ во всѣ тяжкія революціоннаго моря. Онъ не выходилъ изъ казармъ монтаньяровъ, ночевалъ у нихъ, ѣлъ съ ними и проповѣдывалъ, все проповѣдывалъ, коммунизмъ et l'égalité du salaire, нивелированіе во имя равенства, освобожденіе всѣхъ славянъ, уничтоженіе всѣхъ Австрій, революцію en permanence, войну до избіенія послѣдняго врага. Префектъ съ баррикадъ, дѣлавшій «порядокъ изъ безпорядка», Коссидеръ, не зналъ, какъ выжить дорогого проповѣдника, и придумалъ съ Флокономъ отправить его въ самомъ дѣлѣ къ славянамъ съ братской акколадой и увѣренностью, что онъ тамъ себя сломитъ шею и мѣшать не будетъ. Quel homme! Quel homme! говорилъ Коссидеръ о Б.: «въ первый день революціи это просто кладъ, а на другой день его надобно разстрѣлять» ¹⁾.

Когда я пріѣхалъ въ Парижъ изъ Рима въ началѣ мая 1848, Б. уже витійствовалъ въ Богеміи, окруженный старовѣрческими монахами, чехами, кроатами, демократами, и витійствовалъ до тѣхъ поръ, пока князь Виндишгрецъ не положилъ пушками предѣлъ краснорѣчію (и не воспользовался хорошимъ случаемъ, чтобы при сей вѣрной оказіи не подстрѣлить невзначай своей жены). Исчезнувъ изъ Праги, Б. является военнымъ начальникомъ Дрездена; бывшій артиллерійскій офицеръ учитъ военному дѣлу поднявшихъ оружіе профессоровъ, музыкантовъ и фармацевтовъ, совѣтуетъ имъ Мадонну Рафаэля и картины Мурильо поставить на городскія стѣны и ими защищаться отъ пруссаковъ, которые zu klassisch gebildet, чтобы осмѣлились стрѣлять по Рафаэлю.

Артиллерія ему вообще помѣшала. По дорогѣ изъ Пирежа въ Прагу, онъ наткнулся гдѣ-то въ Германіи на возмущеніе крестьянъ; они шумѣли и кричали передъ залпомъ, не умѣя ничего сдѣлать. Б. вышелъ изъ повозки и, не имѣя времени узнать въ чемъ дѣло, построилъ крестьянъ и такъ ловко научилъ ихъ, что, когда пошелъ садиться въ повозку, чтобы продолжать путь, замокъ пылалъ съ четырехъ сторонъ.

Б. когда-нибудь переломитъ свою лѣнь и сдержитъ обѣщаніе: онъ когда-нибудь разскажетъ длинный мартирологъ, начавшійся для него послѣ взятія Дрездена. Напомню здѣсь главныя черты. Б. былъ приговоренъ къ эшафоту. Король Саксонскій замѣнилъ топоръ вѣчной тюрьмой, потомъ, безъ всякаго основанія, пере-

¹⁾ Скажите Коссидеру, — говорилъ я, шутя, его пріятелямъ, — что тѣмъ-то Б. и отличается отъ него, что и Коссидеръ славный человѣкъ, но что его лучше бы разстрѣлять накануне революціи. Впослѣдствіи, въ Лондонѣ въ 1854 году, я ему помянулъ объ этомъ. Префектъ въ изгнаніи только ударилъ огромнымъ кулакомъ своимъ въ молодецкую грудь съ той силой, съ которой вбиваютъ сваи въ землю, и говорилъ: „Здѣсь ношу Б... здѣсь“.

далъ его въ Австрію. Австрійская полиція думала отъ него узнать что-нибудь о славянскихъ замыслахъ. Б. посадили въ Грачинъ и, ничего не добившись, отослали его въ Ольмюцъ. Б. скованнаго везли подъ сильнымъ конвоемъ драгунъ; офицеръ, который сѣлъ съ нимъ въ повозку, зарядилъ при немъ пистолетъ.

— Это для чего же?—спросилъ Б.—неужели вы думаете, что я могу бѣжать при этихъ условіяхъ?

— Нѣтъ, но васъ могутъ отбить ваши друзья; правительство имѣло насчетъ этого слухи, и въ такомъ случаѣ...

— Что же?

— Мнѣ приказано посадить вамъ пулю въ лобъ.

И товарищи поскакали.

Въ Ольмюцѣ Б. *приковали къ стѣнѣ*, и въ этомъ положеніи онъ пробылъ *полгода*. Австріи, наконецъ, наскучило даромъ кормить чужого преступника; она предложила Россіи его выдать.

На русской границѣ съ Б. сняли цѣпи. Объ этомъ я слышалъ много разъ; дѣйствительно, цѣпи съ него сняли, но рассказчикъ забылъ прибавить, что зато надѣли другія, гораздо тяжеле. Офицеръ австрійскій, сдавши арестанта, потребовалъ цѣпи, какъ казенную К. К. собственность.

Николай похвалилъ храброе поведеніе Б. въ Дрезденѣ и посадилъ его въ Алексѣевскій рavelинъ. Туда онъ прислалъ къ нему Орлова и велѣлъ ему сказать, что онъ желаетъ отъ него записку о нѣмецкомъ и славянскомъ движеніи. Б. написалъ журнальный *leading article*. Николай этимъ былъ доволенъ. «Онъ умный и хорошій малый, но опасный человѣкъ, его надобно держать на заперти», и *три цѣлыхъ года* послѣ этого Б. былъ схороненъ въ Алексѣевскомъ рavelинѣ. Александръ II оставилъ Б. въ крѣпости до 1857, потомъ послалъ его на житье въ восточную Сибирь. Въ Иркутскѣ онъ очутился на волѣ послѣ девятилѣтняго заключенія. Начальникомъ края былъ тамъ, на его счастье, оригинальный человѣкъ, демократъ и татаринъ, либералъ и деспотъ, родственникъ Михайлы Б... и Михайлы Муравьева, и самъ Муравьевъ, тогда еще не Амурскій. Онъ далъ Б. вздохнуть, возможность человѣчески жить, читать журналы и газеты, и самъ мечталъ съ нимъ о будущихъ переворотахъ и войнахъ. Въ благодарность Муравьеву Б. въ головѣ назначалъ его главнокомандующимъ будущей земской арміей, назначаемой имъ въ свою очередь на уничтоженіе Австріи и учрежденіе славянскаго союзничества.

Въ 1860 году мать Б. просила государя о возвращеніи сына въ Россію; государь сказалъ, что «при жизни его, Б. изъ Сибири не переведутъ»; но онъ разрѣшилъ ему *вступить въ службу писцомъ*.

Тогда Б. рѣшился бѣжать; я его въ этомъ совершенно оправдываю. Послѣдніе годы лучше всего доказываютъ, что ему нечего въ Сибири было ждать. Девяти лѣтъ каземата и нѣсколько лѣтъ ссылки было за глаза довольно. Не отъ его побѣга, какъ говорили, стало хуже политическимъ сосланнымъ, а отъ того, что времена стали хуже, люди стали хуже.

Бѣгство Б. замѣчательно пространствомъ; это самое длинное бѣгство въ географическомъ смыслѣ. Пробравшись на Амуръ подъ предлогомъ торговыхъ дѣлъ, онъ уговорилъ какого-то американскаго шкипера взять его съ собой къ Японскому берегу.— Въ Гоко-Дади другой американскій капитанъ взялся его довести до С.-Франциско. Б. отправился къ нему на корабль и засталъ моряка, сильно хлопотавшаго объ обѣдѣ; онъ ждалъ какого-то почетнаго гостя и пригласилъ Б. — Б. принялъ приглашеніе и, только когда гость пріѣхалъ, узналъ, что это генеральный русскій консулъ.

Скрываться было поздно, смѣшно; онъ прямо вступилъ съ нимъ въ разговоръ, сказалъ, что выпросился сдѣлать прогулку. Небольшая русская эскадра, помнится, адмирала Попова, стояла въ морѣ и собиралась плыть къ Николаеву.

— Вы не съ нашими ли возвращаетесь?—спросилъ консулъ.

— Я только что пріѣхалъ,—отвѣчалъ Б.,—и хочу еще посмотреть край.

Вмѣстѣ покушавши, они разошлись en bons amis. Черезъ день онъ проплылъ на американскомъ пароходѣ мимо русской эскадры; кромѣ океана опасности больше не было.

Какъ только Б. оглядѣлся и учредился въ Лондонѣ, т. е., перезнакомился со всѣми поляками и русскими, которые были налицо, онъ принялся за дѣло. Къ страсти проповѣдыванія, агитаціи, пожалуй, демагогii, къ непрерывнымъ усиліямъ учреждать устраивать комплоты, переговоры, заводить сношенія и придавать имъ огромное значеніе, у Б. прибавляется готовность первому итти на исполненіе, готовность погибнуть, отвага принять всѣ послѣдствія. Это натура героическая, оставленная исторіей не у дѣлъ. Онъ тратилъ свои силы иногда на вздоръ такъ, какъ левъ тратитъ шаги въ клѣткѣ, все думая, что выйдетъ изъ нея. Но онъ не риторъ, боящійся исполненія своихъ словъ или уклоняющійся отъ осуществленія своихъ общихъ теорій...

Б. имѣлъ много недостатковъ. Но недостатки его были мелки, а сильныя качества крупны. Развѣ это одно не великое дѣло, что, брошенный судьбою куда бы то ни было и схвативъ двѣтри черты окружающей среды, онъ отдѣлялъ революціонную струю и тотчасъ принимался вести ее далѣе, раздувать, дѣлать изъ нея страстный вопросъ жизни.

Говорять, будто И. Тургеневъ хотѣлъ нарисовать портретъ Б. въ Рудинѣ, но Рудинъ едва напоминаетъ нѣкоторыя черты Б. Тургеневъ создалъ Рудина по своему образу и подобию. Рудинъ Тургенева, наслушавшійся философскаго жаргона, молодой Б.

Въ Лондонѣ онъ, во-первыхъ, сталъ *революционировать Колоколъ* и говорилъ въ 1862 противъ насъ почти то, что говорилъ въ 1847 противъ Бѣлинскаго. Мало было пропаганды, надобно было неминуемо приложеніе, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близкихъ и дальнихъ людей, надобны были «посвященные и полупосвященные братья», организація въ краѣ,—славянская организація, польская организація. Б. находилъ насъ умѣренными, не умѣющими пользоваться тогдашнимъ положеніемъ, недостаточно любящими рѣшительныя средства. Онъ, впрочемъ, не унывалъ и вѣрилъ, что въ скоромъ времени поставитъ насъ на путь истинный. Въ ожиданіи нашего обращенія, Б. сгруппировалъ около себя цѣлый кругъ славянъ. Тутъ были чехи, отъ литератора Фрича до музыканта, называвшагося Наперсткомъ; сербы, которые просто величались по батюшкѣ Іоановичъ, Даниловичъ, Петровичъ; были валахи, состоявшіе въ должности славянъ, съ своимъ вѣчнымъ *еско* на концѣ; наконецъ, былъ болгаръ, лекаръ въ турецкой арміи, и поляки всѣхъ епархій: Бонапартовской, Милославской, Чарторижской; демократы безъ социальныхъ идей, но съ офицерскимъ отѣнкомъ; социалисты, католики, анархисты, аристократы и просто солдаты, хотѣвшіе гдѣ-нибудь подраться, въ Сѣверной или въ Южной Америкѣ, и преимущественно въ Польшѣ.

Отдохнувъ съ ними Б. за девятилѣтнее молчаніе и одиночество. Онъ спорилъ, проповѣдывалъ, распоряжался, кричалъ, рѣшалъ, направлялъ, организовалъ и ободрялъ цѣлый день, цѣлую ночь, цѣлыя сутки. Въ короткія минуты, остававшіяся у него свободными, онъ бросался за свой письменный столъ, расчищалъ небольшое мѣсто отъ золы и принимался писать пять, десять, пятнадцать писемъ въ Семипалатинскъ и Арадъ, въ Бѣлградъ и Царьградъ, въ Бессарабію, Молдавію и Бѣлокриницу. Середь письма онъ бросалъ перо и приводилъ въ порядокъ какого-нибудь отсталого далмата и, не кончивши своей рѣчи, схватывалъ перо и продолжалъ писать; это, впрочемъ, для него было облегчено тѣмъ, что онъ писалъ и говорилъ объ одномъ и томъ же. Дѣятельность его, праздность, аппетитъ и все остальное, какъ гигантскій ростъ и вѣчный потъ, все было не по человѣческимъ размѣрамъ, какъ онъ самъ; а самъ онъ—исполинь съ лвиной головой, съ всклокоченной гривой.

Въ пятьдесятъ лѣтъ онъ былъ рѣшительно тотъ же кочующій

студентъ съ Маросейки, тотъ же бездомный Bohémien съ rue de Bourgogne, безъ заботы о завтрашнемъ днѣ, пренебрегая деньгами, бросая ихъ, когда есть, занимая ихъ безъ разбора направо и налѣво, когда ихъ нѣтъ, съ той простотой, съ которой дѣти берутъ у родителей, безъ заботы объ уплатѣ, съ той простотой, съ которой онъ самъ отдаетъ всякому послѣднія деньги, отдѣливъ отъ нихъ, что слѣдуетъ на сигареты и чай. Его этотъ образъ жизни не тѣснилъ; онъ родился быть великимъ бродягой, великимъ бездомникомъ. Если-бъ его кто-нибудь спросилъ окончательно, что онъ думаетъ о правѣ собственности, онъ могъ бы сказать то, что отвѣчалъ Талантъ Наполеону о Богѣ: «Sire, въ моихъ занятіяхъ я не встрѣчалъ никакой необходимости въ этомъ правѣ!» Въ немъ было что-то дѣтское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло къ нему слабыхъ и сильныхъ, отталкивая однихъ чопорныхъ мѣщанъ. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появленіе, вездѣ, въ кругу московской молодежи, въ аудиторіи берлинскаго университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Коссидьера, его рѣчи въ Прагѣ, его начальство въ Дрезденѣ, процессъ, тюрьма, приговоръ къ смерти, истязанія въ Австріи, выдача Россіи, гдѣ онъ исчезъ за стѣнами Алексѣевского рavelина, — дѣлають изъ него одну изъ тѣхъ индивидуальностей, мимо которыхъ не проходитъ ни современный міръ, ни исторія.

Въ этомъ человѣкѣ лежалъ зародышъ колоссальной дѣятельности, на которую не было запроса. Б. носилъ въ себѣ возможность сдѣлаться агитаторомъ, трибуномъ, проповѣдникомъ, главой партіи, секты, іересіархомъ, бойцомъ. Поставьте его, куда хотите, только въ *крайній край*, анабаптистомъ, якобинцемъ, товарищемъ Анахарсиса Клоотса, другомъ Гракха Бабёфа, и онъ увлекалъ бы массы и потрясалъ бы судьбами народовъ.

Но Колумбъ безъ Америки и корабля, онъ, послуживъ противъ воли года два въ артиллеріи, да года два въ московскомъ гегелизмѣ, торопился оставить край, въ которомъ мысль преслѣдовалась, какъ дурное намѣреніе, и независимое слово, какъ оскорбленіе общественной нравственности.

Вывавшись въ 1840 году изъ Россіи, онъ въ нее не возвращался до тѣхъ поръ, пока пикетъ австрійскихъ драгунъ не сдалъ его русскому жандармскому офицеру въ 1849 году.

Поклонники цѣлесообразности, милые фаталисты раціонализма, все еще дивятся премудрому à propos, съ которымъ являются таланты и дѣтели, какъ только на нихъ есть потребность, забывая, сколько зародышей мретъ, гложется, не издавши свѣта, сколько способностей, готовностей вянутъ, потому что ихъ не нужно.

Когда въ спорѣ Б., увлекаясь, съ громомъ и трескомъ обрушивалъ на голову противника облаву брани, которой бы никому не простили, Б. прощали, и я первый. Мартъ яновъ, бывало, говорилъ: «Это, Александръ Ивановичъ, большая Лиза, какъ же на нее сердиться,—дитя!»

Какъ онъ дошелъ до женитьбы, я могу только объяснить Сибирской скукой. Онъ свято сохранилъ всѣ привычки и обычаи *родины*, т. е., студенческой жизни въ Москвѣ: груды табаку лежали на столѣ въ родѣ приготовленнаго фуража, зола сигаръ надъ бумагами съ недопитыми стаканами чая; съ утра дымъ столбомъ ходилъ по комнатѣ отъ цѣлаго хора курильщиковъ, курившихъ точно взапуски, торопясь, задыхаясь, затачиваясь, словомъ такъ, какъ курятъ одни русскіе и славяне. Много разъ наслаждался я удивленіемъ, сопровождавшимся нѣкоторымъ ужасомъ, и замѣшательствомъ хозяйской горничной Грассъ, когда она глубокой ночью приносила горячую воду и пятую сахарницу сахара въ эту готовальню Славянскаго освобожденія.

Долго послѣ отъѣзда Б. изъ Лондона, въ № 10 Paddington Green рассказывали объ его житьѣ-бытьѣ, ниспровергнувшемъ всѣ упроченныя англійскими мѣщанами понятія и религіозно принятые ими размѣры и формы. Забѣйте при этомъ, что горничная и хозяйка безъ ума любили его.

— Вчера, говоритъ Б. одинъ изъ его друзей, пріѣхалъ такой-то изъ Россіи; прекраснѣйшій человѣкъ, бывшій офицеръ.

— Я слыхалъ объ немъ, его очень хвалили.

— Можно его привести?

— Непремѣнно, да что привести, гдѣ онъ? Сейчасъ.

— Онъ, кажется, нѣсколько конституціоналистъ.

— Можетъ быть, но...

— Но я знаю, рыцарски отважный и благородный человѣкъ

— И вѣрный?

— Его очень уважаютъ въ Orsett hous'ъ.

— Идемъ.

— Куда же? Вѣдь, онъ хотѣлъ къ вамъ придти, мы такъ сговорились, я его приведу.

Б. бросается писать; пишетъ, перемарываетъ кой-что, переписываетъ и печатаетъ пакетъ, адресуемый въ Яссы; въ безпокойствѣ ожиданія начинаетъ ходить по комнатѣ ступней, отъ которой и весь домъ № 10 Paddington Green ходитъ ходенемъ съ нимъ вмѣстѣ.

Является офицеръ скромно и тихо. Б. le met à l'aise, говоритъ какъ товарищъ, какъ молодой человѣкъ, увлекаетъ, журитъ за конституціонализмъ, и вдругъ спрашиваетъ:

— Вы, навѣрно, не откажетесь сдѣлать что-нибудь для общаго дѣла?

— Безъ сомнѣнія.

— Васъ здѣсь ничего не удерживаетъ?

— Ничего; я только-что пріѣхалъ, я...

— Можете вы ѣхать завтра, послѣ завтра, съ этимъ письмомъ въ Яссы?

Этого не случилось съ офицеромъ ни въ дѣйствующей арміи во время войны, ни въ генеральномъ штабѣ; однако, привыкнувшій къ военному послушанію, онъ, помолчавши, говорить не совсѣмъ своимъ голосомъ:

— О, да!

— Я такъ и зналъ. Вотъ письмо совсѣмъ готовое.

— Да я хоть сейчасъ, только. . . (офицеръ конфузится) я никакъ не рассчитывалъ на эту поѣздку.

— Что? денегъ нѣтъ? Ну, такъ и говорите. Это ничего не значить. Я возьму для васъ у Герцена; вы ему потомъ отдадите. Что тутъ, всего... всего какіе-нибудь 20 фунтовъ. Я сейчасъ напишу ему. Въ Яссахъ вы деньги найдете. Оттуда проберетесь на Кавказъ. Тамъ намъ особенно нуженъ вѣрный человѣкъ.

Пораженный, удивленный офицеръ, какъ равно и его спутникъ уходятъ. Маленькая дѣвочка, бывшая у Б. на большихъ дипломатическихъ посылкахъ, летитъ ко мнѣ по дождю и слякоти съ запиской. Я для нея нарочно завелъ шоколадъ en losenges, чтобъ чѣмъ-нибудь утѣшить ее въ климатѣ и отечествѣ, а потому даю ей большую горсть и прибавляю:

— Скажите высокому gentleman'у, что я лично съ нимъ переговорю.

Дѣйствительно, переписка оказывается излишней. Къ обѣду, т. е., черезъ часъ, является Б.

— Зачѣмъ 20 фунтовъ для **?

— Не для него, для *дѣла*; а что, братъ, ** прекраснѣйшій человѣкъ?

— Я его знаю нѣсколько лѣтъ. Онъ бывалъ прежде въ Лондонѣ.

— Это такой случай, пропустить его грѣшно; я его посылаю въ Яссы. Да потомъ онъ осмотритъ Кавказъ.

— Въ Яссы? И оттуда на Кавказъ?

— Ты пойдешь сейчасъ острить. Каламбурами ничего не докажешь.

— Да, вѣдь, тебѣ ничего ненужно въ Яссахъ?

— Ты почему знаешь?

— Знаю, потому, во-первыхъ, что никому ничего ненужно въ Яссахъ; а во-вторыхъ, если-бъ нужно было, ты недѣлю бы посто-

явно мнѣ говорилъ объ этомъ. Тебѣ просто попался человѣкъ молодой, застѣнчивый, хотящій доказать свою преданность; ты и придумалъ послать его въ Яссы. Онъ хочетъ видѣть выставку, а ты ему покажешь Молдовалахию. Ну, скажи-ка зачѣмъ?

— Какой любопытный. Ты въ эти дѣла со мной не входишь, какое же ты имѣешь право спрашивать?

— Это правда, я даже думаю, что этотъ секретъ ты скроешь ото всѣхъ; ну, а только денегъ давать на гонцовъ въ Яссы и Бухарестъ я нисколько не намѣренъ.

— Вѣдь, онъ отдастъ, у него деньги будутъ.

— Такъ пусть умнѣе употребитъ ихъ; полно, полно; письмо пошлешь съ какимъ-нибудь Петреско-Манон-Теско, а теперь пойдемъ ѣсть.

И Б., самъ смѣясь и качая головой, которая его все-таки перетягивала, внимательно и усердно принимался за трудъ обѣда, послѣ котораго всякій разъ говорилъ: «Теперь настала счастливая минута», и закуривалъ папирску. Онъ принималъ всѣхъ, всегда, во всякое время. Часто онъ еще, какъ Онѣгинъ, спалъ или ворочался на постели, которая хрустѣла; а ужъ два-три славянина въ его комнатѣ съ отчаянной торопливостью курили; онъ тяжело вставалъ, обливался водой и въ ту же минуту принимался ихъ поучать; никогда не скучалъ онъ, не тяготился ими; онъ могъ, не уставая, говорить со свѣжей головой съ самымъ умнымъ и самымъ глупымъ человѣкомъ.

Отъ этой неразборчивости выходили иногда пресмѣшныя вещи.

Б. вставалъ поздно; нельзя было иначе и сдѣлать, употребляя ночь на бесѣду и чай.

Разъ, часу въ одиннадцатомъ, слышитъ онъ, кто-то копошится въ его комнатѣ. Постель его стояла въ большомъ альковѣ, задернутомъ занавѣсью.

— Кто тамъ?—кричитъ Б., просыпаясь.

— Русскій.

— Ваша фамилія?

— Такой-то.

— Очень радъ.

— Что вы это такъ поздно встаете, а еще демократъ.

...Молчаніе... слышенъ плескъ воды, каскады.

— Михаилъ Александровичъ!

— Что?

— Я васъ хотѣлъ спросить, вы вѣнчались въ церкви?

— Да.

— Нехорошо сдѣлали. Что за образецъ непослѣдовательно-

сти; вотъ и Т... свою дочь прочить замужъ. Вы старики должны насъ учить примѣромъ.

— Что вы за вздоръ несете.

— Да вы скажите, по любви женились?

— Вамъ что за дѣло?

— У насъ былъ слухъ, что вы женились отъ того, что невѣста ваша богата ¹⁾.

— Что вы это допрашивать меня пришли? ступайте къ чорту.

— Ну, вотъ вы и разсердились, а я, право, отъ чистой души. Прощайте. А я все-таки зайду.

— Хорошо, хорошо; только будьте умнѣе.

Между тѣмъ польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 явился на нѣсколько дней въ Лондонъ Потенбня. Грустный, чистый, беззавѣтно отдавшійся урагану, онъ прѣзжалъ поговорить съ нами отъ себя и отъ товарищей, и все-таки итти своей дорогой. Чаше и чаще являлись поляки изъ края; ихъ языкъ былъ опредѣленнѣе и рѣзче, они шли къ взрыву прямо и сознательно. Мнѣ съ ужасомъ мерещилось, что они идутъ на неминуемую гибель.

— Смертельно жаль Потенбню и его товарищей, говорилъ я Б., и тѣмъ больше, что врядъ ли имъ по дорогѣ съ поляками.

— По дорогѣ, по дорогѣ,—возражалъ Б.—Не сидѣть же намъ вѣчно сложа руки и рефлектируя. Исторію надобно принимать, какъ представляется; не то всякій разъ будешь заурядъ то позади, то впереди.

Б. помолодѣлъ, онъ былъ въ своемъ элементѣ. Онъ любилъ не только ревъ возстанія и шумъ клуба, площади и баррикады, онъ любилъ также и приготовительную агитацію, эту возбужденную и вмѣстѣ съ тѣмъ задержанную жизнь конспирацій, консультацій, неспанныхъ ночей, переговоровъ, договоровъ, ректификацій, химическихъ чернилъ и условныхъ знаковъ. Кто изъ участниковъ не знаетъ, что репетиціи къ домашнему спектаклю и приготовленіе елки составляютъ одну изъ лучшихъ, изящныхъ частей. Но какъ онъ ни увлекался приготовленіями *елки*, у меня на сердцѣ скребли кошки; я постоянно спорилъ съ нимъ и не хотя дѣлалъ не то, что хотѣлъ.

Здѣсь я останавливаюсь на грустномъ вопросѣ. Какимъ образомъ, откуда взялась во мнѣ эта уступчивость съ ропотомъ, эта слабость съ мятежемъ и протестомъ? Съ одной стороны, достовѣрность, что поступать надо такъ; съ другой, готовность поступать совсѣмъ иначе. Эта шаткость, эта неспѣтость, dieses Zögernde, надѣлали въ моей жизни бездну вреда и не оставили

¹⁾ Б. ничего не взялъ за невѣстой.

даже слабой утѣхи въ сознаніи ошибки, невольной, несознанной; я дѣлалъ промахи à contre cœur; вся отрицательная сторона была у меня передъ глазами. Я рассказывалъ въ одной изъ предыдущихъ частей мое участіе въ 13 іюня 1849. Это типъ того, о чемъ я говорю. Ни на одну минуту я не вѣрилъ въ успѣхъ 13 іюня; я видѣлъ нелѣпость движенія и его безсиліе; народное равнодушіе, освирѣпѣлость реакціи и мелкій уровень революціонеровъ. (Я писалъ объ этомъ и все же пошелъ на площадь, смѣясь надъ людьми, которые шли).

Сколькими несчастіями было бы меньше въ моей жизни, сколькими ударами, если-бъ я имѣлъ во всѣхъ важныхъ случаяхъ силу слушаться самого себя. Меня упрекали въ увлекающемся характерѣ; увлекался и я, но это не составляетъ главнаго. Отдаваясь по удобовпечатливости, я тотчасъ останавливался; мысль, рефлексія и наблюдательность всегда почти брали верхъ въ теоріи, но не въ практикѣ. Тутъ и лежитъ вся трудность задачи, почему я давалъ себя вести *volens volens*...

Причиною быстрой сговорчивости былъ ложный стыдъ, а иногда и лучшія побужденія любви, дружбы, снисхожденія; но почему же все это побѣждало логику?

Послѣ похоронъ Ворцеля, 5 февраля 1857, когда всѣ провожавшіе разбрелись по домамъ, и я, воротившись въ свою комнату, сѣлъ грустно за свой письменный столъ, мнѣ пришелъ въ голову печальный вопросъ: не опустили ли мы въ землю вмѣстѣ съ этимъ праведникомъ и не схоронили ли съ нимъ всѣ наши отношенія съ польской эмиграціей?

Кроткая личность старика, являвшаяся примиряющимъ началомъ при непрерывно возникавшихъ недоразумѣніяхъ, исчезла, а недоразумѣнія остались. Частно, лично, мы могли любить того-другого изъ поляковъ, быть съ ними близкими; но вообще одинаковаго пониманья между нами было мало, и оттого отношенія наши были натянутыми, добросовѣстно неоткровенными; мы дѣлали другъ другу уступки, т. е., ослабляли сами себя, уменьшали другъ въ другѣ чуть ли не лучшія силы. Договориться до одинаковаго пониманія было невозможно. Мы шли съ разныхъ точекъ. Идеалъ поляковъ былъ *за ними*, они шли къ своему прошедшему, насильственно срѣзанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. У нихъ была бездна мощей, а у насъ пустыя колыбели. Во всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ и во всей поэзіи столько же отчаянія, сколько яркой вѣры.

Они ищутъ воскресенія мертвыхъ, мы хотимъ поскорѣе схоронить своихъ. Формы нашего мышленія, упованія—не тѣ; весь гений нашъ, весь складъ не имѣетъ ничего сходнаго. Наше соединеніе съ ними казалось имъ то *mésalliance*’омъ, то разсудочнымъ

бракомъ. Съ нашей стороны было больше искренности, но не больше глубины: мы сознавали свою косвенную вину, мы любили ихъ отвагу и уважали ихъ несокрушимый протестъ. Что они могли въ насъ любить? что уважать? Они переламывали себя, сближаясь съ нами; они дѣлали для нѣсколькихъ русскихъ почетное исключеніе.

Въ темнотѣ Николаевского царствованія мы больше сочувствовали другъ другу, чѣмъ знали. Но когда окно немного пріотворилось, мы догадались, что насъ привели по разнымъ дорогамъ и что мы разойдемся по разнымъ. Послѣ Крымской кампаніи мы радостно вздохнули, а ихъ наша радость оскорбила: новый воздухъ въ Россіи имъ напомнилъ ихъ утраты, а не надежды. У насъ новое время началось съ заносчивыхъ требованій, мы рвались впередъ, готовые все ломать, у нихъ—съ панихидъ и упокойныхъ молитвъ.

Старикъ Адамъ Чарторижскій съ смертнаго одра присталъ мнѣ съ сыномъ теплое слово; въ Парижѣ депутація поляковъ поднесла мнѣ адресъ, подписанный четырьмястами изгнанниковъ, къ которому присылались подписи отовсюду,—даже отъ польскихъ выходцевъ, жившихъ въ Алжирѣ и въ Америкѣ. Казалось, во многомъ мы были близки; но шагъ глубже—и рознь, рѣзкая рознь, бросалась въ глаза.

...Разъ у меня сидѣли Ксаверій Браницкій, Хоецкій и еще кто-то изъ поляковъ; всѣ они были проездомъ въ Лондонъ и захѣли пожать мнѣ руку за статьи. Зашла рѣчь о выстрѣлѣ въ Константина.

— Выстрѣлъ этотъ, сказалъ я, страшно повредить вамъ. Можетъ, правительство и уступило бы кое-что; теперь оно ничего не уступить.

— Да мы только этого и хотимъ! замѣтилъ съ жаромъ Ш. Е.; для насъ нѣтъ хуже несчастья, какъ уступки; мы хотимъ разрыва, открытой борьбы!

— Желаю отъ души, чтобъ вы не раскаялись.

Ш. Е. иронически улыбнулся, и никто не прибавилъ ни слова. Это было лѣтомъ 1861 года. А черезъ полтора года говорилъ то же Падлевскій, отправляясь *черезъ Петербургъ* въ Польшу.

Кости были брошены!...

Б. вѣрилъ въ возможность военно-крестьянскаго возстанія въ Россіи, вѣрили отчасти и мы. Напряженіе умовъ, броженіе умовъ было неоспоримо.

Б., не слишкомъ останавливаясь на взвѣшиваніи всѣхъ обстоятельствъ, смотрѣлъ на одну дальнюю цѣль и принялъ второй мѣсяцъ беременности за девятый. Онъ увлекалъ не доводами, а желаніемъ. Онъ *хотѣлъ* вѣрить и вѣрилъ, что Жмудь и Волга, Донъ

и Украина возстанутъ какъ одинъ человѣкъ, услышавъ о Варшавѣ; онъ вѣрилъ, что старовѣръ воспользуется католическимъ движеніемъ, чтобъ узаконить расколъ.

Какъ-то, въ концѣ сентября, пришелъ ко мнѣ Б. особенно озабоченный и нѣсколько торжественный.

— Варшавскій центральный комитетъ,—сказалъ онъ,—прислалъ двухъ членовъ, чтобъ переговорить съ нами. Одного изъ нихъ ты знаешь: это Падлевскій; другой Г., закаленный боецъ; онъ изъ Польши прогулился въ кандалахъ до рудниковъ и только что возвратился, снова принялся за дѣло. Сегодня вечеромъ я ихъ приведу къ вамъ, а завтра соберемся у меня: надобно *окончательно опредѣлить наши отношенія*.

Тогда набирался мой отвѣтъ офицерамъ ¹⁾.

— Моя программа готова; я имъ прочту мое письмо.

— Я согласенъ съ твоимъ письмомъ, ты это знаешь; но не знаю, все ли понравится имъ; во всякомъ случаѣ, я думаю, что этого имъ будетъ мало.

Вечеромъ Б. пришелъ съ тремя гостями вмѣсто двухъ. Я прочелъ мое письмо. Во время разговора и чтенія Б. сидѣлъ встревоженный, какъ бываетъ съ родственниками на экзаменѣ, или съ адвокатами, трепещущими, чтобъ ихъ кліентъ не проврался и не испортилъ всей *игры защиты*, хорошо налаженной, если не по всей правдѣ, то къ успѣшному концу.

Я видѣлъ по лицамъ, что Б. угадалъ и что чтеніе не то, чтобъ особенно понравилось.

— Прежде всего, замѣтилъ Г., мы прочтемъ письмо къ вамъ отъ Центрального комитета.

Читалъ М.; документъ этотъ, извѣстный читателямъ *Колокола*, *былъ написанъ по-русски*, не совсѣмъ правильнымъ языкомъ, но ясно. Говорили, что я его перевелъ съ французскаго и переиначилъ: это *не правда*. Всѣ трое говорили хорошо по-русски.

Смыслъ акта состоялъ въ томъ, чтобъ черезъ насъ сказать русскимъ, что слагающееся польское правительство согласно съ нами и кладетъ въ основаніе своихъ дѣйствій: *«Признаніе права крестьянъ на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякаго народа располагать своей судьбой»*. Это заявленіе, говорилъ М., обязывало меня смягчить вопросительную и сомнѣвающуюся форму моего письма. Я согласился на нѣкоторыя перемѣны и предложилъ имъ, съ своей стороны, посильнѣе отгнѣнить и яснѣе высказать мысль о самозаконности провинцій; они согласились. Этотъ споръ изъ-за словъ показывалъ, что со-

1) *Колоколъ*, 1862 года.

чувствіе наше къ однимъ и тѣмъ же вопросамъ не было *одинаково*.

На другой день утромъ Б. уже сидѣлъ у меня. Онъ былъ недоволенъ мной, находилъ, что я слишкомъ холоденъ, какъ будто не довѣряю.

— Чего же ты больше хочешь? Поляки никогда не дѣлали такихъ уступокъ. Они выражаются другими словамъ, принятыми у нихъ какъ катехизисъ; нельзя же имъ, подымая національное знамя, на первомъ шагѣ оскорбить раздражительное народное чувство.

— Мнѣ все кажется, что имъ до крестьянской земли въ сущности мало дѣла, а до провинцій слишкомъ много.

— Любезный другъ, у тебя въ рукахъ будетъ документъ, направленный тобой, подписанный при всѣхъ насъ, чего же тебѣ еще?

— Есть-таки кое-что.

— Какъ для тебя труденъ каждый шагъ! ты вовсе не практический человѣкъ.

— Это уже прежде тебя говорилъ Сазоновъ.

Б. махнулъ рукой и пошелъ въ комнату къ Огареву. Я печально смотрѣлъ ему вслѣдъ; я видѣлъ, что онъ заилъ свой революціонный запой и что съ нимъ не столкнешь теперь. Онъ шагаль сепи-мильными сапогами черезъ горы и моря, черезъ годы и поколѣнія. За возстаніемъ въ Варшавѣ, онъ уже видѣлъ свою «славную и славянскую» федерацію, о которой поляки говорили не то съ ужасомъ, не то съ отвращеніемъ, и торопился сгладить *какъ-нибудь* затрудненія, затушевать противорѣчія, не выполнить овраги, а бросить черезъ нихъ чортовъ мостъ.

«Нѣтъ освобожденія безъ земли».

— Ты точно дипломатъ на Вѣнскомъ конгрессѣ, повторялъ мнѣ съ досадой Б., когда мы потомъ толковали у него съ представителями жонда: придираешься къ словамъ и выраженіямъ. Это не журнальная статья, не литература.

— Съ моей стороны,—замѣтилъ Г.,—я изъ-за словъ спорить не стану; мѣняйте какъ хотите, лишь бы главный смыслъ остался тотъ же.

— Браво Г.,—радостно воскликнулъ Б.

Ну, этотъ,—подумалъ я,—*приѣхалъ подкованный и по лѣтнему и на шипы*; онъ ничего не уступитъ на дѣлѣ и оттого такъ легко уступаетъ все на словахъ.

Актъ поправили, члены жонда подписались; я его послалъ въ типографію.

Г. и его товарищи были убѣждены, что мы представляли заграничное средоточіе цѣлой организаціи, зависящей отъ насъ и которая по нашему приказу примкнетъ къ нимъ или нѣтъ. Для нихъ, дѣйствительно, дѣло было *не въ словахъ* и не въ теоретическомъ согласіи; свое *profession de foi* они всегда могли отгнѣнить толкованіями такъ, что его яркіе цвѣта пропали бы, полиняли и измѣнились.

Что въ Россіи клались первыя ячейки *организаціи*, въ этомъ не было сомнѣнія: первыя волокна, нити, были замѣтны простому глазу; но каждый сильный ударъ грозилъ разорвать начальныя кружева паутины.

Вотъ это-то я и сказалъ, отправивъ печатать письмо Комитета, Г. и его товарищамъ, говоря имъ о несвоевременности ихъ возстанія. Падлевскій слишкомъ хорошо зналъ Петербургъ, чтобы удивиться моимъ словамъ; но Г. призадумался.

— Вы думали,—сказалъ я ему улыбаясь,—что мы сильнѣе? Да, Г., вы не ошиблись, сила у насъ есть большая и дѣятельная, но сила эта вся утверждается на общественномъ мнѣніи, т. е., она можетъ сейчасъ улетучиться; мы сильны *сочувствіемъ* къ намъ, унисономъ съ своими. Организаціи, которой бы мы сказали: иди направо или налево,—*нѣтъ*.

— Да, любезный другъ, однако же,—началь Б., ходившій въ волненіи по комнатѣ...

— Что же, развѣ *есть*?—спросилъ я его и остановился.

— Ну, это какъ ты хочешь назвать; конечно, если взять внѣшнюю форму, это совсѣмъ не въ русскомъ характерѣ. Да видишь...

— Позволь же мнѣ кончить; я хочу пояснить Г., почему я такъ настаивалъ на словахъ. Если въ Россіи на вашемъ знамени не увидятъ *надѣлъ земли*, то наше сочувствіе вамъ *не принесетъ никакой пользы*, а насъ *погубитъ*, потому что вся наша сила въ одинаковомъ біеніи сердца; у насъ оно, можетъ, бьется посильнѣе и потому ушло секундой впередъ, чѣмъ у друзей нашихъ; но они связаны съ нами сочувствіемъ, а не службой!

— Вы будете нами довольны,—говорили Г. и Падлевскій.

Черезъ день двое изъ нихъ отправились въ Варшаву; третій уѣхалъ въ Парижъ.

Наступило затишье передъ грозой. Время темное, тяжелое, въ которое все казалось, что туча пройдетъ, а она все приближалась; тутъ явился указъ о наборѣ,—это была послѣдняя капля; люди, еще останавливавшіеся передъ рѣшительнымъ и невозвратнымъ шагомъ, рвались на бой. Теперь и *бѣлые* стали переходить на сторону движенія.

Приѣхалъ опять Падлевскій, наборъ не отмѣнялся. Падлевскій уѣхалъ въ Польшу.

Б. собирался въ Стокгольмъ совершенно независимо отъ экспедиціи Лапинскаго, о которой тогда никто не думалъ. Мелькомъ явился Потебня и исчезъ вслѣдъ за Б. Въ то же время какъ Потебня, приѣхалъ черезъ Варшаву изъ Петербурга уполномоченный отъ «Земли и Воли». Онъ съ негодованіемъ разсказывалъ, какъ поляки, пригласившіе его въ Варшаву, ничего не сдѣлали. Онъ былъ первый русскій, видѣвшій начало возстанія. Онъ разсказалъ объ убійствѣ солдатъ, о раненомъ офицерѣ, который былъ членомъ общества. Солдаты думали, что это предательство, и начали съ ожесточеніемъ бить поляковъ. Падлевскій, главный начальникъ въ Ковно, рвалъ волосы, но боялся ясно выступить противъ своихъ.

Уполномоченный былъ полонъ важности своей миссіи и пригласилъ насъ сдѣлаться *агентами* общества «Земли и Воли». Я отклонилъ это къ крайнему удивленію не только Б., но и Огарева. Я сказалъ, что мнѣ не нравится это битое, французское названіе. Уполномоченный трактовалъ насъ такъ, какъ комиссары конвента 1793 г. трактовали генераловъ въ дальнихъ арміяхъ. Мнѣ и это не понравилось.

— А много васъ?—спросилъ я.

— Это трудно сказать: нѣсколько сотъ человѣкъ въ Петербургѣ и *тысячи три* въ провинціяхъ.

— Ты вѣришь? спросилъ я потомъ Огарева.

Онъ промолчалъ.

— Ты вѣришь? спросилъ я Б.

— Конечно, *онъ* прибавилъ; ну, *нѣтъ теперь столько, такъ будутъ потомъ!* и онъ расхохотался.

— Это другое дѣло.

— Въ томъ-то все и состоитъ, чтобъ поддержать слабыя начинанія; если-бъ они были крѣпки, они и не нуждались бы въ насъ,—замѣтилъ Огаревъ, въ этихъ случаяхъ всегда недовольный моимъ скептицизмомъ.

— Они такъ и должны бы были явиться передъ нами, откровенно слабыми, желающими дружеской помощи, а не предлагать глупое агентство.

— Это молодость, прибавилъ Б. и уѣхалъ въ Швецію.

А вслѣдъ за нимъ уѣхалъ и Потебня. Удручительно горестно я простился съ нимъ; я ни одной секунды не сомнѣвался, что онъ прямо идетъ на гибель.

...За нѣсколько дней до отъѣзда Б. пришелъ Мартыановъ блѣднѣе обыкновеннаго, печальнѣе обыкновеннаго; онъ сѣлъ въ углу и молчалъ. Онъ страдалъ по Россіи и носился съ мыслью о воз-

вращенія домой. Шелъ споръ о возстаніи. Мартыяновъ слушалъ молча, потомъ всталъ, собрался итти и вдругъ, остановившись передо мной, мрачно сказалъ мнѣ:

— Вы не сердитесь не меня, Александръ Ивановичъ, такъ ли, иначе ли, а *Колоколъ*-то вы порѣшили. Что вамъ за дѣло мѣшаться въ польскія дѣла? Поляки, можетъ, и правы, но ихъ дѣло шляхетное—не ваше. Не пожалѣли вы насъ, Богъ съ вами, Александръ Ивановичъ. Попомните, что я говорилъ. Я-то самъ не увижу, я ворочусь домой. Здѣсь мнѣ нечего дѣлать.

— Ни вы не поѣдете въ Россію, ни *Колоколъ* не погибъ, отвѣтилъ я ему.

Онъ молча ушелъ, оставляя меня подъ тяжелымъ гнетомъ второго пророчества и какого-то темнаго сознанія, что что-то ошибочное сдѣлано.

Мартыяновъ какъ сказалъ, такъ и сдѣлалъ; онъ воротился весной 1863 и пошелъ умирать на каторгу, сосланный своимъ «земскимъ царемъ» за любовь къ Россіи, за вѣру въ него.

Къ концу 1863 года расходъ *Колокола* съ 2500—2000 сошелъ на 500 и не разу ни подымался далѣе 1000 экземпляровъ.

Шарлота Кордэ изъ Орлова и Даніилъ изъ крестьянъ были *правы!*

Писано въ Montreux и Lausanne, въ концѣ 1865 года.

Пароходъ Ward Jackson

R. Weterli & Co.

I.

Вотъ что случилось мѣсяца за два до польскаго возстанія. Одинъ полякъ, прїѣзжавшій не надолго изъ Парижа въ Лондонъ, Іосифъ Цверчакъвичъ, по прїѣздѣ въ Парижъ, былъ схваченъ и арестованъ вмѣстѣ съ Х. и М., о которомъ я упомянулъ при свиданьи съ членами жонда.

Во всей арестаціи было много страннаго. Х. прїѣхалъ въ десятомъ часу вечера; онъ никого не зналъ въ Парижѣ и прямо отправился на квартиру М. Около одиннадцати явилась полиція.

— Вашъ пассъ, спросилъ комиссаръ Х.

— Вотъ онъ, и Х. подалъ исправно визированный пассъ на другое имя.

— Такъ, такъ, сказалъ комиссаръ, я зналъ, что вы подъ этимъ именемъ. Теперь вашъ портфель, спросилъ онъ Цверчакъвича.

Онъ лежалъ на столѣ. Полицейскій вынулъ бумаги, посмотрѣлъ ихъ и, передавая своему товарищу небольшое письмо съ надписью Э. А., прибавилъ:

— Вотъ оно.

Всѣхъ трехъ арестовали, забрали у нихъ бумаги, потомъ выпустили. Дольше другихъ задержали Х. Для полицейскаго изыщества имъ хотѣлось, чтобъ онъ назвался своимъ именемъ. Онъ имъ не сдѣлалъ этого удовольствія. Выпустили и его черезъ недѣлю.

Когда, годъ или больше спустя, прусское правительство дѣлало нелѣпѣйшій познанскій процессъ, прокуроръ въ числѣ обвинительныхъ документовъ представилъ бумаги, присланныя изъ русской полиціи и принадлежавшія Цверчакъвичу. На возникнувшій вопросъ, какимъ образомъ бумаги эти очутились въ Россіи, прокуроръ спокойно объяснилъ, что, когда Цверчакъвичъ былъ подъ арестомъ, нѣкоторые изъ его бумагъ были сообщены французской полиціей русскому посольству.

Выпущеннымъ полякамъ велѣно было оставить Францію; они поѣхали въ Лондонъ. Въ Лондонѣ они сами рассказывали мнѣ подробности ареста и по справедливости всего больше дивились тому, что комиссаръ зналъ, что у нихъ есть письмо съ надписью Э. А. Письмо это изъ рукъ въ руки Цверчакъвичу далъ Маццини и просилъ его вручить Этьену Араго.

— Говорили ли вы кому-нибудь о письмѣ? спросилъ я.

— Никому, рѣшительно никому, отвѣчалъ Цверчакъвичъ.

— Это какое-то колдовство; не можетъ же пасть подозрѣніе ни на васъ, ни на Маццини. Подумайте-ка хорошенько.

Цверчакъвичъ подумалъ.

— Одно знаю я, замѣтилъ онъ, что я выходилъ на короткое время со двора и, помнится, портфель оставилъ въ незапертомъ ящикѣ.

— Cloud! Cloud! теперь позвольте, гдѣ вы жили?

— Тамъ-то, въ furnished appartements.

— Хозяинъ англичанинъ?

— Нѣтъ, полякъ.

— Еще лучше. А имя его?

— Туръ, онъ занимается агрономіей.

— И многимъ другимъ, коли отдастъ меблированные квартиры. Тура этого я немножко знаю. Слыхали ли вы когда-нибудь исторію о нѣкоемъ Михаловскомъ?

— Такъ, мелькомъ.

— Ну, я вамъ расскажу ее. Осенью 1857 года, я получилъ черезъ Брюссель письмо изъ Петербурга. Незнакомая особа извѣщала меня со всѣми подробностями о томъ, что одинъ изъ сидѣльцевъ у Трюбнера, Михаловскій, предложилъ свои услуги III отдѣленію шпионичать за нами, требуя за трудъ 200 фунтовъ, что въ доказательство того, что онъ достоинъ и способенъ, онъ представлялъ списокъ лицъ, бывшихъ у насъ въ послѣднее время, и обѣщалъ доставить образчики рукописей изъ типографіи. Прежде чѣмъ я хорошенько обдумалъ, что дѣлать, я получилъ *второе письмо* того же содержанія черезъ домъ Ротшильда. Въ истинѣ свѣдѣнія я не имѣлъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Михаловскій, полякъ изъ Галиціи, низкопоклонный, безобразный, пьяный, расторопный и говорящій на четырехъ языкахъ, имѣлъ всѣ права на званіе шпиона и ждалъ только случая pour se faire valoir. Я рѣшился ѣхать съ Огаревымъ къ Трюбнеру и уличить Михаловскаго, сбить на словахъ и, во всякомъ случаѣ, прогнать отъ Трюбнера. Для большей торжественности я пригласилъ съ собой Піанчани и двухъ поляковъ. Михаловскій былъ наглъ, гадокъ, запирался; говорилъ, что шпионъ Наполеонъ Шестаковскій, *который жилъ съ нимъ* на одной квартирѣ. Въ половину я готовъ

былъ ему вѣрить, т. е., что и пріятель его тоже шпионъ. Трюбнеру я сказалъ, что требую немедленной высылки его изъ книжной лавки. Негодяй путался и не умѣлъ ничего серьезнаго привести въ свое оправданіе.—Это все зависть, говорилъ онъ, у кого изъ нашихъ заведется хорошее пальто, сейчасъ другіе кричатъ: шпионъ!—Отчего же, спросилъ его Зено Свентославскій, у тебя никогда не было хорошаго пальто, а тебя всегда считали шпиономъ? Всѣ захохотали.—Да обидьтесъ же, наконецъ, сказалъ Чернецкій.—Не первый разъ, отвѣтилъ философъ, я имѣю дѣло съ такими безумными.—Привыкли, замѣтилъ Чернецкій. Мошенникъ вышелъ вонъ. Всѣ порядочные поляки оставили его, за исключеніемъ совсѣмъ спившихся игроковъ и совсѣмъ проигравшихся пьяницъ. Съ этимъ Михаловскимъ въ дружескихъ отношеніяхъ остался одинъ порядочный человѣкъ, и этотъ человѣкъ вашъ хозяинъ, Туръ.

— Да, это подозрительно. Я сейчасъ...

— Что сейчасъ? Дѣла теперь не поправите, а имѣйте этого человѣка въ виду. Какія у васъ доказательства?

Вскорѣ послѣ этого Цверчакъвичъ былъ назначенъ жондомъ въ свои дипломатическіе агенты въ Лондонъ. Пріѣздъ въ Парижъ ему былъ позволенъ; въ это время Наполеонъ чувствовалъ то пламенное участіе къ судьбамъ Польши, которое ей стоило цѣлаго поколѣнія и можетъ стоять всего будущаго.

Б. былъ уже въ Швеціи, знакомясь со всѣми, открывая пути въ «Землю и Волю» черезъ Финляндію, слаживая посылку *Колокола* и книгъ и выдавая съ представителями всѣхъ польскихъ партій. Принятый министрами и братомъ короля, онъ всѣхъ увѣрилъ въ неминуемомъ возстаніи крестьянъ и въ сильномъ волненіи умовъ въ Россіи. Увѣрилъ тѣмъ больше, что самъ *искренно вѣрилъ*, если не въ такихъ размѣрахъ, то вѣрилъ въ растущую силу. Объ экспедиціи Лапинскаго тогда никто не думалъ. Цѣль Б. состояла въ томъ, чтобъ, устроивши все въ Швеціи, пробраться въ Польшу и Литву.

Цверчакъвичъ возвратился изъ Парижа съ Демонтовичемъ. Въ Парижѣ они и ихъ друзья придумали снарядить экспедицію на балтійскіе берега. Они искали парохода, искали дѣльнаго начальника и за тѣмъ пріѣхали въ Лондонъ. Вотъ какъ шла тайная негодіація.

Какъ-то получаю я записочку отъ Цверчакъвича: онъ просилъ меня зайти къ нему на минуту, говорилъ, что очень нужно и что самъ онъ распростудился и лежитъ въ злой мигрени. Я пошелъ. Дѣйствительно засталъ его больнымъ и въ постели. Въ другой комнатѣ сидѣлъ С. Тхоржевскій. Зная, что Цверчакъвичъ писалъ ко мнѣ и что у него есть дѣло, Тхоржевскій хотѣлъ выйти, но Цвер-

чакѣвичъ остановилъ его, и я очень радъ, что есть живой свидетель нашего разговора.

Цверчакѣвичъ просилъ меня, оставивъ всѣ личныя отношенія и консидераціи, сказать ему по чистой совѣсти и, само собой разумѣется, въ глубочайшей тайнѣ, объ одномъ польскомъ эмигрантѣ, рекомендованномъ ему Маццини и Б., но къ которому онъ полной вѣры не имѣетъ.

— Вы его не очень любите, я это знаю, но теперь, когда дѣло идетъ первой важности, жду отъ васъ истины, всей истины.

— Вы говорите о Л.-Б.? спросилъ я.

— Да.

Я призадумался. Я чувствовалъ, что могу повредить чело-вѣку, о которомъ все-таки не знаю ничего особенно дурного, и, съ другой стороны, понимая, какой вредъ принесу общему дѣлу, споря противъ совершенно вѣрной антипатіи Цверчакѣвича.

— Извольте, я вамъ скажу откровенно и все. Что касается до рекомендаціи Маццини и Б., я ее совершенно отвожу. Вы знаете, какъ я люблю Маццини; но онъ такъ привыкъ изъ всякаго дерева рубить и изъ всякой глины лѣпить агентовъ и такъ умѣетъ ихъ въ итальянскомъ дѣлѣ ловко держать въ рукахъ, что на его мнѣніе трудно положиться. Къ тому же, употребляя все, что попало, Маццини знаетъ, до *какой степени*, кому и что поручить. Рекомендація Б. еще хуже: это большой ребенокъ, «большая Лиза», какъ его называлъ Мартыановъ; ему всѣ нравятся. «Ловецъ челоуѣковъ», онъ такъ радуется, когда ему попадется «красный», да притомъ славянинъ, что онъ далѣе не идетъ. Вы помянули о моихъ личныхъ отношеніяхъ къ Л.-Б., слѣдуетъ же сказать и объ этомъ. З и Л.-Б. хотѣли меня эксплуатировать; инициатива дѣла принадлежала не ему, а З. Имъ это не удалось, они разсердились, и я это давно бы забылъ, но они стали между Ворделемъ и мной, и этого я имъ не прощалъ. Ворделя я очень любилъ, но, слабый здоровьемъ, онъ подтакнулъ имъ, и только спохватился (или признался, что спохватился) за день до кончины. Умирающей рукой сжимая мою руку, онъ шепталъ мнѣ на ухо: «Да, вы были правы» (но свидетелей не было, а на мертвыхъ ссылаться легко). Затѣмъ, вотъ вамъ мое мнѣніе: перебирая все, я не нахожу *ни одного поступка, ни одного слуха даже*, который бы заставлялъ подозрѣвать политическую честность Л.-Б.; но я бы не замѣшалъ его ни въ какую серьезную тайну. Въ моихъ глазахъ онъ избалованный фразеръ, наполненный французскими фразами и безмѣрно высокомерный, желающій во что бы то ни было играть роль, онъ все сдѣлаетъ, чтобъ испортить пьесу, если она ему не выпадетъ.

Цверчакѣвичъ привсталъ. Онъ былъ блѣденъ и озабоченъ.

— Да, вы у меня сняли камень съ груди; *если не поздно* теперь, я все сдѣлаю. Взмолвленный Цверчакѣвичъ сталъ ходить по комнатѣ. Я ушелъ вскорѣ съ Тхоржевскимъ.

— Слышали вы весь разговоръ? спросилъ я у него идучи.

— Слышалъ.

— Я очень радъ; не забывайте его: можетъ, придетъ время, когда я сошлюсь на васъ... А знаете что? мнѣ кажется, онъ ему *все сказалъ*, да потомъ и догадался повѣрить свою антипатію.

— Безъ всякаго сомнѣнія. И мы чуть не расхохотались, не смотря на то, что на душѣ было вовсе не смѣшно.

1. П Р А В О У Ч Е Н І Е.

.... Недѣли черезъ двѣ Цверчакѣвичъ вступилъ въ переговоры съ Blackwood'a компаніей пароходства о наймѣ парохода для экспедиціи на Балтикъ.

— Зачѣмъ же, спрашивали мы, вы адресовались именно къ той компаніи, которая десятки лѣтъ исполняетъ всѣ комиссіи по части судоходства для петербургскаго адмиралтейства?

— Это мнѣ самому не такъ нравится, но компанія такъ хорошо знаетъ Балтійское море. Къ тому же она слишкомъ заинтересована, чтобъ выдать насъ; да и это не въ англійскихъ нравахъ.

— Все такъ, да какъ вамъ въ голову пришло обратиться именно къ ней?

— Это сдѣлалъ нашъ комиссіонеръ.

— То есть?

— Туръ.

— Какъ? тотъ Туръ!

— О, насчетъ его можно быть покойнымъ. Его самымъ лучшимъ образомъ намъ рекомендовалъ Л.-Б.

Мнѣ на минуту вся кровь бросилась въ голову. Я смѣшался отъ чувства негодованія, бѣшенства, оскорбленія, да, да, личного оскорбленія. А делегатъ Рѣчи-Посполитой, ничего не замѣчавшій, продолжалъ:

— Онъ превосходно знаетъ по-англійски.

— И языкъ, и законодательство.

— Въ этомъ я не сомнѣваюсь.

— Туръ какъ-то сидѣлъ въ тюрьмѣ въ Лондонѣ за какія-то не совсѣмъ ясныя дѣла и употреблялся присяжнымъ переводчикомъ въ судѣ.

— Какъ такъ?

— Вы спросите у Л.-Б., или у Михаловскаго; вы не знакомы съ нимъ?

— Нѣтъ.

— Каковъ Туръ! занимался земледѣлемъ, а теперь занимается вододѣлемъ. Но общее вниманіе обратилъ на себя взошедшій начальникъ экспедиціи, полковникъ Лапинскій.

II.

Lapinski-Colonel.—Polles-Aide de Camp.

Въ началѣ 1863 года я получилъ письмо, написанное мелко, необыкновенно каллиграфически и начинавшееся текстомъ *Licite venite parvulos*. Въ самыхъ изысканно лстивыхъ, стелящихся выраженіяхъ, просилъ у меня *parvulus*, называвшійся Polles, позволенія пріѣхать ко мнѣ. Письмо мнѣ очень не понравилось. Онъ самъ—еще больше. Низкопоклонный, тихій, вкрадчивый, бритый, напомаженный, онъ мнѣ разсказалъ, что былъ въ Петербургѣ въ театральной школѣ и получилъ какой-то пансіонъ, прикидывался сильно полякомъ и, просидѣвши четверть часа, сообщилъ мнѣ, что онъ изъ Франціи, что въ Парижѣ тоска и что тамъ узелъ узловъ—Наполеонъ.

— Знаете ли, что мнѣ приходило часто въ голову, и я больше и больше убѣждаюсь въ вѣрности этой мысли: надобно рѣшиться убить Наполеона.

— За чѣмъ же дѣло стало?

— Да вы какъ объ этомъ думаете? спросилъ *Parvulus*, нѣсколько смутившись.

— Я никакъ. Вѣдь, это вы думаете.

Когда Поллесъ ушелъ, я рѣшился его не пускать больше. Черезъ недѣлю онъ встрѣтился со мной близъ моего дома; говорилъ, что два раза былъ и не засталъ, натолковалъ какого-то вздора и прибавилъ:

— Я, между прочимъ, заходилъ къ вамъ, чтобъ сообщить, какое я сдѣлалъ изобрѣтеніе, чтобъ по почтѣ сообщить что-нибудь тайное, напр., въ Россію. Вамъ, вѣрно, случается часто необходимость что-нибудь сообщать.

— Совсѣмъ напротивъ, никогда. Я вообще ни къ кому тайно не пишу. Будьте здоровы.

— Прощайте. Вспомните, когда вамъ или Огареву захочется послушать кой-какой музыки, я и мой віолончель къ вашимъ услугамъ.

— Очень благодаренъ.

И я потерялъ его изъ виду съ полной увѣренностью, что это шпионъ; русскій ли, французскій ли, я не зналъ; можетъ, интернаціональный, какъ Nord журналъ международный.

Въ польскомъ обществѣ онъ никогда не являлся, его тамъ никто не зналъ.

Послѣ долгихъ исканій, Демонтовичъ и парижскіе друзья его остановились на полковникѣ Лапинскомъ, какъ на способнѣйшемъ военномъ начальникѣ экспедиціи. Онъ былъ долго на Кавказѣ со стороны черкесовъ, и такъ хорошо зналъ войну въ горахъ, что о морѣ и говорить было нечего. Дурнымъ выбора назвать нельзя.

Лапинскій былъ въ полномъ словѣ кондотьеръ. Твердыхъ политическихъ убѣжденій у него не было никакихъ. Онъ могъ идти съ бѣлыми и красными, съ чистыми и грязными; принадлежа по рожденію къ галиційской шляхтѣ, а по воспитанію къ австрійской арміи, онъ сильно тянулъ къ Вѣнѣ. Россію и все русское онъ ненавидѣлъ—дико, безумно, неисправимо. Ремесло свое, вѣроятно, онъ зналъ, велъ долго войну и написалъ замѣчательную книгу о Кавказѣ.

— Какой случай разъ былъ со мной на Кавказѣ, рассказывалъ Лапинскій; русскій маіоръ, поселившійся съ цѣлой усадьбой своей недалеко отъ насъ, не знаю какъ и за что, захватилъ нашихъ людей. Узнаю я объ этомъ и говорю своимъ: что же это, стыдъ и срамъ; васъ, какъ бабъ, крадутъ? Ступайте въ усадьбу, берите что попало и тащите сюда. Горцы, знаете, имъ ненужно много толковать. На другой или третій день привели ко мнѣ всю семью и слугъ, и жену, и дѣтей, только самого маіора дома не застали. Я послалъ повѣстить, что, если нашихъ людей отпустятъ, да дадутъ такой-то выкупъ, то мы сейчасъ доставимъ обратно плѣнныхъ. Разумѣется, нашихъ прислали, рассчитались, и мы отпустили московскихъ гостей. На другой день приходитъ ко мнѣ черкесъ. «Вотъ, говорить, что случилось; мы, говорить, вчера, какъ отпускали русскихъ, забыли мальчика лѣтъ четырехъ: онъ спалъ, такъ его и забыли. Какъ же быть?»—Ахъ вы, собаки, не умѣете ничего въ порядкѣ сдѣлать. Гдѣ ребенокъ?»—«У меня; кричалъ, кричалъ, ну, я сжалился и взялъ его».—Видно тебѣ Аллахъ счастье послалъ; мѣшать не хочу. Дай туда знать, что они ребенка забыли, а ты его нашелъ; ну, и спрашивай выкупа. У моего черкеса такъ глаза и разгорѣлись. Разумѣется, мать, отецъ въ тревогѣ, дали все, что хотѣлъ черкесъ. Пресмѣшной случай.

— Очень.

Вотъ черта для характеристики будущаго героя въ Самогитіи.

Передъ своимъ отправленіемъ Лапинскій заѣхалъ ко мнѣ. Онъ взошелъ не одинъ и, нѣсколько озадаченный выраженіемъ моего лица, поспѣшилъ сказать:

— Позвольте вамъ представить моего адъютанта.

— Я уже имѣлъ удовольствіе съ нимъ встрѣчаться.

Это былъ Поллесь.

— Вы его хорошо знаете? спросилъ Огаревъ у Лапинскаго наединѣ.

— Я его встрѣтилъ въ томъ же Boarding hous'ѣ, гдѣ теперь живу; онъ, кажется, славный малый и расторопный.

— Да вы увѣрены ли въ немъ?

— Конечно. Къ тому же онъ отлично играетъ на віолончели и будетъ насъ тѣшить во время плаванья.

Онъ, говорятъ, тѣшилъ полковника кой-чѣмъ другимъ.

Мы впослѣдствіи сказали Демонтовичу, что для насъ *Поллесь* очень подозрительное лицо.

Демонтовичъ замѣтилъ:

— Да я *имъ обоимъ* не очень вѣрю, но шалить они не будутъ.

И онъ вынулъ револьверъ изъ кармана.

Приготовленія шли тихо; слухъ объ экспедиціи все больше и больше распространялся. Компанія дала сначала пароходъ, оказавшійся негоднымъ по осмотру хорошаго моряка, графа С. Надобно было начать перегрузку. Когда все было готово, и часть Лондона знала обо всемъ, случилось слѣдующее. Цверчакѣвичъ и Демонтовичъ повѣстили всѣхъ участниковъ экспедиціи, чтобъ они собирались къ *десяти* часамъ на такомъ-то амбаркадерѣ желѣзной дороги, чтобъ ѣхать до *Гуля* въ особомъ train, который давала имъ компанія. И вотъ, къ десяти часамъ стали собираться будущіе воины. Въ ихъ числѣ были итальянцы и нѣсколько французовъ; бѣдные, отважные люди, которымъ надоѣла ихъ доля въ бездомномъ скитаніи, и люди истинно любившіе Польшу. И 10 и 11 часовъ проходятъ, но train'a нѣтъ, какъ нѣтъ. По домамъ, изъ которыхъ таинственно вышли наши герои, мало-по-малу стали распространяться слухи о дальнемъ пути, и часовъ въ 12 къ будущимъ бойцамъ въ сѣняхъ амбаркадера присоединилась стая женщинъ, неутѣшенныхъ дидонъ, оставленныхъ свирѣпыми поклонниками, и свирѣпыхъ хозяекъ домовъ, которымъ они не заплатили, вѣроятно, чтобъ онѣ не дѣлали огласки. Растрепанные, онѣ неистово кричали, хотѣли жаловаться въ полицію; у нѣкоторыхъ были дѣти; всѣ они кричали и всѣ матери кричали. Англичане стояли кругомъ и съ удивленіемъ смотрѣли на картину «Исхода». Напрасно старшіе изъ ѣхавшихъ спрашивали, скоро ли пойдетъ особый train? показывали свои билеты. Служители желѣзной дороги не слыхали ни о какомъ train'ѣ. Сцена

становилась шумнѣе и шумнѣе... Какъ вдругъ прискакалъ гонецъ отъ шефовъ сказать ожидавшимъ, что они все съ ума сошли, что отъѣздъ вечеромъ въ 10, а не утромъ, и что это до того понятно, что они и не написали. Пошли съ узелками и котомочками къ своимъ оставленнымъ дидонамъ и смягченнымъ хозяйкамъ бѣдные войны.

Въ 10 часовъ вечера они уѣхали. Англичане имъ даже прокричали три раза ура.

На другой день утромъ рано пріѣхалъ ко мнѣ знакомый морской офицеръ съ одного изъ русскихъ пароходовъ. Пароходъ получилъ вечеромъ приказъ—утромъ выступить на всехъ паряхъ и слѣдить за Ward Jackson'омъ.

Между тѣмъ Ward Jackson остановился въ Копенгагенѣ за водой, прождалъ нѣсколько часовъ въ Мальме Б., собиравшагося съ ними для поднятія крестьянъ въ Лятивѣ, и былъ захваченъ по приказанію шведскаго правительства.

Подробности дѣла и второй попытки Лапинскаго рассказаны были имъ самимъ въ журналахъ. Я прибавлю только то, что капитанъ уже въ Копенгагенѣ сказалъ, что онъ пароходъ къ русскому берегу не поведетъ, не желая его и себя подвергнуть опасности; что еще до Мальме доходило до того, что Демонтовичъ пригрозилъ своимъ револьверомъ не Лапинскому, а капитану. Съ Лапинскимъ Демонтовичъ все-таки поссорился, и они заклятыми врагами поѣхали въ Стокгольмъ, оставляя несчастную команду въ Мальме.

— Знаете ли вы, сказалъ мнѣ Цверчакѣвичъ, или кто-то изъ близкихъ ему, что во всемъ этомъ дѣлѣ остановки въ Мальме становится всего подозрительнѣе лицо Тугенбольда.

— Я его вовсе не знаю. Кто это?

— Ну, какъ не знаете, вы его видѣли у насъ: молодой малый безъ бороды. Лапинскій былъ разъ у васъ съ нимъ.

— Вы говорите, стало, о Поллесь?

— Это его псевдонимъ; настоящее имя его Тугенбольдъ.

— Что вы говорите? и я бросился къ моему столу. Между отложенными письмами особенной важности я нашелъ одно, присланное мнѣ мѣсяца два передъ тѣмъ. Письмо это было изъ Петербурга; оно предупреждало меня, что нѣкій докторъ Тугенбольдъ состоитъ въ связи съ III отдѣленіемъ, что онъ возвратился, но оставилъ своимъ агентомъ меньшого брата, что меньшой братъ долженъ ѣхать въ Лондонъ.

Что Поллесь и онъ былъ одно лицо, въ этомъ сомнѣнія не могло быть. У меня опустились руки.

— Знали вы передъ отъѣздомъ экспедиціи, что Поллесь былъ Тугенбольдъ?

— Зналъ. Говорили, что онъ перемѣнилъ свою фамилію потому, что въ краѣ его брата знали за шпіона.

— Что же вы мнѣ не сказали ни слова?

— Да такъ, не пришлось.

И Селифанъ Чичикова зналъ, что бричка сломана, а сказать не сказалъ.

Пришлось телеграфировать послѣ захвата въ Мальме. И тутъ ни Демонтовичъ, ни Б. ¹⁾ не умѣли ничего порядкомъ сдѣлать, перессорились. Поллеса сажали въ тюрьму за какіе-то брильянты, собранные у шведскихъ дамъ для поляковъ и употребленные на кутежъ.

Въ то самое время, какъ толпа вооруженныхъ поляковъ, бездна дорого купленнаго оружія и Ward Jackson оставались почетными плѣнниками на берегу Швеціи, собиралась другая экспедиція, снаряженная *бѣлыми*; она должна была итти черезъ Гибралтарскій проливъ. Ее велъ графъ Сбышевскій, братъ того, который писалъ замѣчательную брошюру «La Pologne et la Cause de l'ordre». Отличный морской офицеръ, бывший въ русской службѣ, онъ ее бросилъ, когда началось возстаніе, и теперь велъ тайно снаряженный пароходъ въ Черное море. Для переговоровъ онъ ѣздилъ въ Туринъ, чтобъ тамъ секретно видѣться съ начальникомъ тогдашней оппозиціи и, между прочимъ, съ Мордینی.

«На другой день послѣ моего свиданья съ Сбышевскимъ, разсказывалъ мнѣ *самъ Мордини*, вечеромъ въ палатѣ министръ внутреннихъ дѣлъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ:—Пожалуйста, будьте осторожны; у васъ вчера былъ польскій эмиссаръ, который хочетъ провести пароходъ черезъ Габралтарскій проливъ; какъ бы дѣло ни было, да зачѣмъ же они прежде болтаютъ?»

Пароходъ, впрочемъ, и не дошелъ до береговъ Италіи: онъ былъ захваченъ въ Кадиксѣ испанскимъ правительствомъ. По минованіи надобности, оба правительства дозволили полякамъ продать оружіе и отпустили пароходъ.

Огорченный и раздосадованный пріѣхалъ Лапинскій въ Лондонъ.

Огорченный и раздосадованный пріѣхалъ Сбышевскій.

— Нѣтъ, поѣду въ Америку... буду драться за республику. Кстати,—спросилъ онъ Тхоржевскаго,—гдѣ здѣсь можно завербоваться, со мной нѣсколько товарищей и все безъ куска насущнаго хлѣба.

¹⁾ Демонтовичъ, послѣ долгихъ споровъ съ Б., говорилъ:—а, вѣдь, это, господа, какъ ни тяжело съ русскимъ правительствомъ, а все же наше положеніе при немъ лучше, чѣмъ то, которое намъ приготовить эти фанатики-соціалисты.

— Просто у консула.

— Да нѣтъ, мы хотѣли на югъ, у нихъ теперь недостатокъ въ людяхъ и они предлагаютъ болѣе выгодныя условія.

— Не можетъ быть, вы не пойдете на югъ!

..... По счастью, Тхоржевскій отгадалъ. На югъ они не пошли

3 мая, 1869 года.

Б е з ъ с в я з и.

I.

Швейцарскіе виды. ¹⁾

Лѣтъ десять тому назадъ, идучи позднимъ зимнимъ, холоднымъ, сырымъ вечеромъ по Геймаркету, я натолкнулся на негра, лѣтъ семнадцати; онъ былъ босъ, безъ рубашки и, вообще, больше раздѣтъ тропически, чѣмъ одѣтъ по-лондонски. Стуча зубами и дрожа всѣмъ тѣломъ, онъ попросилъ у меня милостыни. Дня черезъ два я опять его встрѣтилъ, а потомъ еще и еще. Наконецъ, я вступилъ съ нимъ въ разговоръ. Онъ говорилъ ломанымъ англо-испанскимъ языкомъ, но понять смыслъ его словъ было нетрудно.

— Вы молоды, сказалъ я ему, крѣпки, что же вы не ищете работы?

— Никто не даетъ.

— Отчего?

— Нѣтъ никого знакомаго, кто бы поручился.

— Да вы откуда?

— Съ корабля.

— Съ какого?

— Съ испанскаго. Меня капитанъ очень билъ, я и ушелъ.

— Что вы дѣлали на кораблѣ?

— Все: платье чистилъ, посуду мылъ, каюты прибиралъ.

— Что же вы намѣрены дѣлать?

— Не знаю.

— Да, вѣдь, вы умрете съ холода и голода, по крайней мѣрѣ, навѣрно схватите лихорадку.

— Что же мнѣ дѣлать? говорилъ негръ съ отчаяніемъ, глядя на меня и дрожа всѣмъ тѣломъ отъ холода.

Ну, подумалъ я, была не была, не первая глупость въ жизни.

— Идите со мной, я вамъ дамъ уголь и платье, вы будете чис-

¹⁾ Небольшіе отрывки изъ этого отдѣла были напечатаны въ „Колоколѣ“.

тить у меня комнаты, топить камины и останетесь сколько хотите, если будете вести себя порядкомъ и тихо. Se no—no.

Негръ запрыгаль отъ радости.

Въ недѣлю онъ потолстѣлъ и весело работалъ за четырехъ. Такъ прожилъ онъ съ полгода; потомъ, какъ-то вечеромъ, явился передъ моею дверью, постоялъ молча и потомъ сказалъ мнѣ:

— Я къ вамъ пришелъ проститься.

— Какъ такъ?

— *Теперь довольно, я пойду.*

— Васъ кто-нибудь обидѣлъ?

— Помилуйте, я всѣми доволенъ.

— Такъ куда же вы?

— На какой-нибудь корабль.

— Зачѣмъ?

— Очень соскучился, не могу, я сдѣлаю бѣду, если останусь, мнѣ надобно море. Я поѣзжу и опять пріѣду, а *теперь довольно.*

Я сдѣлалъ опытъ остановить его, дня три онъ подождать и во второй разъ объявилъ, что это сверхъ силъ его, что онъ долженъ уйти, что *теперь довольно.*

Это было весной. Осенью онъ явился ко мнѣ снова тропически раздѣтый, я опять его одѣлъ; но онъ вскорѣ надѣлалъ разныхъ пакостей, даже грозилъ меня убить, и я былъ вынужденъ его прогнать.

Послѣднее къ дѣлу не идетъ, а идетъ къ дѣлу то, что я совершенно раздѣляю воззрѣніе негра. Долго живши на одномъ мѣстѣ и въ одной колѣѣ, я чувствую, что на нѣкоторое время *довольно*, что надобно освѣжиться другими горизонтами и фізіономіями... и съ тѣмъ вмѣстѣ взойти въ себя, какъ бы это ни казалось страннымъ. Поверхностная разсѣянность дороги не мѣшаетъ.

Есть люди, предпочитающіе отъѣзжать *внутренно*: кто при помощи сильной фантазіи и *отвлекаемости* отъ окружающаго—на это надобно особое помазаніе, близкое къ геніальности и безумію—кто при помощи опиума или алкоголя. Русскіе, напримѣръ, пьютъ запоемъ недѣлю-другую, потомъ возвращаются ко дворамъ и дѣламъ. Я предпочитаю передвиженіе всего тѣла передвиженію мозга, и круженіе по свѣту—круженію головы.

Можетъ, отъ того, что у меня похмелье тяжело.

Такъ разсуждалъ я, 4 октября 1866, въ небольшой комнатѣ дрянной гостиницы на берегу Невшательскаго озера, въ которой чувствовалъ себя какъ дома, какъ будто въ ней жилъ всю жизнь.

Съ лѣтами странно развивается потребность одиночества и главное тишины... На дворѣ было довольно тепло, я отворилъ окно... Все спало глубокимъ сномъ, и городъ, и озеро, и прича-

ленная барка, едва-едва дышавшая, что было слышно по небольшому скрыпу и видно по легкому уклоненію мачты, никакъ не попадавшей въ линію равновѣсія и переходившей ее то направо, то налево...

...Знать, что никто васъ не ждетъ, никто къ вамъ не взойдетъ, что вы можете дѣлать, что хотите, умереть пожалуй... и никто не помѣшаетъ, никому нѣтъ дѣла... разомъ страшно и хорошо. Я рѣшительно начинаю дичать и иногда жалѣю, что не нахожу силъ принять свѣтскую схиму.

Только въ одиночествѣ человѣкъ можетъ работать во всю силу своей могуты. Воля располагать временемъ и отсутствіе неминуемыхъ перерывовъ—великое дѣло. Сдѣлалось скучно, усталъ человѣкъ,—онъ беретъ шляпу и самъ ищетъ людей и отдыхаетъ съ ними. Стоитъ ему выйти на улицу—вѣчная каскада лицъ несется нескончаемая, мѣняющаяся, неизмѣнная, съ своей искрящейся радугой и сѣдой пѣной, шумомъ и гуломъ. На этотъ водопадъ вы смотрите, какъ художникъ. Смотрите на него, какъ на выставку, именно потому, что не имѣете практическаго отношенія. Все вамъ постороннее, и ни отъ кого ничего ненадобно.

На другой день я всталъ ранехонько и уже въ 11 часовъ до того проголодался, что отправился завтракать въ большой отель, куда меня съ вечера не пустили за неимѣніемъ мѣста. Въ столовой сидѣлъ англичанинъ съ своей женой, закрывшись отъ нея листомъ «Теймса», и французъ лѣтъ тридцати, изъ новыхъ, теперь слагающихся, типовъ, толстый, рыхлый, бѣлый, бѣлокурый, мягкожирный; онъ, казалось, готовъ былъ расплыться, какъ желе въ теплой комнатѣ, если-бъ широкое пальто и панталоны изъ упругой матеріи не удерживали его мясовъ. Навѣрно, сынъ какого-нибудь князя биржи или аристократъ демократической имперіи. Вяло, съ недовѣріемъ и пытливымъ духомъ продолжалъ онъ свой завтракъ; видно было, что онъ давно занимается и усталъ.

Типъ этотъ, почти не существовавшій прежде во Франціи, началъ слагаться при Людовикѣ Филиппѣ и окончательно расцвѣлъ въ послѣдніе пятнадцать лѣтъ. Онъ очень противенъ, и это, можетъ, комплиментъ французамъ. Жизнь кухоннаго и виннаго эпикуреизма не такъ искажаетъ англичанина и русскаго, какъ француза. Фоксы и Шериданы пили и ѣли за глаза довольно, однако остались Фоксами и Шериданами. Французъ безнаказанно предается одной *литературной* гастрономіи, состоящей въ утонченномъ знаніи яствъ и витійствѣ, при заказѣ блюдъ. Ни одна нація не *говоритъ* столько объ обѣдѣ, о приправахъ, тонкостяхъ, какъ французы; но это все фіоритура, риторика. Настоящее обжорство и пьянство француза заѣдаетъ, поглощаетъ... оно ему не по нервамъ. Французъ остается цѣль и невредимъ только при

самомъ многостороннемъ волокитствѣ, это его національная страсть и любимая слабость,—въ ней онъ силенъ.

— Прикажете десертъ? спросилъ гарсонъ, видимо уважавшій француза больше насъ.

Молодой господинъ варилъ въ это время пищу въ себѣ и потому, медленно поднимая на гарсона тусклый и томный взглядъ, сказалъ ему:

— Я еще не знаю, потомъ подумалъ и прибавилъ:—une poire!

Англичанинъ, который въ продолженіе всего времени молчалъ за ширмами газеты, встрепенулся и сказалъ

— Et à moi aussi!

Гарсонъ принесъ двѣ груши, на двухъ тарелкахъ, и одну подалъ англичанину; но тотъ съ энергіей и азартомъ протестовалъ:

— No, no! aucune chose pour poire!

Ему просто хотѣлось пить. Онъ напился и всталъ; я тутъ только замѣтилъ, что на немъ была дѣтская курточка, или спенсеръ, свѣтло-коричневаго цвѣта и свѣтлые панталоны въ обтяжку, страшно сморщившіеся возлѣ ботинокъ. Встала и леди; она подымалась все выше, выше и, сдѣлавшись очень высокой, оперлась на руку приземистаго своего мужа и вышла.

Я ихъ проводилъ улыбкой невольной, но совершенно беззлой; они все-же мнѣ казались вдесятеро больше люди, чѣмъ мой сосѣдъ, разстегивавшій, по случаю удаленія дамы, третью пуговицу жилета.

Базель.

Рейнъ—естественная граница, ничего не отдѣляющая, но раздѣляющая на двѣ части Базель, что не мѣшаетъ нисколько невыразимой скукѣ обѣихъ сторонъ. Тройная скука налегла здѣсь на все: нѣмецкая, купеческая и швейцарская. Ничего нѣтъ удивительнаго, что единственное художественное произведеніе, выдуманное въ Базелѣ, представляетъ пляску умирающихъ со смертью; кромѣ мертвыхъ, здѣсь никто не веселится, хотя нѣмецкое общество сильно любить музыку, но тоже очень серьезную и высшую.

Городъ—транзитный: всѣ проѣзжаютъ по немъ и никто не останавливается, кромѣ комиссіонеровъ и ломовыхъ извозчиковъ высшаго порядка.

Жить въ Базелѣ, безъ особой любви къ деньгамъ, нельзя. Впрочемъ, вообще въ швейцарскихъ городахъ жить скучно, да и не въ однихъ швейцарскихъ, а во всѣхъ небольшихъ городахъ. «Чудесный городъ Флоренція, говоритъ Бакунинъ, точно прекрасная конфета... ѣшь, не нарадуюшься, а черезъ недѣлю намъ все сладкое смертельно надоѣдаетъ». Это совершенно вѣрно; что же

и говорить послѣ этого о швейцарскихъ городахъ? Прежде было покойно и хорошо по берегу Лемана; но съ тѣхъ поръ, какъ отъ Веде до Ветто все застроили подмосковными и въ нихъ выселились изъ Россіи цѣлыя дворянскія семьи, исхудалыя отъ несчастія 19 февраля 1861, нашему брату тамъ не рука.

Лозанна.

Я въ Лозаннѣ проѣздомъ. Въ Лозаннѣ всѣ проѣздомъ, кромѣ аборигеновъ.

Въ Лозаннѣ посторонніе не живутъ, несмотря ни на ея удивительныя окрестности, ни на то, что англичане ее открывали три раза: разъ послѣ смерти Кромвеля, разъ при жизни Гиббона, и теперь, строя въ ней дома и виллы. Живутъ туристы только въ Женевѣ.

Мысль о ней для меня неразрывна съ мыслью о самомъ холодномъ и сухомъ великомъ человѣкѣ и о самомъ холодномъ и сухомъ вѣтрѣ, о Кальвинѣ и о бизѣ. Я обоихъ терпѣть не могу.

И, вѣдь, въ каждомъ женевцѣ осталось что-то отъ бизы и отъ Кальвина, которые дули на него духовно и тѣлесно, со дня рожденія, со дня зачатія и даже прежде, одинъ изъ горъ, другой изъ молитвенниковъ.

Дѣйствительно, слѣдъ этихъ *двухъ простудъ*, съ разными пограничными и черезполосными оттѣнками: савойскими, валійскими, пуще всего французскими, составляетъ основной характеръ женевца, хорошій, но не то, чтобъ особенно пріятный.

Впрочемъ, я теперь описываю путевыя впечатлѣнія, а въ Женевѣ я *живу*. Объ ней я буду писать, отойдя на артистическое разстояніе...

... Въ Фрибургъ я пріѣхалъ часовъ въ десять вечера... прямо къ Zähringhoffу. Тотъ же хозяинъ, въ черной бархатной скуфьѣ, который встрѣчалъ меня въ 1851 году, съ тѣмъ же правильнымъ и высокомѣрно-учтивымъ лицомъ русскаго оберъ-церемоніймейстера или англійскаго швейцара, подошелъ къ омнибусу и поздравилъ насъ съ пріѣздомъ.

... И столовая та же, тѣ же складные четырехугольные диванчики, обитые краснымъ бархатомъ.

Четырнадцать лѣтъ прошли передъ Фрибургомъ, какъ четырнадцать дней! Та же гордость кафедральнымъ органомъ, та же гордость цѣпнымъ мостомъ.

Вѣяніе новаго духа, безпокойнаго, мѣняющаго стѣны, разбрасывающагося, поднятаго эквинокціальными бурями 1848 года, мало коснулось городовъ. стоящихъ въ нравственной и физической сторонѣ, въ родѣ іезуитскаго Фрибурга и піэтистическаго Невшателя. Города эти тоже двигались, но черепашнымъ шагомъ,

стали лучше, но намъ кажутся отсталыми въ своей каменной одеждѣ, сшитой не по модѣ... А, вѣдь, многое въ прежней жизни было не дурно, прочнѣе, удобнѣе: она была лучше разочтена для *малаго* числа избранныхъ и именно поэтому не соотвѣтствуетъ огромному числу вновь приглашенныхъ, далеко не такъ избалованныхъ и не такъ трудныхъ во вкусѣ.

Конечно, при современномъ состояніи техники, при ежедневныхъ открытіяхъ, при облегченіи средствъ можно было устроить привольно и просторно новую жизнь. Но западный человѣкъ, владѣющій мѣстомъ, довольствуется малымъ. Вообще на него наклепали и, главное, наклепалъ онъ самъ то пристрастіе къ комфорту и ту избалованность, о которой говорятъ. Все это у него риторика и фраза, какъ и все прочее; были же у него свободныя учрежденія безъ свободы, отчего же не имѣть блестящей обстановки для жизни узкой и неуклюжей. Есть исключенія. Мало ли что можно найти у англійскихъ аристократовъ, у французскихъ камелій, у іудейскихъ князей міра сего... все это личное и временное: лорды и банкиры не имѣютъ будущности, а камеліи наслѣдниковъ. Мы говоримъ о *всемъ свѣтѣ*, о золотой посредственности, о хорѣ и корѣ-де-бале, который теперь на сценѣ и жуируетъ, оставляя въ сторонѣ отца лорда Станлей, имѣющаго тысячъ двадцать франковъ дохода въ день, и отца того двѣнадцатилѣтняго ребенка, который на дняхъ бросился въ Темзу, чтобъ облегчить родителямъ пропитанье.

Старый, разбогатѣвшій мѣщанинъ любитъ толковать объ удобствахъ жизни; для него все это еще ново, *что онъ баринъ*, *qu'il a ses aises*, «что его средства ему позволяютъ, что это его не раззорить». Онъ дивится деньгамъ и знаетъ ихъ цѣну и летучесть въ то время, какъ его предшественники по богатству не вѣрили ни въ ихъ истощаемость, ни въ ихъ достоинство, и потому раззорялись. Но раззорялись они со вкусомъ. У «буржуа» мало смысла широко воспользоваться накопленными капиталами. Привычка прежней узкой, наслѣдственной, скупой жизни осталась. Онъ, пожалуй, и тратитъ большія деньги, но не на то, что надобно. Поколѣніе, прошедшее прилавкомъ, усвоило себѣ не тѣ размѣры, не тѣ планы, въ которыхъ привольно, и не можетъ отъ нихъ отстать. У нихъ все дѣлается, будто на продажу, и они естественно имѣютъ въ виду какъ можно большую выгоду, барышъ и казовый конецъ. «Пропріетеръ» инстинктивно уменьшаетъ размѣръ комнатъ и увеличиваетъ ихъ число, не зная, почему дѣлаетъ меньшія окна, низкіе потолки; онъ пользуется каждымъ угломъ, чтобъ вырвать его у жилья или у своей семьи. Уголъ этотъ ему ненуженъ, но на всякій случай онъ его отнимаетъ у кого-нибудь. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ устраи-

ваетъ двѣ неудобныхъ кухни, вмѣсто одной порядочной, устраиваетъ мансарду для горничной, въ которой нельзя ни работать, ни повернуться, но зато сыро. За эту экономію свѣта и пространства онъ украшаетъ фасадъ, грузитъ мебелью гостиную и устраиваетъ передъ домомъ цвѣтникъ съ фонтаномъ, наказаніе дѣтямъ, нянькамъ, собакамъ и наемщикамъ.

Чего не испортило скряжничество, то додѣлываетъ нерасторопность ума. Наука, прорѣзывающая мутный прудъ обыденной жизни, не мѣшаясь съ ней, бросаетъ направо и налево свои богатства, но ихъ не умѣютъ удить мелкіе лодочники. Вся польза идетъ гуртовщикамъ и цѣдится каплями для другихъ; гуртовщики мѣняють шаръ земной, а частная жизнь тащится возлѣ ихъ паровозовъ въ старой колымагѣ, на своихъ клячахъ... Каминъ, который бы не дымился—мечта; мнѣ одинъ женевскій хозяинъ успокоительно говорилъ: «каминъ этотъ *только* дымить въ бизу», т. е., именно тогда, когда всего больше надобно топить, и эта биза какъ будто случайность или новое изобрѣтеніе, какъ будто она не дула до рожденія Кальвина и не будетъ дуть послѣ смерти Фази. Во всей Европѣ, не исключая ни Испаніи, ни Италіи, надобно, вступая въ зиму, писать свое завѣщаніе, какъ писали его прежде, отправляясь изъ Парижа въ Марсель, и въ половинѣ апрѣля служить молебень Иверской Божіей Матери.

Скажи эти люди, что они не занимаются суетой суетствій, что у нихъ другого дѣла много, я имъ прощу и дымящіеся камины, и замки, которые разомъ отворяють дверь и кровъ, и вонь въ сѣняхъ и проч., но спрошу, въ чемъ ихъ дѣло, въ чемъ ихъ высшіе интересы? *Ихъ нѣтъ*... они только выставляютъ ихъ для скрытія невообразимой пустоты и безсмыслія...

Въ средніе вѣка люди жили наисквернѣйшимъ образомъ и тратились на совершенно ненужныя и не идущія къ удобствамъ постройки. Но средніе вѣка не толковали о страсти къ удобствамъ; напротивъ, чѣмъ неудобнѣе шла ихъ жизнь, тѣмъ она ближе была къ ихъ идеалу; ихъ роскошь была въ благолѣпіи дома Божія и дома общиннаго, и тамъ они ужъ не скупились, не жалелись. Рыцарь строилъ тогда крѣпость, а не дворецъ и выбиралъ не наиудобнѣйшую дорогу для нея, а неприступную скалу. Теперь защищаться не отъ кого, въ спасеніе души отъ украшенія церковей никто не вѣритъ; отъ форума и ратуши, отъ оппозиціи и клуба мирный гражданинъ порядка отсталъ; страсти и фанатизмы, религіи и героизмы—все это уступило мѣсто матеріальному благосостоянію, *а оно-то и не устроилось*.

Для меня во всемъ этомъ есть что-то печальное, трагическое, точно этотъ міръ живетъ кой-какъ въ ожиданіи, что земля разступится подъ ногами, и ищетъ не устроиться, а забыться. Я

это вижу не только въ озабоченныхъ морщинахъ, но и въ боязни передъ серьезной мыслью, въ отвращеніи отъ всякаго разбора своего положенья, въ судорожной жадѣ недосуга, виѣшней разсѣянности. Старики готовы играть въ игрушки, «лишь бы дѣло не шло на умъ».

Модный оттягивающій пластырь—всемирныя выставки. Пластырь и болѣзни вмѣстѣ, какая-то перемежающаяся лихорадка съ перемежными центрами. Все несется, плыветъ, идетъ, летитъ, тратится, домогается, глядитъ, устаетъ, живетъ еще неудобнѣе, чтобъ слѣдить за *успѣхомъ*—чего? Ну, такъ, за успѣхами. Какъ будто въ три-четыре года можетъ быть такой прогрессъ во всемъ, какъ будто при желѣзныхъ дорогахъ такая крайность возить изъ угла въ уголь—дома, машины, конюшни, пушки, чуть не сады и огороды...

... Ну, а выставки надоѣдаютъ,—примутся за войну, начнутъ разсѣиваться горами труповъ, лишь бы не видѣть какихъ-то *черныхъ точекъ* на небесклонѣ...

II.

Болтовня съ дороги и родина въ буфетѣ.

— Есть мѣсто въ Андерматъ?

— Вѣроятно будетъ.

— Въ кабриолетъ?

— Можетъ быть, вы заходите въ половинѣ одиннадцатаго...

Я смотрю на часы, три безъ четверти... и я съ чувствомъ какого-то бѣшенства сажусь на лавочку передъ кафе... Шумъ, крикъ, таскаютъ чемоданы, водятъ лошадей, лошади стучатъ безъ нужды по камнямъ, трактирные гарсоны завоёвываютъ путешественниковъ, дамы роются между саками... щелкъ, щелкъ, одинъ дилижансъ поскакалъ... щелкъ, щелкъ, другой поскакалъ за нимъ... площадь пустѣетъ, все разошлось... жаръ смертельный, свѣтло до безобразія, камни поблѣднѣли, собака легла было середь площади, но вдругъ вскочила съ негодованіемъ и побѣжала въ тѣнь. Передъ кафе сидитъ толстый хозяинъ въ рубашкѣ, онъ постоянно дремлетъ. Идетъ баба съ рыбой. «Почемъ рыба?» спрашиваетъ съ видомъ страшной злобы хозяинъ. Женщина говоритъ цѣну.—«Carrogna», кричитъ хозяинъ.—«Ladro», кричитъ женщина.—«Иди мимо, старая чертовка».—«Берешь что ли, раз-

бойникъ?»—«Ну, отдавай за *три венты* фунтъ».—«Чтобъ тебѣ умереть безъ исповѣди!» Хозяинъ беретъ рыбу, женщина деньги, и дружески расстаются. Всѣ эти ругательства—одна принятая форма, въ родѣ вѣжливостей, употребляемыхъ нами.

Собака продолжаетъ спать, хозяинъ отдалъ рыбу и опять дремлетъ, солнце печетъ, сидѣть дольше невозможно. Иду въ кафе, беру бумагу и начинаю писать, не зная вовсе, что напишу... Описаніе горъ и пропастей, цвѣтущихъ луговъ и голыхъ гранитовъ,—все это есть въ гидѣ... Лучше посплетничать. Сплетни—отдыхъ разговора, его десертъ, его соя, одни идеалисты и абстрактные люди не любятъ сплетней... Но о комъ сплетничать?... Разумѣется, о предметѣ самомъ близкомъ нашему патріотическому сердцу,—о нашихъ милыхъ соотечественникахъ. Ихъ вездѣ много, особенно въ хорошихъ отеляхъ.

Узнавать русскихъ все еще такъ же легко, какъ и прежде. Давно отмѣченныя зоологическіе признаки не совсѣмъ стерлись при сильномъ увеличеніи путешественниковъ. Русскіе говорятъ громко тамъ, гдѣ другіе говорятъ тихо, и совсѣмъ не говорятъ тамъ, гдѣ другіе говорятъ громко. Они смѣются вслухъ и рассказываютъ шепотомъ смѣшныя вещи; они скоро знакомятся съ гарсонами и туго съ сосѣдями, они ѣдятъ съ ножа, военные похожи на нѣмцевъ, но отличаются отъ нихъ особенно дерзкимъ затылкомъ, съ оригинальной щетинкой; дамы поражаютъ костюмомъ на желѣзныхъ дорогахъ и пароходахъ такъ, какъ англичанки за *table d'hôte*мъ и пр.

Тунское озеро сдѣлалось цистерной, около которой насѣли наши туристы высшаго полета. *Fremden List* словно выписанъ изъ «памятной книжки»: министры и тузы, генералы всѣхъ оружій и даже тайной полиціи отмѣчены въ немъ. Въ садахъ отелей наслаждаются сановники, *mit Weib und Kind*, природой и въ ихъ столовой ея дарами.—«Вы черезъ Гемми или Гримзель?» спрашиваетъ англичанка англичанку.—«Вы въ *Jungfraublick*’ѣ или въ Викторіи остановились?» спрашиваетъ русская русскую.—«Вотъ и *Jungfrau*!» говоритъ англичанка.—«Вотъ и Рейтернъ», министръ финансовъ, говоритъ русская...

Inteing minutes d'arret...
Inteing minutes d'arret...

и все, что было въ вагонахъ, высыпалось въ залу ресторана и бросилось за столъ, торопясь съѣсть обѣдъ въ какія-нибудь двадцать минутъ, изъ которыхъ дорожное начальство непременно украдетъ пять-шесть, да еще прежде испугаетъ аппетитъ страшнымъ звонкомъ и крикомъ: *En voiture*.

Взошла высокая барыня въ темномъ и ея мужъ въ свѣтломъ, съ ними двое дѣтей... Взошла съ застѣнчивымъ, неловкимъ видомъ, бѣдно одѣтая дѣвушка, у которой на рукахъ были какіе-то мѣшечки и баульчики. Она постояла... потомъ пошла въ уголъ и сѣла почти возлѣ меня. Зоркій взглядъ гарсона ее замѣтилъ; прорѣвѣвъ съ тарелкой, на которой лежалъ кусокъ ростбифа, онъ спустился, какъ коршунъ, на бѣдную дѣвушку и спросилъ ее, что она желаетъ заказать?—«Ничего», отвѣчала она и гарсонъ, котораго кликалъ англійскій клержиманъ, побѣжалъ къ нему... Но черезъ минуту онъ опять подлетѣлъ къ ней и, махая салфеткой, спросилъ ее: «Что бишь вы заказали?»

Дѣвушка что-то прошептала, покраснѣла и встала. Меня такъ и кольнуло. Мнѣ захотѣлось предложить ей чего-нибудь, но я не смѣлъ.

Прежде чѣмъ я рѣшился, черная дама повела черными глазами по залѣ и, увидя дѣвушку, подозвала ее пальцемъ. Она подошла, дама указала ей на недоѣденный дѣтьми супъ, и та, стоя середь ряда сидящихъ и удивленныхъ путешественниковъ, смущенная и потерянная, съѣла ложки двѣ и поставила тарелку.

— *Essieurs les voyageurs pour Ucinnungen onctiou, et toutux—en voiture!*

Все бросились съ ненужной поспѣшностью къ вагонамъ.

Молчать я не могъ и сказалъ гарсону (не коршуну, другому):

— Вы видѣли?

— Какъ же не видать,—это *русскіе*.

III.

За Альпами.

... Архитектуральный, монументальный характеръ итальянскихъ городовъ, рядомъ съ ихъ запущенностью, подъ конецъ надѣдаетъ. Современный человѣкъ въ нихъ не дома, а въ неудобной ложѣ театра, на сценѣ котораго поставлены величественныя декораціи.

Жизнь въ нихъ не уравнилась, не проста и не удобна. Тонъ поднять, во всемъ декламация и декламация итальянская (кто слыхалъ чтеніе Данта, тотъ знаетъ ее). Во всемъ та натянутость, которая бывала въ ходу у московскихъ философовъ и нѣмецкихъ *ученыхъ* художниковъ; все съ высшей точки, vom höhern Standpunkt.—Взвинченность эта исключаетъ abandon, въ-

чно готова на отпоръ и проповѣдь съ сентенціями. Хроническая восторженность утомляетъ, сердить.

Человѣку не всегда хочется удивляться, возвышаться душой, имѣть *тугенды*, быть тронутымъ и носиться мыслию далеко въ быломъ, а Италія не спускаетъ съ извѣстнаго діапазона и безпрестанно напоминаетъ, что ея улица не просто улица, а что она памятникъ, что по ея площадямъ не только надобно ходить,¹ но должно ихъ изучать.

Вмѣстѣ съ тѣмъ все особенно изящное и великое въ Италіи (а можетъ и вездѣ) граничитъ съ безуміемъ и нелѣпостью, по крайней мѣрѣ, напоминаетъ малолѣтство... Piazza Signoria,—это дѣтская флорентинскаго народа; дѣдушка Буонаротти и дядюшка Челлини надарили ему мраморныхъ и бронзовыхъ игрушекъ, а онъ ихъ разставилъ зря на площади, едѣ столько разъ лилась кровь и рѣшалась его судьба—безъ малѣйшаго отношенія къ Давиду или Персею... Городъ въ водѣ, такъ что по улицамъ могутъ гулять ерши и окуни... Городъ изъ каменныхъ щелей, такъ что надобно быть мокрицей или ящерицей, чтобъ ползать и бѣгать по узенькому дну—между утесами, составленными изъ дворцовъ... А тутъ бѣловѣжская пуща изъ мрамора. Какая голова смѣла создать чертежъ этого каменнаго лѣса, называемаго Миланскимъ соборомъ, эту гору сталактитовъ? Какая голова имѣла дерзость привести въ исполненіе сонъ безумнаго зодчаго... И кто далъ деньги, огромныя, невѣроятныя деньги!

Люди только жертвуютъ на ненужное. Имъ всего дороже ихъ фантастическія цѣли, дороже насущнаго хлѣба, дороже своей корысти. Въ эгоизмъ надобно воспитаться такъ же, какъ въ гуманность. А фантазія уносить безъ воспитанія, увлекаетъ безъ разсужденій. Вѣка вѣры были вѣками чудесъ.

Городъ поновѣе, но менѣе историческій и декоративный—Туринъ.

Такъ и обдаетъ своей прозой.

Да, а жить въ немъ легче—именно потому, что онъ просто городъ, городъ не въ собственное свое воспоминаніе, а для обыденной жизни, для настоящаго, въ немъ улицы не представляютъ археологическаго музея, не напоминаютъ на каждомъ шагу *Memento mori*,—а взгляните на его рабочиѣе населеніе, на ихъ рѣзкій, какъ альпійскій воздухъ, видъ,—и вы увидите, что это кряжъ людей бодрѣ флорентинцевъ, венеціанъ, а, можетъ, и стойчѣе генуэзцевъ.

Послѣднихъ, впрочемъ, я не знаю. Къ нимъ присмотрѣться очень трудно, они все мелькаютъ передъ глазами, бѣгутъ, суетятся, снуютъ, торопятся. Въ переулкахъ къ морю народъ кипитъ, но тѣ, которые стоятъ, не генуэзцы—это матросы всѣхъ морей и

океановъ, шкиперы, капитаны.—Звонокъ тамъ, звонокъ тутъ—Partenza!—Partenza!—и часть муравейника засуетилась,—одни нагружаютъ, другіе разгружаютъ.

IV.

Z u d e u t s c h .

... Три дня льетъ проливной дождь, выйти невозможно, работать не хочется... Въ окнѣ книжной лавки выставлена «Переписка Гейне», два тома. Вотъ спасенье, я взялъ ихъ и принялся читать впредь до расчищенія неба.

Много воды утекло съ тѣхъ поръ, какъ Гейне писалъ Мозеру, Иммерману и Варнгагену.

Странное дѣло, съ 1848 года мы все пятились, да отступали, все бросали за бортъ, да ежились, а кой-что сдѣлалось и все исподволь измѣнилось. Мы ближе къ землѣ, мы ниже стоимъ, т. е., тверже, плугъ глубже врѣзывается, работа не такъ казиста, чернѣе—можетъ оттого, что это въ самомъ дѣлѣ работа. Донъ-Кихоты реакціи пропоролі много нашихъ воздушныхъ шаровъ, дымные газы улетучились, аэростаты опустились, и мы не носимся больше, какъ духъ Божій, надъ водами съ цѣвницей и пророческимъ пѣснопѣніемъ, а цѣпляемся за деревья, крыши и за мать-сыру-землю.

Гдѣ эти времена, когда «юная Германія», въ своемъ «прекрасномъ-высоко», *теоретически* освобождала отечество и въ сферахъ чистаго разума и искусства покончивала съ міромъ преданій и предразсудковъ? Гейне было противно на ярко освѣщенной морозной высотѣ, на которой величественно дремалъ подъ старость Гёте, грезя не совсѣмъ складные, но умные сны второй части Фауста,—однако и онъ ниже книжнаго магазина не опустился, это все еще академическая aula, литературные кружки, журнальные приходы, съ ихъ сплетнями и дразгами, съ ихъ книжными Шейлоками въ видѣ Коты или Гофмана и Кампе, съ ихъ геттингенскими архіереями филологіи и епископами юриспруденціи въ Галле или Боннѣ. Ни Гейне, ни его кругъ народа не знали, и народъ ихъ не зналъ. Ни скорбь, ни радость низменныхъ полей не подымалась на эти вершины; для того, чтобъ понять стонъ современныхъ человѣческихъ трясинъ, имъ надобно было переложить его на латинскіе нравы и черезъ Гракховъ и пролетаріевъ добраться до ихъ мысли.

Баккалавры міра *сублимированного*, они выходили иногда въ

жизнь, начиная, какъ Фаустъ, съ полпивной, и всегда, какъ онъ, съ какимъ-нибудь духомъ школьнаго отрицанья, который имъ, какъ Фаусту, мѣшалъ своей рефлексіей просто глядѣть и видѣть. Оттого-то они тотчасъ возвращались отъ живыхъ источниковъ къ источникамъ историческимъ, тутъ они чувствовали себя больше дома. Занятія ихъ, это особенно замѣчательно, не только не были *дѣломъ*, но и не были *наукой*, а, такъ сказать, ученостью и литературой пуще всего.

Гейне подчасъ бунтовалъ противъ архивнаго воздуха и аналитическаго наслажденія, хотѣлъ чего-то другого, а письма его совершенно *нѣмецкія письма*, того нѣмецкаго періода, на первой страницѣ котораго Беттина-дитя, а на послѣдней Рахиль еврейка. Мы свѣжѣ дышемъ, встрѣчая въ его письмахъ страстные порывы юдаизма; тутъ Гейне въ самомъ дѣлѣ увлекающійся человѣкъ, но онъ тотчасъ стынетъ, холодѣетъ къ юдаизму и сердится на него за свою собственную, далеко не безкорыстную измѣну.

Революція 1830 и потомъ переѣздъ Гейне въ Парижъ сильно двинули его. *Der Pan ist gestorben!* говорить онъ съ восторгомъ и торопятся *туда*—туда, куда и я нѣкогда торопился такъ болѣзненно-страстно,—въ Парижъ; онъ хочетъ видѣть «великій народъ» и «сѣдого Лафайета, разѣзжающаго на сѣрой лошади». Но литература вскорѣ беретъ верхъ, наружно и внутренно письма наполняются литературными сплетнями, личностями въ пересыпочку съ жалобами на судьбу, на здоровье, на нервы, на худое расположеніе духа, сквозь котораго просвѣчиваетъ безмѣрное, оскорбительное самолюбіе. И тутъ же Гейне беретъ фальшивую ноту. Холодно вздутый риторическій бонапартизмъ его становится такъ же противенъ, какъ брезгливый ужасъ гамбургскаго хорошо вымытаго жида передъ народными трибунами не въ книгахъ, а на самомъ дѣлѣ. Онъ не могъ переварить, что рабочія сходки не представлялись въ чопорной обстановкѣ кабинета и салона Варнгагена, «фарфороваго» Варнгагена фонъ Энзе, какъ онъ его самъ называлъ.

Чистой рукой и отсутствіемъ табачнаго запаха, впрочемъ, и ограничивается чувство его собственного достоинства. За это винить его трудно. Чувство это не нѣмецкое, не еврейское и, по несчастью, тоже не русское.

Гейне кокетничаетъ съ прусскимъ правительствомъ, заискиваетъ въ немъ черезъ посла, черезъ Варнгагена, и ругаетъ его ¹⁾.

¹⁾ Не то же ли дѣлалъ и гений на *содержаніи* прусскаго короля? Его двупостасность навлекла на него колкое слово. Послѣ 1848, король ганOVERскій, ультра-консерваторъ и феодалъ, пріѣхалъ въ Потсдамъ. На лѣстницѣ дворца его встрѣтили разные придворные и Гумбольтъ въ ливрейномъ фракѣ. Злой король остановился и, улыбаясь, сказалъ ему: „Immer derselbe, immer Republicaner und immer im Vorzimmer des Palastes“.

Кокетничаетъ съ баварскимъ королемъ и осыпаетъ его сарказмами, больше чѣмъ кокетничаетъ съ «высокой» германской діэтой и выкупаетъ свое дрянное поведеніе передъ ней ѣдкими насмѣшками.

Все это не объясняетъ ли отчего учено-революціонная вспышка въ Германіи такъ быстро лопнула въ 1848 году? Она тоже принадлежала литературѣ и исчезла какъ ракета, пущенная въ Крольгарденѣ; она имѣла своихъ вождей-профессоровъ и своихъ генераловъ отъ филологіи, она имѣла свой народъ въ ботфортахъ и беретахъ, народъ студентовъ, измѣнившихъ революціонному дѣлу, какъ только оно перешло изъ метафизической отваги и литературной удали на площадь.

Кромѣ нѣсколько забѣжавшихъ или завлеченныхъ работниковъ, народъ не шелъ за этими блѣдными *фюрерами*, они ему такъ и остались посторонними.

— Какъ вы можете выносить всѣ обиды Бисмарка, спросилъ я, за годъ до войны, у одного лѣваго депутата изъ Берлина, въ самое то время, когда графъ набивалъ себѣ руку для того, чтобы повышибать зубы по крѣпче Грабова и К^о.

— Мы все сдѣлали, что могли *innerhalb* конституціи.

— Ну, такъ вы бы, по примѣру правительства, попробовали *ausserhalb*.

— То есть, что-же? сдѣлать воззваніе къ народу, остановить платежи налоговъ?.. Это мечта... *ни одинъ человекъ не двинулся бы за насъ*, не поддержалъ бы насъ... и мы дали бы новое торжество Бисмарку, свидѣтельствуя сами нашу слабость.

— Ну, такъ и я скажу, какъ вашъ президентъ при всякомъ заушеніи: «Воскликните троекратно *Es lebe der Koenig!* и разоидитесь съ миромъ!»

V.

Съ того и этого свѣта.

I.

Съ того.

...Villa Adolphina... Адольфина?.. что бить такое?.. Villa Adolphina, grands et petits appartements, jardin, vue sur la mer...

Вхожу, все чисто, хорошо, деревья, цвѣты, англійскія дѣти на дворѣ, толстыя, мягкія, румяныя, которымъ отъ души желаю никогда не встрѣчаться съ антропофагами... Выходитъ старушка и, спросивъ о причинѣ прихода, начинаетъ разговоръ съ того, что

она не *служанка*, «а больше по дружбѣ», что m-me Adolphine поѣхала въ больницу или въ богадѣльню, въ которой она патронесса. Потомъ ведетъ меня показывать «необыкновенно удобную квартиру», которая первый разъ еще не занята во время сезона и которую сегодня утромъ приходили осматривать два американца и одна русская княгиня, въ силу чего служащая «больше по дружбѣ» старушка искренно совѣтовала мнѣ не терять времени. Поблагодаривъ ее за такое внезапное сочувствіе и предпочтеніе, я обратился къ ней съ вопросомъ:

— Sie sind eine Deutsche?

— Zu Diensten, und der gnädige Herr?

— Ein Russe.

— Das freut mich zu sehr. Ich wohnte so lange, so lange in Petersburg. Признаться сказать, такого города, кажется, нѣтъ и не будетъ.

— Очень пріятно слышать. Вы давно оставили Петербургъ?

— Да, не вчера-таки, мы вотъ ужъ здѣсь живемъ на худой конецъ лѣтъ двадцать. Я съ дѣтства была подругой съ m-me Adolphine и потомъ никогда не хотѣла ее покинуть. Она мало хозяйствомъ занимается, все у нея идетъ такъ, некому присмотрѣть. Когда meine Gönnerin купила этотъ маленькій *парадизъ*, она меня тотчасъ выписала изъ Брауншвейга...

— А гдѣ вы жили въ Петербургѣ? спросилъ я вдругъ.

— О, мы жили въ самой лучшей части города, гдѣ *lauter Herrschaften und Generäle* живутъ. Сколько разъ я видѣла покойнаго государя, какъ онъ въ коляскѣ и въ саняхъ на одной лошади проѣзжалъ *so ernst...* можно сказать, настоящій потентатъ былъ.

— Вы жили на Невскомъ, на Морской?

— Да, т. е., не совѣмъ на Нефскомъ, а тутъ возлѣ, у Полицей-брюкѣ.

Довольно... довольно, какъ не знать, думаю я, и прошу старушку, чтобъ она сказала, что я приду къ самой m-me Adolphine переговорить о квартирѣ.

Я никогда не могъ безъ особаго умиленія встрѣчаться съ развалинами давнишняго времени, съ полуразрушенными памятниками храма ли Весты, или другого бога, все равно... Старушка «по дружбѣ» пошла меня провожать черезъ садъ къ воротамъ.

— Вотъ нашъ сосѣдъ, тоже долго жилъ въ Петербургѣ... она указала мнѣ большой, кокетливо убранный домъ, на этотъ разъ съ англійской надписью: *Large and small app. (furnished or unfurnished)...* Вы, вѣрно, помните Флоріани? *Coiffeur de la cour* былъ возлѣ Милліонной; онъ имѣлъ одну непріятную исторію...

былъ преслѣдованъ, чуть не попалъ въ Сибирь... знаете, за излишнее снисхожденіе, тогда были такіа строгости.

Ну, думаю, она непременно произведетъ Флоріани въ мои «товарищи несчастья».

— Да, да, теперь я смутно вспоминаю эту исторію, въ ней были замѣшаны синодскій оберъ-прокуроръ и другіе богословы и гвардейцы...

— Вотъ онъ самъ.

... Высохшій, беззубый старичишка, въ маленькой соломенной шляпѣ, морской или дѣтской, съ голубой лентой около таліи, въ коротенькомъ, свѣтло-гороховомъ полукальто и въ полосатыхъ штанишкахъ... вышелъ за ворота. Онъ поднялъ скупосухіе, безжизненные глаза и, пожевывая тонкими губами, кивнулъ головой старушкѣ «по дружбѣ».

— Хотите я его позову?

— Нѣтъ, покорно благодарю... *я не по этой части*—видите бороду не брею... Прощайте. Да скажите, пожалуйста, ошибся я или нѣтъ, у monsieur Floriani красная ленточка.

— Да, да, онъ очень много жертвовалъ!

— Прекрасное сердце.

Въ классическія времена писатели любили сводить на томъ свѣтѣ давно и недавно умершихъ за тѣмъ, чтобъ они покалякали о томъ и о семъ. Въ нашъ реальный вѣкъ все на землѣ и даже часть *того свѣта на этомъ свѣтѣ*. Елисейскія поля растянулись въ Елисейскіе берега, Елисейскія взморья и разсыпались тамъ-сямъ по сѣрнымъ и теплымъ водамъ, у подножія горъ, на рамкахъ озеръ, они продаются акрами, обрабатываются подъ виноградъ... Часть умершаго въ тревоженной жизни отправляетъ здѣсь первый курсъ переселенія душъ и гимназическій классъ Чистилища.

Всякій человѣкъ, прожившій лѣтъ пятьдесятъ, схоронилъ цѣлый міръ, даже два; съ его исчезновеніемъ онъ свыкъся и привыкъ къ новымъ декораціямъ другого акта; вдругъ имена и лица давно умершаго времени являются чаще и чаще на его дорогѣ, вызывая ряды тѣней и картинъ, гдѣ-то хранившихся, на всякій случай, въ безконечныхъ катакомбахъ памяти, заставляя то улыбнуться, то вздохнуть, иной разъ чуть не расплакаться...

Желающимъ, какъ Фаустъ, повидаться «съ матерями» и даже «съ отцами», ненужно никакихъ Мефистофелей, достаточно взять билетъ на желѣзной дорогѣ и ѣхать къ югу. Съ Канна и Грасса начиная, бродятъ грѣющіеся тѣни давно утекшаго времени; прижатыя къ морю, онѣ, покойно сгорбившись, ждутъ Харона и свой чередъ.

На дорогѣ этой Citta, не то чтобъ очень dolente, стоитъ при-

вратникомъ высокая, сторбленная и величаява фигура лорда Брума. Послѣ долгой, честной и исполненной безплоднаго труда жизни, онъ всѣмъ существомъ и одной сѣдой бровью ниже другой выражаетъ часть Дантовской надписи: «Voi ch'entrate, съ мыслью домашними средствами поправитъ застарѣлое, историческое зло lasciate ogni speranza». Старикъ Брумъ, лучший изъ ветхихъ деньми защитникъ несчастной королевы Каролины, другъ Роберта Оуэна, современникъ Каннинга и Байрона, послѣдній, ненаписанный томъ Маколея, поставилъ свою виллу между Грассомъ и Канномъ и очень хорошо сдѣлалъ. Кого было бы, какъ не его, поставить примиряющей вывѣской въ преддверіи временнаго Чистилища, чтобъ не отстращать живыхъ?

За тѣмъ мы en plein въ мірѣ умолкшихъ теноровъ, потрясавшихъ наши восемнадцатилѣтнія груди лѣтъ *тридцать* тому назадъ, ножекъ, отъ которыхъ таяло и замирало наше сердце вмѣстѣ съ сердцемъ цѣлаго партера, ножекъ, оканчивающихъ теперь свою карьеру въ стоптанныхъ, собственноручно вязанныхъ изъ шерсти туфляхъ, пошлепывающихъ за горничной изъ безцѣльной ревности и по хозяйству изъ очень цѣлесообразной скупости...

... И все-то это съ разными промежутками продолжается до самой Адриатики, до береговъ Комскаго озера и даже нѣкоторыхъ нѣмецкихъ водяныхъ *пятенъ* (Flecken). Здѣсь villa Taglioni, тамъ Palazzo Rubini, тутъ Campagne Fanny Elsner и другихъ *лицъ*... du préterit défini et du plus que parfait.

Возлѣ актеровъ, сошедшихъ со сцены маленькаго театра, актеры самыхъ большихъ подмостковъ въ мірѣ, давно исключенные изъ афишъ и забытые,—они въ тиши доживаютъ вѣкъ Цинцинатами и философами противъ воли. Рядомъ съ артистами, нѣкогда отлично представлявшими царей, встрѣчаются цари, скверно разыгравшіе свою роль. Цари эти захватили съ собой, какъ индійскіе покойники, берущіе на тотъ свѣтъ своихъ женъ, друкъ-трехъ преданныхъ министровъ, которые такъ усердно помогли имъ пасть и сами свалились съ ними. Въ ихъ числѣ есть вѣнценосцы, освистанные при дебютѣ и все еще ожидающіе, что публика придетъ къ больше справедливой оцѣнкѣ и опять позоветъ ихъ. Есть и такіе, которымъ impressario историческаго театра не позволилъ и дебютировать—мертворожденные, имѣющіе *вчера*, но не имѣющіе *сегодня*; ихъ біографія оканчивается до ихъ появленія на свѣтъ; ацтеки давно ниспровергнутаго закона престолонаслѣдія, они остаются шевелящимися памятниками утасныхъ династій.

Далѣе идутъ генералы, знаменитые побѣдами, одержанными надъ ними, тонкіе дипломаты, погубившіе свои страны, игроки,

погубившіе свое состояніе и сморщенные, сѣдые старухи, погубившія во время оно сердца этихъ дипломатовъ и этихъ игроковъ. Государственные фоссили, все еще понюхивающіе табакъ, такъ, какъ его нюхали у Поццо ди Борго, лорда Абердина и князя Эстергази, вспоминаютъ съ «ископаемыми» красавицами временъ m-me Resamier залу Ливенши, юность Лаблаша, дебюты Малибранъ и дивятся, что Патти смѣетъ послѣ этого пѣть... И въ то же время люди зеленого сукна, прихрамывая и крихтя, полурасшибленные параличомъ, полузатопленные водяной, толкуютъ съ другими старушками о другихъ салонахъ и другихъ знаменитостяхъ, о смѣлыхъ ставкахъ, о графинѣ Киселевой, о Гамбургской и Баденской рулеткѣ, объ игрѣ покойнаго Сухозанета, о тѣхъ патріархальныхъ временахъ, когда владѣтельные принцы нѣмецкихъ водъ были въ долѣ съ содержателями игръ и опасный, средневѣковый грабежъ путешественниковъ перекладывали на мирное поприще банка и *rouge ou noir*...

... И все это еще дышетъ, еще движется, кто не на ногахъ, въ перамбулаторѣ, въ коляскѣ, укрытой мѣхомъ, кто опираясь вмѣсто клюки на слугу, а иногда опираясь на клюку за неимѣніемъ слуги. «Списки иностранцевъ» похожи на старинные адресъ-календари, на клочья изорванныхъ газетъ «временъ наваринскихъ и покоренія Алжира».

Возлѣ гаснущихъ звѣздъ трехъ первыхъ классовъ сохраняются другія кометы и свѣтила, занимавшія собою лѣтъ тридцать тому назадъ праздное и жадное любопытство, по особому кровавому сладострастью, съ которымъ люди слѣдятъ за процессами, ведущими отъ труповъ къ гильотинѣ и отъ кучей золота на каторгу. Въ ихъ числѣ разные освобожденные отъ суда за «неимѣніемъ доказательствъ», отравители, фальшивые монетчики, люди, кончившіе курсъ нравственнаго леченія гдѣ-нибудь въ центральной тюрьмѣ или колоніяхъ, «контюмасы» и проч.

Всего меньше встрѣчаются въ этихъ теплыхъ чистилищахъ тѣни людей, всплывшихъ среди революціонныхъ бурь и неудавшихся народныхъ движеній. Мрачные и озлобленные горцы *якобинскихъ* вершинъ предпочитаютъ суровую бизу, угрюмые лакедемоняне, они скрываются за лондонскими туманами...

II.

Съ этого.

I.

Живые цвѣты—Послѣдняя могиканка.

— Поѣдѣте на *bal de l'Opera*, теперь самая пора, половина

второго,—сказалъ я, вставая изъ-за стола въ небольшомъ кабинетѣ Café Anglais, одному русскому художнику, всегда кашлявшему и никогда вполне не протрезвлявшемуся. Мнѣ хотѣлось на воздухъ, на шумъ и къ тому же я побаивался длиннаго tête à tête съ моимъ невискимъ Клодъ Торреномъ.

— Поѣдемте, сказалъ онъ, и налилъ себѣ еще рюмку коньяку.

Это было въ началѣ 1849 года, въ минуту ложнаго выздоровленія между двухъ болѣзней, когда еще хотѣлось, или казалось, что хотѣлось, иногда дурачества и веселья.

... Побродивши по оперной залѣ, мы остановились передъ особенно красивой кадрилию напудренныхъ дебардеровъ съ намазанными мѣломъ Пьерро. Всѣ четыре дѣвушки очень молодыя, лѣтъ 18-19, были милы и граціозны, плясали и тѣшились отъ всей души, незамѣтно переходя отъ кадрили въ канканъ. Не успѣли мы довольно налюбоваться, какъ вдругъ кадрили разстроился «по обстоятельствамъ, не зависѣвшимъ отъ танцовавшихъ», какъ выражались у насъ журналисты въ счастливыя времена цензуры. Одна изъ танцовщицъ, и, увы, самая красивая, такъ ловко, или такъ неловко, опустила плечо, что рубашка спустилась, открывая половину груди и часть спины, немного больше того, какъ дѣлаютъ англичанки, особенно пожилыя, которымъ нечѣмъ взять кромѣ плечей, на самыхъ чопорныхъ раутахъ и въ самыхъ видныхъ ложахъ Ковенгардена (вслѣдствіе чего во второмъ ярусѣ рѣшительно нѣтъ возможности съ достоюльнымъ цѣломудріемъ слушать *Casta diva* или *Sul salice*).

Едва я успѣлъ сказать простуженному художнику: «давайте сюда Буонаротти, Тиціана, берите вашу кисть, а то она поправится», какъ огромная черная рука, не Буонаротти и не Тиціана, а *gardien de Paris* схватила ее за воротъ, рванула вонъ изъ кадрили и потащила съ собой. Дѣвушка упиралась, не шла, какъ дѣлаютъ дѣти, когда ихъ собираются мыть въ холодной водѣ, но человѣческая справедливость и порядокъ взяли верхъ и были удовлетворены. Другія танцовщицы и ихъ Пьерро переглянулись, нашли свѣжаго дебардера и снова начали поднимать ноги выше головы и отпрыдывать другъ отъ друга для того, чтобъ еще яростнѣе наступать, не обративъ почти никакого вниманія на похищеніе Прозерпины.

— Пойдемте посмотрѣть, что полицейскій сдѣлаетъ съ ней, сказалъ я моему товарищу.—Я замѣтилъ дверь, въ которую онъ ее повелъ.

Мы спустились по боковой лѣстницѣ внизъ. Кто видѣлъ и помнить бронзовую собаку, внимательно и съ нѣкоторымъ волненіемъ смотрящую на черепаху, тотъ легко представить себѣ сцену, которую мы нашли. Несчастная дѣвушка въ своемъ лег-

комъ костюмѣ сидѣла на каменной ступенькѣ и на сквозномъ вѣтрѣ, заливаясь слезами; передъ ней сухопарый, высокій муниципаль, съ хищнымъ и серьезно глупымъ видомъ, съ запятой изъ волосъ на подбородкѣ, съ полусѣдыми усами и во всей формѣ. Онъ съ достоинствомъ стоялъ, сложивъ руки, и пристально смотрѣлъ, чѣмъ кончится этотъ плачъ, приговаривая:

— Allons, allons!

Для довершенія удара, дѣвушка сквозь слезы и хныканье говорила:

— ... Et... et on dit... on dit que... que... nous sommes en République... et... on ne peut danser comme l'on veut!..

Все это было такъ смѣшно и такъ въ самомъ дѣлѣ жалко, что я рѣшился идти на выручку военноплѣнной и на спасеніе въ ея глазахъ чести республиканской формы правленія.

— Mon brave, сказалъ я съ разсчитанной учтивостью и вкрадчивостью полицейскому, что вы сдѣлаете съ mademoiselle?

— Посажу au violon до завтрашняго дня, отвѣчалъ онъ сурово.

Стенанья увеличиваются.

— Научитесь, какъ рубашку скидывать,—прибавилъ блюститель порядка и общественной нравственности.

— Это было несчастье, Brigadier, вы бы ее простили.

— Нельзя. La consigne.

— Дѣло праздничное...

— Да вамъ что за забота; Etes-vous son réciproque?

— Первый разъ отроду вижу, parole d'honneur! имени не знаю, спросите ее сами. Мы иностранцы и насъ удивило, что въ Парижѣ такъ строго поступаютъ съ слабой дѣвушкой, avec un être frêle. У насъ думаютъ, что здѣсь полиція такая добрая... И зачѣмъ позволяютъ вообще канканировать, а если позволяютъ, г. бригадиръ, тутъ иной разъ по неволѣ, или нога подвигнется слишкомъ высоко, или воротъ опустится слишкомъ низко.

— Это-то, пожалуй, и такъ, замѣтилъ пораженный моимъ краснорѣчіемъ муниципаль, а главное задѣтый моимъ замѣчаніемъ, что иностранцы имѣютъ такое лестное мнѣніе о парижской полиціи.

— Къ тому-же, сказалъ я, посмотрите, что вы дѣлаете. Вы ее простудите,—какъ же изъ душной залы полуголое дитя посадить на сквозной вѣтеръ.

— Она сама не идетъ. Ну, да вотъ что: если вы дадите мнѣ честное слово, что она въ залу сегодня не взойдетъ, я ее отпущу.

— Bravo! впрочемъ, я меньше и не ожидалъ отъ г. бригадира; я васъ благодарю отъ всей души.

Пришлось пуститься въ переговоры съ освобожденной жертвой.

— Извините, что, не имѣя удовольствія быть съ вами знакомымъ лично, вступился за васъ.

Она протянула мнѣ горячую мокрую рученку и смотрѣла на меня еще больше мокрыми и горячими глазами.

— Вы слышали, въ чемъ дѣло? Я не могу за васъ поручиться, если вы мнѣ не дадите слова, или, лучше, если вы не уѣдете сейчасъ. Въ сущности жертва не велика, я полагаю теперь часа три съ половиной.

— Я готова, я пойду за мантилей.

— Нѣтъ—сказалъ неумолимый блюститель порядка—отсюда ни шагу.

— Гдѣ ваша мантилья и шляпка?

— Въ ложѣ—такой-то, №—въ такомъ-то ряду.

Артистъ бросился было, но остановился съ вопросомъ: «да какъ-же мнѣ отдаютъ?»

— Скажите только, что было, и то, что вы отъ *Леонтины-маленькой*... Вотъ и балъ!—прибавила она съ тѣмъ видомъ, съ которымъ на кладбищѣ говорятъ: «Спи покойно».

— Хотите, чтобъ я привелъ фіакръ?

— Я не одна.

— Съ кѣмъ-же?

— Съ однимъ другомъ.

Артистъ возвратился окончательно распростуженный съ шляпой, мантилей и какимъ-то молодымъ лавочникомъ или commis-voyageur.

— Очень обязанъ, сказалъ онъ мнѣ, потрогивая шляпу, потомъ ей:—всегда надѣлаешь исторій! Онъ почти также грубо схватилъ ее подъ руку, какъ полицейскій за воротъ, и исчезъ въ большихъ сѣняхъ оперы... Бѣдная... достанется ей... и что за вкусъ... она... и онъ!

Даже досадно стало. Я предложилъ художнику выпить,—онъ не отказался.

Прошелъ мѣсяцъ. Мы стоворились человѣкъ пять: Вѣнскій агитаторъ Таузенау, генераль Г., Миллеръ С. и еще одинъ господинъ ѣхать другой разъ на балъ. Ни Г., ни Миллеръ ни разу не были. Мы стояли въ кучкѣ. Вдругъ какая-то маска продирается, продирается и прямо ко мнѣ, чуть не бросается на шею и говоритъ:

— Я васъ не успѣла тогда поблагодарить...

— Ah, mademoiselle Léontine... очень, очень радъ, что васъ встрѣтилъ, я такъ и вижу передъ собой ваше заплаканное личико, ваши надутыя губки,—вы были ужасно милы; это не значить, что вы теперь не милы.

Плутовка, улыбаясь, смотрѣла на меня, зная, что это правда.

— Неужели вы не простудились тогда?

— Ни мало.

— Въ воспоминанье вашего плѣна, вы должны были бы... если бы вы были очень, очень любезны...

— Ну что-же? *Soyez bref.*

— Должны бы отужинать съ нами.

— Съ удовольствіемъ, *ma parole*, но только не теперь.

— Гдѣ же я васъ сыщу?

— Не безпокойтесь, я васъ сама сыщу, ровно въ четыре. Да вотъ что, я здѣсь не одна...

— Опять съ вашимъ другомъ,—и мурашки пробѣжали у меня по спинѣ.

Она расхохоталась.

— Онъ не очень опасенъ — и она подвела ко мнѣ дѣвочку лѣтъ семнадцати, свѣтло-бѣлокурую, съ голубыми глазами.

— Вотъ мой другъ.

Я пригласилъ и ее.

Въ четыре Леонтина подбѣжала ко мнѣ, подала руку и мы отправились въ *Café Riche*. Какъ ни близко это отъ Оперы, но по дорогѣ Г. успѣлъ влюбиться въ Мадонну Андрея *Del Sarto*, то есть, въ блондинку. И за первымъ блюдомъ, послѣ длинныхъ и курьезныхъ фразъ о тинторетовской прелести ея волосъ и глазъ, Г., только что мы усѣлись за столъ, началъ проповѣдь о томъ, какъ съ лицомъ Мадонны и выраженіемъ чистаго ангела не эстетично танцовать канканъ.

— *Armes, holdes Kind!* добавилъ онъ, обращаясь ко всѣмъ.

— Зачѣмъ вашъ другъ, сказала мнѣ Леонтина на ухо, говорить такой скучный *fatras*?—да и зачѣмъ вообще онъ ѣздитъ на оперные балы,—ему бы ходить въ Мадлену.

— Онъ *нѣмецъ*, у нихъ ужъ такая болѣзнь,—шепнулъ я ей.

— *Mais c'est qu'il est ennuyeux votre ami avec son mal de sermont. Mon petit saint finira-tu donc bientôt?*

И въ ожиданіи конца проповѣди, усталая Леонтина бросилась на кушетку. Противъ нея было большое зеркало, она безпрестанно смотрѣлась и не выдержала, она указала мнѣ пальцемъ на себя въ зеркалѣ и сказала:

— А что, въ этой растрепавшейся прическѣ, въ этомъ смятомъ костюмѣ, въ этой позѣ я и въ самомъ дѣлѣ будто не дурна.

Сказавши это, она вдругъ опустила глаза и покраснѣла, покраснѣла откровенно, до ушей. Чтобъ скрыть, она запѣла извѣстную пѣсню, которую Гейне изуродовалъ въ своемъ переводѣ и которая страшна въ своей безыскусственной простотѣ:

Et je mourrai dans mon hôtel,
Ou à l'Hôtel-Dieu.

Странное существо, неуловимое, живое. «Лаццера» гётевскихъ элегій, дитя въ какомъ-то безсознательномъ чаду. Она дѣйствительно, какъ ящерица, не могла ни одной минуты спокойно сидѣть, да и молчать не могла. Когда нечего было сказать, она пѣла, дѣлала гримасы передъ зеркаломъ, и все съ непринужденностью ребенка и съ граціей женщины. Ея frivolité была наивна. Случайно завертѣвшись, она еще кружилась... неслась... того толчка, который бы остановилъ на краю или окончательно толкнулъ ее въ пропасть, еще не было. Она довольно сдѣлала дороги, но воротиться могла. Ее въ силахъ были спасти свѣтлый умъ и врожденная грація.

Этотъ типъ, этотъ кругъ, эта среда не существуютъ больше. Это la petite femme студента былыхъ временъ, гризетка, переѣхавшая изъ латинскаго квартала по сю сторону Сены, равно не дѣлающая несчастнаго *тротуара* и не имѣющая прочнаго общественнаго положенія камеліи. Этотъ типъ не существуетъ, такъ, какъ не существуетъ конверсацій около камина, чтеній за круглымъ столомъ, болтанья за чаемъ. Другія формы, другіе звуки, другіе люди, другія слова... Тутъ своя скала, свое crescendo. Шаловливый, нѣсколько распушенный элементъ тридцатыхъ годовъ—*du leste, de l'espièglerie*—перешелъ въ *шикъ*, въ немъ былъ каенскій перець, но еще оставалась кипучая, растрепанная грація, оставались остроты и умъ. Съ увеличеніемъ дѣлъ, коммерція отбросила все излишнее и всѣмъ внутреннимъ пожертвовала выставкѣ, эталажу. Типъ Леонтины—разбитной парижской *gamine*, подвижной, умной, избалованной, искращейся, вольной и въ случаѣ надобности гордой—не требуется, и *шикъ* перешелъ въ *собаку*. Для бульварнаго Ловласа нужна женщина-собака и пуще всего собака, имѣющая своего хозяина. Оно экономнѣе и безкорыстнѣе,—съ ней онъ можетъ охотиться на чужой счетъ, уплачивая одни extra. «Parbleu, говорилъ мнѣ старикъ, котораго лучшіе годы совпадали съ началомъ царствованія Людовика Филиппа, *je ne me retrouve plus—où est le fion, le chique, où est l'esprit?*... Tout cela, monsieur... ne parle pas, monsieur,—c'est bon, c'est beau welbredet, mais... c'est de la charcuterie... c'est du Rubens».

Это мнѣ напоминаетъ, какъ въ пятидесятыхъ годахъ добрый, милый Тальяндѣ, съ досадой влюбленнаго на свою Францію, объяснялъ мнѣ съ музыкальной иллюстраціей ея паденіе. «Когда, говорилъ онъ, мы были велики, въ первые дни послѣ февральской революціи, гремѣла одна марсельеза—въ кафе, на улицахъ,

въ процессіяхъ—все марсельеза. Во всякомъ театрѣ была своя марсельеза, гдѣ съ пушками, гдѣ съ Рашелью. Когда пошло плоче и тише... монотонные звуки Mourir pour la patrie замѣнили ее. Это еще ничего, мы падали глубже... Un sous-lieutenant accablé de besogne... drin, drin, din, din, din... эту дрянъ пѣлъ весь городъ, столица міра, вся Франція. Это не конецъ, вслѣдъ за тѣмъ мы запѣтали и запѣтали Partant pour la Syrie—вверху и Qu'aime donc Margot... Margoë—внизу, т. е., безсмыслицу и непристойность. Дальше идти нельзя».

Можно! Тальянде не предвидѣлъ ни Je suis la femme à barbe, ни Сапера,—онъ еще остался въ *шникъ* и до *собаки* не доходилъ.

Недосужій, мясной развратъ взялъ верхъ надъ всѣми фіюритурами. Тѣло побѣдило духъ и, какъ я сказалъ еще десять лѣтъ тому назадъ, Марго, la fille de marbre, вытѣснила Лизетту Беранже и всѣхъ Леонтинъ въ мірѣ. У нихъ была своя гуманность, своя поэзія, свои понятія чести. Онѣ любили шумъ и зрѣлища больше вина и ужина, и ужинъ любили больше изъ за постановки, свѣчей, конфетъ, цвѣтовъ. Безъ танца и бала, безъ хохота и болтовни онѣ не могли существовать. Въ самомъ пышномъ гаремѣ онѣ заглохли бы, завяли бы въ годъ. Ихъ высшая представительница была Дежазе—на большой сценѣ свѣта и на маленькой théâtre des Variétés: живая пѣсня Беранже, притча Вольтера, молодая въ сорокъ лѣтъ, Дежазе, мѣнявшая поклонниковъ какъ почетный караулъ, капризно отвергавшая свертки золота и отдававшаяся встрѣчному, чтобъ выручить свою пріятельницу изъ бѣды.

Нынче все опрощено, сокращено, все *ближе къ цѣли*, какъ говорили встарь помѣщики, предпочитавшіе водку вину. Женщина съ *фіономъ* интриговала, занимала; женщина съ *шикомъ* жалила, смѣшила,—и обѣ, сверхъ денегъ, брали время. *Собака* сразу бросается на свою жертву, кусаетъ своей красотой и тащитъ за полу sans phrase. Тутъ нѣтъ предисловія,—тутъ въ началѣ эпилогъ. Даже благодаря попечительному начальству и факультету, нѣтъ двухъ прежнихъ опасностей. Полиція и медицина сдѣлали большіе успѣхи въ послѣднее время.

... А что будетъ послѣ *собаки*? Ріеувге Гюго рѣшительно не удалась, можетъ оттого, что слишкомъ похожа на pleutre,—не остановиться же на собакѣ. Впрочемъ, оставимъ пророчества. Судьбы Провидѣнія неисповѣдимы.

Меня занимаетъ другое.

Какое-то изъ двухъ будущихъ Касандриной пѣсни исполнилось надъ Леонтиной? Что, ея нѣкогда граціозная головка поконтится ли на подушкѣ, обшитой кружевами, въ *своемъ* отелѣ, или она склонилась на жесткій, больничный валежъ, для того, чтобъ

уснуть на вѣки, или проснуться на горе и бѣдность. А, можетъ, не случилось ни того, ни другого и она хлопочетъ, чтобъ дочь выдать замужъ, копить деньги, чтобъ купить подставного сыну... Вѣдь, она ужъ не молода теперь, и не боюсь давно перегнула за тридцать.

II.

Махровые цвѣты.

Въ нашей Европѣ повторялось въ уменьшенномъ по количеству и въ увеличенномъ или искаженномъ по качеству видѣ все, что дѣлалось въ Европѣ *европейской*. У насъ были ультра-католики изъ православныхъ, либеральные буржуа изъ графовъ, императорскіе роялисты, канцелярскіе демократы и лейбъ-гвардіи преображенскіе или конногвардейскіе бонапартисты. Мудрено-ли, что и по дамской части не обошлось безъ своихъ *chique* и *chien*. Съ той разницей, что нашъ *demi monde* былъ *одинъ съ четвертью*.

Наши Травіаты и Камеліи большей частью титулярныя, т. е., почетныя, растутъ совсѣмъ на другой почвѣ и цвѣтутъ въ другихъ сферахъ, чѣмъ ихъ парижскіе первообразы. Ихъ надобно искать не внизу, не долу, а на вершинахъ. Онѣ не поднимаются какъ туманъ, а опускаются какъ роса. Княгиня-Камелія и Травіата съ тамбовскимъ или воронежскимъ имѣніемъ—явленіе чисто русское и я не прочь его похвалить.

Что касается до нашей не-Европы, ея нравы много были спасены крѣпостнымъ правомъ, на которое теперь такъ много клеветаютъ. Любовь была печальна въ деревнѣ, она своего кровнаго называла «болѣзненнымъ», словно чувствуя за собой, что она краденая у барина и онъ можетъ всегда хватиться своего добра и отобрать его. Деревня ставила на господскій дворъ дрова, сѣно, барановъ и своихъ дочерей по обязанности. Это былъ долгъ, служба, отъ которой отказываться нельзя было, не дѣлая преступленія противъ нравственности и не навлекая на себя розогъ помѣщика. Тутъ было не до *шику*, а иногда до топора, чаще до рѣки, въ которой гибла никѣмъ не замѣченная Палашка или Лужка.

Что сталося послѣ освобожденія, мы мало знаемъ, и потому больше держимся барынь. Онѣ дѣйствительно за границей мастерски усваиваютъ себѣ и съ чрезвычайной быстротой и ловкостью всѣ ухватки, весь *habitus* лоретокъ. Только при тщатель-

номъ разсматриваніи замѣчается, что чего-то не достаетъ. А не достаетъ самой простой вещи—*быть лореткой*. Это все Петръ I, работающій молотомъ и долотомъ въ Саардамѣ, воображая, что дѣлаетъ дѣло. Наши барыни изъ ума и праздности, отъ избытка и скуки *шутятъ въ ремесло*, такъ, какъ ихъ мужья играютъ въ токарный станокъ.

Этотъ характеръ ненужности, махровости мѣняетъ дѣло. Съ русской стороны чувствуется превосходная декорація, съ французской—правда и необходимость. Отсюда громадныя разницы. Травіату tout de bon бываетъ часто душевно жаль, «*dame aux règles*» почти никогда; надъ одной подчасъ хочется плакать, надъ другой всегда смѣяться. Имѣя наслѣдственныхъ двѣ, три тысячи душъ, сперва вѣчно, нынѣ временно раззоряемыхъ крестьянъ, многое можно—интриговать на игорныхъ водахъ, эксцентрически одѣваться, лежа сидѣть въ коляскѣ, свистать, шумѣть, дѣлать скандалы въ ресторанахъ, заставлять краснѣть мужчинъ, мѣнять любовниковъ, ѣздить съ ними на parties fines, на разныя «калли-стеническія упражненія и конверсаціи», пить шампанское, курить гаванскія сигары и ставить пригоршни золота на «черное или красное»... можно быть Мессалиной,—но, какъ мы сказали, лореткой быть нельзя, несмотря на то, что лоретки не родятся, какъ поэты, а дѣлаются. У каждой лоретки своя исторія, свое посвященіе, втѣсненное обстоятельствами. Обыкновенно бѣдная дѣвушка идетъ, не зная куда, и наталкивается на грубый обманъ, на грубую обиду. Отъ сложенной любви, отъ сложенного стыда у нея являются dépit, досада, своего рода жажда мести и съ тѣмъ вмѣстѣ жажда опьяненія, шума, нарядовъ... кругомъ нужда... деньги только *однимъ* путемъ и можно достать, а потому,—vogue la galère. Обманутый ребенокъ безъ воспитанія вступаетъ въ бой, побѣды ее балуютъ, увлекаютъ (тѣхъ, которые не побѣдили, мы не знаемъ, тѣ пропадаютъ безъ вѣсти), у ней въ памяти свои Маренго и Арколи—привычка владычества и пышности входить въ кровь. Она же всему обязана одной себѣ. Начавъ съ одного своего тѣла, она тоже пріобрѣтаетъ души и также раззоряетъ временно привязанныхъ къ ней богачей, какъ наша барыня своихъ нищихъ мужиковъ.

Но въ этомъ *также* и лежитъ вся непреходимая даль между лореткой по положенію и камеліей по дилетантизму. Та даль и та противоположность, которая такъ ярко выражается въ томъ, что лоретка, ужиная въ какомъ-нибудь душномъ кабинетѣ Maison d'or, мечтаетъ о своемъ будущемъ салонѣ,—а русская дама, сидя въ своемъ богатомъ салонѣ, мечтаетъ о трактирѣ.

Серьезная сторона вопроса состоитъ въ томъ, чтобъ опредѣлить, откуда у насъ взялась въ дамскомъ обществѣ эта потреб-

ность разгула и кутежа, потребность похвастаться своимъ освобожденіемъ, дерзко, капризно пренебречь общественнымъ мнѣніемъ и сбросить съ себя всѣ вуали и маски? И это въ то время, когда бабушки и матушки нашихъ львицъ, цѣломудренныя и патріархальныя, красѣли до сорока лѣтъ отъ нескромнаго слова и довольствовались, тихо и скромно, тургеневскимъ нахлѣбникомъ, а за неимѣніемъ его—кучеромъ или буфетчикомъ.

Замѣйте, что аристократическій камелизмъ у насъ не идетъ дальше начала сороковыхъ годовъ.

И все новое движеніе, вся возбужденность мысли, исканья, недовольства, тоски идетъ отъ того же времени.

Тутъ-то и раскрывается человѣческая и историческая сторона аристократическаго камелизма. Это своего рода полусознанный протестъ противъ старинной, давящей какъ свинецъ, семьи, противъ безобразнаго разврата мужчинъ. У загнанной женщины, у женщины, брошенной дома, былъ досугъ читать, и когда она почувствовала, что «Домострой» плохо идетъ съ Ж. Зандъ, и когда она наслушалась восторженныхъ разсказовъ о Бланшахъ и Селестинахъ,—у нея терпѣнье лопнуло и она закусила удила. Ея протестъ былъ дикъ, но, вѣдь, и положеніе было дико. Ея оппозиція не была формулирована, а бродила въ крови,—она была обижена. Она чувствовала униженіе, подавленность, но самобытной воли внѣ кутежа и чада не понимала. Она протестовала поведеніемъ, ея возмущеніе было полно избалованности и дурныхъ привычекъ, каприза, распушенности, кокетства, иногда несправедливости; она разнуздывалась, не освобождаясь. Въ ней оставался внутренній страхъ и неувѣренность, но ей хотѣлось дѣлать на зло и попробовать *этой другой* жизни. Противъ узкаго своего волья притѣснителей она ставила узкое своеволье лопнувшего терпѣнья, безъ твердой направляющей мысли, но съ заносчивой отроческой бравадой. Какъ ракета, она мерцала, искрилась и падала съ шумомъ и трескомъ, но очень не глубоко. Вотъ вамъ исторія нашихъ Камелій съ гербомъ, нашихъ Травіатъ съ жемчугомъ.

Конечно, и тутъ можно вспомнить желчеваго Ростопчина, говорившаго на смертномъ одрѣ о 14 декабря: «У насъ все наизнанку, во Франціи la roture хотѣла подняться до дворянства, ну, оно и понятно; у насъ дворяне хотятъ сдѣлаться чернью, ну, чепуха!»

Но намъ именно этотъ характеръ вовсе не кажется чепухой. Онъ идетъ очень послѣдовательно изъ двухъ началъ: изъ чуждости образованія, которое вовсе для насъ не обязательно, и изъ основного тона другого общественного порядка, къ которому мы сознательно или безсознательно стремимся.

Впрочемъ, это принадлежитъ къ нашему катехизису, — и я боюсь увлечься въ повторенія.

Травіаты наши въ исторіи нашего развитія не пропадутъ; онѣ имѣютъ свой смыслъ и значеніе и представляютъ удалую и разгульную шеренгу авангардныхъ охотниковъ и пѣсельниковъ, которые, съ присвистомъ и бубнами, куражась и подплясывая, идутъ въ первый огонь, покрывая собой болѣе серьезную фалангу, у которой нѣтъ недостатка ни въ мысли, ни въ отвагѣ, ни въ оружіи съ «иглой».

III.

Цвѣты Минервы.

Эта фаланга—сама революція, суровая въ семнадцать лѣтъ... Огонь глазъ смягченъ очками, чтобъ дать волю одному свѣту ума... Sans crinolines идущія на замѣну Sans culot'амъ.

Дѣвушка-студентъ, барышня-буршъ ничего не имѣютъ общаго съ барынями-Травіатами. Вакханки посѣдѣли, оплѣшивѣли, составились и отступили, а студенты заняли ихъ мѣсто, еще не вступивши въ совершеннolѣтіе. Камеліи и Травіаты салоновъ принадлежали николаевскому времени, такъ, какъ выставочные генералы того же времени, щеголи-шагисты, побѣдители своихъ собственныхъ солдатъ, знавшіе всю туалетную часть военного дѣла, все кокетство вахтпарадовъ, и не замаравшіе мундира непріятельской кровью. Публичныхъ генераловъ, рысисто «дѣлавшихъ тротуаръ» на Невскомъ, разомъ прихлопнула Крымская война. А «блескъ упоительный бала», будуарная любовь и шумныя оргіи *генеральши* круто смѣнились академической аудиторіей, анатомической залой, въ которой подстриженный студентъ въ очкахъ изучалъ тайны природы.

Тутъ надобно забыть всѣ камеліи и магноліи, забыть, что существуютъ два пола. Передъ истиной науки, im Reiche der Wahrheit различія половъ стираются.

Камеліи наши—жиронда, оттого онѣ такъ и смахиваютъ на Фобласа.

Студенты-барышни—якобинцы, Сень-Жюсть въ амазонкѣ,—все рѣзко, чисто, безпощадно.

У Камелій маска *lour* изъ теплой Венеціи.

У студентовъ маска же, но маска изъ невскаго льда. Первая можетъ прилипнуть, вторая непременно растаетъ... но это впереди.

Тутъ настоящій, сознательный протестъ, протестъ и переломъ

Ce n'est pas une émeute, c'est une révolution. Разгулъ, роскошь, глумленіе, наряды отодвинуты. Любовь, страсть на третьемъ-четвертомъ планѣ. Афродита съ своимъ голымъ оруженосцемъ надулась и ушла; на ея мѣсто Паллада съ копьемъ и совой. Камеліи шли отъ неопредѣленнаго волненія, отъ негодованія, отъ несытаго и томнаго желанія... и доходили до пресыщенія. Здѣсь идутъ отъ идеи, въ которую вѣрятъ, отъ объявленія «правъ женщины», и исполняютъ обязанности, налагаемыя вѣрой. Однѣ отдаются по принципу, другія невѣрны по долгу. Иногда *студенты* уходятъ слишкомъ далеко, но все же остаются дѣтьми — непокорными, заносчивыми, но дѣтьми. Серьезность ихъ *радикализма* показываетъ, что дѣло въ головѣ, въ теоріи, а не въ сердцѣ.

Онѣ страстны въ общемъ и въ частную встрѣчу вносятъ не больше «патоса» (какъ говаривали встарь), какъ всякія Леонтины. Можетъ меньше. Леонтины играютъ, играютъ огнемъ и, очень часто вспыхнувъ съ ногъ до головы, спасаются отъ пожара въ Сенѣ; утянутыя жизнью, прежде всякихъ разсужденій, имъ иной разъ трудно побѣдить свое сердце. Наши бурши начинаютъ съ анализа, съ разбора; съ ними тоже многое можетъ случиться, но сюрпризовъ не будетъ, и паденій не будетъ; онѣ падаютъ съ теоретическимъ парашютомъ. Онѣ бросаются въ потокъ съ руководствомъ о плаваніи и намѣренно плывутъ противъ теченія.

Долго ли проплывутъ онѣ à livre ouvert, я не знаю, но мѣсто въ исторіи займутъ по всей справедливости.

Самые недогадливѣйшіе въ мірѣ люди догадались объ этомъ.

Старички наши, сенаторы и министры, отцы и дѣдушки отечества съ улыбкой снисхожденія и даже поощренія смотрѣли на столбовыхъ камелій (если только онѣ не были супругами ихъ сыновей)... но *студенты* имъ не понравились... ничего не похожи на «милыхъ шалуній», съ которыми они иногда любили языкомъ отогрѣть старое сердце.

Давно гнѣвались старички на суровыхъ нигилистокъ и искали случая ихъ подвести подъ сюркупъ.

Дѣло не шуточное, принялись дружно. Совѣтъ, сенатъ, синодъ, министры, архіереи, военнопачальники, градоначальники и другія полиціи совѣщались, думали, толковали и рѣшили, во первыхъ, изгнать студентовъ женскаго пола изъ университетовъ.

Затѣмъ совѣтъ, синодъ, сенатъ приказали въ 24 часа отроstitъ стриженные волосы, отобрать очки и обязать подпиской имѣть здоровые глаза и носить кринолины. Несмотря на то, что въ Кормчей книгѣ ничего не сказано о «обручеюбіи» и «подолоразверстіи», а волосы плести просто въ ней запрещено, черное духовенство согласилось.

Чрезвычайныя мѣры эти принесли огромную пользу, и это я говорю безъ малѣйшей ироніи. Кому?

Нашимъ *нигилисткамъ*.

Имъ недоставало одного: сбросить мундиръ, формализмъ и развиваться съ той широкой свободой, на которую онѣ имѣютъ большія права. Самому ужасно трудно, привыкнувъ къ формѣ, ее отбросить. Платье прирастаетъ.

Студенты наши и бурши долго не отдѣлались бы отъ очковъ и прочихъ кокардъ. Ихъ раздѣли на казенный счетъ, прибавляя къ этой услугѣ ореолъ туалетнаго мученичества.

Затѣмъ ихъ дѣло плыть *au large*.

P. S. Однѣ уже возвращаются съ блестящимъ дипломомъ доктора медицины, и слава имъ!

Няцца, лѣтомъ 1867.

Venezia la bella.

(Февраль, 1867).

Великолѣпнѣе нелѣпости, какъ Венеція, нѣтъ. Построить городъ тамъ, гдѣ городъ построить нельзя, само по себѣ безуміе; но построить такъ одинъ изъ изящнѣйшихъ, грандіознѣйшихъ городовъ—геніальное безуміе. Вода, море, ихъ блескъ и мерцанье обязываютъ къ особой пышности. Моллюски отдѣлываютъ перламутромъ и жемчугомъ свои каюты.

Одинъ поверхностный взглядъ на Венецію показываетъ, что это городъ крѣпкій волей, сильный умомъ, республиканскій, торговый, олигархическій, что это—узелъ, которымъ привязано что-то за водами,—торговый складъ подъ военнымъ флагомъ; городъ шумнаго вѣча и беззвучный городъ тайныхъ совѣщаній и мѣръ; на его площади толчется съ утра до ночи все населеніе, и, молча, текутъ изъ него рѣки улицъ въ море. Пока толпа шумитъ и кричитъ на площади св. Марка, никѣмъ не замѣченная лодка скользитъ и пропадаетъ; кто знаетъ, что подъ ея чернымъ пологомъ? Какъ тутъ было не топить людей возлѣ любовныхъ свиданій?

Люди, чувствовавшіе себя дома въ Palazzo ducale, должны были имѣть своеобразный закалъ. Они не останавливались ни передъ чѣмъ. Земли нѣтъ, деревьевъ нѣтъ, что за бѣда! давайте еще больше рѣзныхъ каменьевъ, больше орнаментовъ, золота, мозаики, ваянья, картинъ, фресокъ. Тутъ остался пустой уголъ—худого бога морей съ длинной, мокрой бородой въ уголъ! Тутъ порожній уступъ—еще льва съ крыльями и съ Евангеліемъ св. Марка! Тамъ голо, пусто—коверъ изъ мрамора и мозаики туда! Кружева изъ порфира туда! Побѣда ли надъ турками или Генуей, папа ли ищетъ дружбы города,—еще мрамору, цѣлую стѣну покрыть изсѣченной занавѣсью и, главное, еще картинъ. Павелъ Веронезе, Тинторетто, Тиціанъ—за кисть, на помостъ: каждый шагъ торжественнаго шествія морской красавицы долженъ быть записанъ потомству кистью и рѣзцомъ.

И такъ былъ живучъ духъ, обитавшій эти камни, что мало было новыхъ путей и новыхъ приморскихъ городовъ, Колумба и Васко-де-Гама, чтобъ сокрушить его. Для его гибели нужно было, чтобъ на развалинахъ французскаго трона явилась «единая и

нераздѣльная» республика и на развалинахъ этой республики явился бы солдатъ, бросившій въ льва, по корсикански, стилетъ, отравленный Австріей. Но Венеція переработала ядъ и снова оказывается живою черезъ полстолѣтіе.

Да живою-ли? Трудно сказать, что уцѣлѣло, кромѣ великой раковины, и есть ли новая будущность Венеціи... Да и въ чемъ будущность Италіи вообще? Для Венеціи, можетъ, она въ Константинополѣ, въ томъ вырѣзывающемся смутными очерками изъ-за восточнаго тумана свободномъ союзничествѣ воскресающихъ славяно-эллинскихъ народностей.

А для Италіи?.. Объ этомъ послѣ. Теперь въ Венеціи карнавалъ, первый карнавалъ на волѣ, послѣ семидесятилѣтняго плѣненія. Площадь превратилась въ залу парижской оперы. Старый св. Маркъ весело участвуетъ въ праздникѣ съ своей иконописью и позолотой, съ патріотическими знаменами и своими языческими лошадьми. Одни голуби, являющіеся всякій день въ два часа на площадь закусить, сконфужены и перелетаютъ съ карниза на карнизъ, чтобъ убѣдиться, точно ли ихъ столовая въ такомъ безпорядкѣ.

Толпа все растетъ, *le peuple s'amuse*, дурачится отъ души, изъ всѣхъ силъ, съ большимъ комическимъ талантомъ въ декламаціи и словахъ, въ выговорѣ и жестахъ, но безъ кантаридности парижскихъ Пьерро, безъ вульгарной шутки нѣмца, безъ нашей родной грязи. Отсутствіе всего неприличнаго удивляетъ, хотя смыслъ его ясенъ. Это—шалость, отдыхъ, забава цѣлаго народа, а не вахтпарадъ публичныхъ домовъ, ихъ сукурсаблей, жительницамъ которыхъ, снимая многое другое, прибавляютъ маску, въ родѣ бисмарковой иголки, чтобъ усилить и сдѣлать неотразимѣе выстрѣлы. Здѣсь онѣ были бы неумѣстны; здѣсь тѣшится народъ, здѣсь тѣшится сестра, жена, дочь, и горе тому, кто оскорбитъ маску. Маска на время карнавала становится для женщины то, чѣмъ былъ Станиславъ въ петлицѣ для станціоннаго зрителя 1).

Сначала карнавалъ оставлялъ меня въ покоѣ, но онъ все росъ и, при своей стихійной силѣ, долженъ былъ утѣнать всякаго.

Мало ли какой вздоръ можетъ случиться, когда пляска св. Витта овладѣваетъ цѣлымъ населеніемъ въ шутовскихъ костюмахъ. Въ большой залѣ ресторана сидятъ сотни, можетъ больше.

1) Годъ спустя я видѣлъ карнавалъ въ Ниццѣ. Какая страшная разница. не говоря о солдатахъ въ полномъ боевомъ вооруженіи, ни жандармахъ, ни комиссарахъ полиціи съ шарфами... сама масса народа, не туристовъ, дивила меня. Пьяныя маски ругались и дрались съ людьми, стоявшими въ воротахъ, сильные туманы спливали въ грязь бѣлыхъ Пьерро.

лилово-бѣлыхъ масокъ; онѣ проѣхали по площади на раззолоченномъ кораблѣ, который тащили быки (все сухопутное и четвероногое въ Венеціи рѣдкость и роскошь), теперь онѣ пьютъ и ѣдятъ. Одинъ изъ гостей предлагаетъ курьезность и берется ее достать, *курьезность эта*—я.

Господинъ, едва знакомый со мной, бѣжитъ ко мнѣ въ Albergo Danieri, умоляетъ, проситъ явиться съ нимъ на минуту къ маскамъ. Глухо идти, глупо ломаться, я иду. Меня встрѣчаютъ evviva и полные бокалы. Я раскланиваюсь, говорю вздоръ, evviva сильнѣе: одни кричатъ evviva l'amico di Garibaldi, другіе—poeta russo! Боясь, что лилово-бѣлые будутъ пить за меня, какъ за pittore Slavo, scultore e maestro, я ретируюсь на Piazza St. Marco.

На площади стѣна людей; я прислонился къ пилястрѣ, гордый титуломъ поэта; возлѣ меня стоялъ мой проводникъ, исполнившій mandat d'amener лилово-бѣлыхъ. «Боже мой, какъ она хороша!» сорвалось у меня съ языка, когда очень молодая дама пробивалась сквозь толпу. Мой провожатый, не говоря худого слова, схватилъ меня и разомъ поставилъ передъ ней. «Это тотъ *русскій*», началъ мой польскій графъ. «Хотите вы мнѣ дать руку послѣ этого слова?» перебилъ я его. Она, улыбаясь, протянула руку и сказала по-русски, что давно хотѣла меня видѣть, и такъ симпатически взглянула на меня, что я еще разъ пожалъ ее руку и проводилъ глазами, пока было видно.

Цвѣтокъ, сорванный ураганомъ, смытый кровью съ своихъ литовскихъ полей, думалъ я, глядя ей вслѣдъ, не своимъ теперь свѣтитъ твоя красота.

Я сошелъ съ площади и поѣхалъ встрѣчать Гарибальди. На водѣ все было тихо... нестройно доносился шумъ карнавала. Строгія, насупившіяся массы домовъ тѣснятся все ближе и ближе къ лодкѣ, глядятъ на нее фонарями, у подъѣзда всплескиваетъ правило, блеснетъ стальной крючекъ, прокричитъ лодочникъ: apri—sia stale... и опять тихо вода утягиваетъ въ переулочъ, и вдругъ дома опять раздвигаются; мы въ Gran Canal'ѣ... Fejovia Signoie, говоритъ гондольеръ, картавя, какъ картавить весь городъ. Гарибальди остался въ Болоньи и не пріѣзжалъ. Машина, ѣхавшая во Флоренцію, стонала въ ожиданіи свистка. Уѣхать бы и мнѣ, завтра маски надоѣдятъ, завтра не увижу я славянской красавицы...

... Городъ принялъ Гарибальди блестящимъ образомъ. Gran Canal представлялъ почти сплошной мостъ; для того, чтобъ попасть въ нашу лодку, уѣзжая, намъ надобно было перейти черезъ десятки другихъ. Правительство и его кліенты сдѣлали все возможное, чтобъ показать, что дуются на Гарибальди. Если

принцу Амедео были приказаны его отцомъ всѣ мелкія не деликатности, вся подленькая пикировка, то отчего же у этого мальчика-итальянца не заговорило сердце, отчего онъ не примирилъ на минуту городъ съ королемъ и королевскаго сына съ совѣстью? Вѣдь, Гарибальди имъ подарилъ двѣ короны двухъ Сицилій!

Я нашелъ Гарибальди и не состарѣвшимся, и не больнымъ, послѣ лондонскаго свиданія въ 1864. Но онъ былъ невеселъ, озабоченъ и не разговорчивъ съ венеціанцами, представлявшимися ему на другой день. Его настоящій хоръ—народныя массы; онъ ожилъ въ Кіуджіи, гдѣ его ждали лодочники и рыбаки; мѣшаясь въ толпу, онъ говорилъ этимъ простымъ бѣднякамъ: «Какъ мнѣ съ вами хорошо и дома, какъ я чувствую, что родился отъ работниковъ и былъ работникомъ; несчастья нашей родины оторвали меня отъ мирныхъ занятій. Я также выросъ на берегу моря и знаю каждую работу вашу...» Стояъ восторга покрылъ слова бывшаго лодочника, народъ ринулся къ нему... «Дай имя моему новорожденному», кричала женщина; «благослови моего, и моего», кричали другія. Храбрый генераль Ламармора и неутѣшный вдовецъ Риказоли, со всѣми вашими Шіаолами, Депретисами, вы ужъ отложивъ попеченіе разрушить эту связь, она зятя нута мужицкой, работничей рукой и такой веревкой, которую вамъ не перетереть со всѣми тосканскими и сардинскими подмастерьями, со всѣми вашими грошевыми Макиавелли.

Теперь воротитесь къ вопросу: что ждетъ Италію впереди, какую будущность имѣетъ она, обновленная, объединенная, независимая? Ту ли, которую проповѣдывалъ Маццини, ту ли, къ которой ведетъ Гарибальди... ну, хоть ту ли, которую осуществлялъ Кавуръ?

Вопросъ этотъ отбрасываетъ насъ разомъ въ страшную даль, во всѣ тяжкія—самыхъ скорбныхъ и самыхъ спорныхъ предметовъ. Онъ прямо касается тѣхъ внутреннихъ убѣжденій, которыя легли въ основу нашей жизни и той борьбы, которая такъ часто раздвояетъ насъ съ друзьями, а иной разъ ставитъ на одну сторону съ противниками.

Я сомнѣваюсь въ *будущности латинскихъ народовъ*, сомнѣваюсь въ ихъ *будущей* плодотворности, имъ нравится процессъ переворотовъ, но тягостенъ добытый прогрессъ. Они любятъ рваться къ нему, не достигая.

Идеаль итальянскаго освобожденія—бѣденъ; въ немъ опущенъ, съ одной стороны, существенный, животворный элементъ, и какъ на зло, съ другой, оставленъ элементъ старый, тлетворный, умирающій и мертвящій. Итальянская революція была до сихъ поръ боемъ за независимость.

Конечно, если земной шаръ не дастъ трещины, или комета

не пройдет слишком близко и не накалитъ нашей атмосферы, Италія и въ будущемъ *будетъ* Италіей, страной синяго неба и синяго моря, изящныхъ очертаній, прекрасной, симпатической породы людей, людей музыкальныхъ, художниковъ отъ природы. Конечно, и то, что весь этотъ военный и штатскій гамъ мѣnage и слава и позоръ, и падшія границы и возникающія камеры, все это отразится въ ея жизни,—она изъ клерикально-деспотической сдѣлается (и дѣлается) буржуазно-парламентской, изъ дешевой—дорогой, изъ неудобной—удобной и пр., и пр. Но этого мало и съ этимъ еще далеко не уйдешь. Не дурень и другой берегъ, который оmyваетъ то же синее море, не дурна и та доблестная и угрюмая порода людей, которая живетъ за Пиренеями; вѣшняго врага у нея нѣтъ, камера есть, наружное единство есть... ну, что же при всемъ этомъ Испанія?

Народы живучи, вѣка могутъ они лежать *подъ паромъ* и снова, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, оказываются исполненными силъ и соковъ. Но тѣми ли они возстаютъ, какъ были?

Сколько вѣковъ, я чуть не сказалъ тысячелѣтій, греческій народъ былъ стертъ съ лица земли, какъ государство, и все же онъ остался живъ и въ ту самую минуту, когда вся Европа угорала въ чадѣ реставрацій, Греція проснулась и встревожила весь міръ. Но греки Каподистрії были ли похожи на грековъ Перикла или на грековъ Византіи? Осталось одно имя и натянутое воспоминаніе. Обновиться можетъ и Италія, но тогда ей придется начать другую исторію. Ея освобожденіе только *право на существованіе*.

Примѣръ Греціи очень идетъ; онъ такъ далекъ отъ насъ, что меньше возбуждаетъ страстей. Греція Аѳинская, Македонская, лишенная независимости Римомъ, является снова государственно-самобытной въ Византійскій періодъ. Что же она дѣлаетъ въ немъ? Ничего или, хуже, богословскую контроверзу, *серальные* перевороты *par anticipation*. Турки помогаютъ застрялой природѣ и придаютъ блескъ зарева ея насильственной смерти. Древняя Греція *изжила свою жизнь*, когда римское владычество накрыло ее и спасло, какъ лава и пепелъ спасли Помпею и Геркуланумъ. Византійскій періодъ поднялъ гробовую крышу и мертвый остался мертвымъ, имъ завладѣли попы и монахи, имъ распоряжались евнухи, совершенно на мѣстѣ, какъ представители бесплодности. Кто не знаетъ рассказовъ о томъ, какъ крестоносцы были въ Византіи: въ образованіи, въ утонченности нравовъ не было сравненія, но эти дикіе латники, грубые буяны, были полны силы, отваги, стремленій, они шли впередъ, съ ними былъ *Богъ исторіи*. Ему люди не по хорошѣ милы, а по коренастой силѣ и по своевременности ихъ à propos. Оттого-то читая скуч-

ныя лѣтописи, мы радуемся, когда съ сѣверныхъ снѣговъ скаываются варяги, плывутъ на какихъ-то скорлупахъ славяне, и клеймятъ своими щитами гордые стѣны Византіи. Я ученикомъ не могъ нарадоваться на дикаря, въ рубахѣ, одиноко гребущаго свою комягу, отправляясь съ золотой серьгой въ ухахъ на свиданье съ изнѣженнымъ, пышнымъ, книжнымъ императоромъ Цимисхиємъ.

Подумайте объ Византіи; пока наши славянофилы не пустили еще въ свѣтъ новой иконописной хроники и правительство не утвердило ее, она многое объяснить изъ того, что такъ тяжело сказать.

Византія могла *жить*, но *дѣлать* ей было нечего; а исторію вообще только народы и занимаютъ, пока они на сценѣ, т. е., пока они что-нибудь дѣлаютъ.

... Помнится, я упоминалъ объ отвѣтѣ Томаса Карлейля мнѣ, когда я ему говорилъ о строгостяхъ парижской цензуры: «Да что вы такъ на нее сердитесь», замѣтилъ онъ, «заставляя французовъ молчать, Наполеонъ сдѣлалъ имъ величайшее одолженіе, *имѣ нечего сказать*, а говорить хочется... Наполеонъ далъ имъ вѣдшее оправданіе...» Я не говорю, насколько я согласенъ съ Карлейлемъ или нѣтъ, но спрашиваю себя: *будетъ ли* что Италіи сказать и сдѣлать на другой день послѣ занятія Рима? И иной разъ, не пріискавъ отвѣта, я начинаю желать, чтобъ Римъ остался еще надолго оживляющимъ desideratum'омъ.

До Рима все пойдетъ не дурно, хватить и энергіи, и силы, лишь бы хватило денегъ... До Рима Италія многое вынесетъ: и налоги, и піемонтское мѣстничество, и грабящую администрацію, и сварливую и докучную бюрократію; въ ожиданіи Рима все кажется неважнымъ; для того, чтобы имѣть его, можно стѣсниться, надобно стоять дружно. Римъ—черта границы, зная, онъ передъ глазами, онъ мѣшаетъ спать, мѣшаетъ торговать, онъ поддерживаетъ лихорадку. Въ Римѣ все перемѣнится, все оборвется... тамъ кажется заключеніе, вѣнецъ; совѣмъ нѣтъ, тамъ *начало*.

Народы, искупающіе свою независимость, никогда не знаютъ, и это превосходно, что независимость сама по себѣ ничего не даетъ, кромѣ правъ совершеннолѣтія, кромѣ мѣста между пѣрами, кромѣ признанія гражданской способности *совершать акты*, и только.

Какой-же *актъ* возвѣстится намъ съ высоты Капитолія и Квиринала, что провозгласится міру на Римскомъ Форумѣ, или на томъ балконѣ, съ котораго папа вѣка благословлялъ «вселенную и городъ»?

Провозгласить «независимость» sans phrase—мало. А другого ничего нѣтъ... И мнѣ подъ часъ кажется, что въ тотъ день, когда

Гарибальди бросить свой ненужный больше мечъ и надѣнетъ тогу virilis на плечи Италіи, ему останется всенародно обняться на берегахъ Тибра съ своимъ maestro Маццини и сказать съ нимъ вмѣстѣ: «Нынѣ отпускаеши!»

Я это говорю за нихъ, а не противъ нихъ.

Будущность ихъ обезпечена, ихъ два имени станутъ высоко и свѣтло во всей Италіи отъ Фіуме до Мессины и будутъ подыматься выше и выше во всей печальной Европѣ, по мѣрѣ историческаго пониженія и измелчанія ея людей.

Но врядъ пойдетъ ли Италія по программѣ великаго карбонаро и великаго воина; ихъ религія совершила чудеса, она разбудила мысль, она подняла мечъ, это труба, разбудившая спящихъ, знамя, съ которымъ Италія завоевала себя... Половина идеала Маццини исполнилась и именно потому, что другая часть далеко перехватывала черезъ возможное. Что Маццини теперь ужъ сталъ слабѣе, въ этомъ его успѣхъ и величіе; онъ сталъ *отдѣленъ* той частію своего идеала, которая перешла въ дѣйствительность, это слабость послѣ родовъ. Въ виду берега, Колумбу стоило плыть, и нечего было употреблять всѣ силы своего неукротимаго духа. Мы въ нашемъ кругу испытали подобное... Гдѣ сила, которую придавала нашему слову борьба противъ крѣпостного права, противъ отсутствія всякаго суда, всякой гласности?

Римъ—Америка Маццини... Дальнѣйшихъ зародышей *viables* въ его программѣ нѣтъ, она была рассчитана на борьбу за единство и Римъ.

— «А демократическая республика?»

Это та великая *награда за гробомъ*, которой напутствовались люди на дѣянія и подвиги и въ которую горячо и искренно вѣрили и проповѣдники, и мученики...

Къ ней идетъ и теперь часть твердыхъ стариковъ, закаленныхъ сподвижниковъ Маццини, непреклонныхъ, не сдающихся, неподкупныхъ, неутомимыхъ каменщиковъ, которые вывели фундаменты новой Италіи и, когда не доставало цемента, давали на него свою кровь. Но много ли ихъ? И кто пойдетъ за ними?

Пока тройное ярмо нѣмца, бурбона и папы давило шею Италіи, эти энергическіе монахи-воины ордена Маццини находили вездѣ сочувствіе. Принцессы и студенты, ювелиры и доктора, актеры и попы, художники и адвокаты, все образованное въ мѣщанствѣ, все поднявшее голову между работниками, офицеры и солдаты, все тайно, явно было съ ними, работало для нихъ. Республики хотѣли немногіе, независимости и единства—всѣ. Независимости они добились, единство на французскій манеръ имъ опротивѣло, республики они не хотятъ. Современный порядокъ дѣлалъ во многомъ итальянцамъ по плечу, имъ туда же хочется представ-

лять «сильную и величественную» фигуру въ сонмѣ европей-скихъ государствъ и, найдя эту *bella e grande figura* въ Викторѣ Эмануилѣ, они держатся за него ¹⁾).

Представительная система въ ея континентальномъ развитіи дѣйствительно всего лучше идетъ, когда нѣтъ ничего яснаго въ головѣ, или ничего возможнаго на дѣлѣ. Это великое *покамышье*, которое перетираетъ углы и крайности обѣихъ сторонъ въ муку и выигрываетъ время. Этимъ жерновомъ часть Европы прошла, другая пройдетъ. Чего Египетъ? и тотъ вѣхалъ на верблюдахъ въ представительную мельницу, подгоняемый арапникомъ.

Я не виню ни большинство, плохо приготовленное, усталое, трусоватое, еще больше не виню массы, такъ долго оставленные на воспитаніи клерикаловъ, я не виню даже правительство: да и какъ же его винить за ограниченность, за неумѣнье, за недостатокъ порыва, поэзіи, такта. Оно родилось въ Кариньянскомъ дворцѣ, среди ржавыхъ готическихъ мечей, пудренныхъ старинныхъ париковъ и накрахмаленнаго этикета маленькихъ дворовъ съ огромными притязаніями.

Любви оно не вселило къ себѣ, совсѣмъ напротивъ, но отъ этого оно не слабже стало. Я былъ удивленъ въ 1863 общей нелюбовью въ Неаполѣ къ правительству. Въ 1867 въ Венеціи я видѣлъ безъ малѣйшаго удивленія, что, черезъ три мѣсяца послѣ освобожденія, его терпѣть не могли. Но при этомъ я еще яснѣе увидѣлъ, *что бояться ему нечего*, если оно само не надѣлаетъ ряда колоссальныхъ глупостей, хотя и онѣ ему сходятъ съ рукъ необыкновенно легко.

Примѣръ того и другого передъ глазами, я его приведу въ нѣсколькихъ строкахъ.

Къ разнымъ каламбурамъ, которыми правительства иногда удостоиваютъ отводить народамъ глаза, въ родѣ: «*Prisonniers de la paix*» Людовика Филиппа, «Имперія—миръ» Людовика Наполеона, Риказоли прибавилъ свой,—и законъ, которымъ *закрѣплялъ большую часть* достоянія духовенству, наввалъ закономъ «*о свободѣ (или независимости) церкви въ свободномъ государствѣ*». Всѣ недоросли либерализма, всѣ люди, не идущіе дальше заглавія,

¹⁾ Одинъ милѣйшій венгерецъ, графъ С. Т., служившій потомъ въ Италіи кавалерійскимъ полковникомъ, смѣясь какъ-то надъ мишурной роскошью флорентійскихъ щеголей, сказалъ мнѣ: „Помните бѣгъ въ Москвѣ или гулянье... глупо, но имѣетъ характеръ: кучеръ налить виномъ, шапка на бекрень, лошади въ нѣсколько тысячъ рублей, и баринъ замираетъ въ блаженствѣ и соболяхъ. А тутъ тошій графъ какой-нибудь заложитъ чохлыхъ клячъ, съ тикомъ въ ногахъ, прядущихъ головой, и тотъ же неуклюжій, худенькой Жакопо, который у него садовникъ и поваръ, сидитъ на козлахъ, дергаетъ возжи, одѣтый въ ливрею не по мѣрѣ, а графъ проситъ его: Жакопо. Жакопо. *fate una grande e bella figura*. Я прошу у графа Т. ссудить меня этимъ выраженіемъ.

обрадовались. Министерство, скрывая улыбку, торжествовало побѣду; сдѣлка была явнымъ образомъ выгодна духовенству. Явился бельгійскій грѣшникъ и мытарь, за котораго спрятались отцы іезуиты. Онъ привезъ съ собой груды золота, цвѣтъ котораго въ Италіи давно не видали, и предлагалъ большую сумму правительству съ тѣмъ, чтобъ обезпечить духовенству законное владѣніе имѣніями, выпитанными на духу, набранными у умирающихъ преступниковъ и всякихъ нищихъ духомъ.

Правительство видѣло одно—деньги; дураки—другое: *американскую* свободу церкви въ свободномъ государствѣ. Теперь же въ модѣ прикидывать европейскія учрежденія на американскій ярды. Герцогъ Персиньи находитъ неумѣренное сходство между второй имперіей и первой республикой нашего времени.

Однако какъ ни хитрили Риказоли и Шиаола, камера, составленная очень пестро и посредственно, стала понимать, что игра была подтасована и подтасована безъ нея. Банкиръ прикидывался импрессариємъ и старался скупать итальянскіе голоса, но на этотъ разъ дѣло было въ февралѣ, камера охрипла. Въ Неаполѣ подняли ропотъ, въ Венеціи созвали сходку въ театрѣ Малибранъ для протеста. Риказоли велѣлъ запретить театръ и поставить часовыхъ. Безъ сомнѣнія, изъ всѣхъ промаховъ, которые можно было сдѣлать, нельзя было ничего придумать глупѣе. Венеція, только что освобожденная, хотѣла воспользоваться оппозиционнымъ правомъ и была полицейски подрѣзана. Собираться для празднованія короля и подносить букеты *al gran comendatore* Ламармора ничего не значить. Если-бъ венеціанцы хотѣли дѣлать сходки для празднованія австрійскихъ архидюковъ, имъ, конечно, позволили бы. Опасности сходка въ театрѣ Малибранъ не представляла никакой.

Камера вострепелась и спросила отчета. Риказоли отвѣчалъ дерзко, высокоумно, какъ подобаетъ послѣднему представителю Рауля-Синей бороды, средневѣковому графу и феодалу. Камера, «увѣренная, что министерство не желаетъ уменьшить право сходокъ», хотѣла перейти къ очереди. Рауль, взбѣшенный уже тѣмъ, что его законъ «о свободѣ церкви», въ которомъ онъ не сомнѣвался, сталъ проваливаться въ комитетахъ, объявилъ, что онъ не можетъ принять *ordre du jour motivé*. Обиженная камера вотировала противъ него. За такую продерзость онъ на другой день отсрочилъ камеру, на третій распустилъ, на четвертый думалъ еще о какой-то крутой мѣрѣ, но, говорятъ, Чальдини сказалъ королю, что на войско разсчитывать трудно.

Бывали примѣры, что правительства, зарпортовавшись, приискивали дѣльный предлогъ, чтобъ сдѣлать гадость или скрыть ее, а эти господа сыскали самый нелѣпый предлогъ, чтобъ засви-

дѣлствовать свое пораженіе. Если правительство будетъ дальше и рѣше идти этимъ путемъ, можетъ, оно и сломить себѣ шею; рассчитывать, предвидѣть можно только то, что сколько-нибудь покорно разуму; всемогущество безумія не имѣетъ границъ, хотя и имѣетъ почти всегда возлѣ какого-нибудь Чальдини, который въ опасную минуту выльетъ шайку холодной воды на голову.

А если Италія вживется въ этотъ порядокъ, сложится въ немъ, она его не вынесетъ безнаказанно. Такого призрочнаго міра лжи и пустыхъ словъ, фразъ безъ содержанія трудно переработать народу *менѣе бывалому*, чѣмъ французы. У Франціи все *не въ самомъ дѣлѣ*, но все есть, хоть для вида и показа; она какъ старики, впавшіе въ дѣтство, увлекается игрушками; подъ часъ и догадывается, что ея лошади деревянные, но хочетъ обманываться. Италія не совладаетъ съ этими тѣнями китайскаго фонаря, съ лунной независимостью, освѣщаемой въ три четверти тюльерійскимъ солнцемъ, съ церковью, презираемой и ненавидимой, за которой ухаживаютъ, какъ за безумной бабушкой въ ожиданіи ея скорой смерти. Картофельное тѣсто парламентаризма и риторика камеръ не дасть итальянцу здоровья. Его забьетъ, сведетъ съ ума эта мнимая пища и не въ самомъ дѣлѣ борьба. А другого ничего не готовится. Что же дѣлать? гдѣ выходъ? Не знаю, развѣ въ томъ, что, провозгласивши въ Римѣ единство Италіи, вслѣдъ за тѣмъ провозгласить ея распаденіе на самобытныя, самозаконныя части, едва связанные между собой. Въ десяти живыхъ узлахъ можетъ больше выработаться, если есть чему вырабатываться, оно же и совершенно въ духѣ Италіи.

...Середь этихъ разсужденій мнѣ попалась брошюра Кине: «Франція и Германія»; я ей ужасно обрадовался, не то чтобъ я особенно зависѣлъ отъ сужденій знаменитаго историка-мыслителя, котораго лично очень уважаю, но я обрадовался не за себя.

Въ старые годы въ Петербургѣ одинъ пріятель, извѣстный своимъ юморомъ, найдя у меня на столѣ книгу берлинскаго Мишле «о безсмертіи духа», оставилъ мнѣ записочку слѣдующаго содержанія: «Любезный другъ, когда ты прочтешь эту книгу, потрудишься сообщить мнѣ вкратцѣ, есть безсмертіе души или нѣтъ. Мнѣ все равно, но желалъ бы знать для *«успокоенія родственниковъ»*. Вотъ для *родственниковъ*-то и я радъ тому, что встрѣтился съ Кине. Наши друзья до сихъ поръ, несмотря на заносчивую позу, которую многіе изъ нихъ приняли относительно европейскихъ авторитетовъ, ихъ больше слушаютъ, чѣмъ своего брата. Оттого-то я и старался, когда могъ, ставить свою мысль подъ покровительство европейской нянюшки. Ухватившись за Прудона, я говорилъ, что у дверей Франціи не Катилина, а смерть; держась за полу Стюарта Милля, я твердилъ объ англійскомъ китаизмѣ и

очень доволенъ, что могу взять за руку Кине и сказать: «Вотъ и почтенный другъ мой Кине говорить въ 1867 о латинской Европѣ то, что я говорилъ обо всей въ 1847 и во всё послѣдующіе».

Кине съ ужасомъ и грустью видитъ пониженіе Франціи, смягченіе ея мозга, ея омелчаніе. Причины онъ не понимаетъ, ищетъ ее въ отклоненіи Франціи отъ началъ 1789 года, въ потерѣ политической свободы и потому въ его словахъ изъ-за печали сквозить скрытая надежда на выздоровленіе возвращеніемъ къ серьезному парламентскому режиму, къ великимъ принципамъ революціи.

Кине не замѣчаетъ, что великія начала, о которыхъ онъ говоритъ, и вообще политическія идеи латинскаго міра потеряли свое значеніе, ихъ пружина доиграла и чуть-ли не лопнула. *Les principes de 1789* не были фразой, но теперь стали фразой. Заслута ихъ огромна, *ими, черезъ нихъ* Франція совершила свою революцію, она приподняла завѣсу будущаго и испуганная отпрянула.

Явилась дилемма.

Или свободныя учрежденія снова коснутся завѣтной завѣсы, или правительственная опека, внѣшній порядокъ и внутреннее рабство.

Если-бъ въ европейской народной жизни была одна цѣль, одно стремленіе, та или другая сторона взяла бы давно верхъ. Но такъ, какъ сложилась западная исторія, она привела къ вѣчной борьбѣ. Въ основномъ бытовомъ фактѣ двойного образованія лежитъ органическое препятствіе послѣдовательному развитію. Жить въ двѣ цивилизаціи, въ два пласта, въ два свѣта, въ два возраста, жить не цѣлымъ организмомъ, а одной частью его, употреблять на топливо и кормъ другую и повторять о свободѣ и равенствѣ становится труднѣе и труднѣе.

Опыты выйти къ болѣе гармоническому, уравновѣшенному строю не имѣли успѣха. Но если они не имѣли успѣха въ данномъ мѣстѣ, это больше доказываетъ неспособность мѣста, чѣмъ ложность начала.

Въ этомъ-то и лежитъ вся сущность дѣла.

Сѣверо-американскіе штаты съ своимъ единствомъ цивилизаціи легко опережаютъ Европу, ихъ положеніе проще. Уровень ихъ цивилизаціи ниже западно-европейскаго, *но онъ одинъ* и до него достигаютъ *всѣ*, и въ этомъ ихъ страшная сила.

Двадцать лѣтъ тому назадъ Франція рванулась титанически къ другой жизни, борясь въ потьмахъ, бессмысленно, безъ плана и другого знанія, кромѣ знанія нестерпимой боли; она была побита «порядкомъ и цивилизаціей», а отступилъ побѣдитель. Буржуазіи пришлось за печальную побѣду свою заплатить всѣмъ,

что она выработала вѣками усилій, жертвъ, войнъ и революцій, лучшими плодами своего образованія.

Центры силъ, пути развитія, все измѣнилось, скрывшаяся дѣятельность, подавленная работа общественнаго пересозданія бросились въ другія части, за французскую границу.

Какъ только нѣмцы убѣдились, что французскій берегъ понизился, что страшныя революціонныя идеи ея поветшали, что бояться ея нечего, — изъ-за крѣпостныхъ стѣнъ прирейнскихъ показалась прусская каска.

Франція все пятилась, каска все выдвигалась. Своихъ Бисмаркъ никогда не уважалъ, онъ наострилъ оба уха въ сторону Франціи, онъ нюхалъ воздухъ оттуда и, убѣдившись въ прочномъ пониженіи страны, онъ понялъ, что время Пруссіи настало. Понявши, онъ заказалъ планъ Мольтке, заказалъ иголки оружейникамъ и систематически, съ нѣмецкой, безцеремонной грубостью забрала спѣлыя нѣмецкія груши и ссыпалъ смѣшному Фридриху Вильгельму въ фартукъ, увѣривъ его, что онъ герой.

Я не вѣрю, что въ судьбы міра оставались надолго въ рукахъ нѣмцевъ и Гогенцоллерновъ. Это невозможно, это противно человѣческому смыслу, противно исторической эстетикѣ. Я скажу, какъ Кентъ Лиру, только обратно: «Въ тебѣ, Боруссія, нѣтъ ничего, что бы я могъ назвать царемъ». Но все же Пруссія отодвинула Францію на второй планъ и сама сѣла на первое мѣсто. Но все же, окрасивъ въ одинъ цвѣтъ пестрые лоскутья нѣмецкаго отечества, она будетъ предписывать законы Европы до тѣхъ поръ, пока законы ея будутъ предписывать штыкомъ и исполнять картечью, по самой простой причинѣ, потому что у нея больше штыковъ и больше картечей.

За прусской волной подымется уже *другая*, не очень заботясь, нравится это или нѣтъ классическимъ старикамъ.

Англія хитро хранитъ *видъ силы*, отошедши въ сторону, будто гордая въ своемъ мнимомъ неучастіи... Она почувствовала въ глубинѣ своихъ внутренностей ту же социальную боль, которую она такъ легко вылечила въ 1848 полицейскими палками... Но потути посильнѣй... и она втягиваетъ далеко хватающіе щупальцы свои на домашнюю борьбу.

Франція, удивленная, сконфуженная переменой положенія, грозитъ не Пруссіи войной, а Италіи, если она дотронется до временныхъ владѣній *вѣчнаго* отца, и собираетъ деньги на памятникъ Вольтеру.

Воскреситъ ли латинскую Европу дерущая уши прусская труба *послѣдняго* военнаго суда, разбудитъ ли ее приближеніе *ученыхъ* варваровъ?

Chi lo sa?

... Я пріѣхалъ въ Геную съ американцами, только что переплывшими океанъ. Генуя ихъ поразила. Все читанное ими въ книгахъ о старомъ свѣтѣ они увидѣли очью и не могли насмотрѣться на средневѣковыя улицы, гористыя, узкія, черныя, на необычайной вышины дома, на полуразрушенные переходы, укрѣпленія и проч.

Мы вошли въ сѣни какого-то дворца. Крикъ восторга вырвался у одного изъ американцевъ: «Какъ эти люди жили, повторялъ онъ, какъ они жили! Что за размѣры, что за изящество! Нѣтъ, ничего подобнаго вы не найдете у насъ». И онъ готовъ былъ покраснѣть за свою Америку. Мы заглянули внутрь огромной залы. Былые хозяева ихъ въ портретахъ, картины, картины, стѣны, сдавшія цвѣтъ, старая мебель, старые гербы, нежилой воздухъ, пустота и старикъ кустодъ въ черной вязаной скуфѣ, въ черномъ потертомъ сюртукѣ, съ связкой ключей... все такъ и говорило, что это ужъ не домъ, а рѣдкость, саркофагъ, *пыльный слѣдъ прошедшей жизни*.

— Да, сказалъ я, выходя, американцамъ, вы совершенно правы, люди эти хорошо жили.

(Мартъ, 1867).

La belle France.

Ah! que j'ai douce souvenance
De ce beau pays de France!

I.

Ante portas.

Франція была для меня заперта. Годъ спустя послѣ моего приѣзда въ Ниццу, лѣтомъ 1851, я написалъ письмо Леону Фоше, тогдашнему министру внутреннихъ дѣлъ, и просилъ его дозволенія приѣхать на нѣсколько дней въ Парижъ. «У меня въ Парижѣ домъ и я долженъ имъ заняться»; истый экономистъ не могъ не сдаться на это доказательство и я получилъ разрѣшеніе приѣхать «на самое короткое время».

Въ 1852 я просилъ право проѣхать Франціей въ Англію,—*отказъ*. Въ 1856 я хотѣлъ возвратиться изъ Англіи въ Швейцарію и снова просилъ визы,—*отказъ*. Я написалъ въ фрибургскій Conseil d'Etat, что я отрѣзанъ отъ Швейцаріи и долженъ или ѣхать тайкомъ, или черезъ Гибралтарскій проливъ, или, наконецъ, черезъ Германію. Въ силу чего я просилъ Conseil d'Etat вступить въ сношеніе съ французскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, требуя для меня проѣзда черезъ Францію. Совѣтъ отвѣчалъ мнѣ, 19 октября 1856 года, слѣдующимъ письмомъ:

М. Г.

Вслѣдствіе вашего желанія, мы поручили швейцарскому министру въ Парижѣ сдѣлать необходимые шаги для полученія вамъ авторизаціи проѣхать Франціей, возвращаясь въ Швейцарію. Мы передаемъ вамъ текстуально отвѣтъ, полученный швейцарскимъ министромъ: „Г. Велевскій долженъ былъ совѣщаться по этому предмету съ своимъ товарищемъ внутреннихъ дѣлъ; *соображенія особенной важности*, сообщилъ ему м. в. д., заставили отказать г. Герцену въ правѣ проѣзда Франціей въ прошломъ августѣ, что онъ не можетъ измѣнить своего рѣшенія“, и пр.

Я не имѣлъ ничего общаго съ французами, кромѣ простого знакомства; не былъ ни въ какой конспираціи, ни въ какомъ обществѣ, и занимался тогда уже исключительно русской пропа-

гандой. Все это французская полиція, единая всезнающая, единая національная, и потому безгранично сильная, знала превосходно. На меня *гнѣвались* за мои статьи и связи.

Про этотъ гнѣвъ нельзя не сказать, что онъ вышелъ изъ *границъ*. Въ 1859 году я поѣхалъ на нѣсколько дней въ Брюссель съ моимъ сыномъ. Ни въ Остенде, ни въ Брюсселѣ паспорта не спрашивали. Дней черезъ шесть, когда я возвратился вечеромъ въ отель, слуга, подавая свѣчу, сказалъ мнѣ, что изъ полиціи требуютъ моего паспорта. «Во время хватились», замѣтилъ я. Слуга проводилъ меня до номера и паспортъ взялъ. Только что я легъ, часу въ первомъ, стучать въ дверь; явился опять тотъ же слуга съ большимъ пакетомъ. «Министръ юстиціи покорно проситъ такого-то явиться завтра въ 11 часовъ утра въ департаментъ de la sureté publique».

— И это вы изъ-за этого ходите ночью будить людей?

— Ждутъ отвѣта.

— Кто?

— Кто-то изъ полиціи.

— Ну, скажите, что буду, да прибавьте, что глупо носить приглашенія послѣ полуночи.

Затѣмъ я, какъ Нулинъ, «свѣчку погасилъ».

На другое утро, въ 8 часовъ, снова стукъ въ дверь. Догадаться было не трудно, что это все дурачится бельгійская юстиція.

— Entrez!

Взошелъ господинъ излишне чисто одѣтый, въ очень новой шляпѣ, съ длинной цѣпочкой, толстой и на видъ золотой, въ свѣжемъ черномъ сюртукѣ и пр.

Я едва, и то отчасти, одѣтый, представлялъ самый странный контрастъ человѣку, который *долженъ* одѣваться такъ тщательно съ семи часовъ утра для того, чтобъ его хоть ошибкой приняли за честнаго человѣка. Авантажъ былъ съ его стороны.

— Я имѣю честь говорить *avec M. Herzen père*?

— C'est selon; какъ возьмемъ дѣло. Съ одной стороны, я отецъ, съ другой, сынъ.

Это развеселило шпиона.

— Я пришелъ къ вамъ...

— Позвольте, чтобъ сказать, что министръ юстиціи меня зоветъ въ 11 часовъ въ департаментъ?

— Точно такъ.

— Затѣмъ же министръ васъ беспокоитъ и притомъ такъ рано? Довольно того, что онъ меня такъ поздно беспокоилъ вчера ночью, приславши этотъ пакетъ.

— Такъ вы будете?

— Непремѣнно.

— Вы знаете дорогу?

— А что же, вамъ велѣно меня провожать?

— Помилуйте, *quelle idée!*

— И такъ...

— Желаю вамъ добраго дня.

— Будьте здоровы.

Въ 11 часовъ я сидѣлъ у начальника бельгійской общественной безопасности.

Онъ держалъ какую-то тетрадку и мой паспортъ.

— Извините меня, что мы васъ побеспокоили, но видите, тутъ два небольшихъ обстоятельства: во-первыхъ, у васъ паспортъ швейцарскій, а...—онъ, съ полицейской проницательностью, испытывая меня, остановилъ на мнѣ свой взглядъ.

— *А я русскій*, добавилъ я.

— Да, признаюсь, это показалось намъ странно.

— Отчего же, развѣ въ Бельгii нѣтъ закона о натурализаціи?

— Да вы?...

— Натурализованъ десять лѣтъ тому назадъ въ Моратѣ, фрибургскаго кантона, въ деревнѣ Шатель.

— Конечно, *если такъ*, въ такомъ случаѣ я не смѣю сомнѣваться... Мы перейдемъ ко второму затрудненію. Года три тому назадъ вы спрашивали дозволенія пріѣхать въ Брюссель и получили отказъ...

— Этого, *mille pardon*, не было и быть не могло. Какое же я имѣлъ бы мнѣніе о *свободной* Бельгii, если-бъ я, некогда не высланный изъ нея, усомнился въ правѣ моемъ пріѣхать въ Брюссель?

Начальникъ общественной безопасности нѣсколько смутился.

— Однако, вотъ тутъ... и онъ развернулъ тетрадь.

— Видно, не все въ ней вѣрно. Вотъ, вѣдь, вы не знали же, что я натурализованъ въ Швейцарii.

— Такъ-съ. Консулъ е. в. Дельпьеръ...

— Не беспокойтесь, остальное я вамъ расскажу. Я спрашивалъ вашего консула въ Лондонѣ, могу ли я перевести въ Брюссель русскую типографію, т. е., оставить ли типографію въ покоѣ, если я не буду мѣшаться въ бельгійскія дѣла, на что у меня не было никогда никакой охоты, *какъ вы легко увидите*. Г. Дельпьеръ спросилъ министра. Министръ просилъ его отклонить меня от моего намѣренія перевести типографію. Консулу вашему было стыдно письменно сообщить министерскій отвѣтъ и онъ просилъ передать мнѣ эту вѣсть, какъ общаго знакомаго, Луи Блана. Я, благодаря Луи Блана, просилъ его успокоить г. Дельпера и увѣ-

рить его, что я съ большей твердостью духа узналъ, что *типографію* не пустятъ въ Брюссель, «если-бъ, прибавилъ я, консулу пришлось мнѣ сообщить обратное, т. е., что меня и типографію во вѣкъ вѣковъ *не выпустятъ изъ Брюсселя*, можетъ, я не нашелъ бы столько геройства». Видите, я очень помню всѣ обстоятельства.

Охранитель общественной безопасности слегка прочистилъ голосъ и, читая тетрадку, замѣтилъ:

— Дѣйствительно, такъ, я о типографіи и не замѣтилъ. Впрочемъ, я полагаю, вамъ все-таки необходимо разрѣшеніе отъ министра; иначе, какъ это ни непріятно будетъ для насъ, но мы будемъ вынуждены просить васъ...

— Я завтра ѣду.

— Помилуйте, никто не требуетъ такой поспѣшности; оставайтесь недѣлю, двѣ. Мы говоримъ насчетъ осѣдлой жизни... Я почти увѣренъ, что министръ разрѣшитъ.

— Я могу его просить для будущихъ временъ, но теперь я не имѣю ни малѣйшаго желанія дольше оставаться въ Брюсселѣ.

Тѣмъ исторія и кончилась.

— Я забылъ одно, запутавшись въ объясненіи,—сказалъ мнѣ опасливый хранитель безопасности,—мы малы, мы малы, вотъ наша бѣда; il y a des égards...—ему было стыдно.

Два года спустя, меньшая дочь моя, жившая въ Парижѣ, занемогла. Я опять потребовалъ визы и Персиньи опять отказалъ. Въ это время графъ Ксаверій Браницкій былъ въ Лондонѣ. Обѣдая у него, я рассказалъ объ отказѣ.

— Напишите къ принцу Наполеону письмо, сказалъ Браницкій, я ему доставлю.

— Съ какой же стати буду я писать принцу?

— Это правда, пишите къ императору. Завтра я ѣду и послѣ завтра ваше письмо будетъ въ его рукахъ.

— Это скорѣе, дайте подумать.

Пріѣхавъ домой, я написалъ слѣдующее письмо:

Sire,

Больше десяти лѣтъ тому назадъ, я былъ вынужденъ оставить Францію по министерскому распоряженію. Съ тѣхъ поръ мнѣ два раза былъ разрѣшенъ пріѣздъ въ Парижъ ¹⁾. Впослѣдствіи мнѣ постоянно отказывали въ правѣ вѣзжать во

¹⁾ Второй разъ мнѣ былъ разрѣшенъ пріѣздъ въ Парижъ въ 1853. по случаю болѣзни М. К. Рейхель. Этотъ пропускъ я получилъ по просьбѣ Ротшильда. Болѣзнь М. К. прошла и я имъ не воспользовался. Года черезъ два мнѣ объявили въ французскомъ консульствѣ, что такъ какъ я тогда не ѣздилъ, то пропускъ не имѣетъ больше значенія.

Францію; между тѣмъ въ Парижѣ воспитывается одна изъ монашескихъ дочерей и я имѣю тамъ собственный домъ.

Я беру смѣлость отнести прямо къ в. в. съ просьбой о разрѣшеніи мнѣ вѣзда во Францію и пребыванія въ Парижѣ, насколько потребуютъ дѣла, и буду съ довѣріемъ и уваженіемъ ждать вашего рѣшенія.

Во всякомъ случаѣ. *Sire*, я даю слово, что желаніе мое имѣть право ѣздить во Францію не имѣетъ никакой политической цѣли.

Остаюсь съ глубочайшимъ почтеніемъ
вашего величества
покорнѣйшимъ слугой

А. Г.

31 мая. 1861.

Лондонъ, Орсеѣ Гаусъ, Уэстборнъ Террасъ.

Браницкій нашелъ, что письмо *сухо*, потому, вѣроятно, и не достигнетъ цѣли. Я сказалъ ему, что другого письма не напишу, и что, если онъ хочетъ сдѣлать мнѣ услугу, пусть его передастъ, а возьметъ раздумье, пусть броситъ въ каминъ. Разговоръ этотъ былъ на желѣзной дорогѣ. Онъ уѣхалъ.

А черезъ четыре дня я получилъ слѣдующее письмо изъ французскаго посольства:

Парижъ, 3 іюня, 1861.

Кабинетъ
Префекта полиціи.
I бюро

М. Г.

По приказанію императора имѣю честь сообщить вамъ, что е. в. разрѣшаетъ вамъ вѣздъ во Францію и пребываніе въ Парижѣ всякій разъ, когда дѣла ваши этого потребуютъ такъ, какъ вы просили вашимъ письмомъ отъ 31 мая.

Вы можете, слѣдственно, свободно путешествовать во всей имперіи, сообщаясь съ общепринятыми формальностями.

Примите, м. г., и проч.

Префектъ полиціи.

Затѣмъ подписъ эксцентрически вкось, которую нельзя прочесть и которая похожа на все, но не на фамилію Boitelle.

Въ тотъ же день пришло письмо отъ Браницкаго. Принцъ Наполеонъ сообщалъ ему слѣдующую записку императора: «Любезный Наполеонъ, сообщая тебѣ, что я сейчасъ разрѣшилъ вѣздъ *господину* ¹⁾ Герцену во Францію и приказалъ ему выдать паспортъ.

Послѣ этого «подвысь!» Шлагбаумъ, опущенный въ продолженіи одиннадцати лѣтъ, поднялся, и я отправился черезъ мѣсяцъ въ Парижъ.

¹⁾ Я отмѣтилъ слово *господинъ*, потому что при моей высылкѣ префектура постоянно писала *monsieur*, а Наполеонъ въ запискѣ написалъ слово *monsieur* всѣми буквами.

II.

Intra muros.

— Maame Erstin! кричалъ мрачный съ огромными усами жандармъ въ Кале, возлѣ рогатки, черезъ которую должны были проходить во Францію одинъ за однимъ путешественники, только-что сошедшіе на берегъ съ дуврскаго парохода и загнанные въ каменный сарай таможенными и другими надзирателями. Путешественники подходили, жандармъ отдавалъ пассы, комиссаръ полиціи допрашивалъ глазами, а гдѣ находилъ нужнымъ, языкомъ, и одобренный и найденный безопаснымъ для имперіи терялся за рогаткой.

На крикъ жандарма въ этотъ разъ никто изъ путешественниковъ не двинулся.

— Mame Ogle Erstin! кричалъ, прибавляя голоса и махая паспортомъ, жандармъ. Никто не откликнулся.

— Да что же, никого что ли нѣтъ съ этимъ именемъ, кричалъ жандармъ и, посмотрѣвъ въ бумагу, прибавилъ:—Mamselle Ogle Erstin!

Тутъ только дѣвочка лѣтъ десяти, т. е., моя дочь Ольга, догадалась, что защитникъ порядка вызывалъ ее съ такимъ неистовствомъ.

— Avancez donc, prenez vos papiers! свирѣпо командовалъ жандармъ.

— Ольга взяла пассъ и, прижавшись къ М., потихоньку спросила ее:—Est-ce que c'est l'empereur?

Это было съ ней въ 1860 году, а со мной случилось черезъ годъ еще хуже, и не у рогатки въ Кале (уже не существующей теперь), а *вездѣ*: въ вагонѣ, на улицѣ, въ Парижѣ, въ провинціи, въ домѣ, во снѣ, на-яву, вездѣ стоялъ передо мной самъ императоръ съ длинными усами, засмоленными въ ниточку, съ глазами безъ взгляда, съ ртомъ безъ словъ. Не только жандармы, мерещились мнѣ Наполеонами, но солдаты, сидѣльцы, гарсоны и особенно кондукторы желѣзныхъ дорогъ и omnibusовъ. Шелъ ли я обѣдать въ Maison d'or, Наполеонъ, въ одной изъ своихъ лпостасей, обѣдалъ черезъ столъ и спрашивалъ трюфли въ салфеткѣ; отправлялся ли я въ театръ, онъ сидѣлъ въ томъ же ряду, да еще другой ходилъ на сценѣ. Бѣжалъ ли я отъ него за городъ, онъ шелъ по пятамъ дальше булонскаго лѣса, въ сюртукѣ плотно застегнутомъ, въ усахъ съ круто нафабранными кончиками. Гдѣ же его нѣтъ? На балѣ въ Мабиль? На обѣднѣ въ Мадленъ? Непремѣнно тамъ и тутъ.

La révolution s'est fait homme. «Революція воплотилась въ человѣкѣ» была—одна изъ любимыхъ фразъ доктринерскаго жаргона

временъ Тьера и либеральныхъ историковъ луй-филипповскихъ временъ; а тутъ похитрѣ: «революція и реакція», порядокъ и безпорядокъ, *впередъ* и *назадъ* воплотились въ одномъ человѣкѣ и этотъ человѣкъ, въ свою очередь, перевоплотился во всю администрацію, отъ министровъ до сельскихъ сторожей, отъ сенаторовъ до деревенскихъ меровъ... разсыпался пѣхотой, поплылъ флотомъ.

Человѣкъ этотъ не поэтъ, не пророкъ, не побѣдитель, не эксцентричность, не геній, не талантъ; а холодный, молчаливый, угрюмый, некрасивый, расчетливый, настойчивый, прозаическій, господинъ «среднихъ лѣтъ, ни толстый, ни худой». Le bourgeois буржуазной Франціи, l'homme du destin, le neveu du grand homme, плететъ. Онъ уничтожаетъ, осредотворяетъ въ себѣ всѣ рѣзкія стороны національнаго характера и всѣ стремленія народа, какъ вершинная точка горы или пирамиды оканчивается цѣлую гору *ничѣмъ*.

Въ 49, въ 50 годахъ я не угадалъ Наполеона III. Увлекаемый демократической риторикой, я дурно его оцѣнилъ. 1861 годъ былъ одинъ изъ самыхъ лучшихъ для имперіи, все обстояло благополучно, все уравнилось, примирилось, покорилося новому порядку. Оппозицій и смѣлыхъ мыслей было ровно на столько, на сколько надобно для тѣни и слегка прянаго вкуса. Лабуле очень умно хвалилъ Нью-Йоркъ въ пику Парижу, Прево Парадолъ Австрію въ пику Франціи. По дѣлу Миреса дѣлали анонимные намеки. Папу было дозволено исподволь ругать, польскому движенію слегка сочувствовать. Были кружки, собиравшіеся пофрондерствовать, какъ, бывало, мы собирались въ Москвѣ въ сороковыхъ годахъ у кого-нибудь изъ старыхъ пріятелей. Были даже свои недовольныя знаменитости, въ родѣ статскихъ Ермоловыхъ, какъ Гизо. Остальное все было прибито градомъ. И никто не жаловался, отдыхъ еще нравился такъ, какъ нравится первая недѣля поста съ своимъ хрѣномъ да капустой послѣ семидневнаго масла и пьянства на масленицѣ. Кому постное было не по вкусу, того трудно было видѣть: онъ исчезалъ на короткое или долгое время и возвращался съ исправленнымъ вкусомъ изъ Ламбессы или изъ Мазаса. Полиція, la grande police, замѣнившая la grande armée, была вездѣ во всякое время. Въ литературѣ—плоскій штиль; плохіе лодочники плавали спокойно на плохихъ лодкахъ по нѣкогда бурному морю. Пошлость пьесъ, даваемыхъ на всѣхъ сценахъ, наводила къ ночи тяжелую сонливость, которая утромъ поддерживалась безсмысленными журналами. Журналистика въ прежнемъ смыслѣ не существовала. Главные органы представляли не интересы, а фирмы. Послѣ leading article лондонскихъ газетъ, писанныхъ сжатымъ, дѣловымъ слогомъ, съ

«нервомъ», какъ говорятъ французы, и «мышцами», premiers Paris нельзя было читать. Риторическія декорачіи, полинялыя и и потертыя, и тѣ же возгласы, сдѣлавшіеся больше чѣмъ смѣшными, гадкими по явному противорѣчію съ фактами, замѣняли содержаніе. Страждущія народности постоянно приглашались по прежнему надѣяться на Францію, она все-таки оставалась «во главѣ великаго движенія» и все еще несла міру революцію, свободу и великіе принципы 1789 года. Оппозиція дѣлалась подъ знаменемъ бонапартизма. Это были нюансы одного и того же цвѣта, но ихъ можно было означать въ томъ родѣ, какъ моряки означаютъ промежуточные вѣтры: N. N. W., N. W. N., N W. W., W. N. W... Бонапартизмъ отчаянный, бѣснующійся, умѣренный; бонапартизмъ монархическій, бонапартизмъ республиканскій, демократическій и социальный; бонапартизмъ мирный, военный, революціонный, консервативный, наконецъ, палерояльскій и тюльерійскій... Вечеромъ поздно бѣгали по редакціямъ какіе-то господа, ставившіе на мѣсто стрѣлку газетъ, если она гдѣ уходила далеко за N. къ W. или E. Они повѣряли время по хронометру префектуры, вымарывали, прибавляли и торопились въ слѣдующую редакцію.

... Въ кафѣ, читая вечерній журналъ, въ которомъ было написано, что адвокатъ Миреса отказался указать какое-то употребленіе суммъ, говоря, что тутъ замѣшаны «слишкомъ высоко поставленныя лица», я сказалъ кому-то изъ знакомыхъ: «Да какъ же прокуроръ не заставилъ его назвать и какъ же не требуютъ этого журналы?» Знакомый дернулъ меня за пальто, оглядѣлся, сдѣлалъ знакъ глазами, руками, тростью. Я не даромъ жилъ въ Петербургѣ, понялъ его и сталъ разсуждать объ абсентѣ съ зельтерской водой.

Выходя изъ кафе, я увидѣлъ крошечнаго человѣка, бѣгущаго на меня съ крошечными объятіями. На близкомъ разстояніи я разглядѣлъ Даримона.

— Какъ вы должны быть счастливы, говорилъ лѣвый депутатъ, возвратившись въ Парижъ! Ah! je m' imagine!

— Не то чтобъ особенно!

Даримонъ остолбенѣлъ.

— Ну, что madame Darimon и вашъ маленькій, который вѣрно теперь вашъ большой, особенно если онъ не беретъ въ ростъ примѣра съ отца?

— Toujours le même, ха, ха, ха, très-bien—и мы разстались.

Тяжело мнѣ было въ Парижѣ и я только свободно вздохнулъ, когда черезъ мѣсяцъ, сквозь дождь и туманъ, опять увидѣлъ грязно-бѣлые, мѣловые берега Англіи. Все, что жало, какъ узкіе башмаки, при Людовикѣ Филиппѣ, жало теперь какъ колодка.

Промежуточныхъ явленій, которыми упрочивался и прилаживался новый порядокъ, я не видалъ, а нашелъ его черезъ десять лѣтъ совершенно *готовымъ и сложившимся*... Къ тому же я Парижъ не узнавалъ, мнѣ были чужды его перестроенныя улицы, недостроенные дворцы и пуще всего встрѣчавшіеся люди. Это не тотъ Парижъ, который я любилъ и ненавидѣлъ, не тотъ, въ который я стремился съ дѣтства, не тотъ, который покидалъ съ проклятьемъ на губахъ. Это Парижъ, утратившій свою личность, равнодушный, откипѣвшій. Сильная рука давила его вездѣ и всякую пинуту готова была притянуть вожжи, — но это было ненужно; Парижъ *принялъ tout de bon* вторую имперію, у него едва оставались наружныя привычки прежняго времени. У «недовольныхъ» ничего не было серьезнаго и сильнаго, что бы они могли противопоставить имперіи. Воспоминанія тацитовскихъ республиканцевъ и неопредѣленные идеалы социалистовъ не могли потрясти цезарскій тронъ. Съ «фантазіями» *надзоръ полиціи* боролся не серьезно, онъ его сердили не какъ опасность, а какъ безпорядокъ и безчинство. «Воспоминанія» досаждали больше «надеждъ», орлеанистовъ держали строже. Иногда самодержавная полиція неожиданно разражалась ударомъ, несправедливымъ и грубымъ, грозно напоминая о себѣ: она нарочно распространяла ужасъ на два квартала и на два мѣсяца, и снова уходила въ щели префектуры и коридоры министерскихъ домовъ.

Въ сущности все было тихо. Два самыхъ сильныхъ протеста были не французскіе: покушеніями Піанори и Орсини мстила Италія, мстилъ Римъ. Дѣло Орсини, испугавшее Наполеона, было принято за достаточный предлогъ, чтобъ нанести послѣдній ударъ—*coup de grâces*. Онъ удался. Страна, которая вынесла законы о подозрительныхъ людяхъ Эспинаса, дала свой залогъ. Надобно было испугать, показать, что полиція ни передъ чѣмъ не остановится, надобно было сломить всякое понятіе о правѣ, о человѣческомъ достоинствѣ, надобно было несправедливостью поразить умы, приучить къ ней и ею доказать свою власть. Очитивъ Парижъ отъ *подозрительныхъ* людей, Эспинасъ приказалъ префектамъ въ *каждомъ* департаментѣ открыть заговоръ, замѣшать въ него не меньше десяти человѣкъ заявленныхъ враговъ имперіи, арестовать ихъ и представить на распоряженіе министра. Министръ имѣлъ право ссылатъ въ Кайенну, Ламбессу, безъ слѣдствія, безъ отчета и отвѣтственности. Человѣкъ сосланный погибалъ, ни оправданья, ни протеста не могло и быть; онъ не былъ судимъ, могла быть одна монаршая милость. «Получаю это приказаніе», рассказывалъ префектъ Н. нашему поэту Ө. Т., «что тутъ дѣлать? Ломалъ себѣ голову, ломалъ... положеніе затруднительное и непріятное; наконецъ, мнѣ пришла счастливая

мысль, какъ вывернуться. Я посылаю за комиссаромъ полиціи и говорю ему: можете вы въ самомъ скоромъ времени найти мнѣ десятокъ отчаянныхъ негодяевъ, воровъ, не уличенныхъ по суду и т. п. Комиссаръ говоритъ, что ничего нѣтъ легче. Ну, такъ составьте списокъ, мы ихъ нынче ночью арестуемъ и потомъ представимъ министру, какъ возмутителей».—Ну, что же? спросилъ Т. «Мы ихъ представили, министръ ихъ отправилъ въ Кайенну и весь департаментъ былъ доволенъ, благодарилъ меня, что такъ легко отдѣлался отъ мошенниковъ»,—прибавилъ добрый префектъ, смѣясь.

Правительство прежде устало идти путями террора и насилия, чѣмъ публика и общественное мнѣніе. Времена тишины, покоя, *de la sécurité* наступали не по днямъ, а по часамъ. Мало-помалу разгладились морщины на челѣ полиціи; дерзкій, вызывающій взглядъ шпиона, свирѣпый видъ *sergent de ville* стали смятаться; императоръ мечталъ о разныхъ умныхъ и кроткихъ свободахъ и децентрализаціяхъ. Неподкупные въ усердіи министры удерживали его либеральную горячность.

... Съ 1861, двери были открыты и я проѣзжалъ нѣсколько разъ Парижемъ. Сначала я торопился поскорѣе уѣхать, потомъ и это прошло, я привыкъ къ новому Парижу. Онъ меньше сердилъ. Это былъ другой городъ, огромный, незнакомый. Умственное движеніе, наука, отодвинутыя за Сену, не были видны; политическая жизнь не была слышна. Свои «расширенныя свободы» Наполеонъ далъ; беззубая оппозиція подняла свою лысую голову и затанула старую фразеологию сороковыхъ годовъ; работники не вѣрили имъ, молчали и слабо пробовали ассоціаціи и коопераціи. Парижъ становился больше и больше общимъ европейскимъ рынкомъ, въ которомъ толпилось, толкалось все на свѣтѣ: купцы, пѣвцы, банкиры, дипломаты, аристократы, артисты всѣхъ странъ и, невиданная въ прежнія времена, масса нѣмцевъ. Вкусъ, тонъ, выраженія, все измѣнилось. Блестящая, тяжелая роскошь, металлическая, золотая, цѣнная, замѣнила прежнее эстетическое чувство; въ мелочахъ и одеждѣ хвастались не выборомъ, не умѣньемъ, а дороговизной, возможностью тратъ, и непрерывно толковали о наживѣ, объ игрѣ въ карты, мѣста, фонды. Лоретки давали тонъ дамамъ. Женское образованіе пало на степень прежняго итальянскаго.

— *L'empire, l'empire...* вотъ гдѣ зло, вотъ гдѣ бѣда... Нѣтъ, причина глубже. *Sire, vous avez un cancer rentré*, говоритъ Антомарки;—*un Waterloo rentré*, отвѣчаетъ Наполеонъ. А тутъ двѣ, три революціи *rentrées, avortées*, внутрь взошедшія, недоношенные и выкинутыя.

Оттого ли Франція не донашивается, что она слишкомъ рано,

слишкомъ поспѣшно попала въ интересное положеніе и хотѣла отдѣлаться отъ него кесаревымъ сѣченіемъ; оттого ли, что духа хватило на рубку головъ, а на рубку идей не достало; оттого ли, что изъ революціи сдѣлали армію и права человѣка покровили святой водой; оттого ли, что масса была покрыта тьмой и революція дѣлалась не для крестьянъ?

III.

Alpendrucken.

Да здравствуетъ свѣтъ!
Да здравствуетъ разумъ!

Русскіе, не имѣя вблизи горъ, просто говорятъ, что «домовой душилъ». Оно, пожалуй, вѣрноѣ. Дѣйствительно, словно кто-то душитъ, сонъ не ясенъ, но очень страшенъ, дыханье трудно, а дышать надобно вдвое, пульсъ поднять, сердце ударяетъ тяжело и скоро... За вами гнались, гонятся по пятамъ, не то люди, не то привидѣнія, передъ вами мелькаютъ забытые образы, напоминающіе другіе годы и возрасты... тутъ какія-то пропасти, обрывы, скользнула нога, спасенія нѣтъ, вы летите въ темную пустоту, крикъ вырывается невольно,—и вы проснулись... проснулись въ лихорадкѣ, потъ на лбу, дыханье сперто—вы торопитесь къ окну... Свѣжій свѣтлый разсвѣтъ на дворѣ, вѣтеръ осаживаетъ въ одну сторону туманъ, запахъ травы, лѣса, звуки и крики... все *наше* земное... и вы, успокоенные, пьете всѣми легкими утренній воздухъ.

... Меня на дняхъ душилъ домовой, не во снѣ, а на яву, не въ постели, а въ книгѣ, и когда я вырвался изъ нея на свѣтъ, я чуть не вскрикнулъ: «Да здравствуетъ разумъ! нашъ простой, земной разумъ!»

Старикъ Пьеръ Леру, котораго я привыкъ любить и уважать лѣтъ тридцать, принесъ мнѣ свое послѣднее сочиненіе и просилъ непременно прочесть его, «хоть текстъ, а примѣчанія послѣ, когда-нибудь».

«*Книга Іова*, трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, сочиненная Исаеѣмъ и переведенная Пьеромъ Леру». И не только переведенная, но прилаженная къ современнымъ вопросамъ.

Я прочелъ *весь* текстъ и, подавленный печалью, ужасомъ, искалъ окна.

Что же это такое?

Какіе antecedentes могли развить такой мозгъ, такую книгу? Гдѣ отечество этого человѣка и что за судьбы и страны и лица? Такъ сойти можно только съ *большого ума*; это заключеніе длиннаго и сломленнаго развитія.

Книга эта—бредъ поэта лунатика, у котораго въ памяти остались факты и строй, упованья и образы, но смысла не осталось; у котораго сохранились чувства, воспоминанія, формы, но *разумъ* не сохранился, или если и уцѣлѣлъ, то для того, чтобы идти вспять, распускаясь на свои элементы, переходя изъ мыслей въ фантазіи, изъ истинъ въ мистеріи, изъ выводовъ въ миѳы, изъ знанія въ откровеніе.

Дальше идти нельзя, дальше каталептическое состояніе, опьяненіе Пиѳіи, шамана, дурь вертящагося дервиша, дурь вертящихся столовъ...

Революція и чародѣйство, социализмъ и талмудъ, Іовъ и Ж. Зандъ, Исаія и Сенъ-Симонъ, 1789 годъ до Р. Х. и 1789 послѣ Р. Х., все брошено зря въ кабалистическій горнъ. Что же могло выйти изъ этихъ натянутыхъ, враждебныхъ совокупленій? Человѣкъ захворалъ отъ этой неперевариваемой пищи, онъ потерялъ здоровое чувство истины, любовь и уваженіе къ разуму. Гдѣ же причина, отбросившая такъ далеко отъ русла этого старика, нѣкогда стоявшаго въ числѣ главъ социальнаго движенія, полнаго энергіи и любви, человѣка, котораго рѣчь, проникнутая негодованіемъ и сочувствіемъ къ меньшей братіи, потрясала сердца? Я это время помню. И вотъ этотъ-то учитель, этотъ живой, будящій голосъ, послѣ пятнадцатилѣтняго удаленія въ Жерсеъ, является съ *grève de Samarez* и съ книгой Іова, проповѣдуетъ какое-то переселеніе душъ, ищетъ развязки на томъ свѣтѣ, въ *этомъ не вскрытѣ* больше. Франція, революція обманули его; онъ скинулъ свои разбивающіеся въ другомъ мірѣ, въ которомъ нѣтъ обмана, да и ничего нѣтъ, въ силу чего большой просторъ для фантазіи.

Можетъ, это личная болѣзнь—идіосинкразія? Ньютонъ имѣлъ свою книгу Іова, Августъ Контъ свое помѣшательство.

Можетъ... но что сказать, когда вы берете другую, третью французскую книгу—все книга Іова, все мутитъ умъ и давитъ грудь, все заставляетъ искать свѣта и воздуха, все носятъ слѣды душевной тревоги и недуга, чего-то сбившагося съ пути. Врядъ можно ли въ этомъ случаѣ многое объяснить личнымъ безуміемъ; напротивъ, надобно искать въ общемъ разстройствѣ причину частнаго явленія. Я именно въ полнѣйшихъ представителяхъ французскаго генія вижу слѣды недуга.

Гиганты эти потерялись, заснули тяжелымъ сномъ, въ долгомъ лихорадочномъ ожиданіи, усталые отъ горечи дня и отъ

жгучаго нетерпѣнія, они бредятъ въ какомъ-то полуснѣ и хотятъ насъ и самихъ себя увѣрить, что ихъ видѣнія—дѣйствительность и что настоящая жизнь—дурной сонъ, который сейчасъ пройдетъ, особенно для Франціи.

Неистощимое богатство ихъ длинной цивилизаціи, колоссальныя запасы *словъ* и образовъ мерцаютъ въ ихъ мозгу, какъ фосфоресценція моря, не освѣщая ничего. Какой-то вихрь, подметающій передъ начинающимся катаклизмомъ осколки двухъ, трехъ міровъ, снесъ ихъ въ эти исполинскія памяти безъ цемента, безъ связи, безъ *науки*. Процессъ, которымъ развивается ихъ мысль, для насъ непонятенъ, они идутъ отъ словъ къ словамъ, отъ антиномій къ антиноміямъ, отъ антитезисовъ къ синтезисамъ, не разрѣшающимъ ихъ; іероглифъ принимается за дѣло и желанье за фактъ. Громадныя стремленія безъ возможныхъ средствъ и ясныхъ дѣлей, недоконченныя очертанія, недодуманныя мысли, намеки, сближенія, прорицанія, орнаменты, фрески, арабески... Ясной связи, которой хвалилась прежняя Франція, у нихъ нѣтъ, истинны они не ищутъ, она такъ страшна на дѣлѣ, что они отворачиваются отъ нея. Романтизмъ ложный и натянутый, напыщенная и дутая риторика отучили вкусъ отъ всего простого и здороваго.

Размѣры потеряны, перспективы ложны...

Да еще хорошо, когда дѣло идетъ о путешествіяхъ душъ по планетамъ, объ ангельскихъ хуторахъ Жана Рено, о разговорѣ Іова съ Прудономъ и Прудона съ мертвой женщиной; хорошо еще, когда изъ цѣлой тысячи и одной ночи человѣчества дѣлается одна сказка, и Шекспиръ изъ любви и уваженія заваливается пирамидами и обелисками, Олимпомъ и Библіей, Ассиріей и Ниневіей; но что сказать, когда все это врывается въ жизнь, отводитъ глаза и мѣшаетъ карты для того, чтобъ ими ворожить о «близкомъ счастьи и исполненіи желаній» на краю пропасти и позора? Что сказать, когда блескомъ прошедшей славы заштукатуриваютъ гнилыя раны, и сифилитическія пятна на повислыхъ щекахъ выдаютъ за румянецъ юноши?

Передъ падшимъ Парижемъ, въ самую нежалкую минуту его паденья, когда онъ, довольный богатой ливреей и щедростью постороннихъ помѣщиковъ, бражничаешь на всемірномъ толкунѣ, поверженъ въ прахъ старикъ поэтъ. Онъ привѣтствуетъ Парижъ путеводной звѣздой человѣчества, сердцемъ міра, мозгомъ исторіи, онъ увѣряетъ его, что базаръ на Champ de Mars—починъ братства народовъ и примиренія вселенной.

Пьянить похвалами поколѣніе, измелъчавшее, ничтожное, самодовольное и кичливое, падкое на лестъ и избалованное, поддерживать гордость пустыхъ и выродившихся сыновей и вну-

чать, покрывая одобреніемъ генія ихъ жалкое, бессмысленное существованіе,—великій грѣхъ.

Дѣлать изъ современнаго Парижа *спасителя и освободителя міра*, увѣрять его, что онъ великъ въ своемъ паденіи, что онъ въ сущности вовсе не падалъ, сбиваетъ на апотеозу *божественнаго* Нерона и *божественнаго* Калигулы или Каракаллы.

Разница въ томъ, что Сенеки и Ульпіаны были въ силѣ и власти, а В. Гюго въ ссылкѣ.

Рядомъ съ лестью васъ поражаетъ неопредѣленность понятій, смутность стремленій, незрѣлость идеаловъ. Люди, идущіе впередъ, ведущіе другихъ, остаются въ полумракѣ, безъ тоски о свѣтѣ. Толки о преобразеніи человѣчества, о пересозданіи существующаго... но о какомъ, но во что?

Это равно не ясно, ни *на томъ свѣтѣ* Пьера Леру, ни *на этомъ* Виктора Гюго.

„Въ XX столѣтіи будетъ чрезвычайная страна. Она будетъ велика и это не помѣшаетъ ей быть свободной. Она будетъ знаменита, богата, глубокомысленна, мирна, сердечна ко всему остальному человечеству. Она будетъ имѣть кроткую доблесть старшей сестры.

„Эта центральная страна, изъ которой все лучится, эта образцовая ферма человечества, по которой все кроется, имѣетъ свое сердце, свой мозгъ, называемый *Парижъ*..

„Городъ этотъ имѣетъ одно неудобство: кто имъ владѣетъ, тому принадлежитъ міръ. Человѣчество идетъ за нимъ. Парижъ работаетъ для общности земной. Кто бы ты ни былъ. Парижъ твой господинъ... онъ иногда ошибается, имѣетъ свои оптическіе обманы, свой дурной вкусъ... *тѣмъ хуже* для всемірнаго смысла, компасъ потерянъ и прогрессъ идетъ ощупью.

„Но Парижъ настоящій *кажется* не таковъ. Я не вѣрю въ этотъ Парижъ—это призракъ, а впрочемъ, небольшая проходящая тѣнь не идетъ въ счетъ, когда дѣло идетъ объ огромной утренней зарѣ.

„Одни дикіе боятся за солнце во время затмений.

„Парижъ—зажженный факель; зажженный факель имѣетъ *волю*... Парижъ изгоняетъ изъ себя все нечистое, онъ *уничтожилъ* смертную казнь, насколько это было въ его волѣ, и перенесъ гильотину въ la Roquette. Въ Лондонѣ вѣшаютъ, гильотинировать въ Парижѣ нельзя больше; если-бъ вздумали снова поставить гильотину передъ ратушей, камни возстали бы. Убивать въ этой средѣ невозможно. Остается поставить внѣ закона, что поставлено внѣ города!

„1866 былъ годомъ столкновенія народовъ, 1867 будетъ годомъ ихъ встрѣчей. Выставка въ Парижѣ — великій соборъ мира, всѣ препятствія, тормазы, падки въ колесахъ прогресса сломятся въ куски, разлетятся въ прахъ... Война невозможна... зачѣмъ выставили страшныя пушки и другіе военные снаряды... Развѣ мы не знаемъ, что война умерла? Она умерла въ тотъ день, когда Иисусъ сказалъ: „Любите другъ друга!“ — и бродила только, какъ привидѣніе; Вольтеръ и революція убили ее еще разъ. Мы не вѣримъ въ войну. Всѣ народы побратались на выставкѣ, всѣ народы, притекши въ Парижъ, побывали Франціей (*ils viennent être France*); они узнали, что есть городъ-солнце... и должны любить его, желать его, выносить его!“

И въ полномъ умиленіи передъ народомъ, который *испаряется братствомъ*, котораго свобода—свидѣтельство совершеннотѣія

человѣческаго рода, Гюго восклицаетъ: «О. Франція! прощай! Ты слишкомъ велика, чтобъ быть отечествомъ; съ матерью, сдѣлавшейся богиней, слѣдуетъ разстаться. Еще шагъ во времени, и ты исчезнешь преображенная; ты такъ велика, что скоро тебя не будетъ. Ты не будешь Франціей, ты будешь человѣчествомъ. Ты не будешь страной, ты будешь повседневностью. Ты назначена изойти лучами... Рѣшивъ принять бремя твоей безконечности и, какъ Аѳины сдѣлались Греціей, Римъ—христіанствомъ, сдѣлайся ты, Франція, міромъ!...»

Когда я читалъ эти строки, передо мной лежала газета и въ ней какой-то простодушный корреспондентъ писалъ слѣдующее: «То, что теперь творится въ Парижѣ, необыкновенно занимательно, и не только для современниковъ, но и для будущихъ поколѣній. Толпы, собравшіяся на выставку, кутятъ... всѣ границы перейдены, оргія вездѣ, въ трактирахъ и домахъ, пуще всего на самой выставкѣ. Приѣздъ царей окончательно опьянилъ всѣхъ. Парижъ представляетъ какую-то колоссальную *descente de la courtille*.

„Вчера (10 іюня) это опьянѣніе дошло до своего апогея. Пока вѣнценосцы пировали во дворцѣ, выдавшемъ такъ много на своемъ вѣку, толпы наполняли окольные улицы и мѣста. По набережной, на улицахъ Риволи, Кастиліоне, Сентъ-Оноре пировали на свой манеръ до трехъ сотъ тысячъ человѣкъ. Отъ Маделены до *théâtre des Variétés* шла самая растрепанная и нецеремонная оргія; большіе открытыя линейки, импровизированные омнибусы и шарабаны, заложенные изнуренными, измученными клячмъ, едва-едва двигались по бульварамъ въ сплошномъ множествѣ головъ и головъ. Линейки эти, въ свою очередь, были биткомъ набиты, въ нихъ стояли, сидѣли, больше всего лежали растянувшись мужчины и женщины во всевозможныхъ позахъ съ бутылками въ рукахъ; они съ хохотомъ и пѣснями переговаривались съ пѣшей толпой; шумъ и крикъ несли имъ навстрѣчу изъ кафе и ресторановъ совершенно полныхъ; иногда крикъ и пѣсни смѣнялись дикимъ ругательствомъ фіакрнаго извозчика или дружеской ссорой подпившихъ... На углахъ, въ переулкахъ валялись мертво-пьяные, сама полиція, казалось, отступила за невозможностью что-нибудь сдѣлать.—Никогда, пишетъ корреспондентъ, я не видалъ ничего подобнаго въ Парижѣ, а живу въ немъ лѣтъ двадцать“.

Это на улицѣ, «въ канавѣ», какъ выражаются французы, а что внутри дворцовъ, освѣщенныхъ болѣе, чѣмъ десятью тысячами свѣчей... что дѣлалось на праздникахъ, на которые тратилось по миллиону франковъ?

„Съ бала, даннаго городомъ въ *Hôtel de ville*, государи уѣхали около двухъ часовъ, это повѣствуетъ офіціальныи исторіографъ императорскихъ увеселеній: кареты не могли во время ни приѣхать, ни отвезти восемь тысячъ человѣкъ. Часы шли за часами, усталъ овладѣла гостями, дамы сѣли на ступеняхъ лѣстницы, другія просто легли въ залахъ на ковры и заснули у ногъ лакеевъ и *huissiers*, кавалеры шагали за ними, дѣляясь за кружева и уборы. Когда мало-помалу расчистилось мѣсто, ковровъ было не видно, все было покрыто завялыми цвѣтами, раздавленными бусами, лоскутьями блондъ и кружевъ, тюля, кисен оторванныхъ ефесами, саблями, шитьемъ, царапавшими плечи“ и пр.

Я нарочно помянулъ однѣ *мелочи*: микроскопическая анатомія легче дастъ понятіе о разложеніи ткани, чѣмъ отрѣзанный ломоть трупа...

IV.

Даніилы.

Въ іюльскіе дни 1848 года, послѣ перваго террора и ошеломленія побѣдителей и побѣжденныхъ, явился представителемъ *угрызенія совѣсти* угрюмый и худой старикъ. Мрачными словами заклеилъ онъ и проклялъ людей «порядка», разстрѣливавшихъ сотнями, не спрося имени, ссылавшихъ тысячами безъ суда и державшихъ Парижъ въ осадномъ положеніи. Окончивъ анаѹему, онъ обернулся къ народу и сказалъ ему: «А ты молчи, ты слишкомъ бѣденъ, чтобъ тебѣ имѣть рѣчь».

Это былъ Ламенне. Его чуть не схватили, но испугались его сѣдинъ, его морщинъ, его глазъ, на которыхъ дрожала старая слеза и на которыхъ скоро ничего дрожать не будетъ.

Слова Ламенне прошли безслѣдно.

Черезъ двадцать лѣтъ другіе угрюмые старики явились съ своимъ суровымъ словомъ и ихъ голосъ погибъ въ пустынѣ.

Они не вѣрили въ силу своихъ словъ, но сердце не выдержало. Не сговариваясь въ своихъ ссылкахъ и удаленіяхъ, эти величественныя судьи и Даніилы произнесли свой приговоръ, зная, что онъ не будетъ исполненъ.

Они, на горе себѣ, поняли, что это «ничтожное облако, мѣшающее величественному разсвѣту», не такъ ничтожно; что эта историческая мигрень, это похмелье послѣ революціи не такъ-то скоро пройдутъ, и сказали это.

„Въ худшія времена древняго цезаризма, говорилъ Эдгаръ Кине на конгрессѣ въ Женевѣ, когда все было нѣмо, за исключеніемъ владыки, находились люди, оставлявшіе свои пустыни для того, чтобъ произнести нѣсколько словъ правды въ глаза падшимъ народамъ.

„Шестнадцать лѣтъ живу я въ пустынѣ и хотѣлъ бы, въ свою очередь, прервать мертвое молчаніе, къ которому привыкли въ наше время“.

Какую же вѣсть принесъ онъ съ своихъ горъ и во имя чего поднялъ рѣчь? Онъ ее поднялъ для того, чтобъ сказать своимъ соотечественникамъ (французъ, о чемъ бы ни говорилъ, говорить всегда о Франціи): «У васъ нѣтъ совѣсти... она умерла, раздавленная пятою сильнаго, она отреклась отъ себя. Шестнадцать лѣтъ искалъ я слѣдовъ ея и не нашелъ!»

„То же было при Цезаряхъ въ древнемъ мірѣ. Душа человѣческая исчезла.

Народы помогали своему порабощенію, рукоплескали ему, не показывая ни сожалѣнія, ни раскаянія. Совѣсть человѣческая, печальная, оставила какую-то пустоту, которая чувствовалась во всемъ, какъ теперь, и для того, чтобъ ее наполнить, надобно было *новаго бога*.

„Кто же наполнить въ наше время пропасти, вырытыя новымъ цезаризмомъ?“

„На мѣсто стертой, упраздненной совѣсти настала ночь, мы бродимъ въ потьмахъ, не зная, откуда искать помощи, къ кому обратиться. Все соучастники паденія: церковь и судъ, народы и общество... Глуха земля, глуха совѣсть, глухи народы; право погибло съ совѣстью; одна сила царить...“

„Зачѣмъ вы пришли, что вы ищете въ этихъ развалинахъ? Развалины? Вы отвѣчайте, что ищете мира. Откуда же вы? Вы заблудились въ обломкахъ падшаго зданія права. Вы ищете мира, вы ошибаетесь, его здѣсь нѣтъ. Здѣсь война. Въ этой ночи безъ разсвѣта должны сталкиваться народы и племена и уничтожать другъ друга зря, исполняя волю властителей.“

Старикъ бросилъ для дѣтей нѣсколько цвѣтовъ, чтобъ уменьшить ужасъ картины. Ему рукоплескали. Они и тутъ не вѣдали, что творили. Черезъ нѣсколько дней отреклись отъ своихъ рукоплесканій.

Мѣсяца два передъ тѣмъ, какъ эти мрачныя слова раздались на женеvскомъ сходѣ, въ другомъ швейцарскомъ городѣ другой изгнанный прежняго времени писалъ слѣдующія строки:

„Я не имѣю больше вѣры во Францію.“

„Если когда-нибудь она воскреснетъ къ новой жизни и оправится отъ страха самой себя, это будетъ чудо; изъ такого глубокаго паденія не подымалась ни одна больная нація. Я не жду чудесъ. Забытыя учрежденія могутъ возродиться, — потухнувшій духъ народа не оживаетъ. Несправедливое провидѣніе не дало мнѣ и того утѣшенія, которымъ оно такъ щедро надѣляется, въ замѣну бѣдности, всѣхъ изгнанныхъ: всегдашней надежды и вѣры въ мечты. Отъ всего прожитаго мною остались только уроки опытности, горькое разочарованіе и неизлечимая усталъ (épuisement). Мнѣ *холодно* на сердцѣ. Я не вѣрю больше ни въ право, ни въ человѣческую справедливость, ни въ здравый смыслъ. Я отошелъ въ равнодушіе, какъ въ могилу“.

Жирондистъ Мерсье, одной ногой уже въ гробу, говорилъ во время паденія первой имперіи: «Я живу еще только для того, чтобъ увидѣть, чѣмъ это кончится!» «Я и этого не могу сказать, прибавилъ Маркъ Дюфрессъ, у меня нѣтъ особаго любопытства узнать, чѣмъ развяжется императорская эпопея».

И старикъ повернулся къ прошедшему и съ глубокой печалью показавъ его исхудалымъ потомкамъ. Настоящее ему не знакомо, чуждо, противно. Изъ его кельи вѣетъ могилой, отъ его словъ дрожь пробирается посторонняго.

Слова одного, строки другого, все скользнуло безслѣдно. Слушая ихъ, читая ихъ, у французовъ не сдѣлалось «холодно въ груди». Многіе открыто негодовали: «Эти люди лишаютъ насъ силъ, повергаютъ въ отчаяніе... гдѣ въ ихъ словахъ *выходъ*, утѣшеніе?».

Судъ не обязанъ утѣшать; онъ долженъ обличать, уличать.

тамъ, гдѣ нѣтъ сознанія и раскаянія. Его дѣло вызвать *совѣсть*. Судъ и не пророчество, у него нѣтъ Мессіи для утѣшенія въ будущемъ. Онъ такъ же, какъ и подсудимый, принадлежитъ старой религіи. Судъ представляетъ чистую и идеальную сторону ея, а масса ея практическое, уклонившееся, истощенное приложеніе. Осуждающій служить поневолѣ практическимъ обвинителемъ идеала; защищая его, онъ указываетъ его односторонность.

Ни Эдгаръ Кине, ни Маркъ Дюфрессъ дѣйствительно не знаютъ *выхода*, и зовутъ вспять. Немудрено, что они его не видятъ, они къ нему стоятъ спиной. Они принадлежатъ къ прошедшему. Возмущенные безчестной кончиной своего міра, они схватили клюку и явились незванными гостями на оргію высокомернаго, самодовольнаго народа и сказали ему: «Ты все утратилъ, все продалъ, тебя ничто не оскорбляетъ, кромѣ правды, у тебя нѣтъ ни прежняго ума, у тебя нѣтъ прежняго достоинства, у тебя нѣтъ совѣсти, ты на днѣ паденья и, не только не чувствуешь твоего рабства, но туда же имѣешь притязаніе освобождать народы и народности, украшаясь лаврами войны,—хочешь надѣть на себя оливковые вѣнки мира. Опомнись, покайся, если можешь. Мы, умирающіе, пришли тебя звать къ раскаянію и, если не пойдешь, слошимъ жезлъ нашъ надъ тобою».

Они видятъ свое войско отступающимъ, бѣгущимъ отъ своего знамени, и карой своихъ словъ хотятъ его возвратить въ прежній станъ *и не могутъ*. Для того, чтобъ ихъ собрать, надобно новое знамя, а его нѣтъ у нихъ. Они, какъ языческіе первосвященники, раздираютъ ризы свои, защищая падающую святыню свою. Не они, а гонимые назареи возвѣщали воскресеніе и жизнь будущаго вѣка.

Кине и Маркъ Дюфрессъ скорбятъ объ оскверненіи храма своего, храма народнаго представительства. Они скорбятъ не только объ утратѣ во Франціи свободы человѣческаго достоинства, они скорбятъ о *потерѣ передового мѣста*, они не могутъ примириться съ тѣмъ, что имперія не предупредила единства Германіи, они ужасаются тому, что Франція сошла *на второй планъ*.

Вопросъ о томъ, *зачѣмъ* Франціи, въ которую они сами не вѣрятъ, быть *на первомъ мѣстѣ*, не представлялся ни разу ихъ уму...

Маркъ Дюфрессъ съ раздраженнымъ смиреніемъ говоритъ, что онъ не понимаетъ *новыхъ вопросовъ*, т. е., экономическихъ; а Кине ищетъ того бога, который сойдетъ, чтобъ наполнить пустоту, оставленную потерей совѣсти... Онъ прошелъ мимо ихъ, они его не узнали и допустили его распытіе.

Р. С. Какъ комментарий къ нашему очерку, идетъ и странная книга Ренана о «современныхъ вопросахъ». Его тоже пугаетъ настоящее. Онъ помялъ, что дѣло идетъ плохо. Но что за жалкая терапия! Онъ видитъ больного по горло въ сифилисѣ и совѣтуетъ ему хорошо учиться и по классическимъ источникамъ. Онъ видитъ внутреннее равнодушіе ко всему, кромѣ матеріальныхъ выгодъ, и сплетаетъ на выручку изъ своего рационализма нѣкую религію, католицизмъ безъ настоящаго Христа и безъ папы, но съ плотоумерщвленіемъ. Уму ставить онъ дисциплинарыя перегородки или, лучше, гігіеническія.

Можетъ, самое важное и смѣлое въ его книгѣ—это отзывъ о революціи: «Французская революція была великимъ опытомъ, но *опытомъ неудавшимся*».

И затѣмъ онъ представляетъ картину ниспроверженія всѣхъ прежнихъ институтовъ, стѣснительныхъ, съ одной стороны, но служившихъ отпоромъ противъ поглощающей централизаціи, и на мѣстѣ ихъ—слабаго, беззащитнаго человѣка передъ давящимъ, всемогущимъ государствомъ и уцѣлѣвшей церковью.

Поневоѣ съ ужасомъ думаешь о союзѣ этого государства съ церковью, который совершается наглазно, который идетъ до того, что церковь тѣснитъ медицину, отбираетъ докторскіе дипломы у матеріалистовъ и старается рѣшать вопросы о разумѣ и откровеніи—сенатскимъ рѣшеніемъ, декретировать *libre arbitre*, какъ Робеспьеръ декретировалъ *l'être suprême*.

Не нынче, завтра церковь захватитъ воспитаніе—тогда что?

Французы, уцѣлѣвшіе отъ реакціи, это видятъ, и положеніе ихъ относительно иностранцевъ становится невыгоднѣе и невыгоднѣе. Никогда они не выносили столько, какъ теперь, и отъ кого же? Въ особенности отъ нѣмцевъ. Недавно при мнѣ былъ споръ одного нѣмецкаго *ex-réfugié* съ однимъ изъ замѣчательныхъ литераторовъ. Нѣмецъ былъ безпощаденъ. Прежде была какая-то тайно соглашенная терпимость къ англичанамъ, которымъ всегда позволяли говорить нелѣпости изъ уваженія и увѣренности, что они нѣсколько поврежденные, и къ французамъ—изъ любви къ нимъ и изъ благодарности за революцію. Льготы эти остались только для англичанъ,—французы очутились въ положеніи состарѣвшихся и подурнѣвшихъ красавицъ, которыя долго не замѣчали, что средства ихъ уменьшились, что на обаяніе красотой надѣяться больше нечего.

Прежде имъ спускалось невѣжество всего находящагося за границами Франціи, употребленіе битыхъ фразъ, позолоченный стеклярусъ, слезливая сентиментальность, рѣзкій, вершающій тонъ и *les grands mots*,—все это утратилось.

Нѣмецъ, поправляя очки, трепалъ француза по плечу, приговаривая:

— Mais, mon cher et très-cher ami, эти готовые фразы, замѣняющія разборъ дѣла, вниманье, пониманье, мы знаемъ наизусть; вы намъ ихъ повторяли лѣтъ тридцать; онѣ-то вамъ и мѣшаютъ видѣть ясно настоящее положеніе дѣлъ.

— Но какъ бы то ни было, все-же,—говорилъ литераторъ, видимо желая заключить разговоръ,—однако же, мой милый философъ, вы все склонили голову подъ прусскій деспотизмъ; я очень понимаю, что для васъ это средство, что прусское владычество—ступень...

— Тѣмъ-то мы и отличаемся отъ васъ, перебилъ его нѣмецъ, что мы идемъ этимъ тяжелымъ путемъ, ненавидя его и покоряясь необходимости, имѣя цѣль передъ глазами, а вы *пришли* въ такое же положеніе, какъ въ гавань спасенія; для васъ это не ступень, а заключеніе,—къ тому же большинство его любитъ.

— C'est une impasse, une impasse, замѣтилъ печально литераторъ и перемѣнилъ разговоръ.

По несчастью, онъ заговорилъ о рѣчи Жюль Фавра въ Академіи. Тутъ окрысился другой нѣмецъ:

— Помилуйте, и эта пустая риторика, это празднословіе можетъ вамъ нравиться? Лицемерье, неправда о наукѣ, неправда во всемъ; нельзя же два часа читать панегирикъ блѣдному Кузену. И что ему было за дѣло защищать казенный спиритуализмъ? И вы думаете, что эта оппозиція спасетъ васъ? Это—риторы и софисты, да и какъ смѣшна вся эта процедура рѣчи и отвѣта, обязательная похвала предшественнику—весь этотъ средневѣковый бой пустословья.

— Ah bah! Vous oubliez les traditions, les coutumes...

Мнѣ было жаль литератора...

V.

С В Ъ Т Л Ы Я Т О Ч К И.

Но за Даніилами видны же и свѣтлыя точки, слабыя, дальнія, и въ томъ же Парижѣ. Мы говоримъ о Латинскомъ кварталѣ, объ этой Авентинской горѣ, на которую отступили учащіеся и ихъ учителя, то есть, тѣ изъ нихъ, которые остались вѣрны преданію 1789 года, энциклопедистамъ, горѣ, соціальному движенію.

Изъ переулковъ этого Лаціума, изъ четвертыхъ этажей невзрачныхъ домовъ его, постоянно идутъ ставленники и миссіонеры на борьбу и проповѣдь и гибнутъ большею частью мо-

рально, а иногда физически, *in partibus infidelium*, т. е., по другую сторону Сены.

Объективная истина—съ ихъ стороны, всяческая правота и дѣльность пониманія—съ ихъ стороны, но и только. «Рано или поздно истина всегда побѣждаетъ». А мы думаемъ. *очень поздно и очень рѣдко*. Разумъ споконъ вѣка былъ недоступенъ или противенъ большинству. Для того, чтобъ *разумъ* могъ поправиться, Анахарсисъ Клоотсъ долженъ былъ одѣть его въ хорошенькую актрису, а ее раздѣть донага. Дѣйствовать на людей можно только, грезя ихъ сны яснѣе, чѣмъ они сами грезятъ, а не доказывая имъ свои мысли такъ, какъ доказываютъ геометрическія теоремы.

Латинскій кварталъ напоминаетъ средневѣковые чертозы или камалдолы, отступившія на шагъ отъ людского шума, съ своей вѣрой въ братство, милосердіе и, главное, въ скорое пришествіе царства божія. И это въ самое то время, когда за ихъ стѣнами рыцари и рейтеры жгли и рѣзали, лили кровь, грабили, заставляли вилановъ, насилывали ихъ дочерей... Потомъ наступили другія времена, также безъ братства и второго пришествія, и это прошло—а камалдолы и чертозы остались при своей вѣрѣ. Правы еще смягчились, измѣнилась манера грабить, насиловать стали съ платой, обирать по принятымъ уставамъ; но царство божіе не приходило, а все неминуемо *наступало* (такъ казалось въ чертозахъ), знаменія становились все яснѣе, прямѣе; вѣра спасала инокъ отъ отчаянія.

Съ каждымъ ударомъ, отъ котораго разлетаются въ прахъ послѣднія убогія свободы; съ каждымъ паденіемъ общества, съ каждымъ наглымъ шагомъ назадъ, Латинскій кварталъ приподнимаетъ голову, *mezza voce*, у себя дома поетъ марсельезу и, поправляя фуражку, говоритъ: «Этого-то и надобно было. Они дойдутъ до предѣла... чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше». Латинскій кварталъ вѣритъ въ *свой курсъ* и храбро чертитъ планъ своей «веси истины», идя въ разрѣзъ съ «весью дѣйствительности».

А Шеръ Леру вѣритъ въ Іова!

А В. Гюго—въ выставку братства!

VI.

П о с л ѣ н а б ѣ г а.

„Святой отецъ—теперь ваше дѣло!“
(Филиппъ II великому инквизитору). *Донъ-Карлосъ*.

Эти слова мнѣ такъ и хочется повторить Бисмарку. Груша зрѣла, и безъ его сіятельства дѣло не обойдется. Не церемоньтесь, графъ!

Я не дивлюсь тому, что дѣлается, и не имѣю права дивиться— я давно кричалъ свое: «берегись, берегись!..» Я просто *про-щаюсь*, и это тяжело. Тутъ нѣтъ ни противорѣчія, ни слабости. Человѣкъ можетъ очень хорошо знать, что если подагра у него подымется, то будетъ очень больно; онъ можетъ, сверхъ того, предчувствовать, что она подымется, что ее ничѣмъ не остановишь; тѣмъ не меньше ему все-же будетъ *больно*, когда она подымется.

Мнѣ жаль личностей, которыхъ люблю.

Мнѣ жаль страны, которой первое пробужденіе я видѣлъ своими глазами и которую теперь вижу изнасилованную и обезцещенную.

Мнѣ жаль этого Мазепу, котораго отвязали отъ хвоста одной имперіи, чтобъ привязать къ хвосту другой.

Мнѣ жаль, что я правъ, я словно соприкосновенный къ дѣлу, тѣмъ, что въ общихъ чертахъ его предвидѣлъ. Я досажую на себя, какъ досаждаетъ дитя на барометръ, предсказавшій бурю и испортившій прогулку.

Италія похожа на семью, въ которой недавно совершилось какое-нибудь черное преступленіе, обрушилось какое-нибудь страшное несчастье, обличившее дурныя тайны,—на семью, по которой прошла рука палача, изъ которой кто-нибудь выбылъ на галеры... всѣ въ раздраженіи, невинные стыдятся и готовы на дерзкій отпоръ. Всѣхъ мучить безсильное желаніе мести, страдательная ненависть отравляетъ, расслабляетъ.

Можетъ, и *есть* близкіе выходы, но разумомъ ихъ не видать; они лежатъ въ случайностяхъ, во внѣшнихъ обстоятельствахъ, они лежатъ *внѣ границъ*. Судьба Италіи, *не въ ней*. Это само по себѣ одно изъ невыносимѣйшихъ оскорбленій; оно такъ грубо напоминаетъ недавній плѣнъ и чувство собственной несостоятельности и слабости, которое начало было стираться.

И только *двадцать лѣтъ!*

Двадцать лѣтъ тому назадъ, въ концѣ декабря, я въ Римѣ оканчивалъ первую статью «Съ того берега» и *измѣнилъ* ей, увлеченный сорокъ восьмымъ годомъ. Я былъ тогда въ полной силѣ развитія и съ жадностью слѣдилъ за развертывающимися событіями. Въ моей жизни не было еще ни одного несчастья, которое оставило бы сильный, ноющій рубецъ, ни одного упрека совѣсти внутри, ни одного оскорбительнаго слова снаружи. Я несея, слегка ударяя въ волны, съ безумнымъ легкомысліемъ, съ безграничной самонадѣянностью, на всѣхъ парусахъ. И всѣ ихъ одни за одними пришлось подвизать!

Во время перваго ареста Гарибальди, я былъ въ Парижѣ. Французы не вѣрили въ вторженіе ихъ войскъ. Мнѣ случилось

встрѣчаться съ людьми разныхъ слоевъ общества. Заклятые ретрограды и клерикалы желали вмѣшательства, кричали о немъ, но сомнѣвались. На желѣзной дорогѣ, одинъ извѣстный французскій ученый, прощаясь со мной, говорилъ мнѣ: «У васъ, мой милый, стѣверный Гамлетъ, такъ фантазія настроена, вы видите одно черное, оттого вамъ и не очевидна невозможность войны съ Италіей; правительство слишкомъ хорошо знаетъ, что война за папу поставить противъ него все мыслящее, вѣдь, все-же мы Франція 1789 года». Первая новость, которую я не прочелъ, а *увидѣлъ*—былъ флотъ, отправлявшійся изъ Тулона въ Чивиту. «Это военная прогулка», говорилъ мнѣ другой французъ. «On ne viendra jamais aux mains, да и ненужно намъ мараться въ итальянской крови».

Оказалось *нужнымъ*. Нѣсколько юношей изъ «Іаціума» протестовали, ихъ посадили на съѣзжую, со стороны Франціи тѣмъ и кончилось.

Удивленная, окровавленная Италія, благодаря нерѣшительности короля, шулерству министерства, дѣлала всѣ уступки. Но разсвирѣпѣлаго француза, упивающагося всякой побѣдой, нельзя было остановить,—къ крови, къ дѣлу ему надобно было прибавить крѣпкое *слово*.

И на этомъ крѣпкомъ словѣ, покрытомъ рукоплесканіями имперіи, подали руку ея злѣйшіе враги: легитимисты, въ видѣ стараго стряпчаго бурбоновъ—Беррье, и орлеанисты, въ видѣ стараго Фигаро временъ Людовика-Филиппа—Тьера.

Я считаю *слово* Руэра историческимъ откровеніемъ. Кто послѣ этого не понялъ Франціи, тотъ слѣпорожденный.

Графъ Бисмаркъ, теперь ваше дѣло!

А вы, Мадзини, Гарибальди, послѣдніе Могиране, сложите ваши руки, успокойтесь. Теперь васъ ненужно. Вы свое сдѣлали. Теперь дайте мѣсто безумію, бѣшенству крови, которыми или Европа себя убьетъ, или реакція. Ну, что же вы сдѣлаете съ вашими ста республиканцами и вашими волонтерами, съ двумя-тремя ящиками контрабандныхъ ружей? Теперь милліонъ отсюда, милліонъ оттуда, съ иголками и другими пружинами. Теперь пойдутъ озера крови, моря крови, горы труповъ... а тамъ тифъ, голодъ, пожары, пустыри.

А! господа консерваторы, вы не хотѣли даже и такой блѣдной республики, какъ февральская, не хотѣли подслащенной демократіи, которую вамъ подносилъ кондитеръ Тамартинъ. Вы не хотѣли ни Мадзини стойка, ни Гарибальди героя. Вы хотѣли *порядка*.

Будетъ вамъ за то война, семилѣтняя, тридцатилѣтняя...

Вы боялись соціальныхъ реформъ, вотъ вамъ феніане съ бочкой пороха и зажженнымъ фителемъ.

Кто въ дуракахъ?

Генуя, 31 декабря, 1867 года.

Примѣчанія.

Стр. 5. „Maria E.“ — Марья Каспаровна Эрнъ; „Maria K.“ — Марья Ѳеодоровна Коршъ; „Frau H.“ — мать Герцена Луиза Ивановна Гаагъ. Всѣ онѣ вмѣстѣ съ Герценомъ и его женой ѣхали за границу.

Стр. 6. Иоганнъ-Фридрихъ Диффенбахъ (1794—1847), знаменитый въ свое время нѣмецкій хирургъ, профессоръ берлинскаго университета и директоръ хирургической клиники. Особенно славился искусственными образованіями носовъ, губъ, вѣкъ, исправленіемъ косоглазія и проч.

Стр. 11. Графъ Викторъ Никит. Панинъ (1801—1874). При Николаѣ I и Александрѣ II былъ министромъ юстиціи, занимая это мѣсто почти 30 лѣтъ (1832—61). Съ февраля по сентябрь 1860 г. былъ предѣвателемъ редакціонной комиссіи по освобожденію крестьянъ, причемъ старался насколько возможно затормозить и извратить эту реформу, стремясь освободить крестьянъ безъ земли, а помѣщикамъ предоставить надъ ними право вотчинной полиціи.

— Шарль Филиппонъ (1800—1857), знаменитый карикатуристъ 30-хъ и 40-хъ годовъ. Въ 1830 г. основалъ еженедѣльный сатирическій журналъ „La Caricature“, а съ 1 декабря ежедневную сатирическую газету съ карикатурами „Шаривари“, которая считалась въ 30—40-хъ годахъ лучшимъ сатирическимъ изданіемъ. „Шаривари“ существуетъ и донинѣ, хотя блестящій періодъ ея былъ во время редакторства Филиппона.

Стр. 12. Романья, итальянская про-

винція, до 1860 г. составлявшая сѣверную часть Папской области.

Стр. 13. Въ Поръ-Роялѣ (Port Royal) во Франціи, въ XVII вѣкѣ собиралось общество ученыхъ и литераторовъ, занимавшееся изученіемъ и усовершенствованіемъ французской литературы. Подробную исторію этого общества написалъ извѣстный французскій критикъ Сентъ-Бевъ въ нѣсколькихъ томахъ (1840—48).

Стр. 15. „Ближайшимъ изъ близкихъ“ Герценъ называетъ своего ближайшаго друга Н. П. Огарева.

Стр. 17. Карлъ-Альбертъ (1798—1849), король Сардинскій, прадѣдъ нынѣшняго итальянскаго короля Виктора-Эмануила III. Царствовалъ въ Пиемонтѣ съ 1831 г. Въ 1849 г., послѣ вторичной неудачной войны съ Австріей, отрекся отъ престола въ пользу своего сына Виктора-Эмануила II.

Стр. 18. Буквою А. означенъ Пав. Вас. Анненковъ (1812—1887), извѣстный критикъ, біографъ и издатель Пушкина. Онъ находился въ это время въ Парижѣ и былъ очень близокъ съ Герценомъ.

Стр. 22. Эженъ-Луи Кавеньякъ, французскій генералъ (1802—1857). Въ 1848 г., во время 2-ой французской республики, былъ военнымъ министромъ и жестоко подавилъ въ Парижѣ возстаніе рабочихъ въ такъ называемые „іюньскіе дни“.

Стр. 24. Буквами означены: М. Ѳ. — Марья Ѳеодоровна Коршъ, А. — Пав. Вас. Анненковъ, И. Т. — Ив. Серг. Тургеневъ.

Стр. 25. Тома Кутюръ (1815--1879), французскій живописецъ, лучшая картина котораго „Римляне времяя упадка“ произвела большое впечатлѣнiе въ парижскомъ Салонѣ 1847. Очевидно, что на эту картину Герценъ здѣсь и ссылается.

Стр. 27. „Nel mezzo del camin di nostra vita“ (посреди дороги нашей жизни)—выраженiе, взятое изъ начала „Божественной Комедiи“ Данте.

Стр. 30. Рамонъ де-ла-Сагра (1788—1871), испанскій политическiй дѣятель и писатель. Главный его трудъ—„Исторiя острова Кубы“ (10 т.). Кроме того, написалъ „Чтенiя о социальной экономiи“ (1840), книгу о Сѣверо-Америк. Соед. Штатахъ (1836) и проч.

Стр. 32. „Томiй французскiй литераторъ“, о которомъ здѣсь упоминается какъ о приставленномъ къ журналу „La Tribune des Peuples“, былъ Жюль Лешевалье.

— Давидъ д'Анже или Анжерскiй (1788—1856), названный такъ по имени своей родины, гор. Анжера, былъ извѣстный французскiй скульпторъ, создавшiй много статуй, бюстовъ и медальоновъ знаменитыхъ людей.

Стр. 35. Иосифъ Вронскiй (1778—1853), польскiй философъ. Въ молодости участвовалъ въ военныхъ дѣйствiяхъ въ Польшѣ подъ начальствомъ Костюшки, затѣмъ русскимъ офицеромъ. Переселясь во Францiю занялся философiей и математикой и издалъ на франц. языкѣ рядъ книгъ о философiи Канта, математикѣ и техникѣ. Затѣмъ онъ создалъ такъ называемое ученiе мессiанизма, въ которомъ польскому народу предназначается быть мессией-освободителемъ всѣхъ угнетенныхъ странъ. Его книга „Мессiанизмъ“ появилась въ 1831—33 гг. (2 т.). Мицкевичъ, въ 40-хъ годахъ увѣровалъ въ это ученiе.

— Андрей Товянскiй (1799—1878), польскiй мистикъ. Слепой отъ рожденiя, онъ былъ подверженъ различнымъ галлюцинациямъ и видѣнiямъ. За возбужденное имъ волненiе и эксцентрическiя проповѣди въ 1842 г. онъ былъ удаленъ изъ Францiи. Проповѣдью мессiанизмъ, какъ и Вронскiй (см. предыдущее прим.), Товянскiй пошелъ еще далѣе Вронскаго и провозгласилъ себя самого мессией. Въ числѣ его учениковъ („товянчиковъ“) былъ и знаменитый Мицкевичъ.

— Этьенъ Кабе (1788—1856), франц.

коммунистъ, изложившiй свою систему въ утопическомъ романѣ „Путешествiе въ Икарiю“ и неудачно пробовавшiй основать коммунистическую общину въ Техасѣ съ общностью имущества и труда, но съ сохраненiемъ брака и семьи.

Стр. 42. Этьенъ Араго (1802—1892), писатель и политическiй дѣятель, послѣ февральской революцiи 1848 г. былъ назначенъ управляющимъ почтовымъ вѣдомствомъ, а послѣ демонстрацiи 1 (13) июня 1849 г. бѣжалъ въ Бельгiю.

— ЖюльБастидъ (1800—1879), былъ сперва адвокатомъ, затѣмъ участвовалъ въ тайныхъ обществахъ, въ 1832 г. былъ приговоренъ къ смерти, но бѣжалъ въ Англiю. Въ 40-хъ годахъ сотрудничалъ въ „National“, а съ 10 мая по 26 декабря 1848 г. былъ министромъ иностранныхъ дѣлъ. Написалъ рядъ историческихъ сочиненiй.

Стр. 43. Мюллеръ-Стрюбингъ — нѣмецкiй журналистъ 40-хъ годовъ. Онъ въ 1834—39 гг. просидѣлъ 5 лѣтъ въ тюрьмѣ за участiе въ тайныхъ обществахъ. Въ 40-хъ и 50-хъ годахъ онъ былъ очень близокъ съ Герценомъ, Бакунинымъ, Тургеневымъ и другими русскими, находившимися за границей.

Стр. 46. Феликсъ Ша (1810—1889), французскiй революционеръ и драматическiй писатель. Изъ его драмъ особенной популярностью пользовалась „Парижскiй Ветошникъ“ (содержанiе которой подробно изложено въ V томѣ, стр. 28—34), представленная въ Парижѣ въ 1847 г. и переведенная на русскiй языкъ М. П. Оедоровымъ въ 1862 г. Принимать дѣятельное участiе въ революцiи 1848 г. и въ парижской коммунѣ 1871 года.

Стр. 47. Графъ Феличе Орсини (1819—1858), итальянскiй революционеръ. Участвовалъ въ 1844 г. въ заговорѣ братьевъ Бандiera, за что былъ осужденъ на пожизненную каторгу. Помолованный въ 1846 г. онъ участвовалъ въ 1854 г. въ революцiонномъ движенiи въ Италiи, послѣ чего бѣжалъ въ Англiю. 14 января 1858 г. онъ совершилъ посредствомъ разрывныхъ бомбъ покушенiе на жизнь Наполеона III, какъ измѣнника дѣлу освобожденiя Италiи, за что и былъ казненъ.

— Жанъ-Иньясъ-Исидоръ-Жераръ Гранвилъ (1803—47), извѣстный французскiй рисовальщикъ и карикатуристъ, прославившiйся своими мѣткими

и ядовитыми политическими карикатурами въ 30-хъ и 40-хъ годахъ.

Стр. 48. Артуръ Гергей (род. въ 1818 г.). Во время венгерской революціи 1848—49 г., одержавъ рядъ побѣдъ надъ австрійцами, сталъ венгерскимъ военнымъ министромъ, а затѣмъ, по отреченіи Кошута, и диктаторомъ. Вынужденный при Виллагошѣ сдаться русской арміи Паскевича, подвергся неосновательнымъ обвиненіямъ въ измѣнѣ. Удалившись затѣмъ въ частную жизнь, занимался химіей. (Въ текстѣ ошибочно названъ Гервей.)

Стр. 51. Францъ-Іосифъ Галль (1758—1828), нѣмецкій фізіологъ и френологъ, создавшій собственную систему френологіи и утверждавшій, что по формѣ и выпуклостямъ черепа, можно судить о способностяхъ и наклонностяхъ каждаго человѣка.

Стр. 54. Чиро Менотти (1798—1831) въ 1831 г. составилъ заговоръ съ цѣлью объединенія Италіи въ одно королевство съ тѣмъ, чтобы королемъ Италіи былъ моденскій герцогъ Францискъ IV. Заговоръ не удался и Менотти былъ повѣшенъ. Въ 1879 г. ему воздвигнута въ Моденѣ статуя.

— Братья Аттиліо (род. 1817) и Эмпіліо (род. 1819) Вандера служили сперва въ австрійскомъ флотѣ; стремясь освободить Италію, вошли въ сношенія съ Мадонни и хотѣли поднять возстаніе въ Калабріи, но были схвачены и разстрѣляны въ Козенцѣ 25 юля 1844 г. съ семьєю изъ своихъ товарищей.

— Франсуа-Ноэль (онъ называлъ себя Кай-Гракхъ) Бабёфъ (1760—1797), казненный за предпринятый имъ, но неудавшійся коммунистическій заговоръ.

Стр. 55. Подъ „дикимъ вепремъ“ подразумѣвается неаполитанскій король Фердинандъ II (1810—1859), а подъ „траурнымъ кучеромъ“ императоръ Наполеонъ III.

Стр. 56. Даніэль Манингъ (1804—1857) составилъ въ 1847 г. въ Венеціи, съ цѣлью ея освобожденія отъ австрійскаго владычества, заговоръ, за что былъ заключенъ въ тюрьму. Освобожденный народомъ, Манингъ былъ въ теченіи 1½ года президентомъ венеціанской республики, мужественно отражая съ марта 1848 до конца августа 1849 г. нападенія австрійскихъ войскъ, а затѣмъ, уда-

лившись во Францію, какъ журналистъ работалъ для объединенія Италіи. Ему воздвигнуты памятники въ Венеціи и Туринѣ, какъ незабвенному итальянскому патріоту.

Стр. 58. Франческо Гвиччардини (1483—1540) и Луиджи-Антоніо Муратори (1672—1750), итальянскіе историки, изъ которыхъ первый прославился своей „Исторіей Италіи“ (за время 1492—1534 гг.), выдержавшей въ 50 лѣтъ 10 изданій и переведенной почти на всѣ европейскіе языки; а второй, Муратори, издалъ многотомную коллекцію источниковъ по исторіи Италіи („*Rerum italicarum scriptores*“). Далѣе у Герцена идетъ перечисленіе древнихъ итальянскихъ фамилій (Литта, Боромеи и др.), встречающихся у этихъ двухъ историковъ.

— Генераль Козенцъ, Энрико (р. 1820 г.) былъ всегдашнимъ сподвижникомъ Гарибальди, начиная съ защиты Рима въ 1849 г. и до завоеванія Сициліи и Неаполя въ 1860 г. Такимъ же сподвижникомъ Гарибальди былъ въ 1860 г. и Сиртори, защищавшій ранѣе (въ 1848—49 гг.) Венецію.

Стр. 60. Кола ди-Ріензи или Николай-Лаврентій Габрини (1813—1854) хотѣлъ возстановить въ Римѣ древній республиканскій строй, провозгласилъ себя въ 1847 г. народнымъ трибуномъ и изгналъ дворянство, но черезъ 7 мѣсяцевъ принужденъ былъ покинуть Римъ. Прибывъ въ Авиньонъ (гдѣ тогда пребывали папы), онъ примирился съ папой. Въ 1354, въ званіи сенатора, по порученію папы Иннокентія VI, Ріензи отправился въ Римъ для борьбы съ дворянствомъ, но возбудилъ противъ себя народъ и былъ убитъ.

— Теверино—герой романа Жоржъ-Занда „Теверино“.

Стр. 61. Іоаннъ (Джованни) Прочидда (1225—1302), владѣлецъ острова Прочиды въ Неаполитанскомъ заливѣ, взбунтовавшій въ 1282 г. Сицилію противъ французовъ, что произвело такъ назыв. сицилійскую вечерню, когда были избиты всѣ французы и послѣдовало отпаденіе Сициліи отъ Неаполя.

Стр. 66. Тальма, Франсуа-Жозефъ (1768—1826), знаменитый французскій актеръ-трагикъ. Первый изъ актеровъ вмѣсто камзоловъ сталъ надѣвать, соотвѣтствовавшіе исполняемымъ ролямъ, костюмы. Во время революціи былъ ея

приверженцемъ, затѣмъ сталъ любимцемъ Наполеона I.

— Жанъ-Батистъ Клеберъ (1753 — 1800), даровитый французскій генералъ, отличавшійся во время войнъ 1-ой республики и въ 1798 г. одержавшій въ Египтѣ побѣду при Геліополисѣ. Былъ убитъ турецкими фанатиками.

Стр. 68. Карлъ-Теодоръ Кернеръ (1791—1813), нѣм. поэтъ, авторъ патриотической трагедіи „Прини“ и лирическихъ пѣсенъ, возбуждавшихъ нѣмцевъ къ борьбѣ съ французами; убитъ въ сраженіи съ послѣдними.

Стр. 69. Австрійскій фельдмаршалъ гр. Іосифъ Радецкій (1766—1860), вытѣсненный въ 1848 г. изъ Милана возставшими его жителями, отличился въ 1848 и 1849 гг., разбивъ шемонтскаго короля Карла-Альберта и покоривъ Венецію.

Стр. 70. Фридрихъ Каппъ (1824—1884), нѣмецкій писатель, оставившій нѣсколько цѣнныхъ сочиненій по исторіи Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ („Исторія рабства въ Соед. Штатахъ“, „Исторія нѣмецкой эмиграціи въ Америку“, „Торговля солдатами нѣмецкихъ государей для Америки“ и др.).

— „Vom Adern Ufer“ („Съ того берега“) помѣщено въ V томѣ настоящаго изданія.

Стр. 76. Зондербундъ — союзъ семи клерикальных швейцарскихъ кантоновъ, образовавшійся въ 1843 г. для противодѣйствія радикальной политикѣ остальныхъ кантоновъ. Послѣ пораженія его войскъ государственными войсками остальныхъ кантоновъ Швейцаріи Зондербундъ въ 1847 г. прекратилъ свое существованіе.

Стр. 77. Нѣмецкій коммунистъ Вильгельмъ Вейтлингъ (1808—1871), по профессіи портной, въ началѣ 40-хъ годовъ проповѣдовалъ коммунизмъ въ Швейцаріи, въ 1844—46 гг. жилъ въ Англіи, въ 1848 г. агитировалъ въ Германіи, гдѣ устроилъ „Союзъ освобожденія“, но въ 1849 г., спасаясь отъ ареста, эмигрировалъ въ Нью-Йоркъ, гдѣ и жилъ до своей смерти, издавая (въ 1851—54 гг.) газету „Republik der Arbeiter“. Ему принадлежатъ рядъ книгъ, гдѣ онъ излагалъ свою систему.

Стр. 79. Джеймсъ Фази (1796—1878), швейцарскій государственный дѣятель

и писатель; 5—8 октября 1846 г. организовалъ въ Женевѣ возстаніе и сталъ во главѣ временнаго, а затѣмъ преобразованнаго правительства, какъ президентъ Женевского кантона.

Стр. 81. Банкиръ Жакъ Лафитъ (1767—1844) при реставраціи былъ либеральнымъ депутатомъ, много способствовалъ къ осуществленію июльской революціи 1830 г., послѣ которой нѣсколько мѣсяцевъ былъ министромъ финансовъ, но съ 1831 г. перешелъ въ оппозицію.

— Казиміръ Перве (1777—1832) въ 1831 г. былъ президентомъ палаты депутатовъ и министромъ внутреннихъ дѣлъ. Былъ типичнымъ представителемъ буржуазнаго правительства Луи-Филиппа и отличался деспотическими приемами и безучастіемъ къ рабочему классу.

— Генералъ отъ инфантеріи графъ Александръ Ив. Остерманъ-Толстой (1770—1857), участвовалъ въ войнѣ съ Турціей подъ начальствомъ Потемкина, въ 1812 г. командовалъ пѣх. корпусомъ, а въ 1813 г. особенно отличился при Кульмѣ, гдѣ ему оторвало ядромъ руку. Въ послѣдствіи командовалъ гренадерскимъ корпусомъ.

Стр. 89. „Близокъ я былъ только съ однимъ человекомъ... и зачѣмъ я былъ близокъ съ нимъ!...“ Здѣсь подразумѣвается нѣмецкій поэтъ и революціонеръ Георгъ Гервегъ (1817—1875), съ которымъ связана семейная драма въ жизни Герцена.

Стр. 98. Эммануэль - Жозефъ Сіеэ, французскій политическій дѣятель (1748—1836). Сперва былъ аббатомъ, а при Наполеонѣ I графомъ. Содѣйствовалъ выработкѣ нѣсколькихъ французскихъ конституцій и первый предсказывалъ господствующую роль третьяго сословія (буржуазіи) (или, какъ ее называютъ здѣсь Герценъ, „мѣщанства“).

Стр. 99. „The Dream“ („Сонъ“) — извѣстное стихотвореніе Байрона, который и подразумѣвается здѣсь подъ „оранжерейнымъ юношей“.

— Генри-Джонъ-Темъ Пальмерстонъ (1784—1865), извѣстный англійскій политическій дѣятель, неоднократно бывшій министромъ; принадлежалъ къ либеральной партіи.

— Лордъ Джонъ Россель (1792—1878) въ 1832 г. провелъ избирательную реформу въ Англіи; дважды былъ премьеромъ; былъ защитникомъ представительства меньшинства и реформы

палаты пэрровъ. Подобно Пальмерстону принадлежалъ къ либераламъ.

Стр. 100. „The Darkness“ (Тьма)—известное стихотвореніе Байрона.

Стр. 101. Въ концѣ этой главы Герценъ вспоминаетъ о смерти своей жены Натальи Александровны, происшедшей за три года передъ тѣмъ, какъ онъ писалъ эти строки.

Стр. 102. *Orbis pictus* („Миръ въ картинкахъ“)—заглавіе книги для дѣтей, составленной знаменитымъ чешскимъ педагогомъ XVII в. Амосомъ Коменскимъ. Затѣмъ этими двумя словами озаглавливались и другія книги для дѣтскаго чтенія.

Стр. 113. Графъ Карлъ Васильевичъ Нессельроде (1780—1862) былъ министромъ иностранныхъ дѣлъ и государст. канцлеромъ, въ царствованіе Николая I. Самостоятельныхъ мнѣній въ политикѣ не имѣлъ, а всегда подчинялся вліянію Меттерниха и всегда относился съ ненавистью къ освободительнымъ идеямъ.

Стр. 114. Пьеръ-Жюль Барошъ (1802—1870) въ 1850—51 гг. министръ внутреннихъ дѣлъ, извѣстенъ, какъ ревностный бонапартистъ и реакціонеръ.

Стр. 115. Марія-Анна Ленорманъ (1772—1843), знаменитая французская гадалка, нажившая большое состояніе благодаря покровительству императрицы Жозефины. Изгнанная въ 1809 г. изъ Франціи, она въ отомщеніе написала „Пророческія воспоминанія одной Сивиллы“ (гдѣ она предсказывала паденіе Наполеона I) и „Историческіе и секретные мемуары императрицы Жозефины“.

— Въ улицѣ Jerusalem (Иерусалимской) съ давнихъ временъ помѣщается полицейская парижская префектура.

Стр. 120. Жозефъ Фуше (1763—1820). Въ 1790-хъ годахъ былъ крайнимъ революціонеромъ, а при Наполеонѣ I, который сдѣлалъ его герцогомъ Отрантскимъ, сталъ министромъ полиціи и имѣлъ громадное вліяніе на внутреннія дѣла.

Стр. 121. Графъ Альфредъ Фаллу (1811—1886), легитимистъ и клерикалъ, во время президентства Луи-Наполеона былъ министромъ нар. просвѣщенія. Въ своихъ сочиненіяхъ пропагандировалъ обскурантизмъ.

— Огюстъ-Адольфъ Бильо (1805—1863) въ 1848 г. былъ демократомъ, но затѣмъ сдѣлался рьянымъ бонапарти-

стомъ и былъ при Наполеонѣ III министромъ внутреннихъ дѣлъ.

— Маркизъ Анри-Огюстъ Ларошъ-Жакленъ (1805—1867) въ 1848 г., состоя депутатомъ, былъ первымъ изъ роялистовъ, признавшихъ республику.

Стр. 124. „*Proscrit*“ и „*Nouveau Monde*“—революціонные журналы, издававшіеся въ Англіи въ то время французскими и др. эмигрантами изъ континентальной Европы.

Стр. 126. „Отцомъ Леонтиемъ“ здѣсь Герценъ называетъ тогдашняго начальника штаба корпуса жандармовъ, управлявшаго III отдѣленіемъ, ген. Леонтія Васильева Дуббельта.

Стр. 128. Французскій филантропъ, аббатъ Шарль-Мишель Лепе (1712—1789) изобрѣлъ для глухонѣмыхъ азбуку въ видѣ жестовъ и на свои средства основалъ въ 1771 г. институтъ для глухонѣмыхъ.

Стр. 132. Вартбургскій праздникъ—торжество, происходившее 18 октября 1817 г. въ Вартбургѣ по поводу трехсотлѣтія реформации, причѣмъ былъ основанъ общій союзъ нѣмецкихъ студентовъ.

Стр. 136. Общегерманскій парламентъ засѣдалъ въ 1848 г. въ церкви св. Павла, во Франкфуртѣ.

Стр. 137. Сальпы—классъ оболочниковъ, свободно плавающихъ, одиночныхъ или колоніальныхъ, морскихъ животныхъ.

Стр. 139. Массимо д'Азелио (1798—1866), итальянскій писатель и политическій дѣятель. Его романъ „Гекторъ Фіерамоска или Барлеттскій поединокъ“ („*La Disfida di Barletta*“, о которомъ здѣсь говоритъ Герценъ) былъ дважды переведенъ на русскій языкъ (1847 и 1878). Азелио въ 30-хъ и 40-хъ годахъ много способствовалъ пробужденію національнаго самосознанія Италіи. Съ 1849 г. былъ премьеръ-министромъ.

Стр. 140. Даниэль О'Коннелль (1775—1847), знаменитый ирландскій агитаторъ, всю свою жизнь дѣятельно агитировавшій противъ уніи Ирландіи съ Англіей; съ 1830 г. былъ депутатомъ парламента, а съ 1842 г. лордъ-мэромъ Дублина.

Стр. 146. Эмиль Жирарденъ (1806—1881), извѣстный журналистъ, основанный въ 1835 г. дешевую большую ежедневную газету „*Presse*“, гдѣ первый во Франціи ввелъ систему безмѣрной рекламы. Постоянно мѣнялъ убѣжденія

и приставалъ къ той партіи, которая давала больше выгоды.

Стр. 147. Викторъ Консидеранъ (1808—1893), французскій социалистъ, придерживавшійся школы Фурье. Главный его трудъ „Destinée sociale“ (1836 г., 3 тома).

Стр. 156. Буржуазный экономистъ Леонъ Фосе (1803—1854), былъ съ 1846 г. оппозиціоннымъ членомъ палаты депутатовъ, а во время президентства Луи-Наполеона занималъ мѣсто министра внутреннихъ дѣлъ, но незадолго до переворота 2 декабря 1851 г. оставилъ политическую дѣятельность.

Стр. 161. Статья „По поводу одной драмы“ помѣщена въ IV томѣ настоящаго изданія (стр. 31—51).

Стр. 164. Жанъ-Жакъ Камбасересъ, герцогъ Пармскій (1753—1824), искусный юристъ, дѣятель французской революціи и первой имперіи, много способствовавшій упрощенію Наполеоновскаго вліянія. Онъ главнымъ образомъ выработалъ французскій существующій донныѣ Наполеоновскій кодексъ. Былъ министромъ юстиціи во время консульства и имперіи.

Стр. 166. Леоне-Леони—герой романа Жоржа-Занда подъ этимъ-же названіемъ (перев. на русскій языкъ).

Стр. 175. Та часть „Былого и Думъ“, о которой упоминаетъ здѣсь Герценъ въ примѣчаніи, не издана до сихъ поръ; отрывокъ изъ нея (котораго нѣтъ въ заграничномъ изданіи) помѣщенъ ниже, см. стр. 184—191.

Стр. 179. Буквами М. К. обозначена Марья Каспаровна Эрнъ (въ замужествѣ Рейхель).

Стр. 184. Отдѣлъ III, стр. 184—191, въ которомъ разсказывается о смерти Нат. Алекс. Герценъ, относится къ не напечатанной до сихъ поръ части „Былого и Думъ“. Отрывокъ этотъ въ первый разъ былъ напечатанъ въ сборникѣ „Памяти В. Г. Вѣлинскаго“ Москва, 1899 г., стр. 241—245. Затѣмъ съ другой (повидимому) рукописи напечатаны въ первой книгѣ „Освобожденія“, 1903 г., стр. 16 в. — 16 н. Здѣсь перепечатано изъ „Освобожденія“.

Стр. 185. Энгельсонъ—русскій эмигрантъ, см. о немъ статью у Герцена, т. III, стр. 205—233.

Стр. 186. Саша—сынъ Герцена, Александръ Александровичъ Герценъ (р.

1839) фیزیологъ, профессоръ въ Лозаннѣ.

Стр. 187. Тата—дочь Герцена Наталія Александровна.

Стр. 188. Оленька — дочь Герцена Ольга Александровна, за мужемъ за франц. историкомъ Габріелемъ Моно.

Стр. 196. Польскій генералъ Юсифъ Высоцкій (1809—1874) принималъ дѣятельное участіе въ возстаніи 1830—31 гг., а послѣ штурма Варшавы эмигрировалъ. Въ 1848, во главѣ сформированнаго имъ польскаго легіона, принималъ участіе въ венгерской войнѣ; по окончаніи ея бѣжалъ въ Турцію. Во время Крымской войны хотѣлъ сформировать польскій легіонъ, но не получилъ разрѣшенія на это со стороны Франціи. Во время возстанія 1863 г. командовалъ отрядомъ около Ломжи, а затѣмъ вернулся въ Парижъ.

Стр. 199. Подъ историкомъ „десяти лѣтъ“ подразумѣвается Луи-Бланъ, издавшій въ 1840—44 гг. свою „Histoire des dix ans: 1830—1840“, въ 5 томахъ (послѣднее, 14-е изданіе 1879—81 гг. вышло въ 2 томахъ).

Стр. 201. Графъ Станиславъ Ворцель (1800—1858) участвовалъ въ польскомъ возстаніи 1830—31 гг., послѣ чего эмигрировалъ въ Парижъ, а съ 1849 г. жилъ въ Лондонѣ, гдѣ былъ членомъ революціоннаго европейскаго комитета и былъ близкимъ другомъ Герцена.

Стр. 217. „Коля“—второй сынъ Герцена, утонувшій въ морѣ въ 1851 г.

Стр. 222 — 223. Буквою Т., судя по связи съ предыдущимъ, обозначенъ Тесъ-дю-Моте.

Стр. 224. Рукописей, присланныхъ въ 1854 г. Энгельсономъ Герцену и напечатанныхъ послѣднимъ тогда-же, было двѣ: 1) „Емельянъ Пугачевъ честному казначеству и всему люду русскому шлетъ низкій поклонъ“ и 2) „Душе моя, душе моя! Возстань, что слышишь?“ (см. „Всемирный Вѣстникъ“ 1905 г., № 1, стр. 17). Вѣроятно, о второй изъ этихъ рукописей упоминаетъ Герценъ далѣе (на стр. 227).

Стр. 231. Томасъ Мильнеръ-Гибсонъ (1806—1884), англійскій радикальный политическій дѣятель. Былъ членомъ парламента съ 1837 г., участвовалъ въ отмиѣнѣ хлѣбныхъ законовъ и защищалъ эмансипацію евреевъ. Въ 1859—1866 гг. былъ министромъ торговли и послѣ того не участвовалъ въ политической дѣятельности.

Стр. 234. „Англія“ и послѣдующіе отрывки, собранные въ этой части „Былого и Думъ“, не были обработаны самимъ Герценомъ, какъ цѣлое, и подготовлены къ печати; появились они отдѣльными статьями въ „Полярной Звѣздѣ“ и „Колоколѣ“ и затѣмъ были напечатаны въ „Сборникѣ сочиненій“ (т. IX и X) и въ „Сборникѣ посмертныхъ статей“. Насколько возможно было безъ предварительныхъ критическихъ изслѣдованій связать и установить порядокъ статей,—это сдѣлано; такъ, напримѣръ, статья „Ледрю-Ролленъ и Кошутъ“ въ „Сборникѣ посмертныхъ статей“ представляетъ очевидное продолженіе главы II „Англіи“ (съ повтореніемъ даже нѣсколькихъ страницъ), поэтому она присоединена къ этой послѣдней. Точно также статья „Ф. Пиа, В. Гюго“ и т. д. „Сборника посмертныхъ произведеній“ присоединена въ настоящемъ изданіи въ III главѣ „Англіи“. „Статья Нѣмцы въ эмиграціи“ („Сборникъ посмерт. произведеній“) повидимому, представляетъ V главу „Англіи“, она и помѣщена на этомъ мѣстѣ. Но только нахожденіе подлинныхъ рукописей и критико-библиографическое изученіе сочиненій Герцена, для котораго открывается свободная возможность съ выходомъ настоящаго изданія, могутъ опредѣлить надлежащимъ образомъ мѣсто и связь этихъ membra disiecta послѣдней части „Былого и Думъ“.

Стр. 235. Лола Монтесъ (1820—1861), авантюристка-танцовщица, ставшая фавориткой баварскаго короля Людовика I и вызвавшая народное возстаніе въ Мюнхенѣ (1848), вслѣдствіе чего и была изгнана изъ Баваріи.

Стр. 238. Агостино Бертини (1812—1886), итальянскій политическій дѣятель. Принималъ участіе въ революціи 1848 г., а въ 1860 г. содѣйствовалъ экспедиціи Гарибальди въ Сицилію и управлялъ Неаполемъ. Съ 1860 г. былъ членомъ парламента, состоя однимъ изъ вожаковъ радикально-республиканской партіи.

— Гульельмо Пепе (1782—1855), вождь неаполитанской революціи 1820—21 гг., а въ 1848 г. командовавший въ осажденной австрійцами Венеціи.

Стр. 241. Джузеппе Ромарино (1792—1849), итальян. генералъ. Участвовалъ въ наполеоновскомъ походѣ въ Россію въ 1812 г., въ 1821 г.—въ возстаніи въ Пьемонтѣ, въ 1831 г.—въ польскомъ

возстаніи, затѣмъ въ испанскихъ междоусобныхъ войнахъ. Въ 1834 г. пытался поднять возстаніе въ Пьемонтѣ, а въ 1849 г., принятый въ сардинскую армію, за неудачныя дѣйствія противъ австрійцевъ, былъ разстрѣлянъ по приговору военнаго суда.

Стр. 259. Сулукъ (1782—1867), — негрійанскій императоръ царствовавшій въ Гаити, на островѣ Санъ-Доминго съ 1850 до 1858 г. подъ именемъ Фаустина I. Ранѣе (съ 1847 г.) былъ президентомъ республики. Негромотный Сулукъ отличался необыкновенной глупостью, кровожадностью и трусостью. Въ 1858 г. былъ низвергнутъ народнымъ возстаніемъ и высланъ въ Ямайку, а въ Гаити была вновь восстановлена республика.

Стр. 261. Джулія Гризи (1811—1869), славившаяся въ свое время итальянская оперная пѣвица.

— Лунджи Лаблазъ (1794—1858), знаменитый итальянскій оперный пѣвецъ (басъ).

Стр. 267. „Марьяна“—тайное революціонное общество, существовавшее во Франціи въ 1850-хъ годахъ.

— Графъ Александръ Валевскій (1810—1868), сынъ Наполеонъ I и польки Валевской. Принималъ участіе въ возстаніи 1831, послѣ чего эмигрировалъ. При Наполеонѣ III былъ посланникомъ при разныхъ дворахъ, министромъ иностранныхъ дѣлъ, сенаторомъ и государственнымъ министромъ.

— Джозефъ Меллордъ Вильямъ Турнеръ (1775—1851) занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди англійскихъ художниковъ.

Стр. 271. Шарль Бланъ (1813—1882), братъ Луи Блана, извѣстный историкъ искусства, имѣвшій большое вліяніе на развитіе во Франціи художественнаго пониманія и написавшій рядъ цѣнныхъ трудовъ по исторіи искусства.

— Клодія Тансенъ (1681—1749), мать знаменитаго Да Аламбера, франц. писательница. Писала романы, а салонъ ея посѣщался избранными образованнымъ обществомъ.

Стр. 282. Подъ „краковскимъ дѣломъ“ подразумѣвается народное возстаніе въ Краковѣ въ 1846 г., послѣ чего Краковъ, съ 1815 г. существовавшій въ видѣ самостоятельной республики, окончательно былъ присоединенъ къ Австріи.

— Людовикъ Мирославскій (1813—1878), польскій революціонеръ, участво-

вавший въ возстаніи 1831 г., затѣмъ эмигрировавшій. Приговоренный по процессу 1845 г. къ пожизненной тюрьмѣ за попытку возстанія въ Познани, онъ былъ освобожденъ при революціи 1848 г. Въ 1849 г. Мирославскій принималъ участіе въ сицилійскомъ возстаніи и въ баденской революціи. Въ 1863 г. провозглашенный радикальной партіей диктаторомъ, Мирославскій, потерпѣвъ неудачу, удалился изъ русской Польши. Онъ написалъ рядъ военныхъ сочиненій на польскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ.

— Дмитрій Братіано (1818 — 1892), румынскій политическій дѣятель. Послѣ неудачи румынской революціи 1848 г., бѣжалъ въ Лондонъ, гдѣ былъ членомъ европейскаго революц. комитета. Въ 1859 г. вернулся въ Румынію.

Стр. 285. „Невшателскимъ вопросомъ“ здѣсь называются притязанія, которыя возымѣла въ 1858 г. Пруссія на суверенную власть надъ Невшателскимъ кантономъ, что однако было отклонено Швейцаріей.

Стр. 287. Фердинандъ Фрейлигратъ (1810 — 1876), нѣмецкій политическій поэтъ. Въ 1848 г. былъ, какъ глава демократовъ въ Дюссельдорфѣ, принужденъ эмигрировать въ Англію, откуда вернулся на родину только въ 1868 г. Его стихотворенія доставили ему громкую извѣстность.

Стр. 288—290. Буквою К. обозначенъ нѣмецкій революціонеръ и эмигрантъ Готфридъ Кинкель.

Стр. 289. Робертъ Блюмъ (1807—1848), нѣмецкій агитаторъ, руководившій демократическимъ движеніемъ въ Саксоніи и въ германскомъ парламентѣ. Принявъ участіе въ вѣнскомъ возстаніи, былъ схваченъ и расстрѣлянъ въ 1848. Открытая въ пользу его семьи національная подписка дала 120.000 марокъ.

Стр. 291. Эдгаръ Бауэръ (1820—1886), нѣм. философъ, братъ и единомышленникъ извѣстнаго богослова Бруно Бауэра. Писалъ во богословіи, философіи и политикѣ, причемъ неоднократно выдерживалъ судебные процессы и тюремныя заключенія за свои книги. Принималъ участіе въ событіяхъ 1848 г., почему нѣкоторое время принужденъ былъ жить за границей.

Стр. 293. Лордъ Эдвардъ-Джоффрей Дерби (1799 — 1869) нѣсколько разъ былъ министромъ, dokonчилъ уничтоженіе невольничества въ англ. колоні-

яхъ, былъ яркимъ торі и противникомъ расширенія избирательныхъ правъ.

— Испанскій герцогъ Бальдомеро Эспарtero (1792 — 1879) игралъ крупную роль въ испанской политикѣ XIX в., былъ дважды министромъ-президентомъ и регентомъ королевства.

— Ричардъ Кобденъ (1804 — 1865), англ. политич. дѣятель, прославившійся въ особенности защитой принциповъ свободной торговли и уничтоженіемъ хлѣбныхъ законовъ. Онъ былъ главой такъ называемой манчестерской партіи (англ. буржуазныхъ экономистовъ).

— Ив. Гаврил. Головинъ (род. въ 1816 г.), служилъ въ министерствѣ иностран. дѣлъ, но, уѣхавъ за границу, издалъ въ 1845 г. книгу „La Russie sous Nicolas I“, которая надолго закрыла ему возвращеніе на родину. Прощенный Александромъ II, Головинъ не захотѣлъ вернуться въ Россію. Онъ издалъ цѣлый рядъ книгъ на англ., франц. и нѣм. языкахъ о времени Николая I, Александра II, о Польшѣ, Франціи, „Мои отношенія къ Герцену и Бакунину“ (1880, на нѣм. яз.) и др.

Стр. 295. Францъ-Аврелій Пульскій (род. въ 1814 г.), венгерскій писатель. Принявъ участіе въ революціи 1848 г., онъ убѣждалъ затѣмъ въ Парижѣ и заочно былъ приговоренъ къ смерти. Онъ со провождалъ Кошута въ путешествія въ Америку, издалъ много книгъ разнообразнаго содержанія, въ концѣ 60-хъ гг. былъ помилованъ.

— Джемсъ Бюхананъ (1791 — 1868) былъ членомъ сѣв.-америк. конгресса, америк. посланникомъ въ Россію (1831—33), сенаторомъ, госуд. секретаремъ (съ 1845), посланникомъ въ Англію (съ 1853) и президентомъ Соед. Штатовъ (1856—1860), причемъ стоялъ за рабство негровъ. Съ 1861 г. его смѣнилъ освободитель негровъ А. Линкольнъ.

Стр. 296. Андре Массена, герцогъ Ривольскій (1758—1817), одинъ изъ наполеоновскихъ маршаловъ, отличавшійся во время войнъ конвента, директоріи и первой имперіи; особенно успѣшно дѣйствовалъ въ Италіи.

Стр. 299. „Началась итальянская война“. Здѣсь говорится о войнѣ 1859 г. между Франціей и Пиемонтомъ, съ одной стороны, и Австріей, съ другой.

Стр. 300—307. Буквами М.—С. обозначенъ на этихъ страницахъ малоизвѣстный нѣмецкій писатель Мюллеръ-Стрибингъ, избравшій себѣ специаль-

ностью въ 40-хъ и 50-хъ годахъ знакомиться и сближаться съ русскими, какъ эмигрантами, такъ и вообще вызъезжавшими за границу.

Стр. 300. Побѣды при Маджентѣ и Сольферино, одержанныя французами и сардинцами надъ австрійскими войсками, положили конецъ войнѣ 1859 г., результатомъ которой явилось присоединеніе Ломбардіи къ Пиемонту и начавшееся съ того времени объединеніе Италіи.

— „Квадрилатеръ“ — четырехугольникъ, который составляли 4 крѣпости: Мантуя, Верона, Пескьера и Леньяго на р. Минчіо, отдѣляющей Ломбардію отъ Венеціанской области.

— Лотаръ Бухеръ (1817—1892) въ 1848—49 г.г. былъ членомъ прусскаго парламента, въ 1850 г., будучи осужденъ, бѣжалъ въ Лондонъ, откуда въ теченіе 10 лѣтъ писалъ въ нѣм. газеты противъ англ. парламентаризма. Послѣ амнистіи вернулся въ Пруссію. Написалъ рядъ книгъ о политикѣ.

— „Ротбартусъ“ — такъ Герценъ называетъ Карла Родбертуса-Ягенова (1805—1875), извѣстнаго нѣм. экономиста и политич. дѣятеля, который протестовалъ въ 1859 г. вмѣстѣ съ Лотаромъ Бухеромъ противъ присоединенія Венеціи къ Италіи.

Стр. 302. Вильгельмъ Каульбахъ (1805—1874) и Петръ Корнеліусъ (1783—1867) — два знаменитыхъ нѣмецкихъ историческихъ живописца.

Стр. 304. Гамбахскій праздникъ былъ устроенъ 27 мая 1832 г. близъ замка Гамбахъ, въ Баваріи, приверженцами германскаго объединенія для протеста противъ реакціонныхъ мѣръ германскаго сейма. Участвовало въ праздникѣ 20.000 человекъ.

Стр. 305. Буквами И. Т. означенъ Ив. Серг. Тургеневъ.

Стр. 309. Графомъ Монтемолиномъ сталъ называться послѣ своего отреченія въ 1860 г. отъ правъ на испанскій престолъ внукъ испанскаго короля Карла IV, принцъ астурійскій Людовикъ-Марія-Фердинандъ (1818—1861), ранѣе испанскими карлистами названный Карломъ VI.

— Въ Клермонѣ (замкѣ въ Англіи) поселилась семья изгнаннаго въ 1848 г. изъ Франціи короля Луи-Филиппа.

Стр. 312. Сэръ-Генри Гевлокъ (Гавелокъ), англійскій генералъ (1795—1857), прославившійся во время возстанія си-

паявъ въ Остъ-Индіи побѣдами надъ вождемъ мятежниковъ Нена-Самбомъ.

Стр. 317. „Самъ старикъ“ — подразумевается бывшій диктаторъ Венгріи Людвигъ Кошутъ.

— Лордъ Джемсъ-Генри Рагланъ (1788—1855) былъ главнокомандующимъ англ. арміи подъ Севастополемъ.

— Франц. маршалъ Жакъ Леруа Сентъ-Арно (1796—1854), будучи военнымъ министромъ, подготовилъ госуд. переворотъ 2 декабря, а затѣмъ былъ главнокомандующимъ франц. арміей въ Крыму въ 1854—55 гг.

— Омеръ-паша (1806—1871) командовалъ турецкими войсками въ 1853—55 гг.

Стр. 323. „Ш—ра“ обозначаетъ французскаго республиканца-эмигранта Виктора Шельпера, о которомъ говорилось ранѣе (стр. 311).

Стр. 324. Иръ — бѣдный нищій на островѣ Итакѣ, побѣжденный Одиссеемъ въ кулачномъ бою. Его имя сдѣлалось нарицательнымъ словомъ, обозначающимъ крайне бѣднаго человека.

— Альберъ, собственно Александръ Мартини (1815—1895), былъ парижскимъ рабочимъ и издавалъ народную газету „Atelier“. Въ 1848 г. былъ членомъ французскаго временнаго правительства, какъ представитель рабочихъ классовъ. За попытку къ возстанію 15 мая (1848) былъ приговоренъ къ продолжительному тюремному заключенію. Въ 1871 г. принималъ участіе въ возстаніи парижской коммуны.

Стр. 325. Луи-Шарль Делеклюзъ (1809—1871), франц. революціонеръ и журналистъ. Участвовалъ въ революціи 1848 г. Въ 1852—59 гг. былъ въ ссылкѣ, въ Каеннѣ. Былъ однимъ изъ вождей парижской коммуны 1871 г. и убитъ при взятіи Парижа правительственными войсками.

Стр. 326—327 и 329. Буквою Р. здѣсь обозначенъ музыкантъ и композиторъ А. Рейхель, женатый на Маріи Кашпаровнѣ Эрнъ, близкой подругѣ жены Герцена, прѣхавшей изъ Россіи за границу въ 1847 г. вмѣстѣ съ семьей Герцена. Послѣ смерти жены Герцена, Нат. Александр., дочери его нѣкоторое время проживали въ домѣ Рейхелей.

Стр. 327. Австрійскій генералъ, графъ-Теодоръ Латуръ (1780—1848), назначенный въ іюль 1848 г. военнымъ министромъ, 6 октября того-же года былъ

повѣшенъ въ Вѣнѣ возставшимъ народомъ.

Стр. 330. Люсьенъ-Анатоль Прво-Парадолъ (1829—1870), сперва республиканскій, затѣмъ банапартистскій публицистъ.

— Графъ Шарль Монта-Ламберъ (1810—1870), франц. писатель, защищавшій всегда интересы католиковъ и клерикализма.

Стр. 340. Триссотинъ и Вадюсъ—двое комическихъ напыщенныхъ глупцовъ, считающихъ себя учеными (у Мольера).

Стр. 342. Буквою Ч. обозначенъ польскій эмигрантъ Чернецкій.

Стр. 344. Князь Адамъ Чарторижскій (1770—1861) участвовалъ въ возстаніи Костюшки, былъ другомъ Александра I и былъ имъ назначенъ русскимъ министромъ иностр. дѣлъ. Въ 1830 г. былъ главою временнаго правительства Польши, а въ 1831 г. президентомъ націон. собранія. Удалясь за границу, стоялъ во главѣ „бѣлой“ (аристократической) польской эмиграціи.

Стр. 345. „Панъ Тадеушъ“ — известная поэма Мицкевича.

— „Мурделю“—повѣсть Сигизмунда Качковского (1826—1896), мастерски изображающая старый польскій бытъ (русскій переводъ: Спб., 1864).

Стр. 354. Греческій сатирикъ и философъ-софистъ Лукіанъ (125—190) въ своихъ сочиненіяхъ рѣзко рисуетъ картину упадка древняго міра.

Стр. 356. Мишель Шевалье (1806—1879), буржуазный франц. экономистъ, написавшій „Курсъ полит. экономіи“ и рядъ другихъ сочиненій.

Стр. 360. Іоакимъ Лелевель (1786—1861), талантливый польскій историкъ. Былъ профессоромъ варшавскаго и вилленскаго университетовъ, но, принявъ дѣятельное участіе въ польскомъ возстаніи 1830—31 гг., какъ членъ временнаго правительства, принужденъ былъ затѣмъ эмигрировать и жилъ въ Бельгіи и во Франціи.

Стр. 361. Нью-Ланаркъ—мѣсто, гдѣ Р. Оуэнъ стремился примѣнить къ фабричнымъ рабочимъ свои социалистическіе планы.

Стр. 362. Лордъ Генри Брумъ (1779—1868), англ. государств. дѣятель, писатель и ораторъ, пользовавшійся большимъ авторитетомъ въ Англіи.

Стр. 365. Джемсъ Фоксъ (1749—1806), англ. государств. человекъ, прославившійся защитой свободы и во главѣ оп-

позиціи стоявшій за освобожденіе Сѣв.-американскихъ колоній. Ему поставленъ въ Лондонѣ памятникъ.

Стр. 368. Аугуліо Ванини (1585—1619), итальянскій философъ и свободный мыслитель, сожженный за критическое отношеніе къ религіи.

— Врачъ Франсуа-Ксаве Биша (1771—1802), знаменитый въ свое время франц. физиологъ; творецъ общей анатоміи.

— Пьеръ-Жанъ Кабанисъ (1759—1808), франц. врачъ и философъ-материалистъ.

Стр. 369. Джорджъ Голіокъ (род. въ 1817 г.), англ. философъ, социологъ и публицистъ. Съ 40-хъ гг. посвятилъ свою дѣятельность развитію рабочаго класса въ умственномъ отношеніи и освобожденію его отъ клерикальныхъ идей, для чего издавалъ книги и брошюры, а съ 1846 г. журналъ „The Reasoner“.

Стр. 379. Сэръ-Мозесъ Монтефиоре (1784—1885), англ. баронетъ, прославившійся своей широкой филантропіей.

Стр. 381. Джозефъ Аддисонъ (1672—1719), англ. поэтъ и сатирикъ. Особенно славились его „Опыты“ и трагедія „Катонъ“.

Стр. 389. Франц. генералъ маркизъ Эммануэль Груши (1766—1847) опоздалъ прийти на помощь къ Наполеону I въ день сраженія при Ватерлоо (1815), что многими приписывалось измѣнѣ, но проше объясняется несообразительностью Груши.

Стр. 394. Итальянскій графъ Герардеско Уголино въ концѣ XIII в. за жестокое управленіе Пизой былъ заключенъ съ своей семьей въ тюрьму, гдѣ они все умерли съ голоду (1288 г.).

Стр. 398. Кремье, Исаакъ-Адольфъ (1796—1880), политическій дѣятель, бывшій членомъ французскаго временнаго правительства 1848 г., причѣмъ занималъ постъ министра юстиціи.

Стр. 399. Генералъ-маіоръ Ив. Григор. Бурцовъ (1794—1829), сослуживецъ партизана Д. В. Давыдова въ 1812—14 гг., впоследствии особенно отличился въ турецкой войнѣ 1828—29 гг., какъ сподвижникъ Паскевича, и былъ убитъ въ этой войнѣ.

Стр. 422. Іоаннъ Лейденскій (собственно Іоаннъ Бокколдъ), портной (1510—1536), ставшій пророкомъ анабаптистовъ и основавшій въ Мюнстерѣ демократически-духовное царство Сіона.

— Объ „обѣдѣ у американскаго кон-

ула", о которомъ здѣсь упоминается какъ сказано въ статьѣ „Нѣмцы въ эмиграціи“. см. въ этомъ же томѣ. стр. 295—298.

Стр. 425. Лордъ Альфредъ Тенисонъ (1809—1892), талантливый англ. поэтъ съ 1850 г. поэтъ-лауреатъ), поэмы и легіи котораго отличаются необыкновенной красотой формы и изяществу тѣла.

Стр. 426. Лордъ Александръ-Вильямъ Гиндсей (1812—1880), англ. писатель и покровитель научныхъ стремленій въ Англии. Написалъ рядъ разнообразныхъ сочиненій.

Стр. 430. Жанъ-Жакъ Пелисье (1794—1864), франц. маршалъ, былъ главнокомандующимъ въ Крымскую войну и а взятіе Малахова кургана, а съ нимъ и Севастополя, получилъ титулъ герцога Малаховскаго. Затѣмъ былъ пономъ въ Лондонѣ и генералъ-губернаторомъ Алжира.

Стр. 437. Рудольфъ Гнейстъ (1816—1895), ученый нѣм. юристъ, проф. берлинскаго университета, изъ многочисленныхъ сочиненій котораго прибрѣли классическую цѣнность его руды о самоуправленіи, парламентаризмъ и государственномъ устройствѣ Англии.

Стр. 438. Эмилио Висконти-Веноста род. въ 1830 г.) итальянскій дипломатъ, многократно бывшій министромъ иностранныхъ дѣлъ.

Стр. 439. Князь Петръ Владим. Долгоруковъ (1816—1868), генеалогистъ. Съ 1859 г. сталъ эмигрантомъ и издалъ за границей рядъ книгъ и брошюръ на русскомъ и французскомъ языкахъ по генеалогіи и политикѣ, а также издавалъ журналы: „Будущность“ (1862) и „Листокъ“ (1862—64) и др. и свои „Мемуары“ (на франц. яз.).

Стр. 442. Лордъ Джорджъ Кларендонъ (1800—1870), англ. политич. дѣятель. Съ 1856 г. былъ статсъ-секретаремъ, а въ 1865—66 гг. министромъ иностранныхъ дѣлъ.

— Эдуардъ Друэнъ-де-Люисъ (1805—1881), франц. дипломатъ, бывшій въ 1849—55 и 1862—1866 гг. министромъ иностранныхъ дѣлъ.

Стр. 443. Сэръ-Вильямъ Фергюсонъ (1808—1877), англ. хирургъ и анатомъ, съ 1840 г. состоявшій профессоромъ хирургіи въ лондонской королевской коллегіи (King's College).

Стр. 449. Князь Юрій Никол. Голи-

цынъ (1823—1872), извѣстный дирижеръ, руководитель собственнаго оркестра и композиторъ. Былъ предводителемъ Усманскаго уѣзда и камергеромъ, но, несмотря на эти званія, исключительно занялся музыкальной дѣятельностью; какъ композиторъ, далъ рядъ мелкихъ и крупныхъ произведеній. Образовавъ свой хоръ, путешествовалъ съ нимъ по Европѣ и Америкѣ. Записки о своей жизни (подъ названіемъ „Прошедшее и настоящее“) онъ напечаталъ въ „Отеч. Запискахъ“ 1869 г.

Стр. 455. Феликсъ Ронкони (1812—1875), итальянскій пѣвецъ-баритонъ и музыкальный педагогъ. Въ 1852—57 гг. пѣлъ въ итальянской Сиб. оперѣ, а также преподавалъ нѣсколько лѣтъ пѣніе въ петербургскомъ театральномъ училищѣ.

Стр. 457. Карлъ-Иосифъ Миттермайеръ (1787—1867), извѣстный ученый нѣм. юристъ, написавшій рядъ цѣнныхъ юридическихъ сочиненій, главные изъ которыхъ переведены по-русски.

Стр. 461. Вас. Ив. Кельсievъ (1835—1872), писатель, эмигрировавшій въ 1859 г. изъ Россіи въ Лондонъ, ведшій затѣмъ пропаганду среди заграничныхъ старообрядцевъ, но въ 1867 г. попросившій у правительства прощенія и затѣмъ издавшій въ Россіи свои воспоминанія: „Пережитое и передуманное“ и „Галичина и Молдавія“ и нѣсколько беллетристическихъ сочиненій.

Стр. 469. Графъ Андрей Замоискій (1800—1874), польскій патриотъ, принимавшій участіе въ польскомъ революціонномъ правительствѣ 1830 г., но затѣмъ ему было позволено жить въ Польшѣ и лишь возстаніе 1863 г. заставило его вновь эмигрировать въ Парижъ.

Стр. 483. Буквами М. Б. здѣсь и на послѣдующихъ страницахъ обозначенъ Мих. Александр. Бакунинъ.

Стр. 484. Ив. Кузм. Кайдановъ (1782—1843), авторъ пустыхъ историческихъ учебниковъ, отличающихся риторическимъ слогомъ и казеннымъ патриотизмомъ.

Стр. 483—499 и 503—504. Буквами М. Б. и Б. обозначенъ М. А. Бакунинъ.

Стр. 485 Князь Альфредъ-Фердинандъ Виндиггрецъ, австрійскій фельдмаршалъ (1787—1862), въ 1848 г. бомбардировавшій Прагу и подавившій тамъ возстаніе чеховъ.

Стр. 508. „Хорошій морякъ, графъ С.“, повидимому, тотъ графъ Сбышевскій, о которомъ говорится далѣе (стр. 510).

Стр. 514. Ричардъ Бринсли Шериданъ (1751—1816), англ. драматургъ и политическій дѣятель, авторъ извѣстной пьесы „Школа злословія“.

Стр. 523. Карлъ Иммерманъ (1796—1840). нѣм. поэтъ, писавшій поэмы, сказки, повѣсти, драмы и романы.

Стр. 532. Миллеръ С.—Миллеръ-Стрюбингъ.

Стр. 548. Подъ „венгерцемъ графомъ С. Т.“ (въ выносѣ) подразумѣвается, вѣроятно, венгерскій эмигрантъ графъ Сандоръ Телеки, о которомъ неодно-

кратно упоминалось ранѣе (стр. 269 299 и 317—318).

Стр. 560. Буквою М. обозначена Матильда Мейзенбургъ, воспитательница дочерей Герцена.

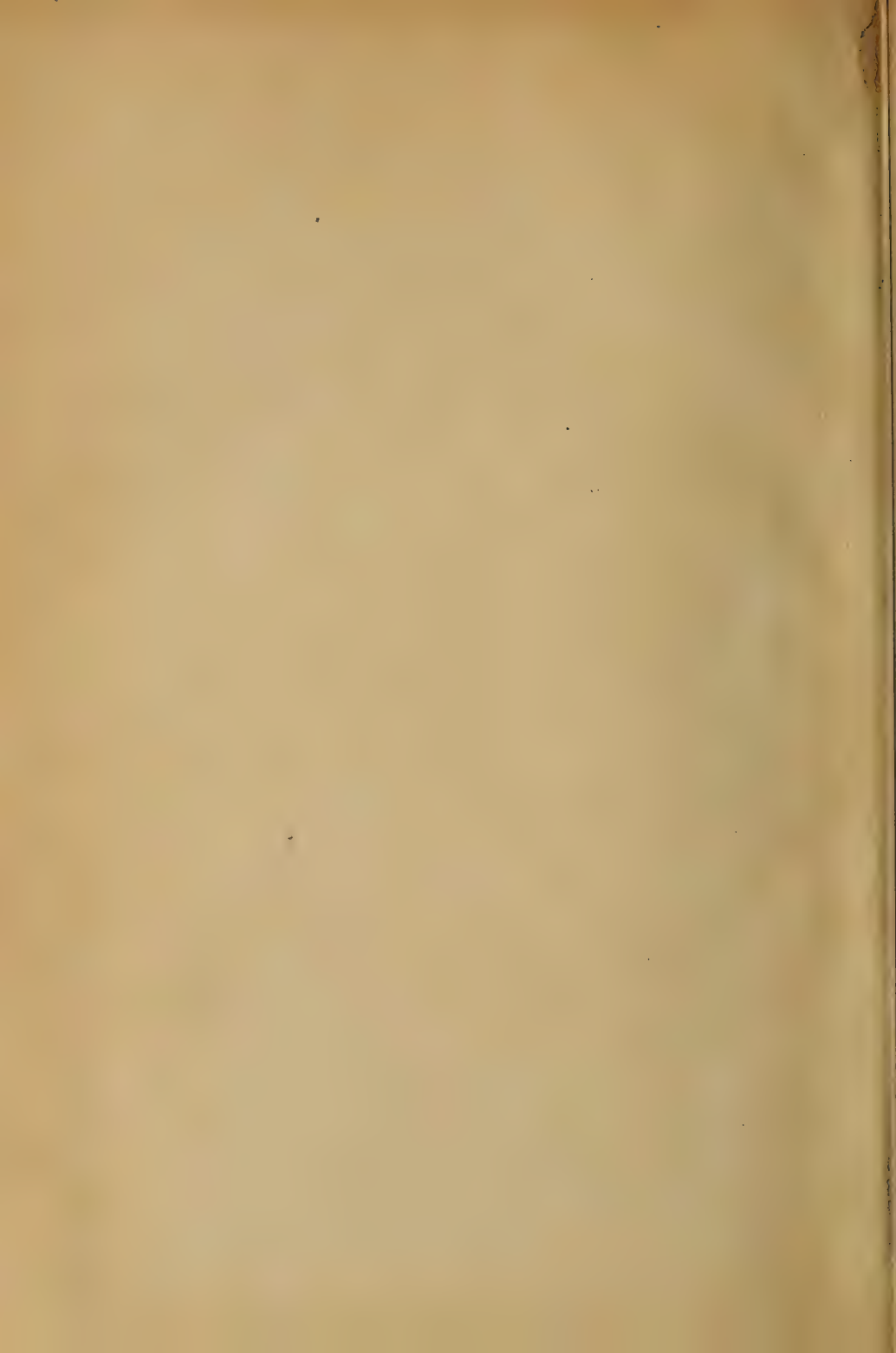
Стр. 563. Подъ „нашимъ поэтомъ О. Т.“ подразумѣвается поэтъ Оедоръ Ив. Тютчевъ (1803—1873), служившій сперва по дипломатической части, а затѣмъ бывший председателемъ комитета иностранной цензуры.

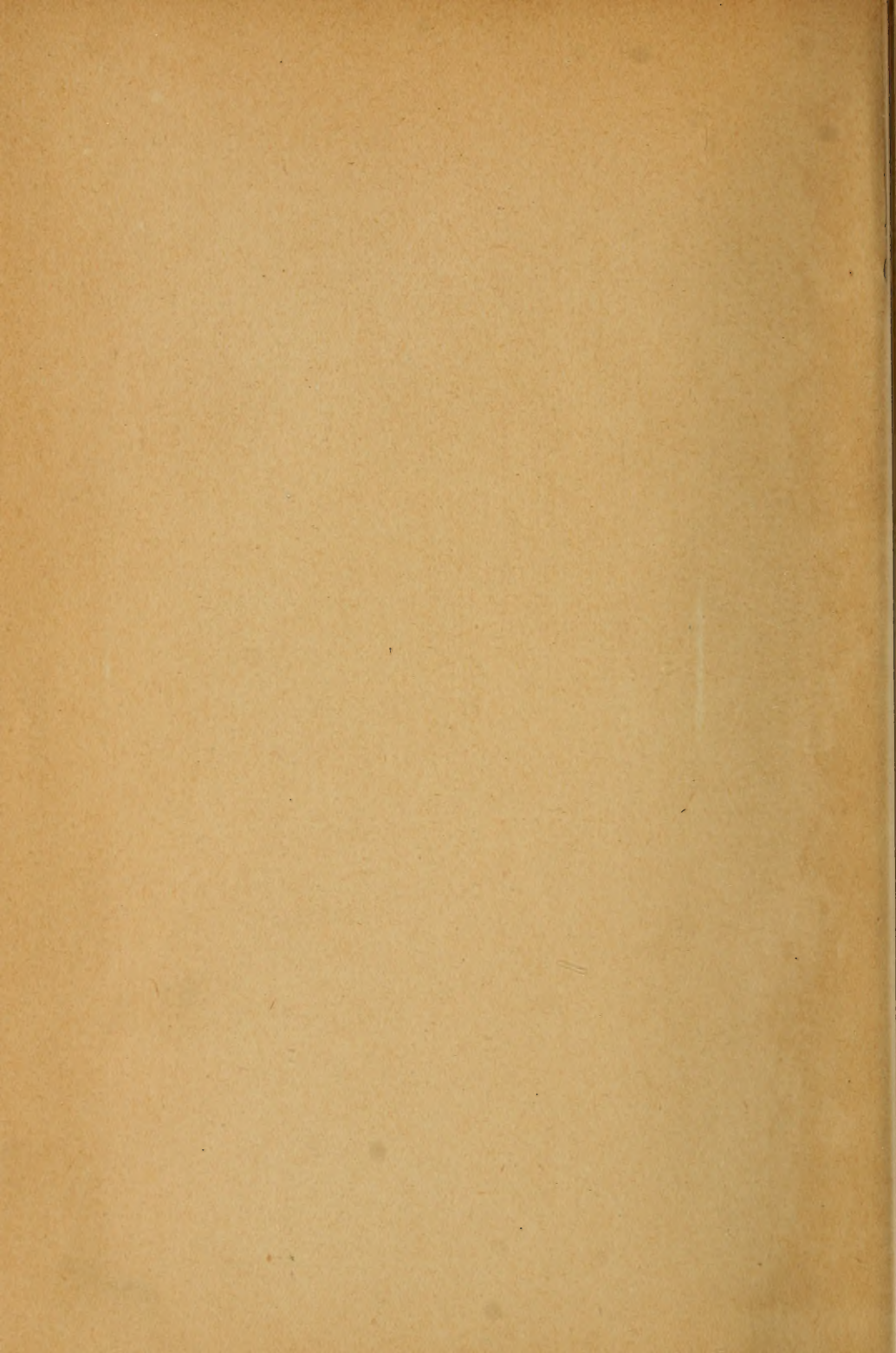
Стр. 575. Чертозы—Чертоза монастырь близъ Пави, основанный въ 1396 г.

Стр. 575. Камалдолы—монастыри въ Италіи, называемые по монашескому ордену Камалдоловъ.









AC
65
H43
t.3

Hertzen, Aleksandr Ivanovich
Sochineniia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

UTL AT DOWNSVIEW



D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 16 08 24 01 014 1